Журнал русской словесности и мысли

«НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ»

Санкт-Петербург

N5

Июнь 2022

Толстый литературно-философский журнал «Невский проспект»
Учредитель и главный редактор Николаев А.В.
Адрес редакции: Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 3, корп. А, оф. 138
Электронный адрес: vl_classik@mail.ru
Сайт: https://nevsky-prospekt-journal.ru/
Формат 175х265. Тираж 200 экз. Подписано в печать 22.04.2022. Заказ 1016850
Отпечатано в типографии «www.dariknigi.ru», Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47/710

№5:

Публицистика

Алексей Николаев
МОРАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Открытое письмо элите 3 стр.

Большая проза

Алексей Григоренко
КОСТЬ РАЗДОРА
Малороссийские хроники
Исторический роман
Главы 1-7 10 стр.

Инна Девятьярова
ВАЛАШСКИЙ ОРЕЛ И БЫК МОЛДАВСКИЙ
Историческая повесть 128 стр.

Владимир Василиненко
ИЗГОЙ
Историческая повесть 146 стр.

Лариса Кеффель-Наумова
БЕГСТВО В РАЙ
Эмигрантская повесть 162 стр.

Феруза Ибраева
НЕМНОГО ПЛОХИЕ
Повесть о самоподрывах
Главы 1-2 187 стр.

Иван Образцов
НЕРВНАЯ КЛЕТКА
Малый роман 227 стр.

Малая проза

Любовь Лихоманова
НЕУПАВШАЯ ЗВЕЗДА, ЮДОЛЬ ЗЕМНАЯ, СМОРОДИНОВОЕ СЕРДЦЕ, ШКАТУЛКА СО СЧАСТЬЕМ, НЕТАЮЩИЙ СЛЕД
Рассказы 244 стр.

Элина Свенцицкая
НА БЕЛОМ КОНЕ, СОВСЕМ ДРУГОЙ РАССКАЗ, В ПОЗЕ РЕБЕНКА
Короткие рассказы 257 стр.

Андрей Карбовский
РЕАЛИТИ-ШОУ
Рассказ-притча 261 стр.

Рустам Мавлиханов
ПОБЕГ ИЗ, рассказ 268 стр.

Ольга Минская
МОЛИТВА, новелла 273 стр.

Александр Беляев
РАЙ ДЛЯ НЕЗАМУЖНИХ КАРЬЕРИСТОК
Рассказ 279 стр.

Александр Горохов
ФАРФОРОВАЯ КУКЛА, рассказ 288 стр.

Евгений Касаткин
КОГДА Я БЫЛ БЕССМЕРТНЫМ, ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ, рассказы 293 стр.

Очеркистика

Николай Алыков
ОСЦИЛЛОГРАФ СУДЬБЫ
Фатум Толипа + Еленушка + Рыжий, Алик и...
Очерковый триптих 298 стр.

Мемуаристика

Нина Кромина
ШТРИХ, ПУНКТИР, ТОЧКА
Часть V, заключительная 312 стр.

Эссеистика

Александр Балтин
РУССКИЙ ПАНТЕОН
... + Чехов + Горький + Бунин + Куприн + Андреев + ...
Штрихи к литературному портрету России 324 стр.

Эврика

Алексей Николаев
ФОРМУЛА ВРЕМЕНИ
Точная теория времени
Раздел 3 «Структура»
Фрагменты 3-11 341 стр.

Откуда авторы:

Алексей Григоренко — Москва, Инна Девятьярова — Санкт-Петербург, Владимир Василиненко — Хабаровск, Лариса Кеффель-Наумова — Майнц (Германия), Феруза Ибраева — Стерлитамак, Иван Образцов — Барнаул, Любовь Лихоманова — Грязовец (Вологодская обл.), Элина Свенцицкая — Киев, Андрей Карбовский — Алма-Ата (Казахстан), Рустам Мавлиханов — Салават, Ольга Минская — Герцлия (Израиль), Александр Беляев — Москва, Александр Горохов — Волгоград, Евгений Касаткин — Москва, Николай Алыков — Тотьма, Нина Кромина — Москва, Александр Балтин — Москва, Алексей Николаев — Санкт-Петербург.

Алексей НИКОЛАЕВ

МОРАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Имеющий уши да услышит
(Новый завет)

Все педагоги снизу и вся элита сверху должны, наконец, понять, что основным школьным предметом призвана быть наука о нравственном законе, то есть этика...
(Истина, стучащаяся в заткнутые уши)

От редакции: статья «Моральный вопрос», с подзаголовком «Открытое письмо элите», уже публиковалась год назад в N1 «Невского проспекта» и публикуется в N5 повторно на событийном фоне острого мирового кризиса, представляющего собой, по своей главной сути, не что иное, как очередное глобальное обострение основной проблемы человечества, которая есть моральная, а в полном сущностном объеме — морально-правовая проблема добра и зла, на корню и в принципе решаемая только по нравственному закону и только по тем правилам, кои не противоречат нравственному закону, который есть высший закон человеческого бытия и человеческой природы, содержащий в себе истинную, но не ложную, мораль (охватывающую систему истинных, но не ложных, ценностей и норм) и законное, но не беззаконное, право, включая и государственное законодательство, и международное право, и все принципы всех правовых систем, и все законные, но не беззаконные, права, прописанные и во «Всеобщей декларации прав человека», и где угодно, etc.

Открытое письмо элите

Хорошо сказано: «Любая реформа, кроме моральной, бесполезна». Нарочитой гиперболичностью этого знаменитого изречения усиливается его меткость. Но в чем, собственно, заключается моральная реформа и как ее сделать? Моральная реформа есть решение морального вопроса, под которым имеется в виду вся совокупность моральных проблем общества и морально нездоровое, то есть ненормальное, состояние общества относительно здоровой нормы, очевидной для здравомыслия и требуемой нравственным законом прямо сейчас, а не в идеале, отодвинутом в отдаленное будущее. Чтобы моральная реформа, в чем бы она ни заключалась, была вообще возможна, вся элита и все общество должны хорошо понимать ее суперактуальность. А что имеем на текущем перекуре между уроками истории? Имеем круглый ноль требуемого понимания в верхах, в низах и во все понимающих прослойках.

Манкировка уроками истории (обыкновенно имеющими вид острых социальных, социально-политических, военно-политических кризисов, более или менее откровенно выражающих собой обострение проблемы добра и зла) равнозначна неисполнению воли истории людьми как участниками истории (с распределением ответственности каждого в меру личного участия в истории) и фатально чревата повторением неусвоенных уроков в каких-либо вариациях до тех пор, пока они не будут усвоены. Образцово-показательный пример: Европу сотрясали социальные революции до тех пор, пока все национальные элиты не уразумели, чего от них хочет история. В точке 1945 история обозначила апокалипсический предел, памятуя о коем элиты вынуждены сильнее прежнего умерять свой неизлечимый игрально-суицидальный цинизм и должны однажды принять за аксиому, что вообще все вопросы морально-правового свойства, терзающие человечество, включая вопросы войны и мира, нерешаемы вразрез с нравственным законом, так что не жди ни добра, ни мира там, где во главу угла строителями положены и заложены в массовом сознании со школьной скамьи какие угодно ценности и правила, кроме требуемых и допустимых нравственным законом.

Месседж I. УПРОЩЕННАЯ ДО БАНАЛЬНОСТИ СУТЬ ВОПРОСА

Можно создать человеку райские условия для жизни и обеспечить человека всеми благами цивилизации до полного насыщения, но это бесполезно, если человек морально недоразвит и видит высшее счастье в удовлетворении двух инстинктивных потребностей организма.

Можно семимильными шагами на волне НТР улучшать политическую и экономическую машину государства, но это бесполезно, если в ногу с прочим прогрессом не прогрессируют нравы и не улучшается нравственно среднестатистический член общества как моральная личность, а если он морально деградирует, это равносильно обращению исторической эволюции человека вспять и возврату общества в варварское прошлое и такое же состояние.

Цивилизация может скакать рысью по технологическим уровням развития, но это бесполезно, если нравственное воспитание подрастающего поколения похерено и сведено к малозначащей формальности, так что ребенок растет, как Маугли, и адаптируется в цивилизации, как в джунглях. Прогресс, ведущий в джунгли, как вы понимаете или догадываетесь, есть мыльнопузырная фикция прогресса, которая, по моральной сути дела, есть регресс, невзирая на свой сколь угодно прогрессивный внешний вид. Да хоть на Марс летите, это бесполезно и вам не нужно ценой моральной потери самого себя.

Поскольку ***человек***, извините за банальность и за сильный акцент на ней, ***самоидентичен как нравственное существо с нравственной природой***, постольку неиллюзорный, сбалансированный и необратимый вспять прогресс общества включает в себя нравственный прогресс как свою обязательную и скрижальную часть, в чем и состоит сермяжная суть крылатого афоризма: «Любая реформа, кроме моральной, бесполезна».

(Логически эквивалентная формулировка: любая реформа без моральной бесполезна. Заменой предлога «кроме» на предлог «без» нивелируется гиперболический смысл афоризма с сохранением его точного смысла.)

Месседж II. ПРАВО ЧЕЛОВЕКА БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ: ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

В «Декларацию прав человека» не помешало бы добавить, без боязни подпортить эту блестяще сделанную выписку из неписаного нравственного закона, еще одно фундаментальное право человека, формулируемое так: в силу нравственной природы человека, каждый человек обладает правом быть человеком, которое означает, что никто не вправе подавлять в человеке природную нравственность и подвигать человека к потере моральной самоидентичности ни путем плохого воспитания или лишения воспитания в детстве, ни путем насилия и запугивания, ни путем обмана и поощрения, ни посредством идеологии, пропаганды и агитации, ни путем растления и соблазнения и никакими способами, вынуждающими человека терять моральный облик и превращаться в безнравственное и звероподобное существо, недостойное имени человека.

Нравственная природа человека (которую никто, ни правители, ни родители, ни учителя, ни писатели, ни журналисты, ни кинематографисты, ни все прочие агенты влияния на сознание, не вправе подавлять, извращать и как-либо портить) — это то же самое, что называется нравственностью, и складывается из врожденных и приобретенных слагаемых нравственности, естественным образом присущих человеческой душе и личности, таких как совесть, добродетели, честь, любовь, личная мораль и основные элементы нравственного самосознания, такие как чувство долга, правосознание и система духовных ценностей и возвышенных идеалов в ядре личной морали, свободно принимаемой личностью к руководству в бытии и исповедуемой в своей высокой квинтэссенции как высший закон, зовущийся нравственным законом и диктуемый человеку в душе человека совестью человека как высшим законодателем, если только голос совести не заглушается в сознании нажитыми пороками и всяческой туфтой, навязанной аморальным масскультом и циническим агитпропом.

Человек морально самоидентичен в душе своей и в сознании как моральная личность с дееспособной нравственной природой и с нормальным нравственным здоровьем, то есть с нормально функционирующими совестью и честью, добродетелями и другими слагаемыми нравственности.

Полноценный член общества есть нравственно здоровый человек и нормально развитая на данной ступени естественно-исторической эволюции общества моральная личность, не испорченная сверх меры, безошибочно указываемой совестью и угадываемой здравомыслием.

Нравственное здоровье человека есть фундаментальный элемент общего здоровья, которое двоично как физическое и душевное здоровье и троично как физическое, умственное и нравственное здоровье, если нравственное здоровье выделить особняком из состава душевного здоровья.

Нарушения нравственного здоровья составляют проблему, значимость которой поддается быстрому осмыслению по простой аналогии с проблемами физического здоровья. Представьте человека с испорченным зрением, с худым слухом, с хромой ногой, с ампутированной рукой, с подорванным иммунитетом, с букетом хронических

недугов. Поставьте рядом человека с немой совестью, с отсутствующей честью, с атрофированной способностью к любви, с ложными ценностями, с низменными идеалами, с букетом злых пороков, таких как жестокость, бесчестность, лживость, алчность, гордыня, гнев, раболепие. И сообразите, что нравственное нездоровье ни капли не лучше физического нездоровья для самого же нездорового и составляет остросоциальную проблему как душевный источник и душевный корень львиной доли социальных болячек и зол, которые, прогрессируя, могут превращаться в подобия организменных недугов и гнойников в цивилизационном масштабе и угрожают обществу кризисами соответственного, цивилизационного, масштаба.

Всякий социальный, социально-политический, военно-политический и цивилизационный кризис находится в прямой и глубинной зависимости от морального состояния общества, то есть от состояния нравственного здоровья общества, причем всего общества, а не только элиты, которая есть известная верхушечная часть общества, обособленная от общества не настолько, чтобы не быть его производным.

В той мере, в какой человек лично сам является причиной своих пороков, он лично сам и несет моральную ответственность за них, а в той мере, в какой человек испорчен пагубными воздействиями и дефицитом благотворных влияний извне, он есть пострадавший и ущемлен не по своей вине в фундаментальном праве человека быть человеком. Угадайте с одного раза, кто является главным пострадавшим, чье право быть человеком ущемляется в первую очередь и весьма беспардонным для цивилизованного общества образом? Ребенок.

А почему? В наше время потому, что сложившийся симбиоз энтээровской цивилизации, высокоумно летящей в темпе пули по вертикали вавилонского столпа, и общества потребления, скудоумно и цинично, с низко стелющейся мотивацией воли, святящего приземленные потребности и такие же ценности, довлеет в текущей эпохе так, что никому нигде, ни в системе образования, ни в Академии наук, ни в пирамиде власти, ни в деловых кругах, ни в культурной элите, ни в среднестатистической семье, нет дела до нравственного воспитания подрастающего поколения, говоря по большому счету, а малого счета нравственное воспитание не знает, имея целью человека, в точном, высоком и прекрасном смысле слова человек.

В сфере чистой педагогики, а стало быть, и во всей системе образования как педагогической системе нравственное воспитание важнее и превыше всего, но это как будто никому невдомек, раз педагогическая деятельность новаторски и реформаторски кипит вокруг и по поводу чего угодно, кроме нравственного воспитания. Да его, простите, просто нет. Ибо в виде малозначащей формальности, притянутой за уши в довесок к чему-то другому, оно работает с нулевым КПД.

Месседж III. МОРАЛЬНЫЙ ПРОБЕЛ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

Есть два противоположных варианта формирования личности в детстве: хороший и плохой.

По хорошему варианту, ничто не мешает и все способствует самораскрытию нравственной природы души, ничто не подавляет ее и ничто не портит маленького человека, а наоборот, все работает на то, чтобы на выходе детства общество получило полноценное и прекрасное прибавление в виде новоиспеченной моральной личности, снабженной в дорогу по имени жизнь отличным нравственным здоровьем и узнающей саму себя в зеркале самосознания с такой же ясностью, с какой человек видит свой физический облик в стеклянном зеркале.

По плохому варианту, нравственная природа души подавляется и подвергается порче зловредными влияниями на сознание, которые в наш продвинутый век производятся индустриальным способом и кишмя кишат в духе времени как духовные вирусы, взламывая моральный иммунитет души эпидемическим образом и обрекая среднестатистическую личность на ущербное формирование с риском пожизненной моральной недоразвитости в колебательном диапазоне от тривиальной житейской испорченности до моральных уродств, входящих в порядок вещей, принимаемый всей толпой и за компанию с премудрым цинизмом, мол, так было всегда, а иначе и быть не может, дескать, человек морально где был, там и есть от Экклезиаста и камня Хаммурапи. Ну, это не совсем уж прямо так ни до Октября, ни после. Да если бы и так, отступать некуда: позади дурдом (извините за фигуру). А впереди — что доброго вы ожидаете получить вне нравственного закона под дамокловым мечом апокалипсической угрозы?

Нет и никогда не было никакого другого, кроме нравственного воспитания, способа оградить детей от растлевающих влияний и простимулировать максимально возможное относительно требуемой нормы естественное развитие моральных качеств личности и привитие базовых элементов нравственного самосознания, таких как пра-

вильные, а не извращенные, моральные понятия и высокие моральные идеалы, а не фетишно-мишурные псевдоидеалы, приобретаемые с соответственными последствиями, по формуле: ***скажи мне, в чем твоя мораль, и я скажу, кто ты***.

Нравственное воспитание заключается в таком воздействии на ребенка, каким обеспечивается полномерное самораскрытие нравственной природы души и правильное, то есть здоровое и неущербное, формирование моральной личности, огражденной в самой себе за счет своих моральных свойств от нравственной порчи и нарушений нравственного здоровья по принципу душевного иммунитета, укрепляемого в детстве надлежащим воспитанием до железной степени моральной устойчивости.

Представляя само по себе сложнейшую проблему педагогики, способную загнать в логический тупик любого отдельно взятого мудреца, нравственное воспитание требует коллективного напряжения лучших интеллектуальных сил общества и входит в число первоочередных и крупномасштабных государственных дел. Этой суперпроблемой нельзя манкировать, не получив бумеранг исторического возмездия. И что с того? Да ничего. Может быть, кто-то скажет, как у нас на деле решается проблема нравственного воспитания? Да никак.

Быть может, над решением этой суперпроблемы, без огласки до срока, чтоб всех несказанно обрадовать в срок, прямо сейчас кипит и брызжет новаторскими идеями работа в каком-то научном институте в структуре Минобра и РАО, бишь Российской академии образования? Нет там никакого такого института, ни даже отдельчика на два стула, да и дела там никакого нет до того, о чем здесь речь, простите великодушно за прямой текст, то есть за правду.

Частная инициатива на непаханой ниве отыскания алгоритма реального, а не фиктивного, решения проблемы нравственного воспитания встречает (проверено дефакто) на всех уровнях ученой и обыкновенной бюрократии заткнутые уши и закрытые двери, которые в подобных случаях, казалось бы, должны быть открыты настежь везде, где уши приставлены к голове, а голова к плечам, не покрытым шерстью.

Если ваш слух еще ласкается фанфарами во славу НТР, извольте: слава, слава НТР! Ибо благодаря и на гребне НТР, наконец-то, наконец, наступила эпоха, когда в государстве есть все необходимое и достаточное для кардинального решения проблемы нравственного воспитания и морального вопроса, мучающего человечество с тех пор, как оно появилось. И за чем же дело стало? Да, во-первых, за требуемым пониманием проблемы элитой и всем обществом, чье внимание поглощено чем угодно, стоящим и не стоящим внимания, но только не моральным вопросом.

Совершенно ясно, яснее некуда, что в наше время решение морального вопроса возможно только через систему образования путем реформирования школьной программы с грамотной и тонкой заточкой под выполнение школой ***воспитательной миссии школы***, состоящей в первую очередь и главным образом в нравственном воспитании подрастающего человека как моральной личности и не в первую, а во вторую очередь в так называемом разностороннем воспитании личности, всяком там музыкальном, танцевальном, театральном, спортивном и забубенно креативном с прибамбасами, да еще и — конгениальная педагогическая находка — сексуальном. Взять бы весь этот креатив — да вложить в решение морального вопроса за школьной партой.

Среднестатистическая семья никогда не была в состоянии обеспечить нравственное воспитание в требуемой мере, в чем семье призвана помочь школа, для чего нужна специальная педагогическая программная система, встроенная в школьную программу как краеугольный и самый главный элемент всей системы образования в государстве.

Это осуществимо ныне в любой развитой стране, но ничем таким и не пахнет в существующей системе образования. В ней черной дырой зияет ***моральный пробел*** как главнейший системный порок ее, требующий экстренных мер, патронируемых государством, и если бюрократия не чешется никоторым боком касательно моральных скрижалей, это полбеды. Беда, ползучая беда, когда к моральному вопросу наплевательски, цинически, софистически, идиотически, варварски и до кучи с ницшеанским отвращением к морали и богемным скоморошеством настроены все общество и вся элита, политическая, деловая, научная, медийная, культурная.

Моральный пробел в системе образования выражается, попросту говоря, в том, что школа вкладывает в головы знание о каких угодно законах природы, по которым устроен мир, кроме нравственного закона как закона нравственной природы человека, по которому устроен человек как нравственное существо и организована во благо человеку жизнь человека как моральной личности.

Что вы скажете своему ребенку, если он спросит: «Мама, что такое совесть? Папа, что такое честь?» Школьная программа игнорирует такие вопросы, и стало быть, это должны объяснить вы, а если вы уйдете от ответа, дескать, «вырастешь, сам поймешь», вы тем самым манкируете нравственным воспитанием в важной части, связанной с разъяснением детям смысла базовых моральных понятий, таких как понятия о чести и

совести, дабы разъясненный смысл производил в детском сознании моральную работу в русле формирования полноценной моральной личности, сознающей собственную совесть и собственную честь как реальные элементы человеческой природы, делающие человека человеком, а не как пустые звуки, придуманные взрослыми, чтобы усложнить себе и детям жизнь.

Прежде чем ответить своему ребенку на его вопросы морального толка, вы должны ответить на них самому себе. А ну-ка, попробуйте, отвечайте: что есть совесть и что есть честь? Вы задумались? Вы полезли за ответом в интернет? Да там такая пустопорожняя и полубредовая каша на 99 процентов, что оставшийся процент вы будете логически отсеивать до последнего звонка с неизвестным результатом.

А ведь прошло уже больше двух тысяч лет с тех пор, как на античном Западе возникла наука о морали и нравственности, называемая этикой. В структуре Академии наук есть научные подразделения, ведущие высокоученую деятельность на ниве науки этики и готовящие дипломированных и остепененных специалистов по этике, знающих назубок «Никомахову этику» Аристотеля и «Метафизику нравственности» Канта и поднаторевших очень ловко и умно, заслушаетесь и зачитаетесь, выражать в диссертациях и на конференциях свои преоригинальные мысли по поводу того, что сказали Аристотель с Кантом и другие авторитеты и корифеи.

Одни преподают этику в вузах на факультетах философии как собрание сочинений по теме этики, а что делают другие, полюбопытствуйте на сайте Института философии РАН, найдя ссылку на «сектор этики». Люди, чьей профессией является наука о нравственности, заняты чем угодно на казенном довольствии, но только не поисками алгоритма решения суперпроблемы нравственного воспитания и не разработками учебной программы для школы во исполнение школой воспитательной миссии, которая выполнима посредством преподавания этики, но совсем не так, как это где-либо делается сегодня с нулевым социальным эффектом от такого учения.

Без учебной программы, сделанной фундаментальным образом, а не в «стиле тяпляп» из цитат, надерганных из детской литературы про дядю Степу и перемежающихся морализаторским сюсюканьем на теоретическом уровне детского лепета, преподавание этики в школе возможно только на крайне примитивном и потому бесполезном уровне, на каком ныне в школах России прозябает необязательный, крохотный, номинальный и отделенный парсеками от того, что нужно, курс под сильно преувеличенным и несуразным из-за второго слова названием «Основы светской этики».

Понимаете ли, в чем каверза и коллизия с припуском иронии истории? Да в том, — мильпардон за рефрен, — что везде, в том числе в Академии наук, напичканной лучшими мозгами, ***нет понимания морального вопроса под углом его кардинального решения через систему образования***. Над этим просто никто не думает и не хочет думать. Не простимулирован, знаете ли, и не ангажирован. Все архизаняты своей специализацией, а на суперпроблеме нравственного воспитания никто не специализируется, и нет под нее ни госзаказа от казны, ни убедительной просьбы из Кремля.

Академия наук, Минобр и РАО ждут и будут ждать вечно, чтобы лично вы, Владимир Владимирович, непререкаемо авторитетно попросили там заняться, наконец, проблемой нравственного воспитания фундаментально и реально, а не для галочки.

Месседж IV. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Сократ, Платон, Аристотель и стоики заложили основы науки этики в порядке постановки вопросов и отыскания первых ответов. Это было весьма недурно для начала, но слишком элитарно и потому крайне мало сравнительно с тем, что сделал Христос, толкнувший этическую мысль вперед и в массы религиозным образом, то есть силой веры, с точкой старта, казалось бы, в пребанальной морали, но за два тысячелетия западная моральная философия мало что добавила по существу к моральным основам христианства. Ибо для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки воз, который и ныне там, где его оставили отцы-основатели, требуется, во-первых, извлечь из пребанальной морали нравственный закон в виде фундаментальной этики, разработанной с логической точностью точных наук, а во-вторых, загрузить этику в школьную программу в статусе главного предмета, главнее которого нет, как это ни странно звучит, пока нет его самого. Ничто не звучит так странно, как стук будущего в двери настоящего.

Все педагоги снизу и вся элита сверху должны, наконец, понять, что основным школьным предметом призвана быть наука о нравственном законе, то есть этика, адаптированная к школе грамотно и тонко, а не тупо и бездарно, дабы реализовать колоссальный воспитательный потенциал этики, путем реализации которого ***можно улучшить мир до неузнаваемости за одно поколение***. Вы сомневаетесь, конечно? Но знаете ли вы при своем сомнении, что такое фундаментальная этика без всяких ля-ля-ля?

Применительно к школе этика разрабатывается как фундаментальный учебник,

совсем не похожий ни по форме, ни по содержанию на безразмерное собрание научно-философских, религиозных, литературно-публицистических и иных сочинений рассужденческого типа, кропаемых из века в век как бесконечно разнообразные рассуждения на тему морали с разнобоем смысла по числу авторов и умножаемых учеными диссертациями, докладами и цитатниками, построенными на ссылках и цитатах, вокруг чего разливается ученая вода мнений о мнениях, высказываний о высказываниях и рассуждений о рассуждениях. В ракурсе проблемы нравственного воспитания это бесполезно, как бесполезно морализаторство и нотации, у которых или противоположный эффект, или очень низкий КПД. Любые, сколь угодно глубокомысленные и логичные, рассуждения на тему морали пригодны для школы вспомогательным образом в русле разъяснительных бесед по материалу учебной программы, прописанной в учебнике со строгостью, присущей точным наукам, как логическая система определений, вкладываемых в голову как фундаментальное гуманитарное знание.

«Запомним, дети, дважды два — это четыре. Не пять и не шесть, а четыре», — говорит учитель математики, давая материал учебной программы, содержащийся в учебнике математики как базовое знание. Таким же образом учитель этики должен преподавать по учебнику школьной этики материал учебной программы, сформулированный в учебнике как базовое знание: «Запомним, дети, совесть — это...» — и далее по тексту определения. «Честь — это»... — и далее по тексту определения.

Определения всех основных моральных понятий, вокруг которых, как земля вокруг солнца и своей оси, вертится жизнь нравственных существ, то есть людей, поддаются сведению к понятным и лаконичным формулировкам, не вызывающим противоречивых разночтений и логически оттачиваемым как ядро учебной программы в принятом за основу виде как то, что должен знать каждый от младых ногтей как «Отче наш», чтоб от зубов отскакивало.

Не надо недооценивать детский разум. Не бойтесь перегрузить ребеночка моральной истиной. Она имеет свойство впитываться разумом, как губкой, на интуитивном уровне мышления из хороших рук и должна усваиваться, как самая здоровая пища, ангельской душой ребенка, еще не испорченной масскультом и дурнопахнущими прелестями продвинутой цивилизации западного типа.

Следует исходить из аксиомы, что нравственность — врожденная вещь, заложенная в природе человека, но сильно зависящая от воспитания, почему и востребована этика в школе и в семье. Этика, правильно построенная и правильно преподаваемая, будет плодоносить в душе и разуме ребенка, как зерно в благодатной почве, и послужит мощнейшим импульсом нравственного саморазвития личности на основе врожденных душевных слагаемых нравственности, таких как совесть и добродетели.

Не угодно ли исторический пример? «Какие были люди!» — можно услышать не только из дамских уст восторженный возглас по адресу людей чести из дворянского сословия образца XIX века. Главнейшая отличительная черта классического человека чести, придающая всей личности чарующее благородство, есть честь, функционирующая в крепкой связке с совестью и с добродетелью по имени честность, блокируя собой в душе и сознании бесчестность и лживость, чья злая и разрушительная сущность так хорошо заметна в наш информационный и сверх всякой интеллигентной меры лживый век. Вы не задумывались, откуда столько лжи и как с ней бороться?

Лаконичное базовое определение чести гласит: честь есть нравственное достоинство человека, представленное добродетелями человека и сознаваемое человеком как честь, по формуле чести: добродетели + сознание чести = честь. В формуле чести обязательны оба слагаемых, а это значит, что нет чести без сознания чести. И заметьте: сознание чести возникает вместе с правильным понятием о чести, которое надо прививать в детстве, чтобы воспитать человека чести, для кого честь дороже жизни и у кого в мотивации воли превалирует честность, несовместная с лживостью, и чувство долга, а долг исполняется как дело чести и как веление совести, равнозначное требованию нравственного закона, диктуемого совестью как ***руководящая правда***.

Классическое русское дворянство, представленное в своей лучшей части людьми чести, как вы знаете, сделалось создателем и носителем классической русской культуры и придавало человеческое лицо государству как правящая элита, увы, уничтоженная как класс в геенне 2-й русской смуты, отбросившей Россию назад в моральном измерении истории, зачистив людей чести в государственном аппарате, а это все-таки не «пушечное мясо», которое «деревенские бабы нарожают». Это сказано к слову не об уроках Октября, а в качестве образцово-показательного примера, являющего дефакто, какая мощь заложена в нравственном воспитании и в одном-единственном моральном понятии о чести, привитом в детстве.

Не вдаваясь глубоко в тонкие нюансы учебной программы, необходимой в настоящем как краеугольный камень будущего, который не следует отвергать строителям во избежание бумеранга и во исполнение права человека быть человеком, возьмите

в толк напрашивающийся в связи с дворянским примером вопрос: почему бы не прививать всем школьникам поголовно сознание чести и хотя бы хорошие манеры по испытанным методикам, практикуемым веками аристократией? Разве это невозможно? Разве это накладно для бюджета больше любого школьного предмета? Разве это не было бы очень хорошо для вашего ребенка и для всего общества? Но такое и в голову не приходит никому, от кого это зависит. А почему? Да потому, что элита и все общество не хотят заморачиваться моральным вопросом и не желают брать в ум, что он решается через систему образования вместе с проблемой нравственного воспитания и что его надо, наконец, уже кардинально решать, для чего в каждом развитом государстве есть все необходимое и достаточное: развитая экономика, развитая правовая система, развитая наука, развитые СМИ, индустриально развитый масскульт, развитая система образования, развитые мозги, проделывающие энтээровские чудеса.

Вдумайтесь без самообольщения: ***современное общество развито и переразвито во всех отношениях, кроме морального***. Это уже даже не смешно. Это нельзя оставлять как есть, ибо: всякая развитость общества бесполезна при его моральной недоразвитости: парафраз бесполезности всех реформ без моральной.

Внедрение в школах этики как основного предмета, преподаваемого во всех классах, — это первейший системный элемент моральной реформы общества, состоящей в создании таких условий в государстве, при каких нравственный закон беспрепятственно царит в сознании людей и естественным образом регулирует их жизнь, довлея в душевном (изнутри) и государственном (извне) механизмах управления.

Программа школьной этики, как и любого учебного предмета, системно двуедина по принципу: что и как преподавать, где «что» — это даваемые знания, а «как» — это методика преподавания, то есть учебные приемы и способы, какими знания вкладываются в голову.

КПД школьной этики наращивается по принципу разветвленной дисциплины, состоящей из основного курса, несущего базовое знание, и дополнительных курсов, таких как: этикет, история нравов и морали, этика права и гражданина, этика прекрасного и возвышенного, литературное зеркало нравов, учебная практика доброделания.

Программа основного курса застраивается лестницей, шагающей от смысловых азов, даваемых в младших классах, к вершинам и глубинам, разъясняемым в старших классах, и разбивается тематически по классам и четвертям, например: 2-й класс, четверть I — «Нравственность и мораль», четверть II — «Добро», четверть III — «Счастье», четверть IV — «Зло»; 3-й класс, четверть I — «Совесть», четверть II — «Долг», четверть III — «Дисциплина и воля», четверть IV — «Правда и ложь»; 4-й класс, четверть I — «Добродетели», четверть II — «Пороки», четверть III — «Честь и достоинство», четверть IV — «Заповеди». Это основной курс этики начальной школы, где 1-й класс — подготовительный и связывающий собой дошкольное и школьное воспитание.

При наличии фундаментальных разработок школьной этики как системы даваемых знаний, а таковые разработки есть (см. ссылку в конце статьи), остальная часть, связанная с разработкой методики преподавания и подготовкой к внедрению предмета со стартом в начальной школе, может быть сделана за год или два в основном. Точка отсчета указанного срока — момент создания в структуре РАО и где хотите центра с командой разработчиков из желательно лучших педагогических умов и спецов.

Такую реформу лучше делать быстро и резко, как Петр сделал свою невероятную революцию сверху посредством «Табеля о рангах».

«Моя истинная слава не в том, что я выиграл сорок сражений... То, что будет жить вечно, — это мой Гражданский кодекс», — резюмировал Наполеон свое участие в истории. Правовая реформа и создание правовой системы — это очень круто, но моральная реформа — это еще круче. ***Государство, которое первым начнет моральную реформу, станет культурным лидером мировой цивилизации.*** Глава этого государства встанет в один ряд с великими реформаторами и перво-наперво должен понимать необходимость моральной реформы и то, что она возможна только через систему образования на поприще нравственного воспитания, куда еще не ступала нога реформатора.

P.S. Сделайте это, Владимир Владимирович: исполните волю истории, проявив прозорливость и мудрость реформатора, ибо: ***во многой мудрости много морали****.*

P.P.S. Эй, кто-нибудь! Протолкните это на стол и в уши президенту, раз уж никаким другим путем ничего здесь не сдвинется с места.

Развернутое логическое основание открытого письма сего — здесь:
https://sites.google.com/site/vrematime/нравственный-закон
(Фундаментальная разработка учебной программы школьной этики)

Алексей ГРИГОРЕНКО

КОСТЬ РАЗДОРА

Малороссийские хроники

Исторический роман

ОТКУДА ПОШЛА УКРАИНА

Предуведомление редакции к «Малороссийским хроникам» Алексея Григоренко

Если вы хотите знать и понимать, что такое Украина и откуда она пошла, для такого знания и понимания будет мало даже родиться и вырасти на Украине. Вам потребуется для начала загрузить в сознание историю Украины из первоисточников и классических исторических трудов, а не из пересказов и интерпретаций истории идеологического, псевдополитического, мифологического, сказочного, басенного и прочего подобного свойства. Но и требуемого базового знания истории, будь вы хоть украинец, хоть русский, хоть американец, будет мало, если вы взыскуете исчерпывающего ответа на вопрос: что такое Украина и откуда она пошла? Это тот случай, когда весьма существенно проясняет дело художественная литература высокого качества, такая как предлагаемое вниманию читателей «Невского проспекта» эпическое полотно Алексея Григоренко под названием «Кость раздора» и с подзаголовком «Малороссийские хроники».

Автор убедительно и достоверно воссоздал в художественном слове выбранную им, по какой-то своей причине, историческую эпоху, а именно эпоху появления и формирования прелюбопытного исторического субъекта по имени Запорожская Сечь. Даже среди профессиональных историков мало кто может внятно объяснить, как вообще могла возникнуть та Сечь и что она собой представляла как живое историческое образование, воплощавшее в себе народный дух, будучи плоть от плоти народа, и ставшее, едва возникнув, живейшим участником большой истории, творящейся как судьба народов и национальных государств.

«Кость раздора» — это сказание о 2-й казацкой войне, занимающей свое место в череде войн между Запорожским войском и Речью Посполитой, охватывавшей тогда в своем составе Украину (до Днепра) и Белоруссию. Не помешает напомнить несколько исторических деталей фундаментального значения, в свете которых должна логически правильно восприниматься «Кость раздора», а коль скоро они прописаны во всех дельных учебных пособиях по русской истории, будет достаточно упомянуть о них предельно лаконично одним абзацем.

Спустя полвека после событий, художественно воссозданных нашим автором в его «Малороссийских хрониках», произошла Переяславская рада (1654), описываемая исторической наукой в русле крупномасштабных исторических процессов в таких терминах, как воссоединение Руси или воссоединение Украины с Россией, каковое воссоединение оставалось живой исторической реальностью три с половиной столетия, считая до распада СССР. Сие общее историческое бытие имеет корневой платформой Киевскую Русь, на базе которой в XII веке возникла Владимиро-Суздальская Русь с центром сначала в Суздале и вскоре во Владимире. Исторические пути Украины и России разошлись вряд ли тогда, когда образовались два центра Руси в Киеве и во Владимире. Развела нас на несколько веков наша общая историческая катастрофа, состоявшая в падении Руси под Орду в момент Батыева нашествия на Владимирскую Русь (1237-38), вслед за чем вся Русь, кроме Галицко-Волынского княжества, надолго стала, что называется, данническим

придатком мировой Монгольской империи, а точнее, улуса Джучи, именуемого на Руси Золотой Ордой. Самое сильное разорение от удара Орды по Руси претерпела Киевщина, имевшая в XII-XIII вв. многоговорящее самоназвание: Русская земля. Спустя века это второе имя Киевщины трансформировалось в Малороссию, а ближе к нашим дням — в Украину. После визита Батыя в Киев (1240) цветущая Киевщина, эпицентр древнерусской цивилизации, развивавшейся в ногу или почти в ногу с остальной средневековой Европой, погрузилась в так называемые «темные времена», характеризующиеся минимумом исторических сведений о том, что в них вообще происходило. Историческая тьма на Украине рассеялась, когда Золотую Орду сотрясла Великая замятня, воспользовавшись чем, великий князь Литовский Ольгерд отторг Украину от Орды по результату битвы на Синих водах (1362): возникло Киевское княжество в составе Великого княжества Литовского плюсом к Белой Руси, составлявшей этническое и цивилизационное ядро оного. В момент династического объединения Польской короны и Великого княжества Литовского (1386) под скипетром Ягайло, рожденного Ульяной Тверской, Киевское княжество вошло в состав мощного государства Ягеллонов, владычествовавших в Восточной Европе два века: 1386-1572. Исторической наследницей двухвекового государства Ягеллонов является двухвековая Речь Посполитая (1569-1795), исчезнувшая в результате разделов Польши между Россией, Пруссией и Австрийской империей, а точнее говоря, Польшу расчленили три правящие династии: Гольштейн-Готторп-Романовы, Гогенцоллерны и Габсбурги-Лотарингские.

Напомненных в предыдущем длинном абзаце исторических подробностей будет достаточно для того, чтобы теперь сфокусировать мысленный взгляд на историческом моменте явления на авансцене общерусской истории колоритной исторической фигуры по имени запорожский казак (или козак, в транскрипции, предпочитаемой автором «Малороссийских хроник»). Запорожский казак — это тот, кто делал нашу общую, русскую и украинскую, историю на историческом юго-западе Руси в первой половине XVII века: 1595-1654, считая от веховой 2-й казацкой войны, воссозданной Алексеем Григоренко в «Малороссийских хрониках», до веховой Переяславской рады. Запорожский казак — это главный персонаж и вполне эпический герой публикуемого произведения.

«Кость раздора» — тяжеловесная конструкция, требующая от читателя умственного труда, как и всякая дельная книга, касающаяся фундаментальных вещей и ухватывающая их самую суть, тем самым принципиально дистанцируясь от всякого рода занимательных россказней на исторические темы на конвейерах масскульта и от софистического ля-ля-ля, имея в виду всякую-разную псевдофилософию и псевдопубликистику на тему истории, не считая лженауки вроде той, что попадает кое-где в школьные учебники. Если вы хотите понять, что такое Украина и откуда она пошла, такая книга, как «Кость раздора», поможет вам в обретении этого понимания получше большой кипы околонаучной литературы средней руки и масскультовой беллетристики, если только у вас хватит усердия ее осилить и если вы имеете элементарные базовые знания по предмету общерусской истории.

В N5 «Невского проспекта» публикуется 1-я треть «Малороссийских хроник» Алексея Григоренко, в которой неспешно развертывается объемистый свиток повествования как погружение в историческое прошлое, в событийность эпохи, в быт ее и в психологию героев. В N6 НП планируется 2-я треть книги, а в N7 — 3-я треть, в коей сказание о 2-й казацкой войне достигает эпической высоты и местами звучит как песнь в жанре исторического эпоса.

ИСТОРИЧЕСКОЕ МОЛЧАНИЕ

Предуведомление автора

Пантелеймон Кулиш в книге «История воссоединения Руси» подводит довольно горький итог, рассуждая о начальных козацких войнах в Речи Посполитой, приведших через полвека к частичному краху как самого государства — утрате Малороссии, так и окончательному исчезновению Польши с политической карты тогдашнего мира — в результате 3-х разделов XVIII-го столетия:

«Два только источника существуют для истории 2-го козацкого восстания (1-е — под предводительством гетмана Криштофа-Федора Косинского, 1593 г. — А.Г.), *Гейденштейн и Бельский, да и те во многом противоречат один другому. Притом же оба эти источника суть свидетельства стороны противной, и потому мы не имеем никакой возможности исполнить правило: audiaturet altera pars. Вообще это важная потеря для русской истории, что украинские козаки, эти главные деятели торжества Руси над Польшею, оставили по себе так мало памятников своей деятельности. Кровь их пролилась, как вода на землю, и не оставила даже пятна по себе. Энергический дух их отошел в вечность, не заградивши уст хулителям своим; а их потомки лишены*

утешения слышать посмертное слово предков, каково оно ни было. И вот мы разворачиваем чуждые сказания о нашем былом и устами исторических врагов своих поведаем миру понимаемые до сих пор двусмысленно, сбивчиво, часто крайне нелепо дела героев равноправности» (П.А. Кулиш, «История воссоединения Руси», т. 2, стр. 117, СПб, 1874).

Пожинаем же эти плоды исторического молчания народа: даже само имя собственное героя нашего повествования, гетмана и предводителя 2-й козацкой войны Наливайка, текуче, непостоянно и вариативно. Так в трудах и первоначальных изысканиях знаменитых историков XIX века имеем такую картину: анонимная «История Русов», приписываемая архиепископу могилевскому Георгию Конисско-му, и Николай Маркевич называют нашего героя — Павло; Владимир Антонович и Николай Костомаров — Семерый;

Боркулабовская летопись — Севериня; тот же Пантелеймон Кулиш — Семен; другие источники, включая Википедию, соцписателей вроде Ивана Ле и марксистских историков уже несуществующего СССР, — Семерин, Северин и даже Северий (вполне на древнеримский манер — если сделать ударение на 2-м слоге).

Так как же все-таки звали нашего героя? Ответом будет все то же молчание.

Я писал не историческое исследование, но роман, потому из всех вариантов избрал имя героя согласно анонимной «Истории Русов», с опубликования которой в начале XIX столетия и началось заинтересованное изучение образованным обществом далеких исторических событий Малороссии, давным-давно к этому времени интегрированной в процесс общерусской истории, общерусской политики и общерусской культуры. Потомки отважных воителей за свободу, правду и святоотеческую веру, о которых и рассказывается на этих страницах, стали мирными «гречкосеями» и мелкопоместным малороссийским дворянством со своим благодушным, зачастую химерным мирком, вошедшим в русскую литературу тщанием Н.В. Гоголя, предки которого — Лизогубы и Гоголи — тоже в свою очередь были отважными и заметными фигурами в давней военной истории края. Николай Васильевич не устоял перед искушением составить всеобъемлющий исторический свод*: «Историю Малороссии я пишу всю от начала до конца. Она будет или в шести малых, или в четырех больших томах»* (письмо к М. Максимовичу от 12 февраля 1834 года. Такая самонадеянность и безоглядность, вероятно, свойственна только лишь юности — Гоголю 25-ти лет), но уже к 6 марта того же года, т.е. всего через 24 дня, наступает отрезвление: писатель столкнулся все с тем же историческим молчанием — практически полным отсутствием достоверных материалов, о чем он сообщает в письме И.И. Срезневскому, и — отступил... *«Я к нашим летописям охладел, напрасно силясь в них отыскать то, что хотел бы отыскать. Hигде ничего о том времени, которое должно бы быть богаче всех событиями. Народ, которого вся жизнь состояла из движений, которого невольно (если бы он даже был недеятелен от природы) соседи, положение земли, опасность бытия выводили на дела и подвиги, этот народ...* (тут Гоголь отчего-то прервал свою мысль, — но мы сегодня, через без малого 200 лет, можем поразмыслить все же о том, о чем в некоей печали и разочаровании не договоривает писатель, — А.Г.) *Я недоволен польскими историками, они очень мало говорят об этих подвигах; впрочем, они могли знать хорошо только со времени унии, но и там ни одного летописца с нечерствою душою, мыслями. Если бы крымцы и турки имели литературу, я бы был уверен, что ни одного самостоятельного тогда народа в Европе не была бы так интересна история, как козаков. И потому-то каждый звук песни мне говорит живее о протекшем, нежели наши вялые и короткие летописи, если можно назвать летописями не современные записки, но поздние выписки, начинавшиеся уже тогда, когда память уступила место забвению. Эти летописи похожи на хозяина, прибившего замок к своей конюшне, когда лошади были уже украдены...»*

Так и неосуществленный шеститомник (или четырехтомник) преобразовался в «Отрывок из истории Малороссии» и в статьи «О малороссийских песнях» и «Взгляд на составление Малороссии», вошедшие в сборник «Арабески», ну и, конечно же, в бессмертную повесть «Тарас Бульба».

У Гоголя — оставались исторические и героические песни, туманные свидетельства, больше похожие на мифы и апокрифы, полученные из третьих-четвертых воспоминаний по восходящей от долгожителей козацких родов Гетманщины, которым прадеды что-то такое рассказывали, пока они сидели мальчонками под столами в крестьянских хатах. Что же имеем мы, насельники XXI века, кроме печальных известий о том, что сегодня происходит на Украине?..

Отступить ли и нам, как некогда отступил Гоголь? Или все же попытаться преобразовать художественной догадкой, метафизическим прозрением это историческое молчание, эти жалкие крохи известий, обрывков и лоскутов «чуждых» и «вялых» летописей, в которых высверками, на сущее мгновение, появляются

зачастую исполинские фигуры нашей безъязыкой истории, мужественные лица людей, каковых больше нет и, вероятно, больше не будет, которые в неустрашимом дерзании и безоглядности закладывали основы нашей противоречивой, драматичной и зачастую трагичной истории, которая до сей поры происходит с каждым из нас. Но все начиналось — с молчания и мглы канувших, прошедших веков. Нам уже не услышать тех песен, которые так любезны были сердцам Гоголя и Максимовича, но мы все же — дерзаем *«понудить себя на художество»* — по слову древнерусского северного святого преподобного Кирилла Челмогорского, — ибо другого выбора у нас нет.

В своей многолетней работе над текстом я использовал все доступные мне источники, хроники и поминания, как русские (под этим именем я разумею триединый по моему убеждению народ — в сегодняшней терминологии: русских, украинцев и белорусов, в терминологии же описываемой эпохи конца XVI столетия — московитов, русинов и литву), так и польские, но и в совокупности достоверный исторический материал весьма скуден, потому более всего я полагался на свою историческую интуицию, за возможные переборы и сгущения которой я заранее прошу прощения у читателя. Но в целом — даже не Павло (Северин) Наливайко является главным героем повествования, но то эпохальное событие конца XVI столетия, до основания потрясшее все общество Речи Посполитой, включая и поляков-католиков, расколовшее на более чем четыре столетия украинский народ и принесшее неисчислимые беды, — Брестская уния 1596 года, названная полемистами XVII столетия настоящей *костью раздора*, разорвавшая единое до того духовное средостение народа Юго-Западной Руси, который позже назывался черкасами (по наименованию крепости на Днепре), козацким народом, русинами, малороссами и затем уже украинцами. Развитие этой темы, быть может, с некоторым публицистическим заострением читатель найдет в примечаниях, разбросанных в тексте. Там же помещена и достоверная краткая информация об исторических деятелях, помянутых на страницах романа, и отчасти о последующих событиях, произошедших уже за хронологическими границами этого повествования.

Отдельно надобно сказать о «Записках Арсенка Осьмачки», ставших неотъемлемой частью наших «Хроник». Они были обнаружены мною в древлехранилище Свято-Успенской Почаевской лавры в середине 1990-х годов прошлого века и требуют нескольких пояснительных слов для сегодняшнего читателя. Волею судьбы и сложившихся обстоятельств киевский бурсак конца XVI столетия, отягощенный схоластическим богословием и обрывками разнообразных познаний, не свершил свой жизненный путь, как тысячи его однокашников, затерявшихся в бескрайних просторах и бесчисленных селах Юго-Западной Руси, сегодня называющейся Украиной, где они научали грамоте козацких и селянских детей, сочиняли драматические и комедийные тексты для вертепных театров, колядки и песни, ставшие со временем основой «красного виршевания» и «красного письма», т.е. будущей литературы этого обширного и благодатного края. Некоторые из однокашников Арсенка стали со временем епископами и были призваны на служение российскими императорами, а прежде царями, на внутренние российские кафедры — в Архангельск, в Тобольск, в Ростов, где лучшие из них просияли чудесами и святостью и до сей поры почитаемы в общерусском сонме святых. Кто не знает великих имен святителей Димитрия Ростовского, Иоанна Тобольского, Иоасафа Белгородского, — а ведь они вышли из тех же стен малороссийских бурс-семинарий, что и наш летописец Арсенко Осьмачка, — только он опередил их на столетие, и Промыслом Божиим ему было суждено другое свидетельство, которое ныне развернуто перед благосклонным читателем.

Тютчев сказал: «*Блажен, кто посетил сей мир / В его минуты роковые*», — в случае с нашим героем, а его «Записки» начинаются с 1593 года и завершаются 1635 годом, это были во всем судьбоносные времена для Юго-Западной Руси-Украины — усиление католического прозелитизма над православными землями, массовый переход в католичество русских и литовских дворянских родов; сползание почти всех тогдашних русских епископов к мысли о подчинении Римскому престолу, посредством которого, как им казалось, Юго-Западная Русь *«войдет в семью европейских народов»*, — как говорится теперь, а тогда благая покорность Риму мыслилась избавлением от бесконечных притеснений со стороны оголтелого короля, ставшего игрушкой в умелых руках ордена иезуитов, и правительства, — закончившееся печальной Брестской унией 1596 года; противостояние козачества и простого поспольства колебанию епископов и окончательному закабалению панством, вылившееся в две первые козацкие войны, — во второй из них наш Арсенко Осьмачка принимает деятельное участие вплоть до трагического и страшного разгрома повстанцев в Солоницком урочище над Сулой, недалеко от Днепра. Принимает он и косвенное участие в событиях и итогах церковного собора в Бресте осенью 1596 года, оформившего окончательно унию с Римом и подчинившую на четыре века часть Русской церкви под папскую туфлю;

участвует в походе козацких отрядов в составе армии короля Сигизмунда III Вазы в Московию уже во времена Смуты российской, — мы находим его в осаде под стенами Троице-Сергиевской лавры, в осаде Переславля, он грабит с козаками и польскими жолнерами древний Ростов; затем, когда Смута в Москве завершилась, он принимает некое участие, по крайней мере как пристальный самовидец, в возобновлении иерархии Православной церкви гетманом Петром Конашевичем Сагайдачным и Иерусалимским патриархом Феофаном, и о том оставляет интересные заметки и записи в одном из своих письмовников... В 1635 году мы находим его в иноческой келье Никольского Самарского пустынножительного войскового монастыря, построенного запорожскими козаками для престарелых сечевиков, где старики, уцелевшие по воле судьбы в прежних походах и войнах, замаливали прегрешения своей молодости, а наш Арсенко систематизировал и продолжал письмом то, чему он некогда был самовидцем. Наш летописатель не дожил, по всей видимости, до Хмельниччины — Великой козацкой войны 1648-1654 годов, в корне изменившей геополитическую обстановку в тогдашней Европе и на века соединившую в единое государство Юго-Западную и Северо-Восточную Русь, Малую и Великую Россию, но и того, чему он стал свидетелем, много для жизни одного человека.

Конечно, я до сего дня не разобрал еще полностью десятков письмовников и разрозненных тетрадей, попавших в мои руки в Почаеве в 1990-е годы, — многие из них безжалостно объедены сотнями, а может быть, и тысячами поколений мышей, что-то размокало и не раз высыхало, превращая древнюю бумагу в сущие пепел и прах, какие-то крупные фрагменты и вовсе выпали из груд трухлявой бумаги, в самой «Хронике Луцкой», часть из которой я расшифровал к этому времени, вообще зияет обугленная дыра от *«злой пули жолнерской»*, эта «Хроника» спасла Арсенка от смерти в Солоницком урочище в начале лета 1596 года и дала ему лишних 40 лет жизни, как пишет сам автор о том... Вторая часть «Хроники Луцкой» мною еще не разобрана и не расшифрована, но надеюсь все-таки в свой срок ее завершить, — там рассказано о событиях, произошедших с нашим героем уже после 1596-го злосчастного года.

Интересна и загадочна судьба самих этих «Записок». И здесь не обойтись без краткого рассказа о драматичной во многом судьбе монастыря, где была обретена эта рукопись. Самарский Николаевский пустынножительный монастырь основан запорожскими козаками как богадельня для престарелых сечевиков в 1576 году, неоднократно дотла и до основания его разрушали — во время Хмельниччины — русско-польской войны в 1650-х годах; затем — в 1688 году; в 1690 году монастырь постигло очередное несчастье: почти все насельники и большая часть жителей монастырской слободы погибли от эпидемии, после которой монастырское имущество, в том числе и архив, были уничтожены. Но рукопись Арсенка Осьмачки уцелела тогда, будучи предусмотрительно закопанной, по всей вероятности, им же самим в подклете деревянного храма Кирика и Иулиты — храм этот ныне не существует. В 1709 году в очередной раз монастырь был разрушен из-за гетмана Ивана Мазепы во время русско-шведской войны, — изменника поддержали запорожские козаки. В 1711 году монастырь уже был разрушен татарами. К 1739 году монастырь был полностью обновлен и вернул себе значение религиозного центра Запорожских земель, или *вольностей*, в терминологии той эпохи — при монастыре существовали школы и больницы, а численность крестьян и вотчинников достигала 500 человек. Монастырю принадлежали слобода Черненная, четыре хутора, озеро Соленое и речка Протовча, мельницы и пасеки, в общей сложности 18698 десятин земли.

В Самарской обители принимали постриг, умерли и были похоронены многие запорожские старш*и*ны: кошевой атаман Филипп Федоров, войсковой толмач Иван Швыдкий, войсковой писарь Дмитрий Романовский, войсковой судья Моисей Сухой и другие. Где-то в безымянной забытой могиле здесь пребывают и кости автора этих «Записок». За колокол, весом в 169 пудов 22 фунта, приобретенный в XVIII веке, запорожские козаки выложили огромную по тем временам сумму — 8320 рублей 90 копеек, колокольня же, возведенная в 1828 году, считалась самой высокой на Украине. Долгое время в монастыре сохранялись главная святыня монастыря — чудотворная Ахтырская икона Божией Матери и чтимая икона святителя Николая, патрона и покровителя обители, и четыре запорожских креста. Сегодня судьба этих реликвий неизвестна. В 1930-м году колокольню взорвали, братию выселили и расстреляли, Никольский собор перестроили под театральный зал, сам монастырь обратили в дом инвалидов. После войны обком партии Днепропетровска принял решение организовать здесь дом для престарелых металлургов. Дом-богадельня обзавелся большим хозяйством, и началось строительство разных пристроек в стиле «сталинского ампира», при этом весьма пострадали прежние монастырские постройки. Во время строительства и добыли на свет Божий замшелый проржавевший сундук, набитый истлевшими бумагами. Так как запорожского золота в сундуке не нашли, хотели было содержимое его

сжечь ясным коммунистическим пламенем, да в последний момент решили отправить в исторический музей Днепропетровска, носящий имя историка Дмитрия Яворницкого, который оставил потомкам фундаментальное трехтомное исследование «История запорожских козаков». В 1960-е годы в монастыре устроили интернат для психически больных девочек. С 1994-го года здесь возобновилась монашеская и церковная жизнь.

Нельзя сказать, что к разбору рукописей Арсенка Осьмачки никто не приступал, но у одних исследователей не хватало квалификации, других бдительные надзорные органы отстраняли на всякий случай из-за подозрения в украинском национализме, в конце концов в 1970-е годы так и не разобранные рукописи Арсенка Осьмачки из музея, ввиду реорганизации залов под диораму «Битва за Днепр» и последующего перепрофилирования под мемориал Л.И. Брежнева, днепропетровского партийного бонзы в 1930-х годах, а потом генсека и четырехкратного Героя несуществующего уже СССР, были переданы в Почаев, но и в тамошней Лавре некому было разбирать и рассортировывать эти груды слипшихся и истлевших листов, где они пролежали в забвении еще 20 лет. В начале 1990-х годов, когда я впервые приехал в Почаев для участия в Почаевской международной религиозной конференции, собранной тщанием Георгия Шевкунова (ныне митрополит Псковский и Порховский Тихон) для противостояния униатской агрессии на Западной Украине, монахи, прознав о том, что я составляю некий свод под общим названием *«Малороссийские хроники»*, предложили мне попробовать разобрать этот архив и хоть что-то оттуда использовать. Выражаю им особенную признательность.

Сделаю и несколько замечаний по стилю «Записок». Понятно, что мне пришлось их практически переводить со старорусского на современный язык. Бурсацкая и схоластическая закваска лексики хрониста и виршетворца конца XVI столетия, нагромождение латинских, церковно-славянских и польских выражений и слов порою зашкаливали, и я безжалостно резал и выжигал длинноты, псевдокрасоты и славянизмы «Записок», упрощая и уплощая язык автора, дабы сегодняшний досужий любитель литературы мог хотя бы отчасти понять то, о чем он нам хочет поведать, своим «читателям и друзьям будущ*и*ны», по его же терминологии. Само собой разумеется, что мне пришлось не только упрощать язык Арсенка Осьмачки, но и несколько беллетризировать текст, делая его удобным и связным для досужего чтения современного человека, с присущими ныне всем нам фрагментарностью и клиповостью мышления и восприятия (или, по слову литературного критика Сергея Чупринина, «фейсбучностью» нашего сознания).

И последнее — об этнической терминологии. Народы, населявшие Речь Посполитую, а также жившие по соседству, назывались вовсе не так, как теперь. Поэтому, предваряя законное недоумение читателей, укажу историческое, а затем — современное наименование народностей, о которых поминается на этих страницах:

русские, русины — *малороссы, затем украинцы;*
литовцы, литва — *белорусы;*
московиты, *москва и производное от «москвы»* **москали** — *русские, россияне;*
жмудь — *литовцы, жители сегодняшней области Жемайтия и в целом Литвы;*
жиды — *евреи...*

(Приходится особо артикулировать на термине этом ввиду ранимости определенной части нашего общества и напомнить, что *жид, жидовин* и прочие являются производными от польского *Zid*. И в прошлом, и в настоящем — это официальный термин в польском языке и в литературе. Никакого другого обозначения *еврея* нет в Польше. Термин и слово не несут никакой эмоциональной нагрузки и пренебрежительной окраски, как может показаться кому-то, и *используются во всех официальных документах* Польской республики до сего дня. Для русского уха, может быть, звучит не очень хорошо, но такова историческая реальность, которой мы следуем.)

ляхи — *поляки;*
османы — *турки;*
волохи — *румыны и молдаване;*
угры — *венгры.*

Одни только татары так и остались татарами.

Картина 1. ЧЕРНАЯ РАДА, ЧИГИРИН, 1594

Мягкий, желт, как липовый цвет, медок на дне кухля. Цедя глоток за глотком, он отчего-то припомнил деда своего прозвищем Наливая, осавула при Шахе еще, знатного пияницу-питуха той славной, сгинувшей ныне козацкой поры. Улыбнулся в усы, не отнимая кухля от пересохших уст, — хлебал дедуган чиколдуху-мокруху вволю, однако и справу свою знал: пахал черноземлю и густо сеял хлеба, правил козацкий правеж, обустраивал родные пределы, и аулы крымские воевал, когда наступала войсковая страда, — с бою брал городки и глинобитные крымские крепостицы и на вечерней заре своей жизни дошел было до самой Кафы с летучим, легким стариковским отрядом — и в шестьдесят своих лет все еще молодечествовал Наливай, — в Кафе же и был страчен жестоко. Как липовый цвет к маковке лета...

Хорошо, не знали отец с матерью особицы лютой той казни: надрезали стариковскую кожу, стянули чулком, обнажив лиловые, все еще крепкие в старости мышцы, или по кусочку рубили пальцы, руки, стопы, голени, ноги, или еще что-то лютое придумали вороги в Кафе, — «Мне отмщение...» — и нам тоже — отмщение...

Павло прищурил на высокое солнце глаза.

Пусты небеса, глубоки. Словно неосяжное синее око с расчиненной в предвечной слезе Божьей зеницей. Ты видел, один только Ты и видел, как это было, — тлело в Павле, — и не спас старого деда моего, не вывел его из-под Кафы, — ему пришла пора умереть?.. Да, скорее всего это так, хотя нам, оставшимся до поры на земле в этом вот текучем, изменчивом времени — не примириться со знанием этим, как не примириться с другими смертями, не привыкнуть к ним никогда. Жаль только, — думал Павло, — что сыновья (и мой отец среди них) не дознались про то ничего: весь престарелый и в старости легкий как пух дедов отряд разметало под глинобитными стенами Кафы. Как пороховой дым, когда прогремит выстрел и с воем каменное ядро полетит туда, куда пушкарь целился, — двинется тугой ветер невидимым сильным плечом, и следа от дыма не останется никакого. Так и от нас, и от наших забот, от нашего подневольного и вольного делания, — что останется?

А началось — с пасхального разговения. Запекли женщины дома порося к Великодню, выставили ведро чистой хлебной горилки, — и разговелся на славу от брюха дед Наливай после великопостных молитв и трудов, после пуда соленой капусты и пуда соленых же огурцов, — плеснул через край в московитскую полоненную некогда братину из черненого серебра, взятую в давнишнем набеге на пограничный с Речью Посполитой городок Рыльск, — со стола воеводы и смел ее в свою дорожную торбу, — и заманулось деду Кафу на приступ попробовать, — ласковый шелк, душистый османский табак, звонкие пиастры и румяные дукаты повабили деда. О, хлебная эта горилка, прозрачная, как слеза, — затуманила ты око старого Наливая!.. Сыны с вервием бросились деда вязать — да куда там, справишься разве? Был бы чужой — успокоили бы кулачищами да плашмя саблею в лоб неразумный, а на батька — мыслимо ли руку подъять? Разметал сынов по кутам: чуть ли не гикнул страшное слово проклятия «я вас породил — я вас и убью!», цыкнул страшно, вывернув набряк-ший яростью глаз. Знали они этот погляд — пощады не жди. Свистнул соседских дедов — из поредевшей от времени и войны наливайковской сотни:

«Покажем, панове, сим недоумкам, ни на что не пригодным, як Кафа аллаха свого благае за жизнь!..»

Дед Сиромаха, дед Выпывайло, дед Миняйло, дед Бастрюкайло, дед Выверникожух, дед Крыса, дед Червонець и иншие с ними деды, — и дед Наливай-осавул, — помни же их имена.

Сладок мед, но горько в душе. Пуст окоем и затаилась земля. Полуденный ветр ласков и шелковист, как трава. В знойном мареве висят черные птицы. Скоро им будет корм и пожива. И здесь я тоже не властен, думал Павло, разве я вольно выбираю войну? Прежде — дед Наливай. И я простил ныне Кафу, хотя в том бою с сыновьями его, моими дядьями, я сидел под тем пасхальным столом, что трещал от ударов их ног и рук, и помню, как ошметки поросячьего мяса сползали со стены, — я простил, когда старое и родное тело его разъяли среди равнодушного татарского говора на площади Кафы, а с ним — и тех дедов-добровольцев, кто не погиб под стенами от пальбы и был взят в полон. Никто не знает, чего это стоило мне. Трудно и невыносимо вот это: «*Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи человеколюбче...*» — хотя чистой беззлобной детской душой, в козачатах еще, поклялся пройти дедов путь через Дикое поле и устроить поминальную тризну в той клятой Кафе... И замирился ныне с ханом на том, чтобы ясырь в пограничье не брал, — да чего стоят ханские обещания?.. Потому что где ему его еще брать, как не на наших землях? Знаю, знаю, братья мои, что ненадолго все это, потому что без живого товара оскудеет этот Богом отринутый Крым. Но мне нужно отдохнуть и собраться, всем нам — отдохнуть и собраться, потому

что грядет с другой стороны другая беда...

Он допил последние тягучие капли, утер уста рукавом и наклонился с седла, протягивая кухоль безродной девчонке, вынесшей ему из нарядной мазанки-хаты утолить дорожную жажду.

«Спасибо, доню...» — сказал привычно, забывая уже и медок, и ее самое, и ждущие чего-то глаза, глядящие на него неотрывно. Голубые и чистые.

Он и названия цвета такого припомнить не мог, — загрубела, как невыделанная шкура, душа у него за белесым, жарким огнем пылающих сел, за многой кровью, прибывшей за недолгий век его на земле. Разве что в храме, во время высокой и пронзительной литургии, наступал мир и упокоение в душе у него, — и светлела печаль, и все то, что лежало за каменными церковными стенами, обретало название, место и смысл, — и тогда, неведомо как, душа будто стремилась к истоку, и близилось детство из памяти, из черной бездны его одиночества и молчания, — голубое, чистое, светлое, — и он знал, как жить ему дальше, но и не жил, когда выходил на паперть, привычно и уже отстраненно бросая несколько шелягов в черные ладони нищего-жебрака. И отъезжая от храма, оставляя за спиной густой гул благовеста, думал уже о насущном и неотложном, в котором предстояло прожить и выжить и где уже не находилось места высокому этому: *«Ненавидящих и обидящих нас прости...»*

И теперь осадил внезапно коня, крутанул его вправо и наклонился, грозовой тучей навис над девчонкой, глядя ей прямо в бездонную черноту кружалиц-зрачков:

«Чья?» — помедлив, спросил.

«Сирота, — сказала она, — со вчерашнего».

Глаза ее были сухи.

«Так плачь же!» — негромко сказал.

Она в отрицании повела головой.

Она была еще сущим ребенком, девчонкой, — что там она понимала в этом вот мире? Но уже была частичкой народа. Его — разноликого, странного, непокорного — народа со всем присущим ему добрым, злым, глупым и высоким, смешанным во единую взвесь.

Он удивился бы, если бы она заплакала.

Должно быть, сильно тогда хлестнул он коня, потому что, обернувшись в дороге, увидел темный запекшийся рубец на крупе, — так хлестнул, словно движение в окружающем его душу пространстве могло стереть эту девчонку с земли и из памяти, но он знал в себе глубоко, что теперь ему уже никуда не уйти от ее молчаливого взгляда, как и ей не уйти от своей неисповедимой сиротской судьбы, — и ее безымянное подорожное имя сливается неотступно с прозвищами тех давних дедов из его малолетства, сложивших неразумные головы под стенами Кафы, и с именами сотен и сотен других, ставших попранным прахом, разметанным по широким безгласным степям.

«Ненавидящих и обидящих нас...»

На чигиринской белопыльной дороге, в скляной затаившейся и обманчивой тишине, в кромешном окрестном безлюдье, его обступали безотчетные думы, сгущающиеся прямо из застывшего полуденного воздуха. Душа будто грузнела и в тяжести каменела. Он предчувствовал, что и как будет на черной раде в Чигирине, куда стекались козацкие полки и войсковая старшина. Путь на Черкассы был перекрыт. Жолнеры польного гетмана пана Жолкевского стояли на шляхах и тропинах правого — Русского — берега, встречая коегождого всадника мушкетной пальбой, хотя, как извещали лазутчики, гетман отдал наказ брать живыми пытающихся пробиться к Черкассам, бить батогами и с кручи сбрасывать в Днепр на потеху. Но жолнеры были ленивы ловить и вязать — легко ли сказать, без пальбы, силой одной остановить конный вооруженный загон, идущий наметом к верхней столице Запорожского войска?.. Вот и стреляют свинцом из мушкетов, отгоняя и побивая тех неразумных, кто не знает еще оповестки полковника Лободы.

Павлу перед выездом в Чигирин хотелось побыть одному — он знал от доверенных, что предложится на раде в сиротском безгетманстве их, — и потому джур своих он отправил другою дорогою. Был ли готов? Он не знал. Потому что предстоящее дело отличалось от привычных забот, как дюжий добытчик-степняк отличается от хлопчика-козачонка. И в этом отныне, от достигаемого Чигирина, жить ему и трудиться, нынешнему генеральному осавулу, Наливаеву внуку. И, скорее всего, умереть. Мысль о смерти — смутная, солоноватая и в меру тяжелая — не пробуждала в нем страха, не тяготила болью от неизбежности. Никто из живущих в этих пределах от края до края не мог припомнить — за чаркой ли, в долгом походе или на промысле — ни единой покойной в старости смерти козацкой. Не водилось такого, хотя люди — братья, соседи по времени и по заботам любили грешный сей свет, любили землю, на которой они родились для тяжкой хлебной работы и жатвы. Кто из них хотел умереть по воле

своей? Разве что сиромаха безродный. Но так получалось, — и с этим ничего нельзя было поделать. Это знал каждый воин, который в затишье ходил за сохой, вспарывая черноземные душистые недра, это знала каждая женщина, носящая под сердцем ребенка для жизни, чтобы в три малых годка посадить младенчика, обряженного в первые свои шароварцы и в крестильную рубашонку, на теплый круп войскового коня за широкую отцовскую спину и втайне молиться за сына, за мужа — чтобы подольше их смерть не брала... И каждый из них, людей народа его, посполитых и войсковых, был равно готов как жить, так и умереть. Смертью ненапрасной и славной для остающихся жить. Потому что нет смерти, когда за тобой в этом сверкающем и удивительном мире живого остается твое доброе, за что отдана твоя жизнь, и остаются те, безмерно любимые, коим ты дал жить в счастье и тяжести времени дней... Может, кто-то продолжит твое дело, пройдет до конца твой путь до цели, до которой ты не дошел. Да и как же иначе, если сыновья, подрастая уже зачастую в сиротстве, знают от материнской утробы те две работы, которые знаешь и ты: хлебопашествовать и воевать, — когда с низовьев Днепра, от Сечи, медной пеной докатится до окоема круглый, как ядро, стон колокола войскового. Так нечего здесь судить и страшиться. Божий промысел на все твои дни, ему и доверься с молитвой. И если судьба тысячеусто избирает тебя на святое служение христианской войны — радуйся, свете, за честь, и сражайся без страха.

Глядя в буерачные степи, где стояло в рост человека дурманное, раскаленное зноем цветастое разнотравье, Павло мог только догадываться, сколько всего видели эти места, как и прочие. Но молчит, от века немая и скорбная, эта земля, дававшая силы прадавним ратным и воям ее. Было ли так?.. «Как жить мне, Мати моя?..» — глубоко в себе, не раздвигая пересохших от степного дыхания уст, вопросил он, — и вдруг ощутил, как встает в нем малиново пламя, словно бросовую солому ожигающее внутренности, и как огненная течь взвихренно поднимается до головы, охватывая ее раскаленными обручами. Он осадил коня, качаясь, как пьяный, в седле. Высвободил ступню из среброкованого стремени и на мягких, подгибающихся ногах, удивленный немало слабости внезапной своей, ступил в раскаленные жесткие травы, раздвигая лицом мохнатые пыльные листья и тяжелые грозди желтых цветов. Солнце валилось с небес белым невыносимым огнем, что смыкался с малиновым пламенем, изнутри жгущим. Пал на колени, уже услыхав и поняв, что сказала ему безгласно земля. Уткнулся лбом в нее, горячую, жесткую и до боли родную, заплющил глаза, чтобы былинки, цветы и копошащиеся в травах комахи не увидали сухих его слез: да, так и жить тебе ныне, козаче, под бело-малиновым пламенем запорожского стяга, — смирись и приими сей крест, — с ним и умри... И видел, различая в зернах земли, в сплетениях былок, в корнях травы, словно глаза его проницали пространства, — как смотрит издалека на него, сине и светло, с надеждой — Покрова Сичевая, чудотворная и великая войсковая икона, даровавшая не однажды перемоги над супротивными, — и шелестело, билось под сердцем, плавилось в воздухе предгрозовом:

«Скоро предвари, прежде даже не поработимся врагом, хулящим Тя и претящим нам, Христе Боже наш: погуби Крестом Твоим борющия нас, да уразумеют, как может православных вера, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче...»

Павло тяжело поднялся с колен, осторожно и боязно, словно до краев наполненную чашу, неся в себе отблеск далекого взора Покровы Сичевой. Бурьяны-будяки, сплетшиеся на пути, цеплялись за ступни и голени, опутывали сапоги до колен, враждебно не пуская его. Павло взмахнул нагайкой, взрезав, словно косой, плотную стену сорнячных стеблей, — несколько набрякших сорным и бесполезным семенем желтых головок упало на землю. Сцепив зубы до заушного хруста, он медленно шел к пасущемуся на обочине степного шляха коню. Паморочилось, темнело в глазах. Тронул затерпнувшей и бесчувственной ладонью холку его, хлопнул, лаская, по вороной, с серебристым отливом сильной шее. Фиолетово и крупноглазо конь покосился на господарчую десницу, понимая его. И уже до чигиринских пределов Павло не смотрел безгодно по сторонам, опаленный бело-малиновым пламенем, падшим в душу с небес. Думал уже о своем. Теперь был готов к предстоящему. Голова, не удручаемая прежде ничем, кроме как верней вывести битву или бой в приграничье, гудела от непривычных, необыденных мыслей. Так припомнилось Павлу все, что слышал он когда-то об иезуитском лазутчике прелате Кунинском, сверкнувшем сатанинским огнем в Варшаве и Львове лет тому много назад, еще при Сигизмунде II Августе; о занявшемся было зареве козацкого восставания и мятежа, — когда другой польский король, Стефан Баторий, насильно ввел для украинных русинов римское, еретическое в отступлении, исчисление лет от сотворения мира, затем благоразумно отмененное, дабы предотвратить гражданскую козацкую войну и всенародное сгинение и погибель державы Речи Посполитой. Сейм, собравшийся вскоре после того, подтвердил привилеями права православного люда, уравненного с людом подляшским. Но как было верить тем ко-

ролям, что сидели в Кракове и Варшаве, когда выходили в друкарнях книги Скарги Петра, вредоносные для легких и неукорененных умов письменной молодежи? Смотрел однажды такую книжицу в крамнице еврея, близ Киево-Печерской обители: «О единстве церкви Божией под одним пастырем и о греческом от сего единства отступлении»[1], — где отцы его и деды его клеймились отступниками и еретиками за неподчинение римскому папе.

«Ну шо, пан молодый, купляешь мыстецтво друкарськэ? — цеплял его жидовин. — Выдано в Вильне... Дуже гаразд...» Павло тогда бросил ту книжицу в бочку со ржавой селедкой, плюнул в лицо продавальщику и вышел из лавки.

«Что скажете, святые отцы?» — спросил он печерских чернецов, рассказав о виденной книге.

Старцы печерские только улыбнулись в ответ. Один сказал то, что запомнилось Павлу на всю жизнь:

«Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи человеколюбче...»

Другой же отговорился примерно таким, что у нас есть свой митрополит в Киеве, а в Константинополе есть и патриарх, — зачем же нам еще ихнего папежа?..

Уже после, пожив много лет, кое-что повидав, он понял, в чем таилась причина умолчания старцами истины, — мудрые и печальные в днях мира сего, достигшие в подвиге и молитве непредставимых духовных глубин, что светились сквозь сухую их плоть внятным светом, познавшие как чудовищные искушения душ и телес, так и всеобъемлющую к людям любовь, они по любви и по опыту не стали смущать его изложением богоотступнического раскольничьего учения, книжной латинской гордыни, — видели, как он молод, доверчив, не мудр и по молодости, по быстротекущим дням и заботам своим в веровании не утвержден, исповедуя едино обряд, — и *что* ему, завтра уходящему в далекий поход к порубежью, до столь тонких раздумий, как нарушение Символа Веры, или, допустим, что земной, во грешной и грязной плоти человек, называемый *папою* где-то, кто смертен, как всякая вещь на земле, может быть безошибочным в вопросах веры и смутных обычаев, ежели выступает как учитель всей Церкви, отрицая всечеловечью соборность. Да и что это значит — раздумье и размышление — в сравнении с безбрежностью и бездонностью живой, теплой веры?..

Из тех дней, проведенных в обители на богомолье, выпавших на его долю перед первым войсковым выступлением, запомнилось, как сладко-тревожно, что заходилось сердце и паморочилось в голове, пахло первое его снаряжение — скрипкая перевязь сабли, сработанная из прочной, выделанной любовно свиной кожи, новое, с блеском, седло — отцов трофей и надбанок, взятый в коронном польском обозе, солнечный клин хищно изогнутой сабли с разводами прозрачного масла, бесшумно входящий в среброчеканные ножны, — перед первым и страшным смертоубийством в бою султанова янычара, так не связавшегося с предыдущим, — что-то как бы сдвинулось в нем навсегда, когда под конским копытом плоско и сыро треснула только что снесенная турецкая голова с раззявленным в прерванном крике разорванным ртом, а он только немного спустя понял, *что* это было, — и все летел и летел со вздетой в низкое пыльное небо сияющей саблей в живой и гремучей атакующей лаве, в стуке и в громе копыт, в месиве криков и гнева, в стоне гудящей земли, будто несущей их на широкой, просторной ладони в вечность и упокоение от всего, — и только что зарубленный и растоптанный враг-человек, оставшийся далеко позади, замутнял и тревожил какой-то неизбывной виной отчаянную и легкую радость души, — эту первую смерть от себя Павло не спромогся забыть. Тогда же, в тех тихих и солнечных днях, случившихся, как глубокое чистое озерцо в сухой и безводной степи, в преддверии всей его жизни, он вынес тонко-тревожное и доныне болезненное чувство своего глубочайшего недостоинства и плотской греховности, удаленности от Христа и даже порой глубокой оставленности в беспробудном сыром одиночестве жизни, которое он ничем не мог утолить, — ни кровавой гульбой в чужестранных пределах, ни многодневным бражничаньем по возвращении на укрепленные днепровские острова, ни вымученными ласками полонянок, ни счастливой женитьбой и жизнью с чернокосой красавицей из-под Гусятина Ганной, родившей ему троих сыновей — Опанаса, Юрка и Тараса. Дни его жизни достигали зенита — приходила полнокровная, несколько горькая зрелость, опыт и мудрость. К ним копилось добро в сундуках, добытое пикой, секирой и саблей, реже — словом договорным со склоняющимися в покорности городами, — тонкие паволоки и с блеском шелка, тяжелые, шитые золотом плахты, венецийские воздушные хустки — для Ганны, а для него, для Опанаса, Юрка и Тараса — наборные уздечки и седла, пистоли с золотыми накладками, бьющие метко, и серебряные пороховницы, уставленные смарагдами и рубинами, да груда немалая полоненных сабель-домах, висящих без дела по стенам хаты и ждущих своего часа.

[1] «O jednosci kosciola Bozego pod jednym pasterzem i o greckiem od tej jednosci odstapieniu», Вильна, 1577.

Поставлены водяные млыны — на Жидувке, на Стыре, на Луге. Есть винокурня под Вишневцом. И на круче кормильца-Днепра, от дома подальше, в крепком дубовом бочонке, схваченном железными обручами, зарыты надбанки главных походов: дукаты, взятые в Порте, арабские золотые дирхемы с купеческих кораблей издалека, браслеты серебряные кованые, граненые, червонцы великорусского господаря и царя Ивана IV Грозного, византийские золотые, гнутые плошкой, и серебра — без весу и счету — сасанидского светлого, византийского темного, польского, крестоносного, разного... Ганна знала о кладе на Мушиной горе близ Терехтемирова, знала и на что потратить его, когда придет пора выкупать его из татарского полона или еще от какой-либо великой беды. И если бы все это собранное в походах и войнах грело или целило душу его — жить бы и жить. Пусть даже с войной, раздирающей судьбы и земли, — если написаны в предвечной Книге все эти горящие нивы. Ведь не он выбирал это время, плывущее, как высокие облака, над народом его. Выпало жить и страдать, веселиться и воевать, видя вокруг столько дыма, пожаров, смертей, сиротства и вдовства, — так и живет на этой земле, воюя на четыре стороны света, — и казалось ему, что время уже прочно забыть те давние, тихие и сосредоточенные, в меру печальные дни, проведенные в славной обители преподобных отцов наших Антония и Феодосия, когда до нутра содрогали его молодое и сильное тело, приуготовленное к войне, благовестные звоны малиновых колоколов, звавших к чему-то иному, надмирному, свершаемому таинственно в литургии, — и так непохожи на обычных людей, с детства привычных ему по волынским степным хуторам, были высокие и суровые чернецы, чей путь и чье делание не давались его разумению, но будили глубокое почитание.

Но до сих пор — в одинокой дороге куда-то, чему, как и прочему, завтра не будет ни памяти, ни доброго слова в душе, — тревожил его тот молодой и дюжий козак, стоявший на нескольконденном богомолье перед первым своим войсковым выступлением. Павло не мог почему-то забыть, отрешиться от себя самого, каким он был и вельми остался сейчас. Отрешиться и позабыть, — что-то временами шептало в душе, — и живи в полную меру, ты же богаче многих коронных панов, рыщущих жадобно по степям Руси-Украины, ты силен, ты могуч, ты с печатями осавул Запорожского вольного войска рыцарей низовых, что есть реальная сила и власть, — но забудь ту мару-вину, нет ее, но — печати, золотые дукаты, винокурня твоя... Тьфу ты, пропасть! — ругался Павло, отженая сатанину детель, что иссекала слабую и беззащитную душу его в шматы.

«Верно твориши, сыну, — сказал ему духовник Запорогов панотец Стефан на исповеди, когда неуклюже и со стыдобой Павло проговаривал свою необоримую муку и искушения детели сатаниной. — Празднуй сию вину недостоинства, ибо ею спасешься, если сподобит Господь...»

«Но как же жить, панотче Стефане? — недоуменно вопросил Павло. — Дайте раду...»

Потускнел тогда старческий взор древнего исповедника, бессменного сечевика и служителя у Покровы Сичевой, затянулся чисто-прозрачным слезьим стеклышком, и, помолчав, старец ответил:

«Помни о смерти, друже-козаче, и твори с молитвою свои дни, — даст тебе наш Господь милосердный умереть во славу Свою с покаянием... Ну, а там... свидимся в уповании...»

Ветхие дни исповедника, коего Павло в юности своей знавал еще в могучей телесной силе и здравии, подходили к своему завершению. И теперь, на белопыльном чигиринском шляху, в длящемся и столь бесконечно сиротском безгетманстве православного люда, ради чего он и правил на Чигирин, словно сквозь розовый и рассветный туман, затопивший белесо впадины и ложбины его первых дней на бескрайней груди Запорожья, встало перед взором его, как по оповестке прорвавшегося из вражьей облоги иссеченного козака, рухнувшего замертво с конского крупа на радном майдане, они поспешно выехали в степь к перехваченному крымчаками обозу, в котором, среди прочих, двигался к Запорогам с дальних отхожих треб на затерянных хуторах и зимовниках и панотец Стефан, коего Павло еще не видал, но о котором уже что-то слыхал в куренях. Добравшись до злополучного места, с края высокого урвища, круто спадающего в смарагдовую речную долину, они увидели полукольцо рассыпанных, частью уже пограбованных и распотрошенных возов, подле которых метались со ржанием лошади с обрывками постромков. Внутренность полукружья была задымлена густой кисеей пыли — оттуда доносились победные иноязычные вскрики и одинокий стук сражающегося оружия последнего живого защитника. По всему было заметно, что ордынцы напали внезапно, и шедшие в обозе не смогли замкнуть круга возов, как обычно делали на Запорожье, чтобы обороняться за ними, как за крепостными валами. В стремительном полете по склону в долину Павло заметил несколько человечьих фигурок, копошившихся в одном из возов, — да, они опоздали, и

здесь все уже было закончено, — в глубокой пыли, кисельно сбитой копытами, лежали серые изуродованные тела убиенных, — то были пасечники, что везли разнотравные меды к запорожским крамницам, звероловы и рыбари, шедшие в Сечь со своими надбанками, — виднелись среди их простых застиранных полотняных рубах синие и вишневые жупаны козацких детей, шедших с войсковой амуницией на посвящение в христолюбивое вольное рыцарство Запорожское, но успевших попасть только на свой первый и скоротечный бой, дабы отдать свои юные жизни в подлой татарской резне.

Конные козаки с гиком и посвистом ввалились в окропленное кровью пространство, арканя и пиками прободая взметывающиеся испуганно постати на возах, подле возов, — убегающих, оскаливающих острые крысиные зубки на несущуюся синежупанную смерть. Это с козачатами легко было крымчакам справиться — с детьми, здесь же были уже закаленные, опытные вояки, — и козацкие сабли секли воздух на прозрачные большие кубы, подрагивающие и рассыпающиеся в осколки от ветра и криков. Краем набрякшего в ярости глаза Павло приметил на одном из возов сгусток ненавистливой кутерьмы, где одиноко сражался последний защитник, оставшийся живым, — и теперь, будучи в десятке аршин от него, Павло увидел, кто остался в живых, — это был исполинского роста священник в разорванной рясе, высящийся черным столпом над крутящимися меднолицыми всадниками, — горячим серебряным светом сиял наперстный крест на груди у него, распушенные бесцветные волосы светились исходящим огнем, громово и набатно в сабельном перезвоне гудел густой и мощный священнический глас, покрывающий мелкие и как бы неважные в сем мире звуки:

«Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и бежат от Лица Его ненавидящие Его...»

И направо, налево, перед собой гатил запорожский отец окровавленным бердышом по вражеству, повергая всадных людей на рыжую пересохлую землю, жадно вбирающую в свои недра капли черной пролитой крови, раскраивал войовничие черепа неотвратимым и непреложным ударом, гася стынущий возглас «алла» во вражьих гортанях, — и похож был на черный и крепкий днепровский порог, омываемый бурной, но бессильной в неправедной ярости паводковой водой. Крымское вражество взять не могло этого человека, будто загражденного от стрел и арканов молитвой. Вздыбив коня, Павло пикой сбил целившегося из лука в священника низкорослого воина в парчовой хламиде мурзы, что приседал на ближнем возу. Рыжий мурза плашмя грохнулся в пыль, под копыта Павлова коня.

«Так, сынку, так! — грянул священник, отмахиваясь от очередного сабельного удара своим бердышом. — Молись — и отженем сих бусурман!..»

Павло хотел было ответить ему, прокричать что-то сквозь смертную пыль, но спекшееся дыхание не пропускало оболочек словес, копошившихся в нем, и он отерпнувшей, усталой от рубки рукой, уже лезом плашмя, лупил по спинам и лбам разбегающихся, как тараканов, татар, даруя им жизнь вместо смерти, устав уже убивать.

Остатки чамбула, кто успел вскочить на коней, наметом уходили к реке. Другие же были спутаны вервием — позже их или продадут обратно в аулы, или обменяют на попавших в полон. Спешившиеся козаки привязывали их к возам, на возы же, кроме отбитого майна, поверх него, на чистые, выгоревшие на солнце холстины, клали козаки убиенных пасечников и рыбарей, козацких детей и гультяев, не дошедших до благословенной под небом Сечи. Спешился и Павло, подошел под отцовское благословение к отбросившему бердыш священнику-воину, утомленно и маетно присевшему прямо на землю.

«Прости, сыну, — сказал он, — что благословляю тебя, в немощи сидя...»

Тяжелая десница его едва поднялась навстречу ладоням Павла. Теперь, после горячки сражения, Павло смог достаточно его рассмотреть: глаза панотца потухли, ввалились вглубь головы, спрятались под черномохнатыми надбровными дугами, смертная бледность и утомленность лица проступали сквозь серую корку уже ссохшейся пыли, сухие бескровные губы шевелились безмолвно, могучие плечи опали, ссутулились.

«Отче, — сказал с улыбчивой шаной Павло, — вам бы в козаки...»

Твердый и отчего-то печальный отеческий взгляд проницал его до нутра, вскрывшись из-под припорошенных пылью бровей, и тихо-раздумчиво сказал ему запорожский отец:

«По грехам своим и козаком быть недостоин, сынок...»

«Но вы же...» — начал было Павло, но священник властно остановил его речь неспешным, твердым движением:

«Злых слов да не износят уста твои: лоза не плодоприносит терний... — и спросил время спустя: — Чей ты, козак? Я раньше тебя не видал.»

«Павло, внук Наливая, панотче», — ответил Павло, разворачиваясь на козацкие

голоса, галдевшие над паковкой распотрошенных возов.

Священник кивнул:

«Я знал Наливая. Господь да упокоит смятенную душу его...»

Сколько лет сплыло во прах и ничтожество с той поры, — и вот слезьим стеклом скрыты выцветшие глаза, видевшие все, и могучая плоть обветшала, сносилась, как старая одежка, иссохли, подрагивающие теперь, некогда сильные руцы, и — непокой в твердом и неизбывно печальном взгляде панотца, говорящего в другой уже раз:

«Сей виной недостоинства и спасешься, сынок, если попустит Господь...»

Сонмища лет талой водой стекли в то, чего больше нет. Что было с ним? Что было с запустевшей этой землей и людьми, живущими под этими безбрежными небесами? Черная, белая и зеленая колея чигиринского шляха, рассекающая волны диких трав, мерно уходила под копыта коня. Будто бы спал, — и плыли в нем разрозненные и перемешанные куски прошлого и отдаленного временем, — и звенели прадавние обрывки молитв и обесцененных гетманских универсалов, немо и страшно вставали под веками смертные стычки, коим числа не исчислить, — и сияли в блеклом, выжженном небе тканные золотом боевые хоругви, блистали в давнем солнце сабельные клинки, курились дымки из жерл отгремевших свое самопалов и затынных пищалей, и падали, как трава под косой, дети и братья его в смертных белых рубахах, гаптованных по грудям красным, черным, зеленым цветами-узорами. Вечная память вам, упокоенные от всего, безымянные, забытые и оставшиеся в распевных думах и песнопениях, — вечная память и слава вам, переможенные победители!..

Всего два лета назад, в 1592 году от воплощения Бога Слова, на место загинувшего от татарского ятагана гетмана Скалозуба на большом козацком кругу в славном граде днепровом Черкассах избран был Криштоф-Федор Косинский, урожденный шляхтич, и с того времени, как писали много позже козацкие летописцы, *«началась известная оная эпоха ужаса и губительства для обоих народов, польского и русского, которая потрясши Польшу до самого основания и колебавши ее более ста лет, низринула, наконец, в бездну ничтожества, а народу русскому давши испить самую горестную чашу, каковую и во дни Нерона и Калигулы не все христиане вкушали, преобразила его в иной вид и состояние».*

Так напишут спустя двести лет, когда от жизни и делания Криштофа-Федора останется разве что звук, а от делания Павла, Наливаева внука, правящего ныне на Чигирин, останется одна только печальная песня, и все будет похоже на неверный и призрачный след на зыбком песке забытья, что затянет непроницаемо даже самое имя его, и хронографы будущей этой земли, ополоумевшие от потоков крови и слез, что составили бы целый Днепр за те истекшие двести годов, так и не разберутся: как же звали его, зачинателя великой народной истории, коий был то ли внуком, то ли правнуком какого-то легендарного мифического Наливая, — Павлом или же Северином на польский манер? — и величать, поминать его по церквам и историческим фолиантам будут двумя именами, словно дела его слишком много было для одного человека, для одной головы.

Но ему не дано было проницать взглядом в толщу еще не свершившегося, но предуготованного к свершению. Он, как и те, рядом с ним, прошедшие вскоре по пыльным, окропленным смертным потом шляхам Руси-Украины, из небытия входили в бессмертие, не зная о том. На чигиринской дороге, на пути к славе, смерти и забытью, Павло еще смутно представлял себе, что выпадет совершить ему завтра. Да, в крошеве мыслей, где всякого было намешано, находилось место и винокурне, и земным судьбам детей, и в смутке стареющей Ганне, но и вполне ясному размышлению и представлению по множеству неложных свидетельств о том, что же реально произошло с Криштофом-Федором Косинским, коего король лестью своей зазвал в Брест на так званный церковный совет братерский, на котором отцами-иезуитами и продавшимися православными епископами была придумана так званная уния — особливая форма исповедания Христова, приводящая постепенно, по мнению учредителей, из скотского состояния в человеческое, то бишь из православного в католическое, ибо католики первии, а папа их — известный наместник Христа на земле этой грешной. Разное говорили о смерти Криштофа-Федора, поднявшего голос свой против отступников в епископских мантиях от старожитной религии греческой. Кто толковал, что схвачен был гетман на братерском совете и судим сборищем римским и русским, кои, дав ему вину апостата и отступника же, осудили на смерть безотлагательную и, замуровавши в некоем кляшторе-монастыре в столп каменный, названный клеткою усмирительной, голодом уморили. Семь тысяч козаков ринулись с оружием к Бресту, сведав о заключении гетмана. Множество польских жолеров встретило их под местечком, называемым Пяткою, прегражда дорогу к совету братерскому, где и были наголову разбиты и разогнаны по степи. Но в живых Косинского козаки не обрели и, удовлетворившись разбоем и грабежом панских и иезуи-

тских маетностей, повернули на Запорожье, где был уже дан сигнал ко всеобщей отчаянной брани. Иные твердили, что убиен был гетман Косинский в славном граде Черкассах, за ревность свою к благочестию и спокойствию народному учинившись первою жертвою унии[1].

Павло в это время служил сотником в надворном войске князя Василия-Константина Острожского и в сражении под Пятком воевал против запорожцев Косинского, — через несколько лет пришлось искупать свою вину перед Кошем: вернувшись с добычей из Молдавии, он передал запорожцам громадный табун лошадей о нескольких тысячах голов и свою саблю — с предложением либо принять искупление за битву под Пятком против Косинского, либо этой саблей отсечь ему голову. Запорожцы не без колебаний простили его, а после и возвысили служением до генерального осавула. В это время Русь уже набухала тревогой о Церкви и полнилась разнообразными и невероятными слухами, — только слепой и глухой не мог заметить, как поспольство вооружается дубинами, косами и гвинтами, как древние старики снимают со стен прихваченные ржой турецкие сабли: казалось, весь народ готовился воевать Корону и мятежных епископов. На Полтавщине горели уже панские усадьбы, освещая глухие, слепые ночные пространства на всем оставшемся пути до Черкасс.

Так сбылось пророчество умученного голодом гетмана, произнесенное в представлении к королю и сенату, что *«перемена в вере и обычаях народных, в Бресте заводимая духовенством без согласия народного, есть преткновение, весьма опасное и неудобоисполнимое и что согласить умы человеческие и совесть каждого — есть дело почти не человеческое, а Божие, и он не надеется удержать народ в слепом повиновении духовенству и своевольно нововводимым в церковь правилам и просит правительство отвратить зло оное...»*

Да, собственно, и не смерть Криштофа-Федора нужно было осмыслить Павлу, — погиб ли он лютой голодной смертью или был предательски убит некогда дружней рукой, — смерть нашла Криштофа-Федора, потому что не грел сидницу на печке, а был воином, вольным рыцарем Запорожья. А что терять козаку, кроме воли, свитки, оббитой сабли и старой рушницы? — их не жаль, потому что в будущей жизни он обойдется и без сей амуниции. Она ведь потребна здесь, в этих вот степях, лежащих окрест. Душу бы не потерять на разъезженных путях к смерти. Об этом и старался думать Павло, отвлекаясь от страшной смерти Косинского, коего уже не вернуть, от винокурни под Вишневцом, от сокровенного бочонка, закопанного на Мушиной горе, набитого талерами и дукатами.

Что есть душа приходящего в мир человека и преходящего в нем? Отблеск горнего, осколок былой благодати и полноты падшего праотца, — и это смутное ощущение несешь в себе через дни, исполненные дыма, гнева и крови, стараясь уберечь и не растерять, не разменять на временное и якобы нужное, на вроде бы справедливое, принадлежащее дню сему, коий, как прочие, изыдет в серой песок забытья. В крике и плаче, слизью, а не оксамитом и кармазином покрытый, рождается человек от чрева матери своей, — свершается сокровенное и таинственное, чего до конца не понять, — и в крещенской воде нисходит на главу младенца невидимый голубь Духа Господня, — и зажигается в тельце его светильник бессмертной души. Если зрят твои глаза не только плотью единой, но духом, окрест себя — в темных безмолвных полях, в затаившихся селах и хуторах, в крепостицах, в лесах, в шалашах рыбарей, среди дымных костров Запорожья — ты увидишь мерцание как бы зажженных свечей, прикрываемых от жесткого ветра ладонями, — это души живущих людей — тех, кто известен тебе, и тех, чьего имени ты не знаешь. Кто сии? Древние неубитые дедуганы, славящие былые походы и сечи под перезвон печальных струн кобз и бандур. Молчаливые скорбные женщины — матери живых и убитых, стоящие в ожидании на околицах сел. Статные красавицы-молодицы, не спящие в своих жарких постелях в ожидании ненаглядных своих гнездюков из очередного похода на турка и волоха. Разномастная ребятня — девочки в крохотных плахтах, в венках из ромашек и васильков, с разноцветными

[1] Так писали летописцы поздних времен, весьма и весьма ошибаясь в датах, совмещая разновременные обстоятельства, — так даже первая козацкая война, именуемая Острожской, произошедшая при гетмане Криштофе-Федоре Косинском, мотивировалась отступничеством русских епископов на Брестском соборе, который произошел только четыре года спустя и совсем при других общественно-политических обстоятельствах, когда и вторая козацкая война 1594-1596 годов закончилась поражением и разгромом: я привожу поминания об этих событиях, добытые воистину золотым песком из скудных летописей того времени, не синхронизируя ошибок и произвольных истолкований в датах, в именах и топографических названиях, и таковых несовпадений довольно много. Так, к примеру, война 1594-1596 гг. в «Хронике Натана Ноты Ганновера — Еврейские хроники XVII столетия» отнесена вообще к 1602-му году, ибо составлялась в 30-е годы XVII века, да и для этого хрониста вовсе не важна была какая-то точность, - он ведь писал о другом, и волновало другое его.

ленточками за спиной — грядущие матери грядущих людей, подкозачата, твердящие по воскресеньям под церковью затейливые славянские буквицы из «Апостола», забавляющиеся найденными в открытой степи обломками древних сабель, наконечниками истлевших в земле стрел, свинцовыми, сплющенными когда-то о козацкие кости комочками пуль, — в ожидании и преддверии взрослости и — опять же — войны. Ибо не было здесь на сотни лет вглубь и назад ни одного поколения, которое не знало войны. Потому столь родюча, на ощупь жирна и обильна плодами эта земля, что налита кровью до черноты.

Россыпи призрачных огоньков, как в небесном Чумацком Шляху, — души тех, из коих сложилось поспольство, народ его родины. Все они — бедные и богатые, сирые, убогие и святые, воины, землеробы, священники, волопасы, шибенники, гультяи, подскарбии и дозорцы на речных переправах — дети одной матери.

Помнож, Боже, на віки козацькую славу
І покори під ноzі врагів наших главу,
Та буде всігда плідна козацькая мати,
І діти ії в силі всігда процвітати!

Неложно так сказано среди холода, убожества, одиночества, вдовства, работы от зари до зари, наездов татарских чамбулов, гаморных невольничьих рынков Стамбула и Кафы, среди карканья воронов, вынимающих лакомые глазные яблоки убиенных на бранных полях, среди жестоких панских расправ, хлюпанья невольничьих весел на турецких галерах, среди стона, плача, зубовного скрежета, во тьме внешней, в смятении отчаянных и обреченных восстаний, о которых польские сладкопевцы-поэты писали незгарбной латиной:

«Козаков низовых, впрочем, большее встретило лихо: они, яко град густой, убитые падали на землю, или как с дуба, если его потрясти, опадает жолудье. Остро железо сердца гордовитые насквозь пробивает, с уст запорожцев убитых течет кровь багряна ручьями» (Симон Пекалид).

Здесь всегда все нажитое было тщетой, не стоило битого шеляга. Ярая и ненасытная на поживу орда тучей шла с юга, и ничем, кроме силы, нельзя было остановить этих оборванных диких наездников. С запада — в овечьих шкурах, но с волчьими горлами, топтали нивы и жизни легионы горделивых панов Польской короны, оттачивая вполне европейское искусство войны на земледельческом православном народе, который по забитости и вспомнить не мог, что есть он народ целокупный и неложно великий, будучи прямым спадкоемцем-наследником славной и могучей в веках Киевской Руси-Украины, павшей во прах и ничтожество. Здесь, на отцовской земле, в реве злых сил, можно было сохранить только душу в своем обобранном и ободранном до исподней рубахи теле, влекомом на немилосердные тортуры и смерть. И это все, на что мог рассчитывать даже и можновладец, не говоря о голо*т*е... Каков залог правоты и несмущения духа дан был от Господа нам? — думал Павло, и, как ответ на безмолвное вопрошание, провалилась вниз монотонная стена полевых трав, и разверзлась — взгляда не хватало достичь — неосяжное, иссиня-голубое и нескончаемое колесо мироколицы, и в нем, как в чаше, шли, будто из мрамора высеченные, горы обл*а*ков, и под ними — сердце остановилось и сжалось до боли от неземного благолепия и красоты — светился синий днепровский плес, простирающийся куда-то за окоем.

Вот этот залог, — напряженно думал Павло, спешившись на высокой днепровской круче, — вот то, чего не преодолеть никогда никакой суетной мыслью, ищущей выгоды и оправдания в сегодняшнем дне. Этой великой и светлой водой шесть столетий назад омыт был народ — и началось время истории. Шесть веков из поколения в поколение передавались сокровенные и ненарушимые святыни, хотя и тогда горели окрестные земли и жизнь едва ли была легче и лучше. Разные люди и в разные времена отбирали войной у живущих здесь имущество, скот, детей и саму жизнь, но никто не заносил руку на святая святых, что превыше земного и бренного. Ибо залог всегда был перед глазами и рядом. И вот из лона народа и Церкви самой, дьяволом наущаемые, явились, не стыдясь Божьего света, ложные пастыри ослабевших и колеблемых душ, — ведь представить себе невозможно: сам митрополит Киевский Михайло Рогоза с причтом и восемь епископов-бискупов, чьи имена достойны презрения, — хотя, конечно же, не мне их судить. Лестнейшим образом еще в 1590-м году сии пастыри были созваны в Брест-Литовский городок на так званный совет братерский. Нунций папы римского Климента VIII, который непонятно по какому праву председательствовал на этом *«духовном греческой церкви соборе»*, как назвал сам себя совет братерский, ниспослал русскому духовенству благословение папское и воззвал к единоверию и сопричастию славы *обладающего миром* великого папы. В приданое к тому, как известили Павла, нунций папежский обнадежил наддачею *соединенным* епископам и монастырям городков и селец от польской Короны, а белому приходскому священству — по

пятнадцати домов в послушание, рабству подобное, из ихних же прихожан. Это и было исполнено определением короля и сената.

«Духовенство русское, — как позже писал летописец, — *прельстясь порабощением себе толикого числа своих соотчичей и чад духовных и не заботясь нимало о обязанностях своих пред Богом, пред общей Церковью и пред народом, их избравшим, подписали согласие на унию и присягою то утвердили».*

Только трое епископов — северский Иоанн Лежайский, переяславльский Сильвестр Яворский и подольский Иннокентий Туптальский — возвысили свой сан пастырский благоразумием и твердостию:

«*Сии мужи, исполнившись ревности по вере своей древней апостольской и по отечественным законам и обрядам, возражали соборищу ономy, препирали его и, наконец, торжественно пред ним и пред целым светом протестовали, что они, бывши членами великой кафолической Церкви греческой и иерусалимской и не имевши от ее патриархов и всего духовенства согласия и позволения на перемену догматов и обрядов, древними Вселенскими соборами утвержденных, не признают вводимых в нее новостей и творцов их законными и правильными и весьма от них, яко от самозванства и заблуждения, отрицаются. Соборище оное, по многих словопрениях и угрозах, не поколебавши сих столпов Церкви, предало их оскорблению и, урезавши им бороды, изгнало из сонмища своего, осудив на лишение сана их и должности».*

Тяжко и маетно поднимать со дна души скорбь и обиду свою и других и вспоминать, вновь видеть то, чего лучше не видеть, не знать, теша душу вроде бы миром, покоем, обычным течением дней. Зла как бы и нет, если не думаешь, не вспоминаешь о нем. Но не ему — в преддверии большого чигиринского круга — не ему не знать о том, как новоявленные униаты, дорвавшись до дармовой и освященной из Рима добычи, имея за спиной кварцяное коронное войско в поддержку, захватывают и разоряют древние монастырские обители, грабят ризницы, оскверняют православные храмы, выкалывают в помрачении глаза на лицах чудотворных икон, — и обозы, груженные драгоценной храмовой утварью, через всю сплюндрованную Русь-Украину тянутся в Варшаву и Краков, где награбленное перебивается на монету. Да, он знал, что священников, добровольно не покинувших своих храмов, убивали даже и в алтарях, при свершении литургии, церкви же русские гвалтом обращались на унию. Знал и видел, едва сдерживаясь от одинокого и бессмысленного нападения, как духовенство папежское, наводнившее край, с триумфом разъезжает по земле его родины и любви для надсмотра и понуждения к униатству, — и возят их от церкви к церкви людьми, запряженными в фуры по двенадцати человек в цуг, — верно число апостольское неслучайное это, а сидящий в коврах прелат иль бискуп ощущает себя Христом Спасителем заблудшего мира... И на прислугу сему духовенству, — так говорят, — выбираемы староством красивейшие из девиц народа его...

Среди всего этого выстоять, — в безлюдье, на оскверненной земле, в виду покойного днепровского плеса думал Павло, — не дать черному гневу затопить солнечный свет, — иначе только прибавится зла на нашей несчастной земле... Но что делать?.. Стоять в Запорожье, залепив уши воском, чтобы не слышать стонов людей, мучимых на тортурах за веру? Вынуть глаза из зениц и положить их в подножие Покровы Сичевой, дабы простила за то, что отдаю землю Ее на пагубу и осквернение? И — не видеть. Не слышать. Не знать. Мы — подданные польского короля Сигизмунда III Вазы. Как скажет король — тако и сотворим. Покоримся былому пастырю нашему митрополиту Михайле, променявшему спасение в будущем веке на нынешний Ватикан. Что могут сказать нам сии — Сигизмунд и Михайло? Что все — велелепно и бардзо, — и пусть обители, славные при дедах и прадедах наших, отдаются в аренды под винокурни и путевые шинки народу от иудейстех пределов, коему Сигизмунд поспешествует во всех начинаниях?.. Да не будет!..

* * *

Счастье, когда просыпаешься во взвеси плотного света, рвущегося в слепые оконца батьковой хаты, и тебе тринадцать-пятнадцать годов, и на дворе — зрелое лето, Спас Яблуневый, и нету войны. Отец ладит сбрую в белом и ослепительно солнечном, в прозрачных, благорастворенных воздухах тонко струится зеленоватый дымок турецкого зелья из его глиняной люльки. Отец еще жив, и мама еще так молода. Вон под рясным вишеньем накрывает трапезу: на чистой отбеленной холстине в крупно нарезанных скибах блестит ноздреватый и черный, как земля, хлеб, в обливном глеке желтеет жирная парная молочная пенка, и рядом — изумрудная, промытая проточной водой зелень. Так бы и жить, чтобы детство длилось всегда. Это замершее мгновение, высвеченное покоем и радостью, запомнилось, застряло в Павле, хотя потом, очень скоро, все отменилось. И стоя на крытом персидским ковром рaдном помосте в ряду козацкой старшины, слушая и наблюдая все, что происходит внизу,

думал отчего-то о том же: потом все отменилось, перечеркнулось... Что же есть правда сей преходящей жизни? То ли счастье, мгновение коего застыло в нем навсегда, или же то, как мгновение это нарушилось, было разбито в осколки неумолимой десницей судьбы и изошло в прах, как бы и не было? Истинно ли то, что было потом? Или все же истинно детство его, когда случилось так много солнца и тишины, каких не было потом никогда? Где суть нерушимого и постоянного, в чем жить, или хотя бы к чему стремиться душой?..

Так думал в себе глубоко, а вокруг гомонила черная, тысячеустая рада козачья, Великое Коло Запорожского вольнолюбивого воинства. Бритые головы, оселедцы лихие, усы, прищуренные глаза, будто выцеливающие сквозь прорезь затынной пищали, куда положить следующий выстрел, проблеск серебряных серьг в ушах заслуженных старых вояков, живой и подвижный лес пик, секир, хоругвей и бунчуков, стрельба из мортир, глухое ритмичное уханье бубнов под билами войсковых довбышей, рассыпчатый и нестройный звон жалованных прежними королями литавр, треск саксонских мушкетов, сотрясающий поднебесную, — и дальше, до самой грани окоема, — россыпь костров, войсковых походных наметов и шалашей, обозы старшины, возы посполитых и чумаков.

И потемнело небо от взброшенных враз в летнюю синь шапок, магирок и капелюхов козацких. Черная рада нестройно и вразнобой ревела одно: Наливаево имя.

Выряженная цветно и стройно войсковая старшина шанобливо расступилась, ломая собольи шапчины, уклоняясь ему, новому гетману православной Руси-Украины. Миргородский полковник Григорий Лобода, старый и верный товарищ, мерно, с превеликим достоинством поднес ему тяжелую гетманскую булаву, а генеральный бунчужный Матвей Саула — белоснежный бунчук. Мушкетные выстрелы покрыли разноголосые крики — плотным пороховым дымом на время заволокло Великое Коло. И волна света, тепла, упоения постепенно гасила душевную тяжесть его, влекла в предощущение времени, которое как бы готово было отразить и продолжить то давнее, детское, когда было так много солнца и отца его еще не избили до смерти гайдуки пана Марциана Калиновского в споре за землю в Гусятине, после чего детство его и закончилось. Предощущение света...

Он снял шапку с малиновым оксамитовым верхом и тяжко уклонился войсковому товариществу.

Дожил бы дед Наливай, дожил бы отец, дожили бы убитые дядья его до чигиринского Великого Кола, до черной рады козачества и поспольства, — увидели бы, как каменеет в вечности имя Наливаева рода, и как он, последний и недостойнейший из них, обретает право на имя, право на честь и бесчестье, право на жизнь, смерть, славу и забытье... Не дожил никто, кроме брата Демьяна, священника в славном граде Остроге, духовника светлейшего князя Константина-Василия Острожского, к которому после смерти отца они и перебрались из Гусятина. Не увидел никто. И в будущей жизни неупокоенный дед Наливай только, вероятно, хитро усмехнется в желтые прокуренные османским зельем усы, прищурит глаза на своего гетмана-внука и скажет разве что:

«От по жопи лозынякою тоби надаю, — ич, який гетьманок!..»

«Нет, братья, — и тверже, отсекая и уже не желая повторения прошлого, — да и как что может повториться в этом текучем, обманчивом мире, замешенном на кровяной сыворотке, когда нет уже тех, коих безмерно любил. — Нет...»

И твердой рукой отвел от себя булаву и бунчук.

Разноголосые крики, говор и смех как бы откатились от него к поднебесному краю, — и остался в широких просторах земли один только ветер, в коем тяжко, натруженно всхлопывали гаптованые золотом и свинцом древние войсковые хоругви. Великая, мертвая тишина непроницаемо окружила черную раду, будто земля снова была безвидна и пуста, и тьма зияла над бездной.

И повел снова рукой, как бы отделяя теплый свет от холодного мрака, и сказал тихо, едва слышно, как бы себе:

«Не могу, братья, по недостоинству своему...»

И люди молчали.

Смотрел в ноги, склонив непокрытую голову, но как бы и видел голубые, от века и мудрости скорбные глаза Лободы под клочковатыми седыми бровями, проницающими его до нутра.

«Знаю, что не смерти ты опасаешься, — сказал Лобода, — знаю...»

Павло поднял глаза на него. Медное, прокаленное огнем и солнцем лицо, усы, висящие чуть ли не до широкой груди, тронуты изморозью годов, твердый голубой взгляд. Он повел головой, — совсем как подорожняя та сирота, вынесшая ему попить на чигиринском шляху:

«Нет».

Блеснула в движении серьга Лободы, и он непривычно и как бы замедленно,

неуклюже встал на колени, склонив перед ним тяжелую многомудрую голову:

«Брат Павло, не оставь нас в погибели... Возглавления чаем... Не отрицайся...»

Войсковая старшина, неловко откидывая полы кармазиновых, подбитых дорогими мехами кафтанов, тоже вклякла вслед Лободе.

Снова смотрел в ноги себе, не смахнув навернувшейся теплой слезины, — и слышал, как рада словно сбросила оцепенение и пришла в некое странное движение, — и когда поднял глаза, увидел, как оседают козаки на землю, будто стебли скошенной травы, и нивы людские клонятся долу до самых возов и наметов, — и шорохом над склоненными головами пронеслось единым дыханием:

«Батько, не лиши нас в погибели и позоре...»

И увидел перед собой, сбоку от Лободы, старческий, твердый взгляд духовника Запорогов панотца Стефана. Старец благословил Павла твердым знамением, дал приложиться к кресту, коий держал пред собой, и сказал:

«Ты все знаешь сам. Все видел. На этой земле множится зло и множится скорбь. Ты назван гетманом ныне, дабы противостать скверне и злу, — но это не люди призвали тебя, но Заступница наша небесная — через них и для них. Благословляю тебя на служение это. Смирись и приими сей крест».

Осенив в другой раз крестным знамением, он плеснул святой водицы в корец из серебряного походного бутылька и дал испить на силу Павлу.

И тогда Павло приял из рук Лободы тяжелую драгоценную булаву.

Снова ожила черная рада: запумпкали бубны, рассыпчато зазвенели литавры, гаркнули гаковницы за возами и за наметами, сухо затрещали мушкеты:

Слава, слава и прослава!..

Старшина грудилась на самом краю помоста, его сторонясь, — знали, что воспоследует дальше, — полковники улыбались, как малые дети.

И вот первый ком жирной тясминской грязи ударил в грудь и мягко упал в ноги. Другой ком влучил прямиком в лоб — шапка слетела долой, грязью забило глаза. Пока продирал, несколько комьев ударили в плечи, в грудь и в живот. Таков ты, тяжкий крест Запорожья...

Двое гультяев, выпивших уже по дармовой праздничной чарке, лезли наверх с тяжелой двуручной корзиной сочащейся мокряди. Он улыбнулся: да, в Тясмине достанет грязи на всех новых гетманов до скончания века... Не пресекся бы только этот народ... Между тем, раскрасневшиеся от толикой напруги и горилки козаки, крякнув, подъяли корзину и, перевернув кверху днищем, нахлобучили Павлу на голову под хохот, свист и стрельбу всего войска. Да полноте — они ли только что на коленях просили его принять сие гетманство?.. Они ли?.. И, может быть, завтра половины из них не будет в живых — но сегодня — живы они, живы и веселы, будто бы большие дети потешаются исполнением древнего войскового обычая.

«О, химерные, лукавые братья мои, — от века для вас жизнь и смерть — жарт и пригода, а Великое радное Коло — сродни рождественской коляде, — так сказал, выйдя из намета в чистой расшитой рубахе и в алых шароварах, бросив смятым комом прежний свой одяг, — и в том провижу я величие ваше, бессмертие, несгинение в тяжких этих часах. Господь да будет с вами всегда!..»

«Да будет всегда!..» — выдохнуло ответно Великое Коло.

«Ныне ниспослано нам испытание на прочность и непоколебимость: вы знаете про недостойных высших пастырей наших духовных...»

«Смерти!» — кричали из козачьих рядов.

«Пастыри наши знают, что делают, — выкрикнул некто тщедушный с серым лицом, в платье чигиринского мещанина. — И не нам, грубому быдлу, судить пастырей наших!»

«Смерти!!!» — разнеслось по округе.

И:

«Разве пастыри древлих времен были дурнее, чем эти запроданцы?!! Разве испрошены мы, христиане, о перемене древлих соборных установлений и дедовских обычаев?!!»

Павло краем глаза видел того крикуна, из чигиринских мещан. Двое козаков уже мяли его кулачищами по голове. Лицо его кроваво подплыло. Бедолага слабо всплескивал ручками — совсем как тряпичная лялька в ярмарковом вертепном театре.

«Эй, вы! — гаркнул Павло тем молодцам. — Еще нет сечи, остыньте! Нет его в том вины, что сказал!»

«А чья ж то вина? — осклабился дужий детина в белой свитке. — Може, и наша?»

«Бес глаголет устами его», — промолвил панотец Стефан.

«Так мы и хотим того беса выколотить из его дурьей башки!» — зареготал детина и так турсанул мещанина, что ноги у того подломились и он упал в сбитую пыль.

«Такой был розумный, — кто-то сказал. — По грамоте чел в батьковой лавке...

Видать, не в коня корм пошел...»

Червоточинка гнева засквозила в груди у Павла, но он пресек, остановил кровавую пену, что готова была выплеснуться на виновников, — в такой день — и защищать униата!.. Пропади ты без следа, еретик!..

Козаки уже подхватили мещанина за руки и ноги и поволокли к багнистому берегу Тясмина. Набив заблудшему бедолаге полную пазуху тяжелой грязи, они раскачали его и зашвырнули чуть ли не на середину невеликой реки.

«Остынь, грамотей!.. Предстань пред Богом-Отцом в тясминских кармазинах — хай рассудит, скажи, и про бискупов засратых твоих!..»

«Скоро и они приплывут за тобой в будущину!..»

Несколько мутных пузырей лопнуло на том месте, куда упало обреченное тело.

Рада возбужденно ворчала.

А Павло подумал о том, что вот как получается — словно сакральную жертву какую-то на черной раде принесло войско молоху скорой войны, — и войны не обычной, но какой-то особенной, не бывавшей доселе.

Это была обычная, рядовая запорожская казнь, — сколько даже старшины и кошевых запорожских утоплено так в водах отцовских Днепра и в притоках его, не считая посполитых и охочекомонных, чинивших неправды, либо дрогнувших душой в этом суровом мире и времени.

«Вот и вы уже множите зло, — сказал козакам Павло, что вернулись от Тясмина. — Или мы — ляхи?»

«Так что же, пан гетмане, — выкрикнул русоголовый молодой козачина, — подставим левую нашу ланиту?! Альбо пойди ныне и сдайся на милость панам и сверх приими костел, — гадаешь, не уморят они твою милость по подобию Криштофа-Федора?»

Кто-то на это смеялся.

Лицо Павла потемнело. Красные круги застили свет, небо и землю.

«А ну, джуры, — кивнул он гайдукам, — подайте сюда того умника!»

Джуры прыгнули прямо в толпу. Козачина пытался бежать, но смеющийся люд так густо стоял, что джуры быстро настигли его.

«Скидывай шаровары! — приказал Павло, сматывая с пудового кулака нагай. — Посмотрим, что у тебя там за ланиты!..»

Рада подзадоривала крикуна и смеялась.

«Батьку, я краще накладу дурной своей головой, — сказал козачина. — Но позорить себя не дам!»

«Добро, — в душе Павло уже отошел, смотрел на хлопца лукаво. — Милую тебя данной мне владой. Но милуй, сынку, и ты, если будет змога и сила. Бога, имя чье носим, — не забывай».

Козак спрыгнул с помоста, сверкнув белозубой усмешкой.

«Ну, козаки, как поступим с теми епископами?» — спросил просто так, ибо знал, каким будет ответ. Но, может быть, кто-то, как тот химерный чигиринский серяк, по-другому распорядится своей душою и совестью?.. И как остановить ползущую эту скверну? В его ли то силах и власти?..

«Смерти!!!» — ревела и бычилась черная рада. Взблескивали в солнечном свете обнаженные сабли. Грозно развевались бунчуки и хоругви. Пыльная хмарь застила блеск и сияние солнца. И виделось отчего-то: вороны, жирные громадные вороны, раздобревшие, как хряки, на белых козачьих телах; толпы вдовиц и незамужних девок, проклинающих имя его и готовых хоть бы и на унию ту, только бы рожать на погибель себе ни в чем неповинных детей, — и с другой стороны — такие же толпы панянок варшавских, люблинских и краковских, — и нету в этой хмари живых, кроме них, этих женщин безмужних общего сарматского корня, которым уже не рожать сыновей на славу этой земли... Но что, что он спроможен свершить, чтобы не было этого?.. Он — всего лишь орудие во всемогущих руках, — и путь неведом ему. Орудие — но не слепое?.. Он должен без жалости карать отложившихся от народа, занесших мерзенную руку на святая святых. Да, это так. Но как взыскать в этом мире и на этой земле те сокровенные милосердие и любовь, которые есть основы сущего и непреходящего? Как воплотить это *«Ненавидящих и обидящих нас прости...»* — здесь и сейчас?.. Бога просим простить, — думал Павло, — а сами — прощаем ли? Старец печерский такожде говорил: *«Дух Святый есть любовь, и Он дает душе силу любить врагов. И кто не любит врагов своих, тот не знает Бога»*. Значит, за незнаемое подымаем ныне оружие на единокровного брата нашего?.. Да, мало кто из нас по крепости духа и по глубине потаенного знания достоин чина чернецкого. Но хотим послужить верой малой своей и предстательной правде Церкви единой, святой и апостольской, нас берегущей и путь указующей истинный. Но милосердие — выше. Даже сейчас, когда осквернена и сплюндрована наша земля. Сейчас, когда теряем в

жестокости казней и сеч спасение душ наших... *Смерти!* — так преисполнена чаша. Ничем, никакими словами и властью, никакими универсалами не остановить лавину гнева и боли, копившихся столько лет. Казненные гетманы и пастыри Церкви. Тьмы козаков, павших в битвах за упрочение Польской короны в войнах на четыре стороны света. Тьмы тем простых посполитых — замордованных, загнанных и забитых, — они, их бессмертные души обступают меня — и сурово молчат... Как и кого — за все это простить?.. Милосердие... Слово легко, да жизнь тяжела.

И сказал твердо в неистовство рады:

«Легко начать войну, но трудно закончить. Каждый из вас — больше унии, важнее мятежных лжепастырей наших. И знаю одно: несмотря ни на что я должен вас сохранить, братья мои и войсковые товарищи...»

«Так что же — не будет войны? — крикнул кто-то из тесных рядов. — Будем и дальше терпеть?!!»

Он ничего не ответил. Смолчал.

Ночью писано было письмо королю Сизизмунду. Скрипело писарское перо. Чадил и мигал каганец. Потрескивали в огне, налетая, комахи. Усталый, выкрикнувшийся днем Чигирин храпел на всю поднебесную. Звезды лучили холодный, призрачный свет, и будто бы не было времени. Сопел, пыхал глиняной люлькой бессонный Григорий Лобода, слушая смятенные слоги послания:

«Народ русский, быв в соединении первее с княжеством литовским, потом и королевством польским, не был никогда от них завоеванным и им раболепным, но, яко союзный и единоплеменный от единого корене славянского, альбо сарматского происшедший, добровольно соединился на одинаких и равных с ними правах и преимуществах, договорами и пактами торжественно утвержденных, а протекция и хранение тех договоров и пактов и самое состояние народа вверены сим помазанникам Божим, светлейшим королям польским, якоже и Вашему королевскому величеству, клявшимся в том при коронации пред самим Богом, держащим в деснице Своей вселенную и ея царства.

Сей народ в нуждах и пособиях общих соединенной нации ознаменовал себя всемерною помощию и единомыслием союзным и братерским, а воинство русское прославило Польшу и удивило вселенную мужественными подвигами своими во бранех и в обороне и расширении державы польской. И кто устоял из соседствующих держав противу ратников русских и их ополчения? Загляни, найяснейший королю, в хроники отечественные, и они досвидчут тое; вопроси старцев своих, и рекут тебе, колико потоков пролито крови ратников русских за славу и целость общей нации польской, и коликия тысячи и тьмы воинов русских пали острием меча на ратных полях за интересы ее. Но враг, ненавидяй добра, от ада исшедший, возмутил священную оную народов едность на погибель обоюдную. Вельможи польские, сии магнаты правления, завиствуя правам нашим, потом и кровию стяжанных, и научаемы духовенством, завше мешающимся в дела мирские, до их не належныя, подвели найяснейшего короля, нашего пана и отца милостивого, лишить нас выбора гетьмана на место покойного Косинского, недавно истраченного самым неправедным, постыдным и варварским образом, а народ смутили нахальным обращением его к унии! При таких от магнатства и духовенства чинимых нам и народу утисках и фрасунках, не поступили, еднак, ни на что законопреступное и враждебное, но, избравши себе гетмана по правам и привилегиям нашим, повергаем его и самих себя милостивейшему покрову найяснейшего короля и отца нашего и просим найунижеяннийше монаршего респекту и подтверждения прав наших и выбора; а мы завше готовы естьмы проливать кровь нашу за честь и славу Вашего величества и всей нации...»

«Даром», — сумрачно сказал Лобода, когда закончили сочинять.

Павло знал об этом и сам. Но сорвал со стены плеть, рубанул в сердцах что было силы столешницу, — только щепа полетела в белое со страху лицо писарчука. Отбросил плеть прочь, вышел на двор. С околицы городка слышалось протяжно-тоскливое слаженное пение девок. Смотрел в непроглядную, бархатисто-черную ночь, вдыхал густой пряный дух окрестных полей и лесов, видел бессчетную россыпь звездного Чумацкого Шляха над всем этим миром, и думалось ему отчего-то о ложном величии человеческом здесь и повсюду, сейчас и всегда, когда так ощутимо и непреложно, нескончаемо мерно течет река времени. Что остается? Видел многажды сирые камни, обитаемые разве что зверем, на месте некогда богатых, могущественных городов, чьи имена тоже погребены в непроницаемой толще забвения человеческого. В открытой степи и посейчас стоят на курганах пузатые идолища, — где те, кто рубил их из дикого камня, и где те, кто с молитвою к ним обращался?.. Плывут высоко над землей белоснежные горы облак. Молчат небеса. Неисповедимы мировые пути. Пришли сюда новые люди, принеся со своими заботами и свое время. Откуда пришли? И о том не

знает никто. Молчат книги, в которых гремит и сверкает мечами, стенает, подплывая кроваво, разве что история последних столетий. И выходит, история и память людская свершаются только войной и насилием, рекомым воплощением небытия. Мир и покой неявны, их как бы и не было вовсе, — мертвая тишина, немое молчание. Да и было ли это — мир, покой и молчание?.. Если молчит давнина, то вольно ли прозреть будущину?.. И кто ты, гетман Руси-Украины, безродный и безымянный, в этой реке времени, подставляющий усталое, бессонное лицо свое под неверный струящийся свет недостижимой россыпи звезд? Кто ты и где?.. Прейдет сей Чигирин, спящий за земляными валами. Иссохнет когда-нибудь Днепр, отравленный в источниках вод по неложному Иоаннову слову падучей Полынью-звездой, чернобылкой. Прейдет сей народ. Забудутся тужливые думы и песни его. Уйдут в недра земли, рассыплются храмы и домы его. Прейдут это небо и эта земля... Ничего, кроме смерти и одиночества... Ничего. Как с этим смириться? Как это принять? И среди этого, с этим, — следует выжить свои дни без остатка и преодолеть в меру (безмерность) сил свое одиночество, молчание, смерть. Преодолеть рабскую немоту. Защитить сирот, вдовиц. Защитить от сатанинской руки соборную душу и правду народа. Но — не жестокостью, не насилием, не войной.

Милосердием.

Йшли ляхи на три шляхи,
А татари на чотири,
Запорожці поле вкрили,
Чобітками зачорнили,
Шабельками заяснили,
Шапочками закрасили.
Попереду гетьман іде,
В правій ручці держить меча,
В лівій ручці горить свіча,
Горить свічка восковая,
Тече річка кровавая...

Доносилась песня из тьмы. Да только, видать, не девки на вечорнице пели ее, а сама судьба его маетная.

Картина 2. СУДЫ И РАСПРАВЫ. ЧИГИРИН, 1594

К полудню другого дня, когда Лобода с отрядом козаков повез ночное письмо королю, гневный, мятущийся Чигирин судил униатов, стаскиваемых с окрестных земель на местечковый майдан. Захваченных ночью в пуховых постелях комиссаров-папежников били батогами, валяли в пыли, купали в Тясмине до сопельных пузырей и выбрасывали за городские валы полуживых и растерзанных. Захаращенных и непотребных русского племени, принявших *костел*, убивали даже до смерти. Никто из них не умел объяснить, почему согласился на унию. Люди пьянели от праведного суда, от первой взыскуемой крови. К вечеру подорожние рассказывали в Чигирине, что некто из православных духовных зарубил сокирою прямо в храме наставленного попа-униата, обагрив кровью священный алтарь. Другой, то ли беглый монах, то ли в прещении, поправивший свои добра при помощи комиссаров, был спасен от смерти козаками и приведен в Чигирин для расследования. Его приковали железной цепью за горло к городской сигнальной гармате и обмазали дегтем.

«Какие вины его?» — спросил Павло у генерального судьи Петра Тимошенка, прийдя на майдан. Тот мрачно ответствовал:

«Вины известные... Нечего о них толковать... Присуждаю на страту...»

«Смерть, Петро, его не минет стороной. Но хочу слышать о винах его...»

«Богохульство, — сказал Тимошенко. — Смовольно захватил приход в Надточном-селе, а попа тамошнего Методия отдал на поругание и ганьбу комиссарам. Заложил за несколько злотых евреям-орендарям святые церковные чаши причастные. Разбойничал среди прихожан, склоняя на унию, несогласных же сек до крови...»

«Да, смерти достоин, — сказал Павло, — но что скажешь в оправдание собственное?» — спросил у прикованного.

«Яко пастырь соединенный, аз повинен непослушных и сопротивляючихся карать и до послушенства их приводить, сполняя доточно реченное Павлом-апостолом: *«Невежду страхом спасати»*...

«Будешь спасен и ты по-апостольски, — мрачно промолвил Павло. — Почему зрекся святейших патриархов восточных и принял папежа?»

«Вещь мы давно утвержденную обновили и восстановили, — белькотал прикованный, — полутораста годов назад на Флорентийском соборе решенную

Сидором-митрополитом со причтом, и наивысшему пастырю Христову послушенство отдали, а патриархов одбегли, яко тех, от коих нет утехи, науки, порядку и просвещения. Оне-бо токмо за шерстью и молоком до нас приезжали и вместо покоя меч между нами кидали, новые и неслыханные, канонам противные братства поразрешали, как ув Львови та Вильне, котри грозятся епископам поскидати тех со влады духовной... Что молвить за тех патриархов, коли поганин-турок ими владеет! Маемо бегать такого пастыря, коий и сам в неволе, и нас ничем рятовать не спроможен...»

«Богомудрый есть ты на злое, — сказал Павло. — Но чтобы разуметь доброе, не увидел ты истины, яко молвит пророк... Провинились пред тобой патриархи... Но разве школу греческую не патриарх ли нам заложил со греками же? И грамматику грецкую со славянским письмом не Арсентий ли, митополит еласонский и димонитский, во Львове, от патриарха приехавший, учил детлахов наших в школе целых два лета? Просветилась наша земля книгами грецкого и славянского писем, что размножились от друкарей — братчиков киевских, львовских, острожских и виленских. Было ли от крещения такое? Не учился народ наш — церкви токмо Божии муровали, спустошеные ныне от вас. Жить бы в мире и в злагоде, но полезли несытые вы, от дьявола рождшиеся, на Православие наше, — и справу церковную ныне разорвано и поневолено, люд даньми обложено и поспольство к уничтожению приведено, и убожество всюду намножилось!.. Что же сказал ты о недостойном митрополите Сидоре-отступнике давешнем, что убежал от кары после Флорентийской той унии до папежа вашего в самый Рим, покатоличился там, — сам знаешь это, — и возведен был в кардиналы за ревность костелу! Разве сей зрадца и здирца в пример был отцам нашим — и нам через них?..»

«Кому, брат Павло, все это говоришь и припоминаешь? — сказал Петро Тимошенко. — Сладко жрать да спать в перине пуховой — во что надобно этому пройдисвиту! Но да уснет!..»

«Да-да!!! — плел, как пьяный, расстрига. — И буду сопричтен к мученическому чину небесному! Подай се, Боже, шоб мог я за Христа, за веру соединенную, за Церковь та за первенство папы жизню оддати!..»

Сплюнув от омерзения на судный майдан, Павло отошел от сигнальной гарматы.

Миловать — этих?.. Распускать их по свету, как саранчу, — народу на посмех и на позор, ибо и сей от корня его, — готовых загрызть и матерь родную, чтобы только властвовать, властвовать — над душами и телами захаращенных блудливыми словесами, над землею, над реками и лесами?!.. За что, Господи, ниспослана скверна на нас? За что орудие казни — былые блюстители душ и сердец?.. Да, избраны они — по достоинству нашему. Припомнил он: когда святейший патриарх антиохийский Иоаким, извергший прочь митрополита Онисифора-двоеженца с говорящим фамильным прозвищем Девочка, и наставивший на его место по просьбам поспольства Михайлу Рагозу, сказал в Вильне при том: «Аще достоин есть, по вашему глаголу, будет достоин, аще же не достоин, а вы его за достойного удаете, аз чист есмь, вы узрите...» — то как в воду глядел. Теперь и увидели Рагозу в отступлении... И выжечь крестным огнем этот гнойник должны мы сами, — если здатны не только дудлить без края горилку и поставные меды, но и служить, как против поганых, силою Честнаго Креста. И кто-то в нем, скользкий и жалостный, с тоненьким голосишком, говорил, что они, коих считает он вражеством, — тоже ведь христиане, но толка иного, с некиим повреждением совести-веры, — и как это ты, вельми несовершенный духом своим, дерзаешь поднять на них вооруженную руку? Ты же пытаешься стяжать милосердие и любовь к ближним, дальним и даже к врагам — к миру всему. Вот и яви милосердие ныне, сейчас, — милуй мерзенного расстригу того и отпусти его на четыре ветра. Господь рассудит его по винам его. Зачем тебе напрасная кровь, гетмане?..

Сидел в одиночестве, в полутемной мещанской хате, ощущая засасывающую и звенящую пустоту. Старался не слышать криков и ругани, бессмысленных бормотаний, доносящихся с проезжей дороги, где властвовал человеческий суд и где торопливо спешил к завершению сегодняшний день. Ему хотелось заплющить глаза и оставить все это — забыть, отрешиться, исчезнуть — и вынырнуть в дне наступающем, в других уже временах. Тело наливалось каменной тяжестью, болью. Отстегнул дамасскую саблю, положил ее на столешницу, ближе к руке, и прилег на лежанку. Тихий матово-желтый свет струился сквозь пергаментный воловий пузырь, падая на желтый же глиняный пол, на кострубатые лавки вдоль стен, на стол, пропечатанный ночью нагаем. Уже погружаясь в неверный и обманчивый сон, ватно, скучливо и безнадежно подумал о Лободе, прямующем путь на Варшаву, — если он доберется до столицы Речи Посполитой чрез неспокойные ныне пространства земли, если примет его Сигизмунд, а не сразу же заточат его в замок тюремный, то в лучшем случае устроит король еще один шумный и галасливый сейм из панов, который ничего не решит. Война неизбежна, как неизбежна предначертанная история земли и народов, ее населяющих... Нет

совершенства и цельности в текущем сем мире... — и уже погрузился в серый морок, в ничто, — и как бы очнулся в незнаемом месте, в каменном городе, где властвовал над застроенной хоромами впадиной древний большой монастырь. Обесцвеченная дождями затейливая колокольня, венчанная бескрестным ржавым, в пробоинах, куполом, подпирала высокое синее небо. Посреди обомшелых, отливающих зеленью стен высилась церковь, еще сохранившая следы былой красоты. Улицы, ведшие в гору, к полуобвалившейся монастырской браме, были пусты и безжизненны. Окрест, сколь хватало взглядом достичь, не было ни души, ни тела живого. Над каменной впадиной, над достигающей небес колокольней шли высокие белые облака. Сияло холодное осеннее солнце, заливая город призрачным и ртутноподобным светом, — камни, дома и деревья не имели в нем тени. Он подумал, что таким и должно оно быть — время печали и осени. Шел в гору, спотыкаясь о камни, стертые тысячами подошв прежде прошедших, — знал, что идет туда, к отверстой всем ветрам браме запустелого монастыря, — и не мог дойти и достичь, — путался в кривоколенных, заплывших грязевым месивом улочках, переулках и тупичках, заросшим окаменевшим сорным бурьяном, стучал в пугливо зачиненные человечьи ворота, звал и кричал перехваченным судомой горлом хоть кого-то из сущих, но зовы его гасли в пространстве, как бы разбиваясь о невидимую стену отсутствия, небытия. От видимого в отдалении монастыря шли к нему волны горячего света, похожего на огонь, — они будто звали, манили его. Сиял съеденный ржой купол церковки — он видел, как сквозь дыры его вылетали черные и белые птицы. Безголосая колокольня качнула единственным уцелевшим от неведомого погрома колоколом, но тужливого одинокого звука так и не случилось над этим вымершим городом. Шел и шел, перебредая калюжи, — под сапогами давилось и чавкало едва ли не болотное багно, — тащился из последних сил в гору, и глаза, заливаемые едким потом, различали уже какие-то химерные тени, торчащие под монастырскими стенами. Когда приблизился, тени, прежде будто вырезанные из пергаментного куска, ожили, сказались людишками. Замахали ему ломкими ручками, забелькотали что-то, глотая оконечности слов. Трое из них так и не ожили — двое лежали прямо под брамой, одна — вроде женщины, прикрытая полуистлевшей хламидой, шевелилась под самой стеной, мостясь поудобнее на куче разновеликого мотлоха. Один из стоячих был преклонного к исчезновению века, — полуслепые глаза отливали красным вином. Другой возраста не имел, — лицо его казалось ссохшимся и скукоженным. Старик уже булькал в граненую склянку чем-то коричневым из зелена стекла красоули; набулькав до половины, протянул склянку Павлу:

«Трудовой привет труженикам от искуства!» — сказал он московским наречием.

Судома ледяной струей медленно стекла в низ живота. Павлу казалось теперь, что и солнце, и день какие-то ненастоящие, призрачные, — и из этого вразумилось муторно, но и с облегчением, что каким и быть солнцу, обливающему непокрытую голову его холодным, физически ощущаемым светом, и дню, в котором стоит перед облезлыми ярыгами под монастырской руиной, — ежели все это сон, ложь и неправда, — и вот шевельни затерпнувшею правицей, сминая рядно на чуть теплой лежанке, и гнилая короста, где впечатаны сатанинские тени, спадет с матово-желтого, тихого света мещанской хаты, и снова прорежутся: Чигирин, застенные стуки и крики, привольная ширь могучих бескрайних степей его родины и любви, где прямует свой путь к златоверхой угрюмой Варшаве миргородский полковник Григорий Лобода, везущий грамоту королю Сигизмунду, — и не мог разлепить тяжелых повек, видя землистые лица и слыша химерное бормотание:

«Так ты в самодеятельщиках главный по гопаку?.. А ну — врежь, шоб земля застогнала!..»

«Та не, он, видно, поет... А ну, народную, козачок, заведи! А мы подпоем, как сумеем... Ой, на гор*i* та й женц*i* жнуть...

«Где люди? — едва слышно сказал им Павло. — И что это за кляштор?..»

«А мы шо тебе — не люди? — скукоженный осклабил гнилые пеньки на месте зубов. — Мы, може, остатние люди и есть! Верно, дед?»

Старик в поспешности затрусил головой.

«А шо то есть кляштор, шо он сказал?»

«Кажись, монастырь так по-польскому называется... Еще полска не згинела! — глумливо прогнусавил старик. — Так шо, пан есть поляк?..»

Павло не ответил.

«Та русский, — сказал скукоженный за него. — Токо со странным акцентом. Щас все уже русские... Даже жиды... Ты доклад ему про монастырь прочитай — ты ж экскурсии водил тут када-та, — може, даст на бутылку?..»

«Момент! — сказал дедуган и судорожно выпил из склянки. Закашлял, ломаясь бескостно напополам, прокашлявшись и вытерев вылезшую соплю, долго нюхал кусочек хлебца. — Так шо пана интересует? История данного монастырища? Так?»

«И де люди?» — добавил скукоженный.

«Люди все на работе, — сказал дед, — строят красивую жизнь. Про политический момент распространяться не стану...»

«Та не надо, — одобрил сморщенный. — Он и так газеты читает».

«Про данный монастырище я в детстве золотом еще книжку читал, — вел далее дед, монастырь этот для паломников, када их было до черта, брошюры тада выпускал, — с историей, значит. Так от, такую брошюру я и читал. Про чудеса умолчу, бо наукой они опровергнуты, а факты, значит, такие: запорожцы монастырь этот фундовали — ще за царя Гороха, нихто не знает — када... И наименовали его громко и видно: Самарский Святониколаевский пустынножительный, — отак-от...»

«Нет такого монастыря на Запорожье...» — тихо сказал Павло.

«Та как нет! — рассмеялся дед. — А это — шо? — ткнул дрожащим скрюченным пальцем в облезлую стену. — А само Запорожье — он там! — махнул рукой в глухое, оплывающее влажным туманом пространство. — Тут недалёко...»

«Та давай уже выпьем!» — не терпелось скукоженному.

«Та подожди-зачекай, — товарищ интересуется шо было дальше. После известного переворота, вошедшего безвозвратно в историю, монахов тех толстопузых, шо книжки печатали и распространяли, как опиум для народа, всех разогнали — кого послали на север отечества грехи замаливать прежние, а кого и на юг, но в основном — под земную кору отдыхать, а кто выжил, тот уже как мог приспосабливался к новой жизни и новому счастью: кто канал на севере родины ломом долбал, на папиросах увековеченный, кто желтое, кто белое, кто черное золоты добывал, а кто лес выводил в Магадане, шоб больше не рос никада, — короче, заставили пустынников наших принимать участие в общественной жизни, строить совместно со всеми, кто не хотел, светлое будущее. Монастырь же сам разорили — золото-серебро запорожское на голод в Поволжье ушло, та все едино — было оно за царя Гороха награбленное у трудового народа из Турции, — ободранные же образа люди растаскивали: у кого скотина тягловая была, тот и телегой возил... Вот мужик у нас был тут очень хозяйственный — так у него стена в хлеву вроде иконостаса гляделась — всю сколотил из икон... Прошлым летом преставился, бедолага, — и не пил, не курил, а червь в нем какой-то завелся, да и выел ему все кишки... Криком кричал...»

«Ото надо было пить и курить, — червь бы тот и не выдержал», — сказал сморщенный.

«Ото ж и я говорю... Так от, — после того, как кресты поскидали, устроили тут тюрьму для народных врагов. А потом как-то сами собой враги перевелись подчистую, и учредили здесь больничку для дураков — ходили, помню, все по двору и цветочки разные нюхали. Потом и дураков почему-то не стало, перевезли их куда-то, чи може, все стали умными. В монастырище том тогда детей поселили — уродов и инвалидов, от которых родившие их отказались. Головки беленькие, — как сейчас вижу их, — оченята синенькие, смеются, бывало, и бегают друг за дружкой, — в квача, значит, играют, только не рукой пятнают, а ножкой, потому что вместо рук у них как бы малые крылышки за спинками были, — ну чистые ангелята!.. А теперь — нет уже здесь никого, кончается жизнь... Разве что мы вот еще... не допили пока что свое...» — в винных глазках его отразилась тень сожаления, жалости — к детям ли ангелам, к пропащим врагам, или к тем, что тихо бродили в вековых этих стенах, погрузившись в себя навсегда, — то ли к себе и плывущим над ним, исчерпавшим себя без остатка временам?..

Павло качнулся на каблуках, преодолевая ледяное оцепенение, повел ладонью по своему сырому и как бы расползшемуся лицу, обернулся назад, но города уже не увидел — на его месте дымилась гигантских размеров воронка, засасывающая пространство и время. И тут мозг небесным трескучим разрядом разорвала даже не мысль, но скорботно немой вопль о спасении, и, обернувшись к своим совопросникам, он поднял руку прочь отодвинуть эти гноящиеся глаза, тухлую закваску дыханий, россыпь сгинувших безумных словес о неизвестной ему земле, выдаваемой за родную его, — и увидел, как человечьи фигурки, подрагивающими клочками еще не размытых сочлений, пожираются серой прорвой тумана, — в осязаемо ватном и влажном последней красной искрой зажглись и погасли винные глаза старика, и на месте, где толкся скукоженный, уже расплывалась мутная лужа, в коей мок затерханый папиросный окурок.

Павло, ослепленный туманом, протянул руку вперед и сделал прочь несколько торопливых шагов, пока пальцы его не уткнулись в шершавую монастырскую стену. Придерживаясь за нее, он пошел по направлению к браме. Кирпичи размокшим хлебом крошились под его скользящими пальцами. Вскоре плоскость заострилась углом, и Павло вошел внутрь стен. Здесь тоже господствовал туман, и только с большего приближения были различимы купы рослой крапивы и битого камня.

Шел по направлению к храму, — воздух здесь скис, словно старое молоко, и его приходилось разгребать пред лицом ладонями, — и если думал о чем, то только достичь крепких храмовых стен и сотворить в них едва ли не последнюю в этом мире молитву. И, может быть, умереть с ней, застыть навсегда, достигнув заветной домовины для усталой души. Ступни его ощущали уже заплывшую многолетним слоем земли церковную паперть. Между пальцев вытянутой десницы что-то высверкнуло теплым свечным огоньком, когда он дотронулся до холодной металлической двери, разошедшейся надвое от прикосновения. И тут грянул протяжно и одиноко колокол в небе, и развернулось отовсюду, будто веером, божественное песнопение, наполнив пространство, — удивленными немало глазами Павло увидел внутри рассыпчатый свет многих возженных свечей на медных почернелых шандалах и паникадилах, и множество молящихся в храме, — перед отверстыми Царскими вратами рослый диакон, облаченный в золотые одежды, возглашал великую ектению, а по узорчатому чугунному полу, едва касаясь его босыми ступнями, двигались дети в белых рубахах до пят, — и у них как бы не было рук, или, может быть, они были просто неприметны в свободных складках рубах, но на спинках у них ткань оттопыривалась так, как если бы под ней были спрятаны малые крылышки. Тихо и счастливо Павло ощутил, как неземной благодатный свет отогревает душу его, заполняет объем ее, — и больше не вспоминаются оставленные где-то там, в далекой дали, Чигирин, вчерашняя черная рада, выкрикнувшая его гетманом Украины-Руси, и насилие этого дня, когда пролилась первая кровь; и не думается, не страдается над тем, как повернуть ветрила начальной войны козачества и поспольства, и как среди этого стяжать, воплотить милосердие вживе, — и тем более не думается над блудливыми словесами тех пьяных химер, что остались в тумане. Может, и не было их, как не было ничего до этого тепла и любви, исполняющих душу.

Он наложил на грудь размашистый крест и опустил руку в кишеню, чтобы добыть оттоль полгроша на свечку. Нащупал монету и, зажав ее в кулаке, вынул на свет. Может быть, улыбался, потому что слишком отчетливо зрело в нем то, что называемо счастьем. Стоящий рядом обернулся лицом и посмотрел прямо в Павловы глаза. Был он высок, седовлас, стрижен не по-козацки. Помедлив, тихо сказал:

«Не тревожься нами напрасно, гетмане, — и ничего не страшись в священном деле своем...»

Павло смотрел в его незнакомое худое лицо — на крупный нос, в светло-серые и неотмирные глаза, сидящие глубоко под бровями, — он не знал этого человека, но вместе с тем в лице его было что-то очень знакомое, степное и воинское, — и был он Павлом почти позабыт в громокипящих днинах войны, — и имя его, имя... И вспомнил, сказал ему:

«Знаю тебя и помню, старый товарищ мой: ты... распят под Пятком, после Острожской войны гетмана Криштофа-Федора, — распят жолнерами на манер Первозванного Христова апостола святого Андрея... Знаю и помню тебя, славный брат мой Опанасе! Радуюсь, что ныне спасен!..»

«Нет, гетмане, — сказал на это ему человек, — не Опанас я Криштофа-Федора, но от плоти и крови его в двадцатом колене, смертью умученный здесь...»

«В двадцатом колене... — оторопел Павло, — так, значит, тебя еще, получается... нет?..»

«Нет. При тебе — нет. И потом еще долго — после тебя... И вместе с тем — есть, — и мука уже принята».

«За что же муки приял?»

«А за что приял их незнаемый тот Опанас? Или ты, гетмане?..»

«Тебе ведомо и обо мне?..»

Седой Опанасенко ничего не ответил на это, будто не слышал, и говорил все свое:

«За что принимали от века здесь муки мужчины, которые пытались исполнить то, что ты заложил, как священный завет?»

«Я? — тут Павло еще более удивился. — Бог с тобой, человече, — ничего-то я не закладывал, — жил и был, как прочие все».

Опанасенко снова молчал, глядя на него испытующие, и сказал:

«Ты — просто жил?»

«Да, — ответил Павло. — Просто жил. Так жили все до меня, и так будут жить, когда я умру».

«Всегда ли?»

«Нет, не всегда. Но не мне тебе объяснять».

«Да, — сказал Опанасенко тихо. — Теперь ты видишь — все завершилось».

«И — исполнены времена?..»

«Ты сказал», — так же тихо ответил тот, оборачиваясь лицом к алтарю.

Неслышно, как бы по воздуху, шли дети мимо него, иногда прикасаясь к рукам

его складками белых одежд, словно дыханием света; низкий глубокий глас диакона числил уже ряд заупокойных имен: Тарас и Богдан, Иван и Ганна, Мария и Тимофей, Самойло и Опанас...

«Помяни, Господи, и вся в надежди воскресения и жизни вечныя усопшия, отцы и братию нашу, и сестры, и зде лежащия и повсюду, православныя христианы, и со святыми Твоими, идеже присещает свет лица Твоего, всели, и нас помилуй...»

И исчисленные сии тоже составляли единый и неделимый народ его родины и любви, — пусть он не знал здесь никого, *пусть они даже еще не пришли*, не увидели блеска и глубокой сини небес, не узнали на ощупь сужденной на жизнь и смерть им земли, распростершейся привольно там, за стенами, за туманами, за великими воздушными толщами, — но он, стоящий средь них и ими забытый, гетман без имени, один из многих, из многих — один, ожидающий, когда придут они в мир для жизни, славы и смерти, несет их в безмерном памятовании сердца, в чреслах своих, в гуле струящейся в венах неупокоенной крови, хранит их малые души, как немая до веку земля хранит и несет в себе семя, из коего произрастет хлебный злак, или дерево, или зелена трава-мурава, будто несет на плечах своих неустанные их дороги, пути и тропины, их скорботные, не облегченные его жизнью судьбы, и в нем столько же будущего, сколько и прошлого. Он — средоточие мира, креста, как средоточие мира, креста эти малые дети с крыльями вместо рук, проходящие в тишине и молчании мимо него, как средоточие рода своего и этот двадцатый вверх, в немыслимую и непредставимую высоту глубины бытия Опанасенко, отразивший в лице своем (и судьбе, и судьбе...) распятого в давнине 1592 года Опанаса, в смуту-войну Криштофа-Федора, — и тоже принявший смертную муку уже по делам, Павлу неведомым. В белоснежных одеждах, омытые от кровавой пены и грязи, все они будто стоят на перекрестке миров и времен, — здесь и нигде, сейчас и никогда, — и легче ли тебе в этом родном и чужом стало, гетмане?..

Так было спрошено как бы со стороны, и полуда спала с очей, — и увидел: синий вечер окрасил былой желтый свет, и в хате мещанской загустевают смерклые сумерки. Все по-прежнему — домаха без дела покоится на столешнице, чуть тепла лежанка под спиной у него, и за стенами — Чигирин, родные пределы. С радостью, с облегчением и чуть ли не со слезами он снова услышал человеческие родные слова, голоса, ржание и пофыркивание лошадей, брязк оружия — тусклый и пока прикровенный, — извечные звуки войны. Все было по-прежнему, словно в мире не существовало ни смерти, ни бранной погибели, ни ответа на Страшном судилище, не существовало ни самое истории, ни той бездны, куда он заглянул, — но длился и плавился все тот же сегодняшний день, коему конца не предвиделось, да и быть не могло. Потому что иное — превыше сил человеческих.

Встал, не вспоминая уже о химерах, посетивших его, — да и было ли то, что увидел?.. Поднял правицу, вытирая лицо от испарины, — на пол с тихим звоном упала монета.

Медный литовский полгрош на свечи.

* * *

Что-то странное, неизвестное прежде, зрело в нем, когда стоял в густой и пряной остатними летними запахами чигиринской ночи, и пытался пугливой и слабой мыслью своей, перемежаемой молитвой Иисусовой, как бы залепить воском уши свои и не слышать треск и лязг в глубоких колдобинах череды смертных возов, наваленных застылыми мертвецами прошедшего дня, которые плыли мимо него один за другим. Единое слово билось в нем подраненной птицей, не спроможной взлететь в небесную глубь и обреченной на муку гнетущей земли, — *жизнь, жизнь, жизнь* — не знаю, что это, не знаю даже, что есть та малая вереница дней, которые прожил сам есть на свете, — вспомнить, что было: стычки, битвы, война и расправа; и было: убийство купцов и мерзенных орендарей, и ограбление коронных обозов, походы в Угры и Валахию, чадящие дымной копотью маетности иноязыких панов, — и когда удачливо все получалось, — переметные сумы, набитые чужестранной монетой и серебряной утварью, — что знаю еще о себе, кроме этого? И было еще кратким солнечным сном: как жил на хуторе с Ганной, с малыми детлахами своими, как возился на пасеке с колодами в медвяном и мирном гуле роев вечных тружениц-пчел, пахал черноземлю, — да только бросить семя в раскрытую борозду не всегда успевал, уходя к Запорожью, и оттуда — к синему морю разорять тогобочные пределы османские, резать и жечь сорную погань, бурьяном нарастающую в прибрежных аулах, — и снова надбанки: бочонки с ароматными винами грецкими и груды персидских шелков, кармазинов, парчи, снова брязк навоеванных червонных дукатов... Виновен ли? Турки, татары, единокровные ляхи, угры и волохи, с коими воевал, — мир весь, лежащий в кордоне с землей его родины, товарищество его тоже не миловал. Это и есть наша жизнь, наш удел, наша жестокая судьбина-беда: убийство, добыча и смерть... Но — ради чего?..

Возы со скрипом проезжали мимо него, уходя нескончаемой чередой в

черную предосеннюю степь. Возницы, сидя на стылых телах под горящими дымными смолоскипами, освещающими неверным и миготливым светом дорогу, переговаривались о своем, обычном и страшном:

«Тройко детлахов у меня...» — донеслось тяжким вздохом.

«Та у тебя ж чотыры по лавкам сидят!» — откликнулся тот, что двигался сзади за ним.

«Та на возу — вбыти лежат, — пойняв тепер?..»

«Та пойняв, — хай йому грець, тому гетману! — и помолчав, снова сказал: — Чи есть в тебе зелья — хоч люльку од жаха того запалю?..»

«Самому треба — не дам!»

«Шоб ты здох, чортыло таке! — взъярился просивший. — Хай бы оте детлахи униатськи воскресли та й задавили б тебе!..»

«Эгеж! За зелье те на яки прокльоны ты ще здатен?..»

Голоса в ругани затихали, отдаляясь, и из темноты прорезался свет нового смолоскипа, новый говор: погоныч клял тещу свою за то, что борщ пересолила в обед, а сотоварищ его посмеивался и покрикивал «цоб-цобе!» на серых печальных волов.

Третий, раскинув рогожку на трупах, лежал, глядя в звездное небо. То ли думал о чем, то ли мыслью витал, то ли дремал в мерном ступе волов. Грохотали, трещали, скрипели возы, груженные смертной добычей, — и Павло снова думал о них, — что убитые эти, растерзанные и изувеченные в злобе слепо-ответной жили в стрежне судеб своих на этой земле, в трудах, радостях и печалях, были людьми — живыми и разными. Но убиты. Мертвы навсегда. А что — с душами их? Куда определил их Суд Божий — за грех отступления от святоотеческого закона церковного? Может быть, то, что претерпели они ныне, это сущее мученичество, омыло сей грех, оправдало их как-то неведомым образом?..

Подошел к проплывающему в-третьих мимо возу, тронул погоныча за грубый дерюжный рукав, — тот оторвался от созерцания звездного неба, сел и равнодушно посмотрел на Павла.

«Как их имена?»

«Яки имена?» — не понял погоныч.

«Этих... Как звались они?» — Павло положил ладонь на рогожу, еще теплую от тела возницы.

«Та хто их знает? — погоныч с хрустом за ушами зевнул. — Може, и были у них имена. Може, и прозвища были. Теперь как ни назови, не откликнутся...»

«Есть ли дети средь них?»

«Та были вроде, если по дороге не выпали».

«Их-то — за что?»

«А я — знаю? Тимошенко казав, шоб род поганский вывести навсегда, шо-то такое, — не розумиюся я в тех мудрых словах по письму, шо учена старшина говорит... А тебе шо — по пути, человече? Так присажуйся, подвезу, — и добавил: — Путь прямуем в самое сердце земли...»

«Да, — ответил Павло, — да, поедем. Поедем...»

Как был — в полотняной белой рубахе, заправленной в шаровары, перетянутый в поясе широким шелковым кушаком, без домахи, оставленной на столешнице в хате, без шапчины своей с оксамитовым верхом, сел рядом с погонычем на рогожку, под которой лежали враги. Полно, подумалось, гетмане, враги ли те, у кого уже отнято дыхание жизни по войсковому суду? И если был какой-то особливый настрой в пропавших их душах, если и было некое несуразное и немыслимое вражество к общей крестной судьбине народа, то где они ныне, как осязать их и как не простить?.. Откинул закраину полога, заглянул в запрокинутое, отливающее голубым от звездного света лицо: стылые, пустые глазницы, глядящие в запредельное, куда не проникнуть взгляду живому, обострившийся нос, впалые щеки, вздернутый подбородок, крупно-острое адамово яблоко горла, в спутанных волосах — ком запекшейся крови и черная впадина раны-дыры. Крест по недостоинству сорван с груди.

Никто. Словно не жил никогда. Ни следа, ни могилы, ни памятливого теплого слова вслед отлетевшей душе. Будто и не был зачат в давней горячечной ночи любви, не возрастал в чреве безвестной степнячки, не выходил в ее муках в белый сей свет, не рос среди подкозачат, не шел в борозде, ступая в отцов след в теплой и мягкой родимой земле, не любил никого и никого по себе не оставил.

Никто. Без имени и без жизни. Как понять его дни, изжитые до сегодняшней кары? Верно, тлел без талантов, без нажитых надбанков и добр и безоглядной удачи — серяком и голотой, тяжко в наймах работал на разворотистого господаря, — на Запорожье не близко и боязно было уйти, да и страшился, что век невзначай укоротит — так бы и дотлел, дочадил до конца своего, до сивины и хворобы, за коей ушел бы как жил, как бы и не было вовсе, — или попал бы в лихую годину в татарский ясырь — довели бы в путах

его до синего моря, продали бы тогобочным купчинам в ханской столице, — хоть и рабом, но увидел бы свет за околицей господарского хутора, — умер бы там, но достойно и мученически, по-христиански, — и безмолвное тление и ничтожество изглажено было бы из небесных скрижалей. Да и если размыслить, то не всем воевать на четыре стороны ветра, не всем добычливо уходить от наступающей на пяты погибели, не всем обладать гетманскою булавою, — хотя, как воин, не однажды прошедший огонь, Павло не мог оправдать затхлой, бесцветной, бессмысленной жизни, прожитой как бы в бессильно-злобной насмешке над здравым смыслом и смятением бесконечной войны. Но, — еще раз сказал он себе, — не всем дано дело стояния за Отечество вооруженной рукой, но ведь можно иначе, как киевские подвижники... С переметными сумами и проржавевшей от крови домахой, в реве чуждого и враждебного мира, в пищальном дыму, в осажденных, вымирающих от жажды и голода, но не сдающихся таборах, мы как бы неразумные дети, безрассудно играющие судьбой, промысленной свыше, — в сравнении с совершенными ними, укрепляющими не только себя, но и нас глубокой и высокой беспрестанной молитвой в пещерных церквах... Да, или это — немыслимое по тяжести совершенства и духовного устроения. Но тление — серединный ли путь для немощных духом и телом?.. И может быть, требовалось немного: не творить зла. Он, наверное, и не делал зла въяве, питая химеры, гордыню и злобу в ущемленной и иссыхающей в бессилии душе, — и нужен был только прилог в меру сокрытой его ущемленности, чтобы химеры, гордыня и злоба взорвали кору благопристойности, тихости и покорности и открылось мелкое и клокочущее русло этой бесцветной жизньишки, чтобы конечно взъярилась она мутным сатанинским огнем — и сгорела дотла. И дан был прилог, достойный носимых химер и жажды не заработанной власти, невозделанной, не взращенной силы, когда подпираемые жолнерами, пришли в его селище, где влек он свои тусклые днины, комиссары-папежники, приманивая земными дарами на унию с Римом. Дары те пришлись по нему — за них потребовывалась самая малость: предав Церковь Христову, увлекать и других в пропасть погибели. Тех же, кто твердо стоял на камне веры, следовало примучивать и до смерти самой, ежели не отрекутся и выдержат злые тортуры. И властвовать, властвовать, поднявшись из праха наемной работы, из собственной скверны, бессилия и ничтожества, судить и рядить над душами и телами тех, кто жил рядом с тобой и, может быть, сострадал тебе, когда питал ты до срока немые химеры свои, выплеснувшиеся наружу в годину иудиного предательства... Но недолги были дни, непрочна химерная пьяная власть, невелики оказались дары — битого шеляга, мелкого пенязя иль лоскута оксамита варшавского не уносишь ты в то запредельное, куда уставлены ныне освинцовевшие очи твои. Так сбывается реченное Господом: *«а иже неимать, и еже имать, отнимется у него»*... Простить — не могу. И знаю, что грех... Но — не могу...

И думал, все думал, закрыв рогожей лицо убиенного, думал рядом с молчаливым возницей в скорбной ночи, думал, двигаясь в мерной и бесконечной чреде, думал, видя во тьме миготливые смолоскипы, и понимал, что неведомо как — судным словом, свершенной казнью и нынешним непрощением — они, Тимошенко, кат-цыган, весь день надевавший петлю на головы присужденным на страту, и он, гетман Руси-Украины, как бы свершили, не понимая и не зная того, сокровенную милость небесную к этим прельстившимся, — и оправданы ныне они принятыми муками, возвращены в обитель благих — и помилованы. Да, прощены и помилованы. И вовсе не потребна им, былым зрадцам священного, наваленным купами на эти возы, его человечье прощение, — это беда и грех несовершенной и омраченной страстями души его собственной, потому что прощены они как бы насильно Тем, Кого предали, — посредством его, неразумного и недостойного гетмана третьего удела Пресвятой Богородицы, лежащего ныне в ночи. И как бы приоткрылся звездный полог покрывающей их мироколицы, и милость эта безбрежная и неисповедимая к бренному и неразумному человечеству так въяве встала пред ним, что Павло на мгновение зажмурил глаза в слабом и охранительном страхе без следа раствориться в этом кратком и ослепительном проблеске кипящего светом, теплом и любовью мира иного, не называемого неразворотливым словом язы́ков. Мысль, слово, суждение, памятование о пути к завершению дней отступили, как бы и не были никогда, и единое смиренно осталось, неизносимое устами, но напечатленное неизвестно откуда огненными буквицами в раскрытой к небу душе, — мытарево прошение: *«Господи, милостив буди мне грешному...»* — углем света прожегшее смертное вещество и остов его до самой земли. Когда растворил снова глаза, увидел ночь, небесный Чумацкий Шлях, где чертили в разные стороны лучики путевые срывающиеся со своих мест на тверди небесной мелкие звездочки, увидел снова миготливые смолоскипы, освещающие крутые воловьи бока и бессонные, сумрачные лица погонычей-посполитых. Мироколица была прежней — великой, неисследимой и всеобъемлющей, — и кто ты здесь, странник, и для чего, и как имя твое в сотворенном столь совершенно, мудро и благостно мире?.. То, что открылось, осталось в душе, — так

отбивается в ослеплом подвечье красный рубец, когда невзначай примешь во взгляд грозовую стрелу пророка Ильи, — рубец мытаря в замершем сердце и сладостная тишина, прервавшая самое дыхание. Если бы так, в таком и сейчас ему умереть, — не было бы счастья больше, полнее... Но разве ты, путник в ночи, взыскующий милосердия и любви, властен над сроками?..

Когда расстегивал ворот рубахи, улыбался блаженной улыбкой — совсем как юродивый киевский Петря, предсказавший средь прочего еще при Стефане-короле на наступающий век невиданную доселе войну, великих воителей от плоти народа и великую же народную кровь, — помнил он Петрю киевского того, в тяжких веригах взыскующего креста и спасения вот уже тридцать лет у восточных врат обители славной Печерской, — и, верно, так улыбался он сам, снимая с груди своей крест червонного золота, даренный в крещении дедом еще Наливаем, ибо возница косился на него удивленно, подъяв на лоб клочкастую левую бровь. Но молчал до поры, пока Павло приподнимал с головой все задубевшее длинное тело убитого униата, и, поддерживая локтем, другой рукой неуклюже надевал и спускал по лицу до шеи гайтан, и возвращал крест на грудь со спины, и после мостил безымянное тело сие на другие тела. Впору сложить с себя уряд и податься до Киева, в сотоварищи к Петре под монастырскую браму, — так подумал усмешливо, — и возница буркнул севшим от молчания и бессонницы голосом:

«Дай спокой людям!.. Мало тебе?..»

«Чего — мало?» — не понял Павло.

«Возишься, возишься... Хай лежат!..» — в его голосе слышался шелест, как от точильного камня, когда остришь синее лезо домахи.

«Так чего мало — ответь, человече?»

«Крови, гетмане», — погоныч посмотрел ему прямо в глаза.

Благостыня и милость были явлены, приоткрыты, дабы помнил о них и не впадал в уныние, отчаяние, леность, — но так хотелось удержать в себе этот свет, и тепло, и любовь, — удержать и пребыть внутренне обновленным, иным, — но явленное истекало из несовершенного вещества, из души, не завершившей свой путь, умалялось, затмилось вздымающимися страстями, памятью, где изжитое сохранилось нерушимо раздумьем о завтрашнем, о дальнейшем токе войны и взыскуемым ответом на погонычевы неразумные словеса, — и опять становилось одиноко и холодно, — и сказал:

«Сколько тебе — и всем вам — заплатил подскарбий войсковой за эту работу?»

«Еще не считал!»

«Считал, — сказал Павло, — инакше не трудил бы волов... Крови, может, немало — да только разная кровь проливается ныне».

«Какая — разная? Красная она цветом у всех, человечья...»

«Да, красная и человечья, — раздумчиво молвил Павло и добавил: — Я-то, может быть, плох и жесток, но и ты ведь не лучше...»

«Я не убивал никого!»

«Не убивал — но от крови сей и ты часть имешь. Ну, да что тут рядить — дело такое. Война, брат, — и не мы выбираем, а нас. Так что не нам здесь об этом судить. Будем жить, пока живы, и делать, что делать должны. Погоняй!..»

Вороново крыло ночи подспудно разжижилось на окоеме до густой синевы, голубеющей неприметно для глаза.

Ехали молча.

Из усталого растрясенного тела Павлова и скорботливой души явленное небесами так непреложно к предутреннему часу сему совсем истекло и исчезло. В открытой степи, готовящейся приять первый луч света, было росно, свежо. Погоныч добыл из скрыни дрянной пропыленный кожушок и набросил на плечи Павлу. В достижении взгляда становились все более различимы остекленелые травы, тронутые то ли серебряной изморозью, то ли белой росой. Череда лета катилась прямиком в осень, венчающую годовой круг изобильными плодами земными, благорастворенной прозрачностью чистых воздусей, козацкими и посполитыми весельями-свадьбами на богатых степовых хуторах и в людных полковых городах, багрянцем и лиственным золотом перелесков и заповедных запорожских лесов, — вересень, жовтень и листопад, — одиночеством и печалью свершившей свою работу земли, пустой тишиной сна и умиротворения. Через две-три седмицы потянутся на полковые земли Руси-Украины толпы сидней и гнездюков из дымного Запорожского Коша и с отхожих летних промыслов низовых, возвращаясь в родные гнездовья свои зимовать, зачинать новых здешних людей — будущих посполитых и козаков, приводить в лад запустевшее господарство, раздаривать матерям, женам, сестрам и дочерям дарунки заморские, побрехивать долгими вечерами в тихом светле каганцов и шандалов про войсковые запорожские свары, про шумливые рады, про *волю*... И ожидать начала вес-

ны, поднимать лежалое поле, на развороте сохи у соседского межевого валуна-камня, поглядывая через плечо ненароком в сторону, где уже — чу!.. — гомонит среди Великого Луга вольный Кош... Но до этого еще далеко — осень ступает неслышной стопой на пажити, леса и степные притоки Днепра, — завершение года земного 1594-го от воплощения Сына Божия в мир, — и на забубенном галасливом Базавлуке, на Чертомлыке останется к месяцу листопаду лишь горстка бездомовных лихих отчайдух оберегать войсковую армату, запасы жита-пшена, жалованные прежними королями литавры и святыню свою — церквицу Покрова Пресвятой Богородицы. Время свершает свой круг. Сколько жовтней и листопадов прожить доведется ему до скончания срока земного?.. Кто скажет?..

Когда совсем развиднелось и незнаемая округа обрела очертания и приметы, смертный их поезд остановился у большого кургана, на вершине которого стояло иссеченное ветрами и временем пузатое половецкое идолище. С передних возов что-то кричали. Погонычи спешивались, доставали заступы и шли к подножью могильника-капища. Павло спрыгнул на землю с воза и пошел по обильной росе, измочившей шаровары едва ли не до кушака, в голову, к передним возам, уже вычленив из снующих там посполитых и вооруженных козаков постать генерального судьи Тимошенка.

«Что, гетмане, не спится тебе? — неудоволенно сказал Тимошенко, когда Павло подошел. — Хочешь увидеть, как это все кончится?»

«А ты, Петро, думаешь — это конец?..»

Тимошенко пристально посмотрел на него красными от бессонной ночи и крови глазами, затем крякнул и отвернулся к возам, с которых козаки сбрасывали в траву тело за телом.

Среди тех, кто занимался этим делом, был и возница Павла, набросивший на плечи ту рогожку, на которой он просидел весь долгий путь. В суетливой и мерзенной этой возне Павло заприметил вчерашнего расстригу-запроданца, схожего на хазара от дегтя, покрывающего его оголенное тело. На шее расстриги серел железный ошейник, на котором, позвякивая, болтался обрывок цепи. Подбородок чернел запекшейся кровью на месте выдранной бороды. На темени головы его неразумной немилосердные шутники из козаков выстригли и даже выголили острым ножом католицкую монашью тонзуру и дегтем же навели на ней крест. Химерная постать расстриги слонялась среди возов, — он пытался помочь козакам, хватал трупы за ноги и отволакивал в сторону, — козаки, уставшие за ночь, гнали его от себя, ругаясь по матери, — в сером утреннем свете наступало отрезвление от вчерашнего кровавого пира, и то, что веселило и забавляло вчера, над чем издевались и хохотали, сегодня вызывало стыд и, может быть, даже раскаяние. Над расстригой вчера потешились вволю, но до конца не убили зачем-то, — по неисповедимой и тайной тимошенковой думе протащили живцом до самого сердца земли, до окаянного идолища половецкого, — был он как бы уже и не живой, не отсюда, но бегал, бренча псиной цепью своей, путался под ногами, белькотал что-то жалкое и презренное, к чему никто и не прислушивался даже, — тень с того света, воскресшая прежде времени в сером мороке потаенного утра. В молчаливом сосредоточии люди, сбросив свитки, кожухи и рогожи, копали в склоне кургана погребальную яму, и Павлу показалось, что каждый из них понимал, что происходящее в последние дни есть только начало великой и страшной войны, каковой не бывало доселе даже в воинственных и многострадальных этих краях, — войны не с поганью крымской, не со владетельной польской Короной, коей все они верно служат и подданы — до известных поры и предела, не с жадным шляхетством, но с расколом тела народного, с прелестью сатанинской, что устроилась изволением высших церковных сановников среди братьев по крови и по судьбе.

Пока посполитые и козаки заступами вынимали землю, отец Стефан с двумя псаломщиками служили панихиду по убиенным:

«Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый: Сам, Господи, упокой душу усопших раб Твоих...»

Тихие слова моления о душах усопших, сладковато-прогорклый кадильный дымок и нестройное пение клириков в струях легкого ветра доносились до Павла, как бы удостоверяя открытое ночью. Тимошенко, стоявший с ним рядом на краю углубляемой ямы, кривился, как от боли зубовной:

«Как собак их зарыть!.. Как собак!.. Бесы принесли того старого Стефана!..» — белая и пронзительная ненависть, как роса на траве, горела под насупленными бровями его.

«Долог и многотруден путь предстоит, Петро, — сказал он, беря в горсть тимошенково предплечье и глядя в глубину его глаз, где малыми сполохами будто отсвечивала душа этого человека, волею судьбы и волею рады поднятого из куренных атаманов на уряд-служение генерального судьи Запорогов. — Побереги свою пристрастную силу для достойного дела!..»

Тимошенко сбросил его руку, обжег взглядом:

«А это что — не достойное дело?!.. Или что-то было не так?»

«Ты сделал свое, — ответил Павло. — И больше нет твоей власти над ними. Ты сделал, что мог и что был, может быть, должен. Теперь череда не твоя...»

Сычание, клекот вышли из груди Тимошенка, будто не хватало слов в языке, и белым, лихим светились глаза, устремленные на Павла.

«Почему... — тихо и медленно, справившись с собою насилу и потому чеканя каждое слово, сказал он, — почему эти выблядки, христопродавцы и зрадники отпеваемы по канону Церкви, от которой вольно отказались?.. Я тащил их сюда, трудил людей и скотину, чтобы от них не осталось никакого следа в Руси-Украине, чтобы их *не было, не было*, чтобы никто никогда не узнал нашего позора — ведь это мы — через них — предавали Христа иезуитам... Где еще было такое?.. Где?!..»

Павло молчал. Ему нечего было ответить судье.

«Мы, гетман, должны остановить это, пресечь, уничтожить!» — он будто бы заклинал некие силы. Но разве круг времени на земле возможно остановить и стронуть назад?..

«Да, — сказал Павло, — это так. Но посмотри на этих своих — они уже мертвецы. Ты их остановил, уничтожил. Так не труди над ними души...»

«Но правосудие, гетман, еще не закончено. Они должны быть зарыты как падаль — и *без прощения*!.. Нечего здесь делать попу!..»

Павло горько усмехнулся, сказал:

«Здесь ты не властен. Ты — судом своим никаким — не отменишь Господня суда. Панотец знает, что делает. Этим убитым ты ничем не сможешь уже повредить».

Павло видел и знал, что Тимошенко не вразумился, — да и разве словами кого вразумишь? — что потребовалось ему самому этой ночью, чтобы хоть отдаленно что-то понять, чтобы хотя бы приблизиться к чаемому? Ничего не изменяют человечьи слова, произносимые худыми устами, — так думал и слышал, как отец Стефан уже завершает панихиду:

«Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшихся рабов Твоих, братьев наших...»

Козаки и посполитые яму уже тем временем завершили работой и выбирались наверх, подавая друг другу руки и заступы. Вскоре на дне ее совсем никого не осталось, кроме голого, заходящегося хрипом расстриги. Он безуспешно сучил слабыми ножками по осыпающейся земле, с разбегу бросался на высокую стену, цеплялся ногтями за край, за клочья травы, но падал, скатываясь на дно, бренча цепью, скуля и хныча о взыскуемой помощи. Никто на него не смотрел, никто не подал ему ни заступа, ни руки. Козаки в хмуром молчании отходили к возам, к груде закоченевших тел, наваленных в высокой траве. Отец Стефан, не глядя на подходящих, сгорбившись сидел на ближнем возу, перебирая четки, сработанные из пересохлых от давности ягод шиповника.

«Можно ли, панотец, нам начинать?» — спросил один из козаков, подошед к нему.

Он ничего не ответил, как бы не слышал вопрошания козака. Понуро отвернул лицо свое в открытую степь, к встающему из-за черты окоема большому багровому солнцу.

«Ну, что вы там б*а*ритесь?! — сипло разнесся голос судьи. — Начинайте скорее!..»

Расстрига так и метался внизу, пытаясь увернуться от падающих на дно ямы тел.

«Проклятые смерды! Холопы! Быдло козацкое!..» — визжал он, плача в голос, уразумев, что задумал о нем Тимошенко, бросался к высокому краю, скребясь по глине наверх, но тяжелые, как бревна, мертвецы, падающие на него, сносили его снова на дно. Расстрига извивался, придавленный тяжестью упавшего тела, и едва выскребался из-под него и выбирался наверх, как новый мертвец, сброшенный козаками, налетал на него.

Было, сказывали, и с ним: тяжесть постов и долгота молитвенных служб, невозможность по данности к духовному совершенствованию и особливому подвигу — и ложно-смиренное подчинение ересиарху на митрополичьей кафедре киевской с епископами-клевретами, развязавшей руки на злое. В кратком владычестве, освобожденный от служб монастырских на волю, которая вышла хуже последней неволи, дорвался он в орендарских шинках и броварнях до сладкой медовой варенухи, до деренивки, дуливки, калганки, паленки, до самой дрянной чикилдихи-мокрухи, не говоря о грабованых винах церковных, о пенных пивах и крепких медах-поставцах. Раздобревший на немонастырских дармовых, обильных хлебах, сыто в голос рыгая, ездил он по селам в мягком шляхетском *берлине*, запряженном кровными — не его — рысаками, ездил, как почти комиссар: в богатой, тяжелой оксамитовой рясе, в сапьяновых чоботках, с подборами, подкованными серебряными подковками, в уставленной жемчугом великодней епископской митре, утянутой под шумок из

церковной ризницы в Киеве, у самого превелебного Михайла Рагозы; паном-хозяином заходил в церквицы, мурованные коштом поспольства, трепал за бороды забитых сельских попов, бил их кийком по потылицам да по бокам, лишал добр и дворов, выгоняя за села, — и снова пил и гулял, испроедал посполитых, требовал, чтобы местные девки танцевали перед ним, пока он заливался вином, знаменитый осенний танец «Ходит гарбуз по городу», кострубато и пьяно белькоча ту брыдню про вселенское первенство папы, под высокое слово свое запуская за пазуху девкам и даже молодайкам нечистую похотливую руку. Наконец, остановился для жительства в Надточном-селе, иссек розгами до полусмерти попа Методия тамошнего и отдал на подальшую расправу комиссарам-папежникам, кои заточили Методия того безвестно куда. Снова насильничал девок, снова безустанно пил и гулял, заложив другам-орендарям безвыкупно причастные потиры, дискосы, чаши, сколько их ни было, в той церкви надточенской. Мог делать и больше того по благословению римскому. Потому что почиталось все это отнюдь не грехом, а напротив, едва ли не апостольским подвигом — как возвращение из греческой схизмы в лоно истинной Церкви, под ватиканскую длань заблудших надточенских парафиян.

Ныне же наступал час расплаты. Расстрига скавчал битым цуциком, просил о даровании жизни, клялся в оставлении богомерзкого дела. Силы покидали его. Униатские трупы в падении вздымались на-попа, переворачивались и застревали в общей куче на дне. Жалкий сей человечек уже не пытался вылезти из-под них и выскрестись наверх. Сидел, заваленный по поясницу телами, и по-звериному выл.

Дело шло к завершению, — на траве подле возов осталось одно только тело, — был это посиневший от смерти ребенок, мальчик пяти-шести лет, пробитый в беге пикою со спины и скорчившийся в муке предсмертной, будто хотел спрятаться от настигшей его боли в себя самого. Козаки стояли кто где, опустив головы долу. К чему им было оружие, воинственные оселедцы, замотанные лихо за уши, широкие шаровары — если начавшаяся война не щадила и малых сих, невиновных в родительских прегрешениях? Никто, даже судья генеральный, не мог вспомнить и объяснить, кто и за что прободал пикой этого подкозачонка. Козаки стояли недвижно. В яме нечеловечески завывал отступник-расстрига. Убитый ребенок лежал в примятом круге травы. Невесть откуда сгустилась и пала на них тишина, — только неуемный ветрец раскачивал разноцветье высокой зеленой травы. И потому оглушительно и полохливо заскрипел, заклямкал колесами, ступицами и растрясенным начиньем тот воз, где сидел панотец со псаломщиками, разворачиваясь на прибитую колею, которой пришли они утром, отъезжая прочь от незарытой могилы.

«И малого этого ты не можешь простить?» — сказал тихо Павло насупленному Тимошенку.

Судья скрипнул зубами, цыкнул на землю желтой цевкой слюны и хрипло сказал козакам:

«Кто-нибудь! Бросьте пащенка на место его!»

Никто не двинулся к посиневшему от смерти ребенку, никто глаз не поднял, никто не услышал сего, кроме Павлова погоныча. Он обернулся к судье и тихо сказал:

«Вот придем назад в Чигирин и скинем обоих вас с уряда...»

Тимошенко горячей рукой схватился за саблю — и лезо ее будто само по себе с тихим посвистом выблеснуло из ножен.

Павло едва успел сбить погоныча с ног, свалить его сильным ударом в плечо, как сабля судьи со смертным шорохом рассекла воздух над их головами, дохнув сухим, колким жаром. Во мгновение Павло бросился к Тимошенку и успел удержать вздетое для другого удара запястье, выкрутить черен из сведенных судорогой пальцев.

«И это тоже — твое правосудие?..» — выхрипел он в налитое кровью лицо Тимошенка.

Судья едва ли не рычал по-звериному, пручался в крепкой хватке Павловой, рвался к скрючившемуся на земле погонычу, прикрывшему обеими руками голову в ожидании немилосердного боя, но вырваться Тимошенко не мог, силою уступая Павлу. Погоныч помедлил и встал, отряхивая от праха порты и затравленно поглядывая на козаков. Те стояли недвижно, каменно — за оружие не взялся никто.

«Хватит, — сказал Павло. — Не доводи до греха, Тимошенко. Верши дело свое — да возвернемся до тьмы в Чигирин...»

Растрига в яме примолк, почуяв нарождающийся раздор и разброд. Выскребся-таки из-под трупов, подлез на карачках по ним к краю, зацепился пальцами за траву и высунул тонзурную голову с начертанным дегтярным крестом.

«Панове козаки! Милостивии господари! Дозвольте мне детлаха того вкинути в халдейскую печь сию — достин-бо кары небесной... — залепетал нечто по письму, и в желтых, как у кошки, глазах его высверкнула надежда. — А за то — милуйте мя, неразумного, чернеца недостойного, бо клянусь в вышних Богом, шо вернусь в

кляштор свой, рекомый монастырищем, приму епитимью, а по-вашему — *прощу*, затворюсь навек в мрачных хладных печерах, одев даже тяжки вериги и путы на выю! Милуйте, братчики, Христом Богом нашим, — пробачьте за папу того, — не хочу бо страдати за его первенство, — хай йому грець!..»

Красным своим сапогом, словно сшибая с гряды капустный кочан, Тимошенко с силой ударил расстригу прямо в лицо. И тот, крича и волая, провалился на дно ямы, как в преисподнюю. Затем судья подошел к тому, что в жизни было ребенком и чему не дано было времени вырасти в парубка, в мужчину и воина, взял его за ногу и поволок по траве к яме. Тельце, сведенное судорогой смерти, так и не распрямилось в движении, не разогнулось, глухо упав на трупы изживших свое под небом этой оскверненной земли. Расстрига боком лежал на других и уже не стонал, не скулил, но плакал тихой слезой. Спина его на мгновение замерла, когда упал на нее первый ком земельного праха. Козаки и посполитые завзято принялись забрасывать яму, чтобы скорее закончить эту нечеловечью работу. Идолище на вершине кургана безучастно и каменно внимало кутерьме у подошвы, как бы свидетельствуя равнодушно пред небесами о начале новой, без счета, войны, — войны со своими, где гибнут, как и в войнах других, дети и старики, юродивые, не причинившие зла никому, и монахи, старцы и воины без числа.

Павло отвернулся от ямы, ступил в открытую степь замедленным шагом, как бы во сне, оставляя за спиной сухой шорох падающей земли. Дни его были еще не изжиты, не совершено главное дело, и, может быть, где-то на дне души его зрела, набухала в предчувствии тихая зависть к этим убитым, изувеченным людям: они упокоены ныне, и нет больше боли, разрывающей тяжести выбора, нету страдания жить, сползая в небытие и возможное не прощение, — под этими небесами, на этой суровой, не знающей пощады земле, — они упокоены, отпеты по канону Церкви апостольской и преданы земле, что их породила.

И они прощены.

Так ли умрет и он, гетман Руси-Украины, выброшенный слепою судьбиной на гребень людской в эту лихую годину, в эту смуту, каковой не бывало от века здесь, близ великой крестильной купели — Днепра, близ матери просиявших в веках городов русских — златоверхого Киева, — дарует ли время, судьбина и Бог и ему со славою умереть, быть отпетым, отмоленным в заупокойной панихиде по исшедшей из тела душе и прахом вернуться в лоно материнской безгласной земли?.. Тот странный сон вчерашнего дня, отбивший в подвечье сквозь толщу времен несуществующий ныне и разрушенный в оконечности лет большой монастырь, встал из его воспаленной души, и он подумал о том не родившемся еще двадцатом вверх Опанасенке, про то, что он сказал. Знал, знал он о смерти его, Наливаева внука. Но не поведал ни слова. Да и как ему было поведать, вмешиваясь смертным, плотским словом своим в ток приуготовленного к свершению силами, неподвластными человеческому разумению? Но если тот двадцатый в череде Опанасенко в исполненных временах, в оконечности их помнил и ведал о смерти его, значит, все это было (и будет...) не зря, и умрет он со славою и с достоинством, и, даст Бог, смерть его будет красна...

А может, страшна? — да так, что на века содрогнутся живые, прикасаясь воспоминанием к этому утру, в котором он бредет по росе среди трав и последних цветов лета 1594-го, среди крепкого настоя пахощей открытой степи, заливаемый малиновым солнцем?.. Но он не знал ни о чем и ни о чем не догадывался и к восставшему в памяти сну отнесся почти что легко и с усмешкой, подумав: плачет-зовет тебя киевский Петря под монастырскую браму *лазаря* петь... и все-таки что-то в нем было не так.

Вскоре вышел на колею и увидел недвижно стоящий воз отца Стефана. Панотца не было в нем, псаломщики же беспробудно спали на дне, подложив под головы скуфьи. Торкнул одного из них:

«Где панотец?»

Причетник хлопал спросонья белесыми ресницами, щурился от света высокого солнца. Рот его неудержимо распирала зевота, и сквозь нее он едва спромогся ответить:

«Панотец в степь отошли помолиться, дабы никто не мешал... Приказали дожидаться обоза... А что, поховали уже соединенных?..»

Павло не ответил, сел на землю под воз, склонив тяжелую голову на колени. Саднило в глазах, будто вместо слез был в них песок. Он прикрыл веки и провалился в ничто.

Вскоре с отхожей молитвы вернулся отец Стефан и сел на землю рядом с Павлом. Белое солнце поднялось уже высоко. Широкая безбрежная степь полнилась звуками жизни, для которой не существовало смерти. Панотец смотрел в колыхание трав и цветов, слушал птиц, внимал тишине сердца земли. Он думал о том, что такого покоя и такой тишины с ним еще не случалось, хотя дни его были долги и отдачливы. Еще думал, что жизнь уже прожита, почти что окончена. Скоро отправляться в другую

дорогу. На кого в этой смуте оставит он святую Покрову Сичевую и церквицу светлого Ее Имени?.. Впрочем — что он и кто?.. Пресвятая Дева распорядится и без его слабой заботы...

Двадцатилетним парнягой, молодым козаком, сбросив червонный жупан и изломав в куски каленую тяжелую саблю на *проще* в Киево-Печерской обители, он отошел душой своей от войны так внезапно и скоро, что до сих пор не мог для себя уяснить, что же с ним произошло в той давнине. Стал послушником, затем чернецом. По*т*ом и кровью, веригами и бодрствованием искупал он прегрешения своей юности, но не с полоненными волошанками, что можно было бы объяснить и оправдать по слову Псалтири *«Грех юности моея и неведения моего не помяни»*, но страшные грехи убийства в походе на Яссы, — и он молился о них, о безымянных душах троих врагов-человеков, которых тогда зарубил. Душа в покаянии просила затворного подвига по примеру древних великих отцов, но архимандрит Лавры Феофил распорядился иначе его жизнью и жаждой духовной... На той давней и памятной *проще* казалось ему, что с этой поры не увидит он больше низовьев Днепра, как и не вернется в мирскую, посполитую жизнь, — да и как совместимы друг с другом иноческое сокровенное житие, *инакое* во всем, и кровавый подвиг вооруженного воина? — но довелось-таки возвернуться ему на неспокойную многолюдную Хортицу, в Кош Запорожский, где к тому времени уже не осталось в живых ни единого, с кем он некогда отправился под Яссы когда-то. Но были другие вояки, новые отчайдухи, — днепровские острова не оскудевали на люд. Вернуться, чтобы стать служителем у главной святыни вольнолюбивого рыцарства Запорожского, у знатной в веках Покровы Сичевой, — и духовным отцом каждому православному, здесь обретающемуся. С тех пор минуло полвека — и жизнь изжита без остатка. И больше не довелось ему увидеть зрением плоти свой монастырь, сияющий россыпью куполов на зеленых киевских кручах.

Тревожная, трудная и лихая выпала жизнь панотцу — но и счастливая. Да... И счастье это было не только духовным и прикровенным, когда молебствовал в переполненной вооруженными козаками церквице пред славным образом Пресвятой Девы, ощущая лицом и душой исходящую от Нее силу нетварного света, огня, но было — среди разливанного моря смертей и походов — и тихое счастье сотворенных, исполненных солнца и земной красоты дней, когда он чувствовал, знал, как течет река времени над благорастворенными воздухами, над этой землей и над миром, лежащим в неправде, — и река эта милостива, покойна и величава. Теперь он мог обернуться назад, в прошлое, в старые добрые дни, — потому что стал как бы тенью ушедших или их полноправным посланником в будущ*и*ну, которой они не достигли. Разве он не понимал того Наливая со стариками, сложившими головы в Кафе? Если бы не был облечен саном духовным и дожил до такой вот преклонной поры, он был бы в числе тех дедов, совершивших последний смертный свой подвиг, — да, безумный в меру трезвого размышления, но не безумнее тихой и мирной кончины в родной хате под образами. Оглянуться пред смертью и снова увидеть их, как живых, в обретенном бессмертии. Вот они, его былые товарищи-дети: множество, тьмы разноликих и разноголосых, объятых одним устремлением к *воле*, свободе Отечества и к войне за нее. Вот они снова: сильные, непреклонные и бесстрашные, с усмешкой и последними матюками всходящие на смертные плахи, — такими они остались во вместилище памяти. Эти люди старых времен, когда турецкий султан, сидя в Константинополе, слыл гетманом Запорожским, исполинскими и непримиримыми даже до смерти тенями восставали в крутой высоте взвеси воздухов и смотрели на покинутое ими дымное Запорожье, — он видел их иногда прямо под солнечным шаром и под россыпью звезд, над мраморными глыбами облаков, привольно плывущих по небесному океану, — он помнил их имена, хотя не каждого смог он отпеть, но за каждого и доселе молился, — прощены ли их души там, в другой уже жизни, где свет светел, а тьма черна и безжизненна? Изглажены ли из книг судьбоносных их прегрешения, малые и великие?.. Он остался в жизни один нести тяжесть знания и печали. И теперь в расцветающем дне у безвестного степного кургана, где кончали свое дело их дети и внуки, ему по-стариковски казалось, что те, отошедшие в смерть и по неимению его рядом с ними исповедовавшиеся Богу, Днепру и своему кошевому, были другими во всем, — и не было горестней смуты. И не было бы — если бы и они, чьи имена им не забыты, достигли будущ*и*ны, как он, их духовник. Впрочем, кто знает о том?.. Каждый несет свой крест и живет в назначенный срок. Если попущено свыше — стало быть, для вразумления, за грехи, за неусердие и забвение долга. Разве не оскудела благочестием русская Церковь за последние времена? Сравнить ли, как все было при русских князьях, сыновьях и внуках святого Владимира?.. Озимело православие русское, в гордыню пришло и в упадок. Потому-то панство отечественное католичится, слепнет от лакомства властью, даруемой королями отступникам... И теперь — эта смута... Выстоять, обновиться духовно в страданиях, отсечь ветхое и истлевшее, выстрадать *волю* и *истину*... Я мал и недостоин судить о Промысле вышнем, хотя про-

жил долгую жизнь и скоро отправляться в другую дорогу, — но что есть моя жизнь в сравнении с тем днем, что как тысяча лет, и с той тысячей лет, что как день?.. Так сидел, прижмурив на солнце глаза, на теплой земле, в тишине, не зная о том, что эта тишина, исполненная звуков живого и вечного, ныне последняя на многие и долгие годы, когда не станет уже и его самого, не станет Павла, спящего рядом, не станет детей и внуков его, но и правнуки и другие за ними не доживут до такой тишины... Не знал панотец ни о чем и, казалось, ни о чем таком и не думал, но видел только всегдашние непримиримые тени, стоящие под зрелыми облаками дня месяца августа-sierpien'a и смотрящие с укоризной на происходящее здесь, на оставленной ими земле.

Отлетевшая было душа вернулась в смертную плоть, и Павло будто почувствовал со стороны жгущий взгляд чужих глаз. Он вскинулся, встряхнул головой и окончательно проснулся. Увидел рядом с собой отца Стефана и немного смутился. В остаточном, в отлетающем прочь сне понял, что не священник разбудил его взглядом.

«Простите, панотец, что не дождался вашего возвращения...» — сказал Павло, но отец Стефан словно не слышал его, погруженный в иное.

Волнами на них накатывались изнурительные, горячие запахи сердца степей — распаренная солнцем трава, остатние цветы пахли в последнем как бы предсмертно, отдавая воздухам все, заключенное в них. Вот эта жизнь, — подумал Павло, — которой нам никогда не понять, не охватить разумом, волей и словом... Можно только смиренно взирать на все это и быть частью сей красоты, неминуемо изгибающей в срок, уступающей место другому и обновленному... Но так ведь и есть?.. Мы заступили место и землю отцов, и мы делаем то, что должны — украшаем отчизну оздобами и бороним от нашествия иноплеменных, не жалея дыхания и живота; в срок придут наши дети и будут делать все то же, — и жизнь никогда здесь не прервется, не кончится, — и в этой непрерывной и ненарушимой цепи, в *обреченности* на жизненный толк и уклад прародителей есть та счастливая мера красоты, гармонии и совершенства, что здесь и сейчас дает одинокому сердцу влиться в ток общего соборного бытия, стать бессмертным, ибо здесь — смерти нет... Так живы те, что ушли, живы и те, которые еще не пришли, но чьи пути уже приуготовлены и предназначены. Нет смерти — когда ты часть этого мира, часть целого, пылинка в солнечном свете, — и за тобой стоят полки древнерусских дружин великого князя в тяжелых кольчугах на киевских кручах и рослые козаки давнины в смертных рубахах с опущенными долу домахами, — и среди их исполинских бесплотных теней ты видишь до боли родных: деда Наливая со стариками-товарищами, и отца, и дядьев, старших братьев; и пред тобой — воины времен наступающих, средь которых тебе никто не знаком; воины всюду, везде — ибо *воля* и *вера* всегда взывают к защите... Но — что же ярыги под монастырской руиной из вчерашнего сна? И двадцатый вверх в будущ*и*не седой Опанасенко?.. И сказал отцу Стефану:

«Панотче...»

Тот немо и скорбно смотрел на него, будто без изнесенных словес знал, о чем хочет Павло его вопросить.

«Да, сын мой Павло, неисповедим о нас и о нашей земле Промысел в вышних... Есть и пребудет дикое мясо на нашем поспольстве, на нас... Но что тебе до того?.. Ты зван для дела, тебе предназначенного, как зван и я для служения Богу и Покрове Сичевой. Свершим же свое — и да возвеселимся душою!.. Смотри, сын мой, на благолепие Божьего мира, ибо знаю: не будет больше сего...»

«Да, панотец», — сказал тихо Павло.

«Я слишком долго живу, — сказал немного спустя отец Стефан как бы себе. — Долго жить ведь не надобно, ибо можно дожить до такого вот утра, за которое не сможешь ответить...»

«Но мы ли знаем о сроках?» — сказал Павло.

Блекло-голубые глаза панотца проницали душу до дна. Неизъяснимое, горестное и усталое исподволь сгущалось в священнике, и само собой вставало из памяти евангельское чтение, изнесенное бессчетно за жизнь, о человеке праведном и благочестивом Симеоне, коий, в молодости своей будучи переписчиком священных писаний, единожды усомнился в грядущем воплощении Сына Божия, и было за неверие то предсказано ему Духом Святым, что не увидит смерти, доколе не увидит Христа. Благо ли — долгая жизнь?.. Нескончаемое время жизни лишило Симеона всех, прежде родных и любимых, обретенные бесконечные днины, заполняемые до краев новыми и новыми поколениями, были чужды и печальны, — и хотелось ему одного: глазами плоти увидеть Христа, чтобы затем упокоиться, умереть. На третьем веке своем «*прииде духом в церковь. И егда введоста родителя Отроча Иисуса, сотворити има по обычаю законному о Нем, той прием Его на руку своею, и благослови Бога, и рече: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром: яко видесте очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей...*» Какое облегчение,

радость и счастье преисполняло Симеонову душу, когда воочию увидел он Вечную Жизнь, так неразрывно соединенную со смертью его!.. Зачем же ему, недостойному запорожскому панотцу, суждено уцелеть, не быть убитым в самой сердцевине бесконечной войны, на низовых островах, где сама жизнь человеческая не ставится ни во что, когда изгибли жившие прежде, изгибли от сечей, от свинца, от каменных ядер, от татарских ножей и панских расправ, от годов, что сплыли, как льдины весной по Днепру, в небытие, — нет, давно уже нет никого, с кем начинался путь его на этой земле: изгибли други-козаки, убиты, утоплены, сожжены духовные чада, ушел в мир иной тот давний архимандрит Феофил, благословивший его на служение в вольном гнезде Запорогов, — но нет смерти ему, хотя не исчислить стычек и сечей, где он сражался с молитвой и крестом, да и зачастую — с тяжелой домахой в деснице плечо к плечу с козаками в боевом крепком ряду, — и не исчислить шрамов на ребрах его и в душе... Для чего, для какого *свидетельства* бережет его Бог?..

«Неведомы сроки... — сказал панотец. — Неведомы...»

Полный день плавился, колебался разогретыми струями воздуха над степью. Сквозь пение и пересвист птиц и шорох трав в рост лошади близились звуки людей: стук колес, поступь волов, редкие возгласы погонычей — обоз правил обратный путь в Чигирин. Павло встал, глядя в сторону сущих, — и стеклянная тишина в нем и вокруг распадалась кусками, гибла, уходя в корни травы, исчезая, и душа, как открытая рана на солнце, исподволь затягивалась некоей мутной пленкой вроде пергамента, будто бы подсыхала, утрачивая глубину и объем, — и он снова погружался, как в омут, в смуту, в отмщение, в гнев, что кроваво пузырились в нем, взывая к силе и деянию, — из гибнущей тишины, из обманчивого покоя снова восставали сатанинские тени: комиссары, везомые запряженными цугом девками и молодицами; осквернённые храмы; расстрига в украденной у Рогозы митре, пропитой затем орендарям; экзарх патриарший Никифор, высохший до скелета от голода; погребенные ныне, — и дети средь них...

Подошел к возу, на котором сгорбившись сидел темный лицом Тимошенко, — все ли? — безмолвно вопросил он судью, — и тот ответил:

«Все, гетмане...»

Двинулся кобрию и воз панотца, — священник шел рядом с ним, положив десницу на верхнюю жердь борта. Павло отыскал взглядом своего погоныча и дождался, пока его воз поравнялся с ним. Сев рядом, спросил:

«Как там все было?..» — хотя знал, все знал о том, как все завершилось. Была ли в том правота, — и жестокость казни — разумна ли?.. Пенилось, рвалось что-то в душе, не находило выхода и исхода, — вина ли, сострадание ли? Непримиримая ненависть? — или усталость от перевернувшегося вверх тормашками мира, от невозможности отделить теперь правду от кривды, белое от черного, казнь от милости, ребенка от взрослого?

«Попа соединенного живого зарыли», — сказал равнодушно погоныч.

«По праву ли сделано так?» — спросил Павло.

«Не знаю, — ответил погоныч. — Лучше бы, наверное, зарубили...»

«Ты ведь давеча ночью о крови, брат, говорил, — так не много ли ее ныне?..»

«Много, гетмане, — перехлестывает через край, — а что делать?.. Только детей вот — не надо... Не надо детей убивать...»

Павло ругнулся по матери, сплюнул на землю:

«А кто сказал: надо?! Кто сказал, чтобы детей убивали?! Война без спросу, без разуму и без разбору берет то, что ей суждено!.. Дай-ка заступ, погоныч, и кнут тоже мне дай, — и подожди, пока я вернусь!»

Спрыгнул с воза, — кипело, пузырилось нечто внутри, мышцы сводило судорогой упрямой и неведомой силы, — в глазах рябила розовая кровавая взвесь, и громадный день до небес давил его солнцем, жаром и невыносимым удушающим запахом трав, — взял заступ, сжал в кулаке кнутовище и скоро пошел назад, к пуповине кургана.

«Куда ты, гетмане?!. — взъярился над гремящими возами глас Тимошенка. — Куда ты — вернись!..»

Он не ответил, не обернулся на крик и ругательства, что неслись ему вслед, — шел по траве, по мелким цветам без названия, шел по осквернённой земле своей родины, с неуемной, клокочущей силой внутри, которая выпирала вовне, в этот прекрасный и страшный мир, лежащий вокруг и везде и называемый Русью, которую призван он сохранить ценой своей жизни и жизней других, об этом не ведающих до поры.

Здесь, у подошвы поганого капища, густой горьковатый запах чабреца и чернобыля перебивался духом прели и сырости стронутой с места земли, поднятым полем чернело притоптанное козацкими чоботами и посполитыми пятками бесславное погребение. Торчал каменный истукан, подпирая большой яйцевидной башкой небеса, бугрился склон, недвижно замерла стена трав, — и дальше — простирались в запредельное,

в туманном небоземе сливаясь с блеклой синью, зеленые, в первых подпалинах осени степи, где не ступала еще нога вооруженного человека, — и никто не придет молебствовать этому идолу, никто не придет поминать погребенных сегодня, ибо и потомки их лежат вместе с ними.

Когда втыкал заступ в мягкое и податливое, на душе было одиноко и сумрачно: что-то снова происходило не так, как должно, — и сквозила легкая и недоуменная боль, — но что? Что?.. Ведь он вернулся сюда ради милости... Или милость так невыносима и тяжела?.. Отбрасывал мягкую землю, натыкаясь время от времени на склоненные головы мертвецов, на их вздетые в подземном молении руки. Вскоре, чуть в стороне, он воткнул острие заступа в живое, содрогнувшееся вяло от боли... Смерть, цепко охватившая полузадохшуюся добычу, ослабила хватку, в недоумении отпрянув в глубь и сумрак земли. Павло осторожно, чтобы не перебить ненароком лопатой расстригино горло, обкопал голову с залепленной землей шутовской тонзурой, пальцами обмел серое неживое лицо, откопал плечи по грудь, — тело расстриги леденило ладони, и ему показалось, что он опоздал. Подхватив под руки и поднатужившись, Павло выворотил, как пень из земли, бездыханного, взвалил его на спину и отнес от общей могилы. В осыпающейся лунке-гнезде виднелись распяленные мертвые пальцы, что тянулись вслед за расстригой. Павло бросил тело, как куль, на траву, сдвинул в сторону обрывок цепи и приложил ухо к молчащему сердцу. Ничего не услышал, кроме шума собственной крови. Взял в ладонь мясо грудное, под которым недвижно лежало расстригино сердце, сжал несколько раз, ощущая, как выделяются масло и жир из ошметков земли, затем бил с силой по серым обвислым щекам, — прошло достаточно времени, прежде чем сердце расстриги слабо затрепетало и тень оживления прошла по лицу. Вскоре приоткрылись веки, и Павло увидел мутно-желтый цвет его глаз. Расстрига вздохнул и приоткрыл рот, заполненный густой черной слюной, — сплюнув жижу, он выхрипел:

«Сопричтен ныне к небесному чину мучеников за правую веру, соединенную... Хай живе во веки веков святый папа с Риму...»

«Сопричтен», — сказал Павло, взяв кнут и огорошив расстригу по ребрам раз и другой. Расстрига встрепенулся, признал видом Павла и попытался приподняться с травы, но ноги и руки плохо повиновались ему — сил хватило только встать на карачки. В таком жалком положении, залепленный черной землей, с болтающимся обрывком цепи на железном ошейнике он не вызывал ничего снова, кроме омерзения, — и Павло стоял над ним, с руганью охорашивая спину его кнутом вдоль и поперек, а расстрига, очухавшись уже окончательно, волал что было мочи:

«Ой, не надо! Ой, не надочки! Ой, больше не буду вовек! Ой, болыть дуже сильно! Ой, не бейте, пан превелебный! Ой, я вже покаявся в отступлении! Ой, вже болыть! Ой, не бейте так крепко, бо вмру вдругорядь!..»

Павло бил что было мочи, видел, как на грязной спине вздуваются темно-багровые рубцы от ударов, — один из рубцов лопнул, и вывернулось, как веко глазное, красное мясо. От омерзения Павло засек бы его снова до смерти, — хотя вернулся помиловать, даровать ему жизнь, — но хлипкое погонычево кнутовище преломилось в руках, — в запале Павло пнул еще под ребра извивающееся в траве презренное тело, затем взялся за обрывок цепи и поставил расстригу на слабые, подгибающиеся ноги.

«Ой, пан, не убивайте заради Христа! Ей-бо, покаюсь и вернусь в монастырь!..»

«Нечего тебе, собаке паршивой, в монастыре делать, паскудить стены святые! — сказал Павло. — Убирайся отсюда куда хочешь — хоть в Рим, хоть к самому сатане! Чтобы не было поганой ноги твоей на этой земле, — попадешься еще, с делом или без дела, — за уды будешь повешен! Запомнил?..»

«Сам повешусь, аки Иуда, — ныл расстрига, — только больше не бейте!..»

«Иди. Потрудись, чтобы никто тебя здесь не вспомнил».

«Иду, уже нет меня! Дзенкую бардзо пану за милость!..» — и будто бы провалился в густую трясину трав и цветов.

К вечеру добрались до Чигирина. Закатная непокойная взвесь, словно напитанная будущей кровью, затопила окрестные степи, высокие козацкие могилы на них, озера и реки, городские валы, Замковую гору и чигиринские улочки под нею, мещанские хаты и судный майдан, — жизнь затихала в надежде на пробуждение.

Картина 3. НАЧАЛО ВОЙНЫ. ЧИГИРИН, 1594

Течение времени словно приостановилось, — и длился сон: полудрема тяжелила повеки, нечто скорботливое, мутное и неустранимое тлело в груди, изламывая душу в куски, как венецийское тонкое скло. Дни загорались усталым солнечным светом, кратко длились в пространстве и уходили в предвечную тьму, словно мимо него, сидящего то в хате мещанской, то на приступке крылечной, то у помоста на радном майдане — в ожидании полковника Лободы с королевским ответом на их давешнее

ночное послание. Зачем? — думал он иногда. — Что решит этот жалкий кусочек пергамента с затейливым гербом Сигизмунда III Вазы в навершии и словами латиной, которые легки, как пух тополиный в месяце червне, вздымаемый в воздух случайным дыханием в слогах Liberum veto — «*не позволям!*»?.. И ощущал, что со дня черной рады что-то в нем сдвинулось и нарушилось не к добру. Был ведь всегда козаком, рисковал своей головой, бросаясь в гущи татарских чамбулов, в толпы вооруженных цепами и дубинами волохов, — и не было скважины страха, — да, но ведь нарушение в нем — это не страх, не опаска, но некое промедление в ожидании, когда дотлеет и рухнет в бездну и тьму последняя мостовая тесина, единящая *цоб* и *цабе*, *десно* и *шую*, и тогда, только тогда возьмет начало свое неведомая будущ*и*на войны. Нужен — мертвый или живой — старый полковник Григорий Лобода.

Вокруг его смутного ожидания господствовал непокой. Отчайдухи, дейнеки и реестровики сбивались в разбойные ватаги, гуляли по обоим днепровым берегам — судили, рядили и правили на свой кшталт селянство и чумаков, отлавливали в степях мандрованных дьяков и киевских школяров-пиворезов, побирающихся по селам, и испытывали их на крепость души. Все это заканчивалось миром, жартом и гоготом, — и война пока не казалась страшной и безысходной. Одна из ватаг разорила польское гнездовище — шляхтичей изрубили в куски, панянок взяли силком и натешились вволю, маетность же предали огню. Мелкая шляхта, сидевшая на окрестной земле, паковала возы и ночами снималась долой, уходя на Волынь и в Подолию, ближе к подляшским кресам и коронной защите. Отчайдухи время от времени наезжали на шляхетские караваны, но до смерти не прибивали там никого — только пугали мушкетными пострелами, гиканьем диким своим, криками, да уводили породистых лошадей на войсковую потребу. Дейнеки же грабили шляхетское нажитое майно на бедность себе: у Тимошенка только и дела было, что разбирать жалобы эмигрантов да выискивать в толпах ночных виноватцев. Те же божились Христом Богом, что спали, не ведали ничего воровского, — и в другую же ночь опять наезжали на уходящих в Корону.

Над землей плыл глубокий и синий вересень-месяц — и желтела трава на поскотинах и на лугах, занимались тихим холодным огнем перелески и рощи, клекотали журавли на багнистых и топких тясминских берегах, сбиваясь в перелетные стаи, избирая сильных и опытных ватажков, способных довести их за море, в пределы османские и даже к Гробу Господню, в продолжение лета, тепла. По утрам земля прихватывалась хрустким ледком, и прозрачный во все стороны воздух пробирал в дыхании до нутра. Павлу отчего-то хотелось продолжения летней поры, блеска теплого солнца, знойных, пыльных запахов стоящих несжатых хлебов, трав и цветов, — хотелось, как в давние дни, хлеборобствовать на этой земле — пахать, бороновать, сеять, рассыпая щедрой горстью зерна озимого хлеба, лелеять буйные статные нивы в ожидании жатвы, косить на лугах густые сочные травы, скирдовать, забираясь, как в детстве, на верхушку стога, и лежать в мягком и теплом, наблюдая, как предвечно и до трепета нерушимо в своем бесконечном движении плывут над миром и временем невесомые глыбы обл*а*к. Какая тишина, какой глубокий покой обнимали его душу тогда, в светлой заводи детства, и казалось, что и не может быть по-другому, не может быть зла на этой благословенной земле. Но сколько бы ни сидел на мягкой вершине стога, сколько бы ни пялился в небосинь, приходилось соскальзывать на заднице по крутому упругому склону на землю — к деду своему Наливаю, к отцу — и жить по-земному... Когда были те дни — сейчас и не вспомнить. Теперь же, в бесцельном и мутном ожидании Лободы, все это припомнилось, встало из забытого и пережитого — и по-детски хотелось того предвечного света, всегдашнего бесконечного лета, мира без зла и насилия, тишины нерушимой. И тлела, жила в нем надежда, что высоким и властным Сигизмундовым словом еще можно будет избежать полития крови и всеобщей беды.

Но старый полковник не возвращался.

Буйные ватаги приумножались приходящими с Великого Луга сиднями и гнездюками, стекающимися с промыслов своих низовых к Чигирину по гетманскому универсалу, — войсковому народу требовался прокорм, постой и достойное дело. В бездействии зрели лишь смута и воровство.

Двое отчайдух были казнены козацким обычаем в Тясмине по приговору войскового судьи — смута развязала им руки на злое, и смерть они приняли за грабежи и убийства, чинимые над беззащитным поспольством.

«Война! — кричали они в оправдание. — Правим на достойное!»

«Война, — ответствовал им Петро Тимошенко, — да только с кем? С серым поспольством? Со своим кровным народом, от коего вы, смердящие псы, взяли свой корень?!»

«А с кем же? — удивились те отчайдухи. — Со своими и воюем!»

«За что же?» — полюбопытствовал тогда Тимошенко.

«А то гетман знает — за что. Наше дело малое есть: колоть и рубить... — и высверкнуло в голове одного, во тьме и в вооруженном довольстве, когда получивший меч на добро возвышается по неразумию своему над боронимыми, становится *значным*, забывая свой долг и обязанность, и сказал: — А мы от противу Церкви воюем!»

«То-то и видно», — сказал Тимошенко на это и кивнул расправщикам-гайдукам.

Без похода гибли буйные головы: один захлебнулся горилкой в шинке — еврея-орендаря за то изрубили в куски, как будто это он под локоть козака подтолкнул, другого посекли шляхтичи в обороне, третий был подступно убит, когда воровская ватага делила добычу. Отдал жизнь за седло. За него же и казнили убийцу.

В эти бездельные дни приходил кто-нибудь из старшины. Кто молчал выжидательно, кто спрашивал прямыми словами: доколе стоять? Ежели войскового похода не будет, не лучше ли распустить козаков по домам? Ждите в терпении, — говорил гетман на это, — еще натрудитесь вволю... Доколе же?.. — спросил он и себя самого, оставшись один и вынув из ножен домаху, пробуя ногтем синее острое лезо. — Ежели стратили Лободу, что же стоим? Даем шляхте оттянуться на кресы, на коронные земли? Ничего, — успокаивал сам себя, — если понадобится, и на тех землях достанем: хватит запалу и сил, хватит и козаков. И будто бы встало внутри — твердо и непреклонно — единое слово, чаемое во все эти дни ожидания: до Покрова Пресвятой Богородицы... Да, перетерпим до Покрова, запорожского светлого праздника, — тогда и начнем, ежели не прибудет к сроку сему Лобода...

Завершился год осенью, и грянуло малиновым перезвоном вересневое новолетие, — какое по счету уже в жизни запорожского панотца? — надтреснутым от старости голосом, но торжественно-внятно, распевно чёл он по памяти на молебне кондак годового индикта:

«*В Вышних живый, Христе Царю, всех видимых и невидимых Творче и Зиждителю, Иже дни и нощи, времена и лета сотворивый, благослови ныне венец лета, соблюди и сохрани в мире град и люди Твоя, Многомилостиве...*»

И просил Господа даровать им всем силу выстоять в смуте, в раздоре — и выжить. С угасающей силой молился панотец Стефан о переможении зла — но зло было велико, бездонно, черно. Что мог он немощным словом своим, грешный и недостойный чернец войсковой, переживший себя самого?.. Другое застило прежде внятный солнечный свет: непокой и какое-то тягостное томление духа, усталость от дней, ему уже не принадлежащих по жизни, исполненных странной, не утихающей болью. Этой осенью зелени увядали невыносимо долго и скорбно, как бы что-то вещуя, и панотец обостренно думал о смерти. Благостно уходить в мир справедливейший в срок, — в срок, с самой маковки полдня судьбы. Он пережил — плохо ли, хорошо ли — время жизни своей, и полдень его отошел в некий дальний солнечный край, в кипение холодного света, где отжившие люди в молчании ждали его. Как ответить теперь на их безмолвное вопрошание?.. В том краю памяти, где все неизменно, отошедшие в полдне не отбрасывали теней на вечнозеленой земле, были все молодыми, нетленными и могучими, — он когда-то исповедывал их во грехах — но в каких? — ныне ему следует исповедываться перед ними, дабы исходатайствовали прощение для него у Творца. Ныне — он знал — омыты они от напрасно пролитой крови, от черного гнева, от преступления заповедей. Он всегда внутренне пребывал вместе с ними, с родными по времени полдня, силе стояния противу тьмы, набредающей от полуденных стран, — и многие дни, после них, слились как бы в один — долгий день его жизни, где не было тайны малейшей под светом небесных очей чудотворной иконы, оставшейся ему на почитание и бережение опять же от них, изгибнувших в смертном подвиге жизни.

И был он жив, силен и не стар, труждался пред Покровой в храме, молебствовал словом и душой за всех и за вся, и некогда, зайдя по забытому делу в курень, увидал, как козаки привечают захожего кобзаря из бродящих по мироколице слепцов, сивого, убеленного долгими и многотрудными зимами. Глазами ничего не видел кобзарь от дней юности своея, но дан был ему острый слух, острая память, дар глагола о жизни и днях, коих другие по обычности не замечали, и слагал кобзарь песни-думы, долгие, как зимние ночи в открытой степи, тоскливые, как завывания ветров в осеннюю непогодь, расцвеченные лукавым усмехом сквозь вологую дымку одиночества и печали. Знал нечто лирник-кобзарь о потаенной, скрытой от досужих мыслей и глаз сердцевине дней человеческих — панотец, присевший в круг козаков, отчетливо это почувствовал, — и песнопения, думы его были как будто об этом, — но при всем даре своем, при полной мере одиночества и печали, не было единого слова о сей сердцевине, о главном, хотя панотец видел, как жадобно выпрастывается душа кобзаря из телесных оков в достижении огнедышащей сути, — и не было в земном языке равных по значению слов. И потому удваивалась в думе печаль, и утраивалась, и не было конца осенней тоске, и горела на ветру жестокого времени большая и светлая душа кобзаря, словно вобравшая в себя все и вся, произошедшее на этой земле. И поневоле выпевал кобзарь

под дребезжащие перезвоны траченной временем кобзы о разлуках в степных хуторах сыновей с матерями, мужей с женами, братьев с сестрами, о смертях на степных кордонах вольных воинов-запорожцев, о Савур-могиле, откуда посылает прощальное слово любви в родные пределы закованный в цепи козак, — кружились в курене войсковом огненные словеса, и каждое стремилось к истоку сущего Слова, но сгорало, как неосторожная бабочка в пламени каганца густой летней ночью, едва приближалось к некоему незнаемому рубежу, за которым простиралось уже глухое молчание. И пел кобзарь тихим надтреснутым речитативом, будто душе непокойной своей, припоминая невиданную земными очами синь и широту полуденного Черного моря, где затерялись между небом и водами козацкие байдаки, идущие на смертный промысел к стенам Царьграда, порабощенного поганым магометанином-турком, — и молятся в открытом соленом просторе козаки Богу в виду турецких каторг-галер, прощаются друг с другом, исповедуются в грехах своих не исповеданных морю, крутым небесам и куренному атаману, — и тот отпускает им все, и вынимает кривую домаху из ножен: байдак подходит к галере... В неравной схватке погибают безымянные запорожцы, — их изувеченные тела, окрашивая зеленоватую воду источаемой кровью, качаются на высокой и мерной волне — словно в младенчестве на теплых материнских руках, — и видит павших товарищей единый оставшийся жить, воин отважный, спутанный вервием для дарунка султану, козак по имени Байда...

И остановилось тут сердце в груди панотца, потемнело от прихлынувшей крови в глазах, и сама собой рука взлетела к горлу, перехваченному судомой, и вырвался стон сквозь сцепленные намертво зубы, и померкший на мгновение мозг разверзло белым небесным огнем, безмолвным и жгучим: ведь это было едва ли не вчера, — да-да, — и никто не вернулся из того морского похода: ни Грицько Постарому — атаман, ни три Ивана — Украдисало, Тягнырядно и Панибудьласка, ни двойко Опанасов — Малый и Кунтушенко, и никто из других... Погиб на турецкой галере и Байда — крестовый брат панотца, значный козак, — и отпел он их души в кошевой церквице с извечной и неизбывной печалью, когда достигла Великого Луга эта скорбная весть...

Сквозь багровую тьму он посмотрел на козаков, слушающих слепого, — их лица были недвижны, суровы. Никто из них не знал Байду. Никто из них не слышал о нем до сего.

«Остановись, бандурист, — выдохнул панотец, — что знаешь ты об именованном Байде, что тревожишь душу его словесами?»

Замерла в медных струнах черная сухая рука, кобзарь повел в сторону панотца на голос белыми своими очами и сказал:

«Я не знал Байды. Но люди, выкупленные из неволи, рассказывали о нем много лет назад, когда я был еще молодым, — в Киеве, под стенами Печерской обители, — я запомнил, — и смятенная его тень не давала покоя душе...»

«Но что ты знаешь о нем?!.. — взъярился священник. — О его делании, жизни, страдании?..»

«О нем уже не знает никто, — сказал кобзарь, — его други стрaчены в бранях, а кто уцелел — умер от долготы дней... Говорю же — я был еще молодым, — и пуста ныне земля, и безвидна...»

«Но обитель, под стенами коей ты слышал о нем, все стоит...» — тихо, раздумчиво сказал панотец.

«Да. Стоят над Днепром горы киевские. Стоят храмы Божии, фундованные великим Владимиром и его сыновьями. Чтится в церквах пещерных — и повсюду — память преподобных отец наших Антония и Феодосия... Немногое остается во времени бессмертным и непреходящим — так останется ныне и значный Байда-козак со своим непокоем — в слове, в думе, всегда...»

«Панотче Стефане, — сказал один из козаков, — хай поет дальше. О чем тут рядить, коли было сие в седой давнине?..»

В давнине...

И был он жив, силен и не стар, труждался пред Покровой, вознося молитвы за весь войсковой отчаянный люд, и полдень жизни его, казалось, все длился в силе и в свете, и совсем недавно отошедшие в смерть сотрясали воздух призывными кличами, смехом и химерными матюками, и вовсе не было смерти — ни рядом, ни дальше на этой земле, и где-то там, в обжитой Руси-Украине, пчелы собирали медовую сладость с гречишных полей близ их бело-нарядных хуторов и носили в колоды на пасеках, присматриваемые их сыновьями, — и все было как встарь, и звенело, и длилось бесконечное лето трудов, красоты, совершенства, любви, и, как встарь, нарождались козацкие дети, и подрастали травой, мужали, сменяя отцов на укрепленных засеках, заступая место убитых, плененных, казненных под бело-малиновыми войсковыми хоругвями, — и был он в силе и в полдне, и время до срока не было властно над ним. Запорожский панотец не считал изжитых годов до явленного в песенном слове Байды,

крестового брата из того, что стало прошлым его. И теперь, когда лукавое око Байды высверкнуло из незнаемого инобытия, когда уразумелось, что от жизни козачьей до песенной о нем памяти он прожил беспамятно-долго, сердце священника как бы внезапно остыло, почти что остановилось, и он подумал о старости — но не о смерти.

Кобзарь же негромко под перезвон медных струн повествовал наследникам Байды по Великому Лугу про то, как гулял он по царьградскому базару, пил мед-пиво-горилочку, и подошел к нему царь турецкий и говорит козаку:

«Ой що ж ти робиш,
Байдо молодецький?
Покинь, Байдо, байдувати,
Сватай мою дочку
Та йди царювати!»

А Байда на это царю:

«Твоя дочка — поганая,
Вся турецька віра —
Віра проклятая».
Ой як крикне цар турецький
Та на свої слуги,
Слуги молодецькі:
«Візьміть Байду, ізв'яжіте
Та за ребро гаком,
Гаком зачепіте!»
Взяли Байду, ізв'язали
Та й за ребро гаком зачіпали.
Висить Байда на дубочку,
Та не день, не два,
Та й не одну нічку.
Прийшов до нього цар турецький:
«Ой що ти бачиш,
Байдо молодецький?»
«Бачу, царю, два дубочки,
А на тих дубочках
Сидять голубочки.
Дозволь, царю, лучка взяти,
Тобі на вечерю
Голубочка зняти!»
Ой як стрельнув Байда з лука
Та попав царя
Поміж самі вуха.
А царицю — в потилицю,
А цареву дочку —
В саму головочку.
«Вам, поганим, в сирій землі гнити,
А мені, Байді молодому,
Мед-горілку пити!..»

Но это, неизвестное уже панотцу, который отпел крестового брата с прочими, а тот, как оказалось, умирать совсем и не думал, как бы проходило мимо священника, и еще один химерный подвиг, затерявшийся в глухой глубине прошлого, не тревожил его, не отогревал стынущей крови, — он, впрочем, почти уже и не слушал этого напевного речитатива, но зрело и ширилось в нем одиночество.

Вот тогда-то он и подумал о смерти впервые.

Ныне же, в вересневое новолетие, встреченное в Чигирине, по счету жизни бессчетное, он не смог бы точно припомнить, в котором году он услыхал того кобзаря, который преломил его полдень на вечер. Знал, что несмотря на продолжение жизни, на видимую похожесть этих дней на другие, на великое множество люда, взыскующего через него скупых слов утешения, несмотря на всегдашнее делание, одиночество его возрастало и жить становилось порой невмоготу. И ныне, в предпразднование Воздвижения Креста Господня, стоя в долгом коленопреклоненном молении перед Животворящим Древом, среди крепких, будто отлитых из меди слов молитвенного канона, он душой ощутил давний радостный свет — тепло бесконечного лета, когда мир на земле был так ясен и тверд. Череда лет словно откатилась тяжелой свинцовой волной, и немощь, усталость и одиночество рассеялись в напитанном запахом ладана и желтого воска воздухе чигиринской церковки, — и тягостный сон как бы заканчивался,

— да-да, — радостно ощутил панотец, — все это было сном, вся моя жизнь, и вот сейчас, расплющив глаза, я увижу и Байду, и Гриця-атамана, и тех, с кем ходил походом под Яссы, когда сажали в Семигорье господарем того, о ком решила запорожская черная рада, — после чего я остался в Печерской обители, избыв *прощу*, став послушником, а затем постриженником, — и не было ничего в те времена — ни одиночества, ни долгих прожитых дней, ни усталости, — и вот-вот я проснусь, и все завершится...

Медные, литые слова канона Кресту размягчались от света, пришедшего в душу священника из, казалось бы, ниоткуда, — по впалым щекам, заросшим седой бородой стекали редкие слезные капли, когда он вздымал глаза горе, на потемнелый от времени голгофский Крест, на коем в воплощении человеческом было распято Единое Слово, Сын Отца бесконечного, жертвенный Агнец во искупление прежде, ныне и в будущем сущих. Было только это, сердцевина времени, многообразных тысячелетних событий, занесенных в хроники и летописания, когда суть бытия незримо преобразилась, стала иной, и человек, живущий во времени, получил обетование истинное, был омыт жертвенной кровью от греха прародителей, — и Господь снова — незримо уже — создал небо и землю, десно и шую, и стал внятен свет и безвидна тьма — и видим путь на земле. Все прочее — сон, затмение прилогами помыслов и грехов, уклонение в лукавое мудрствование, прах и персть в суете раздробленных дней и греховное сонмище... И завтра в праздничном звоне колоколов грянет Воздвиженье Пречестного Креста — духовная радость, смешанная с глубокой печалью, — и кто услышит это пронзительное двунадесятое воспоминание?..

«Ныне Кресту покланяющеся, вси воззовем: радуйся, Древо жизни. Радуйся, скиптре святый Христов. Радуйся, человеков слава небесная. Радуйся, верных похвало. Радуйся, державо веры. Радуйся, оружие непобедимое. Радуйся, врагов отгнание. Радуйся, сияние светлое, спасительное миру. Радуйся, мучеников велия славо. Радуйся, сило праведных. Радуйся, ангелов светлосте. Радуйся, всечестне...»

Услышат. Благое свершается в тайне, — и праведники неявны. Так должно быть. Ибо обнаруженная добродетель покрывается коростой гордыни и перестает быть добродетелью. Панотец умом все понимал, но смуток печали, рзумеваемой как бесовское искушение, не оставлял его, и душу точили помышления о том, что воспоминание Воздвиженья Креста, впрочем, как и иные церковные воспоминания, кроме Светлого Воскресения, единящего всех, не затрагивают поспольство в мере настоящего воспоминания и потрясения. И было в этом многосложном и неизбывном чувствовании доля какой-то почти детской обиды, печалование о предвечном и глубокая мера сострадания смятенному миру. Годы и знание мира слагались в одно целое, в некий твердый прожигающий луч, устремленный в вязкую тьму, и стоило панотцу прикрыть усталые веки и отрешиться от случайных звуков земли, как нечто провиделось и предчувствовалось — смутное и невыразимое словами земными, и было насущно, и страшно, и неминуемо. Но люди, выброшенные Промыслом во времени рядом, бесцельно и в неразумии бродили по улицам козацкого городка, пили-пели в орендарских шинках, уходили в лихой промысел в ночные тревожные степи, а он не мог прорвать свою темную немоту, не мог отчетливо лицезреть, увидеть очесами разума своего надвигающееся на всех них. Не мог упредить неразумных. Да, может быть, все было просто, и ему хватило бы святоотеческих слов, глубоких, отточенных в подвиге, освященных огненными молитвами преподобных, — имеющий уши да слышит, — дабы из последних сил и последних дней, ему предназначенных, упредить и спасти мятущийся люд, — но в речениях древних исповедников веры больше слов говорило молчание, предваряющее и заключающее эти слова, но слух человеческий был сроднен с глухотою, — и не слышали говоримого в церкви с амвона, взыскуя особых словес (да и взыскуя ли?..), и тем паче не слышали и не разумели молчания. А речь (сухие, бесцветные созвучия слов) шла о привычном (да, ибо и к этому человек вполне привыкает): о памятовании смерти, о страхе Божием, исцеляющем неисцелимые язвы греховные... Но это было первым, понятным (хотя как понять всю полноту и безбрежность сих двух? — и скажем поэтому снова: привычным, ибо причина сглаживает и измельчает во прах все и вся). Далее провиделась бездна, в сравнении с которой великий ток бесконечного и загадочного времени, в коем мгновение жизни пребывал каждый из них, был вроде блика нетварного света, — и как было охватить, осязать эту бездну разумом, душою и тем паче словом?.. Поэтому в памяти снова и снова выпрастывался из тления тот давний лирник-кобзарь с траченой годами кобзой своей и стремился в протяжно-тоскливом песенном слове к истоку времен, откуда когда-то взяли начало реки земли, и многоразличные злаки, и леса, и сонмища сверкающих младенческих душ. Но исток, сущее Слово — были недостижимы. Доступным словом о давнине, где едва упокаивалось внутреннее смятение, кобзарь преломил полдень на вечер козацкому панотцу — и панотец, изживший с тех пор добрый кус жизни, думал

ныне о том же.

И сейчас до рези в глазах смотрел в средоточие голгофского Креста, и холодные бесцветные губы его шептали молитву, чудесную силу которой он не раз испытал на себе в обстояниях, и думалось, предвиделось панотцу, что сей праздник Воздвиженья для него вроде Пасхи осенней, — но какая Пасха может быть осенью, в начале нового года?.. И снова уходила, и пропадала досужая смятенная мысль, и снова вливался в душу его давний свет бессмертного и неувядаемого полдня, и душа упокаивалась, умиротворялась в блаженном тепле. Что же, — думалось тогда панотцу, — Светлая Пасха Христова всегда пребывает с каждым из нас, хотя порой мы забываем о том, — и не отменяема ли она некоей зимой или осенью, чередой рекомых уходящих времен?.. Кто ответит: возможно, круг времени на земле, сутью которого является Пасха, движим ею и сотворен для нее?.. Ибо не было на земле события большего, чем Крестная смерть и Воскресение Воплощенного Слова?.. Что же, — напряженно думал священник, — некогда, через две тысячи лет, как рассчитали Пасхалию богословы из Киева, Пасха сместится на лето, а через миллион лет, вероятно, — даже на осень, и будет тогда осенняя предвечная Пасха, и воспоет в духовной радости Церковь земная тех наступных веков: *Христос воскресе!*.. И взмывала светлой птицей в душе у него неудержимая радость, и Крест, казалось ему, выпускает острые зеленые стрелы побегов, тянущихся горе и вверх, к расписному *небу* чигиринского храма, откуда сурово и милостиво взирает на собравшихся здесь Предвечный Отец. И, казалось, он знал, что творимое ныне служение Честному Кресту есть последнее в его долгой жизни, и скоро уже наступит черед и ему сказать радостные слова древлего благочестивого Симеона:

«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром...»

И тяжкий сон завершится, и придет, зажжется в крутых небесах истинный полдень, в коем он вновь обретет всех, кого потерял.

Павло стоял за спиной панотца в густой коленопреклоненной козачьей толпе. Смотря временами на Воздвиженский Крест, он видел согбенную, некогда сильную спину священника, его седые, пожелтевшие от изжитого века волосы, собранные на затылке в косицу. Единожды ему показалось, что на плечах панотца смутно просвечивает огненный крест, вдвое меньше голгофского, пред коим молились они, — он прикрыл на мгновение веки, и когда снова посмотрел на священника, креста уже не было.

«Кресте, демонов гонителю, врачу недугующих, крепосте и хранителю верных, царей победо, похвало православных воистину, утверждение Церкве Христовы: буди нам забрало и стена и хранитель, древо благословенное...»

После молебна, когда отзвенели предпраздничные колокола, Павло остался в церковном саду, поджидая священника. Яблони, груши, вишни и сливы лишились летних одежд и сиротливо вздымали в достижении серых небес голые ветви. Под сапогами шуршала бурая волглая листва, плыли запахи увядания, тления и печали. Вдали тускло, свинцово поблескивало зеркало Тясмина, изредка сминаемое налетающим безвидным языком ветра. Предметы, попадающие в видимый луч, — почернелые стволы деревьев, белый угол церковной стены, дальние хаты, изгиб осенней дороги — имели какую-то странность, чуждость распростертой над всем этим осени, и были как бы недорастворенными в ней, но обреченными на исчезновение. В душе у Павла крепла глубокая грусть, светлая в благодарении за счастье все это видеть и со всем этим жить, и в ней не было боли, хотя все видимое осознавалось неизбежной утратой. Да, думал Павло, всему и всем время жить, и время умирать, и, может быть, смута умов дана нам во благо, — хотя трудно, почти невозможно это принять, — чтобы испытать наши души на прочность и верность, и жизнь отдать за други своя... Многим из нас дарован будет мученический венец, — слава Богу за все, — потому что каким бы ты ни был, но придет час, когда услышишь в себе зов велегласный и мощный, когда душа властно потребует слития с тем веществом, из коего сотворена, — и с чем же, с какими прибытками или утратами предстанет она пред зраком Творца?.. Мало выжить — следует выстоять... А с поврежденной душой и жизни не надобно. Что толку есть, пить и плодиться, если отнято и растоптано главное, что придает жизни смысл и значение, — и жизни не только твоей — одного из тьмы тысяч, — но жизни поспольства, народа всего. Не позабыть за едой и химерным прибытком сей смысл, не променять разум на бездушный и сладостный звон червонцев-дукатов, когда враги попытаются купить за золото то, чего не достигнут войной и мучением, — да, не забыть, не забыть... — и в этом опора, столп утверждения истины есть заповеданная отцами верность третьему уделу Пресвятой Богородицы, последнему оплоту державного Православия, — и защита до смерти его. Но как же быть со взыскуемым милосердием? С молитвами за врагов? С прощением их?..

Скрипнула дверь южных врат, и из храма вышел панотец Стефан. Зашуршала под ногами листва, и вновь стало тихо, — священник смотрел на Павла, стоящего между

дерев. Лицо у него было бледным до синевы, глаза, потерявшие былой блеск, глубоко ввалились под бровные дуги, — взыскуемые молитвенные просветления, небесные откровения, приоткрывающие для умного зрения свинцовую плиту мимотекущего времени, не давались священнику даром, изжигая плоть его до костей. Панотец молча смотрел в глаза гетмана, избранного по слову народа для зачала священной войны. Может быть, дело войны не касалось его, уже трижды простившегося с окружающим миром? Может быть, он должен был вразумить мятежного гетмана и наложить на него епитимью за *не отдание кесарю кесарева*, за неподчинение власть предержащим? Они смотрели в молчании взглядом во взгляд, и, верно, оба знали, о чем думал каждый. Священник знал, кроме того, и о покорных лжехристианах, которые не противились злу силою, исполняя буквально Христовы слова о *левой щеке*. Что же стояло за этой покорностью? Неразумие, лицемерие и гордыня. Покорные эти покорно же становились униатами — такими же недоверками и еретиками, лишь по форме исповедывающими христианство, лишая его живительной сердцевины, бездонности смыслов и символов, — и отнималась от них благодать. Ибо, — священник знал это твердо, — не было в мире разделенных Церквей, но было лишь отпадение от Церкви Единой, Святой и Апостольской..

«Благословение Господа на тебе, — тихо сказал панотец и осенил склоненную голову гетмана крестным знамением. — Что хотел ты услыхать, сынок?»

«Нет тишины во мне, отче. Нет твердости в деле стояния за отечество...»

Панотец горько усмехнулся:

«Мы — дети последних времен, работники часа одиннадцатого, — удивительно ли шатание нынешнее и твое, гетмане? Можешь ли превозмочь сам себя?»

«Но как же быть, панотец? Без внутренней перемоги достоин ли распочать свое дело?»

«Нет, сыне, это дело не только твое. Это дело всех нас, — и тех, кто придет следом за нами. У брани Христовой со тьмой нет конца, — и путь сужается до ушка игольного. Разве мы здесь последние? Придут на эту землю, боронимую нами от тьмы, наши дети и внуки, и не закончится вольный сей род, ежели сохраним завет старожитных русских князей — святого Владимира и инших благоверных князей-страстотерпцев, положивших жизни за други своя и за эту вот землю, на которой ныне стоим».

«Я знаю, — сказал Павло, — но мы не должны забывать о милосердии, ибо, как сказано в житии преподобной Феодоры, когда провидела она воздушные мытарства души после смерти, — кто все совершил, все подвиги и все посты, но был немилосерд — с этого последнего мытарства низвергается в ад...»

«Я разве говорил о жестокости? Нет. Милосердие — это неисповедимая и непредрекаемая глубина, коей нам до конца не постичь. Всеобъемлюще милосерден только Бог. Мы же, по неразумию, под видом милосердия можем творить и зло, разумевая его как добро. Вот ты, знаю, вернулся к униатской могиле. Зачем?»

«Я откопал того расстригу, казненного по слову судьи. Он не умер еще — и я даровал ему волю и жизнь...»

«И это — ты думаешь — истинное милосердие?» — спросил панотец.

«Не знаю. Думаю, этого было недостаточно. Потому что душой я его так и не смог простить».

Священник молча покачал головой и задумался, глядя в надвигающиеся осенние сумерки.

И сказал:

«Непрост путь твой, Павло. Вижу и слышу большую силу в тебе, — но как распорядишься ты ею — не знаю. То, что ты сделал, — не милосердие, нет, но ошибка, если не сказать большего. Ты обманулся. Этого не стоило делать».

«Почему?»

«Во-первых, ты преступил войсковой приговор, нарушив тем соборное решение многих тысяч козаков, нарушив исконные вольности Запорожья. Не Тимошенко придумал — по злобе своей — сей приговор, но народ чрез него. Уже через это достоин ты лишения гетманства и извержения прочь».

Лицо Павла потемнело, наливаясь бурой разгоряченной гневом кровью.

«Не сердись, гетмане, на правду, говоримую в очи. Сам знаешь, что никогда не было на Сечи произвола. Всякое было, но никто никогда не ослушивался черной рады, — и в этом тоже вижу я залог наших вольностей и несгинения в грядущих веках...»

«Оставь, панотец, речь о грядущем, — мрачно сказал на это Павло. — Что же во-вторых?»

Снова печально и мудро усмехнулся священник и опять покачал головой, глядя мимо Павла и видя нечто такое, чего Павло увидеть не мог.

«Ты непокорный и своевольный, сынок: быть беде от твоего рекомого милосердия... Но что поделаешь тут, — дай Бог пред смертной мукой твоей тебе покаяние...»

«Я еще жив, панотец, — и хватит об этом! Так что же другое?..»

«Расстрига тот действительно достоин был смерти, — и это свидетельствую я, православный русский священник, — не по злобе, не по греховности, не по преступлению заповедей. Он один опаснее целого отряда жолнеров, которые придут нас воевать и приводить к отступлению от Матери нашей Церкви святой. Таковы и наши иерархи-отступники, — да будут прокляты они в сем веке и в будущем! И здесь ты снова преступил истину, нарушил правду, споспешествовал умножению зла. Ибо оружие того отщепенца — слово и жизнь, прикрытая рясой, — а это пострашнее польских клинков. Ты помиловал плоть одного, но не пожалел множества душ, гетмане. Малая закваска, по слову Евангелия, квасит все тесто. И это последнее — хуже гораздо, чем нарушение вольностей войска. Так есть ли сие милосердие, гетмане?..»

Павло тяжко молчал, глядя под ноги, в бурую мокрядь опавшей листвы. Что-то в душе противилось словам панотца, и хотелось священника осадить, поставить на место, — пусть занимается своей справой церковной, читает Октоих и машет кадилом и не мешается в войсковые дела, в его, Павловы, дела, на коих он возрос с малых лет. Его дело — служить Богу и печься о душах пасомых. И о его душе тоже. Так, стало быть, он и печется, ибо произошедшее с ним разве не касается в первую очередь нарушения, червоточины в нем?.. Но все-таки, все-таки, — не унималось нечто в Павле, — не его дело война, и не его дело решать, кого миловать, а у кого отнимать жизнь. Но без мудрости, освященной веками соборного опыта, без ясного осознания истины война за святыни, за нерушимость духовного народного бытия может легко превратиться в кровавую бойню, в усобицу посполитую, — и поздно будет что-то исправить и заново пережить. Двинул носком сапога палый лист и вздохнул, подняв глаза на священника.

«Восемьдесят пять лет назад, сказывали мне, в Московии, в далеких лесах за рекою Волгою, — сказал священник, — умер знаменитый подвижник именем Нил по прозвищу Сорский. Слава его и творения дошли и до Киева нашего. Любовь его исключала всякое осуждение, хотя бы источником имеющее ревность о добродетели. Писал он: *«Сохрани же ся и тщися ни укорити, ни осудити никого ни в чем, аще и не благо что зрится».* Потверждает ли сие твой поступок?»

«Нет», — сказал Павло, хотя хотелось произнести ему «да».

«Почему же?» — спросил панотец.

«Нет у меня духовного разумения», — уклонился от ответа Павло.

«Потому что ты простил по плоти его — но не по духу. Болела душа у тебя?»

«Да. Ведь добро всегда творить тяжело — тенеты греховные препятствуют зело сему».

«Нет. Опять ты подменяешь изъясненное зло на добро. Нил-подвижник, сие говоря, имел ввиду каждого человека, с мелким и несовершенным его, в его малых днях. Ты же, под видом исполнения малого, в большом преступил. Вот как об этом сказывал тот же Сорский монах: *«Несть убо добре еже всем человеком хотети угодно быти. Еже хощеши убо избери: или о истине пещися и умрети ее ради, да жив будеши во веки, или же суть на сласть человеком творити и любим быти ими, Богом же ненавидимым быти...»* Готов ли ты к такому свидетельству истины?»

«Не знаю, отец, — сказал Павло. — Но как же быть с этим, чего до конца постичь не могу: *«Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи Человеколюбче»*?

«В этой великой молитве мы просим простить неразумие наших личных врагов, их заблуждение, их души в сени греховной, — но разве эта молитва учит нас непротивлению вражеству? Нет. Она освящает стояние противу них по нужде вооруженной рукой, когда они посягают на святая святых — нашу веру, сохраненную нерушимо со времен великих апостолов, нашу единую Церковь, установления святых Вселенских соборов, на жизнь человеческую. Разумеешь ли, гетмане? И нет здесь противоречия, но ясная и бесконечная глубина, чистота и благотворность Христова учения и премудрого Божественного устроения. Это не значит, что каждый из нас, православных, всем хорош и тем более свят. Уклонения человеческие неизбежны, и все мы рождены во грехе. Но по промыслу Божию мы стоим ближе к Животворящему Источнику, нежели иные языки. Посему и ответ на Страшном Судилище будем держать по всей строгости, ибо исполнится реченное в Писании: *«Дано было вам, и не слышали...»* Мы же с тобой, последние из последних, — будем держать еще бо́льший ответ, ибо при нас завелась и расширилась по нашей богохранимой земле римская ересь. Что делать нам? Не противиться злу и отдать посполитых на поругание и духовную пагубу от западных еретических стран? Предать третий удел Пресвятой Богородицы? Тогда что же мы здесь с тобой делаем? Зачем пришли в этот мир?.. Да не будет сего, гетмане!..»

«Да не будет! — сказал твердо Павло. — Спаси Господи вас, панотец!»

«Благословение на тебе, сыне мой, — будь непоколебим в служении истине. Но запомни еще один завет Нила-подвижника из заволжской московитской земли, мужа

благого, чтобы уберечься от крайностей: *«Без мудрствования и доброе на злобу бывает, ради безвремения и безмерия. Ergа же мудрование благим меру и время уставит, чуден прибыток обретается. Среднею мерою удобно есть проходити. Средний путь непадателен есть»*, — и да сохранит тебя Бог...»

Простившись с панотцом, Павло через сад вышел на окраинную чигиринскую улочку, взошел на размокший от обложного дождя крепостной вал, миновал сторожевую вежу, сложенную из почерневших от старости бревен, — стены ее хранили на себе множество отметин и следов от стрел крымчаков, и остановился в виду распростершихся безбрежно полей, затянутых сумеречной кисеей мельчайших капель воды, пересеченных там и сям облетевшими перелесками. За спиной в бездействии маялся Чигирин, наполненный до краев, как чаша вином, вооруженными молодцами-козаками, детьми Матери-Сечи и Великого Луга, сыновьями большого и неосязаемого народа, живущего здесь и везде, куда достигает его мысль с крепостного чигиринского вала. Неведомой силой из тысяч и тысяч украинных русских семей избраны воины эти — лучшие, крепкие, несгибаемые, соль этой земли, — дабы не оскудел сей народ, но приумножился. На Сечи кончались детство и юность, и молодые парняги проходили суровую школу, прежде чем встать под стяги и бунчуки христолюбивого рыцарства Запорожского. Он был одним из тысяч и тысяч, оставивших родительский дом, едва обсохло материнское молоко на губах. Не был лучше кого-то, но не был и хуже. Был, как все и как каждый во времени этом. И до гетманства своего прошел тысячи верст по горящей земле в разные стороны ветра: воевал на байдаках под османскими берегами, воевал по всему обширному руслу Днепра и притокам его, воевал в землях коронных, в Уграх, в Семигорье, разорял земли волошские и укрепленные замки завислянских панов. Служил сотником надворной хоругви в Остроге — особистой армии князя Василия-Константина Острожского, богатейшего православного пана, чьи маетности занимали бо́льшую половину православных земель Малопольской провинции — одной из трех, на которые административно была разделена Речь Посполитая. Род — отец, дед Наливай-осавул, безымянные прадеды, цепочка которых уходила в порубежные времена святого князя Владимира, в боевые дружины отца его Святослава, — диктовал свою волю, — и кем еще мог стать он здесь, на этой земле? Он и стал — воином. Ими же стали и братья его, окромя Дамиана, духовника знатного князя Острожского в «волынских Афинах», в Остроге. А сестры — женами воинов. И все было так, как должно. Но в чем-то он был уже не таков, как те, души которых сложились в единую душу его. Беспрестанно сражаясь — он хотел мира, покоя и тишины, и в достижении этого обнажал свою кривую домаху: кроваво рубился на степных пограничных засеках, преграждая пути в Русь-Украину, к добыче голодным крымским наездникам — во имя покоя земли; отбивал полоны, ведомые на невольничьи рынки Востока, брал с бою галеры, где в трюмах, прикованные к громадным уключинам весел гребных, многие лета томились полоненные козаки старых времен; воевал в нескольких войнах домовых, когда, по народному слову, паны лаялись, а у холопов трещали чубы, — но сколько бы он ни труждался во бранях, мир, покой, тишина были где-то, но не на этой земле. И разве он думал о гетманстве, о некоей власти над козацкими полками, разбросанными по войсковой справе по широкой степной Руси-Украине? И думал, и нет, — как и каждый значный козак. И вот завершился некий круг бытия, и он избран во главу Запорожского войска и в целом — народа. И от этого уже никуда не уйти. Легче было бы — теперь он твердо знал это — затеряться во тьме люда, в безбрежных просторах земли, в разнообразных годах и трудах, и отойти к Богу душой где-то на заброшенной пасеке, под мерный гул пчелиных роев, или умереть с оружием в руках на черном кремне днепровых порогов, в извечном реве ниспадающих потоков воды, в радужных брызгах, — и видеть в последнем своем голубой и зеленый цвета родины — небес и степей. Но сему уже не бывать. И ныне немилосердной судьбой его стал этот стылый день осени, размокшее поле, предпразднование Воздвиженья Креста на Голгофе. И за спиной его — тысячи вооруженных людей, мощная сила противостояния ереси, тьме и погибели, — и он должен начать эту войну...

После разговора с панотцом боль свернулась в некий клубок, затаилась, но до конца не исчезла. Что-то в нем противилось изъясненному. И снова отчего-то думалось о мире, покое и тишине, по которым исстрадался народ, — но не было прочности в жизни, тем более в гетманском уряде. Война в достаточной степени закалила его, дабы грани мира, земли расширились до безбрежности, — и почти лишившись близких по крови, кроме брата Дамиана в Остроге, жены и детей на хуторе под Острогом, он поднимал ныне меч за народ. Но разве он мог изжить до конца свое естество, стать новым во всем — властным, не размышляющим, действующим безоглядно (впрочем, внешне, может быть, таким он и был для людей) и переступить через те бледные, лишенные света ростки, взявшие начало в детстве его, когда в окружающем мире сияли особые краски, не виданные с тех пор никогда, и звенела особая сокровенная тишина, в

которой мать под цветущим вишеньем накрывала на стол — обливной глек с парным молоком, черный хлеб с запекшимся верхом, упругие перья цыбули, сбрызнутые студеной родниковой водой, — и все они жили: химерный характерник и жартовник дед Наливай, отец, братья и сестры, и еще не умер никто... И еще: золотом отливающий киевский монастырь на зеленой круче Днепра, куда привез его отец перед первым походом для освящения будущей жизни; нетленные мощи знатных подвижников духа — преподобных Антония и Феодосия, князя Николы Святоши, Нестора-летописца, Арсентия трудолюбивого... И те слова из молитвы, отложившиеся в нем навсегда... Если все это нарушилось и не сбылось в полной мере, значит, жил он не так и делал не то. Хотя, как мыслилось воплощение милосердия? Благое совершается в тайне — сказано непреложно, и у него, должно быть, свой, иной путь для стяжания Духа Святого, — и не оставить ему дела войны. Но грядущее — не просто домовая война, не просто усобица между панами-магнатами, а он — давно уже не сотник в надворном войске князя Острожского. И если это начнется — жизни не хватит сие завершить и закончить. Корона сильна и подступна, лисьи шкуры и волчья хватка варшавского панства известны, за спиной польского кварцяного войска и жолнеров — мощный Рим, монашеские воинственные ордена, вековые сокровища-скарбы папских ризниц, вест-индийское золото... Кто же за нами? Византия уже полтора века как пала сгнившим яблоком под мягкий османский чувяк, вселенские патриархи в пленении, Московия далеко, да и там, бают торговые люди, ходившие через Путивль в пределы Московские, после смерти царя Грозного свой разброд, нестроение, заговоры сильных бояр противу слабого умом и здоровьем Федора Иоанновича... Никого? С нами главное — истина, правда. Добро всегда побеждает — хотя господствует зло. И где взять оружие, какие изобрести истязания, какое рассеяние предпринять, чтобы вытравить из человеческих душ эту частицу нетварного света, которая одна и дает силу если не выжить, то выстоять.

Серые, покрытые дымкой дождя обширные степи казались безжизненными, и как бы ничего не свершалось на них — никогда. Стояли от века, безгласные и ненарушимые, прорастали дикой травой по весне, цвели пышным цветом к маковке лета, принимали дожди и снега на широкую грудь, — время здесь было не властно, ибо, как и они, было сотворенным в прадавнюю седмицу Творца, — и прокатывались здесь в разные тысячелетия толпы безвестных народов — с неведомой жизнью, от которой оставались разве что могильные насыпи над прахом безымянных вождей, с войнами, в которых эта земля принимала в себя, как дожди и снега, наконечники стрел, изоржавленные, растворяющиеся без остатка в недрах клинки и подковы, — и ничего не было вечного и непреходящего здесь, ибо и само время здесь преходило, — исчезали народы один за другим, и не всякий оставлял по себе именование племени своего, — зарастали бранные поля новой травой, и уже никто не мог изъяснить, за что, с кем и когда была здесь война. Ничего не оставалось на этой земле — и только сама она пребывала вовеки.

В серой мокряди, сочащейся из низких стылых небес, в виду слепого простора осенних степей он тужился из малых своих сил человеческих объять то, что здесь было, прикоснуться душою и разумом к этому безмерно великому и всевластному, дабы исторгнуть частицу той силы, которая преобразила бы и этот серый денек, и его обмершую душу, и то, что им всем предстояло свершить. Но время, подобно земле, было непостижимо для разума в своей полноте, и лишь в сумраке памяти угольями тлело то, чего он на земле не застал, доставшееся по крови и духу от тех, кто в полках Святослава стоял противу Византии под Корсунем. Малое, по-человечьи слабое, мягкое, готовое распасться от дыхания времени (если он останется жить) или исчезнуть не знаемо (если он будет убит на дорогах этой войны), унаследованное от тех, кого уже нет, — и сего было достаточно для его жизни здесь и сейчас, — оставалось только очнуться от сна ожидания и осознать как непреложную данность зрак и звук имени своего, слитые неразрывно с теми, кто безгласно, невидимо затерялся в этих бескрайних степях, над которыми сгущался сумрак новой ночи.

Осень. Дожди и туманы. Раскисшие степовые дороги. Оголенные черные перелески. Низкие, серые небеса. Тишина и сон родины.

И казалось ему, что где-то там, в гнездовище зла, зла-то и не было, — да и как некое зло может пересилить и превозмочь все это — большое и вечное?..

Ввечеру смотрел на икону, подсвеченную красным углем лампадки, чёл по памяти вечернее правило и, отвлекаясь от сути молитвенных слов, думал о том, что нет смерти, пока ты слышишь гул теплой отчей земли под ногами, пока видишь мягкое низкое небо, как бы накрывшее сущее громадной чашей своей, — и ты здесь, здесь, и никуда тебе не уйти от предначертанного в книгах небесных...

Смотрел на просвечивающий тепло из-под копоти лик Богоматери, на золотые складчатые ризы Ее, на руки Жены, издалека несущие сквозь земные века

Божественного Младенца, — и думал, что искомое милосердие, мера (или безмерность) его в истекшем людстве сполна воплотилась лишь в Ней, и поныне стоящей в молении и взыскании всех погибших близ престола Сына. Мы же — ничто, по греховности мнящие тело свое венцом твари земной и разум свой — господином над тварью, землей и братом своим... И нет, не будет излито на нас конечное милосердие, — хотя что, если не милосердие, есть каждый день и час жизни, дарованные нам в цвете, звуке, движении, делании?.. Это милосердие так велико и бездонно, что мы не ощущаем его, и посему нет в нас и благодарности за него. День изживается в суете, сваре, грехе и проклятии ближнего. Ангелы тьмы незримо реют в своем торжестве над распаляемой плотью, уничиженным человеческим зраком, мохнатыми крыльями со дна душ человеческих поднимая темные, кровавые страсти, дурман, слепоту и забвение, — и здесь ломаются, как сухие тонкие былки, даже те, кто знает в предании многоразличные лики погани сатанинской и кто жизнь свою положил на алтарь служения Господу... Нужен прорыв земной паутины, которая крепче шелковых прядей, прорыв плоти, кровавых и дымных страстей, пригибающих голову долу, — в молитве и покаянии.. Но как, как единожды это свершить?!.. На мерный, устойчивый подвиг каждого дня — где взять силы и душевную тишину?.. Тем боле ныне, когда мир безоглядно, в реве больного веселья и обреченности катится к своему завершению?.. Работники часа одиннадцатого... Минули, стали, как сказка, лучшие времена, когда сила была разумна, светла и направлена на делание добра, — и мир, все живые тогда дышали единым дыханием в кратком слове молитвы Иисусовой, — вспомни жития старцев-пустынников первых веков, вспомни первых насельников киевских круч... Все блещет золотыми дарами Духа Святаго, — и забыты усобицы, многоразличные ереси, смуты, тяжкие грехопадения — когда смотришь отсюда, с вершины своего несчастного, смутного века. Но ты помнишь и то, как некий старец египетский, подвизавшийся в пустыне по названию Скит больше тысячи лет назад, ответил спросившему, почему имеющиеся ныне между монахов подвижники не получают благодатных даров, подобно древним? Потому что тогда была любовь, — сказал старец, — и каждый подымал ближнего своего вверх; ныне любовь охладела, и каждый влечет ближнего вниз, — по этой причине мы не удостаиваемся получить благодати. Да, узок и неудобопроходим путь на земле по направлению к свету, миру и тишине, — таким был он всегда — и в часе восьмом, и в часе десятом. И надо идти, ибо те, обретшие бессмертную память в древних житийных пергаментах, путь свой свершили. Очередь за тобой...

Павло проснулся от света, сочащегося сквозь желтый воловий пузырь слепого оконца. Что-то едва слышно звенело и таяло в душе у него — будто медная, туго натянутая нить, тревожимая дуновением ветреца, — и свет, заполняющий чисто беленную горницу, был тоже как бы оттуда, из глубины тонкой радости, серебристо обнимающей душу. Что со мной? — подумалось почти в полусне, в сладком изнеможении, и, сев на лежанке, в красном углу, под иконами, украшенными святковыми рушниками, увидел выряженный девичьими лентами пожинальник — остатний сноп овсяной с последней полосы минувшего лета: зачинающийся день был днем Покрова.

Молчали до времени церковные звоны и, может быть, половина Чигирина досматривала последние сонные видения на теплых лежанках, — но девки чуть свет уже побежали в храм ставить умилостивительные свечи к празднику и шептать свои девичьи молитвы:

«Покров-праздничек, покрой землю снежком, а меня женишком...»

Бегала так в церковь и Ганна, верная и далекая, — и было ей семнадцать годов, когда прибежала она еще затемно, по первому легкому пуховому снегу, затеплила свечку пред образом Покрова, прошептала молитву, и только после подоспели девки-подружки, и сказала ей одна из тех, припозднившихся, в шутку сказала, и все забылось потом, пока сполна не исполнилось, не сбылось:

«Ну, Ганко, теперь ты за гетмана выйдешь!..»

Посмеялись девки тогда — о, как быстротечна девичья молодость и неопасенье...

А он, молодой козачина, поспешал той порой из семигорского похода домой, в свой Острог на Волынь, чтобы успеть к Покрову, но необъяснимо свернул в сторону, переправился близ Переволочной через Днепр и заехал на праздник в Миргородщину, на хутор Кыптив к побратиму своему Миколаю, загостился там, на землях Полтавского полка, и в Острог, к матери и отцу, ко дню собора Михаила Архангела, привез уже высватанную молодую — ту самую чернокосую статную девку, что в Кыптиве под Сорочинцами первой поставила свечку празднику Покрова Пресвятой Богородицы... Все это вспомнилось, и радость его, словно умытая живительной влагой давнего, молодого и светлого, умножилась и возросла.

Отворил скрипкую дверь и вышел из темных тесных сеней во двор, прищурившись на мгновение от забытого, ослепительного белого снежного цвета. Вдохнул чистый холодный воздух, влажно пахнущий снегом, черпнул ладонью пуха с земли и

растер по лицу и по шее. Улыбнулся, и, зажмурив глаза, оттягивал миг, когда увидит преображенный Покровом мир.

«С праздником, гетмане!» — поприветствовал его проходящий мимо посполитый.

И он открыл глаза и все это увидел.

Хрустким и звонким ледком Покров прихватил дождевые лужи вчерашнего дня, белой мягкой порошей, как невесту затейливыми праздничными кружевами, убрал степь, целебно, светло присыпал раны остывающей предзимней земли. Курились первые (уже зимние) дымки над дымарями хат посполитых (*Батюшко Покров, натопи нашу хату без дров!*), господари-хлеборобы торжественно выносили из сеней пожинальники, увитые лентами и украшенные сохлыми цветами, сбереженными до этого дня с месяца серпня, несли их на скотные дворы и давали скотине — коровам-кормилицам и бычкам, коням и овцам, дабы сохранить эту живность от зимней бескормицы и всех бед и напастей. На сторожевой веже, на маковке Замковой горы грянула малая гармата — молодцы будили тех, кто еще не проснулся к светлому христианскому празднику. И тут же заблаговестили колокола. Рассыпчатые круглые звоны катились, как волны, вокруг, уходя в открытые преображенные белизной степи, скрываясь где-то за обрием, но не пропадая, не рассеиваясь бесследно в просторах земных, но продолжаясь в благовестах других, ибо за гранью обрия-окоема не кончалась земля, но продолжалась, и всюду жили козаки и землепашцы, и стояли храмы и церквицы малые, устремленные луковицами куполов в небеса, как овеществленные молитвы живущих, и рождались дети у них, и звенели в перезвоне друг с другом церквицы их, и выносились так же снопы-пожинальники, и незамужние девки уже служили по-своему перед иконами Покрова, прося о женихах и мужьях, прося о продолжении рода...

«С праздником!»

«*Величаем Тя, величаем...* — могуче подпевали козаки панотцу Стефану в битком набитой церквице чигиринской, — *величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой честный, Тя бо виде святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся...*»

Дрожали от общего дыхания-гласа огоньки множества свечей, и люди, бывшие разными в жизни, заботах и чаяниях, праведные и грешные, убогие и богатые, без царя в голове и разумные, ныне, отложив и забыв свою разность и рознь, пребывали как бы одним человеком заполнившим душой своей храм, где свершалось великое таинство двунадесятого празднества, были едины в слове молитвы и в деле, являя собой в части своей то, что называемо целокупным народом. И не нужно было видеть глазами то, что происходило ныне повсюду на православных землях — от Сербии, Боснии и Герцеговины — чрез Московию — до самого Сибирского океана на краю света, — повсюду благовествовал светло-снежный, чистый Покров, и духовные вместе с народом возносили к небесам молитвенные слова, — и на минуту, на час или два воскрешался на этой земле, грешной и окровавленной, *золотой век*, погрузившийся в давнину, и люди становились едины, и прощались обиды, и зло — если как-то можно представить его вещественно — сворачивалось в остатках темных пучин — до поры, ибо князем мира сего, теснимым светлыми праздниками, был не Христос. Он был над миром, в мире и в каждом, но не господствовал силой и принуждением — но свободой, любовью, добром, — Он был как бы одним из козаков и сражался незримо под крещатой хоругвью кошевой, укреплял вооруженную руку в стоянии против турка-татарина, наливая ее, как жидким свинцом, невиданной мощью, заграждая от стрел, падающих черной тучей на сомкнутые козачьи ряды, — без Него, без Его помощи и заступления, без Его попущения и милосердия — разве было бы возможным само существование Запорожья и дело стояния за истину, за Него?..

Но жизнь была разной и всякой, страшной, тяжелой или же никакой, и принимались смертные муки в сечах, в неволе и в казнях за мятежи, творились тяжкие грехи воровства и смертоубийства, продавалась сама сабля козацкая соседним господарям для участия в государственных смутах, свершались насилия даже над своими посполитыми братьями, — и вместе с тем незримо и исподволь творилось добро, малое и большое, строились козацкие храмы и попущением Божиим расстраивались козацкие монастыри, и главное, жила, пребывала в цвете и в силе земля, хоть не державно, но все-таки православная. Все это в едином порыве сливалось в нечто великое и неизъяснимое, где светлые силы побеждали закраины шипящего зла и вязкую болотную тьму, и грешник видел и знал греховность свою и неправедные дела, — здесь, пред святыми ионами, нечисть душевная обнажалась, теряла силу над рабом-человеком и власть. Пусть после, потом, он делал все то же и так же, но нынче и он преображался, как земля, чудесно и милостиво, покрываемый, вместе со всеми, омофором Пресвятой Богородицы.

«Величаем...»

Радость, поднявшаяся в нем спозаранку, не иссыхала, не оставляла Павла, хотя

ослепительная краткость таких состояний хорошо была известна ему, — серебряный источник скоро иссякал, и душу забирала маета и тоска, которые ничем было не унять, — и чем сильнее, глубже было духовное радование, тем мрачнее и безысходнее находила тоска. И ныне, несмотря на длящееся светлое умиротворение, на тихий и хрупкий звон медной ниточки, словно натянутой в нем, исподволь поднимались думы, не оставлявшие его со дня черной рады, — но были они покойны еще, хотя этот день был уже последним днем ожидания Лободы. Думал о старом полковнике: где он и жив ли, в какой затерявшейся в мире церковке величает честный Покров Богородицы — если жив?..

Сегодня, после праздничного благодарственного молебна, он скажет свое державное слово:

«Война...»

Но радость не нарушилась в нем, хотя завтра земля и люди проснутся уже в ином измерении жизни, и не будет иного пути, — и кто знает, какой будет эта война?.. Но тихая радость, малый светильник ее, не угасал, но мерно горел в душе у него, — значит все шло так, как должно.

Взгляд панотца Стефана, когда благословлял он народ, тоже был светел, покоен, — Покров звенел и блистал над заснеженною землею.

В густой толпе козаков, расцвеченной праздничными женскими головными уборами и хустками, Павло увидел синий до прозрачности взгляд, устремленный на него, — девчонка, прибежавшая, как прочие, затеплить свечку перед чтимой иконой и загадать о козаке-женихе, козацкая дочь, будущая козацкая мать — или — татарская полонянка, — что тебе, милая, суждено в этой жизни?.. — так подумал, но ясная и покойная память зарябила, как поверхность воды, тронутая языком ветра, — что-то в лице этом было такое, ведомое и знакомое с давних пор семигорских и княжеских, когда он был еще молодым сотником надворного войска Василия-Константина, князя Острожского... Он опустил глаза долу, на каменный пол, закапанный желтыми каплями воска, — и в ушах зашумел ток разбуженной крови, и разум противился тому, что вставало из памяти непреложно и властно, отвергал в изумлении как небывалое и немыслимое, — и хотелось опять посмотреть в эту влажную, нежную синь, на это родное и такое забытое девичье лицо, — да, такой ты была, ненаглядная, в тот давний Покров на хуторе Кыптиве под Сорочинцами... Была... Но с тех пор прошла целая жизнь, исполненная тяжких бранных и хлебных трудов, целая жизнь, которой мы с тобой не заметили, и в той жизни ты рожала мне сыновей, похожих лицом на тебя... Но здесь — Чигирин, а не Кыптив, и не волынский Острог, и Покров сей отстоит от юной тебя на тысячи верст, коих не преодолеть на самом резвом коне, — ибо как обернуть время вспять и воротить старый Кыптив, молодую тебя — и меня?..

Снова посмотрел на нее, уже почти что не слыша панотца Стефана, не слыша слаженного величального хора, — и погрузился в эту синеву без остатка, в нее, в свою юную Ганну, которую не взял еще в жены... Был ли то сон, или мара, или же искушение бесовское во зраке — кто скажет и кто разъяснит?..

Между тем служба закончилась, и козаки, обнимаясь-целуясь, поздравляли друг друга с праздником. Все были радостны ныне, но и в меру тревожны, ибо каждый из них понимал, что для многих этот Покров может быть и последним.

Так помолимся же, братие, глубоко!..

Подходила старшина, привечая Павла, — Петро Тимошенко — судья, Савула — генеральный бунчужный, Сасько Федорович — куренной атаман, Кремпский — славный полковник, и другие, на которых он мог положиться, — и он целовал их колючие загрубелые щеки, обнимал крепкие плечи, хлопал по спинам, — и каждый из них молча, глазами одними спрашивал о войне. Лица мужчин заслонили то, что примарилось ныне ему, и он уже с усмешкой в себе помянул это видение и говорил каждому из генеральной старшины: завтра... идем на Брацлав... трусить старосту Струся... помогать шляхте судиться на судовых рочках... — и юная Ганна, не ставшая его верной подругой, не родившая ему сыновей, не полюбившая его со своей страстной и обжигающей силой, отлетала в то прошлое, откуда и не могло быть возврата, растворяясь в заснеженных далях, — мир тебе и любовь моя прошлая, синяя тень на земле...

В храме, на паперти, в чигиринских проулках, на радном майдане и на Замковой горе уже бряцало слово «Брацлав», — козачество и поспольство возбужденно обсуждало добрую весть, — но почему Южный Буг, Подолье, Брацлав?.. Из-за сбора брацлавской шляхты на судовые рочки, на которых решались междусобойные тяжбы и споры и рассуждались дела?.. Из-за того, чтобы в случае неудачи перейти до Днестра и укрыться в Молдавии?.. Рубеж запорожских земель недалек от Брацлава, набитого шляхтой и выкрестами-униатами, — и дух Запорожья поддержит и укрепит мятежное войско, — поэтому?.. Козаки, мещане и посполитые терялись в догадках, но гетману

никто не осмеливался досаждать.

Весь день сбивались воедино разбредшиеся по окрестным селам и землям козацкие курени, весь день разносился над преображенными зимне просторами бой чигиринского колокола войскового, — и тот, кто слышал его, задавал коню богатого корму, ладил и сдабривал доброй олией конскую сбрую, чистил до блеска песком медные пластины убора, кремнем гострил лезо сабли, отвыкшей немного рукой пробовал ее крыж и тревожно-свистящий взмах; ружейники проверяли огненный бой ручниц и затынных пищалей; пушкари грузили на возы легкие походные пушки, мортиры, укладывали россыпью мелкие ядра. В Чигирине все двигалось, летело, спешило — конные люди с гиком проносились от вала до вала, пугая баб и детей, гремели пострелы самопалов, и едкий пороховой дымок веял в предзимних воздухах. На радном майдане в боевом охранении уже стояли войсковые святыни — бело-малиново всхлопывал на сыром ветру стяг Запорожья, молчаливо и скорбно, в богатом окладе взирала на снующих мимо вооруженных людей походная икона Покрова Пресвятой Богородицы, — совсем скоро — пережить только ночь — разрозненный люд сольется в единое целое, в славное в бранях вольное Запорожское войско, и качнется навстречу своей неисповедимой судьбе. А пока, в последний день мира, козаки допивали горилку в шинках, пели последние песни на расставание и разлуку, каблучили последнего отчаянного гопака прямо на заснеженных улочках, уже разбитых в слякоть копытами, и, может быть, каждый надеялся, что война долгой не будет и к Рождеству они воротятся домой — с *волей*, которую обретут вооруженной рукой. Думали и о добыче — как же без этого воевать? — ведь у каждого оставалась в зиму семья — жены, дети и престарелые матери, и потому воля, стояние за истину и старожитную религию греческую были неотделимы от известных бранных надбанков. Вернуться бы всем — так мечталось и генеральной старшине, и куренным атаманам, старым воякам и безусым подкозачатам, выходящим завтра в свой первый поход, — и эта мягкая и невоплотимая мечта согревала огрубелые души, туманила на мгновение взгляды, прошибала пьяной слезой, ибо невозможно было такое, и жертвы, и казни, и расправы сгущались уже где-то там, за заснеженным небокраем земли, — но: вернуться и жить, вернуться и жить...

Чигиринские матери, жены, невесты и дочери, дождавшиеся своего праздника Покрова, дождались с ним вместе и горестных проводов. Козаки гарцевали, шумели, стреляли и пили последние братины за удачу и счастье, — женщины же скорбно смотрели в их лица, прощаясь покорно и тихо — навсегда ли, на время? — как прежде прощались с уходящими в степи отсюда на брань матери их и праматери, — это прощание, эта покорность судьбине, это понимание, что общее дело важнее семейного, личного, было тяжким и неудобоносимым вековым бременем женщин этой земли. Их главным делом было рожать сыновей — для войны и для смерти, — и легко ли было с этим смириться? Кратко, в такой вот праздник Покрова, сверкала девичья любовь и сладость быть рядом и вместе с мужчиной, слышать звучание его голоса, называющего имя ее, покорно отдавать под его тяжелые сильные руки, намозоленные горячим оружием, свое нежное белое тело, и верить, что так тому быть многия лета и что уже нет больше одиночества на бесприютной и окровавленной этой земле, и зачинать от него, единственного и любимого навсегда, принимая в свое лоно семя его, новую жизнь, — и оставаться в холоде одиночества, в тоске ожидания, пока муж закончит очередную войну. И вернется домой. И — когда придет срок — искать его в потрепанных боями козацких колоннах, и хватать за рукава червонных жупанов его сотоварищей, и слышать немое молчание их, раскалывающее небо напополам, и видеть, как отводят они глаза в сторону... Женщине здесь всегда оставался залог — тот, кто был частью плоти ее, самое она, и тот, кто уже никогда не вернется, — слитые воедино, — и это было самым дорогим и единственным, что есть и пребудет — до срока новой войны... У мужчин была Сечь, куда под страхом смерти запрещалось вводить женщину, у мужчин было войсковое товарищество и война, — женщинам же не оставалось ничего, кроме одиночества и смирения, — и разве могло быть по-другому здесь, где почти все жены были безмужними, и это было их общей судьбой. И были они красивы преходящей неземной красотой, чернокосы и статны, и одиночество, боль их ни с чем не сравнимые изливались в тужливом песенном слове, в высоком и трагическом звучании их голосов, — только это и оставалось в приданое их дочерям вместе с такой же судьбой. Так было, и так будет теперь, — и в глазах уже не было слез, чтобы оплакать, как мертвых, живых. Вот они, ненаглядные муженьки: кто хмельной, кренделями пишет от ограды к ограде, мугыкая песню без слов, кто тверез и печален, кто танцует средь улицы, а кто дочищает пищаль, отбитую прошлым летом у ландскнехта-наемника в Уграх, — все они разные, но равно любимые, — и у всех один ныне путь.

Так помолимся же, сестры, о них глубоко!..

Этой ночью никто не уснул, кроме детей, видящих взрослые сны. До рассвета не зачинялись двери чигиринского храма — панотец Стефан со клиром служил умилостивительную всенощную за счастливый исход и крепость душ в деле стояния за попираемые святыни. Церковь, как и ближайший шинок, была набита народом. Не затихал и уличный шум, — из белых степей пришли продрогшие кобзари и, пропустив по святочной чарке, ударили в струны, славя былое-минулое и близкую неотвратимую будущ*и*ну:

Розлилися круті бережечки,
Гей, гей, по роздоллі;
Пожурились славні козаченьки,
Гей, гей, у неволі.
Гей ви, хлопці, ви, добрі молодці,
Гей, гей, не журіться,
Посідлайте коні воронії.
Гей, гей, садовіться!
Та поїдем у чистеє поле,
Гей, гей, у Варшаву
Та наберем червоної китайки,
Гей, гей, та на славу!
Гей, щоб наша червона китайка,
Гей, гей, не злиняла,
Та щоб наша козацькая слава,
Гей, гей, не пропала!
Гей, щоб наша червона китайка,
Гей, гей, червоніла,
А щоб наша козацькая слава,
Гей, гей, не змарніла!
Гей, у лузі червона калина,
Гей, гей, похилилася;
Чогось наша славна Україна,
Гей, гей, засмутилася.
А ми ж тую червону калину,
Гей, гей, та підніземо;
А ми ж свою славну Україну,
Гей, гей, та розвеселимо!

Запорожское войско выступило из Чигирина до света. Лил дождь, снег сошел, и поля стали черны, как предрассветное небо. За спиной, уже в прошлом, остались отчаянные кобзарьи напевы, жены, матери, дети.

Начиналась война.

Картина 4. СТАРОСТА СТРУСЬ, БРАЦЛАВ, 1594

Сон полнился цветом, с проблесками красного и багрового, заливавшего нечто сморщенно-желтое, напоминающее мертвую кожу, и не было звуков иных, кроме как бы заоблачных стонов, словно кто-то невидимый и всевластный мерно долбил б*и*лом в громадную медную доску, — что это, что, — и к чему?.. — пробивалась тихая, еще сонная мысль в этот цвет, в этот стон, в его сон, — но пробуждения в занимающийся день не было. Затем сухо и властно брякнуло в пространстве вне сна что-то очень знакомое, почти что родное, — и староста Ежи-Юрась пробудился. Сон с красным, багровым будто бы выплеснулся из него на пол и на противоположную стену покоя, расплылся рубцами по узору ковра, — будто стена эта была холопьей спиной, и некто, пока староста спал, излупцевал батогами ту спину...

Вновь брякнуло родное б*и*ло на ратуше, перекрывая рассыпчато-заливистый звон благовестов православных церковок, — опять, что ли, у черного люда схизматический шабаш? — да, да, он-то и не слыхал этой проклятой музыки, а как государственный муж проснулся и под звон государственный, — еще бы, еще бы, — ратуша, кроме прочего, и построена его коштом-старанием. Вон какой звон, величественный и державный, зовущий на служение любимой отчизне, на ее укрепление и оборону... О ратуше всегда думать было приятно — она навеки останется в столице Подолья как памятник его жизни, старосты брацлавского, винницкого и звенигородского, каштеляна галицкого Струся, в крещении Ежи-Юрася, — здесь его никогда не забудут...

Первые, на ум пришедшие мысли, развлекли старосту, и ему стало почти хорошо. Да, он жил и живет не напрасно. Жил, как хотел и как мог. Не поступился ничем. Да и чем, — с усмешкой подумал, — было ему поступаться, если ничего не было у него,

кроме разве что веры в справедливый порядок вещей, где достойному воздается достойно. Стало быть, ему воздалось по достоинству...

Вроде бы уже и проснулся, однако багровое, выплеснутое из него, не уходило со стен. Грузно перевалил тело на бок — приятно и холодно захрустело кружево простыней, — и взглянул на стрельчатые бойницы окон. Ажурное плетение золотилось солнечными лучами, свет дробился разноцветными стеклами и падал на блестящий навощенный пол, вздымаясь голубыми столбами отблесков-отражений на стены, где в свою очередь отсвечивал от нарядных золоченных ножен наградного оружия, — неупокоенный свет блуждал по кровавым граням рубинов крыжа, и розовые, красноватые и темные до багровости отсветы висли на противоположной стене. Пан Ежи-Юрась улыбнулся: вот оно что... Замечательно... Превосходно.... И это тоже — рубины крыжа, изумруды на ножнах, тусклый блеск позолоты оружия — воздаяние по достоинству, по заслугам. Да, дни его не напрасны.

Мягкое и теплое блаженство тихо разливалось по отдохнувшему телу, и так было приятно лежать на высокой кровати, видеть свет, отражения, блики на стенах покоя, слышать бой звона на ратуше, вдыхать легкий запах березовых дров, коими слуги уже натопили голландские печи, разглядывать издалека голубые изображения на затейливых изразцах — крутобокие испанские гелионы идут по морю, — должно быть, к сказочным берегам Америки. Сегодня старосте некуда было спешить — воскресенье достойно венчало его трудовую седмицу, — желтый месяц *pazdziernik*, день четырнадцатый, по-схизматически — первый день месяца жовтня... Ему хотелось продлить этот тихий и прикровенный покой, это воскресное утро, пенящееся, как кухоль пива, за-оконными благовестами, в котором его как бы и не было, а были только неспешные и приятные мысли, как то: о ратуше, или о памяти по себе, о воздаваемом по достоинству... Можно еще подумать о воскресном обеде, — да, сегодня можно уже украсить стол живыми розами-конфектами... От этой мысли сладко защемило в душе, — и вспомнилось лето: гул пчел, дурманный розарий, небесная синь... И как он садовыми ножницами осторожно срезал цветок за цветком, алые, белые сентифолии-розы качались на длинных стеблях в его пальцах...

Никому из прислуги он не мог доверить тогда это тонкое дело. Видел в Варшаве такое — и был поражен. А чем Брацлав хуже Варшавы? Брацлав — тоже столица. И у него будет, — вот сегодня и будет!

И плыло разбуженное воспоминание недавнего, летнего, золотого: как споласкивал он розы в чистой студеной воде, как сушил их в тени, как разводил в розовой воде вишневый клей и держал посудину на огне, пока вода не достигла густоты и маслянистости ликера. И после тихо, с душевным волнением, взявшимся невесть откуда, обмакивал каждый цветок в эту теплую жидкость, стараясь, чтобы цветок был везде одинаково влажен, осторожно стряхивая лишнее... Когда розы просохли, самолично обсыпал их истолченным и сквозь самую тонкую кисею просеянным сахаром, нежной пыльцой, или пудрой, и укладывал поочередно готовые сентифолии на большое серебряное блюдо, затем выставлял их на жаркое полуденное солнце, и наблюдал, как разогретый солнечным теплом сахар всасывается в нежные лепестки и, обращаясь в кристаллики, превращает розу в конфекту. Мог ли помыслить о сотворении такой красоты кто из предков его? Тот же отец. Или дед. Грубые, неотесанные вояки, даром что шляхетского рода из Белзского воеводства, из Коморова, застрявшие на Подолье во время одной из домовых войн полвека назад, — да что там понимали они в утонченной красоте, — только что рубились в боях, хлестали горилку и насиловали разбежавшихся по округе простолюдинок... Только к концу своей жизни своей дед образумился, прочухался от кровавого хмеля и выкрестился из схизмы, перейдя в католичество, стал человеком, и их тем самым выведя в люди — чуть выше на пару ступеней. А так — быть бы и ему, старосте Струсю, козаком из надворного магнатского войска Романа Сангушка или Анджея Вишневецкого, — ну, понятно, не козаком голозадым, не воровать лошадей и не дудлить без розуму горилку, как воду, как это темное дурачье, иль чикилдихумокруху, или как там зовется та смрадная дрянь, от которой очи лезут на лоб... Но все же — кем бы он был даже в том войске надворном, если бы не благодать святого креста великой Церкви святой католической, — да-да, вот она — овеществленная сила той благодати, уловленная дедом Якубом. И теперь — прекрасные сентифолии, сахарные цветы, тусклый, приглушенный массивностью звон серебряных кубков, уставленных смарагдами, расписанных тонко многоцветными перегородчатыми эмалями, душистая мальвазия медового цвета в них — помянем, пани Марыся, жена моя ненаглядная, деда моего Якуба, а с ним и отца моего Станислава, этим прекрасным сладким вином, — и еще в погребах многосложные вкусом бургундские вина, — о да, не пойло то, чем когда-то заливался дед Якуб, пока не вышел из схизмы. Как спустишься в подвал за вином, чтобы нацедить из бочки кувшин, так и застрянешь там на полдня — невозможно выбрать из десятка — какое же ныне подходит к столу: это иль то, или

десятое, или вот то, густое, как сусло, коему и счет лет уж потерян... И еще вон — глаз радует и душу греет теплом — золотое оружие — награда и дар короля Сигизмунда III Вазы за безупречную, твердую службу в воеводстве Брацлавском, — воплощение покоя и достоинства Струсева... И хотя не произошло ничего в его мыслях и мягких, не без приятности, ощущениях, когда помянул он мысленно отошедших в мир справедливейший деда с отцом, однако воспоминание сих двоих не могло углубить и продолжить и тем более укрепить то, что исподволь вызревало в старосте ныне.

Что это было? Назвать это счастьем?.. — удивленно подумал Ежи-Юрась. — Только откуда вдруг во мне такие слова? Впору изъясняться пекалидовым слогом, оставить староство и взять в руки лиру придворного песнетворца, — наваждение... Впрочем, не без глубокого смысла, — иначе к чему здесь памятование Симона Пекалида[1], острожского батального одопевца? Да, еще немного прикопить славы и румяных дукатов в скарбницу и к сентифолиям, к кубкам и ратуше можно будет прибавить прекрасное твердое слово. Вынайти для того из шальных бурсаков-борзописцев способного юноша, высечь его хорошенько лозой, дабы забыл свои школярские бредни и вертепный ляльковый театр, а потом накормить до отвала, дать ему угол, десть бумаги, дюжину перьев и розчиненной сажи в капле воды — пусть пишет, собака, во славу его: какие победы одержал староста Ежи-Юрась на бранных полях под Брацлавом, как одарен был своим староством в славное воеводство каштеляна волынского и брацлавского Анджея Вишневецкого, как фундовал ратушу-памятник и как мудро, как хорошо управляет он сегодня городом и поветом, как справедливо рассуживает на осенних рочках окрестную шляхту... Усмехнуться бы мудрому, пожившему и повидавшему на своем веку немало старосте в седые подковой усы, — усмехнуться да отогнать досужую мысль, — но на то и дано воскресенье всему человечеству, дабы праздновал всякий его как захочет.

Вот он и празднует — так.

И потому досужая эта мыслишка тянула за собой мысли другие и новые, каковых ранее в голове его не бывало, — и уже с некоей легкой печалью староста Ежи-Юрась думал о том, что ратуша есть творение рук человеческих — но не духа. Да, ей остаться. Но лет через сто или двести разрушатся стены ее ветром, дождем и снегами или умыслом злых человеков — кто знает, что будет в наступных веках, — и не будет тогда уже старосты Струся, чтобы заботливо ее починить. А может статься, что неблагодарные горожане, их дети, их внуки разберут по камню ее, дабы замостить камнем какой-нибудь выгон-майдан для сборов галасливых своих, чтобы удобнее глотки драть было на королевскую власть. И больше не бомкнет мощное *било* в государственный колокол, не призовет горожан к исполнению всевозможных повинностей, не пробудит в них чувства ответственности перед Богом, папой и королем... Нематериальное слово, писанное на китайской бумаге или на пергаменте, а паче высеченное в плоскости дикого камня, переживает, как это ни странно, многие поколения люда, переживает самое время со всеми дождями, непогодами, нестроения, переживает державы. Более того, гексаметр Гомера и записан-то, тем паче высечен в камне, не был, — потому что не придумал греки старовины тогда еще буквиц письма. Так и звучал тот гексаметр под древними небесами, передаваемый из уст в уста, из поколения в поколение... Вот оно, бессмертие славы и подвига на какой-то крошечной войне городов, каждый из которых был в пять раз меньше Брацлава... И от этого, тянущегося из некоей бездны его, старосте становилось немного тоскливо. Да, сентифолии, удивительные сахарные розы-цветы, здесь ничего не решали. Он пытался вернуться к тому блаженному состоянию духа, объявшему его после пробуждения, и снова пристально всматривался в противоположную стену покоя, где блики и отсветы сдвинулись в сторону и голубые столбы света, поднимающиеся от пола к высокому потолку мореного дуба, ощутимо позеленели. На ратуше не звонили уже, и из прежнего трезвонили вразнобой одни только церковки схизматов, будто бы сговорившиеся расколоть небесную твердь своим благовестом.

Значит, — подумал староста Струсь, — так тому быть, ежели сердце хочет того, — сегодня же гаркну на сбор всех быстрых разумом юнаков, кто знает начатки латины и виршования красного, — иначе, что же, напрасна жизнь моя здесь?..

С тем и откинул тяжелый полог шелкового одеяла, опустил ступни на пол, поеживаясь слегка после блаженного тепла мягкой постели. Прошлепал босонож к узкому оконцу покоя, — на белой рубахе ночной смутными тенями отразились размытые цвета синих, желтых и красных слюдяных стеклышек, — двинул ладонью тонкое медное плетиво рамы и с высоты увидел свой город.

Над дымарями красночерепичных островерхих домов, над майданом, базаром и крепостными стенами в бледно-голубом предзимнем небе уже висело яркое бездуш-

[1] *Симон Пекалид* — польско-украинский придворный поэт князя Василия-Константина Острожского. Умер в 1601 году. Писал по-латыни.

ное солнце, сея холодный и призрачный в дымке свет, в коем, будто незримые медные крылья, раскатисто бухали ранковые благовесты. И хотя староста недолюбливал это неистовое грохотание в медь, потому что был в этом как бы намек на то, что правоверный католик он не совсем родовитый и древний и напрасно зарывает свою черную кость в густой бархат одежд, ибо и из вишневого с блеском проглядывают его чертячьи когти с набившейся под роговицу землей, — но нежный лад, некое совершенство в тех перезвонах он все же слышал. Хотя... хотя, разумеется, лучше не слышать в том ничего, кроме преступного умысла-шума. Да вот как переступить через клятого деда Якуба с отцом? А через полудиких прадеда и прапрадеда?.. Нет бы, покатоличился бы кто из незнаемых пращуров, еще в Белзском воеводстве лет двести назад, когда еще в шалашах или в землянках каких-то жили там предки его в Коморове, — и ныне внутри у него все было бы по-другому... Ну, да что тут поделаешь? Впору утешиться изысканным завтраком и со злорадством подумать о мертвых родных, но все-таки виноватых пред ним: хоть и покатоличились вы, зная в том выгоду для себя, да только жрали до гибели своей от татар на южных кордонах Речи Посполитой, кашу сухую, да постным борщом запивали, да тошнотворным салом закусывали, — я уж не помяну вашим душам в чистилище те сентифолии, бо все одно не уразуметь вам со to jest, а вот *пляцек воевода* да *дзяды* пушистые и румяные, с пылу-жару добытые, — только тренькну в колокольчиково серебро, — да с ароматным, густым *кофейным напоем*, да с *мараскиномликером* — сей момент слуги представят. И прямо в постель. Вот так-то... Но и от этого утешения было почему-то немного. Взгляд досуже цеплялся за шеломы крыш, за крестовые маковки там и сям разбросанных храмов, под которыми чернели густые толпы народа, скользил к уступчатому фронтону недавно построенного костела, горделиво вознесшегося на главной площади города, летел над крепостными стенами и внешними валами туда, где стыло поблескивал платиновой серой водой Южный Буг, обнимая излучиной город, и дальше — в раздолье и неисповедимость просторов земных, в которых время от времени затевались смута и воровство, с гиком и свистом подкатывавшиеся под брацлавские стены. Тогда староста пощады не знал к бунтовцам и мятежникам, самолично поднося запал к головной брацлавской мортире, сметающей тяжелым ядром и в куски разрывающей людей, лошадей, трощащей в щепу повозки. А после — выезжал из крепостных ворот на белой кобыле во главе отряда жолнеров и городской мелкой шляхты, не страшась ни черных пик, ни арканов, ни свинцовых пуль из рушниц козаков, ни легких, оперенных стрел крымчаков, — и смирял бунтовцов, посягнувших на священную власть, огнем, мечом и петлей, — и был всегда город Брацлав оплотом незыблемым великой в веках Речи Посполитой. О, поля окрест города знают и помнят старосту Струся...

Последняя мятежная заваруха прокатилась мимо, на северо-западе от Брацлава, — когда голодранцы-козаки ринулись вызволять своего преступного гетмана. Да, — думал Струсь, — такое странное дело: гетман тот был шляхтичем урожденным, поляком от корня земли, — и вот вольно принял схизму, возглавил оборванцев и вероотступников, сел, аки царь, на укрепленных островах за порогами Днепра, пренебрегал королевскими универсалами, бесчинствовал в маетностях Острожского-князя, — да и поделом этому богатею-схизмату — хорошо получил от своих же, да так получил, что и Пекалид этот Симон дар глагола и рифмы латинской навек потерял. А ведь на сеймах в Варшаве, тряся козлиной своей бородой, все защищал своих православных, требовал уравнения прав с католиками и свободы отправления треб, — да если допустить, что таковой законопроект родился бы в чьем-то поврежденном мозгу, он бы сам, Ежи-Юрась, первым во всю глотку закричал бы «*ne pozvolyam!*» — и вот вставили этому, psia krew, надутому индюку с его смехотворной «академией Острожской», фитиля в благодарность козаки, — получил по зубам просветитель русинов!.. Сколько, бишь, сел разграбили они у него?.. У старосты исподволь закипала бессильная злоба на старого князя — и остатки утреннего удовлетворения собственной жизнью, ратушей, городом вовсе исчезли. Да и не выкрещивался никуда и ни во что князь Василий-Константин, более того, отстаивал и охранял схизму от целиком заслуженных утеснений и стал со временем этаким нерушимым столпом православия в Речи Посполитой, — и что по сравнению с ним пан Ежи-Юрась?.. Сентифолии, кубки, золотое оружие и несколько сел в окрестностях города, ну и еще родовое гнездо, городок Струсив на берегу Южного Буга, — тьфу! — сопоставимы ли с тем, что знает о князе каждый подпасок польско-литовской земли, — с его восьмьюдесятью городами и местечками малыми, с его 2760-ю селами, с его несчитанным золотом и бочковым серебром... Кубки и сентифолии... Зачем ему куда-то выкрещиваться, ежели все, о чем может только мечтать человек под небом земным, есть у него? Это ему, старосте Струсю, надобно горбатить спину всю жизнь, гнуть выю и прислуживать каждому моцному пану, подобному старому князю Острожскому, это ему дана такая странная привилегия в глубине своего сердца корить деда Якуба и отца Станислава, что они не

были даже задрипанными безлошадными шляхтичами, а путались по неразумию с черной сволотой на Запорожье, тайно наезжая на королевские города за добычей. Но это — большой секрет, о том — не знает никто, — а как еще было деду с отцом выживать, если не разбойничать время от времени в черных ватагах?.. И что Острожскому до того, что двадцать пять сел богатых его разграблены были Косинским, — он даже не почесался, сидя на своих миллионах червонцев и слушая виршованную брыдню Пекалида, — может, махнул только платком кружевным своему особистому войску, по числу и боевой подготовке не уступающему никакому другому в Речи Посполитой, разве только Сангушкиному, и пошли православные княжеские громить запорожцев Косинского... Вот потеха!.. Будто сами иезуиты удумали таковое!.. Да, дошел слух до старосты, что нынешний гетман козаков, Наливайко какой-то, был в прежние годы сотником у князя в Остроге, — о, как тесна ты, великая и державная Речь Посполитая, — вот так и тремся боками друг о друга, князья да паны, а тут еще эта зухвалая чернь, что русская, что польская, козачье это проклятое... Ну да, это ему, старосте Струсю, надобно трудить свою белую боевую кобылу, выезжая на защиту своего города, и грудь подставлять под пики и пострелы воровских самопалов, кровью и мужеством (да-да, именно так!) зарабатывая право на славное продолжение и упрочение своего шляхетного рода, — ну да, довольно-таки нового рода, из восточных кресов, не из коренных польских земель, но и не уступающего другим заможным родам, — со славою достойного продолжателя державного делания, увековеченной в его городе, в камне и в серебряном слове исторической хроники, — да и в слове виршованном, хитросплетенном, с блеском нетленным, которое, стало быть, прочнее камня ратуши и архивного манускрипта, — с записными вековечными землями, и с богатством, само собой разумеется, — ибо вон сколько швендяется по степям знатных именем потомков известных в прошлом родов, промышляя по скудости и упадку своему либо разбоем, либо милостыней, — не таков ли и тот клятый Криштоф Косинский, променявший на дурную козацкую волю свои род и кровь?.. Ничего не понять в этом мире, — думал пан Ежи-Юрась, — держава, по видимости значная и великая, с несчитанным людом и дарами земными, который уж год раздирается смутами, мятежами и домовыми войнами: шляхта идет супротив короля, моцные пане друг на друга лагодят особистые войска, беспрестанно деля украинные земли, протестанты в Великом княжестве Литовском строят козни костелу, схизматы и ариане дуют в свои дудки здесь, в Руси-Украине, — а воровское гнездо Запорожья?.. Да это же просто гнойник, заражающий, подобно бубонной чуме, все тело великой державы!.. Для разрешения смуты умов и для упокоения духа, для помощи государственной призваны прежними королями иезуиты, — и что же? — только умножились нестроения, обострилась неприязнь, пролилась кровь, — и чем-то все это кончится?.. До сего мы, польская шляхта, дворяне, оплот Речи Посполитой, были терпимы даже к иудаизму, не говоря о прочих толках и видах исповедывания Бога, и Речь Посполитая наша слыла в Европе единственной «державой без вогнищ», — но теперь все иначе. Иезуиты принесли в капюшонах войну. Они мягко стелили, но каково будет спать? Пока я сушил сентифолии на закатившемся солнце прошедшего лета, они с головными схизматами-бискупами в который уж год сооружают на соборах в Берестейском местечке некую унию, объединяя костел и православную Церковь в нечто единое, — и пошли по мирным землям ласковым словом и лисьей улыбкой своей крушить и загонять в унию эту наших посполитых недоверков-схизматов, — но разве сие по-шляхетски, благородно творится?.. Ему еще когда писали верные, дедовы еще, дозорцы из Белза, с первой родины Струсей, да не сбрехать бы — в 1590 году еще, — как львовский епископ Гедеон Балабан пригласил в их родной городок своих побратимов-епископов — холмского и белзского Дионисия Збируйського, луцкого Кирилла Терлецкого и пинского и туровского Леонтия Пельчинського, — и решали бискупы те, как им удобнее было бы соединиться по слову Христа у апостола Иоанна «*да будут едино, как Мы едины*», — вот же умники, — ухмыльнулся в душе староста Струсь, — а то без них не знало людство вот уже без малого шестьсот лет, как преодолеть схизму-раскол, что еще в XI веке произошел по вине Византии... Речь Посполитая всегда привлекала насельников собственных совершенной свободой, — что уж тут было с застарелой схизмой поделать? — тут уж каждый в душе своей должен был решать, как ему быть — с Богом и с папой или с дьяволом и бискупами русинскими. Ну, немного прижимали православных с правами, даже и знать прижимали, не давали им поднять головы, — это понятно вполне, и такова была мягкая и весьма человеколюбивая королевская воля. И если, скажем, шляхтич по старому обычаю мог еще вооруженной рукой взять все приглянувшееся ему у иншего шляхтича, не поминая уж хлопа-посполитого, тем паче схизмата, — то дело сие было делом во всем особистым, и виноватца всегда можно было дотащить за ворот до суда поветового, или до войта, или на крайний случай дождаться судовых рочек и там уже рассудить обоюдные

жалобы по правде и чести. Но ныне — мыслимо ли целый народ батогами и плетью загнать в этот вот симбиоз — света и тьмы, который и понять-то простому человеку, да и ученому тоже, совсем не по силам? А Острожский — разве попустит он унии этой распространиться по его землям и городам? А козаки? Разве допустят они торжество самомалейшее Рима, коий, по преданию их воровскому, приравнен чуть ли не к магометанскому вражеству? Еще и епископы эти дурные... С другой стороны, почему же дурные они? Нет, — это и есть тот тайный плод иезуитского ордена, исполняющего библейское же пророчество-слово, сказанное Захарией: *«порази пастыря, и рассеются овцы! И Я обращу руку Мою на малых»*. Словом, быть новой войне, — думал староста Струсь, задумчиво глядя в туманные дали, где небо незримо сливалось с брацлавской землей, — рука уже занесена над малыми этими, и нет прочности ни в чем и ни в ком — и только верою, только прямым и неподкупным служением тому, что один раз избрал в этом мире, можно спастись и не быть размолотым в прах жерновами этого непокойного, крамольного времени. Что же до исповедания, Sola fide, — то жизнь показала благотворность костела, — свидетельство тому даже и сентифолии в его нынешних днях, не говоря о другом, — и, конечно же, весь мир должен в некоем идеальном осуществлении оставить еретические и богопротивные заблуждения и притечь под покровительство владычной папской руки... Но это — в конце, в самом уже окончании времени, всеблагой волею Духа Святого, а не так: в Белзе где-то за печкой — решили, а в Берестейском местечке пытаются то воплотить — курам на смех...

Да, не забыть бы прочесть утренние молитвы, — встрепенулось в душе, — совсем благовесты заоконные памороки забили, — староста прямо в открытый утренний воздух начал негромко бормотать по-латыни... Звонко-чеканная, отстоявшаяся за столько прошедших веков до некоей прозрачности и крепости чуждая речь, коей еще прадавний Цезарь отдавал приказы железным легионам Рима, звучала подобно колоколу на ратуше — государственно и несокрушимо, — и, может быть, не столько из-за значения произносимых слов, сколько из-за медного их звучания, в душу старосты вновь притекал теплый и такой непрочный покой и удовлетворенность, — вот, думал пан Ежи-Юрась, — даже в такой мелочи провижу я римское торжество, — ах, по неисповедимым токам в неразумной своей голове оказался ты прав навсегда, Якуб-дедуган, что выкрестился из Греции в Рим!.. Да, схизма — вера собак, но все-таки нельзя было забирать так круто и высоко — следовало бы тихой сапой разрешить этот узел — лишать понемногу вольностей, прав, привилегий или соблюдать только видимость их... Поставить на подступах к Запорогам, на острове Кодаке, каменную фортецию с достаточным количеством затынных пищалей и тяжелых мортир, дабы жолнеры перенимали на воде и на обоих днепровских берегах бегущих к Сечи схизматов, умножающих своевольное дикое войско... Да и вовсе разорить гнездовище раздоров и мятежей... Они вроде как пограничную службу справляют на южном кордоне, боронят глубинные польские и украинные земли от набегов татарских, — но непотребна такая служба Короне, ибо непомерна цена... Насадить для того там селянства и осадников — ратных людей из кварцяного войска, кто негоден к войне из-за преклонных своих лет, — по вере католиков верных, сандомирцев, люблинцев или виленцев даже, — даровать им безмездно грунты запорожские, промыслы рыбные и зверовые, — вот и было бы ладно!.. Вот на сейме зимой я предложу ясновельможному панству и его милости королю Сигизмунду такое... Но — тихо, без велегласных ярмарковых соборов, где и слышен токмо крик обоюдный про *анафему*. И гетманов низовых не торкать до поры, а тем паче — голодом на виду всей Европы не умаривать, — уж после бы, потихоньку, как щенят, подавить... А чем крик и галас соборный тот обернулся, сказывал некий новоявленный греко-католик (надо же до такого симбиоза додуматься!), коий прибежал в город в первых днях осени, — новый гетман козацкий, Павло Наливайко, уже начал расправы, хотя и не выходит пока из своего городка, — рубит и жжет последовников сокальских и берестейских, грозит своим же епископам, унию утвердившим от имени народа всего, и прочая... Да и стоило только посмотреть на того рекомого греко-католика, чтобы на весь день нахохотаться от пуза: облезлая голова, неотчищенный деготь на коже, обрывок цепи на ошейнике, скованном вельми искусно, да так, что даже брацлавский коваль пан Тадеуш Ковальчук не смог разъять то железо жестокое без ущерба для греко-католика — защемил ему щипцами клок землистой кожи на шее и вывернул мясом, — как же волал по-свинячьи этот уже не схизмат, но еще и не католик!.. Староста еще не слыхал подобного поросячьего вереска. Пан Ковальчук намерился было в лоб молотком успокоить этого писклявого молодца, да староста Струсь не позволил ему, — раз уж с королевского соизволения заводится эта уния, то нужно только споспешествовать сему начинанию и, тем более, не притеснять пострадавшего мученика веры, — ведь и Господь заповедал нам о любви. Иезуиты брацлавские укрыли его под своим мохнатым совиным крылом, —

что же? — уже через месяц, отодрав следы дегтя с морды и загоив раны, понесенные от своевольных буйных козаков, в мученическом ореоле своем наставлен был этот химерный *соединенный* особливой грамотой епископа Кирилла Терлецкого, одного из знaчных лиц иерархии берестейской, в протопресвитеры Василия Великого чина собора брацлавского. При всем том событии бывшего настоятеля-схизмата, панотца Миколая Несуйпальця, церковного старосту Омелька Гнилокишку и двух причетников было утоплено в Буге, прямо под стенами города, — имения их частью были расхищены неизвестными лицами, частью же присвоено новым чина Василия Великого протопресвитером по собственной незаможности и голодранству.

Вот нужны были старосте Струсю такие события в мирном граде его, управляемом до сей поры со всем присущим ему разумом и достоинством?..

На утопление духовенства в реке отцы-иезуиты брацлавские любезно попросили у пана Ежи-Юрася не токмо соизволения, но и помощи вооруженной рукой, — ласково намекнули, что в случае отказа известят как самого короля, так и примаса Речи Посполитой и порекомендуют последнему, если пан Ежи-Юрась вздумает отказать, отлучение старосты Струся от Церкви Христовой святой католической, а может быть, и извержения из лона во тьму внешнюю — за пособничество и попустительство еретикам и мятежникам... Староста печально вздохнул, с тревогой глядя на большую толпу, что грудилась у серых стен близкого храма, — горожане все это знали и ведали не хуже его и, верно затаили на старосту обиду и злобу, — ведь панотца Миколая чтили и почитали в Брацлаве за беспорочную жизнь и духовное разумение священных писаний... Да, — вздохнул горько староста, — принужден был дать святым отцам и соединенному этому нескольких жолнеров покрепче, дабы оттеснили народ, прибежавший защищать своих пастырей. Хорошо еще в звон караульный не успели ударить, а то не избежать бы мятежа старосте Струсю и граду Брацлаву. Ну да, трех человек из невеликой толпы жолнеры все-таки ранили ради устрашения прочих, схватившихся уже было за дубины и колья. Так и брошены были те черноризцы соборные с высокой стены городской в Буг, — и собор головной обернули на унию...

Прочие церковки схизматов пока что не трогали, хотя и кружились вокруг них помощники соединенного, прозванного злоязыкими горожанами подпанком Хайлом, — за вереск гласа его непотребного, поросячьего, впервые огласившего округу в кузне у пана Ковальчука, когда снимали с него ошейник, — да, усмехнулся пан Ежи-Юрась, не человек есть сей попик, а истинное ненажерливое хайло, — ибо, как доносили ему верные соглядатаи, дудлит горилку с утра уже, потом, пьяный, на майдане волает, закликая до покаяния перед святейшим отцом нашим папой Климентом во грехах отступления, — его бы, старосты, воля — выбросил бы подпанка того к черту из города, предварительно воспитав батогами, дабы не поганил зловонием своим городского майдана и не поминал святейшего имени папы всуе пред недостойными, — да вот отцы-иезуиты брацлавские не дозволят того совершить... Зачем в дело столь тонкое дурней замешивать?.. Зачем столько непотребного крику? Зачем насилие неприкрытое чинить над схизматами? Насилие всегда однозначно и не влечет за собой ничего, кроме опять же насилия, — ведь брошен запорожцами уже клич по всей Руси-Украине: *защищайте оружно веру и жизнь!* Что далее? Подпанок Хайло поправляет добра свои за счет брацлавских мещан, пьет без меры и волает на улицах и в шинках, отцы-иезуиты обделывают под покровом таинственности собственные делишки, в Брацлаве давно неспокойно, — утешиться можно лишь тем, что пока староста Струсь может держать в руке своей саблю, все будет в порядке. Хотя... Хотя если допустить некий ответ за сотворенное в последнее время, то отвечать будет именно он, а не иезуиты, а тем более не подпанок Хайло. Но что может случиться? Брацлав крепок, силен, неприступен, стены его высоки и башни его горделивы. Жолнеров и шляхты, способных сражаться на стенах, достаточно в городе и в окрестных степях, — о чем это я?.. — немало удивившись, пан Ежи-Юрась поймал разум свой на скользкой этой дороге. — Что-то произойдет? Что-то случится?..

Неясное, смутное нечто поднималось, как сор, откуда-то изнутри. Старосту передернуло, и во мгновение он почувствовал, что остыл, даже замерз. Плетиво створки оконной все так же было распахнуто в белесое брацлавское небо, где переливались и по-прежнему множились медные звоны и где уже давно день воскресный и праздничный продолжался и ширился, разливаясь по городу разноцветной и веселой волной, а он все стоял, не в силах отрешиться от странных и как бы не его собственных мыслей, — а ведь обманно все началось с того, что помянул он Симона Пекалида, виршеслагателя из Острога, и самому захотелось виршования красного, звонкого, — так его враг человеческий хитро искусил...

И вот теперь...

Староста с силой захлопнул окно, — зазвенели разноцветные стекла, и одно из них, цветом бордовое, вывалилось из гнезда своего, упало под ноги пану Ежи-Юрасю

и разлетелось мелкими черными крошками, — будто пригоршню крови плеснули под ноги, — староста отпрянул, сплюнул, затем нашарил рукой серебряный колоколец на мраморном столике близ одра и звонил до тех пор, пока снизу не прибежала Мария-русинка.

«Ранок добрый, — мягко и ласково затараторила она. — С праздником, ясновельможный пане Юрась!..»

«Какой такой праздник?..» — пробурчал неудоволенно староста.

«Покрова день! — ответила ему женщина, улыбаясь. — А у вас, у панов, день воскресный! С праздником!..»

«Покрова день, — ухмыльнулся староста Струсь. — Тоже мне — праздник! Давай немедля пляцека воеводу и дзяды, да ликеру поболее — высокий стакан, — раз уж праздник у вас, а у нас воскресенье... А пани Марыся с Элжабетой — восстали из мертвых?» — так пошутил о своих присных девах, супруге и дочери.

«Так, пан Юрась, — они уже даже позавтракали и собираются до костела на мессу, — ответила Мария-русинка. — Сей час принесу вам сниданок», — и вышла в высокие дубовые двери.

Староста грузно уселся на одр, подоткнул повыше подушку, почесал грудь и пробормотал тихо в усы: «С праздником...»

И только теперь вспомнил, что город его показался из окна вроде как бы другим, непривычным, — а он не заметил за током этих не обыденных утренних мыслей.

Подниматься с постели и топать снова к окну было лень, и староста, напрягши память, припомнил, что видел: белесое брацлавское небо, холодное равнодушное солнце над засыпающим в преддверии зимы миром, платиновая тусклая водная гладь за крепостною стеной, звон и праздничный шум подле храмов и всюду, их белые стены и белые улицы...

Вскочил и ринулся снова к окну, наступив, поспешая, пяткой на рубиновую крошку-осколок, но боли почти не почувствовал, — глянул в дырку на месте выпавшего бордового стеклышка и увидел свой город в снегу.

Картина 5. НОВАЯ ЖИЗНЬ АРСЕНКА ОСЬМАЧКИ, КИЕВ, 1593

Тонкая белая взвесь чвиркает меж заскорузлыми черными пальцами ног, выдавливаясь наверх с глухим тихим звуком — пумк, пумк... — лента шляха, вьющегося по зеленой земле до самой кромки небесного купола, где застыло недвижно жестяное солнце, кажется бесконечной и воистину пребывает такой, ибо где конец этим дорогам, пробитым людьми? — я знаю это так непреложно. На шлях, как на громадную метафизическую ось, нанизана жизнь, которая тоже бесконечна и нескончаема, — белые села с церквами, зажиточные хутора, козацкие городки и засеки... Знаю и то, что шлях сей, как и прочее все, истекает из Киева нашего, — и не только шлях этот, но и другие, лучами, как от красного иконного солнца, расходящиеся во все стороны белого света. Было бы у меня несколько жизней (и другая судьба) — я бы пошел по каждому шляху в те, ныне неведомые мне эвклидовы бесконечности, — и знаю, что, обогнув зеленый шар земли, переплыв моря с океаном, другие дороги привели бы меня снова в мой Киев, ибо ложью есть то, что все дороги земли ведут в Рим Италийский. То было когда-то, при цезарях древних когда-то, сейчас же не то. Именно — в Киев!..

Пыль, размолотая в порох тончайший, все чвик да чвирк между пальцами — долга, многотрудна дорога моя, — и тоска иногда забирает от непроницаемой степной тишины, от безлюдья, от одинокости моей в этом мире огромном, от себя самого — соринки в немигающем оке вселенной, бредущего в никуда из ниоткуда. Хотя здесь я, должно быть, не прав: за спиной у меня целая жизнь — мне ведь уже двадцать два года, и я в преклонных летах бурсак-пиворез, — и впереди у меня столько же лет, хотя один только Бог знает истинно о предстоящем мне счете годов.

Иногда кажется мне, что бурсаком я и родился в сей свет — с холщовой торбиной за раменами, набитой хлебными кусенями вперемежку с листами разрозненными из книг польского и славянского писем, — так давно, так беспамятно влез я в эту коричневую свитку бурсачью... А вообще, — если бы кто спросил у меня, да на беду никто вот не спрашивает, — родом я с хутора Клямка Миргородского повету, Полтавского полку из козацкой семьи, роду Осьмачков, Арсенком зовусь. Последыш аз грешный есмь у моего батька, — егда поднялся от доливки земляной на десять вершков, сказал старый рубака мамуне моей:

«Хватит нам, матко, Сечь годувать сыновьями, — пятеро наших пьют дулывку на Хортице и Базавлуке, и нет нам допомоги и пользы от них, — хай сей, нареченный Арсенко, будет попом, — а нам с тобой честь и покой, ибо покоить панотец будет нас, сполняя пятую заповедь не как иншие те...»

Так и был я с малых годов обучен чтению и письму дьячком нашим клямкинским

Тарасием Копыстенским при церквице Троицкой, а затем отвезен на торговом возу, груженом сухой таранью из Ворсклы, до самого Киева-города. Здесь до сих и пристал.

По годам время мне уже высвятиться во дьячки, альбо и в священство, — еднак шлях вечной вакации, шлях голода, бурсы длится и длится, и конца ему нет, — и я все еще нищий школяр, миркач-пиворез, живущий сегодня, не живший вчера, и кто знает, буду ли жив к завтрему, ежели не перемогу этот день. Посему приходит на ум иногда, что скитаться мне по отечеству моему вечно, аки Агасферу-жиду, и не будет мне старости-смерти дотоле, пока не застряну в некоем месте надолго, а как застряну, так высвячусь у митрополита в клиросного дьячка, стану паном бакаляром при школе для козацких детей и невдолге помру, ни до чего не доживши. Потому гонит кровь молодая сбитые черные ноги мои, сквозь пальцы кривые которых чвиркает нежная и сладостная пыль Руси-Украины, и охриплая глотка моя воет тужливые псальмы под селянскими хатами, а жадные загребущие лапы мои тянуться за подаянием, — ибо добро росчинено в мире нашем земном вельми густо до сих, и потому не дадут азу грешному с голоду помереть. Вот и к чумакам, когда от Киева отошел, прибился ненадолго, — трясся на порожних возах, прямующих путь к Днепрову Лиману, где промысел соляной сопряжен со смертной опасностью от волохов и крымчаков, — годувал их побреховеньками-байками из древлей римской истории, альбо из Патерика Печерского пересказывал про первых насельников киевских круч, про давние подвиги их... Среди собора преподобных старцев печерских особливо чту и люблю Исаакия я, коий поклонился в глубоком затворе самому сатане в лике Христовом и за то пострадал головою. С рекомого Исаакия надолго запретились затворы печерскими начальствующими игуменами, как подвиг немыслимый по опасности для не укрепленных душ подвизающихся. Исаакий же, отошедши душою от болезни, приял новый, невиданный до тех пор на христианской Руси подвиг юродства, принимая как благодать побои и оскорбления от братии и от самого игумена...

Ныне же, осмелюсь недозволенную провести параллель, все бурсаки серые наши суть дети духовные того Исаакия, — ибо юроды мы в этом мире, где среди сеч, крови и вседозволенности носим в себе пусто-место для духовных ростков, для науки, для слова, которые как бы и не нужны никому, — но кто знает все о Промысле о нас, грешных, о земле и о времени?

Юроды мы, питающиеся, как воздухом и водою, латиной и быльем древлих времен, находя сладость в том и упокоение душ, — соборище сирот и байстрюков, хор калик перехожих, ибо бурсу и житие наше бурсацкое полюбляя, знаю не ложно, что лучшие сыновья нашей отчины отсылаемы в стан Запорожский. О нас же посему умолчу.

Смиренно и нищенски приял сей крест тяжкой науки аз грешный, сидя в слезах после того, как почесали мне в классе начальном сидницу лозой. Ломило и жгло без милости задницу оную, аки в пекле мя на раскаленную сковороду посадили, — еднак высохли слезы мои сами собой, и боль притупилась, а в розуме начали высвечиваться некие непривычные в ритме слова, — и в них много было тоски по тому, что называемо прошлым, — хотя какое там прошлое было у малого меня? — но встало из слезной во мне пелены: батьков хутор по прозвищу Клямка, — белый, как снег на Покров Пресвятой Богородицы, серая от непогоды, очеретовая, разлохмаченная ветрами стриха, густые верболозы над тихим, снулым прудом, где трогает временами водную гладь безмолвно губами карась в достижении на прокорм жука-плавунца или мошки, — и хотелось возвратиться туда, под теплую материнскую руку, пахнущую хлебом и молоком, и стать еще меньше, дабы детство мое не кончалось и мир был бы по-прежнему мал, изведан и щедр... Но время и течение жизни необратимы, и путь длится только вперед, через череду дней, времен года и лет, — и ныне я уж не тот, коим был близ тех верболозов. Батько и ненька и ведать не ведают, как ловко их поскребыш Арсенко Осьмачка дудлит на дармовщинку горилку, как хватко умеет украсть за пазуху куру со двора расчувствовавшегося селянина, пока хор калик перехожих, то бишь наших орлов-бурсаков, волает на разные голоса жалостливого вирша нищенского утешного:

Це я, що із чужої землі привандрував,
Сто миль я із чучманських країв марширував...

А потом, подсмажив куру несчастную ту в открытом поле на вогнище, мы со смеху помираем, припоминая нашу удачу и в лицах изображая последовавшее за тем на селянском дворе....

Ныне я уж не тот и потому уже несколько лет во время вакаций старательно обхожу миргородские пределы, где меня знают каждая собака и курка, а батьку отписываю вельми почтительные листы про тяжесть и мудренность латинской науки и про неспроможность в сем лете такожде, как и в минулом, явиться пред отцовские очи его.

Когда вошел в зрелый нищенский возраст, засосала меня легкая и нелегкая

бурсацкая воля, — иди на четыре ветра, куда душа заблажит, — широка и неисповедима наша земля православная. Свыкся я с розгами, с батогами, кнутом, плетью и козацким нагаем, и больше не застилала мне взора слезная та пелена, — и отогнано ныне поминанье иного: верболозов над тихим, снулым прудом, бурьянов, средь которых играл свои первые детские игрища, батька и матери, — и ежели помянуть, как лил я горькие слезы после первых, отведанных задницей розг, то ритм и рифма сопрягли в моей голове некую гирлянду из слов, — вот и все поминанье того. Да и не напрасно всыпали мне в те года, — и посейчас сыпят за пазуху, только держи штаны у колен, — но ныне я уж не тот, и шкура на сиднице моей стала, аки пята посполитого хлебороба летней порой, — и егда кладут, вервием спутав, на лаву меня за провинность противу миропорядка вещей — то ухожу в некое мысленное отрешение, как индус из Вест-Индии, шо про то писал Васько де Гама — шо то за вопросительное имя такое у португала? — так от, отрешенно читаю молитву Иисусову про себя, как индус, а наружно волая что есть силы и мочи, — хотя мне и не больно совсем, — но миропорядок конче потребовывает велегласия онаго, — так и прехожу злые тортуры бакаляра-мучителя.

Так вот, читальниче щирый, как отлились мои детские слезки в нынешнем: ближе к Рождеству, пред сочельником, — ну, знает каждый это расчудесное время, когда шестая седмица поста апостола Пилипа подходит к концу и весь народ наш русский аж из штанов последних выпрыгивает, но чтобы на разговение праздничное на столе было нечто такое мясное, — с запахом на всю мироколицу, с паром на всех колядующих и посыпающих (и на нас, господари, и на нас!..), — вот так век бы провел над той подливою-юшкою, где плавает в золотисто-рыжем жиру добрый кусень того скоромного вещества, нареченного мясом! Ну, для нас, миркачей-пиворезов[1], это самое времечко жизни: села близ Киева аж чернеют от свиток бурсацких и капелюхов, — но там выбрано все, и опять-таки: и крали мы там, и пьяные дрались, и поповой свинье уши обрезали сдуру, и у девок за пазухами щупали то, шо там парой растет и довлеет, — а чего доброго, козаку-гнездюку на побывье под горячую руку что скажешь, — словом, все книжки и все набранные, напрошенные куски, а заодно и пару передних зубов потеряешь, да уже не вернешь.

Вот и решили мы в тот раз с братией, что дальше и глубже пойдем чуть ли не до самой недавно фундованной крепостицы Кременчуга, да чтоб другая ватага во главизне со дьяком-громовержцем Иудой не опередила нас на пути, да никакие другие миркачи-богомольцы без дьяка и без разумения в головах тоже нас не нагнали, — вот и началась сладкая музыка: хрум да хрум, как огурцы на зубах, белый снег под подшитыми валянками, хрум да хрум — быстро идем по пробитой в сугробах дороге, — веселотаки на душе — праздник как-никак один из двух главных, — но и тревожно: дадут ли сердобольцы и странноприимцы колбасы со стола? Но мысль и мечтание борзое сягают неведомо как в запредельное: может, и чарку какую кто поднесет?..

И от этого, высказанного сотоварищам, мы припустились наперегонки, ибо каждому захотелось той чарки, а Брешковский Иванко, мой добрый товарищ и друг, аж споткнулся от голого льда альбо с голода или от неспособности вместить в голове эту химерную сладкую чарку, в которую мы все мгновенно уверовали, и нырнул головою в сугроб, — ах, пресветлое Рождество наше!..

И вот, замерзшие и усталые, мы добрались до занесенного глухими снегам в человеческий рост хутора, отбились от собак, выстроились в ряд перед окнами хаты и завели первое, пришедшее в разум, — а в разуме, понятное дело, у всех бурсаков наших ныне одно, — и потому не сговариваясь прежде, зачали вирша утешного:

Хочу вас, панове, чогось іспитати:
Що тепер за празник, чи ви можете знати?
Чи се той празник, що Христос родився,
Од чистой Діви Марії воплотився?
Кажеться він, бо почали їсти ковбаси і сало,
Чого у нас у школі зроду не бувало.
Мені сеї ночі ві сні приверзлося,
Що з небес у школу сало приплелося,
Ковбаси около як в'юни вертяться, —
Тії-то потрави і для нас годяться!
Коли мене щастя одарило,
Що стоїть край сала сивухи барило!
Впавши я в сумління, став далі соваться —
Не знаю, до чого наперед хвататься,

[1] *Миркач* — наименование колядующего школяра, производное от приветствия «мир дому сему!», произносимому в начале колядования и попрошайничества.

Чи до сала, чи до барила!
Уже мене до того мати вродила:
До ковбас — нетимаш, до сала — нескваплив,
Вкус хмільної сивухи мені неприятлив.
Но нужда і закон міняє! Як доведеться —
На острі зуби і ковбаса треться,
І сало не вдавить, в горлі не застряне...

Посреди выпеваемого утешного вирша вышел господарь из хаты, обутый в прочные белые валянки, — ничего вроде на вид — сажень, как молвится в сказках, косая в раменах, усы и шапчина козацкие, синие шаровары, — ну, братцы, снова на гнездюка мы нарвались, — как гною тех гнездюков на славной нашей Руси-Украине... — теперь и танцевать нас заставит, и по шее надает, если не угодим ему чем, — а может, поборем его? — нас-то шестеро из апостолов бурсы, — не-е, братие, у него в хате сабля отаженная и рушница, како стрелит по жопам, — лучше уж угодим и спляшем ему гопака, зато с пустыми руками не отпустит, ежели угодим... — так перемигивались мы друг с другом, все понимая, а синие губы знали работу свою — молотили утешного:

Горілки, хоч скільки, мій нежить не приймає,
Але, кажу, нужда і закон міняє.
Байдуже! Гірко і без неї,
Внесіте лиш бо трохи сієї!
З великої радості од сна возбудився,
Пильненько по школі всюди дивився,
Аж нема ковбас, ні кусочка сала!
О бідна головонько! Надежда пропала!
Заплакав я гірко і вдарив у груди,
Прийшло мні на пам'ять піти межи люди.
Ви, чеснії люди, мене порятуйте,
Ковбасу і сало мені наготуйте —
Од щедрої руки, що пригодилось;
Хоть те порося, що в сінях зчепилось;
Коли ж на сало неспроможність ваша,
Так дайте у кошик хоть кусок м'яса:
Хоть воно примерзлось, та можна роздрати,
Бо далебі, як не дасте, то не підy з хати,
А ви щоб здорові того году дождали,
По чотири кабани на сало годували.
А за сію вість
Дайте ковбасок шість!
Теє вам повідаю
І з празником поздоровляю...

«Ну-ну...» — миролюбиво промымрил козарлюга.

Еще бы — вернулся с войсковых свар целый и невредимый, надел на высокую шею господини своей новое намисто янтарное, а може, и с венецийских цехинов, попарился с нею славно в баньке, разговевшись до времени сладким розовым телом подруги, умял после пару кнышей, выпил корчагу дуливки, — а тут и химерный театр бурсаков заглянул в глухой угол степной, — самое дело послушать утешное для души!..

«А ну, заспивайте, хлопцы, еще!»

«Ты вы, дядьку, краще борща нам с салом дайте попить!» — сказал я ему — и увидел такое, что ой где ты, матинко моя, шо ты меня народила!.. На какую-то минуту уподобился аз грешный и недостойный незнаемо как прозорлицу-подвижнику древлих времен, — зор мой словно сложился из горячего, все прожигающего света — и проник сквозь беленую стену той хаты, проник, как сквозь мотлох ненужный и хлам, сбрую и бочки в чулане, — и узрел наконец, как в месте темном, месте прохладном застылым жирным кольцом, висит она, царица наша преблагословенная и воспетая не однажды со вдохновением, — начиненная огненным чесноком, матово просвечивающая кусочками душистого желтого сала, — матово, как дукат золотой, — отливающая, — она, она...

«Та то жирно будет, хлопцы, для вас! — засмеялся козак. — Ище пост не закончился, а вам уже борща подавай, — та ще з салом!..»

«Дядьку, пожалейте убогих! — заканючили мы слаженным хором. — Мы с самой Пасхи даже хлеба не едывали — одни токмо коренья, аки святые печерские!..»

«Знаю я вас, шибенников, — смеялся козак. — А горилку пить — будете?..»

«Та будемо, дядьку! Давайте!» — вот так дружно и слажено у нас получилось.

Тут козачина полез десницей в глубокий карман шароваров, пошукал там что-то в

мотне и извлек на свет Божий — дулю:

«Осьо вам, хлопцы!»

И смеется, злодей.

Хоть и коричневы мы по одежке, но различны по обычаю внутреннему — посему один зареготал вместе с козарлюгой, у других слезы выбились на глазах, а третьи начали зраком искать дубину для драки. Мне же хоть и было обидно, но и смешно тоже было. Хруп да хруп сахарный снег под подшитыми валянками моими — подмелся я к скалящемуся козаку и цап его за большой, коричневый от тютюна палец, торчащий из дули. Солоно кровь его окрасила нёбо пасти моей, — вот и разговелся до срока, — придется на исповеди каяться... — химерно пронеслось в моей голове, — но сказал:

«Ты бач, а я гадав, шо то чарка такая!»

Козачина тем временем руку отдернул, выдирая вонючий свой палец из пасти моей, и давай разворачиваться, чтобы сокрушить шуей своей голодные зубы мои. Разворачивался, разворачивался, пока вечер не опустился на землю, — мы аж задрогли стоять в ожидании драчки и мордобоя, а потом смачно сплюнул под ноги, подмигнул оком лукавым и опять рассмеялся:

«Молодец, бурсацкая вошь! Осьо дам вам за отвагу кныша!»

«Та до кныша тогда по две чарки на носопыру потребуется!» — то наш Иванко Брешковский гаразд был брехать и торговаться, чуя некую слабину.

«От пиворезы! Мать вашу за потылицу та об столб! — жартовливо рассердился козак. — Ну, мерщий заходьте до хати, пока сама пани с гостей не вернулась, — врежем заради свята, бо коли не поспеем — врежет и она нам поленом по сракам! Та шоб, — поднял в предостережении кулачище, — не красть!..»

«Та вы шо, дядьку! — мы уже наперебой полезли в хату, оттирая друг друга и отбиваясь от подпирающих в спину и в бока, — хоть нас и шестеро всего было, но ощущение такое обманчивое сложилось, что мы — татарский чамбул, берущий навалом малую крепостицу. — Мы — честные бурсаки!»

«Никада такого, дядьку, не бывало, — хоч у дьяка нашего спросите про нас!»

«Мы только по-латине та по письму божественному, — а як то людие крадуть — даже не ведаем!»

Меж тем расселись в красном углу хаты, под образами веселыми, украшенными квитчастыми рушниками, — и облизываемся.

Господарь на столешницу хлопнул румяна кныша и глазом моргнуть не успел, как от кныша того и памяти не осталось — был нещадно разодран загребущими нашими пальцами в сущее «зеро».

«Та шо такое?.. Ну, бурсаки, — только и сказал козачина, — какая же силища и жажда до жизни в вас пропадает!..»

«Так-так, пан господарь, — воистину жажда...»

«Бо положены, як Исаак, на алтарь справжней науки», — кто-то там сквозь кусок былого кныша утробный голос подал.

«Теперь страшно на стол сивушный жбан выставлять — еще захлебнется кто ненароком!..» — сказал козарлюга.

«Та не, дядьку, не страшитесь того — ще не бывало такого в римской истории!..» — загалдели все разом.

«Та скорей же, ей-Богу, от кныша того задыхаюся!..»

«Скорей-поскорей, бо дьяк уже бо под дверью!..»

Гепнула днищем о стол четверть прозорой дуливки, хлопнул кныш во-других рядом с четвертью.

«Хай у веках живе господарь превелебный!..»

«Слава! Слава! И прослава! Многая и благая лета дому сему!»

А как по второй чарке захоронили мы в кладбище безвозвратном внутренностей своих и хмель пальнул по мозгам, то на песню всех поклонило, — и в разные стороны, кто на что горазд был, потянули школяры-пиворезы наши, словно сговорившись, снова про колбасу и наедки святковые:

Добру новину, брате, звістуєш,
Же зуби на книші готуєш.
Віщиряш зуби на колбасу,
Бо єсь не мал дотля часу.
Мліє ти сердце на солонину,
Але завше кебись мал ки похрептину.

Козак слушал и улыбался. А когда закончили выть, сказал:

«Что й то, панове спудеи, все про одно вы толчете — солонина та колбаса! Слухать про таку трихомудрию — все одно что пузо растить!.. Врезали б такого, шоб стены сии затанцевали — ото и я понимаю!..»

«Та як же, мосце пане, про нее, святую, не петь, — сказал я, — коли оно, бачу очами ума и желудка, висит тая неудобопомянутая колбаса тугим кольцом в чулане на стенке, абы мышва ее до свята не спортила, аки люципер-сатана...»

Козак удивленно и пристрастно вельми зрит прямо мне в очи:

«Откуда ты, вражий сын, про колбасу ту прознал?!..»

«Рекл же: зрю очима ума. Я, пан козак, и не про таковое знаю, — бо маю носа, вуха та очи, и вельми преуспел в познании того, что называется божественными и науковыми законами, главный с которых: просите — и дано будет вам. И дабы вживе возобладать неудобопомянутой не к сроку оной колбасой и не умереть от кнышевой сухости и горилчаной прозорости, заспиваймо, братие школяры, тую виршу, шо я в слезах сочинил, як пан-бакаляр научает нас в бурсе, — и може, пан козак, вой сичевой, и дарует за то нам оную колбасу, хоч шматок отакенький, дабы растворить сладость мясную-чесночную на отом, шо в роте растет...»

Братии нашенской того и надо было, чтобы только попеть, — и заволали пиворезы на разные голоса тую виршу, которая сложилась в ритме и рифме во мне молодом, когда впервые вкусил я науки розги школярской:

Казав мені бакаляр промовити: «Аз, аз!»
А як же я не вимовив, він по пиці: раз-раз!
Крикнув же він удруге: «А ну кажи: «Буки!»
Ой ще ж бо я не вимовив — попав в його руки.
Крикнув далі в третій раз, щоб вимовив — віде
А вже його жвава рука по чуприні їде.
Ой, як сказав учетверте: вимовляй — живіте!
Нуте ж, хлопці, зараз його на лаву кладіте.
І просився, і молився, а ще більше злякався,
Бо таку задали хльосту, що світа зцурався...

Иванко Брешковский не вытерпел нашей школярской, выдряпался из-за гостиного стола и пошел навприсядки по хате кружить, аж стены задрожали. Козарлюга тоже себе пристукивал каблучиной об пол да прихлопывал пятернею по ляжкам и подгуковал: «Гей! гей!» Когда с виршем управились, сказал удоволенно:

«Ну ж бо, хлопцы, по такой заспиванке треба ище по склянце влупить-замандрычить!»

Так пели и пили мы чуть не до ночи самой, — глотки, хоть и луженые и промытые горилкой, охрипли, ноги устали вытворять гопака, а ладони ляскать друг о друга в горячих местах, — все, что знали, пропели, в четверти же не осталось козаку ни капли единой на головную боль завтрашнего утра и дня, — так бы и праздновали мы до утра, егда Эос окрасит багряно то, шо он должен окрасить, — восток? — да повернулось из сочельных гостей от кумы господиня-козачиха, обнаружила розгардияш велегласный, взялась за ухват, один раз оным взмахнула, и очутились мы на лютом морозе. Хоть и пьяные были, но успели похватать со стола то, что лежало не съеденным и недогрызенным, и позапихивать в торбы, а то остались бы совсем без прибытку, — ну а допивать уже и нечего было.

Ночью притопали в некое селище, — по дороге вполне протрезвились и не потеряли в степи никого — друг друга за полы держали, так и шли, как гусаки, в ночной тьме. Как раз в церковь к середине всенощной службы угодили, где собрался весь стар и млад большого села, величая славное Рождество Христово. Хоть и охрипли мы в прежних гостях на хуторе, хоть и задрогли в открытом зимнем просторе, но на хорытаки выдряпались и певчим вполне уместно петь подмогли:

«Рождество Твое Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем бо звездам служащии, звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока: Господи, слава Тебе...»

За то одержал поутру каждый из нас по три польских пенязя от церковного титаря — по пенязю в честь кожного из Святых Лиц Троицы, — и по пампушке с титарева рождественского стола. Остаток ночи вповалку перележали на чьем-то гумне, спочивая от трудов своих праведных, а поутру двинулись по селу поздравлять посполитых с праздником и сбирать от милости сущих зде и повсюду куски и медные литовские полугроши. Праздничная песнь прямо-таки исходила из глубины наших душ:

Слава Богу, того ми тепера дождались,
Що за шість неділь з ковбасою вп'ять повидались.
Я ж казав: «Шутка, що позавчора свині галасали!»
Аж то люди ік святкам все ковбаси дбали.
Лиш почули, що Різдво вже не за горами —
Не схотіли більш сидіти над огірками.
Зараз стали шататись між скоромним крамом:

То з гусьми, то з курми, то з битим товаром.
А іншії по хуторах начали махати,
Щоб доброї і багато к празнику придбати.
Коли б же і ваша мость справді ненароком,
Взглянувшись на мене щедрим тепер оком,
Хоть шелягом на первий час мене поманили,
А після б і ковбасу в пазуху втребили,
Да й тим по губах, що пред ковбасою п'ють люди,
А я б сказав: «Вам рожденний наградою буде!»
Будьте ж ви здорові, Рождества діждавши,
А я піду із хати, своє в карман взявши.

И весело было и нам, и посполитым, которые уже разговелись после Пилиповки, и щедро оделяли нас люди земными дарами. Так бы и жить!.. Но нет, — враг, ненавидяй добра, решил нам светлый праздник испоганить-испортить — дойдя до середины села, мы увидели морды знакомые, киевские, — таки наздогнали нас бурсаки иншие во главизне со дьяком Иудою и куски наши, тамо не собранные еще, пособирали и колядки наши пропели, ибо шли с другого конца. А ведь я им, вражьим детям, в начале Пилиповки в письмовники давал срисовывать наши величальные и утешные вирши!.. Отака!.. И ну шмарать тогда друг друга по мордасам!..

Мы-то успели силы свои у козарлюги того на хуторе подкрепить, а они, худые и синие, куда и зачем по селу нашему лезут?!.. Хорошо дьяка Иуды не было с ними — у кого-то из кумовей своих здешних за праздничным столом заседал, споведая, какой он большой голова над бурсаками света всего и захороняя в утробе несытой своей чарку в-четвертых чи в-пятых. И пока не было дьяковых острых очей, наблюдающих за пристойностью нашей бурсацкой и соблюдением божественной заповеди «не убий», то и развернулись мы чуть ли не по-козацки, — разве что без домах да пищалей. Без хвастовства излишнего молвить: не одну носопыру разбили мы вдребезги, дабы не нюхали нашего дыма от смаженого и вареного мясива и дабы в месте иншем, не знаемом во вселенной, и подальше от нас распевали из письмовника вирши наши утешные! Да что и сказать: и письмовники у них, в снег поверженных, из торбин их повывертали да изорвали, — нет и не будет пощады врагу!

Но да дерись — не дерись, а в месте сем все одно дела не будет уже, посполитые привеченные уже, милостыней бурсаков одарили, дьяка до положения риз упоили, — а вы кто, хлопцы, такие?.. Ах, вам еще кусеней и кендюхов, — а ну-мо, матко, спускай волкодава со шворки — хай и он разгове-е-ется на бурсацких штанях!.. — дело известное.

Потыркались-потыркались мы по хатам, — стусанов только на спины набрали, — и петь пробовали, — да посполитые уши все затыкают: слышали, говорят, уже это все ваше искусство, надоело нам, — и танцевать пробовали перед дворами, да не смотрит никто, — сами говорят, сейчас затанцуем, вот пропустим еще по единой и врежем гопака на всю вселенную, — позаседали наши панове селяне за богатыми своими столами, режут смаженину, пихают за щеки — кто сколько запхнет, — мыслимо ли оторвать их от такого занятия?..

Иванко Брешковский предложил возвратиться на поле сражения и утвердить перемогу, то бишь побитых добить, аще не складывается по-нашему, — ну, да что там уж добивать было... Пощадили — оказали божественное милосердие, како апостол Иаков ще заповедывал в послании: *«Суд без милости не оказавшему милости»*. Так и отправились мы во своя си, то бишь в намозолившую очи своей белизной сияющую снегами великую степь. И как не волали мы, выйдя прочь из села, как не тешили себя разговорами про сало и девок, большая и безмолвная тишина окружила нашу ватагу. Вскоре даже Брешковский Иванко замолк с побрехеньками, — и так шли в тиши, прислушиваясь токмо к скрипу снега под валянками. Я подумал тогда, — впервые, так кажется, — что молодость наша минет, и дороги наши упрутся в некий незнаемый тупик — и мы станем другими. И что это — солнечный день священного праздника, и тишина эта особая, в которых как-то не пристало водить балачки про сало и девок, суть единичны, единственны, и что другое Рождество, через круг годовой, не будет уже таковым, ибо и мы станем не таковыми, как ныне. И в душе у меня зазвенела некая потаенная и тихая печаль, — может быть, так я начал взрослеть и мужать, оставляя бурсацкую шкуру? Но ощущения эти были слабы, неотчетливы, зыбки, аки сон, и накатывали как бы волнами. И одно было сильно и не смываемо — удивление от величия Божьего мира, среди которого лезли мы, аки блохи, по натоптанному и наезженному скользкому шляху, — я словно впервые увидел все это, — а до того — где я был и чем я был занят? Слезились глаза — то ли от этой невыносимо-ослепительной белизны снегов, то ли от постигаемого здесь и сейчас. И хотелось пребыть одному, такому, как

есть, вне ватаги, вне бурсы, вне обстоятельств, определяющих твою будущ*и*ну, — пребыть в Рождестве, прикоснуться разумом и душой к сокровенной сердцевине этого расчудесного чуда — земного воплощения в мире Бога-Слова. И как-то понималось все непривычно, что есть я не тот, кто движим в ватаге до Киева, и не тот, кто волает утешное ради куска хлеба насущного, и не тот, кто кровянит морду ближнего своего из-за подачного посполитого кендюха, — но есть я другой, потаенный, коего сам я не знаю... Может быть, в вирше слагаемом отражается легкая тень от меня?.. — подумалось невзначай, — и тут я чуть не захохотал в голос, — значит, я и есть *колбаса*, ибо только колбасная тень отражается в рифмованном праздничном слове... Ну как тут познаешь себя, како промолвил некий язычник-философ?.. Впрочем, думы эти были скорее думами сытого брюха, до времени извержения геть набитого яйцами, кендюхами, мясивом кое-каким, — кроме того, вся эта благая смесь окроплена была неким количеством светлой горилки и темного пива, — что там творилось во мне — и не ведаю, но некая реакция алхимическая, если вообразить себе это овеществленно. А овеществленное — стало уже понимаемо. Ибо аз есмь от корня народа русского, и если ныне по одежде бурсак, то по духу я тот же русин, как те, что днюют в Хортицком стане, — а народ наш отвлеченно и философически размышлять и рассуживать не привык. Мы понимаем токмо про вещество. Оце — сало, ото — хлеб... — так примерно. А то, что в вещество некое не укладывается, мы принимаем по батьковскому завету, по старожитности, — это касается в первую голову вероисповедания нашего греческого обряда, — и тут нас, как и в вещественном, тоже не проведешь, ибо ежели мы Церковь отцовскую променяем на некое вещество, — прости меня, Господи, за допущение, — то достойны ли будем образа человеческого?.. Ибо не искупается душа салом мира всего и всеми кендюхами, которые только ни есть, — но искупается церковно, по завету, по исполнению заповедей... Думы эти, нашедшие на меня на зимней дороге к златогорящему Киеву нашему, были отнюдь не случайны, ибо уже долгое время бродила опара многоразличных слухов, порою даже невероятных.

Мы в бурсе зубрили латину, разговаривали по-польски так же вольно, как и на родном наречии русском, — читали, кроме славных и великих каппадокийских отцов, сочинения Блаженного Августина и святого Касьяна, галльского отца пятого века, но разделение века XI было не только церковной трагедией, но мировой, — ибо с тех времен люди узнали о делении неделимого мира на Восток и на Запад. С тех пор прошло уже почти шестьсот лет, и раскол, расщелина в человечестве отнюдь не уменьшились, но углубились.

Преодолимо ли свершившееся по промыслу Сил, неподвластных даже для разумения?..

Известно было нам, бурсакам, из учения книжного, и то, что в 1442 году на Флорентийском соборе, обозначенном устроителями как «вселенский», была предпринята попытка без должного на то основания объединить Западную и Восточную Церкви под владычеством папы, — сторонники нынешней ереси схожей, под названием «унии», на всех углах распинались об этом, как бы законном соборе, — и ватиканские владыки посредством щедрых даров и посул уговорили митрополита киевского и московитского Сидора присягнуть той позорной «унии». Московиты за то чуть не лишили перекинчика жизни, — и спасло его только потаенное бегство под длань папы, коему он присягнул. Лжемитрополит этот Сидор кончил постыдные свои дни в сане ватиканского «кардинала», а уния Флорентийская умерла во чреве того собора, не успев и явиться на свет Божий... Хотя — если размыслить тут пристальнее — все владыки православного мира числом более тридцати, что там собрались, согласились на унию ту. А кто же оные, лучшие сыновья православных народов? Собор был созван папой Евгением IV и утверждён византийским императором Иоанном VIII Палеологом. На Соборе присутствовал также Константинопольский патриарх Иосиф II, полномочные представители Патриархов Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского, митрополиты Валашско-Молдавский и Киевский и всея Руси Исидор, епископы Эфеса, Трапезунда, Ираклии, Кизика, Сард, Никомидии, Никеи, Тырнова, Монемвасии, Лакедемона, Амасии, Митилины, Ставрополя, Молдовлахии, Родоса, Маленика, Драмы, Ганка, Драстры, Анхиала и богословы, а всего около 700 человек. И все эти лучшие и ученые люди — и все они — приняли унию эту. Кроме Марка Эфесского, исповедника. Нет-нет, уродец этот все же родился, да недолго прожил. Все эти «лучшие люди» — подохли в позоре и в отречении, а после долгой борьбы с церковным народом 12 декабря 1452 года уния все-таки была провозглашена в Святой Софии митрополитом Сидором Киевским и Московским нашим в присутствии императора, епископата и мирян, — и через полгода кара настигла от турок Константинополь и Византия прекратила полуторатысячное существование. Разве не читаются тут суды Божии?..

Но нет, никто не внял этим урокам. И латиняне после неудачи с Флорентийским

собором только озлобились и источили зубы и когти острее. Дошла и до Киева весть из Московии, что небезызвестный в наших краях папский легат Антоний Поссевин четырнадцать лет назад, во время войны короля Стефана Батория с московитами, миротворно-притворно ездил к государю Ивану IV Грозному якобы для замирения того с королем Стефаном, на деле же дабы склонить царя русского все к тому же, то бишь принять западный еретический толк и перевести весь московитский народ в духовное подчинение римскому первосвященнику. Среди прочих даров, привезенных Поссевиным Ивану-царю от тогдашнего папы Григория XIII, была и книга с описанием Флорентийского собора в переплете богатом, дабы придать своей духовной миссии основательность историческую и даже «соборную». Он же умолчал о позорном провале собора — иезуиты умеют молчать о том, что играет против них. Но от всех ухищрений Поссевина не было Риму никакого прибытка с Московии, — кроме разве что нескольких черных соболей, подаренных Иваном Васильевичем папе Григорию в знак уважительный. О толковище же относительно перемены православных догматов Поссевин описал в записках своих следующим манером, — и о том читано было мной в Киеве в изданный по-латыни записках иезуита:

«Государь снова убеждал его не касаться Веры, примолвив: «Антоний! мне уже 51 год от рождения и недолго жить в свете: воспитанный в правилах нашей Христианской Церкви, издавна несогласной с Латинскою, могу ли изменить ей пред концом земного бытия своего? День Суда Небесного уже близок: он явит, чья Вера, ваша ли, наша ли, истиннее и святее (...) Ты хвалишься Православием (сказал он), а стрижешь бороду; ваш Папа велит носить себя на престоле и целовать в туфель, где изображено распятие: какое высокомерие для смиренного Пастыря Христианского! какое уничижение святыни!..» — «Нет уничижения, — возразил Антоний, — достойное воздается достойному. Папа есть глава Христиан, учитель всех Монархов Православных, сопрестольник Апостола Петра, Христова сопрестольника. Мы величаем и тебя, Государь, как наследника Мономахова; а Св. Отец...» Иоанн, перервав его речь, сказал: «У Христиан един Отец на Небесах! Нас, земных Властителей, величать должно по мирскому уставу; ученики же Апостольские да смиренномудрствуют! Нам честь Царская, а Папам и Патриархам Святительская. Мы уважаем Митрополита нашего и требуем его благословения; но он ходит по земле и не возносится выше Царей гордостию. Были Папы действительно учениками Апостольскими: Климент, Сильвестр, Агафон, Лев, Григорий; но кто именуется Христовым сопрестольником, велит носить себя на седалище как бы на облаке, как бы Ангелам; кто живет не по Христову учению, тот Папа есть волк, а не пастырь»...

Мы много смеялись и веселились по этой причине: ловко же врезал Иван-царь лукавому Поссевину. Так что не только вольные сыны запорожские горой стояли за старожитность отеческую, не только мы, грешные миркачи-пиворезы, прославляли в орациях праздничных веру и обычаи наши церковные древлего чина апостольского, но и весь люд московитский неисчисляемый во главе с самим Грозным-царем крепко держались того же.

И звенело ныне над землями православными светлое Рождество Христово, — но за праздничными столами, за песнопениями, молебнами и гостями ощущалась некая тревога в благорастворенных воздухах отечества нашего, — и где-то там, ближе к южному морю, уже приуготовлялись к новой войне войсковые полки и запорожские курени. За кусками и сбором милостыни от сущих здесь, каждый из нас заметил, что почти не было в селе гнездюков, а если и были, то войсковые их кони стояли хоть и расседланными, но вполне приуготовленными к дальней дороге. Походные торбы висели в сенях, угнетенные всей козацкой потребой в пути.

В таких не вельми веселых раздумьях и воспоминаниях читанного и усвоенного под дьяковой розгой в богоспасаемой нашенской бурсе, добрались мы до славного Киева и допраздновали рождественский день в шинке на Подоле, — таким манером все собранные шеляги и литовские полугроши вкупе с польскими пенязями переправились неведомо как и зачем в орендарский карман корчмаря Схарии. Хорошо, что закусывать покупать у него не пришлось, — куски из торб наших нищенских пошли под святковые чарки. Но уж сколь я ни вливал в горлянку свою, хмель не брал мою голову, будто пил я не горилку, а чистую воду, — и только тревога во мне ширилась и росла.

Когда узкие улочки нашего древлего стольного Киева засинели рассеянным светом предвечера, оставил я нашу компанию догуливать в том шинке, а сам вышел без цели на заснеженный берег Днепра. Река стояла недвижно — торчал бурелом громадных, осенним течением перевернутых льдин, — белая и как бы нездешняя ледовая ширь веяла пусткой и каким-то адовым ужасом, — левый берег и узреть было нельзя по слабости зрения человеческого и по неземному величию покоренной стужей реки. Шел, не думая ни о чем, вдоль Днепра, перебираясь через ледовые завалы, глядя

на огромное багровое солнце, садящееся в заснеженные просторы за Киевом, — червонным золотом светились в угасающих лучах грушевидные купола Успенского собора в Лавре и крест Десятинной церкви на круче, — говаривали старожитные кияне, что прежнюю Десятинную, до погрома татарского сущую, на сем месте святом построил сам князь Владимир, креститель Руси, и была она первой церковью на безгласной нашей земле тех времен, — ныне же князь Острожский в молодые годы свои возобновил ее тщанием и усердием собственным...

Надо бы в бурсу идти, — подумалось мне как бы снова со стороны, словно кто-то, невидимо реющий близ идущего тела моего, неслышно нашептывал в ухо, сбивая с пути, — задрог я, да и не до ночи же таскаться по этим ледовым торосам... Давай уже, Арсенко Осьмачка, Миргородского повету, полка Полтавского житель-насельник, возвращайся... Тут я остановился и оградил себя крестным знамением, зная искушение мелких бесов, завлекавших некрепкую душу в сети погибели, — их тут много летало, как мух летом, — поймал взглядом затухающий в густо-синем небе предвечера крест Десятинной и прочел кратко молитву Кресту. Смущение внутреннее утихло, и я полез повыше на берег, оскальзываясь и оступаясь время от времени.

Думал я о дне минувшем — долгожданном и сытом от пуза дне сем, дне празднества, дне из непотребной жизни моей. Чего хорошего сотворил?.. — ничего, кроме как в сельском храме певчим петь подмогли с братиею, — вот и весь сказ мой... А еще кровянил ближним своим морды за насущный кусок. Рвал в ярости в клочья письмовники с виршами нищенскими. Орендарское вонючее зелье хлебал внутрь. Песни непотребные голосил про рекомые колбасу и кныши — до внезапной поры тишины, объявшей нас на зимней дороге в Киев обратно. И вот теперь, смотря на зимнюю реку, где, кажется, даже рыбы вмерзли в трехаршинную толщину льда и все и вся застыло до века в цепкой несокрушимой недвижности, я ощутил холодное и как бы предвечное одиночество свое здесь, краткость, конечность жизни как собственной, так и всего пребывающего под широкими этими небесами.

Каменщик, кратко на восток помолившись, закладывает храм во славу Творца. Иконописец, с молитвой Иисусовой в сердце, порой прозревает зрением умным, способным открыть смиренно внимающему отблеск славы небесной, сил бесплотных и всего того, о чем говорили святые отцы, — и далее запечатлевает небесную явь тенью земной, сиречь даром и мерой художества своего. Каков же дар мой? Могу пропеть в эту ледовую пустынь псальму какую из книги Давидовой прямо или перелицованную таковую же псальму на лад наш малороссийский, школярский, — криво, с усмешкой и жартом, — звук древлих слов русских в божественном и осмысленном соединении надорвет полотно сей непроницаемой вечерней тиши над стоящим недвижно Днепром, — и глас мой погаснет, затухнет в пространстве, когда закончится пением псальма, — и все будет снова по-прежнему, — будто и не было меня на сем речном берегу. И в мире — тоже будто бы не было...

Так я умру.

И все будет, как было.

Не стронется здесь ничего, не изменится. Никто из сущих не заметит присутствия или исчезновения моего. И в этом — вопреки всему — есть глубокий смысл.

Или бессмыслица?..

Щеки мои онемели то ли от стужи, то ли от страха какого-то непонятного, — и был я как бы одной из снежинок на вздыбленных льдинах днепровых, — и какой во мне толк, и зачем я родился на хуторе Клямка, на землях Полтавского полка, ежели грядет когда-то весна, и снега почернеют, взрыхлятся, со скрежетом, и с пушечным громом сдвинутся льдины, подмываемые упругим стрежнем тока воды, — и поплывут, крошась друг о друга закраинами, в талой студеной воде, налетая на черные гряды порогов, вздымаясь на оных стоймя и рушась, с треском ломаясь, в черные смертные омуты; множество их будет вынесено мощным течением на песчаные отмели, на пологие днепровские острова, чтобы совсем скоро исчезнуть под светом весеннего солнца... Выйдет Днепр наш из берегов, заполнит вешней водой пойму свою, затопит луга заливные, леса, — и до островов за порогами, где угнездилась козацкая Сечь, докатится только большая и яростная вода. Так где там след мой, снежинкин, в этом месиве грязного льда и напоре воды, что сметают с пути своего переправы, мосты, возы, срезают гигантским ножом пойменные деревья? В чем был ее (и мой) смысл и значение, зачем, для чего слетела она из высоких небес, сотканная и сложенная столь совершенно, и пала в неисчислимом числе на лед сей зимы 1593 года, сковавшей великую реку нашей страны?

Чтобы отдать малую свою белизну — большой белизне, чтобы слиться в снежном покрове в единое целое и погибнуть вместе с тем целым... Слиться, чтобы погибнуть... Разве что... Разве что... Или все-таки — преобразиться, стать иным веществом? Разве не так?..

В размышлениях этих все большая и большая тоска забирала душу мою — и все существо противилось столь незначительному смыслу воплощения в теле моем бессмертной души. Но как же быть по-другому, ежели ты только снежинка и срок тебе — до весны? А ведь зрится отсюда, с высокого берега и жизни начала, что быть сему миру, и мне как части его, неизменным и вечным, и что жить мне беспамятно долго, — и тусклым золотом пробивать набредающую с левобережных степей ежевечернюю тьму кресту на куполе Десятинной, и длиться жизни, длиться в бесконечную будущ*ину*... Так хочется жить и не оставлять этих прекрасных и величественных пространств, искрящихся мириадами граней в тихом и прикровенном свете вселенной, где так совершенно и самодостаточно зрится и ощущается мироздание Божие. Я — часть этого мира, и как части присуще от целого все, так и обо мне уже промысленно свыше. Но как тягостно с этим смириться!..

Не смириться же невозможно...

Ибо бессмертия несмирением не обрящешь, — а противостав божественному устроению, душу выжжешь дотла. И тут ничего не поделаешь, — ничего. Разве обернувшиеся ныне на унию — не умрут вовсе? Разве бессмертны и нетленны прибытки их от Варшавы и Рима вовеки? — если даже дети их не протратят тех презренных сребреников, которые стоили им веры отеческой, старожитной, — ибо век еще не закончится, как серебро это отольется им сторицей погибелью, — и это будет расправой вовсе не человеческой, — ибо и здесь супротивный и даже вооруженный домахой бессилен, потому что грядет на них суд не людской, но небесный...

Снег — хруп да хруп — под подошвами валянков, и шел я, так размышляя, вдоль прадавней нашей реки. Откуда-то с другого берега, погруженного уже в чернильную темень, сдвинулись толщи промерзших воздухов, и некий ветрец пробрал меня сквозь коричневу мою свитку до самых костей, — я дернулся, запахивая полу плотнее, а ворот — под самое горло, выгоняя из-под одежки ледяной пузырь ветреца, попрыгал на месте, похлопывая задубевшими и красными, как у рака, клешнями по бокам, и припустился в гору, — я и не заметил за высокими думами, что добился уже до Печерска, селища лаврского, — и теперь лез в гору прямо под белыми стенами монастыря, оскальзываясь в снегу и едва удерживаясь от того, чтобы не скатиться кубарем обратно к реке.

В голове дозванивало тихо, словно прозрачными стеклышками-ледышками, остатнее из одиночества моего над Днепром: и думал я почему-то о тех, с коих начался этот отчаянный мысленный ток, — о каменщике, об иконописце.

Сердце каменщика остается в фундаменте храма, который он поставил на красном месте земли, — и сам человек исчезает в творении собственных рук. Но остается ли храм в вечности? — нет. Остается необоримая адовыми вратами Церковь Христова, а храмы, каменные и деревянные, разрушаются временем, огнем и людьми супротивными. Ибо где ныне славный храм Соломонов? Где множество наших церквей, украшавших землю сию, как звезды украшают небесную твердь? Три века назад навала татарская стерла с пресветлого лика Южной Руси все живое, — не устояли пред раскосыми супостатами ни города наши, ни храмы, фундованные, казалось, навеки, ни фортеции неприступные, — только пепел и кровь остались в следах татарских бахматых коней. Полоны измученных посполитых табунами гнали на Кафу, — их было так много, что меняла-еврей, сидевший близ кафских ворот, спрашивал у татар: остались ли еще в северных землях люди живые или там уже пусто навеки? — над дикой степью отчизны много лет черной тучей стояла пыль, поднятая босыми ногами уводимых в рабство и в инобытие. В скитаниях нынешних по кругу земному за подаянием я не однажды видел в открытой степи выбеленные солнцем и непогодой остовы ребер тех наших предков, кому выпало время жизни отражать эту страшную беду, — этими мертвыми телами утучнялась наша земля от самого Киева до невольничьих рынков Кафы, Царьграда, Багдада. Оставались ли храмы, ежели даже от городов наших оставалась только зола?.. Но разве напрасно жили в древнем времени каменщик с иконописцем? Разве напрасно они фундовали и оздобляли высоким художеством городские и сельские храмы? Нет, не напрасно. Ибо все, вершимое здесь, в видимом мире, человеком, живущим сегодня, предназначено в высокой идее своей не вещественной вечности, которая невозможна по рассуждению нашей схоластической филозофии, но некоему небесному нетленному скопищу, о коем судить отсель невозможно. Потому и псальма моя, пропетая в видимую пустоту, совсем не напрасна, и вирш, сложенный в голове иль в душе, и любое доброе дело такожде. Прозревают об этом лишь души, оставляющие плоть вещества, в котором пребывают до времени, но взамен теряют дар земного глагола, и мы, остающиеся здесь до поры, так и не ведаем о том ничесоже. Но — да все будем в свой срок одесную Христа, альбо в зубах сатаны-агасфера, — и сведаем обо всем... Да только на что сгодится тогда обретенное новое знание наше?..

Тем временем шел я уже по натоптанной богомольцами ледовой дорожке под могучей монастырской стеной, которая слабо светилась во тьме, что объяла уже

и реку, и город. Выйдя к белокаменной браме, я увидел сидящего в снегу человека, обряженного в грязные затрапезные лохмотья, — шапчины на нем не было, и долгие сивые власы спадали на плечи, свалявшись в подобие вервия. Сквозь прорехи в лохмотьях проглядывало серое, будто припорошенное ржаной лунной мукой, голое тело. Сиромаха тот перебирал и рассматривал сосредоточенно задубевшие хлебные кусени, набранные при солнечном свете у богомольцев прошедшего дня, — при соприкосновении друг с другом куски те издавали приглушенный звук дерева, когда постучать по стволу некоей палицей.

Я знал, конечно же, этого старика-нищего, как и каждый киянин. Мне и рассматривать его было ненадобно, и разговаривать с ним, дабы выведать что-то о нем, — я, как и каждый житель преславного Киева, знал, что под лохмотьями на теле его скрыты тяжелые цепи-вериги, венчающиеся большим железным крестом на груди, — под цепями наплечными кровянились у него стертые язвы, — и что ноги его не знали от века никакой обувки ни летом, ни зимней порой.

В читальне нашей бурсацкой приходилось читать мне не однажды о таких подвигах преподобных прежних времен, — и чтомое уязвляло душу мою не представимой и небывалой в наших уже временах крепостью духа и тела тех легендарных людей, отрекшихся от мира текучего и преходящего ради Христа и Его славы. Столпники, по четверти века препроводившие на столпах в пустынях Египетских... Затворники наши печерские времен Мономаха, молившиеся глубоко под этой землей, на которой стою, десятками лет не видавшие солнца и света, не вдыхавшие свежего весеннего воздуха, не слышавшие в глухой могильной тишине подземелий звуков живой человеческой речи... Мария Египетская, сорок семь лет скитавшаяся в пустыне во искупление своих прегрешений и по сокровенному Промыслу, за год до смерти, обнаруженная старцем Зосимой, рассказавшим о ней... Это мы — по недостоинству и душевному нестроению — так глубоко ощущаем свое одиночество и богооставленность, — они же не были одиноки, хотя десятками лет не видели ничего, кроме черных земляных стен или сыпучих песков и белесого знойного неба, ибо без помощи Духа Святаго выстоять в таких, добровольно наложенных на себя испытаниях, было немыслимо.

Ныне же оскудела благочестием наша земля, и не слыхать больше о таких удивительных подвигах, не столько угнобляющих тело, сколь возвышающих душу, и сей старец, сидящий в снегу со своими заледенелыми хлебными кусками, едва ли не последний из исповедывающих днями жизни своей образ древлего подвизания. Все знал я о нем, что знали другие, — о неудобоносимых веригах-цепях, о многолетних добровольных лишениях, о язвах телесных, — но все это внешнее, зримое и отчасти дикое даже, — но кто знал о сокровенной, глубинной жизни его? — ибо если бы он и говаривал бы земными словами, то где взять те слова, что обозначили бы меру духа его и силу, которая все текущее и привычное нам победила?..

Подошед к старцу, я поклонился ему в пояс, сняв бурсацкую шапку:

«Помолитесь, святый отче, о неразумном рабе Божием Арсентии...»

Трудно сказать ныне, что во мне было — скорее всего, привычной и неглубокой просьба эта по сути была: как желаешь здравствовать проходящему малознакомому человеку, — но что вкладываешь ты в эти слова? Ты ведь даже и не задумываешься о сокровенном их смысле буквальном, — так, формальный звук в воздух бросаешь, некий клич бездумный, — и так же и прощаешься, не прощая и не будучи прощенным. Смыслы — иссякли, истерты нашей привычкой, нашим необязательством, плоскостью нашей и глухотой к слову Божьему и человеческому. Так и я, внешне уклонившийся печерскому юроду и просивший его о молитве, — знал же и верил в душе, если покопаться в себе, что никакой молитвы от него я и не жду, и даже не верю — если бы молитва все же была бы в сокровенном его изнесена обо мне — что она могла бы как-то повлиять на меня, на мое существо, на течение моего жития, на доброе делание, о котором я даже не ведаю до поры, но о котором уже и предсказано, что *«несоделанное мое видесте очи Твои, в книзе же Твоей и еще несодеянная написана Тебе суть»*. И все это, мною ныне произносимое, юрод печерский ясно видел во мне, но — поднял глаза на меня, оставив смерзшиеся свои куски, и смотрел достаточно долго и пристально, — так долго, что душа моя заскорузлая в побираниях, колядках и виршах утешных, щедро сдобренная горилкой-дуливкой, заворочалась в недоумении, а затем и в смущении в груди у меня, — ну не зря же каждый у нас тут в округе знает о Петре, что Божий он человек, — и пожалел я уже, что побеспокоил его никчемной просьбой своей о молитве, — и стало мне как-то холодно и неловко под недвижным и сокрушительном взглядом его. Я затоптался в снегу, начал развязывать торбину свою, дабы дать заботу рукам, — мотузок затянулся твердым заледенелым узлом и не поддавался замерзшим пальцам моим. Наконец, торба раскрылась, и среди уже задеревеневших кусков сего Рождества, среди крошек, отдельных листов, исписанных кривыми строчками виршей моих, и разного мусора — Боже, чего я только не ношу в своей нищенской торбе! — я

нащупал остатний шеляг заветный, коий в предстоящем моем бытии, по размышлении еще у еврея в шинке, равен стал целому состоянию, — вынул его и положив в черную от грязи ладонь юрода. Хоть и замерзла кожа морды моей, как кирза у вартового жолнера на сторожевой веже, и стала как бы чужая, я почувствовал ею, что старец отнял взгляд свой от меня. Он смотрел теперь на монету, изучая печатку, выдавленную на лицевой ее стороне. Затем опять посмотрел на меня — и бросил монетку мою прочь от себя.

Черная медь, мелкая, как чешуя днепровского сазана, поздним вечером, в темноте, никак не может блеснуть, хоть разорвись на куски, крутя перед носом даже монисто из шелягов этих, — но у меня таки блеснуло молнией в глазах, а в горле запеклось что-то горькое, будто вот сейчас я через горло с воплем заплачу, — и оборвалось сердце в глубокую и звонкую пустоту. Клятый юродивый!..

Метнулся я было, аки скимн рыкающий, в сугроб искать шеляг свой, да сразу и увяз в глубоком снегу, — без толку это... Вот кому-то из проходящих мимо посчастливится здесь, когда весной стает вся эта снежная дрянь!.. Но погреб-таки аз снег ладонями, пропуская обжигающее пушистое вещество между пальцев, — может, чудо сотворит Господь Бог в честь славного Рождества своего — и вернет мне мой шеляг заветный?.. А сам злился что было сил на этого юрода Петрю, — вот и делай после этого людям добро!.. А он уже и не смотрел на мои тщетные и пустые старания больше, — рассматривал свою милостыню, словно и не было меня в соседнем сугробе, будто бы и не из-за него сидел теперь я по пояс в снегу... Конечно, куски его — куда как интереснее, чем какой-то глупый бурсак, расчувствовавшийся от книжных воспоминаний и решивший принять посильное участие в упокоении жития одного из последних печерских подвижников... Теперь-то я понял, за что его бьют и гоняют по Киеву из-под храмов, как сидорову козу, — умеет, вражий старик, в самое больное место попасть хоть кому. Говаривали, что даже сам игумен Иеремия, молитвенник и постник смиренный, охаживал его подле брамы посохом по остову, забыв на время обеты монашеские, — и Иеремию смиренного довел своими проделками!

Совсем окоченел я в сугробе, — выдряпался наконец на утоптанное, а по лицу тут и слезы холодные потекли, — а я ведь и в классе под розгами не плакал ни в жизнь, кроме первого самого раза, — а тут на тебе... Отряхиваю снег с себя, в сторону Петри не смотрю даже, — я ведь и шеляг уже готов был простить этому Петре, лишь бы не слезиться здесь, под обителью, не позориться. А слезы — хоть что им не делай — текут и текут по щекам. А Петря знай на куски свои зырит с любовью. А потом и услышал я, что-то он там тихо бормочет себе в бороду, — прислушался и уразумел, что это мне он говорит нечто, вроде как утешает:

«Иди, хлопче, ось дам тебе половину просвирки...»

«Не надо...» — сказал я вроде как и голосом не своим. Я ему остатнего шеляга из добычи колядковой не пожалел, а он мне, вишь, половинку просвирки от души отрывает...

«Иди-иди, — говорит, — путь твой отсель не почался еще... А подкрепиться тебе надо, пожалуй...»

Дьяк наш Иуда, наставник класса грамматики, в хорошую минуту, когда не пьян был дуливкой и в духе расположения пребывал, поведал сообществу нашему, что Петря-юродивый прежде, лет двадцать назад, разговаривал больше, чем ныне, и много страшного набрехал на скончание века сего, по счету шестнадцатого от Рождества Христова, да не сбылось ничего, — вон ведь, всего седмь годочков осталось, а мы все еще небо коптим и по хуторам жнем в торбы прибыток как ни в чем не бывало, — а он ведь про кровь там какую-то пророчествовал, — Иуда так говорил, — что цельный Днепр составит количеством, горе и мор предрек на православной земле, брат на брата с пикой пойдет, и даже единый сын нашего главного князя Острожского станет папежником, — вот уж посмеялись мы вдоволь над теми пророчествами петриными лживыми, — да хоть и про того даже Януша Острожского, — кто старого князя не знает и кто не ведает о славном в веках тиснении им Библии в Остроге тщанием и трудами Ивана Фёдорова, московитского беглеца, в 1581 году по благословению дубенского игумена Иова, — с Библии той и началась наша русская книжность и знание божественных глаголов не токмо изустное, — да я и не запомнил доточно, что там дьяк Иуда про Петрю того говорил, — все брехня, каждому ясно... Только вот странно, что Петря, по слову Иуды, и вовсе замолк с той поры и почти перестал говорить, — и ныне мне, можно сказать, повезло: слышу глас божественный Петри, по которому так соскучились наши кияне, — вот завтра братии в бурсе поведаю, — да только, поди, и не поверят мне...

Если бы не шеляг еще...

Тем не менее ступил я к Петре шаг осторожный, опять ожидая подвоха, протянул руку к нему, и он положил мне в ладонь кусочек просвирки. Осенил я себя крестным знамением и слопал Петрин кусочек до крошки последней, хоть он и близко не стоил

моего битого шеляга и утешением был никаким.

«Вот и ладно, сынок, — сказал юрод мне, помигал в темное небо очами, словно видел там что-либо кроме тьмы, и вдруг продолжил, когда я уже и отчаялся что-либо услыхать от него: — А теперь, Арсентие, прямуй на Подол — там путь твой крестами уставлен...»

«Какими, отче, крестами?..» — спросил в удивлении я. Про Подол и спрашивать нечего было — каждый киянин знает, что там сияет во славе нетления и несгинения наша разудалая бурса, — а вот кресты к чему тут Петря присовокупил?..

Петря уже накрепко замолчал. Я стоял перед ним в ожидании и собрался уже уходить, как в горле юродивого засычало вдруг что-то, забулькало, — лицо исказилось гримасой, словно чья-то невидимая рука сжала изнутри лицевой остов его и вновь отпустила жестокую хватку, — нижняя челюсть отпала и глаза, озарившись на краткое мгновение неведомой силой, медленно затухали. Но я почувствовал лицом опаление некое.

Я попятился в страхе и оступился на скользком, не зная, что предпринять: то ли уносить ноги отсюда, то ли за допомогой бежать в монастырь, — верно, пробил последний час долгой жизни юродивого... Хотя, чем и как поможешь человеку от старости лет и от смерти? Пока я так колебался, Петря тем временем, распинаемый изнутри неведомой силой, еще что-то выхрипел и завалился на спину. Разлетелись по снегу куски его последней милостыни. Передать мной слышанное немыслимо: было там вроде как о ком-то *бегущем*, спасающемся от преследования, от погони... И снова хотел что-то сказать Петря мне, но выходила нелепица-нисенитница:

«Подол... И я... Я... В двадцать пятом колене, — когда все будет затоплено, что зришь ныне на низовых островах...»

Что за бред? При чем — острова?..

И тут он сказал мое фамильное прозвище:

«Осьмачка...»

И умер. Затих на сбитом снегу среди вывалившихся и разбросанных хлебных кусков.

Ну, други мои, если к этому часу и оставалось во мне что-то теплым в утробе моей, то враз похолодело и замерло. Это подобно было тому, как во сне падаешь с горы какой-нибудь камнем и перед самым ударом смертельным — вдруг просыпаешься в радости: та то только сон, Господи, слава Тебе!..

Потому что прозвища моего знать Петря не мог.

Может, я сейчас и проснусь, и все это привиделось мне от толикой усталости тела и брюха после обильного нашего разговения на хуторах и в шинке?..

Но пробуждения чаемого не наступало.

На ватных ногах, со звенящей и пустой головой на плечах я отошел с того места, прошел в браму и постучал в дверь каморки монаха-вратаря. Сказал ему, словно во сне, об умершем. Потом все смешалось, и я уже мало что соображал и понимал: мы шли с ним куда-то, потом выходили опять, уже с неким госпитальным монахом. Они вместе осматривали поверженного юродивого, что-то с ним делали, — я стоял отрешенно, и во мне затухающим эхом скрипел его голос, стучало б*и*лом в мозгу, не могущем собраться во единое целое, химерная и безумная эта цифирь: двадцать пятый... двадцать пятый... бегущий...

Петря был еще жив, — подошли другие чернецы, подхватили почти бездыханное тело его и понесли в госпитальный покой, где конали свои последние нескончаемые деньки трое столетних схимников. Они, невзирая на телесную немощь и скорбность духа, тоже приняли самое деятельное участие в Петре, которого знали с молодых своих лет, — когда Петрю начали соборовать, он очнулся при первом прикосновении ко лбу его кисточки со священным елеем, пришел в ясное и спокойное сознание, исповедовался в последний раз духовнику Лавры панотцу Никону Русину, принял Святые Дары во оставление прегрешений и в жизнь вечную и внятно попросил заупокойных молитв. Один из столетних начал по требнику читать отходную, а когда завершил, от юродивого осталось одно только мертвое тело.

Когда монахи начали снимать с того, что только что было юродивым Петрей, лохмотья и тяжелые цепи, проржавевшие от Петриной крови, чтобы обмыть и обрядить к погребению тело, я увидел, что плоть на плечах его была протерта веригами до серых трубчатых сосудов, до сухожилий, едва ли не до самых костей, — и в глазах у меня потемнело, — ничего не соображая уже, я выбрел из госпитального покоя наружу и присел на каменный столбик какой-то, стиснув ладонями горящую голову. Сквозь некий кровавый и сумеречный гул твердил об одном:

«Господи, упокой душу его, — он столько страдал по Тебе...»

Над Лаврой печерской уж распростерлась безмолвная и ясная ночь, принявшая в свои темные небесные тайные недра отлетевшую светлую птицу души юрода-старца.

Ничего и никого не было у него в этом мире живом, кроме любви. Но о любви — откуда мне ведомо? Откуда я — знаю? И он свершил путь свой по примеру древних отцов, о которых читал я в патериках, — и в пример нам, оставшимся до времени жить — по этой неизъяснимой любви...

Смерть юродивого не нарушила уставного строя жизни в монастыре, — в Успенском соборе возжигались свечи пред образами, и насельники готовились петь ночное бдение — первый час дня Собора Пресвятой Богородицы. Кроме этого, в Лавре совершались богослужения 3-го, 6-го и 9-го часов, а также вечерня и повечерие. То же свершалось в подземных церквях, где препроводили дни свои особо совершенные духом отшельники и затворники, по примеру древних духовных героев, ведомых нам по Печерскому патерику, времен Монамаха и его сыновей. В пещерные лаврские церковки и в катакомбы, разветвленные узкими ходами под всем Киевом, праздно шатающемуся мне, как и другим богомольцам-мирянам, путь был заказан.

Служба уже началась, пока я на каменном столбике морозил сидницу и прочухивался от всего, случившегося за минувший день Рождества. Оторвавшись наконец-то от седалища своего, я вошел в Успенский собор и остановился в дверях. Посполитых богомольцев почти не было здесь — трое козаков да несколько в черном старушек, коим по старости уже не спалось. Монахов же был полон храм.

Когда служба закончилась, игумен Иеремия прежде отпуста произнес краткое слово из подвижнических монахам наставлений преподобного отца девятого века еще Феодора Студийского, которое странным и непостижимым для меня образом перекликалось и со смертью юродивого, и с моими размыслительными упражнениями вечером на Днепре, и с тем потрясением, за которым последовало толикое опустошение, внутренняя выжженность, пережитыми мною с последних слов Петри:

«*Ни я, как я думаю, не напрасно тружусь, оглашая вас словом смирения моего, ни вы не всуе тратите время на слушание его. Но не все — тут; ибо, конечно, приидет время полного молчания. Не вечно жить нам, но мало елико-елико, как определил Бог, или я, или вы изыдем из жизни сей. Но искомое наше в том, чтобы исход отселе был с благими напутиями, с исполнением заповедей и с благоугождением Господу нашему Иисусу Христу...*»

Кратко слово и просто по видимости, — но жизни не хватит исповедовать его до конца.

После отпуста я вышел на паперть, в кромешную уже ночь. Майдан пред Успенским собором искрился бесчисленными холодными огоньками, — иней тончайший, осевший на снег, каждой гранью отбивал от тверди земной неверный и нереальный свет мелких небесных светил, удивительно и премудро созданных для неведомых целей Творцом. Мертвенно висела луна, подрумяненная розовым с краю, с неизменным, почти человеческим ликом своим. Снег скрипел под ногами исходящих из храма. Монахи возвращались в свое одиночество творить келейное правило и класть невидимые никому, кроме Бога, земные поклоны-метания, паломники — через браму — разбредались к своим странноприимцам в Печерске, спящем в глухом часе полуночи. Мне тоже следовало уходить — пробираться по Киеву к бурсе, к подслеповатой хатке господини Гапки, у коей квартировали мы всей нашей ватагой. Хлопчаки наши сейчас, поди, давят боками клопов и храпят от трудов своих праведных так, что солома на стрихе хаты торчком поднимается и шевелится, аки живая, при каждом хоровом слаженном вздохе. Господиня Гапка тоже, наверное, удоволена ныне: и ей перепало из принесенных кусков, да и шелягов за прожитие она получила сполна, как и договаривались еще осенью с ней... Мне стало внутренне легче, когда я вспомнил о бурсе и о юнаках, спочивающих праведно, — разве жизнь прекращалась со смертью какого-то юродивого старикана?.. На легких ногах, просящихся к дому, я сбежал с паперти, выскочил в браму, простившись наспех с вратарником, не вопросив у него о мертвом теле юродивого. Да и что спрашивать? Что?.. Жил и умер. Я случайно оказался свидетелем смерти его, — что же теперь? Да, знал его каждый, кто живет в этом городе славном святынями и древностью русской. Старухи почитали за святость его. Ходили к нему за советами. Рассказывали о чудотворениях, исцелениях по молитвам его... Но все это было, было и было... А жизнь, это бесконечное и не остановимое течение дней, продолжается токмо вперед, в будущину, — и прошлое в новых днях не имеет никакого значения, силы и смысла, — и я вот жив, и жить буду еще, и впереди столько меня ожидает!.. *«Никтоже возложь руку свою на рало и зря вспять, управлен есть в Царствии Божии»* — так сказано у Луки. Сие разумевай!..

Так звенело во мне колокольцем тихо и тонко, и снег поскрипывал радостно под ногами моими, что несли мое молодое и сильное школярское тело в призрачном свете спящего города — мимо изгородей и тынов, опушенных по верху снежной каймой, мимо затаившихся запертых храмов, мимо теплых обиталищ зде живущих и повсюду православных христиан. Город будто бы вымер или опустился на дно

океана земли, сохранив свои очертания и приметы, и никого не осталось здесь сущих, кроме припозднившегося меня, с моей странно нахлынувшей радостью жизни. Что мне здесь надобно? — вновь засквозила тревога. — Куда я спешу и зачем? Зачем я прожил этот долгий и нескончаемый день Рождества, увидел старца-юрода, был при том, как когтистая смерть зацепила за ребра его и поволокла в преисподнюю земли, а душа отлетела в *ирий*, в воздухи, — и после стоял на службе первого часа и слышал древнее наставление преподобного Феодора Студийского, верное и посейчас для любого живущего?.. Все это было, — и какой же силы нужен небесный разряд, или откровение, или же чудо, чтобы остался в душе моей загрубелой след навсегда — если и это, случившееся в день един, для меня есть ничто, — и радость какая-то гонит и гонит меня в прежнюю бурсацкую шкуру: зубоскалить и воровать, выдуривать кендюхи и пампушки у посполитых, под шумок из чулана тянуть кольцо чесночной колбасы, истекающее прозрачным соком от растворенного сала, вопить дурным гласом дурацкие вирши, сражаться до крови за лучший кусок и видеть в золотом праздничном сне кухоль пенного пива, а еще лучше — склянку горилки... Думал я о сем, братцы мои, и рисовал в шагах себе будущ*и*ну, — и какая там, к бесу, будущ*и*на, ежели понятно все и ныне же, — и в лучшем случае быть мне паном бакаляром в школе церковной в богатом селе и учить граматке по-славянски козацких отроков — и пороть самых разумных из них по голым сракам лозиной, как некогда пороли и меня для науки, чтобы были они яко все, разумом отнюдь не возносясь... А завтра — опять идти побираться в сторону недостижимого Кременчуга, откуда начинаются первые днепровские пороги, — и так всю седмицу Рождественскую, рекомую Святками, а потом — садиться снова на школярскую лаву, варнякать по-латине, зубрить вирши божественного Горация, угождать дьяку Иуде и попадаться ему же в проказах — и без устали волать под лозой: *рятуйте мене, православные, бо вже не можу од болю того!..*

Сколько этому быть?!..

И: *«вземши руку на рало...»* — как с этим?

Дьяк Иуда, может, бессмертен, как грецкие боги, и не умрет никогда, яко слава Александра Великого, — и мне тоже вечно учиться разуму в бурсе? — от бесконечности нескончаемой сей едина токмо тоска, но не радование. И будущ*и*на, зовомая «*жизнью*», так ныне чаемая из скудного моего настоящего, может статься не такой уж прекрасной, ибо сегодняшние заботы о насущном куске возмогут токмо усугубиться. А там серым туманом наползет иная забота: надо приискивать верную дружину, приискивать место злачне, место светло, работа о пропитательном хлебе насущном от утренней зари до вечерней... Де там будет Гораций с Вергилием — забуду я «Энеиду», забуду я все, читанное и усвоенное под дьяковой розгой на лаве наших общих школярских тортуров. Светлая в размышлении будущ*и*на сдавит и сотрет в сущую персть то малое, что отличает меня от кого-либо другого и дает право мне называться именем, быть самим собою, Арсенком Осьмачкой, бурсаком, пиворезом и миркачем, спудеем, слагателем корявых виршей о праздниках наших и сопутствующих оным утешениям, — и все это недалекими человеками называемо *«жизнью»*, и она, мол, *«научит»*... Только чему? — быть слизняком и ничтожеством, пресмыкаться пред можновладным, обирать без жалости слабого и вытрясать при некоей хлебной должности хабари-подношения, и — если *«жизнь»* выпадет посчастливее — набивать бедное свое брюхо до треска штанов, не зная, как по-другому пользовать свое милое счастье... И где там, где там молодое наше веселье, Гораций, вертепный ляльковый театр или византийские златоусты святые?.. Где там наши нынешние скудные дни и химерные побирания, отображающие в перелицованном нестрашном гротеске нашу убогую реальную жизнь в чаемой будущ*и*не, когда смеху и безоглядности места уже не найдется?

Будто спала с очей пелена, и увидел я на месте благообразных влекущих красот сатанинский оскал голого черепа. А город, который я перебредал в тишине сна и покоя к Подолу, был недвижим и вечен, — сверкал обманными и неверными холодными искрами инея, крепко спал под пологом снега и не ведал сомнений. О, тысячелетний наш Киев!.. Разве заметна тебе моя жизнь...

Усталость и изнеможение сковывали мое тело, и хотелось упасть в сугроб и раствориться в этой тишине ночи, зимы без остатка, и больше не жить, — но да что, что это со мной? — я просто устал...

От веселья и силы моих после первого и третьего часа молитвословий в Успенском соборе не осталось совсем ничего, когда я наконец-то дотащился до хаты, в которой на разные голоса, но все-таки слаженным хором, сопели, храпели, свистели, стонали, сонное бормотали и аки скимны рычали наши орлы-бурсаки, — я отворил дверь и очутился в спертом, кромешно-черном и как бы преисподнем пространстве земли, где само дыхание человеческое казалось чем-то чудесным, ибо непонятно было, чем тут еще можно дышать, — бурсаки п*о*котом и навалом, как порубленные татарами, лежали везде и повсюду, куда попадала моя слепая нога. Я осторожно ступал по откинутым в

сонной битве рукам, по вздувшимся и бурчащим от кусков животам, по богатырским плечам и даже по мордасам, — но ни единый из притомившихся в Рождество не проснулся, — что говорить, крепок сон праведника, хоть глаз ему гусиным пером выковыривай... Едва освободил малое местечко себе, отвалив в сторону чью-то тушу, — вот у нас хлопцы какие: не высвятились еще во священство, а спины уже поповские понаедали! — туша перевалилась на другой бок и придавила кого-то лежащего рядом, — послышался стон и матюк, перешедшие затем в ровный и сладостный храп.

Я сбросил свитку, устроил в головах торбу, чтоб не украли, снял валянки и примостился у теплой, как печка, спины обладателя мощных сих телес Пети Кухара. Слепил веки и вроде не спал, но ощущал, как в пусто-звенящей башке у меня билось-плескалось все то же, но несколько преображенное: сон — подобие смерти, о том еще Гомер в «Илиаде» неложно гексаметром медным звенел, — и ты отлетаешь от себя на какое-то время, узреешь долины и веси и будешь иным, нежели есть, — этот сон может стать жизнью, ежели то, что услышал, что уразумел и что видел ты в сей минувшей день, обретет для тебя смысл судьбоносный, — тебе даже не следует тужиться, дабы постичь глубокий смысл предопределения твоего, — достаточно Петри с тебя... Петри? — сквозь вязкий сонный туман я встрепенулся, хотя почти уже спал под эти ласковые, шелковые нашептывания, — при чем здесь юродивый? — и услышал как бы ответ — он ведь сказал: иди на Подолье, — ты разве не слышал?.. Иди на Подолье, Арсентие, иди — и оставь место сие, нагретое бурсацкой сидницей, — иди в мандры по белому свету, — ведь нужно идти до конца, ежели начал идти, — иди, Арсенко, иди, — ибо небесполезно, но в духе и в смысле глубоком, в страдании изъязвленной плоти провел чуть ли не век юродивый Петря, — и потому знал о тебе до пределов, тобою немыслимых и неразумеваемых до известного срока, — вонми последнему слову его как завету божественному...

Да... — уже во сне согласился я с этим странным и ни на что не похожим увещеванием, — иду... ухожу...

Поутру братия будила меня кулаками под ребра, а я все не мог отрешиться от прекрасного мира, в коем витал на легких крылах отдохновения. Когда же проснулся, даже не вспомнил, на чем отошел вчера в сон, — были какие-то голоса — ласковые, теплые, тихие... Но вспомнить мне не давали — отоспавшаяся и уже оголодавшая братия наша вопила и гоготала. Брешковский Иванко ступал гоголем круг меня, заводя химерный хоровод с матерным песнопением, подгоняя меня пробудиться окончательно: мы снова должны были отходить к хуторам с утешным своим. Петя Кухар сосредоточенно мял пальцами гулю на лбу, не понимая никак, почему она выросла за ночь, ежели ложился почивать без нее, — соборно мы порешили на том, что Кухар наш преобразуется из Кухара, как замечено еще в овидиевых «Метаморфозах», в нечто рогатое — дальше посмотрим — во что, ибо род его пока что неопределим.

Так и выбрались из хаты — с прибаутками, гоготом и толканиями друг друга в сугробы. На дворе было тихо, морозно. Краешек солнца краснел в просторах за Днепром, небо загустевало синевой, и в синеве этой слабо и угасающе все еще виднелись серебряные гвоздики звезд. Золотились в первых лучах шпили и кресты на обителях киевских.

В Печерске ударили к утрени.

И тут я вспомнил все, что произошло в день вчерашний, рождественский, и то, что услыхал ночью в тонком сне, когда отчасти разъяснились Петрины слова обо мне. Ну что же, подумал я с какой-то тихой покорностью (не она ли зовется в трактатах смирением?), — разве что-либо привнес я в это все от себя, от мудрствования лукавого и несовершенного? Нет. Но слышу некую силу, которая вот-вот подхватит жизнь мою малую и повлечет меня под привычным, понятным для каждого именем мандрованого дьяка прочь из Киева в неведомую мне до срока будущину, — оторвет от ватаги и бурсы, и отныне заживем мы поврозь... Грустно прощаться мне со шкурой бурсацкой, с разудалой ватагой нашей и легкостью юного образа нашего. Жалко...

Привычно скрипел снег под ногами. Кто-то что-то рассказывал, — но я уже не прислушивался к словесам, думая о своем. У склона Печерского решено было поворотить к Днепру и перейти по льду с нашего, Русского, на левый берег, Московский, — сохранились там еще в целости от побиральщиков наших хутора, куда не добрались противостоящие нам суетные ватаги из классов поэзии и богословия.

Я остановился, задержав рукою устремленного к бурсацкой поживе Брешковского:

«Иванко, я от вас ухожу...»

Остановились другие миркачи наши, окружили меня, загалдели наперебой. Я не стал им ничего объяснять, ибо и сам смутно еще понимал, как буду жить дальше. Мы обнялись с каждым из наших и троекратно расцеловались.

«Трудные грядут времена, — сказал в прощании Иванко Брешковский. — Вместе легче было бы их пережить... Может быть, передумаешь? Останешься с нами,

Арсенко?..»

Я качнул головой, поклонился им в пояс. Иванко вынул из торбы последний пенязь из вчерашней добычи и положил мне в ладонь — на дорогу. Увидимся ли мы еще с вами, други мои забубенные, споем ли утешного за доброй чаркой горилки в шинке? Я еще раз им поклонился и пошел в печерские улочки. Они стояли, глядя мне в след. Все-таки в наши юные годы разлука виделась нам временной, краткой, — и никто не ведал из нас, что больше мы уже не встретимся никогда.

С печерского склона я оглянулся назад — ватага пробиралась между торосов, старательно обходя полыньи. Они дошли уже до середины Днепра.

Картина 6. ОКРЕСТ БРАЦЛАВА, 1594

Борзые пана Григора Цурковского, самозабвенно гонявшие по первому снегу крупных линяющих русаков, добежав до закраины королевского леса, замешкались, закружились рыжим огнем близ березы-свечи. Пан Цурковский не мог уразуметь, что случилось с его вышколенными собаками, — издали было не разобрать ничего.

Два русака с прогрызенными загривками уже лежали у его забрызганных грязью сапог. Одна из борзых, именем Пани Кристина, в сей гон, почти у леса уже, настигла третьего зайца, но не вернулась к хозяину, а со сворой добежала до леса, и теперь, потеряв по пути полузадохшуюся добычу, заливисто-звонко впрядала свой лай в брех других.

Пан Цурковский в раздражении хлопнул по голенищу нагаем и выругался. Затем поднес к губам серебряный рожок и свистнул своим собайлам. Свора мгновенно остановилась и огненной змейкой потекла через поле к нему. Первую, подбежавшую к владычному сапогу, пан Цурковский вытянул нагаем по костистому хребту для науки. Прочих же просто попинал по бокам, но не сильно. Собак своих он любил и жалел. Не вернулась только одна — та самая Пани Кристина, любимица главная, — она стояла близ березы и смотрела в сторону хозяина, словно звала подойти. Прежде чем привычное раздражение разгорелось в пане Григоре, мощное, почти вещественное воспоминание обожгло внутреннее его зрение, — да, не напрасно любимой собаке он дал имя любимой некогда женщины, — и чудесным, мистическим образом шляхетный норов Кристины передался собаке... Пану Григору показалось на мгновение, что все это было уже, — именно так и в таком, — и этот чистый снег, и редкое, не до конца еще облетевшее золото листьев в королевском лесу, пятнающее темную стену его, — и все это было, — и под этой березой-свечой стояла в прощании навсегда та самая — настоящая — пани Кристина, обернувшаяся к молодому тогда пану Григору, — они расставались всего на несколько дней: панночка отъезжала с отцом, важным старым паном Лешеком Свентожицким в Брацлав на судовые рочки, где пан Лешек намеревался решить в свою пользу спор о том самом поле, на коем стоял ныне, спустя целую жизнь, постаревший пан Григор Цурковский, — то бишь отсудить поле это посредством богатых даров или неких посул пану старосте Струсю у Цурковского-старшего.

Они, Цурковские и Свентожицкие, были соседями довольно долгое время, — еще в отцовской юности пан Лешек с головорезами из степей наехал на маетность прежнего господаря и соседа, чье имя быстро за ненадобностью позабылось, и вырезал всех, кто жил в том шляхетском гнезде, дабы не судиться потом долго и праведно с прежним хозяином этой земли. Понятно, что вину перед брацлавским урядом той поры пан Лешек переложил на козаков, с которыми прибыл сюда: это они всех убили, пограбили дом и усадьбу и убыли незнамо куда... Да куда еще? — в Запорожье, куда же еще, откуда выдачи нет и не найти там никого невозможно — концы в воду... А он, пан Лешек, с парой верных гайдуков пытался спасти там кого-то, раны перевязывал умирающим и занявшийся пожар тушил... Ну, и по праву такого участия сочтено было старостой и воеводой о том, что пан Лешек Светожицкий имеет полное основание водвориться на месте том, от разбойников опустелом. Ну, старый Цурковский говорил сыну, что без подарка уряду дело не обошлось, — но это дело их не касалось. Под старость у пана Лешека силы тела иссякли, но появилась некая страсть к расширению земельных владений, — отчего-то он стал беспокоиться о том, что может от голоду и внезапной бедности умереть. Что там в голове такое сложилось у пана-соседа, но вот решил он, что от голода и от бедности спасти его может только это вот поле Цурковских. Потому и отправился он на судовые рочки в Брацлав, к пану Ежи-Юрасю Струсю, недавно водворившемуся на гродском староствe. Захватил с собой и пани Кристину, красавицу-дочь, — обновки купить в брацлавских крамницах и вообще на людей посмотреть. Старый Цурковский был на удивление спокоен тогда, хотя домочадцы, кроме пана Григора, взывали к отмщению за столь низкий и коварный поступок со стороны давнего и достопочтенного соседа. Мать удивлялась:

«Мечислав, но почему ты с владельческими бумагами не поедешь тоже на рочки?.. Чем пан Лешек сможет перебить грамоту короля Сигизмунда I Старого Ягеллона?»

Старик же только прятал в вислых усах своих некую печальную усмешку и говорил: «Лучше усилим молитвы к Пресвятой Деве Марии...»

Это кратко и горестно вспомнилось пану Цурковскому, когда он шагал через поле, которое таки осталось за ними и без участия отца в судовых рочках того давнего года, когда на престол Речи Посполитой только-только взошел король Стефан Баторий, сменив недолгого короля Генрика, любимого сына Екатерины Медичи, отбежавшего из Речи Посполитой в гонитве за французским престолом. Шел пан Цурковский к темнеющей полосе королевских угодий за заблудшей собакой, носящей столь сокровенное имя. Но не это в воспоминании было главным, ибо принадлежало событийной истории, а то, чего не уложить в ряд обычный и общий, ибо никогда и ни у кого, как казалось пану Цурковскому, такого не было, ибо сопряжение с возвышенным чувством, зрительным образом и ароматом старых шляхетских времен создало то, чего у него никому не отнять, — но, Боже мой, как странно, что так долго он не вспоминал этого сокровенного и прадавнего, — как сладко, трепетно, скользко звучал и струился шелк ее темно-фиолетового платья и как плескалось, покачивалось в его страстной горсти ее живое девичье тепло...

Нет, подумал пан Григор. Не нужно об этом. Это страшно, невыносимо и больно. Мне потребовалась целая жизнь, чтобы забыть...

И шагал по снежному полю решительными и злыми шагами — к рыжей статной борзой, сжимая в хрустящем неистовом кулаке свой нагай и уже предвкушая, как будет безжалостно сечь эту сучку Кристину за ослушание, за промедление, за потерю добычи, за все, что случилось когда-то давно, и за имя ее... Да, и за имя.

У него уже ничего не осталось от молодости — ни прошлого яркого солнца, ни дивного звучания красок и полутонов всего, что наполняло те дни, ни воспоминаний. Все как-то пожухло, иссякло, прошло. Ничего не осталось, кроме страсти к созерцанию и переживанию яростного собачьего гона по первому снегу новой зимы, когда холодный воздух так сладок и чист, что, кажется, вымывает из нутра его всю человеческую скверну и нечистоту. И он словно на краткое время преображается, выпрастывается из кокона повседневности и обыденных дней-близнецов. А прочее... Что в этой жизни, если ничего более не доставляет ему ни радости, ни упокоения?..

С того самого дня, когда пани Кристина уехала со старым паном Лешеком в Брацлав, мир лишился всех красок, стал черно-белым. Если не серым, ничтожным, ненужным, — и в этом мире предстояло влачить свою жизнь до конца.

И печаль уже была неуместной. Увы. Оставалась одна только ярость. И еще — ожидание первого снега и гона по этому снегу вышколенных борзых.

Это поле осталось за ними.

И ныне он охотится здесь.

Конечно, он не настоящий хозяин этой земли, — после смерти отца, пана Мечислава, он перестал засевать поле твердой пшеницей. Это не поле уже — пустошь. Единственное его назначение для неуклонно стареющего хозяина — псовая охота. Она стоила ему пани Кристины.

Подошел к собаке, рубанул ее нагаем. Она заскулила и преданно закрутилась под его сапогами. И тут пан Цурковский увидел человеческую руку, вывалившуюся из-за пятнистого березового ствола.

Замерзший или умерший от голода человек был достаточно молод. По обличью русин. Пан Цурковский подумал еще раздраженно: сколько нечисти шляется по нашей земле... Пусть сидит здесь и дальше — лесному зверью пойдет в пропитание...

Повернулся лицом к своему полю, кликнул собаку и пошел от березы, от леса. Но собака осталась сидеть подле трупа.

Боже мой, думал пан Цурковский, уже и в этом, столь долгожданном снеге и гоне собак нет забытья, как и нет совершенства. Ну откуда упало сюда это тело? Зачем?

И снова шел к Пани Кристине, упорно не отходящей от помершего холопа, — и не думал уже ни о чем — без злобы, без раздражения рубя ее по бокам нагаем, — день, столь ожидаемый и так предвкушаемый, был напрочь загублен. И не шляхетная сучка в том виновата — но этот померлый русин, потому что хоть и не стоит чужая жизнь ничего, хоть и навидался пан Григор подобного вдоволь — но этот день первого снега и гона должен был во всем пребывать обновленным и чистым. Принадлежать только ему.

Увы...

Сучка крутилась под ногами, оскаливая клыки, затем передние лапы ее подломились, и она на брюхе подползла к господарским испачканным сапогам. Он присел над ней, зарыл пальцы в холодную длинную шерсть, рыжую с белым, погладил вислоухую голову:

«Ну что тебе в нем, Пани Кристина?..» — спросил тихо.

Борзая смотрела на него почти человеческими глазами.

И снова окутывала его тонкая кисея печали по чему-то утраченному, давнему, чистому, — и как это обозначить, как осмыслить смертным веществом разума? Он понимал, что сокровенное его прошлое было не единичным в многообразной жизни тех лет, и добротная шляхетность их быта, благородных занятий, псовых охот, вечерних соседских визитов, провинциальных балов, званых обедов и даже войн, на которые и отец, и окрестная шляхта отправлялись как на большую охоту — с огромными обозами, с шатрами из драгоценной парчи, с прислугой, с шутами и бубнами, с ценным оружием, место коего было скорее на стенах парадных залов в маетках, чем на бранных полях, — все это прошлое, очищенное временем от дрянных наслоений, только по тусклому, старому блеску казалось нерушимым и прочным. Героическая эпоха королей Сигизимунда II Августа, а затем Стефана Батория... Славные войсковые походы. Победы. Трофеи. Пиры... Казалось, что прочего и не было вовсе, — только эта воинственная шляхетность и благородство прошлых людей... Виденное не однажды острым зрением детства и юности — все это засело глубоко и не вытравимо в пане Цурковском, — и когда умер отец, умер король Стефан Баторий, а до того — он лишился пани Кристины Свентожицкой, столь нераздельно слившейся с этой прошлой и навсегда утраченной блестящей шляхетностью, может быть, даже олицетворявшей ее истинность, глубину, настоящесть, — камень веры (или смысл жизни) треснул напополам, раскрошился кусками, распался в серый ничтожный прах. Значит, прошлое отнюдь не было вечным и нерушимым, как казалось отсюда, из этих надвинувшихся дней на него, — и у прошлого был свой конец. В меру бесславный... На первых порах пан Цурковский стремился сохранить хотя бы куски прошлого, — вот это поле, вот эта свора борзых, как тогда, и между ними красавица Пани Кристина, — и простой отцовский палаш над давно не разжигаемым камином захламленного дома, — вот и все, что осталось от самого духа прошедших времен.

Пан Цурковский обнял собаку, вдыхая терпкий запах разгоряченной псины, ощущая щекой шелковистость ее шерсти. Да, вот все, что осталось. Ибо ежели отнят дух, отнят и смысл, — и вещь, какой бы они ни была, становится недоразумением, залетевшим в новый строй понятий, событий и чаяний, что называемо уже новой эпохой. Прошлое остается в памяти только, — но и память смертна, конечна, ибо угасает еще при жизни наследника и умирает окончательно с ним вместе. Но ведь все это было так недавно, — и живы люди еще, при ком звенела мечами и золотом звонким славная эпоха короля Стефана, — жив староста Струсь, — да-да, тот самый брацлавский пан Ежи-Юрась, который так и не дождался, похоже, в те давние годы даров от старого Лешека Свентожицкого...

Сердце пана Цурковского ударило сильно в клетке груди и на мгновение замерло. Пальцы непроизвольно сжались в собачьей шерсти, и тут он ощутил, с какой мертвенной болью затекли ноги его, — нет, он не хотел и не будет думать об этом...

Зачерпнул горсть снега, тронул губами холодный и чистый белый пух родины. Затем разгреб снег ладонями до самой земли — вот она: обледеневшие, но все еще зеленые травы, былки, персть, зерна, белые семена неведомых растений... Эта земля со всем, что на ней есть, осталась за родом Цурковских.

Сколько же и *чего* стоишь ты, земля родины, рода?..

Ты стоишь любви. Опустошенных дней жизни. Ибо третьего — нет.

Он не думал о том, откуда и как взялась эта пустошь, записанная в брацлавских книгах гродских за родом Цурковских. Все было, в отличие от старого Свентожицкого, по закону и правде седой старовины. Дарована еще королем Сигизмундом I Старым из славного великокняжеского рода Ягеллонов еще во время Великого княжества Литовского, до Люблинской унии, за воинскую доблесть против давних мятежных козаков прадеду пана Цурковского. Их род всегда славился неустрашимостью. Он не знал, кто тут жил и возделывал эту землю до прадеда, — да это было неважно вполне. Семейное предание повествовало, что прадеду пришлось устроить здесь небольшую домовую войну и выжечь дотла несколько сел, прежде чем он утвердился в брацлавских пределах. В одном из сел была деревянная православная церковка — она тоже погибла в огне. Ныне никто из живущих не знает, где стояли те села, — все забыто. Прошло более полувека с тех пор. Земля принадлежит им, роду Цурковских, и род этот знатен вполне, уважаем. Да, они никогда не страшились смотреть смерти в глаза, не страшились врагов. И потому странными показались молодому пану Григору слова отца, когда старый Свентожицкий поехал отсуживать в Брацлав это поле: «Усилим молитвы...» Почему он не взял свой палаш и не кликнул гайдуков, дабы сразиться со старым соседом и другом и с его оршаком[1] в открытом, честном бою?..

Славная эпоха короля Стефана... Может, только отсюда, сливаясь в единую,

[1] Оршак — вооруженная свита, отряд наемных гайдуков.

блестящую дорогими доспехами массу, расцвеченную бунчуками, развевающимися тяжелыми хоругвями и знаменами, золотом шлемов и давленным серебром рыцарских панцырей, — зрится величие, слава ее, — и не долетает запах прогорклого дыма пожарищ, сырой, тошнотворный запах пролитой крови, не достигают слуха вопли раздираемых крючьями в клочья, стоны и молитвенные воздыхания израненных, забытых в кучах остывающих мертвецов, — ибо нет в небесах ветра такого, который мог бы проницать грани времен, — и потому из этого отдаления, в глубине своей очищенной годами памяти пан Цурковский мог видеть только среброкованные фаланги польского-литовского войска и изумрудно-зеленую, удивительного чистого цвета траву, сминаемую бесшумным, безгласным ветром той давнины...

Всего этого больше нет на земле.

Времена изменились, как изменились и люди, словно прошлому преломили хребет, — но никто, никто этого не замечает и не разумеет, кроме него, забытого Богом и забытого всеми людьми на этом заброшенном поле, — и люди живут, как жили допрежь: богатые богатеют, холопы работают от зари до зари, женщины рожают неутомимо детей. Татары наезжают за ясырем, козаки бунтуют, чумаки возят серую соль с Лимана... Все вроде по-старому — но что же деется с ним? Откуда эта тоска и печаль?.. Почему?.. Ведь некогда он тоже был счастлив, молод и весел...

Неяркое предзимнее солнце плыло в дымке небесной из прошлого в будущее, — высокие ветры, клочья небесного дыма, шорох примерзших к земле палых листьев, источающих едва уловимый дух прели и тления, и человек на кордоне королевского заповедного леса сливались в некоем воплощении мироздания во что-то щемящее, печальное и конечное, невыразимо прекрасное и обреченное на неминуемое исчезновение. Ибо еще в молодые годы пану Цурковскому явлено было будто бы ненароком, как непрочен сей по видимости устоявшийся чувственный мир и эпоха, звенящая в памяти именем покойного короля. Его эпоха, которой больше не повториться. О, Боже, — сжалось в груди у него, — зачем даровал Ты мне эту пронзительную, неистребимую любовь, — и почему, за какие провины мои, Ты не дал ей продлиться, осуществиться и принести некий плод?.. Порыв высокого ветра. Несущийся высоко клок облака-дыма. Только — проводить его взглядом. И забыть, вменить ни во что, как случайность. Но ведь я живу один только раз — и скоро уже не увижу этой земли родины моего сердца, — но с чем и как предстану пред всевидящим зраком Твоим, если я столь пуст и ничтожен? Что тебе будет до того, что я несу в жилах своих шляхетную древнюю кровь со времен династии Пястов, — ибо и те старые Пясты сотворены были Тобою, — а что еще есть во мне? Услышать ли мне тогда страшное, запечатленное в Апокалипсисе: *«Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою»*?.. Боже, вот каковой осталась она навсегда, ибо ушедших текучее и неверное время не в силах тронуть жесткой дланью своей: тяжелые волосы цвета тусклого золота, заколотые на затылке, серые прозрачные глаза в половину лица, высокий лоб, шляхетная стать, длинные тонкие пальцы, просвечивающие до костных суставов, когда ладонью она пыталась прикрыть светлячок теплого летнего солнца... В лице ее была некая мягкость, покойность, вневременность, — подобные лица он видел у плодоносящих женщин, — словно она знала, предчувствовала, что навсегда пребудет такой... Это и было ее неким преобразованным, метафизическим плодоношением — нетление в его памяти, пока пан Григор до срока пребудет в сих днях, месяцах и годах... Боже мой, по совершенству и чистоте она единственная достойна была пребыть в этом мире до скончания сущих времен — как икона, как статуя, высеченная великим Праксителем, — но вот — нет ее, как нет уже и великой прошлой эпохи короля Стефана, как нет и моей молодости и нет моей веры в целесообразность нашего мира, — и я сижу подле борзой, названной в ее память и честь, на одичалом поле своем, в первом снегу новой зимы...

Было так тихо и глухо в этом месте земли, как на дне заброшенного колодца, — и потому сердце пана Цурковского чуть вовсе не остановилось, когда рядом, под боком совсем раздался приглушенный вздох, голосом растворенный и превратившийся в стон. Пан Григор вскочил, — борзая заметалась подле него и подала голос. С противоположного конца поля снова понеслись в самовольном гоне собаки, — взлетела с отвратительным карканьем стая ворон с черных древесных ветвей, — и в глазах пана Цурковского закружилась и заметельшила округа. Усилием воли он подавил объявшее душу смятение, вытащил из-за голенища нагай и ступил за березу к мертвому человеку. Глаза у того были приоткрыты — пустые, смотрящие в запредельное, — изо рта едва различимо веялся легкий парок дыхания, еще не до конца оставившего это по видимости мертвое тело. Пан Цурковский наклонился над замерзшим русином, отвернул пальцем веко его, брезгливо похлопал слегка по щекам — русин застонал. Делать было нечего пану Григору, и он отстегнул от пояса серебряную походную фляжку, двинул слегка кулаком русина по скуле, устанавливая его непокорную голову

в нужное положение, и влил за зубы его несколько капель драгоценной выборовой горилки. Русин закашлялся, и взгляд его стал наполнятся осмысленностью.

Каждый жить хочет, — подумал пан Григор нечто необязательное, цедя стопку и себе самому. Выпил, занюхал рукавом охотничьего кунтуша и сплюнул в снег белой шипучей слюной. Заткнул фляжку, повесил обратно на пояс. И только потом спросил парня:

«Можешь идти?»

Тот ничего не ответил.

Как ни противен был он пану Цурковскому, однако новая неожиданная забота несколько его развлекла, — милосердствовать было приятно, как оказалось, да и мысли и неотчетливые чувствования, раскалывающие в куски его голову, отступили на время, — и он с напускным гневом разметывал сапогами своих бестолковых набежавших борзых, ругался *kurwica* и всеми производными гирляндами от этого ругательствами, которые узнал за всю жизнь, шмарал нагаем скулящую Пани Кристину, находя в этом некое оправдание предстоящему неприятному делу волочь русина отсюда. Потом поднял, как куль, этого парня из-под королевской березы, закинул руку его на шею себе и, продолжая ругаться *(«Wypierdalaj — oddal sie natychmiast w blizej nie okreslonym kierunku»* и прочая), тащил его по полю, оступаясь в неровности и кляня на чем свет свою свору и похеренную первую охоту на зайцев...

Дома свалил русина в сенях и кликнул служанку:

«Вот тебе, девка, жениха я нашел... Вышел на русаков, а приволок русина тебе... Приведи его в чувство живое и накорми чем-нибудь, — а потом я разберусь, кто он такой и что делал в королевском лесу».

И больше не было в нем раздражения, хотя потрудился он вдоволь, пока тащил этого холопа с отдаленного поля до самой усадьбы, — ныли с непривычки плечи, саднили руки, вызванивало от усталости в голове, — пан Григор ополоснул руки от грязи водой и, размышляя, чем скрасить усталость от неожиданного своего милосердия, спустился в подвал. Возжег свечку и увидел всегдашнюю пустоту и заброшенность своего рукотворного подземелья — широкие полки вдоль стен, покрытые претворенной в слой земли пылью, пустые стеклянные четверти, мохнатые от пыли, порожние бадейки, нечищеные котлы-казаны, которые браны были в давние походы под Смоленск еще при короле Стефане, а как походы те кончились, так и брошены здесь в непотребстве, ржавые цепи, невесть для чего свисающие со стен, и в дальнем углу — мусорная куча старых сломанных алебард с обглоданными мышвой держаками — сложили, дабы исправить, да так и забыли, — то ли было здесь в прежние времена?..

Постучал по бочке угорского, на слух пытаясь определить, сколько осталось в ней на питие и усладу, затем подставил кувшин, выбил пробку и нацедил золотистого цветом вина. Несколько капель упали на земляной пол, и, перебивая сырой дух запущенного подвала, поплыл тонкий, кисло-сладкий дух как бы овеществленного солнца.

Сколь многообразен мир, в котором живем, думал пан Григор Цурковский, поднимаясь по каменной лестнице к свету, вот ежели остаться мне навсегда в этом погребе — мир сузится до сей омерзительной темноты, провонявшей мышиным пометом, — выйти на свет, в мой праотеческий дом — и мир будет домом, и жизнь будет какой-то иной, нежели в погребе и в подвале. Хотя что есть моя жизнь — в доме с подвалом, или на поле, или в том же Брацлаве?.. Она есть достаточное ничто, — ибо, как говаривали древние, не место красит человека... Будь иным я по сути своей или по духу — я и в погребе затхлом своем, в коем нет доброго ничего, кроме допиваемой бочки с угорским, смог бы жить сотню лет в счастье и в радости, жизнью осмысленной, глубокой и сокровенной, — а нынешнему мне подай хоть все царства мира — обернешь ли за золото иль невиданной властью время вспять, станешь ли молодым и доверчивым, воскресишь ли Кристину?..

А если и воскресишь — что потом? Разве смерти больше не будет?..

С тем и сел на широкую лаву, покрытую старым арабским ковром, доставшимся еще молодому отцу, когда делили добычу после одного из походов на волохов, с тем наливал вино из кувшина в серебряную мятую с боков чашу, с полустертым славянским узором по краю, — и чашу сию знал он с младенческих лет, и помнил самого деда Януша с этой чашей в руках, — вино, выпитое из нее за все эти годы, составило бы целую реку, пожалуй, — и пил, едва не захлебываясь угорским, не различая оттенков вкуса его, топя меркнущий светлый образ ее, той самой пани Кристины, глядящей на него издалека...

Угорское только с виду было вполне золотистым, — и когда Мотря-служанка привела едва передвигавшего ноги русина, мир виделся пану Цурковскому кроваво-багровым уже — все качалось и плыло перед глазами. Он что-то хотел промолвить химерным фигурам, попавшим во взор, но язык упрямо отказывался складывать звуки в слова. Он махнул служанке рукой, и та, поклонившись господарю, будто провалилась

сквозь землю. Русин же остался стоять.

Вскоре помутнение разума несколько рассеялось, пан Григор поудобнее уселся на лаве, хмыкнул, утер усы тыльной стороной ладони и, запинаясь, грозно спросил:

«Kim jest?» — и значило слово сие: кто ты такой?

«Арсенко Осьмачка, мосце пане, — тихо ответил по-польски русин. — С хутора Клямка Миргородского повета...»

«Что я, все хутора ваши должен знать на земле?! — рассердился отчего-то пан Цурковский. — Клямкало ты еси, смерд, bydlo, cholera jasna!.. Кто такой ты есть — вор или нищий?..»

«Нищий», — ответил русин.

«Что, работать не хочешь? От податей законоположенных бегаешь по миру?.. Так мы быстро заставим работать тебя!.. — что-то не ладилось в речи пана Григора, и многотрудность извержения слов еще больше разозлила его. — Прочь, нечисть!.. — пан Цурковский нащупал слепою рукою чашу с остатками угорского и метнул в парня, — Kurwa-a-a-a-a! Гайдуки!.. Гайдуки!..» — кричал он последнее, валясь кулем с лавы.

На шум прибежала служанка. Пан недвижно лежал на полу — глаза его налились винной кровью, из горла исходил храп.

«Что случилось, Арсенко?» — спросила она.

«Он кликал своих гайдуков», — ответил русин.

«Господи, какие там гайдуки, — вздохнула она. — Давай подмогни мне перевалить его на кровать... Отец его был здесь моцным паном последним — у него и был свой оршак. А у этого... нет ничего — ни имения, ни жены, ни детей... Гонор только шляхетский остался и паном только зовется по имени».

Поверженный Бахусом потомок древнего рода мирно спал на кровати, напрудив, как в детстве, преображенным угорским в штаны, — может быть, детство и снилось ему, — сны его в настоящем стали зыбки, неотчетливы, черно-белы, словно сила, питающая жизнь каждого человека, устала пребывать в когдатошнем пане Цурковском и иссякла, оставляя его на произвол текущему дню. Снилось детство — а что было в том детстве? Для чего оно с ним приключилось, если ничего не исполнилось из тех обетований, предчувствий и знамений? И он опять был один, как тогда, в тех огромных до бесконечности днях зрелого подольского лета, когда большие переспелые яблоки с глухим стуком падали на землю его родины, великой в веках Речи Посполитой, и он сидел на крыльце, разряженный, словно кукла, в хрустящие брюссельские кружева, лежащие отложным веером на парчовом камзоле, а высокий отцовский гайдук сек до кровавых отметин пойманных в саду за кражей яблок селянских мальчишек, его ровесников, — с ними под страхом жестокого наказания ему было запрещено даже заговаривать, и у них уже тогда судьбы были вполне понятны и определенны, как понятна и определенна была для всех, и для него в том числе, судьба его собственная, — а потом перед старым паном Цурковским, перед дедом его, стояли на коленях их отцы в серых посконных рубахах, и дед, расчувствовавшись от витиеватой вразумительной речи к этим холопам-русинам, хлестал их для большего назидания плетью по головам и плечам, а они стояли, стояли — молча, покорно, смиренно, — как животные, для которых главное — просто выжить, и все... Да что это, Господи!.. Дело привычное, ибо век, в котором жили они, был во стократ страшнее.

В детстве он готовился жить и быть воином великой и беззаветно любимой Речи Посполитой — как некогда жили и служили Польше, еще до Люблинской унии, его предки, когда земли Польши разом учетверились за счет присоединенных восточных кресов Великого княжества Литовского и государство стало настоящей империей в контексте раздробленной Европы, погибающей в религиозных войнах всех со всеми. Эту землю получил наградой за храбрость и немилосердие ко врагу еще прадед. Так жили мужчины рода Цурковских со времен великой династии Пястов. Но что-то произошло и не только с ними, но и со всей молодой и видимо сильной державой — и сила стала иссякать постепенно, уходить, как вода, в глубокий и ненасытный песок, — и начало этой беды и приходилось, по всей видимости, как раз на его детство. Может быть, потому, что по-настоящему сильный никогда не поднимет руку на слабого? А если поднимет — то рука эта отсохнет?.. Да, дед и отец без пощады секли и обирали окрестных селян-посполитых... Ну а что тут такого? Они же — не совсем и люди, так кажется... Да... Но все-таки — кто знает об этом?.. Кто, кроме Бога?.. И если виновен в былом род Цурковских — то только ли в этом?..

Был ли то сон, приоткрывший полог с того, чего не уяснить трезвым разумом в обычном течении дня и привычном круге насущных забот; было ли то противоестественным действием коварного угорского Бахуса либо вызрело к этой ночи из опыта всей жизни пана Цурковского — понять было достаточно затруднительно, — и потому, проснувшись от некоей мысленной судороги, пан Григор обрел себя возлежащим в охотничьей экипировке, но без сапог, на собственной кровати в

собственном доме. Он пытался восстановить расторгнутую угорским вином цепь событий, приведших его к столь странному состоянию, воскресившему его малые детские шалости, и вспомнил того молодого русина из-под королевского леса.

«Мотря! — нарушил пан Григор покойную тишину запустелого дома. — Мотря! Kurwa-a-a-a-a!»

«Изволите рассолу испить?..» — откликнулась на излюбленное ругательство заспанная служанка.

«К бесу рассол твой! — разгневался отчего-то пан Цурковский. — Где тот лайдак, которого я привел на свою голову?»

«Спочивает, — ответила Мотря, — слабый он после смерти...»

«Dobrze, пусть спочивает до завтрева, — сжалился пан Цурковский, он только теперь понял, что на дворе стоит глубокая ночь, и сказал примирительно: — Ладно, давай уж рассолу — в голове все спеклось...»

Утром стоял подле окна и хмуро смотрел на густой, замутнивший свет дня снегопад. Какая ранняя осень в окончание этого странного года... Ему уже ничего не хотелось — ни охоты, ни яростного собачьего гона по девственной белизне, ни золотистого угорского. В душе зрела какая-то глубокая и всепрощающая печаль — и он уже ни о чем не жалел. Что делать, если столь изжито место сие, что нет ему покоя ни в чем? Что сам он не может понять, для чего и зачем явлен он высокими небесами из вневременного беспамятства некоего в этот смятенный и страшный мир, где по видимости и не было ничего, кроме зла и насилия? Впрочем, нет, он прав не совсем — было ведь что-то еще вроде света, ибо в адовой тьме ни он, ни кто-либо другой не смог бы прожить и мгновения... Да, этот видимый мир, сужденный ему, равнозначно делим на зло и добро, на уродство и красоту, — прекрасна и гармонична земля, велика и необозрима во все стороны света; чудно солнце, согревающее благостыней своей все живое и неживое на этой земле, — как удивительно соразмерно сотворено все сущее в этом мире!.. Зло же гнездится в падшем естестве человека, возрастает в страстях, взбухает смердящей пеной и выплескивается вовне, сжигая все окрест и сжигая самого человека, — так, по всей видимости, сотворяется история человечьего мира, — из великих грехопадений, великих глыб воплощенного зла, подминающих порой целые народы, — и никакого законного искупления нет, ибо и законы сотворены носящими зло, — никакой надежды на победу добра не остается единичному человеку, кроме упования на верховную и конечную справедливость Страшного Суда Божьего... Где ныне Нерон, — думал пан Григор Цурковский, глядя на большие снежные хлопья, тяжело падающие кусками на землю за тонким, давно не мытым стеклом. — Где — «сапожок»-Калигула? Разве неистовство в зле отменило их смерть? Не отменило, но, напротив, приблизило даже. Где сонмы иных палачей и мучителей, сплетшиеся в некий губительный терновый венец на челе вещной и видимой истории мира?..

Вместе с остаточной горечью от невозможности все это изменить или переверстать на свой лад, душа его погружалась в некий глубинный покой, разросшийся из горчичного зерна необыденных размышлений, — и пан Цурковский понял вдруг, что и в этом он не совсем прав, — ибо человек не всегда отменял злой своей волей божественную гармонию мира, — ведь история сохранила и добрые имена, уцелевшие от сатанинских погромов, — тот же Пракситель, Сократ и Эсхил, а после — Марк Аврелий и рядом во времени — апостолы и первомученики на окровавленном песке римских амфитеатров, — разве это вне истории, вне живущего сейчас человека?.. Все зависит от взгляда, избирающего себе по нутру либо цепь злодеяний, либо идеальное и совершенное умиротворение и любовь золотого века, коего, ко всеобщей печали, не воскресить... Но и то, другое представление о минувшем будет неверно, ибо никогда не бывало чистого цвета в той жизни, которая неостановимо течет. По устроению Божьему мир глубже, шире, сложнее и противоречивее, чем казалось даже великому мыслью Платону, — и никому не дано понять его до конца.

Значит — смириться. С молитвой *Te Deum* довериться Промыслу... Да... Думать о смерти...

Он отступил от окна, за которым по-прежнему белела и опускалась на землю новая зима его жизни, ступил вглубь комнаты и наткнулся взглядом на древнюю книжищу в истертом кожаном переплете со следами мелких мышиных зубов, лежащую на столе, — он раскопал ее третьего дня в кабинете отца в поиске нужных бумаг для начинающихся под брацлавскими стенами судовых рочек этого года. Из титула следовало, что издал ее почти сто лет назад венецианец Альдо Мануччи Старший, наименовав «Греческие послания». И это тоже — прошло без следа, — думал печально пан Григор, — какие-то безвестные греки когда-то и где-то писали письма друг другу — и у них тоже была своя жизнь: детство, отрочество, возмужание, старость — как у меня. Они зачем-то родились в сей свет. Что-то делали. Кого-то любили. И их больше нет. Не осталось даже могил, не осталось наследников, не осталось того, что делали

они своими руками, — ничего не осталось от них, кроме этих ненужных и смешных оттого писем, таких же мертвых, как и сочинители их... Развернул книжищу и прочел по-латыни первое, упавшее в глаз:

«*К Валерию.*

Никакой смерти нет, кроме как по видимости, и равно нет никакого рождения, кроме как по видимости, а причина в том, что поворот из бытия в природу почитается рождением, а из природы в бытие — соответственно смертью, однако же взаправду никто никогда не родится и не гибнет, но лишь становится прежде явным и после незримым — одно состояние происходит от сгущения вещества, второе от истончения бытия, а сущность всегда одна и та же, различаясь единственно движением и покоем...»

Это место будто бы для сегодняшнего дня пана Григора было отмечено отцовской рукой.

Шел снег. Текла, как малый талый ручей, его жизнь, и ему больше ничего не хотелось, кроме покоя и тишины. И потому, когда к полудню Мотря напомнила ему о вчерашнем русине и о какой-то невнятной просьбе его, он вяло махнул ей рукой:

«Приведи...»

«Ты почему еще здесь? — спросил у него пан Цурковский. — Решил перезимовать у меня?»

«Нет, мосце пане, — тихо ответил русин, — прошу разрешения вашего с миром отойти с сего места...»

«Иди с Богом...»

«Но прежде узнать мне хотелось: где, в каком месте обрели вы меня? Ибо на том месте рекомом лишилась торба моя...»

«Что в ней — жемчуга? — невесело пошутил пан Цурковский. — Мотря даст тебе что-нибудь похожее на твою торбу».

«Нет, пан превелебный, не заменит мне ваша торба торбы моей, ибо воистину словесные перлы сохранял я в письмовнике там...»

«Что за перлы такие?» — не понял пан Григор.

«Перлы многоразличные зело, кои, сколько ни трать их на хлеб и прожиток, не убывают, но имеют вид не вещественный, но иной.»

«Что-то ты, хлопче, слишком странно со мной разговариваешь, — пан Цурковский начал сердиться. — У тебя, видать, в голове что-то отмерзло и до сей поры не оттаяло. Батогов захотел?.. Отвечай, что за перлы таковые, да без книжности отвечай, ибо всыплю тебе по-простому, дабы не возносился душой своей низкой над шляхтичом урожденным!..»

«Przepraszam, пан перевелебный, — нарочитая книжность сия засорила мое естество в нашей киевской бурсе, — да и сыплется, яко горох, егда рот отворяю за чем-то иным, кроме как откусить от хлеба насущного, из головы неразумной, przepraszam ще раз, мосце пане, — а перлы те многоценные суть утешные вирши мои, кои распеваю для хлеба под селянскими хатами».

«Миркач?»

«Ваша правда, пан превелебный».

«Требуешь допомоги?»

«Нет. Спаси вас Бог за вчерашнюю милость, оказанную в окаянстве моего прошедшего дня...»

«Пустое, — сказал пан Цурковский. — Впрочем, ты о виршах нечто сказал?»

«Да».

«Сам ли слагаешь — или по-чужому поешь?»

«По-разному, — ответил Арсенко. — Ежели кто лучше сложил нечто утешное — пою по его, а так и самому нетрудно сложить».

«Ныне отойдешь в путь свой, — сказал пан Цурковский задумчиво, — и Брацлава тебе не миновать. Несколько времени тому староста тамошний Струсь выкликнул оповестку, что нужен ему для некоей потребы виршеслагатель искусный. Ежели сможешь ему в сем угодить — перебудешь наступную зиму безбедно в тепле. Напишу тебе, пожалуй, грамотку, чтобы в целости до Брацлава дошел... Мотря, принеси каламарь[1] да перо!»

С тем и отбыл Арсенко из усадьбы пана Цурковского. На краю королевского леса долго блуждал по снегу в поисках торбы своей, но ее не обрел. Ему жаль было письмовника, заполненного виршами утешными и разнообразными рисунками, — там и дьяк Иуда мордой, похожей на живую, присутствовал, и друг Иванко, и богатырь Петро Кухар, и как растянут на лаве школяр под розгой, — как все это ныне восстановить? — но пуще всего жаль ему было нескольких книжиц польского и

[1] *Каламарь* — род чернильницы.

славянского писем.

Длился новый день на земле. Холодное солнце стояло в зените предзимнего неба, хотя по счислению дней время осени не завершилось еще. Веял легкий ветрец, сминая снеговые языки и обнажая зеленую залубенелую землю. В глубине королевского леса с едва слышным звуком падали последние тяжелые листья, и жизнь, по видимости замирая, все-таки продолжалась.

* * *

Как-то странно и скоро сбылось то мимолетное предчувствие пана Цурковского, когда цедил в кувшин он угорское, дабы вознаградить себя за явленное в мире добро. Слабая и усталая мысль того дня первого снега и собачьего гона в свой срок припомнилась и поднялась в нем в ужасающей своей непреложности. Верно, заключена в человеке некая жизненная опара — мыслей ли, чувств ли, либо чего-то иного, неведомого и не называемого человеческим словом, — которая в конце бытия, о сроках коего неведомо ничего человеку, вызревает в нем неприметно, и выплескивается в разум какое-то слабое предчувствие, бледное видение, необязательная и вполне проходная мыслишка, дабы при реальном воплощении предчувствованного пред окончательным уходом из жизненной круговерти ослепить существо человека этим потаенным знанием, которое в нем пребывало, а он по суетливости не придавал ему никакого значения. Все это в свой срок с пронзительной и не утихающей болью вспомнилось пану Григору Цурковскому, когда мещане брацлавские, впустившие его в крепостные ворота как друга, соседа и доброго радника от окрестной шляхты, табором стоявшей на поле под стенами, внезапно схватили его и под наставленной в спину пикой привели к мятежному козацкому гетману. На обратном пути от гетмана какой-то плюгавый брацлавский мальчонка ткнул ему прямо в лицо пылающий смолоскип[1] — пан Григор скорчился от боли, белым огнем воспрянувшей в нем, и едва не упал, и не видел уже, как громадный козак в заляпанном грязью дорогом польском жупане ударом плети сшиб проказливого пащенка с ног и, поддав под ребра носком сапога, отшвырнул визжащего малого чуть ли не на середину майдана. На лице пана Цурковского взбухли серые водянистые пузыри, зачерненные следами дыма от факела, и он, шатаясь, шел туда, куда вел его провожатый козак, едва ли что-то соображая. Затем боль стала устойчивой и привычной, и сожженные, саднящие глаза его едва различали под какой-то белой стеной фигуры людей, и в сознании снова высветилось то, для чего был он послан сюда своими соседями — собором шляхты Брацлавской земли, стоящим большим табором в ожидании судовых рочек и старосты Струся в виду городских стен, и в одночасье, сквозь боль, позор и страшные пузыри, он понял, внутренне леденея, что жизнь его теперь кончена, завершена без остатка. Но осталось последнее, не исполненное им по закону чести шляхетской, и он сказал то, что должен был сказать им, стоящим в радости, смешанной с каким-то испугом и страхом пред неотвратимой расплатой, под чем-то белым, похожим на смерть:

«Люди, сограждане, — отрекитесь от бунта сего... Бунтовцы не изменят ничего в этом мире, ибо великая держава наша, Речь Посполитая...»

Козак, сопровождавший его, не дал ему завершить дело чести шляхетской: ударил кулаком по затылку, и пан Цурковский упал обожженным саднящим лицом на корку затоптанного тысячами ног снега.

Очнулся он от глухой, давящей тишины, и ему показалось, что глаза его вытекли от огня смолоскипа, — его окружала густая чернильная тьма. Он знал, что не умер еще, ибо ноющая и саднящая боль остается с телом, когда душа отделяется от него, и там уже, куда воспаряет она, физической боли больше уж нет. Его же боль — продолжалась, а значит, продолжалась и жизнь. Пан Григор поднес дрожащие пальцы к лицу и осторожно ощупал свои громадные пузыри — усы сгорели в огне, а то, что было на месте лица, определению не поддавалось — вздувшееся, распухшее мясо, липкое от сукровицы...

«Лайдаки! — гнев и ненависть во мгновение заполнили его душу. — Холопы!.. Ничего, Речь Посполитая поставит вас еще на колени!..»

И после, скорчившись на клоке вонючей соломы, трясся в бессильных слезах...

В этом мире, преображенном зимне снегами, по видимости все оставалось по-прежнему: сухо и властно бомкал в срок державный колокол старосты Струся на ратуше; присмиревшие в поборах и кредитовании и ныне как бы бескостные в многообразных угодливых поклонах евреи-орендари по утрам отпирали крамницы, торгуя мелкой всячиной, горилкой и пивом; совершались благодарственные молебны за приход в Брацлав козаков; в костеле на брацлавском майдане тоже совершались богослужения — величаво и воистину не от мира сего звучали под высокими сводами

[1] *Смолоскип* — вид факела.

органные переливы, и шляхетные дамы, приютившиеся здесь со своими детьми во избежание возможного насилия от диких и своевольных мятежников, молили Деву Марию об утишении бунта. Некоторые дома уже подверглись частичному разграблению, и каждую ночь через потаенные выходы те, кто мог и хотел оружно послужить Короне и государству, уходили в зимнюю степь, препоручая семьи свои покровительству все той же Пресвятой Девы.

Староста Ежи-Юрась, преступно обманутый мятежниками, что вдерлись в Брацлав так неожиданно, что он не успел даже поджечь фитиль главной мортиры и оказать бунтовцам хоть какое-то сопротивление, был лишен всех полномочий городской власти. Его выгнали из резиденции в замке, откуда открывался такой замечательный вид на Брацлав. Среброчеканные кубки его были расхищены, сентифолии-розы — растоптаны сапогами, батальные полотна на стенах со светлыми ликами победителей-королей исполосованы ножами и саблями. Наградное оружие от короля Сигизмунда... Эх, да что о том вспоминать!.. Верные люди успели вывезти Марысю и подростка Элжабету — и за то уже надо было благодарить Бога. Гетман Павло Наливайко, который водворился в резиденции старосты, только расспросил пана Ежи-Юрася о городском хозяйстве, о казне, о припасах, о сообщении с Варшавой, с Винницей, с Луцком и с Кременцем, и с городским воеводой Иваном-Янушем Збаражским, старостой кременецким, расспросил и о собирающейся под стены на судовые рочки шляхте окрестной. С тем и был староста Ежи-Юрась отпущен на все четыре стороны, сдав козакам связку ключей от комор. Но предварительно — староста едва не погиб, был ободран, раздет, изуродован и подвержен позорному осквернению. Пан Тадеуш Ковальчук дал бывшему старосте притулок близ кузни, и теперь пан Ежи-Юрась ютился, подобно холопу последнему, в некоей каморке, в которой стойко пахло прогорклым и тягостным духом перекаленного железа. За пределы кузни пана Тадеуша староста выходить без особой нужды не хотел: пусть уж Наливайко с клевретами думает, что пан Ежи-Юрась оставил свой город на произволяще. Да и потом: как он мог оставить свой город? Под стенами табором стоит шляхта в ожидании судовых рочек. Где-то под Кременцем или под Луцком — разрозненные отряды кварцяного войска уже встали на зимование. Рано или поздно до Збаражского дойдет весть о захваченном городе. Смута эта прейдет, как преходит все под небом земли, козаки в конце концов уберутся из города, оставив поруганным и разгромленным все, что только можно испоганить, — но ничего, ничего, — главное, чтобы до времени сохранилась его жизнь, а там он все наверстает и со всеми проблемами разберется. Посему — до срока — пан Ежи-Юрась маялся тоской и бездельем, слушая днями напролет звонкий перестук молотков кузни, где пан Ковальчук безмездно с утра до ночи со своими подмастерьями подковывал бахматых — низкорослых и выносливых запорожских коней. Сны его по ночам были тревожны, обрывисты, — часто в глухой тьме полуночи он вскакивал на жестком и узком ложе своем и не мог уяснить, где и зачем он находится, — и когда разум возвращался в тело его, в глазах закипали горькие слезы.

Да, — думал пан Ежи-Юрась, — все было недвижно и прочно, подобно стенам брацлавским, — и жизнь в городе тлела и двигалась невесть куда, как и должно ей двигаться. И был он в силе, в почете, в довольстве, — да, было, все это было... Полно, уж не сон ли некий привиделся старосте Струсю, — и есть он, по сути, вовсе не знатного рода-достоинства — но есть урожденный холоп, и вот уснул он после тяжкой земельной работы на поле, и привиделся под утро странный сон золотой, что жил он в достоинстве старосты столицы Подолья?.. И вот он скоро проснется — и не было ничего: омоет чело, съест миску сухой каши без масла и пойдет выгребать из стайни навоз... Он щупал тело свое в липком ужасе и испуге, щипал крепко за толстую кожу предплечий, — да нет же, он чувствует колкую боль, и значит, все это было с ним, — было и минуло?.. Да как бы не так!.. О чем там он думал, чем наслаждался, — тогда, до этих позора и ужаса, — о сентифолиях-розах, о славе невящей... Немо, леденяще, бездонно его настигало отчаяние, и он старался не думать, напрочь забыть о том, что было насущно и вещно вчера, ибо ничего, кроме саднящей боли и стыда за сегодняшнее его состояние воспоминания эти не приносили, — но сознание и разум уже неподвластны были ему, и ширились в раскрытых в полночь глазах недавние отблески его мерной и такой обманчиво-прочной жизни, коей уж нет, — и в многоцветье, в движении, в звуках колоколов и литавр воссоздавались из густой темноты ежегодные судовые рочки — блистательные смотрины окрестной шляхты, подвластной ему, где старосте не столь приходилось рассуживать и разбирать привычные горделивые притязания шляхтичей на рощи, балки, ручьи и холопов, сколь показывать полноту и безмерность власти своей и, конечно же, принимать богатые подношения в знак уважительный. Так сказать, посольские дары в брацлавском таком разумении. Да, все это было — а будет ли еще хоть однажды?.. Или ход фортуны его неумолим, непреложен и скор на расправу?.. Но в чем, в чем он прегрешил перед Богом и королем Сигизмундом?..

Падал на жесткое, узкое ложе пана Ковальчука, в затхлое нечистое тряпье, наваленное грудой на неровные доски, сжимал голову что было мочи ладонями и чуть ли не выл по-звериному от непреложно восстающей на него безысходности. Что делать? Что делать мне, Боже? — в отчаянии вспыхивало в мозгу. — Выбираться все-таки из города и бежать к тем, кто собрался на рочки? Но сколько их? Горсть или две? Что могут они совершить против этой козацкой навалы?.. Но тут же приходило и ясное упокоение: но разве он, староста Струсь, доверенное лицо короля Сигизмунда и варшавского сейма, столь одинок иль обречен? За ним в довременном покое и величественной блистательной непобедимости стоит великая Речь Посполитая... Польный гетман Станислав Жолкевский, воин отважный и славный еще со времен короля Стефана Батория, готовит уже — староста был в этом уверен — армаду коронного войска, которая, как пепел, сметет с лика польской державы своевольных мятежников... Да, пока что перевес на их стороне, — думал пан Ежи-Юрась, — они вдерлись в Брацлав умело и неожиданно, научившись сему на крымских аулах, когда ходили освобождать своих пленников. Мещане брацлавские, единые во временах мирных, в вооруженной смуте раскололись на две неравные половины, и схизматы, возглавленные значным мещанином Романом Титченком, да будет имя его проклято на веки веков, — со своим неумолкающими колоколами, отшатнулись от законной власти старосты Струся, преклонясь пред сатанинской волей мятежников. Теперь, размышляя над этим задним числом, пан Ежи-Юрась мог бы сказать на дознании в сейме, да и пред самим королем, о том, что было сему множество предзнаменований — но как часто обманывали они старосту Струся!.. И он — не внял этим явным знамениям... Да, он виноват. Виноват...

Так, боевая кобыла его чуть ли не взбесилась в конюшне, когда за пять дней до нашествия «иноплеменных» конюх засыпал ей меру овса, — ревела белугой, трощила дощатую загородку копытами, брыкалась, изувечила холопа, вырвав зубами щеку его... Это было, так сказать, — знамением явным — она по-своему чуяла бой, просилась в открытое поле за стены, рвалась к сече... Но староста пропустил это мимо разума своего.

Косвенные события и знамения после Покрова перед козацкой навалой были более сумрачны и загадочны, будто некие таинственны силы, приуготовленные Богом по грехам граждан Брацлава к свершению и сотрясению в городе державных основ, исподволь являли в текучем и привычном городском бытии свои неизъяснимые письмена.

Так, староста Струсь мог бы поведать на королевском дознании о мятеже и отдаче города в руки смутьянов, как за три дня до появления козаков под Брацлавом город был потрясен вестью о том, что подле одной из православных церквей во время совершения *«жертвы бескровной»*, сиречь литургии, распустилась верба, — граждане толпами ходили смотреть на нее, — так нарушилась, вспять обернулась природа, как бы нечто вещуя. Но что, что — предвещало все это? Пан Ежи-Юрась тоже видел серебристые мохнатые буруньки на той вербе (пропади она пропадом!) — распорядился сломить ему веточку для разбирательства и уличения схизматов в подлоге, крутил и вертел ее перед глазами, отщипывал светлые ворсинки мягкой буруньки, но так и не понял, что произошло с этим деревом, — он отчетливо запомнил и в памяти удержал до сего, что в тот день (чуда и знамения, как утверждали прихожане той церкви) брацлавскую землю сокрушил страшный трескучий мороз, невиданный об этой поре, — и верба цвела...

Старосте казалось теперь, что он правильно рассудил, приказав спилить это дерево, не в срок празднующее весну, дабы пресечь разные суеверные толки. Русское духовенство противилось старосте, но он ничтоже сумняшеся пригрозил тем попам батогами и унией с папой Климентом, и они отступились — только бы в схизме своей помереть, со своими проклятыми патриархами османскими, — невесело усмехнулся пан Ежи-Юрась. Однако старосте донесли, что во всех храмах, сколько их было в Брацлаве, отслужили по этой причине благодарственные молебны. Ну, их хлебом не корми, этих русинов, — дай только помолиться...

В тот же день, ставший проклятием для него и позором, он проснулся, как водится, под державный бой с ратуши, и утро это ничем не отличалось от бесчисленных прочих, встреченных им в высоком достоинстве должности городского главы. На душе у него опять было сумрачно (и это тоже сегодня разумелось как предвестие бед, обрушившихся на него после), и он сидел в своей огромной помпезной столовой, стены которой украшали потемневшие портреты родовитых дворян (увы, не Струсей), творцов Люблинской унии и сподвижников других государственных начинаний короля Сигизмунда II Августа и Сигизмунда I Старого, сидел в ледяном одиночестве за длинным дубовым столом, уставленным серебряными судками и затейливыми бутылями, жевал холодное мясо, приправленное изысканной тонкой подливой, но вкуса не ощущал никакого. Многосложное ароматное вино, которым он запивал

снедь, хотя и доставлено было из солнечных французских апелласьонов и встало не в единую сотню коп грошей литовских, ныне утратило свой вкус и цвет и казалось пану Ежи-Юрасю дрянной орендарской бурдой, которой это лукавое иудейское племя травит, как тараканов, дураков-посполитых.

В это утро все раздражало старосту Струся, — он накричал на безмолвных, застывших изваяниями слуг, приказал выпороть повара за загубленную подливу, хотя подлива была в точности и в пропорции приготовлена по старинным французским рецептам из плененных некогда в одном из замков фолиантов при усмирении давнего шляхетского рокоша[1], — ему хотелось на ком-нибудь выместить утреннее свое и по видимости беспричинное раздражение, — когда повара пороли на заднем дворе и он вопил благим матом, вопли его опять-таки раздражали чувствительную натуру пана Ежи-Юрася, и, дабы быть справедливым во всем, к чему имели касательство руки его и душа, он приказал так же выпороть и тех, кто выпорол повара.

После завтрака прошел в кабинет, но душа его сегодня не лежала к занятиям, — тупо и бессмысленно перекладывал с места на место матово-кремовые грамоты, испещренные затейливой каллиграфией и скрепленные тяжелыми королевскими печатями красного воска, бездумно, не вникая в слова, читал чьи-то прошения и ходатайства, — кто мог подумать, что спустя один только день все это станет хламом, коим козаки будут разжигать для тепла его голландские печи?.. — забавлялся золотым ножичком (и ножичек тот будет украден), опять же бездумно, бесцельно листал тяжелые страницы огромного тома свода законов, читал по строчке-другой те места, на которые падал досужий взгляд, и от выхваченных с этих страниц законнических латинских словес абсурд и бессмысленность этого дня еще более усугублялись. Так, для себя неожиданно, он принялся думать о составителях и списателях сего свода, об их жизни вне этого занятия, о женщинах, которых любили они в своей исчезнувшей и затерявшейся в истории жизни, об их повседневных занятиях, — но что ему было за дело до всего этого? До этих людей? Ведь свод сей, внушительно стоящий на полке библиотеки и тускло поблескивающий золотым тиснением массивного корешка, составлен и переписан в Варшаве еще при короле Сигизмунде Августе, и тех людей давно уже нет на земле, — и нет их возлюбленных, — истлели шелка и кружева их нарядов в склепах фамильных, — и, кроме громадной книжищи этой, нет никакого больше следа их пребывания, жизни, делания и любви на земле Речи Посполитой... И он думает вяло о них... И это — все? Это — итог?

И сегодняшней ночью, бессонной и маетной, близ кузни пана Тадеуша Ковальчука, в гнилом тряпье, под шорох мышей, он снова думал о тех самых людях, чей единственный след на этой земле истопили козаки в печах его дома, обогревая своего мятежного гетмана. Вот он, смысл и назначение жизни, — думал пан Ежи-Юрась, — чего я не мог уяснить для себя в те дни, когда все было по-старому. И зрела в груди у него горячая, со слезами, молитва: Боже, спаси меня от забвения, когда я умру, — пусть хоть что-то малое и неважное останется от меня в этом громокипящем смутами времени, чтобы имя мое не прешло, не затерялось в беспамятстве будущ*и*ны — как ратуша, как... что еще?.. Но в тот поминаемый день не было в нем такого прошения, ибо и пребывал он иным. Так что же, — думал пан Ежи-Юрась, — для достижения этих вот слез — потаенных и внутренних, для достижения этой вот глубины взывания к небу и не милосердному Вседержителю, — и нужно было таковое падение на самое дно текучего бытия, в эту смрадную яму позора и ужаса? Ради этих вот слез, источаемых скудно и не смиренно душой?..

И все-таки тень такого близкого и неотвратимого будущего, как оказалось невдолге совсем, — будущего, принесшего беды, — подспудно отразилась в старосте Струсе — неявно, тихо, обманчиво, — и день, последний день его видимого покоя, как выяснилось уже скоро, казался разве что несчастливым, и только, — он позвонил в серебро колокольца, отодвинув судки и недопитый бокал с бургундским вином и приказал привести пред ясны очи свои того мандрованого дьяка из русинов, пришедшего третьего дня из владений пана Григора Цурковского. Он прибыл с запиской от этого разоренного шляхтича, и потому пан Ежи-Юрась не заключил его, сочтя за бродягу, в подземелье под ратушей для дознания, а дал притулок ему в своем доме вместе с прислугой.

Признаться, староста не поверил, что этот замызганный и непревелебный русин способен на какое-то достойное дело, как указывал на то пан Григор Цурковский, — тем паче, что речь шла о божественном даре глагола и рифмы, пред коими староста преклонял свою большую и многомудрую главу, серебрящуюся коротко стриженными волосами, — пробежав взглядом еще раз бумагу Цурковского, он пристально и тяжело

[1] Rokosz (*рокош, восстание*) — старинное право шляхтичей законно взбунтоваться против неправильных — по их убеждению — решений короля и оружно отстаивать свои интересы.

посмотрел на подателя:

«Значит, виршетворец ты есть?»

«Вирши слагать я умею, — ответил русин, — но мню, не затем в свет сей родился...»

«Мнишь, говоришь, — ухмыльнулся пан Ежи-Юрась. — Ну мни и дальше себе... Хоть ты и гордец, как я понимаю, ну да ладно уже, продолжай...»

«Однако не знаю пока — для чего... — должно быть, русин долго не разговаривал с живыми людьми, — подумал пан Ежи-Юрась, — и теперь, как из дырявого мешка, посыпался из него этот словесный горох, — русин же вел дальше затейливое свое: — С тем и хожу по земле, дабы что-то понять. Вижу злобу и ненависть некоторых человеков, забывших о смерти и мнящих себя в жизни сей бесконечными и безгрешными, аки Творец. Вижу добро и милосердие в инших, и боголюбие, и страннолюбие, и даже праведность... Зрел разное аз...»

«Хватит. Довольно уже, — остановил это непотребное извержение староста Струсь. — Мутит уже от твоих никчемных словес. Оставь их себе. Расскажешь другим, кто захочет слушать тебя. Мне нужен даровитый в красном виршевании человек, коий превзошел бы Симона Пекалида острожского, Павла Русина из Кросна, Севастиана Кленовича и всех других инших, что были здесь некогда знамениты между людьми...»

«Возможно ли? — усомнился миркач. — Эти поэты — воистину призваны Господом были на красное слово, — а кто есть мы, шутники-бурсаки, — мы же только играем, притворяемся, выворачиваем мысленный тулуп наизнанку, напяливаем на морду машкару и валяем дурака под селянскими хатами, волаем дикими голосами за кусок паляницы... Разве можно нас поставить на доску едину хоть с тем же Павлом Русином из Кросна, великим виршеслагателем и слушателем божественных глаголов? Возможно ли превозмочь свое естество?..»

«Возможно, — медленно и раздельно ответил на это пан Ежи-Юрась, — если хочешь чего-то от жизни — помимо куска паляницы и куска колбасы. Часто человек и сам не знает того, на что он способен. Ну, братец, зачни что-то для знакомства, — то, что сам сочинил, я же послушаю...»

Как ни странно, разговор с миркачем немного развеял утреннюю хмарь в душе пана Ежи-Юрася, и день, не успевший начаться, уже не казался ему загубленным на корню.

Ровным, бесцветным голосом русин начал проговаривать-петь нечто невразумительно-дикое, как это обычно у холопов и бывает, от чего глаза у старосты полезли было на лоб, но он усилием воли удержал в себе закипающее негодование и раздражение на эту несусветную брыдню голодного брюха и раззявленного на все съедобное ненасытного хлебала, — это так их там, в киевской бурсе, учат — сему?.. — изумился староста. — Да разогнать их по белу свету к чертовой матери, отправить на ланы косить и вязать, — Боже, почто терпишь Ты эту накипь в Речи Посполитой? Но староста все-таки удержался в гневе и в праведном своем раздражении, ибо не самый смысл износимого важен был ему ныне, но — мера способности и свободы этого бурсака обращаться с невещественным словом. И потому он молча, гася первую волну чувств своих, слушал эту странную речитативную песнь, и вскоре, как ни странно, раздражение его угасло само по себе, и, к вящему его собственному изумлению, в какой-то момент он даже нашел, что слушает миркача даже уже с интересом, — и даже единожды притопнул в ритм выпеваемому. Староста мельком подумал, что это снова, наверное, в нем говорит черная, русинская кровь, унаследованная от деда Якуба и отца Станислава, — да, можно веру переменить, дух свой преобразовать в достойнейшее, но телесное вещество, но влагу, что струится в жилах твоих, — как это переменить и куда от этого деться?.. Но слушал дальше, не успев своим умершим попенять:

Привандрував я до міста Козина,
Аж там школа пирогами накривана.
А почав дощ на мене сметяний іти,
А я, неборак, почав рот підкладати.
Аж зараз почав іти і пироговий град,
І тій пригоді барзо був рад.
Там-то, панове, місто снігу бринза, як сніг, з міха ся сиплеть,
А з-межи неї масло пластрами ся ринеть.
Там-то доми з самих сал муровані,
А лоєм, замість вапна, шмаровані,
Книшами, пирогами побиті,
А паляницями зверху накриті.
Двері з полтів, а ковбаси до неї защіпки,
А вмісто колодок — пшеничнії галушки.
Там душа моя прагне, там я іти маю,

Допоможи, Боже, о що я гадаю,
Бо ви, господиньки, на нас не барзо ласкаві.
Не даєте нам хліба, ані жадної страви.
Але ви, панове мужеве, ліпший на нас респект майте,
Коли прийде нищий, хліба і страви давайте...

Когда русин закончил свой вой, старосте зачесалось вынуть пару шелягов и положить в ладонь миркачу, но он не стал, разумеется, этого делать, ибо мог иначе ему отплатить, и сказал:

«Добро. После этого, значит, посполитые одаривают хлебом тебя?»

«Так, пан превелебный».

«И чарку, бывает, подносят?»

«И чарку», — ответил русин.

«Так как, бишь, имя твое?»

«Козацкий сын Арсенко Осьмачка».

«Добро, Арсенко, добро... — раздумчиво молвил староста Струсь. — Занимательно, да, кныши, пироги... Других интересов нет в вашей бурсе? Богословие, святые отцы...»

«Та все есть, мосцепану, и отцы святые, и все прочее, но токмо бурсак завсегда голоден по неизвестным причинам, и тому аки бродячий пес посему возвращается на блевотину свою: на кныши и пампушки, — пробачте за цитату из Святого письма...»

«Одно только плохо: сложено это по-русски...»

«Так что же в этом плохого, пан превелебный? Маем великий и от древности знатный язык, на коем летописцы первые летописи на киевских кручах писали и коим славные русские воины меж собой говорили...»

«Говорили! Писали! — нахмурился староста Струсь. — Это было давно, — и язык ваш вполне особачился с той поры, как, впрочем, и вы сами, русины! Ни вам, ни вашему подлому языку не наследовать будущ*и*ны наступных веков!»

«Przepraszam пана, но вольно ли нам ведать о сем?» — тихо сказал Арсенко.

«Молчи, psia krew! — рассердился на это староста Струсь. — Разве не знаешь, как ваше русское панство теперь католичится и цурается розмовлять на своем языке? Через одно-два поколения изглажена будет ваша речь из мира сего!»

«Да, пан превелебный, все то ведомо мне... Но горя в том мало, что панство наше природное выкрещивается в ляхов, — ибо народ остается все таким же безмерным, несчитанным и великим, — и от того, что горстка верхних наших панов наносит вред своим душам, народ не убудет, но токмо очистится и укрепится... Да что говорить...»

«Да, лучше уж замолчи. Закончим бессмысленный разговор, — ведь не для того я призвал тебя и не для того дал тебе кусок хлеба, корчагу воды и притулок под лестницей. Дело тут вот в чем: жизнь моя почти что закончилась, и много чего было в ней. Не счесть малых войн, обороны кордонов здесь полуденных от турка-татарина, вот град какой мною управляем многие годы — столица Подолья, ратушу выстроил я во славу державы нашей, — тем горжусь я по праву...»

Бурсак слушал молча.

«Но вот в чем некая странность, — продолжал пан Ежи-Юрась, — может быть, уже нечто возрастное настигло меня — какое-то странное чувство вроде печали, не знаю, как и сказать, — чувство, что все преходяще, конечно, уходит водою в песок, — все, что ни делал — даже ратуша эта, — все бренно и все будет забыто... Что можно, по-твоему, этому противопоставить?..»

«Ну, может, еще одну ратушу вам возвести, пан Ежи-Юрась, или церковь поставить в честь покровителя вашего Георгия Победоносца?..»

«Все не то... — сказал староста. — Вспомнил я тут о Троянской войне. Ну вот кто бы ведал о ней, — и где эта Троя? — если бы не Гомер и не дар глагола его, воплощенный в гексаметре и сохранивший память о том? Вот, кажется мне, что потребно для того, чтобы упорядочить время, прошедшее, но все еще тлеющее углями, в нечто стройное и завершенное. Но если промедлить, то эти угли погаснут, остынут и рассыплются в прах. Память людская подобна пару, росе, которая высыхает с первыми лучами рассвета нового дня. Разумеешь ли, что мне от тебя нужно?»

«Догадываюсь, пан Ежи-Юрась. Я мог бы попробовать нечто такое соорудить... Но мне для того потребуется тихий угол, теплая печка и время какое-то жизни, — ну хотя бы перезимовать здесь под вашим многомудрым водительством и покоем, — ну и самое главное, без чего не начать, не продолжить и не закончить, — какая-то крохотка о вас, вашем роде, ваших предках, воссиявших благородством и справедливостью на наших всходних кресах Руси-Украины...»

«Все это будет тебе. Ну а пока ступай на кухню, там тебя кашей накормят. А потом, дней через несколько, призову тебя и дашь ответ, что ты придумал: шо оно и как».

Но у миркача не ладилось ничего: ел даром кашу, жег лучину ночами, корябал что-то

в письмовнике, а когда староста Струсь вновь призвал его пред ясны очи свои, он тупо молчал, уставившись в пол. Пану Ежи-Юрасю показалось, что понапрасну он призвал этого бурсака к столь важному делу и открыл ему потаенные схроны души. Следовало ему, по всей видимости, не ожидать озарения от чужака, а самому определить некое русло овеществленного памятования, — и тут вспомнил он, как в молодости читал «Энеиду», и подумал: а чем это не канва повествования? И сказал:

«Раз ты так неповоротлив в разумении и можешь слагать виршованную брыдню только про колбасу, то вот что скажу: ты же в бурсе киевской «Энеиду» читал, так что тут думать особо: пиши со старанием по лекалу тому, и когда завершишь труд, то может статься, что всяк сущий язык назовет тебя новым Вергилием...»

«Кто же будет в ней вместо Энея?»

«Я, — твердо сказал староста Струсь. — Ныне даю тебе еще три дня, — покажешь зачин...»

«Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris...»[1] — произнес Арсенко, задумчиво глядя в окно.

«Иди же», — сказал пан Ежи-Юрась.

Ныне же, призвав миркача через слуг, сидя в венецийском кресле с высоченной резной спинкой черного дерева, поигрывая в пальцах изысканным золотым ножичком, он не склонен был вдаваться в пустые разговоры с этим холопом, — миркач не стоил того. Староста знал, что ныне Арсенко ляжет под батоги и после покарания отправится в нескольконное заточение под ратушу городскую — на хлеб и на воду. Ну а как еще стяжать вдохновения муз, если не так? Глядя в его бледное молодое лицо с легкими тенями под потускневшими глазами, староста думал о том, что прикажет поставить ему в подземелье стол с горкой грубой бумаги, на которой ведутся памятные записи в Книге гродской брацлавской, каламарь и бутыль чернила *atramentum*, для письма потребного, а также пук лучины и поставец, дабы мог сочинительствовать... Пусть думает и старается, пусть... Мешать ему не будет никто, кроме крыс...

И сказал:

«Ну, чем порадуешь?..»

«Нечем мне радовать, — тихо ответил Арсенко. — Не забыта Vulgata[2], но пуста к сему голова, — и отнято слово... Przepraszam pana...»

«Ты сколько дней уже жрал за оба уха мой хлеб? — сказал староста Струсь. — Пил мой узвар[3]. И тебе нечего сказать господарю своему?..»

«Един Господарь у меня», — ответствовал Арсенко, будто не видя, как лицо старосты багровеет от гнева.

«Нет, — просычал пан Ежи-Юрась, — ты мало жил еще в этом мире, собака, psia krew, — брошенный золотой ножичек тускло звякнул на стол и следом о столешницу грянул старостин кулак. — Последний раз вопрошаю тебя: будешь ли радовать господаря своего и сиропитателя или с жизнью простишься навек?!!»

«Буду», — помертвевшими губами прошелестел Арсенко.

«Ну-у?..» — нукнул староста грозно.

«Я... я...» — мямлил Арсенко.

«Что, растерял дар свой никчемный, лайдак?!.. Что разъякался? Радуй, засранец, старосту своего!..»

«Я название к «Энеиде» рекомой придумал...» — справился с собою Арсенко.

«Что же молчал до сих пор? Каково же название то?..»

«Струсиада...» — ответил русин.

Признаться, пан Ежи-Юрась не знал, как ему быть — покарать ли хлопчака батогами вдвойне либо, напротив, нацедить ему чарку выборовой за разум. Староста хмыкнул и снова взялся за ножичек свой, помолчал какое-то время, крякнул и сказал как бы себе самому:

«Конечно, пока что слух несколько утруждает, — но это, как разумею, от беспривычки... Ухо притерпится, и, верно, будет даже неплохо весьма... Стр... Стр... Как ты, братец, сказал?..»

«Струсиада, мосце пане...»

«Н-да.. Ну, да быть по сему, — как ты хотел, так и назвал, — не могу стеснять волю творца-демиурга...»

В душе старосты затеплилось нечто светлое и забытое за давностью дней, очень острое, терпкое и вместе с тем благоуханное, — он весьма удивился не столько этому ласковому теплу, осветившему загрубелую в многоразличных заботах по старосту душу его, сколько тому, что тепло это оказалось знакомо ему, и было, — да, было в

[1] «Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои...» (лат.) — начало «Энеиды» Вергилия.
[2] Vulgata (*вульгата*) — бытовая латинская речь и письмо, употребляющиеся до сих пор.
[3] Узвар — компот, фруктовое сладкое варево.

нем некогда, — и мгновенно из некоей пустой бездны его встало ослепительное и невероятное нечто, — а он и забыл, поди ж ты, — выпавшее на его долю столь давно и беспамятно, и отсюда, из этого тусклого осеннего дня, исполненного заботами и бессмысленными словами, казалось разве что розовым сном раннего детства, — и зашлось сладкой горечью в груди у него: о, каков был тот обещанный бессловесно дар-подношение в благоуханном теле девичьем... Господи... И это ведь тоже — было под небом Твоим... Было... И больше нет... Все завершилось, не успев и начаться... Когда же?.. Когда?..

Он прикрыл на мгновение глаза, силясь удержать и продлить восстающий в нем свет из тайных схронов-вместилищ памяти, — и запахи, и шелест желто-красной листвы под подошвами, когда они шли по осеннему старому парку, и он, такой молодой еще возрастом пан Ежи-Юрась, только что получивший из рук короля Стефана Батория универсал на брацлавское староство, — он, так открытый любви и томлению, метафизически исходящему от женской неземной красоты, юности и чистоты, — и она, юная дочь пана Лешека Свентожицкого, приехавшая вместе с отцом по давнему делу на судовые рочки, — и нечто тайное и не произнесенное словом, но обещанное взглядом больших серых глаз, легким жестом тонкой, полупрозрачной руки, — и он сказал ей тогда только то, что и было впору сказать этому ангелу в виде безукоризненной в своем совершенстве дочери благородного польского рода:

«Пани Кристина, эту аллею я назову вашим именем...»

И она посмотрела в его глаза своим серым пронзительным взглядом, словно проницая в сокровенную суть его сердца, и слегка — уголками губ — ему улыбнулась...

Боже мой... Господи...

Да я ли тогда был в том старом парке? Со мной ли это было? Со мной?.. Но куда же я потом делся? И она? И светлый день осени той великой и славной, польской эпохи короля Стефана?..

Староста вяло махнул Арсенку рукой уходить и остаточно слышал, как тот запнулся еще, прикрыл осторожно высокую дверь и потопал по сходам вниз в людскую, — а в нем, затопляемая теплыми, невесть откуда взявшимися слезами, горела малиновым пламенем его странная, внезапно пришедшая и ныне позабытая за давностью человечья любовь, и он смог только вопросить это видение: где ты была? Почто оставила меня на все эти долгие годы?.. Отчего ни разу не напомнила о себе, — может быть, я и прожил бы жизнь свою по-другому...

Звякнул выпавший из пальцев ножик, — здесь и сейчас, — но староста видел в глубине своей памяти ту давнюю осень, время давнишних рочек, золотой месяц октябрий-pazdziernik, по-русински же жовтень... Такой, как и ныне... Что изменилось под извечным этим небом?.. Умерли многие... Но это ведь неизбежно... Умер Стефан-король... Выросла до небес ратуша средь Брацлава, — и сам он превратился в почти старика... Умерла и она, пани Кристина, — самая первая утрата его на брацлавской земле, — дар ему, подношение от краткого милосердия судьбы...

И он снова увидел — в памяти, но как бы въяве и вживе, — как к его резиденции в замке статечно идет старый пан Свентожицкий в сопровождении двух рослых красавцев-гайдуков, вооруженных богато украшенными саблями и с пистолями за кушаками, — вот протянуть бы руку из этого дня в свою память и все изменить, кликнуть жолнеров иль шляхтичей, кто тут рядом находится по делам, да спутать тех молодцов, — и, может быть, жизнь сложилась бы как-то иначе, совсем по-другому, — ведь один легкий как пух палый листок преклоняет весы жизни в обратную сторону, изменяет ток предопределенного бытия, — но как это сделать сейчас? — староста лишь горестно усмехнулся в усы. — Или: как это было сделать — тогда?.. — и рядом со старым паном Лешеком шла в призрачном, золотистом сиянии его дочь Кристина, польская девушка удивительной, пронзительной красоты...

Помянув то истекшее и сгинувшее жизнь тому прочь сияние, исходившее от пани Кристины, он вспомнил и то, каким невероятным солнечным светом был залит Брацлав той осенью, словно природа в предзимье напрягла остатний раз свои силы и раскрылась во всей своей сокрушительной красоте, чтобы каждый, живущий здесь или проезжающий брацлавской землей по нужде, запомнил этот день навсегда. И глядя на них, пересекающих радный майдан, идущих к нему с насущным и столь неважным делом своим, тот молодой староста Струсь, только что водворившийся на городском уряде, ощутил, как под ложечкой у него что-то защемило — сладко, истомно заныло, и он, на миг показалось, был близок нечто понять, столь важное, насущное, основное, что приоткрывается на краткий миг снисходящей откуда-то благодати... Ныне рассеялось все, избыло и вовсе забыто. Остался лишь след, который и не определить словом земным, человеческим... Что-то говорил ему старый пан Свентожицкий — будто бы рыба безмолвно отверзала полупрозрачные губы, — пан Ежи-Юрась только кивал чему-то, поминутно одергивая разноцветный камзол и теребя в раздумье о своем

конец русого уса, — молодая и горячая кровь в голове гудела набатно, призывно, — и он старался не смотреть в сторону пани Кристины, лишь краешком зрения захватывая полуовал ее розового лица, на котором дрожали тени и отсветы колеблемой ветром листвы, — что-то о поле, о пустоши, — да-да, я внимательно слушаю вас, досточтимый пан Лешек, — да, вот рекомендую вам, мосце пане, свою дочь Кристину — piekna dziewczyna, ladna kobieta[1] — на выданье и на загляденье, не так ли? Сам не устаю любоваться этой трояндой... Да не за кого отдавать сей перл вселенной: захудалость одна позосталась в наших краях после Московской войны — столько молодежи полегло под Смоленском, — и нет уже рыцарей, нет... — и снова пан Свентожицкий вел свое о пустоши или о чем там еще, а пан Ежи-Юрась видел краешком глаза только ее, пани Кристину, и она тоже смотрела на молодого брацлавского старосту — и мягко улыбнулась ему неожиданно... Может, вы последний рыцарь на подольской земле... Было ли сказано так? — староста теперь уже вспомнить не мог.

Рочки шумели в тот месяц октябрий-pazdziernik долго и щедро — пенное пиво и поставные меды лились широкой рекой, ибо, сдается, то выпало первое мирное время, когда войны и свары до срока утихли, — и пан Ежи-Юрась гулял с юной пани Кристиной по старому парку, укрытому толстым ковром облетевшей листвы, и бережно целовал ее холодную руку в молчании и сокровенности предзимней поры... Она ничего не обещала ему, да он и не ждал от нее обещаний, — ибо что может обещать женщина-полька? — достаточно было того, что она позволяла ему быть рядом с ней.

«Мне не хочется возвращаться...» — только и сказала она, и только потом, много спустя староста Ежи-Юрась осознал трагическую глубину этих слов. Он снова и снова пытался вспомнить о том, чего все же хотел старый пан Лешек: какое-то поле, какая-то пустошь, без чего он не мыслил окончания своих дней, какие-то невысказанные, но подразумеваемые обещания. И пани Кристина, ослепившая его зрение, как свет открытого солнца, когда ничего уже не видишь, кроме красных кругов и пульсирующей крови в висках, — и ее голос... И прохладу ладони... Да, помнится, он отдал приказание составить какую-то грамоту на то поле — решение судовых рочек, делал оттиск гродской печати в мягком теплом воске красного цвета... Да, поле, которое числилось за старым Цурковским... Боже мой, — думал пан Ежи-Юрась, лежа в пустой и гулкой ночи своего падения и позора, — ведь никого из них уже нет на земле, и я отраженно и призрачно вспоминаю, как пани Кристина пришла ко мне в глухой час полуночи — рочки уже завершились и шляхта разъезжалась на грунты свои и в поместья, — поутру уже в путь отправлялись и Свентожицкие, — и я со свечей в дрожащей неверной руке провел ее наверх в вязкую и непроглядную темь спальных покоев, — и я помню легкий шелест тонкого шелка, когда ее платье упало к ее обнаженным длинным ногам, лунно просвечивающим в темноте, — и пространство вокруг немо и страшно молчало, кроилось на черные с блеском куски, в безмолвии расседающиеся от жаркого потустороннего пламени, — и я видел, не веря собственным глазам, столь совершенное тело ее, сминаемое волной судороги и страсти, — но ко мне ли? Или это столь присуще от века женскому естеству, что неважен партнер, не нужен адресат, — но неведомая и всевластная сила возгоняет женское предвечное к живительной влаге мужского семени, в достижении метафизической цели продления и продолжения жизни? И я вдыхал жасминовый запах ее гладкой молодой кожи, душистость и пряность волос и, казалось мне, видел ее расширенные зрачки, из которых смотрело на меня то, что было древнее нас вместе взятых и древнее земли... Свеча выпала из моих пальцев, стукнула об пол и погасла, кратко задымив фитильком, и я уже стоял перед ней на коленях, шепча ее имя, словно молитву, — она погрузила ладонь свою в мои волосы... Что со мной было? Как определить это? Потрясение? Да, — но такое, когда сдвигается все так, что моря становятся горами и горы опускаются на дно океана, — если допустить таковую метафору. К полудню наступившего дня пошел первый снег новой зимы, — как в горячке припоминал староста Струсь, и не обыденные эти воспоминания вполне имели под собой объяснение: а чем еще было ему заниматься в каморке у пана Ковальчука, если только не вынимать из забытых вместилищ памяти эти сохлые листья того, чего давно уже не стало на свете, — и снег был мягким, сырым, отливающим забытой небесной голубизной. Свентожицкие уехали. Я оседал кобылу и припустился рысцой в пустое безмолвие сырого и голубоватого от снега пространства, развевая по ветру стоны, шепот и хмель ночи нашего обручения, — ибо чем еще была эта ночь? — с той поры никогда мне не хотелось жить так, как в тот день первого снега... Только под вечер я вернулся уже почти приуготовленный к своему новому, преображенному пани Кристиной бытию, и на въезде в крепостные ворота вартовые жолнеры прокричали мне нечто жуткое и безумное, столь не вяжущееся с обретенной сегодня истиной, что я не понял сперва ничего, принял за глупую шутку и пригрозил

[1] Красивая девушка, прекрасная женщина (польск.).

шутникам тем нагаем, — и после кобыла несла меня по узким улочкам города, мягко постукивая копытами по снежному пуху, и вокруг меня снова замерла глухая и непробиваемая тишина, — я видел чьи-то смытые серые лица, чьи-то фигуры, повозки и фаэтоны, — и когда кобыла вынесла меня на простор городского майдана, я увидел два тела на том самом месте, где ныне высится в небеса моя ратуша, прикрытые белой холстиной... Ратуша — стала памятным знаком пани Кристине...

Уже после стало известно, что те самые рослые красавцы-гайдуки из оршака старого Свентожицкого преступно ему изменили и, когда выехали они из Брацлава, в ближайшем лесу отняли драгоценные жизни у отца с дочерью, со всем тем, что было при них...

И теперь, близ кузни пана Ковальчука, в неожиданном воспоминании прежнего старосту утешало лишь то, что случилось это все в незапамятные уже времена, и все-таки забытая за током другой повседневной жизни пани Кристина мнилась теперь ему не настолько единственной, чтобы застыть пану Ежи-Юрасю в оцепенении боли и памяти. Он должен был выжить тогда, превозмочь и боль, и любовь, и утрату. Ну а как же еще? Ему предстояло жить и прожить еще долгую, долгую и многотрудную жизнь — и многое позабыть, через многое переступить, словно не бывшее. И он выжил и пережил. И, вероятно, почти что забыл, и, если бы не сегодняшняя беда, обрушившаяся на него, он, может быть, даже и не вспомнил бы тех давних, припавших пылью событий. Всю зиму до весенних ручьев и таяния снега он бродил во главе большого отряда жолнеров по окрестным степям и лесам в поисках тех гайдуков, — они сидели в засадах близ дорог, ночевали в охотничьих заимках окрестных панов, — усталые, обессиленные лошади по брюхо увязали в глубоких снегах той проклятой зимы, — он порол посполитых селян, которые, по его предположению, могли что-то знать об убийцах, сжег три селянские хаты по подозрению, что гайдуки в них ночевали, — он лютовал и не был милосердным, да, в нем много чего открылось для самого него неожиданного, — но безмерные просторы Подолья, Волыни и всей Руси-Украины накрепко скрыли от его жаждущей мести вооруженной руки тех двоих, рослых, статных, красивых русинов, навыкших в убийстве и грабеже.

Все прошло, и все позабылось, — и ничего не поделаешь.

И только теперь, в этом пристальном воспоминании пан Ежи-Юрась задался простецким вопросом, который в смятении и гонитве той прошедшей зимы совсем затерялся в сумятице событий и острых, безотрадных ощущений и чувств: а куда делась та гродская грамота на поле Цурковских? Она ведь исчезла со всем скарбом убитых тогда Свентожицких. И постановление о принадлежности поля так и не было приведено к исполнению.

Но это было уже давно неважно. Неважно... Все миновало...

Но об этом он вспомнил только сейчас, лишенный власти и нажитого добра, брошенный немилосердной судьбиной своей на смердящие мочой и окалиной тряпки пана Ковальчука, — вспомнил в сегодняшнем горе свое прошлое безмерное горе, потому что утешения в этих днях его и не могло быть ни на шеляг. Тогда же, когда он отпустил от себя в обжегшем душу воспоминании пивореза Арсенка, он заново переживал не смерть, а любовь, начало ее: шорох листьев, запах ладони ее, глубину серых глаз, тонкое одиночество осени, глубины молчания женщины... Что было в глубинах молчания оного? Какие тайны? Какие обетования? И было ли разве что-то? А может быть, и не было ничего — только обманчивая и многозначительная пустота? Бог весть... Теперь уже не ответить на это и ничего не понять. Но этого вполне было достаточно — ибо свет и тепло той истекшей поры повторились чудесно и одарили каким-то отраженным теплом его утомленную душу...

И вот тогда, отпустив рекомого виршеслагателя, с этим светом, с этим отраженным теплом, ища едва ли не романтического уединения и приемлемой окружающей красоты по достоинству воспоминания, он поднялся на городскую восточную стену и пошел по направлению к крепостной башне надвратной, рассеянно глядя в сизые дали, густо синеющие уже в часе предвечера, — но, конечно, смотрел он не в глубину окружающего пространства, но в свою душу, в растревоженную невесть чем память, в расчленение сгустка нахлынувших чувств, — разве он никогда не видел брацлавской округи? — шел мимо чугунных мортир и гармат, мимо пирамидок малых ядер, дыням подобных, мимо больших пустых казанов на треногах, — попался навстречу замерзший жолнер:

«Все спокойно, пан староста, без происшествий...»

Вокруг лежала бездыханно глухая зимняя тишина, окаймленная по окоему дымкой дальних туманов, — но удержать в себе пришлый и призрачный свет давнины было трудно, и он чувствовал, как душа исподволь развлекается внешним: замерзшим жолнером на варте, видом заиненных ядер, тусклым отсветом массивного тулова головной брацлавской гарматы... Промельком подумал о чем-то мелко-хозяйственном,

— ну, это было природно, естественно, — он ведь державный шляхтич, — и слепящая точка света, которую он намеренно, дабы сохранить подольше в себе, унес из городских улиц сюда, на стылый ветер высоты крепостных стен, медленно рассеивалась в душе у него, теряя отчетливые свои очертания, расплываясь краями, — и когдатошние запахи увядали, сворачивались пересохлыми листьями и рассыпались в прах и труху, и лицо женщины, прекрасное и далекое, как бы задергивалось бесцветной кисеей беспамятья и забвения, в коих он и прожил все эти годы. Он остановился близ башни, тронул шершавый, стылый камень ладонью и, прикрыв на мгновение веки, снова силился вспомнить то пронзительное и реальное из потаенного, свершившегося с ним в густой тьме той памятной ночи, где бликами нетварного света пребывали ее шепот, прикосновения к ее коже, — внешняя тьма была беспросветна, но ему казалось тогда, что у него еще больше потемнело в глазах, когда его губы прикоснулись к девичьей груди, — и не мог, не мог того всего воссоздать. Да и возможно ли все это еще раз? Возможно ли вступить в реку дважды — да еще спустя целую жизнь? Помнил в остаточном, как с тихим стуком упала свеча и, почадив сладким дымком, погас фитилек, — и ее длинные ноги, лунно просвечивающие в темноте, в груде смятого перламутрового шелка...

Староста горько вздохнул, прощаясь с отходящим видением, и подумал, что, должно быть, не случайно объял его этот призрачный свет давнины, — на ресницы навернулась капля слезы, — аллея ее незабвенного имени... Да, была и такая аллея... К годовщине смерти ее, в очередные судовые рочки он отдал приказ холопам своим вырубить эту аллею, — неизвестно зачем, теперь не понять, — а без нее и парк стал как бы неполноценным, чужим. Через десятилетие, которое днем единым промелькнуло мимо пана Ежи-Юрася, парк совершенно зарос диким мелколистным кустарником, а деревья позеленели стволами от мха и начали медленно гнить... Тогда и умер в Гродно король Стефан Баторий, и началась другая эпоха... Он провел ладонью по лицу, словно можно было стереть неотступное, и ладонь словно слышала морщины, усталость и старость лица, глубокие и не вытравимые следы, оставленные изжитым старостой временем.

Господи, — подумал, содрогаясь от внутренней муки или от холода, пан Ежи-Юрась, — почто Ты мучишь меня? Отпусти с миром, дай жить по-прежнему, исполняя верно и честно свой долг и не зная об этих вот безднах несбывшегося, памяти, отчаяния, одиночества... — и посмотрел в низкое дымное небо с надеждой, что Господь все же слышит его, и перекрестился, и пошел вокруг башни, охватывая взглядом белый простор, — и неожиданно увидел внизу, в некоем отдалении от стены расплывающееся в белизне, подобное раковой опухоли, большое пятно черного войска, в молчании и скрытой неистовой силе подходящее к его городу.

Господи, а это что такое?.. — староста застыл в изумлении совершенном, и билось испуганной птицей: — Откуда? Почто?.. И разве могли быть на это отчаянное какие-то ответы?

И тут пан Ежи-Юрась услыхал скрип снега под копытами лошадей и под сапогами пеших козаков, бряцанье упряжи, негромкое постукивание сабельных ножен о некий металл, тихий шелест значков, бунчуков, — и разом увидел теперь близ возглавителя войска, который выделялся богатым кунтушем, белый с малиновым колером стяг, и боевые хоругви, и опять-таки бунчуки куреней... Сколько же их? Сердце будто упало в низ живота и в гортани образовалась некая мерзкая кислота, словно в рот ему сунули дуло мушкета, — неверной рукой он нащупал крыж сабли и оцепенело долго тащил ее прочь из ножен, — а черная и молчаливая череда запорожцев тем временем подошла к восточным вратам и остановилась.

Что-то сырое жалкое забулькало в горле у пана Ежи-Юрася, и, наконец обнажив драгоценную дамасскую полосу, он прошептал едва слышно:

«Жолнеры... К бою, жолнеры...»

Крупный станом и брюхом старый полковник с вислыми седыми усами, обряженный в нарядный кунтуш, взял у спутника пику и с силой воткнул ее в запертые крепостные ворота. Затем перначем трижды ударил в дубовые доски и прокричал, разодрав и разрушив хрустальную снежную тишину синеющего предвечера:

«Именем короля Сигизмунда — открывайте!..»

Картина 7. ЗАХВАТ ГОРОДА И СВОЕВОЛИЕ КОЗАКОВ, БРАЦЛАВ, 1594

В рядах после сего засмеялись, и старосте враз полегчало: ну конечно же, они не воевать город пришли, — да и мыслим ли бунт и сопротивление толикого числа навыкших в битвах людей? Верно, се новый поход на Волощину, как в июне прошедшего лета, когда вожди запорожцев, счастливо соединившись с посполитым рушеньем под начальством коронного гетмана Яна Замойского, преградили отход крымской орде из Волощины близ Карпатских отрогов, — и ныне опять польный гетман Жолкевский

нечто с козаками затевает, — да только старосту Струся Жолкевский за многой заботой своей забыл известить, бывает такое, — староста понимал все хорошо, уряд у польного гетмана куда как обширнее городского, — а Брацлав высит стены свои на самом кордоне дикой степи... Отсюда — недолгий путь в пределы волошского господаря.... И эта оружная козачья орда — есть первое войско похода сего, — только вот забыл польный гетман оповестку прислать достоверную... — эти краткие и недоуменные размышления отчасти образумили и успокоили старосту, вдохнули ощущение некоего зыбкого мира в душу его, но все же что-то противилось в нем этому ясному миротворному и державному строю, ибо, будучи человеком бывалым и государственным, ум его усматривал в изъясняемом самому себе в утешение некие несообразности... Так, первая из них была та, что польный гетман не известил нарочным его о передвижении по Подолью толикого количества оружных людей и о сборе их под Брацлавом — хорошо, если в волошский поход, а ежели нет?.. Как быть тогда? Другое: староста видел теперь уже со всею отчетливостью подтягивающиеся медленно из открытой степи козацкие возы, сцепленные особливым воинским табором, который представлял из себя готовую неприступную крепость, движимую мерно волами, приуготовленную к бою, к осаде и к другой войсковой хитрости польной. Но и этому можно было найти разумное объяснение: каждому подданному Речи Посполитой известно, что в походах запорожцы часто, но не всегда, разумеется, передвигаются подобным манером во избежание неожиданных нападений со стороны кого бы то ни было, — в таком хитроумном сооружении сотня козаков способна отразить нападение десятикратных сил крымских татар или пятикратных же сил отважных польских жолнеров.

Тем временем спешившиеся козаки уже принялись топорами трощить крепкие городские ворота, — староста видел, как на стене заметались сторожевые жолнеры, задымил зажженный фитиль, пушкарь опустил ядро в жерло гарматы и принялся забивать его пыжом; хлопнул одинокий выстрел мушкета, — внутри стен, в улицах, заливисто зашлась лаем собака и вскоре большая толпа горожан устремилась к воротам. Пан Ежи-Юрась, совладав наконец-то с собою, подошел к борту внешней стены и подал владетельный голос:

«Кто такие, панове?..»

«А ты кто таков, старый хрыч?! — крикнул ответно полковник в дорогом кунтуше. — Уж не староста ль Струсь?»

«Да, это я. И потому приказываю отойти на десять шагов от ворот и прекратить долбать топорами. Известите: кто вы и что, зачем пришли к городу нашему?.. В случае неповиновения мы открываем огонь...»

«Молодец, староста, — добре королевскую службу несешь, — так и передам светлейшему королю при нагоде о тебе, что стоишь днем и ночью на стенах, как поганский кумир, — но правильно, так и надо, бо неровен час беды на богохранимый твой град!..»

Красавец-огирь, племенной жеребец из табунов низовых, норовисто крутился под могучим полковником, и тот осаживал его, задирая поводьями голову.

«Давай-ко, пан староста, прикажи воякам своим открыть ворота по-доброму, — мы приустали в пути и голодны вельми, сам ведь знаешь, каково это нашему брату, ибо родом ты наш и памятен дед твой Якуб, удачливый воин на Кошу Низовом, — знаешь, что нет под солнцем ничего злей голодного козака, — так что не доводи до греха!»

Староста Струсь был весьма удивлен поминанием деда и рода его, — сколько же должно пройти еще лет, чтобы все это темное прошлое забыто стало под этими хмурыми небесами? — но счел ниже достоинства своего говорить о том с неизвестным полковником из степей — и сказал о другом:

«С чем пожаловали, панове козаки?»

Спросил так все-таки неожиданно для себя, ибо прежде хотел пригрозить полковнику огнепальной стрельбой из ручниц, ибо козаки все продолжали трощить городские врата, невзирая на его приказание-просьбу.

На ратуше одиноко бомкнул колокол, словно звонарь, видя перекликающегося с козаками старосту, в замешательстве не решился бить в заполошный набат.

«Да что ты, полковник, с ним водишь балачки? — воткнулся другой козачина в оксамитовом алом колером жупане, отороченном по груди черным собольим мехом и блестящим серебряным галуном. — Так и состариться можно прежде всех век, — дозволь, батьку, сбить его, яко толстую птаху с-под небеси!»

И выхватил молниеносно из притороченного к луке татарского колчана оперенную черным пухом стрелу, — единым движением сбросил с плеча драгоценный лук, крытый тонкими серебряными пластинами. Староста инстинктивно присел за зубцом. Но полковник удержал скорую руку расправщика и сказал ему так, что и староста расслышал произнесенное:

«Негоже, хлопче, зачинать доброе дело со смертоубийства доброго королевского старосты, — вот я и в Варшаве днесь слыхал о нем от польного гетмана пана Жолкевского...»

Староста выглянул из-за стены:

«Шо, пан с Варшавы приехал?..»

«Так, — ответил полковник, — два месяца сподобился пребывать в ожидании ответа на гетманский лист, — насмотрелся там при дворе и наслушался всякого, — часу на се было довольно, — а ты, пан староста, давненько, видать, не покидал своего богохранимого града?..»

«Prosze, пане полковник, — сказал примирительно староста Струсь, — но с кем имею честь розмовлять?»

«Запорожского вольнолюбивого рыцарства миргородский полковник и атаман Григорий Лобода, не далее, как еще третьего дня полномочный гонец-листоноша новоизбранного козацкого гетмана Павла Наливайка, ваша мосць!»

«Однако, пан полковник, — твердо сказал пан Ежи-Юрась, — прикажите вашим молодцам не рубить ворота мои, ибо вынужден буду смирить своевольство огнем и мечом!»

«Хорошо, — ответил полковник, уже насилу удерживая своего жеребца, — но и вы, пан староста, велите рабам своим открыть ныне врата, дабы рыцари наши заслуженно вошли в град сей, аки праведники в Новый Иерусалим!»

«Могу ли я видеть вашего гетмана?»

«Конечно, — но токмо в подобающей званию его обстановке, — за корчагой пенного пива, за смажениной, за соленым кавуном — по обычаю нашему... Эй, герои, — крикнул он в сторону, — оставьте до сроку врата эти чертовы!.. Ну, пан староста, чаем гостеприимства!»

Староста Струсь не успел ничего ответить ему, как увидел боковым своим зрением бегущего к нему по стене в черных развевающихся одеяниях протопресвитера Василия Великого чина подпанка Хайла, еще в отдалении начавшего запретительно размахивать руками, — жесты его были подобны взмахам воронова крыла из-за широких рукавов теплой зимней рясы, — серебряный крест бился и мотался на его высокой, как у женщины, груди, едва не забалтываясь в движении за спину. Глаза его расширились от смертельного ужаса и вылезли под самые коричневые кудри, успевшие отрасти за время пребывания в городе, посинелые щеки от бега тряслись, в уголке перекошенного бескровного рта поблескивала запекшаяся слюна. Задыхаясь и хекая, он обдал старосту могучим духом накануне съеденного борща, запитого доброй склянкой горилки, и, закатив под лоб глаза, как во время проповеди о первенстве римского первосвященника, и держась утомленной рукой за свою отвислую женскую грудь, сипло выхрипел:

«Ни за что!.. Ни за что!.. Ни на какие посулы их... не поддавайтесь, пан староста... Стоять до последнего — это благословение, это приказ... Отдать жизнь за короля и за папу Климента!.. — и шумно рухнул на колени пред старостой: — Езус-Мария! Спаси-сохрани от нашествия супостатов!..»

Староста брезгливо отступил от него:

«Я — не Езус-Мария, перепрошую пана попа!»

«Да я и не к вам, пан Струсь, молитву сию возношу! — раздраженно воскликнул Хайло, и глаза его колюче блеснули, и сказал то, чему научен был от иезуитов брацлавских: — Аще впустите сих слуг антихриста в город — мы вас от святого костела отлучим!»

Староста только скрипнул зубами и ненавидяще произнес:

«Достопочтенный подпанок Хайло, или как вас там в кабаке прозвали наши мещане, — ты сюда прибежал весь в репьях на голой жопе и в железном ошейнике только летом прошедшим, — а я в городе сем староствую всю свою жизнь, — и не позволю мурлу вашему преподобному-пьяному так со мной изъясняться!»

Он поднял десницу с обнаженной домахой и лезом плашмя врезал Хайлу по башке, — подпанок со всхлипом распростерся у его ног, жидкие его волосенки намокали багровым. Когда в голове у него отзвенело, он встал на карачки и, озираясь время от времени на старосту Струся, по-свинячьи побежал к лестнице со стены. Уже спустившись на несколько ступеней, остановился, — староста видел одну только разбитую его голову, — и прокричал:

«Ныне же! Ныне же и на вашу главу опустит Господь карающую свою длань! — и то есть — пророчество страшное! А мы уж постараемся, дабы кару вашу усугубить, пан староста!»

И затопал вниз, в город, гудящий растревоженным ульем.

Староста вновь подошел к борту внешней стены и не поверил увиденному: в распахнутые настежь ворота, как в весенний водоворот на стрежне реки, всасывалось

доселе стоявшее в ожидании козацкое войско, и полковника, с коим доселе он разговаривал, смыло этой паводковой водой. Пока он разбирался с Хайлом, внизу что-то непонятное произошло, и пан Ежи-Юрась отчетливо вдруг осознал, что его безжалостно обманули. Он крикнул жолнерам:

«Приготовиться к бою! Фитиль — зажи-гай!..»

Но по сходам у сторожевой башни стучали уже стуком особым подкованные железными скобами чоботки запорожцев. Снова, словно в тумане густом, еле слышно, бомкнул ратушный колокол и затих, никем не услышанный, кроме старосты, — и снизу, из лестничного проема первым опять-таки выскочил бутылочной пробкой перепуганный насмерть подпанок Хайло, — спустившись до половины сходов, он увидел в подножье стены спешивающихся с огирей козаков и снова, подоткнув свою драгоценную рясу, подбитую мехом, ринулся наверх, к старосте Струсю.

«Пан староста! Пан староста!..» — белькотел он, размахивая по-вороньи своими широкими рукавами, — за спиной его слышался топот множества ног, — и едва расхристанная фигура Хайла уметнулась куда-то за старосту в сторону — пан Ежи-Юрась увидал козаков.

Глаза первого, поднявшегося на крепостную стену, словно вплотную приблизились к старосте и заглянули в душу его, но, видать, пуста и уныла была душа у него, обряженного в парчовый камзол со свисающими собольими хвостами, и серые, беспощадные глаза козака метнулись за старосту в сторону, вверх, и когда за ним выросли фигуры других козаков, он кратко приказал нечто им, и те разбежались по сторонам.

«К бою...» — едва слышно выдохнул староста и краем глаза заметил, как полетел за стену, в снег, чадящий фитиль от гарматы, вырванный из рук пушкаря. Козак, отобравший фитиль, не обнажил даже сабли — развернулся на корпус и двинул пушкаря по зубам. Тот снопом рухнул к ногам козака.

Вояки, cholera jasna... — устало, почти без раздражения подумал пан Ежи-Юрась и все смотрел в холодные и шальные отчаянием глаза первого гультяя, который, не отрывая пристального взгляда от старосты, сказал так, что все слышали:

«Всем стоять на местах! Кто стоять не желает — прыгай за стену!»

Пан Ежи-Юрась слышал стук ручниц, алебард и отстегнутых ножен, — жолнеры разоружались и складывали оружие в кучу, — и тяжелая, страшная, запоздалая догадка разрасталась в мозгу, но он силился ее удержать, не дать ей созреть и обрушиться на его смятенное естество, ибо погибель была бы тогда неминуема, и блеклая, слабая мысль о том, что козаки пришли все-таки в город его с миром, а не с войной, медленно угасала в восстающем прозрении.

Козак ступил к старосте:

«А ты чего не сдаешься по-доброму, старый пенек?!.. Или хочешь погибнуть в бою, чтобы слава осталась о смерти твоей в хрониках исторических? — так это мы быстро исполним!»

В ладном, ловком движении он молниеносно преодолел пространство, их разделявшее, и староста успел различить только краткий, призрачный блеск лезвия сабли его, услышал, почувствовал шорох разорванного воздуха над своей головой, — тень смерти коснулась его черным крылом, вздыбливая волосы, — и староста, на мгновение утративший способность к пониманию происходящего, увидел свою соболью шапчину, мягко разваливающуюся в полете на две половины и падающую к заиненным ядрам. Голова его как-то сразу замерзла и непроизвольно втянулась в плечи, и он понял, что ничего изменить он не в силах уже.

Город он сдал — позорно, постыдно — без единого выстрела, без единого удара домахи по вражескому мягкому телу. И пушки его на стенах были немы...

Дрожащая рука сама по себе уже подняла острие сабли к ножнам, — но сабля отчего-то не лезла в жилище свое — то ли в некоем перекосе застряла, то ли боевой металл мистически взывал к звону ударов, борьбе и победе, — а он смотрел в близкие, холодные и шальные глаза козака и понял вдруг, будто кто-то подсказал ему со стороны, что это — глаза мертвеца... Оттого и нет в них ничего, кроме холода и отчаяния пустоты, — да-да, забилось, затеплилось в старосте миготливым и неверным огоньком, — конечно, этот козак, считай, почти мертв, ибо вольно избрал для себя эту судьбину и знает о смерти своей так же отчетливо, как и староста, — ибо кто они есть и долог ли путь будет их по земле великой и нерушимой в веках Речи Посполитой?..

«Нет, — сказал козак, — ты брось саблюку свою — на посмешище всем, ибо недостин ты еси оружия своего...»

Но староста упрямо пихал саблю в ножны. Справившись наконец-то, он пригладил ладонью усы и приосанился:

«Слушаю вас, панове козаки!»

Брови козака удивленно приподнялись, затем он прищурился и сказал:

«Дозволь, пан без имени доброго, нашему Омельку дурковатому твой кафтан поносить!»

Свистнул, взмахнул рукою и тяжелые руки опустились сзади на плечи пана Ежи-Юрася. Посыпались, запрыгали по камню подножному мелкие серебряные пуговицы, затрещала, расползаясь по швам, парча, сдираемая со старосты, взметнулись в остатний раз собольи охвостья, нежно коснувшись мягкостью меха отерпнувших щек. Он стоял молча, набычившись, уже вполне совладав со своим естеством. Так тому быть... Быть — до поры... Только бы остаться в живых, — и в свой срок — а срок этот придет неминуемо — он так же сдерет кожу с этого козака, с этого мелкого атамана разбойников на брацлавской стене. И с других — со всех правых и виноватых — сколько их выпадет еще до конца его жизни.

И сказал:

«Отведите меня к гетману вашему, добродии, — хочу с ним говорить».

«Кто ты такой, чтобы гетмана нашего видеть? — спросил сквозь зубы козак. — А ну-мо, Омелько, сбрось его со стены!..»

Мироколица в глазах старосты перевернулась вверх тормашками, ноги беспомощно засучили в пустоте, заголившимся брюхом он ощутил режущую, давящую боль, — держа за ноги и слегка приспустив, его свесили вниз головой над Брацлавом, — и заплывающими тяжелой кровью глазами он видел свой город, будто нависший над ним тяжелой каменной глыбой, — его островерхие крыши и дымари, курящиеся мирно дымками в прикровенном свете предвечера, белокаменную красавицу-ратушу, толпы мещан, посполитых, верховых козаков, несущихся по узким улочкам, слышал среди разрозненных звуков одинокий и безотрадный звон сражающегося где-то в переулке оружия — кто-то из шляхтичей все-таки обнажил свою саблю, отстаивая доброе имя, добрую честь для потомков... — староста видел в этом черно-белом небе города и земли все родное, милое сердцу, любимое, и прощался, шевеля вывалившимся изо рта языком.

«Ну шо, атаманы, — услышал он сверху вопросительный глас, — хай летит к бесу в обоймы?.. Бо важкий, кабанюка!»

«Хай еще повисит, — отвечено было ему, — а ты, дурень, не трать свои силы: возьми мотузок и пришпандерь защитника этого к пушке — и кто кого перетянет, — хай испытает судьбу!..»

Вязали пана Ежи-Юрася, бросив на бок под крепостной борт, — он отошел головою немного, пока козарлюги искали веревку и путали петлей и узлом ее на его голенях. Руки и ноги дрожали у старосты, — он пытался что-то сказать этим гогочущим дикарям, но язык, прикушенный крепко зубами, когда затаскивали обратно на стену, был нем и недвижим. Туман, звон и кровавая пелена немного рассеялись, и он увидел в некотором отдалении заваленного на спину и истошно визжащего подпанка Хайла, сучившего тонкими ножками в путах широкополого поповского одеяния.

«Сдирайте теплую рясу с него, — слышал он голоса, — подарим панотцу Стефану, шоб не замерз!..»

«Та панотец Стефан не наденет на себя такового — после этого чиряка. Только если в печке спалить...»

Староста так и не уразумел, что козаки делали униату, что тот так брыкался и визжал. Может быть, обрезание некое или нечто подобное?.. Станется с них. И не такое удумают. Затем в подпанковом писке и вереске он различил свое имя, и до него постепенно дошло, что подпанок, показывая козакам свою разбитую голову, жалуется на него... Голова прояснилась уже окончательно, и звуки, смысл изнесенного складывались в осмысленные слова, которые Хайло в животном страхе орал козакам:

«Панове! Освободители от тирании! Дорогие наши козаки! Мы ж так вас ждали-чекали с мещанами града сего! Я ж лез на стену сию, абы главного угнобителя сего, рекомого старостой Струсем, скинуть униз, дабы мозок его, коий мучительства и тортуры для бедных нас выдумал, разлетелся шматками на посполитых тынах! Дабы сполнить Давидом некогда пророченное: *Дщи Вавилоня окаянная, блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя о камень...* Ось-о — он вдарил саблюкой мене!.. Ось-о, подивитеся, панове козаки, спасители душ и телес наших! То я, здешний православный святитель, приказал одчинить вам ворота фортеции сей!.. То я — пострадал разом с народом русинским моим!.. Пощадите и отпустите в поле мене!..»

«Раз ты герой и помощник нашего правого дела, — сказал атаман, — что же тебе в поле идти? Нет, — мы тебя чествовать будем, преосвященнейшим владыкой тебя называть, ручки святые твои целовать и благословение на наши дела благородные от тебя получать. И раны твои, понесенные от сего, тебе же подобного борова, гетману нашему предъявим, — может статься, и наградит тебя не только веревкой на шею...»

«Не надобно мне наград никаких, — кричал униат, — по смирению моему не надобно! И язвы мои наисветлейшему гетману без надобности, — недостоин аз чести

такой, — вы в поле отпустите меня, — и се будет наградой мне лучшей!»

«Недаром, вижу, в поле ты просишься, — сказал атаман, — а ну-мо, хлопцы, вяжите и этого толстого, чтобы не убежал по дороге, и препроводите к полковнику Лободе, — хай разберется: не признает ли кто здесь этого рыла свиного?»

Отчаянно вопящего Хайла перевернули на брюхо и связали запястья веревкой. Это было последним уже, что увидел здесь староста Струсь, — Омелько-дурковатый, как называли козаки дюжего детинушку, мучителя старосты, окончив путать лядвия пана Ежи-Юрася вервием, ухватил его поперек тулова и бросил за стену. Пану Ежи-Юрасю на мгновение показалось, что ноги его вышли из суставов своих, — и боль от удара, хлестнувшая плетью, завесила свет и позор этого дня черным и непроницаемым пологом.

Он не знал, сколько продолжалось беспамятье, — очнувшись как бы в чистилище по вере своей, староста обнаружил себя в глубоком сугробе в одной полотняной исподней рубахе, — тело его было обобрано и осквернено: драгоценные перстни были с кожей содраны с пальцев, а на рубахе желтела корка прихваченной морозом человечьей мочи. Пан Ежи-Юрась кое-как выбрался из сугроба, сотрясаемый крупной дрожью, и, в одних обмотках, ибо и сапоги с него стянули злочинцы, поковылял в ближний проулок. Все тело ныло тупой непрестанной болью, ступни не ощущали студеного жжения снега, в глазах было багрово, темно. К своему вящему удивлению староста обнаружил в душе своей странную тишину, — в нем будто угасли те разнообразные чувства и ощущения, сминавшие и тревожившие душу его на протяжении всего этого дня, — и хотя разум его понимал всю безмерность, бездонность падения, отчаяния и безысходности не было в нем. Да, думал староста, пробираясь вором вдоль чужих огорож, я остался живым — и это важнее власти и богатства сейчас. Были бы дни впереди, а власть мы обрящем и богатство тоже еще наживем, — все верну я сторицею, — только бы жить...

Пан Тадеуш Ковальчук приютил по добру и по памятованию прежних их дней пана Ежи-Юрася, ужаснувшись виду его и рассказу его о понесенных муках-тортурах. От него спустя невеликое время староста Струсь узнал, что малая часть шляхты успела выйти из города, — с ними ушли и его близкие — Марыся-жена и дочь Элжабета. По слухам, шляхетский обоз отправился в Винницу, под защиту Стефана Стемпковского, тамошнего каштеляна. Пан Тадеуш по велению опального старосты стал единственной ниточкой, что связывала пана Ежи-Юрася со внешним миром, в котором он уже был не властен ни в чем. Через него он и узнал, что козаки, выступившие против короля и существующего порядка вещей — за порушенную веру свою, потребовали от городской и окрестной шляхты брацлавской *стаций*, то есть лошадей для подвод, волов и коров для пропитания, — через пана Тадеуша староста отправил письмо к шляхте, собиравшейся в некоем отдалении на судовые рочки этого года, дабы отказали мятежникам в стациях, и просил прислать в город кого-нибудь из достойных панов, дабы словом совета отвратить мещан от козаков. Пан Ковальчук время спустя поведал томящемуся, аки Иов на гноище, пану Ежи-Юрасю, что, исполняя его пожелание, окрестная шляхта прислала в город пана Цурковского с ответом козакам и увещеванием таковым: *мы не станем давать стации вам, чтобы нас не причли к вашим пособникам*. Но с самим паном Григором Цурковским старосте встретиться не удалось: посланец был схвачен козаками и заточен под ратушей.

Так и влек свои смутные дни староста Струсь в крохотной каморке у пана Тадеуша, провонявшей прогорклым духом перекаленного, жженого железа, близ кузни, под звонкий бой молотков и уханье молота, — жил и дней не считал, ибо время без власти остановилось.

* * *

Не различая ночи и дня в предвечном мраке темницы, пан Цурковский не мог уже точно определить, когда спал он, а когда бодрствовал, напряженно всматриваясь во тьму. Густая чернота отнюдь не была пустой и безвидной, подобной первозданному хаосу, описанному в первых главах библейской книги Бытия, — временами в ней воссоздавались очертания бледных, призрачных картин, виденных в детстве и забытых накрепко после, — и пан Цурковский пристально всматривался в пылящие по степи брички, несущиеся на него, в размытые лица седоков — веселые, беззвучно смеющиеся,— и узнавал в содрогании свою мать, молодую и стройную, шляхетно статечную, и себя у нее на руках, закутанного во что-то серое и мохнатое, видел и узнавал лик отца своего, тоже молодого, задорного, правящего горячими гнедыми лошадьми на кучерском седалище-месте. Рядом в этом беззвучном гоне из прошлого скакали верхом по обоим сторонам русские гайдуки Грицько и Левко, — он помнил даже их имена, — перешедшие вскоре на сторону царя Ивана IV в Московской войне короля Стефана Батория. Но куда и зачем скакали они в этом видении?.. Когда тьма

опять затопляла темничный мешок, он понимал, смутно чувствовал, что виденное в сокровенной сути своей есть зов, — или знак, — обращенный к нему из не знаемой запредельности, но осознать это в полных мере и смысле не мог. Сидел, сгорбившись на клочке гнилой соломы, в углу смердела бадья с извергаемым содержимым его никчемного тела, — он был почти безучастен ко всему, что происходило наверху, в захваченном козаками Брацлаве, — да он и не знал ни о чем, но, вероятно, ему было бы лучше и проще, если бы козаки, бросившие его под ратушу, сотрясли перед тем его голову так, чтобы не думать ему ни о чем и не видеть этих безмолвных, бледных призраков из его прошлого, — дожить бы до провала во смерть и в ничто, подобно жертвенному животному — чтобы ничего не было нужно, кроме как *есть-пить-и-спать*, чтобы не думать, не знать, не предчувствовать, не любить и не ненавидеть, — ибо нет во всем этом никакого смысла уже, ибо впереди нет ничего, — а он все еще думает, знает, предчувствует, любит и ненавидит...

Открывалась однажды в день дверца, кованная паном Ковальчуком некогда во время строительства ратуши этой, и кто-то ставил пред ним оловянную миску с похлебкой, клал рядом ломоть черного хлеба, кружку воды. Пан Григор зажмуривался от света и вошедшего не успевал рассмотреть. Да если бы и рассмотрел? Что с того? Они — чужаки, они уйдут из Брацлава так же, как и пришли, — этот город — просто пожива, одна из печальных остановок на их страшном и обреченном пути. Он ничего не говорил входящему с хлебом насущным, ни о чем не просил, ибо слышал голос крови своей, ровесницы Пястов, и кровь не давала ему встать вровень с ними и тем более ниже — *просящим* о чем-то. А о чем и просить? О второй миске похлебки? И, после ухода приходящего в подземелье, с неким болезненным сладострастием и нетерпением он ожидал, когда вновь соткутся из непроглядного мрака эти бледные, ломкие сновидения или просто видения, — он так и не мог до конца определить их природу, — и размышлял о том, что же теперь суждено увидеть ему в глубине собственных памяти и души, — но в преднамеренном ожидании тьма становилась бесплодной и нерушимой, и только слышался где-то отдаленный пристук... Он помнил и знал этот особый, застрявший в памяти звук — так падали яблоки, крупные краснобокие яблоки на пересохшую без дождей землю хлебного месяца sierpien'я, — и звук этот тоже был родом из прошлого. Только не слышал он ныне ойков и плача сельских хлопчаков, его, считай, ровесников, не слышал приглушенного шороха дедовского нагая над склоненными головами их отцов, — но что оттого? Ведь он снова был в прошлом, в детстве своем, огромном и светлом, как поднебесная, которое так долго тогда не кончалось... Он не знал, не мог в точности определить в этом своем одиночестве заточения, где была тусклая явь и где начинался его неверный и призрачный сон, — да это было и неважно теперь для пана Григора Цурковского, ибо — он ощущал — жизнь его приближалась к своему завершению. Разве что-то могло еще быть, если все уже — было и было? Капсула его жизни, мгновение его времени — прожиты, пережиты и изжиты. Может быть, это убогое мрачное зраком заточение и дано ему Провидением, чтобы он вспомнил все, подбил неутешительные итоги, со всем дорогим попрощался? Звуки, тени людей, размытые лица, подрагивающие в невнятном свете воспоминания, обрывки текстов читанных книг и неспешных вечерних бесед подле камина возникали из ссохшихся, как старый бурдюк, в котором долгие годы не было ни капли вина, вместилищ его памяти, и в этом не было боли лишения и расставания, но был некий довременный и сугубый покой. Может быть, это являлось неким вознаграждением, искупающим его прошлые невеликие муки, — этот покой, неспешное, медленное погружение в небытие. Пани Кристина... Да, была еще пани Кристина... Любовь, которой пришлось расплатиться за поле, чтобы охотиться на нем в остатке своих лет на земле — без нее...

Те, ко обнаружил тела их в лесу, рассказали, что гайдуки-изменники отрубили ей пальцы, снимая драгоценные кольца. Изумрудные серьги вырывали с клочьями мяса из нежных ее мочек ушных. Но гайдуки не тронули чести ее, — всего-навсего пробили пикой ее насквозь со спины, вынув на острие ее внутренности. Она ушла в мир иной юной, прекрасной и чистой, вечной девой, невестой Христовой — ведь она только позволяла себя целовать, ласкать свою грудь, щекотать усами ушки ее, трогать выпуклости девичьего тела, она только дышала порывисто, страстно, — о, в ней таился огонь, который так никогда и не вышел наружу, — пан Григор и мысли не мог допустить пойти далее этих юношеских опаляющих, изнурительных для них обоих ласк.

Пани Кристина... Какой ты была в той давней далечине?.. И какой бы ты стала, если бы тебе дожить до этого 1594 года? И я — каким бы стал я?..

Звуки пропали, поглотились тьмой, и глухая тишина вновь пеленала пана Цурковского в непроницаемую свою оболочку. Заболело лицо, и пан Григор потрогал засохшие струпья. Но ним текли теплые, не видимые никому слезы.

Пани Кристина... Он не смог даже отомстить тем гайдукам. Староста Струсь рыскал целую зиму по окрестной земле в розыске их, но старый Цурковский, обиженный до

зела на старого Светожицкого, не позволил сыну присоединиться к старосте и его малому посполитому рушенью и сказал пану Григору:

«Мы молились, просили Деву Марию — *и были услышаны*. Да, были услышаны! Кто знал, что Господь так страшно покарает старого Лешека?.. И Кристину...»

Пан Цурковский закрывал глаза или, может быть, ему казалось, что он их закрывал, и ему чудилось, что ежели протянуть руку перед собой, то пальцы уткнутся в холодные, осклизлые кости остова, — смерть стоит так близко к нему, безмолвно ощерив страшный оскал, — не протягивай, не протягивай руку, поживи-подыши спертым духом узилища со зловонной бадейкой, куда извергается из тебя эта похлебка, — вспомни то, чего не вспомнил еще, в чем ты прегрешил: *но имею против тебя то, что оставил первую любовь свою*; и исткалось во тьме внешней, а может, в самом пане Григоре, который стал этой тьмой, растворился в ней без остатка, слабым светом как бы от звезд поднебесья высеялось неотчетливо нечто, и ему следовало напрячь до боли зрение, чтобы увидеть и ощутить снова ветви деревьев, колко бьющие по лицу, низкорослый цепкий кустарник, оплетший одичалую землю, сорные жесткие травы, их светло-зеленые мясистые стебли, широкие пыльные листья, — и увидеть затем молодое искривленное деревцо, проросшее сквозь просевшую крышу шляхетского дома, гнезда запустелого, — серый, свалявшийся пух под ногами, слежавшийся в корку, — пух из пышных в былом господских подушек и тюфяков, раздавленная чужим воровским сапогом икона Девы Марии с облупившейся краской, венчик из проволоки и бумажных цветов почернел от снегов и дождей... Вспоротые брюха диванов, выпятившие гроздья выцветших тряпичных кишков... Раскопанная земля в поисках денежных кладов... Рассевшиеся и вздыбленные полы гостиной, стены которой сохранили отзвуки давней *hurdy-gurdy*, или славянской колесной лиры, отблеск забытых мелодий и невинных забав великой и славной эпохи первых королей Речи Посполитой... Но разве все это исчезает бесследно?.. Он снова шел по этому разоренному гнездовищу, переступая через коровьи лепехи, не замечая кустов, растущих в почернелых просевших углах, не глядя в отверстые потолочные дыры, откуда струился мягкий, особый свет месяца wrzesien'я и где стояла высокая и густая синева равнодушного неба... Старый Лешек прожил здесь всю свою жизнь — с тех самых пор, как появился в брацлавской округе. В этой спальне с проломленной в густую зелень стеной родилась пани Кристина... Родилась — для чего?.. И в срок свой вспомнилось прочитанное им в книге пророка Исайи:

«На земле народа моего будут расти терны и волчцы, равно и на всех домах веселья в ликующем городе; ибо чертоги будут оставлены; шумный город будет покинут; Офел и башня навсегда будут служить, вместо пещер, убежищем диких ослов и пасущихся стад, доколе не излиется на нас Дух свыше...»

Что было в нем кроме такого же опустошения? Зачем он пришел на это стылое пепелище чужой жизни и смерти, которые воплотились столь бессмысленно-страшно? Он чувствовал какую-то непонятную связь между собой и пани Кристиной, между отцом и старым Лешеком Свентожицким, связь между их смертью и тем полем, что осталось за ними, между Кристиной, пребывшей нетленною в памяти, и своей никчемной, маленькой жизнью, случившейся и продолжившейся до сих пор после того страшного и невероятного дня. Да и жизнь-то была и прошла как един день, — что он делал в тот день, чем занимался в день, что прошел, завершился и увенчался по достоинству своему этой непроглядной ночью узилища? Нечего вспомнить, не о чем пожалеть... Бродил привидением, без цели, без смысла по полям, перелескам и рощам, считая травы, стволы и комья холодной земли, бездумно, ничего не понимая, читал старые книги, припавшие пылью, и почти не заметил, как тихо умер отец, ополоумевший за несколько лет до того, остекленевший в каком-то ему одному ведомом ожидании. Пан Григор был его сыном, наследником, — и преображенная тень отцовского ожидания отразилась и в нем, ибо подспудно он тоже всю жизнь прождал обреченно чего-то — сказать ли по-детски? — может быть, чуда воскресения пани Кристины или поворота времени вспять, чтобы застыла недвижно эпоха короля Стефана, чтобы достиг слуха из-за непроницаемой грани слома времен звук единого победного клича тех среброкованных и златогорящих, мертвых уже легионов великой польской Короны, крылатых гусаров, похожих на воинство архангела Михаила, от которого в смятении и в восторге осталась навеки душа у него... И в этом чудесном, пронзительном воссоздании остаться ему молодым, сжимая в руке мягкую ладошку любимой...

Остаться, пребыть навсегда...

За ожиданием, схожим с отцовским бессмыслием и безмыслием, он не заметил, как вовсе остался один, — память, сознание обретали в его одинокой езде в унылых, распахнутых всем ветрам пространствах, — какой счет осени, года?.. — было ли это важно ему, если изо всех сил следовало жить и проживать то, что давно было изжито?..

Оставалась одна крошечная мечта, если можно ее так назвать, державшая его на плаву: хотя бы душу свою положить на войне, умереть, как подобает воину и наследнику древнего рода — с оружием в руках, во имя державы, за Речь Посполитую и короля Сизигмунда... За годы безмыслия и бессилия, истекшие с тех незабытых смертей, трижды исходил клич из Варшавы на посполитое рушенье[1], и пан Григор галопом несся в Брацлав, к старосте Струсю, с полным боевым снаряжением, с парой добрых сменных лошадей, с несколькими вооруженными слугами-гайдуками, и нес ночные дозоры в черных и непроглядных полях милой сердцу *ojczyznie*, с отцовским мушкетом стоял на брацлавской стене, вглядываясь в туманную далечину, откуда должны были наехать на Брацлав то татары, то волохи, то опять взбунтовавшиеся козаки. Но разноликий сей враг так ни разу и не дошел до Брацлава, разве что довольно давно, в детстве еще пана Григора, в 1551 году сильное разорение потерпел Брацлав от татар; хан татарский, говорил летописец о времени том, *«люди в полон побрал и, в неделю (воскресенье) спаливши замок и город, пошел назад»*. Все забылось быстро довольно, град отстроился и еще паче украсился каменными крепкими зданиями, — военные волны гасли где-то там, вдалеке, в Каменце-Подольском, под волынскими замками и крепостицами, — с помощью кварцяного войска во главе со славными коронными и польными гетманами. И посполитое рушенье здесь заканчивалось беспробудным дружеским бражничаньем в орендарских шинках или на поле в виду стен, где ежегодно проходили судовые рочки, — шляхтичи праздновали очередную победу. И после пан Григор возвращался в свой пустой дом.

Только теперь, без всякой оповестки на рушенье, он попал в козацкие руки. Ну что же, — смерть, если он все же дождался ее, не постыдна будет теперь, ибо добровольно вызвался он на соборе шляхты Брацлавщины дать достойный ответ мятежному русскому гетману и исполнил, как мог, дело отлучения горожан от этого бунта, — и будет с него. Если бы еще казнили его принародно на гродском майдане, под белокаменным новым костелом, — то лучшей смерти он и не желал бы.

В это время, когда пан Григор Цурковский лихорадочно и горячо шептал в темноте узилища своего молитвы к Деве Марии, генеральный судья Петро Тимошенко, глядя на сникшего под его взглядом упитанного униата-священника, мучительно старался припомнить, где и когда он видел этого человека.

«А ну, отче, — хмуро сказал судья, — заспивай пятидесятый покаянный псалом...»

«Зачем, пан превелебный?» — робко вопросил подпанок Хайло, не поднимая глаз на судью.

«Как — зачем? — сказал Тимошенко. — Кому же, если не тебе, знать о том, что заповедал Господь каяться нам во грехах своих ежечасно... Починай!»

«У меня нет грехов...» — промымрил подпанок Хайло.

«Вот как? — немало удивился судья. — Так ты, значит, янгол, а не человек во плоти! Так тем паче заспивай мне янгольским гласом, — когда еще вне церкви мне янгола доведется услышать?..»

«Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей... — зачастил фальцетом расстрига, — и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое...»

В глазах Тимошенка нынешнее облачение униата совлеклось и будто рассыпалось гнилыми кусками, — и он снова увидел того забытого за истекшим множеством дней человечка с запекшейся кровью на месте выдранной бороды, с обрывком цепи на грязной шее, который скребся по трупам из могилища в сердце степей, богомерзко в животном страхе волая... Блеснул во внутреннем зрении у него отчаянный свет и жар того дня, первого дня новой войны. И он сказал, будто бы отрицаясь от этого тяжкого, смутного воспоминания-видения, и произнесенное слово его было пресно и не властно над уже свершившимся, но не свершенным:

«Хватит, — и добавил, оземляя чудо жизни казненного по его приговору расстриги: — Вижу, жив сей псалом в твоей памяти дрянной, хотя и не хочешь раскаяться...»

«Хочу, пан судья!» — зачастил пьяно опознанный, добавляя к свидетельству памяти и строй своей речи.

Не слушая больше его, Тимошенко приказал вартовым призвать по особому делу гетмана, и когда тот пришел, мельком глянув в сторону перепуганного насмерть подпанка Хайла, сказал:

«Вот, Павло, крестник твой, — полюбуйся...»

Павло обернулся к стоящему в стороне, и, признав того видом, лицом побледнел.

Расстрига прижал к груди кулаки и упал на колени.

«Да, — выдохнул гетман, — узнаю этого человека... Но теперь...»

«Теперь?.. — не дал ему продолжить Тимошенко. — Разве ты не хочешь снова

[1] Посполитое рушенье — всенародное ополчение, преимущественно дворянское, во время военной опасности, как внешней, так и внутренней.

даровать ему его подлую жизнь?!..»

«Я не должен, судья, оправдываться перед тобой, — сказал глухо Павло, — но хочу только сказать, что этот человек ныне — твой, суди как знаешь о нем, но знай, что сейчас он достоин большего наказания, нежели смерть...»

«Панове... — бухнул лбом в пол подпанок Хайло. — Панове... Ну за что же меня — еще раз...»

«Пой пятидесятый псалом, — сказал Тимошенко, — а как споешь, отправишься под Струсеву ратушу на свиданку со шляхетским лазутчиком...»

«Помилуй мя, Боже, — недолго думая завопил расстрига, — по велицей милости Твоей!..»

«И кто из вас двоих останется жив до утра — останется жив и потом и будет отпущен на четыре ветра земных», — сказал Тимошенко.

«И по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое!..»

Открылась дверца со скрипом, прорезалась в который раз тьма серым и неживым светом, — пан Григор зажмурился, — значит, не спал, — но ток мыслей, чувств и наплывающих разрозненных воспоминаний нарушился отчего-то, словно нечто должно было произойти, и его жизнь здесь, в подземелье, на клочке соломы, закончится. Он расширил веки глазные в светлый проем, где кто-то стоял, разглядывая во мраке его, и прошептал пересохшими отчего-то губами:

«Что?»

И стоявший, а это был вартовой козак, сказал, как порешил о нем генеральный судья мятежного войска.

Ничего не дрогнуло в пане Цурковском, словно душа его давно уже омертвела и осталось одно только тело — жалкая и ненужная оболочка из мяса, кожи, сухожилий, костей, — но как же ему жить без души — и зачем?.. Вот, значит, какой будет она, его смерть, — сжалось сердце и трепыхнулось в глухом, кромешном отчаянии, — никакого майдана тебе, никакого прилюдного последнего подвига, что украсил бы отечественные хроники исторические, никакого доброго слова вслед уходящей к Богу душе, — а подлая, тайная смерть в этом адовом мраке кромешном... Боже мой... Но почему, — что-то сопротивлялось в нем, не до конца еще умершее и смирившееся, не до конца побежденное этой безрадостной жизнью без пани Кристины, без смысла и без любви, — почему должен *он* умереть?

Может быть — тот супротивный ему и неведомый поп-униат?..

И он — пан Григор Цурковский — разорвет на куски жизнь и душу неведомого ему человека? Вот этими пальцами — разорвет в кровавые клочья чью-то теплую, пред ним ни в чем не виновную плоть?.. Он — Григор Цурковский, наследник древней крови, ровесницы славных Пястов, — вот этими тонкими, благородными пальцами... Ведь таково условие, поставленное ему этими живодерами, нелюдями... И он должен воткнуть большой палец правой руки в живой глаз человека, добираясь до мозга, чтобы — убить?..

Боже... Боже...

Вот этот палец, извлекавший когда-то неземные звуки из *hurdy-gurdy* — колесной лиры, — в средоточие жизни, божественной и неповторимой...

Нет...

Для чего? Чтобы жить...

А жить — для чего?.. Чтобы снова вернуться в свой старый, холодный дом, налиться угорским и все позабыть...

Полноте — да возможно ли это?.. Возможно ли будет подобное позабыть?..

Для чего — ему выжить?..

Нет... Незачем это...

Пани Кристина, — чем моя смерть будет лучше и краше твоей?.. О, жестокий наш век, — ее, столь прекрасную и совершенную, — проткнули копьем со спины, — и меня — еще неведомо как, но тоже — по-варварски... И зачем, для чего судьба даровала мне эти долгие годы — после тебя, без тебя, — для чего?..

Чтобы так умереть...

А может, выжить сейчас, поправ кровь, честь и закон, — и после...

Что — после? Примкнуть к жолнерам, вступить в кварцяное войско, чтобы воевать с этими проклятыми козаками, с этой козацкой гидрой, у которой на месте отрубленной головы вырастают сразу две новые?.. Нет, не будет потом ничего... Не будет... Ибо отрицается жизнь у сотворившего подобное зло...

O, przeklety, проклятые!!! Почему!!! За кои грехи?!!

Может, все-таки...

Нет, — но тогда: *меня-на-куски-мой-глаз-пальцем-и-мозг-Боже-Боже...*

Нет!!! Нет!!! — корчилось в нем его существо, как бы уже отделившееся от косного естества, приуготовившись к истечению прочь, вместе с кровью, теплом, из

тела-узилища — прочь — к потаенно и неразличимо для глаза светящейся вечной жизни, к ее полноте и самодостаточности, к освобождению от бредовых сатанинских химер этого мира, называющегося жизнью текучей, чем неразумно дорожит человек, пребывающий до времени здесь...

Снова отворилась железная дверь — и тот, другой человек, который ни в чем не был пред ним виноват, вошел в темноту пана Цурковского.

«Я все знаю, — пан Григор с трудом вытолкнул из горла человечьи слова, — и готов...»

Еще удивился тому, что сказал: он — готов? Да какой внутренней силой и каковым духом надо обладать для готовности так умереть?..

И осекся: звуки были безжизненны и пусты.

Дверца закрылась уже, и узников объяла непроглядная тьма, в которой ничего было уже не рассмотреть.

Подпанок Хайло вытянул вперед сжатый до хруста кулак и ступил вкрадчивым мягким шагом на голос, подавившийся словом. Когда достиг подразумеваемой цели, ударил изо всех сил, утяжеляя удар разворотом массивного тулова, — но кулак, проницав черную пустоту, на излете врезался в стену. Хайло крякнул от боли и раздражения, но тут другой человек, которого Хайло обязан был убить ради того, чтобы жить самому, снова подал голос:

«Осторожно, добродею, — в сей темноте можно шею сломать...»

Добро делающий? — изумленный Хайло развернулся на голос и рухнул всем телом на пол, настигая вздрогнувшее слабое дело. Да, именно так: он призван делать добро. И для того ему необходима победа.

* * *

В этот день под стены Брацлава с ближнего поля, где обычно проходили судовые рочки, подтянулись шляхтичи известных и славных брацлавских родов. Еще многие из них почисляемы были русинами, удержавшими маетности в Брацлавщине с незапамятных времен еще Великого княжества Литовского. Это были славные князья Юрий Капуста, Михаил Вишневецкий, Василий Загоровский, братья Семашки, Григорий Сангушко... Також же с оными были и другие знатные русские люди — хорунжие, стольники, мечники, подсудки и писари, наследовавшие свои должности от предков своих: Дешковский, Шатко, Корнивицкий, Микулинский, был здесь и значный богатый земянин Винницкого повета Иван Черленковский. Но поляки, в избытке наехавшие после заключения Люблинской унии при короле Сигизмунде II Августе, когда два государства слились в династическом и политическом браке и возникла единая громадная Речь Посполитая, начинали уже преобладать, тихой сапой подминая под свое влияние православную шляхту: сыновья местных магнатов женились на прекрасных польках-шляхтянках, православное исповедание веры год от году размывалось, дрябло, и уже дети русинов не только становились католиками по завету своих матерей, но и вовсе забывали свой природный русский язык.

Съехавшее панство своего посланца Григора Цурковского не дождалось, а вести, приносимые выходящими из города по ночам, были весьма неверными и разноречивыми. Никто из шляхтичей не думал, что мятежников много. Напротив, один из дворян, живший поблизости, утверждал, что бунтовщиков не более сотни. В этом поддержал его и городской писарь Байбуз, имевший вроде бы достоверные сведения о том, что Наливайко вовсе бессилен, потому что во время последнего похода своего в Молдавию он потерял много людей убитыми, а по прибытии в Брацлав еще более того обессилел, вследствие отхода от него многих козаков по домам. Эти слухи шляхта приняла за действительность и решила подойти к стенам Брацлава, чтобы оружно расправиться с Наливайком и открыть в конце концов свои затянувшиеся судебные рочки. Паны рассуждали просто и незатейливо, что стоит только им подойти под городские стены и обнажить родовые клинки, как засевшая внутри горсть козаков пылью рассеется в страхе и ужасе пред неминуемой карой. Да и что они? — кто они? — перед ними, наследниками исчисленных знатных брацлавских родов, владетелями богатств и земель устремленной к славе могучей Речи Посполитой?.. Храбрясь и подзадоривая друг друга, дворянская молодежь гарцевала в воинственных игрищах в виду города; старики, познавшие жизнь до края ее, цедили вино из походных дубовых бочонков в серебряные братины и вспоминали прежние великие времена и победы, когда вся эта чернь с Запорожья знала свое место и предназначение, и не слыхать было подобного своевольства, — но ничего, мы еще разомнем старые кости свои в сабельной сшибке, — на углях кострища, истекая душистым жиром, подсмаживался цельный барашек на вертеле на вечерю в подкрепление сил.

Холодно синели снега.

Панство уже вволю насиделось и нагулялось по-холостяцки на земле брацлавского

хорунжего, подступавшей под городские валы, и некоторые уже разошлись почивать по шатрам.

«Завтра, когда возьмем приступом город, — сказал пан Микулашский, зевая во всю широкую пасть, — стребуем с пана старосты бочку мальвазии за вызволенье. То-то упьемся, панове!..»

Но и смеяться на набившие оскомину жарты,и потешаться над незадачливым, опозоренным старостой, проспавшим свой город, было уже лень шляхтичам. Кто-то равнодушно ответил:

«А козаков, кто не успеет унести ноги свои, набьем на пали[1], — кто там в городе кат-малодобрый[2]?»

«Малодоброго недолго найти, — ответил пан Микулашский, — а еще лучше — заставить исполнить сице какого-нибудь ихнего попа, — вот будет наука как мирским, так и духовным...»

«Да, тако и сотворим!..»

Костер дотлевал в оттаявшем круге черной земли.

От заката осталась багровая, неприметно сужающаяся и сходящая на нет полоса, — будто где-то там, на краю земли и человеческого бытия приоткрылось ненадолго вместилище грешных и нераскаянных душ, и отблеск этого прикровенного тайнозримого мира озарил розово бесформенные груды зимних уже облаков, идущих высоко над затаившимся городом, тронул усталые лица вооруженных людей, стоящих друг против друга со своим толкованием правды и справедливости. Сырой, тяжелый ветер, принесший неверную зимнюю оттепель, в открытом поле под городом пробирал до костей, и потому те, кто не успел еще скрыться в шатрах, спешили туда, под теплые меховые походные одеяла. На страже остался пан Микулашский с горстью чужих гайдуков, — они кружком сидели у затухающих углей и переговаривались о чем-то мелком, далеком... Какие-то пасеки в Калитницах, что-то еще столь незначительное...

В надвинувшейся темноте пан Микулашский вдруг ощутил, как отчего-то усилилась в нем смутная какая-то тоска, которой не было прежде, — открытый простор, затянувшийся ночью без звезд, дышал враждебно и угрожающе. Он думал о доме, оставшемся в отдаленном углу брацлавских земель, у Кучманского шляха, по которому время от времени прокатывались в Червонную Русь чамбулы татар, о тепле, напоенном запахами только его жизни, о любимой жене и подрастающих сыновьях и о дочери Агнешке, отразившей зеркально в себе материнскую красоту, — отсюда, из этого неуюта и холода ночи его неудержимо тянуло к ним, в ту тихую, прочную вроде бы жизнь, которой жили они все эти годы после Московской войны, — да, хороши судовые рочки для шляхтича, — ждешь их с нетерпением, как холостяцкого праздника, что длится около месяца, — встречи с друзьями, с ровесниками, знакомство с соседями из другого угла Брацлавщины, бражничанье и гульба, охоты на русаков и потешные сражения, — когда не столько решались дела (ну и они, конечно же, разбирались и разрешались, как же без этого), сколько все они душой отдыхали от круга привычных и насущных забот. Но вот — как все изменилось, хотя все они по видимости остались прежними, разве что на год чуть-чуть постарели, — и вместо заслуженного редкого наслаждения мужским воинственным братством и разговорами непринужденного свойства, они сидели в открытой степи под своим городом, куда почему-то не смели вступить. Но ничего, — нахохлившись и задрогши, бодрился пан Микулашский, отгоняя сонную одурь, и ему казалось, что и в этом их злострадании есть своя особая прелесть, — ведь сколько лет уже не приходилось им вынимать сабель из ножен, и отвыкли они от мужского занятия, стали как бабы: конюшни, семейный уют, свет и тепло родового гнезда на границе Червонной Руси... И теперь — такое приятное, можно сказать, приключение... Да, пора уже кости размять, душу проветрить... Благое ведь дело — освободить бедного старосту из мятежных когтей. Верно, мало будет стребовать с этого индюка единой бочки вина, — уныло и пустопорожне забавлял себя пан Микулашский, — надобно две...

Шляхтич встал и с хрустом в суставах потянулся, глядя во тьму. Он сделал несколько шагов от костра по малой нужде и в темноте различил несколько светящихся точек, медленно движущихся к ним, к дворянскому табору. Пан Микулашский, отряхнув сон, подобрался и решительным гласом распорядился разузнать, кто и зачем направляется к табору. Конный гайдук растворился в ночи.

Пан Микулашский, положа ладонь на крыж сабли, рассуждал про себя достаточно логично и связно: по его выходило, что противник, если бы то был именно он, не стал бы обнаруживать себя огнями во тьме, если бы вздумал внезапно напасть, и это, по всему вероятию, не вылазка... Следовательно, мятежники тайно оставили город, убоявшись завтрашнего приступа и последующей неминуемой расправы, и се, знать, радостные

[1] *Пали* — кол; набить *на пали* — посадить на кол.

[2] *Кат, малодобрый* — прозвище палачей в Речи Посполитой.

горожане спешат сообщить эту новость... Ну, что же, он вполне готов первым принять знаки признательности и благодарности от спасенных ими людей!.. Верно, там и староста Струсь шествует к ним...

Пока пан Микулашский проворачивал в голове эти мысли, воротился посланный им верховой и вполне подтвердил догадки пана Микулашского: к табору приближались выборные городские чины: войт, бурмистр и райцы с толпою мещан.

«А староста Струсь?» — спросил пан Микулашский.

«Его нет среди них, мосце пане», — ответил гайдук.

Вот что такое опыт житейский и войсковой, — удовлетворенно подумал пан Микулашский, — и без посланца я все это знал... А с чего бы?.. Может, по неведомому мне промыслу Господь открывает мне свои прикровенные тайны?..

Тем временем вартовые гайдуки отправились по шатрам будить значных дворян. Кто-то спросонья ругался, кляня почему-то несчастного старосту Струся с его приключением и толикой бездарностью. Взлохмаченные головы там и сям уже высовывались из походных шатров.

Пан Микулашский готов был шутить и произносить некие легкие словеса и далее, подтрунивая над незадачливым старостой, но внезапно в самом себе вспомнил-увидел нечто необычайное: свою Агнешку, отразившую в лике своем юную мать, его жену Молгажату, какой он любил ее еще в юности, — увидел Агнешку и рослого пожилого полковника-запорожца, — полковник это вроде как был атаманом каких-то козаков, — и он почему-то знал о том доточно и верно, хотя впервые видел этого человека, — так снова ему что-то приоткрылось таинственное и еще не произошедшее, обдавшее холодом, ужасом: в неких стенах, росписью схожих с церковными, дочь его и полковника венчал какой-то православный священник — и вооруженные люди в красных козацких жупанах держали над их головами венцы...

Горечь и ужас поднимались в душе у пана Микулашского, а вокруг длилось то, чему суждено было вскоре закончиться, и наступить этому, что нежданно-негаданно увидел в себе... Хотя, — спасительно и облегчающе забилась мыслишка, — это фантазия некая... Мало ли что привидится ночью без сна... Что из нее?.. Не следует быть столь суеверным, — да и как, если размыслить, дочь моя, сохраняемая крепко в семье, возможет соединиться с каким-то полковником-стариканом, или кто там он есть... Да и есть ли, — беда какая со мной — привидевшееся мню сущим...

И уже весело, забыв почти обо всем, вытолкнул из себя некие сугубые и ненужные словеса, обращенные к шляхтичам:

«Что, панове, добре повоевали во сне?.. Сворачивайте шатры и сбирайте приладье свое, — досыпать будем в городе, а старостину бочку мальвазии почнем распивать прямо с утра!»

«Что случилось, пан Микулашский? — спросил некто. — Ты столько слов говоришь, что не пойму: враг, что ли, движется или староста Струсь бочку вина катит к нам для сугрева?..»

Горожане, пришедшие из Брацлава, двигались уже между шатрами. В их руках помигивали свечные закрытые фонари. Никто из них не произнес ни слова, — это показалось странным пану Микулашскому, и он открыл было рот вопросить их о городской справе, как из темноты негромко хлопнул выстрел семипядного самопала, и в остаточном движении мысли, воспоминания и предчувствия, невесть как соединившихся в нечто единое, пан Микулашский обреченно вдруг понял, что сей выстрел был предназначен ему, и теперь всему тому предначертано сбыться, что увидел в себе он нечаянно, будто бы близкое и неотвратимое будущее коснулось его прежде свершения...

Пуля вошла глубоко в его горло, предварив и прервав звук последнего слова, обсыпав полость рта горячими осколками раскрошенных ударом зубов.

Венец, серебряный венчальный венец над русыми волосами Агнешки... Быть по сему...

Руки пана Микулашского взлетели к лицу, и в мертвых уже блестящих глазах, устремленных во тьму его будущины, застыла даже не боль, ибо она не успела захлестнуть его естество прежде смерти, а некое оглупленное изумление, — и он грузно осел прямо в угли кострища, подняв облако легкого серого пепла и искр.

В ту же минуту в круг света вступил высокий и видный собой черноусый козак в богатом жупане, покрытом парчой, подбитом московскими соболями, в собольей же шапке, с богатой домахой, ножны которой были уставлены смарагдами и кроваво взблеснувшими рубинами. Он тяжело посмотрел на онемевшую шляхту и сказал за спину, в темноту, слегка обернувшись:

«Хорошо бьешь огненным боем, Саула...»

«Обычное дело, гетмане...» — ответил из темноты атаман одного из запорожских куреней.

Павло Наливайко, окинув еще раз взором полуодетых дворян, сказал тому же Сауле:

«А этих стрелять не надо... Пусть останутся жить... Пусть погуляют с голыми жопами...»

Тем временем табор наполнился шумом, треском и криками. Кое-где хлопали выстрелы, звенела сталь сабель. Однако дворяне не сопротивлялись наезду нисколько, ибо пребывали в состоянии некоей оглушенности, оцепенения. Шум исходил от брацлавских мещан, которые подбадривали себя воинственными криками на разгром и грабеж. Один из горожан тузил кулаками животастого шляхтича, — тузил без ненависти, но в каком-то холодном осатанении, — ведь шляхтич из Кобыленского имения Збигнев Кронковский не сделал ему ничего, да и знакомцем был давним, ибо в Брацлавщине не так уж и много было значных людей, если не считать посполитое *быдло*, и все знали друг друга довольно-таки хорошо. Верно, встречались на ярмарках, обсуждали цены на лошадей, на воск и пшеницу, — и вот, в годину несчастного бунта все человеческое отменялось и вменялось в якобы не бывшее... Другие уже грабили шатры, тащили со столов драгоценную утварь, серебряную посуду, дорогое оружие. Один из шатров подожгли, ибо фонарного света едва хватало для опознания своей законной добычи — по праву войны и нежданной победы. В подожженном шатре оказался не успевший проснуться шляхтич, который едва не погиб в огненных муках. Мещане-расправщики сжалились над ним, вытряхнув голышом из мягкой перины прямо в снежный сугроб.

«Ничего, — смеялись они, — после жара не замерзнуть тебе!..»

Козаки же, исполняя наказ гетмана, освобождали от гнета мягких одежд других шляхтичей. Паны покорно сбрасывали свои медвежьи шубы. Но один из юношей все-таки пытался не даться, — его жестоко выпороли нагаем, помяли кулаками и выбросили в темноту.

«Что делать с этим банным народом? — спросил у Павла куренной Матвей Саула, — Отпустить ли с миром отсель?»

«Да, пусть идут, — сказал на это Павло. — До усадьбы хорунжего Корнивицкого здесь недалече... Не успеют замерзнуть...»

Но никто из отпущенных не поклонился в благодарности запорожскому гетману, — голые шляхтичи, прикрывая срам свой ладонями, оставались в душах своих непреклонными, — гетман знал, что даже смертью не сломить эту шляхетскую гордыню. Ну, пусть им... Такими они уродились — и сего не исправить.

«Прочь!» — махнул он рукой. И шляхтичи, пятясь и озираясь, растворились в темноте.

Павла не удивляло здесь ничего, — ни легкая кара оставшимся жить, ни смерть застреленного от руки атамана Саулы, — все это было привычно, обыденно. Он не чувствовал даже ненависти к этим голым, дрожащим от холода людям, по естественному и понятному праву вооружившимся на него и на козаков, — и разве могло быть иначе? — ведь он начал эту войну не так просто, ради добычи или ради обиды, — хотя, конечно же, и таковыми отчасти были причины: нужна и добыча для прокорма толикого количества восставшего люда, есть и обиды — куда же без них, — ведь они живут в жестоком, безжалостном мире, исполненном разнообразного произвола от сильных и значных, — да и потом, так устроен земной человек, что осыпь его дукатами золотыми, все равно найдется место в душе его для черной зависти, для обиды, для гнева, — но ныне, — думал Павло, — в преобладании даже не понятные обиды людские, не жажда дукатов и дорогого оружия, но нечто гораздо более существенное: покушение на сами основы их праотеческой веры — через бесовской сговор русских епископов против безгласного и мало что понимающего посполитого русского люда. И эти опозоренные голые шляхтичи из длящейся сегодняшней ночи были обычными и знаемыми людьми, и каждый из них имел свое собственное лицо, свою жизнь, — и как их было этой жизни лишать? — и он, превозмогая себя, преодолевая простую логику преобладания и превосходства силою и удачей, обошелся с ними по-человечески, хотя, вероятно, должен был их казнить смертью. Но... В том-то и суть, что и они, как и он со своим войском, — они совокупно-едино — подданные государства Речи Посполитой, самого крупного государства современной Европы, «державы без вогнищ», как называли Речь Посполитую европейские хроникеры. Он усмехнулся: где она ныне, эта *держава без вогнищ*, в каком сне золотом о былом мире между народами, ее населяющими, осталась она? Европа погибает уже целый век в огне религиозной войны между католиками и протестантами, эмигранты тысячами переходят границы, спасаясь в Польше и в Литве от слепой ненависти «воинов Святого Креста», — но теперь, похоже, пробил час и самой Речи Посполитой, — запоздало, странно, с этими благими намерениями о «соединении» по завету евангельскому, — но известно, что намерениями таковыми вымощена дорога в ад. И разве то, что сплетают сетью наши епископы в Белзе и в Бре-

сте, не сатанинская усмешка над нашей *державой без вогнищ*?.. Но как остановишь это сползание в бездну гражданской войны? Силой? Сила ничего не решит, но только усугубит и умножит взаимные неудовольствия и даст новые поводы к бесконечному мщению. Приползти на брюхе к папской туфле — и что? Будет мир и покой?.. Ну, конечно... Вон что творится в Европе, в Париже, в Швейцарии, на землях цесаря Рудольфа... Потому — пусть бредут голые шляхтичи по землям хорунжего Корнивицкого, — синие, жалкие, обливающиеся соплями, опозоренные, — но пока что живые. Пусть живут до своего срока. Потому что неведомо, что ждет нас завтра. Смущало Павла то, как мещане брацлавские, еще вчера бывшие столь законопослушными старосте Струсю, сегодня самозабвенно и безоглядно грабили табор шляхты, — и это было как сон, — войт, бурмистр, райцы, Роман Тикович-Тищенко тот же, возглавивший горожан и открывший войску городские ворота, — статечные, уважаемые в Брацлаве люди... Они всю жизнь знали тех, кого грабили ныне, жили бок о бок многие годы, — неужели можно вот так просто отнять у дворян эти чаши, тарели и прочую дрянь, и неужели эта добыча останется им навсегда?.. Что происходит с людьми — в смуте, в мятеже, — когда на время отменяются простые общественные законы?.. Люди будто бы сходят с ума... Да, они были законопослушны, — думал Павло, — соблюдали по мере своей заповеди жизни во Христе, оказывали почет городскому главе, гетманам Короны и самому королю, тяжко и надсадно работали, достигая земного благополучия и земного устроения для себя и для близких своих, — и вот возникшая смута и начавшаяся в смуте война преобразили на краткое время их внутреннее устроение, и тяжко добытые, выпестованные добродетели по соблюдению заповедей осыпались пожухлой листвой в кровавом безвластии и неправедной вседозволенности, — и лица их ныне вовсе не похожи на человеческие... Что это? Месть? Прорыв затаившейся долговременной боли? Расплата за многие десятилетия и века унижения? Гнев за попранные святыни? Если это, допустим, и так — то какое отношение имеют к этому шляхетские кубки-тарели?.. Или непостоянное существо человека, втянутого в водоворот выпавшей на долю его государственной смуты, преображается в корне — и так забывается Бог?.. Да. Добыча... Как без нее?.. И у него самого есть заветный бочонок, закопанный на Мушиной горе близ Терехтемирова, над Днепром. Но добыча добыче рознь, — и разве добыча в бою отменяет хоть в чем-то божественное мироустроение сущего?.. Или жители града Брацлава полагают, что козаки останутся здесь навсегда, устроят свое малое государство или повет и он сядет на место старосты Струся, а на Брацлавщине или в целом на всем Подолье, согнав прежних владетелей — всех этих Дешковских, Шатко, Корнивицких, Микулинских и прочих, насадит своих полковников и куренных атаманов? Тут бы улыбнуться ему, но где-то в потаенном месте души засквозила холодная тихая боль, и с непреложностью встало то, о чем думать ему не хотелось: да, взят этот город, столица Подолья, — и жгли книги они в изразцовых печах замка, разбивали и драли с треском массивные переплеты, отрывали верхние доски фолиантов, обтянутые гладкой коричневой кожей, отодрав прежде серебряные украшения книжные, — эти доски от книг тоже летели в очаг; козаки рассматривали невиданные затейливые печати на грамотах, вертели их в заскорузлых пальцах своих, бурых от османского табачного зелья и пороха, кто-то брал эти восковые пустяки для подарка своим подкозачатам на хуторах близ Полтавы и Градижска — когда завершится война и они вернуться домой, — грамоты и владельческие бумаги тоже летели в огонь следом за книгами, — и так исполнялся вековой запорожский обычай уничтожать все без остатка *писаные права*; собор, захваченный униатами, снова стал православным, — прежний клир был бит батогами и изгнан из города; Тимошенко производил дознания и поиски монахов-иезуитов, которые исчезли из города еще даже до подхода козаков под стены Брацлава, будто их и вовсе здесь не было, — да, все это было уже и минуло, — думал Павло, сидя среди разоряемого мещанами и козаками табора шляхты, — но что же дальше? Идти в другие города родины и так же изгонять прочь униатов и шляхту, жечь писаное, дабы не оставалось следа на земле от неправедных купчих и жалованных королями грамот, ибо одно есть право на свете — право родины, рода, живущих по божественному устроению... Но и это — только досужие словеса, трактуемые вольно в любую сторону — и вправо, и влево... Но дальше, — возвращался мыслью к насущному, — что дальше?.. Будут еще города, исправят козаки на свой лад и обычай еще несколько сотен заблудших и разуверившихся на лад православный, наберут еще бранных надбанков, зароют добычу в потаенных байраках и схронах, и от того, что довезут через смятенные земли до Сечи, треть *«от всякого меча и весла»*, по обычаю войсковому, дошедшему до них от времен самого равноапостольного князя Владимира, пожертвуют на церковь Покровы Сичевой и на самарские монастырьки, где покоят давние раны свои столетние, зажившие век свой на сем белом свете запорожские стариканы... Дело это как бы сдавалось обычным. Может, и было оно таковым — но не теперь. Ибо война, которую он начал, — он ощущал непреложно,

— была не простой домовой войной, не просто походом за легкой поживой и не простым воинским бахвальством и похвальбой неуемностью запорожской, но чем-то отличным, другим, безвозвратным по току грядущих событий, — было началом осуществления чего-то такого, что не вмещалось в его разумение и в его понимание окружающего мира и устройства его. Но разум-хитрец изыскивал привычное и понятное: да, после кровавой гульбы и пожаров надобно будет притечь к королю Сигизмунду с покаянным листом, отречься от вин, на него возводимых, и обвинить в сем вооруженном движении по Руси-Украине мятежных епископов, ладящих сговор с костелом, наипаче же обвинить Кирилла Терлецкого и Ипатия Поцея, этих верных слуг короля Сигизмунда и папы Климента, и не только обвинить лжеепископов сих, но истребовать полного и всецелого уничтожения в Речи Посполитой скверны сей, унии, — и примириться, конечно же, с сеймом, с панами и с королем, — отойти к Днепру, сесть в Чигирине, в Терехтемирове или на Хортице и привычно выходить оттуда с козаками по зову из Варшавы в войсковые походы на турок, на волохов или на московитов... Все вернется на круги своя... И будет мир и покой и в человецех же благоволение...

Да... Хорошо бы... Но сему никак не бывать...

Все понималось отчетливо, с некоей бесконечной печалью, и он был бессилен уже что-то исправить и отменить, — некая мощная и всевластная сила влекла его и множество вооруженного люда в свершение неведомых им до поры обетований, в сотворение того, что уже позже гораздо назовется историей. И он мог только покориться сей силе, раствориться в ней без остатка, стать одним из эонов ее...

Он вздохнул, встал натруженно и тяжело, — усталость давила надбровья, больная кровь тупо толкалась в виски, — длилась эта война, смешанная с его бессонницей, болью и высоким, недостижимым в осуществлении устремлением к милосердию, — поднялся и пошел по скрипящему снегу во тьму, к стенам Брацлава, оставляя за спиной гомон и разгром шляхетского табора, отсветы горящих костров и дотлевающего остова сгоревшего шатра, перекличку голосов, всхрапы и ржание стреноженных лошадей.

Длилась глухая полночь и до света было еще далеко.

Когда был подкозачонком, зимними вечерами дед Наливай рассказывал ему, что в полночь такую великое сонмище бесов собирается на свой подлый шабаш, — и ежели в пути полуночном попадется им бодрствующая душа человека, они набрасываются на нее, искушая блеском видений, призраками мечтаний, — помни, внуче, о сем и, бодрствуя — бодрствуй...

Господи! Господи!.. — воскликнулось немо в душе. — Доколе же быть сему странному раздвоению, когда я, в стремлении к деланию добра, делаю зло, — и вот, сидя в сем городе старосты Струся, у меня уже зудят руки все это сжечь к бесовой матери и уйти с войском в открытую степь и забыть обо всем, отдавшись новому промыслу...

Шел, изредка спотыкаясь о припорошенные снегом мерзлые кочки, и за ним следовал в отдалении, поскрипывая в шагах, кто-то из гайдуков, и он кратко подумал еще, что как неразрывно, до налета пули шальной или взблеска сабли врага, сопряжен он с каждым, идущим в следе его, здесь и сейчас и в завтрашнем дне, и возвратился мыслью к городу, к странному желанию своему все здесь предать огню — и бежать...

Бежать?..

Но разве беглец он в своей кровной земле?.. Бессмыслица какая-то, Господи... И что-то дремучее, черно-лохматое, древнее, неистребленное до конца шестью последними столетиями жизни народа, выпрастывалось в душе у него, и вокруг лежала ночная безвидная тьма, скрипел снег ранней зимы, или поздней осени, мерцали огни за спиной и скрипел в следе гайдук, воздух холодил губы и щеки, пробирался сквозь мех жупана к груди, к сердцу его, где вздымался другой человек — черный, осклизлый от древности, жуткий, чьими глазами он смотрел иногда на огонь, в котором корчились обугленные фигуры врагов, — часто, о, часто, как ни прискорбно, были они единокровными его, козаками и даже былыми друзьями, — но ничего не изменишь теперь, — ничего... То же древнее, изначальное, дикое было в нем, когда по наказу его воздавалась достойная смерть крымчакам за наезды, — и в разоренном горящем ауле козаки отрывали от матерей татарчат, бросали меж досок на землю и прыгали что было мочи на верхнюю доску, давя... Из-под доски, на коей каблучился дюжий детина, слышался слабый костяной хруст, — у расплющенных трупов лиловые черви кишок вылезали меж ребер... Да, таков был их век — простой и жестокий, — и в нем надобно было выжить и выстоять, ибо не они выбирали его, но век — избирал их, призывая из вневременной бездны и тьмы, наделяя земною судьбой. Жил, стремясь сохранить нерушимые заповеди, преподанные мятущемуся человечеству в божественной книге, — и что же?.. Ныне душа его отягчена не только сегодняшним, но и тем, что сотворил он в неправде вчера. И вот, пока скрипел по снегу к Брацлаву, вспомнил и вину свою давнюю пред Запорожьем, и особливо же пред покойным гетманом Кшиштофом-

Федором, — вспомнил ту вологую и теплую зиму 1592 года, сырые ветра в открытом поле под Пятком, пористый снег, в который по брюхо проваливались кони тогдашних мятежников-запорожцев, — и он, нынешний предводитель козаков, тогда стоял противу них, на стороне владетельного князя Острожского, своего господина, — целую неделю продолжалась та битва, о которой бы ему хотелось сегодня забыть, — и ныне он малодушно старался подавить в себе эти тягостные и постыдные воспоминания, но память, как туго слежавшийся пергаментный свиток, разворачивала перед мысленным взором его: пористый снег той зимы и наплывающие в движении серые, омертвелые отчаянием лица, — его рука легко сжимала тогда крыж сабли — перед взмахом, пред тем, как развалить ей крепкой своей полосой голову запорожца, чьего имени ему никогда не узнать... А если бы и узнал его имя? Что из того? Молился бы о нем в заупокойной молитве?.. И он пытался припомнить из этого недавнего, но, по сути, уже такого далекого прошлого хотя бы тень ощущения неправедности своей или неправоты, но ничего, кажется, не было в нем, кроме всегдашнего задора, кроме щекочущего азарта, — как всегда, когда он играл в эти смертельные игры. Он лишал жизни братьев по плоти, по вере и по общей судьбе, — и это не было в ту пору чем-то диким и страшным, и он не усматривал в этом никакого противоречия, ибо, наверное, многого не понимал и не чувствовал, пребывая в духовной слепоте и видя лишь то, что лежало вблизи и не простиралось в завтрашний день. И разве это было единожды?.. О, если бы случилась в судьбе его только та битва под Пятком... Как ему теперь — хотя бы перед самим собою — искупить эту провину?.. Но год, а тем более два, минувшие с той поры, равны целой жизни на этой земле, и ощущение мира, каковое пребывало в душе и сознании, изменилось, — словно отверзлись духовные очи, — и те, с кем стоял он под Пятком в войске молодого князя Януша Острожского, ныне пребывали в лучшем случае сторонними наблюдателями или же супротивными. А другие, кого он рубил без пощады и гнал в домовой Острожской войне 1592 года, стали ныне сподвижниками. Да, такова реальность жизни под этими небесами и в этом вот времени. Но прежде — ему пришлось принести покаяние за Пяток и не только церковное, но и войсковое — перед Великим Кругом на Хортице вкупе с огромным табуном из 1600 отборных лошадей, подаренных Кошу в знак искупления вины перед Запорожьем, в знак своей дружбы и искреннего расположения. Это произошло после первого похода в Молдавию, когда он огнем и мечом прошел по тылам турецкого войска, помогая в Угорской войне австрийскому императору Рудольфу II. На это дело благословил его тогдашний патрон Павла старый князь Василий-Константин Острожский, а также — тайно, во избежание открытого противления — и коронный гетман Речи Посполитой Ян Замойский, с коим он письменно снесся, предложив ему действовать против крымских татар, которые должны были пройти через земли Короны для соединения в Уграх с несметным войском Амурата-султана.

С двумя тысячами собранной вольницы, среди которой было множество разношерстного темного люда: порой смертоубийц и насильников в прошлом своем, отпетых разбойников и сплошь беглецов от закона, баннитов[1], Павло задумал уже отложиться от старого князя, используя воинское приключение — татар, прошедших в июне через Покутье, — как достойный предлог. Но татары благополучно обманули его драное тогдашнее войско, пройдя путями иными, но и вольница не осталась в накладе, добравшись до Требовля по татарским следам и безжалостно грабя земли волошские. Этот поход принес добычу ему в четыре тысячи лошадей, половину которых он отдал Запорожскому Кошу по своей прошлой вине 1592-го года.

Еще до похода того Павло чувствовал нечто значительное и судьбоносное в грядущих вскорости днях, — потому и смирился внутренне с вольницей черной и голытьбой, прибившейся в войско, которые собрались не столько воевать, сколько грабить. Но и грабежи умирили бы вольницу только до поры, — и если ты, предводитель толикого числа подобных непотребных людей, в чем-то обнажишь слабину, эти люди без зазрения совести разорвут тебя в клочья. И он знал, как рисковал...

И после, предложив козацкому Кругу, черной раде Запорожского стана сложить на радном майдане свою саблю и оправдаться от возводимых на него обвинений за дело под Пятком, где он возглавлял шесть сотен конных копейщиков, решивших исход затянувшейся на неделю битвы в пользу молодого Острожского, когда по попущению Божию и произволению Его погибло до трех тысяч мятежных козаков Косинского, Павло тоже знал, чем рисковал. Посол императора Рудольфа II Эрих Лясота, ведший переговоры с запорожцами об их участии в Угорской войне, в своих записках свидетельствовал следующее: посланцы Павла, пригнавшие в Запорожье огромный табун лошадей, передали низовым его лист, в коем он предлагал отрубить

[1] *Банниция, банниты* — изгои Речи Посполитой, лишенные гражданства и всех прав по приговору судов. Вечная баннициия позволяла каждому старосте, в юрисдикции которого найдется баннит, задерживать его и карать смертью.

ему голову его же собственной саблей, ежели честное рыцарство низовое найдет его оправдания недостаточными. Однако он надеется, что козаки низовые удовлетворятся его объяснениями и признают их основательными и навсегда будут считать его своим другом и братом, ибо, что касается прошлого, то он состоял на службе у киевского воеводы еще раньше, чем запорожцы вступили в конфликт с Острожским; когда же возникшие между ними недоразумения окончились домовой войной, то уже собственная честь не позволила ему оставить воеводу, своего господина, которого хлеб он ел задолго пред тем и в службе которого состоял с давнего времени, почему и принужден был сражаться за его интересы против его врагов. А брат его Дамиан, как всем известно, священник и настоятель церкви в Остроге во имя святителя Николая, до сих пор духовник старого князя и питает от хлебов княжеских их старую мать и сестру... Что же делать теперь?..

Но воистину, единый год равен здесь жизни, думал Павло, а тем более — два, — и свершилось чудо прощения, или забвения, морок и ненависть козаков за дело под Пятком рассеялись, — мертвых запорожцев было уже не воскресить из братской могилы и следовало жить дальше, — и никто не потребовал моей головы, никто не захотел отомстить мне за Острожскую домовую войну или, может быть, за те два года никого из участников ее уже не осталось? И все выбиты были или от ран умерли за эти два года, в которые я изменялся, становился другим? Да, это скорее всего... И с тех пор я тоже старался забыть и не вспоминать, как стоял в копейных рядах молодого Острожского, изготовившись к смертному бою, а потом — колол и рубил, рубил и колол... Как врагов — запорожцев...

Снег под копытами пенился кровью тогда...

Мне кажется иногда, что это всеми забыто, и мною тоже — крепко забыто, потому что невозможно все это помнить и принимать в свою душу, — ведь столько дыма вознеслось уже в небо над нами, и сонмы безвинно загубленных душ, озера крови пролились понапрасну, и не поминаемы мертвые, ибо некому их поминать по церквам, — и как, как запомнить тот злосчастный Пяток?.. Но знаю, — холодно, равнодушно чеканилось в нем, — знаю, что заблуждаюсь и обманываю себя, ибо, ступив шаг из тьмы безвестности в пятно света хроники, или истории, все мне будет припомнено, и не забудется мне, и не простится, даже когда я умру, — какой бы ни была моя смерть... И все-таки — какими светлыми, почти что счастливыми были те воистину судьбоносные дни, когда после первого похода молдавского он примирился с запорожцами и был вскоре избран генеральным осавулом над влившейся в запорожское воинство своей волошской вольницей... Кошевым атаманом в тот год был Григорий Лобода — с ним вместе и продолжили они походы против татар...

Понемногу светало: подсинилась небесная тьма, отразившись в снежном просторе. Далеко позади остался гомон разгромленного и подожженного дворянского табора, и вокруг снова стыла морозная тишина. Перед ним темнела и дыбилась в небеса крепостная стена, и за ней досыпал захваченный, отобранный у старосты Струся город. Он войдет в дом, построенный старостой, отогреется у изразцовой печи ему не принадлежащим теплом, может быть, выпьет чарку вина из не ему принадлежащих запасов, — ляжет в чужую постель... Все чужое... Жизнь его словно и не его, но взятая взаймы, — как тут не помянуть святого апостола Павла с этим его: *«Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие»*... И нет радости в нем... И неоткуда ей взяться... Должно быть, он начал стареть...

В верхних покоях дворца королевского старосты Струся, не снимая одежды, он прилег на высокое пышное ложе. Сквозь разноцветные стеклышки оконного плетива просвечивал тусклый свет утра, — минула, как и все прочее, ушла в прошлое бессонная ночь, но при всей усталости его и душевной опустошенности спать Павлу не хотелось, и память, разбуженная и ослепленная миготливыми огнями войны, теперь мучительно прозревала в истекших видениях, — и отчего-то припоминался теперь второй его поход в Молдавию: даже ноздри его, казалось, вновь уловили тонкий, страшный запах горелого человечьего мяса, — да, чего там не было только после того, как он взял приступом и обратил в пепел Тягин... Тимошенко, нынешний генеральный судья, присоветовал ему распустить козаков небольшими загонами по нижнему Бугу и Пруту, — тогда и началась гульба во всю ширь запорожского войскового обычая... Дым, замешанный на запекшейся крови, стелился над гладью воды Буга и Прута, першил в горле, замутнял взвесью кровавой разум его... И это было так страшно, так дико — даже ему, повидавшему много всего на веку. Жестокость, свирепость и беспощадность тогда были таковы, что у хронистов и самовидцев похода того не находилось слов подходящих, чтобы все это описать. Уже много спустя, в других временах, досужие справщики подсчитали, что его козаками было сожжено и разграблено свыше полутысячи татарских и турецких селений на берегах этих двух рек и взято в полон до четырех тысяч «обоего пола турецкого и татарского ясыря».

Но в оконечности войсковой этой затеи удача (или все-таки это было им наказанием за жестокость?) отвернулась от них, и на переправе через Днестр козаки встречены были молдавским господарем Аароном с семитысячным войском, который и отгромил у Павла всю добычу. Множество козаков были убиты или утонули в Днестре.

«Смотрите! — кричали молдаванам разгневанные козаки, дышавшие еще убийствами на берегах Буга и Прута. — Мы сделаем вам еще пакость! Даем вам рыцарское слово!»

В отваге и злости премногой, в Брацлавщине, он, не распуская войско свое, снесся с Григорием Лободой и с его «чистой породы низовцами», — и к осени, в числе двенадцати тысяч вооруженного люда, с сорока хоругвями войсковыми, две из которых украшены были наградными за прошлое дело серебряными орлами цесаря Рудольфа II, они снова переправились через Днестр под городишком Сорокой и ступили на молдавскую землю. Толикой навалой учинен был промысел над молдаванами и сдержано было козацкое слово: они разрушили и сожгли крепость Цецору и у Сучавы настигли господаря Аарона, — господарь едва спасся с малым отрядом в Волощину, тем самым как бы отдав им страну свою на потраву и конечное разорение.

Как оправдать меру войны?.. Где отыскать предел мести?.. Когда следует остановиться разящей руке, творящей возмездие?.. Он думал о сем иногда, в редкие тихие дни, когда глаза видели чистое и ясное небо, — предвечное небо, предвечное светило, стремящееся с востока на запад, видел землю, на которой тяжело работали посполитые, — и в этой видимой жизни ощущал как бы высшую правду, замешенную на кротком смирении и нестяжании, и он думал тогда о детях своих, о жене, пребывающих на украинных землях в сердце Волыни, — в этой обманчивой тишине, после похода и перед походом другим... И завтра — тоже будет другое, отличное от полевого труда, от теплого солнца, неспешно катящегося по извечному пути своему, озаряя сей яростный мир, в котором им суждено провидением и судьбой лететь на добрых конях, переправляться через могучие реки, заседать в потаенных засадах в чужих неизведанных и враждебных пределах, испытывая на собственной шкуре холод, голод и ненависть, и сражаться с супротивными вооруженными толпами, и предавать чужие жилища огню, отлавливая и арканя разбегающихся иноязычных людей...

Да, тешат сердце серебряные орлы, жалованные императором Рудольфом II за отвагу и храбрость, тешится и душа этой славой о козаках, что гудит по сопредельным державам, — и гнутся бескостно спины послов от европейских властителей в просьбах о помощи, о войне, о защите на рубежах от Амурата-султана, от Крыма, от волохов... По обычаю своему войсковому и по особливому складу соборного характера своего, козаки редко отказывались от участия в сварах, превыше полумесяца поставляя крест византийский, — и вот, после того как они с Лободой взяли приступом новым оружно земли господаря Аарона и большие опустошения людям и маетностям тамошним причинили, замки и города волошские сожгли, а самые Яссы, где молдавские господари обыкновенно резиденцию имели, в пепел обратили и после этого благополучно назад воротились, имея в виду после похода в Волощину предпринять поход и против собственных мятежных епископов, и — *«на Польшу»*...

И в этой странности, на которой уловил он себя, замерло его сердце: что с ним случилось? Что происходит? Ведь без особой нужды он никогда не вспоминал изжитое время, ставшее безвидной тьмой за плечами его, — и не поминал никаким словом походы, — а сколько он их совершил под разными гетманами, под разными войсковыми хоругвями, в разных полках и даже в тайных разбойничьих шайках-ватагах?.. Зачем ему память об этом?.. Разве что к старости кратко оповесть сыновьям, — но они ко времени немощи и бессилия его давно станут воинами, и им хватит с лихвой своих приключений, побед и невзгод... Значит — внукам... Эко куда нелегкая тебя занесла!.. Он даже усмехнулся, лежа с прикрытыми веками на пышном ложе старосты Струся, — какие там внуки!.. *Ведь это он сейчас чувствует смерть,* — всегонавсего смерть, — тень ее бродит за стенами города, в открытых полях, куда он завтра стронет козацкое войско, — но и здесь, в этом опостылевшем граде если остаться, — и здесь не дождаться внуков тебе... Ведь памятование сегодня этих молдавских походов, которые утвердили имя его и значение в соборе рыцарей низовых, — вроде высокой тени летучей под солнцем, предвестницы тяжелых низкобрюхих туч грозовых... Он распознал сию предвестницу бури, — что же теперь?.. Ведь не в его силах остановить время, и день, и грозу... Но усталому мозгу его не хотелось уже разворачивать этот памятный свиток — и он, озаренный преломленными в цвете утренними лучами, уже спал посреди тягостных своих размышлений, и будто эхо звучало глубоко в теле его и в душе, обмирающей забытьем сна, нечто остаточное и недорастворенное, что ныне он, черный и страшный внутри, каковым знает себя, но в то и мало ведь верит, по промыслу и по попущению свыше, внешне одеян светом и наречен Церковью —

сыном ее и защитником, — и все прощено будет ему, *прощено*... И больше ничего он не слышал, не знал и не видел до тех пор, пока не проснулся под высоким солнцем зрелого дня.

Стоя на молитвенном правиле перед походным складнем-иконой, Павло вдруг ощутил, что место сие, исправленное по козацкому разумению, стало как бы опустошенным, изжитым, и во вспугнутой памяти больше не было ничего — ни прошлого, отдаленного временем, ни того, что произошло этой ночью. Высверкнуло дальним огнем, слабо, почти что неощутимо, что громили и пожгли табор шляхетский и кого-то Саула застрелил там из семипядного самопала, — отблеск огня поглощен глубиной открытого неба. Следы пролитой крови затоптаны в месиве снега. Дым снесен тугим ветром и развеян бесследно. И он чист и спокоен...

«Доброе утро, гетмане!.. — сказал ему пришедший генеральный судья Петро Тимошенко. — Хорошо ли спалось после ратных трудов?..»

Павло только рукою махнул:

«Это ли трудами наречь?..»

Тимошенко вздохнул:

«Да, Павло, без настоящих трудов зреет бездельное нечто, — люди не знают уже, чем заняться. Не ровен час — пойдут громить шинки жидовинов и заливаться дармовой чикилдухой, — а ведь всегда, сколько помню и знаю, в походах смертью карался тот, кто прикладывался к орендарской красауле с вином».

«Да, брат, это так».

«Ныне же — от толикого здесь пребывания, когда все уже совершили, что надо было нам совершить, нам нечем больше заняться...»

«Стронемся скоро, Петро. Не торопи рассуждения...»

«Нашли, гетмане, близ кузни старосту Струся — хочешь ли с ним говорить еще?..»

«Нет», — ответил Павло.

«Так зачем я столько трудился?» — засмеялся судья.

«Да всем же было известно, что он здесь. Ну и что? Пусть бы и жил себе там, возле кузни...»

«Да, — почесал затылок судья. — Но дело сделано, и он обнаружен. И мы не можем его оставить на том же месте, как ни в чем не бывало. Он — администратор короля Сигизмунда, официал, как ни крути. И потому дело требует какого-то окончания, завершения... Может, повесить?..»

«Зачем? — сказал Павло. — Выгони его просто из города вон — и дело с концом. Пусть добирается до польских земель и доживает свой век как герой...»

«Как герой?.. — задумался Тимошенко. — В этом есть некий мной неуловимый до времени смысл... Но да пусть будет по-твоему... Хотя я бы повесил его...»

«Петро, повесить официала королевского все едино что расписаться в том, что мы подняли оружную руку на сам державный строй Речи Посполитой».

«А это — разве не так?..»

«Не так. Мы — не изменники сейму и королю. Мы восстали против того, что наши епископы втайне решили предать нас костелу и папе, — и они будут за это покараны. Король благословит нас другими епископами, нашего дворянского русского рода, и все возвратится к миру, которого мы и желаем...»

Тимошенко только улыбнулся криво на это и сказал:

«Да, вот еще что, гетмане: крестник твой, здешний подпанок Хайло, униат чина Василия Великого, как сам себя нарек, жив остался под ратушей...»

«Значит...»

«Да, — кивнул судья. — Да, брат, и мы обещали...»

«И что же он... как?..»

«Лучше тебе не ведать о том... — и, помедлив, все же сказал: — Он перегрыз горло тому шляхтичу... И до утра откручивал ему голову, чтобы сделать приятное тем, кто пришел его миловать утром по праву...»

Павло молчал. Да и что на это мог он сказать?..

«Да, Павло, да... Теперь ты видишь, как высока цена милосердию...»

«И не только ему — но и слову судьи о том, кто останется жить...»

Тимошенко вздохнул и оборотился к затейливому цветному окну. Смотрел долго на майдан, на храмы, на ратушу, светлые и немые пред лицом зимнего неба, и сказал затем тихо:

«Кажется, Бог отвернулся от нас, ежели от этого чиряка мы не можем избавиться... Но слово есть слово...»

«Но слово может быть и другим, — сказал Павло. — Ты говорил о старосте Струсе. Вот и отпусти вместе их с Хайлом в открытое поле, — слово о Хайле сдержано, а Струсь — милован...»

«Так и поступим».

«А Струсю скажи, что Хайло загрыз шляхтича того Григора Цурковского. Покажи ему голову... А затем вместе и отпусти».

«Верно, Павло, — и этого слизняка зарубит первый же вооруженный шляхтич, кто встретится им на пути...»

«А если и не зарубят его, то многомудрый Струсь найдет на него по закону управу. Что там еще у тебя?»

«Вот, посмотри, — сказал генеральный судья и вынул из-за пазухи тугой свиток желтой плотной бумаги со свисающим с краю обрывком красной навощенной веревочки, на которой когда-то висела печать, и протянул ее Павлу. — Мы много такого сожгли. Но этот свиток я решил почитать, что тут записано, вот — встретил знакомое имя...»

«И чье же?» — спросил Павло, разворачивая бумажную трубку.

«Гетмана Кшиштофа-Федора», — ответил судья.

Некий холодный огонь бледным заревом отразился в его сознании, и теперь, когда Петро Тимошенко назвал имя его предшественника на атаманстве и уряде и положил в его ладонь шершавую бумагу старой грамоты, все сошлось воедино: ночное памятование о стоянии противу запорожцев под Пятком в ряду конных копейщиков, смешавших повстанческие порядки Косинского, и эта вот грамота, раскопанная козаками в гродском архиве старосты Струся и только по неисповедимому случаю не погибшая в огне и как бы переданная откуда-то кем-то посредством генерального судьи прямо в руки ему.

Что за всем этим стоит?.. Как понять сложную вязь этого знака промыслительного о нем?..

Павло остро и пронзительно, как никогда, ощутил ничтожество свое перед этим Всеблагим и Всевидящим Оком, с таким обманным равнодушием взирающим на человечье копошение на пылинке-земле, но с глубокой любовью, — конечно, с любовью, ибо зрит и мыслит о каждом сущем Оно, — и его убогому разуму как это понять, охватить?.. И вот — эта грамота из его прошлого, — переданное Богом его недостоинству, — грамота и предначертание о будущем, что и его самого ожидает... Благ Господь!..

Павло поднялся и подошел к походному складню. Взял теплую медь на ладонь, осенил себя крестным знамением и поцеловал. Затем вернулся к судье и сказал:

«Зачем ты развернул этот свиток?»

«Не знаю. Просто развернул, ибо полюбопытствовал».

«А до того — не любопытствовал?»

«Нет. Просто все жгли. Без разбора и рассуждения. По обычаю нашему...»

«Да, по обычаю... Ты никогда не задумывался о тех, кто заступит когда-нибудь наше место здесь, на нашей земле? Не о детях, а о тех, кто родится здесь от наших русских женщин через сто-двести лет?»

Тимошенко с удивлением смотрел на Павла.

«Те, о которых сказал я, назовут наше время молчанием, исторической немотой, ибо от нас не останется и следа, — все сожжем в походных кострах, а то, чего не сожжем о себе, пустят по ветру пеплом супротивные наши — ляхи, татары и иншие, какие еще выпадут на нашу долю. Впрочем, по-земному я рассуждаю...»

Тимошенко молчал.

Когда он ушел, Павло развернул свиток и погрузился в выцветший славянский полуустав:

«...Я, Крыштоф Косинский, на тот час гетман, а мы сотники, атаманья, все рыцерство войска запорожскаго вызнаваемо тым листом нашим, ижемсы, мимо великие добродейства и ласки ясновельможного пана Констентина кнежати Острозского, воеводы Киевского маршалка земли Волынское, старосты Володимерского, которые его милость нам всему войску и каждому з нас з особна по все часы веку своего, з милостивое ласки своей панской показовать, и веле доброго для нас чинити рачил; а мы, запомневши того всего, немалосмы прикростей и шкод его милости самому и деткам его милости, слугам и подданным его милости поделали, и завинили; ласки его милости собе нарушили, которые-то все выступки наши, за унижеными а пилными прозбами и за причиною веле людей зацных, будучи их милость под Пятком, что все з милостивое ласки своей, яко панове хрестиянские, не прагнучи пролитя кръви нашей, нам отпустить рачили; для чого мы, все рыцерство войска, вышей менованого, тые все кондыцые, нам от их милости кнежат поданые, и тут в том листе нашом менованые, выполнимы, наперед обецуем, и присегою своею утвержаем: иж от тых часов пана Косинского за атамана не меть, и овшем на Украине заразом иншаго, на тое месте надалей за недель чотыри наставить, а потом в послушенстве Королю Его милости, не чинечи жадного розмерья з суседми посторонними панств Его Королевской мило-

сти, нашого милостивого пана, на званных местцах, за пороги быть, леж жадных, ани приставств, шкод, ани кривд жадных в державах кнежат их милости и в маетностях приетел их милости: его милости кнежати Александра Вишневецкого, старосты Черкаского и иных, на тот час при их милости будучих, и теж в маетностях и державах слуг его милости не мевать и не чинить; збеги, здрайце кнежат их милости и слуг их милости, до нас збеглых, выдавать, и оных у себе не переховывать, стрелбу где колвек взятую на замках, местах, яко и в державах их милости окром Триполских вернуть, также и хорогве, кони, быдла и речи рухомые, теперь в маетностях кнежат их милости побраные, вернуть маемо, также челядь обое плъти, которая есть при нас, от себе отправить, и вечне у кнежат их милости в стародавней милости мешкать, и николи против их милости з жадным человеком не преставать, и овшем их милости служить, которые то все кондыцие, выш менованые, как от их милости поданые, мы, все войско их милости поприсеглисмы вечне, цале и ненарушене, ненайдучи жадных причин, здержать, ведле их заховать вечными часы; а тоя присега наша в тые слова есть: я, Крыштоф Косинский. Мы, сотники, атаманья и все рыцерство войска запорозского один за другого, и каждый з нас за себе присегаем Пану Богу в Тройце Единому, который створил небо и землю на том, иж мы все и каждый з нас зособно, маем и винни будем ти все кондыцие, на том листе нам поданые, и помененые, их милости кнежатом Осрозским, цале и ненарушене, не найдучи жадных причин ку розрушеню, здержати и водле них против их милости, также напротивко их милости панов и приятель слуг и подданых их милости вечными часы заховать, так нам Пане Боже поможи! а если бысмы несправедливе присегали, Пане Боже нас скарь каждым неприятелем нашим! и скарь нас Пане Боже на душах и на телах, в тым и в пришлым веку! а для лепшое певности и утверженя нашого вечного, тот лист я, Косинский, рукою власною своею подписал, и печать свою прикладаю, также и мы все войсковую печать до того листу приложить росказали, и, которые з нас писать умели, на то есмо руки свои подписали; просилисмы теж их милость велможных панов, которые на тот час, при том были: его милости пана Якуба Претвица з Кгаворон, кашталяна Галицкого, Трембовелского старосты, его милости пана Александра кнежати Вишневецкого, Черкаского, Каневского, Корсуньского, Любецкого, Лоевского старосты; его милости пана Яна Кгуского, войского Трембовелского; его милости пана Вацлава Боговитина, хоружего земли Волынское; его милости пана Василия Гулевича, войского Володимерского, што их милость, на прозбу нашу уделати рачили, и печати свои до того листу нашего приложивши, руки свои подписать рачили. Деялося под Пятком, року Божого тисеча пятьсот деветдесять третего, месяца Февраля десятого дня: Krzysztof Kosinsky rekaswa, Иван Кречкевич писарь войсовый, именем всего войска запорожского...»

(Книга гродская Луцкая, 1593 г., N31, лист 976)

* * *

По обнаружении его схрона старосту Струся даже не стронули с места, принадлежавшего по владетельному праву пану Ковальчуку, — только подле хлипких дверей вместилища поставлен был генеральным судьей дюжий козак-вартовой, который заметно маялся возложенной на него бездельной обязанностью.

«Может, ему следует ноги переломить, абы не убег никуда, а мне бы выпало другим чем заняться?..» — предложил он нерешительно генеральному судье Петру Тимошенко.

«А чем бы это ты заняться хотел бы? — въедливо поинтересовался судья. — Все совершено уже здесь, делать нечего. Разве что пьянствовать?..»

«Та нет, пан судья генеральный!.. По правде сказать, подженицься хотелось на вдовичке одной...»

«Чешется?»

«А шо делать? — козак стыдливо поник буйной главой. — Естество превозмочь не могу. Так шо — сокрушить этому кости ножные?..»

«Или голову его многомудрую оторвать ввиду твоей маеты? — продолжил как бы в размышлении Тимошенко. — И пойти с чистой совестью затем свое причинное место чесать о припухлость вдовичкину... Добре службу знаешь, Слимак! — хлопнул козака по плечу. — Да только не бывать тебе осавулом!..»

Пан Ежи-Юрась слышал все достеменно, и когда вартовой высказал судье столь неожиданное предложение о его ногах, староста внутренне затрепетал. Скорым наплывом вспомнились муки его, когда висел на стене вниз головой, уже прощаясь с жизнью своей, — и он понял отчетливо и непреложно, что готов даже и умереть за целость и славу отчизны, но только бы не быть изувеченным навсегда даже в открытом сражении, не говоря уж о досужей прихоти жеребца-козака с его похотливым разжжением плоти. Староста даже досадливо хмыкнул про себя: вояки, bydlo, psia krew!.. И как это при своевольстве подобном они умудряются являть собой грозную

силу, столько лет мутящую Речь Посполитую?.. Эхе-е... Все так, только вот он, староста Струсь, а не это bydlo, яко Иов на гноище, претерпевает позор и униженность...

Но утешил себя пан Ежи-Юрась быстро, ибо припомнил из читанного, что воздалось-таки Иову после невиданных его лишений и мук вдвое: *«И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние...»* И кратко зналось невесть откуда ему, сидящему в гнилом тряпье пана Тадеуша Ковальчука, что переживет в целости он свое падение беспримерное, переживет и этих двоих, бубнящих за дверью и рассуждающих о жизни его и о смерти, и еще ударит он огненным боем по смертным козацким рубахам, и увидит, увидит еще: валятся они, как снопы, облитые собачьей поганой кровью своей — на некоем белом, жарком поле, в спелой пшенице... Пусть пока говорят и злословят его, — пусть... Еще предстоит набить ему на пали и судью, и вартового этого Слимака, или как там, к бесу, кличут его, уж не покажется мало им, когда все это закончится... И сидел на жестком ложе своем спокойно уже, глядел в мутное от пыли оконце, мир за которым был сер и невнятен до времени.

Наконец, простучали поблизости копыта коня (будто судьба), некто спешился, — к двум голосам добавился третий. Дверь отворилась, и к старосте ступил генеральный судья. Некоторое время они безмолвно друг на друга смотрели. Затем судья вытряхнул из мешка, который держал в правой руке, что-то круглое и тяжелое, с глухим стуком упавшее на земляной пол узилища и в два оборота перекатившееся под ноги старосты Струся. Взгляд старосты, до сего, можно сказать, почти спокойный и почти непреклонный, малодушно метнулся на подкатившееся и лежащее теперь у его ног, и во мгновенном, каком-то нутряном и животном, но отнюдь не разумном и человеческом узнавании, он опознал то, чему до конца так и не мог поверить, — человеческую голову, отделенную от тулова.

И уже не мог ясно и твердо взглянуть в холодные, безжалостные глаза генерального судьи Запорогов, — помимо воли взгляд его заметался по стенам, по полу, по потолку, — хотелось вскочить и вылететь пробкой за дверь и бежать, спасаясь от этой стены жути и безумия, надвигающейся на его душу, — пальцы рук, заледеневшие разом, сцепились, сплелись меж собою, и ему было неважно теперь — чья это голова с отекшим кровоподтеками бледным лицом, с отверстыми кровавыми дырами на месте яблок глазных, с надорванным на сторону ртом, с голубоватой, торчащей из присохшего уже багрового месива перерванной трубкой гортани и будто срезанными стеблями вен, — его сердце остановилось, зависло, помутилось сознание, — и только прежняя мысль о том, что он этими вот своими руками — если суждено ему будет то Богом, — будет загонять заостренные трехаршинные пали в афедроны[1] этих животных в человеческом облике, — только эта мысль давала некое облегчение и утешение старосте Струсю, — и пусть была она в чем-то химерой, фантазией и самообманом, но только она держала на плаву его сознание.

Он посмотрел на судью, который не проронил и слова, и сказал изменившимся голосом:

«Зачем — это?..»

Судья ответил ему:

«Этого человека звали Григор Цурковский...»

«Пан Григор?..»

«Он послан был в город, к тебе, собором дворянским...»

«И что же... И что это все значит?..»

«Мы намеревались его отпустить, — но получилось так, что под ратушу, где он пребывал под замком, мы посадили остыть от священнодейства неканоничного приятеля вашего, священноподпанка Хайла, — и он, по присущему ему рвению, дабы расположение наше заслужить, такое вот и сотворил с паном Цурковским...»

«Но как он... смог голову оторвать?..»

«Всю ночь старался. Грыз, должно быть, зубами, пальцами да когтями рвал... Ныне же произволением гетмана Запорогов и рыцарской вольницы Павла Наливайка и соборным постановлением старшины козацкой решено отпустить твою милость из города этого прочь в целости и нерушимости чести твоей. Отпущен будет с тобою и подпанок Хайло... — судья сказал все это ровным, безжизненным голосом, затем бросил на пол мешок, потемневший от крови, и добавил: — А главу эту честную — прими...»

Когда дверь за судьей затворилась, пан Ежи-Юрась еще раз со страхом и ужасом воззрился на обезображенную голову человека. На своем веку он видел много смертей — Господь судил такое время жизни ему, жестокое, воинственное, безжалостное. Со всех сторон Речи Посполитой горели войсковые огни, затевались походы, производились захваты, чинились неправды. И временами он вполне привыкал к

[1] *Афедрон* — задний проход.

убийству живого и истязанию плоти в казнях за грехи человеческие, — ибо войны, усобицы, наезды, осады, походы, расправы и разорения, в которых он воевал и участвовал, стирали рельефное восприятие видимого насилия над жертвами этих расправ и походов, ибо и размышления подобного свойства у воина быть не могло. Он призывался особливыми универсалами от коронного или польного гетманов или грамотами от самого короля в вооруженное посполитое рушенье для защиты Речи Посполитой от бед, ей угрожающих, или, говоря словами иными, чтобы колоть, рубить, стрелять из пищали и жечь супротивных, кто осмелился поднять вооруженную руку на великую Польшу. А таковых безумцев всегда находилось в достатке как по кордонам, так и внутри самого государства. И он — колол, рубил и стрелял... И потому внутреннее смятение, в которое он пришел от вида оторванной головы несчастного пана Цурковского, было совсем не обычным и выходящим из ряда. Душа старосты была отнюдь не из слабых, и причиной смущения и даже смятения некоего была по всей видимости не эта изуродованная, отчлененная от тела голова шляхтича, а нечто другое... Но что?..

Староста поднял с полу мешок и с горестным вздохом прикрыл им безглазую голову... Но от этого не стало иначе в душе и мире его, где он до поры обитал, ибо накрытая голова, горбом возвышающаяся на полу, будто бы ожила, приобрела свойства таинственного, потустороннего и угрожающего, — словно выпала из того невидимого очами плоти пространства, где обитают в борьбе за души людей бесы и ангелы. Староста, ощутив душой сей неуют, вскочил со своих тряпок и вновь обнажил отверстые раны головы пана Цурковского. Рухнул снова на узкое, жесткое ложе свое и пытался развлечься мыслью и с натугой подумал отчего-то о том виршеслагателе-пиворезе, который разбередил память его щемящими воспоминаниями давнего, — но развлечения не воспоследовало, ибо мертвая голова будто бы притягивала мысли его. Отчего-то — наплывом кратким и судорожным — подумалось старосте Струсю о пани Кристине, — о том, как она умерла и как тела их обрели проезжие поселяне на дороге лесной... Голова, лежащая под сапогами, безглазо смотрела на пана Ежи-Юрася, — и воспоминание смерти пани Кристины, и эта голова на полу каким-то непостижимым образом сопрягались в разуме старосты, сливались в нечто единое и немыслимое друг без друга, — но он, ощущая в этом некую странность, объяснил сам себе, припомнив обстоятельства давнего их бытия, что старый пан Лешек Свентожицкий отсуживал в свой последний день жизни некую землю, какое-то поле у отца того, чья голова лежит теперь перед ним... Юридические и привычные державному разуму старосты положения Литовского статута 1588 года, владельческие детали и определяющие порядок статьи и параграфы привели дух пана Ежи-Юрася в чаемое расположение, и смущение более не поминалось, — да, — стучало в старосте как бы некими молоточками, — да, они ведь были добрыми соседями, почти что друзьями, и этот Цурковский, кажется, ровесником был пани Кристине... Подавал какие-то надежды, — правда, не вспомнить теперь — насколько большие и по какой части, — вроде и вояк он был недурной и упражнялся в риторике по-латыни в рассуждении бытия...

Да, где теперь эти рассуждения? Где и в чем — бытие?..

Он наклонился над мертвой головой и долго смотрел в ее раны и паче же в черные дыры глазниц, где запеклись кровавые сгустки: и это — *ты*?

В старосте снова содрогнулось и замерло сердце и защемила душа в какой-то унылой тоске. И он, припоминая былого владельца и носителя сей головы, отметил теперь давнюю, почти не примеченную собором шляхты брацлавской странность жизни его после гибели старого Свентожицкого с дочерью, — пан Григор сей будто сбрендил с ума, потерял всю статечность свою и достоинство, не наезжал больше в гости к окрестным дворянам-соседям и *вообще перестал быть шляхтичем*... В чем заключалась *потеря шляхетности*, старосте трудно было бы объяснить на словах, но он чувствовал это непреложно и не обманно, видя за прежним лицом глубокое изменение, — как бы от плоти пана Григора отнялась благодать и надломлен духовный остов его, — а тело осталось, — да только что есть тело без животворящего духа, изошедшего во своя си?.. Прахом пошла вся блестящая будущность юноши этого. Признаться, пан Ежи-Юрась не особенно тревожился этим, ибо вспоминал о существовании пана Григора только тогда, когда видел вживе его, а не виделись они порою годами, потому до слуха его доходило то малое и неважное, что рассказывали в обильных застольях брацлавские шляхтичи, обсуждая повадки, странности и нравы соседей. Да и мало это весьма удивляло. Староста понимал, что подобное изменение жизни связано было с чем-то тайным и прикровенным, к чему какое-то не совсем понятное касательство имела почившая в принятых муках прекрасная пани Кристина, — но как он мог рассуждать о подобном, если редкое воспоминание того, что произошло в давнюю осеннюю пору, причиняло ему такую острую боль?.. Староста чувствовал, что ему ничего не понять в сплетении общей их жизни, смерти, войны, ибо истина пребывала, как, впрочем,

всегда, где-то за пределами его разумения. Старосте было легче ненавидеть русинов-козаков и русина же подпанка Хайла, ибо произволением их гибла и позорилась польская шляхта, помрачались рассудком последние сыновья знатных в прошлом семейств, расшатывалась великая и столь особливая державность Речи Посполитой, гармонично и редкостно для современной Европы сочетавшая в себе королевскую власть и сеймовую конституционность. Да, легче бы, проще бы было ему возненавидеть их всех — сволочных бунтовцов и духовных смутьянов польских религиозных свобод, где даже презренный иудаизм не преследовался законом, но покрывался сенью его. Что же иезуиты с православием этим проклятым так намудрили, что поднялась смута такая?.. Да, легче ему было возненавидеть их всех до кровавой пены в глазах, чем понять глубинные причины и извечную предопределенность как смерти пана Григора Цурковского, так и в давние времена смертей его можновладных соседей — старого Свентожицкого с дочерью. Возненавидеть,— но ведь он и не любил их никогда, даром что из общего корня поднялся к высотам служения государственного.

Староста встал и горячим лбом прислонился к камню стены. Черная тьма злобы и ненависти, клубившаяся в нем подобно дыму, застывала нынче непрозрачным стеклом, черным камнем искристым, приобретала невиданную твердость и несокрушимость.

И больше вроде бы не было ничего, ибо все неизменным осталось в душе, — даже когда его выволакивал козак по прозвищу Слимак из околокузнечной клетушки и тащил за шиворот к дубовым воротам брацлавским, где уже поджидали их проводники обтерханного подпанка Хайла, оттирающего пригоршней снега засохший окровавленный рот. Врата со скрипом разошлись перед ними, и в глаза пана Ежи-Юрася ударила снежная нестерпимая белизна открытых полей. Исхудавшие и почерневшие лицами узники зажмурились, привыкая к свету и снегу земли. Их пихнули в спины, как в преисподнюю, в эту блистательную свободу, в эти холодные поля, — следом выбросили черный мешок с головой пана Григора, и ворота закрылись.

То ли от резкого света, то ли от морозца, то ли от легкого ветреца на глаза старосты навернулась слезина, размывшая на какое-то время окружающий мир, и он, согнав ладонью ее, будто бы впервые смотрел и видел глубокое и безразличное ко всему происходящему небо подольской зимы, прихваченную уже тонким льдом излучину Буга, кромку черных далеких лесов, соединяющую синее с белым на крае земли, и снова ощущал эту величественную и невыразимую красоту. Всю жизнь он прожил в этих местах, но только теперь, после того как он заглянул в глаза чужой смерти и собственного несчастья, открылось ему новыми гранями то, что он мог потерять. Вдохнул сладкий воздух — колкий, холодный, прозрачный, — обернулся к воротам и тронул серое многолетнее дерево ладонью, прощаясь со своим городом. Он верил и знал: он вернется сюда, и тогда все здесь будет исправлено, все устроится по-другому. Еще будет написана виршеслагателями его «Струсиада»... Он вернется, — ибо все в этом мире возвращается на круги своя.

Староста сделал первый шаг по снежному целику. Снег захрустел под стопой. Не оборачиваясь, он сказал своему спутнику:

«Мешок... Представим польному гетману... Как свидетельство злое и не прощаемое...»

Следом за паном Ежи-Юрасем, не оглядываясь на город, потопал и подпанок Хайло в изорванной рясе, лишенной уже мехового испода. Староста не думал о нем, и, как ни странно, душу его не тревожил подпанок. Ибо не было уже сил ни на что из державного, справедливого делания, — только бы идти, переставлять ноги в шагах до бесконечности, продвигаться в пространстве в достижении королевских земель... И староста шел.

Вслед уходящим запоздало и одиноко бомкнул колокол с ратуши, и звук потревоженной меди растаял, погас в зимнем пространстве. Пан Ежи-Юрась вздрогнул и обернулся, как жена Лота, на оставляемый город, и промельком вспомнилось снова ему, как он возвращался сюда молодым после целого дня разъезда по рощам и долам брацлавской округи, когда его жизнь должна была измениться, — в горении тихого счастья, еще не потеряв ничего, но уже обретя,— и вартовые о чем-то нелепом и страшном кричали со стен.

Продолжение следует

Инна ДЕВЯТЬЯРОВА

ВАЛАШСКИЙ ОРЕЛ И БЫК МОЛДАВСКИЙ

Историческая повесть

Разбуженное, утренне-золотое, солнце лилось и лилось в окна господарских покоев, выстилая на стенах сияющие дорожки. Штефан[1] *смотрел на солнцем истончаемые тени у ног своих, на синее, ни облачка, небо за окнами. А после обернулся к хранящему тишину за спиною его, заставив прервать почтительное сыновье молчание.*

— О чем ты хотел спросить меня, Богдан? Я чувствую, на языке твоем вертятся слова любопытства.

Тенью скрытое от солнечных лукавств лицо Богдана не дрогнуло ни единою черточкой, когда, наклонившись к отцу, он произнес вслух то, что отравляло его мысли, должно быть, уже долгое время.

— Ты многократно поминал при мне, батюшка, рыцарские подвиги друга и родича твоего, с миром усопшего Влада. Ты ставил мне в пример его деяния, превознося его христианские добродетели, не находя ни малейшего изъяна в поступках его. А между тем — от других приходится слышать мне о нем совершенно иное. Много недоброго вещают о Владе... болтливые люди, и если неправы они, то почему бы тебе не подрезать языки болтунам, а если же правда на их стороне... — Богдан замолчал.

Солнцем выжженные бежали дорожки по стенам, оставляя теням паутиной стянутые углы. Меряя шагами дорожки, Штефан прошелся по покоям, замер, оборотившись к сыну из-за плеча.

— Правда — она бывает запутаннее любой лжи, — наконец обронил он. — И нет порой смысла рвать за нее языки неразумным лгунам. Пусть говорят себе, пустыми словами толкут все принимающий воздух. Глупцам ничего не докажешь.

— Но, отец...

— Я знал Влада более, чем кто-либо, — оборвал возмущение Штефан, — и более, чем кому-либо, открывал он мне свою душу. И память о нем, испачканная сажей наговоров, дорога мне, как никому больше... Хочешь, я расскажу тебе все о нем, сын? Все, что я знаю наверняка и о чем измышляю догадками? А тебе уж после — и судить о поступках его, и о кривде, ныне его окружающей. Слушай же, сын мой...

1

Его двадцатая осень вспоминалась Штефану ярко-красными, зрелыми яблоками пристоличных садов, гроздьями свисавшими с неубранных яблонь, манившими глаз налитой, округлою спелостью. Синевою парящее небо, тучи, выжавшие над головою его последние капли дождя, и — кровавые метины яблок в пожелтевшей траве, с хру-

[1] Штефан Великий — господарь Молдавского княжества, близкий друг и союзник правителя Валахии Влада Дракулы. Пришел к власти с помощью Влада Дракулы, изгнав из страны своего предшественника Петра Арона, в свое время убившего отца Штефана, чтобы взойти на престол. Когда Влад Дракула был посажен в тюрьму венгерским королем Матьяшем Корвином, Штефан ходатайствовал за друга, способствуя его освобождению, после чего помог Владу Дракуле вернуть утерянный престол. Был в противостоянии с Османской империей, Польшей (временами заключая с ней военные союзы), Венгрией (также заключал с ней союз в борьбе против Османской империи). Правил страной сорок семь лет, успешно защищая ее от османской экспансии. Женой, подарившей ему наследника престола, стала Мария Войкица, племянница Влада Дракулы, дочь Раду, захватившего престол Валахии после того, как Влад Дракула, его брат, был заточен в темницу Матьяшем Корвином. Штефан изгнал Раду, посадив на валашский престол своего ставленника на тот момент — Лайоту Басараба, а Марию Войкицу и ее мать увез к себе в Молдову.

стом лопающихся под копытами Штефанова коня.

Они ехали по змеино-извивистой, едва различимой тропе среди яблонь — Штефан и отец его, и солнце бросало на них беспокойные взгляды лучей, и ветви цепляли своими тенями плащи их, и отец говорил Штефану что-то безмерно важное, но неразличимое им среди стука копыт и птичьей переголосицы. А потом — конь отца остановился, будто запнувшись о собственную тень, и, качнувшись ветвями, яблони выпустили на тропу нового всадника.

Он показался Штефану заносчивым не по летам его, сравнимым с летами Штефана, — слишком прямо сидел он в седле, не склонив головы пред отцом Штефана, господарем Молдавии, слишком резок был взгляд его, оцарапавший взгляды Штефана, — колкий, изучающе-цепкий.

«Будто подвоха какого боится», — подумалось Штефану, а потом меченное хмурою тенью лицо отца его сделалось холодным и жестким и скрытая кожей перчатки рука легла на эфес.

— Кто ты такой? — коротко бросил он, точно камнем с размаха в серую дорожную пыль. — С прошением ли пришел ко мне или с какою жалобой?

— С просьбой о снисхождении к тому, с кем связывает вас кровное родство, господарь. Мое имя — Влад, сын Влада, валашского господаря, заговором бесчестных лишенного трона и жизни. Мать моя, княжна Василика, приходилась сестрою вам...

— А ты сам-то — тоже успел на троне посидеть? — хмыкнул отец, доставая из седельной сумки круглое кровавобокое яблоко. — Османским султаном подсаженный... ну-ну, не мечи так глазами молнии, юноша, этакая горячность просителю не к лицу. Впрочем, как и будущему господарю, коему надлежит быть мудрым и осмотрительным в дипломатичных беседах... — с хрустом впившись зубами в соком брызнувшую кожуру, отец оглянулся к Штефану. — А ты тоже — слушай и запоминай, что говорю, оно и тебе пользительно будет.

Мертвыми, гниющими плодами усеянная трава пробивалась из-под конских копыт — жухлая, выпитая до капли осеннею немочью. Рыжим ластились глазу огневелые листья на ветках, в тонкой до полупрозрачности, невесомой паутине бесшумно бежал паучок.

Слушать и запоминать. Чтобы извлечь из памяти годы и годы спустя, когда прах отца смешается с прахом умерших яблонь — хрустальную чистоту неба над головой и саваном листьев укрытую землю, крики птиц, увязающие в облаках, и хрипатое конское ржанье, сладость яблок и горько-дымный ветер с садовых кострищ... Спрятать в седельных сумках воспоминаний и закрыть на надежный замок.

— ...Что ж, оставайся, пожалуй, при дворе моем, до лучших времен, будет тебе здесь покой и мое покровительство... Влад, сын Влада, — ковырнув ногтем в зубах, отец сплюнул в землю яблочной косточкой. — И смотри мне — людей в моих краях не мутить, в других господарствах себе войско вербуй, чтобы отчий престол отвоевывать, а у нас тут и без сторонних дрязг дел-забот предостаточно... Верно я говорю, Штефан?

— Сущая правда. Война — она ж нам все время с севера стучится, в ожиданье ее и живем. Скрылся в польских землях родич мой Александрел и не успокоится, пока войну к нам на порог не приведет, чтобы трон господарев себе обратно вернуть, — раздумчиво, солидностью своей подражая отцу, произнес Штефан. — Но на гостеприимство наше всегда можешь рассчитывать... Скажи, а правда ли, что, кроме войска османского, дал тебе в подарок султан и роскошный гарем из семидесяти полногрудых прелестниц? Были слухи, что...

Хмурое, как осенние тучи, лицо Влада разгладилось, прояснело, напряженно-сжатые губы разошлись в беззаботной улыбке. «Давно бы так, братец, а то бирюк бирюком сидишь, и взглянуть-то на тебя боязно — как бы тоской за компанию не заболеть, — шало пронеслось в мыслях у Штефана. — Ну ничего, любая тоска — она весельем перешибается...»

— Нет, прелести гаремных девиц мне вкушать не случилось, — тщетно силясь принять наисерьезнейший вид, ответствовал Влад, — султан их для себя бережет. Чего не скажешь о девицах валашских... эх, хороши у меня на родине были девицы, где теперь таких найду!

— И оттого ходишь с лицом приговоренного висельника? — пожал плечами Штефан. — Да, несчастью твоему нельзя не выказать сострадания... Вот и отец сочувствует...

— Да ну вас, безобразники! — пряча смешок в рукаве, отец отвернулся, услаждая свой взгляд ярко-красными гроздьями яблок. — Эх, молодо-весело... Чувствую, подружитесь вы, и государствам нашим это лишь на пользу пойдет — врагов-то у нас завсегда предостаточно, а вот друзей надежных — пойди поищи.

Ветром тронутые, зашумели верхушки яблонь, роняя в траву красно-желтые листья, осенний неопалимый костер, загудели протяжно, перетряхивая четками яблок...

Штефан дернул поводья, направляя коня прочь от яблочного перестука и надрывистого скрипа веток, едко-дымного смрада тлеющих листьев и изъеденных гнилью яблок в пожухлой траве. И конь Влада двинулся следом.

* * *

Этот кубок оказался для Штефана избыточным. Мутно-красное, точно сгущенная кровь, вино колыхалось у края, манило вкусить его виноградную сладость. Штефан осушил кубок единым глотком; промокнув рукавом губы, грянул кулаком о столовую скатерть.

— Еще неси!

Попытался привстать на обросших чугунною тяжестью непослушных ногах, тяжко осел обратно на лавку. Стены падали, волнами наплывая друг другу в объятья, и раскатисто било в ушах, приглушая крики пирующих, точно связанный неодолимыми путами Штефан опускался на дно, один, в беспокойном море красно-кровавого цвета, и остовы мертвых кораблей качались пред глазами его, и в горле, лишенном воздуха, застрял комок тошноты.

— Э, да тебе совсем худо, братишка. Пойдем, освежимся.

Поддерживая за плечи, Влад вывел его на крыльцо, залитое ночной темнотой. Пахнущий дождем и перепрелой листвою воздух хлынул в ноздри Штефану, вымывая из памяти красно-кровавое море и безжалостную корабельную качку в волнах его.

— Подожду, пока в себя придешь. А впредь умереннее будь. Негоже будущему господарю в непотребном виде под лавкой валяться на глазах у подданных его, — скрестив на груди руки, Влад застыл у перил, устремив взгляд свой на небо, покрытое белесыми звездами.

«Точно мука сквозь сито, — вдруг подумалось Штефану, — просеются — и рухнут на землю. Скирды пожгут крестьянские, людей распугают... Держались бы там подольше, в своем поднебесье...»

Видение горящих звезд, косматыми вспышками падающих прямо к земле, помстилось ему настолько ужасным, что он зажмурил глаза, а когда же открыл их — то понял, что что-то переменилось, не на пылающем звездами небе, а здесь, на земле его, в шумно пирующем доме, стену которого он подпирал своею спиной.

— Что-то как-то тихо сделалось... упились они там все, что ли, до полного бесчувствия? — задумчиво произнес Штефан, обращаясь словами к тонкому, собачьим хвостом изогнутому месяцу, застывшему над низкою кровлей. — Влад, может быть...

И тишина разбилась, осколками криков ударила в уши Штефану, серебряным лязгом мечей отозвалась за стенами дома. Схватив Штефана за руку, Влад сбежал по ступеням; бесшумно, как кошка, скользнул к окну, озаряемому желтым факельным светом, толкнул Штефана рядом с собою.

— Смотри. И молчи, если хоть сколько-нибудь дорожишь собственной жизнью.

...Штефан сразу узнал его среди многих, наводнивших покои с мечами в руках, — Петра Арона, брата отца его, некогда изгнанного отцом из страны. Теперь он вернулся — выбрав самый подходящий момент для своего возвращенья.

— Защищавшие тебя все мертвы, брат мой любезный, — тряся реденькой, клочковатой бородкой, Петр наклонился к отцу его, руками дружинников прижатому к лавке, — а скоро и ты отправишься вслед за ними. Надо же, какая беспечность — явиться на свадьбу к одному из бояр со столь немногочисленною охраной... Ты не подумал, что у меня могут быть свои соглядатаи... и свои сторонники среди окружающих тебя, льстящих тебе в глаза напропалую, а за спиною — строящих ковы? Ну и глуп же ты оказался, братец!

— Предатель, — сипло выдавил из себя отец, — мне следовало казнить тебя еще прошлой весной, когда дошли до меня слухи о волнениях, что разводил ты среди бояр, подбивая их на измену. А я, наивная душа, всего лишь изгнал смутьяна...

Петр Арон зашелся хрипатым, лающим смехом, надрывисто хохотал, держась за мешкообразный, кафтаном укрытый живот, ходящий ходуном под руками его.

— Скажите-ка, какое милосердие! Сам Иисус прослезился бы, став свидетелем сего достохвального поступка! Что ж, и я буду милосерден с тобою, брат, — принизил голос он, внезапно посерьезнев. — Ты умрешь быстро и от руки благородного. Правда, священника перед кончиною обещать, хе-хе, не могу — нет у меня с собой в отряде священника! Надеюсь, ты успел как следует причаститься перед своей, — лицо его вновь искривилось в гримасе усмешки, — грандиозной попойкою, братец?

Штефан хотел было крикнуть слова, что подступали к горлу колким, как дорожный репейник, комком, но Влад закрыл ему рот ладонью в последний миг, не дав обнаружить себя.

— Уходим. По коням — и прочь отсюда... слышишь, что я сказал?

...Из всей этой черной, кровавой, факельными огнями расцвеченной ночи Штефан

запомнил одно — ярко-белые звезды над головою его, что, точно муку, сеяло и сеяло небесное сито там, в непредставимо далекой дали, которой нет дела до бед человеческих. Звезды — алмазы темных небесных колодцев, каким же удилищем извлечь их оттуда, как причаститься божественным сиянием их?

Штефан пришпорил коня, выгоняя из головы странно-бессвязные мысли. «Отец... должно быть, душа его сейчас на самой высокой звезде, смотрит с горних вершин на своего ничтожного сына и преисполняется презреньем к его малодушию... господи, да как же я мог оставить его... эх, Влад, Влад, куда ты меня уводишь...»

Они распрягли коней в близлежащей рощице от дороги, когда бледно-розовым светом плеснула в вершине заря, притушая собой остро-звездные блики.

— Сбежал, как последний трус... и меня за собой утащил... не дал поразить мечом лиходея... да я бы его... да я бы их всех... — давясь рыданиями, Штефан уткнулся лицом в желто-рыжую конскую гриву, сжал кулаки, готовый сейчас на бой со всем миром, сделавшимся в единый миг так недобро опасным. — Как ты мог?.. Ну да, это же не твоего отца убивали... — и осекся, поняв вдруг, что выкрикнул лишнее.

Влад смотрел на него, точно взрослый на неразумного отрока, выжидающе барабанил пальцами по резной рукояти меча.

— Все сказал, что хотелось? А теперь слушай меня, горе-вояка. Что б ты сделал один против воинов Петра Арона?.. Ну хорошо, двое, — упреждающе поправился он, — что б мы двое сделали против отряда его? Жизней бы лишились наверняка, а вот отца твоего отбить все равно б не сумели. В каждом риске разумность должна быть, Штефан, а ты ее этой ночью проявить не спешил.

— Так что же делать теперь? Куда мне теперь... отсюда... — Штефан обвел рукой оголенную осенью рощицу, до размеров которой сузилось в этот час его некогда великое господарство. — Влад?..

— А кому твой отец в вассальной верности клялся, с кем грамоты договорные печатями метил? — пожал плечами Влад, будто удивляясь его недогадливости. — С Яношем Хуньяди, регентом престола венгерского. В Буде и защиту проси. Хуньяди не откажет. Только прежде чем на поклон к Яношу ехать — позаботься о казне своей господарской. Казна твоего отца — твоя казна, бери с собой, сколько увезти сможешь, чтобы не нуждаться на чужбине ни в чем. А я...

— Что, Влад?

— А я с тобой к Хуньяди не поеду. К убийце отца моего, меня ненавидящему... — глухо произнес Влад, отворачиваясь взглядом от Штефана. — Разве что провожу тебя до венгерских границ, путь в Буду, сам понимаешь, неблизкий, — хмыкнул он, внезапно развеселясь. — А то ты без меня, чую, в спокойствии не доберешься.

...Вином, пролитым на небесно-бледную скатерть, ярилась в небе заря, пылала огневеюще-ярким, истирая последнюю память о смоляной тьме сгинувшей ночи, и звездах, и ветре, приносящем с собой сухие, невесомо-легкие листья из-под конских копыт. Звезды — листья, ветром сорванные с небесных ветвей, ночь придет — и распустятся новые посреди черноты освещать дорогу странствующим под ними...

А дорога предстояла неблизкая.

2

Двадцать третья зима его приходила на память обжигающим щеки морозом, белыми, сахарными снежинками, что кружились перед лицом Штефана, таяли на лету, подхваченные его дыханьем. Снегом усыпанный Брашов расстилал под ногами его улочки и проулки, манил желтым светом высоких окон, покачивал на ветру флюгерами. Подгоняемый в спину метелью Штефан шел мимо строгих часовен и изящных домов с расписными крылечками, заметенными горбами сугробов, мимо каменных стен городской ратуши и площади перед нею — гулкого снежного поля, где, как в старой сказке, встречались друг с другом братья-ветра, чтоб обмениваться новостями...

— Смотрю, не надоел тебе Брашов за эту зиму, — прервал его мысли Влад, что, укутав лицо капюшоном, прорывался сквозь снежные войска метели по правую руку его. — Не прискучили брашовские вина да ласки брашовских девиц не ввели в утомленье...

— Вино брашовских погребов сравнимо с молдавскими винами, да и девицы в искусстве любви молдаванкам не уступают, — хмыкнул Штефан как можно небрежнее, — вот только вестей от Яноша Хуньяди, коему послал я письмо с нарочным, прося высочайшей защиты его и его покровительства, все никак не дождусь. Примет ли он меня в память об отцовых договоренностях — то мне до сих пор неизвестно, и это вводит меня в беспокойствие, брат.

Влад не успел ответить — снегом выбеленная улочка Брашова с очередным дыханьем метели вынесла им навстречу огромные санки. Штефан не сразу заметил ее, до

бровей укутанную в теплый платок, согнувшись, бредущую впереди своих неподъемных размеров саней — крепко сбитую, круглолицую девицу в шубке, усыпанной пряничной пудрою снега. Девица остановилась, переводя дыхание, подняла свой взгляд от собственных, заметаемых снегом следов.

— Дорогу бы дали, что ли, благородные господа, — проворчала девица, — а то не разминуться нам с вами — улочка-то, чай, не мешок полотняный, бока не раздует. Вот ты, чернявый, — прям на пути встал. Гляди, чтоб по сапогам не проехала!

— Ну, раз уж на пути стою, так, может, и довезти помогу санки куда следует? — вопросительно глянув на девицу, Влад взялся за веревки саней. — Негоже тебе, красавица, этакую тяжесть тягать.

— Это вам, благородным, негоже, а у меня от лишней работы спина не переломится, — фыркнула девица, поправляя платок. Штефан только сейчас заметил — какие же ярко-синие, точно небо в день ясный, глаза у этой девицы и как же пшенично-желты тугие косы ее, выбившиеся из-под платка. «А что, вполне во Владовом вкусе, — мелькнула в голове мимолетная мысль, — и как же он стати ее наперед меня разглядел? Сразу видно — на девиц у него глаз наметан». — Ладно уж, вези, раз собрался. А я рядом пойду, пригляжу, чтоб отвез куда нужно. А то знаем мы вас, благородных... — махнув рукою, девица шагнула вперед, обходя Штефана, и поземка змейкой вскружилась за подолом ее, поглощая следы на снегу, и надвинулись сани необъятною снежной горой.

...С Влада, должно быть, сошел не один пот, пока сквозь слепящую снежную круговерть он вез санки по брашовским улицам, и белые крылья снежинок ложились на плечи его, и белым завывала под ухом пурга. Когда же вой ее сделался невыносимым, дорога внезапно закончилась распахнутой деревянною пастью ворот, впускавших в себя новые и новые порции снега. Девица остановилась, махнув рукою, давая знак к остановке Штефану и Владу.

— Вот мы и пришли, — разомкнув молчащие губы, она забрала у Влада веревки саней, усмешливо глянула на раскрасневшиеся щеки его. — Не устал санки-то тягать, господин благородный? А мы каждый день вот этак... и ничего. Куда уходить-то собрался? Здесь меня жди, — и скрылась в воротах вместе с вальяжно въехавшими санями, оставив Штефана и Влада на откуп бушевавшей метели.

— Думаешь, вернется еще? — почесал в затылке Штефан. — Глянулся ты ей, как мне показалось, — ишь, как язвила. Со мной-то и полсловечка не перемолвилась...

— Вернется... с новыми санями, небось, — хмыкнул Влад, восстанавливая дыхание. — И так, пока меня вконец не заездит. Дождусь я ее, пожалуй, Штефан. Особенная она девица — не припомню, чтоб от какой мне еще так доставалось!

Штефан открыл было рот, чтобы высказать все, что он думает о подобного рода девицах, как атакованные метелью с новыми силами ворота вдруг поддались, распахнувшись настежь, и в просоленном снегом платке она показалась снова — девица, имени которой они так и не успели узнать.

— Меня Катариной зовут, — упорно не замечая Штефана, она стрельнула на Влада глазами из-под платка, синими, как прояснившееся после метели небо, — чтоб не подумал, господин благородный, что я невежа, раз из простых... — сделав какое-то подобие книксена, она протянула Владу ладонь, свободную от меховой рукавицы, по-крестьянски широкую, с огрубелой, мозолистой кожей. — А тебя? Влад? Красивое имя, под стать... такому, как ты. Скажи, а если еще чего попрошу сделать — выполнишь просьбу?

— Да ради тебя — что угодно, красавица! — осклабился Влад. — Хоть с десяток саней!

— Если бы сани... — Катарина тяжко вздохнула, будто бы невзначай схватив Влада под руку. — Тут один... проныра ковер мне в долг соткать заказал. Я ж ткачихой работаю, в гильдии городской состою, все честь по чести. А заказов у меня той порой мало было — ну, я и взялась, хоть так обычно не делаю. Соткала, отдала свою работу, доволен заказчик мой... а денег все не несет и не несет. Я его и совестила, и просила — впустую все, смеется, мол, в суд иди жалуйся, в совет городской... А у него там родня пригрелась, и идти мне туда — толку никакого. Вот я и подумала — может, поговоришь с моим должником, как у вас там благородные разговаривают... меч-то у тебя внушительный в ножнах болтается!

Влад подкрутил усы.

— Да ты меня прямо в заплечных дел мастера сходу прочишь, — подмигнул он, приобнимая Катарину за талию, — как бы гильдия палачей протест свой городскому совету не предъявила — мол, явились тут всякие пришлые хлеб наш отбирать... Пойдем, покажешь мне своего лиходея. Уж я с ним поговорю, как положено, все твое золото до единой монетки из него вытрясу! Штефан, ты с нами?

— Куда уж деваться — с вами, конечно же, — буркнул Штефан, словив щекой

оплеуху колючего ветра. — Смотри, Влад, в опасное дело ввязываешься — не знаем мы здесь никого...

— Так уж и не знаете! — приподнявшись на цыпочки, Катарина вдруг обвила шею Влада своими руками, не помедлив, прильнула к губам его в долгом, прерывистом поцелуе. — Это тебе за тяжелые санки. А если с прохиндея того мои денежки спросишь... получишь и то, что от девицы тебе завсегда получить надобно, — потупившись в землю, договорила она. — А я своему слову хозяйка.

...Штефан припомнил ее слова, когда, склоняя головы перед упрямистым ветром, они дошли до таверны, притулившейся боком на задворках одной из извивисто-узких улочек Брашова. Распахнув видавшие виды деревянные двери, они вошли вовнутрь — в душную, безметельную полутьму, полную гомона голосов и стука кружек о лавки.

— Хозяина своего позови, — коротко распорядилась Катарина подбежавшей служанке. — Вот у этого господина, — она кивнула на Влада, — разговор к нему есть.

Хозяин явился без промедления, выплыл из винными парами пропитанного полумрака — низенький, кривоногий толстяк, едва ль по плечо Владу, елейно улыбаясь, уставился в гневное лицо его.

— Чего господин изволит? Вина? Жаркого?

— Хочу, чтоб вы деньги вернули, любезнейший, вот этой особе, — выдвинув из-за спины Катарину, Влад, будто бы невзначай, взялся за меч. — А то некрасиво как-то выходит — работа сделана, а деньги в срок не уплачены. Это ж грабеж среди бела дня, любезнейший. А с грабителями у меня беседа короткая.

— Тю-тю-тю! — замахав руками, хозяин попятился, едва не опрокинув лавку позади себя. — Вы не так поняли меня, фройляйн Катарина... Я не сказал, что не отдам вам деньги совсем, я сказал — отдам, когда будут деньги... а вот на этой неделе они как раз и появились, торговля хорошая... я все ждал-ждал, когда вы придете... а вот вы и пришли! Эй, Марта, неси-ка выручку сегодняшнюю!

...Штефан смотрел, как звонко-блестящие одна за другой покидают монетки засаленный кошель должника, чтобы с тем же заливисто-тонким звоном опуститься в кошель Катарины, бархатный, ярко-синего цвета, в тон глаз ее. Как под руку с Владом она разворачивается, чтобы уйти... и некто в столь же ярко-синем плаще преграждает им путь.

— И кто эт-то такой отчаянный пришел п-порядок в Брашове наводить? — покачнувшись, владелец оглушающе-синего ухватился за соседнюю лавку, и Штефан с облегчением понял, что тот пьян, мертвецки, до полубесчувствия пьян, и потому противник из него сейчас никакой. — Деньги треб-бовать... у честных людей, раздавая своим пот-таскушкам? П-правильно я говорю? — обернулся он к ужинающим за столами, замолчавшим в предвкушении скорой драки. — У... управы нет на таких, как т-ты!

— Влад, пойдем отсюда! — беспокойно заметавшись глазами, Катарина потянула Влада за рукав. — Незачем тебе в ссору ввязываться, деньги забрали — и пойдем!

— Нет уж, — отстранив ее руку, Влад шагнул к заступавшему путь, приблизив лицо вплотную к его лицу, красному от винных паров, с осовелыми, мелко моргающими глазами. — Вы сейчас извинитесь, любезнейший, за то, что посмели обозвать потаскухою эту почтенную фройляйн. И тогда, возможно, вы уйдете отсюда живым и практически невредимым.

— И не п-подумаю извиняться! — прижатый к скамье стальною хваткою Влада пьянчуга вдруг вывернулся, обретя несвойственную его положению резвость. — З-защищайся!

Дальнейшее вспоминалось Штефану смутно — меч, змеею выметнувшийся из-под синих складок плаща, и ответный удар меча — навстречу удару. Крик Катарины — и кровь ярко-алою лужей на вызывающе-синем...

А потом дверь таверны распахнулась приглашенною стражей, и Штефану сделалось не до воспоминаний.

* * *

В ратуше пахло пылью и плесневелой бумагой. Унынье навевающий запах — Штефану виделись секретари городского суда, худосочные юноши с бледными лицами в темных одеждах, что, сгорбившись за столами, скрипели перьями, изливая в бумагу чернильную кровь, и от этого монотонного скрипа хотелось зевать. Вз-з! — в чернильницу одного из них приземлилась большая серо-зеленая муха, забила отчаянно крыльями, увязая в болотной трясине чернил. Шлеп! — подцепив на перо мушиное крылышко, секретарь впечатал муху в бумагу жирной, разлапистой точкой в конце документа, присыпал песком, разлетевшимся в воздухе, точно слежалая пыль. Шр-р...

Штефан чихнул, выгоняя из мыслей неуместно смешные картины. Он был один в тусклым свечным светом залитой комнате, стоял против высокого резного стола с выдающимся в сторону креслом, за коим сидел, развалясь, глава городского совета,

крутил в руках сложенный надвое лист бумаги, испытующе смотрел на Штефана.

— Только из уважения к вашему покойному отцу, молодой человек, — наконец, со вздохом произнес он, протягивая листок Штефану. — Богдан был моим другом и сделал в свое время немалое для меня... наверно, пришло время и мне долги отдавать. Читайте, юноша.

Штефан впился глазами в бумагу. То, что читал он, написанное всем понятной латиницей, повергало его во все большее недоумение, кое он не замедлил выказать главе городского совета.

— К-какое «отправиться в поход против воеводы Владислауса»? Какое «противопоставить себя вашей воле»?! Влад... он никаких походов ни против кого не замышлял, он просто со мною шел, меня охраняя, один! И войска-то у него нету! С чего вы взяли, что он опасен? Что... что за чушь вы наплели Хуньяди про моего друга в этом письме?!

— Поосторожнее в выражениях, юноша! — упреждающе подняв палец, глава городского совета заерзал в кресле. — Это дела политические, вас не касаемые. А в общем и целом — ничего сверх того, что произошло, не написал я в письме Яношу Хуньяди, милостивому покровителю и защитнику Брашова. Что задержан нами убийца почтенного брашовского дворянина, затеявший пьяную драку в питейном заведенье, нанесший ущерб...

— Да не так все совсем было, тот первый начал!

— ...нанесший ущерб таверне брашовской в виде сломанных стульев и побитой посуды, — невозмутимо продолжил глава городского совета, — Влад, сын покойного Дракула воеводы. И испрашиваем мы решения у патрона нашего — как с этим возмутителем спокойствия нам поступить? На время ожиданья ответа определив его в тюрьму городскую. Что же неправильного в нашем письме, несправедливого в нашем решенье?

«Да после таких оговоров Хуньяди прикажет казнить Влада, казнить, не раздумывая... либо держать взаперти, на случай если он чем-то понадобится Хуньяди... а вы говорите мне о справедливости, господин глава городского совета... — молнией пронеслось в голове у Штефана. — Нужно что-то сделать, прямо сейчас, пока он письмо не отправил...»

— Золото, — хрипло произнес он. — Уезжая из Молдавии, я взял с собой достаточно золота, столько, чтобы жить, ни в чем не нуждаясь, долгие годы. Я готов пополнить своими деньгами городскую казну, если вы отпустите Влада. В тот же день. Я обещаю вам это, господин глава...

— Эх, юноша-юноша... Неужели вы думаете меня подкупить? — скрестив на груди руки, глава городского совета в упор посмотрел на Штефана. — Брашову не нужно золото. Брашов и без того богат. Брашову нужна справедливость, которую даст нам решенье регента престола венгерского. Не шутите так больше со мной, я ведь могу и всерьез отнестись к вашей шутке.

Штефан прикрыл глаза. Мысли бились увязающей в чернильнице мухой, и Штефан тщетно пытался поддеть их наточенным пером рассуждений, понять, как же действовать дальше, что говорить, о чем умолять...

— А ведь я этого дворянина убил, — вдруг произнес он, встряхиваясь, точно после забытья, — Влад здесь ни при чем.

— Так, — задумчиво постучал по столу длинными бледными пальцами глава городского совета. — Так-так-так. Очень интересно. Продолжайте, юноша.

— Подошел сбоку и мечом заколол, пока он другу моему гнусности всякие нес, — врал вдохновенно Штефан. — Вот так — раз, и все! — он сделал выпад рукою против кресла главы. — Кровищи сразу — как из зарезанного борова, дворянин завалился на бок, в таверне орут: «Убивец! Вяжите его!» Тут же стража городская вбегает — кого, мол, вязать? А мы с Владом... похожи, вот на него свидетели и указали, не разобравшись...

От кресла главы донеслись странные кхеркающие звуки. Штефан поднял глаза — глава городского совета смеялся, хватаясь за тощий живот, укутанный в судейскую мантию, на узком, морщинами прорезанном лбу его проступили бисеринки мелкого пота.

— Похожие... кха-ха-ха... Да вы уморить меня совсем собрались, юноша, всеми этими несуразицами. Только из уважения к вашему покойному отцу — идите отсюда с богом. Не будь вы сыном Богдана — сидеть вам в соседней камере с вашим беспутным дружком, за лжесвидетельство перед властью брашовской... похожи... кхе-кхе...

...Штефан плохо помнил дорогу обратно — по выбеленным пургою мерзлым вечерним улицам, под черным небом, накрапывающим снежинками за воротник. Добредя до каморки своей в постоялом дворе, он разжег свечу и долго сидел, вперившись взглядом в ослепительно-желтое пламя.

Короткий сон принес ему лишь беспокойствие. В этом сне он видел огонь, охватив-

ший брашовские стены, и себя, с войском великим стоящего под ними, и Влада — по правую руку его, в одеждах начальника войска. И в пламени испепеляющем плавились островерхие крыши, и с печальным треском осыпались башни брашовской ратуши, и рухнули стальные ворота Брашова, и в пепел обратился ненавистный ему купеческий град.

Штефан проснулся злой и исполненный решимости действовать. Истребовав бумагу с пером и чернила, он сел и писал — до самого утра, до бледной полоски зари, прокравшейся сквозь закрытые ставни, — о верности клятве вассальной, данной отцом его престолу венгерскому, о непомышлении Владом никоих злодейств в отношенье престола сего, о том, что ручается головою за Владову невиновность... и об османах, чье войско копило силы свои для битв против стран христианских.

«И будет союзником Влад вам в этой войне, если дадите вы свободу ему, выпустив из тюремных застенков высочайшим соизволением», — закончил он письмо к Хуньяди, чувствуя наконец-то спокойствие на душе — белое, как свежевыпавший снег за окном его, песком присыпавший черные письмена брашовских улиц.

3

Двадцать восьмая весна его осталась в памяти щебетом птиц, солнцем, пекущим непокрытую голову Штефана, и черными, зимой оголенными полями с проклевывающейся щетиной травы. Он ехал и ехал по нескончаемо долгому валашскому тракту мимо крытых соломою хат и овечьих кучерявых отар, мимо стен городов валашских и скрипучих крестьянских телег, подающихся в стороны перед конем его. И ветер гнал по небу белые стада облаков, свистел в ушах звонкой пастушеской дудкой, и, разгорячая коня, Штефан мчался вперед, ощущая себя в этот миг легким, точно белое облако, и свободным, как ветер.

Когда разморенное дневною усталостью солнце село за горизонт, погружая поля в темноту, тракт, вильнув под горку, вывел Штефана к обороненным плетеными частоколами хатам. Штефан спешился у ближайшей из них, взяв коня за поводья; стукнул в низкую дверь, отозвавшуюся жалостным скрипом стараньям его.

— Эй, хозяева! Есть кто живой?

— Да пока что не померли, милостью Божьей... — сгорбленный, как корявое дерево, с лицом, вспаханным морщинами, подобно древесной коре, крестьянин стоял перед Штефаном, мял в руках кудлатую шапку. — Чего хочешь-то, человек добрый?

Штефану хотелось уснуть и видеть долгие сны — о дороге, которая когда-нибудь приходит к концу, и весенне-бешеном солнце, об улыбках белозубых валашских красавиц и ветре, вплетающем пальцы свои в их черные косы.

— Сколько еще ехать до Тырговиште?

— Да с полночи пути будет, мил человек, — пожевал губами крестьянин, — лошадь-то у тебя, смотрю, притомленная. Может, заночуешь у нас, дашь себе отдыху? — взгляд его, не по-старчески цепкий, метнулся к кошелю на поясе Штефана и снова уставился в пол. — Старуха молочка бы тебе в крынке вынесла...

...Это осталось в памяти, зацепилось, корнями проросло на долгие годы спустя — пригоршня монет в крестьянской ладони и парное, с пенкою молоко в разлапистой крынке, облачно-белым привкусом под языком. Тьмой прокопченный потолок крестьянской хаты — и перины, мягкие, невесомо-воздушные, как облака, подхватившие Штефана в сон, стоило ему лишь коснуться их...

Он открыл глаза от разогнавшего дрему петушиного крика. Солнцем вытканные дорожки бежали по полу — от ткацких станков, неустанно трудящихся там, в поднебесье, и блеяли козы за стенкою, и, мурлыкая, грелся в ногах распушившийся кот.

Спихнув кота на пол, Штефан приподнялся на перинах навстречу скрипнувшей двери.

— Коня мы тебе почистили, задали овса, — будто продолжая вчерашнюю речь, пробубнил от порога крестьянин, — тоже ведь тварь божья, ухода просит... А скажи-ка мне, мил человек, — внезапно прищурившись, он уставился взглядом напрямую в глаза Штефану, — война опять обещается, верно? То-то вы все, знатно одетые, в Тырговиште зачастили, к новому нашему господарю. Я войну страсть как не люблю — у меня трое сыновей на ней сгинуло, а четвертый вернулся, войною обкусанный, но в хозяйстве с тех пор бесполезен — правая рука саблею посечена и больше не гнется, а левой рукой много ли мужик наработает? Так вот, скажи мне, старому — ждать ли нам новой войны?

Штефан почувствовал, как щеки его зарумянились яблочной краской стыда. «Если б я мог соврать тебе, старик, — я бы сейчас соврал, успокоив, сказав, что ветром носимые слухи не всегда бывают верны, что в Тырговиште я еду гостить к своему близкому другу и меч мой за поясом — лишь для защиты моей от дорожных грабителей. И что

не мечтаю я денно и нощно вернуть отобранный у меня молдавский престол, а желаю жить жизнью мирной, женившись на одной из валашских боярышень и долга своего более ни перед кем не неся, кроме как перед семьею своей... но это все будет ложью, старик, и ты это знаешь, и знаю я сам».

— Ждать, — отворачивая взгляд в сторону, произнес он. — Война — зверюга ненасытная, пока люди живы — не закончиться ей, вечно мясо людское кидать ей в голодную пасть...

...Если бы можно было — стереть из памяти липкий стыд этих сказанных слов и солнцем прокаленную тишину, наступившую после, оставляя себе лишь белые облака над соломенной крышей да ветер, свистящий через плечо лихим, разбойничьим посвистом... но память не спрашивает согласья, не даст забыть то, что не должно быть забыто. Въезжая под арку ворот тырговиштских, Штефан помнил, камнями перекатывал под языком не сказанные им слова и те, что он все же решился высказать вслух, а потом — пустынная улица перед глазами его вдруг ударила отголосками звонких копыт, ветром выметнула по мостовой бледно-серую тень. Вынесшийся из переулка всадник в роскошных одеждах приостановил коня, подъезжая к Штефану, окликнул, не скрывая восторга:

— Братишка! Я и не ждал, что ты так быстро приедешь, весенние пути — они скорости не способствуют. А что такой смурной-то? Не рад меня видеть?

Влад был все тот же, ничуть не изменившийся за годы, проведенные им в отдаленье от Штефана — годы скитаний по землям молдавским и трансильванским, что не придали благодушия колючему взгляду его, не сделали мягче голос, привычный более к речам ожесточенным.

— Влад! — Штефан протянул ему руку, испробуя крепость рукопожатия. — Ты и представить не можешь, как радует меня наша встреча... А что до настроения моего... так настроение — вещь переменчивая, особенно в погоду весеннюю. Рад видеть тебя в добром здравии, брат мой, и крепко сидящим на троне отцовском.

Влад расхохотался, хлопнул свободной рукою Штефана по плечу.

— Пришло время и тебе трон свой вернуть, братишка. Многие бояре молдавские сейчас на твоей стороне, преданные люди постарались... — принизив голос, произнес он, — а с теми, кто еще на стороне Петра Арона, — справится наше войско, людей в нем набралось предостаточно.

Штефан качнул головой, прогоняя из памяти видение калечного крестьянского сына. «Я не виновен в твоих страданьях, бедняга. Это ж — закон человеческий, не я — так Влад бы войною людей повел, не Влад — так король венгерский... Нет этому конца и начала... Если бы мог я все это остановить, заняв трон господарский, державу свою оградить от набегов осман и поляков... Но не во власти это моей, а скорее, во власти Божьей — изменить природу людскую, сделав род человечий менее кровожадным».

И Штефан знал, что задуманное несбыточно, и потому — продолжаться войне.

* * *

Речная вода отдавала застоявшейся тиной. Ветром колеблемым частоколом качались перед глазами сочные камыши, то тут, то там подавали голос речные лягушки. Губами тянущийся к кромке воды конь переступил с ноги на ногу, разминаясь, — и под копытом чавкнуло влагой, отозвалось в камышах возмущенным утиным кряканьем. Штефан раздраженно дернул поводьями.

— Терпение, — привстав в стременах по правую руку его, Влад вглядывался в противоположный берег, покрытый густым перелеском. — Войско Петра Арона уже на подходе — крадется вдоль Сирета, точно осторожная мышь, не упуская из виду войско наше. И нужно лишь подождать, когда к броду оно подойдет, чтобы атаковать его было сподручнее. А там... — он хлопнул рукой по щеке, прибивая доставучего комара, — а там и отряд Молдовена его с бока ударит, и мы уж после, Сирет миновав, довершим начатое.

Штефан перевел взгляд на мутные, густою тиной покрытые воды Сирета, в зеленых брызгах кувшиночных листьев. Ему представились девы воды, белогрудые речные русалки, что манят рассыпчатым смехом неосторожных путников на берегах, чешут длинные косы, присев на речные коряги, свесив в воду чешуйчатые хвосты, и река отражает их бледные навьи лица. Он роняет поводья и, спешившись — приходит на зов, бредет по колено в зеленой воде, слепо вытянув руки, подчиняясь русалочьим голосам, и река обнимает его ледяными ладонями волн, гладит холодом, выстуживая до русалочье-мертвенной бледности... а потом голос Влада выдергивает его из небытия, и русалий морок спадает.

— Заснул ты там, что ли, братишка? Время к атаке настало, теснит Петра Арона Молдовенова конница. Пора и нам в бой выступать. Вперед!

Копытами взбивая ил, кони двинулись вброд — туда, где за зеленью расплескав-

шимся перелеском шел бой между отрядом Молдовена и Ароновой армией, где молниями весенней грозы рассекали воздух стальные клинки и красным пятнала кровь серую прибрежную глину. Штефан оказался в гуще схватки, сам не заметив того — влетел, размахивая мечом, отбивающим рвущиеся к горлу его чужие клинки, искал глазами врага своего — Петра Арона.

— Жди смерти своей, подлый братоубийца!

Приземистую, мешковатую фигуру Петра Арона он засек взглядом невдалеке и едва не завыл от отчаяния — окруженный плотным кольцом дружинников Арон отступал, позорно бежал с поля боя, уводя за собою войско, увязшее в цепких силках Владом расставленной западни, оставляя Владу обозы как боевые трофеи и копытами втоптанные в грязь знамена свои.

— Трус! — задыхаясь, выкрикнул Штефан, и подхваченные ветром слова его далеко разнеслись над сиретской водой. — Трус и подлец, способный сражаться лишь с безоружными... Вернись и прими бой, как подобает мужчине!

— Он не вернется, — насмешливо обронил Влад, поодаль скачущий на тиной и кровью покрытом, хрипящем вороном скакуне. — Бежит сейчас к романским вратам, только пятки сверкают, молитву шепчет, чтобы мы его не догнали, небось.

— А мы — догоним? — с надеждой выдохнул Штефан. — Не дадим негодяю укрыться за крепкими стенами Романа?

— А зачем догонять-то сейчас, силы воинов понапрасну тратить? — изумленно вскинулся Влад. — Обозы свои этот дуралей бросил, а значит — осады Арону в Романе против нас не сдержать. Бегство ему теперь одно остается — до самых молдавских границ. А нам останется — только гнать врага, точно гончими зайца, а потом... обещаю тебе не трогать его, Штефан. Знаю, жаждешь ты прирезать Петра Арона собственноручно, и я не стану лишать тебя этого маленького удовольствия, брат, — он подмигнул Штефану, сделавшись на миг так непривычно веселым, а потом — на лицо его вновь легла хмурая тень. — Жаль, что самому мне не всех врагов своих заслуженной казни предать получилось. Скосила чума Хуньяди под белградскими стенами, да и Владислава Ласло, убийцу отца моего, ставленника венгерского, — не мой клинок в бою поразил... Ну да ладно, что было — то было, на все воля Божья.

И черный когтистый орел расправлял свои крылья на знамени за Владовою спиною, сжимая в клюве позолоченный крест, подобный карающему мечу, и огненным полыхало закатное солнце напротив орлиного клюва, и бледным серпом вставала луна. Штефан обернулся — к собственным знаменам его, увенчанным турьею головой, упрямо-рогатой, звезду наступающей ночи хоронящей между рогов своих.

«Валашский орел и бык земель молдавских... В союзе этом покорны нам будут любые враги, — подумалось Штефану, — и никакие силы нас не заставят пойти друг против друга, хоть в малой мере друг другу навредить».

И Штефану не хотелось верить, что может случиться иначе.

4

Тридцать третье лето жизни его запомнилось Штефану желтыми, солнцем иссушенными травами и оглушающей, беспощадной жарой. Раскаленно-белое небо над головою, дымящееся облаками, звоном отдающие камни под копытами его жеребца небесно-белого цвета... Штефан перевел взгляд на килийские стены — каменной, неодолимой преградою вставшие между Дунаем и крепостью, ощетинившиеся пушками стены — как османским галерам, подбиравшимся к ним с воды, равно как и молдавским полкам его.

«Крепкий орешек — Килия, разгрызть его будет непросто. Мехмед на нем зубы свои обломал... да мы позубастее Мехмеда будем, — отчего-то развеселясь, подумал Штефан. — Недолго тебе, Килия, оставаться под рукою Матьяша, пришло время хозяина своего поменять».

Это был благоприятнейший час для атаки, иного такого же часа могло не случиться годы и годы спустя, и все же одно не давало Штефану покоя, язвило душу, точно острым камушком, затесавшимся в сапоге, — мысли о Владе, коему немалой подмогой была эта твердыня в войне, что затеял он волей Матьяша.

«Сам виноват, глупый сумасбродец! — Штефан почувствовал, как закипает гнев на душе его, измученной уколами совести. — Это безумие, брат, подлинное, чистейшей воды безумие — все то, что творишь ты сейчас, обнадеженный словами о помощи, что обещает тебе венгерский престол. Не получил ты ее до сих пор и не получишь — от лживого короля, привыкшего разбрасывать обещания, словно дорожную пыль под сапогом...»

Черная, полуденным солнцем сплющенная тень у копыт белоснежного жеребца его вдруг шевельнулась, точно тронутая легчайшим бризом, и Штефан — словно бы

раздвоился в единый миг, словно бы часть его отделилась от него самого, вошла в силуэт его, темным распластанный на песке, и комарино-тонкий, зудящий до раздражения голос спросил у Штефана: «А ты? Ты почему не оказал помощь брату своему? Почему не встал с ним плечом к плечу в безнадежной борьбе, чтобы одолеть врага вместе либо же — вместе погибнуть?»

— Потому, что я не хочу умирать во имя его безрассудства, — пробормотал Штефан собственной тени. — Потому, что страна моя не настолько сильна и не настолько крепка еще власть государственная...

«Да-а? — глумливо пискнул голос. — Да неужели? А у брата твоего, можно подумать, страна силой и крепостью пышет. Османскими войсками пожженная, с потравленной водою в колодцах...»

— Это не моя вина! Пусть бы платил дань султану и дальше — никто бы страну его не выжигал! — яростно зашептал Штефан. — Сам виноват — польстился на посулы Матьяша, крестовый поход объявившего. Крестовый поход против кого? Против могущественнейшего, неодолимейшего из врагов христианских!

«Может, и не был бы он столь неодолимым, если б все государи христианские были такими, как Влад? — ехидно парировал голос. — Если бы, позабыв о слабостях государств своих и о собственных слабостях, — выдвинулись на войну против зверя лютейшего, а не сидели бы, каждый в пределах своих, о том лишь думая, как бы соседа своего половчей уязвить? Крепостишку там отобрать, например...»

— Хватит! Килия испокон веков была под властью молдавской, пока венгерская корона не отняла! — вперившись взглядом в тень, прошипел Штефан. — Я имею право поступать так, как поступаю сейчас!

«Конечно, имеешь, — успокоительно хмыкнул голос, — вот только почему именно сейчас, когда так важна Владу эта твердыня, отважно стоящая против османов, поставки продовольствия войску их перекрывающая? Значит, как выгодно тебе стало, так ты и против брата пошел? Эх, Штефан-Штефан, торгашеская душа твоя».

Голос затих, замолчал, развеявшись в прохладою тянущих, налетевших с Дуная ветровых порывах, и все так же плавило небо раскаленное солнце, и белым устремлялись ввысь неприступные килийские стены.

— К атаке, — сухо произнес Штефан, оборачиваясь к войску за его спиною. — Испробуем на прочность скорлупу ореха сего, кажущегося настолько твердым!

И пушки заговорили — сердитыми, грохочущими голосами, выплевывая ядра в дымящиеся небеса, и басом ответили им килийские пушки. Точно волны морские, ударилось в стены Килии Штефаново войско, и стены выстояли, загудев, раз, и другой, и последующие.

...Этот день вошел в память Штефану потом, заливающим лоб его, и колючими стрелами солнца, бьющими прямо в глаза. Громом пушек, призывавших грозу на уставшие от жара поля близ Дуная, и травой — красно-рыжей от крови, пропитавшей подножие Килии. Черными, распластавшимися тенями в траве — и жгучей болью в ноге, острым, комариным укусом, там, где зажатая стременем прикасалась нога к белоснежному конскому крупу.

«Словно меткой своею пометила... проклятая Килия!» — скривившись от дергающей боли, Штефан перегнулся в седле, наблюдая, как тоненькой красною струйкой сбегает кровь его по вздымающимся и опадающим конским бокам, как сделавшийся вмиг чугунно-тяжелым набухает сапог. Выругавшись, он рванул рукою стрелу, подцепив за оперенье, и, обиженно тренькнув, стрела разломилась в пальцах его, оставляя в ране острый обломок.

— Крепким оказался орешек, с ходу и не разбить скорлупу... Ничего, его время настанет, не летом — так зимой одолеем, — вырвалось у Штефана так, словно он видел уже сквозь неразличимые впереди годы ледяными торосами скованные воды Дуная, белые от инея килийские стены над ними и войско свое, вновь идущее на приступ стен этих, куда как более многочисленное и лучше вооруженное войско...

А потом — ватной подушкою накатившая слабость толкнула в затылок, ярко-алою вспышкой шибанула в виски, и Штефан едва удержался в седле, забывая отдаленно пригрезившееся ему.

5

Его сорок четвертая осень ложилась на память крупяно-белым, тающим в воздухе снегом близкой зимы. Воротами, распахнутыми навстречу летящему снегу, встретила Штефана Дымбовица[1], и, озирая взглядом окрест, он въехал за крепостные стены, и войско его втекло вслед за ним.

[1] Дымбовица — крепость на месте современного Бухареста.

— Ушел Раду. Сбежал, углядев силы превосходящие, — разгоняя дыханьем снежинки, буркнул едущий поодаль Лайота, чей гладко-лощеный вороной жеребец статями своими словно соперничал со Штефановым жеребцом. — Что ж, тем лучше для нас — меньше войска в битве потратим. А оно нам еще пригодится...

Штефан поморщился.

— Тебе пригодится, Лайота. Не думай, что вечно я буду способствовать тут в борьбе за престол господарский — забот у меня и без того предостаточно, — коротко дернув поводьями, он направил коня к крепостному крыльцу. — Помог, потому что с Раду у меня личные счеты...

Он посмурнел лицом, вспоминая, язвящими душу осколками перебирая в мыслях — черные, будто углем вычерченные ветки деревьев, и летящий наискось снег, ветер, пробирающий даже сквозь плотный кафтан, и письмо на ладонях его, в темных кляксах от поплывших снежинок. «Почему не пришел ты за подмогой ко мне, Влад, почему обратился к Матьяшу? Неужели сей лживый лис показался тебе более достойным доверия, брат мой?.. Почему узнал я обо всем только сейчас, когда кинул тебя в темницу Матьяш вместо обещанной помощи, когда нет у меня возможности уже что-то исправить?..» И — с памятью приходящая ясность ответов на все вопросы его, на все отчаянные «почему»...

— Раду — трус и слабак, и воитель из него никудышный, — спешившись у крыльца, Штефан обернулся к Лайоте, — и только султановой помощью на троне держался он все эти годы, изгнав своего брата за пределы страны и сделавшись в одночасье ее полноправным владыкой. Удобный Мехмеду властитель, исправно платящий дань, набегами разорявший соседние страны... смотри, Лайота, если и ты таким же заделаешься — станешь врагом мне, как и Раду. Отступника на троне валашском не потерплю... Что встал-то? За мною пойдем, проверим, не остался ли здесь кто-нибудь.

Щербинами надкусанные ступени вели Штефана все выше и выше по кольцами взвившейся лестнице, полной стылого, осеннего полумрака и гулких шагов. Когда же, устав петлять, лестница внезапно закончилась вросшей в стену широкой дубовою дверью, Штефан остановился, не убирая пальцев с эфеса меча.

— Тш-ш, там кто-то есть, — сказал он пробивающейся из-под двери полоске факельно-рыжего света. — Заходим осторожно, Лайота.

...Это осталось в памяти, вплетаясь в снежинками бьющий ветер за узким окном, в дрожащие отблески факела и угольно-черные потеки теней на стене, — женщина, чьи взгляды, подобные ударам меча, столкнулись со взглядами Штефана, и дитя, в испуге прижавшееся к коленям ее. Камнями сияющая диадема в ее волосах — и золотом блещущее ожерелье на пышной груди. Скрип ветром закрываемой двери — и колкая, оглушительная тишина...

— Да это ж супруга Раду! — изумленно ахнул Лайота. — И дочка его. Надо же, как убегать торопился — семейство свое в Дымбовице забыл. Или не нужно ему больше это семейство?.. Что делать-то будешь, Штефан, со своими трофеями? Выкуп у Раду попросишь?

— Письмо о выкупе напишу, хотя есть у меня опасения, что не откликнется Раду, не шевельнется сердце его, — раздумчиво произнес Штефан. — Тот, кто брата родного предал во имя столь желанного им господарского трона, — станет ли дорожить и иною родней?

Губы женщины, неотрывно вслушивающейся в слова его, дрогнули, словно пытаясь что-то сказать, но Штефан поднял ладонь, обрывая не начавшиеся речи ее.

— Вам незачем опасаться меня, госпожа. Я не воюю с женщинами и детьми. Как бы ни провинился передо мною супруг ваш — обиды вам я не нанесу. Лишь подлые сердцем отыгрываются на беззащитных. Я поручу вас заботам Марии Мангупской, достойной супруги моей, и ни в чем при дворе моем вы не будете знать притеснения. Пойдемте со мною без всякого страха, — он протянул руку, и изящные, тонкие пальцы легли на ладонь его, замерли, принимая рукопожатие.

...Помнить. Иссушенными листьями воспоминаний схоронить на всю долгую зиму, до грядущей весны, до воспрявшего к жизни солнца и зеленой травы, прорастающей под лучами его сквозь весеннюю грязь, — помнить и не забывать, до последнего самого мига...

«Потому что только памятью живо сердце твое, — вдруг подумалось Штефану, — и ничем иным более».

И, подхватив женщину под руку, он шагнул с нею в черный дверной окоем.

* * *

Весна пришла в Сучаву сырой и промозглой, кисельно-белым туманом окутывая по утрам улочки города, холодом заставляя сжиматься еще не раскрывшиеся на деревьях темно-зеленые почки. Тучами насупившееся небо над головою, без единого

проблеска солнца, гулкие булыжники мостовой под ногами, блестящие от ночного дождя... «Словно рыбная чешуя серой, снулой рыбины, приливом выброшенной на прибрежную гальку, — отчего-то подумалось Штефану, — склизкими плавниками своими обнявшей негостеприимную землю, мутным глазом уставившуюся в небеса».

Он повернул коня, направляясь к центру народом запруженной площади — туда, где, ветвей лишенными древами на высоком помосте рядами прорастали виселицы, установленные по приказу его. Штефан вперился взглядом в крайнюю из них, готовую принять в свои смертельные объятия первого из осужденных.

«И в этом будет моя величайшая милость, мой дар — этой проклятой весне, от которой ломит все кости, будто на дыбе, и отзываются болью давно позабытые раны. Я мог бы усадить их на колья, этих мятежных валахов, принявших сторону Раду, доставив им те же мученья, что достаются османам, попавшим мне в плен, но... весеннее чахлое солнце взывает к моему милосердию, и смерть заберет врагов моих быстрее, чем хотелось бы мне поначалу», — пронеслось в голове у Штефана, вызывая в памяти — сгустки крови на белом снеговом полотне и вознесшиеся к небу колья, мерный стук молотков палачей и оскаленные в крике рты принимающих смерть, пьющих ядом язвящую чашу ее до последнего вздоха.

«И запишут мои хронисты, — все более ожесточаясь, думал он, — занесут в свои летописи о деяньях моих: *«А кого захватил он живым, тех велел он сажать на колья крестообразно через пупок, всего две тысячи триста; и был занят этим два дня, а затем увел свое войско. И пошел с большой добычей и радостью в Сучаву, столицу своей страны...»* И никто не станет пенять на мое жестокосердие, и не нарекут меня сатаной в человечьем обличье... как назвали тебя, брат мой, хоть не сотворил ты и десятой части того, что я сотворил. *«Тогда воевода Штефан опять пошел в Мунтению*[1] *и за четырнадцать дней марта почти полностью выжег эту страну. Но было слишком холодно, так что не смог он там остаться с войском и вернулся опять к себе. Но много полоненных людей привел он с собой в Сучаву, так что за один день только велел он повесить перед замком семьсот человек»* — так будет сказано в летописях о вершащемся по воле моей. Так запомнят потомки меня... а что останется в памяти у людей о тебе, Влад? Какой грязью клеветы зарастет она стараниями памфлетистов врага твоего, Матьяша Корвина, коему недостаточно позорного заточения твоего в вышеградских застенках — нет, само имя твое он порочит без стыда и стесненья, публичною казнью казнит на всех площадях. Если бы мог я хоть что-то исправить... чертовы весенние сожаления о запоздалом!»

Словно очнувшись, Штефан продолжил смотреть на шаткую лестницу, прислоненную к виселичной перекладине, на взбиравшегося по ней палача. На веревки, змеями обхватившие шею приговоренного, на забившиеся в воздухе ноги его под согласные вопли толпы.

— Или же... все еще не поздно? — Штефан и сам не заметил, как произнес это вслух, словно с самим собой рассуждая, словно бы возражая самому себе. — Не поздно, пока жив человек, пока дыхание его Божьей волею не прервалось — никогда не поздно исправить собственные ошибки. Или хотя бы попытаться исправить, — усмехнувшись своим мыслям, продолжил он. — Кто знает, сколько жизни мне отмерено с этой весны, сколько весен еще встречу я, сколько — зарубками останутся в памяти.

И, подняв голову к враз просветлевшему небу, Штефан ощутил щекою — первый солнечный луч этой странно-холодной весны, с боем вырвавшийся сквозь захватившие небеса облака, мимолетно-робкий, дающий надежду. И это показалось ему благоприятнейшим знаком.

6

Сорок пятое лето жизни Штефана — врезалось в память прокаленным жарою небом за высокими окнами и успокоительной прохладою комнат, болью вновь открывшейся раны, впившейся в ногу его, уязвляя до самой кости, и сизыми, тяжелобрюхими мухами, что кружились над головой с надсадным гудением, залетая в окно.

Штефан откинулся в кресле, досадливо отбиваясь ладонью от жужжания над щекою своей. «Как над умирающим роятся... отвратные божьи твари! — мелькнуло в мыслях черной мушиною точкой, сбивая с четко выверенных рассуждений, кои он старался излить на бумагу, невзирая на рвущие боли в ноге. — Эк же меня прихватило... проклятая Килия, да провались она в ад!»

Ему отчего-то представилось надменное, искривленное в усмешке лицо венгерского короля, глумящегося над несчастьем его. Укутанный в красную, кровавого цвета мантию Матьяш Корвин стоял на балконе дворца, поражающего роскошеством и

[1] Мунтения — восточная часть Валахии.

красотой, позируя придворному живописцу, изображавшему монаршую персону на фоне килийских башен. «Этот Штефан, грубый восточный сосед наш, — с ленцой протянул Матьяш, отпивая вина из поднесенного спешно изящного кубка, — этот недостойный, осмелившийся бросить нам вызов, оскорбивший достоинство наше, назвав нас ребенком на троне державном, играющимся с властью, словно с новой игрушкой... О, мы заставим его трижды жалеть о сказанном! Мы объявляем войну!» И виденье исчезло, осыпавшись прахом, сменившись видением новым — пылающих городских улиц, наполненных звоном мечей и хрипами умирающих, под белым месяцем, проплывающим важно над покатыми крышами, над кровью залитой городской мостовой. «Этот Штефан... — захныкал Матьяш, и лицо его, искаженное гримасою боли, было поднято к ночным небесам, просветлевшим от великих пожарищ, с месяцем, спрятавшимся в дыму. — Он осмелился ранить нас... ах, переживем ли мы это недостойное поражение!» И, поднятый слугами на еловых носилках, он сгинул в сером дыму, стеная о невыносимом своем оскорблении, что доставляло Штефану сильнейшую радость.

— Сущий ребенок, — пожал он плечами, мыслями возвращаясь к письму, — капризный и злой, как все дети, желаниям которых умудренные опытом взрослые не спешат потакать. Достаточно подыграть такому, предложив игрушку новую взамен отобранной у него, — и он готов будет пойти на уступки. Конечно же, если будет игрушка эта достаточно интересной пытливому уму его королевского величества... Пиши, — обратился он к замершему в ожидании секретарю, чья рука тотчас же суетливо метнулась к чернильнице. — «И угроза османская, нависшая ныне над всем христианским миром, требует незамедлительных действий. Позабудем же старые распри, дабы объединиться нам вместе против османских полчищ, крестовым походом выступив, единою дружною армией...»

Он перевел дыхание, отвлекаясь от мыслей — яростной болью в ступне, что, словно расплавленным сургучом, жгла ногу его, выгоняя прочь все иные помышления, оставляя в памяти лишь ярко-красные вспышки перед глазами, точно пушечные ядра, взрывавшиеся в голове Штефана. Он стиснул зубы, пережидая мучительнейшую из накативших атак.

— Пиши, — выдохнул он наконец, когда, вдоволь натешившись с раной, боль отступила, притихнув, набирая силы для новых изнурительно-жестоких боев. — «И будет союзником Влад вам в этой войне, если дадите вы свободу ему, выпустив из тюремных застенков высочайшим соизволением».

Закончив письмо к Матьяшу, он долго сидел, всматриваясь неотрывно в облаками тронутое небо за высоким окном, ощущая вдруг почти позабытое им спокойствие на душе — белое, как солнечнобокие облака, пушинками из ангельских крыльев проплывающие над грешной землею. И ничто не могло более потревожить этот покой.

7

Его сорок седьмая осень оставалась в памяти желтизной умирающих листьев и поблекшей, дождями размытою синевою далекого неба, под белым саваном наплывающих облаков. Сочное, краснобокое яблоко минувшего лета дозревало на ветке, чтобы в природой положенный срок покрыться темными гнильными пятнами, быть погребенным опавшей осенней листвою, оплаканным холодною моросью туч. И не было причины роптать на заведенный порядок вещей, но душу Штефана иссушало ноющее недовольство.

— У смерти — привкус гнилого яблока, — пробормотал он, отставляя в сторону поднесенное блюдо с плодами молдавских садов — ярко-красными до перезрелости, с чуть ощутимой гнильцой. — Все мы — прах на ладони Божьей и прахом в землю уйдем, как минует время...

Память лета, жаркого, короткоспелого, не давала ему покоя, вызывая перед глазами снова и снова — долину, белую от костей тех, кто, веря в победу, шел вслед за Штефаном, и испепеляющее солнце над ней, мертвенным огнем горящее солнце.

— Их было больше, много больше, чем молдаван, но все же мы устояли, хоть и превеликой ценой... И много скорби теперь в господарстве моем, много больше, чем может вынести эта земля... — Штефан обернулся на скрип распахнувшейся двери, на тихие, едва различимые шаги.

...Лицо супруги его с каждым прожитым днем словно теряло последнюю живость; невидимой хвори, пившей ее без остатка, не обнаруживал ни один из лекарей, приглашаемых Штефаном с того самого дня, как, разродившись наследниками его, она, прометавшись с неделю в горячечной лихорадке, поднялась с одра болезни притихшей и бледной, и яркость румянца больше не возвращалась на щеки ее.

— Все скоро закончится, Штефан, — оголяя белоснежные зубы в слабом подобии улыбки, сказала она. — Молдова падет, как пали Мангуп и Константинополь. Все —

прах, все — бессмысленно. Позволь мне отдалиться от тебя в святую обитель, эти стены, — она обвела окрест истонченной рукою, — давят меня. Целыми днями я слышу горестный плач овдовевших. Одетые в черное, они идут ко мне за словами утешения... а что я могу сказать им, кроме как «крепитесь, грядут времена еще более суровые»? Твоя страна разорена, в твоих войсках не осталось более крепости, и в помощи тебе отказали иные христианнейшие государи...

— Я не из тех, кто складывает оружие, — мрачно откликнулся Штефан, — я из тех, кто идет до конца. И опорой должна быть ты мне на этом пути, данная богом супруга. В твоих жилах течет кровь императоров некогда великой Ромеи... как можешь ты оставить меня в столь нелегкое время? Помни — Константинополь стоял до последнего, и умиравшие на стенах его не вели речь о бессмысленности бытия.

— В моих жилах давно уже течет дождевая вода вместо согревающей крови, — зябко поежившись, Мария Мангупская обвила руками шею его, словно пытаясь взять себе хоть толику недостающего ее телу тепла, — я скоро умру и буду похоронена в красивейшем из монастырских склепов, что так милы моему сердцу уже сейчас. И это будет зимою, когда скует землю сильнейший мороз... — произнесла она точно в забытье. — Опору ищи себе, если желаешь, в ком-то другом... Дочка Раду, этот юный цветок, распускающийся у тебя на глазах, — как она на тебя смотрит порою, ты до сих пор не заметил?

Штефан приподнял бровь.

— Если она и смотрит, то я не смотрю, — буркнул он, — не до того мне, со всеми моими заботами. Девицам свойственно глупости всякие в мыслях держать, и если, как ты говоришь, входит воспитанница твоя в возраст зрелости — то подыщу я ей достойного жениха, приданное богатое дам. Она — благородных кровей, и каждый будет счастлив такому союзу.

Мария замолчала, и Штефан взял в свои руки ладони ее, холодные, как осенняя речная вода, и ему отчего-то подумалось, что слова ее горчат привкусом правды, точно гнильно-перезрелое яблоко под языком, что лучшие из бояр его пали плечом к плечу на полях бесконечных сражений — с татарами, поляками и османами, тщетно рвущимися растерзать страну его на куски, что сожженные нивы его прекрасной Молдовы долго не родят хорошего урожая, что мертвые воины его не восстанут из-под осенней земли, чтобы дать новое сраженье этой зимой... «И при этом ты все равно хочешь предоставить людей своих Владу, чтобы помочь отвоевать ему трон? Зачем тебе это, когда ты сам на своем троне уже еле держишься? — спросил где-то в глубине души его гаденький, мерзкий голос. — Подумай лучше о собственном благополучии. Вот Лайота, к примеру, — исправно платит Мехмеду дань, воинов поставляет... и живет себе в покое и довольствии. А ведь ты его когда-то на трон сажал господарский!»

— Как посадил, так и ссажу! — грохнул Штефан кулаком по столу, так что его венчавшее блюдо подпрыгнуло и яблоки раскатились прочь с глухим перестуком. — Предупреждал я его, негодяя, доверие мое обманувшего...

— С кем это ты так развоевался, братишка? — насмешливо прозвучало от двери. — Кричишь, будто бы спорит с тобою кто.

...Перенесенные испытания не сломили его, не сделали осанки чуть менее горделивой, не пригасили огня в глазах. С мечом в потертых, видавших виды ножнах, в темной дорожной одежде стоял он перед Штефаном — Влад, сын Влада, брат по крови его, покуда смерть не расколет кровные узы. И Штефану отчего-то подумалось, что вот теперь-то — похожи они, что метит виски обоим осенняя седина, что многие знания, умножающие печали, познали оба, сами того себе не желая, и оба едины в решимости своей — длить борьбу, чего бы это ни стоило.

— В нужное время явился ты, брат мой, — произнес Штефан, подымаясь навстречу, — нелегкие дни наступают, и отчаянных они требуют мер. И поддержка твоя мне сейчас многое значит... — он протянул руку, принимая ответное рукопожатие, в коем узнал он прежнюю крепость. — Рад буду, если сядешь ты сегодня со мною за пиршественный стол, а там уже и о делах поговорить можно.

— Оно и верно — веселие нам было бы к спеху. Сумрачно во дворце твоем, будто в склепе церковном, разве что монашеского песнопения недостает, — обвел глазами Влад ярко-красные яблоки и беленые стены. — Все мы смертны, все под богом ходим... только что ж раньше времени себя хоронить?

...Это осталось в памяти, цыгански-пестрыми листьями взвилось в расписном хороводе, накрепко легло, припечатанное сургучной печатью — веселье осени этой, полной изнуряющей душу тоски: свечи за столами пирующих, плавящие осеннюю хмарь, вино с горьким яблочным привкусом и звонкий, за сердце берущий гусельный перебор. Отставив в сторону кубок — *негоже господарю в непотребном виде под лавкой валяться!* — Штефан смотрел на пляшущие по стене черные, рваные тени, обрывки хмельных голосов вплетались в слух его, прочь изгоняя дурные, зудящие мысли. При-

грев на коленях ластившуюся, точно кошка, служанку, Влад отсалютовал ему кубком, полным до самых краев:

— Давно бы так, брат! Не по нутру мне, когда взгляд твой так и плещет унынием, словно лихо какое на себя призываешь. Лихо — оно к нам и без того поторопится, когда время придет. А сейчас же... — девица впилась в его рот поцелуем, обрывая слова, и звонче ударили гусли, и лютни откликнулись им серебряноголосой струной.

Штефан улыбнулся. «Твоя правда, Влад. Хорошая есть поговорка про смерть, что не минует нас, но явится лишь единожды, а до того срока — напрасно ее призывать, когда есть занятия и повеселее на этом свете». И, подняв вверх недопитый им кубок, Штефан осушил его единым махом до самого дна.

* * *

Разбуженная осеннею сыростью, рана открылась внезапно и некстати — когда, спиною прижатый к каменной кладке дымбовицких стен, Лайота отбивался мечом от меча Штефана, неумолимо рвущегося к горлу его; враз сжала ступню, точно «испанским сапожком» тюремных застенок — до огненно-жгучего колотья, до красным полыхнувших перед глазами кругов.

— Что, нездоровится, друг мой? — притворно-участливо осведомился Лайота, с каким-то неприкрытым восторгом всматриваясь в искаженное болью лицо его. — В твоем-то возрасте — и воевать... сидел бы у себя дома, в спокойствии, глядишь — и мучиться бы так не пришлось!

— И сидел бы спокойно, кабы не твое предательство, иуда! — зло выплюнул Штефан. — И как стыда у тебя только хватило — с султаном на сговор пойти!

Дернув поводьями, Лайота извернулся, уходя от очередной атаки.

— Скорее, хватило рассудка — не противиться тому, кто много сильнее, — переводя дыхание, отозвался он. — Вот Влад твой — пошел против султана, подчиняясь воле своего сюзерена, венгерского короля. И чем отплатил ему король за его верность? В темницу бросил, враз обвинив во всех прегрешениях. Провал в крестовом походе ему публично поставил в вину, от себя, деньги на крестовый поход разворовавшего, вину отводя перед Святым Престолом... Неглупый правитель Матьяш, уважаю. Не то что этот твой...

— Не смей! — темнея лицом, выдохнул Штефан. — Не смей порочить имя того, кто благородней тебя во стократ, низкая твоя душонка! Знал бы, что так все повернется, — прикончил бы тебя еще три года назад, а голову выставил перед Дымбовицей на самом высоком колу!

Боль накатила душной, приливной волной, капканом вцепилась в ногу, смыкая железные челюсти так, что, казалось, хрустнули кости. Застонав, Штефан покачнулся в седле, пропуская удар, а потом — бледно-серые камни Дымбовицы перед глазами его заволокло предобморочной чернотой, и Штефан провалился в беспамятство.

— ...очнулся. Да рана вроде и не опасная... — словно сквозь ватную пелену услышал он, вновь обретая способность чувствовать и дышать. Стирая с лица кровяные потеки, приподнялся, оглядываясь окрест, взглядом встречаясь с обеспокоенным взглядом Влада.

— Лайота где? — просипел Штефан, не узнавая собственный голос. — Я эту сволочь последнюю...

— Ушел он, с остатками войска его, тебя напоследок поранив, — ответствовал Влад, помогая Штефану привстать на враз ослабевшие ноги. — Пронырливый лиходей... Э-э, да какое там «догонять»! Ты ж сейчас и в седле не удержишься.

...Годы и годы спустя — память вновь возвращала Штефана к низкому, платками туч укрытому небу, к блеклым камням Дымбовицы, блестящим дождевою водой, к мерной качке в седле и повязке, туго стянувшей затылок, утишая при каждом движенье болью рвущую рану. По чавкающей грязью дороге, под мелким нудящим дождем он ехал по правую руку от Влада, и отряд его шел вслед за ними, и черным качались деревья над головой, лишенные игривой зеленой листвы, и Штефану отчего-то припомнилась та же дорога той, полузабытою осенью, и славные трофеи его, едущие с ним в Сучаву под надежной охраной... и черные глаза дочери Раду, пугливые, настороженно-любопытные. *«Как она на тебя смотрит порою, ты до сих пор не заметил?»*

«Глупости это все, ерунда восторженно-девичья... как бы и самому не поглупеть вместе с ней... — Штефан встряхнул головой, отгоняя мягчащие сердце, совсем не осенние мысли. — Вот и Лайота на недостаток рассудка мне попенял... да черт с ним, с Лайотой. Безрассудство — отвергать то, что само тебе в руки просится, сердечные награды суля... Хороша она собою, диво как хороша... и родством знатным бог не обидел... что ж я, и вправду-то, как последний глупец...»

— Вот и все, брат, — приоткрывая глаза чернеющим на горизонте тырговиштским стенам, выронил Штефан, — скоро собрание знатных людей вновь объявит тебя го-

сподарем Валахии. И вновь союзными сделаются земли наши, единой целью объединенные... Счастлив, что помочь тебе смог, — он в упор посмотрел на Влада.

— А сам — в Сучаву торопишься? — понимающе подмигнул Влад. — К супруге наизаконнейшей или...

— Или, — отрезал Штефан. — Только кто она — тебе знать ни к чему.

— Можно подумать, я еще не догадался, — Влад кашлянул в кулак, скрывая усмешку. — Это, по-моему, уже ни для кого не секрет... Что ж, раз уходить собрался — оставь мне хотя бы две сотни человек войска твоего, для подмоги. Не слишком доверяю я влахам, — закончил он, враз посерьезнев.

...Память — высохший лист, зацепившийся за полу плаща, испещренный письменами прожилок, ветром подхваченный лист, уносимый холодными крылами его в блекло-серое небо. Штефан отвел взгляд свой от смурнеющих, низко плывущих туч над головою, от корабликом уплывающего в поднебесье листка. «Вот и все, брат. Свидимся ли больше с тобою?» — отчего-то ударило в сердце мимолетной тревогой, а потом — листок скрылся из вида, и тревога развеялась.

8

Пятьдесят пятая осень его являлась в памяти зыбким, холодным туманом, волнами наплывающим с озерных берегов, шуршаньем высохшего камыша и утиными криками. Там, за ветками ощетинившимся перелеском, кипело сражение, красной, дымящейся кровью напитывая мерзлую землю, стуком сабель полоша пугливые птичьи стаи, и гонцом пробирающийся меж деревьев ветер нес Штефану лишь отголоски его.

— Бегут поляки, — обронил спэтар[1] по левую руку от Штефана, чей более острый слух услышал вдруг нечто, Штефанову слуху пока что неразличимое. — К Катлабугу бегут и людей Баязидовых за собою тянут. Настал час охоты, господарь. На дичь двуногую, разумом наделенную.

— Не столь уж много разума у дичи этой, коли на приманку нашу поведется, — хмыкнул Штефан. — Хотя... жажда крови — она многим разум застит. К атаке готовимся.

Он и впрямь ощущал себя словно на охоте, привычном веселии лесов молдавских, когда собаками растревоженный несется на охотника зверь, не разбирая пути, и слюна капает наземь с оскаленной пасти, и острые сулицы[2] ждут наготове толстые бока его. Холодной росой оседая на ветках, ветер кинул в уши Штефану все нарастающий топот копыт и крики — вдогон ему. Пеной покрытые вынеслись кони из перелеска под красным полыхающими знаменами, на коих скалили клювы орлы.

— Османы следом скачут, пан Штефан! — махнул рукою первый из всадников, в саблей разодранном ярко-алом плаще. — Всех сюда выманить удалось, помоги нам Божья Матерь! Здесь бы их и посечь... — он остановился, переводя дыхание. — Не так-то уж много их. Урок Баязиду будет хороший.

...Это и впрямь оказалось доброй охотой, хорошим уроком для султановых войск, явившихся в очередной раз на чужую землю — мстить за попытку Штефана отбить от рук Баязида Килию и Четатя-Алба. Штефан вспоминал этот день, воскрешал в своей памяти, кладовой для бесчисленных битв, камушками перекатывал в мыслях снова и снова бледное осеннее солнце, с трудом пробирающееся сквозь вязкие тучи, тихий плеск озера у берегов и белый, густой туман, вуалью укутывающий Катлабуг, скрывающий войско Штефана от вражеских глаз. А потом — раздернутая ветряными порывами вуаль треснула, открывая взгляду Штефана перелесок, сочащийся темными силуэтами всадников, коих становилось все больше и больше.

— К озеру прижимаем нехристей! — скомандовал Штефан. — Пусть тонут в дрябях озерных со всеми их воинскими штандартами... вода все примет.

И, кровью окрашенные, воды Катлабуга принимали в тот день изрубленные трупы османа, угодивших в силки западни, смыкали молчаливые пасти свои над павшими, хоронили на черном илистом дне, куда даже в самый ясный час не выглянет солнце. И шорохом пели им камыши похоронную песнь, и ветер перебирал ломкие камышиные струны, пока, дрогнув темными вратами ветвей, лес не выпустил на берег Катлабуга чуть более собранный, не увлеченный погоней отряд во главе с плотным, высокорослым османом.

— Твое озеро сейчас пожирает мое войско, гяур, — невозмутимо заметил он Штефану. — Может, миром дело решим? Так и людям нашим ущерба меньше будет... И без того много крови уже пролилось.

— Можно подумать, Баязида это когда-то смущало — лишний раз учиненное кро-

[1] Спэтар — молдавский военачальник.
[2] Сулица — дротик, метательное копье.

вопролитие, — усмехнулся Штефан. — Нет уж, почтеннейший Скендер-бей, готовь к схватке мечи своих доблестных воинов, прежде чем заржаветь предстоит мечам этим в темной озерной воде.

Насупив кустистые брови, санджак-бей[1] Баязида поднял руку сигналом к атаке собравшимся вкруг него, как вдруг те пришли в совершеннейшее волнение, но не Штефаново войско было тому виной.

— Кызыклы-бей! — взвизгнул кто-то за спиною санджак-бея. — Сам шайтан явился по наши души на этом проклятом озере, гяурами приманенный! Бежим, правоверные!

Штефан обернулся через плечо. Увиденное им вспоминалось ему потом долгие годы, являлось во снах — прерывистых, зыбких, точно гладь по озерной воде: всадник на смоляно-черном жеребце, чуть касающемся копытами волн, бледное осеннее солнце над головою его — и высокие колья, унизанные тысячами тел в истлевших тюрбанах и халатах — полукругом за всадниковою спиной. Блеклое видение, мимолетный озерный мираж... Штефан знал ему имя и знал, что видит его не один.

— Влад... — прошептал он с улыбкой. — Чтобы там ни несли эти глупцы, я знаю — что умер ты христианской кончиной, убитый тем, кто жаждал после тебя взойти на трон господарский, и в монастырских стенах упокоилось тело твое. Душа же, в райских кущах, вне всякого сомнения, пребывающая, — явилась сейчас, чтобы укрепить наши души, вселяя страх во врагов наших. Какой там «шайтан»... К атаке! — закричал он войску, воздевая к небесам окровавленный меч. — Гоните их до последнего, бейте осман безо всякой пощады! Влад — с нами!

Дальнейшее помнилось Штефану стуком оброненных в спешке бегства османских сабель и перезвоном копыт, преследующих беглецов, ветром растревоженным перелеском, преградою вставшим на пути у бегущих осман, и вздохами озерной воды, принимающей в себя все новые и новые трупы, что, казалось, никогда не закончатся...

А потом солнцем гонимое туманное марево над Катлабугом рассеялось, и морок исчез. И все закончилось.

* * *

— Это то, что я помню о нем, сын мой, и то, что хотелось тебе рассказать, — замолчав, Штефан перевел дыхание. — То, что осталось со мною, когда он ушел, — память о Владе, и она не изгладится до самой кончины моей. Об одном тебя попрошу — береги эту память. Не давай себе принимать на веру пустые слухи... а прочее — уже и не важно.

...Солнце скрылось, давая свободу теням, спряталось за безмятежно-белым, барашковым боком набежавшего облачка. Штефан смотрел на солнцем высвеченные облачные бока, на вольные пастбища небес, стадам облаков столь желанные, на тронутую легкими копытцами их бледно-синюю заоконную гладь и думал о том, что все, что случается на этой земле, под небом этим — по воле Господней, а то, что в памяти людской оседает после случившегося, — на то человечья воля.[2]

[1] Санджак-бей — османский военачальник.

[2] В повести использованы цитаты из «Молдавско-немецкой летописи 1457-99».

Владимир ВАСИЛИНЕНКО

ИЗГОЙ

Историческая повесть

(Журнальный вариант)

«Фемистокл был чрезвычайно одарён от природы и заслуживает в этом отношении, как никто другой, величайшего удивления».
Фукидид, «История»

1

465 год до нашей эры. Восточное побережье Ионического моря. Начало осени. Ранним утром к морскому берегу медленно двигалась открытая повозка, влекомая парой разномастных мулов. Властитель северо-западной области Эллады, называемой Эпиром, царь Адмет восседал чуть выше своего пожилого гостя, дружески напутствуя его:

— Я думаю, что твоё плавание, да поможет тебе Посейдон, будет вполне благополучным... Жаль только, что с тобою нет родных!.. У тебя ведь есть дети?..

Его спутник, довольно крепкий шестидесятилетний мужчина с густой, в серебряных нитях бородой и курчавой седой шевелюрой, ответил негромко:

— Есть. Два сына и пять дочерей...

Адмет полюбопытствовал:

— Они остались в Афинах?..

Спутник неспешно кивнул:

— Конечно. Они уже взрослые, и у каждого своя жизнь...

Царь взглянул на идущих по бокам повозки слуг — своих и гостя — и чуть понизил голос:

— А им ничего не угрожает?..

Сосед переспросил:

— Моим детям?..

Царь кивнул. Мужчина усмехнулся:

— Им нет. У нас же в Афинах демократия!.. Изгнали меня одного...

Адмет на минуту задумался, потом уточнил:

— А разве вина отца не ложится на его детей?..

Спутник пожал плечами:

— Ну, ещё чего! Дети тут ни при чём, и я думаю, это справедливо. Виноват я один...

— Значит, вся твоя вина досталась только тебе... — царственный сосед слегка улыбнулся. — Пусть так. А разве отцовские заслуги дети не вправе разделить? И почему?..

Гость искоса взглянул на хозяина, вздохнул и задумчиво произнёс:

— Трудно сказать. Это ведь зависит от нравов, принятых в каждой стране... — он на мгновение умолк, потом напомнил: — У тебя есть сын, так?.. — Адмет кивнул. — И он, сын царя, когда возмужает, тоже станет царём... — сосед качнул головой. — И значит, на него перейдёт твоя власть и величие, если они есть... — Царь не возражал, а пожилой мужчина невесело хмыкнул: — Вот так! А в Афинах такого нет... И будь ты трижды славен и знаменит — твои заслуги могут кануть в Лету задолго до твоей кончины... Знай об этом!..

У хозяина округлились глаза:

— Это как? И почему?!..

Гость развёл руками:

— А так. Если ты не оправдал той должности, на которую тебя выбрали, или перестал удовлетворять запросы своих граждан — тебя с позором изгонят! — он ткнул себя в грудь.

Царь озадаченно покачал головой. Один из мулов умерил шаг, возница огрел его кнутом. Море невдалеке лениво накатывало на сонный берег низкие, длинные волны. Собеседники примолкли, глядя поверх головы и плеч возницы, словно отстраняясь от суетных каждодневных забот. Всевластная водная стихия невольно отвлекла их. До набегающих на берег волн было два полёта стрелы: где-то около пятисот шагов. А до торгового судна (триеры), медленно колыхавшегося на морской глади, — ещё две сотни...

Оба седока — хозяин и гость — глядя прямо перед собой, думали примерно об одном: каждый понимал, что это последние мгновения, которые они проживают вместе, а что будет потом — известно только богам. Но, будучи людьми весьма далёкими друг от друга и сблизившись лишь волей случая, они едва ли пожалеют о скорой разлуке...

Царь Эпира, довольно молодой, полный сил мужчина, конечно, был, если не рад, зато вполне удовлетворён, что судьба нежданно свела его со знаменитым скитальцем, слава о котором гремела по всей Элладе. А пожилой гость, нашедший недолгий приют у молодого властителя, был ему искренне признателен, но не желал и не мог остаться тут навсегда. И тому, и другому это невольное сближение не принесло бы радости и спокойствия в будущем.

Солнце ещё не выплыло из-за горизонта, но его робкие, предутренние лучи чуть подсвечивали большой гористый остров далеко в море.

— Это Керкира? — неожиданно спросил гость.

— Да, — подтвердил Адмет. Спутник горделиво улыбнулся:

— Между прочим, его жители обязаны мне миром и покоем... Я когда-то предотвратил войну между ними и коринфянами...

Царь кивнул:

— Я слышал об этом... — он всмотрелся вдаль. — Керкиряне — мои добрые соседи... И твою услугу они не забыли до сих пор...

Повозка, между тем, прикатила на кромку берега. Мулы остановились. Слуги, молча шагавшие сбоку от экипажа, помогли спуститься на землю седокам. Царь и гость оправили хитоны и осмотрелись. Невдалеке, на левом боку, обречённо лежало старое военное судно. Отжившая свой век трирема. Точнее, не лежало, а валялось. И даже не судно, а ветхий остов его, весь в пробоинах и трещинах, рассохшийся и заплесневелый. Мужчины несколько минут молча созерцали жалкие останки.

— Мой покойный отец, Неокл, однажды привёл меня, ещё юношу, в нашу афинскую гавань, показал мне на такое же страшилище и сказал: смотри, сынок, что бывает с бывшими государственными мужами. Их ждёт такая же судьба, стоит им утратить власть!.. И ничуть не лучше...

Адмет непонимающе уставился на гостя: крупное, обложенное густой, седеющей бородой лицо с зоркими, близко поставленными глазами казалось суровым и непроницаемым. И трудно было понять, что ждёт оно от собеседника? Не получив ответа, мужчина пояснил:

— Он очень хотел отвратить меня от любых честолюбивых мечтаний...

— Почему? — наконец выдавил царь. Гость пожал плечами:

— Вероятно, отец был по-своему прав... — он вновь пристально и цепко всмотрелся в лицо собеседника. — Но разве можно юного, самонадеянного, дерзкого сорванца удержать от лихих подвигов? Тем паче если он родился полукровкой?!..

Адмет чуть отступил:

— А разве ты не чистокровный эллин?..

Гость усмехнулся:

— К сожалению, только лишь наполовину. Моя мать была фракиянкой... — он кивнул на одного из скакунов. — Выходит, что я — как тот мул, у которого отец — жеребец, а мать — ослица...

Царь улыбнулся в ответ:

— А по-моему — ничего страшного! У него тоже есть свои достоинства... Мул и сильней, и выносливей коня! Разве не так?

— Насчёт силы не знаю... — гость имел в виду самого себя. — Но терпения и выдержки мне не занимать!

Адмет повернулся к вознице:

— Эти лежебоки ещё не встали, что ли? — он показал на судно, лениво с боку на бок качавшееся на волнах. — А ну-ка, покричи этим шалопаям! Пора и честь знать!

Кучер поднялся с сиденья, сложил ладони рупором и заголосил:

— Эй, вы там, на палубе! Эй, отзовитесь! Вы живы? Эге-ге-гей!..

Мулы испуганно дёрнулись, встревоженно запрядали длинными ушами и едва не опрокинули возницу. Он с трудом удержался на ногах. На корабле, из-под невысокого навеса на палубе, показался рыжебородый человек в коротком хитоне, выпрямился и приветственно помахал рукой.

— Это сам хозяин, — пояснил Адмет и приказал вознице: — Крикни ему, чтобы спускал лодку.

— Эй! — на всякий случай тот взял в руки вожжи. — Лодку сюда подавай! И быстрее!

Владелец корабля тут же нагнулся, видимо, в трюм и отдал кому-то команду. Из чрева судна вынырнула тройка гребцов в просторных рубахах и подобиях штанов, звонко шлёпая босыми ногами, побежала на корму, где лежала небольшая, лёгкая посудина.

— Это твои подопечные? — спросил гость хозяина.

— Нет. Они родом с Самоса. У меня они закупали ячмень...

Солнечные лучи, поднявшись над горизонтом, разом осветили широкую водную гладь, которая заискрилась, засверкала яркими бликами, словно рыбья чешуя. В неё шумно плюхнулась утлая остроносая шлюпка, и пара гребцов, лихо запрыгнув внутрь, дружно навалилась на вёсла. Гость повернулся к своим помощникам:

— Готовьте поклажу, мужики!

Двое слуг, один чуть моложе, а второй — худой, седой, как лунь, старик с лохматой бородой, космами неприбранных волос и длинным горбатым носом, проворно и согласно сняли с повозки десяток туго набитых мешков. Судя по общему весу и объёму, в них хватало всего: и съестных, и одёжных, и обменных, и денежных припасов. Царь критически окинул груз:

— Всё это в лодку вряд ли поместится! — на что гость философски заметил:

— Ну, что ж! Придётся сделать пару лишних рейсов!

Так и случилось. Как только шлюпка ткнулась носом в берег, те же слуги с помощью гребцов загрузили её до предела, горбоносый старик тоже влез туда, и шаткая посудина поплыла к кораблю. Гребцы налегали на вёсла с заметным усилием. А на судне команда уже поднимала и закрепляла мачту, расправляла широкий квадратный парус. Освободившись от поклажи, лодка вернулась за очередной партией. Теперь в неё погрузили всё оставшееся, и второй слуга забрался следом.

— Добро, — удовлетворённо заметил гость, — плывите и возвращайтесь за мной.

Когда весь груз подняли на палубу, в лодку спустился сам хозяин и отправился на берег. Гость, заметив его, сказал:

— Царь, прошу тебя, не называй ему моего имени.

Адмет сокрушённо воскликнул:

— И что? Теперь ты всю жизнь будешь скрывать его?

— А что мне остаётся? Таковы уж гримасы демократии.

— Сам виноват. Ходят слухи, что ты был одним из её прямых отцов! Или я ошибаюсь?

— Грешен. Каюсь. И это вынужденная плата за мой опрометчивый поступок! — пожилой мужчина развёл руками.

А лодка с владельцем корабля достигла берега. Гребцы помогли хозяину выбраться на сушу. Рыжебородый сорокалетний мужчина поклонился царю и виновато пояснил:

— Я отдыхал, и мои ребята тоже. Они до темноты трудились на погрузке...

— Триеру надо было ставить не вдоль, а поперёк волны, — лукаво усмехнулся гость, — тогда бы сон был короче...

Замечание было шутливым, но верным. Боковая, ласковая волна заботливо баюкала, усыпляла команду, а качка с носа на корму не давала бы желанного покоя.

Адмет показал на пожилого гостя:

— Возьмёшь к себе на борт этого человека и доставишь его, куда он скажет.

Корабельщик вопросительно взглянул на спутника царя и деликатно осведомился:

— А кто он и откуда, мой повелитель?

И не успел Адмет открыть рта, его гость бросил судовладельцу:

— Ты ведь родом с Самоса? Значит, ты — самосец, — мужчина ткнул себя в грудь: — А я из Афин. Значит — афинянин. Так и зови меня, понял?

Царь Эпира, улыбнувшись неожиданному ответу, успокоил корабельщика:

— Он не пират и не контрабандист, я за это ручаюсь! И за всё тебе заплатит сполна, не тревожься!

Судовладелец показал на шлюпку:

— Тогда прошу садиться.

Гость протянул царю обе руки, а тот, не колеблясь, обнял его. Они на мгновение радушно прижались друг к другу, смутно предчувствуя, что расстаются навеки. Потом гость решительно шагнул к лодке, и гребцы хотели помочь ему, но он ловко перепрыгнул через борт, вовсе не нуждаясь в чьей-то услуге. А корабельщик вновь убедился, что нежданный пассажир — человек бывалый.

— Попутного вам ветра! — воскликнул царь и воздел кверху руки. — И да помогут вам боги!

Судовладелец тоже без помощи гребцов забрался в шлюпку. Один из слуг царя упёрся руками в нос деревянной посудины, а гребцы разом навалились на вёсла...

Сентябрьское солнце уже поднялось довольно высоко, и на корабле всё было готово к отплытию. Команда только ждала корабельщика, деловито спешившего к судну, искоса поглядывая на таинственного пассажира. А тот спокойно и безмятежно смотрел по сторонам, думая о чём-то своём...

2

В свою столицу Додону царь Адмет вернулся под вечер. Проезжая мимо неохватного, ветвистого, широколистого дуба в центре города, у корней которого струился чистый, прохладный родник, царь приказал остановиться. Он покинул экипаж и подошёл к дереву. Этот священный дуб и чистейший источник почитались горожанами как провозвестники самого Зевса.

Невдалеке располагался храм — небольшой, сложенный из камней домик. Оттуда сразу появился жрец — седоголовый старик в просторном хитоне с волосами, схваченными посеребрённым обручем. Приблизившись к царю, он поклонился и спросил:

— Наш повелитель желает услышать голос божества?

Адмет знал, что по шелесту листьев и плеску воды в роднике служители Зевса толкуют предвещание владыки Олимпа.

— Хорошо, — негромко ответил он, — поведай мне его напутствие.

Старик поднял сухой, крючковатый палец, подавая знак ко всеобщему молчанию. Возница, оставшийся в повозке, и пятёрка слуг, сопровождавших царя, замерли без движения. Один из мулов коротко всхрапнул, тряхнув чёлкой, а второй осторожно переступил, и оба застыли как вкопанные. Жрец терпеливо ждал дуновения ветерка...

Широкие, величиной в ладонь, листья могучего дерева уже пожелтели, истончали, наморщились, и при малейшем движении воздуха начинали шелестеть наперебой, словно болтливые старухи. И приди в голову какому-нибудь дерзкому богохульнику взобраться на самую верхушку великана, то, пожалуй, с неё бы он, с трудом, но мог разглядеть заснеженную вершину священного Олимпа, где обитал бог-громовержец. Но таковых смельчаков и святотатцев, конечно, не находилось...

И пребывай бог-громовержец на своём законном месте, а не ищи лёгких, увлекательных интрижек с земными красотками — Ледой, Данаей, Европой или другими, — то, надо думать, он пошлёт желанные сигналы царю Эдипа. Ведь сам небожитель, без малейших усилий, тоже мог лицезреть столицу небольшого государства с пятью тысячами жителей и священным деревом в центре...

Но вот, наконец, налетел зябкий вечерний ветерок, и величественный дуб вначале вкрадчиво зашелестел сотнями полумёртвых, пожухлых листьев, а потом затрепетал, затряс, забунтовал ими. В глазах царя мелькнула тревога. Даже возница и слуги встревожено насупились. И пока могучий исполин стойко выносил дерзкий мятеж своих полумёртвых питомцев, жрец внимательно слушал беспорядочный шум листвы...

Но вот порыв ветра унялся. Переждав мгновение, старик взглянул в лицо царя, в глазах которого застыл недоумённый, тревожный вопрос.

— Тебя ждёт, мой повелитель, желанная, заслуженная слава, — жрец кивнул на исполинское дерево. — Священный дуб не может лгать. Он говорит только правду.

— Когда? — Адмет перевёл дух. — Когда придёт эта слава?

Жрец отвёл глаза, помолчал и спокойно ответил:

— Зевс не сказал — когда... — он поискал слова. — Может, через год или два... Или так случится, что она достанется твоим детям и внукам... Но не пройдёт мимо! Ты же слышал, как он яростно, громко шумел? Священный дуб не может издавать такой звук просто так, по пустякам! А теперь взгляни сюда, — костистый палец жреца указывал на родник у корней великана, — видишь? — царь взглянул: на чистейшем, незамутнённом лоне воды сиротливо плавал жёлтый дубовый лист с загнутыми краями, похожий на маленький кораблик. — Видишь? — повторил старик. — Он почти спокоен и недвижим. Никакие житейские бури не колеблют его... Значит, и тебе ничего не грозит.

Как ни странно, но эти простые, немудрящие слова успокоили царя и вселили в него бодрость и веру.

— Спасибо, отец, — негромко произнёс он, вынул из кошелька на поясе горсть серебряных драхм и протянул жрецу.

Старик принял их, величаво поклонился, кивнул спутникам царя и ушёл в свой небольшой храм. Адмет взобрался на сиденье, возница шлёпнул вожжами по бокам мулов, и повозка тряско покатила по пыльной дороге. Солнце уже убралось за горизонт, и на тихий городок, затерянный в горах, опустились сумерки.

А в душе его властителя тревога окончательно улеглась. Проводив нежданного, трижды знаменитого, но опасного гостя, царь Эпира всё-таки опасался за своё будущее. Только обнадёживающие слова жреца принесли ему желанное успокоение. И

пусть слава о нём не будет греметь по всей Элладе, зато он останется в числе достойных, всеми уважаемых правителей...

3

Приняв к себе на борт необычного пассажира, корабельщик не слишком расстроился. Нелёгкая, полная опасностей и приключений жизнь морского торговца приучила его ко всему. Встречи и стычки с контрабандистами и пиратами, кораблями финикийцев, персов и ливийцев намертво закалили уроженца Самоса. Он научился находить общий язык со всеми, будь то рядовой гребец, кормчий, судовладелец или суровый воинский начальник. Пожилой афинянин, как ему подумалось, тоже был завзятым мореходом. И то, что его сопровождал сам властитель Эпира, прибавляло тому веса и авторитета. Поэтому хозяин проводил гостя под навес, где располагался сам. Через минуту к ним заглянул дюжий кормщик и осведомился:

— Хозяин, мы отплываем?

— Давно пора. Поднимайте, бродяги, якорь...

Кормчий скрылся. А на палубе закипела привычная суета. Тяжко заскрипел дубовый ворот. Четвёрка гребцов, кряхтя и покрикивая, изо всех сил упираясь в отполированную ладонями крестовину, стала наматывать на него пеньковый канат, поднимая со дна каменный якорь. Судно дёрнулось, плавно заколыхалось, словно вдруг ожило.

— Говоришь, на Форосе твою старушку заложили? — странный гость кивнул на просмолённую обшивку корабля.

— Там, в старой афинской гавани... — негромко буркнул хозяин, слушая голоса на палубе.

— Давно?

— Лет пятнадцать назад, — он посмотрел на гостя. — У тебя тоже своя триера?

— Была. И не одна. Только я их собирал в Пирее...

Корабельщик поднялся и вышел. Гость немного посидел в одиночестве, потом встал и тоже шагнул на палубу. Под лучами нежаркого сентябрьского солнца на судне царила шумная, но слаженная суета. Подняв якорь, гребцы разбирали вёсла, кормчий уже взобрался к себе на корму и вставлял в уключину рулевое весло. Хозяин зорко следил за всеми.

Пожилой афинянин подошёл к своим слугам, праздно сидевшим на тугих мешках и бесстрастно наблюдавшим за происходящим:

— Поклажу надо бы куда-то прибрать.

— А куда? — спросил горбоносый старик, кивком указывая на корабельщика. — Он ничего не сказал...

— Хозяин! — возвысил голос пассажир. — Скажи, куда нам мешки сложить?

В глазах судовладельца мелькнуло удивление. Он, видимо, считал, что странные пришельцы не станут долго обременять его.

— А где ты собираешься сходить на берег? Неужто в Афинах?

Таинственный гость мгновенно бросил:

— Только не там! — подумал и спросил: — А ты куда направляешься?

— На Хиос. Я продам им ячмень и куплю вина.

Афинянин даже обрадовался:

— Отлично! Тогда и я сойду там. На Хиосе.

Корабельщик удивился, но не подал виду. «Что за чёрт! — подумалось ему. — Этот афинянин всё-таки довольно мутный тип!» Но судно было готово к отплытию, и он небрежно махнул рукой:

— Ладно. Ищите себе место в трюме! — и направился на корму к рулевому.

Пожилой пассажир приказал старику-слуге:

— Полезайте куда сказано и складывайте багаж.

Слуга помоложе спустился в чрево корабля, а гребцы уже уселись за вёсла, захлопал и гордо расправился огромный парус. Кормчий скомандовал:

— Всем внимание! Лево греби, право табань!..

Триера медленно, неуклюже развернулась. Остров Керкира, бывший по левому борту судна, оказался справа. Афинянин, чуть покачиваясь на месте, но крепко держась на ногах, задумчиво смотрел на него, видимо, вспоминая и переживая прошлое.

— К ночи, а может, к вечеру, мы придём на Лефкас, — произнёс корабельщик, неожиданно оказавшийся рядом, — если Эол ветер даст нам добрый.

Остров Лефкас, им названный, стоял на границе Эпира и горной области Ахайя, где находились другие эллинские полисы (города-государства).

— И мы там заночуем? — отвлекшись от памятных воспоминаний, спросил гость.

— Ну да... — хозяин поправился: — Возле него. Там есть отличная бухта...

Парус вдруг резко наполнился ветром, даже мачта натужно, угрожающе заскрипела. Гость качнул головой:

— Ого-го!.. Вот это напор! Эол нам в помощь расстарался...

Дюжий кормщик закричал:

— Гребцы! Суши вёсла! Отдыхай...

Команда дружно уложила свои тяжёлые гребные орудия вдоль бортов и обрадованно расправила плечи. Теперь все могли заняться чем угодно, но непрестанно быть начеку и ждать приказа. Корабль заметно удалился от берега, но отправиться в открытое море всё-таки не рисковал. По законам и обычаям того времени, отважно покорять бескрайние морские просторы могли только пираты и военные суда. «Торгаши» плавали лишь ввиду берега. И вовсе не потому, что боялись открытых, неведомых пространств, а желая иметь счастливую возможность в любой удобный момент приблизиться к городку или деревне на побережье. Продать, купить там нужный товар и взять на борт пассажиров...

Слуги, вернее, рабы афинянина уложили свои мешки. Тот, что моложе, остался в чреве корабля, а горбоносый старик мирно уселся на палубе, привычно скрестив худые, мосластые ноги с чёрными, обломанными ногтями.

— Сикинн, — окликнул его афинянин, — там всё в порядке? Сложили всё целиком?

— Да, мой господин, — негромко отозвался старик, — мы всё уложили как следует.

Рыжий корабельщик поднял брови:

— Он кто — финикиец? Или араб?

— Нет, персиянин, — нехотя ответил странный пассажир.

Судовладелец с утроенным любопытством окинул диковинного старика, спокойно и равнодушно восседавшего на досках палубы. Тот лишь изредка поднимал тяжёлые, припухлые веки, отрешённо поглядывая вокруг дремотными, похожими на маслины глазами. Всё происходящее нимало не трогало его, он наблюдал за всем, словно с другого берега или сквозь пелену столетий...

Корабельщик вдруг вспомнил:

— А я купил эту триеру как раз накануне войны с персами... За месяц до Саламинского боя... Вовремя успел, как говорится...

Дремотные глаза старика-перса чуть блеснули, словно он вдруг вернулся на грешную землю. А его господин пристально взглянул на торговца.

— Помню, тогда их царь Ксеркс послал несметный флот... — судовладелец набрал воздуху в грудь. — Наверно, больше тысячи кораблей, никак не меньше! И окружили они эллинские триремы сплошным кольцом! — он раскинул руки, как бы охватывая ими толпу людей или гусиное стадо. — Страшно было видеть!..

— Персидского владыку зовут... — афинянин произнёс с заметным усилием, — Хшаярша — «царь царей»... И наш флот был впятеро меньше... Это так...

— Откуда ты знаешь, как его зовут? — подозрительно покосился корабельщик.

Странный пассажир показал на старика-перса:

— Ему это лучше знать...

— А-а-а, ну да... — согласился хозяин. — А почему у нас его кличут Ксерксом?

Афинянин снисходительно усмехнулся:

— В нашем языке нет звука «ша» и буквы тоже... — он пожал плечами. — Вот поэтому так и зовут...

— Он что — попал к нам в плен? — хозяин кивнул на старика. Ему очень хотелось узнать кое-какие подробности, но афинянин коротко ответил:

— Нет. Он перебрался в Элладу задолго до войны с персами... — и, чтобы прекратить дальнейшие расспросы, спросил сам: — А ты тоже участвовал в Саламинском сражении? — он чуть улыбнулся. — Может, на стороне персов? Ведь Самос уже был под властью персидского царя...

— А мне это зачем? — корабельщик охотно пояснил. — Война меня, к счастью, обошла... — он ласково похлопал по тёмному борту старушки-триеры. — По сходной цене я тогда купил в Форосе свою кормилицу... Набрал добрую команду, запасся едой и водой и спокойно отплыл к себе на Самос... Только и всего!..

В его словах не прозвучало ни малейшего смущения или желания хоть как-то оправдаться. Скорее всего, будучи жителем далёкого острова, он не считал себя пламенным патриотом всей Эллады. Афинянин хмуро покосился на него, но смолчал.

— Хозяин! — донёсся зычный голос кормчего. — Кто-то плывёт нам навстречу!..

Судовладелец разом повернулся к носу корабля и пристально глянул вперёд. Прямо по курсу, на расстоянии примерно двадцати стадиев или чуть больше, появилось торговое судно. Вместительная триера шла без паруса, с её боков слаженно мелькали взмахи длинных вёсел, и под ними курчавилась белая пена. А свежий морской ветер дул ей прямо в лоб. Два судна медленно сближались.

Триера, чьим хозяином был самосец, двигалась уверенно и ходко. Её гребцы, а половина из них попросту лежали на палубе или спали, услышав голос кормщика,

подняли головы и с любопытством уставились вперёд. Встречное судно шло тяжело и трудно. Его гребцы, блестя от пота, дугой выгибая нагие спины, резко откидывались назад под грубые рукояти своих непомерно длинных вёсел, надрывались и хрипели, стараясь ничего не видеть вокруг. Даже сама жизнь им наверняка до тошноты обрыдла... Зато счастливцы, плывущие под парусом, с облегчением и радостью за самих себя, смотрели на невольных мучеников, втайне сочувствуя им.

— На Керкиру идут, — уверенно заключил корабельщик.

— А как ты узнал? — полюбопытствовал афинянин.

— Они движутся мимо нас левым бортом...

Странный пассажир надолго задумался. Видимо, какие-то давние, самые разноречивые воспоминания нахлынули на него. А встречное судно с шумом и плеском прошло мимо.

4

Близился к концу двадцатый год царствования властителя Персидской державы — «царя царей» — Хшаярша, называемого эллинами Ксерксом. В своей столице Парса, переименованной ими же в Персеполис — город персов, он возводил себе ещё один дворец. Но основал Парсу его отец — Дарий (Дараявуаш — Добронравный). Владыкой великой державы он стал случайно, хотя происходил из правящей династии, только из её боковой, младшей, ветви. И никак не мечтал о будущей головокружительной карьере.

Его детство и юность прошли в ореоле славы тогдашнего властителя Персии — Великого Кира (Куруша). Это он расширил границы империи от реки Инда на востоке до берегов Средиземного моря на западе, от гор Кавказа на севере до вод Индийского океана на юге. Непрестанно воюя, царь успевал подавлять восстания покорённых племён, вовсе не думая сужать свои неохватные, головокружительные планы.

Уже будучи довольно пожилым человеком, покорив многие страны и усмирив народы, Куруш сам возглавлял передовые отряды своей армии, ведя её на захват новых земель. Подчинив восток и запад, он решил отправиться на север. Обойдя восточный берег Каспийского моря, преодолев мрачную пустыню Каракумы, персидский владыка сразился со степными кочевниками и сложил свою буйную голову на берегах Яксарта (Сырдарьи). Было ему шестьдесят три года.

Но, веря в удачу и не собираясь никому уступать, Куруш помнил: вечному везению может прийти самый неожиданный, скорый конец, и потому заранее поделился властью со своим старшим сыном Камбизом (Камбуджией). И после его скоропостижной смерти трон занял старший сын. Но, в отличие от неуёмного отца, Камбиз не думал беспрестанно воевать и расширять пределы и без того огромного царства. Будучи наместником (сатрапом) Вавилона, он привык к роскоши и всеобщему поклонению.

Но, как на грех, у него был младший брат Бардия. И едва сделавшись царём, Камбуджия узнал, что в Бактрии, где был сатрапом младший брат, назрела смута. Как человек осмотрительный и осторожный, Камбиз тайно приказал устранить Бардию. Убийство было тщательно замаскированным, но ни у кого не возникало сомнений, что коварный старший брат приложил к нему монаршую руку. И всё владычество Камбиза стало чередой непрерывных волнений в разных частях империи. Персидский властитель еле успевал их подавлять. А когда он в очередной раз смог унять восставший Египет, до него донеслись слухи, что умерщвлённый Бардия неожиданно воскрес!

И это сказочное воскрешение многие подданные встретили с восторгом. Тогда-то Камбиз поспешил оставить с трудом замирённый Египет и срочно отбыл в Сузы (бывшие главной столицей), но по пути неожиданно скончался. Видимо, в его окружении были тайные сторонники самозванца. А в Сузах воцарился Лже-Бардия. Новый монарх понравился армии и личной гвардии, кое-кто даже считал, что он и в самом деле младший брат Камбиза. Во всяком случае, какое-то сходство было налицо, вернее, в лице. Настораживала одна деталь: царь был глуховат, но зачем-то старательно прикрывал уши густыми прядями волос. И, говоря с ним, приходилось намеренно повышать голос.

А посещая гарем, новый властитель вёл себя весьма скромно и сдержанно. Не позволял себе вольных жестов, развязных телодвижений и экстатических поз. Это насторожило в первую очередь наложниц. Отец одной из одалисок научил свою дочь тайно осмотреть царственного владыку. Та, дождавшись, пока Лжебардия уснул, осторожно подняла прядь его волос и увидела, что уши у царя отрезаны. Вероятно, не целиком, но основательно. На следующий день она всё рассказала отцу.

Искушённый и ловкий придворный, покопавшись в памяти, вспомнил, что когда-то, по приказу Великого Куруша, одному из юных магов, некоему Гаумате, царь велел именно это сделать. Причина была забыта, возможно, это было всего лишь рядовое замечание. А маг вовсе не был тогдашним экстрасенсом — магами назывались

представители одного из мидийских племён. А значит, он считался человеком второго сорта.

Бдительному придворному и его сообщникам, среди которых, кстати, оказался Дарий, это мигом развязало руки. Сговорившись, они всемером ночью проникли в гарем, перерезали евнухов и повязали самозванца. Дальше всё пошло обычным порядком: Лжебардию жестоко убили и сразу бросили жребий — кому стать царём? Воцарился Дарий.

5

Неширокое, малолюдное Ионическое море как-то незаметно перетекло в Эгейское, но заметить этот рубеж можно было лишь по обилию островов, усыпавших изумрудно-синюю гладь. Глядя на первый встречный остров (Киферу), торчавший из глубины прямо напротив области, называемой Лаконика, где расположилась знаменитая Спарта, судовладелец сказал таинственному пассажиру:

— А говорят, что спартанцы опять насмерть разругались с Афинами...

Тот с некоторым подозрением взглянул на него:

— Ты это к чему?

— Да просто так... И многим непонятно, почему они то мирятся, то воюют между собой. Чего их вечный мир не берёт?..

— Трудно сказать... Казалось бы, живём на одной земле и нам вовсе не тесно, только живём по-разному... Спартанцы готовы не раздумывая отдать жизнь за свою свободу, а мы, афиняне, знаем истинную цену этой жизни, только не собираемся отдавать её задёшево...

— И сколько же она, по-вашему, стоит? — судовладельца это взволновало всерьёз.

Странный пассажир не торопился с ответом. А судно лениво одолевало сонную морскую гладь. Ветер почти упал, обвисший парус сполз книзу, обнимая мачту. Гребцы дружно налегали на вёсла, но без особых усилий, и кормчий не покрикивал на них, зная, что в этом нет крайней нужды. А под мерный, неторопливый скрип уключин можно было спокойно беседовать.

Из тесного трюма на палубу выбрался старик-перс. Уселся на корточки против своего господина и корабельщика, расположившихся под навесом вблизи носа триеры. Афинянин перевёл на него взгляд, подумал и ответил:

— Вы — торговцы, привыкли всё переводить в звонкую монету, а у каждой жизни есть своя цена... — он показал на перса. — Вот он может оценить себя в сотню драхм, но никто не даст за него и одной...

— Он же старик, — поддакнул корабельщик, — и вдобавок перс...

— А я не продам его и за тысячу! — горячо возразил афинянин.

У судовладельца глаза полезли на лоб.

— Даже за тысячу?! — в его обыденном, мелочном уме никак не укладывалось всё услышанное. Он в который раз оглядел диковинного старика, который наверняка слышал и понимал их разговор, только не выдавал себя ничем: ни поворотом головы, ни выражением глаз, ни движением губ. Сидел и смотрел прямо перед собой потусторонним, туманным взглядом.

Афинянин усмехнулся:

— Скажи, а ты, чем бы ты заплатил человеку, который спас твою триеру от грабежа?

Корабельщик пожал плечами:

— Наверно, заплатил бы четверть... — он немного помялся, — или половину от стоимости товара. По-моему, это неплохо...

Афинянин покачал головой:

— Негусто!

— Это смотря какой товар! — не согласился корабельщик и вдруг вспомнил. — Вот говорят, что за голову этого, как его, — он с трудом произнёс, — Миль-ти-ада, который персов разбил при Саламине, они посулили целых двести талантов!

Собеседник, усмехнувшись, возразил:

— Мильтиад разбил персов при Марафоне, и он уже покойник.

— Разве? — удивился торговец. — Значит, денежки точно пропали... Двести талантов! — он шумно выдохнул. — Это же сколько? Целая гора серебра?!

— Миллион двести тысяч драхм, — почти не раздумывая, ответил странный пассажир, и старик-перс бросил на него короткий взгляд.

— Наверно, этот Мильтиад персам крепко насолил, если таких денег им было не жалко! — судовладелец сокрушённо покачал головой. — И царь их Ксеркс, видать, его люто ненавидел... А как ещё?

— Царём тогда был его отец — Дарий, а Ксеркс пока не думал с нами воевать, — поправил его афинянин.

— А ты откуда это знаешь? Ты что — боролся с ними, что ли?

— Нет. При Марафоне мне биться с персами не довелось. Давно это было. Четверть века тому пошло.

Торговец с усмешкой взглянул на него:

— Сколько тебе, если не секрет?

Афинянин улыбнулся сквозь посеребрённые усы:

— Шесть десятков минуло. В отцы тебе гожусь.

— Значит, тогда тебе было всего-то тридцать пять. Самый боевой возраст!

Собеседник не возражал.

— Согласен, но обстоятельства помешали... Я просто не смог добраться в Марафон вовремя, как и наши союзники-спартанцы. Они ведь тоже не успели к началу битвы.

Торговец с ехидцей воззрился на него:

— А что вас тогда помирило?

— Афины и Спарту?

— Ну да.

— За нас это сделали персы. Их царь Дарий.

— Это как?

— Очень просто. Царь послал к нам и в Спарту послов с требованием отдать им «землю и воду»...

— Он хотел сделать вас рабами?

— Именно так! В Афинах персов убили, кстати, по настоянию Мильтиада, а в Спарте утопили в колодце, чтобы они сами достали оттуда и землю, и воду. И Дарий пошёл на нас войной.

Торговец вдруг вспомнил:

— А мои-то земляки уже давно живут под персами, и нечего, не жалуются...

— Кому что нравится... — согласился странный пассажир. — Кстати, твои самосцы воевали в армии Дария. Сам Мильтиад мне об этом рассказывал.

— Сам Мильтиад? А кем он был?

— Афинским стратегом. Он тоже когда-то служил в персидской армии, а потом оттуда сбежал.

— Что ему там не понравилось?

На этот прямой вопрос афинянин ответил не сразу.

— Трудно сказать... — он покачал седой головой. — Из Афин его изгнали по решению народного собрания. Он наверняка был обижен и зол и потому сбежал к персам. А потом сбежал обратно. Вернувшись домой, Мильтиад пришёл в Совет старейшин и предложил себя на должность стратега...

— И его приняли? — удивился торговец.

— Конечно. Все понимали — началась большая, беспощадная война! — эти слова прозвучали так ёмко и весомо, что у слушателя не нашлось ни возражений, ни сомнений. — Если придут персы — никому не будет спасения, — афинянин чуть сбавил тон. — Поэтому в Марафон отправились все здоровые мужчины. Даже знаменитый поэт Эсхил, вооружившись чем сумел, пошёл туда вместе с братом...

Торговец молчал, но его красноречивый, взыскующий взгляд упёрся в лицо рассказчика, и тот, поняв его, негромко ответил:

— А я остался защищать Афины...

— Значит, в свою победу вы не очень-то верили?

— На войне случается всякое... Персидская армия была огромной, испытанной во многих боях... И если бы не Мильтиад — от всей Эллады ничего бы не осталось, уж поверь мне!..

Для судовладельца это прозвучало откровением:

— И что же он сделал? — ему страшно хотелось узнать какие-то впечатляющие подробности.

— Перед Марафоном есть большая, гористая равнина. Мильтиад поставил своих гоплитов наверху, растянул строй и заставил их с боков упереться в завалы из срубленных деревьев и острых кольев...

— Зачем?

— Чтобы персидская конница не взяла греков в кольцо. Он прекрасно изучил их тактику... — рассказчик покосился на старика-перса. Тот кивнул седой, косматой гривой. — И так они простояли три дня, — афинянин развёл в стороны обе руки, одной показывая своих соплеменников, другой — их грозных противников. — Мильтиад ждал спартанцев, но те не пришли. И тогда он бросил гоплитов в атаку! Те бегом понеслись на врагов...

— В полном вооружении? — не поверил торговец. — В шлемах, доспехах, с мечами и копьями?!

— А как ты хотел? — усмехнулся странный пассажир. — Персы ведь не думали

встречать их объятиями... Они тоже были в полном боевом облачении и числом раз в пять больше... Вначале наши рассекли врагов надвое, но те сумели выстоять и, в свою очередь, стали теснить эллинов... — рассказчик явно увлёкся. — Мильтиад приказал обоим флангам развернуться и ударить персам в спину! Тут они не выдержали и бросились к своим кораблям...

6

Узнав о поражении своих войск под Марафоном, Дарий был вне себя. Царь ждал прибытия своих главных военачальников — Артаферна и Датиса, командовавших персидской армией. В своей новой столице Парсе, которую греки звали Персеполисом — городом персов, царь не находил себе места.

Едва ли Парса задумывалась как столица. Скорее, это была своеобразная резиденция восточного владыки. Дараявуаш вначале велел возвести посреди обширной горной долины, при слиянии рек Привар и Кур, три мощные каменные стены, первая — высотой в четыре человеческих роста, вторая — выше вдвое, а третья — выше предыдущей ещё наполовину. Человек, миновав все три стены, оказывался перед массивными каменными лестницами, ведущими в противоположные стороны. А наверх, на огромную каменную платформу, где располагались все парадные и жилые помещения, вели пологие, медленно поднимающиеся ступени, числом по сто одиннадцать в каждой. Сбоку этих лестниц были нанесены красочные рельефы десятков важных подданных восточного владыки, несущих ему богатые дары. Их одежды сверкали лазурью, изумрудом, серебром и золотом.

Медленно и чинно поднявшись наверх, знатные посетители оказывались перед «воротами всех народов». На их массивном верхнем ярусе размещалось внушительное изображение Ахурамазды — «Мудрого Господина», творца всего живого и небесного покровителя персов. Два каменных крылатых быка с золотыми рогами поддерживали высокий свод и одновременно охраняли покои царя от дурного глаза и чёрных мыслей. И в названии ворот скрывался особый смысл — персидский владыка давал понять, что он рад принимать у себя представителя любого народа, живущего под его благодатной властью. А народов этих у него были десятки. Но только персы почитались основой государства, которое простиралось от Гималаев до Кавказа, от берегов Средиземного моря до Индийского океана, включая Палестину и Египет, вплоть до Нубийской пустыни. И там жили миллионы людей, часто мало что знавшие о ближайших соседях.

Пройдя через ворота, счастливец мог оказаться в торжественном дворце приёмов, названным Ападана. А жилой дворец Дария назывался Пачана (достроил его Хшаярша). На одной из парадных стен в нём красовалось торжественное панно: царь Дараявуаш торжественно принимал главу провинции (сатрапа). Сидя на высоком позолоченном троне, в золотой короне, с посохом в левой руке, а в правой держа великолепный цветок лотоса, он милостиво внимал словам склонившегося перед ним управителя. За его спиной смиренно стоял наследник, зрелый Хшаярша, также с окладистой, густой бородой и с золотой короной (митрой) на голове. В руке у принца тоже был лотос, а за его спиной стоял безбородый евнух, за ним — суровый телохранитель с коротким мечом и луком в колчане и два стражника с мечами и копьями.

Дождавшись, наконец, прибытия проигравших битву военачальников, Дарий встречал их в собственных покоях. Наследник и его старший сын находились вместе с ним, а также верховный жрец, главный евнух, сатрапы соседних провинций, начальник охраны и пятёрка телохранителей. Посрамлённых полководцев провели боковыми воротами, минуя парадную лестницу. И едва они вошли в приёмный покой, низко склонив головы и сделав несколько шагов в направлении трона, на котором сидел властитель, как тут же пали на колени.

Воцарилось тягостное, удручающее молчание, и прервать его мог только сам царь. Однако он не спешил делать это. Вид поверженных, обесчещенных, униженных придворных должен впечатлить всех вокруг. Какой бы проступок ни совершил любой житель персидской державы — будь он жалким рабом или ближайшим сподвижником властителя — гнев царя должен казаться ему страшнее всего на свете.

— Как вы посмели?! — прозвучал в гробовой тишине негромкий, едва сдерживаемый голос.

И все вокруг поняли: оба военачальника не смели проиграть сражения. Датис и Артафрен (сводный брат царя) не отрывали покаянных голов от мраморного пола. — Мои верные «бессмертные», моя лихая конница, мои меткие стрелки!.. — Дарий сокрушённо качал головой в золотой тиаре. Он знал — каждое его слово имеет неизмеримую цену и вес. Оно должно проникать в самое сердце человека, ему подвластного. — Кто тот подлый негодяй, посмевший унизить меня?!

— Грек Мильтиад, мой повелитель, — с трудом произнёс Датис как старший по

возрасту.

— Кто?! — переспросил Дарий.

— Тот, что когда-то охранял нашу переправу через реку Истр, мой повелитель...

Царь, напрягшись, кое-что вспомнил о бывшем стороже, поставленном оберегать важный участок. Но едва ли знал его лично, тогда ему было не до того. И кто мог предвидеть, что какой-то обычный перебежчик, которых немало, окажется во главе вражеской армии?

— А кто указал вам дорогу на греческий берег? — царю хотелось узнать подробности.

— Грек Гиппий, мой повелитель, — ответил Артафрен.

— Кто он?

— Тоже беглый житель Афин, мой повелитель, — поспешил с ответом Датис.

В Афинах и Спарте проживало по 50-60 тысяч жителей, и они посмели противостоять огромной персидской державе с миллионами подданных! Это казалось Дарию невероятным и непростительным. Он собрался в карательный поход, но вдруг скончался. Воцарился сын его Хшаярша (Ксеркс).

7

Плавание продолжалось уже вторую неделю. Островов в Эгейском море было множество, но странный пассажир заставлял хозяина приставать только к самым небольшим и малолюдным. Судовладельцу это не слишком нравилось, даже кормчий и гребцы были недовольны. А погода, как на грех, стояла тихая и безветренная. Вероятно, повелитель ветров Эол решил всерьёз отдохнуть, а властитель морей и океанов Посейдон, оседлав своих морских коней, унёсся куда-то далеко.

Корабельщик вновь попытался разговорить афинянина:

— Тот самый Мильтиад, когда победил персов, наверно, стал очень богатым и знаменитым?

— Он и до этого был знатным и богатым. Какое-то время даже правил городом Херсонесом. Его предки происходили из самых известных олигархических семейств. Родословная у него почти от самого Зевса.

— Но ты говорил, что его из Афин когда-то изгнали?

— Было такое. Наши граждане стали подозревать его в намерении захватить власть. Слишком он был деятелен и красноречив...

— Ты говорил, что он умер?

— Мильтиад, как я знаю, скончался от ран, полученных при осаде Пароса.

— Пароса?.

— Да. Вон того бугорка земли.

Далеко в море, на расстоянии примерно трёхсот стадиев, призывно темнел пологий, невысокий остров.

— Но там, по-моему, нет персов.

— Там нет, но Мильтиаду очень хотелось заставить его жителей вступить в афинский союз.

— А когда это случилось?

— На следующий год после Марафона.

— И они туда вступили?

— Как бы не так! Паросцы так яростно сопротивлялись, что нашим пришлось отступить, а Мильтиад был серьёзно ранен и умер в тюрьме.

— Паросцы взяли его в плен?

— Нет. Тюрьма была афинской.

— Сколько ему было лет?

— Столько, сколько сейчас мне — шестьдесят.

— И все забыли про Марафонскую битву?!

— Многие ему завидовали, говорили: «Лавры Мильтиада никому не дают покоя!» И на его совести были огромные долги. Именно за них его и посадили...

— И ему ничто не помогло? Даже память о Марафоне?! Как же так!..

— Это, друг мой, называется демократией. Если любой гражданин в чём-либо провинился — былые заслуги и возраст не в счёт. А на нём как-никак висел долг в пятьдесят талантов, как говорили.

— Сложная у вас там жизнь!

— Думаю, ничуть не сложнее, чем в других местах. Мильтиаду просто не повезло — родись он в другой семье, на нём бы не стояло этого клейма.

— А ты? — торговец сделал невинное лицо. — У тебя всё было иначе?..

Афинянин подозрительно глянул на собеседника, но тот казался бесхитростен и прост.

— Мой отец был рядовой горожанин, а мать родом из Фракии. Но мне это не ме-

шало жить в своё удовольствие. У отца было своё прибыльное хозяйство. И потом, раз в месяц каждому гражданину выдавалось по десять драхм...

— В месяц по десять драхм? — удивился торгаш. — Откуда? За что?

— Недалеко от Афин, в местечке Лаврион, есть серебряный рудник. Он принадлежит всему городу, и доходы от него раздаются всем коренным жителям.

Это был веский довод. Не так уж плоха эта самая демократия!

— А власть у вас, по-моему, избирается?

— Конечно. Каждый житель города на общем собрании может выбрать своего архонта — временного правителя.

— Почему временного?

Афинянин лукаво улыбнулся:

— Власть, как известно, вещь соблазнительная. И если ты получил её, то непременно захочешь удержать подольше.

Судовладелец решил дать гребцам желанный отдых и, несмотря на протесты загадочного пассажира, приказал бросить якорь в небольшой бухточке у острова Парос. Поздним вечером, когда все мирно улеглись спать, хозяин прошлёпал на корму к дюжему рулевому. Тот, по застарелой привычке, уложил на высокую «банку» тощий тюфяк и готовился «встречать Морфея».

— Как думаешь, Книд, погода переменится? — хозяин хотел сказать: хоть какой-то хилый ветерок, наконец, подует?

— Как бы бурей всё не кончилось. На небо взгляни, — небосвод над морем затянули лёгкие, невесомые облака, сквозь которые тревожно перемигивались далёкие, равнодушные звёзды. — Это её первые гонцы, — сказал кормчий, имея ввиду всю облачную завесу.

С утра повеяло прохладой, и небо сплошь заволокли серые, низкие тучи. Поёживаясь от зябкого рассветного ветерка, афинянин проворно встал с кровати, потирая руки и постукивая босыми ногами. С палубы доносился какой-то негромкий, но интригующий шум, как будто вся команда чему-то удивлялась. Он хотел выглянуть наружу, но под навес просунулась седая голова старика-перса:

— Хозяин, лепёшки и сыр принести?

— Погоди. Что там, на палубе?

— Корабли какие-то мимо плывут, вот эти и шумят.

— Военные корабли?

— Они самые.

— Персидские?

— Нет, наши.

Афинянин осторожно выглянул из своего тесного убежища, желая убедиться в словах слуги, и увидел: на расстоянии в пять стадиев под главным прямым и носовым V-образным парусом при попутном ветре шли десятки трирем, грозных боевых судов, разрезая волну обитым медью грозным тараном. А ветер дул порывистый, очень неровный, и потому им пришлось идти ещё и на вёслах. На каждом из судов, как обычно, было по три ряда гребцов, располагавшихся друг над другом. Верхний ряд — траниты — самые сильные гребцы. Они лихо управлялись со своими тяжёлыми орудиями длиной в десять локтей (около 5 м). Средний ряд — зигиты — чуть слабее, и вёсла у них короче на два локтя (около 4 м). Нижний ряд — теламиты — гребцы не слабые, к тому же зоркие и проворные, способные действовать воедино с теми, кто сидел у них над головами. Вёсла у них были короче на пару локтей (около 3 м).

Три ряда вёсел, числом в несколько десятков, как по волшебству, враз окунались в морскую пучину, словно дружная стая дельфинов. Без малейших всплесков, не касаясь одно другого, они делали общий, мощный гребок и мигом вздымались кверху, как стая летучих рыб. Казалось, будто это какая-то невероятная многоножка невесомо неслась над необозримыми водными просторами, не испытывая даже малейших усилий и перебоев. И ветер ей вовсе не был нужен.

— Хорошо идут! — раздался рядом негромкий, восторженный голос.

Афинянин повернул голову. Судовладелец и кормщик стояли поодаль, любуясь проходящими судами.

— Молодцы! — согласился он. — А куда?

— Скорее всего, к Наксосу. Афины хотят наказать его жителей за неподчинение. Ты не хочешь к своим присоединиться?

— Вы что, задумали от меня избавиться?

— Кто ты? Зачем прячешься и от кого? — спросил кормчий.

— Я тот, кто разбил персов при Саламине!

— Фемистокл?

— Фемистокл! — горделиво и с заметным хвастовством подтвердил афинянин. — Это за мою голову, — он шлёпнул себя по шее, — персидский царь посулил двести

талантов. Но не вздумайте выдавать меня землякам! Я им скажу, что вы приняли от меня взятку...

Торговец заволновался:

— А зачем ты так? Мы и не думаем тебя никому выдавать. Правда, Книд? — обернулся он к рулевому. Тот угрюмо согласился:

— И в мыслях такого не было...

За бортом дружно вскипали белые, кудрявые барашки, и триеру угрожающе раскачивало.

— Второй якорь надо бросить! — скомандовал корабельщик, и на палубе закипела проворная суета.

8

Ранним утром 28 сентября 480 года до н.э. на горе Эгалео, подошва которой спускалась прямиком к Саламинской бухте, на расстоянии, недосягаемом для стрел и копий, уже стоял высокий деревянный помост и на нём — золотой трон. Персидский царь Ксеркс желал видеть своими глазами, как его доблестное воинство будет громить врага. Из донесений своих подданных он знал: до глубокой ночи на кораблях греков не утихали раздоры и споры. Командиры трирем и стратеги никак не могли договориться между собой.

Утро выдалось тихим и безветренным. Персидский флот под командой Ариабигна ещё ночью вышел из афинской гавани Пирей. И на вёслах, обёрнутых тканью, дабы не издавать лишнего шума, приближался к островку Пситталея, подобно большой фасолине перегородившей вход в бухту. Кораблям пришлось разделиться, и брат царя подумал, что это лишь небольшая преграда, а дальше всё пойдёт, как должно. Обойдя островок, триремы на вёслах, но с поднятыми парусами грозно двигались навстречу противнику.

Хшаярша (Ксеркс) сидел на золотом троне под балдахином, расшитым золотом. Его окружали вельможи, военачальники и десятки придворных летописцев, должных скрупулёзно заносить на папирус все происходящие события, слова и мысли повелителя.

Сам остров Саламин, за которым молча стоял весь греческий флот со спущенными парусами, располагался слева и походил на огромного морского ежа, внезапно вынырнувшего из морских глубин. Его берега ощетинились десятками кос, грозивших посадить на мель все проходящие суда, и тем приходилось старательно лавировать и сбавлять ход

Издалека вся эта громадная, неспешно наплывающая армада, конечно же, казалась грозной и неодолимой. А приблизившись ко входу в бухту, гребцы и воины, угрожающе размахивая копьями и мечами, издали яростные, оглушающие, разноязыкие крики, исступлённо грозя врагу и ободряя себя.

Хшаярша и вельможи, глядя на всё это, испытывали восторг, предвкушая скорую и сокрушительную победу. Весь же небольшой флот противника, застывший справа от наблюдательной вышки царя, выглядел довольно жалко. Лёгкие, узкие триремы, неглубоко сидящие в воде, с острыми, обитыми медью носами-таранами, казались стаей легкокрылых чаек, рискнувших сразиться с целым скопищем грузных, внушительных бакланов. Любому стороннему зрителю заранее виделось, на чьей стороне будет перевес. Тем паче что не на всех судах было нужное число гребцов и воинов на верхних палубах, застывших в гробовом молчании.

Но вдруг из открытого моря донёсся сильный порыв ветра, поднялась и накатила волна. Щедро раздулись и захлопали паруса, а персидские корабли тут же набрали ход и вместо того, чтобы дружно войти в бухту, стали бестолково сшибаться, безжалостно круша и предательски тараня друг друга. Из-за большой волны, налетевшего ветра, высоко поднятой кормы ни один корабль не слушался руля, превратившись в жалкую игрушку.

Хшаярша не верил увиденному. На его глазах — могучая, грозная армада обернулась стадом взбесившихся быков, с криками и воплями бестолково бодавших один другого. Кто-то пытался спустить парус, но безуспешно. Часть судов села на мель, многие, стремясь развернуться, вонзали тараны в бока соседних посудин.

А со стороны греков неожиданно раздался громкий, суровый и слаженный напев. Ксеркс обернулся к военачальнику Мардонию, своему дяде:

— Что это?

— Это пеан. Гимн их богам, мой повелитель.

И с этим гимном эллинские корабли разом устремились на врагов. Лёгкие, подвижные триремы с маху врезались острыми носами в деревянные борта финикийских судов, гоплиты запрыгивали на чужие палубы, и начиналась жестокая рубка. Среди бойцов, с мечами и копьями сражавшихся на шатких настилах, был 45-летний Эсхил,

мстивший персам за смерть родного брата, погибшего при Марафоне.

Умело покончив с противником, победители, испачканные в своей и чужой крови, лихо запрыгивали к себе на борт, гребцы разом наваливались на вёсла, трирема сдавала назад, извлекая наружу свой разящий нос-кинжал и, стремглав, летела на очередной таран. А вражеское судно с губительной дырой в обшивке мигом тонуло или переворачивалось кверху дном. И всюду уже плавали мертвые тела с отрубленными руками и ногами, обломки вёсел, куски парусины, щепки и мусор.

Персидский царь был вне себя. Он вскочил с трона, яростно вопил, тряс кулаками. И, как отмечали писцы, рвал на себе одежду и даже волосы.

Брат царя Ариабигн, командующий персидским флотом, находился на самом большом корабле, который сел на мель. Трирема, на которой был Фемистокл, стремительно подлетев к нему, ударила тараном в бок. Персы осыпали её тучей стрел и копий. И обе команды — воинов и гребцов — стали ожесточённо драться. Ариабигн стрелял из лука, метал дротики, был ранен и пытался перепрыгнуть на судно противника, но упал в воду и утонул.

На острове Саламин, куда заранее переправили афинских граждан — стариков, женщин и детей — вначале царила жуткая паника, но видя, как их доблестные соотечественники умело и беспощадно одолевают врагов, они радостными криками ободряли своих и камнями и палками добивали захватчиков, пытавшихся выбраться на берег...

9

— А ты намеренно таранил эту трирему с главным персом? — корабельщик не сводил глаз с рассказчика.

— Конечно, — подтвердил Фемистокл. — Надо было сломить их дух и вдохновить своих. А по-другому никак.

— И это видел сам Ксеркс?

— Наверно. Для него всё было театральным действом.

Триера бодро шла под тугим парусом, оставляя позади цепь островов, называемых Кикладами. Когда-то в этом море, которое называлось Эгейским, а было, на самом деле, одним из заливов Средиземного моря, хозяйничали финикийцы. Им на смену пришли персы, а потом стараниями афинян и в первую очередь Фемистокла господство на море перешло к грекам.

Фемистокл продекламировал:

Раздался мощный, шумный клик вдали,
То были эллины — и громогласно,
Им вторя, со скалистых берегов
Аяксовых, отозвалось им эхо...
И сильный страх на варваров напал,
Надежда обманула их, враги
Не думали бежать, но пели гимн,
Величественно, смело выступая
На бой! И можно было слышать крик:
Вперёд, сыны Эллады!
Идите и спасайте от врагов отчизну!
Спасайте же детей и жён,
Жилища дедовских богов,
Гробницы предков, битва всё решит!

Хозяин спросил:

— Кто это сочинил?

— Эсхил. Он сражался как простой гоплит. А спустя восемь лет написал трагедию «Персы». И один из списков подарил мне.

— Сколько персидских судов потонуло?

— Больше двух сотен.

— А наших?

— Около сорока.

Посыпались тяжёлые удары,
И опрокидывались кверху дном
Суда. Вкруг было всё обломками покрыто
От кораблей и мёртвыми телами...

Из трюма показался старик-перс. Судовладелец тихо спросил:

— Ему было не жаль своих?

Герой Саламина бросил короткий взгляд на слугу, потом перевёл его на торговца:

— Есть вещи, о которых не следует задавать лишних вопросов. Он сидел в моей

палатке и молился своему Ахурамазде. Это была бойня... Зато наутро все стратеги и начальники гребцов стали наперебой хвастать своими подвигами и приписывать себе победу...

— Да ну? А ты?

— Обо мне разом забыли. Все как один. Или старались не вспоминать. Так уж устроены люди. Кому захочется признать, что его попросту вынудили проявить отвагу и героизм? Ведь как бывает? — Фемистокл развёл руками. — Припёрли беднягу к стене, а он взял и отбился! Ну разве не герой?

Триера шла, не сбавляя ход. Гребцы, довольные тем, что их работу выполнял попутный ветер, сидели или лежали на палубе. Пятеро играли в кости, слышался смех.

— И после этого боя персы убрались восвояси?

— Как бы ни так! У них осталось ещё с полтысячи судов, и мне пришлось опять пойти на хитрость.

— Какую?

— Мы взяли евнуха из гарема Хшаярша, — старик-перс, услышав это, насторожился. Фемистокл кивнул на него: — Мы с Сикинном завели пленника в палатку, и я сказал евнуху: «Иди к своему царю и скажи ему: стратег Фемистокл не ожидал, что вы не одержите победу. Он очень этим удручён и хочет тебе помочь. Он предупреждает тебя, что греческие корабли намерены идти к Геллеспонту и разрушить переправу, чтобы твоя армия не смогла вернуться домой»...

— И он тебе поверил?

— Я и сам себе не поверил. Но вскоре весь персидский флот потянулся к проливу. Корабль за кораблём. Вот так.

— Но их армия ещё оставалась в Греции...

— Верно. Персидский полководец Мардоний провёл, без особого успеха, ещё несколько шумных сражений, потом его убили, и персы вернулись домой.

— И Ксеркс посулил за твою голову двести талантов.

Фемистокл развёл руками.

Чем явственней и ближе становился азиатский берег, тем тревожнее и задумчивее вёл себя знаменитый изгнанник. И хозяин судна, его кормчий и гребцы замечали это. Зато рабы Фемистокла — фракиец и старик-перс — были спокойны и невозмутимы.

Фемистокл попросил пристать к азиатскому берегу.

— Где именно?

— Есть на побережье такой тихий городок — Кима.

— Знаю. Это в Эолии.

— Вот там бы я и остался.

В конце дня триера вошла в небольшую бухточку, которыми изобиловало всё малоазийское побережье, издавна обжитое греками, и бросила якорь вблизи крохотного городка Кима. Пассажир не спешил оставлять судно, отправив на берег в разведку своих слуг, а сам остался ночевать на палубе. Утром вернулись перс и фракиец, и по их лицам было заметно, что обстановка на берегу далека от желаемой.

— Господин, — сообщил Фемистоклу фракиец, — все жители сильно встревожены. Они боятся грабежей и погромов!

— Что там случилось?

— Они говорят, что Хшаяршу убили и в стране мятежи и волнения.

Корабельщик сразу предложил:

— А не пора ли поднять якорь? Отойдём, пока не поздно.

— Нет, — ответил Фемистокл, — будем сходить на берег! — и, хлопнув по плечу хозяина, напомнил: — Я должен с тобой расплатиться.

Расплата была щедрой. И, перегрузив всю поклажу в лодку, сделав пару рейсов на берег, а потом распрощавшись с хозяином и рулевым, Фемистокл перебрался в городок. Его провожали все гребцы, стоя на палубе триеры.

10

В Киме изгнанник прожил недолго. Через неделю он, наняв повозку и мулов, переехал в городишко Эги, где жил его давний знакомец Никоген. Тот, встретив знаменитого афинянина, поразился:

— Фемистокл! Каким ветром занесло тебя сюда? Ведь за твою голову...

— Знаю... Но Ксеркс, который посулил эти деньги, говорят, свою голову отдал бесплатно.

— В Парсе творится что-то ужасное! — Никоген сделал большие глаза. — Убили не только царя, но и его старшего сына Дария...

— И кто теперь владыка Персии? У Ксеркса, по-моему, были ещё два сына.

— Артаксеркс.

Фемистокл задумался.

— Ты-то как? — привёл его в чувство хозяин.

— Пути назад для меня нет... Афиняне подозревают меня в том, что я присвоил часть налоговых сборов.

— А это не так?

— Мне грозит повторением судьба Мильтиада. Ему тоже не простили каких-то грешков и сгноили беднягу в тюрьме. Это называется демократией, — собеседники умолкли. Потом нежданный гость взглянул в лицо хозяина и вдруг заявил: — А может, мне самому стоит получить эти двести талантов и расплатиться за всё?

— Это как?

— А так. Надо явиться к персидскому царю и сказать: я тот самый негодяй, лишивший твоего отца заслуженной победы, добровольно сдаюсь в твои руки, вот моя голова, плати... У тебя ведь есть связи с персидскими вельможами. Ты можешь мне помочь?

— В двух днях пути живёт тысяченачальник Арбазан. Можно отправить гонца к нему...

Спустя месяц тысяченачальник приказал доставить к нему беглеца. Фемистокл, дав своим рабам свободу, в сопровождении Никогена поехал к знатному персиянину. Тот, будучи наслышан о нём и даже повидав его в знаменитом сражении, сказал напрямик:

— Наш повелитель готов тебя принять, но с одним условием: ты выкажешь ему свою нижайшую покорность и смирение...

— Я готов, — мгновенно ответил бывший победитель персов.

— Падёшь перед ним ниц и будешь отвечать на его вопросы, не поднимая головы, — для свободолюбивых греков это было великим унижением, о чем вельможа знал. — Если ты этого не сделаешь, то лишишься головы!

Изгнанник согласился. Тысяченачальник приказал посадить его в закрытые носилки, в которых обычно передвигались жёны и наложницы, и Фемистокл отправился в Парсу. По прибытии его боковым входом провели во дворец Хадиш.

Царь Персии Артахшасса («Владеющий праведным царством») сидел на золотом троне в золотой тиаре, с посохом в руке. Юное лицо его заметно оттеняла тёмно-коричневая растительность, готовая вскоре обратиться в непроницаемо густую бороду. Фемистокл, в сопровождении телохранителей, приблизившись к трону, тут же растянулся на мраморном полу, а через минуту встал и гордо выпрямился. Все придворные оцепенели. Онемел и сам царь. Визирь, взглянув на владыку, толкнул в спину толмача. Тот подошёл к изгнаннику и тихо сказал:

— Кто ты? Зачем явился? Как посмел подняться и молчать?

— Передай царю, что к нему пришёл бедный афинянин Фемистокл, изгнанник, которого преследуют эллины. Много зла видели от меня персы, но и не меньше добра. Это я спас персидскую армию от разгрома, предупредив царя, что эллины готовы разрушить мост через Геллеспонт, — толмач старательно переводил. — Прояви же великодушие, — Фемистокл склонил седую голову. — Сохранив мне жизнь, ты спасёшь человека, пришедшего к тебе с мольбою, а погубив, погубишь того, кто стал врагом эллинов...

Юный царь не дал ответа, сказав, что даст его завтра. Фемистокла увели, и он в отчаянии уже ждал казни. Артаксеркс же горячо молился Ахурамазде, благодаря его за то, что «Мудрый Господин внушает его врагам благие мысли изгонять из своей страны самых лучших людей!» Утром следующего дня беглеца вновь привели в Хадиш, и царь сказал:

— Я должен тебе двести талантов. Приведя самого себя — ты имеешь право получить награду, назначенную за твою голову, — Фемистокл поклонился. Артахшасса продолжил: — Но я дам тебе больше. Есть три города на побережье, где живут эллины. Там нет достойного управителя и сборщика налогов, ты отправишься туда, дабы исполнять мою волю...

Лучшего нельзя было и желать. Для шестидесятилетнего скитальца это стало несказанно щедрым подарком. Три города на малоазийском побережье — Магнесия, Эфес и Пидна — вначале с неприязнью и тревогой встретили нового правителя, но четыре года Фемистокл прожил в мире и покое. А потом к Фемистоклу приехал тысяченачальник Арбазан и передал приказание царя: герой Саламина должен присоединиться к персидской армии против эллинов. Фемистокл ответил, что завтра же отправится в путь. Тысяченачальник убыл, а Фемистокл принял яд.

Спустя пять столетий надгробье Фемистокла в Магнесии посетил Плутарх и оставил свой восторженный отзыв.

Лариса КЕФФЕЛЬ-НАУМОВА

БЕГСТВО В РАЙ

Эмигрантская повесть

(Журнальный вариант)

Глава I. ЛИЛЬКА

Мать в очередной раз гладила отцу «выходную» красную рубаху. Была пятница. Отец собирался на гулянку. Мать это знала и не сопротивлялась. Она русская, муж эстонец. Жили они в Тарту. Лилька сидела в углу, нахмурившись. Две недели назад ей исполнилось шесть лет. Была она рослой, темноволосой девочкой, с зеленоватыми с золотыми крапинками глазами, несколько вытянутыми к вискам, и вздёрнутым вместе с верхней губой носиком. Стандартное платье, купленное на её возраст в детском магазине, всегда выглядело на ней немного коротким, юбка не могла прикрыть чересчур длинные, как у цапли, ножки. Мать всё время надшивала или надвязывала рюшки из другого, более-менее подходящего материала или ниток. Особо выбирать не приходилось.

Отец, когда бывал пьяным, а бывал во хмелю он частенько, орал матери: «Забери своего бастарда! Нагуляла!» Лилька не понимала, кто это такой — «бастард» — и где мама гуляла? Она была очень похожа на отца — двухметрового великана: эстонская рослая порода и материн тёмный окрас. Мама, наоборот, была небольшого роста, миниатюрная, с тёмными, чуть подвивающимися роскошными волосами, с которыми она не могла совладать, и Лилька каждое утро была свидетельницей мучений матери, собирающей эту роскошную гриву на затылке в хвост. На последнем обороте она не вытаскивала до конца волосы из-под резинки. Получалась такая чудесная причёска — «пальма». Мать перехватывала эту роскошь модной заколкой, и Лильке казалось, что её мама похожа на всех эстонских, польских и других моделей, которых она видела в журналах мод с выкройками, что лежали на журнальном столике в гостиной. Мать шила себе и знакомым.

— Мам, мам! — галдела Лилька. — Ты сошьёшь мне принцессино платье? Такое — из розового тюля?

У матери, в этот момент подкалывающей что-то, во рту были булавки:

— Сосью! Сосью! Только остань! — шепелявила мать.

— А когда? — не унималась Лилька.

— Когда за тобой приедет прекрасный принц! — мать наконец выбрала изо рта все булавки.

— А он приедет? — сомневалась Лилька.

— Конечно! — улыбалась мать. — В своё время. Когда вырастешь.

Девочка радостно прыгала вокруг матери, которая наконец-то закончила причёсываться.

— А теперь подушись «Красной Москвой»! Ну пожалуйста!

Мать вытаскивала из коробки флакон, присев перед трельяжем, и, томно откинув красивую голову, душилась сама и стеклянной пробкой проводила за ухом и по шее вертевшейся рядом дочки, верещавшей от восторга, — вдруг, в порыве молодой искрящейся радости, вскакивала, и вдвоём, взявшись за руки, они минуту или две кружились, хохоча до слёз.

Отец привёз мать к себе, в Эстонию, после армии. Он служил в Шуе, под Иваново, а Иваново, как известно, — город невест. Там и познакомился с ней на танцах, в увольнительной. Эта девушка показалась ему на брызгающей разноцветными фонариками танцплощадке, в ритмичных звуках музыки до того красивой, что всё никак не решался подойти — только краснел, опускал глаза и топтался около круга, как стоялый конь. На ней была полупрозрачная нейлоновая блуза, на осиной талии стянута летящая, пёстрая юбка, туфли-лодочки... Цыганка, как звал её отец, этакая Эсмеральда с

блестящим великолепием смоляных волос, рассыпавшихся по плечам! А она не могла оторвать взгляд от нездешнего великана, совсем не похожего на русских парней, — высокого застенчивого исполина с будто выгоревшими от солнца волосами.

— Ну иди! Пригласи его! — пихали её подружки, и она подошла.

Служивый, при виде которого вдруг так тревожно забилось сердце девушки, оказался эстонцем из Тарту (в Шуе его за диковинную манеру коверкать слова прозвали «иностранец»). Где эта Эстония? Какая это страна? Никто в ней не был.

В одиннадцатом веке дружина киевского князя Ярослава Мудрого присоединила часть земель эстов к Киевской Руси. Князь основал на этих землях город Юрьев, то бишь Тарту. Кому только не принадлежал город! Времена тогда были неспокойные. Продвинутые правители удовлетворяли свои гендерные амбиции в войнах: на полях сражений, в осадах и штурмах городов-крепостей, к каковым и принадлежал Тарту. Ох и швыряло его! От новгородцев — к ливонцам, от суетных поляков — к воинственным шведам. Повидал городок на своём веку — мало не покажется! Жители сей «цитадели», судя по всему, так и не отошли от постоянных пертурбаций бытия и сознания и до сих пор находятся как бы в перманентном удивлении от того, что с ними произошло. О глубокомысленности и неторопливости мышления эстонцев ходят легенды.

Солдата с солнечными волосами и хрустально-голубыми глазами, обжигающими холодноватым взглядом, с густыми светлыми ресницами под белёсыми, словно выгоревшими, бровями, звали Айвар. Наверняка в его крови соединились и новгородцы, и поляки, — но прежде всего, как потом уже смекнула Ирина — так звали шуйскую Эсмеральду, — любители выпить! Но это было потом. А сначала была любовь, они уходили далеко в луга и целовались, целовались... Ирину провожали, как за границу. Гуляли три дня.

Мать Айвара, Пирет, встретила невестку неласково. Всё время на эстонском что-то сердито бурчала, показывая головой в сторону Ирины — мол, привёз, «свою» не мог взять! Там, в России, Айвар был с ней другим: нежным, добрым, приносил ей луговые цветы, бабочек в банке. Один раз Ирина пришла на свидание, а он открыл банку — и бабочки разлетелись: лимонницы, павлиний глаз, шоколадницы, капустницы... Ирина замерла от восторга! Но здесь, в Тарту, всё изменилось. Появились старые друзья, с которыми он работал в порту: грубые, немногословные, они смотрели на Ирэну, как они её называли на эстонский манер, как на чужую — русскую, и при случае высмеивали Айвара, настраивали против молодой жены. Она была уже беременна и, стиснув зубы, терпела грубость и отчуждённость мужа. Он стал часто выпивать. Когда родилась дочка, лучше не стало. Айвар хотел сына.

Как-то раз по телевизору Лилька увидела один старый иностранный фильм. Сюжет она не запомнила, но её поразила яркая картинка счастья, общая атмосфера добра, покоя и благополучия. В великолепном доме, с увитыми плющом, большими окнами и выходящей прямо в сад полукруглой террасой, жила счастливая семья. Детки в белых штанишках и платьицах бегали по зелёной лужайке и брызгались из маленького круглого фонтана с чудесной мраморной фигуркой гречанки посередине, а мама и папа пили кофе из изящных чашечек и нежно смотрели друг на друга, сидя за овальным, накрытым к завтраку столом. Почему-то больше всего поразил маленькую Лильку этот стол: серебро сервировки, поблёскивающее в лучах утреннего солнца, и ослепительно-белая, крахмальная скатерть, которую колыхал лёгкий летний ветерок. А дальше, по ходу фильма, — ещё одна сцена томительным несбыточным желанием врезалась в сердце маленькой Лильке: вся семья куда-то шла, родители держали детей за руки, все были нарядно одеты. Мужчина — усатый красавец в сером цилиндре и в сюртуке-визитке, в лаковых штиблетах с тросточкой, всё с той же любовью и восхищением, что и в начале, смотрел на обворожительную красавицу-жену в летнем платье кремового цвета с летящими лентами, кружевами и цветами и шляпой в тон, завязанной сбоку, под подбородком, изящным шёлковым бантом. Лилька, как загипнотизированная, не могла оторвать от экрана взгляд! Так и сидела с открытым от изумления ртом на стуле около телевизора, хотя фильм уже кончился. Неужели это существует на свете?..

— Ты что? — улыбнулась мать. — Уже поздно. Пора спать.

В эту ночь Лильке снилось, что она принцесса в воздушном розовом платье и идёт куда-то с улыбающимся, похожим на отца великаном, только великан добрый и держит её за руку, чего отец никогда не делал. Отец редко выходил с ними, а если они и шли куда-то вместе — всё равно ничего хорошего не получалось. Всегда случался скандал, потому что он непременно искал, где бы выпить, а Лильке так хотелось идти, взяв их обоих за руки, чтобы все вокруг видели: у неё тоже есть отец и какая у них счастливая семья!

Девочка твёрдо решила сбежать отсюда, из этого города, навсегда. Вырваться из этой беспросветной, серой жизни. Она чувствовала себя Алисой. Ей казалось, что где-то есть Страна Чудес, где исполнятся все её желания! Поэтому училась хорошо. Была

старательной. Какие ж чудеса могут произойти с троечницей?! Да и лучше всего ей было в мире книг и контурных карт.

Настали девяностые. Советский Союз стремительно начал разваливаться на составные части. Прибалты первыми стали рваться прочь. Национализм в Эстонии к тому времени зашкаливал. От всего этого хаоса и неразберихи, которые происходили со страной, Лилька совершенно одурела. Как-то она прочитала объявление в газете: в Германии, в немецкую семью требовалась нянька детям. Обещали визу, проживание и учёбу: au-pair-Mädchen[1], или, иначе, Kindermädchen[2]. Так она теперь будет называться! В школе Лилька как раз учила немецкий. Недолго думая, она написала по указанному в газете адресу. Рассказала, что закончила школу, знает неплохо язык, располагает к себе детей и легко ладит с ними. Добавила, что хотела бы учиться в Германии. Немцы молниеносно прислали положительный ответ, а затем и приглашение. Сомнения отпали. Лилита — это было её полное имя — в одну ночь, поплакав для порядка, приняла решение и — сбежала! До последнего не говорила ничего матери. Знала, что не пустит.

Когда самолёт взмыл в небо, взяв курс на Франкфурт, она вдруг с жалостью вспомнила растерянные глаза матери и всю её беспомощную фигурку в проёме открытой двери. Тряхнула головой, отгоняя воспоминания, всё пыталась сглотнуть предательский ком в горле. Нет! Не сейчас! Она не хочет об этом думать!!! Закончилось её безрадостное детство, и все несчастья пусть останутся в прошлом. Впереди её ждёт новая прекрасная жизнь!

* * *

Германия поначалу показалась ей раем: именно той землёй обетованной, о которой грезила она на своём топчанчике в углу, в Тарту, горестно слушая, как в соседней комнате громко ругались отец с матерью. «У меня всё будет по-другому, — думала Лилька, крепко прижимая к себе своего единственного друга, медвежонка. — У меня будет красивый, умный, добрый муж, чудесные дети, просторная столовая, большой стол с крахмальной скатертью, уютный дом и много друзей! Мы будем путешествовать, путешествовать. Я увижу весь мир...» С этими мыслями она благополучно засыпала. Медведь был грязно-розового цвета. Когда мать однажды попыталась постирать его, Лилька не смогла заснуть и, прокравшись, схватила ещё не высохшего медведя. Так с мокрым и уснула.

Лилита попала, как ей сначала показалось, именно в такую идеальную семью: дом, двое детей-близнецов — мальчик и девочка, хозяева — воспитанные, образованные немцы. Муж — работник банка, жена — врач в глазной клинике. Хозяйские дети были довольно противные, но послушные. У обоих были густые белые волосы и водянистые холодные голубые глаза. Лилита на удивление быстро научилась справляться с детьми. Родители давали близнецам задание: дети делали уроки, Лилька проверяла ошибки. Близнецы пытались её подловить, но Лилька важно брала орфографический словарь или учебник грамматики и показывала, тыкала носом. Киндеры недовольно сопели, потому что Лилька всегда оказывалась права. Не зря же в школе по немецкому у неё было «отлично». Один Бог знает, почему ей легко давался этот гортанный, малосимпатичный и трудный в произношении язык... Дети зауважали Лильку, стали слушаться её беспрекословно и ходили за ней, как хвостики. Дети — жестокие существа. Впрочем, это лишь маленькая модель взрослого мира. В них ещё видно то, что потом, во взрослом состоянии, уходит внутрь. Уважают только сильного, умного. Уважают только того, перед кем отступают, кто одерживает вверх. Кто доказал своё право на место под солнцем.

Со временем что-то в этой новой благостной обстановке стало её напрягать. Какие-то смутные подозрения тяготили её, она постоянно наталкивалась на нечто непонятное, что пока ещё не проявлялось, но будто витало во всей атмосфере дома и странном поведении его хозяев: лёгкой недосказанности, в том, как они замолкали, прерывая при её появлении оживлённый диалог. Их отношение к ней как к няне детей ничем особо не отличалось от общепринятого в немецком обществе отношения к такого рода персоналу — такое же строгое, но доброжелательно-ровное, вежливое. Немного странной ей показалась кирха, в которую семья ходила по воскресеньям. И в этом, на первый взгляд, тоже не было ничего необычного.

Лилька была православная. Мать окрестила, отцу было всё равно. У матери был знакомый священник. Такого имени — Лилита или хотя бы Лилия — в святках не оказалось, поэтому при крещении ей дали имя Лия. Власть это все не приветствовала, поэтому священник согласился провести обряд дома. Мать как-то сказала Лильке:

---

[1] Au-Pair-Mädchen (*нем.*) — живущая в семье и помогающая по хозяйству девушка-иностранка. Одновременно она совершенствует язык, а затем поступает в университет и уходит от хозяев.
[2] Kindermädchen (*нем.*) — няня.

— У тебя ангел на правом плече...

— Где? — пыталась увидеть, своротив голову на сторону, маленькая Лилита.

— Да вот же он! — мать улыбалась, целуя дочкино плечико. — Ты всё ему говори, обо всём проси — он поможет.

Молитве научила: «Ангел мой! Хранитель мой! Храни моё тело, крепи моё сердце! Аминь». Мать водила Лильку в храм настолько часто, насколько получалось. А иногда они уходили и долго гуляли по городу, чтобы не видеть, как дома бесновался пьяный отец. Почти всегда после долгих блужданий ноги их приводили в церковь. Иногда они попадались на глаза матушке Наталье, и она их приглашала в дом. Священник, отец Николай, утешал и успокаивал маму, а девочка играла во всякие незнакомые увлекательные игры с добрыми детишками священника, которые сильно отличались от других детей с её улицы. А иногда старший мальчик Артемий читал притихшим малышам сказки. Лилька всегда ждала, когда будет счастливый конец, и тогда вскакивала и от избытка чувств подпрыгивала и хлопала в ладоши. Принцесса вышла замуж за принца! Ура-а-а!!!

Но однажды она услышала сказку, которая повергла её в рыдания. Это была сказка о стойком оловянном солдатике. Она долго не могла забыть эту историю, рыдала и горевала о погибшей в огне танцовщице и бедном одноногом солдатике. Мать утешала впечатлительную девочку, а сама думала о том, что, должно быть, нелегко её дочурке будет, когда та вырастет, смириться с мыслью, что принцев-то в действительности почти нет, а потом и те, что есть, со временем превращаются из красавцев в настоящих чудовищ. Вот именно в этой последовательности.

— Мам! Но ведь это только сказка? У меня так никогда не будет? Так жалко! Солдатик ведь так любил танцовщицу!

— Нет, конечно, — мать гладила её по головке. — У тебя будет всё хорошо. Ты встретишь прекрасного принца, и вы будете жить долго и счастливо.

* * *

Хотя Лилька и была крещена по православному обычаю, но в Тарту иной раз, гуляя по городу, заходила в католический собор во время службы. Однако эта церковь, куда она ходила с немцами, была какая-то непонятная. На церковь-то не похожа. Какое-то шоу! Современное. Несколько агрессивное даже. Здание, в котором она располагалась, — с огромным залом, как концертный. Священник — вроде как и не священник вовсе. Фатоватый, с приглаженными блестящими волосами, с ослепительной улыбкой, в чёрном «с искоркой», несколько обуженном костюме, с чересчур живыми для священника глазами, смотрящими из-под постоянно приподнятых от радостного возбуждения бровей. В процессе своей проповеди он всё выкрикивал и выкрикивал какие-то (судя по всему, знакомые всем присутствующим в зале) изречения, потому что все хлопали, повторяли вслед за ним, воздевая руки в едином порыве: как бы подхватывая пущенную в них с возвышения энергию.

Когда Лилька как-то раз осталась одна в доме и обходила комнаты, то увидела, заглянув в спальню к хозяйке, странный крест. «Необычный... Не похож на католический», — удивилась тогда она. На кресте, в перекрестье, располагался ещё один крест поменьше. «Роза ветров какая-то!» — настороженно подумала Лилька, начиная догадываться. Повсюду она натыкалась на непонятные, загадочные символы. Два треугольника, соединённых латинской буквой «S». У себя в комнате через недолгое время она обнаружила книжки: «Дорога к счастью», «Дианетика». Их автором был какой-то Л. Рон Хаббард.

Лилька заинтересованно по вечерам стала листать их, пытаясь разобраться, но так ничего и не поняла: сайентология — это наука или всё-таки религия? Автор горячо и убеждённо утверждал, что это — и то, и другое! На Лильку всё это произвело впечатление чего-то фантасмагорического. Надо было в этом разобраться. Под книжку легко было засыпать. Лилька, за день набегавшись с детьми по теннисам и плаваниям, бесчисленным детским университетам и французским академиям, где они что-то учили, слушали чьи-то доклады, играли в шахматы, лепили, рисовали, делали оригами и бог знает ещё что, с непривычки уставала. Но и всего этого её подопечным казалось мало — и шустрая Кирстен пыталась ещё успеть «подолбить» на электрическом пианино, а второй близнец, не менее гиперактивный Торстен, так же рьяно и самозабвенно фальшивя, играл на дудке. Можно было оглохнуть от всей этой какофонии! К ночи она совсем выматывалась и почти без сил добиралась до койки.

Лилька была рада переключиться и почитать что-то отвлечённое, как она думала, фантастическое. Листая книжку о странной религии, из введения она узнала, что означал этот непонятный крест в спальне хозяйки — фрау Нойманн. Оказалось, что восемь оконечностей креста («сайентологический крест представляет собой дважды перечёркнутый по центру восьмиконечный крест») символизировали «восемь дина-

мик», или восемь степеней выживания, имеющихся у каждого человека, в том числе — стремление к выживанию в качестве духовного существа, а также стремление к выживанию в качестве божественной сущности. Хаббард описывает выживание как удаление от смерти и приближение к бессмертию.

Смысл этих восьми динамик, как поняла Лилька, сводился к стремлению человека к выживанию. Индивидуально. Группами. За счёт части человечества. Хоть птицами, хоть рыбами, хоть гадами морскими. Всеми возможными способами. Пройдя все эти ступени опыта и самосовершенствования духа, человек, как утверждал автор, превращается в высокодуховное существо, и перед ним, как красная дорожка, простирается сама вечность, то есть бесконечность. Под это дело подводилась база, диалектика.

«Первая динамика — это стремление к выживанию самого себя. Вторая динамика — это стремление к выживанию посредством секса и семьи, воспитание детей. Третья динамика — это стремление к выживанию в качестве группы. Четвёртая динамика — это стремление к выживанию посредством всего человечества и к выживанию как части всего человечества. Пятая динамика — это стремление к выживанию посредством форм жизни, таких как животные, птицы, насекомые, рыбы и растения. Шестая динамика — это стремление к выживанию посредством физической вселенной, которая состоит из материи, энергии, пространства и времени. Седьмая динамика — это стремление к выживанию в качестве духовных существ или в качестве духа. Восьмая динамика — это стремление к выживанию посредством Верховного существа или посредством Бесконечности».

Пока всё это напоминало какую-то новую игру, правила которой Лильке было интересно узнать. Не зря же в школе она была отличницей!

Символом сайентологии были два треугольника, соединённые латинской буквой S. Каждая из вершин треугольников что-то обозначала: «Общение», «Знание», «Контроль», «Ответственность»... Латинская же S, которой треугольники были скреплены, означала слово «Scientology». Как утверждал сам основатель, оно было им создано путём слияния двух слов: латинского «scio», которое означает «знание», и греческого «logos», которое означает «слово». Проще говоря — соединение во внешнюю форму полученного знания внутренней мысли, для её выражения и сообщения вовне.

Постигающим теорию рекомендовалось постоянно увеличивать с помощью предлагаемых практик своё знание жизни, а также чувство ответственности за неё и контроль над нею. «Вообще-то всё достаточно логично! Ну и что здесь нового?» — подумала озадаченно Лилита. Действительно, все мы, ещё с рождения, постепенно узнаём, что такое хорошо и что такое плохо. Все мы увеличиваем знание жизни, растём, набираемся опыта, совершаем намеренно или по неведению ошибки, учимся признавать их и больше не повторять — и тогда приходит взрослое, осознанное чувство ответственности за свои поступки.

Позже Лилька прочитала в одной статье, что сайентология есть система верований в то, что люди — бессмертные «тэтаны»[1] с вечной судьбой в Бесконечности. Посредством религиозных практик тэтаны освобождаются от тяжёлых воспоминаний — «инграмм»[2] (что более или менее соответствует иудаистскому и христианскому представлению о грехе). По всей Америке созданы многочисленные клубы по изучению дианетики, в которых многоступенчатая система «курсов совершенствования личности» предполагала многолетнее продвижение «совершенствующейся души» от нулевого уровня до сто десятого.

Постепенно вчитываясь в текст, Лилька поняла, что изначально дианетика задумывалась как некая «новая психотерапия», и вовсе не предполагалось, что она заложит основание для религии. Сайентология берёт начало из дианетики — принципов и методов, которые Хаббард изложил в книге «Дианетика: современная наука душевного здоровья», выпущенной в 1950 году. В книге излагалась теория Хаббарда о причинах нерационального поведения и психосоматических заболеваний, а также предлагались различные методы детоксикации, очищения организма от радиации, к которым относятся приём биологически активной добавки — ниацина[3] (который, по мнению Хаббарда, способствует выводу из организма токсинов), сауна, бег трусцой и «терапия» (так называемый «одитинг»[4]). Всё это для того, чтобы избавиться от вероятных про-

[1] Тэтан (*англ.* thetan) — сайентологический псевдонаучный термин, подразумевающий непосредственно личность, духовное существо. Согласно данной концепции, тэтан — не разум и не тело, а тот, кто осознает, что он осознает, то есть индивидуальность...

[2] Инграммы (сайентологический термин) — тяжелые воспоминания прошлых жизней, составляющие реактивного ума, которые мешают человеку совершенствоваться.

[3] Ниацин — один из восьми витаминов группы В, важных для всего нашего организма.

[4] Одитинг (*англ.* auditing — проверяющий; от *лат.* audire — слушать) — важнейшая практика в сайентологии, представляет собой общение один на один клиента («преклира») с сайентологическим консультантом («одитором»).

блем психологического и психосоматического порядка.

А уже позже наука, как вначале позиционировал дианетику сам Хаббард, превратилась в религию. Доктрина сайентологии впитала в себя некоторые стороны ведийского учения, буддизма, иудаизма, гностицизма, даосизма, учений древнегреческих мыслителей. В ней в очень малой степени проглядывают и элементы христианства, в большей — философии Фридриха Ницше и психоанализа Зигмунда Фрейда, «Тайной доктрины» Блаватской и «Живой этики» Рериха. В основу сайентологии легло представление о том, что духовная сущность человека способна отделяться от тела и проживать жизнь за жизнью в разных телах. О Боге говорится как о «Восьмой динамике» и бесконечности, охватывающей «всеобщность всего».

Таким образом, представления сайентологов близки к представлениям восточных религий, но почти не имеют точек соприкосновения с христианством. Философия сайентологии отражает индивидуалистическое западное сознание, во главе угла которого лежит совершенствование своего эго. В сайентологии размыто, отсутствует понятие Бога как такового: человек, в сущности, приравнивается к Богу.

Работодатели Лилиты оказались сайентологами.

Глава II. ИСКУШЕНИЕ И ПРОЗРЕНИЕ

Однажды хозяйка, Мартина, пригласила Лильку на лекцию по основам сайентологии. На сцене за кафедрой воодушевлённо исходил красноречием видный седовласый господин с несколько непослушной львиной шевелюрой, какую обычно носят маститые художники. Он чем-то напомнил Лильке Бетховена, портрет которого висел у них в школе на стене в музыкальном классе вместе с другими портретами композиторов, и учительница разучивала с ними: «Из края в край вперёд иду, и мой сурок со мной...» — старательно надавливая на клавиши и кренясь всем корпусом, как будто хотела опрокинуть, наконец, ветхое пианино марки «Красный Октябрь». Инструмент жалобно дребезжал и кренился вместе с ней, а все дети старательно и широко открывали рот.

Глаза докладчика воинственно посверкивали. Он с профессиональной одержимостью, энергично и без сбоев излагал свою, на первый взгляд для неподготовленного слушателя — совершенно сумасшедшую, теорию. Патетичность предлагаемых слоганов будто вернула Лильку в недавнее советское прошлое. Говорил он таким голосом, словно провозглашал с трибуны лозунги, обещающие счастье и всеобщее процветание. Лильке вспомнились телетрансляции со съездов КПСС и программа «Время». «Прямо как наши», — подумала она с иронией.

Мартина втолковывала всю обратную дорогу уставшей Лильке, что основа основ — точка зрения, и от неё можно простирать другие точки, простирать рубежи за рамки других рубежей. «Квантовыми скачками!» Этот шаг ведёт в Бесконечность! У Лильки в голове всё смешалось. В ушах у неё звучало, как лектор цитировал слова этого Рона Хаббарда: «Следующие твои триллионы лет зависят от того, что ты делаешь здесь и сейчас!» Зал взрывался аплодисментами. Лилька с интересом оглядывала тех людей, которые находились в поле зрения. Вполне состоятельные менеджеры среднего звена, тётки-интеллектуалки... Какая нелёгкая занесла их сюда? Скука? Пресыщенность? Желание испытать острые ощущения? Принадлежать к чему-то, как они считали, «элитарному»? Странно всё это... А может быть, действительно это — что-то настоящее, и они подошли ближе к истине, раскодированию загадки мироздания? Кто такой человек? Откуда он? Что он может? Есть ли дальше другие жизни? И кем ты будешь в них?

Эти люди кажутся такими счастливыми, знающими какую-то тайну, принадлежащими к чему-то ещё незнакомому ей, они — вместе! Она тоже хотела быть с кем-нибудь вместе, тоже хотела что-то значить, быть полезным винтиком в общей большой машине, нет, в поезде, нет — на белом теплоходе, который, рассекая просторы океанов, плывёт верным курсом — к солнечным островам Счастья и Истины, Познания и Добра!

Как-то вечером, когда близнецы были уже в постели, Мартина постучала к Лильке в комнату и позвала, заговорщически улыбаясь, присоединиться к ним в столовой.

— Давай! Пойдём! — тянула она за руку упирающуюся Лильку, которая отнекивалась и говорила, что устала и хочет пораньше лечь спать. — Я тебя познакомлю с потрясающими людьми — нашими друзьями. Гарантирую! Вечер будет для тебя интересным!

Лилька несмело вошла в комнату. Свет в гостиной был притушен. Горели только свечи — на столе и в толстых подсвечниках по обеим сторонам от креста. Окна были занавешены. Негромко, чтобы не нарушать таинственной атмосферы, играла восточная этномузыка. Витали пряные ароматы, напоминающие индийские специи.

...Лилька вспомнила, как они с девчонками бегали в только что открывшийся ин-

дийский магазин, чтобы поглазеть на всякие диковинки, кожаные яркие кошельки и сумки с нарисованными слонами и голыми до пояса танцовщицами. Единственное, что они могли купить там на свои накопленные деньги, — это источающие такой экзотический, сказочный аромат сандаловые палочки. Лилька прибежала тогда домой, зажгла палочку и закрыла глаза... Вот она уже плывёт, покачиваясь, сидя под балдахином на троне, в такт движению слона, одетая в розовое сари, с накинутым на волосы золотым полупрозрачным покрывалом, вся в сверкающих, бесчисленных драгоценных браслетах на ногах и на руках, и на лбу у неё круглое пятнышко — отметина касты.

— Что это ты жжёшь? Что за гадость ты нюхаешь?

Она задремала и вздрогнула от окрика. Слоны и платье исчезли, и с испугом она увидела склоняющееся над ней гневное, всё в красных пятнах лицо отца. В нос ударил запах спиртного.

— Что это, я тебя спрашиваю?

— Это индийские ароматы, — тряслась, зажмуриваясь и вдавливаясь в кресло, испуганная Лилька.

— Где ты взяла эту дрянь? — не унимался отец. — Выросла дочурка! Материна порода. Всё наряжаться, плясать, духами обливаться, нюхать всякую мерзость! Так и до наркотиков недалеко! — отец грозно придвинулся и навис над съёжившейся в кресле Лилькой. — А-а-а! Вот и твоя мамаша. Слышь, Ирэна! Твоя дочурка докатилась, наркотики уже нюхает!

— Перестань, Айвар! — мать только что пришла и с разбега, оценив ситуацию, но ещё ничего толком не поняв, подскочила и закрыла собой Лильку, отстранив мужа. Осмотрелась и, увидев импровизированную курильницу, поняла, из-за чего буря. Улыбнулась и, обняв, погладила по голове дочку. — Что ты говоришь! Это просто для хорошего воздуха в квартире. У Лиины такие же.

Лиина была соседкой и подругой жены. Своя. Эстонка. Отец поостыл.

— Да? Ну и ну... Придумают невесть что! А ты ей потакаешь!

И вот теперь она вновь ощутила аромат сандаловых палочек из детства. Звучала непривычная музыка пронзительного инструмента — не такого мелодичного, как эстонские гусли, каннеле, а, пожалуй, ближе к сямисэне[1] (позже Лилита узнала его название: ситар[2]), — будто поблизости, в роще, налетевший с моря ветер звенит в кронах пальм, играет в рыбацких снастях, скрипит дверью ветхой хижины. Усиливали звучание ситара разнотональные ритмические рисунки индийских барабанов табла и дуги, вводящие — то как бы трущими, то отскакивающими полыми звуками повторяющихся ритмов — в благостный транс. Восточная сладость благовоний, полутьма гостиной, пляшущие на стенах тени — всё придавало происходящему какую-то мистическую атмосферу, добавляя к предвкушению ещё неосознанного, неизвестного желание тоже принадлежать к этой всезаполняющей радости, к познанию новой Вселенной, потребность вечно слушать эту дивную музыку, казалось, извлекаемую из самой природы. Будто она всё это уже когда-то видела, но где?

Лилька заслушалась и не могла настроиться на общий разговор, занимающий всех в гостиной, но потом вспомнила, о чём уже узнала на лекции и прочитала в книжках, подложенных Мартиной к ней в комнату. А рядом с ней в это же время молодые люди, всё более разгорячаясь от выпитого странного напитка (похожего на горький лимон, но с добавленной и портящей вкус, приторной сладостью), который подливали и Лильке, заумно рассуждали об иных мирах, звездолётах. О бессмертных тэтанах, с вечной судьбой в бесконечности, которые существовали в многообразии других тел, предшествующих нынешнему. О так называемой реинкарнации, перерождении множество раз в иную астральную сущность. О чудесных последующих жизнях, которые у них ещё будут, если идти путём, указанным учителем. Говорили они об этом увлечённо, со знанием дела, вполне авторитетно, как о давно известной истине. Абсолютно серьёзно эти взрослые, занимающие определённое устойчивое положение в обществе люди рассуждали о Ксену, галактическом властелине, который высвободился со своими приверженцами из ловушки времени и теперь сеет хаос среди землян, шатает устои. Он является причиной падения морали и экологической катастрофы, кровопролитных войн, радиоактивного заражения Земли... Земле угрожает опасность!

«Какие-то легенды и мифы Древней Греции», — про себя думала Лилька, попивая напиток, который ей подливал Оливер, сослуживец хозяина дома, Свена. Всё это было так необычно! Так захватывающе, что хотелось во все эти мифы верить! Ей было немного не по себе, было отчего-то жарко. Ей показалось, что она пьянеет.

[1] Сямисэн (*япон.*) — трехструнный щипковый музыкальный инструмент с безладовым грифом и небольшим корпусом, общей длиной около 100 см. Наряду с бивой, кото и сякухати относится к важнейшим музыкальным инструментам Японии.

[2] Ситар — многострунный музыкальный инструмент, используемый для исполнения индийской классической музыки.

— Там алкоголь? — Лилька показала на коктейль.

Мартина отрицательно качнула головой и приставила палец к губам, чтобы Лилька не задавала глупых вопросов и не прерывала рассказчика, стоявшего в центре комнаты. Видно было, что все они относились к нему с необычайным почтением. Справедливости ради, надо сказать, что и вправду в незнакомце, появившемся незадолго до этого в комнате, казалось, ниоткуда и стоящем сейчас между двумя свечами под крестом, — а Лилька в это время была занята разговором с Оливером и не заметила его «материализации», — было нечто примечательное! Гордая посадка головы, львиная грива волос, проницательный, словно видящий тебя до дна души, взгляд! Чувствовалась в нём какая-то порода, сила: обаяние власти — как будто для него было обычным делом подчинять себе других и превращать в один сплошной слух! Это был тот самый лектор. «Бетховен!» — узнала Лилька. А говорил он отнюдь не глупые и очень интересные вещи:

— История сайентологии восходит к религиям синто[1], история которых насчитывает свыше 1400 лет. Наш учитель только осовременил некоторые обряды, создал ритуалы для исцеления души. Человек может достичь состояния «клир»[2], только освободившись от воздействия того, что мы называем реактивным умом. Это можно сравнить с состоянием сатори[3] или найкан[4] в буддизме. В некоторых религиях синто человек размышляет под руководством учителя о том, что он пережил в детстве или в прошлых жизнях, для того чтобы задуматься о пути, на котором он находится в настоящем...

Человек продолжал говорить, но Лилька напряглась, кровь ей ударила в голову, и дальше она плохо слышала. О своём детстве ей не хотелось рассказывать никому!

— Одитинг также можно описать как размышления о своём прошлом. Это даёт преклиру, клиенту, общающемуся с саентологическим консультантом — одитором, возможность анализировать и понимать текущее положение вещей...

Лилька услышала «одитинг» и вышла из состояния ступора.

— Но во время христианской исповеди человек так же обращается к своему прошлому? — подала голос Лилька.

Все посмотрели на неё с осуждением, как будто она сделала что-то ужасно неприличное, но лектор спокойно улыбнулся и продолжал:

— Да! Одитинг — это своеобразный обряд исповеди. Человек должен ознакомить со своим прошлым другого человека и исповедоваться. Результат одинаков в обеих религиях: совершенствование души и возрождение к жизни, — авторитетно заявил ей оратор.

— А Бог? — невольно вырвалось у Лильки. — Как может человек исповедоваться человеку? Он только проводник, через которого его слушает высшая сила, Господь?

Лектор, казалось, был теперь несколько раздражён тем, что с ним продолжают дискуссию и сбивают с мысли.

— Сайентология делает упор на совершенствование духовных возможностей самого человека, — терпеливо разъяснял лектор, оглядывая сидящих. — Вы, как я понимаю, ещё только хотите познать наше учение?

— А у вас есть Бог?

Все зашикали на Лильку.

— Человек сам и есть Бог! Конечная наша цель — умиротворить душу человека, чтобы он мог вернуться в состояние, подобное Богу. Человек через одитинг получает не только духовное просвещение, но и духовную сущность! — подытожил «Бетховен».

— А-а-а! — протянула Лилька, и было неясно, убедил ли её лектор. Повисла неловкая пауза. Неловкость снял сам профессор, поняв, что он, видимо, не достиг своей цели.

— А вы, фройляйн? Какие качества и способности вы хотели бы развить и улучшить в себе? Насколько хорошо вы понимаете саму себя? Есть ли у вас друзья? Каковы ваши жизненные цели?

— Я хочу поступить в университет! — выпалила Лилька, как будто у неё отнимали эту мечту.

— Похвально, похвально! — «Бетховен» снисходительно улыбнулся. — Получить

---

[1] Синтоизм, синто (*япон.* — путь богов) — традиционная религия в Японии. Основана на анимистических верованиях древних японцев.

[2] «Клир» (*англ.* clear — чистый) — так в сайентологии называется состояние или статус человека, который освобожден от пагубных последствий череды жизней, когда человек больше не расстраивается из-за когда-то случившегося с ним.

[3] Сатори (*санскр.* дхьяна; *япон.* дзэн) — в медитативной практике внутреннее персональное переживание опыта постижения (озарение) истинной природы (человека) через достижение «состояния одной мысли».

[4] Найкан (*япон.*) — метод рефлексии, разработанный Исином Ёсимото (1916-88), бизнесменом и приверженцем буддизма школы Дзёдо-синсю.

образование — это достойная цель. А потом?

— Я хочу иметь счастливую семью, доброго, умного мужа, большой дом. Много детей, и чтобы крахмальные скатерти в столовой.

— Ну, это понятно, — мягко остановил Лилькин «поток сознания» лектор. — А любовь? Вы хотите любить человека — вашего будущего мужа, которого, я в этом нисколько не сомневаюсь, вы встретите на своём жизненном пути?

— Любить? — Лилька задумалась. Она не очень понимала — что это такое? Любить? Быть вместе. Рядом. Уважать. Быть верной. — Да! Я хочу любить, разумеется. Конечно!

— Мне кажется, что вы больше хотите красивый дом? Нет? — лектор лукаво улыбнулся, вопросительно выгнув бровь.

— Ну и это тоже... — Лилька замолчала в смятении. Этот лектор её совсем запутал. — Я не знаю, что такое любовь, но ведь это придёт? — Лилька с надеждой посмотрела на человека с львиной гривой.

— Чтобы она пришла, нужно быть к ней готовой! Нужно работать над собой, познавать в первую очередь себя, расширять своё духовное пространство, развиваться, находить людей, близких тебе по духу! — всё это учитель говорил Лильке, как заблудшему, неразумному ребенку, и ей хотелось ему верить. Слушаться. Подчиняться. — Готовы ли вы к этому?

— Да, — еле слышно произнесла, как загипнотизированная, Лилька. «Бетховен» облегчённо вздохнул.

— Ну вот, милая моя... Поздравляю! Можно сказать, что вы прошли ваш первый одитинг!

За всё время этого диалога с лектором Лилька забыла, что она была не одна в комнате. Все как будто испарились из её сознания. Был только он — с мечущими молнии глазами, с властным, прямо-таки громоподобным голосом, который пробирал до дна души. У Лильки побежали мурашки. Она слышала только его, как заворожённая, не отрывала от него восхищённого взгляда. Он виделся ей каким-то сверхсуществом и будто сиял в отблесках горящих свечей, между которыми он стоял. Тут только Лилька осознала, что комната полна людей, и все улыбаются сердечно, обнимают и поздравляют её. Ей показалось, что все её любят, что все они — её друзья, и она не одна! И как хорошо быть вместе с ними, в этой компании! Лилька была готова поверить в этот момент во что угодно. Она благодарно принимала поздравления — и ей казалось, что это был самый лучший вечер в её жизни.

Проснулась Лилька в предрассветную рань. Птицы в туманном, ещё полутёмном саду за приоткрытым окном приноравливались загомонить, лениво перекликаясь, брали то слишком высоко, то низко. Лилька раздумывала над тем, что с ней вчера произошло. Перебирала минуту за минутой. Не шло у неё из головы то, о чём вещал оратор с львиной гривой. Сегодня это уже не вызывало в ней такого восхищения и экстаза. В голове сильно звенело. Надо спросить у Мартины — что это был за напиток, который они пили?

Лилька задумалась: человек исповедуется человеку. Пусть и более умудрённому, более чистому — «клиру», но как же Бог? Это никуда потом не идёт? Вспомнился Достоевский, слова Ивана Карамазова: «Если Бога нет, то всё позволено». Она закрыла глаза и представила их православную церковь в Тарту: маленький бедный приход, жидкий, благостно поющий церковный хор, которому подпевала немногочисленная паства. Она вспомнила, как приходила на исповедь к отцу Николаю, рассказывала ему горькие моменты детства: про пьяного отца, про полную отчаяния мать. Лилька зарылась лицом в подушку, слёзы текли струйками по щекам. Подушка-подружка... «Господи! Помилуй, меня, грешную!»

* * *

«Основной догмат сайентологии состоит в том, что мир обречён на уничтожение. Сайентологи утверждают, что Рон Хаббард разработал единственно возможный путь к спасению. Позвольте! А как же духовные пути, пройденные подвижниками христианства, оставленная ими мудрость? А глубоко почитаемые в православии святые, о которых она слышала на проповедях отца Николая: Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Спиридон Тримифунтский, блаженная Ксения Петербуржская?» — думала Лилька. Из искренних, проникающих в самую душу, безыскусных повествований священника она помнила о добродетелях любви, долготерпения, кротости, чистоты, молитвы, смирения, нестяжательства и многих других. Каждая из этих добродетелей и есть особенный путь к спасению!

«В дианетике же, — рассуждала сама с собой Лилька, — Хаббард описал «способ раскрытия неиспользуемых интеллектуальных способностей и гениальных возможностей человека». Он понимает человеческое здравомыслие как банк данных — то

единственное, что способно решить все проблемы, если обеспечено полной и правильной информацией. Работу сознания Хаббард рассматривает через функционирование двух частей: аналитического ума, ответственного за решение жизненных проблем, и реактивного ума, хранящего чувственные записи болезненных событий, инграмм (помехи на пути решения жизненных вопросов и причины психологических проблем). Целью дианетики является «удаление» инграмм. В результате «процесса очищения» предполагается появление индивидуума со сверхчеловеческими способностями, свободного от каких-либо физических и умственных расстройств, так называемого «клира»...

В последующие недели Лильку стали активно посвящать в тонкости сайентологии. «Уютные» вечера, обязательной составляющей которых были новые главы из «Дианетики» и восторженные фантастические повествования, походы в странную церковь, и ещё — все они регулярно проходили процедуру одитинга. Проводилась она при помощи электрического аппарата, называемого электропсихометр (или, иначе, Е-метр). Все в один голос расписывали непередаваемые ощущения освобождения, очищения, радостной лёгкости.

— А от чего чувствуешь освобождение? — пыталась поподробнее вызнать Лилька.

— С тобой работает одитор. Он на много уровней совершенствования личности превосходит тебя! Он задаёт тебе вопросы о твоей жизни, и ты, к удивлению своему, начинаешь вспоминать всё — вплоть до того, что ты чувствовала в минуту своего собственного рождения на свет!

— Как это возможно? — удивлялась Лилита.

— Ещё как возможно! Ты даже будешь рассказывать о других жизнях, о других сущностях, в которых ты жила. Может быть, ты была священником, или шаманом, или королевой, или мушкетёром, — и ты это вспомнишь!

Оливер немножко отстранился от Лильки, чтобы полюбоваться эффектом, который произведут его слова. Реакция девушки разочаровала его. Лилька неуверенно улыбнулась и попыталась сделать вид, что поверила во всю эту фантастику.

Сайентологи утверждали, что человек, продвигаясь всё выше, совершенствуясь духовно, если захочет, способен узнавать прошлое и провидеть будущее. В один из дней, когда дети были ещё в школе, они пили кофе с Мартиной, и вдруг та поставила два стула один напротив другого.

— Вот сядь напротив меня, — предложила она Лильке.

— Зачем?

— Сядь! — в голосе Мартины звучало нетерпение. Лилька села. — Закрой глаза, а я сяду напротив тебя. Попробуй почувствовать меня. Прочитать мои мысли, — они посидели. Лилька ничего не почувствовала. — А я знаю, что ты думаешь!

— Что? — взволнованно спросила девушка.

— Ты думаешь, что всё это бред, — натянуто рассмеялась Мартина, — Лилька покраснела. — Угадала? Но ты ошибаешься!

Мартина скептически поглядела на Лилиту так, что та съёжилась. Поняла, что Мартина недовольна. Взгляд её мелких, как семечки, близко посаженных глаз, ставший в одно мгновение жёстким, стальным, выдавал мысли хозяйки, а были они невесёлыми: «Сколько они ни бьются с этой эстонской деревенщиной, толку всё не выходит. Хитрющая девчонка ничему не верит и, наверное, втихую посмеивается над ними. Не так она проста, как на первый взгляд кажется. Они преждевременно зачислили её в новообращённые. Раскрылись перед ней. Профессор Орт, конечно, поработал с Лилитой, но это не произвело на неё должного впечатления, не убедило окончательно и бесповоротно! Пожалуй, её нельзя отпускать. Они уже достаточно рассказали ей. Надо ещё попытаться. А если не получится... Неужели Свен был прав? Надо попробовать одитинг. Добьются ли они этим ожидаемого результата?»

Мартина была вне себя! Лилька ускользала от них, как намыленная. Тем не менее хозяйка постаралась взять себя в руки и напустила вид умудрённой, доброжелательной, ни к чему не принуждающей подруги, широко смотрящей на вещи.

— Ладно. Сменим тему. У тебя сегодня ведь занятия? — Мартина почти проворковала эти слова приторным голосом, что не вязалось с холодным, несколько презрительным выражением её глаз... — Я тебя отвезу. Будь готова к шести.

— Спасибо.

Два раза в неделю Лилька ходила на подготовительные курсы в университет. В этот раз Мартина была особенно неразговорчива. Как только Лилька вышла из машины, она дала газ и улетела, не сказав ни слова.

— Ну как тебе твои? Не обижают? — спросила соседка по парте Лена, тоже няня.

— Да нет. Только своеобразные немного.

— А что такое? — заинтересовалась Лена. Лилита рассказала. — Ты что, с ума сошла? — ахнула Лена.

— Прошу тишины! — шикнула преподаватель.
— Тебе бежать от них надо! — шептала Лена ей в ухо.
— Почему? Они милые.
— Это же секта!

Лена где-то раздобыла и принесла Лильке книжку, в которой сайентология жёстко критиковалась и была прямо названа опасной сектой.

* * *

Лилька ехала в автобусе с близнецами на шахматные занятия, которые проходили в еврейском культурном центре. Обучал древней логической игре «потомков арийцев» старый еврей Лев Маркович — ветеран войны, полковник медицинской службы в отставке. По приглашению немецкого правительства он переехал на постоянное место жительства в Германию да ещё прихватил с собой зазнобу — хохотушку и первоклассную стряпуху (как большинство украинок), с которой он давно тихонько изменял своей — теперь уже покойной — жене. Они жили на одно его социальное пособие и были счастливы как никогда. Лев Маркович выигрывал все сколько-нибудь значимые шахматные турниры, проводившиеся в округе, и немцы уважительно писали о нём в газетах: «Наш соотечественник...» — хотя приехал он из далёкого солнечного Харькова и, разумеется, никаких в его роду этих самых «соотечественников» не водилось.

— Лилечка! Моё почтение! Садитесь, моя вы дорогая! — радушно приветствовал Лев Маркович.

Доброе слово и кошке приятно, а уж Лильке, находящейся в смятении чувств и мыслей, — и подавно! Лев Маркович был старый жуир и к тому же остроумнейший человек, который заговорит любого, — недаром украинская краса пала жертвой его обходительности. Он немного погонял детей по дебютным партиям, которые они должны были разучить дома. Потом посадил их играть друг с другом и направился к Лильке, устроившейся с книжкой в другом конце комнаты.

— Что с вами, ласточка моя? — он подсел к ней, словно почувствовал плохое настроение девушки. «Вот медиум! Ничего не утаишь! Сканирует!» — уважительно подумала Лилька. — Я дико извиняюсь, но что это у вас за книжечка? Наверное, любовный роман? — предположил в прошлом отлично владевший и этим видом спорта старый шахматист. Лилька показала. — Боже! Что это вы читаете? — Лев Маркович неодобрительно пожевал губами.

— Это такая религия, сай-ен-то-ло-гия, — по слогам, чтобы понятнее было пожилому человеку, произнесла Лилька.

Лев Маркович отличался энциклопедическими знаниями.

— С чего вдруг вас заинтересовала эта лабуда?

Лилька засмеялась облегчённо, услышав такой вердикт:

— Почему лабуда? Вы знаете что-то о них?

— Вы, конечно, можете спорить со старым Львом Марковичем, кричать, что я говорю сущую ерунду, но вы сильно удивитесь, деточка моя! Я всё ещё немножечко в уме, что бы вы себе там ни думали! Ещё бы мне их не знать! — Лев Маркович неодобрительно покачал головой. — Вам таки сильно повезло, что вы не понимаете как! Послушайте старого еврея! Этот Хаббард был ещё тот типус! — гроссмейстер начал рассказ, словно подступая к разбору шахматной партии и радуясь, что есть повод в очередной раз блеснуть эрудицией. — Он был писатель-фантаст. В подмётки Азимову, Кларку или Саймаку не годился, но за его еврейский ум я отвечаю! — Лилька вновь рассмеялась. — Да! Не смейтесь, душа моя! У него точно в роду были евреи. Писал он это, писал, а потом придумал, как из этого всего можно сделать деньги. И дело пошло...

Лильке, в её непонятной ситуации, было как бальзам на душу послушать умного человека, с врождённым чувством юмора, с особым, замешенным на мудрости тысячелетий (не зря же водил их по пустыне Моисей!), быстрым умом, с острым языком и необычным этим еврейским говорком. За шахматной доской тем временем между честолюбивыми учениками внезапно произошла рокировка. Послышались звуки оплеух, стук и треск, затем последовали пинки ногами.

— Кирстен! — обратился шахматист к «старшей» (на пять минут), как она сама о себе говорила. На том краю затихли. — Предупреждаю! За неспортивное поведение буду штрафовать! Пятьдесят пфеннигов за раз. Поняли? — проверил он.

— Всё ясно. Поняли! — раздалось с того конца. — А почему так много? — заныл Торстен, который всегда первый начинал ссору.

— Разговорчики в строю! — гаркнул Лев Маркович и озорно подмигнул Лильке. — Встречаются в Одессе давние знакомые: «Добренького утречка, Абрам Соломонович! Это ваши дети с вами?» Абрам Соломонович: «Тю! А где вы видите детей? Это ж разве дети? Это — сволочи!»

За две минуты Лилька совершенно забыла, что шахматисту за восемьдесят, что в

углу комнаты стояла клюшка, которую он при появлении молодой и очаровательной особы быстренько отставил в сторону. Глаза Льва Марковича горели! Это были глаза мальчишки. Когда он увлечённо рассказывал что-то, то немножко напоминал Эйнштейна, вот сейчас дурашливо высунет язык. Пожалуй, Лилька тоже могла бы пасть «жертвой» его красноречия — будь он чуть помоложе и не люби так вареники своей Оксаны Петровны.

— А мне нравится Брэдбери... — продолжила прерванный диалог Лилька.

— Ну, это в вас говорит женское, чувствительное. Брэдбери писал жалостливые и меланхолические романы-антиутопии о душе человека, об упадке цивилизации, в которой нельзя иметь и читать книги, о том, как красива наша Земля из космоса, когда ты летишь к ней и через мгновение сгоришь, и у тебя возникают вопросы: а что ты сделал хорошего на Земле, кому ты помог, кого ты любил?

— Я тоже люблю этот рассказ, — обрадовалась Лилька. — Точно не помню названия. «Время, вот твой полёт»? Нет. «Калейдоскоп», кажется... Это там космический корабль терпит крушение? Да? — Лилька вопросительно посмотрела на Льва Марковича, ожидая подтверждения, но её собеседник пребывал в глубокой задумчивости, устремив загадочный взор куда-то, видимо, размышляя, а может, перебирая в памяти что-то своё...

Лильке вспомнился этот, на её взгляд, один из самых сильных, до мурашек по коже в конце, рассказов Брэдбери: космонавт неумолимо приближался к Земле и в эти последние часы перед смертью размышлял, подводя итоги своего земного бытия. В сущности, он не сделал ничего хорошего в жизни, ничего стоящего, ничего... Если бы успеть! Если бы только сделать что-нибудь хорошее, доброе и знать, что сделал!

— Он думал только об одном — чтобы в этот последний миг кто-нибудь увидел его... Ах, как бы ему этого хотелось! И всё-таки его последняя молитва была услышана, — восторженно подытожила Лилька. — Помните? Как там было? Мальчик на просёлочной дороге увидел падающую звезду и загадал желание. Вы ведь про этот рассказ?

— Да. Время, время... — непонятно ответил и не ответил Лев Маркович, всё ещё продолжая думать о чём-то. Встрепенулся. — Нуте-с, о чём, бишь, я? Так вот, выкиньте этот вздор из вашей красивой головки! Ваше время не стоит придумок Хаббарда! Читайте хорошую фантастику, — он помедлил. — Они тоже жгли умные книги. И до чего, спрошу я вас, это их довело? До чего? — он грустно показал головой в сторону близнецов, режущихся в шахматы так, что то и дело звенел шахматный таймер. — Вы меня, конечно, спросите, как этот самый Хаббард, больной на всю голову проходимец, смог сделать всем другим много неприятностей? Деточка моя! Я вам, конечно же, отвечу. И я знаю, что я вам отвечу правду, а вы можете думать себе что хотите, — Лев Маркович на минуту замолчал, видимо, раздумывая, с чего начать свой рассказ. — Так вот... Он ещё ребёнком познакомился с неким Томпсоном, офицером медицинской службы США. Тот ездил в Вену к самому Фрейду учиться психоанализу. Знаете, что это такое? — перешёл, наконец, ближе к делу умудрённый не только шахматными хитросплетениями Лилькин собеседник.

— Да. На кушетке лежать и рассказывать.

— Ну да... И на кушетке тоже, — Лев Маркович помрачнел. — Но это самое приятное из всего. Человека подвергали гипнозу, и он во сне рассказывал тяжёлые, мучительные переживания из своей жизни. Это якобы помогало. Хаббард позже соорудил свой прибор, электропсихометр, и под гипнозом выведывал у своих адептов тайны, а потом использовал в своих целях. На каждого было заведено досье. Это началось, ещё когда он писал сценарии для Голливуда и насмотрелся на режиссёров-неврастеников и актрис с подвижной психикой, одержимых фобиями и маниями. От страха, что твоё время уходит и тебя больше не будут снимать, тоже, знаете ли, поедешь головой... Он им стал давать свои психологические наработки. Потом создал дианетику. Что-то всё-таки у него с мозгами было не в порядке. Его даже списали из армии, потому что он гонялся за подводной лодкой — кажется, японской, — которую никто не видел. Сказочник!.. Да, в фантазии ему определённо не откажешь! Ну, а дальше — больше. Аппетит приходит во время еды. Организация разрасталась. Фантазия Хаббарда сбоев не давала. Под каток его весьма своеобразного обаяния попадали влиятельные политики, бизнесмены. Он их убеждал с ходу. Может, потому, что сам верил в придуманную им вселенную? Собственная мания, подкреплённая изрядной толикой человеческих иллюзий, не раз играла с homo sapiens злую шутку. Так или иначе, Рон Хаббард и компания умело использовали мечты людей об идеальном обществе, страхи перед ядерной катастрофой, разобщённость, доверчивость, страстное желание новой, отвечающей на все вопросы веры, желание найти истину. Ничего нового — зато всегда работает. В общем, заварил кашу на весь мир. Он рано понял, что человеческим разумом можно манипулировать. Можно подчинить себе миллионы людей. Он создал организацию со строгой иерархией, с системой поощрений и наказаний. Было там много такого, что

тюрьма в сравнении с этим покажется вам домом отдыха. Много шантажа, запугиваний, самоубийств, тёмных историй. Говорят, Хаббард собственноручно застрелил на своём корабле девушку, да ещё издевался, называя это особым видом одитинга, очищения то бишь.

— Какой особый вид?

— Выход тэтана из тела! — Лев Маркович разволновался. — Он её просто застрелил, негодяй! Были у него трения с властями. Он купил старый корабль, заставил молодёжь очистить его от ржавчины, покрасить и стал колесить на нём по океану — онде гражданин мира — и читать свои «сумасшедшие» лекции на палубе под звёздным небом в океане! А, каков! Почему-то все неврастеники, такие как Гитлер, обладали феноменальными способностями долго держать аудиторию. Как под гипнозом. Не зря фюрер любил весь этот оккультизм. Было в Хаббарде всё-таки что-то садистское. Так вот, — Лев Маркович закинул ногу на ногу, заговорщически придвинулся поближе, готовясь поведать, видимо, что-то особенно интересное. — Я вам уже сказал, что во время службы в войну морским офицером он гонялся за несуществующей подводной лодкой?

— Как? — Лилька кивнула и посмотрела на шахматиста круглыми от удивления глазами, что его рассмешило.

— А вот так! Никакой лодки на самом деле не было. Судя по всему, он сам эту лодку и придумал, — Лев Маркович наслаждался, видя изумление Лильки. — Да... Тот ещё артист был. Так вот, на обратном пути он начал стрелять по острову, принадлежащему мексиканцам, в движущихся людей. Но они ведь были союзниками США! Почему он так поступил?! Уничтожил «условного» противника? Так развлекался? В общем, наверху поняли, что он неадекватный, и списали, — Лев Маркович посмотрел на Лильку с вселенской печалью. — Сколько он народа сбил с пути истинного, за то я молчу. Мама моя! И всё больше молодёжь. Вот как вы, золотце моё! Но они же верили, верили этому проходимцу с его приспешниками! — Лев Маркович в сердцах треснул кулаком по сухим коленкам. — Им нужны были души этих людей! Чистосердечные, жаждущие познания! А какое «знание», скажите мне на милость, могла дать эта больная голова? Человек человеку — волк? Кто не с нами — тот против нас? Опять деньги, деньги, деньги... Насчёт грошей, кстати, у него голова всегда исключительно работала. Вытрясал он адептов до последней полушки. Причём они «добровольно» всё несли в церковь сайентологов. А вот когда понимали, что это мошенничество, а попросту — обираловка, то многие хотели выйти из организации... — Лилька вся превратилась в слух. Руки и ноги у неё похолодели. — Людей увозили. Держали их где-то на безлюдных ранчо чуть ли не на цепи, били, люди отдавали все деньги в организацию, не смели слова сказать или воспротивиться. Им запрещали общаться с родителями, детьми, мужьями, если один член семьи выходил или не хотел вступать в организацию...

— А откуда вы так хорошо знаете о них? — удивилась Лилька.

— Да и у нас дураков было много. Увлекались. Один мой друг, священник, боролся с ними, собаку съел на этой секте, и я об этом всём много наслушался от него, — Лев Маркович задумался, вспоминая, наверное, что-то своё, может, и этого друга. — А теперь скажите, как всё это касается вас, девочка моя? Ну? Теперь ваша очередь рассказывать про вашего змея-искусителя, — Лилька молча кивнула в сторону близнецов. — Ясно, — смекнул Лев Маркович и выдал молниеносно: — Уходить вам надо от них. Есть куда?

— Пока ищу, — Лилька непонимающе пожала плечами. — Но как они, взрослые, образованные люди могут всему этому верить?

— Кто знает... — Лев Маркович пожевал губами. — Какие у них интересы? Может, они уже довольно высоко продвинулись и получают от своей деятельности деньги, им помогают преуспевать в карьере связи сайентологов? Организация ведь работает по всему миру. Не хочу сравнивать их с масонами. У тех тоже были благие намерения. А как известно, ими вымощена дорога в ад. Вы знаете, масоны во все века искали эликсир бессмертия, они хотели найти «живую воду» и жить вечно. Иллюзия, конечно. Чистая алхимия! Средство Макропулоса. Хотя — постойте... А может, и не совсем иллюзия. Недавно я услышал от одного знакомого ошеломительную до отвращения идею. Знаете, Лилечка, есть такое вещество — адренохром[1], продукт окисления адреналина. Так вот, я слышал, что по всему миру существует секта сатанистов-педофилов,

[1] Адренохром — полумифический наркотик. Популярность к нему пришла во второй половине XX века. Его упоминали в своих произведениях Хантер Томпсон, Олдос Хаксли и другие зарубежные писатели. Но вряд ли они могли его употреблять, потому что адренохром — продукт разложения адреналина. Он защищает организм от излишней кровопотери и улучшает свертываемость крови. Некоторое время ходили легенды о том, что адренохром используют голливудские звезды, отдающие бешеные деньги за дозу. Огромная цена обусловлена якобы тем, что ради синтеза наркотика мучали детей. Что, конечно же, неправда — во всяком случае, нет никаких доказательств этому.

которые убивают детей, предварительно мучая их, чтобы в крови выработалось большое количество адренохрома. В самый пиковый момент ужаса они убивают ребёнка и пьют его кровь. Говорят, что это наркотик — ещё похлеще героина и имеет омолаживающий эффект, — Лев Маркович усмехнулся. — Адренохром — это фантазии, конечно. Насколько я знаю, это вещество не запрещено и применяется в медицине. Но что-то во всём этом есть. Нет дыма без огня, — продолжал свой весьма интересный и нужный сейчас Лильке рассказ шахматист. — Ведь сектанты — психологически зависимые люди с надломленной психикой. Да и прибиваются туда, по большому счёту, всё-таки не совсем здоровые граждане, с разными врождёнными отклонениями. Адепты постоянно испытывают большое психическое напряжение, в том числе из-за каждодневного вранья самим себе. Всякие извращенцы-садисты и подобные им получают удовольствие от самого акта насилия. А сатанисты — и от совершения всех этих чудовищных действий, которые для непосвящённых находятся за гранью понимания, в том числе и от питья крови. Это уже просто клиника, психиатрия. Что касается мазохистов, то боль вызывает выброс определённых веществ типа эндорфинов, «гормонов счастья». Этим грешат и экстремалы: альпинисты, спортсмены-парашютисты. Возникает привыкание. Риск просто так — это, по-моему, тоже некое извращение. В сочетании с психологическим воздействием, всё как-то объединяется в одно. Приём этого вещества восстанавливает силы после угара оргий и всяких других излишеств. Так вот... Якобы в Африке и Южной Америке похищали маленьких детей для того, чтобы извлекать это вещество из их мозга. У детей чистая энергия.

— А дети? — в ужасе охнула Лилька.

— Что дети? Их умерщвляли, разумеется.

— Как фашисты? — догадалась Лилька.

— А кто вам сказал, что нацисты были первыми, а не позаимствовали это у древних, из разных восточных религий? Недаром фюрер посылал экспедицию на Тибет. Младенец — сакральная жертва для Бога, зато великий султан, царь, король, миллиардер, диктатор получит бессмертие. Одним ребёнком больше, одним меньше...

Лев Маркович замолчал.

— А слезинка ребёнка? — Лилька укоризненно взглянула на шахматиста. Что он говорит? — Гений и злодейство несовместны. Для бессмертия такая цена слишком высока! Безнравственна! Зачем оно тогда нужно? — ужаснулась она.

— Для получения бессмертия никакая цена не высока, — печально изрёк Лев Маркович и с сожалением посмотрел на Лильку. — Вы этого ещё не понимаете, — он улыбнулся снисходительно. — Как вы ещё юны и как наивны! — он похлопал великодушно Лильку по руке. — Впрочем, так и надо! Не слушайте меня, старого греховодника. Все старики — трусливы. Поверьте мне на слово! Никому не хочется умирать. Поэтому перспектива помечтать о бессмертии, даже ценой убийства младенцев, смутит многих, — Лилька с ужасом посмотрела на него. Он шутит? Разве можно превращать смерть в предмет шуток? — Я имею в виду людей непомерно богатых, властителей мира, не отягощённых, как мы с вами, нравственным императивом Канта. У них есть всё! Единственное, чем они ещё не владеют, — это прерогативой жить вечно. Не для человечества же они стараются?

— А зачем вы мне это всё рассказываете? Как это связано с сайентологией?

— Ах да, простите старика. Деменция, — Лев Маркович многозначительно посмотрел Лильке прямо в глаза и отчётливо, словно желая запечатлеть это в её памяти, произнёс: — Время от времени в прессе появляются факты, рассказы очевидцев о том, что сайентологи замешаны в этих скандалах. Разумеется, бессмертие не предполагается для рядовых членов, а только для правящей верхушки. Потом кто-то эти скандалы быстро заминает. Они быстро сходят на нет. Но каково послевкусие? А?

— А у Хаббарда у самого есть дети?

— Сын покончил самоубийством.

— Ой! Да вы что?!..

— Да, да, милая моя! Таких Бог наказывает!

— А вы верующий, простите? — неожиданно поинтересовалась Лилька.

— Не извиняйтесь, душа моя! — Лев Маркович хмыкнул радостно, стукнув себя легонько по голове (как Архимед, который воскликнул: «Эврика!»), и потёр лоб — видимо, припоминая что-то ужасно смешное. — Есть такой бородатый еврейский анекдот. Учительница говорит детям: «Дети! Кричите в небо: «Бога нет!» И видит, что мальчик-еврей стоит молча. Она ему: «Почему ты молчишь?» А он отвечает: «Если там никого нет, то зачем кричать? А если там кто-то есть, то зачем портить отношения?..» — шахматист посмотрел на хохочущую Лильку, довольный произведённым эффектом. — Конечно, верующий! А как можно не верить? Ведь чем старше мы становимся, тем большую ценность представляет для нас Бог. Скоро уж туда.

— Перестаньте, Лев Маркович!

— Вы сейчас не задумываетесь, милая моя! Вам представляется всё это ужасно далёким! В молодости кажется, что мы вечны и жизнь никогда не кончится, но поверьте мне, вы и не заметите, как и она пролетит, словно одно мгновение, и вас будут занимать эти вопросы, как бы предстать перед Господом, ну, скажем, в не совсем уж неприглядном виде, и советую вам готовиться к этому уже с молодых лет. Правильно жить, не делать другим зла. А этот Хаббард сейчас в восьмом круге ада! Во всяком случае, очень на это надеюсь! Есть такой специальный круг — для таких, как он.

— А что же с ним в конце концов произошло?

— Умер, по-моему, от инсульта, но они представляют его живым и отчитываются перед его фотографией. Считают, что он просто сейчас в другой сущности. Но уверен, что и там он наделает дел! — вдруг они услышали победный визг. — Ай, молодца! Выиграла?! — Лев Маркович, хлопнув себя рукой по колену, поднялся, одернул старенькие брюки, и пошёл к близнецам, потянув себя сзади за полы фланелевой жилетки, чтобы выпрямиться. Чем-то он сейчас ей напомнил Зиновия Гердта. Наверное, все старые и мудрые евреи похожи на Гердта. — Ну-ка, ну-ка, посмотрим!

Лилька не умела играть в шахматы. А неплохо было бы в её ситуации уметь просчитывать ходы.

* * *

«Много шума наделал опубликованный в Австралии в 1965 году доклад Андерсона с результатами расследования деятельности сайентологов. В докладе, в частности, утверждалось, что одитинг включает в себя «командный» гипноз, при котором гипнотизёр получает контроль над пациентом. Особо отмечались многочисленные случаи нанесения тяжкого вреда здоровью пациентов вплоть до летальных исходов, случаи тяжёлого психического расстройства, доходящего до суицида. Стали известны новые истории самоубийств, связанные с разочарованием в сайентологии или с преследованием со стороны сайентологов[1]. В ноябре 1959 года в Мельбурне на лекции «Ответственность создания» Хаббард назвал R2-45[2] особенным видом одитинга и одним из самых эффективных методов «экстериоризации» (выход тэтана из тела). Позднее было заявлено, что Хаббард якобы так пошутил»...

Лилька в очередной раз ехала с близнецами куда-то на занятия. Она старалась побыстрее прочитать принесённую Леной книгу, обернула её бумагой, чтобы название не видели дети, и быстро впивалась в книжку глазами при каждой свободной минутке.

— Что ты читаешь? — требовательно и подозрительно спросила Кирстен. — Мы опять чуть не проехали остановку!

Дети были настоящими соглядатаями. Лилька замечала не раз, что о её разговорах с детьми на следующий день узнавала Мартина. Тотальная слежка и наблюдение.

«Сьюзен Майстер погибла на борту сайентологического корабля «Аполло» от пулевого ранения в голову — по словам сайентологов, она застрелилась, однако дальнейшее полицейское расследование установило, что она была убита. Критики связывают её смерть с сайентологическим ритуалом «R2-45». Незадолго до смерти Сьюзен писала домой письма, полные энтузиазма»...

Дочитав до этого места, Лилька вспомнила рассказ шахматиста и почувствовала, как в этот тёплый солнечный день её начал пробирать озноб — даже внутри защипало, — будто она проглотила глыбу льда и вся покрылось «гусиной кожей» от страха. Что за ритуал? «Может, меня тоже готовят как ритуальную жертву?»

Надо было думать, как уносить ноги. Хотя... Мартина так описывала ей прелести одитинга, благотворного влияния электропсихометра: освобождение от мыслей и переживаний прошлого, очищение, облегчение после него. Да и ей было некуда деваться, она согласилась, был уже назначен день. От природы будучи любопытной, Лилька решила всё-таки под занавес сходить «очиститься». «Ну не убьют же они меня до одитинга? — резонно думала Лилька. — Поджарят, как каннибалы, и съедят?»

---

[1] См. документальный фильм «Наваждение» (США, 2015). Фильм исследует тайную кухню одной из самых богатых и влиятельных организаций мира — так называемой «Церкви Сайентологии». Документальный триллер переворачивает представления зрителя о возможностях современных сект и о том, как далеко они способны зайти в стремлении защитить свои деньги и власть. Фильм проливает свет на засекреченные стороны жизни Тома Круза и Джона Траволты, ставших «звездными лицами» сайентологии, и основан на ошеломляющих показаниях бывших top-менеджеров организации, которые долгие годы были вынуждены молчать о происходящем за ее стенами. Шокирующее расследование оскароносца Алекса Гибни, одного из величайших документалистов современности, снято по бестселлеру пулитцеровского лауреата Лоуренса Райта.

[2] R2-45 — особенный вид «одитинга», представляющий собой ритуальное убийство, совершаемое сайентологами из «кольта» 45 калибра, посредством выстрела в голову. Хаббард писал, что это «чрезвычайно эффективный процесс экстериоризации, но его использование... порицается обществом».

Глава III. VOX HUMANA[1]

Незадолго до побега от Нойманнов она всё-таки познала все «прелести» одитинга. Одитор, лысоватый немец, похожий на крысу, бесцветный, как альбинос, посадил её напротив себя и впился в неё своими глазками-бусинками. Она увидела аппарат со шкалой и стрелкой: «Вот этот пресловутый Е-метр». В ней происходило в этот момент самое настоящее раздвоение личности. Несмотря на её скепсис, одна её часть — наверное, «та самая», реактивная, — ждала от чудного приспособления чуда! Она с большой надеждой смотрела на странный прибор, но в ней ничего не происходило. Да ещё лезли в голову какие-то посторонние мысли — неуместные, приземлённые... Ей что-то дали в руки. «Похоже на банки от консервированной фасоли», — подумала она и вспомнила, как уплетали близнецы за обе щёки чили кон карне[2] с красной фасолью из этих банок. От несуразности мыслей никак не удавалось сосредоточиться и настроиться на серьёзный лад. Первый раз всё-таки... А вдруг и вправду случится чудо, и она выйдет отсюда другим человеком: просветлённым, понимающим о себе и о мире нечто большее, чем все окружающие люди? Превратится в божественную сущность?! Откроются двери, оттуда хлынет неземной свет, и — она уйдёт в него, как Христос, оглянувшись и улыбнувшись на прощание миру!

От аппарата тянулись кабели, они соединяли банки с самим аппаратом. Одитор стал спрашивать о событиях из её жизни. Вопросы были нацеленные, как будто о ней уже что-то знали заранее. «Мартина?» — догадалась Лилька: она кое в чём открылась Мартине вначале. Лилька была как в полусне, и одновременно ей было страшно. Волосы шевелились на голове. «Может, это от тока?» — затравленно спросила она себя и внутренне вся похолодела от охватившего её ужаса. Голос одитора звучал как голос металлического робота, фонил и раздваивался, как и его отвратительная крысиная физиономия. Вместо просветления и очищения, как обещала Мартина, она почувствовала отвращение к себе самой и стыд от своей беспомощности, сознание того, что её обманывают мошенники, пытаются подавить её волю, подчинить её разум своим бредовым идеям! Она физически ощущала, как они копошатся в её мозгу, бурят всё глубже и глубже. Она чувствовала дурноту. Состояние тошноты всё ухудшалось, как будто она перекаталась на каруселях, — и вдруг кружение кончилось, карусель остановилась, и нужно опять твёрдо встать на ноги, — но земля почему-то всё уходит из-под ног, мир кренится и заваливается набок.

Лилька не помнила, как сползала, крепко цепляясь за перила, по лестнице на отказывающихся слушаться ногах, ставших словно чужими, на солнечную, полную голосов и жизни улицу. Мартина встревоженно открыла ей дверцу машины.

— Ну что? Как ты себя чувствуешь? Ты чувствуешь очищение? — её голос тоже фонил и двоился.

Лилька еле успела отбежать — и её фонтаном вырвало. И пока с ней это происходило, она увидела — каким-то другим взглядом — муравейчиков, ползущих куда-то в спутанной притоптанной придорожной траве, с зелёными свечками подорожника по краям; солнечный зайчик перебегал по ним, то исчезая, то вновь появляясь. Казалось, что он с удовольствием участвовал в этой игре света и теней — переплетении солнечных бликов от колышущейся на ветру листвы ближайшего дерева.

«Как хорошо жить! Как чудесно! Почему я всего этого раньше не замечала? Когда я убегу от них, я буду сидеть в парке и смотреть, смотреть... А потом у меня будет семья, чудесный дом, крахмальные скатерти... Бежать! Бежать!»

Но куда? Побег надо было ещё устроить. Ей было негде жить, у неё не было никаких прав в этой стране. Её депортируют в два счёта, а как же её мечта?! Первая ступень к счастью — поступить в университет! Надо что-то придумать, но что?

Через пару дней она поехала с близнецами на концерт. Музыкальная школа, где они учились, распространила билеты на благотворительный концерт органной музыки. Завершилась долгая реставрация старинного органа. Существовала легенда, что на нём играл сам Бах. Ожидалось, что приедет известный органист. Концерт должен был состояться в церкви Святого Иоанна. Хозяевам эта идея не понравилась, но отказаться не представлялось возможным.

Лилька слышала, как переругивались Мартина и Свен:

— Они же не в церковь идут, а на концерт!

— Всё равно! Как ты могла допустить? — шипел трусоватый Свен.

— Что ты вечно всего опасаешься! — огрызалась более рисковая Мартина.

---

[1] Vox humana (*лат.*) — человеческий голос.

[2] Чили кон карне — блюдо мексиканско-техасской кухни с красной фасолью. Название взято из испанского языка и означает буквально «жгучий перец с мясом».

«Наверное, им не рекомендуется заходить в обычную церковь? — усмехнулась Лилька. — Почему вначале сколько-нибудь интересные идеи превращаются потом в тюремное заключение для адептов? Шаг вправо, шаг влево приравнивается к побегу...»

Они пришли рано, церковь была почти пуста. Поговорили с женщиной в инвалидной коляске, которая сидела на входе. Она протянула им программки. Женщина была весёлая, в белой шляпке с фиалками, ноги накрыты белым вязаным ажурным пледом. Глаза её лучились, и Лилька почувствовала доброту. Ту самую, человеческую, идущую из сердца. Почему? Ведь эта женщина обделена Богом. Она не может ходить. Не может бежать по лесу, по полям и — задыхаясь от радости, от ветра и бега — упасть в травы и вдыхать небо... Почему же в ней так много доброты, во всем её облике такая благость, такая любовь к людям? Почему?

Дети побежали в первый ряд. Церковная прохлада — какая-то особенная, ладанная, с хладностью прожилок зеленоватого мрамора, пахнущая старым деревом расписанных фигур святых, лаком старинной кафедры и скамеек красного дерева, кожей святых книг и перевёрнутыми страницами миллион раз прочитанных текстов молитв и псалмов, благостно пропетых прихожанами на службах. Запах этот чем-то напоминал запах старой библиотеки. Он плавно смешивался с вербенно-сладковатым ароматом воска и дымком отгоревших свечей. Перед ними никого не было. Только алтарь. Кафедра слева. В середине распятие, белые лилии в вазах. По бокам статуи Христа и Девы Марии, Иоанна, святых апостолов. Был уже вечер, и церковь была освещена, но ещё не догорело солнце в огромном готическом окне, взметнувшемся за алтарём, как приглашение взлететь, как вход в другой мир — туда, на небеса! Может быть, эта игра естественного и электрического света была причиной этого странного эффекта движения — и нарисованные на куполе взлетающие фигуры как бы ожили и начали своё кружение вверх. Лилька запрокинула голову. От странного этого полёта по спирали — вознесения тел в развевающихся пурпурно-голубых одеяниях — у Лильки закружилась голова, и она зажмурилась, пытаясь отогнать видение, но оно не исчезало. И всё уносились вверх ангелы, и всё возносились дивно выписанные лики и руки, и всё движение тел было подчинено одному устремлению, одному порыву — к уже тронутым отблесками первых лучей, зардевшимся облакам, мерцающим и переливающимся всполохами откуда-то изнутри и, казалось, растворяющимся в ослепительной золотой дымке, вдруг вспыхивающей под самым куполом неземным святым светом! Там был Бог!

Церковь постепенно заполнялась. Близнецы узнавали одноклассников. Лилька кивала родителям.

— Это наша няня! — показывали на Лильку близнецы.

Начался концерт. Орган был сзади, и Лилька едва увидела мелькнувшего среди блестящих труб, казалось, совсем маленького человечка. Moderatorin[1] — сухонькая седовласая женщина в строгом костюме, чуть переливающемся искорками, — звучно стала рассказывать о произведении Баха, включенном в программу:

— Произведение предположительно написано Бахом во время его пребывания в Арнштадте в период между 1703 и 1707 годами... — она вдруг заторопилась, тревожно оглянувшись, видимо, ей подали сигнал.

Лилька очень любила классику, особенно Генделя и Баха, именно хорал — церковную, в сущности, музыку. Надо сказать, что началось это отчасти вынужденно. Она часто слушала по приёмнику «Рига», купленному отцом, классические концерты. С раннего детства. Когда ей было четыре года, её нередко оставляли одну (в детском саду для неё ещё не было места), и мама, уходя, включала приёмник, настраивая на музыкальную волну. Лилька часами слушала концерты и симфонии, и сейчас часто без труда узнавала музыку. И потом дома, придя из школы и сняв надоевший чёрный фартук и колючее форменное платье, она включала приёмник и незаметно улетала в параллельную реальность — кружилась в вальсах Штрауса, грациозно склонялась в менуэте. Ах, вот это была жизнь! Под музыку она делала уроки и читала книги. А иногда наряжалась, надевала мамины туфли и вытаскивала из горки чашку от сервиза, старинного, оставленного ещё прабабушкой. Им никогда не пользовались, но Лилька наливала чая в эту чашку и садилась около трельяжа. Она пила из тонкой чашечки — такой тонкой, что та светилась изнутри на просвет и была похожа на полузакрытый тюльпанный цветок, — и наблюдала за своим отражением в зеркале. Разыгрывала сценки, невольно представляя себя принцессой и подмечая, какая поза, движение руки, поворот головы или улыбка ей больше подходят, удаются. Отец, приходя, ругался: она всегда сбивала его программу таллинского радио.

Так, она ещё с детства очень полюбила полифонические произведения Баха —

[1] Moderatorin (*нем.*) — ведущая.

«хорошо темперированный клавир», прелюдии, фуги, органные композиции. Как же, должно быть, это сложно играть! Лилька поражалась виртуозности музыкантов, сумевших передать эту божественную гармонию — голос человека, молящего, взывающего к Богу! Лилька пыталась посчитать голоса, проследить, иногда получалось, она садилась и забывалась у приёмника, растопырив пальцы: вот один, вот второй, третий... Ой! Четвёртый!

У неё был очень хороший слух, и она с лёту схватывала мелодию (ей даже удавались диковинные и сложные в мелодике старинные эстонские песни из «Калевипоэга»[1]). Часто она слушала так часами — голоса сплетались и расплетались, сходились и расходились, и вместе с ними Лилька то взмывала в небеса, левитировала, воспаряла, то низвергалась в бездну переживаний. Голоса страдали, и она страдала. Она их понимала. Она вся была в этот момент Человеческий Голос!

Ещё во втором классе Лилита увидела воочию орган в Риге. В тот год на осенних каникулах они ездили к родственникам. Тётя Вильма, двоюродная сестра отца, повела её на концерт. Она впервые вживую слушала орган. Лилька была поражена низким, плотным голосом органа. Он овладевал всем её нутром, заставляя каждую клеточку тела трепетать и откликаться на эти доныне неведомые, волнующие, а порой и приводящие все её чувства в смятение вибрации. Это был Бах. Сначала от таких мощных звуков, льющихся откуда-то сверху, она испугалась, но потом сидела тихо, не шелохнувшись весь концерт, с каким-то потусторонним выражением лица, на котором читалось неземное блаженство. Тётя Вильма время от времени пихала её локтем: «Да дышит ли она?» Наклонялась к ней озадаченно:

— С тобой всё в порядке?

Лилите казалось, что с ней говорит сам Господь Бог, и она его понимала! Всю ночь после концерта она так и не уснула.

— Ирэна! Какая у тебя впечатлительная девочка! Как ангел! Я думала, что на концерте она упадёт в обморок!

— Я сама испугалась, Вильма! Она до сих пор не спит!

Мать тревожно шла проверить, укрывала Лильку, и та делала вид, что уснула, но голова её была полна звуками неземной музыки. А её детская душа потрясена этим vox humana — человеческим голосом органа. Он был похож и на стенания человека, на жалобы, плач, мольбы! Как будто весь человеческий род молил о прощении Господа, как будто её мама молила, чтобы папа перестал пить. Лилька так хотела, чтобы он превратился в такого доброго, любящего их отца, как в том старом фильме, где все были счастливы! Она верила, что Господь слышал в облаках и улыбался, и прощал, и благословлял весь род человеческий!

Сейчас Лилька не позволяла себе часто слушать эту музыку. Повзрослев, она разрешала себе эту радость лишь иногда, настроившись — в особых случаях. Сильное волнение охватывало её: душа болела, страдала о невозможном, о том, как это божественно, и почему она — Лилька — не обладает хоть малой толикой этой энергетики, почему человек несовершенен. Смирение в эти моменты покидало её.

— Итак, — торжественно произнесла модераторин, — Иоганн Себастьян Бах. Токката и фуга ре минор для органа, — объявив, она почти побежала, стуча каблучками, в сторону боковой скамейки.

Мордент[2] накрыл её, ещё откидывающую сиденье, — и церковь вздрогнула, как от подземного толчка! Грандиозность мордента и величие вступления заставили Лильку замереть, как кролика, от чудесной, почти непереносимой муки! Всё внутри неё сжалось и похолодело. На мгновение возникло такое чувство, что скоростной лифт быстро падает вниз, и кажется, что и ты летишь туда же с головокружительной скоростью! И кто-то — там, в этой математически выверенной гармонии стройного, упорядоченного полёта звуков, — прорывался, вопреки всему, за пределы мирозданья, падал, одержимый демонами, поднимался вновь, спорил с кем-то, доказывал своё право называться созданием Божьим, человеком! Быстрота аллегро[3] — несущегося к неизвестной своей судьбе человека — обрывается незавершённостью, незаконченностью. Это ещё не финал. Адажио[4] переходит в умопомрачительную полифонию звуков, мелодических фигураций.

---

[1] «Калевипоэг» — национальный эпос эстонцев — поэма о богатыре Калевипоэге. Оформился во второй половине XIX века, и честь его создания принадлежит крупному культурному деятелю Эстонии, поэту, фольклористу Фридриху Рейнгольду Крейцвальду (1803-82).

[2] Мордент (*итал.* mordente - кусающий, острый) — мелодическое украшение, означающее чередование основного звука со вспомогательным. Все мордренты исполняются за счет длительности основной ноты.

[3] Аллегро (*итал.* allegro) — часть произведения, которая играется в быстром темпе.

[4] Адажио (*итал.* adagio) — музыкальный термин, означающий «медленно, протяжно». Музыкальное произведение, часть его, которая играется в таком темпе.

Будто нерасторжимо, незыблемо переплетённые лианы в девственных лесах Амазонии, голоса вдруг, подчиняясь одному, слышимому только им магическому зову — приказу, пришедшему из вечности, — в какую-то секунду начинают раскручивать назад, казалось бы, неразрывную спираль этого дивного ДНК из нот, — и вот начинаешь различать собственную тему каждого, их точку отрыва. Вначале их такое множество, что трудно проследить, но затем они разделяются — каждый пошёл своей дорогой, но ещё оборачивается — стретта[1] накладывает их один на другой, они перекликаются, одна тема не заканчивается, а перетекает в другую, полифонирует, отражается, аукает, спорит с ней, ещё медлит: разойтись или нет? А потом и сама не отпускает, удерживает третью тему, а та — следующую. Может вернуться или отпустить, но уже невозможно противиться нарастающему приближению новой темы — в вихре расходящихся гармоний, улетающих, затягиваемых в воронку звуков, полемизирующих друг с другом мелодических тем — каждый голос зовёт, уводит за собой в неизвестность. А вдруг там — блаженство? Рай? Бог?

Они уносятся в параллельную тональность, возвращаются в исходную, как будто что-то ищут и не находят. Будто пытаются оторваться, но уже решившись, всё же оборачиваются, не в силах уйти! Что там, впереди? Пугает ещё что-то незнаемое, а вдруг по той дороге ждут несчастья и смерть? И всё же в споре с судьбой каждый из голосов по-своему побеждает, доказывает, находит всё новые краски созвучий, гармоний, звенящие нити мелодики и новые аргументы, прозревает, наконец, каждый в своих муках — истинный путь. Иногда это возвращение к началу, к истокам, к корням. Кода[2] напоминает — с чего началось. Обобщает. Импровизация даст фору драйвовым джазовым изыскам. Каденция[3]... Всё...

«Как мог так услышать, написать и постичь это Бах, придворный органист, тихий профессионал, всё время работающий на хозяина, отягощённый многочисленными детьми, хозяйственными заботами и вечной нехваткой денег? Как? Хотя, конечно... Он верил! Вот ответ. На самом деле он работал для Бога, для вечности... Что такое человек перед вечностью? Маленькая песчинка, пыль мироздания! На краткий момент пробуждаемся мы к жизни и исчезаем, но куда? Становимся снова звёздной пылью? Никто этого не знает, никто оттуда не возвращался! Бойся зла в твоей жизни, страшись роковой судьбы, лавируй, обходи, кружи вокруг комнаты, где исполняются все желания. К ней ведёт длинный путь, и ведёт тебя сталкер, и мелькают летящие белые ленты бинтов, привязанных к гайкам, отмечая место, куда надо перебежать. К счастью нет короткой дороги»...

— Бах. Хоральная прелюдия фа минор, — вскочила со скамейки и звучно прокричала ведущая.

Лилька закрыла глаза, и замелькали кадры: земные травы, колыхаемые течением реки, Хари и Крис, летящие в невесомости, где-то там — в космосе, на планете-океане Солярис, который аккумулировал в себе божественную субстанцию: власть, волю и способность воздействовать на сознание человека, возбуждать в нём чувство вины, муки совести — и отпускал его только тогда, когда тот осознал, переболел и изменился навсегда. Зимний пейзаж Питера Брейгеля Младшего и эта музыка...

«Бах был гений. Тарковский тоже. Где они сейчас?»

Глава IV. ЖЕНСКИЙ ДОМ

Как убежать из «благополучной семьи» — это было ещё полдела. А вот куда? Помогла опять Лена. Она привела Лильку в социальную католическую службу, к соцработнику-психологу. Немка — худенькая, маленькая, с короткой стрижкой под мальчика, в неприметных брюках цвета хаки и военных ботинках — приветливо протянула руку:

— Илона!

Лилька села и нерешительно посмотрела на Лену.

— Говори всё как на духу! — разрешила Лена. И Лилька рассказала всё. В продолжение рассказа женщина несколько раз менялась в лице, всё время записывала что-то. Потом звонила куда-то, консультировалась с адвокатами, с полицейскими. Уяснив для себя, наконец, всю ситуацию, она улыбнулась по-доброму и, видя подавленность Лильки, взяла её руку, накрыв своей тонкой ручкой.

— Всё будет хорошо. Мы найдём вам новых поручителей. Вы поступите в универ-

[1] Стретта (*итал.* stringere — сжимать) — имитирующий тему голос вступает до того, как она закончилась в предыдущем голосе, и отдельные части темы звучат одновременно в разных голосах.
[2] Кода (*итал.* coda — хвост, конец, шлейф) — дополнительный раздел, пассаж заключительной части, являющийся послесловием, выводом, развязкой и обобщением тем, развитых в разработке.
[3] Каденция (*лат.* cadens — падающий, оканчивающийся) — типовой завершающий гармонический или мелодический оборот в старинной модальной музыке XI-XVI вв.

ситет, а пока поживёте у нас.

— Где у вас?

— В Женском доме! Это дом для женщин, находящихся в опасности. Там вас никто не найдёт.

Вскоре Лилька от сайентологов сбежала.

Надо сказать, что в Германии — в этом распиаренном самими немцами «социальном раю», куда стремятся беженцы и любители пожить за чужой счёт со всего мира, были в избытке, фигурально выражаясь, свои «погремушки», то есть недостатки. Принято считать, что это очень комфортная для проживания страна, но эта аксиома весьма спорна. Обязанность принимать по закону своей страны всех беженцев расходилась с тайным нежеланием немцев посадить себе на шею таких «соотечественников», но угрожающая демографическая ситуация в Германии, где к сорока годам еле рожают по ребёнку, вынуждала искать возможности восполнить извне потребности в свежей крови и рабочей силе. Все эти предприимчивые поляки и румыны, подвизающиеся на строительных площадках по всей Германии, там же и умыкающие при случае всё, что плохо лежит, стоит и висит, и нигде не числящиеся, так что спрашивать по факту не с кого; турецкие курды, пооткрывавшие свои забегаловки с дёнер-кебабами; афганцы, вообще непонятно как и на что живущие, кроме социального вспомоществования, работающие на кухне у тех же турок, пекущие пиццу у итальянцев и потом спускающие «заработанное непосильным трудом» в игровых автоматах; любители попытать счастья со всего мира; русские немцы, которых называют «русаками» местные немцы и они сами себя; евреи с Украины и из обеих столиц, которые, как ртуть, пытаются принять форму и даже облик немцев, так сказать — отгадать идентификационный код новой «родины», хотя это у них ни фига не получается, — вся эта разношёрстная компания совершенно не имела ни к немцам, ни к их жизни никакого отношения. «Мульти-культи» не вышло. Немцы тщились стереть из памяти людской воспоминания о Третьем Рейхе либеральными и милостивыми принципами «гостеприимства», прописанными в Grundgesetz BRD[1]. Получилось... как получилось.

Немецкий менталитет отторгал всех с непреодолимым упорством, скрывая в себе некий «синдром нибелунгов»[2]. Генетическая нелюбовь к тем, кто хоть одну букву произносит недостаточно по-немецки, объединяла всех Deutsche[3]. Как говорится, у вас своя свадьба, а у нас своя. Новоиспечённые соотечественники отвечали тем же. Страну пучило от ненависти и параллельности существования, жили, как на пороховой бочке, и в один прекрасный момент всё могло взорваться к чёртовой матери, чего, надо сказать, все «недонемцы», пользующиеся разнообразными благами «социального рая», своим «благодетелям» втайне и желали.

Женский дом, куда попала Лилька, был копией мультикультурной Германии в миниатюре. Похвальная во всех отношениях идея дать женщине, страдающей от домашнего насилия, убежище и возможность начать жизнь заново на практике приобретала не столь идеальный вид... Немецкая благотворительность, выглядя подачками с «барского» плеча, вскрывала разобщение немцев и «остальных» в подлунном мире, проблематичность попыток вообще сохранить себя личностью в этой самой Deutschland, не скатиться к роли просителя, обивающего пороги Deutsche Behörden und Ämter[4]. От унижения и отчаяния, постепенно наглея и глупея, зверея и не находя выхода, многие в конце концов превращались в бессовестных попрошаек вроде цыган из вокзального табора или аферистов, проявляющих чудеса актёрского таланта и изобретательности в обмане этих ненавистных «амтов» с «бехёрдами». Через несколько месяцев чужеземные «гости» уже знали назубок все нужные параграфы законов социального права и все трюки, как таковые обойти и всех объегорить. Эту бы энергию — да в «мирных» целях!

В Доме было два этажа. На каждом — по четыре комнаты и кухня, душ, туалет и

---

[1] Grundgesetz BRD (Основной закон Федеративной Республики Германия) — конституция Германии, в которой закреплены основы правовой и политической системы страны. Основной закон был принят в 1949 году в качестве закона, временно заменяющего конституцию на территории западных оккупационных зон, и затем продолжил свое действие в ФРГ, а с 1990 года является полноценной конституцией объединенной Германии. Особое значение в Основном законе страны, пережившей опыт национал-социализма, приобрели основные гражданские права; запрещаются любые высказывания и действия националистического или нацистского толка. Закон обязывает принимать всех беженцев, которые просят политического убежища, всех, кому грозят преследования в своей стране по национальному признаку.

[2] Нибелунги — мифический древний род карликов, владетелей и хранителей древних сокровищ на землях по реке Рейн.

[3] Deutsche (*нем.*) — немец, немка.

[4] Deutsche Behörden und Ämter (*нем.*) — немецкие власти и ведомства (суды, министерства, различные государственные учреждения).

гостиная, где смотрели телевизор и принимали «свеженьких» жертв насилия, там же проводивших свою первую ночь. На первом находилось бюро. В бюро работали Betreuerin[1], коих Лилька с иронией называла про себя «феями». На каждую приходились по две подопечные. Сотрудницы приходили с утра, пили кофе, проверяли акты и записывали туда разговоры с подопечной. Все действия, которые предпринимала обитательница Дома, направленные на то, чтобы скорей покинуть это милое жилище и найти квартиру, подать на развод с мужем, отвоевать полное право на ребёнка, получить детское пособие или социальную помощь, также аккуратно фиксировались. На всё про всё у женщины было шесть месяцев. Ей помогали, конечно, но, как говорится, без особого рвения. Куда-то звонили, что-то выясняли, но в основном — сама женщина сбивалась с ног, пока дети были в школе или в детском саду. Легко сказать — попробуй сделать! При поступлении сюда большинство женщин, находясь в психологически подавленном состоянии после побоев и издевательств, да ещё с детьми на руках, — в чужой стране, на чужом языке были просто не в силах ничего сделать и выбить. После двух-трёх недель обессилевшие и заскучавшие женщины возвращались к мужу-тирану. Те же из них, кто выдержал критическое время и выстроил границу отчуждения от «второй половины», прекратив на долгое время все контакты с родственниками, как требовали социальные помощницы, начинали свой долгий и мучительный путь к свободе.

Лильке было легче. Она была одна и отвечала только сама за себя. Она занималась, готовилась к экзамену на высшую ступень немецкого, чтобы приняли в заветный универ. Сдавала она экзамен комиссии из Института Гёте. За красивые глаза не аттестуют, хорошую оценку не поставят. Особенно, говорят, зверствуют на письменном. Рвут листы из рук, если время вышло, ни секунды не давая на то, чтобы дописать. Немцы педантичны до безжалостности и не делают скидок категории юных прекрасных дев и иностранцев. Извольте в общую очередь! Не знаешь на должном уровне язык — «auf Wiedersehen!», что в переводе означает: «Давай, до свидания!» Домработницы, няньки, мусорщики Германии нужны...

С тишиной в женской общаге была напряжёнка. Старое (наверное, ещё довоенное) здание, в котором располагался «приют», от детской беготни содрогалось иногда так, что Лилька, потеряв терпение, выходила и разгоняла сопливых архаровцев. Вся постройка сотрясалась, как при пятибалльном землетрясении. Казалось: вот ещё чуть-чуть — и всё провалится в тартарары. Пять минут покоя — и экзекуция начиналась снова. Дети плакали и дрались, топотали, как кабаны, пробегая по коридору мимо, а иногда, назло «вредной Лильке», пинали ногами по её двери, чтобы отомстить. Приходилось затыкать уши...

Постоянно случались конфликты между женщинами из-за этих же детей, дежурства на кухне, просто, как говорится, из-за «личной неприязни». Одна немецкая семейка, мамаша Хайди, которая беззастенчиво подрабатывала сексом по телефону, и трое её туповатых отпрысков, которым, однако, хватало мозгов постоянно воровать продукты, не дремала. Хватали все, что плохо лежит, а плохо, то есть открыто, лежало всё! Приходилось картошку и другие продукты держать в комнате. Женщины, поднаторев в частых склоках, мелких разборках, ставшие «зубастыми» и горластыми, наэлектризованные проблемами, недосыпом и болезнями детей, могли и прибить. Чернокожие красотки любили скандалы, сразу как-то оживали, хорошели даже и с разбегу лезли на баррикады.

— Это потому что вы белые — потому у вас всё и получается! — темпераментно размахивала чёрными руками с розовыми ладонями африканка. Ни дать ни взять вырезанная из эбенового, чёрного дерева фигурка. Красиво!

Лилька один раз не выдержала:

— Это потому, что надо язык учить, одеваться нормально, а не в твою хламиду. Верить в Бога можно и в джинсах. Не самый это большой грех. Ты «расистка наоборот»! Своим цветом кожи ты шантажируешь белых!

Разговор происходил на кухне. Чернокожая красавица, недолго думая, схватилась за нож, который валялся у раковины, она была дежурной и как раз мыла посуду.

— Я тебя сейчас буду убивать! — взвилась африканская фурия, выкатывая синеватые белки глаз.

— Попробуй! — Лилька приняла стойку, как в боксе. — И ты жива не останешься.

Фурия побегала глазами, в ней в этот момент происходил мыслительный процесс сродни гамлетовскому: «Бить или не бить?» Пораскинув мозгами, она отвернулась и, как ни в чём не бывало, стала домывать посуду, в том числе и нож, которым только что хотела зарезать «шибко умную» белую.

---

[1] Betreuerin (*нем.*) — воспитательница; официальная помощница, закрепленная от государства, имеющая право заниматься делами вверенного ей человека.

Лилька как-то за чаем дискутировала с одной из социальных «фей» — дочерью пастора.

— Как вы хотите, чтобы женщины всё сами делали, искали квартиры, вели судебные тяжбы, при том что их психика находится на грани нервного срыва? Может, им нужен покой, пара дней отдыха, даже от детей! С ними должен работать психолог, а у вас его нет! Это дорого? Почему у вас нет машины, чтобы забирать женщин с вокзала?

«Фея» спокойно, по-протестантски, ответила:

— Если эти женщины не имеют сил изменить свою жизнь — значит, они по ошибке попали к нам.

Соцработницы вели себя по большей части индифферентно, тело молодое не надрывали, сидели в бюро да назначали termine[1] — время для «разбора полётов» — результатов от «хождения женщины по мукам». Просто так не зайдёшь.

Наступило 9 Мая. Лилька и соседки (русская немка Нина и украинка Таня) скинулись, купили гвоздики, торт и водрузили их на кухонный стол. Лильку выбрали идти «парламентёром» в бюро. Товарки жались позади. Все «феи» вместе с домоуправшей оказались в наличии.

— Мы поздравляем вас с Днём освобождения Германии от нацистского режима! Это было не только победой русских, но и освобождением всего человечества от коричневой чумы! — подождав, пока они придут в себя, Лилька строго спросила: — Не правда ли?

Социальные «феи» потеряли дар речи. Первой нашлась полька — домоуправша, бой-баба, которая собирала шкафы и мебель, занималась ремонтом и хозяйством (мужчины в любом виде не допускались в Женский дом). Беата приняла подношения в виде торта и гвоздик, а «феи» кисло покивали, как бы благодаря и подтверждая то, что нельзя опровергнуть: именно русский солдат спас мир от фашистов («чтоб им на том свете не было ни дна, ни покрышки, вместе с их бесноватым фюрером!»). «Интересно, съели они торт или нет? Как говаривал шахматист Лев Маркович, нам надо победить врага на его территории».

Мужья-тираны в это судьбоносное время, переломное для неожиданно закончившейся совместной привычной жизни, тоже не сидели сложа руки. Поняв, что девочка для битья ускользнула, они пускались во все тяжкие, пытаясь выманить жертву из норки. Первое, что надо было узнать, — в какой город сбежала дражайшая половина. Обычно женщин переправляли в другие города, подальше от тиранов: не видишь и не бредишь... Но те узнавали адреса, используя так называемое «телефонное право», приезжали, ночевали в машине, бегали по незнакомому городу, небритые, с бешеными глазами, пытаясь встретить благоверную. Использовали свои родственные и иные связи. В большинстве своём турецкие курды и афганцы названивали в Женский дом по телефону «SOS», которым пользовались только полиция и скорая. Один Отелло возник как-то ночью с двустволкой и пытался вышибить дверь. Но в основном применялись традиционные методы запугивания — дистанционные: «Я сейчас прыгну с балкона, если не вернёшься». Или придумки на скорую руку: «Ну, погоди! Найду — зарежу (порежу, отрежу), детей отберу (украду, убью)».

При таком повороте судьбы побеждает та, у которой былая любовь уже превратилась в ненависть, как вино в уксус, кто больше не «жалеет» и не ищет оправданий мучителю, у кого нервы от частых скандалов не оборвались, а превратились в толстые железные канаты. Та, которая ничего не прощает и не забывает и не хочет повторения — уже в триста двадцать восьмой раз — пройденного. Словом, шанс вырваться из замкнутого круга избиений, клятв, обещаний, прощений, примирений и снова насилия есть у той женщины, душа которой взрастила в себе гордый, внутренне освобождающий от наваждения навсегда цветок презрения. Тогда уже ей нечего бояться возврата в ад.

Одна сомалийка с детьми шла по городу. Младший ребёнок сидел в коляске, а двое плелись, держась за подол матери. Вдруг перед ней возник бешеный сомалийский супруг. От неожиданности женщина остановилась. Они стояли друг напротив друга. Халима (так назовем женщину) не отрывала взгляд от ненавистного мужа. Тот праздновал победу! Ага-а-а! Попалась, которая кусалась! Тогда страдалица толкнула коляску с младшим, и коляска покатилась под горку — прямо к супружнику, а сама она развернулась и пошла прочь, дети бежали следом, дёргая за юбку. Он какое-то время шёл за ней с коляской, выкрикивая обвинения, угрозы и мольбы. Безрезультатно! Халима была неумолима. Минут через двадцать этой гонки она услышала:

— Халима! Ты победила! Возьми его!

Обернулась. Коляска с ребёнком стояла поперёк тротуара. Муж тёр сухие глаза рукавом, подглядывая сквозь руку. Давил на жалость. Жалко его не было. Муж по-

[1] Termine (*нем.*) — время приема.

вернулся и побрёл восвояси. Халима рассказывала сёстрам по несчастью, что привёз он её в Германию, эту землю обетованную для беженцев со всего света, четырнадцатилетней по фальшивому паспорту, выменяв у её же родителей на корову. Корове той было уже лет сто, но алчные родители всё равно согласились. Ударили по рукам и — прощай, родная деревня! Так юная Халима попала в Европу. Муженёк её быстро смекнул, как обдирать государство по максимуму: настрогал детей, чтобы ежемесячно получать Kindergeld[1]. А его девочка-жена, с кратковременными перерывами на роды, мыла лестницы в подъездах дома, где они жили. Редкий день ей от него не доставалось за то, что плохо, не изобретательно отдавалась мужу, не хотела с ним повторять секс-эквилибристику, которую тот сначала изучал на видеомагнитофоне: за то, что не хотела заниматься извращениями, и тогда — заставлял силой. Последней каплей в чаше терпения стала измена. Всё терпела сомалийская Кармен, а измены выдержать не могла. Она же думала, что так он её любит!

Такие «бабские» разговоры велись часто вечерами на общей кухне Женского дома, когда детей, наконец, укладывали и можно было спокойно попить чаю и поболтать. Чтобы не было так уж больно от своих же признаний, каждая старалась «подсластить» эти вечера, которые, надо сказать, и правда помогали — этакая групповая терапия. На посиделки каждая старалась приготовить что-то особенное, вкусненькое — традиционные блюда, которые напоминали о родине, о безмятежном детстве в отчем доме, когда родительская ласка и забота были для них чем-то само собой разумеющимся, непреложным, незыблемым, безоговорочным, безусловным, когда они ещё верили, что любовь есть на свете!..

Лилька один раз, подходя к кухне, услышала конец разговора: «Я думала, что тот день, когда я выйду замуж, будет самым счастливым днём моей жизни! Я буду любить его, а он — меня. И никогда-никогда он не назовёт меня дурой!» Лилька улыбнулась и подумала про себя, совершенно убеждённая: «Он обязательно будет такой — никогда не назовёт меня дурой!»

Русская немка Нина запекала «фальшивого зайца» — так называется немецкий рулет из мясного фарша со спрятанными внутри сваренными вкрутую яйцами. Украинка Таня угощала наваристым борщом с пампушками. Женщины уплетали эту снедь и веселели на глазах. Да ну их, этих мужиков! Мы уже «отстрелялись»! Свобода!

Лилька часто делала эстонские пирукад — пирожки с рисом или с мясом и мульгикорп — сладкие творожные ватрушки с вареньем и со сметаной, их ей самой в детстве пекла по воскресеньям на завтрак мама. И Лилька, замешивая тесто, ревела, вспоминая её стройную фигурку в кокетливом фартуке у плиты. «Мама! Мамочка! Как мне плохо! Как я далеко от тебя! Как мне хочется обнять тебя и всё-всё рассказать!»

Звонить было дорого. Лилька бросала в автомат монету в пять марок, но этого хватало на пять минут, чтобы сказать, что жива-здорова, и только успеть спросить: «Как ты, мамочка?..» Кричать, кричать в трубку... Мама на том конце тоже кричала и плакала... Так они не успевали толком ничего сказать друг другу. На этом связь обрывалась. Лилька сползала по стенке будки и захлёбывалась от рыданий. Хотелось домой, но как ей вернуться? Нельзя! Сначала надо получить образование.

В один из таких вечеров всё та же Халима выступала «звездой программы». Запихивая в рот сладкую жареную лапшу на кокосовом молоке, которую мусульманские женщины считали лакомством (они сами раскатывали тесто, резали, замачивали с имбирём и куркумой, затем тушили на сковороде), вспоминала с особым возмущением один эпизод из замужней жизни. «Хорошая ты, Халима, — сказал ей тогда благоверный, — но мне надо тебя и здесь, и здесь...» Рассказывая, разъярённая женщина бранилась и яростно жестикулировала, плюясь в сострадательных соседок кусочками лапши, воздевала руки, призывая небо в свидетели её унижений, и многозначительно показывала на свои различные части тела. Из глаз её, наполненных одновременно недоумением и ненавистью, вылетали по две молнии, способные, казалось, испепелить весь приют (и близлежащие дома тоже), если бы своевременно не заливались слезами несчастной.

Местные же немки сторонились этих посиделок: во-первых, не хотели готовить — денег жалко, а во-вторых, у них были другие приоритеты. Одна, с позволения сказать, «мать» почти ежедневно кормила своих троих детей одними макаронами с кетчупом, а по ночам тайком ездила на дискотеки, что в Женском доме было строго запрещено. Однажды она подсела-таки к участницам застолья.

— Ну как вчера погуляла, мамаша? — Халима осуждающе покачала головой. — Твой младший два раза просыпался, плакал. А ты закатилась куда-то на всю ночь!..

Карин, так звали женщину, довольно облизнулась:

— Да, вчера наплясалась! Да так удачно. Даже таксисту не пришлось платить.

[1] Kindergeld — денежные пособия, выплачиваемые на каждого ребенка.

— То есть как? Бесплатно, что ли, довёз? — удивились все, кто был на кухне. Карин, строго говоря, красотой не блистала.

— Ну прям, бесплатно! — Карин хитро усмехнулась. — Заплатила по-другому.

Женщины за столом застыли, как в финальной сцене «Ревизора».

* * *

Лилита покинула Женский дом, поступив во Франкфуртский университет на факультет германистики, или, по-нашему, немецкой филологии. Ей дали маленькую узкую комнатку с одним стулом и столиком. На неё нужно было ещё заработать 250 марок. А где? Лилька вошла в комнату, увидела кровать с голым матрасом и заплакала: «Господи! Я совсем одна, совсем одна, мне не с кем поговорить, некуда идти! Господи, помоги мне! Где Ты, Господи?» Неожиданно прямо за окном зазвонили к обедне. Что это? Лилька подбежала к окну и распахнула полузакрытые ставни. Перед ней в нескольких десятках метров звонили колокола русской церкви Святого Николая Чудотворца!

Она начала туда часто ходить. Отец Александр помогал ей и иногда подбрасывал работу — то в церкви, то убраться у какой-нибудь болящей прихожанки. С голоду не умирала, но приходилось туго. Когда, одуревшая от учёбы, недоедания и недосыпа, чужих, безразличных людей и чужого языка, в субботу вечером Лилька приходила в храм, ей казалось, что она наконец вернулась домой. Подавала записки, покупала на последние копейки просфоры, свечечки и обходила все иконы, прикладывалась к окладам, пахнущим ладаном и розами, и молилась, молилась. Просила прощения у Господа и Богородицы, Николая Чудотворца и всех святых за то, что бестолково и грешно живёт, молилась о здравии мамы, отца и просила — если можно, если Господь ещё видит в ней Своё дитя, — чтобы Он помог ей, Лильке, чтобы подал ей, привёл к ней человека, который бы полюбил её — нескладную и заполошную, и научил бы её любить, любить того, который бы никогда не предал и не оставил её...

Лильке становилось так тепло и покойно у икон, и ей казалось, что Николай Угодник кивает ей милостиво, мол, помолюсь за тебя, дитятко, упрошу! Пресвятая Богородица строго и сострадательно смотрела с иконы, как мать, которая — что бы ты ни натворила — всегда с тобой, всегда защитит, поймёт и не осудит! «Помолюсь! Помолюсь!» — кивала Богородица, придерживая Иисуса-младенца, и Лилька радовалась. Они её любят! Они заступятся за неё! Она не одна! Так обходила всех до канона, ставила свечку за упокой шуйских родственников, которых почти не знала: деда, бабушки, дяди, погибшего ещё молодым при испытаниях чего-то, и всех, за кого некому было помолиться. Потом Лилька стояла всю службу, и, когда хор особенно жалостно затягивал, слёзы ручьём лились по её лицу. На исповеди отец Александр по-доброму пенял ей:

— Что-то ты, голуба моя, сегодня обревелась! Велика милость Господня! Не кручинься! — накрывал её голову епитрахилью и отпускал все грехи: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!»

* * *

Год спустя Лильку пригласили на десятилетие Женского дома. Идти или не идти? Проходя мимо художественной галереи, в витрине она увидела небольшую скульптурную композицию в стиле постмодерн: мать, в радостном порыве подбрасывающая вверх своё дитя. Лилька задумалась, а потом вошла и купила статуэтку.

На торжественную часть пришло всё городское начальство, бургомистр. Корреспонденты щёлкали объективами фотокамер, тут и там блистали вспышки. Все «жендомовские» собрались в кулисах. Предполагалось, что кто-то из них выступит, но смелых не находилось. «Не боись! Не Сталинград!» — сказала сама себе Лилька, вдохнула поглубже и на выдохе, с завёрнутой в бумагу статуэткой, вышла к трибуне. Подбирать слова не пришлось. Она уже знала, что скажет.

— Уважаемые дамы и господа! Мы сегодня празднуем десятилетний юбилей самого, на мой взгляд, удачного гуманитарного проекта в истории человечества! Во всяком случае, для нас — женщин! — Лилька помолчала, а в зале великодушно захмыкали. — Десять лет назад рухнула темница бесправия, беспомощности и отчаяния, в которой влачили безрадостную и порой на грани выживания жизнь многие женщины! Дом для женщин и детей, находящихся в опасности и ищущих тихого пристанища, защиты, возможности начать жизнь заново, чтобы дети росли в покое и не видели жестокости отца и слёз матери... — у Лильки что-то сжалось в горле. Стало на секунду трудно дышать. Вспомнила свою маму. — Этот Дом, у которого встаёт солнце новой жизни, — это ещё один кирпичик в здание равноправия, которое мы хотим построить, ещё одна победа женщин в борьбе за свои права, — зал зааплодировал. Лилька как в тумане видела восторженные физиономии начальников и клацанье объективов фото-

корреспондентов. — Я — одна из них! Моя жизнь была в опасности, и мне протянули руку помощи! — Лилька обернулась к социальным помощницам, стоящим в кулисах. — Хочу от всех женщин выразить нашу глубочайшую благодарность фрау Мюллер, фрау Гёритц, фрау Хайдеггер, фрау Мозель! Это наши подруги и наставницы! Они помогли нам в самый трудный час справиться с нашей бедой, и теперь наша жизнь обрела новый смысл, получила новый импульс. Мы — свободны! Наши дети ходят в школу и делают уроки. Мы живём и радуемся покою в душе и в доме, — перманентные овации не останавливали Лильку. Она показала на завёрнутую в бумагу статуэтку. — Но я верю, верю, что настанет такое время, когда женские дома станут больше не нужны! — зал удивлённо и, похоже, даже разочарованно затих. Повисла звенящая, как струна, пауза. — Да-да, не удивляйтесь! Я верю, что, в силу поступательного развития современного демократического общества, эволюционных изменений и воспитательных мер, а также образованности будущих поколений, люди, в том числе и наши мужчины, оставят свои неандертальские атавизмы в прошлом, и мы — человечество — выучим наконец уроки жизни, главный из которых — это понимание, что насилию не место в нашем прекрасном мире! — в зале стало очень тихо. Казалось, что можно услышать, если вздумает пролететь муха или скрипнет стул. Лилька начала медленно разворачивать голубую обёрточную бумагу. — И тогда... — Лилька никак не могла оторвать клейкую ленту. — И тогда... — наконец получилось, и все увидели... «Мать и дитя»! — И тогда, несомненно, создадут музей Женского дома, — закончила фразу Лилька. — Туда будут водить экскурсии и рассказывать про наше странное, жестокое время, а все будут удивляться. Раньше такое могло быть? Мужчины били женщин? Не может быть! Дикость! Нелепость! И вот я хочу нашим «боевым подругам», нашим вдохновительницам и утешительницам подарить первый экземпляр для будущего музея Женского дома! — патетично закончила Лилька, польстив «феям». Но в этот момент она говорила действительно искренне. Столько было пройдено вместе с ними!

Было по-прежнему тихо... Вдруг Лилька услышала сдавленный всхлип. Она взглянула в кулисы. Плакали все: соцработницы и многострадальные обитательницы дома, Халима, которая хотела убить Лильку, Нинка и Таня, с которыми она принимала ночью привезённых полицией женщин, замученных, избитых, находящихся в шоке, поила чаем, стелила постель в гостиной и говорила, говорила, хотя сама была полумёртвая от усталости. Лилька обернулась в зал. В этот момент, как по мановению волшебной палочки, зал встал, и все начальники шмыгали носами, трясли головами и хлопали, хлопали! Казалось, что они отобьют себе все ладони! Вспышки репортёров ослепили Лильку. Она пробормотала:

— Спасибо за внимание! — вручила статуэтку старшей, обняла коротко и убежала в кулисы. Все обступили её. Она сама от себя этого не ожидала, но когда покупала фигурку, то думала об этом... О музее Женского дома...

О праздновании написали, и Лилька красовалась на развороте всех газет, высоко держа статуэтку, вроде премии «Оскар»! План был крупный, чтобы было видно, что это «Мать и дитя»...

Феруза ИБРАЕВА

НЕМНОГО ПЛОХИЕ

Повесть о самоподрывах

Глава 1. В ПОНЕДЕЛЬНИК УТРОМ

«Умереть когда-то не страшно, страшно умереть сейчас».
А. Солженицын

Здешняя весна, что знойное лето в России: греет, но не печет. Легкий ветерок ласкает щеки. Нежные тополиные листочки щебечут наверху о своём, сокровенном. Хочется жить. В это благодатное время кучка молодых людей решила погибнуть. Во имя чего? Непонятно было в те дни многим горожанам. Большая политика и высокое искусство мало трогают рядовых обывателей. Как дожить до зарплаты, не влезая в долги, не пропустить бы вечером очередную серию мыльной оперы — волновало больше, чем странные — что не поделили? — стычки некой братвы с милицией, постами ГАИ. Горожане замерли в ожидании. Не то чтобы проявили безучастность, на чьей бы стороне ни были их симпатии, полагались на государство, пребывая в уверенности, шансы боевиков навязать силовикам масштабное противостояние ничтожны.

Началось действо демонстративно. В последний понедельник марта, в начале девятого, в Старом городе, в центре рынка, возраст которого исчисляется несколькими столетиями, подорвалась женщина, нулевой образец. Вырос столб черного дыма, затрещали стёкла, расползся запах гари, земля запачкалась кровью. Полчаса спустя возле входа на рынок, у медресе, визитная карточка города, произошёл второй самоподрыв. Случались и раньше взрывы и боестолкновения. И раньше взлетали на воздух легковушки, начиненные адскими устройствами. Женщины до этого понедельника не подрывались.

Вечером по ТВ сухо сообщили, что в городе прогремели взрывы. Оба самоподрыва были не совсем логичными. Для акций было выбрано людное место, но странное время: рано утром, когда немного прохожих — вероятных жертв. В новостях особо не уточняли, что один из взрывов осуществила молоденькая девушка. Об этом Лере скажет знакомый патологоанатом. Даврон подрабатывал в морге при мединституте. Мединститут принимал погибших в тот злосчастный понедельник. Он десять лет, с перерывами на женитьбу, рождение ребенка, затем второго, учился на лечебном факультете. Между дежурствами в морге бегал на лекции. На занятии однокурсники закидали его вопросами:

— Уверен, что молоденькая?
— Не больше девятнадцати.
— Почему девятнадцать? Не восемнадцать, двадцать?
— Спелость девушек с двадцати начинается.
— Тинэйджер с неустойчивой психикой?
— Я не по психике. Я по телу. Не дозрела, щечки пухленькие, кожа гладкая.
— Какие щечки, какая кожа? Разнесло, небось, всю взрывом?
— Тело разрывает, голова целой остается.
— Конечно, голова же — коробка.
— Кишки вывались, наверное.
— И кисти оторвало, скорее всего.

Аудитория поверила наблюдениям с благородной седой прядью в волосах патологоанатому: сведения из первых уст. Для большинства горожан террористы существовали лишь в сводках и в редких кадрах по ТВ. Даврон лично их видел, даже кромсал. Заверил:

— Чистая девушка, без макияжа.

Другими интригующими подробностями он в тот день не поделился, сохранил на несколько «потом», выдавая информацию порциями. Говорил о подорвавшейся девице сочувственно, хотя, как положено патологоанатому, голос звучал нейтрально:

— Ну, да, молоденькая. Щечки пухлые. Прыщей нет, лоб чистый.

Лере невольно стало жалко несчастную, глупенькую девчонку. Непосредственных наблюдений Даврона хватило запрограммировать на сочувствие: «Молоденькая. Щечки пухлые. Кожа гладкая. Молоденькая. Щечки. Молоденькая». Даврон, сам того не подозревая, выстроил нейролингвистическую цепочку, кажется, так называется, на жалость к погибшей. Застучало в голове: «Молоденькая, щёчки по-детски пухлые. Молоденькая, потому что щёки еще пухлые». Молоденькая, гладкая, чистая... кто у нас? Девочка, ребёнок, дитё. Дитё невинно. Девушка — дитё. Она не виновата. Не злодейка.

Праведной войны не бывает, в войне всегда есть невинные жертвы. Без жертв — военные учения. Наутро ход мыслей изменился. Наверняка есть жертвы, трезвила себя Лера. Возникшее было сочувствие к Молоденькой не клеилось с конкретной ситуацией. Девушка покусилась на жизнь горожан, в том числе, её. Лера жила недалеко от рынка, на работу ездила с ближайшей к медресе остановки. В черный понедельник изменила маршрут, спустилась в метро, чтобы заблаговременно прибыть в министерство к важному чиновнику на назначенную аудиенцию. Если не это обстоятельство, Молоденькая могла зацепить, даже — о, ужас! — утащить с собой.

В тот понедельник Лера шла с работы как обычно. Вечерело, хотя было ещё довольно светло. Дошла почти до подъезда, где её настигло эхо автоматных «переговоров». Эхо ударило сзади в левый бок. В недоумении она остановилась, вопрошая, что это? «Война без особых причин»? Навстречу из подъезда выскочил мальчишка с горячей радостной вестью: «Ура, война! Немцы наступают». Шестилетний Ромка знал про Великую войну. В детском представлении война бывает только между своими защитниками и чужими агрессорами; в ней обязательно отыщется славное приключение и для него.

Соседи высунулись из окон. Их напугал — рассмешил? — Ромка. Автомат работал далеко, но эхом треск долетал до их высотки, минуя по пути, возможно, полгорода. Пацан готов был рвануть в сторону раздающихся очередей. Взрослые переполошились, загнали Ромку в квартиру. Мама его воспитывала одна, пропадала на работе, мальчишка развлекал себя сам.

С тех пор Лера точно знает, что не спутает автоматную пальбу с другими резкими звуками, щелчками, громом. Стрельба из автомата звучит уникально страшно. Страшней, должно быть, от разрывов миномётного огня, воздушной бомбардировки, прохода танков. Война не просто ужас, это смертельный ужас. До сих пор, если видит эпизоды со стрельбой в кино, задается вопросом: как переносят свинцовый грохот актеры? Реальная автоматная очередь звучит зычно, громко, пугающе. Почему мальчишкам и мужчинам во все времена и повсеместно нравится шум перестрелки?

На следующее утро возле медресе ничто не свидетельствовало о разыгравшейся сутки назад трагедии. Кроме огромного пятна мокрого асфальта на месте гибели шахидки. Асфальт нигде не покорежен. Кровь вчера впиталась в асфальт. Сегодня её тщательно отмыли. Кто? Кто убирается после подобных акций? Коммунальщики? Служители медресе? Милиция? Пятно высохнет. Спешащий по делам народ, место бойкое, людное, повалит из метро, наземного транспорта, затопчет зловещее место.

Неприятно было ступать по мокрому пятну. Лера аккуратно его обошла. Обычно шла напролом, времени по утрам хронически в обрез. Вошла в троллейбус, шустро заняла свободное сиденье, пусть спиной к водителю, зато не стоя, ехать предстояло далеко. Троллейбус урчал, собираясь дернуться, когда на заднюю площадку запрыгнули три милиционера. Пассажиры отпрянули от сержантов, скучковались в середине салона. Милиционеры рассмеялись. В те дни совершались нападения на тех, кто в погонах. Находиться рядом с силовиками горожане считали потенциально опасным. К милиционерам на задней площадке никто не присоединился, хотя это оживленный маршрут, пассажиров в троллейбус набилось изрядно.

Население сразу отметит данное обстоятельство и не будет сравнивать самоподрывы на рынке с терактами «черных вдов» Кавказа. Возможно, тем женщинам было за что мстить. Мстить безоружным гражданским и детям, по меньшей мере, нелогично. Не они затеяли войну.

Как только появятся, Лера прочитает «Дневник смертницы. Хадижа», «Невесты Аллаха: лица и судьбы всех женщин-шахидок, взорвавшихся в России», «Невесту Аллаха», «Живых смертниц не бывает. Чеченская киншка». В них много о семейных трагедиях и коварных долларах. Немного о транквилизаторах и девичьем позоре. И ни слова о конечной цели, ради которой женщин посылали умирать. Книги описывают голый расчет мужиков в тени. «Общее» благо — мужская тема. Зачем нужно было использовать женщин?

«Хочу, говорю, жизнь отдать — задолжала родственникам», — признается Зарема Мужахоева, про которую «Киншка». Она сдалась властям, не сумев подорваться летом 2003 в Москве. Непосредственно никого не убила. Желание жить одержало вверх, не до конца зомбированной оказалась. После ареста дала предельно откровенное интервью: «Если русские могут наши села бомбить, почему они не могут всё в горах разбомбить, где эти сидят? Боевика же видно. Почему боевиков не зачищают, а мирных зачищают? У нас в марте была зачистка, незадолго перед тем, как я ушла. Соседи донесли, что у нас будто бывают боевики. Приехало семнадцать человек, всех поставили к стене, все ковры вынесли. Зачем?»

Полина Жеребцова в своём подростковом «Дневнике» вторит: «Ракета, которую бросили на рынок (когда меня ранило) прилетела с Каспия. Журналисты это «раскопали». Только через 5 дней российские военные признались в своем промахе. Целились в другое место — в здание «Биржи», но промазали. Попали на мирный рынок». Чуть далее: «Но у чеченцев таких огромных ракет нет. Говорят, тех, кто был вблизи ракеты, разорвало на кусочки, и теперь родные узнают их по частям вещей: пуговицам, заколкам и кусочкам одежды».

Членам незаконных вооруженных формирований на Кавказе — современные абреки? — дадут шанс, предложат амнистию за добровольную сдачу федеральным властям с оружием. Зарема получит двадцать лет заключения под стражу за сотрудничество со следствием. За двадцать лет в замкнутом пространстве озвереть можно. Через несколько лет она подаст прошение о помиловании. Оно будет отклонено.

Объяснять феномен «невест Аллаха» местью за поломанную жизнь, разрушенный кров — не спекуляция традицией, подытожит анализ этих книжек Лера. Женщина заточена на уютное, приятное на ощупь, маленькое счастье размером с семью в добротном доме. Нормальные женщины — эгоистки. Судя по этим книгам, «черными вдовами» становятся глубоко несчастные женщины. Они втягиваются в мужские игры с огнем, свинцом и тротилом. Они и так несчастны, зачем их губить окончательно, вовлекая в жуткие акции? Всё же их жертвы были не впустую: война остановлена, земля восстановлена. Красивые минареты, качественные дороги, дорогие дома — народ отстроился, как и не снилось в Забайкалье или Тыве, например.

Когда понадобится информация о самоподрывах, Лера поразится, как удалось Юлии Юзик добраться до семей террористок, взять интервью? Увидеть их паспорта, фотографии? Без содействия силовиков контакт со столь значительным числом респондентов невозможен по определению. Заказали? Впрочем, не важно. У молодой журналистки сложился чудовищный по правдивости нон-фикшн. Страшные фото мертвых голов с прикрытыми глазами. Жуткое откровение в концовке: — Почему меня, журналиста, который хочет узнать правду об этих женщинах, вы арестовываете и угрожаете, а люди, которые занимаются вербовкой и организацией терактов, на свободе? Почему я знаю, кто они, а вы — нет?

Он усмехнулся.

— Мы знаем всех их лучше тебя. Всех поименно. Ты знаешь лишь десятую часть.

— Но почему вы их не арестуете, почему не раздавите? Вы что, не знаете, что правозащитные организации, базирующиеся в Ингушетии, отправляли людей на «Норд-Ост» и сейчас готовят новых?

— Знаем не хуже тебя, — выдавил он.

— Так почему же? Почему? — в этот момент я самой себе напоминала Незнайку на Луне. — Меня арестовываете за то, что я знаю. А тех, кто готовит и вывозит людей, не трогаете? Почему?!

Он долго смотрел на меня исподлобья. Сжал кулаки.

— Потому, что у нас нет такой команды.

Схема вербовки «невест Аллаха» выглядит прямолинейной до примитива: разгромленный дом, семейные неурядицы, гибель родственника, возлюбленного. В итоге сломанная судьба, депрессия, безденежье. Выход из ситуации предлагают искусные вербовщики. Заверяют: если совершат то, к чему их призывают, они прямиком и тотчас, даже агонии не почувствуют, быстро это произойдет, окажутся в раю, где нет страданий и проблем, лишь грешники «вторичной смерти ждут и не дождутся»[1].

Угасая, кому предстоит не мгновенный переход, а затяжной подготовительный период, придётся помучаться, припоминая грехи и долги; в пытках бреда, судорог, удушья вымаливать прощение. Чем не ад, ещё при жизни? Смерть прекращает мучение бренного тела, маету воспаленного сознания. Наступает блаженство, как минимум, умиротворение. Вот бы пожить в этаком состоянии! Возрождается желание жить. Желание жить запоздало, на миг, возвращается, но теперь оно ни к чему. Как только окончательное умиротворение входит в человека, его уже нет.

[1] Данте Алигьери, «Божественная комедия», песнь 1, стих 151.

Из обозначенного списка предпочтительных факторов при вербовке женщин-смертниц ни одного пункта не было у Молоденькой. Её страну не бомбили. Она не имела суицидальных наклонностей. Было здоровье, любящие родители, средний достаток, карьерные перспективы, муж — всё то, что не согласуется с изложенной схемой. Соль драмы Молоденькой в том, что самоподрыв был осознанным шагом, вдохновлён идеей и не предопредёлен тяжелым бэкграундом. Она выросла в благополучной семье, в атмосфере любви. Не провинциальная дикарка, наоборот, хорошо образованная, со знанием нескольких языков. Тем не менее, подорвалась. Современная городская девчонка, чуждая меркантильности, вышла на площадку перед медресе не мстить. Что-то сказать. Что? Взрывы ранним утром понедельника были запланированы явно в расчете на символизм как почин, начало. Чего?

— Паровозиком страну перевернуть. Надоели одни и те же лица в телике. Идеалисты, — для студентов ответ был ясен. Они наперебой излагали разные версии событий понедельника.

— Хотели драйва поймать, они же молодые, романтики.

— Какая романтика? Заказ отрабатывали.

— Шантаж устроили.

— Кого?

— Кого надо.

Лера откопает, что объединяет женщин-шахидов независимо от мотива их поступка. Женщин убеждали нацепить пояс, заставить не могли. Внушали, обрабатывали — безусловно, но насильно на них бомбы не вешали. Рискованно, могли подорваться до Х-часа. Сваливать на патологическую агрессивность, на иное психическое отклонение в объяснении самоподрывов — несерьёзно. Неадекватные персоны плохо управляются, следовательно, ненадёжные исполнители.

Какие плоды, заметные перемены принесли начинания Молоденькой, её соратников? Никто внятно не написал или Лера не наткнулась на подобный, без перегибов, анализ событий. Кто их обрабатывал, содержал? Отдавал приказы? Кто планировал подрывы, готовил пояса смертников? Сколько погибло? Статистику жертв всемирная паутина предлагала, предлагает доныне разную. Не говоря уже о разночтениях по поводу мотивов или целей участников бунта.

Лера махнула рукой на цифры и фамилии. У неё не было протекции соответствующих структур, поэтому не было доступа к материалам. Зачем они ей? Боль в ней вызывал другой интерес: почему, пусть единицы, но они были, молодых, не рожавших, образованных, благополучных женщин стали живыми бомбами? Самоподрыв Молоденькой Лера смогла воспринять и принять, вызывая, часто неосознанно, из закромов памяти личные наблюдения. Спустя время количество сепарированных впечатлений перейдёт в качество вывода. Она скажет себе: «Да, было; да, не выдумка; да, молодая».

Основной мятеж пришёлся на понедельник, чем приобрел символизм. Понедельник, первый и любимый, как все первое, день недели. С понедельника заведено начинать новую жизнь. В понедельник дела удаются, намеченный перечень выполняется до последнего пунктика. На вторник тоже составляется список дел. Он выполняется уже без энтузиазма. В среду выпадает отдых от понедельника и вторника; сил горы свернуть уже не хватает, до постели бы доползти. Четверг, пятница проживаются в темпе, скорей бы выходные. За ними новый понедельник, новый виток жизни.

Понедельник — новостной день по исламскому календарю. Согласно хадисам Пророк говорил: «Каждый понедельник и четверг мне доставляют все хорошие и плохие деяния моей общины. Когда мне доставляют благие деяния, я благодарю Аллаха, а когда доставляют плохие — умоляю Его простить их».

После самоподрывов на рынке город притих. Слухами, как ни странно, народ не делился, кроме, пожалуй, одного. Якобы накануне, в воскресенье, милиционеры проучили деда-зеленщика — как посмел сделать замечание, дескать, они перегибают палку с полномочиями — заехав ему по лицу. Старик свалился набок, скоропостижно умер. Не установить, произошёл ли инцидент со стариком в действительности, или это домысел народного творчества. Слух разросся до легенды, сослужил достойную службу: бунтари не получали сигнал из-за кордона, организовались экспромтом, заранее не обговаривая дату и место выступлений. Авторских прав на эти акции международные организации с дурной репутацией не заявили.

Место для самоподрыва Молоденькой было выбрано значимое. Медресе построено в середине XVI века внутри городской крепостной стены. За стеной разбился базар. Медресе с двориком и постройками было вплоть до XIX века не только учебным заведением, но и караван-сараем для купцов. Плахой для неверных жён. Их сбрасывали с портала на выложенную камнями площадку перед входом в медресе. В середине XX века комплекс восстановили от увечий, нанесённых временем и землетрясениями, вернули ему первоначальное предназначение — зазывать на намаз, учить книгочеев.

От центрального портала мечети направо начинается пространство рынка, рядом остановка. Через неё тянется широкая и прямая магистраль в студенческий кампус: к знаниям, диплому, профессии и самостоятельности. Для Молоденькой остановка не стала стартом во взрослую жизнь, обернулась финалом. Вчерашняя школьница провалилась при поступлении в университет. Наступила настоящая жесть, которая привела её туда, куда привела. Позже Лера удивится совпадению своих догадок с просочившимися в публичное пространство фактами биографии Молоденькой, узнает имя.

Не найдя себя в списках принятых в академию МВД, дитё обозлилось на маму, на отчима, не биологический родитель, но вполне адекватный товарищ, на милицию, на белый свет, на судьбу. Обиделась, оскорбилась, озлобилась. Почти отличницу отсеяли. Ту, которая бредила оперативной работой, вросла в образ проницательного следователя, искореняющего преступность под ноль. Ту, которая мечтала продолжить семейную династию, родители в управлении МВД трудятся, она знала о работе в системе понаслышке от них. Усердно работала на высокий аттестат. Старательно занималась спортом, думала, зачтётся. Не пригодилось.

Лера сама прошла через провал на экзаменах. Она поступит на факультет русской филологии со второго раза, закончит его без эксцессов. Работать по специальности не пойдет, ставку сделает на знание других языков. К её литературному русскому прилагались: местный на бытовом уровне; английский — время покажет, что свободный; корейский, диалект дальневосточных переселенцев, понимать гостей из Республики Корея достаточный. Лера запишется в Британский совет на языковой курс. Надеясь отточить разговорный английский с носителями языка, станет завсегдатаем TOLKING CLUB. Одна из сотрудниц совета похвалит её акцент, результат развитого музыкального слуха, предложит пройти собеседование в мединститут, туда требовались преподаватели иностранных языков. Женщина заверит, с хорошим аттестатом IELTS и русиста примут на работу. Лера пройдёт отбор успешно.

И без Британского совета совершенствовать язык была уйма возможностей. В девяностые и нулевые железный занавес приотворили, в страну ринулись зарубежные миссионеры и волонтёры, инвесторы и предприниматели. Они открывали предприятия и фирмы, курсы и фонды. В массы хлынул поток незнакомой идеологии, необычного образа жизни, дефицитных товаров, неизведанных бадов. Народ разбредался по сообществам и сектам, по курсам и ННО — туда, где вербовщики квалифицированнее. В семьях разгорались нешуточные распри братьев и сестёр, отцов и детей из-за идейных приоритетов. Жизнь бурлила на фоне закрывающихся предприятий, талонов на продукты, зарплат пачками обесцененных денег, аншлагов на выступления экстрасенсов. Таким был переполох — ильга келган той.

Сложнее всего в эпоху перемен юным взрослым. Особенно тем, у кого много [лишних] принципов. Следовать принципам — дорогая блажь. Одноклассник Молоденькой, класс поголовно списывал у него, не прошёл по конкурсу на факультет международных отношений. Туда прошла крепкая троечница, глухой тормоз класса. Они опешили: бездарность станет VIP персоной. До этого они свято верили: жизнь в лице ответственных взрослых воздаёт по заслугам; медалист достоин стать студентом-международником. Они ещё не знали, твердолобые посредственности прорываются сквозь любые конкурсы, а признание способностей — далеко не успех.

Второго сентября медалист поехал забирать документы. Просидел в тени вековых дубов в университетском скверике четыре часа, глазея на веселых студентов. Мысленно подгонял опаздывающих, как можно будущим дипломатам опаздывать? Выбирал самую красивую первокурсницу, с которой обязательно сядет рядом на лекции. Увлекся, забыл, зачем приехал в университет. Обратный поток студентов вернул паренька в действительность. Он спешно покинул универ, не забрав документы, поехал на дачу к деду. Дед, действующий профессор, готовил внука к грандиозным свершениям, назидал: «Если падать, падай с высокой ветки». Внук последовал совету деда, выбрал ветку повыше, на самом рослом и раскидистом дереве в саду, на грецком орехе. Не упал. Повесился.

Класс тяжело переживал гибель медалиста. Лучшего ученика не приняли в университет. Где справедливость?! Ан нету её в мире. Более других старательных и целеустремленных выпускников, медалиста и просто отличницу, тупоголовые взрослые в социальный лифт не пустили. Всем составом явились на поминки. Дед медалиста умолял ребят не расставаться с жизнью ни при каких, мрачных на их взгляд, обстоятельствах. Родители твердили: высшее образование — не главная ценность в жизни. Поздно. Они учились в специализированном классе, их приручили чертить проект жизни линейно: из школы в университет, оттуда на самый верх. Отступиться от вертевшегося в голове сценария — несмываемый позор, несостоятельность, клеймо неудачника.

Просто отличницу и спортсменку звали Шахидой. Шахида зализывала рану три месяца, пока мать не сказала открытым текстом, ты девочка большая в нахлебницах

ходить, запишись на курсы, только «за», оплатим, опосля подыщем работу; не хочешь работать — замуж иди, детей рожай, муж пусть содержит; не сиди и не ной, одним словом. Девушка выбрала курсы и работу. Не следователем, как мечталось, но тоже на поприще правосудия — делопроизводителем в адвокатской конторе. Девушка, за плечами которой была школа с усиленной программой по математике, с лёту разобралась, правовые документы — набор клише с небольшой вариацией вводных данных. Она легко составляла заявления и ходатайства за адвокатов. Готовый защитник, хвалили Шахиду сотрудники. Говаривали часто, раз академия не по зубам, отучись в юридическом колледже, организуем поступление туда, с дипломом колледжа помощником адвоката назначим.

От них Молоденькая узнала про блатное и телефонное разделы права, от которых зависят досудебные соглашения; о роли гонораров в судебном процессе; о том, как влиять на показания свидетелей, искать компромат на них. Девушка справлялась с заданиями, была в шоколаде, задаривали удовлетворённые клиенты. Врут, что шоколад повышает уровень эндорфинов. Не провоцирует он гормоны радости, она только щёчки наела. Горький шоколад, ела девушка исключительно горький, не справился с обидой максималистки на систему высшего образования.

В один из обеденных перерывов Молоденькая сидела недалеко от конторы, прикрыв глаза, подставив лицо солнечному теплу. Весна, приятный ветерок, в то время как в бетонном здании, где располагался адвокатский офис, круглый год промозглая сырость. На скамью подсела женщина средних лет.

— Вы сюда? — заговорила женщина с Шахидой. Женщина явно искала сочувствие, чтобы поделиться тем, что пёрло наружу. — Я издалека.

Шахида открыла глаза, взглянула на незнакомку. Открытый лоб, выбившиеся из-под небольшого платка волосы крашены. Обычная женщина в обычном, несколько нарядном, платье, наверняка лучшем в гардеробе. Трагедия с лица не считывается, как обычно у посетителей их заведения. Исходя из запроса, Шахида советовала, если клиент располагал к себе, а женщина расположила к себе, какого адвоката выбрать, поэтому поинтересовалась:

— Что привело сюда?

— Мужа, сына, невестку посадили в разные колонии. Можно их в одну колонию перевести? Хотя бы виделись. Мужу совсем плохо, болеет, — без надрыва, об аресте семьи — как о рядовой банальщине, ввела в курс дела незнакомка.

— За что? — Шахида пришла в тонус. Горькие драмы разыгрывались на бумагах, проходивших через её руки, но троих из одной семьи отправить в колонию — со столь злосчастным делом она не соприкасалась доселе.

— На молитву встали, ходили в один дом изучать Писание. Я оставалась с внуками. Всех, кто был в том доме в ту пятницу, арестовали.

Женщина не договаривает, подумала Шахида. Невестка, молодая женщина с двумя малышами, не могла совершить тяжкое противоправное деяние, за которое присуждают срок больше, чем за убийство, — семь лет. Оценив просительницу ещё раз, передумала. Похоже, не врет: простодушная, первому встречному выложила крутую историю: кому четырнадцать, кому двенадцать лет колонии строгого, даже не общего, режима.

Шахида прямо на скамейке начала составлять заявление. Поразмыслив, решила, лучше, если оно будет рукописным, не отпечатанным. Продуктивнее всего обратиться с ним к омбудсмену по правам человека. В офисе оперативно уточнила расписание омбудсмена, как проехать в центр по правам человека. Благословила, как могла, женщину в путь.

Почему большие сроки, изумится она вслух, когда просительница уйдёт. И амнистии не подлежат, просветят адвокаты. За молитвы и пост, за строгую одежду посадили надолго, громко возмутится девушка. Запрещённую литературу нашли, возможно, что-нибудь опаснее брошюр, возразят юристы. И вообще, нельзя собираться в домах для коллективной молитвы, мечеть для чего, пояснят они. Забыла, большевики с домашних ячеек начинали, отреагирует мать. И с маёвок, добавит отец, и до чего дошли? Вдруг и у них получится, задаст она вопрос отцу. Вряд ли, хотя почему нет, уклонится от ответа мужчина.

Хорошо знать историю. Она мало предсказуема, однако с завидным постоянством повторяется.

Вторник, последующие, не меньше месяца, дни прошли по накатанной колее, в суете. Молоденькая ушла в небытие до случайной встречи Леры с Давроном, вошли в один вагон метро. Поезд мчался, ветер завывал в туннеле, мешал говорить. Держась на поручни, они разговаривали во время остановок. Сидящие не могли их расслышать. Разговор свернул на тему без обмена приветствиями: как дела, что нового и т.д.

— Под наркотой были? — Лера спросила про «них». В морг, где работал Даврон, доставили не только Молоденькую, но и её соратников.

К самоподрыву привыкнуть нельзя. Нормальный человек не взорвет себя, тем более, женщина.

— Не похоже. Даже не пьют, — осёкся Даврон, — не пили. Не курили. Вели здоровый образ жизни, — объяснил, почему пришёл к такому выводу: — Свежие лица, легкие чистые. На наркоту анализы взяли. Я не видел результатов, мне не показывают. По визуальному осмотру вряд ли наркоманка.

— Не верю. Как можно подорваться на пару с подругой? Японские камикадзе — мужчины! Перед вылетом саке выпивали, хотя годами готовились.

— Наших тоже готовили. Не думаю, что годами. Скороспелки. Гадать не буду. Без транквилизаторов не обошлось, почти уверен.

— Кокнар?

О других транквилизаторах Лера была не осведомлена. С кокнаром она «познакомилась» у Бердиевых в возрасте пяти лет. Нилюфар не говорила по-русски. Её через два года отправят в русскую школу, она была ближе к дому. Лера не знала другого языка, кроме русского. Девчушки прекрасно понимали друг дружку и кукол. Повзрослев, со смехом спрашивали себя: как?

Приехал к Нилюфар родной дед — оживший старик Хоттабыч. Он немедля, с комфортом, полулежа расположился на айване под навесом. Подружки на том же айване играли в больницу. Деду принесли свежезаваренный зеленый чай, пар дымился над пиалой. Хоттабыч достал из внутреннего кармана камзола холщовый мешочек, опустил в пиалу с чаем, с усилием давил чайной ложкой набухший мешочек, затем всасывал чай маленькими глоточками. Видно было, наслаждается церемонией. В конце выудил мешочек, туго скручивая, выжал содержимое в пиалу и, это удивило девчушек больше всего, убрал мокрую тряпицу во внутренний карман камзола. Они знали, так делать нельзя, нельзя мокрые вещи прятать в карман.

Необычное питье обычного чая сфотографировалось детской памятью Леры во всех подробностях. Отведав чаю, старик прилёг на подушку, свернулся калачиком, положил руку под голову, заснул совсем как малыш. Много лет спустя до Леры дошло, в мешочке был кокнар, высушенные головки мака. Не кулинарного.

— Пожалуй, седативное глотали недели за три.

— Понедельник начинается в субботу?

— Непосредственно перед заданием седативное пить — непредвиденная реакция может развиться.

— Например...

— В прострацию впасть, галлюцинации поймать. Не исключено, в заторможенном состоянии находилась. Хотя самоподрыв сомнамбула вряд ли совершит. Даже не знаю, что сказать.

— А я знаю. Кукловоды руководили из укрытия.

Молоденькая не могла в заторможенном состоянии приехать к месту событий автобусом или метро. «Благоверные» мужчины подвезли в назначенное время в назначенное место, подтолкнули выйти из машины, пасли недалеко. Бабахнуло, рванули живыми и невредимыми с радостной вестью до главных кукловодов, что шахида не подвела.

Выяснять отношения с властью, воевать за передел мира — сугубо мужская забава: «Когда мужик войны не видел, то он вроде нерожавшей бабы — идиотом живет»[1]. Зайнаб аби из Лериной махалли любила вступать в разговор с детворой, говаривала мальчишкам: «Мне моя бабушка повторяла, я вам скажу: увидите войну». И запевала старинную прощальную частушку на татарском. Могла в пляс пуститься, притоптывая правой ногой в такт куплета:

Биз урамда уткан чакта
Кутарилде тузанлар
Я койтарбыз, я койтмабыз
Сау булыгыз, туганлар.

Пугающее утверждение, каждое поколение увидит войну, врезалось в память Леры, хотя войны и голод были для неё далекой книжной историей. Пророчество чудаковатой бабки соседи помнили. Длинная жизнь старушки указывала на правоту сентенции. Деда выслали на Дальний Восток как раскулаченный элемент. Где похоронен, потомки не знают. Кое-как семья выжила, вернулась в неполном составе с Дальнего Востока на родной Урал. Не успели обустроиться, Великая Отечественная война началась. Во время этой большой войны дети траву ели, отруби, гнилую картошку. Обиды на государство не было, общая беда случилась.

[1] А. Платонов, «Котлован».

После Победы думали, больше не будет войны, голода. На ноги встали, одолели разруху. «Голод кукурузный», выражение Зайнаб аби, наступил. Мяса хватало, муки не достать. Она только вышла замуж, родила сына. Берет молодая мать младенца на руки, больше некому присмотреть за сыном, и к магазину. В очереди горланят, ругаются, до драк доходит. Женщину с ребёнком хвост очереди старается протолкнуть вперед. Чем ближе к продавцу, тем труднее протолкнуть. На плачущего ребёнка наплевать тем, кто близок к прилавку. Полегчало, когда талоны на продукты по составу семьи ввели. У кого родственники в России в деревнях жили, высылали посылки с мукой. Мать дочери два раза высылала муку, больше не могла. Кроме старшей Зайнаб, у женщины после войны родились ещё дети.

Праздник для Зайнаб наступил в апреле. К апрелю относилась она трепетно: «Доживём до апреля, дальше ерунда». Умерла бабка в феврале, не дождалась очередного апреля. В тот памятный для Зайнаб апрель муж частнику большую работу выполнил. С ним расплатились мукой, рисом, макаронами, печеньем. «Вот по столько принёс, — бабка делала круг руками перед грудью, вроде как мешок не обхватить. — Я ночью проснусь, встану, выйду на террасу, проверяю, стоят ли продукты или мне они приснились. Мама должна была приехать в гости, чем будем кормить, обдумывала каждую ночь. В один прекрасный летний день соседка кричит через дувал: «Зайнаб, суюнчи, лысого сняли». Настоящий байрам устроили. Гуляли всей улицей. С продуктами хорошо стало».

Тем не менее, Зайнаб аби постоянно запасала продукты впрок. Покупала муку, рис, сахар мешками, макароны коробкой. Внучке привила это правило. Деньги порви, проглоти, не наешься, говаривала старушка, с запасом спокойней.

В эпоху позднего застоя Зайнаб переживала за сына, боялась, в Афганистан пошлют служить. По научению соседок заставила сына сбрить усы. Загорелый дочерна паренёк с усами походил на афганца. В народе ходил слушок, в первую очередь туда отбирают призывников, внешне похожих на афганцев. Зайнаб хулила правительство: «Зачем ворошить осиное гнездо? Они же басмачи. Сами разберутся». Афганская беда её миновала. Сына послали служить на год больше — моряком на северных морях.

Успокоилась бабка, забыла собственное пророчество. Новые подтверждения не заставили долго ждать. То месхетинцев выселяют, без солдат не обошлось. То на границе тревожно. То студентов усмиряют, опять пострадавшие. Снова, нет, не голод, дефицит. Уже не было в живых бабки, как грохнули взрывы в городе, прозвучала стрельба. Как не вспомнить: «Вот увидите, будете вспоминать Зайнаб аби, и вам войну доведётся узнать».

Ковид-19 заставит Леру вспомнить бабку в 2020-м: бронемобиль медленно едет по пустынной улице, суровый голос просит население оставаться дома. Люди в белой спецодежде с толстым экраном на лице распыляют дезинфекцию. Чем не война? Без свинца, отравляющих веществ, танков. За право дышать. Немало павших.

У каждого поколения своя война, но зачем втягивать в войну женщин, матерей, поручать им кощунственные акции? Зачем делать из жён факел? Чтоб сохранить собственные жизни — мысль, которая пришла на ум, но развивать её Лера не стала. Даврон говорил интересные вещи:

— Родственники встречались, братья, сестры. По два-три тела в один дом увозили.

— Куда?

— Конкретно? Двух братьев, например, на ММЗ.

ММЗ — жилой массив машиностроительного завода. Оазис в оазисе, зеленый и тенистый район города, по большей части частный сектор. Прорезающая микрорайон магистраль, взгляд через его просвет упирается в величественные горы на горизонте. В лабиринтах Старого города, в бетонных муравейниках окраин не тянет предаться размышлениям о судьбах страны, каждодневная беготня поглощает горожанина без остатка, не до поисков ответов на вечные вопросы. В ММЗ свежо и убрано. Дома с крепкими дувалами[1] — воплощение прайвиси, куда нет входа толчее мегаполиса. Дышится легко и свободно.

Как дышится — так думается. Иначе. Кучке молодых людей внушили, те внушились, что они — избранные, не от мира сего. Лучше обывателей? Их призвали для начала показать силу, напугать, затем сломать систему. Если бы не ваши сверстники в погонах на страже власти, учили лидеры, систему реально переделать по канонам справедливости. Что это было? Очередной преступно-глупый «розовый»[2] оптимизм, которым болеют смельчаки? Или крайний гнев неравнодушных к проблемам общества граждан? Большинство горожан толком не были знакомы с их лозунгами; взрывы и точечные боестолкновения не откликнулись в массах. Не было ясности, что конкрет-

[1] Дувал — забор из кирпича или сырца.

[2] По Н. Бердяеву.

но повстанцы предлагали изменить после победы.

Одержимые ребята пьянели от внятной идеи: если «убрать» силовиков, перестроить систему на благо беспечным соотечественникам не составит труда. Смутьянов отлавливали. Наперекор системе, они множились. Не раз «репетировали»: то машину взорвут возле важных зданий, то перестрелку откроют на границе. Кто они: «Кто гиб за веру или те, кто жёг еретиков?»[1]

Была ли созидательная программа перемен у мятежников? Претензии предъявлять легче, чем созидать. На деле противостояние вылилось в трёхдневную разведку боем, насколько пуленепробиваемы силовики. В итоге жертвы по обе стороны конфликта. И, увы, из случайных прохожих. Недоверие сторон углубилось до непримиримости. Победителей не было. Усвоенных уроков тоже. Через год с небольшим после беспокойной весны в городе вспыхнут беспорядки в Долине, повлекшие сотни жертв среди мирного населения.

— Один в банке работал, другой диплом врача должен был получить в июне, — Даврон не терял нить разговора, в отличие от Леры, которую тянуло на общие рассуждалки.

— Они, что, с дипломами в карманах к вам «прибыли»?

— Отец их сказал. Среди наших... клиентов немало студентов... было.

Шахиде не везло с образованием. Она не поступила на юридическое отделение и со второй попытки. Знания в объеме школьной программы остались прежними, конкурентов прибавилось, чего не учла девушка. Повторный — уже не драма, трагедия — досадный провал превратил мечтательницу в пластичный динамит. Случилась ломка представлений, ожиданий, характера. Напрасно напрягала мозги, отказывала себе в удовольствиях, натирая мозоль на пятой точке. Отними, убей мечту, которую юный взрослый взращивал годами, он подпишется под любым лозунгом, встанет под любой флаг, порвет всех, только сначала раздели беду, посочувствуй несчастью, потом мягко и тихонько попроси что угодно.

По осени обиженных на жизнь молодых парней и девушек — пруд пруди. Зачастую абитуриенты из глубинки, не зачисленные в университеты, не возвращаются под отчее крыло, скрываются от унизительного позора, шатаясь в городах. В поисках пропитания и крова на мардикер-базар мастеровых забредают. И в сети, расставленные всеми кому не лень.

У Шахиды с родителями был уговор: если не поступит на очное отделение юрфака университета, забирает документы, подает их на заочное отделение финансового института. Математика всегда при ней. Не устраивая громких страданий, она поехала за бумагами, как только стало известно, что не набрала нужного количества баллов. Абитуриентов, приехавших за документами, набралась целая траурная процессия. Ребята и девчата стеснялись взглянуть друг на друга, не общались между собой.

Рядом с Шахидой стояла девушка в красиво задрапированном шифоновом шарфе. От неё шёл приятный пряный запах. Шахида с трудом признала запах камфары. Компрессами с камфарным маслом мать лечила детскую ангину. Она ненавидела его бронебойный запах. Незнакомка не пахла резко. Запах притягивал, располагал к общению. Девушки разговорились. Оказалось, Тамара по баллам не прошла на бюджетное место, но прошла на контрактное обучение. Ей предложили забрать документы за сто пятьдесят долларов, неплохая сумма для юной девушки.

— Кто предложил? — Шахида закачалась, будто это её ударили по самолюбию: нельзя размениваться, каков бы ни был соблазн.

— Родители одной девушки. Она не прошла на контракт. Нас трое до неё, заберём заявления, очередь на контракт сдвинется, она будет учиться.

— Троим предложили? Можно разве? — легковоспламеняющаяся юная барышня усмотрела в сделке вопиющую несправедливость.

Почему нет? Контрактное (читай: за деньги семьи) образование могут позволить не все. Девушка не виновата, что её семья способна оплатить образование, а у троицы — нет. Для гарантии, в качестве моральной компенсации, им по 150 долларов на руки выдадут. Чем не вариант? Что не самая умная девица будет юристом — всего лишь словеса. Социальный отбор выдирает в элиту самых расторопных, не брезгливых, приспособленных к реалиям, далеко не умников и умниц.

— Кто будет проверять? В приёмной комиссии посоветовали не тянуть с документами.

— Ты, — не веря, что прозвучавшее — правда, хотя разумом понимая, на самом деле, правда, Тамара скоро забёрет свою папку-скорошиватель, Шахида не сдержала внутренний протест, сглотнув комок в горле, прошипела: — Согласилась?!

— Да. Вон стоят возле машины. Увидят папку, дадут деньги, — Тамара поворотом

[1] У. Эко, «Маятник Фуко».

головы указала на женщину и мужчину возле вишнёвого авто. Парочка следила за ними.

Романтичная с виду Тамара говорила, не срываясь на крик, на ровном дыхании, отвечая на поступавшие вопросы Шахиды, не нарушая очередность. Вела беседу как опытный вербовщик. Погасила Шахиду за полчаса. Спокойный тон безотносительно к содержанию речи убедителен. Девочка, твой характер — это война[1]. Шахиду взяло зло. Она вытянула шею в сторону Тамары, прорычала:

— Продалась за сто пятьдесят долларов? Я бы нарочно назвала полторы тыщи, чтоб не смогли купить, а документы забрала бы в сентябре.

Глядя на невозмутимую Тамару, хранившую стальное молчание, не девушка — изваяние, Шахида устыдилась, убавила пыл.

— Денег у родителей нет? — знала, любой родитель себя под проценты заложит, но достанет деньги, лишь бы ребёнок учился, раз поступил, пусть на платное отделение. — На втором курсе подрабатывать сможешь. Главное, наскрести на первый год.

Шахида настойчиво отговаривала Тамару не забирать документы. Непреклонная Тамара не поддалась:

— Нам нелегко найти деньги. Но я отказалась не поэтому. Юрист — мужская работа.

— Что ты знаешь об этой работе? Моя мама в МВД работает, — обиделась сначала Шахида, но быстро взяла себя в руки по примеру хладнокровной Тамары.

Между девушками потёк тихий разговор.

— Женскую работу кто делает?

— Домашнюю? Все. Я с двенадцати лет готовлю, не каждый день, конечно. За братишкой смотрю. Папа маме помогает. Что плохого?

— Женщины могут, конечно, работать. С детьми, в больницах. Но они отобрали серьёзную работу у мужчин, хотят всё переделать по-своему.

— Знаешь, сколько среди мужчин жуликов? Девушек насилуют...

— Есть плохие мужчины. Мы должны довериться хорошим, дать им шанс устроить жизнь по правилам.

— Смешно.

— Многие, как ты, не верят, поэтому плохо живём. Надо провести эксперимент, отдать серьёзные задачи решать мужчинам. Тогда жизнь, думаю, изменится.

— Женщины что будут тогда делать?

— Заботиться о своём мужчине, о детях от него.

— Наподобие домашнего ареста?

— Почему? Развлекайся, только вместе с мужем.

Шахида не могла представить, как развлекаться вдвоём. Её родители в свободное время не пересекаются. На пару лишь в гости выходят:

— Если разный спорт любят? Жена, например, стрельбу, муж футбол?

Пацаны уважали Шахиду за твердую руку, за КМС по стрельбе из пистолета, щелбан по лбу даст — жди синяк. Отец привёл её в тир в военном городке, где сам пропадал по выходным. Стрельба усмирит темперамент чересчур бойкой дочки, полагал он, научит отстраняться от эмоций, сосредотачиваться на цели: возникнет препятствие — рука не дрогнет. Не помогло. Девушка дрогнула от первых жизненных неудач. На площадке возле медресе натренированные руки затрясутся, клеммы не сомкнутся.

— Не знаю, как быть в подобных случаях.

Тамара встала на паузу, следом Шахида. Слишком они разные, обе замолкли. Первой очнулась Шахида. Неординарное словомыслие девушки из очереди всколыхнули подозрения:

— Кто тебя учит насчёт мужчин, эксперимента...

— Бабушка. Её мама, моя прабабушка, была отыной. Женщины советовались с ней, она учила их правилам. Биби Шафирой звали.

— И моя прабабушка учительницей была. Эркиной звали. Паранжу сняла, представляешь? Паранжа — тяжелая, ты примеряла? — Тамара покачала головой. — А я примеряла.

— Ты же сказала, паранджу Эркиной сожгла?

— Это паранджа сестрёнки прабабушки. Ну, или Эркиной. В сундуке лежит один, короче. Надеваешь тюбетейку или под платок волосы убираешь, накидываешь на голову чёрный чачван. Видела чачван? — Тамара кивнула. — Сетка из конского волоса. Он примерно досюда, — ребром ладони Шахида перерезала себя по талии. — На сетку, в смысле на голову, чтоб сетка не сползала, специальный тяжелый чапан.

— Специальный?

— Рукава узкие, руку не проденешь, игрушечные. Для красоты, наверное.

[1] Из песни «Девочка-война».

— Удобно?

— Неудобно, мешает. Как матрешка, одежда слоями зимой и летом...

— Одним цветом.

Девушки рассмеялись: прабабки разминулись, правнучки сошлись.

— Эркиной не влетело за паранджу? Что в костёр бросила?

— Вроде нет.

— Муж из дома не выгнал?

— Её выдали замуж за старика. Она сбежала, чтоб не забеременеть от него. Представь, нас с тобой выдали бы замуж за старика. Ты бы смогла жить со стариком?

— Нет, конечно. Бабушка говорит, паранджу сжигали по приказу из Москвы. Кто сжёг паранджу без согласия мужа, избивали, из дома выгоняли. О чём они думали? Жить негде, есть нечего, от детей отлучили. Некоторые себя поджигали. Представь, женщина горит, как факел.

— Да нет. Тряпки горят, тело не очень. Не все себя сжигали. Эркиной прекрасно устроилась. Её на учёбу послали.

— А безграмотным куда было деваться?

— Эркиной тоже безграмотная была. Отучилась здесь, послали в Москву. Вернулась, учительницей работала. А ты: «Москва приказала». Москва ей профессию дала, другую жизнь показала. Я б хотела в Москве учиться. Вот ты в Москве была? — услышав Тамарино «нет», Шахида продолжила тираду: — Женщины сами захотели паранджу сбросить. Смотри, — она покрутила головой, — у всех лица открыты, разве плохо? Видно, кто красивый, кто добрый, а кто вредный. У твоих противные рожи, — она изобразила взглядом презрение к спонсорам Тамары. — Я не собираюсь скрывать лицо. Мое лицо, что хочу, то делаю. Не нравится, пусть не смотрят на меня, как эти, твои.

Спонсоры не отводили глаз от беседовавших девушек, сторожили. Шахиду подмывало подойти к ним, напугать: «Сейчас ректору пойду скажу, какую аферу проворачиваете тут». Знала, не пойдёт из-за Тамары. Что оставалось? С ненавистью щуриться в их сторону. Или высунуть язык, состроить гримасу. Дуракаваляние не одобрила бы Тамара. Ограничилась злобным прищуром.

— Не надо лицо скрывать, только волосы, шею надо прикрыть. Твоя красота будет принадлежать одному мужу, чтоб не соблазнялись другие мужчины.

— Мужчин надо упрятать в паранджу, если соблазняются. Почему я должна скрывать красоту, если она есть?

— Лицо открыто — достаточно.

— А волосы, фигура? А если я лысая?

— Муж будет жить с лысой.

— Сбежит.

— Если вступил в никах, не сбежит.

Шахиду покорило «муж будет жить с лысой». Интересней и интересней становилось спорить с Тамарой.

— Шарф бабушка заставляет носить? Не мешает? — спортивная Шахида ценила в одежде в первую очередь комфорт. — От солнца защищаешься?

— Покрытая голова — знак, что покорилась Всевышнему.

— Как ошейник на собаке. Потуже натяни — заскулит, повинуется.

— Побойся. Всевышний припомнит в судный день всё, что ты говорила, — Тамара отвернулась. — Поэтому он не помог тебе с юрфаком.

Шахида считала, причина её провалов — отвернулась фортуну. Она знала, и это было сущей правдой, что не уступает успешно одолевшим конкурс ни по интеллекту, ни по устремлениям. Просто им повезло. В очереди за документами ей впервые сказали, существует иная зависимость, не от судьбы, от Всевышнего. Если попросит Всевышнего, научится его слушаться — Молоденькая не могла соотнести себя и «покориться» или «повиноваться» — удача не оставит впредь, даст всё, в чём она нуждается. Тамара не намекнула, открыто заявила, от Шахиды отвернулся Всевышний. Не глупая же девчонка. Вдруг слова её верны?

— Что собираешься делать? — как Тамара распорядится жизнью после пролёта с университетом, разбирало Шахиду.

— На курсы арабского пойду.

— Зачем? Английский больше нужен.

— Бабушка считает, Писание следует читать на арабском, самой переводить. Писание не прямо с арабского, с русского перевода учёных наши перевели.

— Думаешь, неправильно перевели?

— Ничего не думаю. Хочу сама читать, чтоб понять.

Вечером за ужином Шахида объявит родителям, что подала документы на заочное отделение финансового института, параллельно пойдёт на курсы арабского языка.

Нашла занятие, обрадуются родители. Они сильно переживали, что после повторного провала дочь последует примеру одноклассника-медалиста или заболеет головой. Шахида умолчит, что умная Тамара вдобавок склонит бесхитростную Шахиду посещать домашнюю ячейку некоего имам хазрата.

Этим путём, разочаровавшись в правосудии, в высшем образовании, правдолюбка уйдёт из адвокатской конторы в нелегальную организацию, полагая, что кружок на дому — сугубо просветительский факультатив. Туда её заманит Тамара рассказами, какая она, праведная жизнь. В кружке методом погружения из ропщущей максималистки день за днём будут ваять аскетичную послушницу.

В деле взращивания фолловеров нелюбимых не бывает. Ценен каждый кадр; кто попался в сети, того перевоспитывают.

Как с ходу понять природу организации, которая маскировалась в безобидный кружок по изучению, как жить по Писанию, как приличествует вести себя благонравной девушке. Где проповедовалось о справедливости и равенстве, о милосердии и благотворительности. На пальцах доказывалось, что секрет крепкой семьи в умении уступать. Молодёжь учили, стоит метод попробовать, жизнь в доме наладится. Мать с отцом Шахиды спорили на равных, никто никому не уступал, разруливало конфликт время. Дочь догадывалась, родители не могли жить друг без друга, поэтому незаметно-незаметно мирились. Она решила, у неё будет иначе, она не будет перечить мужу, за которого выйдет замуж по порыву души. Будет примерной во всём: в быту, в отношениях, в деле. Ей-то это под силу.

Девушка каждый день допоздна пропадала на учёбе. Родные волновались, но не задавали ей вопрос, почему столь непомерные нагрузки на языковых курсах. Вопросы отпали, когда, увидев дочь в хиджабе, мать чуть не упала в обморок. На расспросы родителей, почему хиджаб, дочь раскроет тайну, что давно посещает не только курсы арабского языка, но и собрания единомышленников. Хиджаб снимать не собирается, это непозволительная измена, отныне советоваться будет с домлой, не с ними, погрязшими в грехах.

Дома она теперь жила по собственным законам, когда мать не указ, указ хазрат. Он порекомендовал выйти замуж за члена кружка. Пожалела ли, пожелала ли соратника — причины не важны, важен факт: забрала из дома два платья, ушла к мужу, изредка забегая в квартиру повидаться. Белое платье, фату, обручальное кольцо, застолье, песни-пляски — ерунду на постном масле велено было забыть. Забыла. Заодно «забыла», что не первая жена назначенному мужу, первая — меркантильная женщина, не разделяет высоких целей. Он — мужчина. Лидер. Избранный. Накануне роковых событий вместо саке она его ублажит. Или он её.

Комол заприметит Шахиду сразу, как только она появится в их сообществе. Что за красавица, спросит он парня рядом. Какая, поинтересуется тот. Вон, со щёчками, глазки, вишь, горят. Спросит громко, чтобы новенькая обратила на него внимание. Комол вибрировал страстью, долетавшей до Шахиды. Она услышит щедрый комплимент в свой адрес; ощутит его страсть кожей, глазами, нутром. Впервые почувствует интерес взрослого мужчины, занятого таинственным делом, к своей скромной персоне. Она не воспринимала сверстников как возможных спутников по жизни. Ей понравится, что нравится не юноше, экшн мэну, откликнется на его призыв — раскраснеется в ответ.

Процесс сближения пройдёт молниеносно. Спустя три месяца Шахида согласится стать женой Комола, когда предложение от его имени озвучит лидер кружка. Юной жене доходчиво объяснят, муж и жена едины, пока не зачали ребёнка, надо отважиться на жертвоприношение ради общего блага. После деяния, кураторы обещали, справедливости прибудет в мире.

Прибыло жертв. Молоденькой гарантировали, они будут воевать с блокпостами, армией, милицией, мирные жители не пострадают. Они что, лелеяли надежду, так и произойдёт? Или махнули рукой на вероятность случайных (читай: невинных) жертв? Этим вопросом Лера будет мучиться бесконечно.

— Сделаешь, что говорят, сразу в рай попадёшь. Там никто и ничто не разлучит нас, — уговаривал муж. — Что молчишь? — злился. — Не веришь?

— Верю, — с грустью окликалась жена. Роптать её отучили. — Нельзя позже на дорогу в рай вступить? Мы ещё не пожили в этом мире как следует.

— Ты что?! Им сейчас здесь хорошо, потом вечно будет плохо. Ты тоже этого хочешь? Учи: «Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров»[1].

Что такое дочь для женщины? Жон рохати. Покой души в старости и в немощи отняли у матери. Милую строптивую девчонку заковали в оковы смирения так скоро-

[1] Коран, сура 6, аят 162.

палительно, что матери осталось только за сердце хвататься. Платок на голове дочери означал: прежней жизни не будет. К чему приведёт новая жизнь, неизвестно. Это пугало мать. Между ними разверзлась пропасть непонимания. Самые близкие и родные встали по разные стороны пропасти. На одной льдине раскола — ходячая энциклопедия морали с восковым лицом: работать рядом с мужчинами нельзя, взбивать в начес волосы нельзя, смотреть телевизор нельзя, устраивать пирушки и веселиться нельзя. На противоположной стороне — отнюдь не пуританка, всего лишь добросовестная блюстительница привычных устоев: государство — это мы; государство позаботится; государство — наша гордость. Мать учили гордиться, она гордилась худжумом[1].

В 30-е годы беспокойного двадцатого столетия при скоплении народа мусульманки сбрасывали паранджу в костёр. Одна из самых известных площадок проведения этой акции находится недалеко от рынка, у входа в который через восемьдесят лет подорвётся Молоденькая. Облачившись в хиджаб, на изломе веков, правнучки совершили перевертыш худжума: подвергли массированной дискредитации достижения советской секуляризации. Назовут сей феномен неотрадиционализмом.

Любопытство к укутанным женщинам утихнет, когда их количество достигнет критически большой массы. Публика привыкнет к их виду, пока не взбаламутит общественное мнение мадмуазель Луиза, которой, кстати, как Молоденькой на момент самоподрыва, на момент её смелого выпада против официоза было девятнадцать лет. Луиза выдержит экзамены в Исламскую академию. Вцепившаяся в право носить платок, девушка подаст в суд на Академию, настоятельно рекомендовавшую студенткам, в том числе Луизе, опростоволоситься на время занятий. Суд она проиграет. Луизу исключат из Академии за несоблюдение административных норм. Отчаянную поборницу условностей — в перечень пяти основополагающих столпов Писания хиджаб не входит — не замедлят поддержать зарубежные менторы, выделив грант на учебу за границей. Подождём. Наверняка она заявит о себе.

Учебные заведения примут студенческий, весьма условный, дресс-код, единственное требование которого — не подчёркивать конфессиональную принадлежность — минимальная цена, которую руководство вузов попросит ради взращивания межрелигиозной толерантности в молодёжной среде. Коллеги Леры вздохнут с облегчением. Лишь Шухрат будет ворчать: «Недемократичная мера».

— Напротив, весьма демократичная, — возразит Лера. — Мне немец рассказывал, в их фирму в Гамбурге приняли мужчину нетрадиционной ориентации. С девяти до восемнадцати он обычный сотрудник, ничем не выделяется. После работы переодевается в женщину, красится.

— Противно. Я б ему руку не подал, — Шухрат поморщится.

— Почему? Боитесь, что ориентацию передаст?

— Не приемлю такое поведение.

— Служба есть служба. Вероисповедание не должно отвлекать от профессиональных обязанностей, согласны? Дресс-код в университетах — демократичная мера. Допустим, я кришнаитка, на работе в белом балахоне расхаживаю, браслетами трещу, понравится это мусульманке или католику?

— Браслеты? Мне б понравилось.

— А мне — нет, — оборвала демагогию Шухрата старшая из коллег Василя.

Лера передумает рассказать коллегам, как однажды она испугалась. В перемену без стука откроет дверь в аудиторию, наткнётся на трёх парней, совершающих намаз. Юноши испугаются не меньше преподавательницы, свернут молитву, проскочат мимо оцепеневшей преподавательницы.

Священные писания, любые, — система универсальных констатаций. Оставаясь неизменной на протяжении веков, зафиксированная в тексте информация неизбежно рождает задачу своей интерпретации исходя из новых реалий, новых знаний, новых задач. В писаниях есть текст, есть контекст, есть парадигма. Их согласовывают, но вариативно. Как трактовали понятия веры, награды, войны, самопожертвования наставники Молоденькой — не узнать теперь. Молоденькая испытает шок на курсах арабского языка. Сколько слов арабского происхождения используются в повседневности: кофе, халат, лимон, апельсин, магазин, алгебра, цифра, алкоголь, гашиш графин, кайф — не перечесть. Великий язык! Чтение Писания в подлиннике — как иначе изучать язык, если не на основе учения? — вызывало трепет и упоение у новенькой курсантки.

Девушка переживёт потрясение, когда арабист расшифрует её имя. Родители, сама Шахида полагали, она «королева», «владычица». Неучи, и те знают, кто такой «шах». На курсах она узнаёт, имя образовано не от титула шахини; она — «очевидец» благодеяний Всевышнего; правдивая свидетельница, а не тот лицемер на суде, который кля-

[1] Худжум (букв. — наступление, атака) — движение за равноправие женщин в советском Туркестане.

нётся говорить правду, на деле привирает, как ему выгодно. «Шахида» не просто свидетельница, святая душа, которая, если потребуется, сложит голову за веру и истину Писания. Подвиг не останется незамеченным Всевышним. Дарует награду — примет к себе в рай: «Из верующих остающиеся во время войны дома, не принуждаясь к тому необходимостью, не равны в ревности подвизающимся на пути Божием с пожертвованиями своим имуществом и своею жизнью. Воюющих за веру с пожертвованием своего имущества и своей жизни Бог поставил выше остающихся дома, по степени достоинств их; всем Бог обещал прекрасную награду, но воюющим за веру предоставил Бог большую, нежели тем, которые остаются дома»[1]. Им придётся оправдываться.

Переодеться в хиджаб, мусульманское подобие одеяния монахинь, был исходным ответственным поступком молоденькой Шахиды. Хиджаб не просто платок на голове, это стиль и образ жизни. Новый идейный код, новая эстетика. Никабы не прижились, хотя женщины-нидзя изредка маячили на улицах города. Они наводили ужас на взрослых, вызывали горячее любопытство детворы. Вот кому вирусы не страшны, маска всегда на лице, шутили во время ковида. Носить никаб по гигиеническим соображениям — это осквернение веры, грех. Зачем грешить, если можно не грешить? Ковид не привёл к росту числа женщин в никабах.

Привозные, на первых порах, хиджабы были зарубежными; платья, шарфы дарили неофиткам бесплатно. Что за фокусники, из каких закромов они их доставали, неизвестно было обывателям. Вместо коротких юбок и глубоких декольте хиджаб предлагал облачиться в диаметрально противоположный наряд — в длинное, в пол, платье, голову укутать в тонкую шаль. Фактически в два платка: в тугой убираются волосы, поверх него ниспадает на плечи второй, больший по размеру. Просторное прямое платье не разрезает фигуру по талии. Вертикаль делает женщину выше, значит — стройнее. Простор, насыщенные тона вуалируют объемы; очертания комплекции лишь угадываются. Из украшений вышитый орнамент на однотонной ткани. Взор поневоле задерживается на лике, заключенном в овальную раму платка: платок заколот под подбородком, края покрывают шею и плечи.

Сторонний взгляд не блуждает по прическе, серьгам, колье. Он сосредотачивается на очах, подведенных сурьмой, на матовой коже, не иссушенной макияжем, на сияющих чистотой и здоровьем щёках. Барышни в экзотическом одеянии в людном месте притягивали пристальное внимание не меньше, чем их ровесницы в откровенно сексапильном наряде. Они казались загадочнее обнаженных женщин. Завернутых девушек парни заваливали предложениями руки и сердца, простодушно полагая, что покрытые с головы особы заведомо послушнее и домовитее сверстниц, одетых по-европейски, то есть обтянуто и пестро.

Как только замелькали хиджабы, о новой «моде» часто судачили в махалле, где жили родители Леры: «Слышала, Назаровы, наконец, дочку замуж выдали? Не прошло и десяти дней, как покрылась, сваты повалили». Ёще активнее в махалле обсуждали развод Нодира: «Участковый ругаться приходил, мужики подтрунивают. Что за мужик, не уговорит жену сфотографироваться. Все на участке сменили паспорта, его жена до сих пор с советским паспортом ходит». Нодир оправдывался, для фото на паспорт платок надо снять, жена не снимет, даже если приставить пистолет к виску. Мужчина устал уговаривать жену, развёлся. «А ещё его жена часто пост держит, — Женщины переходили на шепот. — А в пост то нельзя, это. Переспать нельзя с мужем, не выдержал мужик, ушёл».

Кроме месячного поста в месяц Рамадан, есть необязательные, но желательные посты в 13-й, 14-й, 15-й день каждого месяца. По понедельникам и четвергам; в отдельные даты Шавваль, Зальхиджа, Шаабан месяцев. Ещё, и ещё, и ещё. Лучше поститься, как Давуд, через день, растолкует Лере Зубейда, дочь соседей: «Правда, что постов, кроме Рамадана, много?» И польётся... Столько сурового самоограничения!

Зубейда выросла молитвенницей, соблюдающей посты и строгие правила в быту. Мать работала медсестрой, через сутки на перекладных тащилась на дежурство в другой конец города. Зубейда не нашла работу по жестким параметрам, предъявляемым к женщинам почитаемым ею наставником: нельзя находиться в тесном автобусе, в час пик пассажиры, мужчины и женщины, трутся друг об друга; нельзя работать в одном помещении с мужчинами; нельзя пропускать намаз, хотя начальство не поощряет перерыв на молитву в рабочее время. «Замуж выдайте тогда, — приставали кумушки к матери Зубейды, — раз нельзя ей работать». «Были претенденты, — признавалась женщина, — дочь выйдет на встречу, возвращается недовольная: «Просила процитировать один аят — не смог, просила напомнить другой аят — не смог. Не намазхан[2], замуж не пойду».

[1] Коран (пер. Саблукова), сура 4, Ан-Ниса, аят 95.
[2] Намазхан — богомолец.

Житейские коллизии в знакомых семьях Лера не замечала, сосредоточившись на личных карьерных и матримониальных перспективах. А на дворе гуляла свобода выбора вероисповедания. Не моя война, я мимо, отшучивалась она, если коллеги пытались втянуть в обсуждение последних веяний в студенческой среде.

Однажды её контузило, сильнее, чем от трёх парней, молившихся в аудитории. Она шла по институтскому коридору, навстречу студентки, поприветствовали. Лера машинально поздоровалась. Пройдя несколько шагов, поняла, одна из них — Ситора, студентка с безупречным русским, хорошим английским. Прежде энергичную, резкую в движениях пацанку было не узнать. Скулы заострились, щёки впали, темные глазницы сползли до ноздрей. Медицинский халат застёгнут до горловины, на голове высокий колпак. К колпаку пришита шторка из белого полотна. Застёгнутая под подбородком на три кнопки шторка прикрывала шею.

Шторка на кнопках произвела на Леру удручающее впечатление.

— Болеет? Трубка в трахее? — спросит она Василю, преподавательницу латыни, единственно с кем откровенничала. — Если на щитовидке операция была, там шрам тонкий, нет смысла прятать.

— Не болеет, фанаткой заделалась, — разочарует коллега. — Домла запрещает открывать шею. Носить хиджаб ректор не разрешает.

Я нашла выход, сообщит студентка в ответ на расспросы участливой преподавательницы латыни, шторку придумала, пришила. Не без удовольствия добавит, вышла замуж за достойного городского парня.

— Превратилась в анарексичку. Я прям расстраиваюсь из-за неё. Умная ведь девчонка была. Ест только халяльное: парное мясо, замороженное нельзя. Конфеты-печенье в рот не берет, в буфете не обедает.

— Печенье чем провинилось?

— Маргарин под запретом.

— Как без выпечки обходится? — поразится Лера. — Понимаю, правильное питание... но я лично не могу без сладкого.

— Она компенсирует сухофруктами.

— Всё равно дикость! Невозможно питаться только натуральными продуктами. Парное мясо? Нереально! У неё белковый дефицит, истощена. Анемию заработала.

Педагоги немедицинского профиля в медвузах постепенно приобретают навык ставить диагнозы по внешнему виду. Возле кафедры иностранных языков висит портрет поэтессы. «Шитовидка не в порядке, — каждый раз, проходя мимо, комментирует портрет Шухрат. — Или у художника проблемы со щитовидкой». У женщины на парадном портрете выпученные глаза.

К ним на кафедру лаборанткой устраивалась племянница декана сангигиенического факультета. Шухрат с первого взгляда обозначил медицинские проблемы девушки: невроз. «Шарлатан! Сейчас у большинства невроз», — опровергали диагноз преподаватели. «Не на клиническом же уровне», — парировал Шухрат. — Чем я не целитель?! — восклицал он, если угадывал диагнозы. — Брошу этих чертят, уйду на хлебное место». Не ушёл.

Предположить, что не так с человеком, немудрено, если в наличии наблюдательность, немного знаний, обаяние — разговорить его. В стране развелось чародеев и целителей — немеряно. «Молиться не умеешь, без набожности ты не целитель», — трезвили мужчину коллеги. «Сам знаю. Терпения не хватает выучить молитвы. Мой конёк — экспромт». Он умел превращать занятие в представление.

Женщины обедали в буфете. Лера украдкой подглядывала, как аккуратно ест Василя, помаду с губ не съедает. Женщина завидовали её способности выглядеть безупречно. А сколько она экономила?!

— Пи-пи[1] не дикость. Дикость на концерт прийти со свекровью, — ошеломит Леру Василя.

— То есть?

— Помните, ректор на Восьмое марта арендовал концертный зал? Вы сразу сказали, не пойдёте. Билеты раздали сотрудницам, старшекурсницам. Ситора у декана спрашивает, можно я со свекровью приду, мне нельзя одной ходить на мероприятия. Вот где настоящая дикость.

— Серьёзно? — удивится Лера. — Радует хоть, что не трубка в горле.

С переродившейся Ситорой Лера столкнется на занятиях. Ректор организует месячный цикл английского языка для выпускного курса — показать товар лицом на государственных экзаменах. Благая цель — приблизить студентов к мировым достижениям. Лера с воодушевлением отнесётся к заданию. Будет подбирать тексты по передовым биомедицинским технологиям, практиковать студентов проводить презен-

[1] Правильное питание.

тации. На занятиях с без пяти минут врачами с удивлением обнаружит, что в группе присутствует вся мировоззренческая палитра. O tempora! O mores!

Часть студентов придерживались консервативных установок в соответствии с этническим происхождением. Часть подалась в нетрадиционные конфессии. Мусульманку Амину крестили евангелисты. Православные Нина и Катя записались в свидетельницы Иеговы. Марат проводил субботы у Адвестистов седьмого дня. Умид носил берет и значок Че Гевары. Ситора не афишировала себя, но облик кричал о её выборе.

Леру озадачит идеологический разнобой среди студентов. Выбор, право на ошибку она признавала, но не могла отделаться от ощущения, что некоторым новая конфессиональная принадлежность портит жизнь. Особенно ей жалко станет красавицу Нину. В свидетели Иеговы её заманит Катерина. Она же по секрету сообщит Лере, что Нину заприметил их же товарищ, женился, браки у иеговистов строго между собой, муж не замедлил начать измываться над молодой женой, что мама не горюй. «Нина терпит, так наставники учат», — то ли посочувствует, то ли порадуется за подругу Катя.

Для большинства новообращённых конфессиональные шатания — временное затмение, решит Лера. Врачебная философия сама по себе цельное мировоззрение, они к ней вернутся. Лишь бы Кутлы не стал врачом. Парень тусовался среди кришнаитов. Лера его ненавидела, не педагогично, конечно, но с неприязнью к парню ничего поделать не могла. На первом курсе он подделал её подпись в зачётке, исправив «удов» на «хор». Декан вызовет Леру к себе, попросит переправить оценку в ведомости, чтобы не разнилась с отметкой в зачётке: «Да ладно вам, подарите парню «хор», времени нет разбираться». У неё мелькнёт сомнение, не с его ли позволения Кутлы переправил оценку. Подобная подделка жестоко преследовалась в институте, этот случай спустили на тормозах. Что это подделка оценки по английскому языку, не по анатомии или внутренним болезням, не могло служить оправданием. Для декана, видимо, послужило.

Ненавистный Щелкунчик с деревянными бусами на шее, браслетами на руках мозолил глаза. Гофман, простите, ваш персонаж благородный, а этот слямзил образ. Судьба распорядилась, Кутлы опять должен был пройти через курс английского. С целью завоевать расположение преподавательницы, на занятиях сидел за первым столом напротив Леры. Постоянно лыбился: растягивал губы до зубов мудрости, губы подворачивались внутрь, обнажалась десна, на показ выставлялись два ряда красивых зубов. Неприятный оскал. На перемене торчал возле Леры, твердил с упорством дятла: «Простите, простите. Вы же можете простить. Докажите, что вы умеете прощать». Ни слова о том, что он свинья, что виноват, что огорчил.

Всё, на что её хватило, не замечать Кутлы. Делать это будет несложно. Ситора солировала на занятиях, превращая их в горячие прения. Кутлы же молча восторгался одногруппниками, кто был верхом на коне. Хотя внешность девушки кардинально изменилась, темперамент подвижного холерика — ничуть. Изменить характер, наклонности профессионалы от веры не смогли. Нейтральный перевод текста, скучный доклад азартная спорщица будет бомбить в пух и прах, зачитывая из брошюр авторитетные цитаты. Ей не лень будет приносить на занятия кипы агиток. Через некоторое время начнут приносить брошюры, каждый свою, другие неофиты. Будут просить Леру дома почитать, утверждая, именно в их книжонках написано правильнее, чем в брошюрах оппонентов. Она не сможет отмахнуться, станет честно листать брошюры на досуге. Ничью сторону не примет.

— Сказано: не проси себе кончины. Всевышний знает, когда смерть лучше, чем жизнь, тогда заберёт. Он запрещает эвтаназию категорически, — Ситора откроет ожесточённые баталии об эвтаназии.

— Они просить не могут, глаза даже открыть, — взрывались однокашники с опытом работы в реанимации. — Отдежурь смену, поймешь.

— Отлично! Они проходят очищение огнем ещё на земле. Если больной поймёт, пора на суд Всевышнего, он откажется от госпитализации, от лекарств, поспешит к Всевышнему. Лечение лишь продлевает страдание.

— Это же пассивная эвтаназия?! Вы пассивную эвтаназию не отрицаете?

— Вы что?! Причём тут мы? Это ихтиъяр, свобода воли больного. Писание снисходительно к человеку.

— В смысле?

— Если нет иной пищи, ешь свинину. Если нет другого способа спасти больного, трансплантация позволительна. Если нравится другая женщина, женись, соблюдая законы. Наше учение снисходительно к человеку.

Если учение снисходительно к человеку, как формируются его адепты-радикалы? Вопрос Лера не задаст, чтобы не раззадоривать аудиторию.

В итоге дебатов об эвтаназии ребята придут к компромиссу: вместо технологии эвтаназии развивать паллиативную терапию: не лечить больного, облегчать послед-

ние вздохи.

По ЭКО с использованием донорской спермы согласие не сложится. Ситора не признает приемлемость использования донорской спермы. Суррогатные услуги допустимы, будет настаивать она, если отец будущего ребёнка сочетается никахом с женщиной, которая будет вынашивать дитё. Словом, станет второй женой. Против восстанут все.

Расписываясь в зачётке Ситоры, Лера спросит, почему шторка, не проще ли колпак на платок нахлобучить: и шея прикрыта, и форма соблюдена. Ребята в несколько голосов подскажут, профессор Каримов старой закалки, замечание сделал, когда Ситора в надетом поверх платка колпаке явилась к нему на кафедру. К шторке профессор не придрался.

После самоподрыва Молоденькой минул год. Даврон закончил учёбу, ушёл из морга в поликлинику терапевтом. Острое — иначе кто пойдёт к врачу? — респираторное заболевание свело Леру и Даврона на приёме. После ритуала врачебного осмотра доктор и пациент без артподготовки начали посторонний разговор.

— Как она была одета?

— Обыкновенно, — доктор понял, о ком речь. — В джинсовую курточку.

Да здравствует джинса — универсальная одежда всех времен и народов! В боковых карманах курточки удобно руки держать. Засунул дрожащие руки в кармашки, и ты вне подозрений. В карманы широких юбок или узких брюк ладонь просунуть — повозиться надо. Молоденькая была одета в длинное до щиколоток платье с заплетающимися полами, широкими рукавами. Живот, на котором крепилось взрывное устройство, надо было прикрыть. В рукава просунуть провода. В сжатых кулаках контакты взрывателя. Переплетаешь пальцы, замыкаешь контакты, и — бац! — гремит взрыв

— Девятнадцать лет. Суицидальные наклонности?

— Человек с суицидальными наклонностями самостоятельно решает, когда и как уйти из жизни. Молоденькую привезли на место. Это раз. Суицидальники не уходят в людном месте. Это два. Подорвалась не одна Молоденькая — три. Эмоциональную лабильность исключить нельзя, но она характерна для большинства женщин. Думаю, с психикой у неё норма была. Слишком большой риск — неуправляемая смертница.

— Почему в понедельник самоподрывы женщины совершили? — Лера не упустила шанс предъявить иск всем мужчинам в лице Даврона. Накопилось.

— В мое дежурство мужчин с боевыми ранениями привозили, не от разрыва, — доктор корректно отвертелся, отфутболил вопрос, откуда он прибыл — в область вечных тем. — Мужчинам жить охота. Тупо нормально жить. По мере возможностей счастливо. Женщинам при любом раскладе не хватает то денег, то молодости, то вечной любви. Измены мерещатся на каждом углу.

Взглянув на пациентку, доктор прекратил тираду. Кому он жалуется? Женщине. Разве поймёт? Кое-что Лера поняла, например, что у него накопились претензии к женскому роду, в частности, к жене.

— Высокую, худую женщину не привозили?

— В мое дежурство нет. Может, повезли в другой морг. А что?

— Про одну женщину хотела уточнить.

— Забыл в прошлый раз сказать, она никого с собой не притащила.

— Точно? — Лера обрадовалась.

— Точно. На секционный стол положили, пришла в себя.

— Не может быть! Допустим, голова целая. Но живот, ноги, руки?!

— Самодельную мину закрепили. Некачественная работа.

— Невероятно!

Парня 22-ти лет, который взорвётся весной 17-го года в Питерском метро, опознают по целой голове, по открытым — о, ужас! — глазам.

— В морге невероятного — выше крыши. В мое дежурство привезли останки с пустыря. Подошёл, сразу опознал: одноклассник. Чуть не рухнул возле стола. Мать с собутыльником убили, расчленили, разбросали тело. Во как бывает! Умный парень был. В математике шарил, стихи лучше всех запоминал, — Даврон тряхнул головой, отгоняя воспоминание. Вернулся к предмету разговора. — Сколько метров кишок у человека?

— Много, — откуда не медику знать, сколько конкретно.

— Кишки, которых, как вы сказали, много, в них переваренная пища, плюс жировая прослойка сработали подушкой безопасности. При ранении кишки вываливаются, но человек может некоторое время быть живым. У неё был геморрагический шок, пульс не прощупывался. Менты приняли за мёртвую. Классика жанра. Когда она глаза открыла, мы быстренько вкололи, что нашли.

— Ну, что дальше было? — Лера от нетерпения готова была растерзать Даврона. Тот не торопился с ответом.

— Капитан из сопровождения допрашивал. Была она одна или с кем-то, сколько самоподрывов планировалось. Пару раз, если «да», она закрывала глаза, «нет» — держала открытыми. Губами пошевелила. Капитан нагнулся к ней, она что-то сказала, он громко ответил: «Жертв нет». То ли нам, то ли ей. Глаза больше не открывала. Я хорошо запомнил, я рядом стоял.

— Да-а, дела. Хорошо, что никого не убила.

— Согласен.

Лере от «жертв нет» стало легче: у медресе никто из прохожих и силовиков не погиб, погибла лишь девушка. Кто готов убивать, тот готов умирать. На её жизнь никто не претендовал, никто не отнимал. Она не должна была посметь отнять чужие жизни. Помешанные на жажде справедливости люди бывают жестоки, не жалеют ни себя, ни других ради вожделенной цели. Разгневанную неудачей с профессией барышню затянули в войну с силовиками. Она могла правильно соединить руки. В момент истины в ней заговорила девчонка, которая остро захотела жить. Подводить кураторов тоже не хотела. Металась меж двух желаний. В итоге, недовзорвалась.

Секционный стол был холодным, от чего Молоденькая очнулась, подумала Лера. Зачем придумали иностранное название, ворчала она мысленно, это обычный разделочный стол: «section» — «отдел», «раздел». После беседы с доктором Давроном несколько вечеров подряд Лера не могла готовить ужин. Тошнило, как только доставала разделочную доску, мясо, вспоминая разделочный стол для людей. «Вскрытие не проводить в любом случае», — она уже знала первый пункт завещания, который составит, когда созреет для него.

Думы о Молоденькой выветрились из её головы до следующей встречи с Давроном в поликлинике уже по поводу гастрита. Доктор огорошил снова:

— В прошлый раз я соврал. Не приходила она в сознание, была трижды мертва. Натуральным образом физически тяжело было думать, что она кого-то из прохожих или ментов зацепила. Видел, вас тоже это волнует. Как девчушка пошла на такое?! Первая старше была. Остальные — мужчины. Придумал историю с допросом. Сам верил, пока рассказывал. Специально съездил в морг, расспросил ребят, с которыми дежурили в тот понедельник. Как под копирку рассказали одно и то же, что милиционеры им говорили. Первый взрыв менты не ожидали, стояли на построении в центре рынка, командир отдавал распоряжения. Подходит женщина, на вид взрослее Молоденькой, давай митинговать: «Вы хуже бандитов, вы насквозь коррумпированные, служите не тем господам».

Милиционеры всерьез пламенную речь не приняли, продолжали стоять. Их старший не повернулся в её сторону: очередная базарная баба скандалит с утра пораньше. На рынке ментам в основном карманники и торговки работу создают. Привычное дело. Подумали, после построения разберёмся или сама успокоится. Скандалила недолго. Внезапно подорвалась. Видят: столб дыма кучерявится, теплая кровь струится. Тошнотворный запах пошёл. Не ожидали мужики, что обычная женщина их взорвёт. Два сержанта и гражданский сторож на месте погибли. Так примерно первый взрыв произошёл.

Лера по ходу рассказа Даврона поняла, женщина не случайно зрелище устроила, речь толкнула — наспех сочинённая компенсация манифеста, который обычно выкладывается в интернет перед подобными акциями. Она пришла не просто убивать, она пришла казнить неправедных служивых. Если бы они тщательно готовились к определенной дате, наверняка позаботились бы как-нибудь опубликовать цели акции. Доморощенные сопротивленцы каноны деятельности не все усвоили. Лера обрадовалась этой мысли, расстроилась от другой: откуда в этих женщинах столько беспощадности к себе и к другим?

После первого самоподрыва сержантам поручили патрулировать весь периметр рынка. Прибыли дополнительные наряды. Возле медресе наряд заметил нервную девушку, она вышагивала перед входом в медресе. Остановится, потопчется на одном месте, опять шагать взад-вперед. Утром в час пик?! В понедельник? На остановке? Без дела? Девушка вызвала подозрение. Патруль с осторожностью пошёл по направлению к ней. Девушка перестала метаться. Остановилась, дожидаясь, вглядывалась в них. Патруль медленно шёл к ней. Девушка вновь открыто заволновалась. Милиционеры приближались. У них приказ проверять подозрительных граждан. Молоденькая испугалась, задергалась, задрожала, замешкалась, высовывая руки из карманов. Сержанты врассыпную. Вовремя отскочили. Бухнул хлопок.

— Испугалась, что убьёт взрывом?

До момента истины Молоденькой не сильно жаль было надоедливых родителей с их «учись, работай, детей расти». Если что, мама раздаст колечки-сережки соседским девчонкам. Кровать в спальне освободится, место в гардеробе. Себя тоже не жаль, прямиком в рай двинется, обещали кураторы, скорей бы. Однако ей страшно было

умирать. «Никто, даже в камере смертников, даже слыша, как расстреливают его друзей и товарищей, не способен по-настоящему поверить в собственную смерть»[1].

Лера искренно поверила в факт допроса, в то, что Молоденькая спросила, есть ли жертвы. Жаль, допрос был фейком. Ей не терпелось докопаться, почему Молоденькая сорвала задание. Спросит об этом Даврона.

— Гадать не буду. Возможно, не захотела ментов убивать. Возможно, испугалась смерти или ареста. Ей светил смертный приговор.

— Женщин не расстреливают. Сдалась бы наряду, жила бы, маленькие радости имела, — Лера торговалась с доктором.

— Я за смертную казнь. До морга в реанимации работал. Насмотрелся, как люди страдают, умоляют оборвать мучения.

— Поэтому, доктор, ушли из реанимации в морг?

— Страдания тянутся, смертная казнь — секунды.

— А ждать годами, когда придут за тобой?

— Пожизненное лучше? Я мечтаю быстро умереть. Когда неожиданно и быстро — не страшно.

Даврон как врач, как патологоанатом, не врал, Молоденькая могла быть доставлена в морг живой: адреналиновый шок, первая помощь, прочие чудеса организма. Возраст он определил точно. Фабулу её жизненного пути вычислить было несложно. В чём несчастье вчерашнего школьника? Провал в университете. Где конкурс больше всего? На юридическом. Почему оказалась у радикалов? Утешили, предложили отомстить. Убедили, самоподрыв станет призывом к грандиозным волнениям, желанным переменам.

Со временем предположения Леры насчет Молоденькой подкрепились более-менее достоверной информацией. Действительно, ей было девятнадцать. Действительно, не поступила в академию МВД. После повторной неудачи с юрфаком облачилась в хиджаб. Действительно, заторможенная была накануне. Действительно никого не «утащила» с собой.

Сайты о первом взрыве в центре рынка пишут, двое погибли, семеро ранены. По второму взрыву возле медресе у входа на рынок сообщают лишь факт самоподрыва. Следовательно, никто не погиб, не пострадал. Молоденькая — женщина; женщины дают жизнь людям, а не уничтожают их.

Горожанам дружно не хотелось, чтобы Молоденькая убила или ранила кого-то. Надеялись, она совершила показательный суицид. Мучились. Искали доказательства. Домысливали. Свершилось!

— Правильно Солженицын написал: «Умереть когда-то не страшно, страшно умереть сейчас».

— Любите Солженицына?

— Уважаю. Про страх смерти он в точку попал. Все мы герои до серьезной опасности. Про девчушку скажу, реально испугалась. Боялась умереть сама, зацепить кого-то, — не важно, важен результат. Хорошо, что убила чисто себя.

— Согласна.

Одиннадцатилетний мальчишка днём катил себе на велике на родной территории, где каждый поворот знаком до махонькой выбоины. Пацана сбил насмерть Лерин одноклассник. Отец погибшего — водитель грузовика, пошёл на мировую: «Сам водитель, знаю, и я могу наехать, не дай Бог». Брат виновника ДТП преуспевал в бизнесе, щедро заплатил семье погибшего ребёнка. Встретив одноклассника, Лера хотела заорать: «Как по земле ходишь, воздухом дышишь, когда ребёнок тобою убит?» А с губ слетало: «Как жизнь, как дела, кого из наших видел?» Ей хотелось, чтоб одноклассник ходил с понурой головой вечно, что не входило в его планы. Через полгода на лице не осталось следа от «несчастного случая» — такой была интерпретация аварии со смертельным исходом ее виновником.

Лера даст зарок — никогда не водить машину. Это единственный способ, каким она может — не приведи Господь! — убить человека. Откажется от авто в подарок от мужа: «Я лучше на такси; страховка, ремонт, прочее — в копеечку влетит. Я лучше на велосипеде до метро, для здоровья полезнее».

Замужество откроет ей второй способ, которым она может убить человека. В хлопотах по первой малышке Лера не заметит, как снова забеременела. Муж восстанет: «Двоих сразу тяжело будет поднять, давай хотя бы отложим». Лера будет стоять непреклонно на своём. Не потому, что мать советовала не откладывать со вторым, а потому, что аборт, пусть микро-аборт, это убийство. Рисовала в воображении, как скоблят чрево, словно удаляют пригоревшие остатки котлет со сковороды. Останки будут её ребёнком. Да нет, уговаривал муж, не будут скрести по тебе, лекарство примешь, он

[1] Джулиан Барнс, «Нечего бояться».

выпадет сам. Ходим по земле, раздавливаем муравьев, никто же не считает себя убийцей невинных муравьёв, приводил аргументы муж. Мой ребёнок не муравей, спокойно отвечала Лера.

Она ушла в немое сопротивление, благополучно выносила и родила ещё одну дочь. Через месяц после родов муж буднично объявит: «Тебе не придётся пить противозачаточные таблетки, я перевязался». Лера вслух не произнёсёт ни слова. В душе укрепится во мнении, это был правильный поступок — выйти замуж за иностранца. Никто из знакомых на родине мужчин добровольно на подобную меру не пошёл бы.

У Молоденькой не было детей, этим всё сказано. Убила чисто себя.

— Кто как уйдет, нам не дано знать. Наверное, это хорошо.

— Можем представлять, как хотелось бы. Умирать, когда ладонь родного человека сжимает твою, не так страшно, думаю, как умирать одной.

— У вас будет возможность это проверить, гарантирую.

— А пока...

— Закроем тему?

— Ага.

— Что вас *сейчас* беспокоит?

Глава 2. ИНЫЕ

«Потерявшие душевное равновесие люди попадаются в сети лжепророков и бьются в них, пока не погибнут».
Х. Манкель

Жизнь горожан после весенних треволнений мало переменилась, однако внешность некоторых горожан изменилась радикально: они сбрили растительность на лице. Старик Хотаббыч, дед Мороз, Лев Толстой с раннего детства приручают нас считать длинную, непременно выцветшую, бороду принадлежностью старцев. К виду естественной бороды на молодом лице, особенно если к концу волосы редеют, развеваются от движения, привыкаешь относиться как к заурядному явлению постепенно. Другое дело — в меру окультуренная, пышная растительность к седой голове, высокому лбу, морщинам на лице. В силу прочных ассоциаций, в данном варианте шевелюра выступает маркером эрудиции, опыта и мудрости. Пример — вальяжный Карл Маркс с окладистой бородой. Идейный вождь пролетариата позирует на портретах неизменно в смокинге...

Волосы на лице считаются элементом фитвы. Хадис Абу-Дауда гласит: «Десять вещей являются естественными: подстригание усов, отращивание бороды, использование сивака, промывание носа водой, подстригание ногтей, обрезание, выщипывание волос в подмышках, сбривание волос с лобка и использование воды для подмывания». Из перечня следует, некоторые проявления естества, в отличие от дикорастущей бороды, требуют регулярных усилий, порой болезненных. Например, установлен срок для эпиляции — сорок дней, дольше которых тянуть с процедурой не рекомендуется.

В уходе за бородой главное — не переборщить. Скудная козлиная эспаньолка, волосок к волоску, или чересчур опрятно уложенная шкиперская шевелюра вряд ли служат частью брутального образа, скорее, подтверждают озабоченность бородатого нарцисса своей внешностью. Вольные волосы на лице — не элемент декора, не средство самовыражения. Пожалуй, это чуть ли не единственный публичный способ его носителей наглядно демонстрировать личные приоритеты. Дикая борода заменяет членский билет некоего союза, нередко — радикального. Большинство, думается, отпускает бороду и холит её не в знак солидарности с некими идеями, сообществами...

После прозвучавших на массиве выстрелов, пересудов шёпотом: «Слышали, этого, того вызывали на беседу», — сопоставив их с официальной информацией, Ренат вышел к завтраку гладко выбритым беззащитным юношей. Широкая борода придавала устрашающий вид своей густотой и дикостью, делала похожим на полярника зимой, кубинского анархиста летом. В моменты растерянности, в поиске нужных ответных слов или смущения от похвалы, он собирал волосы в кулак на подбородке. По выступающим из-под кулака концам его научили определять, не пора ли бороду укоротить. Приёмчик превратился в характерный жест Рената.

— Наконец-то! Тихо хлопаю, — съехидничал брат Рамиль. — Зря боишься, тебя не загребут. Кого надо, отловили. Абдула, какой из тебя... из-за твоей бороды нам больше бы досталось. Одобрямс.

— Молодец. Помолодел. А то ходил, как бабай, детей пугал, — прервала среднего сына мать.

— Испугался? Да? Скажи честно. Испугался, видно же. Говорили тебе, не твоя контора, не ходи туда, — довольный Рамиль не скрывал злорадства: Ренат сдал важ-

ную позицию, проиграл.

— Хватит, — остановила третирование младшего сына Роза опа.

Ренат застыл с кулаком на подбородке. После окрика матери отпустил руку, сел к столу. День далее пошёл в обычном режиме. Рамиль с женой проглотили завтрак, укатили на работу. Роза опа возилась с внуками, долго ковырявшими ложками в тарелке, не желая есть кашу, клянча пряники. Бабушка торговалась с внуками, обещая им кисель, если доедят овсянку. Женщина заварила густой кисель, с которым дети провозились ещё пятнадцать минут.

Ренат помог племянникам одолеть завтрак — каждодневная его обязанность. Убрал со стола, сложил посуду в раковину, подмёл вокруг стола — также его обязанности по утрам. Прибравшись, удалился в спальню. За закрытыми дверями то ли молился, то ли плакал. Его не беспокоили. К полудню вышел на веранду, где племенники под присмотром бабушки шуршали карандашами по бумаге, совершенно безмятежным, одетым в рубашку поло. Он снял привычную одежду: просторные рубаху, штаны, окончательно превратившись в неприметного горожанина. Хотя это вряд ли: тенниска обнажила мощные плечи. Его тело на костылях переносят руки, как наше — ноги.

Накануне к Ренату прибежит Тамара в слезах, выпалит: «Алим исчез, наверное, погиб». Наверное, родителей навестить поехал, усомнится он. Не собирался, будет настаивать Тамара. Он что, всё тебе рассказывал, будет упорствовать Ренат. Мужчина попросит девушку не паниковать. Однако неприятное известие озадачит его. Пройдусь, скажет он матери, долгожданный гость пришёл — дождь, грех сидеть взаперти. До мечети, смекнёт женщина, итак три пятничные молитвы пропустил.

Мечеть в двух остановках от дома Рената. Он добрёл до места ко времени. Мужчины стекались к молитве. Их было меньше, чем в марте. Прихожане были сдержанны, необщительны, серьезны. Без шумных приветствий проходили в молитвенную комнату, настраивались на намаз. Ренат высматривал Алима. Приятель не появился. Вышел настоятель мечети. Ренат пристально взглянул священнику в глаза. Имам опустил веки. «Алим?» — с волнением шепнул он, ожидая ответа. Священник отвёл глаза в сторону.

После намаза он приплетётся домой в сопровождении Исматуллы, запрётся на несколько часов в своей келье. Выйдет к ужину. Начнётся очередной раунд перепалки.

— Говорил тебе, не с теми связался. Хизбутов нейтрализовали.

— Мои — не хизбуты.

— Уверен? Прокурор говорит, хизбуты.

— Оставь его в покое, — заткнёт среднего сына Роза опа.

— Сегодня на работе рассказывали про одного, в адвокатской газете работал. Выпустил номер, весь про коррупцию. С цифрами, фамилиями. У нашего юриста есть, выписывает газету на дом, но нам не дал почитать.

— Зачем ты это нам рассказываешь? — Мать предчувствовала спор.

— Газетчик исчез.

— Заболел, залёг на дно, умер. Что устраивает, — брюзжал Ренат, — выбирай.

— Говорят, безопасность «закрыла».

— Как я должен отреагировать? — забаррикадировался Ренат.

— Рак. Полгода врачи дали. Наш юрист говорит, поэтому он выпустил номер, всё равно помирать. С пользой ушёл. Как твои камикадзе.

— Они не мои.

— Хорошо, хорошо, «эти» камикадзе.

Не доев ужин, Ренат скрылся в спальне. У него испортилось настроение не из-за издёвок брата, от смутной тревоги, с Алимом, действительно, неладно. Ничего настораживающего, ничего странного в последнюю пятницу перед известным понедельником он в поведении Алима не узрит. Они, как всегда, вместе дойдут до дома, Ренат, как заведено, предложит пройти в дом, поесть, Алим запротестует. Юноша нередко угощался Роза опы стряпней. В ту пятницу не отобедал, сославшись на дела. Что тут необычного?

Алим не случайно стал приятелем Рената. Он был не просто вежливым юношей, он был чутким. Заметив, как неловко садится на пол Ренат в молельне, занял место рядом, чтобы, вставая, мужчина мог опереться на него. Примерный молитвенник, без уважительной причины парень не пропускал пятничные собрания. Мог пропустить одну, вторую. Но третью?! Если жив, приполз бы. Алим — участник событий, — подобного предчувствия у Рената не возникло. У женщин звериная интуиция, скажет себе он позже, мужчины или знают ситуацию наверняка, или не догадываются ни о чём; профессиональная сфера — исключение из правила.

И уточнить не у кого, сокрушался он, фамилии погибших, пострадавших, задержанных не обнародованы. Лишь в конце лета Ренат и Тамара увидят достоверную информацию об Алиме. До тех пор будут задаваться вопросами: где он, если он с ними,

почему он; кто настроил воинственно; в чём обвиняется. Пока Исматулла перед пятничным намазом не дождётся Рената, не стукнет его по голове откровением — предположением? — парень был задействован в недавних ужасных событиях.

Они встретились в мечети. Ренат, вместо приветствия, спросит без задней мысли:

— Не в курсе, что с Алимом?

— Башку снесло.

— Его фамилию не назвали, — он выдал себя, связав исчезновение Алима с недавними громкими происшествиями.

— Чью назвали?

Не увидев Алима в мечети раз, два, Ренат чуял непорядок. Заболел, деньги кончились, родители домой вызвали — да мало ли что могло произойти с юношей. Было ясно, парень не появляется в мечети неспроста. Заподозрить участие в мятеже — Ренату не хватало духу.

От слов Исматуллы Ренат покрылся мурашками. Афганец вогнал его в прострацию. Представил, как окружили дом, как парень отстреливался, как вышёл на улицу, подорвал в руках гранату — об этом, не называя имени, сообщили некоторые сайты, как голову боевику оторвало, тело в клочья.

В те дни «башку снесло» понимали не иносказательно, а сугубо физиологически. Рената, начитанного товарища, потрясло в свое время, как закончил жизнь автор «Золотого храма» Юкио Мисима. Писатель сделал харакири после провала путча, который он пытался организовать на одной из военных баз Японии. Так должны заканчивать жизнь организаторы и участники провальных мятежей, подвёл итог для себя Ренат, узнав финал неординарной биографии Юкио Мисимы.

Исмат терпеливо ждал, когда Ренат очнётся.

— Откуда сведения?

— Давно знал, Алим добром не кончит.

Их краткий разговор состоится перед молитвой. Они не успеют договорить. Имам готовился начать намаз.

Священник предварил молитву небольшой речью, как важен мир в стране, покой в семье, к чему призывает Всевышний. После вступления имама мужчины совершили коллективный намаз. Паства сразу разошлась после молитвы. Обычно прихожане во дворе мечети небольшими компаниями обсуждали новости, разруливали проблемы друг друга. Ренат вышел из молельной, отправился перепроверить информацию Исматуллы. Он спустился с торца на цокольный этаж. Цокольный этаж был оборудован как тренажёрный зал, в котором часто пропадал Алим. Юноша прилежно тренировался, ходил в синяках. Заглядывал туда и Ренат наблюдать, как лягаются, кидают на татами один другого крепкие парни. На двери в подвал висел замок. Здесь застал его Исмат:

— Замок давно висит. Давайте отойдём. Дело есть, — Исмат провёл тыльной стороной ладони по щёкам, будто он, не Ренат, избавился от щетины, а солнце печёт на щёки. Комментария по смене имиджа Ренатом не высказал. Деликатный.

— Разговор есть. Давайте поговорим не на улице. Жарко.

Мужчины побрели в сторону чайханы. Исмат заказал шурву, чай, салат из свежей капусты. Начали беседу с чая, чтоб завести желудок.

— Вероятно, его просто арестовали? — Ренат хотел договорить.

— «Просто»? Арест — это удача? В СИЗО такое «следствие и наказание» — писать некому!

— Сейчас не тридцать седьмой год.

— Помните, пять лет назад шестерых казнили? Они признались. Алим признается в чём угодно, если внушить, что виноват.

— Виноват в чём? В том, что изучал Писание?

— Абдулренат, я уезжаю, — ни с того, ни с сего заявил Исматулла. Он закрыл тему, они помочь парню не в состоянии. — Сувениры хочу отдать вам. Раздадите, кто интересуется. К вам многие ходят за советом. Хоп?

— Хоп.

Почему бы и нет? Календарики, магнитики, благовония, чётки не залеживались у Мунира опы, в охотку уходили. Тем более, на бесплатные подарки желающих отыскать будет несложно, прикинул Ренат. Его больше удивило, почему Исмат уезжает.

— Уезжаете?

— Гражданства нам здесь не видать. Не могу больше ждать, дети растут. Аспирант в мои-то годы?

Прихожане мечети, в их числе Ренат, знали историю и предысторию Исматуллы. Он — афганец, учился в Союзе, женился на местной студентке. После университета вернулся на родину. Там сменился политический режим. Кто хоть как-то был связан с шурави, подвергался гонениям. Сокурсник Исмата спасся тем, что притворился умалишённым, отлёживался в психушке. Условия в ней были не лучше, чем в тюрьме, од-

нако — не тюрьма. Навестив друга в больнице, Исматулла понял: надо делать ноги из страны. Жизнь в благополучном Союзе развратила его. Он отвык от междоусобиц, терактов, разрухи, тотальной религиозности. Их не вынесла бы жена, русская девчонка, помешанная на поэзии.

Женя, жена, приручила Исмата к русской поэзии. Он запоминал стихи слету, уместно цитировал, чем покорял ошарашенных собеседников. Декларирующий в повседневности редкие русские стихи иностранец — уникальный динозавр. Афганец мог внезапно, в середине разговора, прочесть:

Хорошо, что Бога нет.
Только желтая заря,
Только звезды ледяные,
Только миллионы лет.[1]

Исматулла попал в Союз не случайно. Ему покровительствовал советский генерал, который направил своего протеже учиться. До службы в армии поступил в университет у себя на родине, его мобилизовали, направили к шурави. Кроме пушту, дари, Исмат владел тюркскими языками, он выходец с севера Афганистана, где компактно проживают тюркские народности. Сносно изъяснялся на английском. По ходу усвоил русский. Аналитический ум, быстрота реакции выгодно отличали Исмата от других переводчиков. Паренёк стал личным переводчиком генерала, любимчиком.

Интеллект не склад знаний, умение подмечать, проводить сравнение, высвечивать рентгеном содержание. Большинство видит фасад события, Исматулла видит смысл, запрятанный за оборотной стороной происшествия, в зазеркалье. Дается ему прозрение будто наскоком — легко. Способности Исмата оценили и прихожане мечети, к которой он прикрепился. Был бы генерал жив, он, несомненно, помог бы с российскими документами, понимал афганец. Генерал трагически погиб в Афганистане. Исмат бежал из страны на чужбину. На родителей жены как на стартовую позицию не рассчитывал, к ним не перебрался, блюл независимость.

Иматулла почти не изменился со студенческих времён, лишь почернел пуще лицом. Такой же субтильный, так же выпирает кадык, только копну жестких волос припорошила седина. Вроде открытое лицо, но глаза глубоко запрятаны за затемнёнными стёклами очков. Ироничная ухмылка. Никаких галстуков, костюмов, только джинсы и пуловеры.

Чужбина неласково встретила репатрианта в перспективе. Чтоб иметь официальное основание проживать, Исматулла поступил в университет в очную аспирантуру. Закончил одну аспирантуру, затем вторую. Иностранец платил за учебу, прекрасно держался на собеседованиях, писал умные рефераты — его с удовольствием зачисляли. Учился в аспирантуре, занимался коммерцией и терпеливо ждал положительный ответ на прошение о политическом убежище, гражданстве. После весеннего переполоха надежду укорениться похоронил совсем.

— Поедем на родину жены, — Женя учительница русского языка и литературы, дочь школьница. — Кончится учебный год, уедем. Дела-а!

— Какие?

— Какие? Известные: перестрелка, взрывы. Кого-то задело, поверьте.

— Вы при чём? Стрельба, нападения на блокпосты, пишут, это радикалы. Кто вас тронет?

Недоумение Рената было искренним. Он жил в микрорайоне, где раздались автоматные очереди, но стрельба была, во-первых, недолгой, во-вторых, не массовой. Его больше волновали отдалённые итоги спецопераций силовиков, чем их реальный масштаб.

— Для вас любой афганец — душман. Покоя моей семье не будет. Не хочу нарываться. Облавы, проверки.

Принесли салат, шурву. Ренат не придвинул к себе еду. Он не стеснялся есть, разговор поглотил его целиком. Исмат подгонял:

— Ешьте, стынет. Успеем дела обсудить.

— Откуда знаете про облавы? — Ренат взялся за ложку.

— Докладывают.

— А я толком не знаю, что было.

— Ментоубийство было.

— Это я знаю. Они какие-то неправильные террористы. Хотели, чтоб гражданские не пострадали.

— «Правильные» какие?

— Чтоб погибло как можно больше из гражданских, чтоб паника была.

[1] Г. Иванов, «Хорошо, что нет царя».

— Наберутся ещё опыта. Помните, пять лет назад закладки сработали на президентской трассе? Тоже действовали по старинке, позапрошлый век.

— В смысле?

— Допустим, убили первых лиц, что дальше? Без толку эти взрывы, когда базы внизу нет.

— Верхи-низы?

— Да. Ульянова-старшего за то, что бомбу для императора собирать помогал, повесили, хотя покушение сорвалось. Зато младшему брату, Ленину, горький урок преподнёс: методика не работает, — на недоумённый взгляд собеседника иностранец пояснил: — Я учился в Казанском университете, историю семьи Ульяновых хорошо знаю.

— Получается, Ленин мстил за брата.

— Мстил? Целую страну, да что там страну, мир перевернул. Это не «месть».

— Первых лиц, значит, говорите, бесполезно убирать?

— Правитель — Кощей Бессмертный. Рубишь голову, растёт вторая.

— Мой брат сказал про наших: «Хотели шатнуть систему».

— Попробовали, как вы говорите, «чтоб гражданские не пострадали».

— Получилось? — глупый вопрос, не успел додумать Ренат, вопрос выпорхнул.

— А вы как думаете? — поторопился ответить Исмат, подавился горячим супом. Откашлялся, продолжил ровнее: — Повезло, они не сумели развернуться. Стрельбу многие из вас только в кино видели. Молодые в вашей стране пороха не нюхали, не знают, что пуля — дура. Убивает кого ни попадя, — Исмат владел языком чище некоторых русских. Разговаривал образно, сочно. Во всём талантлив. Выдавал в нём иностранца не лёгкий акцент, нездешнее интонационное ударение в речи. — Лес рубят, щепки летят.

— Зачем вы так... о людях?

— Это вы говорите: «щепки». Жалко мне вас. Ничему вас наш опыт не научил. Что вам мирно не живётся? Неужели всё ужасно?

— Жалко всех. И их.

— Зачем их-то жалеть? Каждому — своё. Они хотели не запачкаться, в рай пройти экспрессом.

Шахидам обещают блаженство за жертвенность. Совершил нужный — кому? — подвиг, моментально переносишься в рай. А в раю «с неба ниспадает золотая лень», поэтому туда стремятся. В оригинале, в «Палестинском танго» Вертинского: «И в том краю, где нет ни бурь, ни битвы, Где с неба льётся золотая лень». Благодать ниспадает, даруется щедростью Всевышнего. Лера полагала, «ниспадает» — точнее. Особенно если слушать лирическое исполнение «Аравийской песни» Ободзинским.

— Прошли?

— Сообщений оттуда мне лично не поступало. Встретимся там, узнаем. Или меня не пустят туда, как вы считаете?

Исмат даже не улыбнулся. Не разобрать, шутит афганец или кается. В хорошем детективе кто не под подозрением? Виноваты все, только кому-то прегрешения прощаются, кому-то нет. Ренат предпочёл уйти от вопроса, где окажется афганец, прицепился к другому его выражению.

— Зачем вы так: «экспрессом»? Я тоже недоволен земной жизнью.

— Меня — устраивает.

— Должно быть, место лучше этого, — Ренат постучал по полу костылем. — Иначе стерпеть страдания здесь невозможно.

— У вас не предел, поверьте. От добра добра не ищут.

Мистер, вас на мораль потянуло, гложет внутри, поймал настрой иностранца Ренат. Стареет вечный аспирант. В отличие от афганца, он любил разглагольствовать, как правильно, как неправильно поступать. Хотя в свете недавней смуты кто разбёрет, как правильно, если нет исходных данных? Рассуждать — ещё не время, тем более с иностранцем. Вот он выяснит, что с Алимом, и...

И этого, в смысле — выяснять, не нужно, внезапно дошло до Рената. Если умер — не воскресить, арестован — не оправдать. Что, он будет Алиму деньгами на адвоката помогать? Жалобы в международные организации строчить? Не будет. Моё любопытство — праздное, уличил себя Ренат, что даст пустое сожаление, что парня не стало. Обрадовался, когда Исмат перешёл к повестке встречи:

— Насчёт добра. У меня ткань лежит. Ваша мама возьмётся распродать? С хорошей скидкой отдам.

Афганец кормил семью тем, что торговал исламскими сувенирами, тканями с люрексом, речным, с рисинку, неровным жемчугом. Он знал назубок Писание, в школе заставляли заучивать, чтоб ученик и в бреду мог процитировать, любое место. Иностранец построил бизнес на том, что советовал покупателям настенную тарелку, эстамп, часы с подходящей надписью на арабской вязи. Объяснял, с каким событием

связано пожелание, сувенир с которым клиенты намерены купить.

Накопив первоначальный капитал, переключился на ткани. Ему предлагали вести курсы по арабскому языку при университете, где он числился аспирантом. Он отказался, сославшись на то, что преподавание — не его. Возможно, это был истинный мотив. Возможно, причина была иной: преподаватели арабского языка и студенты, прошедшие стажировку в зарубежных исламских университетах, попадали под наблюдение.

Где коммерсант доставал товары — покупателей не волновало. Покрывал потребность, да и ладно. Поначалу ткани, джинсы, куртки, пуловеры он покупал через афганских дельцов. Позже приноровился ездить на развалы тряпья и безделушек на открытых участках границы между Кыргызстаном и уйгурским Урумчи. Ткани представляли собой карябающийся псевдовелюр, нередко с орнаментом из золотого или серебряного люрекса по краям: осыпающаяся красота. В эпоху дефицита иметь выходное платье из сверкающего позолотой материала было мерилом материального благополучия. Товар пользовался повышенным спросом, коммерсант — уважением.

Исмат не стремился к сверхприбыли. Прибыли с продажи сувенирной религиозной атрибутики вообще не имел, хотя Мунира опа, его продавец, получала ощутимую прибавку к семейному бюджету. В благодарность она находила оптовых покупателей на ткани и платки, хозяин не был в накладе.

— Переговорю с мамой. Созвонимся завтра, дам ответ.

Ренат любил помогать. Выхаживал выпавших из гнёзд птенцов, делился лекарствами с соседями, не проходил мимо лёлишек, просящих милостыню. Наклонность раздавать, заботиться, сопереживать усилилась, когда глава мечети прочитал пастве серию проповедей, что братья по вере должны помогать тем, кто в затруднении. Зная эту наклонность сына, мать не соглашалась взяться за распродажу тканей афганца. Ренат твердо предупредил, если она не возьмёт ткань, он купит на свои, отложенные для непредвиденных расходов деньги, раздаст родственницам, соседкам безвозмездно. Роза опа сдалась. Как оставить сына без заначки?! У него могут быть траты, о которых великовозрастный сын не обязан отчитываться. Ренат перешагнул тридцать годков.

Через день Исматулла привёз товар к Розе опе. Рассказал, по какой цене можно отдавать, ниже какой расточительно. По его раскладу Розе опе набегал доход. Женщина вынесла деньги, подсчитав, что состоялась неплохая сделка. Она могла ненавязчиво, во время женских посиделок, рекламировать товар. Небольшие отрезы запланировала оставить в подарок снохам. От себя афганец презентовал взрослым членам семьи магнитные браслеты от давления.

— Неужели помогают? — Ренат не скрывал неодобрения.

— Кто верит — помогает.

Вот и гадай, верит Исматулла или не верит в потустороннее. Непонятно было, подтрунивал он или серьёзно ответил. Ренат знал достоверно: набожностью афганец не отличается. С кем бывал искренним, Исмат правдиво рассказывал, почему ходит на пятничные собрания — сосредоточиться. Дома двое детей, жена постоянно что-то спрашивает, телефон надрывается. В процессе молитвы сосредотачиваюсь, думаю, что надо сделать, запоминаю, с кем поговорить, написать, признавался он. Молитвенный речитатив расслабляет, не так ли, утверждал иностранец, а регулярный намаз учит дисциплине.

Крамолу прихожане иностранцу прощали. Не по просьбе, не по намёку, по собственному порыву он немало делал для прихожан мечети. Не афишируя, малоимущим дарил деньги, ценные подарки, участвовал финансово в похоронах, оплачивал угощения на праздниках. Разрешил проблему Рената с именем. Ему не нравилось собственное имя. Исмат посоветовал присоединить приставку Абдул — «Слуга Господа» к Ренату. Имя зазвучало по-исламски: Абдулренат.

Имам поначалу недолюбливал образованного во всех смыслах иностранца. Исматулла наизусть цитировал Писание, комментировать в его присутствии текст следовало осторожно, обоснованно. Это касалось и норм шариата, которые тот усвоил с молоком матери. Со временем священник успокоился. Афганец ни разу не сделал замечание по поводу его интерпретаций той или иной суры или правил шариата; не озвучил ни один комент в кругу прихожан или лично ему.

Однажды афганец задержится после молитвы, дождётся настоятеля мечети. Когда останутся наедине, объяснится: «Я не поклонник Всевышнего, но воспитан мусульманином. Хожу сюда молиться. Привычка. Не обращайте на меня внимания». Предложит открыть лавку, чтобы продавать религиозную атрибутику.

Беспокойные три весенних дня стали забываться. Мечеть ожила. Мужчины регулярно встречались на пятничной молитве, а после Исматулла провожал Абдулрената до дома. Раньше его страховкой занимался Алим. Абдулренат волновался за парня всегда. Ещё недавно был уверен, в неторопливых прогулках настроил Алима на пра-

вильный образ мыслей. Казалось, Алим разделял его точку зрения, был, по его мнению, из тех, как солдат Трофимов, как он сам, кто томился, что жизнь проходит зря. Помните? «Трофимов не хотел зря жить и томиться; он любил, чтоб от его жизни был смысл, равно как от доброй земли бывает урожай. Он сел на холодный пол и затих против железной двери в ожидании врага»[1].

Солдат Трофимов нацелился на оккупанта. Кучка молодых ребят врагами посчитали сержантов родной милиции. Это смущало Абдулрената. Поник, когда услышал от прозорливого афганца, что у парня башку снесло. Алим среди них? Ни о чём другом Абдулренат не мог думать. Сверлило в душе. Напрямую речь об Алиме он, однако, заводить не спешил, ждал удобного случая. Афганец сам заговорил о нём, когда провожал до дома.

— Думаете об Алиме?

— Заметно?

— Ваша душа вопит, хотя рот закрыт. Не мучайте себя. Поговорим?

Неприятно слышать, что ты весь на ладони. Абдулренат сделал вид, что пропустил мимо ушей реплику о вопиющей душе, перехватил инициативу.

— Вас вызывали?

— К сожалению, нет.

— «К сожалению»?

— Алим сейчас бы здесь стоял.

— В смысле? — Абдулренат встрепенулся: у афганца была возможность спасти парня, он его не спас?!

— Алим с другом подходили ко мне не этой, прошлой зимой. Мне его биродар не понравился. Скажи, кто твой друг...

— Почему?

— Без печати высшего образования, — Абдулренат университетов не кончал. Исмат поправил себя: — Интерес нехороший проявлял.

— Какой интерес?

— Как попасть в Афганистан.

— Зачем Алиму туда?

— Туда хотел биродар.

— А как попасть в Афганистан?

— Просто: купить билет на самолёт. Пешком я дороги не знаю.

— Я серьёзно.

— И я серьёзно. Так ему и сказал. На этом расстались. Эх, надо было настучать, разогнали бы всю команду.

— Зачем не настучали?

— Я не агент. А вы, кстати, не стукач? Любопытствуете.

— Я?!

Абдулренат поперхнулся от неожиданности, раздумывал, что сказать. Нечего. Иностранец снизошёл до честного ответа:

— Алима пожалел. Его бы тоже привлекли.

— Друг кто?

— Что за фрукт, не знаю. Позёр — да. Инициативный... балбес. Сквозняк в голове.

— Зачем ему в Афганистан?

— В горах позагорать.

— «Партизан»?

Абдулренат проявил осведомлённость. Исматулла не оценил, отмолчался. Продолжи он доставать афганца вопросами, тот захлопнется вконец. Умного собеседника терять расточительно; в нём ларец секретов зарыт, ошеломит не раз. Надавил на жалость:

— Не жалко Алима? Ничего плохого парнишка не делал.

— Дурноголовый. Сколько раз говорил ему, революционер — не профессия. В стране не стреляют, бесплатно лечат, работы навалом. В институте бесплатно учился. К кому, в итоге, прибился?

Афганец возьмёт Алима в испытательную поездку, чтобы приработок парню вышел, ему, может статься, надёжный компаньон. Его удивит пуританство молодого инока: никаких мирских интересов, регламент во всём, нудные вопросы о Писании. Дорога длинная, надоедливая, единственная радость — трапеза. Путники сядут поесть. В придорожном кафе Исматулла купит пышные булочки. Достанет вареные яйца из дома. Они халяльные? — спросит Алим. Как могут куриные яйца быть не халяльными, не поверит своим ушам коммерсант. Может, кур кормили неправильно, пробубнит парень. Курица не свинья, она родила это, заверит афганец, держа в пальцах яйцо перед

[1] А. Платонов, «Дерево родины».

глазами Алима, оно не может не быть халяльным. Парень не притронется к варёным яйцам.

Исматулла рассказал эпизод с яйцом Ренату. Ренат похвалил юношу:

— Истинный намазхан. Ел только халяльное. Молодец, усердный.

— Молодец? — возмутился Исмат. — Абдулренат! Из усердных фанатики рождаются.

— Мы с ним много общались. Он хороший. Неплохой, по крайней мере.

— Плохой, хороший — слова. Вы конкретные вещи у него спрашивали? На какие деньги он покупал еду, одежду? Молитвами не прокормишься.

— На что он жил? — впервые задумался Ренат. — Не спрашивал.

— А я о чём?

— Семья?

Исматула усмехнулся. Абдулренат выдвинул другую версию:

— Джамаат? Партийная касса?

— Скажем так: его прикармливали. Говорил ему, революционеры — бездельники, их содержат. Ленин 55 томов написал. Алим что делал?

— Я тоже не работаю.

— Вы не лентяй. Ваш долг — жить.

— Я думал — право. А есть право — к Всевышнему скорей попасть? Это плохо?

— Не мне решать. Подумайте о тех, кто вас там будет обслуживать.

— Обслуживать? Мне не нужна обслуга ни здесь, ни там.

— В рай проходят те, кто славно потрудился на благо Всевышнего и людей. Им полагается.

Абдулренат поёжился, он не задумывался о сей детали райской жизни. Там золотая лень не для всех польётся? Подумал, надо почитать об этом подробнее, в тот момент не был расположен внимать непристойным разъяснениям афганца. Он признал, Алим исчез не случайно, не хочется думать, что засветился в недавнем мятеже, что не исключено, понимал Абдулренат. Их джамаат, он, Исматулла в том числе, виноваты, что юноша перерос из примерного верующего в злонамеренного фаталиста. Высказал мысль афганцу.

— Бросьте. Нельзя до конца понять деструктивное поведение, а их поведение было деструктивным.

— Не доказано, какое у него поведение было. А если он ни при делах?

— Нападение на милицию — не деструктивное поведение? Алим не исчез, он среди них.

— Уверены?

— Знакомый из безопасности сказал, — иностранец в который раз его огорошил. Как у него получается добывать сведения? Спросил:

— Не бесплатно?

— Обедали вместе. Он не пачкается.

— С чего вдруг на контакт пошли? Ради Алима?

— Ради вас. Мучились же, где Алим.

Ради себя Исмат разведал у знакомого спецслужбиста, какова ситуация, чтоб решить, уезжать или не уезжать ему из страны.

— Не считаю его невинным пацаном, в отличие от вас. Не подозреваете даже, к чему он готовился. Не там искал смысл.

— Я тоже смысла в своей жизни не вижу.

— Женитесь, сразу смысл навалится.

— Возможно, вы правы, не там искал смысл. Но он хороший парень!

— Если бы! Дурень! — афганец раздражённо буркнул. — Шурави, вы на ровном месте колючку на мягкое место ищите. Нам бы ваши трудности!

— Ему мозги запудрили.

— Пудрят тому, кто хочет запудриться. Не с теми хороводился.

— Жалко, молодой.

— Хватит о нём. Он влип по уши. Не думайте о нём, голова сломается.

— Уже сломалась.

— Думайте о здоровье, о семье. Не лезьте учить государство править. Поймите, противостояние — природа отношений государства и населения.

— Как «противостояние»? Я думал...

— Гармония? Они давят друг на друга.

— Кто между?

— СМИ.

— Я думал, милиция, закон. Конституция, в конце концов.

— Конституция — просто книжка, недорого стоит.

— Бывает разумное противостояние?

— Когда кто-то уступает.
— Слабый?
— Должен сильный, он сильнее. Но уступает слабый, потому слаб.
— Кто из них сильнее?
— Государство.
— Я-то думал...
— Говорю, не думайте. И про Алима не думайте. Придёт время, услышите про него.
— Когда?
— Всё вам выложи. Мне что останется?

Мужчины рассмеялись, благословили друг друга, обнялись, пожали руки, разошлись. Абдулренат не знал тогда, что навсегда. На следующую пятничную молитву Исматулла не пришёл.

Когда перестали появляться в мечети Алим, Исматулла, Абдулрената меньше и меньше тянуло туда. Он ходил на намаз, чувствуя себя обязанным следовать азану. Выбору не изменяют. Состояние восторга от Писания, от соратников, от проповедей пошло на убыль. Сопричастность к чему-то чистому, глобальному таяла. Он переставал быть страстным неофитом.

Абдулренат расписал свободную стену спальни разноцветной гуашью арабицей: ему понятно, другим — нет. Проходя в общую комнату, домочадцы обязательно приоткрывали дверь в келью Абдулы, чтобы гости оценили удачное дизайнерское решение. Комната сделалась мечетью, он сам себе — хазратом.

Не станет Алима, Исмата, он сблизится с Пулат акой. Домла, Пулат учительствовал в техникуме, был корешом Исматуллы. Пулат ака первым подойдёт к Абдулренату узнать новости про афганца. Они прояснят, иностранец не поддерживает связь ни с кем из мечети. Мне его не хватает, пожалуется мужчина, шуток его; молодость вместе вспоминали. Между ними сложится обычай приветствовать друг друга вопросами: «не вышел на связь?», «написал?» Однажды Абдулренат поприветствует Пулат аку иначе:

— Давно не вижу вашего племянника Сардора, домла.
— Не мой, жены.
— Уехал к родителям?

Саида, жена домлы, была родом с Долины, из рода ремесленников. Испокон веков её предки ткали хан-атлас — бесподобную по красоте шёлковую ткань, воистину королевскую. Нити из кокона шелкопряда пучками окрашиваются природными красителями в разные цвета, соединяясь рваными переходами, образуют радугу. Полотно, словно в технике импрессионизма, образуется из отдельных мазков всевозможных оттенков, часто контрастных. Результат — праздник жизни, взрыв сочных красок.

Ручное производство радужной ткани теряло прибыльность, не привлекало подрастающее поколение. Промысел хирел, отец семейства не заставлял сыновей впрягаться в семейное ремесло. Пять сынов, единственная дочь выбрали другие профессии. Род шумно радовался, когда один из внуков, Сардор, — отца семейства зовут Сагдулла, детям и внукам он давал имена на «С», — поступил на журфак столичного университета, поселился в общежитии.

В первую же сессию Сардор оказался в гуще молодёжного протеста. За двенадцать лет до самоподрыва Молоденькой, во время зимней сессии взбунтовалась молодёжь студгородка. Подняли цену на хлеб. По прежней стоимости хлеб можно было купить по купонам, талоны студентам не успели раздать. К вечеру пустой желудок вывел ребят из общежитий. Возмущение вылилось в спонтанный митинг.

Кому-то пришло в голову усесться по примеру Ганди на землю. Власть вступит в переговоры, видя мирный характер их противостояния, рассчитывала толпа митингующих. Сардор с друзьями уселись на асфальт около кольца троллейбусной остановки. Слово за слово, студенты выливали накопившееся недовольство представителям университета. Требовали, пусть перед ними предстанут персоны с самого верха, держат ответ, что вообще творится в студгородке, в государстве. К разъярённой молодёжи уполномочённые высшей властью не вышли.

Накал возмущения рос. Студентов попросили разойтись по общагам. Они не разошлись. Толпу грубо разогнали. Двое погибли от милицейских демократизаторов. По спине Сардора тоже прошлась резиновая пружинящая дубинка. Парню мерещилось, от удара его печёнка и селезёнка разорвались на куски. Молодых принудили повиноваться приказу. Так он приобрёл первый, сугубо негативный, опыт политической активности. С тех пор не мог спокойно, печёнка постоянно ныла, относиться к чиновникам. Озлобился. Критиковал все нововведения.

Болезненнее всего реагировал на выборы в республике. По законодательству, президент страны избирается на пять лет и не более двух сроков подряд. Юрт боши четырежды побеждал на выборах, дважды продлевал срок с помощью национальных референдумов. «Зачем принимали новую конституцию? Чтоб обходить?» — приходил

в ярость Сардор, когда интересовались, ходил ли он на выборы.

После окончания университета Сардор в Долину не вернулся, остался в столице утолять жажду справедливости. Отец махнул рукой на непонятливого сына. Дома бывал наездами. Не искал работу по специальности. Перебивался случайными заработками. Родственники между собой-то не обсуждали дела Сардора, не говоря уже о малознакомых его приятелях.

— Вам зачем?

— Я про Алима хотел узнать. Их часто в подвале видел...

— Не кричи, — оборвал его Пулат ака. — Наберись терпения, узнаешь. Лучше забудь Алима... — они вместе тренировались.

— Вот именно! Умники! Боевые единоборства при мечети, как только имама не «закрыли»?! Молодняк. К чему готовились? А-а-а? В рукопашную с милицией воевать? Ну-у, тупые. Не хочу слышать ни про него, ни про Алима. Кровь вскипает, как вспомню.

— Домла, тот взрыв на рынке — теракт? Вы же воевали.

Пулат ака заткнул бы Абдулрената, так что тот боялся бы просто подойти к нему, заговорить — подавно. Но Абдулренат нажал на любимую мозоль домлы, уважил, спросил как эксперта. Пулат ака почти диверсант в прошлом.

— Бардак это, не теракт. Надо же додуматься, бомбы на женщин вешать! Бессовестные. Черёд на детей вешать?

— В других странах вешают.

— Подражать боевикам? Не говори мне больше о них. Слышать не могу.

Пулат ака стоящей информацией Абдулрената не снабдил. Дал понять, если и имеется, не будет делиться. Он не откровенничал ни с кем, кроме иностранца. У Пулата и Исматуллы было общее в воспоминаниях. Афганец был моложе домлы. Участвовали они в разных военных операциях, носить форму афганских вооружённых сил довелось обоим.

В самом конце семидесятых отобрали солдат-срочников из мусульман Средней Азии, мурыжили по спецназовской подготовке, переодели в афганскую форму, забросили за «речку». Пулат попал служить в первый мусульманский батальон ГРУ СССР — тот, который обеспечил проход советских рембо сквозь внешнюю охрану во дворец Амина. И во дворце без ребят мусбата не обошлось. Не одна сотня военных была задействована в той операции. Однако вся слава у бывших «Грома» и «Зенита», будущих «Альфы» и «Вымпела». Бачата мусбатов рисковали не меньше, но про них поспешно «забыли». Это выводило из себя Пулата.

Мелкое пренебрежение в череде подобных. Не спрашивайте после, почему составные части некогда могучего Советского Союза разбежались по национальным квартирам. Три славянских брата в перерыве между охотой в Беловежской пуще договорились развалить империю. Руководителей национальных окраин на охоту не пригласили. С той охоты стартовал крах Союза: разорение народа, тотальная ваучеризация (читай: прикрытие первоначального накопления капитала ушлыми чиновниками), исход русскоговорящих, межнациональный разлад. Кануло в лету нейтральное название объединения: «Советский Союз». Время, точнее, поправки к Конституции РФ о русском языке как языке государствообразующего — а то не знали — народа покажут, что дальновидно, за тридцать лет до поправок, национальные республики поступили — разошлись.

Первый мусбат досрочно демобилизовали, не повторившийся более прецедент советских времен. Пулату с трудом удалось доказать, что он участвовал в секретной военной операции, имеет законное право на привилегии ветерана боевых действий в Афганистане.

— Меня страна таким воспитала, каким бы ни был приказ, подчиниться. Приказ — святое. Нынешняя молодёжь на государство руку подымает.

— Нынешнюю молодёжь страна такими воспитала, бача, — подхватывал Исматулла. — Это другая страна, не ваша.

Пулат не бача по возрасту. «Мальчишками» кликали советских солдат афганцы. Воевали на чужбине, как за родину, двадцатилетние пацаны. Домле неподдельно нравилось, когда Исматулла обращался к нему: «бача» Мужчина расплывался в улыбке, глаза светились от удовольствия, молодел.

— Да, это разные страны.

— Правители те же. По всему СНГ те же.

— Ну, душман, ну, басмач, в точку. Ругали, Брежнев долго сидел. А сами?

— «Правители», не президенты.

— Говори: «руководители», безопаснее.

— Сейчас говорят: «лидер государства». Наверное, правильно, нельзя их часто менять. Коней на переправе не меняют.

— Какая переправа? Давно новой жизнью живём. Сын бороду до пупка отпустил, — домла тряс разведёнными руками. — Не учите, говорит, папа, сам знаю. Боюсь за него.

— Не обижайся, бача, плохо это.

— Согласен, плохо. Куда-то не туда ходит. Узнать не могу.

— Образумится, он парень неплохой. Думаю, зря беспокоитесь.

— Занесёт, как племянника, куда не надо. Всевышний спросит, что сделал ради меня, что отвечу? Ничего. Только сына родил. Из-за сына примерным мусульманином стал.

— А я думал, грехи перед Амином замаливаете.

— Спасибо, душман, напомнил. А то забывать начал.

На острых моментах они переводили разговор на нейтральные темы: что теперь с дворцом Амина, что с районом, который строили в Кабуле шурави, что с теми, кто получил образование в СССР.

— Душман, не обижайся. Зря мы вмешались тогда в ваши дела. Сейчас дошло, когда сын вырос, не учи, говорит, папа.

— А я — почему мы между собой воюем, не понимаю.

— Когда-нибудь перестанете. Что с родственниками, друзьями? Кто у нас учился?

— Разбежались. Мало кто прижился у себя. Сестра в Иране, один друг в Нидерландах, другой в Германии.

— Ты тоже махни в Европу.

— Зачем? Мне и здесь хорошо.

После трех дней весеннего переполоха Исматулле станет нехорошо здесь. В течение трех месяцев афганец свернёт дело, распродаст имущество, налегке улетит на родину жены.

Прихожане оборачивались, недоумевая, о чём секретничают, похохатывая, солидные мужики. Домла негодовал, когда говорил о новых реалиях. Афганец вслух не высказывался о проблемах, в клубке которых его народ безнадёжно погряз, даже думать об этом было больно. Когда страна придёт к согласию? Неужели единственный выход — разрубить узел волевым приёмом? Вот бы здоровые силы страны одним рывком сотворили нечто, схожее с захватом дворца Амина. Вас с друзьями попросим, поможете, шутил афганец, сами не справимся. При огневой поддержке — пожалуйста, отшучивался учитель. Становясь тут же серьёзным, вопрошал: зачем? Переворот — это горе, разруха. И так в стране вражда и разруха, увертывался иностранец.

Тогда, прожектёрствовал душман, присоединили бы к себе республики Средней Азии этнических соплеменников, север Афганистана почти весь заселён ими. Хорошо бы, соглашался бача, хотя оба знали, схожей утопии, приписываемой генералу Дустуму, не суждено было реализоваться.

Мужчины шли по направлению к метро. Впереди две девушки. Открытые плечи, короткие юбки, босоножки на высоченных шпильках.

— Конечно, невозможно, — афганец не отрывал глаз от девичьих ножек. — Мы с вами, бача, на одном языке разговариваем, по крови один народ...

— Фактически — разные народы, хотя только «речка» нас разделяет.

— Почему паспорт для меня, я же свой, жалеют?

— Ты душман.

— Знаю. Поэтому иду, о девушках думаю. Вы даже не смотрите на них.

— Я старый.

— Я тоже не молод, но не могу равнодушно смотреть на них. Советская власть вам не только сознание, но и кровь поменяла, кожу. Какие белые ножки!

Мужские шаги длиннее. Расстояние сокращалось.

— Девушки, как вас зовут? — атаковал афганец.

Слыша разговор мужчин сзади, но изобразив, что обернулась по надобности, одна из девушек представилась:

— Меня Катя, она — Диля.

— А меня Федя, — нашёлся Исмат.

— Ну и дура.

Джентльмены рассмеялись, не затормозив, прошли мимо.

— Видели, какие светлые? Наши — как копчёная рыба.

— Мы с другими нациями перемешались. Плюс косметика.

— Не косметика это. Это сытая жизнь. Не пойму я вас, почему обижаетесь на Советы? До них мы с вами одинаково жили.

— Лично я не обижаюсь, — перебил его домла, — молодёжь бунтует.

Они уже спускались в подземку. В сердцах афганец обронил:

— Когда мой народ в метро будет ездить?!

Помимо политбесед, воспоминания бачу и душмана скрепляла тайна. По дури Сар-

дор рекрутировался к боевикам. Духовники общались с новобранцами неторопливо, в одной тональности, не игнорируя каверзные вопросы новобранцев. Сардор быстро осознал, куда завербовался. Сбежать самостоятельно — верная гибель. Горы не полис, городской человек заплутает в два счёта. Охрана в лагере была без надобности, скорее, порядка ради.

Сардор сумел дать о себе знать через парня, которого выкупили родители. Родители сбежавшего из лагеря парня наотрез отказались снабдить Пулата координатами посредников. Домла попросил помощи у Исмата. Высшую степень доверия бачи душман оценил. С блеском справился с заданием. По своим каналам нашёл нужных погранцов, сделал их сговорчивыми, те вывели на проводника, с которым также была заключена сделка. Проводник добрался до лагеря, дал охране мзду, выкупил олуха, спустил с гор до цивилизации.

Высоко в горах обзор на 360 градусов. Иллюзия, что до соседней вершины рукой подать. Огромные звёзды прямо над головой. «Весь мир на ладони, ты счастлив и нем»[1], если привычен к горам и в эти мгновения не одинок. На Крыше мира обманчивые расстояния, невидимые поначалу препятствия, абсолютная тишина.

Последнее — самое сложное. Ты один в пустом и холодном мироздании стоишь над обрывом «бездны равнодушной Вселенной»[2]. Редко пролетит птица, завоет волк, прошуршит паучок. Ты бесконечно рад живому существу, в панике спасающемуся бегством от нависшей над ним твоей подошвы. Без песен дождя, бытовых щелчков, детского визга, скрежета асфальта, стука молотка за стеной, концерта в наушниках — без какофонии из приятных и неприятных, неожиданных и постоянных, слабых и резких шумов свихнуться можно за двадцать минут. Кто-то продержится дольше, но через час начнёт бушевать, драть горло, взывая к людям. Проверьте себя. Тяните на больший срок — вы гуру в медитации.

Если дезертира из лагеря боевиков поймают, парней ждёт зрелище. Новобранца выводят перед строем замерших в безмолвии ребят, ставят на колени, хватают за волосы, чирк по горлу, как жертвенного барашка. Казнь без громких речей, безумных истерик, съёмок. Нет эшафота, нет пули в лоб. Только нож по шее. Завораживающее действо, гипнотизирующее мужчин, делающее каменными их души. Они научаются: убивать легко, как и быть убитым.

Много лет спустя Лера увидит кадры, как аналогичным образом игиловцы расправляются с иностранными журналистами, скажет себе, своевременно, в зародыше, подобный беспредел на бывшей родине искоренили.

После возвращения с гор профессионального бунтаря семейным советом было решено отправить к дальним родственникам. Сардора подрядили формировать кирпичи из сырца. Родственники дали беглецу кров, еду от пуза, возможность заработать. Он еле выдержал три месяца ссылки, сбежал в город приближать триумф справедливости. В доме тёти не обитал, где перекантовывался — неизвестно. Мелькал в мечети, дядька фиксировал, передавал жене, а та родителям, что племянник жив, здоров, не отощал, просьбами не докучает.

Непочтение к Конституции при выборах главы государства было обоюдным пунктиком незадавшегося журналиста Салима и студента Алима, сдружило их, сделал вывод Абдулренат. Алим гром и молнии метал, если затрагивался этот вопрос.

— Обещали менять людей у руля, закон приняли. Слово не держат, — обида звучала по-детски.

Алима волновали не конкретные персоналии, а почему механизм смены власти буксует. Он усматривал унижение нации в утверждении, что народ имеет то правительство, какое заслуживает. Выросший в эпоху независимости, молодой человек верил, родина заслуживает лучшего. Раньше мешал центр. Мешал ли, перебивал его Абдулренат. Теперь всё в наших руках, напирал парень.

— Выборы — не олимпийские игры, чтоб проводить через каждые четыре года. Для власти, для меня, между прочим, тоже, стабильность важнее.

— А мне перемены.

— Конституция перемены не гарантирует, наоборот.

— С имён бы начать. Не больше двух сроков. Не ждать их естественной кончины, чтоб другого назначить.

— Мне всё равно, кто наверху. Я внизу живу.

— Ждали, лучше заживём, надеялись. Москва не командует. Аванс в руки им вложили. Они обещали. Что за пятнадцать лет изменилось в лучшую сторону? Народ расползается, как муравьи, по дальним странам, чтоб семью здесь кормить. Другие нации обидели, специалисты уезжают. Есть мозги, нет мозгов, есть деньги — университет в

[1] Из песни В. Высоцкого.
[2] Метафора А. Меня.

кармане. Правильно Хазрат говорит, в них нет имана. Верующий держит слово, боится не людей, Всевышнего.

— Президент боится Всевышнего. Присягал одной рукой на Конституции, другой на Писании.

— Не боится. Клялся Писанием, чтоб операторы засняли. Хазрат говорит, наше государство — государство неверующих, его законы можно не соблюдать.

— Наш хазрат говорит? Не припомню...

— Другой...

— Я его знаю?

— Нет.

К этому хазрату, харизматичному, надо полагать, Алима повела Тамара. А ещё Тамара дала ему почитать «Путь к вере». Алим дал полистать книжицу Абдулренату. На него брошюра не произвёла впечатления, обычные изыски на религиозную тематику. Шокировала его лишь одна деталь в предисловии: автор был осуждён за призыв к госпереврату, умер в заключении, что было написано в примечании. Абдулренат долго искал в тексте призыв к захвату власти. Возможно, это было закодировано в контексте:

«Как вы видите, религия — это не сказка или легенда и не какие-то ритуалы, совершаемые в определенное время. Религия — это путь, предписанный Аллахом, который приведет к счастью в этой жизни и после воскрешения. Идти или не идти по этому пути, человек решает по своей воле. Тот, кто не хочет идти по этому пути, считается неверующим и обречен проводить свою жизнь в материальных и моральных страданиях, а в будущем мучиться в аду... Этот путь начинается с веры Великому и Единому Аллаху, укреплению этой веры. Свою веру невозможно укрепить лишь одними словами. Для того необходимо, чтобы сказанные слова конкретно подтверждались на деле... Вера — это основа ислама и все действия человека по отношению к указаниям Аллаха зависят от его веры, от чистоты и силы его убеждений. Чтобы полностью выполнять все указания и запреты Аллаха, у человека должна быть сильная, достигшая совершенства вера».

«Если есть стадо — есть пастух»[1]. После знакомства с популярным в молодёжной среде хазратом Алим обзавёлся куцей бородёнкой. Юноша был светел лицом, весной проступали веснушки, которые становились невидимыми под ровным, цвета обожжённого кирпича, загаром; строптивые, темные у корней, волосы на концах отливали медью, — словом, гнедой жеребец. Жиденькая бородёнка нервировала прихожан. Зрелые мужики говорили, не позорься, сбрей, возмужай сначала, позже отрастишь. Алим бороду не сбрил. Подправлял, темнил хной, хадисы позволяют.

В начале осени Тамара найдёт сайт, где будет помещена сжатая информация и — о! неожиданность — фотография с судебного заседания над молодчиками, устроившим бучу весной. Она покажет сайт Абдулренату. Не на это ли намекал афганец, когда сказал, что он услышит в своё время про Алима? Иностранец был достоверно информирован об аресте? Откуда? Проболтался спецслужбист за обедом? А если сам сдал парня.

На фото из зала суда пятеро молодых мужчин за решеткой, в белых — почему-то все в белых — цивильных футболках и рубашках. Аккуратно постриженные, побритые. С опущенными глазами. Среди пятёрки Абдулренат признает Алима. Сардора не разглядит; прохиндей, похоже, и в этот раз сухим вышел из воды. Волосы Алима будут абсолютно темными, без рыжины, послушные и мягкие, судя по снимку. Через что прошёл парень, если волосы, и те изменили свою природу?

Абдулренат и Тамара не будут знать, радоваться им или огорчаться. Алим не отстреливался, иначе бы его ликвидировали. Вероятнее всего, таким был приказ силовикам, решат они. Гранатой себя не подрывал, раз сидит за решёткой. За что арестовали? Взяли за компанию? Сайт сообщал, пятёрке молодых грозит многолетнее заключение, не исключена высшая мера наказания. Смертная казнь была ещё в силе. Конкретные фамилии не упоминались.

Отследить далее судьбу парня Тамара не пожелает, Абдулренат не станет. Тамара была неравнодушна к Алиму, но у девушек память коротка. Абдулренат мысленно согласится с Исматуллой, Алим не ребёнок, мужчина, сам выбрал, с кем ему хороводиться. Зря он на него бочку катит. В конце концов, афганец сделал для защиты Конституции больше, чем Сардор с Алимом оба.

Когда стала известна альтернативная кандидатура на президентских выборах, Исматулла откровенно радовался: «Я знаю его по аспирантским делам. Голосуйте за него». Прихожане отнекивались, мол, победит действующий президент. Всё равно голосуйте за него, достойный человек, повторял афганец. Что ты за него агитируешь, спрашивал бача иностранца. Остроумный человек, отвечал душман, рассказывал

[1] Цитата из песни В. Цоя «Белый день».

всем подряд, почему. Исматулла презентовал реферат профессорской комиссии. Его прерывает будущий кандидат в президенты: «Почему для вас Ишматов — товарищ, Ташматов[1] — господин?» Исматулла в волнении обращался к кому-то «товарищ», к кому-то «господин». Профессора рассмеялись, Исмат расслабился. Презентация далее пошла гладко.

Второй кандидат в президенты отнял у избранного четыре с небольшим процента голосов. Поплатился за эти цифры крахом карьеры, репутации, здоровья. Абдулренат голосовал за кандидата от Исматуллы, братьев попросил, то есть свою внёс лепту в защиту Конституции.

Началось лето, пришла жара. Лера быстро пробежалась мокрой тряпкой по линолеуму освежить воздух в комнате. Не помогло, не уснула. Встала, закрыла окно, чтоб мошкара не налетела, включила настольную лампу. На чистой странице толстого кожаного ежедневника, подарок Софи, британской исследовательницы, составила список окружения Нилюфар: муж Мурад, брат Рахим, подруга Севара, сосед по махалле Андрей, жених Абдулренат, ухажёр Асхат. Включила было Севару, но сразу зачеркнула. Нилюфар и Севара не общались активно последние два года, иначе она была бы в курсе. Отсекла Андрея с его подозрениями в адрес Мурада. Его наблюдения, пусть тонкие, далеко не факт. Жирно замазала Асхата, бумага аж порвалась на его имени. Мужчина полностью исчез с горизонта Нилюфар года за три до этой весны, если не больше. Подумав, включила в список молоденькую Шахиду, поставив рядом с именем знак вопроса. Два подрыва с разницей в сутки в одном городе — только круглый идиот будет отрицать связь.

В центре второй страницы прочертила крупно «Н», мельче начальные буквы трех мужчин. Соединила горизонтальной линией Н(илю) с Р(ахимом), от «Р» стрелку повела вверх до М(урада). От «М» спустилась к «Н». Треугольник замкнулся. Протянула стрелку от «Н» вниз к А(бдулренату). С кем связать «А», кроме «Н», Лера не знала. У «А» с «Н» была двухсторонняя связь, она это обозначила обоюдной стрелкой. Лера еще не знала, Шахида сблизилась с Нилюфар, стала старшей подругой, не по возрасту, по опыту послушания. Тамара — приятельница «Ш». Лера внесла в список Тамару. Как найти место «Ш» и «Т» в схеме, не знала. Конфигурация липкой паутины окружения Нилюфар нуждалась в завершении. Открытый конец беспокоил.

Лера решила закруглить схему, начать с Абдулрената. На этой мысли заснула. Наутро, порывшись в блокноте, отыскала его контакты. Соседка по подъезду, приезжая одинокая женщина с двумя дочками, попросила Леру, коренную горожанку, найти недорого муллу, чтоб освятить квартиру, в которую та въехала. Повод выйти на связь с приятелем Нилюфар отыскался. Лера позвонила Абдулренату, договорилась об услуге. Он провёл процедуру без излишеств, сказав, что освящение жилья, скорее, язычество, если сильно хочется, вреда не будет. После ритуала они отобедали тем, что приготовила хозяйка квартиры.

В жизни Абдулрената пошли перемены. Исчезли Алим, Исматулла, Тамара. Запропастилась Нилюфар. Усилилось нездоровье. Он отвыкал жить[2]. В чём проявлялось? Раздавал, раздавал, раздавал. Свои мысли, сбережения, книги, вещи. Предчувствуя смерть, человек раздает блага, настроенный жить — копит. Понаблюдайте.

Его разыщет Лера, прервёт печальный настрой, займёт необходимостью его воспоминаний. Она выведет мужчину из грустных раздумий, пригласив провести ритуал освящения квартиры соседки. Они станут часто переговариваться. Общая тема сведёт их.

— Что с ней? Почему не звонит? — встревожится Абдула, когда Лера позвонит ему в первый раз. — Я ей в последнее время не звонил, она же вышла замуж, неудобно.

Лера лихорадочно соображала, как сообщить, что подругу отнесли на кладбище: «умерла», «рецидив пошёл», «не стало»?

— Погибла, — честно ответила Лера.

— Погибла?!

— Да. Похоронили в начале апреля.

— Почка отказала?

— Если бы.

— Авария?

— Почти. Взорвала машину на блокпосту.

На следующее после самоподрыва Молоденькой утро на выезде из города усиленный военными дорожный патруль остановит «Тико». Рутинная проверка. Нарядно одетая женщина неторопливо выйдет из машины, с улыбкой на устах приблизится

[1] Ишматов, Ташматов — аналог Иванов, Петров, Сидоров.

[2] Метафора А. Платонова из «Дерева родины».

к мужчинам с автоматами на плечах, мужчины к ней. Они не встретятся. Прогремит взрыв, «Тико» взлетит вверх. «Ведьма», — проговорит раненный боец. Ведьмины соратники откроют пальбу.

— Не может быть! Этого не может быть. Нет, нет, нет. Не может быть.

Совладав с шоком, он торопливо перескажет Лере городскую быль про редактора газеты адвокатов. Когда прогноз ясен, однозначность скорого ухода даёт силы выкинуть какой-нибудь фортель, например, ограбить банк, помните, как в «Достучаться до небес», изложит он собственную версию, почему Нилюфар совершила взрыв. Лера возразит, у женщин любовь к жизни сильнее, проявляется в самой безнадёжной ситуации, сошлётся на «Жизнь взаймы» Ремарка: «Если бы вы только знали, как мне хотелось бы остаться, — медленно сказала она. — Я согласна быть бедной и одинокой, только бы остаться! Остаться! Все остальное — ложь и мужество отчаяния».

— Почему вокруг меня люди исчезают, а я ещё жив? Почему я не чуял, что с ними что-то не так? Я слепой и глухой. Я должен был уберечь их.

— Это муж её с прямой дороги сбил.

— Муж? Как они встретились?

Лера расскажет в двух словах, как Мурад «встретил» Нилю.

— А вас кто с Нилю познакомил?

— Знакомый.

Лера допытается, кто конкретно. Толик, выдаст приятеля Абдула, из вашей махалли, пересекались с ним в больницах. Хорошая, но невезучая, сказал, жаль, что одинокая. Есть такой Толик, уточнит Лера, верно про Нилю сказал: хорошая и невезучая.

В беседах с Абдулренатом Лера поймёт, как Нилю попала в ряды радикалов. Толик сведёт Рената и Нилюфар. Ренат познакомит Нилю с Тамарой, надеясь, опытная Умида отын-ой, бабушка Тамары, утешит Нилю, её мать. Тамара введёт в — тайное? — сообщество Нилюфар. Там она сблизится с Шахидой, подружатся их мужья, Комол и Мурад. Молоденькая Шахида возьмёт под опеку разменявшую третий десяток Нилюфар. За полгода до переключения тумблера они сроднятся как сёстры.

Круг липкой паутины, из которой не смогла вырваться Нилю, замкнула Тамара. До Нилюфар Тамара пригласит в домашний кружок возле цирка Молоденькую. Туда же притащит Алима. Юная барышня, мягкая кошка при мечети, поставщик кадров. Раззадоривает людей, разжигает страсти, сама в кусты. У Леры вырвалось:

— Ненавижу её.

— О, женщины! Не поносите друг друга. Не Тома толкнула Нилю в ад.

Члены домашнего кружка по изучению Писания участвовали в жизни соратников. Тамаре вовлечённый в ячейку стоматолог бесплатно залатал зубы. Алиму подкидывали разовые подработки, некий патрон снабдит добротной верхней одеждой. По протекции Шахиды Нилю устроится лаборанткой в НИИ не эксперименты проводить, набирать тексты на компьютере, пригодились компьютерные курсы, уроки Асхата. Работать Нилю умела и любила. Мать часто говорила дочери: «Кимгадир бахытни тикин берар, кимгадир иш бахыт диб берар»[1].

На второй день после взрывов в городе Лера получит короткий мейл Софи: «Ехала в машине, по радио сообщили, в вашем городе неспокойно. Как вы, не задело ли вас, ваших близких? Примите моё искреннее сожаление». Ей сопереживали, сопереживали стране. Это было впервые, и это было приятно. Кроме британки, ни далёкие российские родственники, ни одноклассники, которые разбрелись по миру, не соизволили выразить Лере сочувствие из-за прогремевших событий. Лера пожаловалась маме: почему? Мы не приручены выражать сожаление, объяснила женщина. С тех пор, если у знакомых или родных в стране разыгралась стихия, стряслась катастрофа, прозвучали выстрелы или случилось личное горе, Лера обязательно посылает им слова сочувствия. В ответ получает искреннюю признательность. До той весны ей казалось, соболезнование имеют право выражать люди лишь почтенного возраста. Выяснилось, нет. Сопереживание трудно выразить в первый раз, со временем оно выговаривается естественно.

С Софи Вудсон Лера познакомится примерно за год до вооружённых стычек с милицией. Исследовательница Оксфордского центра ислама, по совету Британ Каунсл, наймёт Леру в качестве гида-переводчика. Британка изучала религиозный ренессанс, в частности, феномен женского исламского самообразования. Просвещение проводили продвинутые в учении, заслужившие своим поведением уважение округи женщины, именуемые отын-ой. Софи хотела собрать интервью с ними.

Год назад на май пришёлся мавлид — месяц, когда празднуется день рождения Пророка. Через посредничество Нилюфар Лера и Софи выйдут на Абдулрената, через него — на Умида опу, авторитетную отын-ой. Женщина не сразу согласится на интер-

[1] «Кому-то счастье так дано будет, кому-то работа дана будет как счастье».

вью. Софи покорит её тем, что вскользь, но безошибочно воздаст хвалу Всевышнему: «Аль-Хамду ли-Ллях...» После сложных дипломатических переговоров, маленьких презентов Умида опа пригласит Софи и Леру на ритуальное собрание в честь мавлида.

Умида опа достойно подготовится к мероприятию. Угощения на скатерти, расстеленной на ковре, сразят британку количеством и разнообразием. В начале и в конце приёма женщины будут дарить почтенным матронам подарки, деньги. После введения Умида опа нараспев почитает по-арабски стихи о Пророке. Собравшиеся сосредоточенно будут внимать. Периодически отын-ой будет отрываться от стихов, толковать их. Когда теоретическая часть завершится, женщины во главе отын-ой воздадут молитвенную хвалу Всевышнему. Каждая отопьёт освящённой водицы, Софи и Лера тоже. Чаша с подслащенной водой с самого начала встречи стояла возле отын-ой. Затем женщины приступят к трапезе. Во время обеда Умида опа будет отвечать на религиозные и житейские вопросы женщин.

Мероприятие не впечатлит Леру. Тексты Писания сложны для восприятия новичку. Ей запомнится другой момент. Софи потянется левой рукой за самсой. Женщина легонько коснётся её предплечья: «Мехмонда куркак бол», — покажет жестами, дескать, бери правой рукой. Софи взглянет вопросительно на Леру. Лера медленно протянет правую руку к тарелке с самсой. Она испугается, что Софи не поняла её. Но нет, Софи быстро перестроится, возьмёт правой рукой аппетитный пирожок. Какой иностранец откажет себе в удовольствии испробовать вкусные даже на вид блюда местной кухни?!

Внучка отын-ой заметит растерянность важной гостьи. Провожая до остановки, разъяснит, почему Софи сделали замечание. В исламе строгие правила, будет бубнить Тамара, правая рука для чистых дел, левая для грязных, в туалете, в частности. «Чистота тела и души — половины веры», — подытожит тоном папы римского мини-проповедь девушка. Речь Тамары Лера подкрепит личными примерами: «Мы летом не принимаем ванну, не моемся в стоячей воде, предпочитаем душ, проточную воду. Вы греетесь в воде, нам остыть надо. Редко едим свинину, летом не лезет. При жарком климате инфекции разрастаются мгновенно. Люди выработали правила, освятили их силой веры, иначе не заставить соблюдать их».

Софи кивала головой в знак согласия, но оставалась расстроенной. «Софи, обычаи возникли не из головы. Воды не хватало часто руки мыть — распределили по задачам. Жара, пыль, песок — надели никаб. Я сама готова носить никаб, чтоб лицо не сгорело на солнце. Из косметических соображений — нечестно, поэтому не ношу, но понимаю, почему носят». — «Это было раньше, — возражала Софи, — есть же евроислам, был, в конце концов, джадидизм, просвещенный ислам. Почему его вы не возрождаете?» Лера ловко отобьётся, дескать, вопрос не ко мне, я бы тоже хотела знать ответ; да, мы изучали историю джадидов в университете, почему их идеи не прижились — пусть разберётся она, человек учёный.

Для Леры религиозный ренессанс, о котором талдычили иностранные исследователи, выражался в новых понятиях, в присказках. Раньше махаллинские воздавали славу Всевышнему словами: «Худога шукур». С некоторых пор Лера чаще слышала: «Аллога хукур». К известному «аминь» прибавился ранее редкий «иншааллах». «Иншааллах» — «если на то воля Божья» — давалось ей сложнее, она по-прежнему ограничивалась печатью «аминь», закрепляющей пожелание и молитву на любом языке.

Гостьи тепло попрощаются с внучкой Умида опы. Лере она не понравится: старушка в облике юной ханум, поучает при каждом шансе. Не рано ли? Правильная вся. Жениться на ходячем сборнике норм и запретов вряд ли вдохновит парней, подумает она, и угадает. Тамару члены кружка, в который завлеклись она и Шахида, не позовут замуж. Молоденькой уже через три месяца сделают предложение. Девушка-кипяток буквально притягивала взоры юношей к себе. Обуреваемая ревностью, кастинг не прошла, Тамара покинет кружок, сославшись на бабушку, не одобрившую идей, которых внучка нахваталась. Ещё Умида опа запретит ей принять ухаживания Алима.

Итак, Абдулренат познакомил Нилюфар с Тамарой. Прежде чем покинуть сообщество, она свела Нилю с Шахидой. Соответственно, познакомились их мужья. О муже Шахиды Лера от Абдулрената (он в свою очередь от Тамары) узнала немного, что старше на восемь лет, есть первая жена, ребёнок в провинции, заботу о которых преданный борец с системой возложил на родителей, далёкую семью навещает редко.

Абдулренат сватался к Нилю. Он в подробностях расскажет Лере, о чём они говорили, мечтали. Мужчина признался на первом же свидании, что Нилюфар не в его вкусе, но он готов жениться, гемофилия — не препятствие делать детей. И Лере втулял, женщина не должна быть без мужчины рядом. О ней сперва заботится отец, затем брат, муж, сын. В мире столько одиноких женщин, сердце саднит, кругом они. Была б возможность, осчастливил бы всех, глядя в глаза Лере, заявит Абдулренат. Писание позволяет мужчинам иметь несколько жён, чтобы каждой досталась забота и тепло.

А что делать? Мужчин не хватает. Есть «женское счастье», «личное счастье», практически не употребляется выражение «мужское счастье»; почему? — спросит он Леру. Действительно, почему? Что вместо счастья должно быть у мужчин? Власть, деньги, слава — что? Я не мужчина, не знаю, закусит губу Лера.

Браки по любви (читай: по вожделению) воспеваются в искусстве. Основной инстинкт в предельном проявлении, что страстью именуется, заманивает людей в брачный союз. Порадуемся за них. Как быть одиноким, вдовам, разведёнкам с детьми на руках, невезучим, больным? У которых половое влечение в угнетении, а витальные потребности выпячиваются наружу. Если мужчина протягивает руку помощи женщине в незавидной жизненной ситуации, обещая защиту от нужды, одиночества, тоски, его статус уже женатого не кажется суровым табу. Тогда случаются браки по милосердию, по согласию. У них серьёзное основание быть. Основание это не страсть: браки, когда молятся не на бога, на спасителя, спасительницу. Преодолеть себя, подписаться на пожизненную заботу о проблемном человеке — многого стоит. О подобных браках не пишут романы, не снимают кино, хотя они совершаются.

В двадцать два Лера сходила замуж, однако быстро вернулась. В гостях у корейской родни её заприметили два брата. Русскую родню она в глаза не видела. Отец привёз жену из маленького сибирского городка, где проходил армейскую службу. Приезжала два раза русская бабушка погостить. С развалом СССР общение с сибирскими родичами свелось к редким звонкам. Лера унаследовала от матери, высокой голубоглазой блондинки, только рост. В остальном внешне типичная кореянка, не чагубя[1].

Младший Хван рьяно ухаживал: каждый день букет, билеты на заезжих музыкантов, прогулки по городу. Старший, хирург в ожоговом центре, вызывал вечерами поболтать возле ворот. Умный собеседник, какой мало впечатляет двадцатидвухлетних девушек, он не подгонял события в гриву и в хвост, как младший. Лихач Лёха первым сделал красивое предложение. Лера не устояла, приняла предложение. Хваны — авторитетное, небедное семейство, Леха — обаятельный парень, возраст обзаводиться семьёй у Леры подошёл. Аргументами «за» забросала мать. Наперекор увещеваниям, Лера пошла замуж.

Сыграли пышный запой, по меркам иной семьи, свадьбу, заведено у корейцев шумно родниться. После запоя, до официальной свадьбы, по корейским обычаям сосватанная девица живет с женихом. Лера переселилась в респектабельный дом Хванов. Скоро поняла, почему мама была против Лёхи. К Хванам наведывались рэкетиры, угрожали. Девушка опасалась за свою жизнь. Когда Лёхе выбили челюсть, он попал в челюстную хирургию, сбежала. Мама оказалась права: «Отруби картёжнику руку, не перестанет играть, уж поверь, я корейцев знаю. Дом заложит, родню не пощадит, самого убьют, концы в воду. Старший — отличный парень, ты же с оболтусом связалась».

Лера решится на брак с иностранцем по согласию после отношений с Лёхой. Брак по согласию — не значит быть второй по очередности или параллельной женой. На момент встречи заграничный жених был абсолютно не отягчён обязательствами. Мечтал выбрать в спутницу жизни иностранку, чтоб у его детей было два родных языка. Лера вызовет в нём страстные чувства, это будет заметно с первой встречи оффлайн. Ей он будет просто импонировать. Кровное родство появится позже, по мере того как муж будет себя вести в различных житейских перипетиях.

— Если женщина не захочет делиться мужем с соперницей? — съехидничала Нилю на первом свидании с Абдулренатом. — Даже наивным доходягой, как ты... — она не высказала вслух концовку мысли.

— Нельзя быть эгоисткой.

— Нельзя. Не то, как в «Минувших днях», одна жена отравит другую.

— Атабек виноват. Мужчина задумал жениться второй раз, обязан был наладить мир между жёнами. Почему я не против полигамии? — задал вопрос и сам на него ответил жених: — Чем втайне соблазняться, лучше открыто жениться, честнее.

Нилю не стала раскручивать тему дальше. Абдулренат не испытал всей гаммы финансовых, жилищных, родственных вызовов. Он лишь готовился жить. Как и она. Припозднились оба. Два сапога — пара. Попробовать, что ли, замуж за него выскочить, авось сложится, — пряча улыбку, чуть не проболталась она.

— Что касается меня, я б женился много раз, если б имел возможность. Полноты условий нет. Недавно осознал, всё равно пора. Женюсь при том, что имею на данный момент.

— Вам безразлично, на ком жениться?

— Как и тебе, — поддел Абдулренат.

Между ними завяжется телефонный роман. Из микрорайона, где жил Абдулренат,

[1] Чагубя — метис.

в махаллю к Нилюфар не наездишься, далеко. Жених был великолепным оппонентом, уговорил Нилю по телефону замуж за него выйти, попытать счастья. Поднялся переполох, когда Абдула объявил семье, что надо сосватать ему Нилюфар. Он не любил собственное имя, считал аббревиатурой, расшифровывал как «революция, наука, труд», представлялся Абдулренатом в мечети, дома требовал, чтобы звали Адулой.

Отец выступил против. Жена Рамиля, Назира, подняла деверя на смех, она не воспринимала его как мужчину: белый, как полотно, раздутые колени, передвигается на костылях. Женщина не замечала, что деверь — красавец Фидель Кастро в молодости, только ниже ростом. Белая холщовая рубаха, в которую он переоделся, став на молитву, выгодно оттеняла крупные локоны, густые ресницы, кучерявую бороду, проникновенные глаза. Не видел этих черт разве что слепой. Старший брат Наиль с женой Венерой, они жили отдельно, поддержали младшего отпрыска на семейном совете: «Давно пора, вдвоем веселее, ругаться тебе не с кем, всё в себе да в себе».

Сопротивление домочадцев не сломило Абдулу. Он снова и снова заводил разговор о женитьбе. Невестка ударилась в тревогу, деверь приведет в дом ещё один рот, ещё одного безработного. Неправда, хоть не высокооплачиваемую, но постоянную работу в тот период Нилюфар имела. Назира громко взбунтовалась: «Жить отдельно, холодильник отдельно, денег не занимать, двор прибирать по очереди». Отец, мать, Рамиль протестовали сквозь зубы: «Хорошо подумал? Вы и свадьбу хотите?»

При сватовстве мама Нилюфар будет настаивать, на скромном свадебном застолье, на белой фате: «Моя дочь не хуже других; выйдет замуж со свадьбой». Отец Абдулы начнёт плакаться: «Кризисные времена, я бросил работу, нет прежних доходов, зачем двум инвалидам свадьба, посидим в тесном кругу». Вкладываться в праздник сына с мизерной пенсией инвалида с детства ему было не с руки. Ренат не работал. Он освоит ремесло сапожника в училище, отец соорудит будку, купит инструменты. Бизнес не заладится. Старшие сыновья — на престижных, доходных должностях, младший — неудачник. Будущая невестка из того же теста. Зачем тратиться на пирушку? Уживутся ли? Разбегутся — деньги вылетят в трубу.

«Будет по-вашему. Не будет свадьбы. Отдадите времянку? Пустует же», — гасил гнев родных Абдула. В видной части их добротного подворья расположен высоченный дом, сбоку от дома выстроен крепкий хозблог из летней кухни, бани, гаража, мастерской. Двухкомнатная времянка, в которой начали жить родители Абдулы, прячется за кронами деревьев в конце сада, у заднего забора. В заборе отдельная калитка, которой они не пользовались. Времянку ему отдали. Братья принялись ремонтировать выделенное младшему брату жилье. Мать занялась подготовкой к сватовству.

Во время сватовства родители Абдулы через раз упоминали «двух инвалидов», чем не понравились стороне Нилюфар. Нилю не скрывала от Абдулы, что у неё функционирует одна почка. Её близкие не считали жениха и невесту инвалидами: подумаешь, костыли, у невесты вообще не видно изъянов. И свадьбу не требовали пышную, лишь бы была, лишь бы подруги невесты повеселились. Сватовство срывалось. Тетка прибежала к Нилю в спальню спросить, сильно ли та хочет замуж за Абдулу, лично она против, сваты оскорбляют их своим «два инвалида», лучше откажись. Нилю кивнула. Тетка помчалась обратно огласить волю племянницы.

Не то чтобы Нилюфар испугалась неприятия родни Абдулы, она была по-настоящему напугана участковым терапевтом. Врач поведала, родится дочь, она может быть носителем гемофилии, тогда внук, вероятно, будет страдать от гемофилии. Рисковать здоровьем невинного ребёнка? Какая женщина в здравом уме, в твердой памяти пренебрежет высокой вероятностью болезни внука? Недоброжелательность Ренатовой семьи сыграла ей на руку, появился благовидный предлог расстаться. Нилю и Абдулренат расстались друзьями, продолжали ценить друг в друге начитанных собеседников. Телефонный роман перерос в телефонную дружбу. Кроме Абдулы, кандидаты на руку и сердце Нилюфар до Мурада не постучались в ворота.

Абдулу больше всего в провале затеи со сватовством огорчило, что испечённый огромный пирог родные невесты вернули целым. Он не мог взять в толк, что не разломленная лепёшка, неразрезанный пирог — знак, что сватовство не состоялось, что ответ невесты или родителей отрицательный. После сватовства большое семейство незадачливого жениха набросилось на пирог, слопало до единой крошки. У Абдулы кусок не лез в горло. «Пирог при чём? Вы могли его разрезать, поесть, мама ночь не спала, пекла», — сокрушался он ночью по телефону. Когда домашние улеглись, несостоявшиеся жених и невеста созвонились, обменялись впечатлениями.

Нилюфар отводила душу в разговорах с Абдулой. Когда занемогла, он регулярно навещал Нилю. Подозрительная опека, сомневалась она в его искренности, кто ему поручил её навещать. Что в хадисе ат-Тирмизи написано? «Когда вы входите к больному и подбадриваете его, то это ничего не меняет (в предопределении), но поднимает его дух». Примерный Абдула выполнял это назидание. Никто не поручал, по личной

инициативе делился он мыслями с ней. Он сам возложит на себя миссию утешителя тех, кто испытывал потребность в утешении, а не только бывшей суженой. На конкретные деяния его сил не хватало.

Понять Нилю ему не было трудно. Абдула существовал в схожих обстоятельствах. Схожих, да не совсем. Гемофилия — врожденная особенность, развиваются, конечно, осложнения, но их можно держать в узде, если дисциплинироваться. У Нилюфар болезнь возникла незаметно, скоротечно прогрессировала, вконец разрушая организм. Разница громадная.

— Разве я не заслуживаю счастья? Одна болезнь за другой. За что?

— Пророк сам страдал через здоровье. Кому, как не ему, знать, каково быть в болезни и страданиях[1].

— Страдал, не страдал — меня мало волнует. Это я мучаюсь, постоянно мутит, пища в рот не лезет, волосы выпадают. Рядом люди радуются. Справедливо?

— Тагдир, судьба. Надо терпеть, Всевышний учит...

— Судьба? Вы останетесь жить, а меня закопаете? На моём лбу это написано? — порой она не сдерживалась.

— Жизнь — испытание, — Абдула был ровен.

— Верю, ты родился для испытаний. У меня другие планы на жизнь были.

— Твои планы? У Всевышнего на тебя отдельный план. Поверь.

— Почему у кого-то на меня есть план? Не хочу.

— Поэтому ты наказываешься. Доверься Всевышнему.

— Что хорошего он для меня сделал?

— Хорошее придёт. Научись любить Всевышнего. В ком нет любви, тому мир представляется состоящим из скорби и зла.

— Конечно, из зла. Кто мне дарил любовь?

— Сама не пробовала дарить?

— Попробуем вместе?

Попытка создать семью потерпит фиаско. Нилюфар не узнает, Абдула ненамного, на год, переживёт её. Откроется кровотечение, бригада скорой разведёт руками, оставит дома истекать кровью. На рассвете он тихо уйдёт.

Лера поедет к Роза опе выразить соболезнование. Женщина расскажет, как сын уходил: «Был четверг, я приготовила плов. Абдула с аппетитом поел. После обеда собрался пройтись до магазина. Выходил, споткнулся на ступеньках, кубарем скатился вниз». Дом строился на века, стоит на полутораметровом фундаменте. Абдулу подняли, уложили в постель. К вечеру пойдёт кровь. Ночью ему станет плохо. Попросит мать, полежи со мной. Мать уляжется рядом с сыном. Он то и дело будет просить прощения у матери. «За что?» — удивится Лера. «Наверное, за то, что родился больным, что не сложилась нормально жизнь, — спокойно ответит моложавая, ухоженная женщина. — Под утро я заснула, проснулась в пять, он не дышал».

«Вы должны были у него просить прощения, вы его родили больным, вы были против свадьбы, сватали для отвода глаз, всё старшим сыновьям, а безработному инвалиду, вы с отцом посчитали, хватит того, что братья будут содержать его после вас. Горе, положенное вашей семье, он стянул на себя, чтоб остальным счастливо жилось. Даже слёз в голосе не слышно, смирилась она», — с неприятием подумает Лера о Роза опе.

Абдулренат признается Лере, он и Нилю боялись не смерти — того конфуза, который иногда случается на смертном одре. Расслабляется сфинктер... Торжественный момент, а ты в испражнениях — этого они боялись пуще ада. Стыдно перед родными, которые должны будут за тобой прибирать, перед нечаянными свидетелями агонии. Лежа в больницах вместе с тяжелыми пациентами, они не раз наблюдали последний позор человека.

Мечтаю уйти из жизни стоя, заявит Абдулренат. Как это — стоя, удивится Лера. Без лежачки в немощи, когда всё под себя, ум за разум переходит, слов нет, одни стоны. Возможно, поэтому Нилюфар ушла из жизни таким чудовищным способом, объяснит Абдулренат. Возможно, подтвердит Лера и перейдёт к расспросам о Тамаре:

— Как вы познакомились с Тамарой?

— В очереди к табибу.

В девяностые-нулевые город заполонили всякого рода маги, экстрасенсы, целители. Лерина мама рвалась к некой Юлдузхон. Экстрасенс излечения не принесла; отец по-прежнему прикладывался к рюмке. Самым искусным целителем считался табиб Абдували. У расхваленного табиба имелся офис для приёма страждущих, предварительная запись. Пациентов встречал охранник славянской внешности в тюбетейке. В офисе и вокруг толпились больные, окруженные сопровождающими. Кое-кто смертельно бледен, иные в инвалидных колясках, хныкающие дети. Удручающая картина.

[1] Хадис Аль Бухари.

Каждый занят собой или своим близким. Никто не задаётся вопросом, как один знахарь исцеляет столь разных больных.

В закутке регистрации девушка оформляла посетителей, брала плату за консультацию. За травы надо было платить отдельно, после осмотра табибом. Сборы продавала она же, регистратор. Девушка клиентам не забывала сказать, табиб собирает и готовит сборы сам; к нему обращаются те, от кого отказалась официальная медицина, «а он берется лечить». Насколько эффективно — не дано было знать новичкам.

Они сидели в ряд: Абдулренат, Алим, Тамара, Умида опа. Завязался разговор. Начали с того, что привело их в центр.

— Друзья настойчиво советовали, записали без моего ведома. Друзьям помогло, — оправдывался Абдулренат.

— Надо верить, обязательно поможет, — назидала Умида опа. — По вере нашей даётся нам.

— Верить в магов — грех, — встрял Алим. — В Писании сказано, даже колючка в тело вонзается не просто так. Чтоб задумались.

Ответ Алима понравится Тамаре. Она смело взглянет на юношу: прямой как стрела, открытое лицо, опрятно одет. За проявление интереса к нему, провинциальному парню, столичная девчонка понравится Алиму. Компания продолжит рассуждать о том, что пророк страдал от болезней.

Настала очередь Умида опы идти к табибу. Женщина вышла от целителя недовольной. Табиб Абдували сначала понравился мне, скажет отын-ой, в белой одежде, на голове тюбетейка, окладистая борода. Мне не понравился выставленный им диагноз, проворчит бабушка Тамары.

Почтенная матрона не спеша, оценивая целителя и кабинет, прошла к столу, села напротив врачевателя. Намеренно не стала рассказывать симптомы, пусть угадает, что её беспокоит. Знахарь начал убедительно: пощупал пульс, осмотрел язык. И всё. Говорит:

— Гастрит, цистит и анемия.

— Уважаемый, у меня сахар, — промямлила женщина.

— Я и говорю: мочевина в крови.

— Мочевина? Сахар!

— Мочевина дает жажду. Кровь плохая.

— Да, жажда, но от сахара, не от мочевины.

— Часто по маленькому позывы?

— Да, но... — табиб не дал ей договорить:

— Я же сказал, цистит.

— Я заплатила большие для меня деньги за приём. У меня гастрита нет, у меня диабет, — женщина не сдавалась, показывала норов. Наглая пациентка взбесила целителя, но он не обрывал пациентку. — Может, травы посоветуете? Лекарство пить, что отраву, — Умида опа не унималась.

— Вы же не согласны, что у вас анемия. От анемии траву дам.

— Нет у меня анемии! — резко произнесла набожная женщина в лицо народному целителю.

— Что вы от меня хотите? — не выдержал табиб, излучая желание убить упрямую клиентку.

— Верните деньги. Ваш диагноз неправильный.

Знахарь подскочил со стула, дав понять, приём закончен. Буркнул:

— В регистратуре вам вернут деньги.

В холле Умида опа брюзжала: «Эти три диагноза есть у восьмидесяти процентов женщин. Если не три, не два, один — обязательно. Тычет пальцем в небо. Я тоже так смогу. Не имеет право брать деньги, безбожник».

Несмотря на неудовлетворённость Умида опы, Абдулренат вошёл к табибу, просить деньги обратно мужчине не пристало. Образу соответствует, отметит он; с порога признается, у него гемофилия. Целитель поможет сочувствием в глазах, посоветует сбор для правильной работы кишечника.

Взятый на всякий случай телефон Умида опы Абдула пустит в дело. Уговорит мать общаться с отын-ой. Женщины наследуют гемофилию. Сей медицинский факт мать отвергала. Не могла свыкнуться, что болезнь сыну передала она. Сын не винил её, однако не сомневался: в роду по материнской линии был его предшественник, скорее всего, умер в младенчестве; в памяти рода не сохранилось, какой младенец от чего умер. У него обнаружили гемофилию, когда начали резаться зубки; десна еле, но постоянно кровила.

Как прогнозировал Абдула, матери понравится общаться с отын-ой. Роза опа стала спокойной, самоуверенной. Было от чего: сохранилась великолепно, дом — полная чаша, послушные сыновья, образцовые снохи. Вдруг в почтенном семействе из-за Ни-

люфар чуть не революция свершилась. Визиты её подруги Леры Роза опа терпела, что с ней самой — не интересовалась.

После бесед с Абдулренатом Лера укрепится во мнении, Нилю не была фанаткой, разделяла лишь моральную силу веры менять людей к лучшему. Что касается происхождения жизни, вряд ли придерживалась Писания. «Кто побывал на краю, знают, по ту сторону бытия ничего нет, они почувствовали бы вторую, иную, жизнь с первых секунд небытия. Только когда врачи выдернут на эту сторону, появляются ощущения, тело, мысли, желания».

Как же три старика в белом, туннель, спросит Лера подругу об ощущениях в коме. Бред воспаленного сознания тех, чей мозг ещё функционировал, проводимость нервных каналов притупилась, но сохранилась, авторитетно заявит Нилю. «Ничего не видишь, не чувствует, ничто не беспокоит, ни о чём не думаешь, это временная смерть, пока не вытянут из комы. Медики умеют вытягивать из временной смерти, они, наверное, смогут вытянуть из полной смерти когда-нибудь. Хорошо бы! Когда научатся? Скорей бы».

«По мнению американских ученых, мозг не только не умирает вместе с сердцем, но, наоборот, начинает работать с удвоенной скоростью. Почти в 12 раз увеличивается выброс дофамина — гормона удовольствия, играющего важную роль в системе подкрепления и когнитивных процессах. Поэтому у людей может возникать чувство умиротворенности, с одной стороны, с другой — ощущение, что они очень быстро думают. Об этом, кстати, рассказывают 65 процентов тех, кто пережил клиническую смерть. Кроме того, в момент агонии в 20 раз увеличивается уровень серотонина, из-за чего в мозгу активируется множество соответствующих рецепторов. Их, в свою очередь, связывают со зрительными галлюцинациями. Выход из тела, встреча с ангелами и духами, яркий свет в конце тоннеля — все это может быть результатом выброса гормона счастья». Смерть — это счастье?

Природа — думаете, Бог? — дарит жизнь, потом отнимает. Зачинать жизнь, чтоб затем уничтожить, когда этой парочке вздумается? Стоит ли напрягаться, если всё напрасно, жизнь оборвётся. Человек не успел насытиться, незримые ангелы смерти уже торопятся по заказанному адресу. Срок жизни определяется не по заслугам, выпадает одному большой, другому не очень. Человек не хочет умирать — это нормально! — но его насильно забирают из действительности. Кое-кто уходит добровольно.

Человек живёт двойной жизнью: реальной и вымышленной. Почему нельзя без физического бытия думать, вступать в мысленный диалог с оппонентом, вспоминать или сочинять то, чего нет в реалиях, но реализовано в мечтах? Хотя бы внутреннюю жизнь не забирали. Некоторым даже в земной жизни её одной достаточно.

Придёт время, заберут всё и у всех. Предпочитаем не помнить об этом моменте: «Почти ни один человек не думает о смерти, пока она не подошла к нему вплотную. Трагизм и вместе с тем ирония заключаются в том, что все люди на земле, начиная от диктатора и кончая последним нищим, ведут себя так, будто они будут жить вечно. Если бы мы постоянно жили с сознанием неизбежности смерти, мы были бы более человечными и милосердными»[1]. О неотвратимости собственной ликвидации вспоминаем лишь в тяжелой болезни или при виде чужой смерти. Да и зачем помнить?

Окончание следует

[1] Эрих Мария Ремарк, «Жизнь взаймы».

Иван ОБРАЗЦОВ

НЕРВНАЯ КЛЕТКА

Глава 1

«Бог есть свет, и нет в нём никакой тьмы»
1 Ин. 1:5

Владимир стоял, уперевшись лбом в стену. Он вспоминал, точнее, болезненно морщился от ударившей в голову откуда-то из груди всколыхнутой, эхом подводным пронесшейся памяти. Давно, очень давно это было, лет двадцать, а то и больше прошло. А вот сейчас плохо стало так по-новому, словно по вот случившемуся. И мерзко, и нечисто, и прошедшие годы только увеличивали тяжесть и стыд. Тот их неродившийся, тот человек, ведь, по сути, они ж его просто-напросто убили. Как факт, без заламывания рук, без всяких расхожих фраз — убили.

Вот как так? Как один человек убивает другого? Ну, в ссоре какой или из выгоды, мести, и вообще из всего такого, по-взрослому человеческого, верно ведь? Ну, ещё война, зверства оккупаций, диктатура, что там ещё-то бывает? Только тогда ведь обычно как, тогда все стороны как-то уже что-то уже успели, хоть немного понаделать, посмотреть вокруг, воздухом подышать, хоть немного, расстроить и порадовать кого-нибудь уже успели. Так ведь? Даже кричать в конце концов от боли и обиды могут. Даже и сопротивляться, а то и сами в ответ прибьют убийцу-то какого-нибудь неуклюжего.

А они-то ведь тогда, они-то тогда убили по-другому, не так убили, как в сводках криминальных убивают. Они ж убили человека там, внутри, когда он только от них и их забот и зависел, когда он весь им доверен был и доверился. Он же даже ничего не смог бы закричать, даже если бы и захотел, просто физически не смог бы оттуда, изнутри. А их, убийц, их было и двое, и взрослых людей на одного единственного невзрослого. Всегда, наверное, двое бывает таких душегубов-то.

Как-то подло, как-то мелко-трусливо убили, а сейчас вот вдруг вспомнилось.

Владимир стоял, уперевшись лбом в легендарную Стену плача. Неожиданно стало ясно и понятно, что стена такая стоит по всей земле и по всей земле плач и скрежет зубов. Больнее всего оказалось, что плач не его, не здесь/сейчас слышный, а плач какой-то укоряющий, то ли изнутри, то ли сверху. Он почувствовал на щеках слёзы, но рыданий не было, только какой-то идущий естественно процесс, словно свидетельство вины.

Но вдруг, среди этого мрака, среди всей нечистоты скользнул неяркий, но освежающий душу свет, словно маленькая щелочка приоткрылась, и там было что-то большее, чем солнечное освещение.

Этот свет стирал пелену с глаз, снимал многолетние, вековые коросты с сердец. Владимир вспомнил теперь всем сердцем слова Евангелия: «Царствие Небесное, оно внутри вас есть».

Господи, прости меня, прости, Господи! — это всё, что было сейчас в нём. Это всё, что сейчас он мог проживать. Тем, краем увиденным, мягким и согревающим, как утроба матери, тем немыслимым, невесомым, но именно Светом он не стал невиновен, но стало возможно прощение, появилась надежда, появился какой-то непроизносимый смысл. И это принесло утешение. Зёрнышко надежды было посеяно в нём, надежда была даром родителя ребёнку, помощью и укреплением.

Владимир почувствовал всем собой, как разливается по миру свет, и пришла волна благодарности. Он вдруг захотел что-то сделать, что-то непременно сделать для Него. Были силы, были деньги, и ещё длилась эта жизнь, сделать Владимир хотел и мог.

Слова нашёл только такие, словно прочитанные, да и вообще на бумаге они навер-

няка окажутся мертвее. Но в тот момент, внутри, где-то в самой глубине души, слова эти произносились совершенно естественно:

«Господи, я вернусь домой и даю Тебе обет, и нет во мне ни малой мысли о собственной славе, но одно сделаю — поставлю храм. Поставлю во славу Твою, чтобы служили там молебны о чадородии, чтобы хоть одно дитя спаслось. Господи, я не знаю, каким будет этот храм, но благослови на одно, чтобы там было много света!»

Глава 2

«Птичий рынок покупает-продаёт!
И на вас я, сизари и пуделя,
Всё истрачу до последнего рубля...»
Слова из песни

Почему птичий рынок назывался «птичий», Вовка Трофимов не знал. С раннего утра здесь выстраивались ряды клеток, в которых сидели попугаи, голуби, скворцы, кролики, хомяки, белые крысы и прочая живность. Здесь продавали щенков и котят, аквариумных рыбок и рыбий корм, ошейники и намордники, клетки и аквариумы. Но то ли из-за крикливых попугаев, то ли из-за говорливых скворцов рынок когда-то назвали птичьим, да так и осталось.

Клетка у Вовки была что надо — крепкая, ладно подогнанная, и чтобы продать пойманного в ней снегиря, он бережно нёс клетку перед собой. Стараясь быстрее проскочить самые тесные ряды, он был уже почти у выхода на свободную торговую аллейку, когда непонятно откуда перед ним вывалился табор малолетних цыганят. Грязные, сопливые малолетки, но главным у них был длинный — цыган-подросток с наглыми глазами и резкими движениями. Окружив Вовку, вся эта шайка уставилась на клетку в его руках, лопоча между собой на своём тарабарском языке.

— Тебе чё тут надо, а? — загородил дорогу длинный. Он узловатыми, замусоленными пальцами потрогал клетку. — Торгуешь, да?

Вовка молчал, нахмурившись, держал перед собой клетку и чувствовал, как внутри поднимается горячая волна напряжения.

— Не местный, да? Клетку дай-ка гляну, — цыган потянул клетку на себя.

— Чё глядеть, клетка как клетка, — глухо проговорил Вовка.

— Дай сюда, сам гляну, — длинный рванул клетку на себя, и она оказалась зажата в его костистых кулаках. Не глядя, он передал клетку дальше, и, схватив её, маленький цыганёнок побежал к выходу, резко свернул за деревянные сараи складов и пропал из вида.

Словно сразу потеряв интерес, маленькая шайка грабителей двинулась дальше по рядам, оставив Вовку стоять и трястись от бессильной злобы, позора и осознания безвозвратной потери имущества. Опомнившись, он быстрыми, сбивчивыми шагами пошёл прямо.

Он почти бежал, низко опустив голову, и казалось, что каждый встречный знает о его позоре. Ярость кипела в животе горячим трясущимся комком, а в голове беспорядочно громоздились образы разбитых цыганских лиц.

«В кровь... суки... в мясо... до красных соплей... чтоб ползал, гнида... умолял и охреневал, — Вовку колотило. — Чтобы палкой поганую гадину забить, ногами... до смерти... каждого, цепью от бензопилы... до мяса... суки... суки... — ненависть била в голову, и с дикими глазами Вовка уже бежал по улице, желая только одного: — Чтобы они сдохли, все сдохли, суки, твари поганые!»

* * *

Дома был отец.

— Ну, как успехи, продался твой красногрудый?

— Не успел.

— В каком это смысле? — отец отложил газету и вопросительно посмотрел на Вовку.

— Цыгане забрали на входе, — Вовка с детства усвоил, что необходимо говорить о проблеме коротко и конкретно.

— Так, — отец поднялся и надел куртку. — Пойдём-ка, посмотрим на этих похитителей птиц. И соседа пригласим с нами на экскурсию.

Недалеко от них жил знакомый отца — дядя Коля. Вся улица знала, что он опасный и серьёзно сидевший мужик.

— Цыгане, а? — дядя Коля даже усмехнулся. — Ну, совсем борзые стали, сейчас решим, не боись, малой, а? Уж этих-то залётных мы знаем где искать.

Вовка заметил, что дядя Коля легко подбросил себе в карман телогрейки лагерный нож-выкидуху.

* * *

В цыганском доме пахло прелостью и грязным бельём, вся орава цыганят сидела на полу по углам и щелям, клетка со снегирём стояла в углу.

— Ну чё, чернопупые, а? Дельце-то гнилое, а? Пацанёнка-то, а? Пацана-то моего задели зачем? Перепутали чё-то, а?

Дядя Коля достал выкидуху, стал вертеть её в пальцах большой крепкой ладони. Было видно, что это не дешёвые понты, хотя и понятно, что никого он пока здесь ножиком щекотать не планировал. Оттого что дядя Коля всё время словно переспрашивал, становилось как-то жутковато.

Он подошёл в угол, поднял клетку, внутри сжался снегирь:

— Твой, а? — Вовка кивнул. Дядя Коля обернулся на цыганят: — Ещё раз троните пацана, говорить не буду. Ясно, а? — сплюнул какую-то шелуху из зубов. Они вышли на свежий морозный воздух, клетку Вовка нёс перед собой. — А снегирь-то красавец какой, а? Вот в клетке только задохнится? Птица-то вольная, — дядя Коля выразительно посмотрел на Вовку. — Да и рынок этот, «петушиный», гнилой он какой-то, базар этот, ты б как-то это... — и, не договорив, повернулся и пошёл к своим воротам.

Придя домой, Вовка вышел в огород за домом и посмотрел на снегиря, тот сидел, сжавшись, и казался немного очумевшим от столь неожиданных поворотов судьбы.

— Ладно, братец, ты уж не обессудь, — Вовка открыл дверцу клетки, но снегирь сидел не шелохнувшись.

— Да не бойся ты, лети давай по своим делам, — снегирь сидел, вжавшись в угол.

— Ладно, — Вовка закрыл дверцу.

Вокруг было белым-бело от снега, и кристальное прозрачное и морозное небо вдруг наполнило такой радостью, что Вовка ещё некоторое время стоял, ошеломлённый небесной широтой.

На следующее утро он шёл на птичий рынок, неся перед собой клетку с красногрудым снегирём. У ларьков на входе стояла кучка вчерашних цыганят. Вовка хмуро глянул на них, хотя злобы уже давно не было, даже жалко стало этих грязных ребятишек.

Снегиря он продал в тот же день.

Глава 3

Вовка Трофимов мог вдруг вскипеть, и одноклассники его остерегались за такую резкость в характере. В классе он ни с кем особо не дружил, тем более никогда не искал славы школьных авторитетов. Делами своими делиться не имел привычки, но и при всей гневливости в передрягах и драках замечен не был. Кроме одного случая.

Однажды кто-то решил пошутить и избороздил меловыми росчерками большинство спинок на классных стульях. Когда Вовка увидел свой известково-напудренный стул, то оглянулся вокруг. На «камчатке» сидел одноклассник Серёжа и, ухмыляясь, подглядывал за входящими в класс. Было понятно, что он и есть тот самый шутник. Серёжа был наглым и сильным идиотом, в классе с ним никто не связывался, а Вовке просто не приходилось, так как до этого момента не было повода.

Вовка подошел к Серёже и сказал только два слова: «Стул вытри». Тот сидел и глупо скалился — он был такой тупо-расслабленный, ведь никакой угрозы в словах вроде бы не было. Вовка дал ему еще пять секунд, а потом развернулся и вышел из класса.

Через несколько минут он вернулся и уже стоял у своего стула с ведром для мытья полов и какой-то тряпкой синего цвета с белыми и красными полосками. Он тщательно вытер этой сухой тряпкой свой стул, потом окунул её в половое ведро одним концом и подошёл к ещё ничего не понимающему шутнику. Только тогда Серёжа с ужасом узнал в тряпке свои спортивные трико из физкультурной раздевалки. Но не успел он открыть рот, как ведро грязной воды вместе с трико были опрокинуты ему на голову. Вовка медленно вылил остатки воды в раскрытой портфель одноклассника и поставил уже пустое ведро ему на парту. Глухим голосом прохрипел, еле сдерживая ярость и желание размозжить голову любителю тупых шуток: «В следующий раз бензином оболью и подожгу, понял!»

Больше никто никогда за все школьные годы не шутил с Вовкой, даже на словах. Конечно, отец был вызван к директору, и только чудом не дошло до комнаты по делам несовершеннолетних. Но всё обошлось, ведь других таких моментов ни раньше, ни после с участием Вовки уже не случалось.

* * *

Учёба в школе с самого начала как-то не заладилась, хотя на твердые тройки всегда удавалось тянуть. Впрочем, как и многие пацаны его возраста, два предмета Вовка всегда сдавал хорошо — труд и физкультура. Но был еще один предмет, на который Владимир Трофимов приходил каждый раз с ожиданием чуда.

Вовка рос здоровым и крепким телом, да и умом слаб не был. Сложно было тогда понять подростку саму схему, по которой складывается так, что на большинстве уроков учиться не хотелось, а уроки тянулись так нестерпимо медленно, словно сквозь классную комнату пролетала не стрела времени, а сочилась вязкая невкусная каша. И не могла эта каша происходить от лени, не могла иметь источником их подростковые здоровые тела и сердца, готовые, словно пружина, стремительно развернуться в любой момент, как только в каше появился просвет.

Звонок на перемену всегда радовал именно школьников и почти никогда педагогов. И если разобраться, то яростный, чёткий и ритмичный звонок на перемену был по духу своему ближе, даже роднее, таким же бойким и жарким сердцам подростков. Вот и радовалась школота всех классов, искренне несясь по коридорам, вопя и задирая друг друга просто от радостной силы, что росла в них.

А учёба — про неё Вовке было понятно, что дело это нужное, что правильное и полезное это всё дело. И напрасно выводили преподаватели красными чернилами частые вердикты в дневниках, что «ленится, безответственный, относится с малым уважением». Напрасно писали родителям эти красные лозунги, напрасно убеждали при встречах, что чадо ваше в учёбе не имеет терпения, а то и просто урок мимо ушей пропускает. Напрасно повторяли набившее оскомину: «Ребёнок ваш умный, но ему не хватает того-то или сего-то». Дальше шли варианты: смотрел в окно, спал, рисовал в дневнике рожицы или какие-то узоры и т.д. Напрасно всё кочевали эти стандартные красные вердикты по страницам дневников из года в год. Любви к учёбе в виде школьных тягучих занятий это не прибавляло, хоть ремень отцовский, хоть мамины грустные глаза на ребёнке применяй, а ему хоть кол на голове теши, всё едино — улица да дела свои детские важнее любых уроков.

Но чудом для Вовки был тот самый урок, где сидели и слушали во все уши, добровольно, внимательно загораясь глазами от некоторых историй и словно проживая их наяву. Самое поразительное открытие, которое Владимир сделал уже через три десятка лет, что он помнил все даты исторических событий и даже основные имена их участников, — да, чудом для их класса был урок истории.

Только став старше и уже управляя своим бизнесом, Владимир Павлович понял, почему учёба так и осталась в школьном аттестате отмечена тяжеловесными тройками и редкими четверками. На самом деле, школьные годы, за редким исключением, вспоминались сейчас равнодушно. Только помнилось, как радостно бежал в первый свой класс, неся перед собой чистый праздничный букет белоснежных хризантем для учительницы. Он бежал и представлял, что учёба — это радостное, таинственное и взрослое приключение, где он узнает тайны чисел, букв. И законы мира откроются ему в школе, после которой он станет взрослым и знающим ответы на многие вопросы, что так станет не малышнёй, а серьёзным человеком.

Пожалуй, каждый ребёнок испытывает светлые и радостные чувства, идя с букетом 1 сентября в свой первый школьный день. И ещё есть у ребёнка в этот момент надежда, что всё из мечт о школе там, в школе, теперь увидит, и сбудутся все его радостные надежды как-то легко, и никто его не обидит из учителей, никто не подведёт.

Но в результате школа постепенно превращалась в какую-то тягучую рутину. И лишь вот этот урок истории показал уже через много лет, что дело было не в них самих, учениках, точнее, не только в них. Дело было и в том, что в школе были либо «учитель», либо «педагог» — первых оказывается всегда так мало. Но если рассказывал свой урок учитель, то детское сердце загоралось и слушало так внимательно, впитывало каждое слово так жадно, что никаким аттестатом нельзя зафиксировать, зато результат всегда реальнее любого документа. Педагоги же пересказывали уже известный материал, и детская душа чувствовала этот равнодушный технический пересказ, не отзываясь на него ничем, кроме скуки сердца и дремоты тела.

Конечно, дело не в том, что Владимиру хотелось сейчас обвинить этих несчастных педагогов, ведь у них тоже были свои заботы и, наверное, будут всегда, но простую истину, что есть учитель, а есть преподаватель-педагог и это очень разные категории — эту истину Владимир усвоил на всю жизнь.

Предмет «история» у них вёл как раз учитель. Огромная, некрасивая, с овальным дряблым лицом женщина. За внешность дети прозвали учительницу истории «жаба». Но стоило «жабе» начать урок, как через пару минут она исчезала и говорил учитель, а весь класс сидел затаив дыхание, словно погружаясь в какой-то неведомый мир, в то

самое приключение, что представляло детское воображение, когда тело шло в первый класс.

На переменах же дети разбегались и опять звали её «жабой».

И только сильный шутник Серёжа выпадал из общего восторга на уроках истории, продолжая тыркать кулаком соседей по партам.

Глава 4

«Над небом голубым
есть Город Золотой...»
Из стихотворения Анри Волхонского

— Настоящее счастье получает только тот, кто усвоил опыт личного несчастья!

Павел сделал убедительные глаза и назидательно постучал пальцем по виску, после чего навёл указующий перст на Трофимова.

— Ну да, ну да, а как же, ну хоть Сергий Радонежский?

— А при чём здесь Радонежский, он же святой.

— И что? Святым-то он после стал.

— Значит, что-то было, раньше или в юности.

— Да нет, это значит, что ты в интернете много жужелок разных читаешь.

— Каких жужелок, они вообще-то жужелецы правильно называются, насекомые такие, жуки, они-то вообще здесь при чём?

— Не «жужелец», а «жужелок», жужжат которые в уши, образно так жужжат. Ну, типа, — Трофимов пафосно изменил голос, — только у нас, главные мудрости великих людей за 15 минут, стань великим минутчиком.

— Да пошёл ты, — Павел обиделся.

Трофимов аккуратно смахнул со стола в ладонь несколько хлебных крошек и бросил их в мусорное ведро.

* * *

Зажужжало, зазудело, забормотало изнутри телеприёмника и давай расчесывать экземные коросты на нервной системе и патриотической аллергии российских граждан: «...Население современного российского государства всё больше становится демократичным именно по-русски. Это выражается в том, что общество всего российского народонаселения, переписанного и учтённого последней переписью, но, при всей кое-как переписывательной организованности на бумаге, это народонаселение никак не вписывается в единую категорию народа...»

Муха влетела в открытое окно. Муха жужжала низко и глухо, размером своим была с доброго шмеля. Октябрьские мухи всегда жирели и жужжали у самого пола, а выгнать их в окно оказывалось так же непросто, как и прибить мухобойкой.

«...Это настолько безнадёжное дело, что власти уже пробовали старый испытанный, хоть и закончившийся крахом, эксперимент по переименованию русских и представителей иных наций, являющихся гражданами России, — настоятельно приучить человеконаселение к наименованию «россияне». Но это с самого начало имело небольшой успех, так как ещё недавняя память жила неудачей построения советского будущего народом под наименованием «советский». Возможно, по этой причине, или по каким ещё, но Россия сегодня всё яростнее нуждается в слове, которым можно временно пользоваться для краткости...»

«Тварь какая», — Владимир Павлович попробовал прогнать муху взмахами кухонного полотенца, но та забилась в неизвестное место и только периодически выныривала перед глазами, чтобы опять пропасть наглухо из вида.

«...Разумеется, в истории российской государственности были различные конфигурации, которые принимали то граждане, то население, то просто народ, но каждый раз эти конфигурации оказывались с самыми трагическими судьбами в финале. Причём финал наступал практически одновременно и для российских подданных, и для российской государственной власти — этакий пафос и единство всех россиян перед историческим процессом. Как остроумно заметил один счастливый обладатель известной в широких литературных кругах узкой нелитературной премии с политическим заявлением (заметил в торжественной обстановке посланий от лауреата), что по России прокатилось красное колесо, но теперь покатится колесо жёлтое. Так вот, он, лауреат, практически дожил до того исторического момента, когда жёлтое колесо, прокатившись по русским территориям, оказалось вдруг подхвачено ловкими руками голи, которая на выдумки хитра буквально, то есть практическая польза колеса стала

очевидной, когда его сделали каруселью...»

«Нет, ну ты посмотри, какая сволочь-то. Давай уже лети отсюда, ведь пришибу же, дура», — муха реально надоела своей неадекватностью поведения, и Трофимов уже решил было действовать системно.

«...Карусель в глазах рядового жителя страны выглядела в одной, а в глазах крутящих её лиц совсем в другой плоскости. Если первые смотрели на голубые экраны, то вид, открытый участниками некогда ловкого подхвата колеса оказался более повёрнутым к истоку, но приобрёл смысл не колеса, а выгодной мельничной машины. Мельница — совсем иной тип крутящегося тела, и она не для пустых и отводящих внимание целей, а для цели одной-единственной — экономического роста отдельного слоя общества, который богатеет, и скорость роста его богатств никак не совпадает со скоростью культурного отношения к состоянию, уже не в миллионах, а в миллиардах иностранных валютных единиц исчисляемому. Некоторым представителям верхнего государственного чиновничества приходится даже иметь дело с суммами, которые исчисляют либо триллионами, либо более ёмкой и ненарочито-громкой численностью процентов от чего-либо...»

«Ну, всё, животное, ты меня уже доконала своей назойливостью», — Владимир Павлович заметил, как муха прожужжала в зал, и плотно перекрыл дверью перелёты между комнатами.

«...Так вот, о слове, о том точном выражении в термине определённого спецконтингента на территории РФ. Это слово, созданное методом быстрого соединения, структурно передаёт ту контрастную ситуацию, которую пытается определять незамысловатой своей формой и презрительно небрежными швами правил сшитое составление. В общем, слово, наделённое необходимым минимумом языковых правил. Говоря солиднее, этакий некий утешительный для носителя глубоких филологических знаний гражданина неологизм, который звучит как-то дико и самой своей дикостью фонетической отражает суть явления — спецконтенгент весь и сразу лучше называть «беднобогое население».

Беднобогое не имеет механизма плавного перехода из демократически бедных в демократично богатые социальные и все прочие применимые к этому капиталосоставляющему различию категории, которые приняты между гражданами демократичного и справедливого общества, коим российское именуется с трибун для мирового, но по-российски понимаемого дискурса...»

Жирная муха замерла на шторе. Свёрнутый кусок толстой обёрточной бумаги оказался единственным возможным орудием убийства (в такие моменты часто оказывается, что ни специально купленной мухобойки, ни ненужной литературы под рукой нет, и приходится потихоньку сгребать в свёрток что-то совершенно случайное). Р-р-ра-аз! Муха и в смерти напакостила, размазавшись гноистыми внутренностями по шторе.

«Сука такая», — Владимир Павлович Трофимов выключил телевизор и пошёл в магазин за ряженкой и кукурузными хлопьями.

Глава 5

«Нет, ничего нет...»
Слова одного из персонажей в фильме Ридли Скотта «Прометей»

— Владимир, друг мой дорогой, куда летит Русь-тройка, уже давно никого не интересует.

— Ну, уж ты не скажи, мне вот вполне себе интересно. Да и ты, если так уверенно взялся утверждать, то хоть сам-то понял почему, ведь понять надо бы, почему такое упаднические настроение.

— А потому, что думать об этом и вообще обо всём таком русском и троичном больно, обидно и бессмысленно тяжко. Даже если кто и заговорит обо всём этаком, то с такой злостью, что всё неизбежно скатывается в одно и то же — Россию давно продали, а тот, который там, на самом верху, — он имеет столько много, что и уйти сейчас уже никак нельзя — привык и боится. Уйди, и вчерашние «свои» сожрут со всей требухой, ещё и памятник красивый поставят. Вот он-то и ведёт Русь-тройку куда-то ему одному известными и знамыми путями. А что ни путь, то всё мрак и скрежет зубовный — это и есть путь того верхнего путеводителя и России нижней путеводимой. Вот так сегодня намертво — Россия и её путеводитель — пристыли друг к другу, а все их два смысла взаимно погасились до полной потери значения.

— Хорош, хорош, мне и по телеку красноречий подобных хватает, — Владимир

Павлович махнул рукой с какой-то безнадёжностью.

— Да что хорош-то. Ты пойми, что простой русский гражданин ни о какой русской тройке или гоголевских бесовщиной пропахших романах особо не склонен думать. Если уж обобщать, так оно окажется, что по правде-то и нет никакого смысла, кроме тех кусков самодовольной плоти, которые красочно шевелятся на широкороссийских экранах.

— Фу, жуть какая. Ты, Паша, сгущаешь как-то, депрессивно на вещи смотришь, — Трофимов не особо хотел политизированно рассуждать, но болтовню соседа, в принципе, послушать и немного поддержать труда не составляло.

— Друг мой, жуть такая повседневна, только никому она уже не лезет в глаза. Жуть научилась быть ангельски светлой и справедливо ущемлённой в правах. Обыватель, если вдруг заводит разговоры о политических путях страны, то злостно не имеет своего мнения. Современный русский вообще ничего своего не имеет, ни мнения, ни достатка, ни стабильной работы, и можно уже сказать, что и ни русской души. Но парадокс в том, что отсутствие всего настойчиво не замечается, а слепота эта просто переназвана русским терпением. Оно и есть единственное, чем живёт человек в современной России. Да ещё верой в то, что у него-то как раз есть своё мнение, а достаток и стабильная работа есть потенциально, только они узурпированы кучкой жуликов и воров, — Павел поймал волну вдохновенного философствования. — Фокус простой — достаточно периодически выталкивать кого-то сверху вниз с необходимыми программными возмущениями о несправедливости. Граждане слушают очередного «разоблачителя» и в процессе слушания проживают свои революции в стакане души, после чего расходятся с твёрдым чувством выполненного долга. На остальное им не оставлено времени, а потому никаких поворотов на пути продвижения у России не планируется.

— Слушай, ну, так это совсем какой-то беспросвет, такой полный и огромный, — Трофимов бросал фразу так, для отскока, чтобы не казаться отсутствующим, но, в общем-то, не очень и следил за хитросплетениями мысли Павла. Может, потому следующая фраза выдернула его из эмпирических интеллектуально-приличных потоков расслабона и неприятно мазнула чем-то жирнопахущим.

— Не скажи, здесь не о тепле для попы речь, а о духовности. Для русской духовности мрак и слякоть — самые естественные тренажёры духа. А Русь-тройка... — Павел на мгновение задумался. — Это, в конце концов, только художественное преувеличение. Так этот образ и летит по бездорожью, звеня бубенцами и разбивая копытами дорожное полотно. Мы сами и есть те, кто разбивает ровный европейский асфальт, но латинский ум никак не может отличить варварства от духовного подвига. А сверху... Ты не думай, что правителю обязательно понимать смысл вот так, как я сейчас описал. Может править Русью и, значит, не понимать до конца умом русскую дорожную карту, но двигаться по ней уверенно, без латинско-разумных на то оснований.

— Так ты же сказал, что тот, главный, не уходит от страха, ну и от набранного себе бонуса. Что-то не вяжется это с картинкой твоей же, ну или как-то противоречивенько получается.

— Всё правильно, какое же здесь противоречие. Даже тот самый, который на самом верху, даже он не знает — куда же несётся Россия-матушка, в какие дали-выси взовьётся тройка, гривой клубясь. Так непостижимая тайна русской души опять остаётся неоткрытой, и такая тоска русская, когда либо в петлю лезь, либо песню пой. Вот и не уходит от тоски и душевного стремления в дали-выси, а то и от смятения той же души.

Помолчали. Выпили.

— Знаешь, самые религиозные люди в Российской Федерации, Вова, это те, кто верит в телевизор, — Павел начал подходить к состоянию осовения.

Помолчали. Выпили ещё по одной.

— Всё одно-о-о — ру-у-усское по-о-оле, — пропел Павел тихонько и добавил, повернувшись к Трофимову: — Неприкаянное и широкое поле это... Пойду, жена ругаться и так будет.

— Давай, — Владимир не вставая подал руку. — Ты там захлопни, ладно?

— Ага, — Павел зевнул и пошёл из кухни.

Трофимову нужны были тишина и герметичность. Нужны были срочно и, конечно же, никак не давались.

Может, пойти в лес, полежать на хвое и услышать запах прошлогодних листьев. Вдруг вспомнил дачу, как сидел на крыльце бани и смотрел на яблоню. Дерево стояло одно у самого забора, и это одиночество яблони Трофимов неожиданно почувствовал, разделил.

Он тогда понял: «Вот стоит она и каждую осень бросает вокруг себя яблоки. Бросает в надежде, что рядом прорастёт молодой побег, а там и станет стволом с крепкими корнями и зелёными листиками. Однажды листья перестанут ждать и дадут место

белым цветкам. Яблоня зацветёт в первый свой раз, и тогда одиночество закончится. Можно будет шуметь листьями и рассказывать друг другу о ветре и о чём угодно.

Из года в год старая яблоня бросает на землю плоды. Но дачник убирает их, покрывает известью яблоневый ствол и уходит. Яблоня остаётся одна.

Но на следующий год она опять бросит на землю плоды и, может быть, одиночество закончится. Яблоня, как и человек, живёт надеждой. И надежда никогда не может умереть, а кто говорит такое, тот просто не знает надежды.

Надежда умирает последней — красивая и бессмысленная финтифлюшка из слов, не более. У человечества вообще всё меньше остаётся настоящих слов, всё больше конструкций из болтовни. Этакие красивости вроде павлиньего хвоста. Монологи павлиньих хвостов стали даже очень доходным делом для трансляции неких шаблонов о мнимой реальности. Вот эти павлиньи конструкции и есть то самое мнение, которое гражданин считает «своим», а значит, единственно правильным».

Трофимов провёл ладонью по кухонному столу, смахнув несколько хлебных крошек на ладонь, и бросил в раковину.

«Так и плывёт Русь-тройка в полнейшую экзистенциальность, где ни о каких смыслах уже не думается, только тоска непонятно о чём, и песня какая-нибудь глупая в голове вертится».

Глава 6

«Но и утром всё не так,
Нет того веселия...»
Владимир Высоцкий

Владимир Трофимов давно повзрослел. Он сидел не дыша — боялся. Скрежещущие, но не звуками, а искрами, точечные уколы вспыхивали, царапали внутри головы. Звук и изображение слились в один общий призрак — тотальный и невыносимый. При всех таких болезненных качествах это явление чуть заметно оказывалось желанным.

Городские обитатели — крикливый и шумный вид хомо сапиенса, который создаёт настолько много бесполезного шума, что, обнаружив малейший признак тишины, начинает хаотично наполнять пространство музыкой из телефона, аудиосистемы или просто начинает громко произносить разные словесные конструкции. Трепыхающийся на ветру обрезок пластиковой полторалитровой бутылки, надетый на заборные штыри, отпугивает ворон и сорок — он больше имеет значения, чем шум городского фона.

Нет ничего безнадёжнее, чем знать о бессмысленности всего этого окружающего человеческого звуковоспроизведения и такого же не имеющего никаких обязательств монолога внутри собственной черепной коробки. Трофимову не нужно было объяснять, что надо день простоять и ночь продержаться, после чего наступает волна покоя и тишины. Пока же никакого просвета не было.

«Хотя это-то как раз хорошо», — Трофимов не был в алкоголизме дилетантом. Совпасть так, чтобы вот в самый раз — приглушить свет до той идеальной точки, когда происходит совпадение освещения извне и покоя внутри. Но с каждым годом ему всё реже давалась эта точка полной синхронизации с миром. Сопротивление мира оставалось прежним, но то ли привычка, то ли рутина — но всё чаще Трофимов вдруг открывал внутри себя беспокойное «не хватало», ему хотелось затемнения всего — звуков, изображений, жестов живых рук, глаз, тела, чтобы предметы и вещи затихли вместе со всеми смыслами и бессмысленностью.

Мир никак не мог затихнуть и приглушить себя, навязчиво мельтешил осколками света на стенах. Даже на внутренней стороне век демонстрировался сеанс всполохов, и потому закрытыми глазами спасаться было бессмысленно.

Здравствуй и прощай, завтра будет лучше... — там, где обычно нормальные слова возникали и веско значили человеческую речь, сейчас крутилось нечто липкое из двух строк бесконечным замкнутым кругом...

Известна с самых древних времён та схема, неизменность которой гарантирует, что результаты стабильны на протяжении тысячи лет до тех пор, пока человечество носит на себе рабские невидимые наручники, путы, цепи, оковы — всё то слабое ленью души, что снаружи прорастает различными подлостями, горделивым накоплением денег, вещей, грамот от начальника и всего того, что каждый век не меняет, а лишь оформляет всё в более дорогие и стильные философские, гуманистические или по-соседски практические оправдания.

Не каждому лично, может быть, приходится узнать и пройти такой страшный путь,

но даже те, кто сорвались с кривоногих тропинок пьяного дурмана, даже они знают точно о том, что в простонародье кличут похмельем, в наркологичке — интоксикацией, — это не название физиологического состояния человеческой плоти. Разве что совсем только одуревшие от запоев просто могут уже не соображать, и в большей части это означает скорый край чернеющей ямы, где такому предстоит побывать уже бесповоротно. Такие вообще перестают, проснувшись, представлять умом вообще что-либо, ибо сон их уже не прекращается, а только переходит в стадию движущихся по кругу шмелей, собирающих утреннюю росу и нектар, а к вечеру забивающихся в щели укрытий.

Человек становятся пьяницей. Сегодня это уже называют ребрендинговыми новыми словами, но в целом история сводится всегда к общему слову «алкоголики» — народная речь снизу внесла свою лепту в русский язык, наделив это обозначение бытовой вонючей реальностью. Интеллигентная же и умная голова нарколога лишь приукрасила более благозвучным для диссертаций и статей прилагательным «алкоголизм» и производными вроде алкоголезависимый, даже некий графоманский термин «спиртозависимый» уже где-то мелькнет, на пробу, а то и в будущее направление наркологических отдельных исследований по различению зависимости от алкоголя и от чистого спирта. И придумают ещё слов, когда старые приедятся в томах медицинских энциклопедий и будут выглядеть прошлым веком, ещё знающим меньше и технически слабее оснащённым.

Не просто надоедят старые термины, надоест, как обычно, их тяжеловесность и затисканность в языке, потому назовут алкаша ещё более изящным словом, тем и себе приятно, и больного зависимостью не обижаешь. Если, например, пьяница — это что-то уличное, кабацкое, скандалящее женским истеричным и ненавистным безумием, то алкоголик, несомненно, был сформулирован людьми образованными, культурными и тонко понимающими разницу слов. Слово «пьяница» немыслимо даже подумать было применить в научной статье, в научной среде. Тем более, словом грубым, размытым смыслами от грузчика до пьющего писателя и хирурга нельзя определить точную категорию пациентов наркологии.

Зато алкоголизм — это уже не нарицание лично к человеку, а название болезни. Вот тем «алкоголизм» и хорош, что звучит легко, точно, позволяя внутри открытой названием болезни каждому медику найти свою нишу и свой кусочек для статьи в журнал или даже свою выделить отдельную группу по некоторым мелким и обязательно существенным признакам. Так можно и жить с полной уверенностью, что будешь до конца иметь цель и смысл жизни, хоть и редко кто из пациентов окажется излечен.

Так пьют и работают с пьющими уже многие поколения в человеческой истории, но Россия здесь имеет свою, по крайней мере, общую для всей нации особенность, о которой знает каждый истинный алкоголик, независимо от социального статуса и годового дохода, и которая никак не укладывается в головах их непьющих родных и друзей.

Да об этом сильно распространяются лишь там, где тебя внимательно слушает по долгу службы доктор или серые стены стационара с лежащими на соседних кроватях такими же знающими небритыми и стреляющими сигаретки соседями. Только соседи эти всё равно попросят заткнуться, когда ты вдруг захочешь рассказать про главную ошибку человечества. Похмелье — это совсем не телесная болезнь и даже не сладость духа.

Похмелье — это имя сидящего внутри тебя змея, постепенно вырастающего в дракона, и именно этот демонический дракон орёт изнутри, трясёт кишки и всю требуху, именно ему ты приносишь жертвы, которые жидким огнём наполняют его пасть, а тебе дают возможность творить такое, что дракон называется свободой твоей, ты же можешь в рожу дать даже другу многолетнему, когда этот вкрадчивый туманный голос драконьего существа вдруг убеждает, что твоя честь оскорблена или тебя просто не уважают. Да что там, жён и матерей, детей бьют, не до радости здесь.

В общем, говорить дальше об этом нет никакой нужны, так как любая русская семья либо сама, либо через соседей знает все эти одни и те же бессвязные и злые голоса рабов демона — драконьим видом своим изнутри опустошающего, прежде всего, дух человека и даже радующегося, если тело крепкое и протянет дольше других, сотворив из своей человеческой жизни начало адских ворот. Главное, довести до самых ворот и не дать опомниться. Дух человека потому и назван в русской православной традиции тем, что есть образ и подобие, что может вдруг взять и опомниться, когда и совсем, казалось, край.

Этот страшный демон пьянства, которому никогда не надоест стабильность одного и того же результата — пожирание человеческого существа изнутри с самых корневых основ, — духовную личность предпочитает разрушать первым делом, а тело и так смертно, и потому важнее не его бренная глина, а то, что может только и вырваться в

вечность жизни, минуту счастья, день радости.

Стабильность — система, которая работает эффективно, пожирая хоть фараона, царя или императора, хоть рабов их, и сегодня остаётся прежней, пускай и изменилась уже много раз общественная жизнь, государственное устройство, да вот человек всё тот же.

Но Трофимов знал, что всё это шоу молний и всполохов внутри глазных век, рот, залипающий от мерзостного, отдающего мертвечиной сухого дыхания, головной морок — всё это лёгкая дурь головы. Он страдал, и стон не пролазил в иссохшее горло, но сидел внутри, и уже чувствовался тот страшный ад, что неизбежно загорался в кишках и тряс внутренности всё сильнее и сильнее. Трофимов точно не был дилетантом и не имел наивных надежд, что в этот раз пронесёт, отпустит. Он знал, что сейчас в нём просыпается дракон когтистый и злой, и дракон начинал требовать одного: «Дай мне огня!»

Но огня не было, как и не было уже времени на его поиски, нужно было найти что угодно жидкое и спиртосодержащее, хоть что, тогда дракон на время успокоится и можно будет успеть отправить Сашку бомжа за бутылкой, потихоньку спустив ему из окна деньги. Все родные затихли уже как час назад, они так были измучены Владимировым драконом, что лежали в комнатах тихо, крепко заснув.

Он добрался до ванной комнаты и увидел спасение — на полке стоял дезодорант. Он стянул с полки жестяную бутылочку и начал рвать её прямо зубами, он рвал её в таком неистовстве, что жестянка, казалось, стонала, всё сильнее уродуясь, и в конце сдалась. Он вырвал верх и быстро слил пенящуюся наружу жидкость в стакан, залпом залил всё в рот и резко проглотил спиртовой осадок с приторным вкусом парфюмерной отдушки. Сел на крышку унитаза и закрыл глаза. Дракон начал затихать.

Он вспомнил, как вчера жена достала из платяного шкафа пакет. Такой обычный пакет, что выдают при покупке в любом супермаркете. В пакете лежало несколько денежных пачек. Таких перетянутых тонкой жгутовой резиночкой. Трофимов понятия не имел, что это за деньги. Как он мог забыть? Сегодня ему стало страшно.

Глава 7

«Что движет Солнце и светила...»
Данте Алигьери, «Божественная комедия»

— Жизнь вообще сложная штука.

— Жизнь? — Павел покачал головой. — По-моему, ты очень сильно ошибаешься.

— С чего это вдруг?

— С того, что смерть действительно сложная вещь, а жизнь, — Павел неопределённо пошевелил в воздухе пальцами, — жизнь как раз и есть самая простая вещь.

— Ну, не скажи, порой так закрутит, что уж точно не просто.

— Да я не об этом. Просто жизнь с каждым годом становится тебе всё известнее, знакомее. Думаю, что к старости мало что остаётся человеку такого, о чём он не мог бы узнать за все прожитые годы.

— Ага, здесь-то ты, брат, и попался, — Трофимов радостно ухмыльнулся. — Не было ещё ни одного человека, который смог за жизнь всё о мире узнать, это физически невозможно.

— Да не об этом я, — Павел от досады даже хлопнул ладонью по колену. — Жизнь, она, если упростить или усложнить — неважно, она так и будет состоять из той подлости, которую ты всегда можешь получить от других. Да и сам нет-нет, а сподличаешь, хотя б по мелочи.

— Ну, по мелочи-то оно не так уж и страшно. Вон некоторые намного больше твоего пакостят, так что ты, можно сказать, и ничего такого особо плохого и не делаешь.

— Вот-вот, ничего такого. В этом-то и вся подлость, что какая-нибудь мелочь всю жизнь потом и помнится.

— Я и говорю, что всё сложно, а смерть — она одна у всех и насовсем.

— Это-то и непонятно. Смерть-то, её же не узнаешь толком, да вообще ничего про неё никогда не узнаешь, пока не помер. Потому и говорю, что сложно как раз с ней, с которой не будет всей жизни для знакомства. И чем ближе она, тем только страшнее и не хочется. Хочется жизни, ведь она-то твоя старая знакомая, она понятно, что твоя, и понятная она вся уже, привык к ней уже насмерть. А про смерть, ну как про такую вот свою, это ж даже и думать как-то странно.

— Слушай, хорош жути гнать, я теперь вообще ничего как будто не понимаю. Про жизнь, что она сложная штука, мне всегда было известно, а теперь оказывается, и со

смертью так же, а то и ещё хуже. Нет, ну если так думать, то ни жить, ни умирать не хочется. А другого-то ведь и нет ничего, выбирать-то особо не приходится.

— Да, безальтернативно выходит, здесь согласен, — Павел подошёл к окну и закурил.

— А знаешь, это ещё как посмотреть, — как-то неуверенно сказал Трофимов.

— Как?

— Да...

— На что смотреть-то, если со всех сторон либо жизнь сложная, либо смерть непонятно какая.

— Смерть понятно какая — твоя собственная, другой никакой не будет, — Трофимов вдруг изменился в лице. — Я понял, — он попробовал руками изобразить нечто, в чём, видимо, ему представлялось это понимание. — Надо в себе понять, — он продолжал двигать в воздухе руками, подыскивая нужные слова.

— Что понять-то? — Павел с любопытством глядел на соседа.

— Ну, эту, ну как говорят там, душа там, духовность, — эти слова Трофимов проговорил скороговоркой, словно стыдясь самого себя. — Ну, в смысле, про бессмертие же там идея главная, вот тогда и после гроба хоть куда и смерти никакой может и не быть в реальности. Но если и есть что такое, то эту душу почувствовать ведь тогда надо, а иначе обман один ведь, самовнушение.

— Это ты хорошо сказал, — Павел потёр себе шею, словно она устала от долгого напряжения. — Только маловразумительно. Душу почувствовать — это хорошо. Только в неё поверить вначале надо, что она есть и что бессмертная, а иначе прок какой? Мы же везде прок хотим видеть, подленько пролезть через этот прок и чтобы сразу и душу, и бессмертие за наше веренье получить. И чтобы душа понятно зачем была бессмертной — для жизни вечной.

— Так, а что ещё-то надо-то, для того и нужна душа, чтоб нестрашно было жить, чтобы смерть не так уж и твоей казалась.

— А всё равно будет казаться. Ты вокруг-то посмотри, много ли народу душу свою почувствовали?

Владимир Трофимов ничего не ответил.

— А я тебе говорю, что никакой такой души впрок не найдёшь, не на рынке она торгуется. А если и торгуется, то не знаем мы рынка такого, не видим его, разучились уже или не научились ещё. Я вот заметил, что всё у нас вроде есть, но взять никак не умеем. Мы и в церковь-то идём, когда выпросить что-то себе хотим, а хотим-то дрянь всякую в основном. Наворотим и бежим «боженька помоги» или «боженька дай чего-нибудь», хоть бы палкой соседу по голове кто попросил для разнообразия.

Павел понял, что становится нравоучительно-зануден в своих претензиях к человечеству. Он понимал, что себя, как правило, исключаешь из осуждаемых тобой представителей общества, но это, конечно, не по причине собственной добродетели, а из вредности.

— Ну да, ну да, говорим-то мы правильные вещи, умные, рассудительные. У нас посмотреть, так после ста грамм каждый знает, как страной управлять и духовности прибавить, и благо всем по таким рассуждениям мерещится, правда, тошнит от перепоя каждого отдельно и лично.

— Да-а-а-а, — как-то неопределённо протянул Трофимов, он выглядел немного обалдевшим.

Налили ещё по одной. Выпили. Владимир отодвинул стакан. Тошнит что-то, видно накаркал.

* * *

И даже сложно было сейчас вспомнить, то ли галстук стал причиной интереса к этой области человеческой деятельности, то ли случайное посещение какой-то лекции или выставочной галереи стало причиной появления галстука. Впрочем, Владимир Павлович относился к этому более обще, как к вещам взаимосвязанным, но хронология появления их в жизни Трофимова не играет значительной роли — важна сама связь, её принципиальная и непостижимая возможность.

Об этой связи было приятно думать ночами, когда не спится от духоты или от шумных звуков внешнего заквартирного мира. Но недавно он открыл для себя особенные ночи. Ночи тишины такой глубокой, словно все разъехались по дачным участкам и по разным сторонам загородного пространства. И вдруг все эти шумные и суетливые горожане решили на одну ночь, что никогда в город не вернутся, и так твёрдо решили, что тишина стала абсолютно свободна.

Свобода и абсолютный покой наполняли тишину городских дворов. Трофимов сидел у раскрытого кухонного окна своей стандартной трёшки и просто смотрел на ночную улицу. Он каждый раз радовался, что живёт на первом этаже и ночь ему пах-

нет распаханной сырой землёй из клумб дворового палисадника. Спать в такие редкие ночи не хотелось. Тело отдыхало не во сне, а в покое ночной и свободной тишины.

Для обывателя это было опустевшее пространство, но для одного человека, для Владимира Павловича Трофимова, всё было иначе. Он чувствовал не пустоту городских кварталов, а наполненное густой и терпкой неизъяснимостью безмолвия измерение мира. Такое безмолвие звенит из самой высоты и самой глубины одновременно. Разъятые повседневной будничной толкотнёй две точки противоположных направлений на миг становятся единым целым, и в этот миг Трофимов понимал, что цельность высоты и глубины — из того, другого, настоящего мира, где они никогда не распадались. Направления вверх и вниз, стороны света, границы государств и частных владений — это категории суетливого и расчётливого материального мирка.

Но здесь открывались на миг высота и глубина, но не чего-то обыденного, географического и топонимического, а высота и глубина внутри человека и в основе мира, ставшие одним целым существованием. Эта цельность вседовольна и ничего не требует и делится своей полнотой, но не становится неполной.

Трофимов однажды зашёл в храм и услышал конец проповеди, которую говорил немногим прихожанам пухлощёкий батюшка. Ничего особенного не отражалось на лицах слушателей, но Трофимов замер от слов священника. Тот говорил, что вседовольный Бог ни в чём не нуждается, потому что у Него всего довольно и ничего добавить или убавить в этой полноте нельзя. И главное для человека — почувствовать эту частичку полноты в себе, эти образ и подобие, которые суть божественный дар каждому человеку. Даже ангелы не наделены этим даром, и один только человек наделён тем, что может творить, желать и выбирать, ещё и добровольно.

Раньше Трофимов не обратил бы внимания на эти слова, полагая их профессиональной особенностью работников культа, так дантисты проповедуют страх кариеса и зубного налёта, а священнослужители — страх божий. Но в тот день Трофимову стал понятен ускользавший раньше смысл этих слов. А главное, что эти его состояния редких ночных переживаний полноты и покоя обрели иную ценность, потому что если и мог Владимир Павлович сейчас что-то назвать в себе образом и подобием вседовольного Бога, то только эти приступы острой и пронзительной тишины мира, отражающегося внутри целиком и не имеющего ничего лишнего и убыточного. Он подумал, что так, наверное, и чувствуется душа, подобная Творцу и к Нему только и стремящаяся.

Так закончился у Трофимова год посещения лекций и художественных галерей. В том храме он открыл для себя то, что есть источник и причина всего когда-либо сотворённого человечеством и всего, что когда-либо будет сотворено.

Глава 8

«Говорят, что Россия — страна крайностей, нам вроде как играть — так до одурения, а в пропасть — так всей головой. Только кто говорит-то об этом, кто это вообще придумал? Дошло до того, что сами русские надёжно уверовали в это как в заповедь и национальный закон, а после уже как-то проще стало сподличать. До конца, так и до крайности — собственника в петлю, а сам в омут — и не десятку уже у старушки, а квартиру отнять. А ещё говорят, повторяют всё друг другу «брат», «братан» — Google и Яндекс брат вам, да тамбовский волк — ваш товарищ. Такая вот национальная особенность», — Владимир Трофимов раньше об этом даже не особо задумывался, только недавно начал замечать за собой подобные мысли, а с ними и физиологические особенности осмысливаемого процесса.

Сладенькая острота, где-то в кишечнике отдающая, когда про себя лихого вспоминал: «Дожил ведь я до сегодня, из 90-х дожил, бизнес организовал, а сколько там было всякого, вспомнить сейчас жутко».

Играли же до одурения, а в поездку с товаром — как в пропасть с головой каждый раз было. Приятно ведь сейчас понимать, что тогда так вот по-русски смог ухнуть, так верится сейчас, что до края смог и не побоялся. Бандитом тогда любой злобный мутант мог стать, так ведь и стали, а он не стал, не побоялся не стать. Это надо ещё не слиться, когда надо в поездку с товаром ехать, надо не трухануть и в бизнес тогда пойти. А он-то уж точно, нет, он-то уж точно и сейчас сможет, если надо будет: «Я ж так-то никогда и не боялся, выжил в самые лихие годы, в беспощадных девяностых, чего мне теперь-то не жить».

Но вот, постепенно, с годами, когда всё уже самое лихое казалось прошло и можно расслабиться, стало как-то смутно расти в душе чувство, что нет-нет, а есть во всех этих рассуждениях какой-то подвох, какая-то спрятанная на самом видном месте подлость. Что-то в том лихолетье и лихости не так, да и не может эта дурь быть главным свойством для целого народа, не выживет народ с таким главным свойством. Россия

— страна крайностей — с чего вдруг решили упиться лёгким до идиотизма лозунгом, а национального ли вообще он, лозунг такой, характера-то?

Так бывает, если вдруг замечаешь спрятанный на картинке рисунок, который к основной картинке совсем не имеет отношения, либо отношение это складывается совсем неприятное и пошлое. Например, если в сплетениях зелёных трав или древесных крон вдруг замечаешь изумрудистых оттенков ядовитую змею.

Не то чтобы вслух и декларативно, но как бы по умолчанию соглашаясь, говорил в себе с юности что-то вроде: Россия — это крайности, ведь бескраен простор земель, и русская душа из огня да в полымя всё время, и всегда это максимально, как земля бескрайняя. Всё этакое прочее бормоталось откуда-то из темноты, а твоё, такое внутреннее, человеческое существо, пройдя через одурение всех перестроек и перестроев, как-то начало смущаться. Стало в душе зарождаться что-то вроде стыда, и как-то не спешилось уже примерять на себя старые привычные шаблоны про крайность, как-то становилось об этом подозрительно неприятно думать.

Трофимов вырос там, где городская окраина наполняется частными домами, заборами и тёмными безфонарными проездами, где фонари включают в основном только кому-то под глазом. Эта окраина была такой же, как и вокруг сотен других российских городов, — глухие дворы частных домов. Там, где окраина подходит ближе к набухающим жилам города, она начинает перемежаться двухэтажками хрущёвских и прочих советских времён. Окраина больше походила на обвисшее вокруг бетонного сердца города тело. Асфальтированная дорожная паутина разветвлялась от городского центра к краю, где постепенно становилась всё более труднопроходимой гравийкой и глинистой хлябью частного сектора.

Кирпично-бетонная, сайдингово-пластиковая городская застройка словно некогда стала притягивать к себе близлежащие деревеньки и посёлочки, те подползали всё ближе и постепенно срослись с городской системой, так и не став на город похожими, даже обременяли его своими неумытыми архаичными мотивами. Если город жил товарно-карьеристской спесью, то окраина — грубостью речи. Именно таким был родной Трофимову окраинный район под названием посёлок Восточный.

Здесь не любили уехавших, тех, кто сбежал в центр. Ну, не то чтобы не любили, но скажем так, не особо приветствовали. Хотя каждый мечтал оказаться в лучшем районе, но мечты мечтами, а для жизни работать, крутиться нужно. Крутиться получалось не у всех. И тогда вступал в силу подлый подвох про крайности. Глухая грязь от колёс грузовиков, буераки и товарные вагоны прочерчивали шрамы на теле Восточного посёлка, а по колеям, шпалам и шрамам скакали туда-сюда трезвые или урывисто продвигались пьяные окраинные жители. Всё порой казалось пограничено невыносимым, мрачным и беспросветным, но тем сильнее тлела искра желания свалить отсюда куда подальше, но многие так и оставались до конца дней в этих барачно-буерачных отвалах полугородского посёлка.

Владимир прекрасно знал о крайностях и беспросветах, тем более, о тех, что тянут человеческое существо на самое дно бездны с гранёным стаканом в трясущихся руках. Он много раз видел и почти добрался сам до соскальзывания без вариантов. Да, есть такой камень, запнувшись о который душа летит уже кубарем в тартарары, летит окончательно и невозвратно. Именно такое пьяное, весёлое и дикое отчаяние граничит с нелепейшими смертями под строительным забором или на зимней приподъездной скамейке. Дурная, пьяная голова шутит, хохочет страшным оскалом, безумно надрывается над стаканом бормотухи, но весь этот бессмысленный и беспощадный бунт заканчивается неизменно одним и тем же — банальной смертью при самых что ни на есть идиотских обстоятельствах.

В тот день странными непонятными путями, но Владимир запутался в своём же старом районе, где прошло детство. Может быть, он так и проехал бы мимо, только слегка улыбнувшись какому-нибудь воспоминанию. Может быть, ностальгия слегка прихватила бы сердце, то ли от знакомого звука железнодорожного семафора, то ли от вида какого-нибудь дряхлеющего у дороги тополя, на котором они с пацанами делали качелю из пожарного рукава. Но нет, остановился у магазина, зачем-то понадобилась пачка влажных салфеток. Мог бы их и на заводе, в своём офисе взять, мог бы секретарю сказать, и привезли бы хоть сюда, но вдруг решил по старой памяти сам зайти в магазин и купить.

Да, конечно, за прошедшие годы посёлок Восточный частично преобразился. Преображение касалось появления на торговых точках цветастых рекламных щитов, ну и сами торгместа облепились пластиком и новыми стеклопакетами. Если раньше продуктовый магазин выглядел складским зданием с вывеской «Продуктовый магазин», внутри с полками хлебобулочных изделий и пахнущими из-за прилавка флягами молочки, то сейчас перед Трофимовым гордо стоял одноэтажный малогабаритный вариант местного супермаркетового бренда с подсвечиваемой надписью «Мини-маркет».

На скамейке перед магазинчиком сидел местный житель. Издалека становилось понятно, что гражданин обитает здесь крепко и давно. Подходя ближе, Владимир вдруг узнал человека — это был знакомый Трофимову в детстве Сашка Волжин, только годы лежали теперь на нём грузно и грязно одновременно. Сашка зашевелился, хляпко с жуткой слякотностью закашлялся и смачно сплюнул в сторону стоящей сбоку бетонной урны.

Даже в самых криминализированных городских окраинах обязательно найдётся улица или несколько бараков, где русская душа охвачена гнилостной болезнью бессмысленности и беспощадности бытия в крайней форме. Именно в таком бараке родился и всю жизнь обитал Сашка Волжин. Отец почти сразу сгинул из Сашкиной жизни и не потому, что ушёл из семьи, а потому, что лицо его было таким же общим, как у всех мужиков их барака. Отец вроде бы сидел с собутыльниками на кухне, и он же валялся возле врытого в землю у дороги тракторного колеса.

Пить, курить и материться Сашка начал одновременно с первыми попытками внятно разговаривать. Системный запой прервался в его существовании только один раз, когда по молодости Сашку Волжина закрыли в исправительную колонию общего режима на три с половиной года за кражу катушки медного провода с территории строительного кооператива. Отбывал он в самой что ни на есть «красной» зоне, проссученной и прокозлённой от начальника до тощих хлористых матрацев. Говорят, что там Саня сам ссучился до руководителя секции санитаров. Говорят, что три года в зоне жил и работал какой-то другой человек, что там оказался трудяга и активист Александр Волжин, подменивший на время отбытия срока Сашку из бараков Восточного посёлка. Какая из этих личностей являлась настоящей так, и остаётся невыясненным обстоятельством и для жителей Восточного, и, пожалуй, для самого Сашки. В «красной» зоне даже активистам не приходится сегодня иметь доступ к спиртосодержащим или другим охмеляющим жидкостям, потому Волжин предпочитал не пить и не думать об алкоголе вообще, стремясь к одному — к условно-досрочному освобождению. Правда, причина такого добропорядочного стремления объяснилась сразу по выходе из колонии. Он вышел досрочно за хорошее поведение, оставив недосиженными несколько месяцев, и честно пробухал все эти месяцы не просыхая, отдавая долг пропущенным трём годам. Выйдя за ворота зоны, Волжин вдохнул как смог вольного воздуха и вдруг срифмовал: «Хватит в жизни мне пахать, надо срочно побухать!»

Весь он сейчас походил на кучу сброшенного самосвалом тяжёлого, склизкого мусора. Как-то страшно, намертво вдавливаясь ногтями в колени и чуть-чуть глядя в пространство, видел ли он шевелящийся вокруг мир, может, только огрызок земли перед собой — бог весть. Поводя головой, будто отрицая что-то, он опять застывал тяжёлыми зрачками, и только иногда это застывшее человеческое существо предъявляло окружающему какие-то признаки жизни.

Трофимов подошёл к Сашке и сделал вид, что не было этих лет. Сашка поднял голову на остановившегося перед ним мужика:

— Чё хотел?

— Здорово, не узнал, что ли? Вовка, Трофимов, с Первомайской.

— А, Вован, ничё ты, откуда тут?

— Да... — Трофимов махнул рукой в сторону, как бы одновременно показывая и посёлок, и где-то в нём Сашкин барак. — Ты-то, это, здесь всё?

— Но. А куда я денусь-то.

— Всё бухаешь?

— А чё не бухать-то, если есть чё.

— Так это, долго уже, поди, мож, завязывать пора... Сам-то как?

Сашка даже приободрился, ибо на этот вопрос ответ он знал, как ему казалось, вполне конкретно:

— Я, Володя, буду пить до полной потери документов, всё по плану.

Трофимов достал из кармана бумажник, порылся и протянул Сашке купюру в 500 рублей:

— На вот, хоть сигарет себе возьмёшь. Ну и, это, привет там всем передавай, — как-то совсем уже неловко проговорил Владимир.

Сашка покосился на дорогой джип, в котором приехал бывший житель посёлка Восточный, усмехнулся, взял бумажку:

— Благодарю, тыщу-то, чё, жалко, что ль? Так, что ль, помог и вроде как денег сильно не потратил, — Волжин опять ухмыльнулся и показались гнилые зубы, нескольких верхних зубов не было совсем.

— Ты чё, думаешь жалко мне, что ли? — Трофимов вскинулся и хотел что-то добавить, но только махнул рукой. — Ладно, мне ехать пора, давай.

Он вернулся и сел в машину, чувствуя, как в груди начинает разгораться раздражение. Да пошёл он! Ему тысячу дашь, так на неделю загуляет и сдохнет где-нибудь

под забором, а мне потом живи и думай, что это я денег сдохнуть дал. На пятьсот хоть есть шансы, что крыша от привалившего бабла не съедет и, может, правда, еды какой возьмёт, сигарет каких-никаких. Да пошёл он вообще, ещё недоволен, им таким хоть чего дай, а всё недовольны, сами-то хоть бы задницу от земли оторвали.

Вспомнил, что забыл купить салфеток, ещё сильнее разозлился. Да пошёл он, до офиса доеду да возьму. Трофимов вырулил с заводской окраинной гравийки на городской асфальт.

* * *

Сашка умер через неделю, в своём родном бараке. Он сидел на ступеньках лестницы, прислонившись к обшарпанной стене и с надвинутой на глаза цигейковой лагерной шапкой. Вначале никто ничего необычного не увидел, ну, сидит и сидит себе, ведь Сашка Волжин часто залипал так в пьяном тумане, и место это на ступеньках между первым и вторым этажами было за ним закреплено надёжно и давно. К вечеру кто-то потормошил его за плечо, и шапка сползла на бок. Когда лагерную цигейку подняли, то лицо уже пошло черными пятнами. Сидячее положение тела так и застыло по форме деревянных влажных ступенек.

Когда зашел разговор о похоронах, то местная алкашня перерыла все углы барака в поисках хоть каких-то документов, чтобы по ним можно было бы получить «похоронные» на Сашку, но так ни одного листочка, ни одной бумажки об удостоверении Сашкиной личности и не нашли. Всё-таки какими-то муторными путями, но закопали в холщёвом мешке, а вместо гроба взяли бесхозный старый шкаф. Рассудили, что, в конце концов, какая разница, шкаф, он тоже деревянный и тоже ящик, так чем не гроб. Похоронных денег барачным мужикам не дали, но закопать труп как-то получилось и без этих денег. Сами же барачные и закапывали. А там и вспомнили, как Волжин всё шутил в последнее время, что пить будет до потери документов. Вот и дошутился, заказал смерть-то себе бездокументовую.

Вечером барачная похоронная команда кое-как выпросила у тёти Вали самогонщицы один пузырь на пятерых, «чтоб Сашку по-людски хоть помянуть». Выпили и только расстроились. Ведь на пятерых-то оно там по стопарику одному каждому-то и вышло. А что этот стопарь-то — только расстройство одно. Так и сидели они до утра трезвые. Сидели и молчали, думали что-то своё, смутное и тревожное.

Боря-кандагар, сухощавый мужичок с острыми глазками, хохотнул, отрыгнул: «Да, мужики, а Саню мы ж хорошо закопали хоть. А так ваще никто не закопал бы. А паспорт его ж как будет. Оно ж, бабло-то, его ж кто-то всё равно заберёт. Ну, это, похоронные-то. Вот те и стреганул ж кто-то Санины похоронные-то. По-любому, себе кто взял. Вот те нормально, да. На покойниках оно ничё срубают-то».

* * *

О смерти Сашки Волжина Трофимов узнал случайно. Приехал в строящийся храм поговорить с настоятелем, прикинуть сколько-чего надо помочь. На церковном дворе к Владимиру подошла седенькая старушка:

— Володенька, я тебя даже и не узнала сначала, а потом пригляделась, так ты и есть!

Трофимов напрягся, но что-то в лице бабушки показалось ему знакомым.

— Мария Ивановна. Не узнаёшь, наверно, — подсказала бабушка и улыбнулась.

— Мария Ивановна! Здравствуйте! — Трофимов узнал в ней свою классную.

— Да, Владимир, сколько времени-то прошло, а я вот на пенсии давно.

Классная и рассказала, между новостями о смерти соседки и строительстве у них в посёлке небольшой церквушки, что Волжин Сашка умер да что так нехорошо с ненайденными его документами вышло. Трофимов тогда как-то облегчённо вздохнул и подумал: «Ну вот, отмучился, бедолага, допился».

* * *

А как измучивает тебя из нутра огненный дракон похмелья, Владимир Павлович Трофимов знал совершенно конкретно. Изнутри и снаружи знал. Из самой глубины печени и кишок знал. Ещё в лихое время организации и дележа экономического пространства, когда на коммерческом фронте гремели бои по всем направлениям, ещё тогда заполз этот, жаждущий огня, дракон в самые кишки Трофимова. Тогда-то Владимир Павлович и узнал, что алкодракону вообще безразлично, бомж ты, бандит или богатеющий коммерсант — все там стриглись одним постригом, все имели одинаковые шансы на белую горячку и чёрную могильную пропасть.

Нет, вначале всё шло ровненько, дракон пришёл потом. А первая прибыль шла, без драконьих закидонов, именно на развитие бизнеса. Законы жанра таковы, что если бы сразу сорвался, то никакого «потом» и никакого «развития бизнеса» не получилось бы в принципе. По сути, социальный статус граждане организуют себе самостоятельно и

в этом могут вполне себе расслаиваться на какие угодно прослойки общества, но вот запой — это дело такое, общечеловеческое, здесь только национально-языковой колорит может выделять «граждан» одной страны из таких же «господ» другой. Да, «огненной водой» самых разных уровней Владимир Павлович упробовался уже в бытность состоявшимся гражданином.

Начав более-менее серьёзно подниматься с видеосалона, Трофимов уже в том начале проявил смекалку. Он не стал организовывать просмотры в подвальных сырых и прохладных помещениях многоэтажек, где любой блатненький пацанчик из местной братвы мог забуриться и устроить тупое разбиралово. Нет, Трофимов всё постарался сделать максимально безопасным и рентабельным, организовав просмотры на базе бывшего советского ДК, в помещении небольшого кинозальчика. Раньше здесь смотрели идеологическое советское кино, сейчас же идеология резко изменила курс и наполнилась брутальными образами мастеров кунг-фу, японских ниндзя, американских коммандос.

Поздними вечерами проходили просмотры особого киножанра, о котором в СССР могла зайти речь только в кругах совсем распущенных и зажравшихся, а в новое время вдруг стало можно говорить всем желающим. А желающих, оказалось, хлебом не корми, дай посмотреть кинофильм с маркировкой 18+, а то и 21+, и фиговым листочком полуприличного слова «эротика». Бывшие инженеры, отставные военные, торговки с рынка, врачи, учителя, библиотекари, слесаря — на сеансах «для взрослых» мелькали все возможные варианты социального и профессионального оттенка.

Бесконечная кровавая резня и оголённые тела, мат и похоть, пот и запахи мочи — миксерная идеологическая мифология этим наивным вчерашним советским гражданам вбивалась в мозги накрепко, наглухо отбивая любое ориентирование на национальные скрепы.

Скрипели народные скрепы и трещало по швам тело национальной культуры, а Владимир Трофимов забивал в это тело свои гвоздики, вносил, так сказать, и свою лепту на безумный безликий убийственный храм поднимающегося демонического образа. Бабло текло крепким потоком, хотя стало постепенно выясняться, что развиваться необходимо совсем в других областях, ведь народ в кино может и перестать ходить, а вот питаться, одеваться, болеть и умирать человечество никогда не прекратит.

Через годы и годы Владимир понял, что они все тогда вовсе не свободу обрели, а только страх потеряли. Хватали кто сколько мог и, чтобы ухватить кусок, делали самые лихие трюки и с телом своим, и с совестью. И, конечно, за всё надо было платить, особенно за то, чтобы оставаться живучим предпринимателем с живым предприятием. Вначале платили ментам и бандитам, потом всех поглотили чиновники. Особо это ничего не поменяло, разве что прибавило тендерного и бюджетного колорита. Взятка ли, откат ли, но тот, кто это брал, у того то ли чиновничий гонор, то ли человеческая низменность неизменно сводили всё дело то к распилу, то к кидалову. Реально лихие вензеля выписывает душа человеческая, чтобы тело бухоное тучнело. А сейчас отчего-то стала нестерпимо ясной простая истина, что главная плата ещё даже не началась, вот она-то и будет основной и трудноподъёмной.

Глава 9

В крестный ход Трофимов пошёл сам и по своему усмотрению. Он решил так, если и идти, то по всем обычаям, с заморочками и усложнениями, чтоб грехи, так сказать, искупить трудностью пути. Пошёл в тощих кедах, в которых чувствовался каждый камешек и каждая впуклость и выпуклость дороги. Пошёл в сторонке от всех, сам по себе. И вот на тебе, трудности пути оказались натурально трудными.

Нога пошла куда-то в сторону, он даже не успел опереться на палку-посох. Поскользнулся, скатился как-то нелепо в овраг. Пока пытался выбраться на дорогу по острым дроблёным шлако-каменным буграм обрыва, ободрал все колени и ладони, а ещё до того разбередил правую ступню, натёр её до кровавых мозолей. И сидел сейчас у дороги, чувствуя себя полным дураком. Трофимов сидел абсолютно один, на краю побочного от крестного хода пути, тяжело протирая правой рукой пыльное и потное лицо.

Из-за поворота вышел мужик в чёрном платье. Это было не платье. Трофимов напрягся, вспомнил — подризник, такое чёрное одеяние называется подризник. На поясе поверх подризника кожаный пояс — мужик был монахом. Через плечо монаха перекинуты связанные шнурками тёртые и по виду крепкие синие кроссовки.

— Устал, брат?

Монах смотрел как-то необидно, и Трофимов с надеждой спросил:

— Может, мне веры мало, или силы просто у меня нет, а?

Монах поскрёб пыльными пальцами редкую бородку на щеке, присел на камень рядом:

— А что ж вера, она тайна явная. Тайна-то не оттого, что кто-то её спрятывает, а оттого, что неизъяснима. А так-то, вот она, всегда явлена, только человекам грех потому и грех, что слепоту на явное, а зрение на мертвечину наводит, морок такой человекам на погибель, и рабство страстевое. Вот так и есть. А умом-то, это ж не умом, не расчётом каким, а духом одним и постигается, и не выучить тому без веры, и тайну не узнать без веры, — монах посмотрел на оставшийся до холма впереди путь: — Ладно, брат, ты не засиживайся сильно-то, а то лень найдёт и совсем не встать будет. Потерпи за Христа-то — он терпел и нам велел, — монах ещё раз поскрёб бородку. — На вот, у меня запасные они, тебе нужда более моего-то будет.

Снял с плеча пару кроссовок, положил на землю перед Владимиром. Встал с камня, отряхнул подрясник и пошёл по дороге. Постепенно чёрная фигура уменьшилась и вдалеке стала обозначаться одинокой маленькой фигуркой человека. Эта фигурка взошла на вершину и на мгновение остановилась, словно перед прыжком с трамплина. Восход всколыхнулся от далёкого крёстного знамения тоненькой руки, и человек нырнул за вершину холма.

Трофимов сидел на пыльной дороге и плакал. Он трогал руками разбитые ступни ног, натягивал старые кроссовки монаха и тихо-тихо повторял:

— Господи, Господи, дойти бы, что ли... дойти бы хоть, что ли, Господи...

Над головой вставало зенитное солнце, пронзительное и ясное, как окружающий день божий. Владимир, кряхтя и зажмуриваясь, встал и пошёл по этому подсолнечному пути вперёд.

«Господи, да ведь в раю-то тоже, поди, есть хозяйство какое... Может, есть там и мне место, за поросятами там управляться или другой какой живностью... Жить-то, оно не просто же хочется, надо жить-то...»

Внутри жгли печаль и острое одиночество, Трофимов почувствовал на щеках слёзы. Он хромал, утирая рукавом эти слёзы и, тихо разговаривая, поднимался в гору. Кругом головы роился и жалил в лоб, шею и щёки гнус, ноги стонали от сбитых пальцев и жгучих ободранных мозолей.

Трофимов поднимался на гору — он впервые пробовал любить.

Любовь ЛИХОМАНОВА

НЕУПАВШАЯ ЗВЕЗДА

За околицей деревни халестились. Именно так в Лябзунке исстари называли не к месту самодеятельное исполнение русских народных песен. Громкий мужской голос попеременно то басом, то баритоном распевал: «Всю-то я все-ле-нную объе-ха-а-ал-л, ни-и-игде ми-илой не наше-ел...»

Вихрастый, синеглазый ученик начальной школы Степан Соколов прислушивался к доносившемуся издалека голосу, восседая, на манер всадника, на козлах для распиловки дров, которые притулились в густой траве возле огородного штакетника. По основному назначению козлы использовались в основном осенью и зимой, а летом служили отличным реквизитом для игр в «кавалеристов». Из одежды на наезднике были только старенькие джинсовые шортики, которые почти полностью оголяли тоненькие, но мускулистые ноги. На мальчишечьей голове, скрывая трогательно оттопыренные розовые ушки, возвышался самодельный тюрбан, сооруженный из выцветшей за лето футболки, зрительно увеличивая загорелую худенькую фигурку. Под козлами развалился смешной, круглый, как бочонок, неуклюжий щенок Бантик. Свою кличку песик получил благодаря белому пятну на груди посреди ярко-рыжей шкурки. По тому, что пение становилось все отчетливее и отчетливее, стало понятно, что его источник приближается.

Прохладное августовское утро, купаясь в горячих солнечных лучах, плавно перетекало в жаркий полдень. Бабушка Степана по матери, Татьяна Ивановна Ракитина, сидела на маленькой деревянной скамеечке, поставленной прямо на подсохшую грядку, и отрезала большими канцелярскими ножницами сухую ботву от золотистых головок лука. Повернув голову в сторону внука, она заправила выбившуюся из-под фатки (так в деревне называли головной платок) седую прядку и, укоризненно покачав головой, проговорила:

— Гли-ко, опеть уж Гринька шары налил! Ковды и успел? А ить, у яво загон картошки не копан, а он все валандается. Лонись ведь из армии-то воротился, да выладиться никак не может... О-хо-хо-хо-хо-нюшки!

Между тем «певец» поравнялся с калиткой во двор Ракитиных и, прервав песню, покачиваясь, задорно выкликнул:

— Здорово живитё, бабка Таня! Труд на пользу! Степка-а-а, дай пять!

Паренек резво соскочил с «коня» и побежал навстречу. За ним рыжим мячиком с громким лаем покатился Бантик. Татьяна Ивановна едва заметно вздохнула и прокричала с огорода в ответ:

— Здоровей видали! Не налызло эстоко лопать-то? Загон-от картофельный так и стоит, сгноишь — ить, непутевой!

Гринька пожал протянутую Степкину руку, потрепал за ухо вьющегося у ног щенка, улыбнулся какой-то грустной, далекой улыбкой и, обреченно махнув рукой, молча пошагал нетвердой походкой дальше, к родительскому дому на краю деревни, куда он воротился год назад из Чечни.

Два непростых года в разведроте превратили здоровяка и балагура Гришку в серьезного и сдержанного старшину Григория Данилова, пометили ранней сединой и погасили озорной блеск в добрых зеленых глазах. Мать демобилизованного солдата с весны тяжко занедужила, отдав дом и хозяйство на попечение сына. А тот вдруг непредвиденно стал бедовым. Первая деревенская красавица Катька, проводив его в армию, выскочила замуж за аспиранта сельхозинститута и укатила в город. Рваные раны души затягивались медленно, лекарство все чаще виделось на дне стакана. Пьянство до добра не доводит, и Григорий медленно, но верно погружался в депрессию со всеми вытекающими последствиями, превращаясь в беспутного Гриньку. Жалеючи, из колхозных механизаторов его перевели в ночные сторожа, и днем он был абсолютно свободен.

Повиснув на калитке, Степка вдалеке улицы выглядел давнишнего приятеля, который тоже проводил каждые летние каникулы в Лябзунке. Не заметить Кольку было трудно, так как он, в противовес дружку, рос коренастым краснощеким бутузом с россыпью рыжих веснушек на любопытном курносом носике и все лето носил одну и ту

же полинялую красную футболку с надписью «Я — мужик».

— Ко-оль-ка! — радостно закричал Степа. — Айда на угоры!

— Куды наладился, пострел? Обедать пора! — отозвалась со двора вместо Кольки бабушка Таня.

— Ну, баба, я не хочу ишо. Я недолго погуляю и приду. Ну отпусти... ну пожалуйста... ну баба... — заныл Степка.

— Буде стонотить! Я ить не унимаю! Поди с Богом! Недолго токо! Губница в печи уж, поди, дошла.

— Ладно, баба, я быстро! — прокричал сорванец уже за калиткой, на ходу одевая стащенную с вихров футболку, и понесся, подпрыгивая в теплой пыли, вдоль улицы наперегонки с Бантиком.

Угоры начинались сразу за околицей. Друзья любили там играть, перекатываясь кубарем по крутым склонам, изображая из себя спецназовцев в разведке. В конце июня там водилась самая сладкая на свете земляника, а позже можно было до одури валяться в душистом клевере, без риска получить нагоняй за испачканную ягодным соком одежду. Но самое интересное, с точки зрения мальчишек, было то, что в подножии большого угора прятался заброшенный колодец. Это был древний сруб, опущенный в землю несколько глубже верхнего уровня грунтовых вод, выполненный из прочной, малогниющей осины, оттого и прослужил очень долго. Когда-то, очень давно, согласно обычаю, в деревне построили два колодца. Один, в центре, использовали ежедневно для питья и бытовых нужд. Другой — на отшибе, в логу под угором, поросшем ивняком. Со стародавних пор сельчане полагали, что существ, населяющих близлежащий лес, можно умилостивить, дав им возможность пользоваться чистой питьевой водой. Ко второму колодцу ходили очень редко, только в тех случаях, когда кто-нибудь заболевал и была необходима помощь «хозяев леса». Ребятне строго-настрого было запрещено даже приближаться к этому месту. Но иногда Колька и Степка тайком осторожно пробирались сквозь ивовый частокол и, пыхтя от натуги, вдвоем сдвигали тяжелую, искореженную временем, поросшую густым мхом крышку. Вот и сегодня, замирая от страха и любопытства, они заглядывали в густую тягучую темноту. Оба много раз слышали загадочные поверья, связанные с такими колодцами. О том, что меч, опущенный в их воду, становился разящее; что во время нападения на деревни жители бросали в колодезь самое ценное, надеясь, что потом им удастся достать его назад. Доставать получалось очень редко. Но каким-то чудодейственным образом, благодаря низкой температуре, предметы на дне криницы не разрушались, а лишь немного старели. И мальчишки мечтали достать какие-нибудь древние вещи. Вероятно, в незапамятные времена колодец был средней глубины, примерно метров десять. Стенки от времени густо поросли тёмно-зелёным мхом. Но старый сруб давно обрушился и осыпался на дно, сократив глубину колодца примерно на две трети, грунтовые воды намыли достаточно высокий и плотный слой песка, а остатки подземной воды виднелись где-то внизу небольшими блюдечками меж гнилых бревен, валежника и разнообразного лесного мусора, неведомыми путями попавшего туда.

— Эх! Слазить бы... Представь, монеты бы какие-нибудь, или сосуд драгоценный, или шлем старинный достать... Обзавидовались бы пацаны! — склонясь над остатками сруба, размечтался Степка.

— Страшно, однако... — отозвался Колька — лешой его знает, че там?

— Не поминай нечистого возле колодца, беда случится! — строго сказал Степа и, вздохнув, отошел в сторону от колодезной ямы.

— Может, пошуровать там лесиной? — предложил Колька и стремглав умчался в заросли ивняка. Степка уселся на траву рядом со срубом, в коленки ему тут же уткнулся мокрым носом Бантик. Беспрерывно виляя куцым хвостиком, щенок с радостным визгом облизывал то одну, то другую щеку маленького хозяина.

— Отстань от меня, измусолил всего! — шутливо ворчал мальчик, уворачиваясь. — На-ко вот, лучше, потренируйся! — и, подняв сухую ивовую ветку, запустил ее подальше в кусты.

Бантик сломя голову бросился вдогонку. Через минуту он уже стоял перед тренером с «добычей» в зубах. Так повторялось несколько раз, пока в какой-то момент брошенная ветка не полетела в сторону колодца. Бантик помчался за ней и со всех лап... рухнул в открытую яму. Когда Колька, вспотев от усилий, наконец-то подволок к срубу найденный в ивняке длинный сухой ствол, его приятель стоял на коленках у края колодезной ямы и, размазывая по щекам слёзные дорожки, подвывал вниз дрожащим от волнения и страха голосом:

— Банти-ик... Бантиче-ек... Да как же... как так.... Что делать-то?...

В ответ из подземной темноты раздавалось жалобное поскуливание.

— Степа! Ты че? — спросил Колька, замирая от страшной догадки.

— Бантик.... за палкой... и туда... — заревел в голос Степка.

— Не реви! Сейчас мы ему лесину опустим! — приказал Колька. — Хватайся за другой конец!

Они опустили в яму ствол, но, сколько бы ни уговаривали Бантика подняться по нему, ничего не происходило. Песик скулил все отчаяннее и отчаяннее. Поняв, что все их спасательные попытки бесплодны, они вытащили лесину обратно. Степа упал ничком в траву и зарыдал. У Кольки тоже предательски защипало глаза, но он сдерживался от плача, поскольку всегда помнил, что старше восьмилетнего дружка на целый год.

— Степ, айда на дорогу! Может, взрослых кого увидим! — скомандовал мальчик. Степка поднял голову, легко вскочил на ноги, заглянул в яму и крикнул:

— Держись, Бантик! Мы скоро! Мы сейчас!

И ребята понеслись что есть мочи в сторону деревни.

Казалось, счастье уже улыбалось им, когда они, запыхавшиеся, выбежали на дорогу, ведущую из Лябзунки, и увидели приближающуюся черную «Волгу» дядьки Саши Воротилова, дачника-морехода, который приезжал сюда каждое лето из Мурманска. Среди обитателей Лябзунки Воротилов получил прозвище Франт, поскольку любил красиво, со вкусом одеваться и слыл аккуратистом. Вот и сейчас, притормозив перед отчаянно машущими руками и что-то кричащими мальчишками, он не открыл дверь, а лишь приспустил боковое стекло и спросил:

— Чего дурите? — и недовольно сморщился от вида струившейся через щель пыли, поднятой машиной и падающей на светло-кремовый, безукоризненно отглаженный костюм.

— Дя-яденька Саша!! Там... там.... — начал сбивчиво объяснять Степка, но не удержался от захлестнувшего горя и просто заревел белугой.

— Помогите нам, дядя Саша! У нас Бантик в колодец упал, там под угором... — умоляюще проговорил Колька, наклоняясь к автомобильному окну.

— Какой еще бантик? Вы чего, девчонки, что ли? — скривился, глядя на часы, Франт. Он направлялся в райцентр, на концерт именитого артиста, в кои-то веки проездом появившегося в этой глуши.

— Да нет... это щенка так зовут, маленького... Свалился в старый колодец, помогите его достать, пожалуйста!

Франт мысленно представил себе картину спасения: грязная яма, вонючий щенок, неизбежно испачканный новый прикид, потерянное время...

— Собака не человек, сам вылезет!! Нечего туда ползать было! — строго проговорил он и... нажал на газ. Машина сорвалась с места и скрылась из вида.

Обескураженные друзья тяжело опустились на дорожную обочину. С минуту помолчали. Колька сосредоточенно сопел. Степка размазывал по лицу беспрерывно бежавшие ручьем слезы. В какой-то момент его пальцы зацепили веревочку нательного крестика. Прижав крестик к соленым от слез губам, Степа вдруг явственно увидел бабушку Таню, стоящую вечером перед иконами и шепчущую слова молитвы.

— Господи, миленький, помоги!! — горячо пролепетал мальчик. Потом резво поднялся на ноги. — Надо за верёвкой сгонять, Колька! Вспомнил! Я по телику видал, как лося из канавы мужики доставали! А ведь Бантик не лось, он ведь не тяжелый, мы его и сами достанем, правда же?! Только за веревкой-то ты беги, а то меня баба Таня не отпустит боле, да еще и крапивой достанется, время-то давно уж обед. И они разбежались в разные стороны: Колька — в деревню, Степка — назад к колодцу.

Колькина бабушка Надя копошилась в огуречном парнике, поэтому, задыхаясь от быстрого бега, он проскочил незамеченным на крыльцо, затем в чулан, потом в сарай. Веревки нигде не было видно. Раздумывая, как и где еще поискать, мальчуган остановился в дверях сарая. Его взгляд упал на столбы, вкопанные через весь двор друг напротив друга. Между ними тянулся длинный привязанный шнур для сушки белья. Заскочив в избу, Колька достал с кухонной полки ножик, которым бабушка резала хлеб, прихватил массивную дубовую, сделанную ещё прадедом табуретку и одной минутой срезал и смотал шнур. Бросив табуретку и ножик на крыльце, опрометью понесся обратно к угорам.

У колодца никого не было. Трава вокруг ямы была вытоптана сплошняком, лесины рядом не валялось... Колька недоуменно повертел головой во все стороны и закричал:
— Сте-е-епка!

В ответ услышал у себя прямо под ногами сначала лай, а потом глухой дрожащий голос:

— Туто-ка я, Колька...

Парнишка улегся на траву у самого края ямы и заглянул в пугающий полусумрак.

— Ты че, Степ? Как ты туда попал-то? — взволнованно спросил он.

Степка сидел скрючившись, стараясь не шевелиться, на самом верху завала из старых прогнивших венцов, давным-давно упавших на дно. Под тяжестью тела остатки бревен поминутно оседали вниз, но, зацепляясь о валежник и другие бревна, все еще

не доставали до воды под слоем песка. Рядом на другом венце примостился, поскуливая, грязный взлохмаченный Бантик.

— Да я руку Бантику протягивал, на лесину налег, а она сломилась, ну, я и полетел... Кидай верёвку скорее! Тут холодно и страшно! — заторопил Степка. — Сначала Бантика вытащишь, потом меня!

Пока Степа непослушными от нетерпения руками обматывал бельевым шнуром вьющегося вьюном от страха щенка, гора валежника под ним предательски трещала и качалась. Наконец, Колька вытянул Бантика наверх. Белое пятно на груди окрасилось серо-зелёным, а сам собачонок был до такой степени испачкан, что невозможно было определить, какого он цвета. Освободив шнур, Колька тут же сбросил его опять в яму.

— Держи, Степ! Привязывайся! — крикнул он, свешиваясь над колодцем. Сзади него яростно, поминутно припадая на передние лапы, по краю ямы с бешеным лаем бегал Бантик, рискуя опять свалиться.

Степка негнущимися пальцами привязал шнур к себе на пояс и крикнул наверх:

— Тяни!!

Колька попробовал было тянуть, но шнур не сдвинулся даже на сантиметр. После нескольких тщетных попыток юный спасатель решил привязать конец шнура к себе и ползти от колодца. Но, как только он неимоверным усилием едва заметно дернул шнур, раздался треск, и бечева лопнула как раз посередине, и тот конец, что был привязан к Степке, ускользнул вниз. Колька поднялся с травы на корточки и все-таки заревел. От бессилия.

— Коль-ка-а! Да не реви ты, беги скорее к бабе Тане! Наплевать на крапиву! Пускай стегает!! Беги-и-и!! — из колодца донёсся приглушенный Степин голос.

— Я сейчас, старик, я — быстро! — прокричал в ответ в яму Колька и очертя голову бросился бежать.

За околицей снова халестились. Татьяна Ивановна устало подняла голову и прислушалась. «Что ныне за концерты-то такия?» — едва успела подумать она. В калитку влетел взбудораженный, мокрый, грязно-зелёный, обмотанный по поясу обрывком бельевого шнура, ревущий во все горло соседский внук Николка.

— Баба Та-аня-я!! — завопил он. — Степка в колодец лесной упа-ал!! Да-ав-но-о-о уже-е-е!

— Господи, помилуй! — всплеснула руками Татьяна Ивановна и поспешно бросилась из огорода. — Где? В какой? Да что же делать-то? Ой, горе-то какое!! Да ить в деревне-то и мужиков нету, все на жатве! Ой, Господи! — сорвав с себя видавший виды старый фартук, машинально сунув ножницы в карман, халата она побежала на негнущихся ногах к калитке.

— Ба-ба Та-аня, а Гри-инька-то до-ма, по-оди? — захлебываясь и всхлипывая от жалости и к дружку, и к этой растерянно заметавшейся туда-сюда старушке, и к себе, проговорил Колька.

— А и правда! Беги-ко, родимый, к нему скорее! Шыбче беги! А я-то в лог побегу... Ох, Господи! Спаси и сохрани! — прокричала она, неуклюже выбегая со двора.

Гринька распластался на голой лавке, стоявшей у правой стены горницы, и безучастно смотрел в давно небелёный потолок. На столе, покрытом немытой клеенкой, возвышалась ополовиненная бутыль самогона, заткнутая самодельной тряпочной пробкой. На большой треснутой тарелке валялись разрезанный пополам соленый огурец и заветренная горбушка ржаного хлеба. По клеенке беззастенчиво разгуливали обнаглевшие от безнаказанности мухи. Рядом за изгородкой тихонько постанывала лежащая в полузабытьи мать. Хмель потихоньку выветривался из головы, уступая место невеселым думкам. Гринька валялся и думал о том, что жизнь его теперь никчемная и никому не нужная. И зачем, и почему он так живет, и нужно ли вообще ему теперь жить?!

Колька вихрем ворвался в сени, забарабанил кулаками по двери в избу, отворил ее и с порога заголосил:

— Дядька Гриша, дядька Гриша! Скорей, скорей!! Степка в лесной колодец провалился!!

Гринька подхватился, резко соскочил с лавки и, мгновенно протрезвев окончательно, как был, босиком выскочил во двор. Стремительно проскочил калитку и понесся на угоры. Колька, хлюпая носом, бросился вслед.

— Только бы успеть, только бы успеть! — без конца повторял Гришка, приближаясь к околице. Он обогнал Степкину бабку, задыхавшуюся от быстрой ходьбы, махнул через соседские огороды напрямки. Перед лицом опасности вернулись к нему и военная выправка, и сноровка разведчика.

У края открытой колодезной ямы понуро лежал и поскуливал Бантик. Подбежав к яме, Гришка крикнул в зияющую пустоту:

— Эй, братец! Ты живой?!

— Ж-жи-ивой... — еле слышно из темной глубины отозвался детский голосок.

— Держись, браток! Сейчас мы тебя эвакуируем!

Только сейчас спасатель понял, что нет у него ничего для спасения, второпях даже верёвку не захватил. Перекрестившись, Григорий осторожно полез в глубину. Старое дерево гнулось и крошилось под ногами, заросшие мхом стенки были скользкими, снизу тянуло сыростью и холодом. Он упирался попеременно раскинутыми в стороны руками и ногами в короткие толстые бревна, обтесанные «в лапу», и спускался по углу колодца. Босые ступни несколько раз соскальзывали. Ему чудом ногтями удавалось удерживаться на гниющих брёвнах. Сердце бешено стучало от напряжения, выскакивая из груди. Но Григорий упорно спускался в полумрак, где на маленьком островке из старых бревен сидел испуганный и продрогший ребенок. Достигнув завала, на котором, дрожа всем телом, притулился Степка, и сильным ударом правой пятки проломив гнилое бревно, он зацепился ногой в проломе, поставил на завал левую ногу и резким рывком схватил на руки мальчонку. Завал затрещал и стал медленно погружаться в мокрый песок, увлекая за собой и их. «Господи, помоги!!» — мысленно взмолился Григорий. Неимоверным усилием рук пересадив мальца себе на плечи, парень ногами подминал под себя опускающееся вниз гнилье. Мокрый песок перестал впитывать воду и она стала потихоньку прибывать. Когда Григорий уже стоял по колено в воде, сверху раздался встревоженный голос Татьяны Ивановны:

— Степа! Степочка!

— Бабушка, я тут, меня дядя Гриша вытаскивает! — прокричал Степка в ответ.

«Эх! Дурак я, дурак! Даже ножика и того не взял», — невесело размышлял спасатель, пытаясь обрести опору для ног.

— Гриша! Гриша! — заволновалась наверху Татьяна Ивановна. — Чем тебе помочь?

— Ножик нужен или чего-нибудь острое!

— Ой, надо в деревню бежать!! Господи, да что же это такое!! Ничего не взяли... понеслись как угорелые дак... — запричитала старушка. И вдруг обрадовано прокричала: — Ножницы есть большие, я ими лук обрезала!

Ловко поймав брошенные вниз ножницы, Григорий воткнул их в промежуток между бревнами сруба, приспособив как жердочку. Упершись спиной в противоположную стену, он ловко поставил на ножницы ногу и подтянулся кверху, зацепившись рукой за проделанный ранее проём в гнилушке. Сидевший на плечах Степка испуганно намертво вцепился в шею «эвакуатора», отчего дышать стало почти невозможно. Кое-как ослабив объятия ребенка свободной рукой, Григорий вытащил погнутые ножницы и снова вонзил их в следующее бревно. Под причитания и слёзные молитвы бабушки Тани, сбивая в кровь пальцы, пронзая кулаком гнилушки венцов и переставляя «жердочку», он, наконец, долез до предпоследнего бревна сруба. Чумазая Степкина мордашка показалась из ямы. Татьяна Ивановна ухватила внука за воротник, и вместе с подоспевшим Колькой они стащили его на землю с побагровевшей, с вздутыми от натуги венами шеи Григория. Свободный от ноши, «спасатель» рванулся было и сам выскочить из колодца, но обессиленные ноги соскользнули с влажных брёвен, и он рухнул вниз. Вслед полетела и неловко задетая «жердочка». В правой ноге что-то хрустнуло, и тело прожгла острая пронзающая боль. Опять оказавшись в холодной воде, которая за время «спасательной операции» прибыла уже почти до пояса, Григорий из последних сил подтянулся на руках и держался на весу, упершись левой пяткой и спиной в противоположные стены сруба. Наверху голосили Колька со Степкой, сокрушалась и охала Татьяна Ивановна, безудержно лаял Бантик.

— Дя-ядя Гри-и-иша-а! Держись! Не утони!

— Ой-о-ой, че делать-то??

— Робяты! — прокричал из-под земли «пленник». — Чего уревелись-то без толку? Бегите быстрее на поле, мужики рожь убирают на котором, за угором-то к Родникову! Да пускай веревку возьмут!

Отерев зареванные физиономии низом футболок, ребятишки пулей припустили за подмогой.

— Как ты, Гришенька? — тревожно спросила баба Таня, с опаской заглядывая в яму.

— Я-то ништяк, бабка Таня, а вот ножницы-то твои того, тю-тю, утопли... — как можно беспечнее отозвался «невольник ямы».

— Да и хрен с ими-то! Вот тебя-то, соколик, как топеря выручить? Господи, помоги! — отвечала бабушка Таня, промокнув кончиком головного платка подступившие слезы. — Скоро ли добегут-то робятишки, почитай, пять километров-то до поля...

— Ничего, добегут, они бойкие! Кабы не нога, дак сам бы выкарабкался.

Время не текло, а капало. Долгими, растянутыми в бесконечные минуты каплями. Повреждённая нога ныла сильнее и сильнее, держаться в подвешенном состоянии

становилось все труднее, и наступил момент, когда Григорий обессилено опустил все три точки опоры и возвратился на мокрую колодезную рухлядь. Сидя по пояс в мутной воде, он долго смотрел на проплывающие над срубом облака. Вспомнил, как говаривали старики, что в колодце даже днем могут отражаться звезды. Интересно, а правда ли, что когда человек уходит в небытие, его звезда спадает с небосклона?

Наверху что-то горестно приговаривала бабка Татьяна, надсадно гудел случайно залетевший в колодец шмель. Боль в ноге становилась все ощутимее, и Гриша, стараясь отворотить от этой боли сознание, принялся мысленно рассуждать сам с собой: если у каждого на небе висит своя звезда, то, наверное, его, Гришкина, давно уже шатается, еще немного — и упадет?.. «Не жалко?» — вопрошал к себе Григорий. Смерти он не страшился. В Чечне повидал столько всего, что ничего уже не боялся. «Нет, не жалко, обидно только, что не так жизнь прожил, все ошибался да грешил», — ответил он сам себе и закрыл глаза. Вереницей потянулись воспоминания: выпускной, Катькины подрагивающие под накинутым пиджаком плечи, губы, пахнущие первой земляникой, глаза с застывшими льдинками слез на перроне, обещания ждать... Потом письмо, нашедшее его в дальнем ауле и разрушившее все прежние представления о жизни, взорвавшее его сердце болью и обидой. Предательство Катьки изменило и его. С тех пор он жил словно в панцире. Снаружи для всех оставаясь прежним рубахой-парнем, а внутри... плескалось море непреходящей горести, превращая жизнь в бессмысленную для него «обязаловку».

— Ау-шки, Гриша, живой ли? — прервал воспоминания озабоченный голос бабы Тани. — Трактор вроде трещит... Едут, слава Богу!

— Живой! Че со мной сделается? — нарочито бодро отозвался он, чувствуя, как с новой силой возобновляется боль в ноге.

Звуки работающего двигателя приблизились, и, наконец, над головой раздались прокуренные голоса колхозных механизаторов:

— Что, разведка, в засаду к водяному попал? Счас мы тя отобъем! Держи веревку! Руки-ноги-то целы?

— Частично! — ответил Григорий, превозмогая разливавшуюся по телу боль и обвязывая торс концом веревки. — Правая нога отказала, зараза!

— Хватайся! — крикнули над ямой. Крепкий канат натянулся и медленно пополз вверх, увлекая за собой исстрадавшееся и заляпанное грязью тело.

Августовский закат полыхал вовсю, когда загипсованного «героя» мужики доставили на том же тракторе к родному порогу. Через несколько минут заря погасла, словно неведомая рука выключила гигантскую алую лампу, и над коньком родной крыши высыпали крупные гроздья звезд. Прыгая на одной ноге, Григорий уселся на крыльцо, прижался спиной к прогретым солнцем за долгий день бревнам и уставился в небо. Он не знал, которая звезда была его, Гришкиной, и поэтому назначил своей маленькую, но яркую звездочку в середине ручки ковшика Большой Медведицы.

«Вот ведь как жизнь-то обернулась... — вдруг подумал он. — Степке-то я ныне нужон оказался, еще как нужон!! И матери ведь нужон, очень нужон! Что ж это я?»

— Да мы еще повоюем! Еще вся наша жизнь-то впереди! — произнес вслух Григорий.

Он, кряхтя, поднялся и попрыгал в избу. Под удивленным взглядом сидевшей на лавке матери доскакал до стола, ухватил за горлышко недопитую бутылку и вылил всю как есть в помойное ведро под рукомойником. Потом возвратился тем же макаром на крыльцо, долго смотрел на августовский звездопад и, улыбаясь своей тихой и светлой радости, прошептал: «А моя-то не упала, удержалась...»

ЮДОЛЬ ЗЕМНАЯ

— Дю-ю-юдька-а-а-а, Дю-ю-ю-юдька-а-а-а!

Отчаянный детский голос катался по вершинам елок и падал к подножию угора, на котором стоял Андрюшка. Утирая ладонями мокрые щеки, он битый час пытался исправить ужасную несправедливость, снова случившуюся в его мире. Упрямо карабкаясь в огромных дедовых валенках по утреннему мартовскому насту к вершине холма, мальчишка снова нес в сердце под продуваемым весенним ветром пальтишком надежду. И снова эта надежда таяла с каждой минутой, слёзными каплями стекая в снег.

— Дю-юдечка-а-а-а!

Эхо исчезало в голубом небе,оставляя после себя звенящую тишину. Залитое солнцем безбрежное белоснежие равнодушно окружало маленькую худенькую фигурку. Покричав еще немного, Андрюшка беспомощно махнул рукой и плашмя повалился на ледяную корку. К горлу подкатил противный ком, и, стараясь освободить дыхание,

мальчишка сначала тоненько всхлипнул, а потом и вовсе зарыдал. Когда слёзы иссякли, он перевернулся на спину и долго смотрел в высокое безоблачное небо, перебирая в памяти события своей десятилетней жизни.

В деревню к бабушке с дедом он переехал жить ещё малышом после того, как остался без мамы. Взрослые сначала говорили ему, что она уехала в долгую командировку, а потом признались, что погибла в больнице от анафилактического шока. Что это такое, он не ведал, поэтому в глубине души все же надеялся, что она когда-нибудь да вернется из той бесконечной командировки.

В начале прошлого лета, когда на пригорке возле деревни зацвела земляника, дед Василий Матвеевич вернулся из дальнего леса с корзинкой опенков, загадочно улыбаясь и пряча лукавинку в добрых серых глазах. Бабушка Анна встретила его в сенцах и добродушно спросила:

— Чего это ты, отец, такой мудрёный? Али добыл че занятное?

— Да вот, мать, ноне какая ишо у меня добыча, — ответил дед, доставая из-за пазухи маленький серовато-коричневый комочек, посверкивающий круглыми голубыми глазенками.

— Батюшки! — всплеснула руками старушка. — Да ить это волчонок! Андрейка, гляди, чё дед-от приволочь удумал! — позвала она внука.

Мальчишка выскочил на порог и удивленно уставился на мохнатое чудо в дедовых руках. Дикий щенок был «одет» в густой, довольно длинный мех с подшерстком, поэтому выглядел пушистым колобком. На крепкое упругое тельце была «посажена» широколобая голова с острыми ушками. Очень выразительная вытянутая мордочка с темными полосками сочеталась с почти белыми щечками и светлыми пятнами в области глаз. Пальчики мягких лапок соединялись перепонками. Длинный толстый хвостик трогательно свисал вниз.

— Деда! Какой хорошенький! А мамка у него есть? А ты его насовсем принёс? — восторженно зачастил Андрюшка, схватив волчонка и подняв его перед собой на вытянутых руках. — А как мы его звать будем?

— Как жо, навовсе... Еще чего не хватало! Рази волкам место в дому? Тащи его, старой, назад! — отозвалась на восторги бабушка Анна. Дед молча смотрел на радостного внука. — Оглох, чё ли? Чё молчишь-от? Кому говорю? — дед Василий отмалчивался. — Ну, дюдька!!! — раздраженно прокричала бабушка.

Волчонок вдруг недовольно тявкнул и забарахтался в Андрюшкиных руках.

— Ишь, откликается! — хохотнул Матвеевич. — Дюдька! Звать его будем Дюдька! Ладно, мать, не серчай! Сосунок ведь совсем! Пропадет один-то! В логу я его приметил. Под корнями старой сосны хоронился. Видать, из логова вылез да и заплутал. А матери, всяко, не до него было. Поди, ещё штук пять таких у неё в помёте. Или дыма испужалась, там рядом кострище осталось. Волки, они страсть как дым не любят. Пущай у нас пока погостит!

Так у Андрейки появился необычный мохнатый дружок-неразлучник. Всегда и всюду были они вместе. Днями напролёт играли, прыгали по двору, а убегавшись, засыпали на сеновале в обнимку. Даже деревенские собаки, поднимавшие раньше безудержный лай, лишь только учуяв Дюдьку, постепенно привыкли к нему, а коты так вообще не обращали на него никакого внимания. Волчий детёныш почти ничем не отличался от детёныша собачьего. Он с удовольствием пил молоко козы Зойки, лопал овсяную кашу и картофельную тюрю, грыз яблоки и рос как на дрожжах. Сам себя приучал к охоте, нападая на землероек, мышей и лягушек, щедро предлагая другу отведать добычу. Андрейка, смеясь, отказывался:

— Не-е, я такое не ем!

С августовскими холодными утренниками маленький хозяин перебрался ночевать в избу, а Дюдька в подклеть крыльца. В сентябре Андрюша пошёл в четвертый класс. В первый учебный день на Дюдьку надели ошейник и привязали на длинную прочную веревку к бельевому столбу. Дюдька сначала угрюмо лежал на земле и скулил, а потом острыми клыками попытался перекусить верёвку. Но дед Василий вовремя это заметил, и нарушитель был посажен на тяжелую металлическую цепь, оставшуюся от безвременно погибшего весной под колесами трактора дворняги Шарика. Потихоньку юный волк смирился с необходимостью своих временных уз и всякий раз встречал Андрейку как освободителя радостным визгом. Однажды Дюдька спас бабушку Анну от соседского петуха, неожиданно атаковавшего старушку посреди двора. Подскочив, волчонок слегка прикусил расхрабрившегося забияку за ногу и отнес к калитке. Петю хватил удар, и соседка долго ворчала на бабушку, будто это она «виновата первая». К началу зимы Дюдька возмужал, превратившись в молодого серого хищника на крепких лапах с тупыми когтями, обтекаемой грудью, покатой спиной, с колоритной массивной мордой, обрамленной темными «бакенбардами». Глаза поменяли цвет на желтый. Внешне — волк, внутри он оставался ласковым и добрым созданием. Он лю-

бил домочадцев, и они отвечали тем же. Дед Василий соорудил ему вольер, освободив от цепного плена. Подчиняясь голосу природы, долгими зимними вечерами Дюдька иногда негромко выл. Правда, Андрюша был уверен, что это он так пел, потому что диапазон волчьего голоса представлялся в разных вариациях: от лая, воя, рычания до визга. Бабушка Анна шугала зверя, оправдывая:

— Тоскует по лесу, подругу ему надо...

Видимо, кому-то из деревенских все-таки надоело слушать Дюдьку, и месяц назад ранним утром вольер оказался открытым. Цепочка глубоких равномерных следов на снегу вела в ельник под угором.

Андрейка горевал шибко. Каждый день он бегал на угор и звал друга, сжимая в руке любимое его лакомство — вареное куриное яйцо. Бабушка сначала останавливала внука присказкой «сколь волка не корми — все равно в лес смотрит», уговаривала перестать ждать, обещая завести «какого хош щенка». Но мальчик упорно ежедневно звал и ждал на вершине угора. Сегодня бабушка даже спрятала его валенки, и поэтому ему пришлось идти в старых дедовых, неуклюже переставляя сразу ставшие тяжелущими ноги. Он очень устал, тягостно поднимаясь наверх. И опять, выходит, зазря...

Яркое весеннее солнце ласкало теплыми лучами зареванное лицо. Было очень интересно лёжа рассматривать радужные блики сквозь прикрытые мокрые ресницы. Андрюшка и не заметил, как задремал. Ему привиделась мама. Будто спешила она, раскинув руки, к нему по земляничным россыпям, а рядом с ней бежал, подпрыгивая от нетерпения, Дюдька, большой и сильный. Андрейка ринулся ей навстречу. Мама схватила его в охапку и зацеловала, обдавая горячим дыханием. Когда Андрюша открыл глаза, над ним стоял Дюдька, и, повизгивая, облизывал его щеки. Не веря себе, мальчишка обнял зверя, зарылся лицом в мускулистый шерстяной бок и снова заплакал, теперь уже от счастья. Потом торопливо порылся в кармане и протянул на ладошке размятое, раздавленное яйцо.

— Пойдем домой, Дюдька! Я так ждал тебя! Где же ты был так долго?

Пока спускались вниз, серый друг шагал рядом с мальчуганом, преданно заглядывая в глаза и облизывая его руку. У подножия волк вдруг остановился, развернулся назад и встал как вкопанный, подняв морду кверху. На вершине холма стоял ещё один такой же лесной житель, только более поджарый, с более тонкой шеей, узкой мордой и лбом. Дюдька коротко рявкнул, лизнул Андрюшку в нос и медленно стал подниматься по насту.

— Дюдька! Дюдька! Вернись! — кричал вслед мальчик. Но зверь все поднимался и поднимался и вскоре скрылся из вида.

Опустошенный новой потерей, вконец обессиленный, Андрей кое-как добрался до дома. Сил раздеться уже не осталось, поэтому он, как был, заснеженным опустился на широкие половицы сразу за родным порогом и прошептал заледенелыми губами:

— Деда, Дюдька со мной прощаться приходил... — потом, подумав немного, добавил: — И мама — тоже...

Дед обеспокоенно заглянул в заплаканные глаза как-то враз повзрослевшего внука, отнес его на кровать, раздел, укрыл одеялом и долго-долго гладил по спутанным курчавым, как у матери, волосам, ни о чем не спрашивая.

СМОРОДИНОВОЕ СЕРДЦЕ

Трехмесячный Егорка «каляганился» на широкой, с вышитыми подвесами кровати — дрыгал ручками и ножками и пускал пузыри. Светлые глазки таращились на потолок, пухлые губки забавно причмокивали. Он был такой хорошенький, что у Валентины запершило в горле. Она сглотнула подступивший комок и вдруг зарыдала в голос. Младенец сморщился и захныкал. Женщина взяла его на руки, забаюкала: «Не плачь, заинька мой!» Ребенок успокоился и смолк. За Валиной спиной скрипнула дверь, и в горницу зашла теперь уже бывшая ее свекровь. Анна Анисимовна Романова совсем не удивилась гостье. Она присела подле стола, сложила руки на столешнице и горестно вздохнула:

— Валюша, что же с чадушком будет? Каково без матки-то эдакой крохе?

— Не сирота он ведь... отец у него есть, — ответила Валентина, вскинув глаза.

— Так-то оно так. Токо отец — не мать, — кивнула Анисимовна.

Еще утром Валя и подумать не могла, что будет держать на руках сына своего мужа Мишки. Три года назад, после развода, разбежались они в разные стороны. Их повзрослевшие дочери уехали в город, Валентина осталась одна. Михаил перебрался жить в дом к матери на центральную усадьбу колхоза. За эти годы они ни разу не свиделись. Валентина работала зоотехником на отдаленной ферме, а Михаил завербовался на се-

верную стройку. Оттуда и привез Мишка новую беременную жену. Деревенские кумушки в первый же день известили на ферме о сем событии Валентину, расписывая «молодуху» во всех красках. По их словам, эта Наталья собой видная и умная, в Мишке — «души не чает», хоть и моложе на десяток лет. «Сарафанное радио» выложило информацию и, довольное, удалилось восвояси.

Обескураженная новостями, брела Валентина домой. Узкая тропка вилась через овражек, поросший клевером, окруженный кустами черной смородины. В юности это было сокровенным местом их с Мишкой встреч. В те давние дни он называл ее Смородинкой за большие темные глаза. В растрепанных чувствах Валя опустилась на траву.

Ароматы трав, стрекот кузнечиков, тихое движение вечернего ветерка в смородиновых ветках всколыхнули прошлое. И пережитое... Будто наяву услышала, как умолял муж, стоя перед ней на коленях: «Смородинка! Прости дурака! Пьяного бес попутал! Тебя одну люблю!» Опять увидела застывшие слезы в родных зеленых глазах: «Прости, бога ради!!!» Не простила. Гордость встала стеной меж ними. Сказала, как отрезала: «Уходи!» Одинокими ночами кусала от разрывавшей душу боли подушку, металась без сна. Но простить единственную ночь, проведенную на сеновале с городской девицей, перепившему на сельской свадьбе Мишке не смогла.

Вдруг вспомнились Мишкины губы, руки, голос. Горошины слез покатились в чашечки листьев клевера: «Люблю его, до сих пор люблю...» Дома до рассвета склеивала расстриженные ножницами половинки совместных фотографий. Чтобы смотреть и жить дальше. Валентина нагружала себя бесконечной работой, стараясь не думать о бывшем муже и его жене, но увидеть их очень хотелось. И это желание вдруг исполнилось немыслимо горьким образом.

Она разглядела «молодуху» на... прощании. Наталья умерла в родах, не выдержало слабое сердце. Ребенка спасли, мать — не смогли. Валя узнала о трагедии случайно, заехав в контору колхоза за накладными на корма. Секретарша председателя Лидочка, всхлипывая, сообщила ей печальную весть в пустом коридоре. Все ушли к Романовым. Пошла туда и Валентина.

В избе приторно пахло сердечными каплями, на лавке сидела фельдшерица, держа наготове чемоданчик с уколами. Над изголовьем усопшей, рыдая, склонилась интеллигентного вида женщина, рядом обхватил голову руками такой же солидный мужчина — родители Натальи. Сидевший у гроба Мишка окатил Валю своей бедой сверху донизу, просто подняв глаза. И такую безысходность, такую тоску она прочитала в них, что невольно содрогнулась. Шагнула к Михаилу и молча дотронулась до плеча. Он порывисто схватил ее ладонь и, крепко сжав, печально прошептал: «Горе-то какое, Валюша?! Как жить-то теперь?» Что она могла ответить, чем утешить? Просто стояла рядом и свободной рукой гладила его поникшую голову.

Потом в кухоньке за переборкой Анна Анисимовна, утирая фартуком бежавшие по морщинистым щекам слезы, поведала Вале, что мальчонка пока в «родилке», но скоро надо забирать, и что делать, она ума не приложит. Куда ей, старой, в няньки, а новоиспеченному отцу на работу надо возвращаться. Причитая и охая, она поделилась тем, что немолодого зятя эти «шишки» сразу невзлюбили, что свекруха винит его в гибели дочери. Валентина слушала горькие слова и всей душой жалела старушку.

Вскоре Михаил привез грудничка к матери и уехал обратно на стройку. Раз в две недели Анисимовне приходили почтовые переводы. Первое время нянчиться помогала Мишкина младшая сестра, учительница в городе. Но закончились каникулы, и бабушка Анна осталась с нелегкими хлопотами одна.

Егорка посапывал на руках. Валя с теплотой разглядывала знакомые черты: ямочку на подбородке, вздернутый носик, розовые ушки. Сердце закуталось в шаль нежности. Память услужливо пролистала картинки из младенчества дочек. Потом обожгла обидой измены. Усилием воли Валентина прогнала заворочавшиеся сомнения, поцеловала влажный лобик и сказала:

— Отдайте мне Егорушку, мама! Не чужой он мне.

— Валюша, родная! Молиться за тебя буду! Прости, бога ради! — вскинув на нее усталые глаза, прошептала Анисимовна.

— Да за что же прощать-то, мама? — выдохнула Валя.

Он уже почти бежал к калитке, так соскучился за этот год, так истосковался на северах. По двору, залитому солнечным светом, топал, держа в ладошке лист лопуха, белобрысый карапуз. Дойдя до крыльца, малыш опустился на четвереньки, прополз по ступеням и, протягивая кому-то добычу, залепетал: «Ма-ма, ня...» Вышедшая навстречу женщина подхватила его на руки: «Спасибо, сыночек!» Михаилу на секунду показалось, что он спит. Тряхнул головой — видение не исчезло. «Смородинка...» — прошептало его сердце и запело.

ШКАТУЛКА СО СЧАСТЬЕМ

Дед Ляксандр лютовал. Вообще-то его звали Александр, но в деревне Богданиха, всех жителей которой, как говорила бабушка Поля, было «раз-два, да и обчёлся», уважительно величали Ляксандром Василичем. Его внуки, третьеклассники братья-близнецы Мишка с Гришкой, слышали громкую забористую ругань даже в самом дальнем углу сеновала. Битый час сидели сорванцы на корточках на копне душистого сена. Испуганными зайчатами прижались они друг к дружке и, втянув вихрастые белобрысые головы в загорелые плечи, тихомолком таращились в щёлки между досками сенника, сколоченного напротив дома, и настороженно внимали брани.

— Полькя, каверза! Сказывай, куды мунштук схоронила?! — шумел старик, высунув свободную от расчески голову из распахнутого окна, выходившего на луковые грядки, залитые ярким июльским солнцем. Терпеливая бабушка Поля оторвалась от прополки, повернулась лицом к крикуну и ответствовала:

— Оченно мне надоть! Не брала я твою соску! Ищы щетильнее, сам, поди, куды-то засунул, да и забыл, голова дырявая!

— Я уж обыскался весь, всё обрыл! Куды спрятала, баю?! Ты ить, этта, грозилась выкинуть!! О здоровье моем, видите ли, она печётся! — ехидничал старый, язвительно покачивая плечами и распаляясь все сильнее и сильнее.

Бабка Поля огорченно всплеснула руками, бросила в борозду облепленную черной землей тяпку и подошла поближе к дому.

— Да что б тебя! Чё халестишься-то! Кур вон распугал! Как оглашенные по загородке снуют! Поди, закатился куды,— незлобиво ворчала она, поправляя цветастый ситцевый платочек на аккуратной седой голове, неторопливо продвигаясь к крыльцу.

Когда бабушка скрылась за дверями дома, мальчишки оторвались от досок и, растянувшись на дурманяще пахнущей сухой траве, задумались: «Чего теперь делать-то? Как деда утихомирить? Поди, всё ещё орёт на неповинную бедную старушку? А виноваты-то — они, Мишка с Гришкой! «Соску»-то эту они ухайдакали. Не нарочно, конечно...»

Каникулярное летнее утро сегодня опять выдалось добрым. Когда братья проснулись, в горнице с широко открытыми створками окон никого не было. По сосновому полу, сделанному из добротных, очень плотно пригнанных друг к другу толстенных досок, покрытых домотканными половиками, радостно прыгал солнечный зайчик. На большом дубовом столе, застеленном кружевной скатертью, стояли две кружки молока и закрытая вафельным полотенцем эмалированная миска, доверху наполненная тёплыми пышными оладьями с масляной корочкой. Шустро слопав завтрак, Мишка с Гришкой собрались уже бежать играть во двор, но тут их внимание некстати привлёк дедушкин старинный мундштук, одиноко лежавший на щелеватом, выкрашенном блестящей белой краской подоконнике.

Увидев оставленный без присмотра раритет, Гришка взял интересную штучку и принялся рассматривать, поворачивая в разные стороны. Потом засунул «соску» в рот и шумно вдохнул в себя чуть горьковатый воздух, изображая курильщика. Тем временем к брату подскочил Мишка, выхватил у него трубку и понесся к входным дверям, намереваясь вымахнуть в сени. Но почти у самого порога запнулся за сбитый половик и грохнулся на пол. Мундштук выпал из руки, покатился по гладкому полу и угодил прямо в кошачий лаз, ведущий в подпол. Ребятишки опрометью бросились по небольшой лесенке вниз. Включив свет, они излазили погреб вдоль и поперёк, прощупали руками всю землю под лазом и рядом. Ничего... Когда в сенях раздался знакомый кашель, шкодники пулей пронеслись по лесенке обратно наверх. Едва успели выключить свет и захлопнуть дверь в голбец, как столкнулись с дедом на пороге. Стремглав озорники выбежали во двор и спрятались на сеновале. И, похоже, сидеть им теперь тут до скончания века...

Дед Ляксандр очень дорожил мундштуком, и потому эта трубка обычно была недосягаема для обозрения кому-либо. Когда он не смолил махорку, вещица убиралась на самый верх высокой кухонной горки, старинного узкого шкафа со стеклянными дверцами, украшенного витиеватыми деревянными узорами и наполненного разнообразной чайной посудой.

Мундштук дед унаследовал от отца, гвардии рядового пехоты Василия Авдеева, прошедшего всю войну от Москвы до Берлина, до самой Победы. На фронте гвардеец оставил левую руку и спокойный сон. После госпиталя осенью сорок пятого вернулся домой и всю последующую недолгую жизнь трудился в колхозе сторожем, бесконечно попыхивая долгими бессонными ночами необычным немецким трофеем, заряженным ядрёным самосадом. Фрицевская диковинка представляла собой небольшую, длиной чуть более десяти сантиметров, круглую полую трубочку. Она состояла из двух

частей: темного деревянного наконечника и серебряной части в замысловатых узорах, в которую вставлялась папироса. Части соединялись между собой специальным креплением — кольцом, тоже серебряным.

Когда Сашка вырос, мать отдала отцовскую память сыну. С тех пор он тянул папиросы или махорку только с мундштуком: вкус табака становился немного мягче, а ещё в трубочке задерживалась горькая крошка от самокруток. Поначалу молодая жёнушка Полинка выговаривала ему за вредное пристрастие, потом за долгие совместно прожитые годы смирилась с мужниной привычкой. Но в последнее время, накурившись, Василич всё чаще стал подолгу надсадно кашлять, и баба Поля грозилась выбросить куда подальше дедову «свистульку». Теперь вот она и вправду куда-то запропастилась...

— Угомонись, батько! Давай почаевничаем с вареньем клубнишным али чернишным, какое тебе боле глянется. А там и соску-то твою авось и сыщем, — мягко уговаривала Полина Андреевна мужа, который стоял у окна и нервно барабанил заскорузлыми от бесконечной работы, жёлтыми от табака пальцами по подоконнику. — Опосля, може, и вспомянешь, куды задевал-то, — доброжелательно проговорила она, вставляя граненый стакан в любимый дедом мельхиоровый подстаканник. И то ли от спокойных негромких слов, то ли от ласковой руки, легонько погладившей его по спине, но дедов запал кончился. Старик протяжно вздохнул и присел к столу.

Они допивали по второй чашке ароматного чая, когда в горницу заявились внуки. Чумазые и испуганные предстали перед ними Мишка с Гришкой. Опустив глаза в пол, неловко перебивая друг друга, горестным полушёпотом поведали они о своей промашке. Мишка для пущей жалости даже выжал из левого глаза крохотную слезинку, и она скатилась по грязной щеке, оставляя узенькую мокрую дорожку.

К изумлению близнецов, дедушка нисколько не рассердился, выслушав их, не грозил пальцем, не говорил строгих неприятных слов. Напротив, им даже показалось, что он чуть заметно улыбнулся, когда поспешил подняться из-за стола и выйти в коридор. Через минуту остро наточенным топором дед подцепил выщербленные временем края половиц, в которых был выпилен лаз. Половицы со скрипом поднялись, и взору предстало покрытое густой серой пылью небольшое пространство. Васильич ловко пошуровал в нём рукой и, довольный, вытащил свой мундштук.

— Я ить ишо мальцом помогал бате пол от этот устраивать, половицы клали завсегда вдоль избы, от входа к передней стене. Их стелили на переводины — толстые бревна, врубленные в нижние венцы сруба, и под верхним «чистым» полом находился нижний — «черный». И как я запамятовал? — сокрушался дед Ляксандр, складывая в пригоршню пушистый пыльный налёт, покрывавший потемневшую древесину.

Негаданно-нежданно в ладонь вместе с пылью опустилось маленькое серебряное колечко с крохотной жемчужинкой. Точно такое же надел наречённый жених Сашка на тоненький пальчик красавицы Полинки полвека назад. Дед удивленно хмыкнул и вопросительно глянул на бабушку Полю.

— Топере, батько, и я повинюсь, — неожиданно грустно проговорила она.

— Я ить перстенёк от обручальный тожа в лазу посеяла, когда через мисяц после свадьбы за картошкой в голбец полезла. Помнишь, великоват мне он малость был, вот и спахнула ненароком. Уж как я его искала-то! Всю-то землю перерыла, а он, гли-ко, вон куды закатился, разве подумаёшь?! Ревела тайком целую недилю. Ведь поверье сказывали, что кольцо потерять — счастья не видать. Тебе побоялась правду-то открыть. Слукавила, что в шкатулочку, морскими ракушками облепленную, ту, что ты мне подарил, убрала, чтоб не потерять. А опосля всё уж и забылося за делами-то. Так всю жизнь и проносила то первое медное, которое ты мне из пятака смастачил. Теперь-то уж давно сняла — пальцы дрябнуть стали. А в ларчике том из драгоценностей до сих пор волосики да рубашечки крестильные робятишковы только и лежат. Ой, да ещё Танюшкин молочный зубик! Враки всё, выходит, про кольцо-то! Ведь так жизнь прожить, как мы с тобой прожили, не каждому дается. Робили от зари до зари, детушек подняли, внуки вон какие у нас славные! Счастливая я, Санушко! — дрожащим голосом закончила свой монолог баба Поля и отерла кончиком фартука заслезившиеся вдруг глаза.

Ляксандр Василич, кряхтя, поднялся с пола, отер о штанины грязные руки, дыхнул на находку и покатал её по рукаву рубашки. Потом шагнул к бабе Поле, взял её натруженную, покрытую синими нитками вен руку и надел перстенёк на чуть дрожащий мизинец. Обернулся к внукам, подмигнул и весело и звонко чмокнул жену в родную морщинистую щеку:

— А уж я-то какой счастливый, душа моя!

Не в силах сдержать восторга от того, что кругом всё так хорошо, Мишка с Гришкой запрыгали вокруг обнявшихся деда с бабой и закричали:

— И мы!! И мы — тоже! Очень счастливые!!

НЕТАЮЩИЙ СЛЕД

Пшеничное поле поёт-заливается невообразимым хором кузнечиков. Августовское солнце потихоньку скатывается за поросшие начинающей желтеть травой угоры. Васильковое тарногское небо окрашивает малиновым цветом тающий в выси самолетный след. Босые ноги легко ступают по тёплой, покрытой ласкающей пылью тропинке, проложенной меж густых, выше моего роста, налитых спелостью колосьев. Я шагаю из магазинчика, который местные жители называют лавкой, в деревне Старый Двор, опустошая мало-помалу пакет с мятными пряниками. Там, за верхней границей созревшего поля, на самой высоте подъема примостилась деревня моих предков Горка. Мы с мамой здесь в гостях. Крепкий вековой пятистенок, третий от околицы, встречает меня весело поблескивающими в лучах заката окнами, щедро украшенными резными наличниками. У нижних, потемневших от времени венцов избы, притулилась такая же древняя лавочка, на которой уютно устроились деревенские жительницы и моя мама Лида. Бабушка Августа Степановна, маленькая, щупленькая, «божий одуванчик», прикрывая домиком сухонькой ладошки от ярких закатных лучей выцветшие светло-голубые глаза, приветливо произносит:

— Здорово живитё, соколёна! Гли-ко, благодать-то кака у нас! Баско литико! Воно-ко, паре, ноне какоё вёдро стоит! Налызло в городу-то, поди-ко, воли-то экой нетутка?

Улыбаясь в ответ, плюхаюсь на скамейку рядышком с мамой. Она тихонько прижимает меня к себе, нежно гладит по иссиня-чёрным волосам и вздыхает:

— Чего и говорить, душа здесь отдыхает.. Всё знакомое, близкое. Только вот родных нет... Осиротила меня война.

Бабушка Анна Яковлевна, добрая, приветливая, никак не оправдывающая жесткого звания мачехи, живущая теперь одна в нашем родовом доме, легонько касается рукой маминого плеча:

— Да, Лидушка, она, проклятая, никого не щадила...Столь народу полегло... Поштальонка-то опосля боялась и в избы заходить... Принесёт письмо, сунёт под порог да и ходу. Ой, как получат матери-та похоронку да как загорланят... Душа так и обмирает.

На некоторое время наступает звенящая тишина, каждый думает о чём-то своём. Мамины глаза вдруг наполняются слезами.

— А я ведь помню, как папа на войну уходил. Мне тогда одиннадцать лет было, — дрожащим голосом произносит она. — Посадил меня на колени, обнял и говорит: «Ледень мой дорогой (он меня Ледешком называл), жди меня, не тужи, Анну слушайся». Поцеловал в лоб, косички поправил и ушёл. Навсегда, как оказалось... В бою у станции Мга под Ленинградом убили. А вот как мы похоронку получили, не помню... Только каждодневный бабий вой по деревне помню. Страшно вдовы выли, как волчицы раненые, а ребятишки малые как щенята скулили, а те, что постарше, молчали больше. Не верила я долго, слышала, что ошибаются иногда писари военные... Чуда ждала, да так и не дождалась...

Я, родившаяся через пятнадцать лет после Победы, слушаю горестные мамины слова, и сердце сжимается от жалости. Деда я видела лишь на старой пожелтевшей довоенной черно-белой фотографии. Коренастый, усатый мужчина в блестящих яловых сапогах стоял посреди домочадцев у своей избы рядом с молодой женщиной в длинном до пят домотканом платье с младенцем на руках и смотрел в объектив уверенным хозяйским взглядом.

— Люто тогда наших мужиков на войну затокарили. Знавала твоево батька, Лидёнка, знавала. Хороший человек был, Федор Иванович, труженик, каких поискать, — скорбно качает головой бабушка Августа. — Анна-то как извисьё об ём получила, слегла на нидилю, робетишкам-то не сразу и баяли товда.

Анна Яковлевна, поправляет седую прядку, выбившуюся из-под беленького, аккуратно повязанного по-деревенски плата, коротенько вздыхает и грустно добавляет:

— По каженному двору прошлась смертушка, почитай весь околоток стал вдовий... Тяжко порато было жить, одной-то с робетешками... Особливо в послевоенные голодные годы...

— Добро, хош сюды-то фриц не добрался, — произносит бабушка Августа, потирая ладонями вены, синими бугорками выступившие на натруженных руках. — А пролитать-то над нами сколь раз лётывали, ады кромешные.

— Помню, помню... Как окошки одеялами завешивали по ночам, чтобы ни лучика света от керосиновой лампы не проникло наружу. Гул страшный подымался, аж сердце в пятки уходило, — отзывается мама. — Заберёмся на печку и дрожим как осино-

вые листы, пока не улетят, гады...

Слушаю разговор, затаив дыхание. Мне, не знавшей войны, удивительно видеть и слышать живых свидетелей тех горестных лет.

Тихий августовский вечер заполняется фиолетовыми сумерками. Мама опять вздыхает:

— Павлика забрали, едва восемнадцать ему исполнилось... Без вести пропал, братишка. В апреле сорок пятого, в Венгрии где-то.

Анна Яковлевна гладит заскорузлыми ладошками свои ноющие колени, смотрит куда-то вдаль, вспоминая:

— Пауня добрый был парнишэцько, обиходный. А как угонили на войну, жив ли, нет ли — по сию пору ни вести, ни пависти...

По маминой щеке стекает слеза, и я тоже готова заплакать. Своего дядю Павла Федоровича я знаю только по фотоснимку, сделанному в избе, возле которой мы сидим: «истокапельно», как говорит бабушка Анна, похожий на маму молодой человек в солдатской гимнастерке крепко стоит на ногах, едва не доставая головой до матицы. Издавна считалось, что матица — мать дома. Когда из дому уходил на войну или в армию парень, он держался на прощание за матицу (силы просил). Простодушный, открытый взгляд. Кряжистый, статный... Я вытираю пальцем мамины слезинки, утыкаюсь в родное плечо.

— Не плачь, мамочка! — прошу, смахивая уже со своих ресниц солёные капли.

— Оне на фронте — а мы здеся, как лошади ломили, и за себя, и за их. За день-от упехтаешься, торнешься на постелю без задних ног, а уж и спишь, у дыры вавдыри. А бригадир-от в окольничу батогом стукат, сызнова на роботу пора, — вспоминает Августа Степановна, зябко кутаясь в поношенную кофту.

— Знамо, поробили... Жизнь пролетела как один день. Скоро уж под березки увезут, — с легкой печалью вторит ей Анна Яковлевна.

Дружно вздохнув, обе собеседницы, как по команде, вытягиваются, расправляя затекшие спины и плечи.

— Нюр, а Победу-то помнишь? — неожиданно оживляется баба Августа. — Как Левитан-от из «черной тарелки» в сельсовете пробаял, чо тут началося-то?! Ору было... Кто ревит белугой, кто обрадел до плясок. А кто и ревит, и пляшет разом.

— Да как такоё позабудёшь? — отвечает Анна Яковлевна. — Эстолько слёз и не упомню, когда было ишо. Гармонья играет, робятишки песни поют, а рядом вдовы воют... Почитай, никто из наших мужиков-то и не возвернулся...

Сумерки густеют, терпко пахнет полынью, над белыми головками клевера у изгороди кружит травянушка. Вечер плавно перетекает в ночь.

— Пойдём-ка, дочка, почивать.

Мама поднимается с лавочки и протягивает мне руку. Бабушки тоже встают и расходятся в разные стороны. Августа идёт по тропинке к калитке, Анна поднимается по скрипучим ступенькам на крыльцо.

Мы с мамой обитаем в так называемом переду — летней избе, а бабушка Анна спит на печи в зимовке. Хорошо лежать на набитой душистой соломой перине под боком у мамы, смотреть в приоткрытые створки окошка на мерцание далёких звёзд, слушать неумолчный стрекот кузнечиков. В свои двенадцать лет я не могу даже представить себе, каково это потерять в два годика мать, сгоревшую в одночасье от желтухи, а в пятнадцать понять, что ты никогда больше не увидишь любимого отца и брата. Узнать, что надежда всё же умирает, пусть и последней, но умирает. Каково это — прожить сиротой всю жизнь? Сострадание к маме до краев заполняет мою душу, и я крепко-крепко обнимаю её...

Только спустя годы начинаешь по-настоящему ценить прошлое. Давно ушли в небытие бабушки Анна и Августа, унеся с собой дивный, неподражаемый тарногский говор. Обезлюдела деревня моего детства. Двадцать лет как нет на свете милой, бесконечно любящей меня мамочки. Затянулись раны войны на русской земле. Но шрамы в русской душе всё болят, и болеть будут вечно. Война осиротила не только поколение сороковых, она уязвила осколками прошлого и потомков, лишив их близких. У скольких из нас не случилось в жизни дедушек и бабушек, дядей и тётей, сестёр и братьев? Вспоминая беззаботные летние каникулы полувековой давности в Тарногском районе Вологодской области, я снова и снова возвращаюсь в былое. Мой род по мужской линии безжалостно прервала война. Но жизнь продолжается, сердце помнит и будет помнить всегда малую материнскую родину и образы родных людей, живших на этой земле и ушедших в бессмертие за Родину большую[1].

---

[1] *Из Книги Памяти:* Лихоманов Федор Иванович, 1898 г.р., рядовой, погиб 31.03.1942, место перезахоронения - Ленинградская обл., Кировский р-н, Березовская волость, мемориал «Новая Малукса»; Лихоманов Павел Федорович, 1925 г.р., красноармеец, пропал без вести в апреле 1945.

Элина СВЕНЦИЦКАЯ

НА БЕЛОМ КОНЕ

Что такое наша литература? Каждый, кто задает такой вопрос, а особенно в письменном виде, — больной. У него или маразм, или мания величия. Только я, прекрасная легенда русской литературы Элина Свенцицкая, имею на все эти болезни жуткий иммунитет. И потому я задаю себе этот сакраментальный вопрос: что такое наша литература? И отвечаю на него так: наша литература — это массаж болевых точек. Обдумывая наши произведения, мы нащупываем их, а когда прикасаемся к этим болевым точкам и пока не утихнет боль, — пишем и плачем, пишем и плачем.

Но как же быть читателю с такой литературой? И вообще — зачем ее читать? Ведь в ней же нет ничего, кроме боли какого-то чужого, постороннего человека, который сидит один в своей комнате, подходит к холодильнику, включает телевизор и слышит оттуда: «Я хотел бросить наркотики, но не знал, что делать. Тогда я обратился к Богу. После этого обращения я наркотики бросил. А Бог их подобрал, и его так поперло, что я пожалел, что бросил».

И зачем, спрашивается, такое читать? Это может быть интересно только тому, чьи болевые точки совпадают с болевыми точками писателя. Но ведь таких сумасшедших очень мало. И все они, конечно, тоже писатели. Значит, наша литература — это литература, которую пишут писатели и читают писатели, и каждый писатель пишет для своих читателей, а каждый читатель пишет для своих писателей, которые, прочитав своего читателя, снова становятся писателями, и так до бесконечности.

Так они занимаются самообслуживанием, массируют друг другу болевые точки, а всем остальным никакого до этого дела. Но ведь настоящая литература — она для всех, а у всех болевые точки разные, а у многих их совсем нет. Я, живая легенда Элина Свенцицкая, хочу создать такое литературное произведение, чтобы его читали абсолютно все, кто умеет читать, и те, кто не умеет читать, тоже. Но как же это сделать? Я подумала, что надо спросить у всех, как они представляют настоящую литературу, а потом постараюсь учесть все мнения. С этим похвальным намерением я вышла на улицу.

Первым, кто мне встретился, был мой бывший муж Кирюша, который пришел ко мне в гости и лежал на скамеечке, потому что по лестнице уже не мог подняться.

— Настоящая литература — большая, — сказал Кирюша и сделал жест. — Она должна решать проблемы и отвечать на вопросы. Например, Пушкин написал поэму «Руслан и Людмила», и всем сразу же стало ясно: он решил проблему литературного языка, и больше она уже ни перед кем не стояла.

Я оставила Кирюшу на лестнице и побежала дальше. Тут же я столкнулась с соседкой — молодой мамой маленького ребенка, которая, я точно знала, ничего не читала с того момента, как вышла замуж, и чье мнение поэтому было особенно интересно знать.

— Мне интересно читать всякую литературу, которая про жизнь, людей и как они живут. Есть люди, у которых жизнь не такая, как у всех, а есть люди, которые от других ничем не отличаются. И каждый человек должен знать про жизнь, какая она есть. Литература нам должна объяснять правила жизни: что хорошо и что плохо, где нас ждет успех и где у нас ничего не получится.

Я пошла по улице, не зная, к кому еще обратиться со своим вопросом. Тут мне встретился знакомый нищий, который всегда стоял на остановке.

— Бога вы не любите, а литературу любите, — сказал он. — Нужно читать Библию, а больше ничего не нужно. Вот я читал Библию — и был здоровый, богатый, мама меня любила, конфеты давала и Боренькой звала. А потом я Библию потерял — и стал безработным калекой, и мама меня бьет, и зовут меня Саша Черный.

Я дала ему десять копеек и пошла дальше. Дальше был рынок, и я обратилась к продавщице груш.

— Литература должна быть — как в романе... Чтобы все были красавцы, чтобы со всеми что-нибудь вдруг все время случалося, чтобы все женились и выходили замуж друг за другом, друг за другом. А в конце чтобы — я в белом платье венчаюсь в церкви с принцем на белом коне.

Долго я ходила по рынку, потом по парку, и у всех спрашивала, что такое настоящая

литература. И все мне отвечали разное: то говорили, что она зеркало в комнате смеха, то — копия всех человеческих пороков, то — рецепт человеческого счастья. Одни предлагали мне написать роман-генеалогическое древо, другие — трагедию в пяти катарсисах, третьи — эпилог эпопеи из нашей жизни. Я была в полной растерянности. Я пришла домой, сделала маникюр, написала шесть стихотворений. Потом легла спать и все представляла себе, как я решаю проблемы литературного языка и всем объясняю правила жизни, а потом читаю Библию и в конце концов въезжаю в церковь в белом платье на белом коне.

СОВСЕМ ДРУГОЙ РАССКАЗ

Сколько же можно писать об угрюмой и несчастной любви, о гинекологических креслах, на которых она обязательно кончается, об алкоголиках и ненормальных филологинях! Я хочу написать наконец-то о чем-нибудь возвышенном и духовном, чтобы люди, прочитав, радовались и верили, просветлялись и возрастали в истине, а не утыкались носом в глухой забор и беспросветный мрак.

Мои старые герои живут уже совсем в другой эпохе, они частью рассеялись, частью потерялись, и я тоже куда-то потерялась. Но вот иногда, сквозь сумерки, я вдруг вижу нас всех. Как сквозь магический кристалл, проступают контуры большой светлой комнаты, и посредине накрытый стол, а за столом все они — еще вполне приличные, вполне интеллигенты, юные и одухотворенные, в меру изящные, в меру эпатажные. И на всех какой-то особый отпечаток — как будто что-то такое знаем, чего не знает никто. Как мы тогда вдохновенно самовыражались, как вдохновенно были несчастны! И никто еще не умер, не спился и опять не умер, и никого не съели комплексы и зависть, и никто еще не коротает ночи в вычислении собственной кармы и подсчете возможной даты выхода в астрал...

Слава Богу, ничего еще не случилось! А когда все это случилось, и все умерли или сошли с ума, никто ничего не заметил, потому что все время что-нибудь с кем-нибудь случалось, и все про это рассказывали мне, а я писала про это, как будто бы все это произошло со мной. А со мной ничего не случалось, и вот ничего мне не осталось, кроме как вспоминать эти рассказы и попытаться извлечь из них хоть что-нибудь поучительное и возвышенное.

Я ехала в одном купе с черным котом, которого всю ночь тошнило. В четыре часа утра его перестало тошнить, и я наконец задремала. Мне приснились черные резиновые шланги, которые сплетались и расплетались, обвивая странным узором длинную трубу парового отопления...

— Утопления... — сказал чей-то голос, и я проснулась. В соседнем купе бормотали: — Если пьешь в себя, оно туда и уходит, а если пьешь на публику — оно туда и выливается.

А утро было серым и пахло пивом. Холодный сырой город. И прямо на асфальте написано: «Я люблю тебя, как дебил!». Это я приехала на конференцию в Вильнюс, и вот уже встречает меня мадам Спроге, кариатидная дама в пуховой шляпе, автор монографии «Секс в Африке».

— Как расходится ваша монография? — вежливо спрашиваю ее я.

— Тяжело, — отвечает она. — Так же, как я схожусь.

Она действительно была серьезна, как кариатида, держащая небо. Да, я знаю, небо держат атланты, но мадам Спроге выглядела именно так. И где она теперь? Какие небеса подпирает она своей пуховой шляпой? Тогда было смешно, а сейчас грустно, потому что ничего этого нет, никого нет...

Все мои мужья — бывшие или покойные, некоторые — и то, и другое одновременно. Честно говоря, это очень удобно и приятно — иметь несколько таких мужей на выбор. А если учесть, что у этих мужей есть еще и бывшие жены — тогда совсем хорошо. Мир становится обитаемым, узнаешь много нового о женщинах и мужчинах и о себе. А самое веселое — когда все талантливые и у всех сложные взаимоотношения. Вот Кусик и Ленуся — бывшие жены моего бывшего и покойного мужа. Они бывшие, но не покойные: одна живет в церкви, другая — в Израиле. Кусик и Ленуся очень любили друг друга, хотя Ленуся и называла Кусика за глаза старой вешалкой.

Они любили друг друга, потому что очень не любили меня, а еще потому, что обе были талантливыми. Ленуся была талантливой писательницей, а Кусик была талантливой стервой. Вообще в те времена и в тех кругах было неважно, какой у человека талант, главное — чтобы он был. А без таланта жить было как-то неловко, поэтому талантливыми были абсолютно все. Главным признаком таланта были несчастья, поэтому все были несчастными, а возможность рассказать о своих

несчастьях делала их почти счастливыми. И вот у Кусика и Ленуси только и было разговоров о том, как они были несчастны со своим бывшим и покойным мужем. Так что они очень любили друг друга, хотя временами и ссорились и искренне считали друг друга сумасшедшими. Но ведь нормальные люди никогда не бывают талантливыми, так что Ленуся в конце концов перестала писать, потому что писатели только собой любуются и только себя показывают, она же решила любоваться только Господом и только Господу показываться. И нашла она себя в детском садике с религиозным уклоном сочиняющей колыбельные на божественные темы: «Тише, деточка, не плачь, даст Господь тебе калач, а кто в постель не ляжет, того Господь накажет».

А Кусик, при всей своей стервозности, хотела сделать что-нибудь пронзительное, завораживающее. Но этого никто не предлагал, и тогда она решила уехать из этой страны, где нормальным гениальным женщинам жить невозможно. Но и там она продолжает любить Ленусю, хоть и называет ее религиозной дурой.

А еще была актриса Лена Затескина, которая играла в основном кикимор, но на самом деле должна была играть леди Макбет. А еще был профессор Застенкер, по призванию конюх. А еще была поэтесса Ниночка, которая всех любила, и поэтесса Танечка, которая ее осуждала... Господи, мы же все такие хорошие! Нас воспитывали хорошие родители, которые старались воспитать нас хорошо. Мы учились в хороших школах, и некоторые даже хорошо учились. Мы учились в хороших институтах, а потом хорошо работали. Мы влюблялись в хороших людей и старались, чтобы им с нами было хорошо. Господи, мы такие хорошие, что с нами не должно случиться ничего плохого!

Вот хотела я написать что-нибудь возвышенное и духовное, но ничего у меня не получилось. Просто это возвышенное и духовное все время от меня куда-то прячется. Но жизнь — это большое картофельное поле, и пока его перейдешь, может встретиться все, что угодно, даже то, чего никогда не было, то есть духовное и возвышенное. Просто надо идти и идти, под солнцем, в сгущающихся сумерках, по этому огромному полю, где тихо ходит трактор и там, вдали, в тумане, под розовыми перьями пушистых облаков, ругаются пьяные бабы.

В ПОЗЕ РЕБЕНКА

Я — героиня рассказов писательницы Элины Свенцицкой. Почему так получилось? Очень многие спрашивают об этом ее, и никто не догадывается спросить об этом меня, хотя это было бы логично. Потому что больше всего знает тот, кого не спрашивают.

Самое главное — на самом деле я впоєне нормальная женщина. Конечно, по рассказам этой самой Элины Свенцицкой в это трудно поверить — но кто обязан верить автору? Как обычно, автор повышает за сет героини свою самооценку, ничего ему так не хочется, как стать нормальным, вот он и изображает сумасшедших, чтобы все подумали, что он-то на этом фоне еще ничего...

В самом деле — это же абсолютно нормально: встать поутру, позавтракать, закрыть все двери и окна, загнать под диван кошку, выгнать всех, чтобы не мешали, положить перед собой чистый лист бумаги и задуматься... А потом писать, писать, писать — много слов, которые прочтут очень мало людей и забудут, потому что есть дела поважнее. А время идет, и слов все больше, и чего-то все время хочется — то ли всемирного признания, то ли семги с луком. И кто после этого ненормальный?

Не знаю, кто ненормальный, но я — абсолютно нормальная. Я делаю все так, как нужно, и все у меня правильно. Утро я начинаю с приветствия Солнцу и благодарности Вселенной. Это у меня ритуал такой перед йогой. Я выхожу на балкон, становлюсь на цыпочки, протягиваю руки, мысленно обнимаю все, что вижу, и говорю: «Здравствуй, небо! Ты хорошее — пусть даже ты серое, холодное и скучное. Спасибо тебе, что ты есть в моей жизни! Здравствуйте, тучки! Вы тоже хорошие — похожи на бегемотов. Спасибо, что вы есть в моей жизни! Здравствуй, солнышко! Тебя нет, но я знаю, что ты есть где-то там, далеко... Здравствуйте, птички! Здравствуйте, листочки! Здравствуйте, мусорные баки!»

Скажите — какой еще автор может похвастаться такой героиней?

Но разве она, так называемая писательница, это понимает?

Если честно, современные писатели вообще ничего не понимают в этой жизни, только всех запутывают. И как же не запутаться, если сталько слов! А на самом деле быть автором — это же такая ответственность! Я бы умерла от одной мысли... И не надо мне говорить про какую-то там смерть автора, это все видумали такие вот писательницы, как Элина Свенцицкая, чтобы уйти от ответственности и выносить мозги нормальным людям.

А в йоге из всех поз мне больше всего нравится поза ребенка. Так бы и лежала в этой позе всю свою жизнь и дышала бы животом! По крайней мере, я стараюсь находиться в ней как можно дольше. Это совсем не то, что поза верблюда, которая так нравится моему автору. Я, когда один раз ее попробовала, сразу всякую ориентацию потеряла и только одно думала: «О Господи... вот это, кажется, моя правая рука... или левая... или опять все переименовали?»

То ли дело поза ребенка — в ней столько счастья! Самое интересное начинается, корда из этой позы выходишь и встаешь, тогда перед глазами мелькают золотые мушки, они летают повсюду, такие нежные и добрые. И все колышется, трепещет и дрожит, и все предметы расплываются, контуры их начинают выгибаться и перетекать друг в друга, и все плывет и уплывает в неизвестную даль, и как будто бы море шумит... Какое чудо! А эта писательница даже не в состоянии оценить всю эту красоту. И к тому же она все время приходит ко мне и задает провокационные вопросы: «Тебе какая поза больше нравится?»

Разве нормального автора интересуют такие вещи? Могла бы спросить, что я думаю об очередном конце света или о том, как я смотрю на однополые браки...

«Элина, это же интимная информация!» — «Ну и что? Мы же с тобой — свои люди!»

По сути дела, это ведь манипуляция! Моему возмущению нет предела!

Разве автор имеет право так обращаться со своїй героиней? Ведь на самом деле моя жизнь прекрасна и удивительна. Я не только благодарю за все Вселенную, не только занимаюсь йогой, я еще и люблю людей. А это, согласитесь, в наше время большая редкость и является признаком незаурядности, а вовсе не сумасшествия, как считает Элина.

Я люблю всяких людей — и мужчин, и женщин, и бедных, и богатых, и умных, и глупых. А это бывает очень редко, если любишь не абстрактно, а конкретно. Моя любовь конкретна и деятельна: я вхожу к человеку в дом, я сажусь на стул, я включаю телевизор погромче, чтоб соседи ничего не услышали, я ложусь на кровать и начинаю его любить. Поэтому моя жизнь полна до краев всякими приключениями и открытиями. Каждый день у меня происходит какое-нибудь удивительное событие — то мастер-класс по магии и колдовству, то играю на гуслях, то вышиваю шелком абстрактную картину, то строю Вавилонскую башню из спичек.

А вечером, придя домой после трудного дня, я снова благодарю Вселенную и прощаюсь со всеми: «До свиданья, небо! Ты совсем уже темное и страшное, но все равно — спасибо тебе, что ты в этот день было со мной! До свиданья, звездочки! Вы такие красивые, похожи на желтые цветочки! Спасибо вам! До свиданья, птички! До свиданья, листочки! До свиданья, машинки! До свиданья, мусорные баки! Спасибо всем за прожитый день!»

А потом еще по инерции благодарю утюг и унитаз.

Вот это — мой мир. Мир нормального человека. Каждый нормальный человек по-своем устранен. Каждый нормальный человек по-своему страшен. Это все вам говорю я, героиня, а вовсе не писательница Элина Свенцицкая.

И это я придумала, что у меня перед глазами время от времени кружаться золотые мушки. Они же как снежинки, только лучше — пляшут в воздухе, плывут и мерцают. Ну ладно — у меня в самом деле мелькают мушки перед глазами, но кто мне скажет, что значит — на самом деле и каное дело самое, а какое — нет? Да, да, это я придумала — правда здорово? И снова мой мир плывет, становится радужным и золотистым, и мушки пляшут и кружатся и трепещут... Вот она — самая настоящая прекрасность жизни, и все это придумала я, придумала и вот вам рассказываю.

Писательница вообще не рассказывает, а пишет. Вот сейчас я говорю — а она пишет. Зачем они вообще нужны, эти авторы?

И на этом риторическом вопросе я закончу свою интерлюдию.

Хорошо получилось, я довольна! У Элины бы так никогда не вышло. Она, между нами говоря, не очень грамотная писательница — все пишут слева направо, а она — справа налево. Правда, почерк хороший — в этом ей надо отдатьдолжное.

Всем спасибо за внимание и до нових встреч!

Если у вас нет вопросов, я за все отвечу.

Андрей КАРБОВСКИЙ

РЕАЛИТИ-ШОУ

Рассказ-притча[1]

— ...и эту сказку ты мне уже рассказывал, дедушка...

— Да, пожалуй... Получается, я рассказал тебе все сказки и истории, которые знал.

— А ты возьми и придумай новую!

— Это очень непросто, маленькая моя.

— Почему?

Действительно, почему? Как ответить на вопрос маленькой девочки, моей внучки, вопросительно смотрящей на меня из своей кроватки?

Мы сейчас вдвоем в целой квартире. Родители моей внучки ушли на какой-то вечер, не смирившись пока с новым статусом в жизни. Им кажется, что если они не потолкаются в толпе таких же, как они, одуревших от излишеств свалившейся на них взрослой жизни юнцов, то лишатся чего-то страшно важного, не понимая, что самое важное для них лежит сейчас передо мной в ожидании ответа на заданный вопрос. Вероятно, объяснить это невозможно (я пытался, не получилось), к этому нужно прийти самим, как пришел когда-то я. Меня они не слушают, я для них — старое поколение, хотя внутренне я себя еще не ощущаю стариком. Я давно смирился с тем, что определенные вещи в жизни переделать невозможно, их можно только принять.

— Не знаю, как тебе объяснить...

Девочка восхитительно зевает, но продолжает ожидать пояснений.

— Чтобы придумать сказку, нужно придумать героев, а потом историю про них.

— Пусть будут зайчик, лиса, волк и медведь...

— Хорошо, это — герои. Зайчик — хороший, лиса — хитрая, волк — злой, но глупый, медведь — простоватый с потугами на сердитость. Пойдет?

Девочка удовлетворенно кивает, а глазки у нее сами закрываются.

— Теперь сюжет... В конце подавляющего большинства детских сказок побеждают добрые герои, если не считать «Колобка», конечно. Все опасности преодолены: Машенька убегает от трех медведей, которые почему-то хотят ее растерзать; волк съедает Красную Шапочку и ее бабушку, но появление добрых охотников расставляет все по своим местам; бла-бла-бла, как принято теперь по-американски говорить вместо старорежимного «и так далее». Но мне все равно жалко волка с его безнадежной затеей поймать собственным хвостом желанную рыбку, большую или даже маленькую, или бесконечно одинокого, согласного даже на человеческую компанию медведя, который в надежде смягчить свою маленькую подружку тащит через весь лес большую корзину пирожков, чтобы в результате лишиться смышленой девочки и быть безжалостно изгнанным в свое ненавистное лесное затворничество ее дедушкой. Мне всегда хотелось придумать волшебный лес, где бы все звери жили дружно, никто никого не пытался обмануть или, хуже того, съесть...

МИССИЯ (НЕ) ВЫПОЛНИМА

Пролог

— Ну что, убедился? — с насмешливым вызовом спросил Агнец.

Лев не нашелся, что ответить. Действительно, все выглядело так, как рассказывал Агнец: странное существо, внешне похожее на змея, лежало неподвижно, придавленное большим камнем, устремив на пришедших тяжелый немигающий взор.

— Да, ты прав... А я сначала не поверил... Зачем это существо забралось под такой

[1] *Прим. ред.*: публикуемый «Невским проспектом» рассказ-притча «Реалити-шоу» — это фрагмент произведения автора «Серебряная цепочка. Отзвук нерассказанных историй».

тяжелый камень?

— Ты сам попробуй спросить.

Лев лег на землю, чтобы странному существу было его лучше видно, и сочувственно спросил:

— Ты что здесь делаешь?

Существо молчало, даже не попытавшись сделать вид, что его интересует то, о чем говорит Лев. Лев вопросительно посмотрел на Агнца.

— Попробуй еще раз...

Лев попробовал еще раз, затем еще и еще, но с тем же результатом.

— Оно мне ничего не отвечает. Может, оно не понимает, о чем я спрашиваю?

— Ты встречал живое существо, которое не понимает наш язык?

— Нет... Может, оно меня не слышит?

— Ты встречал глухих зверей?

Лев был совершенно обескуражен происходящим. Подумав, он сделал отчаянное предположение:

— А может, оно не хочет с нами разговаривать?

— Тебе приходилось встречать столь бестактных зверей?

— Нет... Так в чем же дело?

— Сам не понимаю... Но не это самое удивительное... Вчера камня здесь не было!

— Ты уверен?

— Абсолютно! Я был здесь вчера!

— Здесь... вчера... Что ты здесь вчера делал? В эти дебри обычно никто из наших не заходит...

— Мне было интересно. Я никогда прежде так далеко в гущу леса не забирался. Ты же знаешь, наш лес совершенно безопасен. Так вот, камня этого здесь не было. Как ты думаешь, откуда он взялся?

По растерянному виду Льва Агнец понял, что тот не знает ответа.

— Посмотри вверх!

— Ты хочешь сказать, что камень сорвался с утеса и придавил собой это существо?

— Именно!

— Но ведь такой камень, падая, способен причинить боль живому существу! Ты же знаешь, что это невозможно.

— Однако это произошло!

— Произошло... Бедный Змей! Не удивительно, что он так плохо выглядит и слова произнести не может.

— Я пытался сдвинуть камень, но мне не хватило сил.

— Не волнуйся, я сейчас все сделаю.

Лев, встав на задние лапы, передними сильно надавил на камень и, сдвинув его с места, освободил несчастное змееподобное существо.

Некоторое время Змей лежал неподвижно; затем по удлиненному телу существа пробежала чуть заметная рябь движения, соскользнувшего с острого кончика хвоста в пронизанную ласковыми солнечными лучами голубоватую дымку безмятежного нового мира, но тяжелый взгляд был по-прежнему устремлен на сострадательные морды Льва и Агнца.

— Теперь все в порядке, — от радости Агнец весело подпрыгнул, оттолкнувшись от земли сразу четырьмя копытцами, ловко приземлился и был уже готов к новому прыжку, но удивленно замер, когда его чутких ушей достигли постепенно усиливающиеся странные звуки.

Шипящие звуки исходили от Змея. Не похожие ни на шелест листвы под легким ветерком, ни на шепот травы в мягкой поступи осторожных лап, они сливались в непривычные сочетания, пока, наконец, их модуляция не изменилась и удивленные звери не разобрали в звуках понятные им слова.

— А ведь я на мгновение заколебался, смогу ли выполнить миссию...

— Теперь, когда ты свободен, ты можешь снова колебаться! — воскликнул Агнец, обрадованный тем, что странный зверь заговорил с ними.

— Что такое — миссия? — спросил любознательный Лев.

— Миссия — это когда кто-то берет на себя смелость исправить то, что требует исправления.

— Как Лев, когда он сдвинул тяжелый камень, придавивший тебя?

Тяжесть взгляда Змея обрушилась на Агнца, его темная глубина пугала и одновременно влекла к себе прежде невиданным, немыслимым, несуществовавшим.

— Ты называешь камень тяжелым? Знай, я могу сдвинуть гору, не то что такой камень... Этот камень особенный, его могли сдвинуть только вы... Потому что так хотел Тот, Кто сбросил его на меня, чтобы не допустить выполнения возложенной миссии. Миссия — это исправление ошибок Творца.

Когда Змей произнес последние слова, его взгляд, собственной неподвижности вопреки, приобрел новое, но столь же непонятное для стоящих рядом зверей выражение, от которого им, тем не менее, стало не по себе...

— Творец не совершает ошибок! — сказал Агнец, который всегда соображал быстрее Льва.

— Разве?.. Хотя, может, ты и прав. Совершаемые Им ошибки суть не более чем хитрые уловки: никто не заметит — ну и пусть все идет свои чередом; кто-то обратит внимание — тоже не беда, создадим себе пути к отступлению, заложив их во внутреннюю структуру вещей и явлений. Возьмем для примера таинственное дерево, посаженное Им в Саду...

На это даже сообразительный Агнец не нашел, что ответить. Оба зверя удивленно смотрели на Змея.

— Хорошо, скажу попроще... Помните, как Он создал первого человека, Мужчину? Помните, как этот Мужчина дал имена всем живым существам, чтобы с тех пор всегда быть вместе с вами? Для чего потребовалось создавать Женщину? Чтобы Мужчине не быть одному, разве не так вам было сказано? Словно всех вас, животных и птиц, которые были ему верными друзьями и надежными помощниками, и не существовало вовсе... И теперь эта Женщина захватила все внимание Мужчины.

Простодушный Лев не сдержался и тихонько вздохнул, а отвечал опять Агнец.

— Разве нам стало хуже жить с тех пор? Действительно, Мужчина стал уделять нам меньше внимания, но зато звери сдружились меж собой. Мы, например, со Львом. Прежде меня гладил Человек, а теперь добрый Лев расчесывает мою шерсть своим шершавым языком. Посмотри, как она блестит на солнце.

— Расчесывает шерсть языком? Это такой-то пастью, с такими-то зубами?

— Зубы у Льва, действительно, удивительные — острые, ослепительно белые, могучие. Он мне срывает ими толстые ветви с самых крон деревьев, где наиболее вкусные побеги, и мы вместе их едим...

— Восхитительно! А эти огромные когти у него, чтобы проворнее забираться по деревьям и добывать тебе листики?

— Конечно... А для чего же еще?

Тут Змей засмеялся, если, конечно, звери правильно поняли услышанные ими неприятные скрежещущие звуки.

— Ты не прав, Змей... Не знаю почему, но мне совсем не хочется с тобой играть. Ползи куда собирался... Пойдем, Лев...

* * *

В веселых играх Лев и Агнец забыли о встрече со странным существом. Утомившись от забав, они легли рядом, и Лев принялся вылизывать шерсть своего друга.

— Слушай, Лев, как-то странно поют птицы сегодня, и других зверей совсем не видно, словно они попрятались куда-то.

— Просто мы опять забрели далеко в лес.

— Да нет, смотри, вон за деревьями видна наша поляна.

«Почему он все время суетится? Болтает без остановки, дергается? Не дает мне сосредоточиться и хорошенько его вылизать», — несколько раздраженно подумал Лев.

— Почему ты так странно на меня смотришь, Лев?

— Странно?

— Ну да, почти так же, как смотрело на нас то существо.

— Тебе показалось. Просто мне в нос попал клочок твоей шерсти, — ответил Лев и сам себе удивился: никакая шерсть ему в нос не попадала. Впервые в жизни он сказал неправду.

Агнец поверил ему и успокоился, а Лев вновь принялся его вылизывать.

«Он так много говорит, что на его фоне я выгляжу совсем глупым зверем... — Мы с Агнцем друзья, какое это имеет значение... — Нет, все-таки мне это неприятно», — мысленно возражал себе Лев, слушая невинную болтовню маленького Агнца.

Шерсть вокруг ушей и на шее Агнца была особенно мягкой. Лев долго вылизывал, любовался ее ослепительной белизной. Как-то само собой оказалось так, что шея Агнца целиком уместилась в пасти Льва, и чистая шерсть приятно щекотала язык. Лев почему-то вспомнил Змея... Где он теперь?

Лев не знал, сколько времени они провели так. Он очнулся, только когда увидел перед собой испуганные глаза маленького друга, которому удалось развернуться, но не вырваться из пасти. «Сейчас опять начнет что-то говорить», — устало подумал Лев и сомкнул свои зубы.

АПОКАЛИПСИС

Р е а л и т и - ш о у

Андрей Петрович был, в сущности, безвольным человеком. Воспитанный бабушкой в отсутствии вечно занятых родителей, он был непростительно мягок для реальной жизни. С возрастом юношеский инфантилизм перешел в скрытую стадию, лишая Андрея Петровича способности принятия решений и взятия на себя последствий такого принятия. Задумываясь о будущем, он каждый раз с ужасом задавался вопросом, как же он будет жить дальше, но время шло, и он жил, хотя, возможно, не всегда так, как ему хотелось.

Он был когда-то блестящим студентом, на которого с восторгом смотрели преподаватели, и, естественно, окончил университет с отличием. Перед молодым перспективным биологом открывались все пути... А чем кончилось? Работает директором местного зоопарка. Зарплата смехотворная. Чтобы как-то сводить концы с концами, его семья живет прямо в зоопарке, в небольшой сторожке, а квартиру сдает посторонним и не всегда ответственным людям.

Андрей Петрович поздно женился, и теперь у него растет дочка, которая единственная из всей семьи с восторгом относится к месту их жительства, мечтает, подобно отцу, стать биологом и жить среди животных, с удовольствием возится со зверьем. Последнее ее увлечение — маленький пятнистый олененок, Спотти, родившийся в неволе. Разве что не спит с ним...

Жена... Она по-прежнему любит Андрея Петровича и молчит, не осуждает за то, что не сумел найти достойное место в жизни. Те, кто учились хуже его, теперь работают по грантам кто в Шотландии, кто в Швейцарии, кто еще в каком беспечном месте. Некоторые оставили биологию за ненадобностью, ушли в большой бизнес. Как, например, Змей...

Когда год назад Змей в сопровождении двух мордастых телохранителей появился в зоопарке, Андрей Петрович не сразу узнал в пришедшем холеном барине вечного задолжника Мишку Змеева, который неизменно списывал у него. Мишка тоже был удивлен встречей.

— Так это, действительно, ты, Эндрю? Вижу — фамилия твоя, а глазам не верю... Думал, ты уже в Штатах замутил тему для Нобелевской.

— Здравствуй, Змей.

— Знаешь, я предпочитаю, чтобы меня так не называли... Меня зовут Михаил Викторович.

— Дурные воспоминания об университете?

— Причем тут университет... Был у меня, как у всех предпринимателей, неприятный период, о котором лучше не вспоминать. Тогда меня тоже Змеем звали. Теперь я — законопослушный бизнесмен, аккуратный налогоплательщик, то есть содержатель паркинсоновских стариков и смурных организаций, вроде той, где ты мазу держишь. У меня крутая фирма, многомиллионные обороты, в «зеленых», конечно. Жить стало легче, жить стало веселее, вот и решил прежнюю специальность вспомнить. Буду теперь твоим спонсором.

Деньги Михаил Викторович давал исправно, и Андрею Петровичу удалось улучшить многое в зоопарке, включая и собственную заработную плату. Время от времени Змеев снисходил до того, что сам появлялся в спонсируемом заведении. Однажды Андрей Петрович осмелился спросить, не может ли Михаил Викторович помочь ему с трудоустройством. Змеев понимающе кивнул.

— Надоело дерьмо за зверьем собирать? В большой бизнес захотел? Для большого бизнеса нужны большие деньги.

Андрей Петрович уподобился детскому надувному шарику, ощутившему явную недостаточность находящегося внутри него воздуха.

— Ну, ты даешь... Я же не сказал «нет». В любом случае, надо учиться держать удары, если хочешь заниматься бизнесом. В бизнесе нет друзей и врагов, а есть только надежные/ненадежные партнеры и конкуренты. Мы не можем себе позволить жить эмоциями, мы живем трезвым расчетом, оттого и приходится восстанавливать свои израсходованные физические ресурсы на самых крутых курортах.

— Знаешь, сколько ударов я уже выдержал?

— Это хорошо, такая сноровка всегда пригодится. Думаешь, у меня проколов не было? Вот, выстоял же... Да еще как выстоял. Знаю, ты — парень с головой, такие в нашем деле нужны. В общем, подумаю, чем смогу тебе помочь.

Через неделю Змеев пригласил Андрея Петровича на охоту, пообещав познакомить с нужным человеком. Кто из собравшихся был нужным человеком, Андрей Петрович так и не понял. Все одинаково интенсивно матерились, пили и рассказывали

скабрезности. Многого Андрей Петрович вообще не помнил, потому что вместе со всеми упился, но Михаил Викторович убедил его позднее, что он произвел на всех хорошее впечатление.

— Кстати, нужный нам (не мне, конечно, а тебе) человек будет на пятилетнем юбилее моей фирмы, — сообщил Змей Андрею Петровичу.

— Хочешь сказать, что ты меня на этот праздник тоже пригласишь?

— В том-то и вся фишка, Эндрю! Наш юбилейный вечер мы проведем в твоем зоопарке!

Андрей Петрович недолго отказывался: сейчас деньги могут все устроить, а именно их Змеев обещал не жалеть. Конечно, для зверей мероприятие будет излишне шумным, но они уже всякого насмотрелись за свою жизнь в клетках.

— Сам знаешь, Эндрю, я в долгу не останусь. Если юбилей пройдет, как задумано, я перечислю на твой счет сумму, которая с лихвой покроет затраты на весь процесс получения твоей дочкой достойного образования. Сейчас за все надо платить, бесплатный сыр сам знаешь, где бывает... Поступит на бюджетное отделение какого-нибудь затрапезного института, так из нее фраера-преподаватели взятками не меньшую сумму вытрясут. Я тебе вот что посоветую: ты эти деньги на депозит положи, проценты набегут — вот и папе машина, чтобы дочку в вуз как человека возить.

Исходя из тягостного опыта прожитых лет, Андрей Петрович знал, что за всем этим последует необходимость определенной услуги с его стороны, и не ошибся... Конечно, он мог не соглашаться, но Змей сразу ясно дал понять, что можно выбрать только все или ничего. Причем Андрею Петровичу даже голову ломать не придется, ребята Змея уже все продумали.

— Круто и современно, реалити-шоу. На Западе теперь эти снафф популярны, вот мы и замутим нечто подобное...

Андрей Петрович подумал, вздохнул и выбрал «все».

Он рассказал жене о запланированном в зоопарке празднестве, умолчав только о готовящемся реалити-шоу. Жена возражала, но он сообщил, что змеевских денег хватит на будущее обучение дочери, а потом вскользь упомянул, что на юбилее будет человек, который поможет ему найти высокооплачиваемую работу. Жена сказала, что ей это не по душе, но тоже выбрала «все», хотя и не знала все его составляющие.

День рождения фирмы был пугающе близок, и потому с началом серьезной подготовки к проведению юбилея тянуть было невозможно. Андрей Петрович тоже принимал в ней участие и, видя, как серьезные люди прислушиваются к его замечаниям, предчувствовал свой будущий успех в менеджменте.

За пару дней до грядущего торжества Андрей Петрович настоял, чтобы жена на день юбилея отправила дочку к теще.

— Сама знаешь, какие фортели выкидывают эти ребята, напившись... Ребенку это видеть не годится.

Жена, конечно, не знала точно, какие фортели имеет в виду муж, и потому, подумав о худшем, с ним согласилась.

* * *

В день юбилея зоопарк было не узнать: территория буквально блестела чистотой, на центральной площадке была возведена трибуна для выступающих, вокруг стояли ломящиеся от всевозможных яств столы. Кроме того, по всему зоопарку у наиболее интересных вольеров были установлены крытые беседки с удобными креслами и большим выбором напитков для приглашенных.

Праздник, как и положено, начался с приветственных речей. Дали слово и Андрею Петровичу. Он, к удивлению для самого себя, рассказал, каким многообещающим студентом был Змеев, хотя его не всегда ценили преподаватели — вероятно, завидовали, предчувствуя его большое будущее. Змеев был растроган речью своего бывшего сокурсника, поверив сказанному. Они выпили на брудершафт.

Андрей Петрович понял, что выпил лишнего, лишь когда сам Змеев попросил его немного повременить с крепкими напитками, чтобы не сорвать задуманный гвоздь программы.

Юбилей набирал обороты: приглашенные разбрелись по территории, и повсюду слышался довольный смех.

Когда Змеев кивнул Андрею Петровичу, тот понял, что время подошло.

Михаил Викторович взял микрофон и еще раз в двух словах напомнил о внушительных успехах фирмы.

— Все знают, что символом нашей фирмы служит тигр. Он отлично отражает суть нашей политики: мы мощно вышли на рынок, захватили свою значительную нишу и, гордо главенствуя в ней, не знаем пощады к конкурентам. Сейчас я приглашаю всех к клетке с огромным тигром, живым воплощением нашего символа. Вы станете

участниками экстремального реалити-шоу, так что женщин и слабонервных прошу воздержаться от просмотра...

В толпе приглашенных раздались ахи и охи, но большинство присутствовавших, не исключая и женщин с железными нервами, потянулись к клетке с тигром.

— Еще раз прошу обратить внимание на красоту зверя, уважаемые гости. Он кажется большой добродушной кошкой, но не советую эту кошку дразнить...

Раздвигая собравшихся, к клетке подошел Андрей Петрович, неся в руках нечто, закрытое материей.

— Мне хотелось бы предложить тем, кто не приемлет экстремальных развлечений, удалиться, — еще раз напомнил Змеев.

Из толпы раздались веселые возгласы протеста.

— Что ж, Андрей Петрович, раз все готовы, приступаем...

Андрей Петрович, повернувшись спиной к собравшимся, сбросил материю.

— Итак, вот он, наш конкурент!

Андрей Петрович держал на руках дрожащего пятнистого олененка, к голове которого был прикреплен символ главного конкурента фирмы Змеева.

— Думаю, все узнали символ! А теперь давайте посмотрим, что скажет на это символ нашей фирмы.

Ватными руками Андрей Петрович открыл клетку с тигром и под удивленные крики пьяной толпы быстро протолкнул туда олененка.

«Вот и все», — подумал Андрей Петрович и закрыл бы глаза, если бы не прозвучавший, как удар, знакомый голосок, срывающийся отчаянием:

— Папа, папочка! Это же Спотти...

Андрей Петрович покачнулся.

— Дорогой, я же говорил тебе, что надо меньше пить... Помогите нашему хлебосольному хозяину.

Чьи-то руки подхватили Андрея Петровича, сунули в руку фужер коньяка и, когда он залпом осушил его, помогли ему отойти в сторону.

«Все, что угодно, — думал Андрей Петрович, — только бы не видеть глаза дочери».

Как она оказалась здесь, Андрей Петрович не знал. Наверное, ей так хотелось посмотреть на праздник, что она уговорила добрую бабушку... Вот и посмотрела...

Тем временем Змеев продолжал представление.

— Когда наши конкуренты выходят на рынок, им не остается ничего другого, как зажаться в угол и дрожать, осознав нашу мощь... Впрочем, вы и сами все видите... Мы не торопимся напасть. Честно говоря, мы иногда даже бываем немного поражены той бесцеремонностью, с какой пытаются вторгнуться в нашу нишу конкуренты. Мы внимательно наблюдаем, пытаясь понять, что же они намерены сделать... Мы не торопимся, мы уверены в своей силе... Все равно конкурент обречен, ибо рано или поздно нам приходится прибегнуть к решающим мерам, и тогда... Впрочем, мы могли бы дать нашим противникам уйти, но они так напуганы, что не могут сделать ни одного движения... Увы, иногда наши менеджеры среднего звена бывают недостаточно быстры, как этот тигр, и тогда топ-менеджменту приходится их стимулировать... Принесите что-нибудь острое, я покажу, как это следует сделать...

Один из телохранителей протянул Змееву найденную ветку, но Михаил Викторович глазами показал, чтобы охранник сделал все сам. Тот перескочил через ограду и попытался сквозь звенья решетки ткнуть острым концом ветки в бок тигра, который стоял к зрителям спиной и смотрел на забившегося в дальний угол маленького пятнистого олененка. Тигр мгновенно развернулся и с такой силой ударил по концу ветки, что телохранитель выпустил ее из рук. Огромные немигающие желтые глаза смотрели на толпу, собравшуюся у клетки.

— Найдите палку с железным наконечником, — бросил Михаил Викторович. — Должна же быть такая в зоопарке... Андрей Петрович! Где Андрей Петрович? Кто его вид...

Жуткий первобытный рык оборвал Змеева, он вздрогнул и замолчал под ослепительно желтым презрительным взглядом зверя.

— Прекратите это безумие! Вы же люди, а не пьяные скоты!

Жена Андрея Петровича, перескочив через ограждение, стояла перед клеткой, словно желая закрыть собой тигра, олененка, весь мир. Забыв всякие требования безопасности, она буквально прижалась к решетке спиной, но тигр словно не заметил этого, продолжая пристально смотреть на Змея.

К Змееву подошел телохранитель, держа в руках затребованную палку.

— Что смотришь, делай, что тебе сказано.

— А она?

— Убери ее, не мне тебе объяснять.

Но прежде чем телохранитель, перемахнув через заграждение, достиг стоящей у

клетки женщины, раздался голос:

— Еще шаг, и я стреляю...

Только сейчас Змей заметил Андрея Петровича, держащего в руках свое старое ружье.

События приобретали нежелательный оборот. Телохранитель тупо озирался, не зная, что делать, и Змей сделал ему знак рукой убираться. Конечно, он не боялся своего бывшего сокурсника, и знал что его люди способны быстро навести порядок. Боялся он нежелательной огласки. Да и этот пьяный ковбой мог случайно в запале выстрелить. Змей понимал, что кое-кто может подумать, что эта рвань одержала над ним победу, но он не мог рисковать имиджем фирмы, тем более что среди приглашенных были и представители масс-медиа. Исходя из своего большого опыта, Змей знал, что внешняя победа может легко обернуться поражением. Пусть сегодняшнее празднество продолжается: кому есть дело до того, съел ли тигр олененка. Жрать захочет — съест, теперь уже не стоит привлекать к этому внимание. Будут новые тосты, будут новые поздравления, а о неудавшемся представлении все скоро забудут.

Все, кроме него и Андрея Петровича.

«Я уничтожу эту шваль», — подумал Змей, а вслух, не удержавшись, все-таки сказал, обращаясь к Андрею Петровичу и его жене:

— И этой дряни я хотел помочь...

Потом, хотя настроение и было серьезно испорчено, направился в окружении гостей к центральной площадке для продолжения торжества, успев через плечо бросить своему финансовому директору:

— С завтрашнего дня — ни копейки этим ублюдкам. Пусть жрут собственное дерьмо!

А они так и остались на своих местах: испуганный пятнистый олененок, забившийся в дальний угол; могучий тигр, с полосатой мордой в правильных ромбах ячеек клетки; усталая женщина, безбоязненно откинувшаяся назад, словно зверь в клетке был менее опасен, чем те, кто бродили сейчас на свободе; протрезвевший Андрей Петрович, по-прежнему сжимавший в руках старое ружье, словно ища у него защиты от окружающего мира; и присевшая на землю маленькая девочка, у которой уже не было сил плакать.

Эпилог

— Вот мы и опять вместе, Лев!

— А кто эти, собравшиеся у клетки, Агнец? Неужели Люди?

— Ты слишком суров к ним, Лев! Смотри, вот Мужчина, вот Женщина. Все как прежде. Даже лучше: они не заняты собой, они опять с нами. А та девочка, что оплакивает меня? Разве она не Человек?

— Им не выстоять против окружающего их сброда, даже вместе с нами...

— Почему ты считаешь нас такими слабыми? Да, противостоять толпе непросто, но разве Он когда-нибудь говорил, что это будет просто? И вглядись в тех, кого назвал сбродом... В каждом из них есть Человек, только всегда нужен тот, кто найдет в себе силы напомнить им об этом.

— Даже в Змее, Агнец?

— Надеюсь, даже в Змее, Лев...

* * *

Открыв глаза, я понял, что сам заснул, укладывая внучку. Она спала в своей кроватке, счастливо улыбаясь чему-то во сне. Надеюсь, в ее сказочном лесу все звери жили дружно, никто никого не пытался обмануть или, хуже того, съесть... Потому что рядом с лесом жили люди, добрые, как мама с папой, которые любили друг друга и своих детей, других людей и их детей, разных зверей и птиц и их детей, в общем, любили всех-всех-всех. Это возможно только во сне, вот потому он и приходит к людям каждую ночь, чтобы не дать сойти с ума нескончаемым днем.

Рустам МАВЛИХАНОВ

ПОБЕГ ИЗ

Ну где тебя носит?! Сколько можно!

Перезвонить?.. С другой стороны, выслушивать эти бесконечные... К чёрту, подожду ещё!

Холодный сырой ветер подвывал над рекой, размазывая переливы баннеров, и от того всегда яркие зелёные, красные, фиолетовые всполохи, заливавшие мертвящим светом округу, казались чуть мягче, почти естественными. Зима в этом году выдалась хоть и ранняя, но всё такая же слякотная, река толком не замёрзла, лишь под главный праздник января городские службы наморозили ледяную площадку, да дворы побогаче закупили снег-рафинад для сугробов... *Интересно, когда я последний раз видел снеговика?.. Не, лучше об этом не вспоминать — лучше дозвониться.*

«Вызов экстренный?» — спросил поставленный женский голос.

— Нет.

«Здравствуйте! Вас приветствует компания «Мобильные коммуникации»! Спасибо, что пользуетесь нашей связью! Мы поздравляем вас с наступающим праздником и с днём рождения вашей сестры (*у моей сестры день рожденья через полгода, идиоты!*) и желаем вам дальнейших успехов в материальной и духовной жизни (*угу, сэнк ю*)! Просим вас прослушать небольшой блок рекламы. Для включения услуги «Отказ от блока» наберите *537-вызов, стоимость два-восемьдесят три (*да давайте быстрей!*). Спасибо за внимание!..

Не можете покорить сердце возлюбленной? Временные неурядицы в семье? Покорите сердце своей машины! Аккумуляторы Bausche — лучший подарок для любимого авто! Лицензия №...

Оглянись! Твои родители оставили тебе великую страну! Что ТЫ сделал для того, чтобы обеспечить им достойную старость?! Внеси добровольные пожертвования в Пенсионный фонд!.. (*Да быстрее же!*)

Граждане! В связи с участившейся угрозой терактов...»

Наконец, долгожданные гудки. А ведь когда-то они — «извините, абонент не отвечает» — казались вечными... Эти милые, скромные, неназойливые гудки в ушах. Никогда б не подумал, что буду им рад...

— Алло? — звонкий голос оживил мир вокруг, расхмурив мои брови.

— Ты где?

— Я тебя уже вижу!

Обернулся. Её, вся в черном, фигурка бежала по припорошенной снегом аллее между тянущих ветви к небу лип, отбрасывающих тени в жёлтом свете поскрипывающих на ветру бронзовых фонарей, и словно с нею — вокруг неё — катилась по берегу сама радость, словно к ней — учуяв тепло и живой свет — устремлялись по деревьям соки; и, приветствуя её, с неба густыми хлопьями повалил снег, согревая вымерзшую землю.

— Привет! — хрустально зазвенели снежинки.

— Здравствуй. Всё хорошо?

— Да, — взлетели ресницы над сияющими глазами. — Ты не замёрз, Солнце?

— Совсем нет, — улыбнулся. — Ну что, пойдём отдавать долги?

— Родине? Пойдём, — грустно вздохнула. — Может, потом к Лёке заглянем?

— Заглянем... Она рожать не передумала?

— Нет.

— И не боится же...

— Детей? — её рука крепче сжала мою.

— Нет. Их защитников.

Придавливая ушедший не в ту степь разговор, в просвете снегопада проплыла на север тяжелая серая туча. Крутой спуск к купели по громыхающей лестнице с поцелуем посередине («Я люблю тебя, прости» — «Я люблю тебя»). Палатки спасателей.

«Здоровая нация — залог будущего!» — гаркнул в ухо среагировавший на движение рекламный щит с улыбающейся семьей (он, она, ребёнок, их прически, цвет глаз, чашки на столе и счастье на лицах идеально соответствовали отделке гостиной) у вхо-

да в домик с красным крестом и полумесяцем.

— Добрый вечер, — дежурно улыбнулась фельдшер за столом. — Присаживайтесь. Вы за справкой для купания?

— Не совсем. Знаете, тут такое дело... — улыбка оплавилась, взгляд стал внимательней, — у девушки бронхит, хронический, она не может... как это называется, причаститься? А на работе с них требуют... ну, вы сами понимаете, корпоративная этика и всё такое.

— Да, пониманию. Обратитесь в поликлинику!

— Работаем много... Времени не хватает. Вы не думайте, диагноз настоящий, в медкарте всё есть! — поспешил я заверить, заметив искру сомнения в её глазах.

Если сейчас упрётся, пригрожу прокуратурой.

Будто уловив мой настрой сменить комическую роль просителя на драматическое амплуа требовательного члена гражданского общества, медсестра откинула рыжую прядь с виска:

— И чем я могу вам помочь?

— Справочку выпишите, пожалуйста. Хорошо бы о том, что девушка приняла участие в обряде, но, так понимаю, это невозможно, так что освобождение. Будьте добры! — добавил я, собрав по сусекам весь не растраченный за годы магнетизм.

— Да, конечно. Ваши биометрики, пожалуйста!

Протянул свою. Солнце замешкалась, копаясь в сумочке. «Когда же изобретут какого-нибудь логистического клатч-хобо-робота, чтобы сам всё укладывал по кармашкам как надо. Или это единственная константа в нашем мире?» — улыбнулся я своей мысли. Она, неправильно истолковав мой взгляд, смутилась, выудила, наконец, свой паспорт, положила на стол, ввела пароль.

Пальцы медсестры запорхали над клавиатурой:

— Вы, такой-то, 19... года рождения, верно?

— Да.

— Проживаете по месту прописки?

— Разумеется!

— Все свидетельства и лицензии в норме, счета оплачены, непогашенных долгов нет?

— Там же всё указано.

— Простите, таков порядок. У меня тоже есть начальство. Ваша конфессиональная принадлежность?

— Ортодоксальная, мусульманская, суннитская.

— У вас? — обращаясь к моей спутнице.

— Христианка, — впервые за всё время вымолвила Мари. Спохватившись, быстро поправилась: — Право... то есть ортодоксальная, христианская, простите, — в её глазах мелькнула тень испуга.

— Вы пока сходите, госпошлину внесите, терминал за углом, слева. Метрику не забудьте! — фельдшер вернула её с порога, протянула паспорт и риторически добавила: — Вы чем платить-то собрались?

Мари, не ответив, выскользнула за дверь. В клубах выдыхаемого пара повисло молчание, лишь из-за стены доносилась песенка про кота — для ободрения моржей, видимо.

— Вам здесь не холодно? — вежливо поинтересовался я, чтоб заполнить паузу.

— Нет!

Господи, да не будь ты как банковский бот! Здесь же нет камер.

Дабы ещё раз убедиться в этом, я провел взглядом по пластику стен, увешанному мельтешащими плакатами: «В здоровом теле — здоровый дух», «Наша цель — олимпийский реванш!», «Здоровая сильная Родина — это наша национальная идея!», «Акватекс — новейшее средство от первичного антигенного греха! Акватекс — скажем СТОП эпидемии гриппа!»

И под ними: «Курение — это предательство Родины!» — грозил с плаката жирный дядя с седой бородкой и эмблемой СБНТ на плече; «Сообщайте о террористической угрозе» — сухо взывала бюджетная наклейка МВД; «Смоем потом позор Мадридской олимпиады!» — обещали идеальные лица молодых ребят и девчонок, исполненные решимости отныне и впредь завоевывать все золото на всех чемпионатах. И им верилось.

«Да уж, психологи свою работу знают!» — я оторвал взгляд, но на сетчатке ещё какое-то время горели их глаза, чеканящие ритм моему сердцу: «Здоровье. Родина. Успех. Здоровье. Родина. Победа».

Интерактивка снова рявкнула у входа о залоге будущего, в палатку, впустив порцию свежего воздуха, вошла Мари.

— Вот, — вручила она квитанцию об оплате.

— Угу. Всё в порядке. Добровольные пожертвования в Пенсионный фонд внести

не желаете? — вскинула взгляд медсестра.

— Нет.

— В Фонд олимпиады?

— Нет, спасибо, — настойчиво ответил я, холодно приопустив веки.

— Ваша справка. Ещё нужно отправить копию в минрелигий.

— Сколько?!

— Нисколько, конечно! — удивленно-возмущенно протянула девушка за столом.

Я достал старомодный бумажник — не кожа, нет, но казахи умеют делать так, что от натуральной и не отличишь...

— Если вы пытаетесь вручить мне взятку, я немедленно вызову охрану! — её рука потянулась к кнопке блокировки. — К тому же я не пользуюсь бумажными деньгами...

— Во-первых, это не деньги, а билеты. В виртуалку. Как-нибудь вечерком устроитесь на диване и «сходите в кино». А во-вторых — это всего лишь скромный презент в честь великого праздника. Так что вы не можете отказаться! — улыбнулся я половиной лица.

— Но вы не...

— Я сменил религию год назад. Так вы хотите надеть свое лучшее платье? Или предпочтёте нарушить моё конституционное право на исполнение религиозных обязанностей, отвергнув моё пожертвование?

— Спасибо, — задумчиво протянула она, принимая подарок. — Я ни разу не была в кино... — и, спохватившись, добавила: — Не беспокойтесь, все необходимые уведомления я разошлю!

Когда мы уходили, её зелёные глаза улыбались чему-то далёкому. Не дежурной улыбкой.

* * *

— Почему ты сменил веру?

Мы сидели на лавочке в тени лип, глядя на длинную очередь выстроившихся по набережной машин, среди которых попадались и роскошные китайские «Геленды». Редкие звёзды мерцали в вышине, заглядывая из вечности в нашу суету.

— Не веру, солнышко, не веру. По медицинским показаниям. Доктор запретил мне есть желток и прописал диетическую баранину. Холецистит и гастрит — наследие бурной молодости, — рассмеялся я.

— Ты не рассказывал, — она положила руку мне на локоть. — Наверное, курить сильно хочется?

— Хочется. Но не попадать на принудительное лечение хочется больше.

Я достал зажигалку. Теплый огонёк заиграл в руке, отражаясь на её раскрасневшейся на морозце щеке, прикрытой волнистым ниспадающим локоном.

— Как будто костёр...

— Ага... Как будто свечка, — она прижалась к плечу. — А я год назад хотела тебе серебряное яйцо подарить.

— Это что за?

— Ну такое яйцо, освящённое. Берешь его, и все продукты, к которым им прикасаешься, становятся освящёнными.

Порыв ветра задул пламя.

— Ты не замерзла?

— Ты меня простишь?

— За что?

— Я когда ходила, — она взглянула робко, исподлобья, — я ещё Лёке перекинула денег. У неё социалка по воде кончилась, ей вчера отрезали. Теперь не смогу тебе ничего подарить.

— Ну и ладно. Ты всё правильно сделала.

— Правда?

— Правда. Ты у меня самый добрый, — поцеловал глазик, — самый любимый, — другой, — самый милый цветочек, — её улыбка заиграла солнечными зайчиками. — Хочешь, поедем к ней?

— Не стоит. Не хочу, чтоб ей было неудобно.

— Тогда ко мне? Заедем к дежурному имаму, если опять соседей боишься.

— Тогда я не смогу от тебя уехать.

Я приподнял бровь.

— Прописка... — ответила она.

— А, чёрт! — я достал из кармана сигарету.

— Ты же бросил?

— Это обманка. Курить нельзя, но ломать можно. Успокаивает.

— Давай я подарю тебе чётки.

— Христианские? Мусульманские? — рассмеялся я.

— Универсальные, магнитные. Сколько нужно, столько оставишь, — обиделась она.

— Извини. Слушай, ну почему тебе не выписаться и не переехать спокойно ко мне?

— Ты же знаешь...

Я взял её руку в чёрной обтягивающей перчатке в свою, поднёс к губам, согревая дыханием пальцы — ласковые глаза смотрели из-под фиолетовой шапочки, и слёзы готовы были сорваться вниз...

— Милая... Поехали в горы.

— В горы?

— В горы. Ты когда последний раз видела солнце? А там оно такое, что снег искрится и слепит — настоящий, не этот рафинад! И ещё там играют в снежки, строят городки, и никто никого за это не привлекает — никому нет дела до твоего здоровья. А ещё там ели. Могучие, высокие ели. Тайга... Или на юг! Точно, на самые синие волны! Хочешь на море, солнышко?

— Хочу. Но не могу. Паспорт...

— Что с ним? Он же в порядке!

— У него федеральные опции отключены, только региональные остались. Так что я теперь «невыездная». Не хотела об этом говорить. Прости.

Слеза всё-таки скатилась по щеке, тяжелой гирей согнув её хрупкие плечи. Федеральная опция... Это значит, что за 150 км отсюда её паспорт превратится в нечитаемый без машины кусок пластика (на нём даже имени её не выбито), а она — в потенциальную террористку, «30 суток до выяснения»?! Это значит, что, когда следом отключится регионалка, то ее первый налоговик — да что там, первая продавщица! — сможет задержать как нелегалку?! Что же делать? Продать квартиру, выкупить полный пакет опций или даже VIP-метрику? Тогда сам стану нелегалом. А если так... нет, ерунда получится. Приплыли. Цугцванг.

Обнял её:

— Всё будет хорошо, малышка!

— Правда? — несмело улыбнулась она.

— Правда.

Ни черта не правда! Тысячу раз не правда! Я не знаю, что придумать! Ладно, я хоть что-то видел, но тебе-то за что эта серость, выкрашенная голограммами?! На Небе, чёрт, только и разговоров, что о море, о том, как огненный шар, предательски не взорвавшийся в декабре Двенадцатого... Стоп! Ты не должен думать о прошлом! Ты устремлен в будущее, к успеху! Да чёрта с два! На каком долбанном тренинге мне это внушили?! Я имею право думать, о чём захочу, имею право помнить, что захочу, вы не умеете ещё, слава богу, читать мысли, и миелофона у вас нет!!!

Так! Миелофон... Гостья из будущего... 1984... скотный двор. Не туда! Прошлое... не пошлое... дурак! Выход всё время лежал у твоего сердца!

Я достал коробочку из нагрудного кармана:

— Извини, сразу забыл, задумался. Это тебе!

— Серёжки?! Зачем? А что за камни?

— Не помню. Что-то из Бангалора. При их добыче ни одна гора не пострадала, — пошутил я в своём духе.

— Такие ажурные... Спасибо! — она чмокнула в щёку.

— Надень их. Сейчас. Мне нужно позвонить, — я отошёл в сторону.

«Звонок экстренный?» — «*537-вызов».

— Здорово, Лёш! Как жисть?.. У меня тоже потихоньку. Как Юлька?.. О! Мои поздравления! Слушай, помнишь тот наш разговор?.. Да... Да, уверен... Надо, Лёх, надо!.. Да, почка. Только больше надо... Много. На полный пакет и чтоб ещё осталось... ага, на пенсию... Костный мозг?.. Хорошо... Что ещё, роговицу?... Шайсе! Бери всё, что нужно. Сделай мне лет 20 в вирте и чтобы я ещё сколько-то в реале продержался. Что говоришь?.. Китайские органы? Из свиней которые?.. А, такие!.. Сгодятся... Да, достал, в кристаллах... На ней... Скоро будем!

Я зло рассмеялся в ночной полумрак. *Да, у вас хватка стальная — не продохнуть. Да, мы песчинки в вашем мире. Но сколько бы вы ни плевали, пытаясь смочить его, — песок всегда утечёт сквозь пальцы.*

— Поехали!

— Куда?

— Не «куда». Отсюда.

Уже в такси, на Проспекте, проезжая под сверкающими указателями офисов и штаб-квартир и растяжками с социальной рекламой — «Эл Джи», «Олимпиада», «Ройял Спаниш траст», «Мульти-Нэшнл Юнайтед», — нелепыми в своей русификации (*du-*

ralexsedlex), но от этого не менее эффективными, она прильнула ко мне.

— Спасибо, милый... Ты о чём задумался?

— Да так, засмотрелся, — соврал я.

— Что-то у меня голова закружилась. И в ушах звон такой интересный.

— Интоксикация спамом?! — забеспокоился я.

— Да нет, — улыбнулась Мари. — От поцелуя, наверное. Куда мы всё-таки едем?

— К Лёшке заедем, к хирургу, поздравим. Помнишь его?

— Да, — она сжала мою ладонь. — Всё будет хорошо, пока мы вместе!

— Конечно!

Конечно, будет. Если боты не уловили ничего криминального в разговоре и если все силовики по нашему спасительному разгильдяйству празднуют, если это чудо индийских программистов не даст сбой и правильно что-то там сделает с мозговыми ритмами (извини, дорогая, но это не алмазы и даже не камни), если Лёха удачно меня раскромсает и если новые органы приживутся... ты был не прав, Андрей, — мы еще не страна третьего мира: видишь, я продаю свои старые телеса подороже, чтобы купить дешёвые ткани бразильских мулаток... А что купили они? Распотрошённых кубинок, которых некому защитить после Кастро? Интересно, а этих актрис из Рио афродизиаками сильно накачивали? — а то смешно будет: седина в бороду, бес в ребро... или какой там орган попадётся...

Такси остановилось у залитой молочно-голубым светом площадки перед медцентром, где нас сразу взяли в оборот перехватывающие взгляд поп-дивы с баннеров («Новинка! 3D татуировки!»; «Стволовые клетки — Ваша вторая молодость!»). Стараясь не смотреть на них — и так подкорка загажена — мы вбежали в здание... и она упала в обморок. А через полчаса настала очередь отключиться и мне.

* * *

Мы вышли из здания аэропорта. Нет, как бы ни презирали нашу погоню за длинным рублём, но всё же приятно подарить жене на Новый год украшение с нашими, якутскими, алмазами! Её сережки выгодно — на зависть другим — блистали в пластмассовой и слоново-золотой бижутерии от Бурда-моден-84, её каштановые волосы вплетались в запахи сосен и секвой Ботанического сада и в волны ялтинских курортов. То было наше счастливое лето: цветущие липы старого города волнами укачивали наши прогулки, в которых — в летнем зное — падали не звёзды, а поделки сарматов из краеведческого и куски яшмы из минералогического, и всплесками благих примет говорили о том, что всё у нас впереди — свой дом, тропинки далёких планет, журавли в руках и синицы в небе.

То лето, и пару следующих подряд, мы провели на крымских берегах, с легкой грустью вспоминая о тугом васильково-полынном воздухе, накрывающем твою судьбу на крутых пустынных улочках — в почти беззаботном счастье её синего ситцевого платья и робких коленок. Лишь позже, после апреля 86-го, гуляя меж киевских магнолий и каштанов на Андреевском спуске и у Владимира-на-горке, кинувшего закатную тень на готовую рухнуть державу, я почувствовал ноющую, жестокую боль в спине и глазах. И ещё — иногда, очень иногда — она вспоминала о жгучем, непонятном желании того, чего нет в природе — или хотя бы в Советском Союзе, — и тогда я утолял ее подсознательный голод, сочиняя фантастические повести о разумном полудне XXII века и о нашем — с нею — прекрасном будущем.

Годы шли, и всё чаще на рифах быта всплывали — проскальзывали — неведомые и непонятные фразы: «Ваш билет в будущее», «Время стирает города и цивилизации», — и всё большего не хватало для нашего беззаботного счастья, и, как будто в едином ритме с нами, рушились империи и свет в глазах, и всё сильнее — гневом — болели спина и правое подреберье, возвещая пару революций и дворцовых переворотов.

А потом, после Второй узбекской, Лёха, который когда-то вытащил меня из-под обстрела духов на Ангрене, сказал мне: «Есть фишка». «Что там?» — равнодушно, за кружкой пива в «Жигулевский Паб», поинтересовался я. «Выход, — был его ответ. — Выход, из которого нас никто не вернёт назад. «Забыть всё» называется. Идеальная условная реальность из Зеленограда — лебединая песнь нашей микроэлектроники».

* * *

Заходящее солнце погружалось в волны океана, скрывая почерневшие пальцы выжженных городов и укрытые зеленью плюща руины, лаская прощальным светом мои узкие зрачки. Я любовался отражением Мари, купающейся в волнах фиолетового заката; на её кремовой — человеческой — коже красные водоросли выводили надпись: «The End».

Ольга МИНСКАЯ

МОЛИТВА

I. НИНА

Ты знаешь, что я в тебя не верю. Заповеди не соблюдаю. Кашрут нарушаю и субботу тоже. Не пощусь в Судный день, не скромна, не послушна и всегда доступна мужчине, которого я люблю, — до, во время и после месячных. Но все-таки не ворую, не делаю гадостей, не завидую (ну, только иногда и совсем уже невинным вещам), не убиваю, не клевещу и не желаю чужого благосостояния. Наверно, у меня нет никакого морального права на то, чтобы обратиться к тебе. Но все-таки... Один раз, когда совершенно потерянная я смогла внятно сформулировать свою просьбу — ты услышал меня. Я даже не знаю, как я решилась. Помню, что стояла около Стены Плача, а рядом печальные женщины, закрыв лица молитвенниками, раскачиваясь, что-то просили у тебя. И вот, увидев это отчаяние, я спросила — что же я могу попросить. У меня все есть. Есть два мальчика — не простых, с которыми трудно, с которыми иногда приходится воевать. Но они у меня есть. Они родились сразу, без того, чтобы пришлось долго и отчаянно их ждать. Они такие наивные и смешные. Такие ласковые, такие ручные. Разные, скандальные, любопытные, упрямые, нудные. Самые любимые. Мои. Есть муж. У многих его нет. Не пьет, не гуляет, умный, начитанный, не надутый, с ним не скучно. Может быть, меня любит, может, и нет, но это уже неважно. Мама моя жива и даже здорова, и я еще не осталась одна, первая перед смертью. А значит, мое экзистенциальное одиночество еще не пришло. Не страшно, что она больше меня не жалеет, обо мне не заботится и боли моей не замечает. Она еще жива. И я могу ее обнять и вспомнить, как пах снегом ее воротник из меха чернобурки, когда она приходила из зимы домой и приносила мне пироженку за 22 копейки. У нее были румяные и холодные щеки, и она обнимала и целовала меня и обещала, что все обязательно будет хорошо, а я ей верила и успокаивалась. У меня есть работа, которая дает мне немного денег и много свободы. У меня есть друзья, правда, они давно уже рассеяны по всему миру, но зато в каждом крупном городе мне есть с кем поужинать и выпить бокал вина. И я живу в стране постоянного солнца и лета, где рядом со мной море, где самый любимый город. Ну, не будешь же просить у Бога новую сумку? Или кольцо с брильянтом, или новую машину. Счастье — слишком расплывчатое понятие. Я помню, что была счастлива в свой первый месяц в Израиле, радуясь старой съемной квартире, солнцу, морю, разношерстной толпе из разных стран, с которой я вместе учила иврит, и ожиданию настоящей жизни, которая должна была вот-вот наступить. А потом, через пару лет, счастье ушло. Все было, в общем-то, обыкновенно. И только радости от ожидания праздника больше не было никогда. И, положив руку на камень Стены, я решилась — пошли мне мужчину, которого я смогу полюбить. Я подумала, стоит ли что-нибудь уточнить. Но потом решила, что перед лицом Бога надо быть скромнее. И тогда еще раз, гораздо увереннее, попросила мужчину, которого я буду любить. Мы встретились через пять дней. Через неделю я поняла, что, вспоминая о нем, мне все время хочется улыбаться. А еще через неделю он не удержался и поцеловал меня.

И вот сегодня, спустя почти год после того, как ты послал мне его, я опять обращаюсь к тебе. Я знаю, что это нескромно, я знаю, что все желания не могут сбываться, что у многих других вообще ничего нет... Но вдруг ты случайно услышишь меня еще раз. Дай нам еще одну жизнь, которую мы сможем прожить вместе. Чтобы мы встретились снова, когда мне будет 15 лет. Чтобы он на мне сразу женился. Чтобы у нас было четыре сына. Он, наверно, будет мне изменять, но это неважно, я этого не замечу. Я буду каждое утро пить с ним кофе, следить, чтобы его рубашки были отлично выглажены. Каждую пятницу ужинать вместе с ним и придумывать развлечения на выходные. Он будет рассказывать мне, что было на встрече и что он ел на обед. По вечерам я буду ждать, когда он вернется домой, буду звонить ему в офис и ругать, что он совсем не отдыхает. А потом, совсем поздно, когда он войдет в дом, я увижу его серое уставшее лицо и буду целовать ему руки и спрашивать, голодный ли он. Он скажет, что все это потом, а сейчас он хочет несколько минут покоя. И спросит, как прошел наш день. Я расскажу, что говорили мальчики, какие оценки они получили в школе, какие замечания написали учителя. Что младший, которому шесть, собирается жениться на девочке из класса, которую он любит уже целый год, еще со времени садика, и, наверно, пришло время пригласить ее родителей на шабатний ужин. Что старший — ему двенадцать — пытался сделать бомбу в домашних условиях, руководствуясь инструкцией из интернета. Что не самый младший требует, чтобы ему купили его

личного хомяка, и тогда он будет ходить с ним в гости. И он его уже присмотрел в зоомагазине за углом. А не самый старший собрал команду, с которой они играли в ассасинов и не давали учительнице вести урок. И меня вызывают в школу. Что они скандалили и дрались друг с другом из-за того, какую передачу смотреть. А теперь они все уставшие, умытые и ненаглядные спят в своих комнатах. А он будет устало расстегивать верхние пуговицы рубашки, потом вытащит ее из брюк, нальет себе виски и скажет: «Посиди со мной». Я пристроюсь рядом на диване, положив голову ему на колени. Наша кошка будет сидеть напротив и караулить, когда я освобожу ей место. Через десять минут он попросит: «Покорми меня». И тогда кошка устроится на его нагретых мною коленях, громко заурчит и станет заглядывать ему в лицо. А потом он поужинает и примет душ и будет долго и нежно любить меня и говорить, как хорошо ему со мной. И каждый день, сдерживая слезы, я буду благодарить Бога, что он послал мне его. Десять, двадцать, тридцать, шестьдесят, семьдесят, девяносто лет подряд. Господи, если ты услышишь меня, то, пожалуйста, пошли нам еще одну жизнь, чтобы мы могли прожить ее вместе.

II. РУТИ

Я обещаю, что больше никогда ни о чем тебя не попрошу, что эта просьба — последняя. Ты же знаешь, что я умею держать слово. Наверно, мои молитвы не доходили до тебя. Наверно, есть другие, которым гораздо хуже, и поэтому ты не слышал меня все эти годы. Дай мне только один шанс. А со всем остальным я справлюсь сама. Я — сильная. Я могу выжить в этом жестоком мужском мире. Я могу работать двадцать часов в сутки и совсем не спать. Моя докторская диссертация победила на международном конкурсе лучших работ в области финансовой инженерии. Я управляю яхтой и самолетом. Мне даже денег не надо — папа и мама оставили нам достаточно, да и я сама очень прилично зарабатываю. Все, что в этом мире может зависеть от меня, — я сделаю сама. Но я хочу ребенка. Я буду держать его на руках столько, сколько он будет хотеть на них сидеть. Я буду подносить его к каждому растению и рассказывать, как оно называется и когда цветет. Мы заведем собаку и кошку, чтобы они тоже его любили. Вот уже десять лет я не могу забеременеть. Меня перестала интересовать карьера и общее признание. Я хочу, чтобы маленькое теплое существо было рядом со мной. Я хочу укутать его в свою нежность, я хочу отдать ему любовь, которая так и осталась невостребованной. Родители нас особо не любили — может быть, и любили, но так, что мы с сестрой не смогли этого заметить. Они были богатыми, красивыми, спортивными. Наши дедушки были партнерами в успешном строительном бизнесе. Наверно, они поженили родителей, чтобы не делить фирму. В доме часто были шумные приемы и их многочисленные деловые партнеры. Друг к другу папа и мама вообще никак не относились. Сначала были вежливые и отдаленные. А потом, в период финансовых кризисов, — уже совсем невежливые, орали и швыряли тарелки. Я даже не знаю, что их радовало. Может быть, каждый новый миллион? Нас растила няня, которая воспитала маму. Перед смертью она сказала, что не понимает, почему мама выросла эмоционально недоразвитой, а комментарии про папу она оставила при себе. И сказала, чтобы я немедленно родила ребенка. Но мне было 28 лет, и я собиралась на постдок в Штаты. Няня умерла, а я застряла на восемь лет в Америке. Было все — тоска, одиночество, ощущение бессмысленности собственного существования. В Израиль не хотелось — мысли о праздниках и семейных обедах навсегда избавили меня от ностальгии. Ко мне часто приезжала сестра, пока не познакомилась с Габриэлем и не вышла замуж за всю его шумную итальянскую семью. Теперь я навещаю их в Милане, ее три дочки прыгают вокруг меня, приносят мне утром завтрак в кровать, балуют меня, ласкаются и мечтают стать, когда вырастут, такими же успешными, как я. В Тель-Авив я вернулась только после папиной смерти, которая не вызвала у меня особого сожаления. Мама расслабилась и уже не придиралась ко мне с бесконечными требованиями. В ее представлении я не выжала из себя 100% и не использовала весь заложенный потенциал. В ее восприятии я всегда должна была похудеть на 5 килограмм... Когда я похудела на десять, она умудрилась этого не заметить и снова посоветовала мне сесть на диету. Но по сравнению с папой, это не было унизительно. За два года до смерти она стала приглашать меня завтракать по пятницам. Мы обошли с ней все прибрежные рестораны. У нас были любимые места для каждого времени года. Она как-то расслабилась, а потом спросила, почему я не выхожу замуж. Я ответила, что наша семья навсегда лишила меня желания делить свою территорию/жизнь с кем-нибудь еще. Она спросила, не лесбиянка ли я. Нет. Я просто никого не люблю. Кроме сестры и ее девочек. Уже более деликатно мама поинтересовалась, планирую ли я детей. Я пообещала подумать об этом. А когда она умерла, я вдруг захотела ребенка. Маленького, беспомощного, своего. Я буду баловать его, куплю

ему самокат, буду играть с ним в кубики, буду навещать нашу итальянскую семью, которая затискает его и оглушит радостными возгласами. Но у меня не получилось. И тогда пришлось обратиться к врачам. Девять сеансов искусственного оплодотворения. Эмбрионы не приживались. Один раз я четыре недели была беременна, а потом он перестал развиваться. Я продолжала. Уколы, подсадки, уколы, подсадки, уколы. А потом медсестра Наташа сказала, чтобы я подумала об усыновлении. Проплакав всю ночь, с утра я засела за статистику. И поняла, что после 45 лет шанс забеременеть равен примерно нулю. Я по инерции еще продолжала, но уже ни на что не надеялась. Когда мне исполнилось 46 лет, я обратилась в фирму по усыновлению. И выяснилось, что надо долго ждать, а после пятидесяти лет мне не дадут никого усыновить. И только если я соглашусь взять ребенка с врожденными заболеваниями, от которого уже все отказались, то только тогда все может пойти чуть быстрее. И я поехала посмотреть на таких. В Хабаровском детском доме для детей с ограниченными возможностями мне показали двухлетнего мальчика. Он почти ничего не слышал и еще не ходил. И было непонятно, сможет ли он вообще когда-нибудь ходить. Увидев меня, он улыбнулся. Я протянула ему игрушку, но он взял мою руку. Наверно, ему понравился запах крема, потому что он долго нюхал мою руку, а потом прижался к ней щекой и затих. И сидел не двигаясь пару минут. Я тоже не двигалась. А потом подошла нянечка, обняла меня за плечи и сказала, чтобы я перестала плакать. И что, если у меня есть деньги на физиотерапию, слуховой аппарат, операции и необходимый уход, то с ним тоже все будет хорошо. У меня полно денег. У меня хватит на все. Наконец-то я с благодарностью подумала о родителях. Еще полгода я собирала различные справки и банковские документы. И каждый день боялась, что кто-то другой заберет моего мальчика. Потому что он еще маленький и может меня забыть. А я теперь никогда не забуду ощущение его гладкой щеки на моей руке. Я просила девочек из фирмы по усыновлению раз в неделю звонить в детский дом и спрашивать, как мой малыш. Он болел, прибавлял в весе, не ходил и начинал что-то невнятно лепетать. И его пока никто не брал. И вот завтра экспертная комиссия по международному усыновлению должна решить, можно ли мне доверить этого мальчика. Помоги мне. Они могут его мне не отдать — ведь я старая и одинокая, у меня нет мужа и нет родителей. У меня нет старших детей, которые могут позаботиться о нем, если я неожиданно умру. Они могут решить, что я не могу взять на себя ответственность за него и не подхожу для того, чтобы стать его мамой. Помоги мне, потому что если они завтра не отдадут его мне, я больше не смогу жить. Потому что он — моя любовь и моя надежда. Я уже не полюблю другого. Я куплю ему слуховой аппарат, и мы будем каждый день ходить на физиотерапию. Если я не смогу научить его ходить, то моя сестра построит у себя дома лифт, чтобы, когда мы с ним приезжали, он мог на кресле-каталке подниматься на второй этаж. Я все равно сделаю его жизнь лучше. Я не останусь жить в этом холоде и одиночестве, если завтра мне его не отдадут.

III. ИЛАНА

Мне страшно, что я хочу тебя об этом попросить. Мне страшно додумать это до конца и произнести. Но еще хуже смотреть на серое лицо мужа, на трубочки, через которые он теперь дышит и получает питание. На приборы, которые окружают его, на капельницы и лекарства — слышать свист аппаратов и дышать этим больничным воздухом. Хотя я привыкла дышать больничным воздухом, я уже двадцать лет им дышу. Я — врач. И только в палате, где лежит мой муж, этот воздух душит меня. Его родители с надеждой спрашивают, поправится ли он. К счастью — не меня, а его врача. Тот путает следы в обилии медицинских терминов. И они уходят домой, надеясь на лучшее. Но я — врач. И иллюзий у меня нет. Травмы, которые он получил, навсегда лишат его возможности двигаться и говорить. Я не знаю, будет ли он понимать, что с ним произошло. Никто не осмеливается рассказывать мне сказки о возможностях реабилитационной медицины. О том, что все так быстро развивается и, может быть, через пять лет изобретут нечто, что позволит ему двигать левым мизинцем. Я — врач, я все знаю сама. А еще, это все совершенно неважно, потому что когда-то давно он взял с меня слово, что я никогда не оставлю его в таком состоянии. Это было через три года после свадьбы, когда я была беременна вторым ребенком. Тогда вертолет его товарища, с которым они служили на одной базе, был подбит во время боевого вылета. Ноама успела подобрать спасательная команда, но в больнице выяснилось, что он не сможет больше летать, ходить, сидеть, есть. Что он больше ничего не сможет сам. Каждый день его состояние становилось лучше и стабильнее. Видимо, он собирался остаться в живых. А потом неожиданно умер. Известие, что он умер, пришло к нам под утро, после ночи, когда мой муж и Асаф, их третий друг, почему-то поздно вернулись к нам домой и до утра просидели в саду. Они явно не хотели моей компании, но я и не настаивала

— наутро мне предстояла сложная операция, и я хотела выспаться. Перед тем как уйти спать, я обратила внимание на выражение лица моего мужа. Я не могу объяснить, что было не так. Они смотрели друг на друга и ничего не говорили. Наливали арак стопку за стопкой. И молча пили. А утром нам сообщили, что Ноам умер, и тогда Асаф обнял моего мужа и ушел. Муж попросил, чтобы я села напротив него, и потребовал, чтобы я поклялась ему жизнью детей, что если когда-нибудь он вернется с задания с травмами, несовместимыми с обыкновенной жизнью, то я не оставлю его в живых. Он подробно перечислил мне все, что ему важно делать в этой жизни самому. Он сказал, что знает про олимпиаду инвалидов, но это не для него. Он не хочет переложить это на Асафа, и я обязана ему это пообещать во имя нашей любви. Я спросила, что они делали с Асафом этой ночью. «Прощались с Ноамом, потому что знали, что он умрет». — «Так это вы?» — «А сейчас повтори все, что я должен всегда уметь делать сам. И пообещай мне. Даже не вздумай плакать. Если ты меня действительно любишь, ты это сделаешь для меня. Да и вообще, это со мной никогда не случится. Я просто на всякий случай». И я пообещала. Нам повезло, потому что он всегда возвращался целый и невредимый. И даже когда при посадке у него не вышло шасси, он благополучно катапультировался из вертолета. А потом они с Асафом демобилизовались. И страх этого обещания отпустил меня. У нас росли дети. Трое. У Асафа тоже. Они продолжали дружить, а значит, мы дружили семьями. Мы купили дом в деревне, и Асаф купил дом рядом с нами. Они открыли небольшую фирму, которая работала на оборонную промышленность. Фирма была успешной, заказы увеличивались каждый год. Все шло замечательно. На год я забывала о том разговоре. Но каждый год в годовщину смерти Ноама Асаф приходил к нам, и они сидели до утра, не разговаривая друг с другом. И тогда я вспоминала. А неделю назад случилась авария. Грузовик, ехавший по встречной полосе, потерял управление и смял машину моего мужа. Чтобы его вытащить, пришлось ее распилить на кусочки. Его привезли к нам в больницу и спросили, хочу ли я оперировать его сама. Нет, но я хотела присутствовать. Когда я увидела, что с ним стало, я начала молиться. Нет, я совершенно ни в кого не верю. И не знаю, кому я молюсь. Мужу. Боже мой, пожалуйста, умри сам. Я не хочу тебя убивать. Пришел Асаф и спросил, нужна ли мне помощь. Я помнила, что муж не хотел переложить это на него, и отказалась. Асаф сказал, что я всегда могу передумать. Он обещал моему мужу позаботиться обо мне. Потом помолчал и добавил: если мне от этого станет чуть легче, то его жена тоже ему поклялась, и мой муж пообещал ему позаботится о ней. А когда-то они все это обещали Ноаму. Это была их круговая порука. Я сказала, что справлюсь сама. Я не могла предать мужа. И теперь, если он не умрет в течение этих суток, я должна буду его убить. Список всего, что он хочет делать в этой жизни сам, я помню наизусть, и он не оставляет мне надежды. Я привела детей попрощаться с ним. Я не сказала им, что это последний раз, когда они видят его живым. Они просто навестили его в больнице. Они думают, что он поправится. Он всегда поправлялся. Он всегда всего добивался. Он выполнял все обещания. Он был большой, веселый. Он любил ходить с нами в походы, мгновенно обживал места ночевок и готовил вкусную еду. Когда мы только познакомились, он пообещал, что нам никогда не будет скучно. Мы ходили в походы по Европе, а потом и в России. Когда подросли дети, мы начали сплавляться по рекам. На следующий год мы собирались пойти на Камчатку — это где-то там в России со стороны Японии. И они с Асафом уже проложили маршрут. Они начали работать с Китаем и пошли учить китайский язык. И наши дети учили китайский. Он уговаривал меня родить четвертого ребенка, а я не могла решиться. А теперь я сижу у его кровати и умоляю его умереть самому. Я не хочу тебя убивать. Господи, умри сам. Пожалуйста, умри сегодня сам.

IV. НОА

Вот прошел еще один из череды бесконечных тоскливых дней моего замужества. Я, как приличная жена, приготовила ужин и жду запаздывающего мужа. Даже самой не верится, что ужин получился вкусный. Мы поженились всего полгода назад. И я не могу себе этого простить. Ведь я уже тогда знала, что мне не надо выходить за него замуж. Ну, не то чтобы знала, а просто не стала прислушиваться, не дала себе возможности произнести это вслух. Теперь я каждое утро себя спрашиваю: что ты хочешь, чтобы с тобой произошло. И каждый день я отвечаю себе: пусть мой муж оставит меня. Пусть он не придет сегодня с работы. Нет, я не хочу, чтобы с ним что-нибудь случилось. Я просто хочу, чтобы по дороге ему встретилась женщина, которая отвлекла бы его от общессивной любви ко мне. Зачем я это сделала? Он мне так во всем подходил, у него замечательные родители, прекрасная работа, легкий характер, и он был в меня наивно влюблен. А я пыталась пережить человека, который много лет меня не любил. Не любил, но оставался рядом со мной. Пять лет назад, решив доказать всему миру, что любовь побеждает все, я переехала к нему жить. Приспособилась к его привычкам,

приручила его собаку и начала надеяться, что наступит день, когда он скажет, что любит меня. А день все не наступал и не наступал. Он жил со мной так же, как раньше жил без меня. Уходил с приятелями по четвергам в пабы, неожиданно улетал на выходные в Европу. Мог позвонить мне из Эйлата и сказать, что они поехали на Синай и он вернется через неделю. А мог даже и не позвонить. И когда я через пару недель, совершенно распухшая от слез, открывала ему дверь, он просто проходил в квартиру, бросая мне, что он снова здесь. А потом добавлял, чтобы я не устраивала сцен, потому что иначе жить он не может. А я не могла так. Но и без него я не могла. А потом, когда он снова куда-то пропал и я даже не знала, в Израиле он или нет, я встретила своего будущего мужа. Который сразу стал мне звонить по многу раз в день. Дарить цветы, водить в кино. Через три дня я познакомилась с его чудесными родителями, через неделю я знала его близких друзей. И мы ходили по ночам купаться на море и ездили в Иерусалим пообедать в армянском ресторанчике в старом городе. И мне казалось, что мои раны перестали кровоточить. Через два месяца он сделал мне предложение, и я согласилась. Я забрала свои вещи из квартиры и положила ключ в почтовый ящик. Даже записки не написала. Мне было интересно, заметил ли он, что я ушла. А потом, когда дата нашей свадьбы неумолимо приближалась, как разрушительное цунами к берегам Таиланда, я случайно наткнулась на него. Он сказал, что уважает мое решение, что ему очень жаль, потому что за эти годы я стала частью его жизни. Но главное, чтобы я была счастлива. И попросил передать поздравления моему будущему мужу. Три дня перед свадьбой я пролежала в кровати, не рискуя все отменить. А потом я поменяла фамилию и начала обустраивать дом. И началась тоска. Сначала я перестала учиться, а потом заболела. Я болела так долго, что решила уволиться с работы. Я больше не хотела есть, и у меня не было сил ходить в спортивный зал. Мой муж был счастлив. Он возвращался домой полный энергии и планов. Каждую неделю мы ходили в кино, театры, на концерты. Ужинали с его родителями и выходили с друзьями. И только мой папа спросил, не стоит ли мне развестись прямо сейчас, пока у нас нет детей. Я ответила, что люблю его и быстро ушла. И вот уже неделю я умоляю бога, чтобы мой муж встретил женщину, в которую влюбится с первого взгляда. Которая будет умнее, красивее, добрее, лучше, чем я. И чтобы она сразу с ним переспала. И чтобы он ушел к ней без колебаний. Каждый вечер, когда он должен вернуться с работы, я смотрю на движение часовой стрелки, и если он запаздывает на несколько минут, безумная надежда, что именно сейчас он встретил ее, поднимается у меня в животе, как гигантская волна. А когда он вставляет ключ в дверной замок, волна разбивается на тысячи мелких кусочков. Я натягиваю улыбку и подаю ему ужин. А потом мы куда-нибудь идем. Я не хочу причинить ему боль. Господи, пусть он встретит женщину. Он умный, красивый, ласковый — но я люблю другого. Люблю безнадежно и уже ничего от этой любви не жду. Но я хочу просто остаться одна со своей тоской. Пережить несчастье, которое со мной приключилось. Может быть, потом, через двадцать лет, я перестану чувствовать вообще. Я пойду волонтером помогать брошеным собакам. Потому что собаки, как я, продолжают любить тех, кто их бросил. Отказываются от еды и молча лежат, с надеждой глядя, что вот сейчас за ними придет тот, кто их просто выбросил из своей жизни. Я только с ними и могу разговаривать. Я чешу их за ухом и глажу по пузу и говорю, что кто-то другой обязательно за ними придет. И у них снова будет семья, где их будут любить, вкусно кормить и играть. И так же, как они, надеюсь, что и за мной придет тот, кто меня так и не полюбил. Но каждый вечер приходит мой муж. И постепенно глаза у него становятся такими же, как у собак в приюте. И я больше не могу это видеть. Потому что я тоже закрыла свою дверь перед ним и оставила его навсегда снаружи. Пусть за ним тоже придут. Какая-нибудь женщина, которая сначала будет с ним играть, вкусно его кормить, согревать по ночам и постепенно приручит его. И тогда он забудет меня и не будет страдать. И я перестану себя ежеминутно винить за ту слабость, которая позволила мне выйти за него замуж. Потому что каждый день я приговариваю себя к высшей мере наказания за трусость и подлость. Потому что я это все знала. Потому что «трусость — самый страшный порок». Но пока он еще в дороге, пусть он встретит другую. Пусть это будет яркая, сильная любовь с первого взгляда. Пусть она захватит его и лишит разума, потому что только тогда он сможет переступить через свое чувство долга и уйти от меня. Пусть он будет счастлив. Больше всего я хочу, чтобы он стал счастливым и когда-нибудь смог простить меня. Господи, пусть он уйдет от меня в новую прекрасную любовь, где потом родятся дети и принесут ему счастье.

V. ДАНА

Мне стыдно просить, да, в общем, и не о чем. У меня все есть. А то, чего нет сейчас, — уже было. Как сказала моя подружка про нашу одноклассницу, которая недавно выходила замуж, — сейчас ее время любить, выходить замуж и рожать детей. У нас

это уже было. Только прошло. Я десять лет назад вышла замуж за того, кого любила, которого сама выбрала. Я училась на факультете лингвистики, потому что это было мне интересно. Нашла работу, которая мне нравилась, с которой я себя прекрасно чувствовала в обществе умных и образованных. Я родила двоих детей, работала, ездила в командировки и отпуска. Мы купили дом и завели собаку. А потом что-то произошло, и все перестало меня радовать. Я даже не могу вспомнить, когда это произошло. И что было первым, к чему я потеряла чувствительность. Работа? Может быть, когда родились дети — это стало гораздо менее важно. Все время хотелось спать. Утром, когда приходила няня, мне хотелось снова залезть в кровать. И лежать там еще часа два-три. Но я никогда не пропускала работу. Даже больная, я всегда приходила. У меня внутренний счетчик, который никогда ничего мне не спускает. Я не могу просто не встать утром. Я не могу позволить плохому настроению одержать надо мной победу. Я каждое утро бегаю в парке и вожу собаку на дрессировку. Покупаю органические продукты и слежу, чтобы дети ели сбалансированную пищу. У меня все всегда точно по плану. И я не отступаю. Это как каждый раз попадать в десятку. Но однажды, когда я вообще не спала ночь, я позвонила на работу и сказала, что сегодня не приду. И мир не перевернулся, и фирма моя не закрылась. А я три дня лежала в кровати. И спала, спала, спала. А когда пришла в офис, то поняла, что все это меня уже не возбуждает. Потом перестали что-либо значить хорошие рестораны и гостиницы. Модные тусовки, стильные вещи и дорогая обувь. Машины, украшения, сумки, духи... вообще все. Конечно, приходилось продолжать оплачивать счета, и я по-прежнему приходила в офис, чтобы деньги в начале месяца поступали на счет. Все реже попадались книги, которые бы мне хотелось заново перечитывать, и фильмы, которые я была бы готова смотреть еще и еще. Карьера тоже стала менее важна. Когда у мужа появилась другая женщина, я предпочла это не заметить. Мне даже больно не было. Как-то случайно я обратила внимание на его долгий телефонный разговор, а потом на то, что он стал поздно возвращаться домой и очень мало рассказывать о том, что произошло с ним за прошедший день, и главное, стал пахнуть чужими духами. Каким-то противным сладко-огуречным запахом. Я удержалась от лишних комментариев. Мне было непонятно, что я должна в этой ситуации предпринять, и я решила ее проигнорировать. Дети иногда радовали, когда мне удавалось выспаться. Но они были еще маленькие и требовали такое количество внимания, которое я не могла им дать. Как ни странно, я получила повышение на работе. Муж по-прежнему оставался со мной, может быть, он даже и не собирался от нас уходить. У меня было ощущение, что в своей жизни я потеряла какую-то главную сюжетную нить, которая связывала все, что со мной происходило. Я не знаю, как жить дальше. Где моя новая главная цель. Где находится радость. Да, вот оно — я потеряла радость. Я еще помню, когда счастье поднималось во мне и мне казалось, что я могу все. И хотелось улыбаться прохожим и танцевать на улице. Прошло. Это прошло. И мне жалко, что больше я не испытываю этого беспричинного счастья. Этой детской радости. Муж думает, что у меня депрессия и что мне пора обратиться к врачу. Но я точно знаю, что со мной все в порядке. Просто ушла радость. Зато я стала спокойнее, точнее. Не расплескиваю свои эмоции, не прошу внимания, не отдаю тепло. Я теперь просто проводник всего, что происходит рядом со мной. Ничего своего я не могу привнести во вселенную. Могу только пропускать, не окрашивая в какой-либо цвет. Когда мы собираемся с подругами, раз в месяц, как уже много лет после армии, мне больше нечего им рассказать. Они влюбляются, ругают мужей, страдают от их измен — а у меня все ровно. Они плачут, мучаются, худеют, покупают новые вещи, разводятся — а я все та же. Как заношенные домашние тапочки, которые трудно выбросить. Мне даже уже не очень интересны их разговоры, потому что они ходят по кругу и все повторяется. Я точно знаю, что если сегодня Орит познакомилась с молодым человеком, через месяц она будет в него страшно влюблена, еще через месяц — будет ругать и страдать, а потом — плакать о том, что оказался подонком и больше ей не звонит. И это происходит последние 17 лет. И не вызывает у меня сочувствия. Наверно, я тоже не вызываю ни у кого сочувствия. Я его и не прошу. Потому что у меня все хорошо. Дети, муж, работа, машина, дом... Все на месте. Только нет радости. Поэтому, если вдруг ты меня услышишь или спросишь, что мне подарить на сорокалетие, — подари мне радость. Хотя бы еще один раз. Самую маленькую и нелепую. Ну, например, чтобы я рано утром стояла на мосту через шоссе Аялон, смотрела на непрерывный поток машин, вдыхала гарь, чтобы солнце слепило мне глаза и чтобы начинающийся день казался многообещающей вереницей удивительных встреч и событий. Чтобы мне захотелось танцевать, чтобы какой-нибудь водитель грузовика просигналил мне и сказал, что я классная. А я бы улыбнулась ему в ответ и пожелала прекрасного дня. Подари мне, пожалуйста, пять минут радости, а то я уже совсем забыла, что это такое.

Александр БЕЛЯЕВ

РАЙ ДЛЯ НЕЗАМУЖНИХ КАРЬЕРИСТОК

— Ну всё, Танечка! — гримёрша посмотрела в зеркало, потом в лицо Тане — ещё более придирчиво, и спросила, как будто бы сильно сомневалась: — Так нормально?

Чего спрашивать: нормально или нет, никто перекрашивать всё равно не будет, времени до эфира уже цигель-цигель, как говорится. Ведущей эфира Тане «Оливке», к счастью, не «рисовали» лицо, как почти всем ведущим женскаго полу. Слегка подчёркивали её бледность и родинки — над правой бровью, на левой щеке, на подбородке. Бледность, родинки — её бренд. Глянув в зеркало, Таня:

— Супер, Яночка.

А что она ещё могла ответить?

— Ух, шикарная! — ободрила саму себя Яночка. Сдёрнув покрывало, хохотнула: — Как живая!

Эту присказку все ведущие слышат каждый день. Как заклинание. Возможно, примета какая-то профессиональная. Молоденькие гримёрши же не знают, что такое быть не-живой.

— Слазь!

Сла*зию*, угу. Вдруг крик на весь коридор:

— Где ведущая?!

— Где мне быть, блин, я час назад пришла, полчаса на гриме сижу уже. А они ищут, — Таня резко встала, кресло мягко отпрыгнуло на полметра.

— Где?! Ищем с собаками!!

— Это у них как обычно, — вздохнула Яна, укладывая кисточки в свой чемоданчик.

Таня быстро шла по коридору. Салатовые стены, подсвеченные сверху мёртвым неоновым светом. Ощущение, что здесь всегда холодно. И вечно кого-то ищут непременно с собаками — без штампов нельзя, эти присказки — это наше всё. Да делают вид, что ищут! Себя только заводят, силы тратят, лучше б косяк в титрах поправили, сто раз говорила, а им хоть хрен на голове чеши.

В студии, пока крепили-настраивали микрофон-петличку, пробежалась по тексту, привычно губы поджала. Вредная привычка: уж мимические морщины буравятся в уголках губ, тянутся к тонким крыльям острого носика.

Хотя чему удивляться: текст написан очередным стажёром, чей стиль столь же банален, как его идеи, шмотки, татуировки. Ещё раз прошлась по тексту, уже повнимательнее. Читать можно. Но да, чем банальнее мысль — тем длиннее текст. Привыкла уже к витиеватости и тяжести бесконечно выскакивающих причастных и деепричастных оборотов. Не под голос пишут! Глухие они все, что ли? Впрочем, прочитать в эфире возможно всё. Мне уж точно по силам. Обычная работа. Текучка.

В динамиках крик режиссёра:

— Так, работаем! Студия!

Через несколько секунд выпуск — в эфире, по экранам телевизоров буквы: «Таня Оливка».

* * *

У себя в городе Таня Олиференко не считалась красавицей. Худая, невысокая, «ботаничка и заточка», запойный читатель: от классики до прессы. Вела дневник с претензией на литературность. Очень странно, что не поступила в тамошний пед на филфак. Зато год проработала в газете, на гонорарах. Писала о всяких безобидных городских

проблемах и событиях. Прижилась. Но следующим летом рванула в Москву, где у неё никого не было.

Ей повезло, как тому дураку в казино: взяли на журфак МГУ, дневной, с общагой. Первая неделя занятий — ни шатко, ни валко. Чему тут учить-то будут? Но пленительная атмосфера: все эти преподаватели, «поднятая» богема, интеллигенты-неформалы. Старинное здание универа в ста шагах от Кремлёвской стены.

На третьей неделе окончательно втянулась в новый распорядок дня. Выходные, правда, скучноваты: ещё не знаешь, куда пойти, с кем. На факультете не сдружились ещё, повода не было: «дай лекцию списать» ещё не актуально, никто не прогуливает пока что, до сессии далеко. Соседка по комнате в общаге в пятницу вечером сбегает к себе в Дубну, это где-то в Подмосковье, часа три на электричке.

Но в тот день отчего-то задержалась после лекций, в деканате надо было что-то там дооформить. Дворик чудесный перед их корпусом. Круглая площадка под пологом старинных, как и сам *«наш универ»*, деревьев. Укрытие прям. С дороги почти не долетает ни шум, ни гарь бензинная, хоть и центр Москвы, города грязного, а движение просто плотнейшее, она столько машин в жизни не видела, сколько здесь за три минуты по Моховой улице до метро. Но пока не вышла за ворота, тут, как в саду, почти что благодать.

И дворик, круглый, перед выходом. Заметила не в первый раз, сидят там на лавочке какие-то двое. С пивом. Один худой в косой коже, второй в бомбере и сетчатой бейсболке козырьком назад, с банданой под ней. Пиво в банках, сигареты в зубах. Плохие парни. Или имидж такой, кто их тут разберёт.

— Барышня!

«Это точно не мне».

— Барышня!

«Блин, чо надо-то?» Кожаный бежит к ней. Заметила, что пивную банку свою поставил на золотой покров листвы, у чугунной ножки массивной «двуспальной» скамейки.

— Можно вас спросить?

— О чём же? — прям остолбенела. Разговаривает он вроде нормально.

— А вы не знаете такую... — назвал фамилию, фамилия Тане ничего не сказала. — Она типа японист, — уточнил кожаный.

— Я с журфака, — пожала плечами Оливка. Прозвучало не так гордо, как ей мечталось. — Мы с ИСАА не общаемся.

— Оу, журналист! Круто как! — худой прям обрадовался. Интересно, чему. — Пивка хошь? — он кивнул на скамейку. Там и правда стоял какой-то пакет, с бутылками, судя по очертаниям.

Кожаного звали Пит. Второй — Дэн. Сразу ей Дэн не понравился. Не то чтоб неприятен — просто неинтересная внешность, не приглядывалась. Лицо широкое, глазки маленькие, глубоко посаженные. Цвета какого-то непонятного, оловянный взгляд. От выпивки, может? Странный взгляд, сам по себе — как будто округ тебя смотрит. Рот безвольный, тонкие мягкие губы. У Пети, наоборот, всё резкое — губы чувственные, прихотливо очерченные, нос колючий, косточка в переносице. Щёки залиты лихорадочным румянцем. Может, от выпивки? А взгляд пронзительный, иногда тяжёлый даже. Но улыбка... а он часто смеялся.

А Дэн вот — шутил. Умел. Оказалось потом, что несколько угарных текстов для их группы сочинил именно он. Когда у Дэна в голове зачиналась очередная острота, глаза его загорались серебряным блеском, а губы напрягались в еле сдерживаемой улыбке, когда он, высказавшись бесстрастно, наблюдал за покатывающимися от смеха. Которые тоже не понимали, всерьёз он это или как — а это высший класс манипуляции аудиторией. В такие моменты Дэн казался Тане очень сильным и даже привлекательным.

Неделю они втроём встречались после занятий и ходили-бродили по набережной Москвы-реки. На «базу» её не приглашали: женщинам там не место, если они не музыканты! Таня как-то спросила, когда они вообще репетируют-то? «Да вот умеем мы, да... поздно вечером! Кстати, сейчас именно что программу новую репетируем. И ещё одну — но это уже мы с Дэном вписались в тему. Но там другая группа. Не рок-н-ролл вообще. Пока не скажем. Мало ли». Понятно, все смешки. Таня очень удивилась, когда в конце недели Пит объявил ей, что скоро концерт их основной группы и она приглашена. Даже более того — можно заскочить на базу, они-де хотят лояльной аудитории новые песни представить.

* * *

К Тане впервые столько мужского внимания. Вот прям чтоб два парня-москвича, интересные, какие-то творческие, и не лезут и ничего такого. Без грязи. У неё в городке такие, как она, слабо котировались. Мужики не собаки, на кости не бросаются,

все эти присказки. Там женщины-бабы, рослые, с квадратными задницами, валкой походкой, жирными сутулыми спинами, как у рыб промысловых. И приплод постоянный, постоянный... Тоненькая — это как порченая какая... не баба! А тут вот обратили внимание на неё, такую, нецелованную, нежное личико с намёком на неразбуженный бешеный темперамент. Вообще-то она и не хотела, чтоб на неё бросались. Вот совсем такого в мечтах не было. Что-то другое манило, потому и в Москву... Да, сюда прибыла уже немного пообтёршейся в профессии, с ворохом публикаций.

А учёба странная. На науку не похоже. Или просто — пристрелка? Но надо понять, как тут, в столицах, всё устроено, потом и подрабатывать можно будет. В газете там или ещё где.

Оливка — это прозвище придумал ей Петя. На её бледном лице с курносым носиком тёмные глаза выделялись, как две крупные оливки. Блестящие и влажные, под белизной крутого лба в пикантных родинках. Но у него не с глазами ассоциация родилась, а с фамилией. Спросил фамилию — ну, на всякий случай, и в гостевые списки на концерты чтоб вносить потом, когда-нибудь. Олиференко, фамилия.

— Хм, — сказал Петя, пожевал-побормотал: — Олифа, олива... Оливка!

— Крутое прозвище, — одобрил Дэн. — Нормальная кликуха — половина имиджа.

— Статьи свои так будешь подписывать — Таня Оливка. Красота!

Ей тоже понравилось.

* * *

Обычно они догуливали по набережной, пока пивко не кончалось. Потом парни ехали «на базу», свою или к кому-нибудь, поиграть или «поджемить». Оливка — в общагу. Ей всё ещё очень интересно было с ними общаться, но хотелось уже что-то послушать, что они там творят на своих «сейшен*ах*». Сейшен — интересное слово, откуда такое взялось вообще?

Через пару дней Дэн вдруг сказал:

— А у нас сейшен будет. Для друзей. Программу новую обкатываем, — она пристально посмотрела на него. Нарочито так, типа ну-ну, и к чему это ты, а? — Я к тому: приходи!

— Блин, а мы разве Оливку не приглашали? — удивился Пит.

— Когда? Сегодня? — спросила Оливка.

— Вообще, — ответил Пит. Дэн глянул на него, как на идиота.

— В субботу, — вздохнул Дэн. — В субботу. В «Форпосте». В пять — наш сейшн. Потом там чо-то... *ихнии* барды какие-то, пофиг.

— А он где, клуб в смысле? — спросила Оливка.

— На спортивке ж, — удивился Пит. Кто ж не знает «Форпост»?

— Метро «Спортивная», — уточнил Дэн. — Мы пораньше приедем, можем в метро пересечься.

Базой оказался перестроенный первый этаж кирпичного жилого дома на Хамовническом валу (название улицы тоже зацепилось в памяти), близ метро «Спортивная». Три окна — заложены кирпичами. За ними как раз — репетиционное помещение. В коридорах очень мило — детские рисунки, из изостудии тут же ютящейся. Не похоже на логово рокенрольного разврата.

На базу в день «закрытого сейшена» Пит, Дэн и Оливка прибыли раньше всех. Дэн и Пит, несмотря на свой раздолбайский вид, вечное пивко и сигареты-косяки в воспалённых губах, на репетиции не просто не опаздывали, а приходили раньше. Опаздывать у музыкантов считается хорошим тоном. А приходить раньше — ну это как бы вообще несерьёзно, не по-панковски. По-панковски в этом смысле вели себя только басист и клавишник. Наверное, потому, что оба пели ведущие партии попеременно, так что фронтмены-звёзды ж! Но до их прихода Пит и Дэн успевали «полабать» свои любимые песни.

У хозяина базы, невысокого дядечки с хвостиком редких волос, длинным носом и хитрыми глазками, получили ключи. Вошли в пустую комнату, стены которой обшиты дырявыми панелями.

— Блин, вот даже в такой день они тормозят, — пыхтел Пит, вытаскивая из стенного шкафчика «железо» — барабанные тарелки. И педаль. Это всё индивидуального пользования предметы — они, как и палочки, у каждого барабанщика свои.

— Да, задолбали, — согласился Дэн. — Уволить бы их на фиг.

Он усмехнулся. Пит замер на секунду.

— Ну, знаешь, если даже тебя достали... Он просто, — пояснил он Оливке, — всегда обломщиков этих наших отмазывает.

— Больше не буду, — пожал плечами Дэн. Он уже повесил на себя гитару (она тоже живёт тут от репы до репы, дома у него другая, гэдээровский «стратокастер»). — Помолчите все, я настроюсь.

Пит кивнул. Дэн взял несколько кварт, подкрутил колки, ещё раз по квартам, жахнул аккорд. Потом по флажолетам. Ну вообще идеально!

— Может, чайку? — спросил Пит Оливку.

Она пожала плечами. А что здесь готовится-варится, где, как, она ж не знает.

Тут вдруг на пороге возникла девушка. Высокая, стройная, крутые бёдра обтянуты джинсами из синего плотного денима. Сапожки — укороченные «казаки», которые тогда назывались — «крысы».

— Ой, блин, где твой драгоценный Дарик?

— Слушайте, он машину завести не может!

А у Дарика действительно была машина, отцова личная иномарка, не посольская. И на ней Дарик каждый раз возил свой шикарный эмулятор. Половина «фирменного» звучания группы — заслуга эмулятора Дарика. Ну и, конечно, его пальцев, натренированных музыкальной школой и училищем — почти десяток лет в общей сложности.

Дарик, «обрусевший болгарин», как он себя называл, пару раз в год бывал в настоящей загранице, не «куриной» Болгарии. Оттуда привозил диски, настоящие серебристо-радужные «компакты» с моднейшей музыкой. Не чурался попсы — «интересно, как клавиши сейчас пишут», отмазывался типа. Но остальное слушал всё правильное: альтернативный рок, металл, индастриал. То есть всё, что имело смысл слушать. И что имело смысл играть. Так Пит рассуждал. Ему, безусловно, очень хотелось быть в этой современной волне. Не хуже, чем на Западе. Даже так — одним из них. Никому он, конечно, об этом не говорил, даже Дэну. Но чувствовал, что Дэн тоже что-то такое думает. Да и раздолбаи — фронтмены эти, басист и Дарик... Все они на одной волне, чего уж говорить. Потому и сошлись два года назад. Тогда криво играли кавер*а,* а теперь своё, на русском и английском, и хотя с вторым языком, конечно, засада, но рашнтексты и стиль принесли славу в продвинутой среде столичной молодёжи, и сейчас клубные концерты случаются всё чаще. За два года поменялось всё. Группа стоит на пороге славы, считал Пит. Вот ещё немножко поднажать, и...

— Надо выпить, — подумал он вслух, имея в виду чай. Чай и только чай. Сегодня. До вечера.

— Да вам только выпивать сейчас! — воскликнула девушка, сжав губы.

— А что такого — репа-то один хрен накрылась.

— Нам выступать сегодня, — прошипел Дэн.

— Ладно, и так назубок всё знаем, — пожал плечами Пит. — Хотя разогреться не мешает.

— А *такого* то, что ты ко мне приставать начнёшь, — сказала она безо всякой интонации.

— Ты офигела такое говорить? Я кто, по-твоему?

— Животное, кто ж ещё...

— Прекратите! Не надо при... — он глянул на Оливку.

— Ах-ах, — воскликнула тёлка с фальшивым умилением, — не при детях. Не при *чистых.* Я по*н*яла, блин. Всё, базара нет.

— Тань, — вскричал Дэн, — не слушай её... Девочки, сварите чайку лучше, а? Ну п-пожалуйста.

— А давайте, — вдруг оживилась тёлка, — замутим?

— Денег нет, — сказал Пит, — и так уже столько промутили, что... Мне вот пластик новый нужен.

— Да? Чем старый плох?

— Не настраивается, звук плывёт. А я хочу звучать фирменно.

— Да ты только про бухло, — рассмеялась тёлка. — Я имела в виду — замутим, ну, такое, группен...

— Заткнись, а, — прошипел Дэн.

— Всё-всё, молчу-молчу! Какие вы все... вялые!

— О, блин, двое из ларца! — воскликнул Пит. Все обернулись к двери, в которую входили басист и Дарик.

— На извозчике добрались, — Дарик со вздохом поставил свой драгоценный эмулятор на поп*а.*

— Ну, теперь хоть полабать можно, — Дэн потыкал ногой в педали, жахнул какой-то аккорд. — Давайте уже, включайтесь.

— Не гони волну, — усмехнулся басист, расстёгивая кофр со своим пятиструнным MusicMan'ом.

— Не имей Amati, а умей лабати, — сказал Дарик Питу, который вообще-то сейчас молчал и не выёживался, да и играл не на Amati. Пит не отреагировал, наклонился поправить педаль. Это ж просто у них ритуал такой, подколки бесконечные, обесцвеченные, обесцененные.

— Ладно, сестричка, нам пора, — сказал девушка Дарика Оливке. Та удивлённо

посмотрела на неё. — Пойдём на улицу покурим. Потом чайку заварим. Травяного, — усмехнулась она.

— Только без мяты! — крикнул было Дарик, но тему влияние-мяты-на-потенцию развивать не стал, тут же отвлёкся на настройки своих клавиш.

— Я не курю, — сказала на улице Оливка извиняющимся тоном, глядя на протянутую ей пачку «Lucky Strike». Девушка Дарика округлила глаза:

— Ой, *чистая* какая! Прелесть просто, сестричка... Ноль пафоса и понтов провинциальных. Люблю прям!

Она бросила окурок около урны, растёрла его сапожком с острым носом.

— Какие уж тут понты, — сказала Оливка. И, взглянув в глаза собеседнице, вдруг неожиданно для самой себе спросила: — А я что, разговариваю как будто с периферии?

— Ну-у-у-у... Есть немного. Но не парься, сейчас все говорят, как умеют. Понаехали в Москву!

— Мне нельзя говорить, как я умею, — сказала серьёзно Оливка. — Мне надо как надо. Как на радио. Я на журфаке учусь.

— Ого! Ладно, пошли чаёк варить. Расскажешь, как там у вас.

Вечером прибыла лояльная публика. Зал предсказуемо забили девушки и собутыльники музыкантов.

— Тебя как зовут, сестричка? — спрашивали её.

— Оливка, — автоматически отвечала она. Почему-то легко было представиться этим новообретённым прозвищем, а не настоящим именем. Но тут у всех были прозвища.

А потом кто-то, чья-то девушка тоже:

— А ты *с кем*?

— Да ни с кем, — растерялась Оливка. — Ну, в смысле, Пит и Дэн меня пригласили...

— Хм, — девушка на секунду нахмурилась. — А мой парень — Слэм... ну, басист, — пояснила она.

— Ага, круто, — Оливка не нашла сказать ничего умнее. Девица хохотнула:

— Когда как! Иногда не очень, но в общем да!

Непонятно, что она имела в виду. Но «мой парень — музыкант» — это круто звучит. Если б можно было так говорить вместо надоевшего «*я ни с кем*». По сути, вообще ни с кем в Москве этой. Со всеми общение чисто формальное.

Наконец, наступила следующая суббота и настоящий концерт, с реальной публикой, купившей билеты. Ну, не все, конечно, купили, но по большей части. Новые, незнакомые люди. Концерт в клубе у метро «Улица 1905 года» (московская топонимика продолжала Таню удивлять). Полный зал, биток, ощущение Вудстока, хоть танцпол и небольшой, несколько тесных квадратных метров с пропотевшим тёплым воздухом над ними. Остальной зал в неподвижных кожаных креслах и деревянных столиках. Массивная стойка бара, за которой, изнурённый жаждой, стоишь по полчаса, пока официант не соизволит на тебя внимание обратить.

Да, публика новая и, кстати, на удивление мажористая. Прилично одетые. Гранж-мода — рубашки клетчатые, рваные джинсы, но видно, что фирма. И ботинки эти — некрасивые, но жутко дорогие, «Доктор Мартенс». А так общий вид такой, который Танина мама назвала б «за дровами сходить». А ещё все почти лысые и/или в бейсбольных кепках с очень толсто вышитыми надписями. Пара человек с дреддами. Вот это просто шок — она всегда думала, что такие волосы, «колтуны», мать бы сказала (в их городе на санобработку б отправили принудительно), только у Боба Марли. И что у него такие от рождения. А вот тут вот вполне славянские лица и пшеничного цвета дрэдды. Странно. Может, себе заплести такие? Она, конечно, ещё не знала, сколько это удовольствие стоит; много лет спустя заплела, когда деньги появились и социальный статус позволял ей чудить с внешним видом.

* * *

По словам самих членов группы, Sex Pestizzides играли такую музыку, которой ещё нет. Ну, то есть подобное в России никто не играет. Только на Западе. В США в особенности. Индастриал плюс хардкор — такой вот стиль. Жанр: «альтернатива»; так тогда что угодно называлось, что громкое и скрипучее. А тут всё как надо: тяжелые гитары, сбитые барабаны, рёв вокалиста, срывающийся в рэп-речитатив. На безрыбье и рак, понятно, рыба, а в пустыне и... так что круг поклонников они обрели быстро. Их крутили по радио в программе «Учитесь плавать» — про именно такую музыку; ведущему нечего было из наших ставить, так что он почти в каждой программе их песню

какую-нибудь заводил, и альбом, таким образом, слышала вся неформальская Москва и Питер. По клубам играли — за небольшие совсем деньги, но чувствовалось — накатывает волна. Учитесь плавать!

В грохоте концерта Оливка расслышала, что «Булгар» Благоев на клавишах своих играет аккорды хитрые, альтерированные. Удивилась — не тому, что он, в общем-то, серьёзный музыкант, с композиторским даже мышлением, а тому, что сама автоматически анализирует гармонию и форму. Семена музыкальной школы неожиданно дали всходы. Куда их теперь девать?

Она рассказала парням о своём открытии... «да ты, блин, прям музыкальный критик! Слушай, тебе надо это — статьи писать. Про нас, ага. Или нет — лучше на радио. На телек. Давай я со Скляром поговорю? Каким ещё? Ну, который учитесь плавать... или с Троицким?»

Дэн отрывался на сцене — пухлый торс, ручейки пота сияют в софитах, капли летят, как от пса, сушащего тело после... Толпа прыгала и орала. Ближе к финалу Дэн бросился в толпу — не глядя, с гитарой наперевес — Оливка схватилась за горло...

Руки фанатов передавали Дэна, продолжавшего пилить соло, дальше, к задним рядам, потом так же вернули его обратно, поставили на сцену. Это был триумф.

Оливке казалось, что она сошла с ума, либо сильно пьяная, хотя не пила алкоголь ни сегодня, ни вообще никогда. После концерта музыкантов, как это водится, поклонники забрали на «афтепати» — впервые Оливка услышала это слово, спросила: «К-куда?» — «Недалеко, — сказал Дэн. — На Ленинском тут... нас отвезут, не парься». Нас?

В квартире с четырёхметровыми потолками было множество комнат и огромная кухня. В одной комнате танцевали. Тогда все заслушивались саунтреком из «Криминального чтива». На вечеринках обязательно ставили кассету, где сначала забавный твист Чака Берри, потом баллада Girl, You'll be a Woman Soon. Пит говорил, что это перепевка: у его родителей есть старая пластинка, отечественная причём, где песню поёт сам автор, Нил Даймонд, который её сочинил чуть ли не в шестидесятых, а то и раньше. Но эта новая версия — как сёрф, с дрожащей гитарой, она лучше и современнее. На кухне выпивали и курили траву. В остальных комнатах, тёмных, тоже выпивали, но в основном по двое ныкались по углам, диванам, креслам, шкафам и кладовкам.

Утром Пит вошёл в комнату, где на гигантской кровати лежал кто-то неузнаваемый в одежде и, под пледом, Дэн и Оливка.

— Толстый, вставай, пошли... — Пит осёкся, поймав взглядом блаженно сопящую, как ребёнок, Оливку. — Ты даёшь, блин, толстый...

— Погодь, щас, — пробормотал тот сквозь сон.

— Ладно, досыпай. Герой-любовник. Группи-мэйкер.

И ушёл домой один. Благо там недалеко было, а погода стояла тёплая.

* * *

Ещё летом Дэн и Пит свели знакомство с одним продюсером, про которого в тусовке никто не слыхал. Он двигал первый свой проект — девчачью группу. Необычную. Провокационную. Типа лесби. Он сам бывший детский психолог, то есть профессиональный манипулятор. Решил сделать шокирующий поп-проект. Получилось. Две песни гремели повсюду. И он ухитрился подписать их на иностранном лейбле на отделении — те сразу предложили в Европу и Америку, и группа там прогремела. А в Японии стала культовой — манга аниме имидж девочек-школьниц.

Сложность такая: альбом был сделан саунд-продюсером полностью электронным, а это значит, создатель группы, продюсер-менеджер, считал, что за границей надо рубиться вживую и жёстко. Чтоб совсем шок и шоу. Шок-шоу — формат благородного происхождения. Как Элис Купер, WASP, Kiss и прочие. А теперь и русские своё веское слово сказали.

Искал гитариста, барабанщика и клавишника «в стиле альтернатива, индастриал попсовый». Молодых, продвинутых, как тогда говорили. Звук, понятно, агрессивный чтоб, а у нас слов-то типа «попсовый индастриал» почти никто не знал и играть такое серьёзно никто не играл по причинам техническим и вообще — отставания масскульта российского от общемировых тенденций, так сказать.

Так вот, наводку на продюсера этого передал Питу звукреж с их репетиционной базы. Крутая, говорит, тема — гастроли грядут забугорные (человек старшего поколения, он выражался такими словами), за полгода на квартиру заработаете. При слове квартира любой москвич вздрагивает; Пит и Дэн, «отцы русской альтернативы», тогда всё ещё проживали с родителями в панельных двушках на Юго-Западе.

Они встретились с продюсером, очень оживлённо с ним побеседовали, а когда вышли, то не поняли, о чём вообще шёл разговор, какие из него сделать выводы, и не является ли данный т.н. продюсер шизофреником в маниакальной стадии. Но никто

не торопил, времени на раздумья положили месяца два, а девочки пока с хореографами и коучами по вокалу мастерство дооттачивают. Пит и Дэн понимали, что решение только за ними, поскольку конкурентов на это место у них не было и быть не могло. Конечно, нарождалась целая субкультура такой вот музыки. Но все в основном играли только своё, были самоучками. Пит и Дэн же, несмотря на раздолбайский вид, и в музыкалке хорошо учились, и после окончания постоянно дошлифовывали мастерство. Они умели «снять» всё, любую песню западной группы. Наизусть знали все официальные записи Red Hot Chili Peppers, где нерегулярные барабанные сбивки и гитара слегка детонирует — когда звучит вроде всё правильно и понятно, но в реальности фиг подберёшь, чтоб фирменно звучало.

В начале сентября группу Sex Pestizzides пригласили в Питер на фестиваль, который какие-то политики местные организовали с целью заигрывания с молодёжью. Мероприятие, сказал их директор, он же старший брат басиста, «бо'атое» — неловкая попытка сымитировать фрикативное «украинское» «г». Директор сразу «прохавал базар», что тут можно требовать хорошие условия. И «по райдеру» выторговал всей команде отдельные номера в хорошем отеле. Впервые они жили на гастролях в человеческих условиях. В лучшем случае номера на двоих, а директор с кем-нибудь на «экстра-бэд», матрасике на полу то есть. А так вообще либо одним днём оборачивались, если по Подмосковью или Золотому кольцу, либо «вписку» у знакомых-друзей-фанатов искали. И находили, что характерно.

После ураганного выступления все братались за кулисами. Барабанщик хэдлайнера, американской хардкор-группы, почитаемой ещё с 80-х, похвалил Пита: «You're a good drummer!» Тот смутился, пробормотал: «I know my level». Получилось несколько вызывающе, хотя имелось в виду: да ну что у меня за уровень, что вы, что вы, вы — боги, а мы так тут, баловаемся! Американец захохотал, что «yeah you're great! Guys, you great!» Потом уже все носы мочили в хайболлах с бесконечно подливаемым виски, который туго тающие кубики льда не успевали разбавлять, и ржали, и тёрли на смеси русского, английского, финского. Потом оказались в знаменитом угловом доме. Чья-то гигантская квартира. Там своя «простава», частная. От мажора-поклонника. Почему-то много сухого мартини с оливками. Наверное, для эстетики. Все в основном налегали опять на виски и водочку, а оливки... присказка такая была: когда кончается водка, закуска превращается в еду.

Утром Пит очнулся где-то в углу. Поёжился, хлюпая носом. Обвёл глазами комнату: слоистый дым до потолка. В соседней комнате кто-то постанывает. Пит резко встал, сильно пошатнувшись и чуть не рухнув обратно на пол. Нашёл Дэна.

— Вставай давай. Пошли за пивком.

Дэн посмотрел на него оловянными глазами, через щёлочки тяжёлых век.

— Не могу-у-у...

— Вот потому и пошли. Не тяни. Поговорить надо.

— О ч-чём, блин... ты рехнулся ... — он снова сомкнул глаза. Хорошо, что он был в спортивной кофте с капюшоном с надписью Biohazard — Пит просто дёрнул его вверх за капюшон.

— Ахринел, сука, убью...

Но через полчаса они сидели в случайной забегаловке на Невском. Блинчики у Пита на тарелке. По два пластиковых стакана с пивом у каждого. Дэн сразу осушил половину своего, и теперь глаза его блестели.

— Мне надоел этот панк-рок, — сказал Пит.

— Ты о чём?

— Да обо всём.

— Ты чо, всё только начинается! Мы ж, блин, выступили в таком...

— Угу, — кивнул Пит, пристально глядя на Дэна. — Это всё начала конца. Весь этот фестиваль.

— Т-ты о чём? — повторил Дэн.

— Надо соглашаться, — сказал Пит как будто самому себе, глядя в сторону.

— На что? Ты можешь нормально говорить?

— На предложение продюсера этого.

Пит назвал фамилию того, кто предложил им работу в его гёрлз-бэнде. Впервые Пит, говоря о нём, назвал его по фамилии. Между собой они называли его «сумасшедший».

— Сумасшедшего?

Пит отпил пива. Шумно вдохнул воздух через зубы.

— Сумасшедшими мы будем, если откажемся.

— Но это ж, блин... — Дэн, кажется, окончательно протрезвел и ловил взгляд Пита. — Это ж попса!

Тот покачал головой:

— Это нам решать, попса или нет. Будем играть так, как нам самим катит. По хардкору. Понравится — отлично, нет — ради бога, до-о-о свиданья! В любом случае, себе мы изменять не станем, — Дэн тяжело вздохнул. — Ладно, Дэн, допивай и пошли.

— К-куда?

— Номер в отеле сдавать. У них там выселение до 11-ти вроде. Чек-аут.

— You can check out any time you like...

— Ес ит ыз.

Вечером группа улетела в Москву.

* * *

Она долго не решалась сказать Дэну, что беременна. Повстречались, болтали, она раз продинамила его как-то ловко, удалось. При следующей встрече поняла, что никогда уже не скажет, если не сразу сейчас.

Он глядел на неё не мигая. И сразу как-то весь обмяк.

— Дэн, надо что-то решать с этой ситуацией, — голос дрогнул от непривычки произносить штампованные фразы.

И тут разрыдалась, и всхлипывала, что не знает, как такое могло, и «я тут одна совсем, отчислят, не могу вернуться в деревеньку». «Деревенька» её совсем добила. Дэн прям испугался, что она сейчас прям в обморок упадёт или в падучей забьётся, и всё повторял:

— Тихо, тихо, маленькая. Ну тихо, тихо... Чёрт, тебе б выпить надо.

— Да ненавижу водку вашу!

— Тебе-то валерьянки. Но вот мне б водочки, — вздохнул он. «Она-то понятно, но я-то что, как мальчик? Отец русской альтернативы, блин. Папаша, ёлки».

В тот вечер все успокоились, решили, что... а что конкретно решили? Ничего конкретного. Но что найдут выход. Под выходом каждый понимал своё.

А назавтра Дэн сказал:

— Короче, я поговорю с матерью моей. Она тебя тут приютит, я думаю. Пока я на гастролях буду.

— Где?

Он объяснил, что они согласились на предложение сумасшедшего. Давно согласились. Тур на год.

— А что такого? Крутая работа, вернусь — квартиру куплю.

— Чёрт, ты ж уедешь! — Оливка разрыдалась.

— Ну да, это ж моя работа. А мать...

— Что она обо мне подумает?

— О тебе? Ничего. Чего ей о тебе думать-то? Она о себе подумает, что бабкой стала. И, уверен, это её обрадует.

Оливка замолкла. Втянула носом. Проглотила ком в горле.

— Ладно. Дэн, мне всё это надо переварить.

Вернувшись в общагу, легла. Думала, что сейчас заснёт, но ворочалась, ворочалась. Что-то мешало. Потом вроде успокоилась. И так лежала не шевелясь до ночи. Ночью проблема решилась сама собою... Соседка вызвала скорую. В больнице Оливку «почистили-подштопали», как она потом говорила. Как будто косточку вынули. Или, наоборот, новая выросла. Которую не разобьёшь.

После больницы они виделись — как друзья. Он не знал, как себя вести. Она совершенно спокойна, слишком спокойна. Решил, что не отошла пока что. Сообщил, что уезжает такого-то числа, уже точно, билеты есть. Летят на шоу-кейс куда-то в Скандинавию. Она пожелала ему счастливого пути.К возвращению Дэна с гастролей Оливка была уже брендом русского MTV.

Звонила домой. «Доча, когда приедешь в гости?» Резануло, что теперь уже не «домой», а — «в гости».

Почти бесснежное начало декабря в Москве — редкость. Но воздух окончательно выстудился, поверхности луж схватились бесшумно-хрусткой ледяною плёнкой, превратились в слепые зеркала, которые ничего не отражали. Кривые скелеты местных деревьев, нездоровых, как неухоженных, на пустой голубизне неба.

Оливка шла по улице и представляла свой городок, утопавший в пушистом снегу. Теперь уже можно съездить в гости домой. На каникулы. Да, жутко выгляжу, конечно, заучилась же совсем, вконец. Всё объяснимо. Но трудно будет не проговориться. Идущий навстречу парень, длинный, бледный, с развязной походкой, озирающийся, бросает в лужу пачку из-под сигарет, даже не удосужившись её как-то скомкать поплотнее и прицелиться в решётку канализационную. Но это уж паче чаяния. Московская зима оказалась удивительно грязной.

На *своей* Моховой зашла в церковь. Её в детстве ещё бабка покрестила, тайно. Но

родители, узнав, не заскандалили, а даже согласились, что так лучше: теперь все крещёные. Теперь каждую неделю стала причащаться.

Стала больше курить, как сама себе объясняла, чтоб нижний регистр разрабатывать. Тут как раз подвернулась стажировка на телевидении. Там она сперва позанималась какой-то ерундой в студии, принеси-подай-позвони-встреть-гостей-эфира, вот это всё, потом её стали отправлять на съёмки, побегала по съёмкам удачно, шеф-редактор похвалил, телевидение, сказал, явно твоё, смеясь, добавил, что телевидение — рай для незамужних карьеристок, в общем — продвинешься. И очень удивился, когда она попросила характеристику и сказала, что уходит с этого канала. Потому что запускается русское MTV, где, собственно, нужны все, от ведущих до корров, продюсеров и секретарей. «Далеко пойдёшь!»

По тусовке она нашла телефон тогдашнего главного на MTV, просто позвонила и, обнаглев от робости, заявила, что она — Таня Оливка, корреспондент, знающий всех в музыкальной тусовке Москвы, и готова посотрудничать на новом канале.

— Хм, — хмыкнул главный. И через вечную паузу: — Ну и приходи... послезавтра. Позвони по местному снизу, тебя встретят. Паспорт не забудь. На всякий пожарный. Фамилию напомни?.. Оль-ливка! Есть, записал.

Гудки в трубке.

Её действительно встретили внизу. Она протянула паспорт в окошко бюро пропусков, получила бумажку на один день и вскоре стала официально называться: корреспондент Таня Оливка. Так и титровали. А потом и ведущей хит-парада. А потом ведущей ток-шоу. По фамилии её теперь называли только преподаватели, которых она видела нечасто.

Короче говоря, сессию на третьем курсе она, вчерашняя ботаничка и заточка, едва не завалила. Но бывшей ботаничке это было *сугубо фиолетово*: ясно ж, что никакие дипломы для работы в журналистике никакой роли не играют. Иногда заглядывая на факультет — из общаги она съехала в комнату в двушке на окраине, — удивлялась, что сокурсники парятся из-за каких-то никому не нужных рефератов про историю зарубежной журналистики и прочее. Добрая половина курса, впрочем, намеревалась идти в пиар, где по-любому денег больше. Лучше — в политический пиар. Один — странный тип, худой длинноволосый очкарик, с длинными зубами и шаткой, как у зомби, походкой, вечно одетый в чёрную футболку с Егором Летовым за колючей проволокой (явно так намекал на мнимое сходство с кумиром), — писал заметки-расследования для коммунистической газеты, под заголовками типа «Как закалялась шваль». Годы спустя он станет прочно вписанным в госсистему пропагандистом; иногда из окна своей двушки в элитном небоскрёбе она будет видеть, как он приезжает ночью на таком широком и блестящем, обтекаемом, как дельфин, «мерседесе». Соседей не выбирают.

А диплом она до сих пор не получила. Но его никогда у неё и не спрашивали. Какой спрос с телезвезды-то?

Александр ГОРОХОВ

ФАРФОРОВАЯ КУКЛА

Иван Федорович выключил свет. Лег спать. Начал уходить в сон. Зазудел комар. Иван Федорович отмахнул рукой. Тот затих. Но сон ушел. «А сколько живут комары? — подумал Иван Федорович, потом ещё подумал и решил: — Должно быть, недолго, — поворочался и снова подумал: — Разбудил, сволочь. Говорят, что кровь пьют только комарихи».

Вздохнул и стал делать то, чего люди обычно не делают, а если случается, то весьма редко — стал размышлять: «Как это в тундре живут. Там же этого комарья и мошки — тучи. А как терпят олени? Жуть. Говорят, разведчикам выдают специальные майки из толстых веревок, чтобы комары носом своим не дотянулись до тела. А у нас никому не выдавали». На этом месте мысли закончились, Иван Федорович вздохнул, повернулся на другой бок. В голове, непонятно почему, вдруг запело то, что давным-давно пели пацанами в подъезде. Теперь поют про другое, в подъездах вообще не поют, а запомнилось то, давнее:

По тундре, по железной дороге,
Где мчится курьерский Воркута — Ленинград,
Мы бежали, два друга, уходя от погони,
Уходя от погони и криков солдат...

«Черт-те что, какой-то мелкий комаришка, а весь сон перебил. Сколько же эти твари живут. Небось, не больше двух дней. Напьется крови, личинки выбросит, и всё. И сдохнет. Говорят, что беглые зэки назад возвращались — не выдерживали гнуса. Приходили опухшими от укусов. Полумертвыми. Скрыться от этой нечисти некуда было. Хорошо, что мне не там служить довелось. Всё в горах, пустынях да на Дальнем Востоке. Но у нас терпеть можно было, — Иван Федорович повернулся лицом к стене. У соседей было тихо. — Перебил, зараза, весь сон перебил, — ворчал Иван Федорович. — А там, на севере, летом вообще ночи нет. Солнце не заходит. Дойдет до горизонта, на сколько-то минут сгинет, а потом снова светит». За ночь Иван Федорович измаялся и только под утро задремал. Потом уснул...

— Галька! Галька, выходи! Я больше не буду! Прости родная! — заорал поддатый парень. — Хочешь, я тебе спою! — и, не дожидаясь согласия, заорал: — Сам себе казался я таким же клёном, только не опавшим, а ваще зеленым.

Галька молчала, дом просыпался. Субботний утренний сон, целую неделю ожидаемый, как несбывшаяся мечта, обломился. Иван Федорович встал, не открывая глаз пошарил в тумбочке, нашел, выдернул чеку, подошел к окну, открыл створку, потом открыл глаза, зевнул, увидел разбудившую гадину, крикнул:

— Получи, фашист, гранату, — кинул. Когда стихло, под одобрение соседей пошел досыпать. В полусне ругнулся. Поворочался. Вспомнил про ночного комара, сказал: — И ты, сволочь, дождешься.

Заснул. Ненадолго. Запричитал дворник:

— Совсем одурели! Они тут, панимаишь, орут, а я их убирай. Они гранаты, а кто асфальт оттирать будет? Никто. Опять Санджа. Платют три копейки, а сделай им и то, и это. Уеду, домой уеду. Аллах свидетель, до получки доубираю и уеду. Совсем одурели. Они бабах, а Санжа патом убирай! Домой уеду.

Настроения совсем не стало. Во сне Иван Федорович снова ругнулся, вздохнул и забылся.

По улице шел пьяный робот и горланил:

— Сам себе казался я таким же клоном, только не... — на этом месте бедолага споткнулся, покатился, скрипя смесью железа и пластика, по асфальту. Поднялся, вошел во двор и заорал: — Гайка! Выходи! Я больше не буду! Прости, родная!

В окне прогромыхало, и на асфальт грохнулась тележка. Потом завоняло ацетоновой краской. Потом вывалилась подкрашенная наблестюченная Гайка. Они обнялись и, шурша подшипниками, укатили.

Комар бился о стекло, пытался оказаться там, в другом мире. Вдруг в его глазах сложилось, увидел улицу, засмотрелся. Ужаснулся. Замолк. Должно быть, задумался. Иван Федорович тоже задумался. Решил, что не могут пить кровь только комарихи. Не могут. Кто только у нас кровь не пьёт, а у этих только комарихи. Так не бывает.

Снова подумал, что так не бывает — чтобы он и вдруг в одной постели с фарфоровой куклой!

Она появилась, должно быть, не так давно. Точно, что раньше её здесь не было — сразу бы увидели. Потому что приметная. У нас даже самые длинноногие модницы одинаковы. Стандартные платья со стандартной крутой этикеткой фирмового магазина, сляпанные в вонючем подвале нелегалами из ближней Азии. Туфли с каблуками выше двухэтажного дома — из другого подвала. Прически из прошлогоднего номера журнала, срисованные парикмахершей Танюхой или Каринкой с красотки на затертой блестящей обложке. Если модно желтое — все желтые, красное — все красные. А вообще-то все всегда серые и одинаковые. Как штампованные сковородки. И модницы, и вообще.

И трепня до полуночи возле круглосуточного магазинишки в подвале пятиэтажки об одном и том же. Пузырь водяры разольют по пластиковым стаканишкам, девицам добавят тархуновой или пепсиковой шипучки, и пошел треп ни о чем. Бу-бу-бу, ду-ду-ду, ля-ля-ля... В подвале вообще-то ничего алкогольного никогда не продают. Только воду. Минералку, «Тархун», «Пепси». Гы-гы. Это знают все. Даже менты. Потому всю ночь страждущие и съезжаются на проржавевших иномарках или наших драндулетах. А потом тут и остаются. Добавляют, когда закончится пойло. И треплются.

Все затюканы. Все одинаково курят, одинаково пьют, одинаково остроумят. Одинаково над одним и тем же ржут. Одинаково закусывают. Одинаково живут. Короче, всем хреново. Лучше сдохнуть, чем так жить. В безденежье, бессмысленной тупой работе или, наоборот, на шее у старухи матери, на её смехотворную пенсию, потому что негде найти нормальную работу. В общем, живут в беспросветности.

Когда наши её увидели, сложилось сразу: «Фарфоровая кукла». Действительно. Белое напудренное лицо. Нарумяненные щечки. Пухленькие маленькие накрашенные губки. Огромная начесанная прическа. Шляпка, сойти с ума, как только такое могло прийти в голову — с черной сеткой-вуалью. Большие голубые глазища. Ну, точно — фарфоровая кукла. Кто первый назвал — неизвестно. Должно быть, все сразу.

Иван Федорович тоже с первого раза определил — фарфоровая кукла. Хотел сказать: «Мадам, купите в гастрономе кило мозгов, вставьте где не хватает, а потом по улицам в таком виде гуляйте, а то народ может и...» — но промолчал. Взрослый мужик, а застеснялся, покраснел, подумал: «Вот дуреха несчастная. Тяжело ей тут будет. Белых ворон у нас не любят. Заклюют», — и сказал:

— Здравствуйте.

Она ответила. И всё. Разошлись. Потом долго, с полгода, не видел. Увидел зимой. Был выходной. Утро. На улице никого. Жуткий гололёд. И она. Шла в ботиночках на восьмисантиметровых каблуках-шпильках. Наступала осторожно. И все равно грохнулась. Пакет пластиковый сперва подлетел вверх, потом хлобысь! И потек из него зеленый яблочный сок. Вот кукла! Ну, кто у нас пьёт яблочный сок. Никто. Уже молчу про каблуки в гололёд. Это вообще ни в какие ворота. Идиотизм. Ногу поломала. Лежит. Потом села. На глазах слёзы замерзли. Молчит, не ревет, не стонет. Молчит. А слезы текут и замерзают. И сок течет и замерзает.

Пришлось подойти, вызвать скорую. Себя назвать. Потом адрес. Без этого не приехали бы. Отвез. На тележке санитары доставили в приемное отделение. Ворчливая старуха-врачиха долго осматривала. Иван Федорович томился. Ждал за дверью. Пытался сопроводить до палаты. Не пустили. Он перекрестился, ушел домой и почти забыл про этот свой казус.

А она, когда выздоровела, узнала, где живет, приперлась спасибо сказать. Бутылку вина с кучей медалей на этикетке принесла и пакет с апельсинами. Господи, точно не от мира сего. Купила тут у нас в гастрономе. Там на пойло такие этикетки ляпают, что хоть на банкет к президенту иди. Только бабки плати. Одним словом, чего с неё взять, убогая на бошку. Ничего не понимает. Непрактичная.

Посидели, помолчали. Иван Федорович, не зная, чего сказать, предложил чаю. Пока чайник закипал, выпили винишко. Постепенно, с трудом, но разговорились.

И верно, как думал, так и оказалось. Не от мира сего. Закончила консерваторию. Пела в опере. Публике понравилась. Стала примой. Куча поклонников. Успех и всё такое. На гастролях простудилась. Заболела. Нет бы дурёхе отлежаться, упросили эти, которые всё устраивали, их пожалела, вошла в положение — допела положенные концерты. И тю-тю. Пропал голос. Лечилась. Долго. Делала, что положено, полоскала, всякие там процедуры. По светилам медицинским ходила. Уйма времени впустую. Не помогло. Поклонников как ветром сдуло. Один остался. Военный. Офицер. Раньше бы

не рискнул, а тут предложил руку и сердце. Поженились. Её любил. Видать, по-настоящему. Тут ей повезло.

Объездила с мужем всю страну. Он служил. Она заведовала армейскими клубами, учила детей пению, руководила самодеятельными хорами. Поначалу, за глаза, над странной примадонной без голоса подхихикивали, потом, когда узнавали поближе, принимали, наверное, любили. Плакали, когда расставались. Писали письма. Рассказывали о своих делах, как кто из знакомых живет. Но не было места за долгую службу, которое увидала бы и сказала: «Здесь я хочу жить. Всегда».

В конце службы мужа, уже полковника, перевели сюда. Обещали и её устроить в гарнизонный дом офицеров. По должности должны были дать приличную большую квартиру в центре, в новостройке. Они с мужем ходили смотреть. Гуляли по городу, по набережной и в один голос сказали: «Здесь я хочу жить! Всегда». Удивились, обнялись, и она внезапно поняла, что любит этого человека. Любит того, с кем прожила всю жизнь, и не знала, что любит. Не знала потому, что думала больше о своем потерянном голосе, других мелких бедах. Принимала его любовь, относилась к нему по-доброму, скорее как к другу, который помог в трудный час. А теперь вдруг поняла, что любит. Она стала дома напевать, почувствовала, что голос возвращается. Муж обрадовался. Размечтались, как будет выступать, петь в местном театре. В семье наступило счастье.

Но муж умер. Внезапно. Стоял, разговаривал с офицерами, шутил. Засмеялся, вдруг стал оседать на асфальт и умер. Врачи сказали — оторвался тромб. Умер мгновенно.

На похоронах оркестр сыграл что положено. Солдаты выстрелили из карабинов. Командиры сказали слова. Она стояла возле гроба и не плакала. Как будто там был чужой, незнакомый человек. Она не понимала, что случилось. Не понимала, как теперь жить. Да и зачем... Начала считать себя виноватой в его смерти. Вспоминала, выискивала случаи, когда обижала своего любимого. Замкнулась. Стало не до песен. Голос снова пропал. Вернее, не пропал, а он ей оказался ненужным. О квартире в центре, само собой, никто уже не говорил. Но всё же добрые начальники пожалели и дали однокомнатную. Тут.

Надо было заполнять время, занимала себя мелкими заботами. Перекладывала вещи, расставляла мебель. Выходила за едой. По привычке покупала на двоих, готовила, наливала в две тарелки и потом, когда понимала, что мужа нет, что из его тарелки никто не съест, плакала.

Однажды в магазине встретила сослуживца мужа. Тот помог донести нетяжелую сумку с продуктами. Напросился в гости. Через день пришел с бутылкой коньяка. Она сначала не поняла, чего это он пришел, потом дошло. Возмутилась, проревела ночь. Наутро посмотрелась в зеркало, увидела, что еще весьма эффектна и такие любители будут и будут. А ей этого не надо. Она жила любовью к мужу, пусть поздно понятой, но настоящей. Взгляды, ухаживания и флирт чужих людей ей были неприятны, даже думать о них было противно. Захотелось стать неприметной некрасивой теткой, которую никто не замечает, никто не пристает, не лезет с ухаживаниями, расспросами, предложениями.

Вспомнила давнишнюю театральную жизнь. Вспомнила, как служила после консерватории в театре оперетты, играла молоденьких дурочек и комических старух. Впервые после похорон мужа засмеялась, подмигнула зеркалу и в старых чемоданах нашла концертные наряды. Оказались не узки и не широки, а как раз впору. Нарядилась, чтобы выглядеть дурковато. Придумала походочку и... стала Куклой. Отвадила этого, а другие, увидев её такой, не стали и приставать. Так избавилась от возможных ухажёров. Рассказывала свою историю Кукла со смешком, будто говорила не о себе. Потом замерла, стала настоящей, глянула на часы, встрепенулась, сказала, что засиделась, что пора идти, заторопилась домой.

Иван Федорович подал гостье пальто, потом не удержался и спросил:

— А чего теперь не поете? Говорите вроде бы нормально, а чего петь?

Кукла вздохнула, покачала головой, сказала:

— Понимаете, говорить — это одно, а петь... — и развела руками.

— А чем же вы занимаетесь? — спросил Иван Федорович, не из вежливости, не чтобы продолжить беседу, а по-настоящему, искренне. Кукла пожала плечами, вздохнула, сказала:

— Пенсию за мужа небольшую дают. Так, живу потихонечку. Хотела в Доме пионеров, или как он теперь называется, кружок пения вести. Не взяли. Сказали, что штат заполнен. Я в коридоре постояла, послушала — ужас. Уважаемый Иван Федорович, они там калечат молоденькие голоса. Буквально уродуют. Вздохнула, махнула рукой, попрощалась, ушла.

А Иван Федорович походил по комнате, удивился, что распереживался, и вспомнил, как слыхал лет десять назад про старуху-знахарку, которая ото всего людей вы-

лечивала. Непонятно с чего, но опять жалко ему стало эту дурёху. Посомневался день и пошел к знакомым, которые знали, где знахарку найти. Долго вспоминали. Потом, после третьего стопаря, вспомнили, что старуха давно померла. А Иван Федорович завелся, нудил, нудил, пока знакомец не просветлел от совместно выпитого и объяснил, где та жила.

Нашёл. Старуха, действительно, давно померла. В доме теперь жила её дочка. Между прочим, врачиха. Да не просто, а по ухо-горло-носу. Это, как понял Иван Федорович, была судьба. Рассказал дочке, что лечился у её матери. Слегка приврал, но врачиху растрогал, и та согласилась посмотреть Куклу. Удивляясь себе, уговорил и Куклу. Та долго не соглашалась, но у Ивана Федоровича на такие дела была хватка бульдожья. Уговорил. Пришли. Дочка-ларинголог осмотрела, покачала головой, повздыхала, сказала, что лечили её дебилы, хотя и профессора. Иван Федорович при осмотре присутствовал, обрадовался словам про дебилов-профессоров и врачихе поверил.

После осмотра Иван Федорович не отстал и уговорил Куклу начать лечение. Полоскания, диеты, но больше у Куклы с врачихой были обычные разговоры. Чаёк попивают и болтают, смеются, ругаются, а то плачут обе. Дочка знахарки по секрету ему сказала, что связки поправить не проблема. Важнее убедить пациентку, что она сможет петь ещё лучше, чем когда была примой. И вылечила!

Стала Кукла тренироваться, или, вернее, если говорить по-музыкальному, репетировать. Появилась убежденность, глаза загорелись, стала, как давным-давно, фанатичной певицей. На городском конкурсе ко дню Победы единогласно не посмотрели ни на какие протеже и блаты, присудили ей первое место. Председатель жюри, главный режиссер филармонии, человек независимый, старой закалки и убеждений, пригласил на работу.

А через год выступала Кукла в Москве на международном конкурсе. Получила главный приз и приглашение — турне по Европе. И пошло, и поехало. Имя загремело. А почему? Да потому, что настрадалась бедняга, жизнь поняла. Петь стала не только голосом, но больше душой, а это совсем другое. Это ни с чем не сравнить. Это как если положить рядышком на солнце ледышку и бриллиант. Ледышка поблестит, сверкнет на секунду и станет лужицей — силы в ней нет, одна поверхность, форма, да и та ненадолго.

Про Ивана Федоровича Кукла не забыла. Через два года приехала. Устроила огромный концерт на главной площади. Его и всех, кто помогал, представила, в первый ряд усадила. После концерта пир закатила. Подарков надарила...

Иван Федорович проснулся, поглядел по сторонам, потом на часы, порадовался за Куклу и снова заснул.

Навстречу шли двое — Кукла и мальчик. Оба счастливо улыбались: «Иван Федорович, а у нас сегодня большое счастье. Наконец усыновили Ванечку. Почти год мурыжили, то те бумажки им подавай, то эти. И вот сегодня мы с Ванечкой их додолбали. Узаконились», — Кукла показала Ивану Федоровичу серьезную бумагу с водяными знаками и печатью.

Год назад в переходе возле торгового центра она услышала ангельский голос. Подошла. Мальчонка лет шести пел. Красиво, правильно. Почти не фальшивил. Рядом в инвалидной коляске сидел здоровый мужик. Собирал деньги. Она заслушалась. Потом выгребла, что было в кошельке, и отдала. Пригласила к себе на обед. Мальчишечка поглядел на мужика, тот зло зыркнул. Мальчишка шмыгнул носом, опустил голову и пробормотал: «Нет».

Кукла, хоть и не от мира сего, а всё про них сообразила. Нахохлилась, будто курица, и потребовала у инвалида документы. Тот начал приподыматься, и, должно быть, через минуту Кукла сама оказалась бы в инвалидной коляске, но появились двое патрульных. Кинулась к ним, и уже те повторили её вопрос. Верзила оказался, естественно, никаким не инвалидом. Началась драка. Патруль вызвал по рации подмогу. Пока происходила потасовка, Кукла подхватила мальца, и они убежали. Дома юного певца накормила, искупала, и он уснул. Во сне вздрагивал, стонал, вскрикивал. Кукла одежонку постирала, погладила, начала штопать и заревела. Поняла, что никому и никуда его не отдаст.

Потом Ваня рассказал, что пела с ним мама. Учила и на пианино, и на гитаре. Что она и отец разбились на машине, что его отправили в детдом. Там начал петь, и всем нравилось. А потом появился этот мужик, назвался родственником и стал его забирать. Вроде как в семью. Ваня даже имени его не запомнил. Брал когда на день, когда на несколько. Заставлял петь в переходах. Деньгами делился с директрисой. Ваня видел. А было Ванюше никакие ни шесть, а восемь лет. Просто ростом маленький, да одет в лохмотья со взрослого бомжа.

Кукла про всё это написала в прокуратуру. Те занялись расследованием, а ей, после того как директрису уволили, новое начальство разрешило бесплатно преподавать

пение в детдоме. Желающих было мало, через недолгое время остался один Ванюша. С ним Кукла и занималась, да так, что вскоре на детском конкурсе занял талантливый мальчик первое место, а детский дом получил на развитие талантов кругленькую сумму. Это и подвело Куклу и Ванюшу. Детдом не захотел расставаться с ценным кадром. Начал тормозить усыновление. Но всё равно получилось! Кукла и Ванюша помахали ему, и пошли дальше, весело напевая про «веселый ветер»...

За окном снова грохотнуло, потом заскрипело, и поехала тележка.

— Куда прешь, не видишь, что ли, убирать надо, а не грязь мазать! Разъездились тут, как на мерседесах, — снова запричитал дворник. — Платют три копейки, а чем свет Санджа убирай. Аллах свидетель, до получки доубираю и уеду.

«Опять Кукла покатила за пузырем, — сообразил Иван Федорович, — куда ж в неё столько влезает». Он во сне зевнул, подошел к окну. Увидел на стекле пятно крови. Понял, что это лопнувший от обжорства комар. Глянул вниз. Там скрипела и полязгивала раздолбанная переделанная во взрослую детская коляска с опухшей от непросыхания Куклой. Пьяный козёл хирург, когда её зимой с переломами привезли, чтобы не заморачиваться и не складывать мелкие кости, оттяпал за пять минут ступню и пошел в ординаторскую допивать спиртяшку и трепаться с молоденькими медсестрами, ржущими от каждого его анекдота...

Иван Федорович быстро пошел в комнату жены. Пока шел, сообразил, что это всё был сон.

Жена вздрагивала во сне. По щеке ползла слеза. «Господи, как же я её люблю, — подумал Иван Федорович. — И за что мне такое счастье. Бросила театр, сцену, успех. Известность. Вышла за меня. За обыкновенного капитана после академии. По гарнизонам ездила. Во всех тмутараканях была. Ни разу не пожаловалась. Когда ранило в Афгане, в госпиталь в Ташкент примчалась. Не отходила ни днем, ни ночью. Выходила. А какого сына вырастила! А я-то, я чего ей смог дать? Господи, да ничего».

Жена проснулась, увидела мужа, улыбнулась, потом заплакала:

— Ванечка, мне такой дурной сон приснился, — она всхлипывала и говорила: — Приснилось, будто мне ноги отрезали, будто я нашего Ванечку от бандитов отбила, потом усыновила, выучила петь. А ещё приснилось, — жена перешла на шепот, — будто ты умер, — у неё снова полились слезы. Она обняла Ивана Федоровича, прижалась к нему, поцеловала. Потом вспомнила, что это всего лишь сон, улыбнулась, сказала: — А как ты думаешь, приедет Ванечка в этом году? Он говорил, что очень соскучился. Но ведь у него постоянные гастроли. Еще бы, с таким-то голосом, — жена вытерла слезы. Гордо посмотрела на мужа: — А ты сомневался, куда ему поступать после школы.

Иван Федорович опустился на колени, прижал к губам ладони жены, уткнулся в них, поцеловал. Потом, чтобы она не видела его слезу, отошел к окну. На стене дома с другой стороны дороги висела реклама с огромным дохлым комаром, опрысканным из баллончика. Во дворе, как обычно, ворчал и шкрябал по асфальту метлой Санджа. Листья запихивал в тележку. Тележка гремела и скрежетала при каждом движении. Детвора каталась с жестяной горки. Тормозили на красный свет редкие авто. На серванте качал головой фарфоровый китайский божок, купленный когда-то давным-давно, когда служили на Дальнем Востоке. Над старым пианино, на картине, скопированной сыном классе в девятом или десятом с открытки, по глинистой дороге через лужи мимо деревенских домишек и зеленых огородов тащила двуколку лошадь, вдалеке дымил паровоз.

— А давай мы к нему. Позвоним и, если на гастроли не едет, возьмем билеты и махнем к Ванечке.

Евгений КАСАТКИН

КОГДА Я БЫЛ БЕССМЕРТНЫМ

Первое, что помню, — океан. Я помню его раньше неба, раньше звезд. Он был такой же огромный и бесконечный, и он был везде. У жителей островов иное миросозерцание в сравнении с теми, кто живет на материке, ведь островитяне живут прямо среди океана, в то время как те, другие, все-таки на берегу. Я родился на острове Сахалин, в Тихом океане, в городе Южно-Сахалинске. Но там я океана не помню, то ли потому, что город расположен в глубине острова, то ли потому, что я был еще слишком мал. Океан вошел в мою жизнь позже, когда мы переехали, вернее, переплыли из сахалинского порта Корсаков на Кунашир, самый южный остров Курильской гряды, ближайший к Японии. Отец мой был военным, служил в войсках связи, и его перевели на Курилы обслуживать радиолокационную станцию, наблюдающую за полетами японских самолетов. Мне тогда было четыре года.

Когда мы плыли на пароходе, меня сильно тошнило, и я ничего не видел вокруг, кроме ходившей ходуном палубы. Первая запомнившаяся мне встреча с океаном произошла в поселке Головнино, на берегу залива Измены, названного так в память о событиях 1811 года, когда к японскому в то время острову Кунашир подплыл шлюп «Диана» под командованием выдающегося русского мореплавателя, участника двух кругосветных путешествий Василия Михайловича Головнина. Японцы, проявив притворное дружелюбие, пригласили капитана с командой в крепость и там схватили. Василий Михайлович провел в заточении больше двух лет и написал впоследствии книгу «Записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах», опубликованную в 1818 году и переведенную почти на все европейские языки. Япония тогда была закрытой страной, и в Европе о ней мало что знали.

Когда через год мы покидали Кунашир — отца направили служить на материк — он написал песню на мотив популярной тогда «Бригантины»:

Навсегда прощай, залив Измены,
Нам приказ армейский строгий дан —
Из Европы шлет министр замену,
Собирай свой лейтенантский чемодан...

* * *

Был вечер, а может быть, уже ночь. Я, маленький и глупый, стоял на берегу Тихого океана, держась за большую отцовскую руку. Океан был черный и громадный. Внизу, у подножья холма, гремел прибой. Горизонт впереди был освещен ровным светом, как будто там, над водой, занималась заря. Это были огни японского острова Хоккайдо.

— Смотри, Женька, там Япония, — сказал отец.

— Пап, а что такое Япония?

— Это страна такая. Чужая страна.

— А кто там живет?

— Японцы.

Мне тогда еще только предстояло узнать, что такое Япония и кто такие японцы, но я уже понимал, что бывает страна чужая, а бывает родная, своя. Может быть, тогда и зародилось во мне чувство родины, родной земли. Я еще не знал, насколько она огромна, моя родина, Россия, как широки ее просторы, какая славная у нее история, но у меня уже была своя малая родина, где я родился, рос, взрослел, набирался сил и ума-разума. Это была гористая земля, покрытая пихтовыми лесами и зарослями бамбука, где в распадках бежали быстрые короткие речки, а на ровных плато лежали холодные голубые озера. Где было четыре действующих вулкана, и самый большой из них Тятя гордо возвышался в северо-восточной части острова, задевая вершиной своего конуса облака.

* * *

Здесь довольно часто случались землетрясения. «Мама, это волкан трясет?» — спрашивал я у матери, заменяя непонятное мне слово вулкан «волканом». Мать улыбалась и успокаивающе, как бы защищая меня от «волкана», прижимала к себе. Во время землетрясений мы выбегали из дома на улицу, и я реально чувствовал, как под ногами трясется земля. К счастью, за год нашего пребывания на Кунашире сильных землетрясений не произошло, и хибарка, в которой мы жили, уцелела. Это была избушка с печкой, крохотной кухонькой и одной большой комнатой, к которой были пристроены довольно просторные сени. До нас в ней, видимо, жили рыбаки, потому что сени были завалены сетями и разным другим рыбацким скарбом, а на чердаке вместо сена разостланы сухие морские водоросли. Отцу, как человеку семейному, было выделено отдельное жилье, а друг его Валя Бубнов, неженатый, жил в казарме вместе с солдатами. Оба они были лейтенанты, и каждый командовал взводом связи, которых всего на острове было два. В задачу связистов входило наблюдение за радиолокационной обстановкой на соседних японских аэродромах: отслеживание взлетов-посадок и маневрирования в приграничном воздушном пространстве военных самолетов вероятного противника. Япония была страной недружественной. Прошло всего семнадцать лет с тех пор, как закончилась война, когда 1 сентября 1945 года в ходе Курильской операции на Кунашир был высажен советский десант, а через шесть часов Совинформбюро сообщило о занятии советскими войсками и кораблями флота острова Кунашир и освобождении от японских войск всех Курильских островов.

На острове было множество крыс. Отец впоследствии рассказывал мне, что японцы специально разводили крыс, собираясь с их помощью вести против нас бактериологическую войну. Но заразить крыс они не успели — советская армия слишком быстро выбила их с островов. А крысы остались. Наш кот Барон ежедневно приносил и клал на крыльцо по два убитых экземпляра в знак того, что он недаром ест свой хлеб. Но наступал момент, когда никакие коты уже не могли справиться с крысами, и тогда старшина Корж надевал резиновые перчатки, ловил крысу, брал ее за хвост, окунал в раствор щелочи или кислоты, а затем отпускал. Та бежала и орала таким страшным голосом, что остальные крысы временно уходили из этих мест. Способ, конечно, варварский, но только так можно было хоть на время избавиться от грызунов. А вообще крысы общественные и очень умные животные. Отец рассказывал, как они воруют яйца из курятника. Одна крыса не может вытащить яйцо из гнезда, тогда она осторожно берет яйцо в зубы, а другая вытаскивает ее зубами за хвост вместе с яйцом.

Казарма, где жили солдаты, располагалась в километре от нашего дома. День начинался с того, что я брал свое деревянное игрушечное ружье и выходил вместе с солдатами на занятия по строевой подготовке. Начальник гарнизона капитан Богданов милостиво разрешал мне маршировать на плацу, хотя это было явным нарушением устава. Солдаты меня любили — я был единственным ребенком в части, если не считать дочку старшины Коржа Таню, но она была девчонкой, а я, можно сказать, полноправным защитником отечества. Помню, однажды солдаты выезжали на грузовике на покос и зазвали меня с собой. Я с удовольствием согласился, так как мне очень хотелось прокатиться на машине, тем более что мне обещали дать подержаться за руль. А маму не предупредил. Побоялся, что не отпустит. Косцы вернулись только к вечеру, а за это время мать с ног сбилась, разыскивая меня по всему поселку, и гарнизон был поднят по тревоге. Я догадывался, что поступил нехорошо, но надеялся задобрить маму красивым букетом полевых цветов, которые собрал на покосе. Когда меня наконец нашли, на матери не было лица, вернее, оно было, но такое бледное, что я испугался. Я протянул ей букет, а она, вместо того чтобы обрадоваться, разрыдалась. И тогда я понял, что никакими букетами нельзя искупить вину перед матерью. Отец в воспитательных целях дал мне ремня и поставил в угол, но это наказание было ничто по сравнению с муками, которые терзали мою сыновнюю душу.

* * *

Главными развлечениями на острове были походы в лес за грибами, жимолостью и рыбалка. Грибы мне собирать не доверяли, поскольку я не отличал хорошие от поганок, а вот жимолость, продолговатую голубую ягоду, состоящую из попарно сросшихся плодов, собирал с удовольствием. Причем преимущественно — в рот. У нее был сладковатый, слегка водянистый вкус, а запаха почти не было. Мама варила из нее варенье. На рыбалку мы ходили с отцом. На Кунашире великое множество небольших речек и ручьев, в которые из океана заходят на нерест лососи — кета, горбуша, нерка. Они нерестятся один раз в жизни, только в проточной пресной воде, и после этого погибают. А за ними косяками идет мелкая речная форель, которая питается их икрой. Мы ловили форель на икринки. Удочки были без поплавков и грузил — только удилище, леска и крючок. На крючок насаживалась икринка и опускалась в воду.

Форель хватала наживку, и это было хорошо видно в прозрачной воде. Нужно было только вовремя подсечь. У меня это плохо получалось, и когда я особенно сильно расстраивался и начинал плакать, отец незаметно насаживал на крючок вместо икринки рыбу, забрасывал ее в воду, вручал мне удочку и кричал: «Женька, тащи!» Я, ни о чем не догадываясь, выдергивал рыбу из воды и был на седьмом небе от счастья.

А потом, когда мы возвращались с рыбалки, мама жарила свежую, только что выловленную форель на сковородке. Летом мы готовили пищу на керосинке в сенях. Из открытой двери во двор шел дивной вкусноты запах. Во дворе перед домом росла липа, на одной из веток которой были подвешены мои качели. Я раскачивался на качелях, время от времени соскакивая с них и подбегая к маме, чтобы отведать кусочек нежнейшей, покрытой хрустящей коричневой корочкой форели. Потом я возвращался во двор, ходил вокруг дома, смотрел то на небо, где зажигались первые звезды, то в сторону океана, и был беспричинно счастлив. Я еще не знал тогда, что умру, — я был бессмертным. Детская грудь моя наливалась прохладным вечерним воздухом, перемешанным с тонким ароматом липы, жареной форели и еще чего-то неуловимого, неизведанного и прекрасного, сулящего радость и долгую бесконечную жизнь, которая вся еще была впереди.

* * *

Зачем я это пишу? Наверное, чтобы согреться. Ничто так не согревает душу, как детское воспоминание. Океан, Курилы, Кунашир, сопки, вулканы, распадки, пихтовые леса, озера, короткие быстрые реки и пронзительный запах счастья, неведомого, зовущего... Малая милая моя родина.

ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ

В тот день Сергей пошел собирать липовый цвет. Недалеко от его дома, за небольшим стадионом с футбольным полем, вдоль переходящей в загородное шоссе улицы Декабристов тянулась длинная, метров в сто пятьдесят, липовая аллея. К ней он и направился, прихватив с собой плотный объемистый полиэтиленовый пакет. Июль в этом году выдался прохладным, но цвета липового — немерено. Однако с нижних веток он весь был обобран. Чтобы достать до верхних, нужно или встать на что-то, или лезть на дерево. Эх, стремянку бы сюда... Но возвращаться за стремянкой не хотелось.

Сергей присмотрел липу, где цветы висели пониже, и можно, ухватившись за торчащий сук, добраться до усыпанной душистыми золотыми цветками ветки. Сук казался вполне надежным — на него можно потом даже встать и подняться еще выше. Сергей аккуратно сложил пакет, в который уже успел собрать немного цвета, сунул в карман, подпрыгнул, уцепился за сук, подтянулся...

Вдруг все погасло, как будто в комнате внезапно выключили свет. Очнувшись, он сообразил, что лежит на земле, затылком на тротуаре. Не понимая, что произошло, он встал, машинально отряхнулся, огляделся вокруг — место незнакомое. Голова гудела. Она стала непривычно тяжелой, будто сделанной из чугуна. По улице шли люди, ехали машины, но он как будто видел все это впервые.

«Кто я? Зачем я здесь?» — подумал Сергей и испугался. На эти простые вопросы ответов не находилось. Он все разом забыл. Он забыл, кто он такой, как его зовут, забыл, как попал сюда. Какое-то очень странное состояние. Мир, окружавший его, был самый обыкновенный. Это был его мир, и все происходящее вокруг не вызывало никакого удивления, но он никак не мог понять, что он тут делает. Вся прошлая жизнь стерлась из памяти, как компьютерный файл.

Между тем, на город опускался вечер, и, хотя солнце стояло еще высоко, в тонком прозрачном воздухе уже чувствовалась свежесть и прохлада.

«Если я здесь, именно в этом месте, значит, где-то неподалеку должен быть мой дом». Мысль эта не была очевидной, но он ухватился за нее, как утопающий за соломинку. Но что значит — «дом»? Дом... Жилище. Семья. Дети... У него есть семья? А дети? Он с трудом продирался сквозь негнущуюся, сопротивляющуюся память, как сквозь бурелом. Он вспомнил, что женат, что у него двое сыновей. Но имена их он вспомнить не мог. Он хорошо представлял себе, как выглядит жена и старший сын, а младший почему-то в памяти не сохранился. Или у него всего один сын? Да нет, вроде бы два, но второй никак не вспоминался.

«Нужно искать дом», — решил Сергей. Но как? Он прочел название улицы на одном из зданий, но оно ни о чем ему не говорило. Адреса своего он не помнил. На углу

стоял телефон-автомат, но ему даже не пришла в голову мысль позвонить домой. Впрочем, если бы она и пришла, номера своего телефона он все равно не помнил и даже не помнил, есть ли у него в квартире телефон. Торчать с отсутствующим видом посреди тротуара тоже нелепо — на него уже стали обращать внимание. Нужно было куда-то идти. И он пошел по тротуару вперед по ходу движения машин.

Идти было легче, чем стоять на месте. Размеренная ходьба успокаивала и приводила в работу мысль. Итак, идти надо все время прямо, никуда не сворачивая, чтобы не заблудиться. Не заблудиться в данном случае означало возможность вернуться в исходную точку — она была для него сейчас единственным ориентиром. Он не знал, куда идет, и уходил по улице Декабристов к окраине города. Прохожие встречались все реже. Жилые кварталы закончились. Дальше начиналось шоссе, убегающее к лесу. Продолжать движение в этом направлении было бессмысленно. Сергей остановился, постоял немного в растерянности и пошел в обратную сторону.

Страха так и не найти собственный дом у него почему-то не было. Гораздо больше занимали его другие мысли. Он с интересом смотрел на лица встречных прохожих, понимая, что сам он один из них. Он смотрел на деревья, здания, машины, светофоры, фонари, заборы, детские площадки, на малышей, собак, кошек, птиц — на все, что его окружало, и думал: зачем все это? Зачем земля, зачем небо над головой? Какой во всем этом смысл? Вот он идет по улице, даже не зная, кто он такой. Допустим, он вспомнит это и даже найдет свой дом, а что дальше? Какая цель? Наверняка же все существует не просто так... Что-то очень важное ускользало от него, но он не понимал, что именно. И, тем не менее, он почему-то знал, что это «что-то» существует.

Он опять вернулся в то место, откуда ушел, и зашагал дальше по улице, теперь уже в противоположном направлении. Сейчас он шел к центру города, но он об этом не знал. Он не знал, что каждый день в течение многих лет ходил по этой улице на работу. Народу здесь было намного больше и движение оживленнее, но он по-прежнему ничего не узнавал. Дойдя до пятого по счету светофора, он понял, что дальше идти бесполезно. Улица была везде одинаковой. Попадавшиеся на пути магазины, булочные, аптеки, парикмахерские ничего не оживляли в памяти. Он замедлил ход, развернулся и медленно побрел назад.

И вдруг, стоя на красный свет у очередного светофора, он почувствовал, что ему надо повернуть направо. В висках сильно застучало. Нужно было принимать решение. С одной стороны, этот перекресток ничем не отличался от остальных, но что-то подсказывало ему, что здесь надо свернуть направо. Необходимо было хорошенько все обдумать. Уйдя с этой улицы, он рисковал совсем запутаться, заблудиться в незнакомом городе и уже не найти того места, где он оказался вначале. Почему его тянет вправо? Должна же быть причина этому, должен быть какой-то ориентир. Он еще раз внимательно осмотрелся. Дома были все на одно лицо... Стоп! Взгляд его случайно упал на шестнадцатиэтажную серую крупноблочную башню, за которой, как ему сейчас показалось, должна была быть автобусная остановка. Отсюда, с перекрестка, он ее не видел, но если она там есть, значит, он на верном пути.

Сергей свернул направо и зашагал к башне. За углом шестнадцатиэтажки действительно была остановка. На ней он обычно садился в автобус, когда ехал на завод, в КБ, но сейчас он этого не помнил. Улица называлась Индустриальная, но и это название ничего ему не говорило. Он перевел взгляд на противоположную сторону и там, в глубине небольшого сквера увидел скрывающуюся за деревьями знакомую высокую ограду. Это была ограда стадиона, на котором он учил сына играть в футбол. Он узнал это место! Дом его был где-то совсем рядом, нужно было только обойти стадион вокруг. У него сильно закружилась голова. Он глубоко вздохнул и, чтобы не упасть, ухватился рукой за стойку с расписанием. «Нашел!» В ушах у него звенело. Он прикрыл глаза и долго стоял так, ожидая, пока уймется ходившее ходуном сердце.

Переведя дух, Сергей направился к стадиону. Он шел вдоль спасительной ограды, точно зная, что рано или поздно увидит свой дом. Так оно и случилось. Вот он, восьмиэтажный, шестиподъездный, с выложенным зеленоватой плиткой цокольным этажом. Сергей мог бы указать места, где эта плитка была отколота. Сам дом он узнал, но все, что было вокруг, по-прежнему казалось чужим, незнакомым. Подойдя к своему подъезду, он сел на лавку. Номера квартиры и этажа, на котором живет, он не помнил.

В сердце его опять зашевелилось смутное беспокойство. Чувство ирреальности происходящего не покидало его. Мир казался пустым и бессмысленным. Вот прошел мужик в засаленном спортивном костюме с мусорным ведром, вот мальчик проехал на велосипеде... Лица людей, снующих вокруг, были явно чем-то озабочены. Чем? Чего они хотят? Зачем они? Для чего? Все эти вопросы относились и к нему лично, но сам он не мог ответить на них. Он не знал, кто он, зачем он здесь и какая у него цель. Наверное, он что-то забыл. Что-то главное...

На дворе совсем стемнело. Сначала он пытался вспомнить номер квартиры или

хотя бы этаж, потом это стало казаться ему неважным. Он перестал видеть разницу между тем, подниматься ли в квартиру или сидеть здесь, на лавке. Его уже не радовало, что он нашел свой дом. Ему было все равно. Мысли перепутались. Он забылся.

— Сережа, ты чего тут сидишь?

Он открыл глаза. Перед ним стояла пожилая женщина с очень знакомым лицом. В руках у нее была авоська с двумя пакетами молока и батоном белого хлеба.

— Я? Не знаю... Так просто.

— Ты, случайно, не выпивши?

— Что?

— Да нет, вроде не выпивши... Ты себя хорошо чувствуешь?

— Да.

— Ну, так идем домой. Пойдешь?

Он поднялся и, улыбнувшись так, как будто чувствовал за собой какую-то вину, пошел вслед за женщиной. Она говорила на ходу:

— Ты бледный какой-то, потерянный... А Галя как себя чувствует? Что-то я давно ее не видела.

Он пожал плечами.

— Нормально...

«Галя! Ну, конечно! Мою жену зовут Галя!»

Они поднялись на лифте на шестой этаж. Он позвонил. Дверь открыла жена.

— Господи! Где ты пропадал?! Я вся извелась! Что-то случилось?

— Все в порядке. Голова что-то побаливает...

— Ты ведь не обедал еще. Я сейчас согрею.

Она убежала на кухню. Он разулся и только теперь обнаружил в кармане пакет с липовым цветом. Он вынул из него несколько помятых золотисто-белых цветков, поднес к лицу, ощутив нежный сладковатый аромат. «Медом пахнут...» В памяти возник деревенский дом с застекленной верандой, на которой летом всей семьей пили чай, лицо женщины с усталыми добрыми глазами. Оно было таким до боли родным и любимым, что на глаза навернулись слезы. «Мама...» Ему захотелось плакать. Он прошел в комнату. Там в углу стояла детская кроватка. В ней лежал младенец, его сын. Он внимательно смотрел карими глазенками и вертел в руках погремушку. Сергей подошел ближе. Малыш бросил погремушку, улыбнулся и протянул к нему маленькие ручонки. «Ярослав» — четко всплыло в памяти имя сына. «Так вот почему ты не вспоминался — новенький ты у меня...» Он осторожно взял сынишку на руки и поцеловал в теплую пушистую макушку.

Ночью ему не спалось.

— Ты не спишь? — тихо спросил он жену.

— Нет.

— Почему?

— Не знаю. Мне что-то тревожно за тебя.

Некоторое время лежали молча.

— Галя, зачем мы здесь?

— Где?

— Ну, здесь. В этой квартире. В этом городе... На земле?

— Как зачем? Чтобы жить.

— И все?

— Все. А что еще?

Он молчал.

— Должно быть что-то еще...

— Спи.

Она обняла его. За окном стояла тихая летняя ночь. В черном высоком небе горели белые холодные звезды.

Николай АЛЫКОВ

ОСЦИЛЛОГРАФ СУДЬБЫ

Очерковый триптих

Если условно наложить судьбу любого человека на обычную математическую систему координат (X-Y), пустить линейный график жизни вдоль оси X, то получится затейливая и неповторимая картинка! Ось X спокойно и беспристрастно отмеряет годы существования этого Homo, а ось Y, как осциллограф, вычерчивает все подъёмы, спады, скачки и выравнивания в его биографии. Смотришь, у одного — сравнительно спокойная, почти прямая, бежит себе, рисуя одну запись в трудовой книжке, благополучную семью и обеспеченную старость. У другого — относительно правильная синусоида, с досадными недоразумениями в нижних загибах и уверенным восстановлением жизненных позиций в верхних. Случаются биографии в виде минусовых волнистых, подобий гипербол и парабол. И никогда такой график не может перейти в пунктир. Он может только оборваться, образуя новую систему координат с навсегда нулевыми значениями...

Одним словом, вернее, одной известной фразой: «Каждому — своё». Счастливо или нет, достойно или не очень, полезно или наоборот сложилась жизнь индивида, раньше его смерти не узнаешь. Потому как судьба оценивается только в целом и на любое значение оси «икс» может выпасть такой «игрек», что встанешь как вкопанный, и не знаешь, светит ли тебе очередное значение абсциссы!

Очерк I. ФАТУМ ТОЛИПА

Сижу напротив Толипа и наблюдаю, как он мелкими осторожными глотками отхлёбывает горячущий крепкий чай из потемневшей алюминиевой кружки. Слушаю его и удивляюсь. Нет, не тому, что он появился на свет где-то в таёжных сопках, между Сахалином и Хабаровском. И даже не тому, какие родители произвели его на свет. Всё это мы теперь знаем из книжек и фильмов. Больше, пожалуй, поражает спокойный тон, с которым он рассказывает о вещах необычных, удивительных, порой — трагических.

Ещё светло, но в его крохотном мезонине полумрак. Заледенелое окошко, прокопчённые стены, простая потемневшая от времени кухонная утварь на единственной полке съедают уличный свет, а ленивые блики от печки танцуют на платяном шкафу, самодельном топчане и ножках стола, подчёркивая убогость жилища. Из тёмного угла таращит глаза чумазый котяра. Он хищник по природе и всегда готов молниеносно спереть всё, что съедобно. Но на дощатом столе под заледенелым окошком ничего вкусного.

Толип говорит спокойно, размеренно, как будто свой рассказ он повторяет наизусть. Хотя мне стоило больших трудов вызвать его на откровенный разговор. В полумраке хорошо различима только большая седеющая борода, да печные блики изредка пробегают по стекляшкам интеллигентных очков...

Дальневосточный роман

...В те далёкие годы суды были скорыми и срока давали большие. Закрывали надолго и увозили далеко. Если бы не приговор «тройки», калужанка Серафима никогда в жизни не побывала бы на Сахалине. Да какой там Дальний Восток! И за пределы района-то никогда бы не выбралась. Поэтому она открывала мир через оконные жалюзи

пересыльных тюрем, смотровые «глазки» этапных грузовиков и зарешеченные проёмы вагонных окошек. Скуден и неприветлив был тот мир. Для кого-то он был ярким, красочным и весёлым, для неё — тёмным и пустым. Да и сам Сахалин, как конечный пункт этапных мучений, не показался приветливым, хотя и был расцвечен летними красками. И хоть вольное поселение — не смрадный лагерь, но права на выезд и свободы не было...

Лето обрело свои истинные цвета, когда она познакомилась с молодым красивым пограничником. Их тут много было, военных. Погранзона, лагеря, на том конце страны — война, под боком — враждебная Япония, оккупировавшая южную часть Сахалина и готовая к прыжку на север. И он был не просто офицер-пограничник. А в придачу — «энкавэдэшник», комиссар отдельного дивизиона морских охотников и, естественно, коммунист.

Любовь зечки и офицера, может быть, не такая уж и редкость. Но, чаще всего, она имела недолгий и невесёлый финал. Находилась сволочь или с его стороны, или с её, и... Шекспир кряхтел в своей могиле. У морского охотника не оказалось рядом врага, у вольной поселенки — тоже. Мало того, он сделал её счастливой. Только что униженная, растоптанная и бесправная, она в одночасье стала свободней, выше и востребованней всех! Из раненного воробья она превратилась в гордую чайку, сильную и независимую...

Красивая любовь приносит плод. Он заявил о себе истошным криком во время спешного броска от побережья до Хабаровска. Заулыбались бойцы, услышав не свойственный для походного марша звук, примолкла на минуту тайга, обдумывая случившееся. А новая жизнь уже выбрала свою точку на оси Y, вернее — начала своё движение по системе координат. Ось «икс» отсчитывала первые часы новой жизни, линеечка судьбы слегка вибрировала от громкого крика, выпрямляясь, когда губки находили упругий влажный сосок. Судьба, в безмерности пространства, всё ещё выглядела точкой и не имела признаков фатума. А имя мальчику дали как у отца — Анатолий.

Когда он научился мурлыкать, отец уже был заместителем начальника штаба по разведке Биробиджанского пограничного отряда. Когда пытался произнести первые слова, отец добивал милитаристскую Японию и, закончив войну, отправил жену с сыном в Молдавию к бабушке. Там было спокойно и сытно. Хотя в годовалом возрасте ещё не понимают, что спокойствие и сытость надо обеспечивать. Серафима растила сына вблизи от западной границы государства, папа заканчивал военную академию в столице. И тут линия судьбы Толипа сделала первый неожиданный изгиб.

Крупозное воспаление лёгких — причина смерти. Таково было медицинское заключение. Линия жизни Серафимы прервалась...

* * *

...Толип сыпанул в кружку щепоть чая «со слоном» и залил крутым кипятком. Вопросительно взглянул в мою сторону. Я отказался.

— Ты Анатолий Анатольевич, а почему — Толип? — теперь я видел его в профиль, и он был похож на гнома из сказки, только крупного: сутулый и носатый старичок в редких бликах печного огня.

— Толипом я стал в Ижевске на оружейном заводе. Тогда АК-47, «калаш», начал пользоваться спросом во всём мире. Собирали автоматы тысячами, работали в поте лица, без выходных. А среди товарищей много было татар, удмуртов. Они и переделали Толика в Толипа. По-своему.

Он смотрел в заледенелое окошко и среди морозных искорок видел лицо матери. Бледное, холодное, неживое. Это, пожалуй, единственная память о маме...

Западная быль

Мамы не стало, а отцу было не до сына. Закончив Академию и немного прослужив в Калининградском погранотряде, он снова вернулся в Москву. Теперь уже в высшую школу КГБ на должность заместителя начальника спецкафедры. Готовили разведчиков из стран Варшавского договора. И только когда умерла бабушка, он забрал Толика к себе. Правда, сын отца почти не видел. А Толик, под присмотром родственницы, жившей с отцом, потихоньку рос, заканчивал школу и выбор, где учиться дальше, тоже сделал самостоятельно.

Он без труда поступил в Рижскую мореходку, сдав все три экзамена на «пятёрки». С удовольствием и хорошо учился и уже мечтал о дальних плаваниях и экзотических странах. Но уже в конце второго курса кривая его судьбы вновь исполнила неожиданный поворот.

Всё случилось в яркий апрельский день, когда курсанты в увольнении решили заглянуть на танцплощадку. Толип сейчас уж и не помнит, кто развязал драку. То, что

не курсанты — точно. Да дело даже не в этом. Когда местные пацаны грубо обложили прибежавших милиционеров, раздался выстрел. (Зачем милиционеру понадобилось стрелять в безоружного, знают только он да следователь.) Один из парней вскрикнул, сделал несколько шагов и упал лицом на деревянный настил площадки. Как уж там разбирались, но все курсанты, бывшие в тот день в увольнении были отчислены из училища. Сам Анатолий даже в драке не участвовал.

Ехать домой он не хотел по двум причинам. Во-первых, чтобы не навредить отцовской карьере, во-вторых, просто стыдно быть отчисленным после двух лет учёбы. Лето провёл там же, в Латвии у своего сокурсника, тоже отчисленного за тот случай. Ребята помогали по хозяйству, отдыхали, а там и в армию время настало идти. Толику очень хотелось в морскую пехоту — здоровье позволяло, а попал в десант.

На короткое время пришлось вернуться в Москву. Там — курсы в школе парашютистов, прыжки сначала с вышки, потом с самолёта, учебный полк ВДВ и Витебская воздушно-десантная дивизия. Она считалась, как сейчас говорят, элитной, ещё в войну наводила ужас на эсэсовцев и закончила войну последней. Впрочем, витебские десантники и потом во всех заварухах участвовали (по заданиям партии и правительства). Вот и Анатолию пришлось лететь в Венгрию. То, что там увидел, осталось в памяти навсегда, а главное, что он понял: реальная жизнь гораздо сложней, запутаннее и безжалостнее, чем то, что им рассказывали в школе.

Может быть, поэтому на Ижевском оружейном заводе Толип проработал недолго. Автоматные стволы, которые он «доводил» после армии в заводском цеху, навевали не лучшие воспоминания. В «Удмуртской правде» увидел объявление о наборе в геологическую партию и... стал бурильщиком. Строящийся Ижевский автозавод, крупные объекты Кировской области, восток Вологодской. Не было обустроенного быта, не было постоянной семьи, зато буровики получали приличные деньги. Впрочем, не каждого такой жизненный уклад устроит. Толипа устраивал. Может, он по природе своей был кочевником, может, просто судьба не предлагала другого варианта. Хотя... Както выдали получку, обновили рабочим спецодежду, да ещё и продуктов сверху дали. Мужики, довольные жизнью, пошли «закрепить успех». Сняли столовку, накрыли шикарный стол, и пошёл кутёж! Скоро пришлось придвинуть ещё пару столов, потому как гуляющих прибавлялось. К кому-то подсел дружок, к кому-то подружка... Толип был один и пил немного. В праздниках он всегда участвовал, но никогда не перепивал и похмельем не страдал, как некоторые. Мужики уважали его и за то, что, оставаясь в разуму и памяти, будучи не слабым и опытным в рукопашных делах, мог прекратить начинающуюся драку, недоразумения между начальником и подчинённым, остановить семейный скандал. Зная это, начальство не раз предлагало Анатолию должности бригадира, мастера, но он упорно отказывался. Он не хотел руководить, не потому, что боялся ответственности, а потому, что «умение подчиняться считал большим искусством, чем умение руководить».

Столовка гудела, на крыльце заливалась гармонь, в обеденном зале — радиола, ели-пили, плясали и танцевали. К Толипу подсел весёлый парень Витька Терентьев и указал ему на двух девчонок в дальнем углу, которые в их празднике не участвовали.

— Слева — Лида, — кричал Витька на ухо Анатолию, — одна, никого близко к себе не подпускает! Хочешь, посватаю?!

Лида словно почувствовала, что говорят о ней, и посмотрела в сторону буровиков. Толип встретился с ней взглядом и успел рассмотреть лицо. Ничего особенного. Простое русское лицо, симпатичное. А глаза... Ему двадцать шесть, и как-то не принято в этом возрасте говорить о любви с первого взгляда, но ему вдруг сделалось жарко. Он даже улыбнулся: «Что это со мной?» И боялся взглянуть в сторону Лиды, чтоб опять не встретиться взглядом. Он не был робким с женщинами, умел их брать просто и деловито, но... так на него ещё ни одна не смотрела! Взгляды пересеклись всего лишь на мгновенье, но как раз этого-то мгновенья память и не зафиксировала! Толип не слышал, что ему на ухо продолжал набалтывать Витька и старался удержать в памяти короткий взмах ресниц, васильковый импульс, как удар током. И держал какую-то минуту! Пока не почувствовал на своём плече лёгкое прикосновение...

Они танцевали весь вечер, и почему-то не казалось странным, что недотрога Лида сама первой пригласила незнакомого парня на танец и, никого не стесняясь, кружит с ним в свободном от столиков и людей углу зала. Только «сват» Витька Терентьев удивлённо поглядывал в их сторону и качал головой.

Анатолий пришёл к Лиде домой на следующий же вечер. Он, буро вик, без дома, без родни, увидел двух женщин, которые внимательно и молча смотрели прямо в его глаза. Лида — чуть испуганно и с любовью, мать — насторожённо и вопросительно. Он увидел, что в домике чисто, ухоженно и... пусто. Развернулся и вышел. Через полчаса он подъехал к их дому на Витькином «ЗиЛе». Женщины так же молча смотрели, как Толип заносит и складывает на лавку коробки с продуктами, какие-то женские

вещи с ярлыками и ценниками, а в завершение он размахнул по дощатой столешнице новую скатерть с кисточками, белую и в крупную клетку. Потом повернулся к ним:

— Ну, красавицы, что замерли? Пора кормить мужика!

Они обе заплакали...

...Вместе с ранней июльской зарёй проснулись птицы. Их высвисты и трели залетали в полуоткрытое окошко, но не могли помешать сну этих двух людей. Анатолий спал так крепко, что мог услышать разве что взрыв гранаты во дворе. А уставшая Лида вообще не спала. Боялась. Боялась уснуть, а проснувшись, не увидеть рядом это обветренное, со шрамом на нижней губе лицо. Так и лежала, не шевелясь и осторожно дыша.

Анатолий приоткрыл глаза и снова окунулся в васильковый омут. Но уже не тот, пугающий и чужой. А ласковый и покорный.

Когда сели завтракать, Лида все ещё немного стесняясь, посетовала, зачем Толик потратил так много денег.

— У нас ещё есть, — он достал прямо из брючного кармана пачку двадцатипятирублевок и червонцев. Но спохватился и быстро засунул деньги обратно. Нашёл чем хвастать перед женщиной, которая привыкла экономить каждую копейку!

— Ничего, Лида, я заработаю этих бумажек, сколько надо, — он неуверенно погладил её волосы, а она понимающе улыбнулась в ответ.

...Толип две недели был на буровой, а когда вернулся, заглянул в конторку и заспешил в магазин сплавучастка, где работала Лида. И встретил на мостике через ручей подпитого парня.

— Эй, буровик! Ты чужое взял...

— Не понял.

— А надо понимать. Ты Лидкой попользуешься и дальше бурить поедешь. А я её давно замуж зову.

— И сейчас зовёшь? — парень только успел головой кивнуть, а сказать уже ничего не смог, застонал на выдохе и сложился пополам. Он был выше и здоровей Толипа, а вот пресс оказался слабоват. Не сильный, но точный тычок в сплетение был проведён в воспитательных целях. Чтоб женщин не оскорблял и разговаривал уважительно, а результат получился страшно непредсказуемый. Парень присел, повалился набок и... сковырнулся с мостика. Толип не успел его подхватить — в руке остался кусок фланелевой рубахи. Когда он сбежал вниз, у парня, упавшего с трехметровой высоты, синели губы, глаза закатились, он неестественно подёргивал всем телом, а от затылка по осиновому топляку струилась тёмная кровь...

Судьба Толипа всё отчётливей обретала черты фатума.

* * *

...Котяра вышел из своего угла на ящике с тряпками, вспрыгнул на стол и демонстративно пересёк его по диагонали. В полумраке он был ещё серей и внушительней, а размеры и вес подтвердили пружины кровати, на которую он сиганул со стола. Толип даже не отреагировал на соседство хищника и всё так же смотрел на ледяной узор. Я подкинул в печку три полешка и закурил. Щелчок зажигалки вывел Толипа из оцепенения. Он повернулся на вспыхнувшие поленья, и мне показалось, что на тёмной скуле блеснула слеза.

— Следователь предложил подписаться ещё под двумя нераскрытыми кражами. Тогда смерть парня будет оформлена как несчастный случай. Если не подпишусь — неумышленное убийство и девять лет. Я отказался, — Толип говорил так же спокойно, как будто не с ним это было. — Дали семь. А в посёлок не вернулся. Между нами с Лидой встала смерть.

— Почему?! — хотелось закричать мне. Но я не мог. Понимал, что это Толипа судьба и ему принимать решения.

Вспомнил, как он позавчера вызвал меня из редакции на улицу:

— Читаю твои статьи. Нравятся. А я пошёл в администрацию заявление писать. Пусть лишают меня гражданства. На пенсию в тысячу рублей мне не прожить больше. Болеть начал. Не смогу дров принести и замёрзну в мезонине... — тогда я и напросился на этот разговор.

У Толипа уже нет сил и желания восстанавливать трудовую книжку взамен утерянной во время скитаний по лагерям. Он писал на завод, но там не нашли его личного дела: где архив геолого-разведочной партии, никто не знает. А тут ещё начали высчитывать из его тысячи по четыреста рублей за то, что живёт не по месту прописки. Дома, где он был прописан, уже не существует, а в чужом мезонине его не пропишут.

Три сотни уже жгли мне карман, но я понимал, что Толип не возьмёт моих денег. А хоть бы и взял! Их хватит на неделю. А потом?

Очерк II. ЕЛЕНУШКА

Памяти Елены Белоусовой (Варзиновой)

Неспешно катит чистую водицу Толшма. Неторопливо и обстоятельно живёт Успенье на берегу неширокой реки. В деревне быт размеренный и монотонный. От зари до зари — летом, от темна до темна — зимой, изо дня в день, из года в год обиходят селяне и личное, и общественное хозяйство. Таков жизненный уклад.

Яркое июньское утро. На бездонном голубом небе повисли редкие пёрышки облаков. Лёгкий ветерок ещё не предвещает полуденной жары. Листья на берёзах, трава на лужайках не успели подёрнуться дорожной пылью и ласкают глаз сочной зеленью. На деревне тихо. Молодёжь, прогуляв допоздна, ещё спит. Крестьяне давно трудятся. В большом добротном доме Варзиновых на ногах только бабушка.

Она управилась со скотиной и готовит завтрак малышне. Их родители уже на работе. Первой проснулась Еленушка. Свесила ножки с кровати, трёт кулачками глаза, густые чёрные волосики закрыли лицо... Она ещё младшеклассница и не научилась вскакивать с кровати, как её старшие братья и сёстры.

— Не тронь глаза, иди умывайся, — это бабушкин полушёпот, чтобы не разбудить младших.

Лена жмёт на носик рукомойника и, чуть взвизгнув, отдёргивает ручонки. Вода, только что принесённая бабушкой из колодца, холоднющая-прехолоднющая! Но это только со сна. Ленка холодной водицы не боится. Хотя в Толшме, куда она с подружками ходит купаться и ловить меев, вода к обеду так прогревается, что становится, как парное молоко. Купайся — не хочу!

Скоро подружки побегут на речку, и Ленка проводит их завистливым взглядом... Ей ещё надо помочь бабушке управиться с младшенькими. Пока не до забав. А младшеньких — четверо! Кстати, и старших столько же. А Лена как раз посерёдке. По счёту — пятая. Всего девятеро получается у папы Коли и мамы Шуры (Шурёны, как называет её бабушка). В общем, когда последних рожали, старшие кто свадьбу играл, кто в армии служил.

Кстати, в колхозных мастерских во время зимних ремонтов техники, на перекуре, нет-нет да и пошутит кто-нибудь из мужиков на предмет необъятного семейства Николая Васильевича. На что тот невозмутимо и необидчиво парировал: «А вам слабо?» Такие мужики, как Коля Варзинов, не знают слова «обида». Высокий, стройный, плечистый. Кулаки с галанку (брюква по-научному). Такие ребята, как правило, не обидчики, а защитники.

Как известно, в каждой деревне случается пара-тройка задир и забияк из числа мужского населения. Особенно во время праздников. А по пьянке иногда и в будни кто-нибудь захулиганит. Варзинов быстро усмирит. Никакого шерифа не надо! Уважали Николая Васильевича на селе не только за то, что был классным и безотказным механизатором широкого профиля, но ещё и мастером на все руки. И детей никогда не обижал, даже окриком. Но так посмотрит! Не забалуешь... Жалко и обидно — рано ушёл. Сахарный диабет.

Мама Шура, простая сельская женщина, всё время в делах и заботах. В колхозе, дома по хозяйству. Но как-то успевала и детям уделять достаточно внимания — все были чисто одеты, вкусно и сытно накормлены. Приходилось держать большой огород и всякую живность. И как успевала? Бабушка, конечно, большая молодчина, но и ей, в силу возраста, тоже приходилось нелегко. На работе девчонки сочувственно спрашивали Александру Васильевну, стоит ли заводить столько детей. У той даже сомнений никогда не было. Трудно? Да, трудно! Но ведь каждый ребёнок — это новая жизнь, целый мир, а сколько будет внуков, правнуков!

И главная трудность, как оказалось, не в том, чтобы одеть, накормить и выучить. Когда за каждого душа болит: а как там ребята в армии, не обижают ли; как дочки в чужих мужниных семьях со свёкрами да свекровками? Хорошо, если всё ладится. Но бывало и невосполнимое горе — совсем плохо, когда дети уходят раньше родителей... У мамы Шуры большое и терпеливое сердце. Она этим сердцем чует, что теперь должна и радоваться, и страдать за двоих: за себя и своего Колю. Ведь он всё видит оттуда, но вот помочь ничем уже не может...

Известно, что в больших семьях чаще дети вырастают порядочными, трудолюбивыми, заботливыми и ответственными людьми. Секрета тут нет. По мере взросления приходится помогать родителям по хозяйству: от простого мытья посуды до ухода за скотиной, сенокоса, огорода. Старшие ухаживают за младшими, учатся друг у друга, старшие — у родителей, младшие — у старших. То есть, уходя в самостоятельную жизнь, уже многое умеют!

Тогда, в конце восьмидесятых, не каждая сельская девчонка после школы могла

«замахнуться» на институт или университет. Лена туда и не стремилась. В свои шестнадцать она понимала, что родителям будет очень трудно помогать ей, а в большом городе на стипендию не проживёшь. И поступила в местный лицей, по-взрослому полагая, что ничего зазорного нет в любой, самой простой профессии. А специальность швеи-мотористки пригодится и в семье: «Может, у меня тоже большая семья будет и своя швейная машинка». Тем более что в лицее общежитие хорошее и питание бесплатное.

Городские девчонки, особенно с курсов постарше, не сразу приняли худенькую, невысокую верхтолшменку с большими зелёными глазами и чёрными густыми волосами до пояса (может быть, просто завидовали?). Впрочем, это продолжалось недолго. Общительная, весёлая, да и за себя способная постоять, Лена Варзинова быстро влилась в коллектив. И с учёбой было всё в порядке.

Швеёй, правда, поработать не пришлось. В родном колхозе на пекарню требовалась заведующая. Страшновато было, ведь молодая ещё, а ответственность большая. Зря боялась. Всё получилось. И с отчётностью был порядок, и хлебушек выпекался вовремя. Были, впрочем, как и везде, неприятные моменты, но Лена научилась решать проблемы.

Однажды втюхали ей партию муки сортом ниже, чем расписано в накладной. Расстроилась, всплакнула... Ржаной хлеб ведь не будешь продавать по цене пшеничного. Но папкин характер и природная деловитость помогли. Пошла к председателю колхоза, объяснила ситуацию, и... вопрос уладили. Была она уже не маленькая худышка, а стройная симпатичная девушка. Выросла за время учёбы. Невестой стала.

Если есть невеста, жених найдётся. Нашёлся. Лена так и не поняла, была ли это настоящая любовь, ведь высокое чувство испытывала впервые. И сравнивать было не с чем — хранила себя для того единственного, который на всю жизнь... Когда сказала ему, что беременна, отвёл глаза — ни радости на лице, ни других эмоций... Не гусар и не джентльмен! Лена всё поняла, развернулась и ушла. А у самой в глазах потемнело...

Рожать пришлось в местном медпункте — не успевали в районную больницу — очень далеко. Получилась девочка Олеся. Розовенькая, в маму темноволосая крохотуля.

Лена за месяцы до родов успокоилась, настроилась на то, что воспитает дочку одна. Да и мама рядом, недалеко братья и сёстры. И собственный природный оптимизм — подмога.

Только воспитывать пришлось... троих! Так уж получилось, что два мальчика, примерно ровесники её Олеси, остались без мамы. Дочка была уже детсадичного возраста. Лена решила, что пусть мальчики растут с ней, чем... А Саша станет главой их полноценной семьи. Да — Саша. Высокий симпатичный парень, который пообещал Лене, что будет ей и детям надеждой и опорой. И стал. Ей — мужем, детям — папой. Не будем про любовь и другие чувства. Пусть с этим разбираются двое. Главное, что Лена обрела элементарное человеческое счастье!

Купили «КамАЗ», стали хорошо зарабатывать. Построили коттедж в новом микрорайоне города, баню. Рядом с ним — большой огород. Женщина из соседнего дома удивлялась: «Ленка, когда ты всё успеваешь? Как ни посмотрю, опять весь огород бельём завешан!» Эх, соседка, соседка! Ты плохо Ленку знала. Если бы потаскала мешки с мукой на пекарне, если бы грузила материал на «КамАЗ» на пилораме наравне с мужиками, если бы... Стоп! Сидя с чашкой кофе в руке на втором этаже нового собственного жилья, не будем о грустном!

Саша лес возил, Лена — в торговле. Дети росли — сад, школа. Всё как у людей. Олеся вышла замуж и родила Лене двух симпатичных внучек. Сколько радости было у бабушки! Потом и у девочек! Когда старшая немного подросла, от бабули не отходила.

А Лена умела радоваться жизни. И ценить само наличие счастья. Потому что видела, как живут многие семьи. Кажется, всё есть, живи да радуйся. Ан нет. Ссорятся, ругаются, находят проблемы на ровном месте. Эх, люди! Смотрите, можете пожалеть потом, да не вернёшь...

Однажды, придя с работы, Лена нашла Сашу на полу, в луже крови. Она упала рядом... Это произошло почти за год до нашего с ней знакомства.

* * *

В конце января, поздно вечером, ко мне постучали. Вошёл старый знакомый, с ним — женщина лет сорока. Хорошо одета, миловидное лицо, внимательный взгляд. Ещё успел заметить, что у неё зелёные глаза. Прошли на кухню. Налил им горячего чаю — на улице мороз.

— Ночевать пустишь? — старый знакомый отхлебнул из чашки.

— ?!

— Да ты не понял! Вот её пусти. Леной звать. Работали раньше вместе. Понимаешь,

ей ночевать негде. Пришла к подружке, у той дома никого. А ты один в трёхкомнатной квартире. Она тебя не стеснит. Я Лене объяснил, что ты мужик порядочный, пенсионер, не обидишь и чаем напоишь. Идёт?

— Ноу проблем, как говорят корейцы.

— Вот видишь, Лен, а ты боялась. «Не пустит, не пустит!» Он хоть и древний, а чувство юмора в нём ещё живо. Ну, я пошёл.

— Я вас правда не стесню? — спросила Лена, когда знакомый ушёл.

— Не беспокойся. Я уже несколько лет один, а поговорить люблю. И каждому доброму гостю-собеседнику рад. Может, ты отдохнуть хочешь?

— Да нет, я поздно ложусь. Вернее, ложилась... дома.

И вдруг... заплакала. Потихоньку, без надрыва, вздрагивания плечами. Просто закрыла лицо ладонями и плакала. Недолго. Пару минут. Такого поворота не ожидал. Но промолчал. Захочет — сама расскажет. (Просто в дешёвых фильмах случаются ситуации, когда женщина зарыдает, её пожалеют, утром — раз! — бумажника в пиджаке нет). Половина моего трудового стажа — в газете. Каких только жизненных ситуаций не приходилось видеть, слышать, описывать. От комических до трагических. Но я — не циник. И радоваться очередному «сюжету», естественно, не стал.

Постаралась побыстрей успокоиться, промокнула глаза розовым платком с красной каёмочкой и извинилась.

— Ещё чаю? — спросил.

— Нет, спасибо, — повернулась ко мне и сверкнула «изумрудами». На лице — широкая улыбка, как будто и не было слёз. — Не напугала вас? Просто у меня слёзы рядом.

— И по какому случаю плач Ярославны?

— Да стоит ли вас загружать проблемами? Смотрю, у вас они тоже есть, — она кивнула на мои костыли.

— Если тебе от этого будет польза, загружай, не стесняйся. Иногда обязательно надо выговориться.

Она рассказывала всю ночь и следующий день до обеда. Про Успенье, родителей, братьев с сёстрами. Про жизнь в городе с Сашей и ребятами. Как помогала ему строить дом и баню. Про то, что после его смерти сняла жильё в городе, днём работала, по ночам плакала. На днях хозяева съёмной квартиры попросили съехать, приведя на то веские причины.

— А коттедж? — удивился, когда она сделала паузу и закурила.

— Оставила его Сашиным родителям. Зачем он мне, если Сашки нет. Уж скоро год как нет...

В обед помянули Сашу и перешли на ты.

— Наверное, спать хочешь? — спросила Лена.

— С такими рассказами уснёшь...

— Тогда, если разрешишь, помою посуду.

— Ты мой её каждый день. Вон там, через зал, вторая комната. Она твоя. О квартплате не беспокойся — готовишь вкусно, а я зачастую консервы ем.

На том и порешили.

Лена жила у меня без недели год. Привела в порядок холостяцкую квартиру, даже цветы развела. Кормила вкусной домашней едой, учила кулинарному искусству. Летом и под осень солила грибы, варила варенье из «китайки». В декабре отметили её день рождения. Оказалось, ей уже далеко за сорок. В новогодний праздник со смехом вспоминали, как мне её «подкинули». Планировали летом кухню отремонтировать, запасти грибов-ягод, оклеить веранду...

Пятого января, утром, Лена не отозвалась на моё приглашение к завтраку. Она не проснулась. Её не стало. Диагноз — как у мужа.

Лена ушла к своему Саше...

Мне всю жизнь везло на хороших людей. Под словом «хороших» имею в виду честных, порядочных, умных, открытых и т.д. Они окружали на работе, в армии, быту. Но таких, как Лена, не встречал. Может, потому, что не было необходимости присматриваться к другим. И это не запоздалый дежурный комплимент, уж поверьте. Меня давно научили отвечать за каждое слово.

Лена любила говорить в свободное время. На любую тему. И это не было пустой болтовнёй, как у некоторых. Было интересно слушать. В это время смотрел на неё и думал: «Девочка, у тебя есть хоть один недостаток?» Умная, хозяйственная, быстрая на ногу, инициативная. Она не ждала предложений, что сделать по хозяйству. Бралась и делала. А делать Лена умела практически всё. Старался ей помочь, чем мог, понимая, какое у неё горе и что на душе.

Одного не могу понять: почему таким светлым людям достаётся такая судьба...

Очерк III. РЫЖИЙ, АЛИК И...

Моя пятилетняя «семёра», на удивление надёжная и везучая, дала сбой. На затяжных угорах стала выдыхаться, как будто её кто за задний бампер придерживает. Опытный водила подсказал: «Ты свечи-то давно менял?» Будем менять свечи. Подошёл как раз местный поэт Алик.

— Ты куда, Николаич?

— В «Запчасти».

— По пути.

— Садись.

Вышли мы из магазина с комплектом новых свечей, а навстречу — председатель дальнего колхоза Нина Николаевна. Как всегда с широкой и доброй улыбкой на лице. Поприветствовали друг друга. Как-никак её деревня — родина моих предков. Это я сейчас живу в райцентре. А мои деды, простые крестьяне, там обитали, посреди тайги и морошковых болот. Мы с Ниной земляки, почти ровесники и по отчеству друг друга не зовём. Убрав улыбку, Нина посетовала:

— А ведь с Витькой-то худо...

— Что, заболел? — спросил я, зная, что мой дядя никогда в жизни ничем серьёзным не болел, хотя ему на седьмой десяток перевалило.

— Пьёт вторую неделю. Сегодня заходила проведать утром — лежит, глядит в потолок: «Худо мне, Нинка...» Опохмелять его не стала: с кем пил, тот пусть и лечит. Как Римма Ивановна уехала, так и пьёт.

— Ладно, Нин, разберёмся. Но ты хоть вечерком загляни к нему, проведай...

— Чего, Николаич, случилось? — подошёл Алик, когда председательша скрылась за стеклянной дверью «Запчастей».

— Рыжий пьёт.

— Все рыжие пьют, Николаич. А как им не пить! У рыжего спрашивают: «Тебе наливать?» А тот: «А я рыжий, что ли!».

Увидев, что я не отреагировал на шутку, Алик переспросил. Пояснил я Алику, что мой родной дядя сам из Череповца. На всё лето они с женой, Риммой Ивановной, приезжают как пенсионеры в свою родовую деревню. Там от покойной тёщи остался двухэтажный дом с огородом и английской лужайкой. Дочери привозят им внуков. А там речка, грибы-ягоды, парное молоко от соседки, магазин через дом и другие, экологически чистые, прелести. Но вот Римме Ивановне пришлось на время оставить отдых и уехать к дочке под Питер. А Витя почему-то запил. Бывает такое.

— Ты сказал «рыжий», — вспомнил Алик, захлопывая дверку моей «семёры».

— Так он рыжий и есть, натурально рыжий, — мы закурили, потому что сегодня ни мне, ни Алику торопиться было некуда.

— Что же ты, Николаич, родного дядьку и так неуважительно: «Рыжий».

Надо пояснить, что Алик — грузин. Хотя ни по обличью, ни по говору на кавказца не похож. Всё дело в том, что мама его наша, местная. Вышла замуж за грузина и всю жизнь прожила там, рядом с родиной Иосифа Виссарионовича. Несколько лет назад они приехали сюда на постоянное место жительства. На то свои причины.

У Алика более двухсот стихотворений. И все он помнит наизусть — память у него феноменальная. Направленность стиха разнообразная: от чисто лирических до заумно-философских. География тоже, но в основном кавказская тематика. Но и здесь, на севере, Алик успел за несколько лет почувствовать нашу природу, быт, обычаи и характеры. И стихи получаются не хуже «южных».

— Почему «Рыжий»?

— Знай, у нас «Рыжий» — это не оскорбление, а наоборот — елей на душу. Игра такая, что ли. Мне не сказать: «Дядя Витя, как я тебя уважаю, ценю, люблю по-родственному!» Обращение «Рыжий» заменяет весь этот «словесный понос». Понял?

— Понял, Николаич, — Алик выдул в форточку струю дыма: — Поехали, Николаич.

— Так у тебя до дома-то двести метров.

— К Рыжему поехали. Ему плохо, — Алик посмотрел мне прямо в глаза.

Я хоть не грузин горячий, но кровь новгородских казаков во мне булькает. И мы поехали. Благо крутых угоров на этих шестидесяти километрах не было, а свечи зажигания мы и в деревне заменим. Пока ехали, я рассказывал Алику про дядю Витю...

...Витька был младшим из детей в семье. Моя мама Каля — старшая, а в серединке — моя тётя — Лина. Обе девочки, как в северной деревне водится, голубоглазые и русоволосые. А Витька уродился... рыжим. В армию Витька пришёл уже шофёром — успел получить права водительские. Возил командира и на дембель ушёл с кучей благодарностей за честную и добросовестную службу. Эта дотошность во всяком деле, трудолюбие, помноженное на смекалку, мужицкую хватку, сохранились в нём до последних дней. И крутить бы Витьке баранку какой-нибудь колхозной «полуторки» всю

жизнь, но...

Северной Магнитке требовалось всё больше и больше умелых и трудолюбивых. И неприхотливых. Ведь жить сначала приходилось в бараках. Не зря академик Бардин настоял на строительстве огромного металлургического комбината именно в Череповце. Стоит Череповец на водной артерии всесоюзного значения — Волго-Балте — и как раз посерёдке между железной рудой и каменным углём. Из патриархального уездного городка Череповец быстро превратился в индустриальный центр.

Парень долго не раздумывал. Но не довелось Витьке ни строить, ни сталь варить. Удивительно, но бывший солдат оказался именно в том месте и в то время, когда растущему Череповцу, запустившему и трамваи, и автобусы, понадобился ещё один вид транспорта — такси. Первые шесть новеньких «Побед» с шашечками на борту поступили в город металлургов. По весне одну из них доверили Виктору.

Работы хватало. Металлурги народ не бедный, строители — тоже. Виктору это на руку. Верней — на карман. Да и барак остался в прошлом. Квартиру дали в самом центре, на улице Металлургов, второй дом от площади Металлургов. Вот так! Теперь можно и семьёй обзавестись и детей рожать.

Обе девочки получились красавицы. Оленька в маму — русая, а Светланка... в папу! А характером обе — в родителей. Такие же деловые, напористые, активные. Сейчас обе при делах и при семьях. Витя успел ещё и внуков понянчить.

А тут и «Волги» подошли. «Победа» — машина, конечно, серьёзная и надёжная (раньше всё делали «на случай войны») — кулаком капот, как сейчас, не прошибёшь. Но «Волга ГАЗ-21»! Это, уж извините, комфорт и простор. Самого богатого металлурга не стыдно принять на борт!

Череповец в те времена — та ещё сборная. Со всей России-матушки съехались представители. Кто-то по идейным соображениям («Комсомол — даёшь!»), кто-то — денежку заработать. Если с нашими тогдашними зарплатами сравнивать, то у металлургов они были чуть ли не на порядок выше. Разве что передовые лесорубы у нас на востоке области получали достойно. Так ведь это лесорубы. На трелёвочнике с фанерной кабиной за день так надёргаешься... Это сейчас валочно-пакетирующие, сучкорезные и прочие машины с кондиционерами в кабинах. Тогда, в шестидесятых, достойную денежку не просто было заработать...

...Алик с улыбкой попросил меня вернуться в Череповец. Он почувствовал, что меня, как бывалого газетчика, «понесло в дебри»...

Так вот. Съехались люди со всей страны Северную Магнитку строить. И не все с добрым сердцем и чистыми руками. Кто работал в такси, знает, что если на заднее сидение, особенно в ночное время, плюхнулись два нетрезвых мужика, то ухо надо держать востро и видеть их в зеркале. Но ведь и машину надо вести — ты не в поле, тут пешеходы, перекрёстки... Слава Богу, с Виктором не случилось такого, как с Сашей Ваничевым. Попросили отвезти в пригород, накинули сзади удавку... Им нужна была машина, сбежать в Питер от череповецкого угро.

Бывало, правда, отказывались платить. Кто-то обманом, кто-то внаглую. Но с Витей этот номер не проходил. Трое вылезли, сказали: «Давай, шеф!» — и пошли. Ну, Рыжий вышел из машины и вежливо попросил заплатить. Обернулись. Один, который поздоровее и повыше своих корешей, ухмыльнулся, оглядывая Виктора. Метр шестьдесят четыре ростом, с виду худенький. Эти трое не знали, что скрывается под простенькой клетчатой рубашкой...

В разгар драки, когда у тех, кто пониже, были разбиты носы и губы, тот, кто повыше, вытянул руки вперёд и заявил громко: «Всё, рыжий, кончаем! — и добавил: — Ты меня убедил». Тот, кто поменьше, вытер красные сопли и достал бумажник.

Между прочим, дядя Витя ни на бокс, ни на самбо не ходил. А про карате тогда и слыхом не слыхивали. Да и откуда в нашей глубинке ринги и спортзалы! Правда, был опыт кулачных боёв «деревня на деревню», но это ведь нечасто, только по большим праздникам. Нет, у дяди Вити это природное. У него и в шестьдесят лет торс был, как у тридцатилетнего атлета.

Таких случаев в Витиной биографии было немало. И шапку пробовали снять, и перчатки. И на дачу за маком приходили... Зря Рыжий кулаками никогда не махал. И чётко понимал, когда драка необходима. А поскольку за любое дело он брался с особым азартом, делал всё ответственно и качественно и доводил начатое до логического конца, то и бой за справедливость — не исключение. Таков характер. Эти качества помогали ему во всём. Он чинил машины знакомым и незнакомым, правил кузова, варил пороги, регулировал клапана без щупа...

Все семидесятые Виктор таксовал безвылазно. Дети хорошо учились, жена была заботливая и хозяйственная. В таких условиях мужики стараются не рисковать, чтобы не спугнуть счастье. Но это не для Рыжего!

Однажды он стоял в кружке коллег-таксистов. Курили, рассказывали байки. За

длинным зданием вокзала резко вскрикивал маневровый тепловоз, люди спешили, кто к поезду, кто домой. Но заказов было мало. Хорошо отработанные автобусные и трамвайные маршруты устраивали большинство пассажиров. Тем боле что февраль случился тёплым и без вьюги, и несколько минут на автобусной остановке никого не пугали.

К остановке такси подошёл невысокий, лет сорока, мужчина в простеньком пальто и лисьей шапке.

— Ребята, в Вологду поедем? — он переводил взгляд с одного таксиста на другого.

— Не ближний свет, парень, — после паузы отозвался пожилой, в ярком вязаном шарфе таксист. — Есть поезда, автобус каждый час.

— Мне маму в больницу надо... — мужик не успел договорить, как Виктор слегка хлопнул его по плечу:

— Поехали.

Старушке на самом деле было тяжело. Виктор ехал быстро, но очень осторожно, стараясь не попасть в выбоину, закатанную грейдером. Вот и областная больница. Пассажиры наперебой благодарили отзывчивого таксиста.

Надо было возвращаться. Виктор подъехал к областному автовокзалу. Покурил с местными таксистами, надеясь найти пассажиров на обратную дорогу до Череповца. Желающих не было. Молодая, весёлая пара подошли к Виктору: «А в Тотьму поедем?» — «Ребята, мне в другую сторону, — собрался было отказаться Виктор, но его природный добрый авантюризм возразил: — Поедем!» А про себя подумал: «Хоть с сестрой повидаюсь».

Зимняя трасса на Тотьму гораздо приятней, чем летом. Ровненько грейдирована, подсыпана, где надо. Ехать — одно удовольствие. Ребята вполголоса щебетали на заднем сидении. Мотор «Волги» ритмично напевал свою рабочую песню. И вот мы уже почти в четырёхстах км от своего диспетчера. Но Виктор знал: ребята предупредят Зою Николаевну, что Витьку унесло в Вологду, и до конца смены он может не успеть на базу. Он со спокойной душой покатил по улицам зимней Тотьмы к сестре, которую давненько не видал.

Сестра Каля, увидев брата, завсплёскивала руками: «Витька! Ты откуда? Вить, случилось что? Витя..!» — «Успокойся, ради Бога, обычный рейс, пассажиры до Тотьмы. Вот заехал повидаться».

Старушка, сидевшая на кухне с Калей, узнала Виктора. Оказалось, что Степановна из их родной деревни, приехала в больницу по своим старческим делам, а вернуться не смогла — автобус не пошёл — перемело мосеевские поля. «Охти мне, Викеня, встретила бы на улице — не узнала!»

Как обычно перебрали родных. Виктор, пока ужинал, рассказал, как работа, как семья, как дети...

«Ну, Степановна, поехали». — «Куда, Вить?» — «В Слободку к тебе». — «Так ведь «Пазик» и то не пустили». — «Поехали, деушка, пихнёшь сзади!» — «Ой, Викеня, ой, чёрт рыжий...»

В мосеевских полях, конечно, сели. Лопата тут — не помощница. Не будешь ведь четыреста метров сугробов перелопачивать! Проще сходить в деревню за трактором. Слегка подпитой тракторист округлил глаза: «На «Волге» в Слободку? Хм!» — и стал натягивать телогрейку. Аналогичная процедура их ждала и в заозерских полях.

Высадив Степановну у сельповского магазина, Виктор отказался от чая, от денег и рванул обратно. Оба тракториста ждали его на продуваемых всеми ветрами полевых угорах...

В Тотьме Виктор заехал к Кале. Выпил из третьей бутылки сто граммов водки (две бутылки разошлись по трактористам в каверзных полях), два часа поспал, выпил две кружки крепкого горячего чая. Машина ещё не успела остыть...

...Без десяти минут десять утра Виктор подъехал к Череповецкому таксопарку. Мужики ничего не спрашивали: Витька такой, если надо, сам расскажет. Получилось, что ровно за сутки он отмахал без малого тысячу км. Диспетчер приняла путевой лист и только сказала: «Ребята, отвезите Витьку домой — он спать хочет». Глаза действительно просились закрыться...

...Алик сидел и улыбался. Он, наверное, думал о кавказских абреках, о которых часто упоминал на литературных посиделках. Абреки, ковбои, «рыжие»... У каждого вольнолюбивого народа — свои герои.

«Алик, расскажи про твою малую родину...»

Не верите в правдивость моих строк? Но, ради уважения к поэту,
Услышьте поэтический мой слог. И пусть тогда меня накажет Бог,
Коль выдал ложь я вам за чистую монету!

Хочу воспеть я родину свою и ей отдать своё дыханье.
Я счастлив тем, что так люблю свой край родной в краю изгнанья.

Я одержим одним мгновеньем: когда грехи моей души
Отпустят воды очищения святой Лиахвы и Куры.

Когда в святыне Горисджвари предстану я у алтаря,
Я помолюсь за мица-цхали, за край, что назван Грузия!

Был жаркий июль. Моя «семёра» легко взлетела по новому «грейдеру» на угор, и... открылась Слободка! Родина моих предков, родина Рыжего...

Мы вошли в дом. Раздевалка с умывальником, дальше — переборка с проёмом, столовая. Справа — кухня с русской печью, слева большой стол и у переборки старинная металлическая кровать. Рыжий лежал и даже не повернул головы в нашу сторону.

— Деревянный — ты?

— Дядя Витя, это — мы.

— Пельменник? Ты как здесь?

— Проездом, Рыжий.

Оцепенение с него слетело, как осенний лист под ветром. Рыжий вертанулся на кровати, ноги крепко встали на широкоплахий пол. Взгляд немного задержался на грузине:

— С тобой?

— Он со мной, дядя Витя.

— Лады. Там на шостке — жареная печёнка с картошкой. Разогрей, пельменник. Вы поешьте с дороги. А я морду лица умою. Второй день, Колька, лежу и всё думаю...

Рыжий загремел за переборкой носиком рукомойника. Я кивнул Алику на устье печи. Алик взял сковородку и поставил на газовую плиту. Нашёл и нарезал хлеб. Принёс гранёные стаканы.

Вот за что я уважаю Алика, так это за его интеллектуально-авантюрный склад характера. Знаю его плохо, просто как неординарного поэта, в крупных переделках, которые роднят мужиков, с ним не бывал. Но ему лишних слов говорить не надо. И если тема одна и цель ясна, зачем слова? (Может, тоже стану поэтом!)

Рыжий вышел из-за переборки посвежевший и помолодевший.

— Водка есть? Поправиться бы...

— Есть, дядя Витя, — я сходил к машине и поставил поллитровку на стол.

Пока Рыжий принял полстакана, мы с Аликом жевали горячую, снабжённую специями и томатной подливой печёнку. Вкусно!

Дядя Витя колупнул вилкой в сковородке и повернулся к Алику:

— Ты Кольке кто?

— Друг.

— Это хорошо.

— Он поэт, дядя Витя.

— А по жизни?

— Поэт.

— Понятно.

— Ничего тебе, Рыжий, не понятно, — сто граммов водки придали мне смелости.

— А ты, пельменник, не встревай, — глаза у дяди Вити по-доброму искрились. — Вы мне тут ещё расскажите: «Поэт в России больше, чем...»

Мы с Аликом переглянулись: ничего себе дядька даёт, вот тебе и простой водила!

Наше скромное застолье сопровождалось мужскими разговорами: «Клапана регулируешь? Масло вовремя меняешь? Тормоза как?» Дядя Витя никогда не давал своей технике жить без ухода. Ему техника отвечала взаимностью. Всегда была исправна и надёжна.

Он повеселел, уже не выглядел больным с похмельным синдромом. Когда технические вопросы были заданы, а пустая бутылка «ушла» в мусорный ящик, я решил, что теперь моя очередь задать пару вопросов.

— Дядя Витя, а ты чего это расслабился? Скучно без Риммы Ивановны? Ведь ты же алкоголик-то очень умеренный...

Он смотрел в окошко. Там висела, чуть не касаясь стекла, огромная рябиновая гроздь. Ягоды были жёлто-оранжевые, ещё недозревшие. У меня даже во рту стало кисло.

Алик не выдержал паузы:

— Дядя Витя, а можно я тебе стихотворение прочитаю?

— Давай, Алик...

Опрокинулась в ночь Вологодчина, и мерцанием звёздных огней,
Росой серебристой измочена ткань бархатистых полей.

В лунном сиянии плещутся древних церквей купола.
Над берегом Сухоны шепчутся о чем-то своём тополя.

Шалью туманной укутаны бледные плечи берёз.
Стоят, распустив свои локоны, в таинстве девичьих грёз.

Дымка прохладою пенится над гладью озёрных зеркал.
И в этом спокойствии нежится тлеющий в небе кристалл.

Дорогами странствий гонимый, выйду я в поле босой,
И, жаждой в скитаньях томимый, напьюсь я душистой росой.

И в тишь благодатного края я тонкою струйкой вольюсь,
В душистом стогу утопая. Меня убаюкает Русь.

А большая гроздь через тонкое стекло била Рыжего по его широкому носу...

— Нет, ребятки, дело не в Римме. Иногда найдёт что-то. Всю жизнь суетился-суетился, и... так она быстро пролетела!

— Пусть дядя Витя погрустит полчаса, — предложил Алик, — покажи мне Слободку.

И мы вышли на деревню. Центральная усадьба колхоза. Контора, клуб, памятник погибшим на полях сражений. Большинство домов уже пустуют. А деревня раньше была — загляденье! На высоком холме, а внизу Двиница — речка-ручеёк. Меж домами вековые липы.

Зашли в магазин. Молодая женщина-продавец внимательно взглянула на меня:

— А я вас помню. Вы к дяде Вите приехали? Или по делам?

— И то, и другое, землячка. Вас как звать?

— Света.

— Здравствуйте, Света.

Хотел спросить по обычаю, чья она (может — родственники), но не стал. Что уж теперь, если меня увезли в город совсем маленьким. Алик дипломатично торчал у дальнего прилавка, у окна, внимательно разглядывая витрину, на которой валялись карандаши цветные, бритвенные лезвия «Спутник», детское мыло и другие мелочи, так ненужные людям в этой деревне.

Алик перешёл к рыбной витрине и внимательно смотрел за прилавок. Туда, где в углу стоял «на попа» остаток рулона дешёвой типографской бумаги. Хлопнула дверь и в магазин влетели две девчушки-хохотушки, лет по семь-восемь. И чуть ли не с порога:

— Тётя Света! А мороженое привезли?

— Девочки! А где ваше «здрасьте»? — Алик стоял в позе директора школы.

— Здравствуйте... — пролепетали обе в один голос.

— Вот. А теперь — мороженое за мой счёт. Если вы выполните одно маленькое, но ответственное поручение, — последнюю фразу Алик произнёс с лёгким грузинским акцентом, — девчонки, наверное, не видели «Кавказскую пленницу» и молча смотрели на незнакомого «иностранца». — Света, а что это у вас за рулончик в углу? — Алик указал за прилавок.

— Так это... я... Селёдку заворачиваю.

— Отрежь мне, пожалуйста, два куска, форматом 22, — Алик руками показал примерные размеры стандартного листа ватмана. — Девочки, берите по два мороженых, а мы пока порисуем, — Алик взял у Светы толстый, синего цвета фломастер.

— Диктуй, — я положил на стол покупателя первый лист и взял в руку фломастер.

— «Внимание!» — Алик указал на верх листа,потом — ниже: «Сегодня, в 19.00, в сельском клубе состоится литературный вечер тотемского поэта Алика Горели. В репертуаре 200 стихотворений. Буду читать, пока не заснёте. До встречи!»

«Последнюю стопку не надо было ему наливать», — подумал я.

— Повтори на втором листе, — сказал мне Алик и повернулся к девчушкам как к старым знакомым.

— Ну, как мороженое?

— Вкусное! — опять хором ответили хохотушки (наверное, с пелёнок дружат).

— А теперь — задание. Тётя Света выдаст вам кнопки, и прикрепите эти две бумажки на самые людные места — на магазин и вон на тот щит, в центре, — там раньше киноафишу клеили.

— Алик, они маленькие, они не смогут...

— А ты, дядя Коля, не тормози инициативу молодых, я им, конечно, помогу, —

Алик взял листы, девчушки — кнопки, и они дружно вышли из магазина.

— Он что, правда поэт? — спросила Света, подавая мне продукты и две «Рябины на коньяке».

— Да, Светлана, он хороший поэт. Приходи в клуб, и если не понравится, ты первая бросишь в него камень. В меня тоже.

Дядя Витя жарил мясо с картошкой в большой чугунной сковороде. А на столе уже стояла окрошка и гора хлеба обоих цветов из местной пекарни.

— Ну, как наши достопримечательности? — мельком взглянув на «Рябину», поставленную между блюдом с окрошкой и хлебом, спросил дядя Витя.

— Ваша главная достопримечательность, — философически и многозначительно изрёк Алик, — это — люди!

Дядя Витя перестал помешивать в сковороде:

— Хорошо сказал, Алик, по-нашему...

Мы выпили по полстакана «Рябины» за хороших и добрых слободчан и налегли. Алик — на окрошку (он такого блюда не едал), я — на картошку с мясом. Пошла умиротворённая беседа. Я видел, что Рыжему хорошо, и понял, что мы приехали не зря. Не заметили, как солнце покатилось к закату. На дяди Витиных ходиках стрелки показывали половину седьмого вечера. Алик было стрельнул глазами на «Рябину», но я отрицательно помотал головой и указал на часы с гирьками в виде еловых шишек.

— Не беспокойся, Николаич, я готов.

Дядя Витя за переборкой жарил толстые ломти «докторской». Я тронул его за плечо:

— Мы уходим.

— Как? Куда?

— В клуб, народ придёт слушать стихи Алика.

— А вас не убьют?

— А мы убежим!

— Возвращайтесь скорей.

В фойе клуба стоял бильярдный стол и местные пацаны гоняли самодельным кием жёлтые с выщерблинами шары. Я с опаской заглянул в зал. Там был народ! Не аншлаг, конечно, но люди пришли! На часах — без пяти девятнадцать. Внизу, у сцены, стоял небольшой стол и два стула. Света позаботилась, догадался я.

Мы вошли в зал, поздоровались. Бабушки с переднего ряда вразнобой поприветствовали двух, неизвестно откуда свалившихся «народников». Люди моего возраста из середины помахали мне рукой (узнали!). Молодёжь сзади промолчала.

Я представил Алика. Сообщил, что вечер будет состоять из трёх частей. Первая — тема Кавказа (объяснил — почему). Вторая — лирика. Третья — тема севера (тоже — пару слов о понятии «малая родина»).

Алик встал за стол, отодвинув стулья. А я вышел в фойе к бильярду преподать молодым землякам мастер-класс.

Через полчаса мужики вышли на перекур. Один из них, мой знакомый, улыбнувшись, спросил:

— Кто вас надоумил? Кино теперь не кажут, с концертами из города не приезжают...

— Вот это и надоумило. Ну как?

— Дослушать надо.

Это меня успокоило: значит, заинтересовались. А то бы сразу ушли. Вторая и третья части литературного вечера прошли с не меньшим успехом. Об этом можно было судить по аплодисментам перед вторым перерывом и в конце вечера.

Я приоткрыл дверь и...

В охладевшие руки вложите святое распятье,
Уложите меня под холодным мерцаньем светил.
Постелите мне скорбь, где искал я туманное счастье,
Заблудившись в крестах безымянных могил.

Положите под голову русскую славу и доблесть.
И омойте мне раны росою душистых полей...
Не судите мою опустевшую душу и совесть.
Усмирите мой гнев перезвонами древних церквей.

Напоите слезами меня. Истекающий кровью,
Я теряю надежду в закате прошедшего дня.
Образ святой мне поставьте свечой к изголовью.
Православным обрядом, молю, схороните меня.

Схороните меня над рекой у заброшенной церкви,
Где душа изорвёт о кресты куполов свою грусть...
Там, где фрески святые от скорби к народу поблекли.
Там, где ждёт возрожденье своё православная Русь.

Но самым трогательным было то, что, когда старшие разошлись, стайка молодых парней и девчонок остановили нас возле памятника героям и попросили Алика почитать ещё!

Он им читал то, что суровые критики от литературы не рекомендуют читать со сцены.

Меня дёрнула за палец маленькая девчушка:

— Я от дяди Вити. Он послал меня узнать, когда вас убъют и... когда греть колбасу.

— Иди, маленькая, скажи — пусть греет!..

— Живы? — дядя Витя появился из кухни всё с той же огромной сковородой, и по столовой поплыл запах жареной колбасы. — А вы молодцы, ребята, без комплексов! Тут Нина Николаевна заходила, посмотрела на меня, рукой махнула и ушла, — дядька хитро ухмыльнулся.

На ходиках было почти два ночи, а мы всё говорили. Но самое удивительное: во второй бутылке оставалась ещё половина «Рябины». И спать не хотелось...

Когда проснулись, дядя Витя уже сварганил завтрак. Алику густую окрошку, мне два ломтя жареного мяса, сдобренных чесноком и томатным соусом.

— Рыжий, — спросил я, — ты всегда так готовишь?

— Для гостей.

— А я уж хотел у тебя остаться — я дома консервы ем.

— А ты не ленись и приготовь, — дядя Витя проимитировал удар в моё солнечное сплетение. Я был готов и не дрогнул, за что он одобрительно хлопнул меня по плечу.

За завтраком молчали. Нам уезжать не хотелось, дяде Вите не хотелось с нами расставаться. Но надо было ехать.

— Машину я проверил. Клапана в норме, тормоза — тоже, но ручник плохо держит — исправь.

Дядя Витя смотрел в окно на оранжевую гроздь рябины, и мне показалось, что он смахнул слезу. Возраст...

Всю обратную дорогу мы с Аликом перебрасывались лишь короткими фразами. Ни ему, ни мне говорить не хотелось. На душе было легко и спокойно. Но немного грустно.

— Рыжий пошёл за водкой? — Алик угадал мою мысль.

— Нет, — твёрдо ответил я.

Нина КРОМИНА

ШТРИХ. ПУНКТИР. ТОЧКА

Часть V[1]

Поздняя осень. Поблекший под тёмной пеленой город. Голые, будто напоказ, ветви. Лишь последний яркий лист дрожит на клёне под моим окном. Ещё вчера я могла встречаться с друзьями, разгуливать по улицам и переулкам, а сегодня белый потолок, бежевая стена, время, падающее каплями в настенных часах. Три недели ломоты, дрожи, сменяющейся внезапным жаром, сухих губ, сырой подушки. Как тяжело дышать! Ночь сменяет день. День сменяет ночь. Вместо сна видения, провалы в никуда. Белые силуэты в скафандрах. Вот вошёл мой дед. Добрый. Сухой телом, высокий. С белым платом в руках. Он наматывает его мне на голову. Ткань каменеет, преображается в венчающую голову корону, потом спускается на лицо, забинтовывает глаза, обвивает нос, шею. Я покорна и терпелива, даже радостна! Значит, время пришло. И тут откуда-то сбоку появляется отец. Взглянув на деда строго, почти гневно, он скидывает с меня тряпки. Дышу глубоко, с наслаждением. А за окном всё тот же узорчатый лист, красивый ярко-золотой.

Мемуар 22. ВРЕМЯ ВСПОМИНАТЬ

Теперь, когда я перешла в новый отрезок жизни, именуемый преклонным возрастом, сожалею о многом. Например, о том, что удалось побывать всего лишь в нескольких точках нашего голубого шарика. Для перечисления достаточно пальцев одной руки (лукавлю — двух). Помню, когда в 2020 году возвращалась на самолёте из Калининграда, где участвовала в литературном фестивале «Русский Гофман», в соседнем кресле сидел мужчина. Шестьдесят пять плюс, как я. Он оказался разговорчивым и всё сетовал на то, что пандемия коронавируса лишила нас возможности путешествовать. Правда, вскользь упомянул, что за свою жизнь объехал и Европу, и Азию. Но ему этого оказалось мало. Что же говорить обо мне, для которой не только заграница, но и Россия приоткрылась лишь маленьким кусочком автобусного галопа. И как же приходилось напрягать зрение, чтобы разглядеть не только дворцы, островерхие крыши и узкие улочки, но и что-то ещё, что ищут сердцем. Пришло время не просто вспоминать, а вглядываться в картинки прежних путешествий.

В поездках, кроме экскурсионной программы, я всегда пыталась уловить мгновения прошлой и сегодняшней жизни. Мне хотелось бы пожить то в одном месте, то в другом. Утром, когда флорентийцы ещё не проснулись, побродить по городу, подойти к молодому человеку, мимо которого промчались под возглас экскурсовода: «Не останавливаемся, это не по программе». Он стоял под холодным дождём на Via Santa Margherita, заметный на фоне серого дня красным колпаком, и декламировал. Над ним висел листок с изображением Данте, и я догадалась, что он читает из «Божественной комедии». Ни перевёрнутой шляпы у ног, ни кружки для сбора монет. Он и на следующее утро, когда мы проезжали на авто, опять стоял на том же месте и, кутаясь от непогоды в хламиду, жестикулируя, бросал слова в воздух: «А если стал порочен целый свет, то был тому единственной причиной // Сам человек: лишь он — источник бед, // Своих скорбей создатель он единый...»

Пожалуй, только в Montenegro я не спешила!

С Черногорией, с лёгкой руки и по совету Дмитрия второго, моего танцевального босса, повезло. Там мы с мужем провели пять сентябрьских дней в отеле, расположенном в бухте при въезде в Пржно. Бывший когда-то рыбацким, обросший уже и вовремя нашей поездки виллами, посёлок ещё хранил дух прошлого, и здесь я

[1] Публикация мемуаров «Штрих. Пунктир. Точка» стартовала в N3 и финиширует в N5 «Невского проспекта».

могла наблюдать за обычной жизнью черногорцев.

В нескольких шагах от отеля, на берегу Адриатического моря, на кромке воды угнездился двухэтажный дом. На первом — ресторанчик, на его выносной террасе, снизу обшитой досками, несколько деревянных столов. В штиль аквамариновое серебро блестит, переливается, уводит взгляд в прозрачное с разноцветной галькой море. В бриз волны равномерно шлёпают по доскам, лёгкие брызги приятно освежают. Если заштормит, хватай свои тарелки и бегом под крышу.

Хозяева этого дома жили на втором этаже. В проёме открытого окна я часто видела в ореоле курчаво-чёрных волос молодую весёлую женщину. По утрам в сопровождении паренька лет девяти выходил из дома и, оставляя на песке крупные следы босых ног, не спеша шлёпал по пляжу к лодке пожилой мужчина. На плече он тащил снасти. Мальчик припрыгивал сзади. В руках сачок, болтающиеся на шнурках кроссовки. Женщина выкрикивала ему вслед что-то весёлое и грозила пальцем. Их лодка стояла среди множества похожих. Из бухты они не выходили, ловили рыбу у крошечного скального островка с полуразрушенным строением. На мои вопросы об этом здании отдыхающие отвечали, что в нём, скорее всего, находилась караульная, защищавшая побережье от турецких пиратов, а кто-то бросил: «Тюрьма». К обеду рыбаки причаливали, возвращались с уловом. И тут же за работу принималась пожилая женщина. Она выходила из дома с тазом и, подоткнув длинную тёмную юбку, чистила рыбу на берегу моря. Рядом с ней пегий пёс дворовой породы лакал воду (Михаил, мой муж, прозвал его Солёным).

Для нас это сигнал: пора на обед в их маленький ресторанчик под названием «У моря». Мы садились на террасе и, слушая море, любовались лёгкой, поднимающейся дымкой, горами, заросшими оливковыми деревьями. Еду подавал молодой худощавый брюнет. Мил, легко-приветлив, не безупречный, но русский язык. И всего-то двадцать евро на двоих. Нам это казалось дорого, но удержаться от кайфа мы, как и другие постояльцы нашего отеля, не могли.

После обеда прогулка по посёлку. За оградами деревья с яркими плодами гранатов, апельсинов, жухлыми инжирами. То мелькала белая хатка с красной черепицей, то, выставив напоказ архитектурные излишества, любовалась собой вилла; перегородив дорогу, валялись вальяжно-пыльные кошки... Казалось, что это место должны бы облюбовать художники. Столько красок! Но, к моему удивлению, ни мольбертов, ни этюдников. Наверно, на этот раз спрятались от посторонних глаз, забрались в горы и оттуда ведут «прицельный обстрел».

Мы проходили по центральной улице вверх до автобусной остановки. Рядом с ней на деревянной доске непривычные объявления с фотографиями людей из этого посёлка или соседних, недавно ушедших из жизни. Их родственники приглашали на прощание и поминовение. Эта традиция, не знакомая мне, вызвала уважение, как и степенная размеренная жизнь посёлка. Очевидно, в разгар сезона здесь шумно и многолюдно, но в конце сентября спокойно и пустовато.

У автобусной остановки мы останавливались и поворачивали назад. Пройдя последний магазинчик, попадали в сосновый парк. Аромат хвои и моря, птицы, белки, скалы, неспешная тропа, зовущая всё выше и выше. Поднимались на плато.

В распахнувшийся простор врывалось небо, а под ногами всеми оттенками изумрудного и голубого сияла Адриатика. Говорят, здесь любила сиживать королева Мария, внучка российского императора Александра II и жена короля Александра I Карагеоргиевича, убитого в Марселе в 1934 году. На одном из портретов русского художника Ф.А. Малявина 1933 года молодая женщина в амарантовом лёгком платье перебирает длинные из круглого жемчуга бусы. Черноброва, пылка, в глазах любовь и затаённое напряжение. Неужели художник пророчествовал и из тридцать третьего года увидел тридцать четвёртый?

А мы, налюбовавшись (могли бы и кофе попить: куда только не добираются вездесущие рестораторы), спускались с горы и лесной тропой выходили к отелю, называвшемуся так же, как и пляж: «Пляж королевы». Крошечная бухта, закрытая с двух сторон горами. Немноголюдно. А вот дальше в королевской резиденции (ныне президентской) оживлённее. «Милочер», от ласкового русского «милая» (так называли королеву Марию домашние). Здесь сосны расступаются, и другая, оранжерейная, красота кружит голову. Розы, множество роз в центре, они перешёптываются с пальмами и другими экзотическими растениями. Мы шли дальше. Теперь тропа, петляя, то поднималась по скалам, то опускалась среди сосен и вела всё время вдоль моря. Проходили через арку грота с радующими ступни волнами, через пляж, опять вверх. Корни переплетались, хватаясь за скалы, и образовывали приятное для отдыха место. Здесь мы присаживались и, конечно, фотографировались, нет, не на телефон, тогда, в начале двухтысячных, до нас ещё не доплелись мобильники, пользовались «мыльницами» Canon. С этого места с интересом наблюдали за любителями дайвин-

га. Вода в Адриатике настолько прозрачная, что можно разглядеть путешествия любителей подводного плаванья. Вот они уходят в глубину, огибают камни; напоминая русалочий хвост, колышутся ласты... Продолжая путь, выходили к острову «Святой Стефан». Тонкий рукотворный перешеек соединяет его с сушей. В прошлом — посёлок рыбаков, известный со времён Венецианской республики, ныне комплекс престижных отелей. Его почти округлая форма и яркие черепичные крыши среди моря — картина незабываемая... Вот где раздолье для художников...

Когда-то художники теснились и на парижских бульварах, но в январские дни уже далёкого двухтысячного года я не встретила ни одного. Заприметила в субботней толпе пожилую женщину. Седые букли, чёрное пальто, красный шарф. Её внешность, манеры соединились у меня с образом дамы из квартиры напротив отеля.

«Осторожно приоткрыв штору, самую щелочку, Габби, она же Мари, Мариэль, а может быть, даже Нинон, увидела, что серый дневной свет за окном уже начал сгущаться, кто-то добавил в него ультрамарин, и в город с минуты на минуту придёт вечер. *Любимое время всех парижан — субботний вечер. Его ждут с нетерпением, к нему готовятся, о нем мечтают. Если ты ещё жив, если ещё можешь передвигать ноги, даже если тащишь их за собой, вперёд! А если за тобой зайдёт кавалер? Забьётся сердце, загорятся глаза.*

Ногти были готовы ещё к полудню. Подсиненные волосы букольками, по старой моде. Почищено пальто, черное, легкого покроя, шляпка. Юбка черная до колен и любимый черный свитерочек. Всё как в молодости! А впереди — парижский вечер.

Кино, театр, кафе, рестораны — всё забито, везде жизнь. Нет, не та жизнь клерков, когда, забежав, жевнув на ходу, бежишь дальше, а когда затянешься сигареткой, глотнёшь из бокала или на худой конец из пластмассового стаканчика, вытянешь под столом ноги, глаза поднимешь, взгляд встретишь. «Сколько вам лет, мадам?» — спросишь себя и, не дожидаясь ответа, будешь слушать стук сердца, когда приблизится незнакомец и возьмёт за руку. Да, конечно, ещё она наденет бусы, те, что купила вчера у африканца, который торгует у Новой оперы, и поясок, что от старого костюмчика. Шарфик, туфли. Если бы она шла одна, надела бы старые, бескаблучные. Но сегодня за ней зайдёт её мальчик, Пьер, Фредерик, а может быть, даже Мишель. Конечно, они уже не так новы — эти любимые туфельки от Гуччи, но зато настоящие.

Габриэль, она же Габби, Мари, Мариэль, а может быть, и Нинон, — в нетерпении. Зажигает свет, задвигает жалюзи, ещё плотнее смыкает шторы, чтобы ни единой щёлочки. *Ещё немного, и она будет совсем готова: чуть-чуть глаза, пуховку к носу, каплю духов на запястье, и... закрыть глаза, чтоб билось сердце — как тогда, в молодости, когда гремел лифт металлическими дверями и можно было расслышать шаги у входной двери. Она сядет, как раньше, лицом к Бульвару, чтоб были видны дома, люди, фонари, синий отсвет неба на сыроватом асфальте, ой, какие все молодые, а как много приезжих, смуглых, скуластых, как они неотесанны, совсем как я в молодости, будет думать Габриэль...*

Как всегда, они пойдут вдвоём, она и её Андре, Базиль, а ещё лучше, если это будет Мишель. Как прекрасно идти пешком, ловить воздух, восторженные взгляды прохожих, любоваться спутником, его прекрасной фигурой. Она любит встречать знакомых, улыбаться им.

Возьмёт его под руку, конечно, не как Жанетта, та прямо вешается всем телом, сразу видно, сколько ей лет, она же едва положит руку, и они поплывут и будут отражаться в стёклах витрин, а навстречу — пары, молодые, постарше, студенты, пары с колясками и кенгурятниками, почтенные дамы и игривые старички, свои и приезжие, туристы и она, они, в этой реке жизни, и всё будет как в молодости...

Вот уже накинула шарф, сумочка и перчатки ждут у зеркала, перебирает клавиши пианино, подпевает себе — у неё нет возраста, нет тяжести в ногах, она — парижанка... *О, Париж, о, Париж, о, Париж, о, Париж...»*[1]

А однажды в поездке по бывшей Финляндии мы с мужем оказались единственными пассажирами минивэна. Его водитель, худощавый мужчина лет тридцати пяти, почему-то разоткровенничался с нами. Он рассказывал о своей жизни, о жене:

«Когда Элка уехала из нашего городка, я подумал, что теперь никогда с ней не увижусь.

К тому же прошёл слух, что она вышла замуж, вскоре я услышал, что у неё родился ребёнок — сначала один, потом ещё. Девочки. Где она обитала, с кем — я не знал. Конечно, я мог бы зайти к её маме, Ольге Петровне, мы с ней, как говорила Элка, хорошо спелись, ведь я к ним всегда приходил так запросто, как к себе домой, ещё

[1] «Парижский вечер», Нина Кромина (Нана Белл).

бы, мы ведь учились в одном классе и дружили чуть ли не с первого класса. Но я представить себе не мог, что вот войду, а в той комнате, где мы учили вместе уроки, увижу прилепленные к стене фотки или, не дай бог, Ольга Петровна достанет альбом, и там я увижу Элку, например, в фате, рядом с её избранником или семейный портрет с дочками, на котором все счастливые и улыбаются.

Я решил, что уж раз такое случилось, то пусть она останется навсегда в моей памяти школьницей. Сначала девчонкой с косичками, потом девушкой с лёгкими распущенными по плечам рыжеватыми волосами и странными глазами, цвет которых я никак не мог определить. На мой вопрос:

— Какого цвета у тебя глаза? — она всегда отвечала:

— Зелёные.

Но это была полуправда. Потому что они меняли свой цвет несколько раз в день и могли быть в зависимости от освещения или, например, её настроения то оливковыми, то горчичными, то карими. Встречаясь с ней, я по ним мог сразу узнать, какое у неё настроение и что мне ждать от неё — милости или кары за несовершённые мной проступки.

Эх, Элка, Элка!

Почему-то ещё тогда, давно-давно, я чувствовал, что никакая другая женщина мне не будет нужна в жизни так, как она. А потому, махнув рукой на всякие страсти-мордасти, или, попросту говоря, на личную жизнь, я решил посвятить себя математике, к которой имел пристрастие с детских лет. Я уехал в Питер и довольно легко поступил в универ. Конечно же, на механико-математический факультет, который, кстати, в каком-то тысяча восемьсот лохматом году окончил мой прадед.

Мне удавалось многое из того, что мои однокурсники так и не осилили. Я решал контрольные, писал курсовые для всех, кто обращался ко мне. Представьте, я делал это совершенно бескорыстно. Лихие девяностые прошли мимо меня, и дух всеобщей коммерциализации в то время не затронул ни один волос на моей голове.

Дома, в родном своём городке, я почти не бывал. Родителей, которые потихонечку старились в своей советской двушке, я вспоминал часто, а письма писал, как и положено примерному сынку, каждый месяц. С одноклассниками никакой связи не поддерживал. Жил же я заветами дедушки Ленина, которые засели у меня в голове прочнее прочного ещё с раннего пионерского детства. Да, я учился, учился и учился. И делал это не просто с удовольствием, а прямо с каким-то остервенением: принимал участие в студенческих математических конкурсах, печатал свои работы в «Трудах» и даже однажды получил премию «Молодому математику». Лето обычно проводил в каких-нибудь математических школах. В конце пятого курса мама прислала мне письмо, в котором писала, что я совсем их забыл и что не за горой то время, когда я приеду их хоронить. Решил, что перед сессией съезжу к ним на несколько дней, и даже успел досрочно сдать несколько экзаменов.

За те годы, которые я провёл в Питере, родители мои заметно сдали, у меня даже сжалось сердце, когда увидел их. Казалось, их что-то тянет вниз: они стали ниже, папа опирался на палку и слегка прихрамывал, у мамы фигура заметно осела и правое плечо опустилось ниже левого. Мешки под глазами, линии от носа к концам губ, у мамы от верхней губы разбегались тонкие морщинки, в которые расползалась помада, у отца губ вообще не осталось, только две узкие полоски.

Я решил, что те несколько дней, которые проведу дома, отлучаться никуда не буду, растворюсь в предках, в их суете и быте. Так прошли первые два дня. Я тщательно пылесосил, отодвигал шкафы, диваны — знал, им это нравится. Пытался даже помогать маме на кухне, рассказывал о своей учёбе. Расспрашивал, как их здоровье. Всё как полагается.

Но на третий день, в тот момент, когда я занялся ремонтом унитаза и стоял перед ним на коленях, обрабатывая герметиком трещины, в квартире появилась Элка. Я не сразу сообразил, что это она. Новомодный джинсовый костюм, украшенный чем-то мелким и блестящим, так сильно облегал её фигуру, что непонятно, как она в него влезла. Густые обесцвеченные волосы, не такие прекрасные, как прежде, с трудом удерживались какой-то резиночкой. И только её глаза были, как и раньше, особенными. Зелень в них переливалась волнами, она то становилась тёмной, то казалось, что внутри радужки вспыхивают какие-то жёлтые огоньки и они становятся горько-горчичными. Я вспомнил, что когда-то слышал, что Веласкес, чтобы получить зелёный цвет, использовал смесь медной лазури и охры, добавлял в краски свинец и олово. И вот мне показалось, что в глазах Элки этот процесс шёл в обратном направлении, разлагаясь на эти составляющие.

Она заговорила со мной сразу и быстро, не вдаваясь в преамбулу о том, как я живу и надолго ли приехал.

— Мне нужен водитель. Можешь ты прямо сейчас поехать со мной? Я выйду за

тебя замуж. Тебя это устроит? Не волнуйся, я развелась, девочки пока останутся с мамой. Мне нужно знать, ты согласен или нет. Да, ещё. На зарплату у меня денег нет. И вдруг посмотрела на меня так, будто просит что-то, и добавила: — Одна я не справлюсь.

Так я оказался в этих местах, на берегу дивного озера на границе с Финляндией, вернее, на территории старой Финляндии. Элка жила там одна в убогой бытовке, окруженной девственным сосновым лесом, рядом творилось чёрт-те что: трактора, бульдозеры, кто-то пилил деревья, кто-то что-то привозил. Ещё по дороге на место она сообщила мне, что занялась строительством турбазы и будет единственной её хозяйкой. Конечно, я раскрыл рот от удивления и спросил:

— Откуда деньги?

— А вот это тебя не касается. Ты водитель и больше ничего. Будешь выполнять то, что я тебе буду говорить.

— Но я, кажется, ещё буду твоим мужем?

— Ха, ха, — засмеялась она, — по совместительству.

И началась моя новая жизнь. Мы действительно расписались, и я ощущал себя самым счастливым человеком на свете. Ведь Элка — женщина моей мечты.

Целыми днями мы носились по бездорожью, то по посёлкам, набирая рабочих, то на приём к чиновникам, и там она подписывала какие-то бумаги, а я дожидался её в кабине доисторического УАЗа, за жизнь которого очень переживал. Скоро на территории, которую Элка называла своей, появились постройки. Они были отделаны под брусовые коттеджи и выглядели совсем неплохо. Особенно мне нравилась столовая, которая считалась рестораном. Со временем мы перебрались из бытовки в один из небольших четырёхкомнатных домиков, предназначенных для отдыхающих, с общим туалетом и душем, а потом и вовсе в коттедж. К началу следующего сезона всё было готово к приему туристов, или, как говорила Элка, наших гостей.

Она работала как ишак, не зная ни дня, ни ночи. По ночам занималась бухгалтерией, я же оставался на прежней должности — шофёра и мужа в одном флаконе. Однажды, глядя на её странно изменившееся лицо, уставшее и одновременно какое-то брезгливо-недовольное, я предложил ей помочь с бумагами, всё-таки я математик и как-нибудь уж смогу разобраться с цифрами, но она почему-то резко прервала меня и сказала, прищурив глаза:

— Ты помнишь, я взяла тебя водителем, поэтому не лезь не в свои дела. Вот тебе на завтра список. Постарайся всё успеть.

Я старался, выполнял свои обязанности неплохо и днём и ночью. В список моих дел стал теперь ещё входить трансфер гостей. Среди них много питерцев, москвичей, но больше всего финнов. Последние приезжают компаниями, устраивают пышные застолья в нашем ресторане, а потом разбредаются по своим фундаментам, по своим мызам.

Некоторые из их бывших построек я заметил сразу после приезда, а некоторые пришлось раскапывать, так глубоко они ушли в землю. Тот, который находится на территории нашей турбазы, я облюбовал особенно. Вот вход, две большие комнаты, вот выход на террасу, с неё ступени прямо в озеро. Я ухаживаю за фундаментом и ступеньками: очищаю от дёрна, кошу вокруг траву.

Недавно, по дороге на станцию, остановился на обочине и увидел группу пожилых, а можно даже сказать, совсем старых финнов, которые, выйдя из туристического автобуса почти бегом, если, конечно, это можно назвать бегом, направились к торчащим справа камням. Я догадался, что это их кладбище. Они торопливо переходили от камня к камню, некоторые путались в траве, падали. Если удавалось найти свой камень, они обнимали его как родного человека и радостно смеялись, как если бы встретились с живыми. На следующий же день я приехал в это место с косой, теперь, если приедут, идти им будет легче. А однажды у водопада из какой-то старенькой Шкоды вышла пара: он и она, сколько им лет, сказать трудно, по-моему, это уже люди без возраста. Он грузный, широкоплечий, о таких говорят — кряжистый. Она же — маленький худой воробышек с седыми букольками.

Такими бы могли быть мои бабушки и дедушки, но их нет так давно, что я их совсем не помню. Глядя на этих двух, я затосковал о родителях и подумал, что скоро и они станут такими же старыми, но только вряд ли они смогут и захотят отправиться в какое-нибудь путешествие, хотя бы в ту деревню, где родились.

В тот же вечер я попросился у моей хозяйки в краткосрочный отпуск — я не был дома уже несколько лет. Но она сказала:

— Сейчас не время. Вот сезон кончится, тогда езжай. У меня там вообще дети, а много раз я ездила?

Это была правда, и мне даже стало стыдно за свою просьбу. Но ей пришлось меня всё-таки пару раз отпустить домой в то лето: сначала умер отец, потом мать.

Каждый раз, возвращаясь на турбазу, или, как говорила Элка, в наш финский домик, я садился на одну из очищенных мною ото мха ступенек, смотрел на озеро и курил. С тех пор я вообще стал курить очень много...

Прошло ещё несколько лет. Не буду вас утомлять описанием своей жизни. Всё будто бы шло гладко. Элке теперь не до меня, я с ней вижусь только вечерами. Я — на одной машине, она — на другой. Вот уже два года она обходится без личного водителя. Получила права, купила себе Ауди. Носится по всей округе. Стала выпивать. Волосы у неё теперь короткие, а какие стали глаза — я не знаю, её взгляд всегда направлен куда-то в сторону...»

Сейчас, оглядываясь назад, я пытаюсь воскресить внутренним зрением путешествия, которые удалось совершить. И какое счастье, что память даёт эту возможность.

К сожалению, моя мама не смогла позволить себе такую роскошь! Безденежье, уставший от фронта муж, дети, работа. Всего лишь три поездки: Ленинград, Михайловское и Ялта. Из поездки в Ленинград она привезла мне миниатюрный блокнотик с изображением Петропавловской крепости на обложке из тонкого металла. В приделанные сбоку петельки вставлялся крошечный карандашик, соединённый с блокнотом серебристой цепочкой. На первой странице мама размашисто написала: «Ленинград посещай!»

Что-что, а уж этот совет я выполняю!

Мемуар 23. ЛЕНИНГРАДСКИЕ ХРОНИКИ

Ленинград начался для меня тогда, когда мальчик и девочка, жившие в соседнем доме, вынесли во двор цветные открытки, на которых золотые фигуры отдавали свой блеск ярким струям фонтанов. Дворцы, площади, памятники — всё отражалось в яркой голубизне рек, каналов. А когда соседский мальчик, украдкой от сестры, сунул мне в ладонь синий эмалированный значок, на котором кружевной кораблик поднял паруса, то родилась мечта. Но я и мечта встретились не сразу. Лишь обменявшись кольцами со своим одноклассником, я почувствовала выросшие за спиной крылья: сами себе хозяева, без родительского пригляда. Его за руку и в мечту. Стучали колёса, свадебный пирог крошился в рюкзаке. Домашние руками не махали, а всплеснули — ни кастрюли, ни шкафа, ни пальто, а туда же...

Ни я, ни мой муж (хотя назвать нас супругами ни у кого бы язык не повернулся, так, желторотые птенчики) тогда не могли знать, что будем приезжать в этот город с регулярностью премьер в полюбившемся нам театре. До поры до времени, конечно...

В ту первую поездку я сносила вдрызг свадебные туфельки, а Михаил возвращался в столицу почти босиком, потому что подмётка осталась в каком-то ленинградском музее. Произошло это потому, что мы не пользовались троллейбусом, а всё пешком да пешком. И к Лавре, и от неё до Невы, и на Васильевский остров, и по Фонтанке, Мойке, Пряжке, в Эрмитаж, Русский, Летний сад, к Инженерному замку, и опять к Неве, и по Невскому к Лавре. А на следующий день — Петергоф, Царское село, конечно, Лицей и опять Эрмитаж. Возвращались в гостиницу на Московском проспекте, удобства в конце коридора, и сваливались каждый в своё прокрустово ложе, пока не догадались сдвинуть кровати. Но и после этого нам спалось так крепко, что природный инстинкт продолжения рода не мог победить усталости. А ещё хотелось полюбить Павловск, улочки-закоулочки, дворы насквозь и дома колодцами, Репино, Кронштадт, Валаам и Ладогу. Увы, в отпущенные нам три дня на свадьбу плюс майские праздники мы этого сделать не смогли. Всё сбылось, а что-то ещё и нет, только потом, через много-много лет. Но тогда мы ещё не знали об этом будущем и, вернувшись в свой город, закружились, завертелись между учёбой, работой и личным. А мечта опять свернулась клубочком и опять задремала.

Появились командировки. В Тот город. Особенно часто отлучался он. Хихикали дамочки за моей спиной, прикрыв личики наманикюренными пальчиками, усмехались пожилые мужчины:

— Ах, у Ниночки муж опять в командировке. Зачастил что-то.

А мне не до них: у меня мальчик и ещё мальчик. До шести надо из детского сада забрать, но и работа тоже до шести. Вот и сидели малыши в шубах чуть не на ступеньках, мамку дожидаясь. Запирали вместе с воспитательницей детский сад, смотрели по сторонам, шли вместе с ней к нашему дому.

Однажды в июне меня отправили на научный семинар в Ленинград. Дамочки, мои сотрудницы, были очень недовольны:

— Почему её? Чем мы хуже? Ну, и что? Подумаешь её тема, мы все здесь в теме.

Но поехала всё-таки я...

Эта поездка очень запомнилась. Потому что после семинара гуляла одна по любимому городу, заходила в гости к любимым писателям, поэтам, чаще всего на Мойку,12; обедала в «Севере» (было вкусно, чисто и недорого), плескалась в Петергофских фонтанах; сбежала от цыган, которые чуть не похитили меня в Царском селе, ходила с каким-то суворовцем в Эрмитаж.

— Девушка, хотите без очереди?

Вот такое легкомыслие, легко-мыслие, без-мыслие, ветер в голове...

Спускалась к Неве, прозрачная вода билась у ног, а окурок, проплывавший мимо, показался таким неуместным, что потянулась за ним и чуть не свалилась в воду, едва удержала равновесие.

По ночам, в белеющий сумрак, я иногда сидела у окна и читала.

В многоместном номере гостиницы койки пустовали до вторых петухов, белые ночи не время для сна... Потом приходили какие-то люди, шептались, слышался скрип пружин, и тогда я притворялась спящей...

Как только дети (те самые два мальчиша, которых столько раз воспитательница домой отводила, один пузцом сытеньким, на особом довольствии, другой — рёбра наперечет: «майку не снимай, а то увидят») подросли, мы потащили их в свою мечту, вытряхнув последнюю мелочь из карманов, упросив, чтоб поселили, ну, где-нибудь. Мальчишки хоть и ковыряли в носах, слушая мои пересказы из путеводителя «Ленинград — город герой», но впечатлились. Один чуть ли не оду сочинил, другой полдетства о бескозырке промечтал, потому что был замечен седоусым капитаном и приглашён куда-то на самый верх «Метеора» в расчудесное место, где и вид, и штурвал.

— Я с братом.

— Ну, пусть и он с тобой.

Конечно, таскали детей за собой, на солнце жарили. Да так, что у того, который худ (он и сейчас такой), случился удар, очевидно, солнечный. Пришлось бежать в аптеку, за градусником (хотя, конечно, могли и с собой взять, рюкзак бы не оттянул, но почему-то не взяли; знаете, эта молодёжь... такая пустая, неорганизованная). Но градусника-то как раз в аптеке и не было (чудное какое-то время стояло тогда на дворе: того нет, другого нет...). Я металась: ребенок заболел, а температуру померить нечем (вот так из цыплят превращаются в наседки, бывает). Бегала от аптеки к аптеке, через какие-то проходные дворы: «Вам так ближе, на улицу не выходите, дворами, всё дворами, а там и аптека». Но только зря: «Не завозили».

«Да вы у меня возьмите, у меня дома — два, и отдавать не надо. Подождите. Я тут рядом». И женщина такая неприметная, в халатике, в каком только с кастрюльками возиться, а такая душа. Душа она ведь во всём, даже в самом неприметном, например, градуснике, через него в память. Там и хранится...

Ленинград... Волховский фронт. Медаль «За оборону Ленинграда». Но это отца (хотя и моё тоже: день моего ангела совпадает с Днём снятия блокады: 27 января). Анненкирхе[1] и Петершуле[2] — это прадеда. А моё — то, что в юности, молодости.

И сейчас, каждый раз как в праздник. В Петербург! Радостью встречи с Московским вокзалом и дальше, дальше...

Но... распахнуты окна, разбиты стёкла в знакомых домах, и то там, то здесь пугают чужие слова «SALE! SALE! SALE!»... На подоконнике — брошенная стопка книг, чьё-то платьице, похожее на тот халатик из далёкого прошлого... Сейчас такие картины встречаются всё реже. Питерцев уже продали...

А троллейбус едет, едет. Год 2011. Напротив меня пожилая женщина рассказывает внучке лет пяти о достопримечательностях.

— Смотри, — говорит она, — мы едем по исторической части, я когда-то здесь жила... А там, — она показывает на площадь Островского, — площадь, оттуда, от театра, сегодня повезут фигуру Самсона в Петергоф, его подновили, покрыли новым золотом, вон как блестит. Видишь?

Играет оркестр, бегут родители, дети, у детей в руках шарики. Праздник.

А у какой-то девчушки шарик оторвался и полетел в весеннее небо.

Девочка плачет: шарик улетел.
Ее утешают, а шарик летит.
.....
Плачет старушка: мало пожила...
А шарик вернулся, а он голубой[3]*.*

[1] Лютеранская церковь Святой Анны в Санкт-Петербурге.
[2] Училище св. Петра (немецкое среднее учебное заведение в Петербурге).
[3] Стихи Булата Окуджавы.

Мемуар 24. ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР?

Театр для меня начался с дошкольного детства.

Пройдя через тополиный двор и тёмную, с тусклой лампочкой подворотню, в которой стояли круглые баки для сбора мусора, выходили на Новослободскую и, повернув направо, ныряли в подъезд краснокирпичного дома. Был же он, как и многие дома в округе, знаменит своим преданием, и все местные обыватели называли его Майковским. Да, да, якобы он принадлежал клану Майковых, в котором все литераторы. И тот самый перстень с изумрудом, считающийся утерянным, который Пушкин, умирая, подарил Майкову, долго находился в их семье. Возможно, и сейчас он у кого-то из праправнуков, если в лихие девяностые не прибрали перстень к своим рукам какие-нибудь лихоимцы, как это случилось в нашей семье, лишившейся в одночасье всех памятных и драгоценных вещей.

В те времена, о которых идёт мой рассказ, ещё ничто не предвещало перемен, и жизнь, хороша она была или плоха, шла накатом. Так же, как всегда, в этом доме на третьем этаже, где жила со своими близкими сестра нашей бабушки Надежда, отмечали Веру, Надежду, Любовь. Празднование именин начиналось в самой удалённой от входа комнате. Шли мы длинным коридором коммунальной квартиры, открывали дверь и попадали в девятнадцатый век. Старинная мебель, тусклая лампа над большим столом, фикусы на подоконниках, в углу комнаты высокая пальма. Но больше всего моё внимание привлекал книжный шкаф тёмного дерева. За стёклами золотились корешками многотомные собрания дореволюционных книг. Чаще других на них повторялась фамилия Гоголь. Гоголь в красной обложке, бордовой, серой с чёрным. Меня удивляло не только обилие Гоголя, но и то, что хозяин этих книг — муж тёти Нади, Борис Васильевич, худенький с клинышком бороды и пенсне, — обычно читал Гоголя. Книга, ожидавшая чтения, лежала на удивительном прикроватном столике, передвигающемся по горизонтали и вертикали, а Борис Васильевич любил поделиться с гостями своими впечатлениями о любимом писателе, прочитать им страничку-другую. Теперь я объясняю эту приверженность близостью к Малороссии, где в городе Николаеве родился Борис Васильевич...

Гости приходили вечером, кто чуть раньше, кто чуть позже. Точного часа не назначалось. Думаю, суть этого Соломонова решения состояла в том, что если бы собрались все в одно время, то не хватило бы мест ни сидячих, ни стоячих. Ещё бы! Только со стороны Надежды, тёти Нади (почему-то всех сестёр нашей бабушки мы называли тётушками), насчитывалось человек тридцать самых близких родственников, если же добавить к этому родственников её мужа и близких друзей тёти Веры (дочери тёти Нади) и родственников её мужа, то получилась бы почти трёхзначная цифра. Но и это ещё не всё: судьба распорядилась так, что в этот же день, то есть двадцать девятого сентября, родился сын тёти Веры, наш троюродный брат Андрей. Его приятелей добавляли к Вере-Надежде, и получался ну просто всенародный сбор! Потому-то порядок был такой: присаживались за стол, пили чай, конечно же с пирогами, конфетами, вареньем, и, послушав что-то из Гоголя, переходили в соседнюю комнату, тёти Веры.

Тётя Вера садилась за стоявшее у входа чёрное с золотистыми подсвечниками пианино, со следами прошлой жизни, и играла что-нибудь незатейливое, потом развлекала детей кукольным спектаклем. Красно-бордовый бархатный занавес медленно раздвигался, и появлялись декорации, нарядные куклы, медленно катился к колодцу золотой мячик из золотой фольги, и завораживающая тайна театра увлекала детей, рассаженных на стульях, и взрослых, теснящихся в дверях. Как-то мячик упал со сцены, покатился под пианино. Сорвавшись со стула, я понеслась за ним и как нечто драгоценное и хрупкое передала тёте Вере за сцену.

После окончания спектакля дети с выражением читали стихи. Не отставала от других и я. Декламация так хорошо мне удавалась, что не раз выступала в институте, где работал папа, на вечерах, которые проходили в настоящем зале и на настоящей сцене. Позже школьные утренники, вечера.

Наша школа, находившаяся недалеко от Тормозного завода, часто организовывала концерты для рабочих в клубе или в цехах. Помню большие заводские пространства, окна во всю сцену, станки. Обеденный перерыв. Рабочие сидят на перевёрнутых ящиках, у многих в руках бутылка молока и булка. Мужчины кажутся угрюмыми и серыми. Женщины нам улыбаются, и косынки у них на головах разноцветные. Среди выступающих — мои одноклассники. Я, Татьяна Савченко и Валерий Фокин, ставший впоследствии известным театральным режиссёром.

Лет в двенадцать я записалась в театральную студию при клубе Зуева на Лесной улице. Это здание в стиле конструктивизма сохранилось до сих пор, и когда я прохожу

мимо него, или Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (москвичи с нежностью называют его Стасиком), то вспоминаю, как наша группа выступала перед участниками какого-то съезда, проходившего в здании театра. От клуба Зуева ехали на автобусе, потом толпились в фойе, дожидаясь своего выхода. И вот распахнулась центральная дверь, и под звуки пионерского горна и рукоплесканий мы прошествовали через весь зрительный зал на сцену. Выступление начиналось с меня. На секунду перехватило горло, казалось, что забыла слова, но тут же мой голосок зазвенел, ни посрамив ни меня, ни нашего руководителя...

Помнится, что в пятилетнем возрасте я была под большим впечатлением от постановки сказки «Снежная королева» в Малом театре: вернувшись, отыграла перед домашними весь спектакль. И за Герду, и за Кая, и за Сказочника, и за всех-всех. Реакцию родителей не помню. А вот дед был в восхищении!

В подростковом возрасте такое же сильное впечатление произвела постановка пьесы А. Афиногенова «Машенька» на сцене драматического театра им. Станиславского (ныне «Электротеатр Станиславский»). В главной роли Евгений Урбанский, известный по роли в фильме «Чистое небо». На этот раз я не делилась с родственниками своими впечатлениями и роль Машеньки сыграла на сцене. Во сне. Но ощущение реальности было такое яркое, что помню его до сих пор.

Это детское увлечение не прошло до сих пор: в радиопроекте «Русский мир. Театр у микрофона» записала два своих рассказа (за что благодарю редактора проекта, писательницу Евгению Фахуртдинову). Один из них — «Лермонтова, 17»[1], другой — «Пахло смолой и летом»[2].

Театр по-прежнему радует, даёт силы жить! Время от времени мы с Михаилом посещаем Петербург, стараясь не пропустить спектакли, поставленные в Александринском театре нашим одноклассником, с которым когда-то принимали участие в школьных утренниках, ходили вместе с классом на спектакли Центрального детского театра (Ныне РАМТ — Российский академический молодёжный театр).

Валерий Фокин, чья блестящая творческая биография началась ещё до начала работы в московском театре «Современник», стал знаменитостью с первых спектаклей. Мой же Фокин (уже не одноклассник, а восходящая звезда) начался со спектакля по пьесе Виктора Розова «Четыре капли» (очевидно, это были семидесятые годы прошлого столетия).

На открытой, без занавеса сцене висели большие прозрачные капли (мне они казались похожими на слёзы), что соответствовало количеству новелл, из которых состоял спектакль. Первый сюжет, запомнившийся больше других, рассказывал о девочке, пришедшей на службу отца и защищавшей его перед начальником. Главную роль исполняла юная Марина Неёлова, и делала она это так надрывно-трепетно, что до сих пор испытываю волнение и сочувствие. Возможно, в этом эпизоде я увидела себя и своего отца. «Могла бы я так?» — думалось мне, и сердце стучало громче обычного (хотелось бы сказать: сжималось от боли, но. очевидно, в моём рассказе и без этого достаточно «штампов»)...

Надо заметить, что семидесятые-восьмидесятые я прожила почти без театра, уйдя с головой в пелёнки, радости и сумасшествия материнства, прерываемые время от времени работой и учёбой. И всё-таки в эти годы удалось увидеть один из фокинских «Ревизоров», поставленных в «Современнике».

(Правда, цена была непомерно высока, и моему папе наше культурное мероприятие стоило инфаркта, поскольку он в наше отсутствие (в театр ходила с мамой) оставался за няньку. Только мы ушли, прихватив с собой завёрнутые в газету туфельки, младший, бывший в те годы младенцем, зашёлся плачем (опять штамп!), и обеспокоенный дед, едва прикоснувшись к его лбу, бросился на поиски градусника. Ртутный столбик добрался почти до вершины. Ребёнок плакал. Лекарств под рукой нет, соска, способная утешить, упала на пол и закатилась под кроватку. Облазив всё, старик так и не смог её найти, запасной тоже не оказалось... Утром во двор въехала скорая...).

В этом «Ревизоре» запомнились Галина Волчек (Анна Андреевна), Марина Неёлова (Мария Антоновна) и Валентин Гафт (Городничий). Все они казались знакомыми по нашей обычной, «застойной» жизни...

В те годы стоило мне отвлечься от домашнего — шаг в сторону — как обязательно что-то случалось, накладывалось на другое. Так произошло и со спектаклем Валерия Фокина «Карамазовы и ад», когда фантасмагория спектакля, соединившись с тяжёлой жизненной ситуацией, надолго отвадила от походов в театр.

И лишь позже, когда дети выросли, стало реальным возвращение в мир грёз и иллюзий (правда, до сих пор случаются сбои и треволнения, тогда уж не до

[1] https://russkiymir.ru/media/radio2/programs/all/230078/
[2] https://russkiymir.ru/media/radio2/programs/all/230836/

развлечений)... Хотя сказать, что театр для меня развлечение — как-то неправильно... скорее это один из способов выживания...

После того, как рядом с домом на Новослободской, где прошли первые тридцать лет моей жизни, выстроили мрачное здание Центра им. В.Э. Мейерхольда (в те годы там работал В. Фокин) удалось увидеть несколько запоминающихся спектаклей. Это и «Ещё Ван Гог» с Евгением Мироновым в главной роли, и знаменитый «Нумер в гостинице города N» с Авангардом Леонтьевым, и «Арто и его двойник» с Виктором Гвоздицким. Помню, как стоя в антракте у панорамного окна, вглядывалась в зимний пейзаж с ещё не сломанным двухэтажным флигелем, низ каменный, верх деревянный, и прощалась с ним, как с видением из прошлого. А ночью мне приснился отец: больной, измождённый, он разбирает наш дом по брёвнышку, аккуратно складывает их у красно-кирпичной стены, отделяющей наш дом от соседнего, где когда-то жил Витя с обложки «Огонька»...

А время продолжало бежать, перемещаясь из одной точки в другую. Вслед за Валерием Фокиным, которого назначили сначала главным режиссёром, а позже художественным руководителем Александринского театра, мы с мужем начали театральные туры в Санкт-Петербург. Иногда одним днём. Самым сильным впечатлением стал «Ревизор» (2003 г.). Ревизора играл Алексей Девотченко. Думается, что он-то и задал тон всему спектаклю жесткостью образа! Спектакль был необыкновенно созвучен времени и поражал смелостью! Эта способность Фокина найти тонкий нерв времени и воплотить его на сцене, мне кажется, самая главная черта его творчества.

Все спектакли Фокина — яркие, запоминающиеся.

Помню, какое сильное впечатление на меня произвёл спектакль 2011 года «Ваш Гоголь». В записной книжке я тогда написала:

«Рядом со мной, в каких-нибудь нескольких сантиметрах, умирал Гоголь.

Тот, Андреева, который глыбою, которого с глаз подальше, во двор на Никитском, где теперь музей, а когда-то...

А когда-то то, что явилось мне на помосте в узкой тёмной комнате почти в предкрышье Александринского театра, было последними муками гения. Его тайной. Его откровением. Исповедью.

И тут же рядом, двойником, сорочонком с ярмарки, птенцом из Эдема — он же. Только он ли? Он. Молодой. Наивный. Глуповатый? Таким ли его хотел увидеть режиссёр? Теперь это уже неважно. Такой вот родился и помчался на тройке покорять столицу. И уже не райский сад, а серую величественную столицу с её атлантами и кариатидами, геометрией проспектов, туманами и тайнами видит зритель. Глазами того, молодого. (Сценарист — Мария Трегубова).

И вдруг в какое-то мгновенье режиссёр решается соединить своих героев. Сажает их рядом (артисты Игорь Волков и Александр Поламишев), преображает с помощью опытных цирюльников и гримёров в тот, узнаваемый, знакомый с детства образ, который красивым фантиком удобно расположился в подкорке каждого обывателя. (Да, сошедший с картины Отто Моллера. Помните вы это имя? А ведь в Третьяковке висит, москвичам и ехать не надо, на дорогу тратиться). А что филистер, то бишь мы с вами? (Не обижайтесь, я не о вас, о себе...). Напичкать гения яствами, лекарствами, ещё очень хорошо пиявки помогают, да-да, не возражайте, их эскулапы, которые, конечно, от бога, и сейчас охотно применяют, и знаете — помогает. Только не Николаю Васильевичу...

Он уже всё про себя решил. Сжёг второй том. Собрался с силами, написал «Выбранные места из переписки с друзьями». (Надо бы перечитать. Вересаева. И Белого, и ещё много-много чего. Без чего ни Гоголя, ни спектакля до конца не понять! Это я опять себе, вы-то, наверно, уже всё одолели). Отвернулся к стенке. И... умер...

Вот тут-то обыватель и принялся за своё, земное. Цветы. Воздаяния. Удобно. Из могилы не выскочит и лишнего не скажет. А он взял да воспарил. Вышел в серое, петербургское небо, которое будто бы озарилось светом от подлинного искусства, которое служение!»

Так в спектаклях Фокина для меня соединилось детство и интерес к театру. И каждый раз мы с Михаилом, который дружил с Валерием в школьные годы, узнав о премьере в Александринке, бежим за билетами на «Сапсан».

Конечно, по возможности, бываем и в московских театрах. Людей нашего возраста среди зрителей встречаем всё реже и реже, что я с некоторым сожалением отмечаю про себя... Пандемия ли тому виной или непомерно высокие для пенсионеров цены, а может быть, разочарование или вечный дым коромыслом над жизнями моих современников?

Мемуар 25. Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ!

Нечасто теперь попадаются на глаза люди преклонного возраста и в музеях. Но мы с супругом не сдаёмся. Интерес Михаила к художественным выставкам объясняется тем, что в детстве он увлекался рисованием и даже хотел быть художником. Однако родители отправили в технарь, что он время от времени с сожалением отмечает. Я же не только бегаю за ним по вернисажам, но и вспоминаю брошенную как-то мамой фразу о том, что хорошо бы мне стать искусствоведом. Помню, что тогда её слова меня не только удивили, но и остались без внимания, так, повисли в воздухе между обеденным столом и буфетом.

Здесь сделаю оговорку: некоторое пристрастие к живописи в нашей семье наблюдается из поколения в поколение: хорошо рисовал отец, его акварель в стиле Левитана долго висела над моей панцирной кроватью, делал определённые успехи брат, его работы, особенно резьба по дереву, пользовались успехом, одна из них, самая первая, досталась и мне. Любимая морда с большим ухом висит в моей комнате, когда прихожу домой, подмигиваю ей. Она добрая... Моя внучка учится в художественной школе, не отстаёт от сверстников, один из внуков тоже уверенно работает карандашом. Вчера по вотсапу прислал мне свои наброски. На одной — его дядька, мой младший, вполне узнаваемо. Обладая неплохой зрительной памятью, он может почти с точностью передать пейзаж, интерьер. В портрете ухватить главные черты. Эти способности меня обошли, и картины, как Михаилу, мне не снятся, но интерес к живописи поддерживает в жизни ещё одной спасительной соломинкой.

В раннем детстве рядом с моей кроватью долго висела копия картины Крамского «Христос в пустыне». Помню, как гремя протезом, вошёл в комнату мой крёстный. Вид у него был загадочный и торжественный. Он с трудом нёс что-то большое, завёрнутое в газету и перевязанное бечёвкой. Долго разворачивал, за газетой оказалась бумага — тонкая, похожая на пергамент, а уж за ней в деревянной раме, покрашенной тёмно-золотой краской, картина. Отношение к ней в нашей семье было двойственное: во-первых, удивление. Нам? Зачем? Мы же не картинная галерея, она же во всю стену. Во-вторых, это что, картина или икона? Как к ней относиться? (Эта двойственность в своё время озадачила современников П.М. Третьякова, и ныне она представлена в Третьяковской галерее, среди «отвергнутых шедевров»). Тем не менее дар приняли (правда, через несколько лет попросили картину забрать, поскольку родился брат и требовалось место для детской кроватки). А я? Мне казалось, что это икона, понятная, близкая, и я иногда молилась на неё...

Мой первый визит в Третьяковку состоялся лет в пять, и все последующие посещения галереи связаны с детским впечатлением от картины К. Флавицкого «Княжна Тараканова». Помню, что мама никак не могла увести меня от неё, пыталась переключить внимание на картину Карла Брюллова «Всадница». Мама наклонялась ко мне, шептала, что какие там девочки красивые, какие у них платья. «А какая лошадка», — добавляла она. Брала за руку, вела к какой-то другой картине. Но я всё тянула и тянула к княжне. Конечно, теперь, когда я прохожу мимо «Княжны Таракановой», лишь улыбаюсь себе прошлой, а тогда ощутила ужас от потоков воды, почти утонувшей кровати, крысы, забирающейся на постель и красавицы в роскошной одежде, опирающейся на сырую стену...

В школьные годы походы в Третьяковку стали более прицельными. На всяких княжон не разменивались. Похоже, что и мимо Брюллова проводили быстренько, чуть ли не бегом к передвижникам. Передвижники были всерьёз и надолго! Илья Ефимович Репин — один из них. Его детство прошло в захолустном Чугуеве в военном поселении. Здесь же прошли первые годы Михаила, поскольку его отец был военным. Он помнит памятник художнику, установленный на том месте, где когда-то был дом Репиных (восстановлен в шестидесятых годах прошлого века как музей). Для меня же картины «Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» — это школьные годы. Описания картин, история создания — то, что требовалось от нас. Особенно меня привлекала «Не ждали». Здесь можно фантазировать, благо, что и у художника были варианты. Позже заинтересовал другой Репин, тот, который в Ясной Поляне с Толстым. В начале двухтысячных, в одно из посещений Петербурга, добрались до «Пенат» (наконец-то)! И узнала совсем другого Репина. Отрезанного границей от Петербурга, ставшего Ленинградом. Многоголосье дачной жизни в Куоккале после революции сменилось на тишину и огородничество. Потеряв состояние, пришлось выживать. Больной, в холодной мастерской, уставленной холстами. К руке привязаны кисти. Работает. Молодо, ярко! «Гопак», перекликаясь с «Запорожцами», напоминает о молодости, песнях, плясках. Его утешают мечты, письма, которые писал с наслаждением, утоляя свой дар не только художника, но и писателя; редкие встречи с финнами. «Пойти некуда», — пишет он в одном из писем

К.И. Чуковскому. А я добавляю: разве что по усадьбе или на берег Финского залива, где гнутся сосны, и песчаные дюны не пускают к морю. Ещё в храм, где, как пишет в одном из писем, «подпевал в хоре».

Восьмидесятипятилетний юбилей отмечал в Куоккале с домашними и финнами, надо сказать, гостей прибыло предостаточно. (Интересное совпадение: сейчас, когда пишу эти заметки, в Хельсинки проходит грандиозная выставка картин Репина, и в его залах в Третьяковке нет картин из постоянной экспозиции, все отправлены «в гости»). Здесь я замечу, что, кроме богатого эпистолярного наследия, Илья Ефимович оставил нам книгу «Далёкое близкое». Любимая с детства, она и сейчас лежит у меня на столе. Я перечитываю её и удивляюсь писательскому дару художника. Это, как говорят литераторы, «вкусно написано»!

Начинается она с описания чугуевского быта их семьи. Вот портрет бабушки: «Широко замотанная чёрным платком, из-под которого виден был только бледный крупный нос...», описание объездки диких лошадей «с косыми огненными взглядами и грозным храпом», «кажется, что из раздутых красных ноздрей она фыркает огнём», или счастье верховой езды, когда конь идёт в воду. «Но вот на дне облака заколыхались... Кругом запенилось...» Рассказы о военном поселении, каким стал Чугуев, порой жёсткие, кровавые. Наблюдательность художника такая, что не пропустит ни кусок хлеба за щекой, похожей на шишку, ни шарфы на приезжих, ни длинное полотенце на коленях остановившихся на постоялом дворе, хозяевами которого была семья Репиных... Всё-то описал Илья Ефимович: и обучение в иконописной мастерской, и жизнь в Петербурге, заграничные путешествия, Волгу. Не забыл поклониться художникам...

И продолжаются мои встречи с ним. Вот и завтра с утра пораньше — в Третьяковку, на выставку «Неизвестный Репин». Замотаю нос и рот трёхслойной маской, вооружусь QR-кодом и в метро.

Пролечу в поезде под моим тополем, рядом с которым стоял дом, низ каменный, верх деревянный. Вспомню, как заглядывали тополиные ветви в моё окно, одаривая ароматом почек и свежих листьев, как блаженствовали под ними младенцы в колясках, дети играли в штандарт, вышибалы, взрослые — в карты и домино, целовались парочки.

Не сдаётся старое дерево и сейчас, становится всё краше и краше, хоть и обкорнали его со всех сторон. Могучий шар его кроны до конца ноября радует сильными листьями, удивляет сочной блестящей зеленью.

Жив курилка!

Жива и я!

Биография продолжается!

Москва, февраль 2022

Александр БАЛТИН

РУССКИЙ ПАНТЕОН

Штрихи к литературному портрету России

… + Чехов + Горький + Бунин + Куприн + Андреев + …[1]

ЧЕХОВ

1

Чехов входит в жизнь людей с детских лет — «Каштанка», отдельные юмористические рассказы…

Чехов открывал мир юмора доброго и вместе с лукавым прищуром — как позже саркастическим острием рассекал плоть социума: когда нельзя было оным отсечь больные члены…

Галерея подхалимов, корыстолюбцев, дураков выстраивалась, чтобы, заняв свои места на сцене общечеловеческого представления, показать, как не надо жить, как не следует вести себя…

Мудрая улыбка доктора обеспечивала точность изображения; если ранние рассказы Чехова ещё не сверкали каждою фразою, то начиная со «Степи» создавалось магическое ощущение золотых словесных нитей, из которых составлялись практически все уже повести и рассказы.

Чехов показал, что для построения полновесного образа не обязателен большой объём: скажем, в рассказе «Супруга» персонажи столь мощно поднимаются со страниц, что не верится, что их всего несколько…

Прогуливается по набережной дама с собачкой, ожидая того, о чём и не догадывается ещё.

Вздыхает, предчувствуя кончину, архиерей, счастлив напоследок уж тем, что повидался с маменькой, пусть и робеющей перед ним, поднявшимся так высоко.

Скрипка Ротшильда будет рыдать, оплакивая Бронзу, всю жизнь разменявшего на гробы.

Всё просто.

Всё страшно.

Лучшие люди города оказываются сумасшедшими, и паровозы двадцатого века разорят вишнёвые сады такой тёплой, уютной, барской жизни…

Суммарно произведения Чехова созидают энциклопедию тогдашней российской жизни: от деревни до городских дебрей, от любви как физиологии до вершин сияющих основного чувства; от делового напора до тихих углов нищеты.

Но если это энциклопедия нравов и быта, то образы, вписанные в неё, не имеют временных измерений: они давно живут среди нас, и можно увидать даму с собачкой и Гурова на соседней улице, хотя одеты они будут по-другому…

Всё теперь иначе, и, возможно, мало кому из детей читают «Каштанку», но короба метафизических драгоценностей, собранных Чеховым, остаются сверкать и переливаться, меняя к лучшему тех, кто прикоснётся к ним.

2

Каждая фраза стремится стать этапом жизни, являясь её сгустком.

Вообще-то от «Скрипки Ротшильда» берёт жуть — метафизического толка: почему всё так устроено?

---

[1] «Русский пантеон» начинается в N3 «Невского проспекта».

Кем?

Зачем?

Почему и зачем чудо жизни сводится к убогому, как старая изба, городишку, где, зажатый в тисках обстоятельств, коротает свой век основательный гробовщик?

Зачем простота жизни такова, что непременно вспомнится про воровство, которого она хуже?

Был ли у Бронзы музыкальный, исполнительский талант, который можно было бы развить, чтобы выдраться из болотистой яви?

Он записывает цену на гроб старухи-жены до того, как она скончается, — и делает этот гроб, обругав перед тем врача, отказавшегося лечить...

Лечить, похоже, надо общество, причём любое, что невозможно.

Всё сухо, точно, страшно, блестяще.

Да, фразы, точно прорезанные алмазом, блестят, или от них идёт ровное золотое свечение.

Старуха умерла.

Она вспоминала девочку, но ей мерещилось это.

Яков умрёт за ней, завещав свою хорошую скрипку Ротшильду...

Слёзы, выступающие по окончании чтения, логичны — хотя отчасти это слёзы бессилия: не помочь никому...

Хотя как знать? Быть может, вписанные в своды бессмертия Яков, Марфа, Ротшильд обрели нечто, нам не доступное...

3

«Вишнёвый сад» как вход в двадцатый век и не способные устроиться в нём будут перерезаны колёсами налетающего поезда.

А чаек убивать нельзя.

Вам жалко Треплева, который с не меньшим, чем у Тригорина, талантом никогда не добьётся его положения, не добьётся никакого, и доктору Дорну придётся объяснять, что у него в саквояже лопнула склянка с эфиром.

Фирс, несчастьем познавший свободу, будет говорить о том, что человека забыли.

Забыли.

Скорее о нём.

Иванов тоже покончит с собой, как Треплев, словно зигзаги судьбы могут повторяться или основные метафизические узлы завязываются в душах многих.

В жизни всё просто, говорит граф Шабельский: потолок белый, сапоги чёрные, сахар сладкий.

В жизни всё сложно, как в пьесах Чехова, в которых сам он видел комедии.

Вероятно, имея в виду человеческую комедию вообще.

4

Этого я не знаю — так начинает статью «Что такое поэзия» Иннокентий Анненский...

Тем не менее — поэзия не только организованная определённым образом речь, подразумевающая соответствующий рисунок записи: поэзия — ощущение неба, наполняющего жизнь, и — некая таинственность, разлитая в ней почти повсюду; поэзия — тонкость мировосприятья и сострадание малым сим, чья жизнь, как правило, исполнена свинцовой необходимости, не объяснённой никем.

Поэзия наполняет прозу Чехова в высшей мере: и слоясь великолепно сделанным, всегда зримым, столь тонко играющим красками пейзажем, и пропитывая речь говорящих, и серьёзно мерцая жалостью — будь то Бронза, обречённый на гробы вместо музыки, или Каштанка, утратившая привычную жизнь...

Поэзия прозы всегда связана с жизнью в большей мере, чем поэзия, созданная записью в столбик и с рифмами, ибо люди стихами не говорят.

Поэзия Чехова сумеречна, в несколько лиловатых оттенках, и связана, пожалуй, с осенью серьёзнее, нежели с каким-то другим временем года.

...Элегически падают листья, создавая необыкновенно красивый узор, и вода в пруду отливает чёрнотою и золотом.

Некто, сидящий с удочкой — ибо пойманный окунёк подарит короткий зигзаг счастья.

Мисюсь больше никогда не увидеть — и в этом тоже поэзия.

Архиерей устал от церковной жизни — как и от жизни вообще, от карьеры своей, возраста: и никогда не вернуться в детство.

Корабль выходит из порта, чтобы прийти в новый.

Человек рождается, чтобы проделать свой путь и родиться снова, только про это

второе рождение нам мало что известно.

Или ничего совсем.

Что не исключает поэзию всего, происходящего с нами, столь точно переданную прозой Чехова.

5

Чехов, предлагая стилистику, близкую к понятию совершенство, золотому сечению, — когда не комбинацию золотых нитей фраз, организующих панораму людского сообщества, — и Горький, идущий из глубины народных гущ и перерабатывающий эту руду в словесный материал, — слишком разные для одного времени.

Тем не менее, история литературы, сохраняющая документы о неплохих их отношениях, свидетельствует о наличии и творческих точек соприкосновения двух классиков.

Точки эти: болевое ощущение человеческой жизни, отношение к человеку как мере вещей и сострадание, множимое на сожаление, что сострадание это необходимо.

Человек всегда мал — даже если серьёзно положение его в мире; человек всегда слаб, даже если стоит за ним духовная (не очень понятная, если по правде) сила.

Именно так: подспудно, подоплёкой развёртывающихся бытовых и бытийных панорам прослаивает метафизика книги Чехова и Горького; именно это сближает их.

И ещё — тоска по алмазно-прекрасной, безусловно светлой жизни, которая так и не настала, увы.

6

Старый тополь, стол, накрытый для чаепития.

Пасмурная осенняя погода.

Нервно ходящий вокруг стола Астров.

«Дядя Ваня»... самая грустная пьеса Чехова: и грусть, растворённая в мере жизненного трагизма, определяет бытование усадебного быта, где развернётся действие.

Мысли персонажей высвечивают их сильнее, чем поступки.

Выводов не будет: их предстоит сделать зрителю, читателю, тому, кто готов воспринимать вечную волну русской рефлексии.

...Переворачивается уклад жизни — с тех пор, как в усадьбу вернулся профессор со второй своей женой.

Притащился...

Всем скучно.

Обрывочные реплики, будто не связанные между собой: как в жизни...

Рваная лента пьесы — вдруг, на каком-то повороте вспыхивает такой яркостью цельности, которую в жизни редко встречаешь.

...Сгущается атмосфера ненависти вокруг вечно брюзжащего профессора: всех раздражает.

Жаль его?

Всех жаль...

Нежная чеховская грусть глобальна: как его любовь к малым сим, а кто не мал?

Будет психологический взрыв.

Будет выстрел.

Будет успокоение.

Будет — ощущение света, исходящего ото всего, представленного Чеховым.

ГОРЬКИЙ

1

Советская, космическая, избыточная слава Горького давала искажённое представление о нём, используя только одну краску: и золото её расплава убивало сложную сущность писателя; реакция последующего ниспровержения была только логична.

Романтический порыв, яркость Челкаша, тысячи исхоженных дорог, декадентские закаты, Генрих Гейне, придумавший зубную боль в сердце, попытка застрелиться на волжском берегу...

Примитивное, буйное ницшеанство, затхлость провинциальных углов и разнообразие типов: люди, люди, люди...

Горький вместил очень многое, точно проел горы российской жизни...

Бродяги, воры, странники, монахи, купцы, подлецы, герои, рвущиеся в запредельность, готовые огнём собственного сердца освещать чужие дороги; пьяницы, чиновники, художники...

Каталог людей, обстановок, домов: глядите на этот, треснувший пополам, сшитый железной скобой.

...У Горького очень интересно работало тире — мускульная сила его придавала крепость фразе.

Прямая речь, округло звучащая, вкатывается шаровидно в миры слова — продолжающего жизнь, объясняющего её...

Метафизическое осмысление данности едва ли можно отнести к сильным сторонам Горького: нет, словесная живопись, переливающаяся массой тонов и оттенков, гораздо ярче энергии мысли, данной скорее подспудно.

...А жизнь русская часто шла под спудом мерзостей потяжелее свинца, дремучести, дичи, чертей, просвечивающих синеватой, чернильной кровцой, вырванных из алкогольного бреда...

Горький церковных колоколов и чуть ли не жажды рухнуть в монастырскую бездну; Горький революции: контрасты, организующие его реальность, поражают по сегодня, представляя натуру столь же буйно талантливую, сколь и противоречивую, — второе, впрочем, вытекает из первого...

И это первое и определяет интерес, который может вызывать писатель и сегодня: многое пережившие книги его отвергли ветхость как ложное предложение времени...

2

Интенсивность неприятия романа «Мать» связана с избыточностью советской пропаганды — навязчивой, как и всякая пропаганда.

Тем не менее, роман вполне может рассматриваться как верная историческая панорама определённого временного периода, к тому же выполненная внушительным горьковским языком.

Он обстоятелен и детален.

Завод, вытягивающий из людей все жизненные соки, даден колоритно, ярко, жарко.

Мощно, крупными мазками сделаны и персонажи, будь то Павел, отказавшийся от алкоголя в пользу книг, или мать, ломающая заурядность своей судьбы.

Сила протеста копится медленно, но, выхлестнувшись, сносит тех, кто считает себя хозяевами жизни.

Свинец обстоятельств давит — книги говорят и об этом.

Белеющие на заводе лепестки листовок — достаточное основание для исключения человека из ячеек обычной жизни.

Параллели с сегодняшним временем провести достаточно сложно: слишком всё иное.

Тем не менее, рассказ о том времени дан весьма внушительно, не говоря — назидательно: ибо объёмы несправедливости сегодняшней и тогдашней схожи.

3

Мужицкое имя Клим, которым назван ребёнок, рождённый в семье интеллигента-народника, словно выделяет его — из привычных тем.

Или ставит отметину: человек оказывается между полюсами, не принадлежа ни к одному.

Густая плазма человеческих судеб, сконцентрированных в персонажах: их много, они толпятся, расступись!

Дочери доктора Сомова, дети квартиранта Варнавки, товарищи по гимназии, отношения с которыми заверчиваются сложно — отчасти из-за того, что Клим вечно старается отличиться, что получается не всегда.

Гибель Бориса и Варвары, провалившихся под лёд во время катанья на коньках; дымящиеся полыньи, повисающий в воздухе вопрос: а был ли мальчик?..

Вот оно — зыбкость всего, ирреальность, марево.

Жизнь плотна и густа, жизнь — перенасыщенная мясом субстанция, а посмотри повнимательней — ничего нет, только курящаяся паром чёрная полынья...

Эротическое томление Клима, завершающееся искусственным романом с подкупленной матерью швейкой; адское разочарование...

Впрочем, очарованности в эпопее вообще мало: много разговоров: причём всяк дует в свою дуду...

Петербург, студенчество, где Клим получает презрительное прозвище «умник» — из-за вечного анализа, которому стремится подвергнуть всё и всех.

Дача, ловля сома на горшок: символическая сцена надувательства; разговоры, разговоры, славянофильство, западничество...

Потом — события пятого года, «ничтожен поп» — вывод о Гапоне; Самгин в тюрьме по подозрению в революционной деятельности.

Множество событий в реестре тогдашней истории: идут они сгущённо, отражаясь

в жизни Самгина, становящейся всё более и более одинокой; отъезд за границу, берлинская скука, картина Босха, дающая ощущения схожести миропониманий...

Горький стремился дать тотальный роман — но всё время ему не хватало чего...

Отдельные сцены лепились ярко, другие, выпадая из общего звучания, праздно отягощали громоздкий текст.

Сложно представить, чтобы сейчас кто-нибудь добрался до конца: до вечера у Леонида Андреева, Февральской революции, не завершённого финала, неясности дальнейшей судьбы Самгина.

Сложно.

В рассказах и повестях Горький давал жизнь концентрированно, компактно, и они звучат и поныне, а неповоротливая махина романа...

Она интересна отдельными кусками, словно повестями, её хочется и нарезать на них...

Ибо, как Самгин, глядя на картину Босха, понимает, что целостности нет, одна раздробленность мироздания, так и роман демонстрирует её — эту раздробленность: в то время как жизнь подчинена глобальному, сложно уловимому единству...

4

Своеволие купецкое — от силы, сила — от энергии, и уверенности; а энергия купечества была сгустком энергии России тогдашних времён.

Горький хорошо чувствовал это, сильно передавал, используя возможное мускульное напряжение строки-фразы, употребляя часто тире — для дополнительного разгона.

Игнат Гордеев, служивший водоливом на одной из барж богача купца Заева, знавал удачу во всём: неуёмная энергия его выводит наверх, хотя, уважаемый в народе, и зовётся он «Шалый» — ничего в его жизни нет от спокойствия реки, но всё — от бурления водоворота.

Вторая жена рождает ему долгожданного сына, при этом умирая при родах: так появляется Фома Гордеев.

Гордо звучащая фамилия, сила, определяющая её, не знающая укорота: в том числе — в грядущем бунте против своих, коренных, исконных.

...Фома растёт в доме крёстного Маякина: в доме благочестивом, наполненном запахами ладана и воска; растёт серьёзным ребёнком, хотя и возится с игрушками вместе с Любой, дочерью купца.

Крепко делается быт: вкусными, колоритными мазками: по дому можно пройти, подивившись его специфике, слишком контрастирующей с жизнью, известной нам.

Впрочем, литература — не этнография...

И Горький лепит характер, используя все краски — от бытовой до психологической.

Вот Фома на пароходе отца и чувствует, как разворачивается перед ним новая жизнь: широтой своей и силой превосходящая известную.

...Случай с машинистом, уволенным из-за вопроса Фомы, заставляет того задуматься о себе и в не меньшей мере о силе и жалости, определяющих жизнь людскую.

Пойдут галереей люди: те, с кем учится Фома, те, кто встречаются на различных жизненных перевалах; смерть отца наполнит душу сына тяжёлым молчанием; и повесть — чем дальше, тем делается тяжелее, туже проворачиваются её колёса...

...Странный излом намечается в недрах жизни Фомы: всё купецкое становится немило, денежная целеустремлённость претит, однообразие давит; разгульность — чуть не от бунтарской Стенькиной лихости — выбрасывает персонажа в безобразные загулы...

Бунт против купечества, исходящий от купеческого сына, — как нарушение правил жизни.

Но и — исследование возможных психологических движений человека.

Огромен купеческий пласт, был значителен он чрезвычайно для России, но и чувствовалось — сдвигается, уходит, отживает...

И об этом тоже многообразная, густо страстями и плазмою жизни насыщенная горьковская повесть...

5

Шум, многоголосье, иногда кажется — избыточно персонажей...

Но нет — всё рассчитано, и механизмы драматургии работают без сбоев, увеличивая нарастание конфликта там, где положено, давая эмоциональный спад в местах, соответствующих теме и сюжету.

Фамилии, часто соответствующие характеру: и Васса Железнова не женской рукой сжимает жёсткое тело собственного купеческого дела, не допуская в душу сомне-

ний. Характерно для тогдашнего времени и предложенного образа. Но и в наше время можно наблюдать, ибо нечто стержневое в человеке меняется мало.

Знаменитая ночлежка даёт бушевание страстей, выплёскивающихся из персонажей, загнанных на дно.

...Кто напишет пьесу из жизни современных бомжей?

Лука говорит банальности: хотя долгий опыт склоняет к удивительным открытиям — в жизни весьма часто встречается торжество банала, тут уж ничего не поделаешь; но мягкость Луки, происходящая от того, что долго мяли, определяет и человеческую функцию, необходимую в пьесе.

А Ваське Пеплу — бунтарём бы! в революционеры — вполне поднял бы чашу сию, поднял, понёс; а то... как Данко, рванул бы сердце, чтобы воссияло другим.

Есть некоторая добрая наивность, умноженная на романтическую приподнятость в иных периодах горьковских пьес; есть и тяжёлое осуждение: мещанства, например.

В затхлой, густо, до вещей, нарисованной атмосфере живое погибает, да и редко пробиваются ростки оного; тут невозможно жить! И — стремится жить именно так большинство...

Пьесы Горького бушевали; успех, полученный ими, был велик и оправдан.

Пьесы Горького сходили на нет, когда, вознесённый советской пропагандой до небес, он стал раздражать новое время.

Пьесы Горького снова ставят — ибо без них неполна русская литература.

6

Огромная фигура Горького, сколь бы ни пыталось постсоветское разодранное, атомизированное время умалить её — меньше не делается: время не обманешь: значение таланта укрупняет оно; но словосочетание Горький-поэт может вызвать усмешку даже у поклонников таланта буревестника.

Кстати, о пресловутой песне: никто ведь не судит о Некрасове по первой книжке стихов «Мечты и звуки»?

Так же бесплодно и нелепо иронизировать по поводу Буревестника Горького: чей яростный порыв и призыв к переустройству жизни отчасти искупают провинциальность версификации.

Но вот такой финал «Легенды о Марко»:

А вы на земле проживете,
Как черви слепые живут:
Ни сказок про вас не расскажут,
Ни песен про вас не споют!

Запоминается с первого прочтения — один из признаков подлинной поэзии! — и клеймом прожигает тьму-тьмущую обывательских, никаких судеб — судеб, отданных за «полированные доски» мира, за уют крошечного уголка.

Горький и весь — порыв, стремленье ввысь, каких бы материй, тем, образов ни касалось его перо.

Вот «Баллада о графине Эллен де Курси» — лёгкость или примитив?

А, как ни странно, в алхимическом сосуде произведения смешано и то, и другое, и тем не менее читать занятно, а мудрость, проскальзывающая в ней, тонка — хотя опять же несколько наивно:

Мы щедро жизнь одаряем!
Ведь каждый в нее принес
Немножко веселого смеха
И полное сердце слез.

Думается, несмотря на то что Горький своеобразно прорепетировал себя прозаика в поэзии, его и поэтом назвать заслуженно — особенно теперь, когда море цинизма, филологических выкрутасов, скабрёзного стёба буквально захлёстывает современную поэзию.

Может быть, наивность Горького-поэта — именно то, чего ей не хватает?..

7

Дно не зацветёт хризантемами: мир ночлежки — скученность, темнота, дикость...

Но — и естественность порыва: пусть в образе Пепла, но и — с уравновешиванием скверной реальности толикой мудрости: мягкого, коли жизнь в загрубелых лапах много и долго мяла, Луки...

Мир жутковатый: не сходящий со сцен много десятилетий...

Драматургия Горького специфична: в ней много декларативного: будто люди стремятся себя уж очень рьяно навязать; но в ней и много соли — от жизни: той, которая

была, той, которой нет более...

Властно сжимает Васса в несильных вроде бы, женских, кулаках незримую власть.

Мещане туго привязаны к повседневности (вообще-то к чему ещё может быть привязан человек — этот, по сути, природный мещанин?), пока не появляется некто, говорящий им, что неправы они, живя такой скудостью...

Много типажей: Горький знал жизнь насквозь и наизусть: они представляют самые разные слои, социальные страты, они по-разному чувствуют, думают, даже надеются...

Они говорят по-горьковски: как ещё могли бы, ежели их метафизический отец обладал неповторимыми модуляциями писательского голоса?

Они не сходят со сцен.

И вряд ли когда-то сойдут.

8

Горький способствовал возвышению Леонова.

Он способствовал, видя уникальные его языковые возможности: даже по ранним вещам типа «Туатамура», даже до «Барсуков» — с их феноменальной первой частью — сияли они, поражая многих.

Магия языка Леонова связана была и со сказом, и с необыкновенною вещностью, обстоятельностью фразы, и с мощным её сгущением, когда, казалось, мир вмещался в оную, не желающую мириться со скромной ролью, претендующую на отдельное произведение.

Целые главы из «Дороги на океан» — в целом едва ли удачного романа — можно рассматривать как новеллистические шедевры.

Сам Горький стилистически проще был: хотя некоторая сказовость — с волжским оканьем — присуща была и ему, раскатисто говорящему, отчасти поющему...

И там, и там мир конкретен, даже если речь о зыбких областях...

Леонов кажется верующим, хотя и вынужденным веру эту свою скрывать: чревата демонстрация оной.

Едва ли разумен вопрос, кто выше.

Однако стремление Леонова сгустить всё до предела, даже разворачивая гигантский объём «Пирамиды», представляется необычайным полётом в запредельность, где и комментарий к апокалипсису вполне логичен...

Но помог Леонову в продвижении — Горький...

БУНИН

1

Пряный сок бунинских стихов!

Их душистая, светлая, свежая музыка!

Несочетаемое как будто: но в гранёных, твёрдых, как драгоценные камни, стихах Бунина сочетается многое.

(Для Платонова, с которым у Бунина сложно усмотреть нечто общее, стихи были лабораторией его прозы; у старшего классика всё поднималось на огромную высоту, тем не менее, и в его стихах просматривалось будущее прозаических его волн...)

Предельно тугой язык: плотность деревни, низовое, вещное, материальное.

Пассажи идут, как цветовая кладка живописца.

А вот — феномен лёгкости, и венок под ветром позвякивает на кладбищенском кресте, и лёгкое дыхание становится основой страсти, ведущей к преступлению...

Страх смерти...

Огненная бездна кремации, так ало, разнокрасочно, метафизически страшно выписанная Буниным.

«Господин из Сан-Франциско» читается тяжело — но так и должно быть: ибо весь он от соли Екклесиаста: суета сует развёрнута панорамой.

Медитативное погружение в жизнь Арсеньева, постижение мира через вызревание души, обогащение любовью и — всякой подробностью мира: одни в Иудее, другие в Париже, под сквозную музыку русского одиночества, под дождь, сыплющийся на бачок с отбросами...

«Чистый понедельник» оживляет Россию — ушедшую безвозвратно; а вдруг вспомнившиеся «Петлистые уши» поражают тяжестью догадки.

Рассказы раскрываются, как павлиньи хвосты; и психология разворачивается лабиринтами.

Или затягивает безднами — а что?

Человека вполне можно определить как бездну в телесной оболочке.

Любого.

Любой и интересен Бунину: студент, помещик, мальчишка, карлица, богач, иностранец...

(В России иностранец всегда немного бес, но у Бунина иначе: скорее — проигравший).

«Тёмные аллеи» порою, кажется, перегружены эротикой: но и это от восторга, испытанного Буниным при прохождение через слои мира.

Словесная живопись, восторг, отчаяние...

Сверкают звёзды, не дано им погаснуть.

2

«Тёмные аллеи» хорошо освещены: словесная масляная живопись Бунина, кажется, достигает пределов.

Память работает интенсивно, отливы воспоминаний окрашиваются янтарными тенями и перламутровыми оттенками: оттенков у Бунина столько, что радуга покажется скупой.

...Библейская, от царя Соломона текущая соком эротика, сгущающаяся в конкретных образах, с надрывом, трагическая, великолепно-виноградная, пшеницей прорастающая в персонажей...

Трагизм излома присущ многим повествованиям, которые, будучи краткими, кажутся иногда чрезмерными: столько сердце не вместит...

«Генрих», «Галя Ганская»...

Очень дворянская литература — лишённая спеси, но наполненная достоинством: пробы червонного золота. Метафизического, конечно, хотя золотой цвет часто присутствует у Бунина, различно переливаясь, перекликаясь с небесной бездной — которая тоже не столько синяя, сколько золотая.

Кратко закипающий «Кавказ», пышные финальные фразы, бездна отчаяния, предшествующая самоубийству.

Восточные мотивы необыкновенно яркие, и хотя больше об Иудее, думается, что Бунину был близок мир суфиев — тайна знания, погружающего всё глубже и глубже: к самому ядру жизни.

Бунин познавал его через детальные, настолько ни на кого не похожие описания мира, через эротику, смерть, которая не может отменить счастья, испытанного на земле.

...И словно в её запредельность и уводят «Тёмные аллеи», сияя ярко, широко, горячо...

3

Пряный аромат бунинских стихов!

Оттенки мёда, пронизанного светом: роскошного мёда, только что изъятого из сот, чуть отливающего зеленью; луга, полные разнообразным цветением; но и — ароматы сушёных трав, пучками подвешенные в магическом салоне: и сам-то Бунин маг, жрец слова, могущественный мистагог!

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно —
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.
В бездонном небе легким белым краем
Встает, сияет облако. Давно
Слежу за ним... Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.

Сад, облако...

Великолепные сочетания, отливающие перламутром простого счастья — которого и был певцом Бунин.

Даже грустью продиктованные, одиночеством пропетые стихи подразумевали подобную подоплёку:

Затоплю я камин, буду пить.
Хорошо бы собаку купить!

Мол, ничего не остаётся, и даже покупка верной, пушистой под вопросом, но и здесь всё вспыхивает такими огнями, когда и одиночество доставляет удовольствие.

Грусть всегда с нами: она слоится сложно за каждой мыслью, за любым оттенком чувства...

А Бунин чувствовал реальность, как своеобразный сейсмограф, улавливая малейшие её цветовые, смысловые колебания.

И природа его — одушевлённая, так пышно развернувшая свои вековые письмена: о! они всюду — не замечали, сколь кора дерева похожа на надписи на праязыке?

Бунину более подходит осень, ибо элегичность её точнее соответствует густоте бунинских строк:

Осень. Чащи леса.
Мох сухих болот.
Озеро белесо.
Бледен небосвод.
Отцвели кувшинки,
И шафран отцвел.
Выбиты тропинки,
Лес и пуст, и гол.

Но сила пустого и голого леса велика, как пророчество.

Велики и стихи Бунина — даже небольшие по объёму: велики насыщенностью своей, особую речевой интонацией, густотой слов.

И солнце духа мерцает над ними, заполняя счастьем всё пространство — всё, без остатка.

4

Алмазная грань — знак мастерства — блещет во всех стихах Бунина.

Или почти во всех.

Как сплавляются грусть и нежность, одиночество и игра огня:

Затоплю я камин, буду пить.
Хорошо бы собаку купить.

Одиночество — капсула, из которой рождаются стихи, и что им известность, коллективное действо: им, живущим и вибрирующим в пространстве, пересекающемся с нашим, но отличном от нашего...

...Есть пространство идей, мерцающих нежным хрусталём, и простор стихов, где золотая пена заката льётся тайною мироздания.

В вечерний час, над степью мирной,
Когда закат над ней сиял,
Среди небес, стезей эфирной,
Вечерний ангел пролетал.
Он видел сумрак предзакатный, —
Уже синел вдали восток, —
И вдруг услышал он невнятный
Во ржах ребенка голосок.

Ангел столь же естественен в стихах, сколь невозможен в будничности, повседневности, где заурядность зашкаливает, томит — сознание поэта.

Бунин-пейзажист будто пишет не словами: сразу встают картины, точно изъятые из чудес природы, из её грандиозного каталога; и всё здесь отливается поэзией: элегическая ли, византийская осень, широкошумная зима, густота летнего настоя, весенние надежды; всё знает и чувствует Бунин: до последнего листка, до крошечной травинки.

О! он слышал звёзды и воды — перезвоны последних, течение, игра ряби на поверхности, будто сумма, обеспечивающая функционирование жизни; Бунин! сама фамилия его звучит медово и пахнет терпкими травами, и богатство, которым он дополнил поэзию, сложно исчислить в знакомых нам единицах.

5

Тихон и Кузьма...

Конец девятнадцатого века... Впрочем, начало двадцатого было похоже: ничто не предвещало тотального раскордаша; а уж из деревни тем паче невозможно было увидеть грозящего, огневого, заревого...

Ребята, растущие в деревеньке под названием Дурновка; когда подрастают, дороги их, как ни странно, расходятся.

Наёмный рабочий — Кузьма; Тихону же удаётся идти более богатой тропой: умение, живущее в недрах сердца, проявляется вдруг — и вот пожалуйста: открывает маленький кабачок, снимает постоялый двор...

Скучно ли ткётся повествование?

Мережковский, чьё сознание горело символами и знаками, столь далёкими от реальности, говорил, что использует деревню Бунина вместо снотворного.

Частное мнение, какое не стоит слишком принимать всерьёз, но и сбрасывать со счетов тоже едва ли...

Бунинская проза строится на предельном сгущении: мало кому так удавалось; и хоть колорит деревни преимущественно сер и чёрен, Бунин и тут находит многоцветье: когда не внешнее, тогда внутреннее: в душах героев.

Состоятельный хозяин Тихон, наладивший своё дело, покупает усадьбу; усадебная жизнь особенно волновала Бунина: точно предчувствовал скорый её финал, постепенное отпадение её в недра истории.

Не было детей, жена рожала только мёртвых: обратная сторона обеспеченности, что ли?

...Счастья не обретают герои: даже примирившись, даже при условии помощи; счастья нет — и оно рядом: вот цветёт всеми возможными цветами...

И «Деревня» цветёт — в наши дни, не склонные к острому восприятию литературы, будет восприниматься, как столетие назад: ярко, сочно, правдиво, точно, великолепно...

6

Всё вокруг мелькает — деревья, люди на конях, и еле-еле видна дорожка впереди; всё вокруг срывается антоновскими яблоками смысла: тугими, литыми...

Собаки гавкают, всё мчится, нет никакой остановки; можно ввалиться к соседу помещику, остаться у него на несколько дней.

«Антоновские яблоки» дают терпкие панорамы жизни, утраченной давно; жизни такой важной для Бунина, столь наполнявшей его в юношеские годы...

Какие запахи были в доме у тётки Анны!

(Пруст с виртуозно-тянущимися на страницу фразами, Пруст в русских переводах, исполненных великолепным Николаем Любимовым, вспоминается... и хорошо, и плохо: избыточность Бунина собирается на меньшем объёме текста, сообщая читающему (разумеется, шкала невозможна, просто ощущения) больше...)

Шурин вспоминается, его рассказы об охоте...

Золотые антоновские яблоки, чьё благоухание отдаёт космосом, всегда таинственным и донельзя манящим, вспыхивают на страницах мистическими шарами подлинной сути жизни.

7

Образы людей (и не только) даны в рассказах Бунина ярко, выпукло, зримо: вот господин из Сан-Франциско, надменно глядящий с борта гигантского плавучего дворца, мечтающий о сласти жизни, не знающий ещё, что ждёт его такой страшный, отчасти комический финал; вот Казимир Станиславович, чьи петлистые уши становятся зловещим символом; а вот Чанг, милый пёс, такой же пьяница, как его хозяин — старый, во всём разочаровавшийся капитан...

Галерея тянется, суммы людских судеб извиваются причудливо, переплетаясь разнообразными связями, мерцают различные отношения; образов много, но есть ещё один: глобальный, усложнённый, порою чрезмерно пёстрый.

Этот образ — язык.

Ибо в иных рассказах Бунина очевидно главным персонажем является именно он: с бесконечными его, удивительными возможностями, с бархатной роскошью прилагательных, с янтарной щедростью глаголов.

Язык цветовой, иногда столь густо затканный цветом, что напоминает драгоценную церковную парчу — или великолепную реку, вспыхивающую на летнем солнце такой же тканью...

Язык избыточный и вместе — лаконичный: противоположности сходятся, и кванты движения языка дают неожиданные эффекты.

Разумеется, когда речь идёт о большой литературе, индивидуальный, авторский язык — одна из главных ипостасей, но, кажется, в такой мере, как в прозе Бунина, он не действует ни у кого...

8

Избыточность цвета у Бунина: словно цвет созидает формы мира, являясь основным строительным материалом Творца; словно лучи разнообразных оттенков пронизывают всё, включая души людские.

Более строгая гамма у Куприна, хотя тоже переливается мир, особенно в библейском своём аспекте, играют красками — и виноградник, и счастье царя Соломона, что завершится вот-вот, и будет сидеть царь, обдумывая осмысленность яви.

Мир материален: но через внешнее к внутреннему идёт движение мыслей писателей, и Бунин, и Куприн достаточно расскажут о разнообразном, людском, наполнят длинные галереи человеческими типажами, и... кого тут только не будет.

Офицеры, священники, циркачи, нищие, странники, богатые, бедные, мужики, пьяницы, атлеты...

Будут и животные: и белый пудель снова вызовет слёзную реакцию: хоть у кого-то,

а Чанг заставит сострадать — и ему, и капитану...

Узлы, требующие выбора, как необходимости развязать их, будут закручиваться сложно; но даже самоубийцы не порицание вызывают — жалость.

Сила обстоятельств одолевает человеческие желания и возможности: часто, рассчитывая на одно, оказываемся ввергнутыми в последовательность движения дней, заставляющих довольствоваться совершенно другим.

Сила обстоятельств не способна победить силу слова: в случае с великими мастерами, родившимися в один год и ныне наблюдающими из запредельности творческих высот, как проводятся их юбилеи...

9

Столбовой дворянин мог только и увидеть — взъярившуюся муть, разрывающую пространство, уничтожающую жизнь вообще и в частности усадебную, столь драгоценную Бунину, творящему «Окаянные дни».

Особый был аромат усадебной жизни: неспешный, достойный, пронизанный сословностью...

Он был — и он исчез.

Всё исчезло.

Россия провалилась в проран: такой вывод из «Окаянных дней».

Дневник, залитый болью.

Кровоточащий — если не каждой строкой, то каждым абзацем — точно.

Дневники часто представляли большую литературу: и ни злость, ни мрачность тона не отменяют высот бунинской стилистики, его великолепного языка, играющего самоцветами, не тускнеющими от времени.

Мрачность усиливается — в конце книги всё, кажется, совсем беспросветно, невозможно, невыносимо.

Страшно.

Не преодолеть.

...Преодолеть ощущение можно только вспомнив, что это — один из взглядов: есть и другие.

10

Господин из Сан-Франциско, как известно, не достигнет своей цели...

Можно ли здесь увидеть метафизику? Лучевое — через блистательный язык и образы проведённое — утверждение о тщете накоплений?

Исступлённая работа господина из Сан-Франциско, даже имени которого не осталось, не принесла ему счастья Неаполя, Севильи и прочих роскошных мест мира, создав повод для возникновения поэтического, прозаического, сверкающего всеми красками перла.

Тяжко плывущий через гигантскую водную пустыню огромный корабль, целая плавучая страна развлечений и исступлённого, адского, низового труда, обеспечивающего движение.

Финал схож с началом, только в трюме стоит скорбный, страшный ящик.

Аппетит Бунина ко всем деталям мира и бессчётным его подробностям очень велик: словно страх пропустить хоть что-то заставляет писателя вновь и вновь вглядываться, вслушиваться, вчувствоваться, переводить в слова.

Густая, византийски роскошная ткань повествования; кажется, все слова, существующие в языке, вмещены сюда.

И плывёт корабль...

И так сложно добиться желаемого.

Особенно если оно ничтожно.

...Не просите у Царя Небесного земного навоза...

11

В рассказе «Учитель словесности» Юрий Нагибин — сквозь волшебную призму собственного мастерства — показывает детство Бунина: через фрагмент оного: так колоритно, что веришь — изображение верно.

Упорный и малоодарённый, постоянно пишущий провинциальный гимназический учитель, приглашающий к себе мальчишку-гимназиста, в котором почувствовал литературные способности, чтобы прочитать ему свой очередной рассказ — с направлением.

Для словесника «мужицкая беллетристика» — мера мер, на которую он ориентируется, для мальчишки — серое, скучное словесное варево, лишённое красоты и изящества: у него уже сформировалось собственное — изрядной высоты — восприятие литературы; и замечания, которые мальчишка делает взрослому, поражают того — надо же так тонко видеть, чувствовать, осязать реальность! Хотя и кажутся бывшему

бурсаку, рвущемуся к литературному признанью, чепухой — если по сути...

Мол, каким оттенком отсвечивает чернозём!

Или какого цвета головка у ласточки...

Есть разница. Больше того — в подобной точности и заключена та мера гармонии, которую болеющий за народное горе словесник не может понять...

Мир избыточен, мир многообразен: его необходимо именно так отображать — во всём многообразие: что не исключает, конечно, боли за действительно ужасную долю большинства.

Фамилия ученика — Бунин — появляется только в финале, хотя читатель догадывается, о ком речь сначала...

Сочный рассказ, колоритный, исполненный... отчасти в бунинской манере; интересно, ретроспективно показывающий вызревание одного из самых необычайных литературных даров русской словесности.

12

Бунин, чрезвычайно любивший Толстого, говорил, что иногда представляет прекраснейшую картину: переписанную иным языком Анну Каренину...

Разумеется, если иметь в виду гамбургский счёт и соответствие масштабов, Толстой выше, но Бунин, будучи одним из лучших русских прозаиков, чувствовал цветовую и вещественную оснастку мира так тонко, как никто (может быть, только Набоков превосходил его в этом).

Сознательная тяжелостопность Толстого, рассчитанная и на максимальную выразительность, и на невероятные возможности психологического портретирования, наверное, несколько претила Бунину: ему виделись картины сложного изящества: с теми шероховатыми, муаровыми, чуть уловимыми оттенками, которыми он так плотно насыщал свои рассказы.

Особенно «Тёмные аллеи»...

...Кажется, никогда не наглядеться на предложенный мир, не наслушаться всех его звуков, не насладиться всеми оттенками ароматов.

Никогда.

И действительно: вдруг представляется Анна Каренина, написанная бунинским языком: с почти экзотическим, несколько отдающим то востоком, то Византией колоритом, драгоценным, переливающимся, как дорогая парча...

Несовместимые понятия: толстовский размах и бунинская изощрённость.

КУПРИН

1

Крепкая основательность и весомая плотность фразы Куприна, точно идущие от телесной его, с богатырской традицией связанной силы (у него и пьянство было не забубённое, отчаянно-русское, а от щедрости натуры, не знающей преград, живущей избытком!).

Точно мускульное напряжение фразы даёт зримость картин и узнаваемость образов.

Но — мощь множится на сострадание, ибо голая, как стыд, мощь будет нарушением русских правил.

...Вот срез публичного дома из хрестоматийной «Ямы»: и какой теплотой овеяны павшие! Будь его, писательская, власть, поднял бы их, даже вознёс — за вектор страдания, что привёл сюда, в чёрный цвет смрадной ямы.

Галерея лиц, каталог типажей: Куприн вообще, казалось, каталогизировал все типы русского общества.

...Вот поп, корпусом могутный, как лодка, — поп, которому надо анафемствовать графа Толстого, — а он, зная, чем грозит непослушание, возглашает Льву многая лета, ибо что же ещё можно пожелать Льву мысли и литературы.

...Слёзы в глазах Желткова — и слёзы юных читателей прошлых поколений над «Белым пуделем».

Пуды жизненной соли съевший Куприн, чтобы так познать общество, его корни, его дух, исколесил Россию, бескрайность её впустив в собственные кровь и душу, чтобы создать поэму, эпос о ней.

Ибо суммарно свод прозы Александра Куприна — это именно своеобразный эпос своего времени, помимо кристаллов художественности имеющий ещё и историческое, этнографическое, метафизическое значения...

2

Он передаёт фактуру мира — от обивки дивана до внешности персонажей — с такою ясностью и выпуклостью, что сомнений ни в чём не может возникнуть.

Фантазия не нужна: достаточно яви.

Её достаточно для исследования и описания, и яма, подстерегающая чёрной сутью, одна из тем, мимо которой писатель, анализирующий механизмы социума, и человек с горячей совестью не может пройти.

Всё житейски банально, никто не задумывается, многие пользуются.

Свалка общественного греха.

Тяжёлое бремя порочности.

Галерея женщин, распятых чужой похотью, введённой в заданные нормы.

Острые грани характеров.

Плавное отсутствие личностей.

Уровень художественности, с какою подаётся материал, таков, что в описываемую реальность можно войти.

Разумеется, борьба с проституцией есть вариант Сизифова труда.

Разумеется, талант, сострадание, боль за других не могли позволить писателю и человеку Куприну пройти мимо Ямы. В результате чего явился литературный шедевр, пронизанный — через стилистику, через образный строй — призывом жить по-иному.

Но призывы сии редко действуют на людей.

3

Жизнь, крупными кусками соли перетёртая в ладонях; соль, сыплющаяся в недра великолепно выписанных, вкусных стилистически рассказов...

Протодьякон вместо анафемы возглашает Льву Толстому многая лета: ибо как же может быть иначе — такая глыба, такой человекознатец — и вдруг анафема...

Пудель, чья судьба вызывала столько сострадания, щелочь слёз или тихую грусть...

Потом разворачиваются густые панорамы: яма общечеловеческого порока, яма, выписанная просто, деловито, со множеством подробностей, заставляющих верить каждой странице, любому абзацу, закрученных нитями судьбы, вызывающих много эмоций — от сострадания до осуждения...

Так не должно быть: никаких ям — один свет.

Но в жизни как-то больше наоборот, и Куприн, знавший её наизусть, до прожилок, живописует её как есть, без прикрас, без фантазий...

Сила фраз, ложащихся в пазы друг другу; городские картины, представленные с тою мерою точности, когда невозможно усомниться в достоверности.

Срез тогдашнего общества дан богато суммою книг Куприна: все типы, определённые характерами, сословием, собственным дарованием: купцы и циркачи, судейские и офицеры, священники и проститутки, писатели, журналисты, — лица, лица, бесконечный калейдоскоп судеб.

А вот возникает Соломон: весь лучась красотою и мудростью, производя суд справедливый, вершащий строительства огромные, роскошно сверкающие золотом и каменьями; Соломон, гуляющий в винограднике — где и встречает рыжеволосую Суламифь, любовь к которой ослепляет его; она пылает великолепными цветами и течёт благовонным, благословенным маслом, она смыкается торжественными сводами — обречённая, уже оплетённая завистливой судьбой...

Пламенеет повесть, изъятая из библейских недр; уходит, любовью потрясённый Желтков, вызывающий сострадание и зависть (не всякому дано!); гордо живут великолепные «Юнкера»...

Мир, оставленный писателем, перевит сияющей вечностью: мир, оставленный нам на столько, сколько будет существовать русское слово.

4

Космос Куприна густо напитан жизнью и, вбирая в себя её образы и гармонию, не менее мощно, чем устроены её вибрации, вибрировал вечностью — точно жизнью тех поколений, что будут вновь и вновь открывать его книги, словно окна, предлагающие славные виды.

...Всё равно славные, ибо какова бы ни была жизнь, её объёмы и величие искупают все беды, все с лихвою.

«Юнкера» повествуют о жизни Александрова: юнкера Московского Александровского училища.

Роман автобиографичен; роман об офицерстве, являющийся своеобразным итогом военной темы в творчестве Куприна, широко и детально разработанной, проявленной множеством колоритных подробностей и подлинностью судеб.

Проза Куприна точно светится честью и достоинством: её невозможно представить низкой, стелющейся по земле: даже когда речь о проститутках, о жизни Ямы — мера сострадания высока, равно высок уровень неприятия пошлости и похоти людской, проедавших все социумы во все века...

В противоположность «Поединку» тема «Юнкеров» звучит духом непобедимости и бессмертия (как знать, может быть, единственный вариант последнего есть книги, переживающие автора надолго?).

Быт Александровского Училища воссоздан с такой детальностью, что мир страниц будто открывает лестницы в былое: сходи, узнаешь всё сам, собственной судьбой.

Товарищи, преподаватели и офицеры-воспитатели, первые литературные опыты-эксперименты Александрова-Куприна, и любовь, отдающая безумием, — тоже первая: всё собрано густо, а язык, сочный и смачный, с которым соприкоснувшись — не забыть.

Но «Юнкера» ещё и вдохновенное повествование о старой, удельной Москве; Москве «сорока сороков», Екатерининского института благородных девиц, Иверской часовни Божьей Матери; контуры Арбата, Патриарших прудов проступают — такие другие сегодня, почти неузнаваемые; и дымка летучих, лёгких, ажурных воспоминаний колышется легко и нежно, и хочется вновь и вновь обратиться к великолепным страницам русского классика...

5

Сила самореализации — самая важная для человека; векторы её различны: в творчестве, в рутинной работе, в детях... возможно, в чём-то, что покажется ничтожным для других, — в коллекционировании, например.

Но сила реализации в любви может быть гибельной — и ужас ли это или высшее счастье, знают только те, кому выпало подобное...

В середине августа на побережье Чёрного моря приходит непогода, и большая часть обитателей курортов переселяется в город, оставляя свои дачи: княгиня Вера Шеина остаётся на своей, поскольку в городском доме бушует ремонт.

Чудные дни ранней осени! В день именин ожидаются гости, муж, уехавший по делам, должен привести их. Анна помогает по хозяйству, всё мирно, ладно. Золотой браслет с пятью крупными гранатами и скромный чиновник Георгий Желтков, совершивший подношение, увидевший Веру на цирковом представлении издалека, влюбившийся... как не бывает.

Или бывает — но в нашу современность подобного высокого трепета не встроить: всё у нас слишком прагматично, серо, скучно.

Пять камней-гранатов пылают: их лучи выбиваются из реальности, разбрасывая огни метафизического свойства.

Гранатовый браслет будет возвращён, и, твердя крепкие слова молитвы, Желтков благодарит силу сил — за силу дарованного чувства.

Немножко ирреально — и вполне из жизни.

Вера плачет под великую музыку, уже после того как несчастный-счастливый чиновник застрелился; маленький человек, живший немыслимым светом её существования.

Такова была его самореализация: узнать величие чувства и, оставшись в нём, самовольно прекратить жить.

Искажённая, может быть, самореализация — но какою высотой чистоты звучит она в бездне повести Куприна!

6

Конфликт, завязанный туго; онтологический узел отношений крут: интеллигентно-романтическое мировосприятие всегда будет противостоять затхлости мещанского: в ком бы ни проявлялось оно: в торговце, военном...

К сожаленью, любая высота — в области личностного устроения человека — сталкивается со слишком плотно данной материальностью мира, в которой многим чрезвычайно уютно.

Конфликт «Поединка» Куприна из этой области: интеллигентный юноша и захолустный полк с его провинциальными, свинцово-дегтярными нравами...

В «Поединке» нет духа непобедимости и благородства, который овевал обычно военную тему, трактованную Куприным; тут всё снижено — и до «Юнкеров» ещё дело не дошло.

Муштра и пошлость; всё смелое и буйное в повести связано именно с интеллигентным образом мира; провинциальность худшего рода: замшелая, косная, кривая...

Пыльный дикий городок Проскуров.

Вечно завязанный узел конфликта: таких и в наши дни сколько угодно.

Вневременное значение повести, плотно привязанной к определённому времен-

ному отрезку...

7

Магическая красота Соломона, мудрость, поднимающая выше зримых слоёв небес; лебвеобильность...

Жизнь как медовые соты; жизнь как сплошная, тотальная радость, избыточный виноградник...

Кстати, именно в винограднике Соломон видит Суламифь: рыжеволосую красавицу, работающую, напевающую...

Соломон, знающий язык зверей и птиц, способный зачаровывать джиннов, понимает, что не понимает многого: так пышно раскрывается новая старая бездна любви.

Ослепление, сверкающее языками огня: и не надо ясности зрения: нужна одна волшебная песнь любви.

...Сердце Астис, наливающееся невыносимой, бременящей злобой; начальник стражи Элиав, давно влюблённый в неё, готовый выполнить самое чёрное приказание...

Суламифь, вся поющая туго натянутой струной любви, чувствует свою смерть — и она приходит...

То есть — мы, смертные, какими бы яркими ни были, — не можем выиграть: это прерогатива богов, распоряжающихся нашими судьбами.

Но они даруют нам иллюзию победы — иногда и ненадолго; а о чём, уединившись в судилище, думает Соломон, едва ли возможно узнать...

АНДРЕЕВ

1

Сельский священник, сын священника, женатый, имеющий двух детей...

Жена его после гибели сына в реке начинает пить: ей не пережить утрату, молитвы не помогают, жизнь идёт косо...

...И рождающийся через четыре года сын оказывается идиотом; сан решивший снять с себя Василий устанавливает таким образом относительный лад и покой в семье; однако в случившемся пожаре гибнет жена; и Василий принимает решение остаться священником, жить с идиотом; однако, когда по слову его труп отпеваемого крестьянина не встаёт, Василий выбегает из церкви, и...

Очень русское...

Невероятно смешанное: истовость веры, нелепость оной, страшный пожар, чудовищная гибель жены...

Леонид Андреев был популярнее Бунина и Куприна, и повесть его «Жизнь Василия Фивейского» пламенела дикими розами правды и прозрений.

В чём же прозрения?

В том, что только на Руси могут так верить и так отчаиваться, в крайности впадая, теряя себя...

Только же на Руси прозвучат «Баргамот и Гараська» — тонко выписанная, взятая из густоты натуры картинка, каких много было раскидано по томам Андреева, выходившим часто-часто...

Он был ярок и красив.

Он был обаятелен и умен.

«Иуда Искариот» врывался в действительность кривобоко и рыжеволосо, пламенея необычностью увиденного: словно должен был предать, иначе бы Христос не состоялся: не узнали бы о нём...

...Анатэма, взывающий к силам тьмы, видящий вдруг женщину в окровавленных и разорванных одеждах, ищущую Давида, радующего людей...

Символика пьесы довольно проста и сегодня не будет восприниматься ярко: разве что необычность исполнения роли Михаилом Чеховым — с потрясающим гримом — припомнить.

Хотя пьесы Андреева были популярны не менее прозы; так, вполне бытовая «Анфиса» (нечто ибсеновское слышится, вибрирует на заднем плане) пронизана таким внутренним накалом, что, кажется, искры из разорванных проводов чувств брызнут, полетят в зал...

Едва ли сегодня кто-то одолеет до конца «Сашку Жегулёва»: скучноватое повествование о благородном разбойнике будет сейчас восприниматься как нечто, подвешенное в безвоздушном пространстве, ходульное, совсем уж условное...

Но и рассказы, и повести Леонида Андреева живут и трепещут, пламенеют и завораживают: вот «Большой шлем», например: где игра взорвётся смертью; вот «Мысль»

— с измученным ею Керженцевым внутри, не могущим решить проблемы, вообще решению не подлежащие.

Андрееву свойственна была попытка прорваться в запредельность, истолковать коренное в жизни, самое главное...

Может, в большой мере это удалось его сыну: поэту и провидцу, никогда не знавшему отца?

2

Роскошь картины: на верхушке колокольни Царь-голод, Смерть и старое Время-Звонарь...

Пьесы Андреева символичны в достаточной мере: но символика, воспринимавшаяся тогда всерьёз, сейчас кажется довольно наивной, как и пьесы, наполненные ею.

Царь-Голод не может обмануть — как никого не обманывает смерть; однако создаётся впечатление, что цель писателя была создать нечто отстранённо красивое, с дальними мерцаниями, не имеющее отношения к яви, в которой действительный голод слишком свиреп для любых поэтизаций.

...Некто в сером и второй безымянный персонаж, находящиеся на сцене на протяжении всего действия: немудрено: ведь проходит «Жизнь человека».

Она пройдёт вся, от криков роженицы, в которые вклинивается хихиканье старух, до... возможности встать перед смертью во весь рост, гордо запрокинув седую голову.

Два полюса определяли театр Андреева — символизм и реальность; тяготение к первому скорее созвучно со временем, ко второму — талантом.

Наиболее живой сейчас кажется «Анфиса» — и сила характера, выписанного крупными мазками, и конфликты, завязанные внутри действа, убеждают и сейчас в огромном даре Андреева-драматурга.

3

...Её глаза видели только проявления человеческой жестокости: в неё бросали камни и палки, свистели ей вслед...

Кусака живёт на улице — и вечно живёт в недрах рассказа Андреева.

...Дальше будет ещё хуже: кратковременная ласка людей, к которым привязывается Кусака, и их отъезд, заставляющий выть от безнадёжности...

Много героев-животных проходит по страницам русской прозы; многие их образы не уступают людским: Каштанка, Белый пудель, Муму...

Долго можно перечислять.

Кусака в этом ряду занимает достойное место — в том числе и из-за показа легкомыслия людей — и словно всплывает на заднем плане из другого писателя: мы в ответе за тех, кого приручили...

«Рассказ о семи повешенных» возвышается монументально: старый, тучный, одутловатый министр, осознающий, что ночь могла стать его последней, приходящий к тяжёлым выводам о блаженном незнании своего конца, о смерти вообще.

Затем разворачивается повествование о разных жизнях: осуждённых.

Молодые и сильные умрут: они задержаны с адскими машинами, бомбами и револьверами.

Другие, содержащиеся в камере, слишком отличны от них: каталог людей, человеческих типов перед общим знаменателем — смертью.

...Эстонец Янсон, Таня Ковальчук, казавшаяся матерью заключённым, продолжающим жить...

Тянутся дни; скорее отупение, чем безнадёжность.

Тянутся дни страницами произведения, завораживая, бередя мысль, заставляя вновь и вновь думать о смерти.

Может быть, это была одна из целей Андреева: заставить задуматься о ней?

Хотя загадку её (в отличие от сына) он не способен разгадать...

Но крутая лепка людей гипнотизирует: как многое в книгах Андреева: символизм и мера сострадания, жёсткое следование наждачной правде жизни и стилистическое своеобразие...

4

...И чёрная бездна поглотила его...

Финал рассказа «Бездна» вызвал в печати скандал: немудрено — слишком страшно физиологичным казался оный, больно животно был показан человек...

Андреев выступал в печати с оправданиями, утверждая, что имел в виду призыв строить жизнь, памятуя о своих корнях; но скандал не стихал; Андреев позже написал рассказ «Антибездна», как бы опровергающий предыдущий...

...Но действительно — бездна черна, она слишком связана с физиологией, которой не противостоять, и с изначальной агрессией-жестокостью, заложенной в людях.

Говорят — кто-то может преодолеть...

Возникает «В тумане» — идейное продолжение бездны.

Нежно влюблённый молодой человек, внутренне обезображенный болезнью, решающийся на убийство проститутки...

Густо сплетены нити: и человеческое слишком страшно: оно часто страшно в книгах Андреева: но ведь и об этом нужно было писать...

Андреев и писал, вызывая скандалы, будоража читающую публику...

5

Крепкая, как соль, простота «Баргамота и Гараськи» — краткого, как формула, рассказа, где каждая фраза даёт характеристику персонажу, уточняя и углубляя общую картину.

Некогда бушевавшая сверхпопулярность Леонида Андреева оправдана словесным мастерством и психологической изощрённостью.

Увиден ли Христос глазами Иуды? Или внутренним зрением большого писателя?

Скорее — второй вариант: есть нечто обжигающее в созданном образе Великого Учителя — точно в одном из звеньев цепочки реинкарнаций Андреев (вернее, тот, кем он был тогда) соприкасался со Христом.

«Жизнь Василия Фивейского», кипящая ярым пламенем словесной плазмы: страшно, сильно; вещее звучание не сглажено никакими иллюзиями.

«Сашка Жегулёв», некогда популярный роман, сейчас едва ли читается — уж больно дремучей кажется история про благородного разбойника, да и главный персонаж воспринимается весьма ходульно...

А вот многое из драматического наследия не тускнеет: блещут алмазной гранью реплики; возникают, входя в реальность, герои; страшный Анатэма вновь возникает грозным предвестьем грядущего...

Но главное, конечно, рассказы и повести; и в повествовании о семи повешенных психологическое портретирование наслаивается на сострадание ко всем малым сим — столь вообще свойственное русской литературе...

...Голос Леонида Андреева не ослабел, какие бы ни лютовали вокруг времена, закручивая чёрные вихри денежного перца и подчиняя всех кондовым законам животного эгоизма.

6

От Даниила Андреева не осталось прозы: в понимании традиционном: великолепная «Роза Мира» не относится ни к какому литературному жанру, возвышаясь особняком: скорее метафизической башней — в мире гуманитарной интеллектуальной мысли.

Единственный роман Даниила Андреева погиб; и, учитывая меру художественности «Розы Мира», можно предположить, что он был бы грандиозен.

...Отец не сочинял стихов, хотя, вписанный в определённую эпоху, в её контекст, был пропитан своеобразной поэзией: субстанция символизма ярко окрашивала его прозу.

Она и строилась весьма поэтично: своеобразное двоение рифмы чувствуется в иных, отмеченных символическим восприятием реальности, прозаических построениях отца.

Даниил Андреев был выдающимся поэтом: проводившим свои запредельные идеи — многие из них — именно через поэзию: литую, совершенно огранённую, играющую — смертельно всерьёз — крупными и яркими метафорами и поражающую точностью эпитетов.

Возможно, определённые идеи, заложенные в «Розе Мира», Даниил Андреев уточнял таким образом — через поэтическое делание.

Жалко, что Леонид Андреев не оставил поэтического наследия: оно хорошо бы дополнило прозаическое.

Так или иначе — сын не знал отца: только как читатель: но и таковые, странные для обычного человеческого бытования, отношения оказались питательными для литературы.

Алексей НИКОЛАЕВ

ФОРМУЛА ВРЕМЕНИ

Точная теория времени

А ларчик просто открывался

Раздел 3. СТРУКТУРА[1]

Глава 1. ПЕРВОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ

Фрагмент 3. АЛЬФА-РЯД ЭПОХ

Как только вы увидите 132-летние цикловые звенья, так сразу вы заметите структурное деление звеньев на 33-летние альфа-эпохи в пропорции 1 к 4.

Силуэт 1. ТРИ БРОСКИЕ ЭПОХИ ВОЙН

NB-67: трудно не заметить в ближайшем прошлом эпоху, вырубленную на стреле времени топором 1-й мировой войны и 2-й мировой войны: 1914-45, от начала 1-й до завершения 2-й: *Эпоха мировых войн*[2] в таблице 1: *1913-46*[3].

NB-68: трудно не заметить не столь далеко в прошлом *Эпоху Тридцатилетней войны (1616-49)*, заполненную Тридцатилетней войной: 1618-48.

Увидев эти две эпохи, вы увидите и то, что интервал меж ними арифметически делится на целое число эпох, в чем вы имеете, еще не видя никаких других элементов структуры времени и только приступая к поискам ее, логическое основание для предположения, что в структуре времени есть ряд элементов размером около 33 лет.

NB-69: продолжив ряд эпох в античность, трудно не заметить *Эпоху Пелопоннесской войны (430-397 до н.э.)*, заполненную Пелопоннесской войной: 431-404 до н.э.

В отличие от Тридцатилетней войны, вписавшейся в эпоху впритирку к альфа-границам, Пелопоннесская война вписалась в эпоху с микроквартальным отступом *(405-397 до н.э.)*, характерным для ограничения эпохой исторических процессов и систем.

NB-70: яркий тройной пример микроквартального отступа-8,25: французская революция грянула (1789) в начале *Эпохи французской революции (1781-1814)* с типовым микроквартальным отступом: *1781-89*; английская революция грянула (1640) в конце *Эпохи Тридцатилетней войны (1616-49)* с типовым микроквартальным отступом: *1641-49*; 1-я русская революция грянула (1905) на подступах к *Эпохе мировых войн (1913-46)* с типовым микроквартальным отступом: *1905-13*.

Немаловажная деталь: *Эпоха Тридцатилетней войны* бросается в глаза как неотъемлемая часть исторически целостной тетрады эпох *Звена Реформации* (см. фрагмент 10 «Звено Реформации»), а *Эпоха Пелопоннесской войны* — неотъемлемая часть исторически целостной тетрады эпох *Афинского звена* (см. силуэт 2 «Афинское звено»).

---

[1] Начало публикации — в N4 «Невского проспекта», где помещены: «Тезисный путеводитель по книге» + раздел 1 «Определение времени» + раздел 2 «Формула» + фрагменты 1-2 раздела 3 «Структура» + таблица 1 «Исторический век».

[2] Условные названия элементов структры времени выделены в тексте курсивом.

[3] Даты, выделенные в тексте курсивом, суть абсолютные даты, которыми ограничены элементы структуры времени на стреле времени, совмещенной с календарной шкалой измерения времени; прочие даты (не выденные курсивом) суть исторические даты.

Силуэт 2. АФИНСКОЕ ЗВЕНО: 463-321 до н.э.

Расклад *Афинского звена* на периоды и эпохи по таблице 1:

Афинское звено = Делосский период + Философский период: 463-397-321 до н.э.
Делосский период = Эпоха Перикла + Эпоха Пелопоннесской войны: 463-430-397 до н.э.
Философский период = Спартанская эпоха + Эпоха Филиппа Македонского: 397-364-331 до н.э.

NB-71: 1-я эпоха *Афинского звена* исторически тесно связана с именем Перикла и соответственно именуется в таблице 1 *Эпохой Перикла (463-430 до н.э.)*, в которой после изгнания Кимона (461 до н.э.) главным историческим лицом в Афинах был Перикл и во 2-й эпохальной фазе *(446-430 до н.э.)* бессменно занимал высший пост стратега и архонта: 444-429 до н.э.

NB-72: 2-я эпоха *Афинского звена* наиболее выразительна среди четырех эпох звена, ибо несет Пелопоннесскую войну (431-404 до н.э.), и что надо отдельно отметить, *Эпоха Пелопоннесской войны* явственно распадается на эпохальные фазы *(430-413-397 до н.э.)* относительно Сицилийского похода (415-413 до н.э.), переломного в Пелопоннесской войне и строго отцентрованного в эпохе.

NB-73: *Эпоха Перикла* и *Эпоха Пелопоннесской войны* составляют 1-й период *Афинского звена*, именуемый в таблице 1 *Делосским периодом (463-397 до н.э.)* как время гегемонии Афин во главе Делосского союза (477-404 до н.э.), возникшего в развитие победы коалиции греческих полисов над незваным гостем Ксерксом I Ахеменидом при Саламине (480 до н.э.) и Платеях (479 до н.э.), а рассыпался Делосский союз в момент падения Афин в финале Пелопоннесской войны: 404 до н.э.

NB-74: веховый Саламин (480 до н.э.) отделен полуэпохальным отступом *(479-463 до н.э.)* от *Периклова стыка (463 до н.э.)*, наблюдаясь у стартовой ультраграницы периода: *479 до н.э.*

NB-75: 3-я эпоха *Афинского звена — Спартанская эпоха (397-364 до н.э.)*, исторически выделенная в звене как эпоха гегемонии Спарты в Элладе от момента взятия Афин Лисандром до битвы при Мантинее: 404-362 до н.э.; причем 2-я эпохальная фаза *(380-364 до н.э.)* прорисована Беотийской войной (378-362 до н.э.), обескровившей Спарту и Фивы, в связи с чем Афины вновь подняли голову, но столкнулись с Филиппом Македонским.

NB-76: 4-я эпоха *Афинского звена — Эпоха Филиппа Македонского (364-331 до н.э.)*, в которой на ход истории изрядно повлиял эпохальный царь Македонии Филипп II Македонский (359-336 до н.э.), отец Александра Великого.

NB-77: на *Александрийском стыке (331 до н.э.)*, то есть у финишной границы *Афинского звена*, Филипп II Македонский разгромил антимакедонскую коалицию при Херонее (338 до н.э.) и создал Коринфский союз, то есть союз греческих полисов под эгидой Македонии (337 до н.э.), а Александр III Македонский, он же Александр Великий, продолжил дело отца на уровне мировой экспансии (334-325 до н.э.) и произвел имперское развертывание античной цивилизации в эволюционном итоге *Афинского звена*.

2-й период *Афинского звена* носит в таблице 1 имя *Философского периода* в честь Платона и Аристотеля, заложивших основы западной философии в *Философском периоде*, а предтеча их Сократ пришел в конце *Делосского периода*.

Афиняне приговорили Сократа к чаше цикуты в 399 до н.э., откуда название в таблице 1: *Сократический рубеж: 397 до н.э.*: структурный центр *Афинского звена,* а также *Эллинского цикла, Античной эры* и всего *Исторического века*.

В 408 до н.э. у Сократа появился необыкновенный ученик: Платон. В 387 до н.э. Платон учредил в Афинах Академию. Через три года после того родился Аристотель. Платон умер в 347, Аристотель — в 322 до н.э. В *Философском периоде (397-331 до н.э.)* созданы Платоном и Аристотелем главные произведения античной философии, вместе с чем античная мысль засвидетельствовала факт эволюционного скачка на античном Западе, являя собой яркий признак эволюционного превосходства античной цивилизации над египто-месопотамской цивилизацией образца *Египетской эры*: на смену египтянам, вавилонянам и хеттам *Египетской эры* пришел античный человек как носитель передовой цивилизации и представился как таковой в *Афинском звене* строго по центру *Античной эры* и *Исторического века*.

Силуэт 3. РЯДЫ ЭПОХАЛЬНЫХ ПРАВЛЕНИЙ

Штрих в картине разверстки истории античной Греции в *Эллинском цикле*:

NB-78: шесть царей Спарты по линии Еврипонтидов в шести эпохах подряд:
Леотихид — Архидам II — Агис II — Агесилай II — Архидам III — Эвдамид I:
491-469-427-399-360-338 # 331-305 до н.э.:
Эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха:
496-463-430-397-364-331-298 до н.э.

Решеткой (#) обозначен разрыв в ряду. Все шесть царей вписаны в эпохи с разбросом датировок в рамках эпохальных колец-16,5, связывающих эпохи, то есть во всем ряду погрешность не превышает восьмилетнего микроквартального отступа от эпохальных стыков.

NB-79: параллельный ряд семи царей Персии из династии Ахеменидов в семи эпохах: Кир Великий — Дарий I — Ксеркс I — Артаксеркс I — Дарий II — Артаксеркс II — Артаксеркс III:
559-530 # 522-486-465-424-404-359-338 до н.э.:
Эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха:
562-529-496-463-430-397-364-331 до н.э.
Только в одной точке (486) отклонение больше восьмилетнего отступа: 10 лет.

NB-80: ряд царей Пергама в четырех эпохах:
Эвмен I — Аттал I — Эвмен II — Аттал II:
263-241-197-160-139 до н.э.:
Эпоха + эпоха + эпоха + эпоха:
265-232-199-166-133 до н.э.

Как вы понимаете, это непростые циферки: **каждая пара дат в этих рядах соответствует тому, что историки описывают как целостный этап истории государства, то есть как историческую эпоху**, и как-то так получилось, что перечисленные царствования застроены в монолитные ряды на стреле времени и вписаны в таблице 1 в 33-летние отрезки стрелы времени, отмеренные с точкой отсчета в прошлое от *Сараевского стыка: 1913*.

Примите к сведению выборку образцово-показательных рядов эпохальных правлений:

Трехэлементные вековые ряды длиной три эпохи

NB-81: султаны Турции: Осман I — Орхан I — Мурад I, Османы:
1281-1326-59-89 (даты правлений):
1286-1319-55-85 (альфа-эпохи).

NB-82: короли Чехии: Иоанн Слепой — Карл IV — Вацлав IV, Люксембурги:
1310-46-78-1419:
1319-52-85-1418.

NB-83: султаны Турции: Мурад II — Мехмед II Фатих — Баязид II Дервиш, Османы:
1421-51-81-1512:
1418-51-84-1517.

NB-84: короли Арагона: Альфонсо V Великодушный — Хуан II Великий — Фердинанд II Католик, династия Трастамара:
1416-58-79-1516:
1418-51-84-1517.

NB-85: короли Шотландии: Яков III — Яков IV — Яков V, Стюарты:
1460-88-1513-42:
1451-84-1517-50.

NB-86: императоры Японии: Го-Нара — Огимати — Го-Ёдзэй:
1526-57-86-1611:
1517-50-83-1616.

NB-87: сегуны Эдоского сегуната Токугава: Иэмицу — Иэцуна — Цунаёси:
1623-51-80-1709:
1616-49-82-1715.

NB-88: короли Швеции: Оскар II — Густав V — Густав VI, Бернадоты:
1872-1907-50-73:
1880-1913-46-79.

Четырехэлементные ряды длиной четыре эпохи: 132 года

NB-89: цари Грузии: Давид IV Строитель — Дмитрий I — Георгий III — Тамара I Великая, Багратиони:

1089-1125-56-84-1213:
1088-1121-54-87-1220.

NB-90: короли Португалии: Саншу II Благочестивый — Афонсу III Булонский — Диниш Земледелец — Афонсу IV Храбрый, Португальский дом Капетингов:

1223-48-79-1325-57:
1220-53-86-1319-52.

NB-91: императоры Маратхи: Шаху I — Раджарам — Шаху II — Пратап:

1707-49-77-1808-39:
1715-48-81-1812-47.

Пятиэлементные ряды длиной пять эпох: 165 лет

NB-92: графы Парижа и с 987 короли Франции: Роберт I — Гуго Великий — Гуго Капет — Роберт II Набожный — Генрих I, старшая ветвь Капетингов:

888-922-956-996-1031-60:
890-923-956-989-1022-55.

NB-93: курфюрсты Бранденбург-Пруссии и короли Пруссии с 1701:
Георг-Вильгельм — Фридрих-Вильгельм Великий курфюрст — Фридрих I — Фридрих-Вильгельм I — Фридрих II Великий, Гогенцоллерны:

1619-40-88-1713-40-86:
1616-49-82-1715-48-81.

NB-94: короли Португалии: Афонсу VI Победитель — Педру II — Жуан V Великодушный — Жозе Реформатор — Мария I Благочестивая, Капетинги-Браганса:

1656-83-1706-50-77-1816:
1649-82-1715-48-81-1814.

NB-95: короли Непала:
Раджендра — Сурендра — Притхви II — Трибхуван — Махендра:
1818-47-81-1911-55-72:
1814-47-80-1913-46-79.

Вопрос: по случайности или по формуле времени синтезируются в истории подобные ряды? Правильный ответ: по формуле времени. Правильность ответа явствует из дальнейших логических операций по систематизации материала, переходя к чему сформулируем определения, касающиеся разверстки эстафетных рядов и входящие в общую логическую систему точной теории времени:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЛЬФА-РАЗВЕРСТКИ РЯДОВ

1. Ряды правящих субъектов на стреле времени называются эстафетными рядами и различаются как ***правильные*** и ***неправильные***.

2. Правильным эстафетным рядом называется ряд, состоящий из правлений, вписанных в альфа-элементы структуры исторического цикла с нормативными ***пограничными отступами*** от эпохальных стыков либо от эпохальных рубежей, разделяющих элементы альфа-разверстки.

3. Базовая шестерица структурных элементов альфа-разверстки рядов: **эпохальная α-фаза-16,5 − α-эпоха-33 − параэпоха-33 − полувек-49,5 − α-период-66 − парапериод-66.**

4. Нормативны пограничные отступы, заданные формулой времени как разброс исторических дат правлений в эпохальных кольцах-16,5, связывающих эпохи вокруг эпохального стыка, и в бимикровеках-4,125, связывающих эпохальные фазы вокруг эпохального рубежа: центра эпохи.

5. Максимальный пограничный отступ в эпо-кольце-16,5 называется микроквартальным отступом, составляющим 8,25 года и округляемым до 9 лет в исторических датировках, будучи типичным для правлений, вписанных в эпоху и в полувек (полторы эпохи).

6. Пограничный отступ от эпохального рубежа, составляющий половину бимикровека-4,125, связывающего эпохальные бета-фазы, называется порубежным и микровековым отступом размером 2,0625 года, расширяемым до трех лет в исторических датировках и наблюдаемым у правлений, вписанных в эпохальные фазы, полувека и параэпохи.

7. Полный объем зоны трансмиссии эпохальных фаз превышает вдвое четырехлетний бимикровек, но ради точности измерений не принимаются во внимание и не считаются элементами правильного ряда правления с пограничными отступами от эпохальных рубежей свыше трех лет.

8. Правления, вписанные в структурные элементы альфа-разверстки, называются ***элементами правильного ряда***, величины которых суммируются в эстафетной статистике, а сумма называется ***длиной правильного ряда***, измеряемой в эпохах и соотносимой с длиной всей эстафеты.

9. Правления, заверстанные в эстафетный ряд со сверхнормативными погрешностями, называются ***элементами неправильного ряда*** и составляют неправильный ряд размером не меньше эпохи, называемый также ***деформированным рядом***.

10. Структурная пауза между элементами правильного ряда размером больше года внутри эпо-кольца-16,5 или бимикровека-4,125, связывающего элементы альфа-разверстки, называется ***разрывом в ряду*** и помечается решеткой в записи рядов (#), а структурная пауза между элементами правильного ряда размером до года не считается разрывом и не учитывается в записи рядов.

11. Правильные ряды из одинаковых и неодинаковых элементов называются ***однородными*** и ***неоднородными рядами***, соответственно.

12. По длительности ряды подразделяются на три категории: во-первых, ***короткие ряды*** от эпохи до периода и параперiода: 33-66 лет; во-вторых, ***долгие ряды*** от века и квазивека до бивека и квазибивека: 99-198 лет; в-третьих, ***сверхдолгие ряды***: сверхдвухвековой масштаб.

13. Основным и самым распространенным элементом правильных эстафетных рядов является эпохальное правление, а самой распространенной разновидностью правильных рядов является короткий однородный ряд из двух эпохальных правлений в периоде или параперiоде.

14. Личное правление, вписанное в эпоху с пограничными отступами от альфа-границ эпохи не больше микроквартала-8,25, округляя до 9 лет в датировках, называется ***эпохальным правлением***.

15. Правление, вписанное в эпоху с пограничными отступами до пяти лет, называется строгим эпохальным правлением, а правление, вписанное в ядро эпохи с микроквартальными отступами-8,25, сонаправленными внутрь эпохи, называется миниэпохальным и ядерным правлением (16,5 года).

16. Правление, вписанное в полувек, то есть в полторы эпохи, с пограничными отступами до девяти лет от эпохального стыка, с одной стороны, и до трех лет от эпохального рубежа, с другой стороны, называется ***полувековым правлением***.

17. Правление, вписанное в период или параперiод с пограничными отступами, не превышающими 11 лет, называется ***биэпохальным правлением*** и различается как ***периодическое*** и ***параперiодическое***, а периодическое правление с пограничными отступами до девяти лет называется строгим периодическим правлением, и параперiодическое тоже.

18. Типовые структурные группы элементов альфа-разверстки рядов называются ***структурными фигурами***. Базовая полудюжина структурных фигур:

Фигура №1: пол-эпохи + пол-эпохи = эпоха.
Фигура №2: эпоха + эпоха = период или **параперiод.**
Фигура №3: полувек + полувек = век или **квазивек.**
Фигура №4: период + период = звено или **α-паразвено.**
Фигура №5-a: полувек + пол-эпохи = период или **параперiод.**
Фигура №5-b: пол-эпохи + полувек = период или **параперiод.**

Прим.: при операциях с историческими датами в годах учитывается годичная погрешность относительно абсолютных дат в обе стороны, в соответствии со следующей логикой: если, к примеру, вас назначили начальником 31 декабря 2000 и сняли с должности 1 января 2005, срок ваших начальственных полномочий датируют в годах: 2000-05; и срок называют пятилетним. Но сосчитайте годы по пальцам: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005: срок-то получается шестилетний по датировке в годах. На деле же вы были начальником не шесть и не пять, а четыре года и два дня: 2001, 2002, 2003, 2004 плюс 31 декабря 2000 и 1 января 2005. Срок, датированный 2000-05, логично называется пятилетним как среднее значение между минимальным и максимальным сроками, составляющими вилку датировки: 4-6 лет. Датировка в годах имеет погрешность в год в обе стороны относительно среднего значения: 5 лет, в данном случае. Годичная погрешность дат учитывается теорией при сверке исторических и абсолютных дат, в том числе, применительно к микроквартальным отступам-8,25, округляемым до 9 лет с учетом годичной погрешности.

Фрагмент 4. КАПЕТИНГИ

От Роберта Сильного, праотца всех Капетингов, маркиза Нейстрии и графа Парижа (861-866, краткий срок ношения титулов, оборванный в последнем бою), до Луи-Филиппа, последнего Капетинга на троне Франции (1848), династическая эстафета Капетингов как правящей династии Франции занимает **30 эпох**: 15 периодов: *857-1847*: 990 лет в альфа-времени.

Отследим эстафету Капетингов в Париже и сделаем теоретические выводы.

Эстафетный ряд Капетингов стартует с паузой в эпоху после гибели героя, потому как 1-я эпоха в эстафете Капетингов с отсчетом от основателя династии — эпоха регентства, а регентом при наследниках Роберта Сильного был их старший единоутробный брат Гуго Аббат из другой династии по отцу, эпохальный граф Парижа (866-886) в *Эпохе Кирилла и Мефодия: 857-890*.

Силуэт 1. ПЯТИЭЛЕМЕНТАЯ ФИГУРА ПЕРВЫХ КАПЕТИНГОВ В ПЕНТАЭПОХЕ: 890-1055

NB-96: идеальный ряд эпохальных графов Парижа и с 987 королей Франции в пяти эпохах: Роберт I (сын Роберта Сильного) — Гуго Великий — Гуго Капет — Роберт II Набожный — Генрих I:

888-922-956-996-1031-60:
Эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха:
890-923-956-989-1022-55.

После Генриха I ряд физически пролонгировала жена Генриха I Анна Киевская, дочь Ярослава Мудрого, великого князя Киевской Руси, а младший брат Генриха I Роберт по прозвищу Старый — родоначальник старшего Бургундского дома Капетингов, чьей ветвью является Португальский дом Капетингов, представляющий большой интерес на предмет разверстки эстафеты (см. раздел 3, гл. 1, фрагмент 5 «Португалия»).

Силуэт 2. ТРЕХЭЛЕМЕНТНАЯ СИММЕТРИЯ КОРОНЫ В α-ПАРАЗВЕНЕ: 1055-1187

NB-97: Филипп I — Людовик VI Толстый — Людовик VII Молодой (1060-1108-37-80) — три короля Франции в *Паразвене папоцезаризма*: полувек + параэпоха + полувек: *1055-**1105-38**-87*.

Прим.: жирным в числовой записи рядов будем выделять эпохальный рубеж: структурный центр эпохи, окольцованный четырехлетним бимикровеком, который связывает бета-фазы эпохи и в рамках которого наблюдаются в правильных рядах порубежные отступы размером в двухлетний микровек, ***расширяемые до трех лет*** *в исторических датировках, но не более чем до трех лет.*

Людовик VI Толстый высватал за наследного принца Людовика Молодого самую видную и богатую невесту средневековья: Элеонору Аквитанскую, наследницу Рамнульфидов, пресекшихся в Аквитании. Приданое Элеоноры было с треть Франции: Аквитания, Гасконь, Пуатье. Брак не сложился, Элеонора ушла от короля Франции вместе с приданым, не родив наследника, и вышла за графа Анжу Генриха, происходившего из 2-й Анжуйской династии, больше известной как Плантагенеты, и воцарившегося в Англии стараниями матери императрицы Матильды, внучки Вильгельма Завоевателя, наследницы престола Англии.

NB-98: Генрих II Плантагенет (1154-89) — эпохальный король Англии в *Эпохе Фридриха Барбароссы (1154-87)*, названной в таблице 1 в честь эпохального императора Второго Рейха Фридриха I Штауфена по прозвищу Рыжебородый (1152-90); заметьте, как оба вписаны в эпоху.

NB-99: оцените диковинное совпадение: ***Плантагенеты* (1154-1485) *царствовали в Англии ровно 10 эпох и вписались в таблице 1 точнехонько в 330-летнюю Готическую бета-циклофазу: 1154-1484***: это 2-я фаза *Второго средневекового цикла* в бета-константе.

NB-100: зацените чисто по таблице 1 и финальную всемирно знаменитую эпоху Плантагенетов, в которой династия Англии в лице Ланкастеров и Йорков совершила политическое самоубийство в Войне Алой и Белой Розы, датируемой: 1455-85: *Эпоха Войны Роз: 1451-84*.

NB-101: примите к сведению тут же еще и такое совпадение: ***королевская династия Плантагенетов насчитывает 10 поколений, а время царствования Плантагенетов – 10 эпох (330 лет).***

Для такого рода совпадений в точной теории времени имеется специальный термин: ***закон равенства числа эпох и поколений в династических эстафетах***, который гласит: **число поколений династии, составивших эстафету, равно числу или стремится к равенству с числом эпох эстафеты**.

В момент воцарения Генриха Плантагенета в Англии возникла Анжуйская империя Плантагенетов, охватывавшая Англию и львиную часть Франции, включая графства Анжу, Мэн, Турень, герцогство Нормандия и приданое Элеоноры: Аквитания, Гасконь, Пуатье. Анжуйскую империю разрушил Филипп II Август, великий и коварный собиратель земель, отобравший у Плантагенетов Нормандию, Анжу, Мэн, Турень, Пуатье и часть Аквитании.

Силуэт 3. ЭПОХА ФИЛИППА АВГУСТА: 1187-1220

NB-102: Филипп II Август (1180-1223) — эпохальный король Франции в *Эпохе Филиппа Августа: 1187-1220*.

Филипп Август приступил к собиранию земель путем женитьбы на Изабелле Геннегауской, чьим приданым было графство Артуа. Изабелла родила краткосрочного короля Франции Людовика VIII Льва (1223-26), который не в добрый час пошел в Альбигойский поход и умер в пути от какой-то походной болезни. Трехлетнее царствование Людовика VIII Льва — это единственный разрыв (#) в правильном королевском ряду старшей ветви Капетингов, не считая Проклятых королей в вырожденческом финале ветви. Женой Людовика VIII Льва была Бланка Кастильская из кастильских Анскаридов, рожденная Элеонорой Плантагенет, рожденной Элеонорой Аквитанской. Бланка Кастильская родила 13 принцев и принцесс; шестым в списке значится король Франции Людовик IX Святой, а замкнул список Карл Анжуйский, могильщик Штауфенов, основатель Анжу-Сицилийской ветви Капетингов, чьим именем названа эпоха в таблице 1:

NB-103: Карл I Анжуйский (1246-85) — эпохальный граф Анжу и с 1266 король Сицилийского королевства в *Эпохе Карла Анжуйского: 1253-86*.

Силуэт 4. ФИГУРА №5-а В ПАРАПЕРИОДЕ: 1220-86

NB-104: Людовик IX Святой и Филипп III Смелый (1226-70-85) — биэпохальная пара королей Франции в параперииоде с распределением: полувек + пол-эпохи: *1220-**70**-86*.

Это образцовая фигура №5-а: Филипп Смелый точненько вписан в эпохальную α-фазу-16,5, а Людовик Святой вписан в полувек-49,5 с нормативным пограничным отступом (1220-26) не больше микроквартала *(1220-28)* в рамках эпо-кольца, окольцовывающего эпохальный стык: *1220*.

Жена Людовика IX Святого Маргарита Прованская родила 11 принцев и принцесс, где десятым по счету значится Роберт Клермонский, родоначальник Бурбонов, а жена Филиппа III Смелого Изабелла Арагонская родила Филиппа IV Красивого, Карла Безземельного, родоначальника Валуа, и Людовика Эврё, родоначальника ветви Капетингов-Эврё, царствовавшей в Наварре.

NB-105: пять графов Эврё и, кроме 1-го, королей Наварры из пяти поколений Капетингов в пяти эпохах, вся ветвь:

Людовик — Филипп III — Карл II Злой — Карл III Благородный — Бланка I:

1298-(1319-43-78-1425)-41:
Эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха:
1286-(1319-52-85-1418)-51.

Определению эпохального правления отвечают только трое в скобках из пятерых, но логически очевидна формула: **пять правителей − пять эпох**.

NB-106: Карл Безземельный, праотец Валуа, — эпохальный граф Валуа (1286-1325) в *Эпохе Филиппа Красивого: 1286-1319*.

NB-107: Роберт Клермонский, праотец всех Бурбонов, — эпохальный сеньор де Бурбон (1287-1310) в *Эпохе Филиппа Красивого: 1286-1319*.

Роберт Клермонский, родоначальник Бурбонов, поколением старше Карла Валуа и брата его Филиппа IV Красивого, а это значит, что эстафета Бурбонов стартовала со сдвигом размером в эпоху на стреле времени относительно эстафеты старших Капетингов. Это называется ***эстафетным сдвигом поколений***, который может обнуляться ***обратным сдвигом*** в эстафете, но в общей эстафете Капетингов бурбонский сдвиг поколений зафиксирован поныне, откуда происходит итоговая погрешность в выполнении закона равенства числа эпох и поколений в общей эстафете Капетингов размером в одну единицу измерения, то есть в одну эпоху.

Силуэт 5. ЭПОХА ФИЛИППА КРАСИВОГО: 1286-1319

NB-108: Филипп IV Красивый (1285-1314) — эпохальный король Франции в *Эпохе Филиппа Красивого: 1286-1319*.

В предыдущей эпохе пресеклась династия шампанских Тибальдинов, царствовавших в Наварре после династии Хименес. Наварру и Шампань унаследовала трехлетняя девочка Жанна. Когда королева Наварры Иоанна I подросла до 13 лет, на ней женился наследник французской короны Филипп Красивый и прибрал к рукам Шампань и Наварру: 1284. Иоанна I Наваррская родила трех королей Франции, прозванных Проклятыми королями, и королеву Англии Изабеллу, прозванную Французской волчицей.

Силуэт 6. ЭПОХАЛЬНОЕ КОЛЬЦО ПРОКЛЯТЫХ КОРОЛЕЙ: 1311-27

NB-109: Проклятые короли Людовик X Сварливый, Филипп V Длинный и Карл IV Красивый (1314-16-22-28) царствовали в эпохальном кольце *1311-27*, связывающем *Эпоху Филиппа Красивого* и *Эпоху Филиппа Счастливого* вокруг эпохального стыка: *1319*: это *Дантов ультрарубеж* в таблице 1: граница *Кольца Классического средневековья* и *Кольца Возрождения*.

На Проклятых королях, детях Филиппа IV Красивого, быстро умерших один за другим на троне, не оставив мужского потомства, почему и прозванных Проклятыми, пресеклась старшая ветвь Капетингов по мужской линии, а сестра Проклятых королей Изабелла Французская волчица была лишена прав на престол братом Филиппом V Длинным, протолкнувшим салический закон, отстранивший женщин от престолонаследия во Франции. В силу салического закона, Проклятым королям наследовал их кузен Филипп Валуа, сын Карла Безземельного, прозванный Счастливым в связи с сюрпризом в виде нежданной короны.

Изабелла вышла за короля Англии Эдуарда II Плантагенета и родила короля Англии Эдуарда III Плантагенета, который вырос и извлек казус белли из того, что он племянник Проклятых королей по матери. Эдуард III Плантагенет не признавал салического закона, коего в Англии не было, и развязал Столетнюю войну, в которой Плантагенеты доказывали Капетингам мечом свои права, как минимум, на бабушкино приданое, как максимум, на всю Францию, а бабушкино приданое — это старинные владения праматери Плантагенетов Элеоноры Аквитанской.

Расклад эстафеты старших Капетингов

Правильный ряд:

(Эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха) + (полувек + параэпоха + полувек) + эпоха + (полувек + пол-эпохи) + эпоха = 13 эпох: 890-1319.

Это идеальный ряд, подпорченный трехлетним разрывом в лице Людовика VIII Льва (1223-26) в зоне смены эпох вокруг эпохального *Стыка Великой хартии вольностей: 1220*.

Расклад правильного ряда на структурные группы элементов:

1. Пентаэпоха первых Капетингов: *890-1055*: пять эпох — пять эпохальных графов Парижа и с 987 королей Франции.
2. Трехэлементная фигура в *а-Паразвене папоцезаризма: 1055-1187*: три короля с распределением: полувек + параэпоха + полувек.
3. *Эпоха Филиппа Августа: 1187-1220*.
4. Фигура №5-а в парапериоде: *1220-86*: два короля по схеме: полувек + пол-эпохи.
5. *Эпоха Филиппа Красивого: 1286-1319*.

Считая от Роберта Сильного, старшая ветвь Капетингов заняла 14 эпох и относительно *Капетингского стыка (989)*, на котором корона Каролингов перешла к Капетингам (987), делится на докоролевскую эстафету Робертинов и королевскую эстафету Капетингов, по структурному уравнению:

Младоевропейский блок (857-989) + Декаэпоха старших Капетингов (989-1319) = 4 эпохи + 10 эпох = 14 эпох: 857-1319.

Декаэпохой называется 330-летний квант альфа-времени из десяти эпох.

NB-110: за вычетом Проклятых королей, чье поколение (15-е) продолжило эстафету в лице их двоюродного брата Филиппа VI Счастливого Валуа, **14 поколений** Капетингов (861-1314), включая отца-основателя Роберта Сильного, составили династическую эстафету длиной в **14 эпох**: *857-1319*. Так выполняется закон равенства числа эпох и поколений в династических эстафетах.

Силуэт 7. 1-Е ПАРАЗВЕНО ВАЛУА: ПАРАЗВЕНО СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ: 1319-1451

NB-111: время царствования Валуа: 1328-1589: *Кольцо Возрождения: 1319-1583*.

Четыре короля Франции в четырех эпохах *α-Паразвена Столетней войны: 1319-1451:* Филипп VI Счастливый — Карл V Мудрый — Карл VI Безумный — Карл VII Победоносный:

1328-50 # 56-80-1422-61:
1319-52-85-1418-51.

Только двое в ряду из четверых отвечают определению эпохального правления:

NB-112: Филипп VI Счастливый (1328-50) — эпохальный король Франции в *Эпохе Филиппа Счастливого: 1319-52*.

NB-113: Карл VI Безумный (1380-1422) — эпохальный король Франции в *Эпохе Великого раскола (1385-1418)*, точнее, Великого западного раскола, или Папского раскола: 1378-1417.

Распределение указанных четырех Валуа по эпохам — это образчик неправильного и деформированного ряда, а деформация ряда сильно заметна в связи с тем, что Карл V Мудрый, управлявший Францией де-факто в 1356-60 и 1364-80, совмещен в своей эпохе с Иоанном II Добрым (1350-56 и 1360-64), попавшим в плен в битве с Черным Принцем при Пуатье (1356) и находившимся в плену четыре года. В 1360 Иоанн Добрый вернулся на трон из плена, оставив заложником сына Людовика I Анжуйского, заложник убежал, Иоанн Добрый добровольно вернулся в плен под аплодисменты рыцарского мира и умер: 1364.

Людовик I Анжуйский — родоначальник Анжуйской ветви Валуа (1350-1481), уложившейся в ***квазизвено*** *(1352-1484)*, то есть в квант альфа-времени, состоящий из четырех эпох и сдвинутый на стреле времени на одну эпоху в ту или другую сторону относительно циклового звена.

NB-114: идеальный ряд герцогов Анжу, Валуа-Анжуйских:
(Людовик I — Людовик II) — (Людовик III — Рене I):

(1350-84-1417) + (1417-34-80):
(Эпоха + эпоха) + (пол-эпохи + полувек): фигура №2 + №5-b:
*(1352-85-1418) + (1418-**35**-84)*.

Время Валуа (1328-1589) делится надвое с распределением по альфа-паразвеньям *Кольца Возрождения (1319-1451-1583)*, исторически разграниченным в Европе символичной датой завершения Столетней войны, совпадающей с датой смерти Византии: 1453: это впритык к точечной границе средневековья и Нового времени в таблице 1, имея в виду альфа-границу *2-го средневекового цикла* и *Европейского цикла: Стык падения Византии*, он же *Гутенбергский стык: 1451*.

NB-115: Столетняя война (1337-1453), лебединая песня средневековья, вписана в *α-Паразвено Столетней войны: 1319-1451*, с типовым полуэпохальным отступом на старте: *1319-**36***.

NB-116: Столетняя война описала ***структурную синусоиду в трех эпохах по формуле трех волн: повышательная волна + понижательная волна + повышательная волна:*** *Эпоха Карла Мудрого + Эпоха Великого раскола + Эпоха святой Жанны: 1352-85-1418-51*.

1-я повышательная волна Столетней войны поднялась в момент веховой битвы при Пуатье (1356) с привязкой к эпохальному *Стыку Черного принца (1352)*, а 2-я поднялась в момент веховой битвы при Азенкуре (1415) с привязкой к эпохальному *Азенкурскому стыку (1418)*.

Понижательная волна Столетней войны, заверстанная в *Эпоху Великого раскола (1385-1418)*, датируется перемирием (1396-1415), а фактически наступила, когда умер Черный принц (1376), да следом Уот Тайлер свалился на голову Плантагенетам: 1381.

Эпоха Филиппа Счастливого (1319-52), 1-я в *α-Паразвене Столетней войны*, содержит завязку Столетней войны, получившей династический повод в начале эпохи и начавшейся строго по центру эпохи ***(1336)***, когда Эдуард III Плантагенет, племянник Проклятых королей, рожденный их сестрой, предъявил права на корону Франции путем вторжения в Пикардию: 1337.

NB-117: обратите внимание на штрих к картине и не пропускайте мимо внимания такие штрихи: Эдуард III Плантагенет (1327-77) — биэпохальный король Англии, идеально вписанный в *Авиньонский период: 1319-85*, с **симметричными микрокварталь-ными отступами-8,25**, направленными вовнуть альфа-периода: *1319-27* и *1377-85*.

Главные события, катастрофические для Франции и триумфальные для Англии, последовали с привязкой к эпохальному *Стыку Черного принца (1352)*, когда наследный принц Эдуард по прозвищу Черный принц, старший сын Эдуарда III, пересек Ла-Манш и истребил цвет французского рыцарства в битве при Пуатье (1356), а короля схватил живым и отослал в Лондон. На плечах военной катастрофы в Париж ворвалась смута в виде Жакерии: 1358. Карл Мудрый, оставшийся за короля, подписал унизительный мир: 1360. Но Карл V Мудрый не зря так прозван и умудрился к концу царствования (1380) сделать статус кво антэ бэллум, отвоевав все, что было у короны до войны, кроме пяти приморских городов. По смерти Карла Мудрого боевые действия не меняли карты и затухли на ноль в 1396, когда Ричард II Плантагенет зафиксировал мир путем женитьбы на Изабелле Валуа, дочери Карла VI Безумного.

При Карле VI Безумном (1380-1422), то есть в *Эпохе Великого раскола (1385-1418)*, Францию сотрясла война Орлеанской и Бургундской ветвей Валуа в тесной связи с безумием короля. Родоначальником Орлеанской ветви Валуа стал брат Карла VI Безумного Людовик I Орлеанский, а дядюшка их герцог Бургундии Филипп II Смелый стал родоначальником бургундских Валуа и заложил основы Бургундской империи свадебным путем, женившись на самой богатой невесте средневековья после Элеоноры Аквитанской: это Маргарита III Фландрская, наследница, угадайте, которого из этих двоих:

NB-118: Людовик I Неверский и Людовик II Мальский (1322-46-84) — пара эпохальных и последних графов Фландрии из династии Дампьеров в эпохах *Авиньонского периода: 1319-52-85.*

Приданое Маргариты Фландрской: графство Фландрия, графство Невер, графство Артуа, графство Бургундское, соседствовавшее с герцогством Бургундским и по-другому звавшееся Франш-Конте. Плюсом к тому бургундские Валуа захватили Нидерланды, уже приобретавшие черты северного цивилизационного флагмана Европы. Так возникла Бургундская империя, процветавшая три эпохи: *1385-1484*: золотой век Бургундских Валуа и самой Бургундии, расписанный историками в почти ренессансных красках.

Распря в ветвях Валуа началась с тривиальной семейной ссоры из-за влияния при дворе и переросла в острейший кризис государства в финале средневековья, когда ударила 2-я волна Столетней войны. Антибургундскую партию возглавил и сплотил от имени орлеанских Валуа Бернар VII Арманьяк, отчего война ветвей Валуа прозвалась войной арманьяков и бургиньонов. В эпохе 2-й повышательной волны Столетней войны, то есть в *Эпохе святой Жанны (1418-51)*, арманьяки сделались партией национального сопротивления, а бургиньоны — союзниками завоевателей.

NB-119: кстати: Бернар VII Арманьяк — эпохальный граф Арманьяка в вековом ряду трех графов Арманьяка в трех эпохах на финише эстафеты Арманьяков:
Бернар VII — Жан IV — Жан V:

1391-1418-50-73:
Эпоха + эпоха + эпоха:
1385-1418-51-84.

Ввиду погрешности размером в микроцикл *(1473-84)*, только двое из троих отвечают определению эпохального правления, но логически очевидна формула: **три правителя − три эпохи**.

NB-120: а вот, полюбопытствуйте, двухвековой ряд первых Арманьяков:
Бернар I Кривой — Жеро I — Бернар II — Жеро II — Бернар III — Жеро III — Бернар IV — Жеро IV:

960-995-1020-61-95-1110-60-93-1215:
Эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха:
956-989-1022-55-88-1121-54-87-1220.

Ряд подпорчен в точке 1110 погрешностью величиной в микроцикл *(1110-21)*, но логически очевидна формула: **шесть правителей − шесть эпох**.

Сверхнормативный пограничный отступ размером в 11-летний микроцикл в рядах эпохальных правлений называется ***пограничным сдвигом***.

Есть два древнейших политических способа делания истории — это война и свадьба, и применялись они издревле в тесном сочетании. Изабелла Баварская из династии Виттельсбахов, жена Карла VI Безумного, родила дюжину принцев и принцесс; десятой в списке значится Екатерина Валуа. Это французская праматерь Тюдоров, вступившая, овдовев, в запретную связь со слугой валийцем Оуэном Тюдором, из чего нежданно-негаданно в династическом раскладе Англии произошла королевская династия Тюдоров и в таблицу 1 вписалась пара:

NB-121: Генрих VII и Генрих VIII Тюдоры (1485-1509-47) — эпохальные короли Англии в параперииоде: *Колумбова эпоха + Лютеранская эпоха: 1484-1517-50*.

Обратите внимание на микроквартальный отступ-8,25 в зоне смены эпох: *1509-17*.

Историческое избрание Екатерины Валуа на роль праматери Тюдоров началось с того, что Генрих IV Ланкастер, захвативший трон в Лондоне, решил женить наследного принца Генриха на французской принцессе и заслал в Париж сватов, а те вернулись ни с чем. Когда отвергнутый жених стал королем Англии Генрихом V, он сам пошел за невестой и перебил, как Черный принц в битве при Пуатье, цвет французского рыцарства в битве при Азенкуре.

Пуатье-1356 и Азенкур-1415 — это структурное клише на *Стыке Черного принца (1352)* и *Азенкурском стыке (1418)*.

Генрих V Ланкастер завоевал Францию, женился на Екатерине Валуа и скоропостижно скончался в зените славы: 1422. Королева Англии Екатерина Валуа родила от Генриха V Ланкастера Генриха VI Ланкастера, но наследник не удался и пошел не в отца, а в деда по матери, бишь в Карла VI Безумного. Судьбу двух наций взяли в руки регенты: братья Генриха V Ланкастера: дядья Генриха VI Ланкастера: Джон Бедфорд и Хамфри Глостер. Глостер, прославленный Шекспиром, держал бразды правления в Лондоне, Бедфорд возглавлял английскую армию во Франции, где и умер по центру *Эпохи святой Жанны: **1435***. В тот же год могущественный герцог Бургундии Филипп III Добрый Валуа (1419-67), очень точно вписавшийся в полувек *(1418-**68**)*, тесть Бедфорда, страшный в гневе, а прозванный Добрым, принял сторону Франции: 1435. Это веховая дата в двух взаимосвязанных отношениях как дата коренного поворота Столетней войны в направлении развязки, последовавшей через пол-эпохи *(**1435**-51)*, и как финальная дата войны бургиньонов и арманьяков. Но распря старших Валуа и бургундских Валуа исчерпалась только через полувек *(**1435**-84)* в момент гибели Карла Смелого: 1477.

Последний герцог Бургундии Карл Смелый Валуа, рожденный 3-й женой Филиппа III Доброго Изабеллой Португальской, рожденной Филиппой Ланкастерской, имел наполеоновские амбиции, но не имел сына, и Бургундская империя умерла вместе с ним. У Карла Смелого была единственная дочь Мария по прозвищу Богатая, богаче Элеоноры Аквитанской и Маргариты Фландрской. В распре ветвей Валуа, владевших двумя равновеликими государствами, победила королевская ветвь, но плоды победы увели из-под носа Габсбурги, потому что Мария Богатая вышла за имперского принца Максимилиана Габсбурга. Естественно, Габсбурги стали заклятыми врагами Капетингов, то есть Валуа и Бурбонов, дравшихся с Габсбургами злей, чем с Плантагенетами.

Силуэт 8. 2-Е ПАРАЗВЕНО ВАЛУА: 1451-1583

Ряд королей Франции в *α-Паразвене Столетней войны* замыкает Карл VII Победоносный, прозванный по чину, но не по делу, и составляет с преемником Людовиком XI Благоразумным (1422-61-83) деформированную биэпохальную пару правлений, вписанных криво в *Эпоху святой Жанны* и *Эпоху Войны Роз*: *1418-51-84*.

Синхронная год в год пара в Англии:
Генрих VI Ланкастер и Эдуард IV Йорк: 1422-61-83.

Датировочный расклад 1422-61-83 — это **промежуточный вариант разверстки элементов рядов между фигурой №2 и фигурой №5-а**:
Фигура №2: эпоха + эпоха: *1418-51-84*.
Фигура №5-а: полторы эпохи + пол-эпохи: *1418-**68**-84*.

Обе пары деформированы в точке 1461 пограничным сдвигом в виде 10-летней погрешности, превышающей нормативный микроквартальный отступ-8,25, округляемый до 9 лет.

Можно и нужно считать подобные пары правлений историческим целым в рамках периода или параперииода, но под определение эпохальных правлений они не подпадают и не причисляются к элементам правильных рядов, **ради точности**, отличающей точную теорию.

NB-122: Карл VIII Любезный и Людовик XII Отец народа (1483-98-1515) — эпохальная пара королей Франции в фазах *Колумбовой эпохи: 1484-**1501**-17*: это фигура №1: пол-эпохи + пол-эпохи = эпоха, с нормативным порубежным отступом **до трех лет от эпохального рубежа** *(**1501**)*.

На Карле VIII Любезном пресеклась старшая королевская ветвь Валуа (1328-1498), занявшая **полтора звена**: *1319-1517*, за вычетом эпохальной фазы *(**1501**-17)*, занятой Людовиком XII Отцом народа (1498-1515), который был из Орлеанских Валуа и не имел сына, из-за чего корона ушла к Ангулемским Валуа, по династическому раскладу.

NB-123: синхронная полуторазвеньевая династическая система — старшие Бурбоны в герцогстве Бурбон: 1327-1527: **полтора звена**: *1319-1517*.

Старшие Валуа и старшие Бурбоны злоупотребляли инбридингом, то есть близкородственными браками, чем еще больше злоупотребляли, например, испанские Габсбурги и португальские Капетинги Ависской ветви. Все эти четыре династические системы вписаны в **полтора звена**.

Полтора звена = два века или квазивека: 198 лет.

Поэтому полуторазвеньевые системы называются ***двухвековыми системами***.

Смена ветвей Валуа на троне Франции произошла при участии Анны Бретонской.

NB-124: Франциск II и Анна Бретонская (1458-88-1514) — пара эпохальных герцогов Бретани в *Эпохе Войны Роз* и *Колумбовой эпохе: 1451-84-1517*.

В лице Франциска II Бретонского пресеклись бретонские Капетинги-Дрё, Бретань унаследовала дочь Франциска II Анна, которую, ввиду приданого размером в Бретань, выдали за Карла VIII Любезного. Де-юре Анна Бретонская оставалась правящей герцогиней Бретани пожизненно, и по смерти Карла VIII Любезного Анну Бретонскую выдали за Людовика XII Отца народа. А отцом Отца народа, между прочим, был герцог Карл Орлеанский, попавший в плен при Азенкуре и томившийся в Тауэре, когда вотчина его Орлеан был цитаделью сопротивления, классик французской поэзии, на чей суд как-то раз бродяга Франсуа Вийон представил всемирно известную балладу на заданную тему: «От жажды умираю под ручьем». Анна Бретонская смогла пролонгировать Орлеанских Валуа только в лице дочери Клод, а та пролонгировала Ангулемских Валуа на троне, став 1-й женой Франциска I и родив Генриха II.

NB-125: царствование Ангулемских Валуа (1515-89) — *Конкистадорский период: 1517-83*.

NB-126: Франциск I (1515-47) по прозвищу Король-рыцарь, придуманному, говорят, им самим, — эпохальный король Франции из Ангулемских Валуа в *Лютеранской эпохе: 1517-50*.

Франциск I — это **21-е поколение в 21-й эпохе** эстафеты Капетингов от Роберта Сильного.

От Филлиппа VI Счастливого до Франциска I Короля-рыцаря (1328-1547) **семь поколений** Валуа, с 15-го по 21-е от Роберта Сильного, составили эстафету длиной в **семь эпох**: *1319-1550*.

Сын Франциска I Генрих II умер, будто бы по предсказанию, от раны, полученной на рыцарском турнире (1559), после чего произошло вырождение Валуа с типичной чехардой краткосрочных правителей. Старшая ветвь Капетингов пресеклась на Проклятых королях, а Валуаская ветвь пресеклась на детях Генриха II, рожденных Екатериной Медичи, правнучкой Лоренцо Великолепного, и не оставивших наследников: Франциск II + Карл IX + Генрих III: 1559-89, втроем: это *Эпоха Контрреформации: 1550-83*: последняя из восьми эпох, отмеренных Валуа.

Эпоха Контрреформации — это 22-я эпоха эстафеты Капетингов, содержащая два правящих поколения Капетингов: 22-е и 23-е от Роберта Сильного. В результате закон равенства числа эпох и поколений выполняется в эстафете Валуа с погрешностью размером в **одну эпоху со знаком минус**, обозначающим преобладание числа поколений над числом эпох в эстафете.

NB-127: Генрих II Наваррский — Иоанна III Наваррская — Генрих III Наваррский (1517-55-72-1610) — три короля Наварры в триаде эпох: *1517-50-83-1616*.

Ряд не идеален, ибо деформирован в точке 1572 пограничным сдвигом размером в микроцикл *(1572-83)*, но логически очевидна формула: **три правителя – три эпохи**.

Женой Генриха II Наваррского из династии Альбре была сестра Франциска I Короля-рыцаря писательница Маргарита Наваррская, стоявшая в истоках французского женского романа и родившая правящую королеву Наварры Иоанну III, родившую от мужа Бурбона короля Наварры Генриха III Бурбона, который с 1589 есть король Франции Генрих IV Великий, основатель королевской династии Бурбонов, наследовавших Валуа по династическому раскладу.

Силуэт 9. БУРБОНСКОЕ КОЛЬЦО: 1583-1847

NB-128: время царствования Бурбонов во Франции: 1589-1848: *Бурбонское кольцо: 1583-1847*.

NB-129: идеальный ряд шести королей Франции длиной в полтора звена: бивек XVII-XVIII в таблице 1: *Барочный полуквартал: 1583-1781:*

(Генрих IV – Людовик XIII) – (Людовик XIV – Людовик XV):
(1589-1610-43) + (1643-1715-74):
(Эпоха + эпоха) + (период + период): фигура №2+№4:
(1583-1616-49) + (1649-1715-81).

Генрих IV Великий и Людовик XIII Справедливый (1589-1610-43) — классическая, с точки зрения точной теории времени, пара эпохальных королей Франции в *Эпохе Генриха Великого* и *Эпохе Тридцатилетней войны*, составляющих в таблице 1 *Период первых революций: 1583-1616-49*.

Людовик XIV Король-солнце и Людовик XV Возлюбленный (1643-1715-74) — в высшей степени красноречивая, с точки зрения точной теории времени, **звеньевая пара биэпохальных королей** Франции: образцово-показательная фигура №4, вписанная в ***Вестфальское звено: Период Короля-солнце + Период Просвещения: 1649-1715-81***. Это строгие периодические правления, по классификатору, с пограничными отступами от альфа-границ периода не больше микроквартала-8,25.

Французская революция (1789) произвела эпохальный перерыв в тронном ряду Бурбонов. Людовик XVI (1774-92), созвавший Генеральные Штаты и казненный ими, точнее, Конвентом, царствовал, пока не грянула буря, в эпохальном кольце-16,5, связывающем эпохи: *1773-89*.

NB-130: рожденный революцией **Наполеон правил Францией от Брюмера, то есть от падения Директории, до падения Первой империи: 1799-1814**: это 2-я α-фаза *Эпохи французской революции:* ***Наполеоновская фаза: 1798-1814***; заметьте строгое соответствие исторических и абсолютных дат.

Оцените такое же изумительно строгое и точное соответствие исторических и абсолютных дат в финальной эпохе королевской эстафеты Капетингов во Франции:

NB-131: Реставрация Бурбонов + Июльская монархия Луи-Филиппа: 1814-30-48: **фазы *Эпохи Меттерниха: Фаза Реставрации + Фаза Луи-Филиппа: 1814-31-47*, с резким разграничением историческими вехами: падение Первой империи (1814) → Июльская революция (1830) → Февральская революция (1848)**.

Расклад *Бурбонского кольца* пополам по таблице 1: ***Паразвено зенита Бурбонов + Паразвено заката Бурбонов = Бурбонское кольцо: 1583-1715-1847***.

NB-132: *α-Паразвено зенита Бурбонов (1583-1715)* — это время высшего расцвета монархической Франции при трех Капетингах: Генрих IV Великий + Людовик XIII Справедливый + Людовик XIV Король-солнце: французские историки называют это время — **Великий век: 1589-1715**.

NB-133: *α-Паразвено заката Бурбонов (1715-1847)* — это время заката тысячелетней французской монархии Капетингов, разбитое на два периода французской революцией (1789).

NB-134: трехэлементная симметрия *Бурбонского кольца* во Франции: ***Период первых революций + Вестфальское звено + Период Промпереворота = Бурбонское кольцо: 1583-1649-1781-1847***: вводный период французского абсолютизма + звено классического французского абсолютизма при Людовиках XIV-XV + период падения Бурбонов: 1589-1643-1789-1848.

NB-135: от Генриха IV Великого до Луи-Филиппа **8 поколений** Бурбонов составили династическую эстафету на троне Франции длиной **8 эпох** в *Бурбонском кольце*.

NB-136: от сеньора де Бурбон Роберта Клермонского, пращура Бурбонов, до короля Франции Луи-Филиппа, последнего Бурбона на троне Франции (1287-1848), **17 поколений** Бурбонов сформировали эстафету длиной в **17 эпох**: *1286-1847*.

В точке воцарения Генриха IV (1589) общая эстафета Бурбонов во Франции разбита на докоролевскую и королевскую эстафету французских Бурбонов: 1287-1589-1848: триада веков XIV-XVI + *Бурбонское кольцо*: *1286-1583-1847*: **9 поколений в 9-ти эпохах + 8 поколений в 8-ми эпохах**.

NB-137: от сеньора де Бурбон Роберта Клермонского до короля Испании Хуана-Карлоса (1287-2014) **22 поколения** Бурбонов сформировали эстафету длиной в **22 эпохи**: *1286-2012*.

NB-138: Хуан-Карлос (1975-2014) — эпохальный король Испании из династии испанских Бурбонов в *Эпохе НТР-2: 1979-2012*.

Хуан-Карлос Испанский — это **34-е поколение** Капетингов от Роберта Сильного в **35-й эпохе** общей эстафеты Капетингов по всем ветвям длиной в 35 эпох: *857-2012*.

Погрешность выполнения закона равенства числа эпох и поколений в общей эстафете Капетингов составляет **одну эпоху со знаком плюс**, обозначающим преобладание числа эпох над числом поколений в эстафете. Погрешность обусловлена эстафетным сдвигом поколений при ответвлении Бурбонов от старших Капетингов в лице Роберта Клермонского, эпохального сеньора де Бурбон (1287-1310) в *Эпохе Филиппа Красивого: 1286-1319*. Филипп IV Красивый — это 14-е поколение в 14-й эпохе эстафеты Капетингов, а Роберт Клермонский — из 13-го поколения, в силу чего все древо Бурбонов из 22-х поколений в 22-х эпохах *(1286-2012)* сдвинуто на одну эпоху относительно старших Капетингов.

Эстафетная статистика и выводы

I. Расклад эпохальных правлений по трем ветвям

От Роберта Сильного до Луи-Филиппа эстафета Капетингов в Париже делится по трем ветвям:

Старшая ветвь Капетингов + Валуа + Бурбоны: 14 эпох + 8 эпох + 8 эпох = 30 эпох.

Из 14 эпох старших Капетингов 7 заняты эпохальными Капетингами, в точном соответствии с определением эпохальных правлений, логически извлеченным из формулы времени: это пять эпох первых Капетингов со 2-й по 6-ю в эстафетном ряду + *Эпоха Филиппа Августа*, 11-я в ряду, + *Эпоха Филиппа Красивого*, 14-я в ряду.

Из 8 эпох Валуа в три вписаны эпохальные короли: Филипп VI Счастливый, Карл VI Безумный и Франциск I Король-рыцарь.

Из 8 эпох Бурбонов 2 заняты парой эпохальных королей (Генрих IV + Людовик XIII) и 4 заняты парой биэпохальных Людовиков XIV-XV.

Деформированные элементы выносятся за скобки и в расчет не принимаются, имея в виду правление Карла V Мудрого в *Эпохе Карла Мудрого*, правление Карла VII Победоносного в *Эпохе святой Жанны* и правление Людовика XI Благоразумного в *Эпохе Войны Роз*.

Итого: **12** эпохальных правлений и **2** биэпохальных правления на **30** эпох эстафеты.

II. Элементы правильного ряда

Во-первых, фигура пяти первых эпохальных Капетингов: Роберт I + Гуго Великий + Гуго Капет + Роберт II Набожный + Генрих I: 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я эпохи эстафеты в пентаэпохе: *890-1055*.

Во-вторых, фигура трехэлементной симметрии короны: Филипп I + Людовик VI Толстый + Людовик VII Молодой: полувек + параэпоха + полувек: 7-я, 8-я, 9-я, 10-я эпохи эстафетного ряда в *α-Паразвене папоцезаризма: 1055-1187*.

В-третьих, *Эпоха Филиппа Августа*, 11-я в эстафете: *1187-1220*.

В-четвертых, фигура №5-а: Людовик IX Святой + Филипп III Смелый: полувек + пол-эпохи: 12-я и 13-я эпохи эстафеты в параэпериоде: *1220-86*.

В-пятых, *Эпоха Филиппа Красивого* и *Эпоха Филиппа Счастливого*, связанные эпохальным кольцом Проклятых королей, 14-я и 15-я в эстафете: *1286-1319-52*.

В-шестых, эпоха Карла VI Безумного, 17-я в эстафете: *1385-1418*.

В-седьмых, фигура №1: Карл VIII Любезный + Людовик XII Отец народа в *Колумбовой эпохе*: пол-эпохи + пол-эпохи: 20-я эпоха эстафеты: *1484-1517*.

В-восьмых, эпоха Франциска I Короля-рыцаря, 21-я в эстафете: *1517-50*.

В-девятых, фигура №2: Генрих IV Великий + Людовик XIII Справедливый: эпоха + эпоха, 23-я и 24-я в эстафетному ряду в *Периоде первых революций: 1583-1649*.

В-десятых, фигура №4: пара биэпохальных Людовиков XIV-XV: 25-я, 26-я, 27-я, 28-я эпохи эстафеты в *Вестфальском звене: 1649-1781*.

В-одиннадцатых, *Фаза Луи-Филиппа (1831-47)*, 2-я фаза 30-й эпохи эстафеты.

Длина правильного ряда: **23,5 эпохи из 30-ти эпох эстафеты: 78%**.

III. Элементы неправильного ряда

Длина неправильного ряда: **6,5 эпохи из 30-ти эпох эстафеты**: 1-я, 16-я, 18-я, 19-я, 22-я, 29-я эпохи и половина 30-й:

1-я: эпоха регентства Гуго Аббата: *857-890*.
16-я: деформированная эпоха Карла V Мудрого: *1352-85*.
18-я: деформированная эпоха Карла VII Победоносного: *1418-51*.
19-я: деформированная эпоха Людовика XI Благоразумного: *1451-84*.
22-я: эпоха вырождения Валуа: *1550-83*.
29-я: *Эпоха французской революции: 1781-1814*.
Половина 30-й: *Фаза Реставрации: 1814-31*.

Теперь произведем тройную проверочную операцию из разряда действий по уточнению установленной величины альфа-эпохи, равной 33 годам с пренебрежимо малой погрешностью, а заодно проверяется правильность идентификации альфа-ряда эпох на стреле времени с точкой отсчета в прошлое от *Сараевского стыка: 1913*.

IV. 1-я проверочная операция

Сдвинем точку отсчета альфа-ряда 33-летних альфа-эпох на пол-эпохи в прошлое из стреловой точки *1913* в точку *1897* и посмотрим, какой вид принимает при этом эстафета Капетингов. Исторически гармоничная картина альфа-разверстки, обрисованная выше и превосходно отражающая таблицу 1, начисто стирается, а вместо нее на стреле времени вырисовывается хаотическое ***подобие альфа-разверстки*** в виде бессистемно разбросанных элементов: параэпоха Роберта I + параэпоха Гуго Великого + эпоха Людовика VI Толстого + пол-эпохи Филиппа III Смелого + пол-эпохи Филиппа VI Счастливого + пол-эпохи Людовика XI Благоразумного + пол-эпохи Карла VIII Любезного + пол-эпохи Людовика XII Отца народа + параэпоха Франциска I Короля-рыцаря + параперiод Людовика XIV + параперiод Людовика XV + пол-эпохи Луи-Филиппа; итого: 1 эпоха + 3 параэпохи + 2 параперiода + 6 эпо-фаз = **11 эпох из 30-ти эпох эстафеты**: **37%**: показатель длины правильного ряда.

V. 2-я проверочная операция

Примем во внимание в эстафете королевской династии Капетингов только эпохальные правления, в соответствии с их определением, не допускающим интерпретаторских манипуляций с материалом, а это 12 из 30-ти эпох: 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 11-я, 14-я, 15-я, 17-я, 21-я, 23-я, 24-я.

Расширим диапазон вероятной погрешности измерения величины альфа-эпохи в обе стороны 33-летнего размера по четырем вариантам:

Вариант α-32: предположим, что размер альфа-эпохи не 33, а 32 года, и разобьем стрелу времени на 32-летние отрезки с точкой отсчета от *Сараевского стыка (1913)*: в этом случае, в соответствии с определением эпохальных правлений, в эстафетном ряду Капетингов из всех тех эпох с эпохальными правителями в них, что исчислены по варианту α-33, останется только две эпохи, 2-я и 3-я (Роберт I и Гуго Великий), и добавится две: 8-я и 9-я, ибо по варианту α-32 Людовики VI и VII впишутся в эпохи; итого: 4 эпохи с эпохальными правителями на весь ряд по варианту α-32.

Вариант α-32,5: при размере альфа-эпохи 32,5 года в ряду останется три эпохи с эпохальными правителями, 5-я, 6-я, 21-я (Роберт II, Генрих I, Франциск I, кои вписываются в эпохи по варианту α-33), и добавится пять: 7-я, 8-я, 12-я, 18-я, 19-я (Филипп I, Людовик VI, Людовик IX, Карл VII, Людовик XI, кои не вписываются в эпохи по варианту α-33); итого: 8 эпох на весь ряд.

Вариант α-33,5: при размере альфа-эпохи 33,5 года останется три эпохи варианта α-33, 14-я, 21-я, 24-я (Филипп IV, Франциск I, Людовик XIII), и добавится две: 9-я и 10-я (Людовики VI и VII); итого: 5 эпох на весь ряд.

Вариант α-34: при размере альфа-эпохи 34 года останется шесть эпох варианта α-33, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 24-я (Роберт I, Гуго Великий, Гуго Капет, Роберт II, Генрих I, Людовик XIII), и добавится одна, 12-я (Людовик IX); итого: 7 эпох на весь ряд.

Расширять диапазон погрешности сверх года не имеет смысла в обе стороны.

VI. 3-я проверочная операция

Посмотрим, что происходит при расширении диапазона погрешности с эстафетными фигурами, расположенными между эпохальными Капетингами:

Это, по варианту α-33, во-первых, фигура трехэлементной симметрии короны в 132-летнем α-паразвене: эпохи 7-10: полувек + параэпоха + полувек: Филипп I + Людовик VI + Людовик VII.

Во-вторых − фигура №5-а в 66-летнем параперiоде: эпохи 12-13: полувек + пол-эпохи: Людовик IX + Филипп III.

В-третьих − фигура №1 в 33-летней эпохе: 20-я эпоха: пол-эпохи + пол-эпохи: Карл VIII + Людовик XII.

В-четвертых − фигура Людовиков XIV-XV в 132-летнем звене: эпохи 25-28: период + период.

И не забудем про эпохальную фазу Луи-Филиппа, которая по всем вариантам не выпадает из правильного ряда за счет близости к точке отсчета: *1913*.

По всем четырем проверочным вариантам все фигуры, прорисованные по варианту α-33, рассыпаются, кроме фигуры Людовиков XIV-XV, не исчезающей за счет близости к точке отсчета и за счет расширения пограничных отступов до 11 лет определением периодических правлений, а вместо рассыпанных фигур вырисовываются альтернативные.

Фигурный расклад без эпохальных правлений:

Вариант α-32: вырисовывается, во-первых, фигура №5-а в квазипериоде, сдвинутом на пол-эпохи на стреле времени относительно альфа-периода: полувек + пол-эпохи (Людовик IX + Филипп III), во-вторых, фигура в кванте времени размером 2,5 эпохи: пол-эпохи + пол-эпохи + пол-эпохи + параэпоха (Людовик XI + Карл VIII + Людовик XII + Франциск I), в-третьих, фигура в полувеке: пол-эпохи + параэпоха (Генрих IV + Людовик XIII), в-четвертых, Людовик XV (без пары), в-пятых, пол-эпохи Луи-Филиппа; суммарная длина элементов на стреле времени − 8,5 эпохи.

Вариант α-32,5: пара параэпох (Роберт I и Гуго Великий) + фигура Людовиков XIV-XV + пол-эпохи Луи-Филиппа = 6,5 эпохи: суммарная длина.

Вариант α-33,5: параэпоха (Гуго Великий) + полувек (Филипп I) + пол-эпохи (Людовик XI) + фигура Людовиков XIV-XV + пол-эпохи Луи-Филиппа = 7,5 эпохи: суммарная длина.

Вариант α-34: полувек (Людовик VII) + полувек (Людовик IX) + пол-эпохи (Генрих IV) + фигура Людовиков XIV-XV + пол-эпохи Луи-Филиппа = 8 эпох: суммарная длина.

VII. Длина правильного ряда

Вариант α-33: 12 эпох без фигур + 11,5 эпохи с фигурами = 23,5 эпохи из 30-ти: 78%.
Вариант α-32: 4 + 8,5 = 12,5 эпохи из 30-ти: **42%**.
Вариант α-32,5: 8 + 6,5 = 14,5 эпохи из 30-ти: **48%**.
Вариант α-33,5: 5 + 7,5 = 12,5 эпохи из 30-ти: **42%**.
Вариант α-34: 7 + 8 = 15 эпох из 30-ти: **50%**.

VIII. Выводы

1. ***Эстафетный ряд правящей династии вписывается в структуру времени наилучшим образом с точкой отсчета альфа-ряда эпох от Сараевского стыка (1913) и при величине альфа-эпохи, принимаемой равной ровно 33 годам, пренебрегая вероятной погрешностью как ничтожной.***

2. Среди элементов правильного эстафетного ряда преобладают эпохальные правления.

3. По базовому варианту α-33 сравнительно с проверочными вариантами α-32-34 существенно больше число эпохальных правлений в эстафете и намного сильнее выражена тенденция к образованию непрерывных рядов эпохальных правлений.

4. По базовому варианту α-33 наблюдается закономерность, в силу которой структурные фигуры, синтезированные из разных элементов альфа-разверстки (эпоха, пол-эпохи, полувек, параэпоха), вписываются в 66-летний α-период или параперiод и в 132-летнее звено или α-паразвено, вместе с чем **высвечивается структура исторического цикла**, содержащая в себе ряды этих элементов.

5. Для проверочных вариантов α-32-34 характерно, что фигуры, составленные из разных элементов альфа-разверстки, не вписываются в α-период, параперiод, звено, α-паразвено и имеют дисгармоничный вид в структуре исторического цикла.

6. Среди всех вариантов альфа-разверстки эстафеты, мыслимых в связи с уточнением размера альфа-эпохи, **может быть закономерным только один вариант**, **заданный формулой времени, а это с очевидностью есть вариант α-33**, явленный в поле наблюдения сам собою как естественная картина структурной разверстки истории эпохами в альфа-ряду эпох, показанном в таблице 1 «Исторический век», а по проверочным вариантам α-32-34 картина смазывается и принимает дисгармоничный вид.

7. Поскольку закономерен только формульный вариант α-33, постольку альтернативные варианты альфа-разверстки в любом диапазоне погрешности, превышающем пренебрежимо малую погрешность, относятся к разряду **случайных совпадений, вырисовывающихся на стреле времени на базе формульного варианта α-33** при проделывании проверочных операций.

Прим. 1: ***теоретические выводы, сделанные на основании альфа-разверстки королевской эстафеты Капетингов, подтверждаются анализом эстафет всех основных правящих династий Европы и имеют доказательную силу, подкрепляя точную теорию времени, оперирующую точными данными, такими как исторические даты правлений.***

Прим. 2: даты правлений, если только они точно установлены, − это математически точный фактический материал, не зависящий от интерпретаций. К примеру,

медиевисты по-разному делят средневековье из-за разнобоя в трактовках, вызывающего разнобой в датировках, зато никому не придет в голову датировать по-разному время ношения короны Людовиком XIV Королем-солнцем: можно хоть как интерпретировать царствование Короля-солнце вплоть до чистой басни, но нельзя изменить дату наследования престола Королем-солнце, равно как и дату ухода Короля-солнце из истории, совпадающую с датой ухода из жизни.

Прим. 3: эпохальные правления сильно варьируются по величине, в соответствии с их определением, учитывающим размер зоны смены эпох (16,5 года), в рамках которой наблюдается разброс датировок правлений, но если принять определение эпохального правления с уменьшенной зоной разброса датировок, это будет нелогично и неточно, противореча формуле времени.

Прим. 4: размер эпохальных правлений варьируется в диапазоне: 16,5 года (ядро эпохи) — 49,5 года (ультраэпоха); в силу большого диапазона величины эпохальных правлений, при проделывании операций по проверочным вариантам α-32-34 эпохальные правления, наблюдаемые по формульному варианту α-33, могут превращаться в полуэпохальные и полувековые, и наоборот.

Прим. 5: есть проблема с идентификацией урезанных полуэпохальных правлений, решаемая просто непринятием их в расчет в чересчур укороченном виде и принятием их в расчет, во-первых, как элементов правильных рядов, а во-вторых, при плотном заполнении половины эпохи с порубежным отступом от эпохального рубежа размером до трех лет, нормативным также для правлений, вписанных в параэпохи и полувека, а в другую сторону полуэпохальное правление может простираться до ультраграницы эпохи, например: Траян и Адриан (98-117-138) — эпохальная пара императоров Рима с распределением в таблице 1 по половинам Эпохи Траяна и Адриана: 98-115-131; правление Траяна строго вписано в альфа-фазу эпохи, а правление Адриана выходит за альфа-границу эпохи и упирается в ультраграницу эпохи: 139.

Прим. 6: преобладание эпохальных правлений в эстафетном ряду находится в логической связи с законом равенства числа эпох и поколений, который работает так, как если бы идеальнейшим эстафетным рядом из всех возможных был такой ряд, в каком срок правления каждого правящего субъекта равен 33-м годам, а срок жизни — 66-ти годам, и каждый воцаряется в возрасте Христа на стыке эпох, так что ряд 33-летних правлений извлекается из ряда 66-летних жизненных циклов, застроенных внахлест двойной цепью α-периодов и параперiодов; и при любой величине жизненного цикла человека логически возможна гармоничная структурная схема, на базе которой действует закон равенства числа эпох и поколений.

Прим. 7: ***в 1-й редакции теории, представленной в трехтомнике «Время», произведен статистический анализ династических эстафет общим числом 1748 длиной от века до тысячелетия на предмет выполнения закона равенства числа эпох и поколений. В подавляющем большинстве случаев эстафетная погрешность не превышает одной единицы измерения, то есть одной эпохи в ту или другую сторону: плюс или минус. Эстафетная погрешность размером до одной эпохи определяется как нормативная, коль скоро она встречается с регулярностью нормы и с высокой частотой, характерной как норма. Среднестатистическая погрешность учтенных 1748-ми эстафет составляет 0,6 альфа-эпохи: 19-20 лет.***

Прим. 8: ***третий том книги «Время» под названием «Ряды» содержит список идеальных эстафетных рядов общим числом 2629, сравнительно малая, но достаточная часть которых привлечена в книге «Формула времени» в качестве иллюстративного материала.***

Прим. 9: собственно говоря, и без проверочных вариантов ***логически очевидно****, что элементы отслеженного эстафетного ряда Капетингов размером в эпоху, в полувек, пол-эпохи, две эпохи вписаны в альфа-время и отлично отражают таблицу 1 закономерным, а не случайным образом, но когда очевидное есть невероятное, непременно закрадываются сомнения по типу неверия своим глазам и требуют рассеять их посредством каких-нибудь дополнительных доказательств, чтоб уж совсем увериться в очевидном, которое вообще-то, за своей очевидностью, не требует доказательств, доказывая само себя. Очевидное доказывать не легче, чем неочевидное, поди докажи то, что ну очевидно же, но в нашем случае доказательство заключается в том, чтобы сделать неочевидное очевидным, а иными словами, сделать невидимое видимым, доказывающим само себя в поле наблюдения, если только вы его видите, а чтобы получше рассмотреть структуру времени в истории, требуется проделать с материалом строгие и точные логические операции, высвечивающие структуру времени с такой же четкостью, с какой рентгеновский аппарат высвечивает скелет, что мы сейчас и делаем.*

Прим. 10: ***исторические фрагменты предназначены для высвечивания структуры исторического цикла в рельефных силуэтах, естественным образом попадающих в поле наблюдения по ходу изложения, призванного быть лаконичным и избирательным в деталях и штрихах ровно настолько, насколько нужно для выполнения фрагментами их теоретической задачи.*** *Извините и не обессудьте, если где-то добавлены излишние штрихи, а где-то их недостает. Без сомнения, профессиональные историки сделают эту работу лучше, когда, наконец, разглядят в историческом времени абсолютную структуру его, пора бы уже. Можно было бы ограничиться описанием формулы времени в разделе 2 «Формула» и формулы спирали в разделе 4 «Спираль», и эврика ничего не потеряла бы как формульная истина, но увы, если кто-либо где-либо когда-либо нашел формулу времени, но не нашел слов и способов доказать ее с требуемой ясностью, формула обречена быть непонятой, отвергнутой и потерянной. Книга «Формула времени» — книга чисел из слов, имеющая задачей ясно и убедительно передать числовую формулу словами и найти для того нужные слова, а это, оказывается, еще труднее, чем найти ее саму.*

Фрагмент 5. ПОРТУГАЛИЯ

NB-139: ***23 поколения португальских Капетингов, с 8-го по 30-е от Роберта Сильного, составили эстафету на престоле Португалии (1093-1853) длиной в 23 эпохи, с 8-й по 30-ю в общей эстафете Капетингов, в вилке Крестоносного стыка и Весеннего ультрарубежа: 1088-1847.***

NB-140: ряд династических систем Португалии: старшие португальские Капетинги (ветвь бургундских Капетингов) + Ависская династия (ветвь португальских Капетингов) + испанские Габсбурги (уния с Испанией) + Брагансская династия (ветвь Ависской династии) + Кобург-Брагансская династия (Веттины):

1093 − 1383 − 1580 − 1640 − 1853 − 1910:
Три века + полтора звена + период + полтора звена + период:
1088 – 1385 – 1583 – 1649 – 1847 – 1913:
9 эпох + 6 эпох + 2 эпохи + 6 эпох + 2 эпохи = 23 эпохи.

Все пять систем идеально вписаны в элементы структуры исторического цикла и в альфа-ряд эпох **с погрешностью на стыках не больше микроквартала-8,25**.

Силуэт 1. ТРИ ВЕКА СТАРШИХ ПОРТУГАЛЬСКИХ КАПЕТИНГОВ: 1088-1385

Эстафета португальских Капетингов началась так. У герцога Бургундии Роберта I Старого, пращура бургундских Капетингов, брата короля Франции Генриха I, был внук по имени Генрих и была дочь по имени Констанция. Судьба занесла их в Испанию, когда король Леона и Кастилии Альфонсо VI Храбрый взвинтил Реконкисту и к нему потянулись крестоносцы из Европы. Констанция Бургундская вышла замуж за Альфонсо VI Храброго, а Генрих Бургундский стал зятем короля, получив в жены как подарок за службу одну из двух незаконнорожденных дочерей короля: Терезу. Это праматерь португальских Капетингов. Приданым было графство Португалия.

NB-141: Генрих Бургундский (1093-1112), основатель Португальского дома Капетингов, — эпохальный граф Португалии в *Эпохе первых крестоносцев: 1088-1121*.

Тереза Кастильская родила от Генриха Бургундского Афонсу I Великого и, овдовев, правила Португалией на правах регентши.

NB-142: время регентства Терезы: 1112-28: это есть эпохальное кольцо *(1113-29)*, окольцевавшее *Стык Вормского конкордата (1121)* и связывающее в Португалии эпоху Генриха Бургундского с 1-й эпохой периода Афонсу Великого.

Тереза не хотела отдавать Португалию подросшему сыну, потомок Роберта Сильного и Гуго Капета забрал свое мечом и сдал мать в монастырь.

По центру *Эпохи императрицы Матильды (**1138**)* Афонсу I Великий отложился от короны Кастилии и провозгласил королевство Португалия: 1139.

NB-143: Афонсу I Великий — граф Португалии и 1-й король Португалии (1112-39-85) в *Иерусалимском периоде: 1121-87*: графская эпохальная фаза + королевский полувек: *1121-**38**-87*.

NB-144: ряд правителей Португалии в трех веках XII-XIV: *1088-1385*:

(Генрих Бургундский — Афонсу I Великий — Саншу I Заселитель) # (Саншу II Благочестивый — Афонсу III Булонский — Диниш Земледелец — Афонсу IV Храбрый) — (Педру I Справедливый — Фернанду I Прекрасный):

(1093-1112-85-1212) # (1223-47-79-1325-57) + (1357-67-83):
(Эпоха + период + эпоха) # (эпоха + эпоха + эпоха + эпоха) + (пол-эпохи + пол-эпохи):
(1088-1121-87-1220) # (1220-53-86-1319-52) + (1352-69-85).

Это образцово-показательный ряд альфа-разверстки династической эстафеты, сложенный из двух идеальных рядов по стороны разрыва в ряду (#).

Ряд подпортил Афонсу II Толстый: 1212-23: **стыковой разрыв в ряду** (#) при смене эпох вокруг эпохального *Стыка Великой хартии вольностей: 1220*.

Силуэт 2. ПОЛТОРА ЗВЕНА АВИССКОЙ ДИНАСТИИ: 1385-1583

Фернанду I Прекрасный, замкнувший трехвековой ряд старшей ветви португальских Капетингов, манкировал традицией жениться на кастильских принцессах и увел красавицу-жену у своего подданного, сделав ее королевой, но та не родила сына, а родила дочь Беатрис. Беатрис Португальская вышла за короля Кастилии Хуана I, который, естественно, решил присоединить Португалию по смерти тестя. Разразилась война между Кастилией и Португалией как выражение династического кризиса: 1383-85: это граница звеньев в таблице 1: *Тамерланский стык: 1385*.

Волею истории, или случая, или порока, думайте как хотите, Педру I Справедливый, отец Фернанду I Прекрасного, имел незаконнорожденного сына от любовницы Терезы Лоуренсо. Это прамать Ависской династии и мать основателя династии Жуана I Великого, который не преминул предъявить, хоть и незаконные, но вполне исторические, глядя из будущего, права на корону Португалии и не отдал ее Хуану I Кастильскому, в чем претенденту помогли, естественно, англичане, точнее, Плантагенеты, которые больше французы, а еще точнее, в распрю за Пиренеями дальновидно встрял родоначальник Ланкастеров Джон Гонт на стороне магистра Ависского ордена, то есть Жуана незаконнорожденного и, тем не менее, Великого. С тех пор Англия и Португалия связаны нерушимым политическим союзом, изначально скрепленным свадьбой Жуана I Великого и Филиппы Ланкастерской, дочери Джона Гонта и тещи герцога Бургундии Филиппа III Доброго.

NB-145: Жуан I Великий и Афонсу V Африканец (1385-1433#38-81) — вековая пара полувековых королей Португалии в полувеках: *1385-**1435**-84*: фигура №3: полувек + полувек = век XV в таблице 1 с условным названием: *Золотой век Бургундии: 1385-1484*.

Оба правления строго вписаны в полувека с нормативными погрешностями и учитываются статистическим показателем длины правильного ряда независимо от разрыва (#):

NB-146: вековую пару исторически связал и монолитный структурный ряд разорвал Дуарте I Красноречивый (1433-38), уместившийся в четырехлетнем бимикровеке *(1433-37)*, связывающем бета-фазы *Эпохи святой Жанны* вокруг эпохального рубежа: *1435*.

Похожий случай в составе очень редкой фигуры:

NB-147: четыре герцога Савойи в четырех полувеках *Барочного полуквартала: 1583-1781:* (Карл-Эммануил I Великий — Карл-Эммануил II) — (Виктор-Амадей II — Карл-Эммануил III):

(1580-1630#38-75) + (1675-1730-73):

(Полувек # полувек) + (полувек + полувек):

*(1583-**1633**-82) + (1682-**1732**-81)*.

В разрыве (#) — Виктор-Амадей I: 1630-38. В португальском случае разрыв составляет 5 лет и укладывается в бимикровек-4,125, связывающий бета-фазы эпохи и расширяемый до шести лет в исторических датировках, а в савойском случае разрыв составляет 8 лет и укладывается в парамикроквартал-8,25 *(1629-37)*, связывающий ультрафазы эпохи. Из четырех герцогов Савойи, распределенных по четырем полувекам, лишь трое отвечают определению полувекового правления, кроме Карла-Эммануила II, ввиду сверхнормативной погрешности в точке 1638.

Жуан II Совершенный и Мануэл I Счастливый (1481-95-1521) — ***деформированная эпохальная пара*** королей Португалии в *Колумбовой эпохе* с неравномерным распределением относительно фигуры №1: *1484-**1501**-17*. Такие пары выпадают из правильных рядов.

NB-148: Жуан III Благочестивый и Себастьян I Желанный (1521-54-78) — строго эпохальные короли Португалии в *Лютеранской эпохе* и *Эпохе Контрреформации: 1517-50-83*.

Элементы правильного ряда Ависской династии занимают пять эпох из шести эпох эстафеты: фигура №3 (полувек + полувек) и фигура №2 (эпоха + эпоха).

Ависские Капетинги злоупотребляли инбридингом и выродились за полтора звена (два века), как и старшие Валуа со старшими Бурбонами тоже за полтора звена. Себастьян I Желанный, замкнувший ависскую эстафету, искал подвигов и бесследно исчез в Африке холостым. Отца пропавшего Себастьяна, то есть Жуана II Совершенного, родила Екатерина Австрийская, дочь Хуаны Безумной, а самого Себастьяна родила

Хуана Австрийская, внучка Хуаны Безумной, дочери Католических королей Изабеллы I Кастильской и Фердинанда II Арагонского. Хуана Безумная была беспрецедентно богатой невестой Европы с приданым размером в Испанскую империю и, естественно, попала в дом Габсбургов, умевших жениться лучше всех, оправдывая старинный девиз Габсбургов, гласящий: «Пусть другие воюют, а Австрия женится». Хуана родила двух императоров и четырех королев, сошла с ума по смерти мужа Филиппа Красивого Габсбурга и провела две трети жизни в изоляции, а Испанской империей владел сын Хуаны самый могущественный император Первого Рейха Карл V Габсбург, говоривший, что над его империей никогда не заходит солнце, и носивший девять корон, частью из приданого матери, частью из приданого бабушки Марии Богатой.

Испанские Габсбурги, пошедшие от Карла V, выродились тоже за полтора звена, а началось все вот с чего. У Жуана Великого была любовница по имени Инес Перес. Это праматерь Брагансской династии Португалии, воцарившейся на *Вестфальском стыке (1649)*, а отделившейся от Ависской ветви на *Стыке падения Византии (1451)* в лице Альфонса I Брагансского, 1-го герцога Браганса (1443-61), незаконнорожденного сына Жуана I Великого, незаконнорожденного сына Педру I Справедливого. У Альфонса Брагансского была дочь Изабелла, которую он выдал за своего единокровного брата Жуана, рожденного королевой Португалии Филиппой Ланкастерской. Изабелла Брагансская родила от дяди-мужа Изабеллу Португальскую, страдавшую безумием, а это жена Хуана II Кастильского и мать королевы Кастилии Изабеллы I Католички, которая вышла за короля Арагона Фердинанда II Католика и родила Хуану Безумную.

Короли Португалии Жуан II Совершенный и Мануэл I Счастливый, царствовавшие в *Колумбовой эпохе*, были двоюродными братьями и были поочередно женаты на Изабелле Астурийской, а это сестра Хуаны Безумной, рожденная Изабеллой I Католичкой, рожденной Изабеллой Португальской, рожденной Изабеллой Брагансской от дяди-мужа. 2-й женой Мануэла I Счастливого была Мария Арагонская, а это тоже сестра Хуаны Безумной. Мария Арагонская родила от Мануэла I Счастливого Изабеллу Португальскую, и за кого бы, вы думали, выдали эту Изабеллу Португальскую? За ее двоюродного брата Карла V Габсбурга, рожденного Хуаной Безумной и носившего девять корон. Сын Карла V Габсбурга король Испании Филипп II Благоразумный, рожденный Изабеллой Португальской, продолжил династию испанских Габсбургов путем женитьбы, естественно, на племяннице, хотя это противоестественно. И так далее с финалом инбридинга в лице последнего Габсбурга на троне Испании Карла II Околдованного, на чей портрет больно смотреть.

Когда Себастьян Желанный пропал в Африке, во всей Ависской династии нашелся лишь один законный претендент на трон, да и тот священник в почтенных летах. Он счел, что Лиссабон стоит мессы, но через два года преставился. Король Испании Филипп II Благоразумный Габсбург, дядя пропавшего Себастьяна, аннексировал Португалию: 1580.

Иберийская уния Испании и Португалии (1580-1640), прозванная португальцами «династией Филиппов», то есть королей Испании, строго вписана в *Период первых революций: 1583-1649*.

Силуэт 3. ПОЛТОРА ЗВЕНА БРАГАНССКОЙ ДИНАСТИИ: 1649-1847

В год, когда в Англии собрался Долгий парламент, в Лиссабоне произошел антииспанский переворот: 1640. Герцог Браганса Жуан был провозглашен королем Португалии и царствовал под именем Жуана IV Восстановителя (1640-56) в эпохальном кольце *(1641-57)*, связывающем эпохи вокруг *Вестфальского стыка: 1649*.

NB-149: идеальный ряд герцогов Браганса и с 1640 королей Португалии в гептаэпохе, то есть в семи эпохах: *1583-1814*: (Теодор II – Жуан IV Восстановитель) – (Афонсу VI Победитель – Педру II – Жуан V Великодушный – Жозе Реформатор – Мария I Благочестивая):

(1583-1630-56) + (1656-83-1706-50-77-1816):
(Полувек + пол-эпохи) + (эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха):
(1583-1633-49) + (1649-82-1715-48-81-1814).

Жена Жозе Реформатора Марианна-Виктория Бурбон, дочь 1-го короля Испании из Бурбонов Филиппа V, пращура испанских Бурбонов, внука Короля-солнце, родила четырех девочек и ни одного мальчика. Во спасение династии Жозе Реформатор, естественно, выдал принцессу Марию, наследницу престола, за своего брата Педру. Королева Португалии Мария I Благочестивая, наследовавшая Жозе Реформатору, была безумна и родила Жуана VI от дяди-мужа.

Настала последняя эпоха португальских Капетингов: *Эпоха Меттерниха: 1814-47*. При Жуане VI (1816-26) Португалия сделалась конституционной монархией в резуль-

тате революции, после чего страну сотрясали Мигелистские войны между конституционалистами и абсолютистами-мигелистами: 1823-34. Первых возглавил Педру I Бразильский, вторых — Мигель, сыновья Жуана VI. Конституционалисты взяли верх и заставили Мигеля отречься от престола за себя и за свое потомство. Престол Португалии унаследовала дочь Педру I Бразильского Мария.

Мария II (1834-53) — правящая королева Португалии, последняя из Капетингов на троне Португалии во 2-й фазе ***(1831**-47) Эпохи Меттерниха*.

Мария II вышла за Фердинанда Саксен-Кобург-Готского и родила престолонаследника из династии Веттинов, царствовавших в Португалии под именем Кобург-Брагансской династии: 1853-1910: образец периодической системы в *Викторианском периоде: 1847-1913.*

В Париже (1848) и Лиссабоне (1853) Капетинги споткнулись о *Весенний ультрарубеж: 1847:* это граница 264-летних колец, рассекающая на периоды *Концертное звено: 1781-1847-1913*.

NB-150: к *Весеннему ультрарубежу (1847)* впритык привязано тронотрясение в Европе в виде цепной революции, прозванной «Весной народов»: 1848-49.

Эстафетная статистика португальских Капетингов

Королевская эстафета португальских Капетингов состоит из двух частей по стороны периода Иберийской унии: пять веков + полтора звена: 15 эпох + 6 эпох = 21 эпоха: *1088-1583* + *1649-1847*.

Число эпохальных правлений: 13 в эстафете длиной в 21 эпоху.

Элементы правильного ряда между эпохальными правлениями: период Афонсу I Великого + фигура №1 в *Эпохе Карла Мудрого* (пол-эпохи + пол-эпохи) + фигура №3 в *Золотом веке Бургундии* (полувек Жуана I Великого + полувек Афонсу V Африканца) + пол-эпохи Марии II = 6,5 эпохи.

Элементы неправильного ряда: *Колумбова эпоха* с деформированной эпохальной парой кузенов Жуана II и Мануэла I + критическая 1-я фаза финишной эпохи эстафеты = 1,5 эпохи.

Длина правильного ряда: 13 + 6,5 = 19,5 эпохи из 21 эпохи эстафеты: 93%.

В таких случаях говорят: комментарии излишни. Эстафетный ряд португальских Капетингов почти целиком (на 93%) вписывается в структуру времени ***при 33-летней величине альфа-эпохи с точкой отсчета альфа-ряда эпох в прошлое от Сараевского стыка: 1913***. Основатель династии Роберт Бургундский открывает эстафету стартовой эпохой. Сын его Афонсу Великий вписан строго в альфа-период. Далее — ряд пяти эпохальных королей с единственным разрывом в лице Афонсу II Толстого в рамках эпо-кольца вокруг эпохального стыка. Идеальный ряд старшей ветви финиширует эпохальной парой полуэпохальных королей и продолжается вековой парой полувековых королей Ависской ветви. В *Колумбовой эпохе*, 13-й в эстафете, ряд впервые обнаружил неправильность в лице пары кузенов, криво вписанных в фазы эпохи. Далее — пара эпохальных королей в эпохах *Конкистадорского периода*. Далее — Иберийская уния, заверстанная строго в *Период первых революций*, отделяя пятивековую часть эстафеты от двухвековой. Далее — идеальный ряд пяти эпохальных королей в пяти эпохах из шести эпох Брагансской династии, а Мария II, последняя из Капетингов на троне Португалии, вписалась во 2-ю фазу последней эпохи эстафеты. Не поленитесь, отследите ряд сами, сопоставляя исторические даты правлений с абсолютными датами в таблице 1, почувствуйте структуру времени и само время, которое есть то, что оно есть, в своей абсолютной структуре.

Проверочная операция

1. Распределение элементов ряда старшей ветви:

Вариант α-33:

(эпоха − период − эпоха) # (эпоха − эпоха − эпоха − эпоха) + (пол-эпохи − пол-эпохи).

Вариант α-32 (0 — *символ выпадающих элементов*):

(0 — параперiод — эпоха) # (пол-эпохи — эпоха — 0 — 0) + (0 — пол-эпохи).

Вариант α-32,5:

(0 — 0 — параэпоха) # (пол-эпохи — параэпоха — полувек — эпоха) + (0 — 0).

Вариант α-33,5:

(пол-эпохи — период — эпоха) # (пол-эпохи — эпоха — полувек — параэпоха) + (0 — 0).

Вариант α-34:

(пол-эпохи — 0 — 0) # (0 — 0 — 0 — 0) + (0 — пол-эпохи).

2. Распределение элементов эстафеты Ависской династии:

Вариант α-33: (полувек − полувек) + (0 − 0) + (эпоха − эпоха).
Вариант α-32: (полувек − полувек) + (пол-эпохи − 0) + (эпоха − 0).
Вариант α-32,5: (0 − 0) + (эпоха) + (эпоха − 0).
Вариант α-33,5: (0 − 0) + (пол-эпохи − 0) + (0 − 0).
Вариант α-34: (полувек − 0) + (0 − 0) + (параэпоха − пол-эпохи).

3. Распределение элементов эстафеты Брагансской династии:

Вариант α-33: (эпоха − эпоха − эпоха − эпоха − эпоха) + (0 − пол-эпохи).
Вариант α-32: (эпоха − пол-эпохи − полувек − эпоха − эпоха) + (0 − пол-эпохи).
Вариант α-32,5: (эпоха − 0 − 0 − 0 − эпоха) + (0 − пол-эпохи).
Вариант α-33,5: (0 − эпоха − эпоха − эпоха − эпоха) + (0 − 0).
Вариант α-34: (пол-эпохи − эпоха − эпоха − эпоха − эпоха) + (0 − 0).

4. Длина правильного ряда:

Вариант α-33: 19,5 эпохи из 21 эпохи эстафеты: 93%.
Вариант α-32: 14,5 эпохи из 21-й: 69%.
Вариант α-32,5: 9,5 эпохи из 21-й: 45%.
Вариант α-33,5: 12 эпох из 21-й: 57%.
Вариант α-34: 8,5 эпохи из 21-й: 40%.

5. Число эпох с эпохальными правителями:

Вариант α-33: 13 эпох.
Вариант α-32: 6 эпох.
Вариант α-32,5: 4 эпохи.
Вариант α-33,5: 6 эпох.
Вариант α-34: 4 эпохи.

Как и в случае королевской эстафеты во Франции, невооруженным глазом видно, что **на роль закономерного варианта претендует вне конкуренции вариант α-33**, а альтернативные варианты относятся к разряду случайных совпадений, возникающих на базе формульного варианта α-33.

В соответствии со статистикой пункта 5 заметьте, что **в проверочных вариантах уменьшается вдвое или втрое число эпох с эпохальными правителями**, либо исчезающих в ноль (0), либо перерисовывающихся в другие элементы, в результате чего правильный ряд уменьшается по числу элементов и приобретает хаотическую форму по расстановке элементов в структуре цикла, утрачивая монолитность и структурную гармоничность варианта α-33.

Фрагмент 6. РЯДЫ ДИНАСТИЙ

Правящие династии, сменяясь на троне, выстраиваются в правильный ряд на стреле времени, если вписываются с нормативными погрешностями в элементы структуры времени, кратные эпохе или периоду: эпоха-33 → период-66 и параперио́д → век-99 и квазивек → звено-132 и α-паразвено → пентаэпоха-165 → полтора звена: бивек-198 и квазибивек → элементы сверхдвухвекового масштаба.

О чем говорят правильные ряды династий? О том, что они формируются по формуле времени закономерным образом и не могут формироваться случайным образом, а если и могут, то это все равно как если бы вы случайно угадали выигрышное сочетание чисел в лотерее.

Силуэт 1. РЯД ДИНАСТИЙ РИМА

NB-151: идеальный, с погрешностями на стыках эпох не больше восьмилетнего микроквартала, ряд императорских династий Рима в октаэпохе: *34 до н.э. — 230*.

Юлии-Клавдии + Флавии + Антонины + Северы:
27 до н.э. — 68 — 96 — 192 — 235:
Квазивек Юлиев-Клавдиев + Эпоха Флавиев + Антонинский век + Эпоха Северов: *34 до н.э. — 65 — 98 — 197 — 230*.

NB-152: плюс — Новые Флавии (305-363) в *Параперио́де Новых Флавиев (286-362)*, а меж ними и Северами — *Параперио́д кризиса принципата: 230-286*.

Плюс — Феодосийская династия (379-455) в *Периоде римского распада: 395-461*, с охватом эпо-фазы *(379-395)*, занятой основателем династии Феодосием Великим: 379-395.

Силуэт 2. РЯД ДИНАСТИЙ ВИЗАНТИИ

NB-153: ряд императорских династий Византии в *Раннесредневековом цикле:* Феодосийская династия + династия Львов + Юстинианская династия + Ираклийская династия + Исаврийская династия + (эпохальная брешь: 0) + Фригийская династия:

395 — 457 — 518 — 602#610 — 711#717 — 802 — (0) — 829 — 856:
Период + период + период + звено + период + (0) + эпоха:
395 — 461 — 527 — 593 — 725 — 791 — (0) *— 824 — 857.*

NB-154: ряд императорских династий Византии во *Втором средневековом цикле:* Македонская династия + Дуки + Комнины + (Ангелы + Ласкарисы) + Палеологи:

867 — 1056#59 — 1081 — (1185 — 1204 — 1261) — 1453:
Полтора звена + эпоха + век + (пол-эпохи + полувек) + полтора звена:
857 — 1055 — 1088 — (1187 — ***1204*** *— 1253) — 1451.*

Отследите сами ряд династий Византии по таблице 1 элемент за элементом и примите к сведению, что, за вычетом бреши во *2-й эпохе Карла Великого (791-824)*, все династии Византии на тысячелетней дистанции *Средневекового α-бицикла (395-1451)* вписаны в альфа-время с нормативными пограничными отступами, а именно: не больше 11-летнего микроцикла для одной периодической системы (Исаврийская династия) и одной полуторазвеньевой системы (Македонская династия) и не больше микроквартала-8,25 для всех остальных систем, кроме Исаврийской династии (610-711), вписанной в *Исламское звено (593-725)* с полуэпохальными отступами-16,5, направленными внутрь звена: *593-****610*** и ***709****-725*; а что касается Ангелов и Ласкарисов, взятых в скобки в записи ряда, это классическая фигура №5-b в α-периоде: пол-эпохи + полувек.

Силуэт 3. РЯД ДИНАСТИЙ ШВЕЦИИ

NB-155: ряд королевских династий Швеции во *Втором средневековом β-цикле: 857-1517:*

Мунсё + Стенкили + Сверкеры-Эрики + Фолькунги + Никлотинги + Кальмарская уния:

865 — 1060 — 1130 — 1250 — 1363 — 1389 — 1523:
Полтора звена + период + звено + квазивек + эпоха + звено:
857 — 1055 — 1121 — 1253 — 1352 — 1385 — 1517.

NB-156: ряд королевских династий Швеции в *Европейском цикле:*

Ваза + Виттельсбахи + Гессенская династия + Готторпы + Бернадоты (поныне):

1523 — 1654 — 1720 — 1751 — 1818 — (...):
Звено + период + эпоха + парапериод **+ квазибивек**:
1517 — 1649 — 1715 — 1748 — 1814 — 2012.

Есть одна-единственная, ничтожная для такой красоты, помарка в виде микроциклового сдвига *(1352-63)*, с каковым поместился Альбрехт Мекленбургский (1363-89) и в его лице династия Никлотингов на троне Швеции в *Эпохе Карла Мудрого: 1352-85*. Не считая этой помарки, все **династические системы Швеции застроены в идеальный ряд без разрывов и сменялись на стыках либо звеньев, либо периодов, либо эпох с пограничными отступами не больше микроквартала-8,25**.

Силуэт 4. РЯД ДИНАСТИЙ ФРАНЦИИ

NB-157: идеальный тысячелетний трехэлементный ряд королевских династий Франции: старшие Капетинги + Валуа + Бурбоны:

987 — 1328 — 1589 — 1848:
Декаэпоха старших Капетингов + Кольцо Возрождения + Бурбонское кольцо:
989 — 1319 — 1583 — 1847.

Это одна династия, но она разветвлена на троне как ряд отдельных династических систем.

Силуэт 5. РЯД ДИНАСТИЙ ПОРТУГАЛИИ

NB-158: идеальный тысячелетний пятиэлементный ряд королевских династий Португалии: старшая ветвь португальских Капетингов + Ависская династия + испанские Габсбурги + Браганса + Кобург-Браганса:

1093 — 1383 — 1580 — 1640 — 1853 — 1910:
Три века + полтора звена + период + полтора звена + период:
1088 — 1385 — 1583 — 1649 — 1847 — 1913.

Потрясающая красота чисел, с точки зрения точной теории времени. Если французский, португальский, шведский, византийский варианты застройки династий в ряды сопоставить с лотерейными раскладами чисел, то, играя хоть каждый день в лотерею, вы вряд ли за всю жизнь вытащите билет, логически эквивалентный таким структурным сочетаниям на стреле времени.

Силуэт 6. РЯД ДИНАСТИЙ БОЛГАРИИ

NB-159: Кубрат (632-665) — эпохальный хан Великой Болгарии из рода Дуло в *Эпохе праведных халифов: 626-659*.

Кубрат воспитывался в Константинополе и веровал в Христа. Кубрат объединил болгар, ходивших под аварами, и откололся от Аварского каганата, создав государство болгар в Приазовье, известное как Великая Болгария и существовавшее, пока существовал Кубрат. Сын Кубрата Котраг ушел на Волгу и основал Волжскую Болгарию на территории Татарстана. Сын Кубрата Аспарух ушел в Европу и основал Дунайскую Болгарию на Балканах, потеснив аваров. Дунайская Болгария — это Первое Болгарское царство с превалировавшим славянским населением и с именем тюркского племени болгар, смешавшихся с балканскими славянами в этногенезе.

От Аспаруха до Тодора Живкова (665-1989) Болгария проделала исторический путь длиной в 2,5 α-цикла в вилке *Дамасского рубежа* и *Гагаринского стыка: 659-1979*.

NB-160: альфа-разверстка истории Болгарии от Аспаруха: Первое Болгарское царство + византийская Болгария + Второе Болгарское царство + османская Болгария + Третье Болгарское царство + советская Болгария:

665 — 971 — 1185 — 1396 — 1908 — 1946 — 1990:
2,5 звена + 1,5 звена + 1,5 звена + 4 звена + эпоха + эпоха = 2,5 α-цикла:
659 — 989 — 1187 — 1385 — 1913 — 1946 — 1979.

Весьма интересный ряд, где ***973-989*** — полуэпохальный отступ.

NB-161: три эпохальных хана Болгарии из трех поколений Дуло по прямой от отца к сыну в квазивеке: *626-725*: Кубрат — Аспарух — Тервел:

632-665-700-721:
Эпоха + эпоха + эпоха:
626-659-692-725.

NB-162: ряд правящих династий Болгарии на дистанции 2,5 α-цикла: *661-1979*:

Дуло + (династический кризис) + Крумичи + Македонская династия Византии + Асени + (Константин Асень-Тих) + Тертеры + Шишманы + Османы + Кобурги + (Тодор Живков):

665 — 753 — 803 — 997 — 1185 — 1256 — 1277#80 — 1323 — 1395 — 1908 — 1946 — 1989:

Квазивек + (эпоха) + полтора звена + полтора звена + период + (эпоха) + эпоха + период + четыре звена + эпоха + (эпоха):

659 — 758 — 791 — 989 — 1187 — 1253 — 1286 — 1319 — 1385 — 1913 — 1946 — 1979.

Найдите три неправильности в ряду. Это междинастическая эпоха *(758-791)*, трехлетний разрывчик, занятый крестьянским царем (#), и довесок в микроцикл к эпохе Живкова: *1979-90*.

NB-163: князь Болгарии Борис I Святой и царь Болгарии Симеон Великий (852-889#893-927) — эпохальные правители Болгарии из династии Крумичей в *Эпохе Кирилла и Мефодия* и *Эпохе Карла Простоватого*, составляющих *Период каролингского распада: 857-890-923*: это период расцвета Первого Болгарского царства в эволюционном итоге 2-й α-фазы *Раннесредневекового цикла: 659-923*.

Предание гласит, что Борис I Болгарский заказал монаху Мефодию картину с темой на выбор, но чтоб картина вгоняла в ужас и восторг. Мефодий нарисовал Страшный суд. От ужаса и восторга Борис I крестился и крестил Болгарию. Легенда сия лежит в русле миссии Кирилла и Мефодия, а та, пишут, реализовалась так. Князь Великой Моравии Ростислав выгнал из Моравии немецких священников и попросил папу дать людей, какие могли бы выучить в Моравии местных священнослужителей. Папа отказал. Ростислав заслал гонцов в Константинополь, где сидел Михаил III Пьяница, сын блаженной Феодоры, покончившей с иконоборчеством. Михаил Пьяница прислал в Моравию монахов Кирилла и Мефодия, основавших в Моравии славянскую церковь (862) и создавших славянскую азбуку (863). «Мы с тобой — как два вола. От тяжкой ноши один упал, другой должен продолжать путь», — сказал Кирилл брату и умер: 869. Мефодий продолжил миссию. От крещения Моравии до смерти Мефодия (862-885) миссия Кирилла и Мефодия заняла одноименную в таблице 1 *Эпоху Кирилла и Мефодия: 857-890*.

Эпоха Симеона Великого (893-927), современника эпохального короля Западно-Франкского королевства Карла Простоватого (898-922), — время зенита Первого Болгарского царства. Симеон Великий перенес столицу в Великий Преслав. При Симеоне Преслав превратился, говорят, в балканский Константинополь, а Болгария — в славянскую Византию. В 971 император Византии Цимисхий взял Преслав и присоединил восточную Болгарию к Византии, а Василий Болгаробойца пристегнул остатки Первого Болгарского царства, называемые Западно-Болгарским царством.

NB-164: Византийская Болгария и Второе Болгарское царство (971-1187-1395) вписаны в половины *Второго средневекового гамма-цикла: 989-1187-1385:* полтора звена + полтора звена, с полуэпохальным отступом внизу ***(973-989)***, считая от падения Преслава: 971.

NB-165: в год падения Комнинов (1185) у *Константинопольского рубежа (1187)* Болгарию отторгли от Византии Асени и вписались, сидя на троне Болгарии в Тырново (1185-1256), строго в *Латино-Никейский α-период: 1187-1253*.

NB-166: Константин I Асень-Тих (1257-77) — эпохальный царь Болгарии в *Эпохе Карла Анжуйского: 1253-86*.

Константин Тих не Асень, а сын боярина по имени Тих, ставший Асенем-Тихом, женившись на никейской принцессе Ирине Ласкарине из Ласкарисов, рожденной Еленой Асениной из Асеней. Ирина Ласкарина — сестра последнего императора Никеи Иоанна IV Ласкариса, которого ссадил византийским способом, лишив зрения (1261), Михаил VIII Палеолог, основатель императорской династии Палеологов, дядюшка 3-й жены Константина Тиха Марии Палеолог.

В 1270, по центру эпохи *Карла Анжуйского (1270)*, на Дунай прибыл на постоянное жительство Ногай, праправнук Чингисхана. Ногай создал на Дунае свой собственный улус и сидел на Дунае, пока не убили, а убили Ногая только в 1300. Ногай Дунайский терроризировал Восточную Европу в ядерной параэпохе *(1270-1303)*, составляющей ядро *Гвельфского периода (1253-1319)*, который в Болгарии состоит из эпохи Константина Тиха и эпохи Тертеров. Михаил VIII Палеолог, разбитый Ногаем, выдал за Ногая свою внебрачную дочь Евфросинью. Болгария стонала от набегов, и явился народный заступник в конце эпохи Тиха — крестьянский царь Ивайло: 1277-80. Ивайло, рассказывают, пас свиней, когда услышал народный стон. Пастух Ивайло по прозвищу Капуста и даже Кислая Капуста пошел бить и молотить в капусту всех подряд: монголов, ромеев и болгарских прихвостней Ногая и ромейского тестя его. Константин Тих лично отправился подавлять восстание Ивайло Капусты и погиб. Ивайло сел в Тырново народным царем и женился на Марии Палеолог, вдове Константина Тиха. Дядюшка болгарской царицы Михаил VIII Палеолог согласия на брак не давал и свалил крестьянского царя. Ивайло убежал к Ногаю, а Ногай казнил крестьянского царя. Бояре выбрали на царство боярского царя Георгия Тертера.

NB-167: Тертеры (1280-1322) царствовали в Тырново с восьмилетним перерывом (1292-1300) в *Эпохе Филиппа Красивого: 1286-1319*.

NB-168: далее — боярская династия Шишманов (1323-95) в *Авиньонском периоде (1319-85)*, которые пошли от Шишмана (1280-1313), эпохального деспота Видинского княжества в *Эпохе Карла Анжуйского: 1286-1319*.

На *Стыке Черного принца (1352)*, рассекающем на α-эпохи *Авиньонский период*, который в Болгарии есть период Шишманов, Шишманы раскололи Болгарию на Тырновское царство и Видинское царство: 1356.

NB-169: в *Эпохе Карла Мудрого (1352-85)* было «три страны, которые все три назывались Болгарией», по сообщению летописца: Тырновское царство + Видинское царство (на северо-западе Болгарии) + Добруджанское княжество (на северо-востоке по побережью), где от Шишманов отложился Добротница (1347-85), эпохальный князь Добруджи в *Эпохе Карла Мудрого: 1352-85*.

Полувековое правление Ивана Шишмана (1371-93), хорошо вписанное в таблице 1 в полувек ***(1369-85)***, называют золотым веком тырновской Болгарии, а далее — падение Второго Болгарского царства (1395) и существование Болгарии в составе Османской империи на дистанции в четыре 132-летних звена *(1385-1913)* до провозглашения Третьего Болгарского царства: 1908.

NB-170: Фердинанд I и Борис III Кобурги (1887-1918-43) — эпохальные правители Болгарского княжества и с 1908 Болгарского царства в *Эпохе Второго Рейха* и *Эпохе мировых войн: 1880-1913-46*.

В начале *Эпохи Второго Рейха* в результате балканского блицкрига России Болгария получила статус автономного княжества под сюзеренитетом Османов: 1878. Сле-

дом в результате Болгарского кризиса в Болгарии вокняжились Кобурги, которые суть Веттины из Саксен-Кобург-Готской ветви оных: 1887. В конце *Эпохи Второго Рейха*, когда Османскую империю тряхнула Младотурецкая революция, Кобурги провозгласили суверенное Третье Болгарское царство: 1908.

NB-171: Третье Болгарское царство Кобургов и советская Болгария (1908-46-90) были в *Эпохе мировых войн* и *Эпохе Холодной войны*, составляющих *Советский период: 1913-46-79*.

Тодор Живков — правитель советской Болгарии, генсек ЦК БКП (1954-89) в *Эпохе Холодной войны: 1946-79*, **с добавкой микроцикла на финише периода** *(1979-90)*, каковая структурная добавка типична для всех государств Восточной Европы, входивших в состав советской империи в *Эпохе Холодной войны (1946-1979)* между коллапсом Третьего Рейха (1945) и советским коллапсом (1990).

Как вы могли заметить, **разверстка династий Болгарии эквивалентна разверстке истории Болгарии**, согласно ее хрестоматийной периодизации в основных чертах, а эти основные черты неплохо отражают таблицу 1 «Исторический век».

Фрагмент 7. ПЕРВЫЙ РЕЙХ

Силуэт 1. БИВЕК ОТТОНИДОВ И САЛИЕВ: 923-1022

NB-172: английские историки считают датой основания Англии как государства тот момент, когда король Уэссекса Этельстан Славный назвался королем Англии (927) как объединитель Англии, имевшей в раннесредневековом зародыше вид гептархии, то есть семи варварских королевств, а немецкие историки отсчитывают историю Германии как государства с того момента, когда герцог Саксонии Генрих I Птицелов ловил птиц, видимо, по своему обыкновению, и вдруг узнал, к своему удивлению, что остальные герцоги Восточно-Франкского королевства, чем была Германия до этого момента, выбрали его своим королем: 919: это в таблице 1 *Оттоновский стык: 923:* альфа-граница двух циклов средневековья.

О чем говорит привязка этих двух отсчетных дат к альфа-границе средневековых циклов? О том, что ***Англия и Германия возникли как эволюционные плоды Раннесредневекового цикла, на старте которого появилась на руинах Рима система варварских королевств, превратившаяся в систему национальных государств на выходе цикла***.

NB-173: Восточно-Франкское королевство (843-919) — **периодическая система**, занявшая *Период каролингского распада: 857-923*, с охватом эпохальной фазы ***(841-857)***, составляющей 1-ю половину *Параэпохи верденской триархии (841-874)*, связывающей периоды *Паразвена императоров Запада: Период Каролингской империи + Период каролингского распада: 791-857-923*.

NB-174: Каролингская империя (800-843), распавшаяся натрое в момент Верденского раздела (843), есть полувековая система, вписанная в полувек *(791-**841**)* внутри *Периода Каролингской империи: 791-857*, за вычетом эпохальной фазы: ***841**-857*.

Дата основания Каролингской империи (800) привязана к *Каролингскому ультрарубежу (791)* с типовым для полувековых систем микроквартальным отступом: *791-799*.

Осколок Каролингской империи, известный как Восточно-Франкское королевство, состоял из племенных герцогств, сформировавшихся при Каролингах на местах расселения германских племен: Саксония, Франкония, Бавария, Швабия, Тюрингия. После пресечения ветви Каролингов в Восточно-Франкском королевстве (911) герцоги решили сами выбирать короля из числа самих себя и выбрали Конрада I Франконского, который быстро умер, и воцарилась Саксонская династия в лице Генриха I Птицелова, зовущаяся также Оттонидами по главным представителям. Жена Птицелова Матильда родила Оттона I Великого, основателя Первого Рейха, то есть Священной Римской империи, и Гедвигу Саксонскую, которая вышла за графа Парижа Гуго Великого и родила Гуго Капета.

NB-175: Оттониды и Салии (919-1024-1125) — вековые королевские династии Германии и с 962 императорские династии Первого Рейха в двух квазивеках, составляющих полтора звена: ***Оттоновский квазивек + Салический квазивек = Бивек Оттонидов и Салиев: 923-1022-1121***.

Строго по классификатору, это ***квазибивек***: название укорочено.

Ряд Оттонидов неправилен, а ряд Салиев правилен и продолжен Штауфенами, но между Салиями и Штауфенами затесался Супплинбург (1125-37) в полуэпохальном отступе *(1121-**38**)* на входе в *Звено Штауфенов*.

NB-176: короли Германии и императоры Священной Римской империи в пентаэпохе: *1022-1187: Салический квазивек + Иерусалимский α-период: 1022-1121-87*:

(Конрад II — Генрих III Салии) — (Генрих IV — Генрих V Салии) — (Лотарь II Суплинбург — Конрад III Штауфен) — Фридрих I Барбаросса Штауфен:

(1024-39-56) + (1056-1106-25) + (1125-37-52) + 1152-90:

(Пол-эпохи + пол-эпохи) + (полувек + пол-эпохи) + (пол-эпохи + пол-эпохи) + эпоха:

*(1022-**39**-55) + (1055-**1105**-21) + (1121-**38**-54) + 1154-87.*

Это идеальный ряд, который **рассыпается по проверочным вариантам** α-32-34.

Силуэт 2. РОМАНСКАЯ УЛЬТРАФАЗА: 857-1253

NB-177: *Период каролингского распада (857-923) + Оттоновский квазивек (923-1022) + Салический квазивек (1022-1121) + Звено Штауфенов (1121-1253) = Романская ультрафаза: 857-1253:* время Восточно-Франкского королевства (843-919) + время Оттонидов (919-1024) + время Салиев (1024-1125) + время Штауфенов (1137-1254).

Этот расклад вторичен и базируется на первичном раскладе 396-летней ультрациклофазы на три звена по два периода в звене (см. табл. 1): ***Романская ультрафаза = Младоевропейский блок + Салическое звено + Звено Штауфенов = (Период каролингского распада + Оттоновский период) + (Период первых Капетингов + Григорианский период) + (Иерусалимский период + Латино-Никейский период): (857-923-989) + (989-1055-1121) + (1121-87-1253).***

Из базовой структуры исторического цикла (см. раздел 2 «Формула») ***извлекается множество вариантных сочетаний элементов как структурных фигур, соотносящихся с базовой структурой как вторичное с первичным***, и часто базовая структура прячется от глаз за вторичными сочетаниями, если те просматриваются отчетливее в эпицентре исторической событийности, как, например, в случае *Оттоновского квазивека* и *Салического квазивека (923-1021-1121)*, исторически выделяющихся в Германии, заслоняя собой первичную разверстку истории периодами: *923-989-1055-1121*.

Сочетания элементов структуры времени, проявленные в истории, отличаются разнообразием, сравнимым с разнообразием геометрических сочетаний кристаллических элементов в снежинках, удивляющих своей правильной геометрией и многовариантностью ее.

Для историков должна быть интересна заметная в Германии по таблице 1 ***структурная симметрия*** такого рода:

NB-178: ***Бивек Оттонидов и Салиев (923-1121) + Звено Штауфенов (1121-1253) + Палеологовский бивек (1253-1451) = Второй средневековый α-цикл: 923-1451***: полтора звена + звено + полтора звена: 198 лет + 132 года + 198 лет = 528 лет.

Средневековый зенит Первого Рейха при Штауфенах отцентрован в цикле и замкнут в *Звене Штауфенов (1121-1253)*, которое есть субъядро цикла и зона смены циклофаз. По одну сторону *Звена Штауфенов* — двухвековой этап формирования Первого Рейха при Оттонидах и Салиях с точкой старта в моменте вручения короны Генриху I Птицелову (919), а по другую сторону *Звена Штауфенов* — двухвековой этап исторической жизни Рейха между Штауфенами и Габсбургами, когда Первый Рейх несколько померк, утратив великодержавный блеск, и ждал момента превращения в наследственный Рейх Габсбургов, а этот момент настал на *Стыке падения Византии (1451)*, когда Габсбурги навечно приватизировали корону Священной Римской империи в год императорской коронации Фридриха III Габсбурга, открывшего непрерывный ряд императоров Габсбургов: 1452 (см. раздел 3, гл. 1, фрагмент 9, силуэт 1 «Габсбурги»).

NB-179: Людвиг IV Виттельсбах и Карл IV Люксембург (1314-47-78) — эпохальные императоры Священной Римской империи в *Эпохе Филиппа Счастливого* и *Эпохе Карла Мудрого*, составляющих *Авиньонский период: 1319-52-85.*

Второй в этой паре, то есть Карл IV Люксембург, издал знаменитую «Золотую буллу»-1356, в которой прописан принцип выборной монархии как имперский закон, в соответствии с которым Первый Рейх был симбиозом выборной и наследственной монархии, опиравшейся на имперский рейхстаг и имперскую церковь. Императоры Рейха выбирались коллегией из семи курфюрстов: три церковных и четыре светских: архиепископ-курфюрст Майнца, архиепископ-курфюрст Трира, архиепископ-курфюрст Кельна, король Чехии, пфальцграф Рейнский (позже курфюрст Пфальца), герцог Саксонии (позже курфюрст Саксонии), маркграф Бранденбурга (позже курфюрст Бранденбурга), а к семи курфюрстам добавились в свое время курфюрст Баварии и курфюрст Ганновера. Это правители основных составных частей Священной Римской империи, не считая Австрии, которая в *Европейском гамма-цикле (1517-1913)*

сама была империей в ядре Первого Рейха, стоявшего, пока не пришел Наполеон. Эстафеты основных династий Рейха дают богатый материал для наведения резкости в первом приближении с фокусировкой на альфа-ряду эпох (см. раздел 3, гл. 1, фрагмент 11 «Пять династий Рейха»).

Силуэт 3. ЭПОХА ГИЛЬДЕБРАНДА: 1055-88

Престол Священной Римской империи и Святой престол являлись главными политическими силами Классического средневековья в Европе и, как известно, не дружили. Было три кульминационных момента в эпическо-исторической борьбе пап и императоров: во-первых, при Генрихе IV, ходившем в Каноссу, во-вторых, при Фридрихе I Барбароссе, в-третьих, при Фридрихе II Штауфене, и папы неизменно выходили победителями.

Салический квазивек раскладывается на *Эпоху первых Салиев* и *Григорианский период.*

NB-180: *Григорианский период (1055-1121)* — время Григорианской реформы, вписанной строго в альфа-период от Латеранского собора-1059 до Вормсского конкордата-1122.

NB-181: 1-я эпоха *Григорианского периода — Эпоха Гильдебранда*, во 2-й фазе которой ***(1072**-88)* римским папой был Григорий VII (1073-85), он же Гильдебранд, автор Григорианской реформы, и во всем объеме *Эпохи Гильдебранда (1055-88)* Гильдебранд был главной исторической персоной в Европе: от революционного собора-1059 до завершения понтификата Григория VII: 1085.

В 1054, у *Папского ультрарубежа (1055)*, монах Гильдебранд сделался легатом, а через четыре года стал основной фигурой в Риме. Гильдебранд посадил на папский престол своего ставленника Николая II и организовал через него Латеранский собор, учредивший порядок выборов пап кардиналами и отделивший духовную власть от светской: 1059. Это был церковный переворот мирового масштаба. Сделавшись папой, Гильдебранд сочинил неофициальный программный документ под названием: «Диктат папы» (1075). Тезисы «Диктата папы»: римская церковь основана самим господом; только римский папа вправе называться вселенским; одному папе принадлежит право назначать и смещать епископов (церковная инвеститура); с лицами, отлученными папой, нельзя даже находиться в одном доме; один папа может носить императорские регалии; все князья должны целовать ногу только у папы; папа вправе низлагать императоров; никто не вправе менять решения папы, кроме самого папы; никто не вправе судить папу; римская церковь никогда не ошибалась и вечно будет непогрешимой. В части примата церковной власти над светской диктат папы называется папоцезаризмом, а обратный порядок называется цезаропапизмом. Папоцезаризм не мог понравиться императорам Первого Рейха. Папская революция Гильдебранда вылилась в ожесточенную борьбу за инвеституру между римскими папами и императорами Первого Рейха и завершилась компромиссным Вормсским конкордатом (1122), закрепившим духовную инвеституру за папами, а светскую — за императорами.

NB-182: Генрих IV и Генрих V Салии (1056-1106-25) — императоры Первого Рейха в *Григорианском периоде*: образцовая фигура №5-а: полувек + пол-эпохи: *1055-**1105**-21.*

Гильдебранд сделал церковный переворот, когда Генрих IV был мал. Генрих IV подрос и не согласился с папой. «Пади, пади!» — писал император папе. Папа отлучил императора. Князья Германии поддержали папу и постановили избрать другого императора, если папа за полгода не сменит гнев на милость. Генрих IV пошел в Каноссу. Босой, во власянице три дня и три ночи Генрих IV стоял во дворе замка Матильды Каносской: 1077. Это была 1-я кульминация распри.

Каносса — резиденция Каносской династии, поддерживавшей Гильдебранда.

Каносская династия правила Тосканой, когда Первым Рейхом правила Салическая династия, то есть в *Салическом квазивеке: 1022-1121: Эпоха первых Салиев + Григорианский период:*

NB-183: Бонифаций Каносский (1027-52) — эпохальный маркграф Тосканы в *Эпохе первых Салиев: 1022-55.*

NB-184: Матильда Каносская (1052-1115), дочь Бонифация, — биэпохальная маркграфиня Тосканы в *Григорианском периоде: 1055-1121.*

Хорошо ли вы ощущаете, что **такими числами точно отражается структура времени при размере α-эпохи ровно 33 года с точкой отсчета ряда α-эпох от** *Сараевского стыка (1913)* **в прошлое**?

Бонифаций Каносский прибрал к рукам северную Италию и оставил государство дочери Матильде, прозванной Великой графиней. Регентство при маленькой Великой графине осуществляла ее мать Беатриса, поддержавшая реформу Гильдебранда, опи-

равшегося на графинь Тосканских на севере и на норманнов на юге Италии. Матильда Каносская завещала Тоскану Святому престолу и тем подлила масла в огонь распри между папством и Рейхом. При Матильде Каносской маркграфство Тосканское стоило хорошего королевства и распалось после Матильды на части с центрами в таких городах, как: Флоренция, Сиена, Пиза, Лукка, Мантуя, Парма, Модена, Реджо.

Силуэт 4. ЗВЕНО ШТАУФЕНОВ: 1121-1253

2-я кульминация борьбы пап и императоров приняла вид войны Фридриха Барбароссы с городами северной Италии, сложившимися в Ломбардскую лигу.

NB-185: Фридрих I Барбаросса (1152-90) — эпохальный император Первого Рейха, а папа римский Александр III (1159-81), поставивший Барбароссу на колено как вассала, — эпохальный папа в *Эпохе Фридриха Барбароссы: 1154-87*. Вы видите эпоху по этим именам и числам?

Ломбардская лига обеспечила триумф папы, заставив Барбароссу признать за итальянскими городами-государствами право на самоуправление: 1183. Веха привязана к *Константинопольскому рубежу (1187)*, структурному центру *Второго средневекового цикла* и *Христианской эры*. Это точка политического зенита папства.

NB-186: исторически-политический расцвет папства отцентрован в *Христианской эре* и замкнут в 264-летнем *Кольце Классического средневековья*, ядре *Второго средневекового цикла*, лежащем в вилке *Папского ультрарубежа* и *Дантова ультрарубежа: 1055-1319*: от переворота Гильдебранда (1059) до исхода пап в Авиньон: 1309.

NB-187: кризис папства, прозванный Петраркой Авиньонским пленом (1309-77), занял *Авиньонский период (1319-85)*, а по возвращении пап в Рим последовал эпохальный Великий западный раскол (1378-1417) в *Эпохе Великого раскола: 1385-1418*.

Штауфены пошли вот откуда:
NB-188: герцоги Швабии Фридрих I и Фридрих II Одноглазый (1079-1105-47) — фигура №5-b в парапериоде: пол-эпохи + полувек: *1088-**1105**-54*.

Фридрих II Швабский Одноглазый — это отец Барбароссы, а Фридрих I Швабский — это отец-основатель династии Штауфенов, построивший родовой замок на горе Штауфен, откуда имя династии: Штауфены. Герцог Фридрих I Швабский — зять императора Генриха IV, ходившего в Каноссу. Дочь Генриха IV Агнеса Салическая — праматерь императорской династии Штауфенов.

В статусе династии императоров Священной Римской империи Штауфены (1138-1254) заняли *Звено Штауфенов (1121-1253)* с типовым для звеньевых систем полуэпохальным отступом на старте *(1121-**38**)*, составляющим 2-ю половину 33-летней параэпохи, играющей роль сцепки звеньев, окольцовывая *Стык Вормсского конкордата: 1121*. Половины параэпохи: ***1105**-21-**38***. А в них: императоры Генрих V и Лотарь II: 1106-25-37.

Генрих V — последний император Первого Рейха из Салической династии, свергший своего отца Генриха IV и подписавший Вормсский конкордат. Генрих V умер бездетным, потому что жена его, внучка Вильгельма Завоевателя и дочь короля Англии Генриха I Грамотея, императрица Матильда, чьим именем названа в таблице 1 *Эпоха императрицы Матильды*, никого своему 1-му мужу не родила, зато всю себя отдала потом Плантагенетам, оправдав свое имя, в переводе означающее «могучая битва», и удостоившись эпитафии на надгробии: «Великая по рождению, еще более по браку, но более всего по материнству».

У Лотаря II Супплинбурга была единственная дочь Гертруда. Она вышла за герцога Баварии Генриха Гордого Вельфа и родила Генриха Льва, низвергнутого Барбароссой, славнейшего из Вельфов, если не считать королеву Великобритании Викторию, последнюю из венценосных Вельфов. Лотарь помог Генриху V свергнуть Генриха IV, ходившего в Каноссу, и получил за это Саксонию. Лотарь выиграл у Штауфенов королевские выборы и сложился с Вельфами против Штауфенов, поддерживавших Генриха IV и получивших за это Швабию. Штауфены отбились и попытались ссадить Лотаря. Конрад III Штауфен, открывший эстафету Штауфенов на троне Первого Рейха, короновался в манере антикоролей. Но зря головы летели. Через три года по завершении междоусобицы Лотарь умер, и корона отошла Штауфенам мирным выборным путем.

Несмотря на итальянское фиаско Барбароссы, по центру *Звена Штауфенов* у *Константинопольского рубежа (1187)* Штауфены достигли вершины могущества, заполучив через династический брак Сицилийское королевство (1194), охватывавшее южную Италию вместе с Сицилией и созданное Отвилями в результате эпопеи под названием норманнское завоевание южной Италии, а главный герой эпопеи — Роберт Отвиль по прозвищу Гвискар, то есть Хитрец.

NB-189: Роберт Гвискар (1057-85) — эпохальный герцог Апулии, Калабрии и Сицилии в *Эпохе Гильдебранда: 1055-88*; красиво ухитрился Хитрец вписаться в *Эпоху Гильдебранда* как в свою.

«Глаза — только что огонь не искрился из них. Крик же этого мужа, как рассказывают, обращал в бегство многие тысячи», — представила Гвискара как норманнского Ахилла в своей «Алексиаде» Анна Комнина, дочь императора Византии Алексея I Комнина. Кто не разбежался от одного крика Гвискара, тех он перебил и подчинил себе пол-Италии вместе с Сицилией.

NB-190: племянник Гвискара Рожер II Сицилийский (1130-54) — эпохальный 1-й король Сицилийского королевства в *Эпохе императрицы Матильды: 1121-54*.

Дочь Рожера II Сицилийского Констанция Сицилийская вышла за императора Первого Рейха Генриха VI Штауфена, сына Барбароссы, и родила Фридриха II Штауфена. У Рожера II Сицилийского был еще сын Рожер, не переживший отца, а у этого Рожера был внебрачный сын Танкред. Когда Отвили пресеклись на троне, Танкред с благословения папы короновался в Палермо (1190) и ловко удерживал Сицилийское королевство за Отвилями четыре года, да вдруг умер. Штауфены забрали приданое Констанции и спустя период повторили судьбу Отвилей.

NB-191: Сицилийское королевство Отвилей и Сицилийское королевство Штауфенов (1130-94-1266) − это периодические системы в периодах *Звена Штауфенов: Иерусалимский период + Латино-Никейский период: 1121-87-1253*.

NB-192: Фридрих II Штауфен (1220-50) — эпохальный император Священной Римской империи в *Эпохе Фридриха II Штауфена: 1220-53*.

В *Звене Штауфенов* два эпохальных императора во 2-й эпохе звена и в 4-й: Фридрих I Штауфен Барбаросса и Фридрих II Штауфен. Оба точно вписаны в эпохи в структуре времени, которая рельефно проявляется в истории и позволяет откорректировать себя на стреле времени в абсолютных датах с точностью до года в том числе благодаря эпохальным лицам вроде этих двух Штауфенов, ввиду закономерного множества подобных случаев.

Фридрих II Штауфен организовал 3-ю кульминацию папско-императорской распри, принявшей вид распри гвельфов и гибеллинов. Раскол Италии на гвельфов и гибеллинов отсчитывают от времени Барбароссы. Гвельфы — папистская партия, гибеллины — проимперская партия. Гвельфы прозвались по Вельфам, врагам Штауфенов, гибеллины прозвались по какому-то замку Штауфенов. Фридрих II Штауфен, заполучив по наследству пол-Италии в виде Сицилийского королевства, долго собирался и собрался, наконец, установить имперский порядок в северной Италии, как в южной. В конце царствования (1246) он назначил имперским наместником Флоренции своего сына Фридриха Антиохийского, бастарда от любовницы. Флоренция была главной цитаделью гвельфизма. Фридрих Антиохийский чинил в Тоскане гибеллинский террор против гвельфов, пока не умер отец: 1250. Когда весть о смерти императора дошла до гвельфов, последовал взрыв. Гибеллинов смыло из Флоренции и Тосканы взрывной волной и гвельфским террором. Во Флоренции произошла цеховая революция. Власть захватили пополаны и установили режим, вошедший в историю под названием: «Первая демократия»: 1250-60.

В 1254 умер Конрад IV Штауфен, наследник Фридриха II, это финальная черта имперского правления Штауфенов: *Палеологовский стык: 1253*. Но Штауфены ушли из истории с боем. Гибеллины Италии сплотились под знаменем Манфреда, рожденного одной из любовниц Фридриха II Штауфена. Манфред крепко засел в Сицилийском королевстве. Гибеллинская Сиена разгромила гвельфскую Флоренцию в битве при Монтаперти: 1260. Во Флоренции вернулись к власти гибеллины. Папа искал в Европе личность, способную свалить Манфреда. Манфред находился в таком же положении, что и Танкред, последний из Отвилей, периодом ранее. Это похоже на структурное клише. По специальному приглашению папы в Италию прибыл Карл Анжуйский, брат Людовика IX Святого, и разбил Манфреда в битве при Беневенто (1266), а затем разбил и ликвидировал юного Конрадина, сына Конрада IV Штауфена: 1268. Покончив со Штауфенами, Карл Анжуйский застолбил за собой Сицилийское королевство Отвилей-Штауфенов и основал очередную Анжуйскую династию, точнее, Анжу-Сицилийскую. Карл Анжуйский вознамерился создать что-то вроде Сицилийской державы Дионисия Сиракузского (405-367 до н.э.), эпохального тирана Сиракуз в *Спартанской эпохе (397-364 до н.э.)*, и строил планы по повторному взятию Константинополя, но там крепко засел Михаил VIII Палеолог, а Сицилийская вечеря (1282) отколола Сицилию, и стало два королевства: Сицилийское королевство арагонцев и Неаполитанское королевство анжуйцев.

NB-193: эстафетный ряд династии Карла Анжуйского в пентаэпохе: *1253-1418*: Карл I Анжуйский — Карл II Неаполитанский — Роберт Неаполитанский — Джованна I Неаполитанская — Владислав Неаполитанский:

1246-85-1309-43-82 # 86-1414:
Эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха:
1253-86-1319-52-85-1418.

В ряду лишь трое отвечают определению эпохального правления, но логически очевидна формула: **пять правителей − пять эпох**. А замкнула ряд Джованна II (1414-35), полуэпохальная правящая королева Неаполя в 1-й фазе *(1418-**35**) Эпохи святой Жанны*.

Фрагмент 8. КРЕСТОНОСЦЫ

Силуэт 1. БИВЕК КРЕСТОНОСЦЕВ: 1088-1286

NB-194: время крестовых походов, отсчитываемое от 1-го крестового похода (1096) до падения Акры (1291), последнего оплота крестносцев на Востоке, — это *Бивек крестоносцев*, отцентрованный во *Втором средневековом цикле* и в *Христианской эре: 1088-1286*.

NB-195: 1-я половина *Бивека крестоносцев* — *Комнинский век: 1088-1187*: век XII, в который вписаны Комнины (1081-1185), вековая императорская династия Византии:

Алексей I Комнин — Иоанн II Комнин — Мануил I Комнин:
1081-1118-43-80:
Эпоха первых крестоносцев + Эпоха Матильды + Эпоха Барбароссы:
1088-1121-54-87.

Ряд деформирован в точке 1143 микроцикловым сдвигом *(1143-54)*, но логически очевидна формула: **три правителя − три эпохи**.

Комнинский век расписывают как исторический пик Византии, который есть итог эволюции Византии в восьмивековой *Византийской α-фазе Христианской эры*, лежащей в вилке *Феодосийского стыка* и *Константинопольского рубежа: 395-1187*: от рождения Византии в виде Восточной Римской империи до падения Комнинов: 395-1185.

Византия входила в *Комнинский век* невесело, потому что в Анатолию ворвались сельджуки.

NB-196: правильный ряд султанов Рума Сельджукидов в *Комнинском веке: 1088-1187*: (Кылыч-Арслан I — Малик-шах I) — (Масуд I — Кылыч-Арслан II):

(1092-1107-17) + (1117-56-92):
Фигура №1 + №2: **(пол-эпохи + пол-эпохи) + (эпоха + эпоха):**
*(1088-**1105**-21) + (1121-54-87)*.

Алексей I Комнин немножко запаниковал и написал папе римскому Урбану II историческое письмо с просьбой о помощи. В 1095 папа призвал Европу к крестовому походу. Папский призыв возымел дивное действие, всколыхнув рыцарский Запад. Состоялся 1-й крестовый поход: 1096-99. Железные люди ринулись в Иерусалим ко Гробу Господню и перекроили карту Ближнего Востока.

В результате 1-го крестового похода возникли четыре государства крестоносцев на Востоке: Иерусалимское королевство (1099-1291), княжество Антиохия (1098-1268), графство Триполи (1105-1289, графство Эдесса (1098-1146). Кроме Эдесского графства (1098-1146), ограниченного параперiодом *(1088-1154)*, государства крестоносцев плотно заняли *Бивек крестоносцев: 1088-1286*, с разбросом предельных датировок в крайних эпо-фазах бивека: *1088-**1105*** и ***1270**-86*.

NB-197: в точке взятия Иерусалима Саладином (1187), то есть в точке *Константинопольского рубежа (1187)*, Иерусалимское королевство делится на стреле времени на 1-е королевство с центром в Иерусалиме и 2-е королевство с центром в Акре: 1099-1187-1291: век XII + век XIII = *Бивек крестоносцев: 1088-1187-1286*.

Пара веков *Бивека крестоносцев* составляет структурное единство с парой периодов: *Иерусалимский период + Латино-Никейский период = Звено Штауфенов: 1121-87-1253.*

Звено Штауфенов наращивается в *Бивек крестоносцев Эпохой первых крестоносцев (1088-1121)*, с одной стороны, и *Эпохой Карла Анжуйского (1253-86)*, с другой стороны.

Предводители 1-го крестового похода: граф Тулузы Раймунд IV из тулузских Раймундидов, основатель графства Триполи; граф Блуа Этьен II из блуаских Тибальдинов, отец короля Англии Стефана Блуаского; граф Булони Евстахий III из булонских Бодуэнидов и братья его Готфрид Бульонский, 1-й король Иерусалима, и Балдуин I, 2-й король Иерусалима; Боэмунд Таррентский из Отвилей, сын Роберта Гвискара, 1-й князь Антиохии; герцог Нормандии Роберт III Короткие Штаны из Роллонидов, сын Вильгельма Завоевателя; граф Фландрии Роберт II из фландрских Бодуэнидов; граф Вермандуа Гуго Великий Капетинг, рожденный королевой Франции Анной Киевской, дочерью Ярослава Мудрого. Весьма колоритный список представителей династической элиты классической средневековой Европы.

Силуэт 2. РАЙМУНДИДЫ

NB-198: 1-й в приведенном списке предводителей 1-го крестового похода Раймунд IV (1088-1105) — строго полуэпохальный граф Тулузы в 1-й фазе *(1088-**1105**) Эпохи первых крестоносцев*, а брат его Гильом IV (1060-88) — строго эпохальный граф Тулузы в *Эпохе Гильдебранда: 1055-88*.

NB-199: с паузой в пол-эпохи после Раймунда IV — идеальный ряд четырех эпохальных графов Тулузы из четырех последних поколений тулузских Раймундидов по прямой от отца к сыну в четырех эпохах *Звена Штауфенов (1121-1253)*, в коем цвела Тулуза, трубадуров Парнас:

Альфонс Иордан (сын Раймунда IV) — Раймунд V — Раймунд VI — Раймунд VII:
1119-48-94-1222-49:
Эпоха + эпоха + эпоха + эпоха:
1121-54-87-1220-53.

Силуэт 3. ТИБАЛЬДИНЫ

NB-200: 2-й в приведенном списке предводителей 1-го крестового похода Этьен II Тибальдин (1089-1102) — граф Блуа в 1-й фазе *(1088-**1105**) Эпохи первых крестоносцев*, а это в графстве Блуа элемент правильного ряда эстафеты Тибальдинов в рамках квазизвена: *1088-1220*:

(Этьен II Блуаский — Тибо IV Великий) — Тибо V Добрый — (Людовик — Тибо VI):
(1089-1102-52) + 1152-91 + (1191-1205-18):
(Пол-эпохи + полувек) + эпоха + (пол-эпохи + пол-эпохи):
*(1088-**1105**-54) + 1154-87 + (1187-**1204**-20)*.

NB-201: Тибо IV Великий Блуаский есть Тибо II Шампанский (1125-52), эпохальный граф Шампани в *Эпохе императрицы Матильды: 1121-54*.

Тибо Великий — брат короля Англии Стефана Блуаского. Дочь Тибо Великого Адель Шампанская — мать короля Франции Филиппа II Августа, собирателя земель, а сыновья Тибо Великого — родоначальники трех ветвей Тибальдинов, Шампанской, Блуаской и Сансерской:

NB-202: Генрих I Щедрый (1152-81) — эпохальный граф Шампани, Тибо V Добрый (1152-91) — эпохальный граф Блуа, Этьен I (1152-91) — эпохальный граф Сансера в *Эпохе Барбароссы: 1154-87*.

Идеален от начала до конца длинный ряд Сансерской ветви, вот она вся:

NB-203: графы Сансера из восьми поколений Тибальдинов в восьми эпохах: *1154-1418*: (Этьен I — Гильом I) — (Людовик I — Жан I) — (Этьен II — Жан II) — Людовик II — (Жан III — Маргарита):

(1152-91-1217) + (1217-67-84) + (1284-1306-26) + 1326-46 + (1346-1403-19):

(Эпоха + эпоха) + (полувек + пол-эпохи) + (пол-эпохи + пол-эпохи) + эпоха + (полувек + пол-эпохи):

*(1154-87-1220) + (1220-**70**-86) + (1286-**1303**-19) + 1319-52 + (1352-**1402**-18)*.

Силуэт 4. БОДУЭНИДЫ

NB-204: 3-й в приведенном списке предводителей 1-го крестового похода Евстасхий III Булонский (1088-1125) — эпохальный граф Булони в *Эпохе первых крестоносцев (1088-1121)*, а это в Булони элемент эстафетного ряда пяти графов Булони из пяти поколений по прямой в пяти эпохах: Бодуэн II Булонский — Евстахий I — Евстахий II — Евстахий III — Матильда I Булонская:

990-1033-49-88-1125-52:
Эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха:
989-1022-55-88-1121-54.

Ряд слегка деформирован в точке 1033 микроцикловым сдвигом: *1022-33*.

Матильда I Булонская, последняя из булонских Бодуэнидов, — это королева Англии, жена Стефана Блуаского.

NB-205: Стефан Блуаский (1135-54) — полуэпохальный король Англии во 2-й фазе *(**1138**-54) Эпохи императрицы Матильды*.

Это время гражданской войны в Англии, имевшей результатом воцарение Плантагенетов в Англии (1154) и вытекшей из того, что Стефан Блуаский, рожденный Аделью Нормандской, дочерью Вильгельма Завоевателя, занял трон Англии по смерти Генриха I Грамотея, сына Завоевателя, в обход императрицы Матильды, дочери Грамотея и матери Генриха II Плантагенета.

Булонские Бодуэниды ответвились от фландрских Бодуэнидов и пошли от Адалульфа, внука похитителя Юдифи, коим был основатель графства Фландрия Бодуэн I Железная рука, сын королевского лесничего, похитивший Юдифь, дочь Карла II Лысого, правнучку Карла I Великого, ставшую каролингской праматерью Бодуэнидов. Эстафета Бодуэнидов начинается так:

NB-206: четыре графа Фландрии в четырех эпохах *Младоевропейского блока*: Бодуэн I Железная рука — Бодуэн II Лысый — Арнульф I Великий — Арнульф II Младший:

862-879-918-965-987:
Эпоха + эпоха + эпоха + эпоха:
857-890-923-956-989.

Ряд слегка и типично деформирован в точке 879 микроцикловым сдвигом: *879-890*.

Силуэт 5. ПАДЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА: 1187

Из восьми крестовых походов шесть привязаны к стыкам эпох *Бивека крестоносцев*, **а два (4-й и 8-й) строго отцентрованы в своих эпохах**.

NB-207: 2-й крестовый поход (1147-49), оказавшийся провальным, привязан к эпохальному *Плантагенетскому стыку (1154)* с шагом в параперiод *(1088-1154)* от 1-го крестового похода (1096-99) и был реакцией на падение Эдессы: 1146. А уничтожил Эдесское графство Занги.

NB-208: Занги (1227-46) — эпохальный эмир Мосула и Алеппо в *Эпохе императрицы Матильды (1121-54)*, гроза крестоносцев, «Опора владыки правоверных», «Царь-победитель», создатель государства Зангидов как осколка империи Сельджукидов.

NB-209: государство Зангидов (1127-1250) — звеньевая система, строго вписанная в *Звено Штауфенов: 1121-1253*.

NB-210: по центру *Эпохи Барбароссы (1171)* на сцену вышел Саладин, султан султаната Айюбидов и Египта (1171-93) во 2-й фазе *(**1171**-87) Эпохи Барбароссы*, основатель династии Айюбидов (1171-1250), владевших Египтом в *Латино-Никейском периоде: 1187-1253*, с охватом эпохальной фазы Саладина: ***1171**-87*; **периодическая система**.

NB-211: потом в Египте стоял до пришествия Османов Мамлюкский султанат: 1250-1517: ***Монгольское звено + Ренессансный блок = Мамлюкское бизвено: 1253-1517***.

Предводители 2-го крестового похода: император Священной Римской империи Конрад III Штауфен; король Франции Людовик VII Молодой в сопровождении 1-й жены Элеоноры Аквитанской; король Сицилии Рожер II Отвиль; король Иерусалима Балдуин III из 2-й Анжуйской династии (Плантагенетов); князь Антиохии Раймунд из Рамнульфидов, тесть императора Византии Мануила I Комнина и сын знаменитого Гильома Трубадура, а Элеонора — внучка Трубадура.

NB-212: Гильом IX Трубадур (1086-1126) — эпохальный герцог Аквитании в *Эпохе первых крестоносцев: 1088-1121*.

Гильом Трубадур — это первый трубадур, задокументированный исторически и признаваемый, ни больше ни меньше, родоначальником провансальской и европейской поэзии.

Раймунда Антиохийского, сына Трубадура, убил полководец Зангидов Ширкух, дядя Саладина. Констанция Антиохийская, жена Раймунда, овдовев, вышла за крестоносца Райнальда, он же знаменитый Рено де Шатильон. Райнальд попал в плен к Зангидам, 16 лет томился в заточении в Алеппо, дождался выкупа и, выйдя на волю, отличился как редкостный головорез. Райнальд надругался над сестрой Саладина: 1186. Это послужило поводом для возобновления Саладином войны с крестоносцами. Саладин поклялся снести голову Райнальду и снес в битве при Хаттине, где крестоносцы потерпели сокрушительное поражение: 1187. Следом Саладин взял Иерусалим: 1187: *Константинопольский рубеж: 1187*: структурный центр цикла и эры.

NB-213: 3-й крестовый поход (1189-92), ставший реакцией Европы на падение Иерусалима, отделен *Эпохой Барбароссы (1154-87)* от 2-го крестового похода (1147-49).

Главным результатом 3-го крестового похода было взятие Акры, куда сместилась столица Иерусалимского королевства. Это слабо, хотя предводители сильны: император Первого Рейха Фридрих I Барбаросса, каким-то образом утонувший на марше; король Англии Ричард I Львиное сердце; король Франции Филипп II Август.

Силуэт 6. 1-Е ПАДЕНИЕ КОНСТАНТИНОПОЛЯ: 1204

NB-214: применительно к Византии *Романская* и *Готическая фазы Второго средневекового цикла (923-1187-1451*, альфа-границы) суть **фазы расцвета и заката Византии, разграниченные двойной вехой в виде падения Комнинов (1185) и 1-го падения Константинополя (1204)**, ставшего добычей крестоносцев в итоге 4-го крестового похода (1202-04), ознаменовавшего своим результатом смену исторических ролей между Византией и Европой и отделенного полуэпохальным отступом *(1187-**1204**)* от *Константинопольского рубежа (1187)*, структурного центра цикла и эры.

Андроник I Комнин (1183-85) — последний император Византии из вековой династии Комнинов. Символичная личность. Андроника I Комнина родила то ли русская княжна Ирина, то ли грузинская княжна Катерина. Андроник не раз пытался убить своего двоюродного брата императора Византии Мануила I Комнина, был схвачен, убежал, вновь попался, опять убежал. В бегах одно время гостил у Ярослава Осмомысла (1153-87), строго эпохального князя Галицкой Руси в *Эпохе Барбароссы (1154-87)*, приходившегося дедом Андронику, если тот рожден русской княжной. Мануил I Комнин неизменно и великодушно прощал Андроника. У Андроника был брат Иоанн, такой же смутьян. Этот Иоанн переметнулся к сельджукам и женился на дочери Масуда I Сельджукида (1117-56), строго эпохального султана Рума в *Эпохе Матильды: 1121-54*. Рассказывают, будто бы через этот брак потомком Комнинов оказался могильщик Византии Мехмед II Фатих (1451-81), строго эпохальный султан Порты в *Эпохе Войны Роз: 1451-84*.

Мануилу I Комнину наследовал отрок Алексей II Комнин, рожденный императрицей Византии Марией Антиохийской, дочерью князя Антиохии Раймунда, сына Трубадура, отца поэзии. Регентство при юном императоре Алексее II Комнине захватил Андроник Комнин и приказал задушить императора. Та же участь постигла вдовствующую императрицу Марию Антиохийскую. У 14-летнего василевса Алексея II была 11-летняя жена по имени Анна: это сестра Филиппа II Августа. Сделав девочку вдовой, Андроник I Комнин по прозвищу Приап женился на ней. Укрепляя трон под собой, узурпатор кого сослал, кого убил, кому «очи выимаша», как сказал бы русский летописец, и разделил участь своих жертв: 1185. Комнины пали. Воцарились Ангелы, которые тоже не ангелы.

NB-215: Ангелы (1185-1204) — правящая династия Византии точнехонько в 1-й фазе *(1187-1204) Эпохи Филиппа Августа*; причем императоры Византии Исаак II Ангел и брат его Алексей III Ангел (1185-95-1203) распределены по двум микрокварталам эпохальной α-фазы: *1187-95-1204*.

Алексей III Ангел сверг Исаака II Ангела и лишил зрения по византийскому обычаю, который мог казаться чем-то более гуманным, чем умерщвление политических конкурентов. Покалечив брата, Алексей III Ангел пощадил малолетнего племянника, тот подрос, убежал и привел крестоносцев под стены Константинополя: 1203. В результате распри в Ангелах Константинополь стал добычей крестоносцев: 1204. Но еще не пробил час исторической смерти средневекового осколка античности, видно, еще не выполнившего эволюционную миссию и прозванного историками Византией, а сама она отродясь звалась Ромейской империей, то есть Римской империей с центром в Новом Риме, куда Константин Великий перенес столицу Римской империи: 330.

Силуэт 7. ЛАТИНО-НИКЕЙСКИЙ ПЕРИОД: 1187-1253

Лишившись Константинополя, Византия приняла вид Никейской империи, существовавшей полувек под управлением династии Ласкарисов.

NB-216: Ангелы и Ласкарисы (1185-1204-61) — фигура №5-b в *Латино-Никейском периоде*: пол-эпохи + полувек:

*Фаза Ангелов + Латино-Никейский полувек: 1187-**1204**-53*.

NB-217: Феодор I Ласкарис и Иоанн III Дука-Ватац (1205-21-54) — императоры Никеи в *Латино-Никейском полувеке:* пол-эпохи + эпоха: 2-я фаза *Эпохи Филиппа Августа + Эпоха Фридриха II Штауфена: **1204**-20-53.*

Очень красивая фигура, с точки зрения точной теории времени.

Силуэт 8. ПАЛЕОЛОГОВСКИЙ БИВЕК: 1253-1451

При малолетнем последнем императоре Никеи Иоанне IV Ласкарисе захватил регентство Михаил Палеолог и короновался в Константинополе, когда никейский полководец Алексей Стратигопул отобрал Константинополь у крестоносцев: 1261. Дабы усидеть на троне, Михаил VIII Палеолог нейтрализовал 11-летнего Иоанна IV Ласкариса византийским способом: лишил зрения.

NB-218: оцените по таблице 1 ряд шести императоров Византии в шести эпохах эстафеты Палеологов в *Палеологовском бивеке: 1253-1451*, попарно в периодах: *Гвельфский период + Авиньонский период + Ланкастерский период: 1253-1319-85-1451:* полтора звена:

(Михаил VIII – Андроник II) + (Андроник III – Иоанн V) + (Мануил II – Иоанн VIII):
(1261-82-1328) + (1328-41-91) + (1391-1425-48):
(Эпоха + эпоха) + (эпоха + эпоха) + (эпоха + эпоха):
(1253-86-1319) + (1319-52-85) + (1385-1418-51).

Вторая пара деформирована: Андроник III (1328-41) сильно урезан в ядре эпохи, но логически очевидна формула: **шесть правителей – шесть эпох**.

У Мануила II был сын Фома, рожденный сербкой Еленой Драгаш, это отец Софьи Фоминичны Палеолог, 2-й жены Ивана III Великого, которая пролонгировала Рюриковичей в Кремле.

При Ангелах, Ласкарисах и Палеологах (1185-1453) вершился затяжной закат Византии длиной в 264-летнюю *Готическую α-фазу Второго средневекового цикла* в вилке *Константинопольского рубежа* и *Стыка падения Византии: 1187-1451.*

Силуэт 9. ЛАТИНСКАЯ ИМПЕРИЯ

Полувековая Никейская империя (1204-61) вписана в *Латино-Никейский полувек (1204-53)* вместе с синхронной Латинской империей (1204-61), возникшей в момент взятия Контантинополя крестоносцами и павшей в момент взятия Константинополя никейцами.

NB-219: Балдуин II де Куртене (1228-61) – эпохальный и последний император Латинской империи в *Эпохе Фридриха II Штауфена: 1220-53*.

Балдуин II – это Капетинг из ветви Капетингов-Куртене (1150-1283), ответвившейся в поколении Людовика VII Молодого и уместившейся в квазизвене: *1154-1286*.

NB-220: Пьер I и Пьер II де Куртене (1150-80-1219) – пара эпохальных сеньоров де Куртене в *Эпохе Фридриха Барбароссы* и *Эпохе Филиппа Августа: 1154-87-1220*.

Ветвь вела в Константинополь свадебным путем через женитьбу Пьера II на правящей императрице Латинской империи Иоланте Константинопольской, родившей Балдуина II.

NB-221: в паре императоров Латинской империи Балдуина II и Филиппа де Куртене (1228-73-83) прорисована фигура №5-а: полувек + пол-эпохи: *1220-**70**-86*; но с 1261 это титулярные императоры без империи в фазах *Эпохи Карла Анжуйского: 1253-**70**-86*.

С тех пор Латинской империи нет, а титулярные императоры ее есть, в силу нетленности подобных титулов. Приключения титула несуществующей империи продолжились так. Карл Анжуйский замыслил отнять Константинополь у Палеологов и выдал дочь Беатрису за Филиппа де Куртене, чтобы затащить в свою семью права на Константинополь. Планы Карла Анжуйского не сбылись, но нашелся в Капетингах еще Карл, строивший такие же планы задолго до Екатерины II Великой и преемников ее Готторп-Романовых, планировавших парадный въезд в Константинополь в 1915, а получивших Октябрь: 1917. Имеется в виду Карл Безземельный, пращур Валуа, который вторым браком женился на титулярной Екатерине I Константинопольской, рожденной Беатрисой Анжуйской. Так титул перекочевал от куртенеских Капетингов к валуаским Капетингам через неаполитанских Капетингов. Потом титул перекочевал к артуаским Капетингам и вернулся к валуаским Капетингам на Бургундскую ветвь, откуда титул перепорхнул на Клевскую ветвь Ламарков и попал, наконец, на крепкое хранение к Гогенцоллернам: 1625. Титул императора Латинской империи ныне носит глава дома Гогенцоллернов.

Фрагмент 9. ГАБСБУРГИ И ИСПАНИЯ

Силуэт 1. ГАБСБУРГИ

NB-222: императорская эстафета Габсбургов, считая от воцарения Габсбургов на троне Первого Рейха (1452) до коллапса империи Габсбургов (1918), занимает 14 эпох в семи периодах в вилке *Стыка падения Византии (1451)* и *Сараевского стыка (1913)* и делится в год смерти правящей императрицы Марии-Терезии (1780) по двум ветвям на декаэпоху эстафеты Габсбургов и звено эстафеты Габсбургов-Лотарингских: 1452-1780-1918: декаэпоха + *Концертное звено: 1451-1789-1913*: **10 эпох + 4 эпохи: 10 поколений + 4 поколения**.

Собственная империя Габсбургов, она же Австрийская империя, которую не надо путать с Первым Рейхом, то есть со Священной Римской империей, возникла в интервале 1477-1526, то есть в *Колумбовой эпохе (1484-1517)*, посредством тройной брачной комбинации, непревзойденной в своем роде: это, во-первых, женитьба Максимилиана I Габсбурга на Марии Богатой, наследнице Бургундской империи Валуа, во-вторых, женитьба сына их Филиппа Красивого на Хуане Безумной, матери Карла V, наследнице Испанской империи, в-третьих, женитьба Фердинанда I Габсбурга, брата Карла V, на Анне Ягеллонке, наследнице Чехии и Венгрии.

Хрестоматийная точка отсчета империи Габсбургов — год битвы при Мохаче (1526), в которой погиб бездетным король Чехии и Венгрии Людовик II Ягеллон. Корону Чехии и Венгрии унаследовала сестра погибшего Анна Ягеллонка, жена эрцгерцога Австрии Фердинанда I Габсбурга, кто и прибрал Чехию и частично Венгрию под названием Королевская Венгрия.

NB-223: империя Габсбургов (1526-1918) стояла в *Европейском гамма-цикле* в вилке *Лютеранского стыка* и *Сараевского стыка: 1517-1913*.

В 1-й половине *Европейского гамма-цикла* были две империи Габсбургов, австрийская и испанская, ибо испанские Габсбурги (1516-1700) заняли половину гамма-цикла: полтора звена: *1517-1715*, с полуэпохальным отступом ***(1699**-1715)*, занятым Войной за испанское наследство: 1701-14.

От братьев Карла V и Фердинанда I пошли две ветви Габсбургов: испанская и австрийская. Испанские Габсбурги правили Испанской империей, включавшей Испанию, Бургундские Нидерланды, пол-Италии и колонии в Америке. Австрийские Габсбурги правили многонациональной Австрийской империей с центром в Вене, а также Священной Римской империей после Карла V.

Поэлементный расклад императорской эстафеты Габсбургов в декаэпохе: *1451-1789:*
Эпоха + эпоха + эпоха + 0 + эпоха + 0 + период + эпоха + эпоха.
(0 — эпохальная брешь).

NB-224: три эпохальных императора Священной Римской империи в трех эпохах:
Фридрих III — Максимилиан I — Карл V, Габсбурги:
1452-93-1519-56:
Эпоха Войны Роз + Колумбова эпоха + Лютеранская эпоха:
1451-84-1517-50.

NB-225: Рудольф II Габсбург (1576-1612) — эпохальный император Австрии и Священной Римской империи в *Эпохе Генриха Великого: 1583-1616.*

NB-226: Леопольд I Габсбург (1658-1705) — биэпохальный император Австрии и Священной Римской империи в *Периоде Короля-солнце: 1649-1715.*

NB-227: Карл VI Габсбург и дочь его Мария-Терезия Габсбург (1711-40-80) — пара эпохальных императоров Австрии и Первого Рейха в эпохах *Периода Просвещения: Эпоха Прагматической санкции + Эпоха Фридриха Великого: 1715-48-81*.

Длина правильного ряда: 6 эпох + период = 8 эпох из 10-ти: 80%.

1-я эпохальная брешь в ряду, то есть деформация эстафетного ряда в размере эпохи, наблюдается в *Эпохе Контрреформации (1550-83)* в лице двух императоров (1556-76), затиснутых между эпохальным Карлом V и эпохальным Рудольфом II.

2-я эпохальная брешь (1612-58) окаймляет *а-Эпоху Тридцатилетней войны (1616-49)* и вмещает трех императоров, криво вписанных в эпоху.

Правящая императрица Мария-Терезия — последняя из чистокровных Габсбургов на венском троне. Муж и соправитель Марии-Терезии Франц-Стефан Лотарингский, родоначальник Габсбургов-Лотарингских, — император-консорт (1745-65) в 1-й фазе *(1748-**65**) Эпохи Фридриха Великого*.

NB-228: Франц I (1792-1835) и Франц-Иосиф (1848-1916) — **звеньевая пара биэпохальных императоров** Австрии в периодах *Концертного звена: 1781-1847-1913*.

Это структурный аналог звеньевой пары Людовиков XIV-XV, но смазанный разрывом величиной в микроцикл: *1836-47*.

Франц-Иосиф (1848-1916) строго вписался в *Викторианский период: 1847-1913*.

Франц I (1792-1835) отцентрован в *Периоде Промпереворота (1789-1847)* **с симметричными микроцикловыми отступами вовнутрь**: *1781-92* и *1836-47*.

Микроцикл *1836-47*, разделяющий пару, занял Фердинанд I (1835-1848), а микроцикл *1781-92* между Марией-Терезией и Францем I занял в основном Иосиф II (1780-90).

Для сравнения: ряд королей Шотландии из Данкельдской династии:

NB-229: Давид I Святой — Вильгельм I Лев — Александр II — Александр III:

1124-53 # 65-1214-49-86:

Эпоха + параэпоха + эпоха + эпоха:

1121-54-1220-53-86.

Идеальная разверстка, кабы не разрыв: 1153-65. Это микроцикл: *1154-65*. А в микроцикле — Малькольм IV (1153-65), так же как Фердинанд I (1835-1848) — в микроцикле *1836-47*, разорвавшем звеньевую пару Франца I и Франца-Иосифа.

Стало быть, ***биэпохальное правление может урезаться в α-периоде или параэпериоде микроцикловым отступом и при этом вписываться в правильный ряд***. Не редкий случай и то, что Франц I отцентрован в α-периоде с микроцикловыми отступами вовнутрь. Аналогичные факты:

NB-230: Иван III Великий (1462-1505) — биэпохальный великий князь Московский, отцентрованный во *Флорентийском периоде: 1451-1517*, **с микроцикловыми отступами вовнутрь**: *1451-62* и *1506-17*.

NB-231: Карл Великий (768-814) — биэпохальный король Франкского королевства и с 800 император Каролингской империи, отцентрованный в *Параэпериоде Карла Великого: 758-824*, **с микроцикловыми отступами вовнутрь**: *758-769* и *813-824*.

NB-232: другой вариант разверстки периодических правлений: Виктория (1837-1901) — биэпохальная королева Великобритании в *Викторианском периоде: 1847-1913*, с микроцикловыми отступами от альфа-границ периода, сонаправленными в прошлое: *1836-47* и *1902-13*.

Что касается испанских Габсбургов:

NB-233: идеальный ряд королей Испании в гептаэпохе: *1517-1748*:

Карл V Габсбург — (Филипп II Благоразумный Габсбург — Филипп III Благочестивый Габсбург) — (Филипп IV Великий Габсбург — Карл II Околдованный Габсбург — Филипп V Бурбон):

1516-56 + (1556-98-1621) + (1621-65-1700-46):

Эпоха + (полувек + пол-эпохи) + (полувек + параэпоха + полувек):

*1517-50 + (1550-**1600**-16) + (1616-**66-99**-1748)*.

Французские Бурбоны активно женились с испанскими Габсбургами и в результате заполучили корону Испании: 1700. Дочь Генриха IV Великого Изабелла Бурбон вышла за короля Испании Филиппа IV Габсбурга и родила королеву Франции Марию-Терезию Габсбург, жену Людовика XIV Короля-солнце, а самого Короля-солнце родила Анна Габсбург, жена короля Франции Людовика XIII Справедливого, дочь короля Испании Филиппа III Габсбурга. В пятом поколении от Генриха Великого свадебный путь привел Бурбонов в Мадрид. Дело, однако, не обошлось без классической европейской войны за наследство.

Силуэт 2. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ РУБЕЖ: 1715

NB-234: Война за испанское наследство (1701-14) и Северная война (1700-21) синхронизированы во 2-й фазе *(**1699**-1715) Эпохи Петра Великого*, с привязкой Утрехтского мира (1714) и Ништадтского мира (1721) к *Просветительскому рубежу (1715)*, структурному центру *Европейского цикла* и *Вестфальского звена*: вооруженная коррекция Вестфальской системы строго отцентрована во времени работы Вестфальской системы, то есть в *Вестфальском звене*, разбивая историческое время на до и после Утрехтского мира, признавшего Испанию за Бурбонами, и Ништадтского мира, в год которого как резюме Северной войны провозглашена Российская империя и вошла силой в концерт великих держав, куда свадебным путем уже не вошли бы даже Габсбурги.

NB-235: Российская империя (1721-1917), рожденная в горниле Северной войны и реформ Петра Великого и погибшая в пожаре 1-й мировой войны и 2-й русской революции, — **двухвековая система**, вписанная строго в **полтора звена**: *1715-1913*: 2-я половина *Европейского гамма-цикла*.

В числе основных принципов Вестфальской системы историки выделяют принцип баланса сил. Это что-то вроде паритета силовых возможностей ведущих держав, вы-

ступавших в одной весовой категории и норовивших всемерно ослабить друг дружку, проводя политику баланса сил. Как и прежде, одни блокировались против других и протыкали мечом вздувавшиеся политические пузыри, как правило, в порядке дележки династических наследств, но в *Вестфальском звене* участники войн за наследства старались держаться в рамках приличий, прописанных в Вестфальской системе международных отношений. Это немалый прогресс относительно средневековых и религиозных войн. Вестфальский принцип баланса сил регулировал длину клыков и умерял аппетиты хищников. Это не ново в джунглях, нов был способ регулировки размера клыков и аппетитов посредством международного права в виде 1-й системы МО. Осталось установить безусловный примат права над законами джунглей. Это заставляет ждать себя доселе.

В *Вестфальском звене* был вестфальский концерт. В 1-й половине звена, то есть в *Периоде Короля-солнце*, на роль первой скрипки весь период заявлялся Людовик XIV Король-солнце, а остальной концерт реагировал по принципу баланса сил на перегрев 1-й системы МО. «Государство — это я!» — сказал Король-солнце, а если он это не сам сказал, то лучше не скажешь за него. На *Вестфальском стыке (1649)*, когда Король-солнце был маленьким и не столь ярким, Париж сотрясла смута под названием Фронда: 1648-53. Среди фрондеров затесался Ларошфуко и сказал: «Герои отличаются от остальных людей только большим тщеславием». Вот против таких героев и появилась Вестфальская система МО: 1648. Найдите автора изречения в этом идеальном ряду:

NB-236: Франсуа V — Франсуа VI — Франсуа VII (1622-50-80-1714) — три эпохальных герцога де Ла Рошфуко из трех поколений по прямой от отца к сыну в триаде эпох: *1616-49-82-1715.*

В *Периоде Короля-солнце (1649-1715)* было два солнца, имея в виду одинаковый политический вес: король Франции Людовик XIV Бурбон (1643-1715) и император Австрии и Первого Рейха Леопольд I Габсбург (1658-1705). Казалось бы, блеск звездной системы из двух звезд должен усиливаться, складываясь из светимости обеих, но в политическом мире все наоборот: звезды вестфальского концерта, а потом и концерта *Концертного звена*, не усиливали, а погашали друг дружку, в силу принципа баланса сил, и никто в концерте не жалел денег и солдат, чтоб затемнить других до некоторой тусклости, устраивающей весь концерт. Политической светимостью, соизмеримой с светлейшими Габсбургами и Бурбонами, обладала особливая Англия. В *Эпохе Петра Великого (1682-1715)* Петр Великий (1682-1725) зажег романовскую звезду на периферии Европы. В *Эпохе Фридриха Великого (1748-81)* Фридрих Великий (1740-86) зажег гогенцоллернскую звезду в Пруссии. В финале *Вестфальского звена* сформировался хрестоматийный концерт из пяти первых скрипок и гравитационных центров Weltpolitik: Англия — Франция — Австрия — Россия — Пруссия.

По центру *Эпохи реставрации Стюартов (1666)* умер король Испании Филипп IV Габсбург: 1665. Король-солнце расценил смерть тестя как казус белли, имея целью отобрать у испанских Габсбургов приданое Марии Богатой Валуа, то есть Испанские Нидерланды. 1-я экспансия Короля-солнце вошла в историю под названием Деволюционной войны: 1667-68. Полководцы Короля-солнце Тюррен и Великий Конде принялись с военным искусством наводить страх и ужас в окрестностях французского абсолютизма. В разгар Фронды Великий Конде, прозванный так за военные таланты, передрался с бурбонской родней и переметнулся в испанский стан, но был прощен Королем-солнце по-родственному. Принцы крови Бурбоны-Конде пошли от дяди Генриха Великого и выстроились всей династией в девяти поколениях в идеальный эстафетный ряд длиной 8,5 эпохи: *1550-1831*:

NB-237: (Людовик I — Генрих I) — Генрих II — (Людовик II Великий Конде — Генрих III — Людовик IV) — Людовик V, Бурбоны-Конде:

(1546-69-88) + 1588-1646 + (1646-86-1709-40) + 1740-1818:

(Пол-эпохи + пол-эпохи) + период + (эпоха + эпоха + эпоха) + параперiод:

*(1550-**67**-83) + 1583-1649 + (1649-82-1715-48) + 1748-1814.*

Эстафету Конде замкнул Людовик VI Бурбон-Конде (1818-30) в *Фазе Реставрации (1814-**31**) Эпохи Меттерниха.* Эстафета пресеклась, потому как сын этого последнего, широко известный под именем герцога Энгиенского, был казнен Наполеоном: 1804.

Ощутив всплеск солнечной активности, Англия и Голландия, дравшиеся меж собой в 1665-67, замирились и сложились в Тройственный союз заодно со Швецией, пребывавшей в великодержавном зените в *Периоде Короля-солнце* до Полтавы: 1709. Сработал принцип баланса сил. Коалиция предъявила Королю-солнце сдерживающий ультиматум. Король-солнце покамест умерил аппетит, затаив нехорошие чувства к неблагодарной Голландии, потому как считал, что та отбилась от испанских Габсбургов в Восьмидесятилетней войне благодаря союзу с Бурбонами на франко-шведском этапе Тридцатилетней войны.

NB-238: Восьмидесятилетняя война Голландской республики за независимость (1568-1648) затянулась на две с половиной эпохи, по уравнению: *Фаза нидерландской революции (**1567**-83) + α-Период первых революций (1583-1649)* = 2,5 эпохи: ***1567**-1649.*

NB-239: Мориц Оранский и Фридрих-Генрих Оранский (1584-1625-47) — эпохальные штатгальтеры Голландской республики времен Восьмидесятилетней войны в эпохах *Периода первых революций: 1583-1616-49.*

А возникла Голландская республика, в пику тотальной и абсолютной монархии, так. В 1566, строго по центру *Эпохи Контрреформации (1567)*, во Фландрии разразилось Иконоборческое восстание, выражавшееся в погромах церквей и монастырей кальвинистами. Таково было начало нидерландской революции, расцениваемой историками как 1-я социальная революция в Европе. Король Испании Филипп II Габсбург послал герцога Альбу усмирить Нидерланды. Альба организовал «Кровавый совет» и навел террор. В 1572 гёзы подняли 2-е восстание. Северные провинции отложились от Испании и выбрали своим штатгальтером Вильгельма I Молчаливого, родоначальника Оранской династии, царствующей поныне в Нидерландах. Дата провозглашения Голландской республики — 1581.

NB-240: от Иконоборческого восстания до провозглашения Голландской республики (1566-81) — это время нидерландской революции как время рождения Голландской республики: 2-я фаза *Эпохи Контрреформации: Фаза нидерландской революции (**1567**-83)*, прилегающая со стороны прошлого к *Нидерландскому ультрарубежу (1583)*, стартовой границе финального 396-летнего квартала *Христианской α-эры*, именуемого *Капиталистическим кварталом* в таблице 1: *1583-1979*.

NB-241: 1-й период *Капиталистического квартала — Период первых революций: 1583-1649:* от провозглашения Голландской республики до провозглашения Английской республики: 1581-1649.

NB-242: время существования Голландской республики, считая от провозглашения ее до Батавской революции (1581-1785), — полтора звена в вилке *Нидерландского ультрарубежа* и *Стыка французской революции: 1583-1781*: бивек XVII-XVIII: *Барочный полуквартал:* 1-я половина *Капиталистического квартала*.

А началась история Голландии в виде Голландского графства Герульфингов.

NB-243: двухвековой идеальный ряд графов Голландии из династии Герульфингов: *1055-1253*: (Дирк V — Флорис II — Дирк VI — Флорис III) — (Дирк VII — Виллем I) — (Флорис IV — Виллем II):

(1061-91-1122-57-90) + (1190-1203-22) + (1222-34-56):

(Эпоха + эпоха + эпоха + эпоха) + (пол-эпохи + пол-эпохи) + (пол-эпохи + пол-эпохи):

*(1055-88-1121-54-87) + (1187-**1204**-20) + (1220-**37**-53).*

Великодержавный триумф Короля-солнце — Голландская война: 1672-78. Голландская республика балансировала на грани коллапса. Штатгальтер Вильгельм III Оранский открыл шлюзы, не видя другого способа остановить нашествие французов. Найдите троих из четверых упомянутых штатгальтеров в шикарном, с точки зрения точной теории времени, трехвековом эстафетном ряду принцев Оранских: *1550-1847*:

NB-244: (Вильгельм I Молчаливый — Филипп-Вильгельм — Фридрих-Генрих) — (Вильгельм III, король Англии с 1689, — Иоганн-Вильгельм-Фризо) — (Вильгельм IV — Вильгельм V — Виллем I, король Нидерландов с 1815):

(1544-84-1618 # 25-47) + (1650-1702-11) + (1711-51-1806-40):

(Эпоха + эпоха + эпоха) + (полувек + пол-эпохи) + (эпоха + параперiод + эпоха):

*(1550-83-1616-49) + (1649-**99**-1715) + (1715-48-1814-47).*

И поглядите, кто в конце оранской эстафеты:

NB-245: Юлиана и Беатрикс (1948-80-2013) — идеально эпохальные, с точки зрения точной теории времени, королевы Нидерландов в *Эпохе Холодной войны* и *Эпохе НТР-2: 1946-79-2012.*

Оранская династия ответвилась в лице Вильгельма Молчаливого от Оттоновской ветви династии Нассау, а в эстафете старшей Вальрамской ветви Нассау вырисовался, смотрите, какой ряд:

NB-246: 11 графов и князей Нассау-Вайльбурга из 11-ти поколений в 11-ти эпохах подряд без разрывов в ряду: *1484-1847*:

Людвиг I — Филипп III — Альберт — Людвиг II — Эрнст-Казимир — Фридрих — Иоганн-Эрнст — Карл-Август — Карл-Кристиан — Фридрих-Вильгельм — Вильгельм:

1492-1523-59-93-1625-55-75-1719-53-88-1816-39:

Эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха:

1484-1517-50-83-1616-49-82-1715-48-81-1814-47.

Логически очевидна формула: **11 правителей − 11 эпох**. Но, в соответствии с определением эпохальных правлений, найдите одну-единственную погрешность в ряду. Вот она в точке 1593: микроцикловой сдвиг: *1583-94*.

Король-солнце захватил Франш-Конте, Лотарингию, Фландрию. Должен был сработать принцип баланса сил. По центру *Периода Короля-солнце*, на эпохальном *Ньютоновском стыке (1682)*, когда Король-солнце был в зените, сложился антифранцузский Великий альянс: Австрия + Испания + Швеция + Бавария + Англия + Голландия: 1686. Король-солнце не испугался угрозы затмения и развязал Войну за пфальцское наследство. В небольшом государстве на Рейне, называвшемся Курпфальц, пресеклась Пфальц-Зиммернская ветвь Виттельсбахов в лице курфюрста Карла II Виттельсбаха, а сестра умершего Елизавета-Шарлотта Пфальцская была замужем за Филиппом Орлеанским, братом Короля-солнце. Король-солнце расценил это как казус белли и оккупировал Курпфальц: 1688. За пфальцских Виттельсбахов вступился Великий альянс, возникший для защиты Вестфальской системы от перегрева, создаваемого Королем-солнце. Война за пфальцское наследство тянулась девять лет в маневрах и осадах: 1688-97. Дело кончилось статус кво антэ бэллум в пользу пфальцских Виттельсбахов. Это была прелюдия к Войне за испанское наследство. Доживал последние годы Карл II Околдованный, последний Габсбург на троне Испании.

Четыре брата Карла Околдованного скончались в детстве, а сам он оправдывал прозвище как несчастная жертва династического инбридинга, то есть близкородственных браков. Вопрос, кто унаследует корону Испании по смерти бесплодного Карла II Околдованного, очень беспокоил весь вестфальский концерт и имел сначала три возможных ответа в лице трех законных кандидатур. Это, во-первых, император Австрии и Первого Рейха Леопольд I Габсбург, а во-вторых, наследник французского престола Людовик Великий Дофин, сын Короля-солнце, племянник Карла II Околдованного, рожденный женой Короля-солнце Марией-Терезией Габсбург, сестрой Карла Околдованного. Все боялись, что Испанская империя сольется с Австрийской империей Габсбургов (по 1-му варианту) или, того не лучше, станет вотчиной Бурбонов (по 2-му варианту). По ходу Войны за пфальцское наследство вестфальский концерт принял компромиссный вариант в лице третьего кандидата, в чью пользу составил свое первое завещание Карл II Околдованный, а третьим кандидатом был маленький принц Иосиф-Фердинанд Баварский, сын курфюрста Баварии Максимилиана II Виттельсбаха, рожденный Марией-Антонией Габсбург, дочерью императора Леопольда I Габсбурга и сестрой Карла II Околдованного. Но маленький принц Иосиф-Фердинанд Виттельсбах вдруг умер от оспы: 1699. Баварский вариант отпал, заново закипели страсти вокруг неопределенности с испанским наследством. В Мадриде верх взяла профранцузская партия. Карл II Околдованный составил завещание в пользу внука Короля-солнце по имени Филипп и умер: 1700.

Внук Короля-солнце Филипп стремглав очутился в Мадриде и занял опустевший трон испанских Габсбургов. Король-солнце объявил, что Пиренеев больше нет. Великий альянс принялся устраивать Королю-солнце затмение и поставил звезду на грань капитуляции, имея для того Мальборо и Евгения Савойского, рожденного племянницей кардинала Мазарини Олимпией, отставной фавориткой Короля-солнце и даже претенденткой в невесты Короля-солнце молитвами дядюшки. Мать Короля-солнце Анна Габсбург изгнала худородную Олимпию из Парижа, а Мазарини пристроил племянницу в Суассонскую ветвь Савойской династии, откуда и вышел Евгений Савойский делать Королю-солнце затмение. А главная, между прочим, ветвь Савойской династии — Кариньянская, ведшая на трон Италии на волне Рисорджименто:

NB-247: великолепный сверхдолгий ряд князей Кариньяна, королей Сардинского королевства с 1831 и королей Италии с 1861 в 330-летней декаэпохе: *1616-1946*:

(Томас — Эммануил-Филиберт — Виктор-Амадей I — Луи-Виктор) — (Карл-Эммануил — Карл-Альберт) — Виктор-Эммануил II Порядочный король — (Умберто I — Виктор-Эммануил III):

(1620-56-1709-41-78) # (1780-1800-49) + 1849-78 + (1878-1900-46):
(Эпоха + период + эпоха + эпоха) + (пол-эпохи + полувек) + эпоха + (пол-эпохи + полувек):
*(1616-49-1715-48-81) + (1781-**98**-1847) + 1847-80 + (1880-**97**-1946)*

Под конец Войны за испанское наследство, насыпавшей немалый холм в полмиллиона черепов в картину Верещагина «Апофеоз войны», антифранцузский альянс истощился и раскололся. Когда все истощены до невозможности мечом шевельнуть, тогда наступает идеальное равновесие в концерте по принципу баланса сил и воцаряется мир. Антифранцузский альянс не дожал Короля-солнце и признал Филиппа V Бурбона королем Испании, но заставил его отказаться за себя и потомство от прав на французский престол, чтоб не возникло единой испано-французской империи Бурбонов. Так Бурбоны взяли исторический реванш у Габсбургов, прибрав Испанию, где царствуют поныне с перерывом, который занял Франсиско Франко.

NB-248: Франко (1939-75) — эпохальный диктатор Испании в *Эпохе Холодной войны: 1946-79*.

Силуэт 3. ВЕНГЕРСКАЯ СИММЕТРИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ α-ЦИКЛЕ: 1451-1979

NB-249: разверстка истории Венгрии в *Европейском α-цикле: 1451-1979*:

(Венгрия Хуньяди + ягеллонская Венгрия) + (османская Венгрия + габсбургская Венгрия) + (хортистская Венгрия + советская Венгрия):

1446 — 1490 — 1526 — 1699 — 1918 — 1944 — 1989:

(Эпоха + эпоха) + (полтора звена + полтора звена) + (эпоха + эпоха) = α-цикл:

1451 — 1484 — 1517 — 1715 — 1913 — 1946 — 1979:

Структурная симметрия альфа-цикла, выделенная скобками (см. табл. 1):

Флорентийский период + Европейский γ-цикл + Советский период (1451-1517-1913-79) = Европейский α-цикл.

NB-250: симметричный расклад истории Венгрии по эпохам *Флорентийского периода:* Матьяш Хуньяди + Уласло II Ягеллон (1458-90-1516) — эпохальные короли Венгрии в *Эпохе Войны Роз* и *Колумбовой эпохе*, составляющих *Флорентийский период: 1451-84-1517*.

NB-251: симметричный расклад истории Венгрии по половинам *Европейского γ-цикла:* полтора звена + полтора звена: *1517-1715-1913:* Венгрия в составе империи Османов + Венгрия в составе империи Габсбургов: 1526-1699-1918, с полуэпохальным отступом: ***1699****-1715*.

Когда Османы завоевали Болгарию и Сербию, между Австрией и Османской империей остался единственный буфер — Венгрия. Битва при Мохаче (1526), привязанная к *Лютеранскому стыку (1517)*, сократила буферную зону до минимума. В час Мохача пало Венгерское королевство и возникла османская Венгрия, за вычетом Трансильвании и королевской Венгрии, удержанной Габсбургами как буфер. По факту гибели короля Венгрии и Чехии Лайоша II Ягеллона при Мохаче австрийские Габсбурги заполучили права на Венгрию через Анну Ягеллонку, сестру погибшего короля-героя, и с паузой в полтора звена реализовали права на всю Венгрию по итогам Великой турецкой войны (1683-1700), занявшей 1-ю фазу *(1682-**99**) Эпохи Петра Великого*. По итогам этой войны вся Венгрия вошла в состав империи Габсбургов и вышла оттуда в момент коллапса империи Габсбургов, организованного ими самими: 1918.

NB-252: симметричный расклад истории Венгрии по эпохам *Советского периода:* Венгрия эпохального диктатора Хорти (1920-44) + советская Венгрия (1949-89) в *Эпохе мировых войн* и *Эпохе Холодной войны*, составляющих *Советский период: 1913-46-79*.

Если вы видите такую симметрию, вы видите структуру времени.

Силуэт 4. КАСТИЛИЯ

NB-253: великолепный, с точки зрения точной теории времени, эстафетный ряд королей Кастилии из Бургундской династии кастильских Анскаридов, что родом из Франш-Конте (немецкой части Бургундии), длиной в бизвено: *1121-1385*:

(Альфонсо VII Император — Альфонсо VIII Благородный) — (Фернандо III Святой — Альфонсо X Мудрый) — (Фернандо IV — Альфонсо XI Справедливый) — (Педро I Жестокий — Энрике II Братоубийца):

(1126-57-1214) # (1217-52-84) # (1295-1312-50) + (1350-69-79):

(Эпоха + параперiод) # (эпоха + эпоха) # (эпоха + эпоха) + (пол-эпохи + пол-эпохи):

*(1121-54-1220) + (1220-53-86) + (1286-1319-52) + (1352-**69**-85)*.

NB-254: во 2-м разрыве (#) на *Стыке Сицилийской вечери (1286)* — Санчо IV Бравый (1284-95), в чьем лице случился сдвиг поколений, в результате чего число эпох эстафеты — 8, а поколений — 9, но бывает так и в данном случае как раз и сошлось так, что по стороны эпохального стыка *(1286)*, к коему привязан сдвиг поколений, число эпох равно числу поколений за вычетом выпавшего на стыке поколения: 5 поколений в 5-ти эпохах *(1121-1286)* и 3 поколения в 3-х эпохах *(1286-1385)*; это один из нюансов выполнения закона равенства числа эпох и поколений в династических эстафетах.

Бизвено *(1121-1385)* содержит старшую ветвь династии от основания до пресечения в лице Педро Жестокого: 1126-1379. Педро I Жестокий, он же Педро I Справедливый, и Энрике II Братоубийца, он же Энрике II Милостивый, — это сыновья Альфонсо XI Справедливого: один — от законной жены Марии Португальской, второй — от любовницы Элеоноры, родившей десять бастардов против единственного законного наследника Педро. «Печаль обуревала лик прекрасный», — сказал Камоэнс в «Лузиадах» о королеве Кастилии Марии Португальской. Педро I Жестокий отмстил за печали матери, казнив отцовскую любовницу. Сын казненной граф Трастамара Энрике сверг брата Педро и основал Трастамарскую ветвь кастильских Анскаридов.

От кастильских Трастамара ответвились и воцарились в Арагоне арагонские Трастамара, и эстафеты обеих династий замкнулись в браке Католических королей Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской, и замкнулся *Второй средневековый бета-цикл: 857-1517*:

NB-255: на старте *Второго средневекового цикла* возникли на севере Испании графство Арагон (802) и графство Кастилия (850), превратившиеся в эволюционном итоге цикла в Испанскую империю Католических королей, унаследованную дочерью их Хуаной Безумной де-юре и сыном ее Карлом V Габсбургом де-факто: 1516.

Силуэт 5. АРАГОН

NB-256: великолепный, с точки зрения точной теории времени, эстафетный ряд королей Арагона из Барселонской династии (7 эпох) и Трастамарской династии (3 эпохи) по стороны бреши в правильном ряду размером в эпоху (0):

(Альфонсо II Целомудренный — Педро II Католик — Хайме I Завоеватель — Хайме II Справедливый) — (Альфонсо IV Кроткий — Педро IV Церемонный) — (0) — (Альфонсо V Великодушный — Хуан II Великий — Фердинанд II Католик):

(1162-96-1213-76 # 91-1327) + (1327-36-87) + (0) + (1416-58-79-1516):

(Эпоха + эпоха + параперiод + эпоха) + (пол-эпохи + полувек) + (0) + (эпоха + эпоха + эпоха):

*(1154-87-1220-86-1319) + (1319-**36**-85)* + (0) + *1418-51-84-1517*.

Арагон — ровесник Наварры, возникший по соседству с оной в составе Испанской марки, созданной Карлом Великим как буфер между Каролингской империей и Кордовским халифатом, созданным Абдаррахманом I Омейядом (758-788), эпохальным эмиром Кордовы в *1-й эпохе Карла Великого: 758-791*.

Силуэт 6. КОРДОВА

NB-257: праведный халифат со столицей в Медине при четырех праведных халифах (632-661) был в *Эпохе праведных халифов: 626-659*.

Праведные халифы, сподвижники пророка Мухаммеда, создавшие исламскую империю, — это последовательно Абу Бакр, Омар, Усман и Али: 632-634-644-656-661. 3-й праведный халиф Усман — из рода Омейядов. Троюродный брат Усмана по имени Муавия не признал халифом Али, победил в междоусобице и основал халифат Омейядов со столицей в Дамаске: 661: *Дамасский рубеж: 659*: структурный центр *Раннесредневекового цикла*.

NB-258: халифат Омейядов со столицей в Дамаске (661-750) — **вековая система,** занявшая *Омейядский квазивек: 659-758*.

Омейядов свергли Аббасиды и основали халифат Аббасидов со столицей в Багдаде, вырезав всех Омейядов, кроме Абдаррахмана, убежавшего в Испанию и основавшего там династию кордовских Омейядов.

NB-258: шесть эмиров и с 926 халифов Кордовы из династии кордовских Омейядов в шести эпохах двух квазивеков: *758-956*: Абдаррахман I — Хакам I — Абдаррахман II — Мухаммед I — Абдаллах — Абдаррахман III:

758-788 # 796-822-852-886 # 888-912-961:
Эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха:
758-791-824-857-890-923-956.

Определению эпохального правления отвечают только первые четверо из шестерых, ввиду микроциклового сдвига *(912-923)*, но логически очевидна формула: **шесть правителей – шесть эпох**.

NB-259: ряд продолжен финишной биэпохальной парой халифов в параперiоде: Хакам II и Хишам II: 961-976-1013: фигура №5-b: пол-эпохи + полувек: *956-**973**-1022*.

При малолетнем Хишаме II власть в Кордове захватил знаменитый хаджиб Альмансор (Победитель) и правил до своей смерти, ставшей праздником на христианском севере Испании: 1002. Альмансор обнулил первичную Реконкисту, совершив 57 походов против христианских государств Испании. Альмансор взял и разрушил Барселону, столицу Каталонии и Барселонского графства, взял и разрушил Леон, столицу королевства Леон, взял и разрушил Памплону, столицу королевства Наварра. Христианская Испания была повержена и обложена данью. В гареме Альмансора были: дочь короля Наварры, дочь короля Леона, дочь графа Кастилии. Высший пик Центральной Кольдильеры называется Альмансор. При Альмансоре Кордовский халифат достиг вершины могущества и рухнул с вершины по смерти Альмансора, рассыпавшись на куски, называемые тайфой.

Силуэт 7. НАВАРРА

NB-260: Иньиго Ариста (824-852) — эпохальный 1-й король Наварры в *Верденской эпохе: 824-857*.

Иньиго по прозвищу Скала (Ариста) отложился от Каролингов, разбил карательный отряд в 3-й Ронсевальской битве и провозгласил королевство Памплона, оно же Наварра.

NB-261: вековой ряд королей Наварры, на финише коего Наварра стала французской: *1154-1253*: Санчо VI Мудрый Хименес — Санчо VII Сильный Хименес — Теобальдо I Великий Тибальдин:

1150-94 + (1194-1234-53):
Эпоха + (полувек + пол-эпохи):
*1154-87 + (1187-**123**7-53)*.

Санчо VII Сильный — это последний король Наварры из династии Хименес. Санчо VII Сильный — национальный герой Испании. Санчо VII Сильный решил исход главной битвы Реконкисты при Лас-Навас-де-Толосе: 1212. Предание гласит, что в решающую минуту сражения правитель империи Альмохадов Насир сидел в шатре и читал коран. Санчо VII Сильный на коне прорвался к шатру и учинил такой переполох в тылах неприятеля, что Насир бежал без оглядки и добежал до Марракеша без остановки.

NB-262: Альмохады (1121-1269) — **звеньевая система** в *Звене Штауфенов: 1121-1253*, с добавкой эпо-фазы-16,5 на финише: *1253-**70***.

NB-263: Абдул-Мумин (1130-63) — эпохальный эмир и создатель государства Альмохадов в *Эпохе императрицы Матильды: 1121-54*.

Абдул-Мумин завоевал Магриб и основал Крепость победы: Рабат (столица Марокко). Абдул-Мумин ворвался в Испанию и произвел откат Реконкисты, набравшей обороты против захиревших Альморавидов, предшественников Альмохадов.

NB-264: империя Альмохадов была в зените в парапериоде, окольцовывающем *Константинопольский рубеж (1187)* и отцентрованном в звене Альмохадов: *1154-1220*: это от вторжения Альмохадов в Испанию до битвы при Лас-Навас-де-Толосе: 1151-1212.

У героя Реконкисты Санчо VII Сильного не было детей, но были две сестры: Беренгария и Бланка. Беренгария вышла за Ричарда I Львиное сердце. Местом свадьбы планировалась Святая земля, куда Ричард направлялся бить Саладина, а заодно жениться. Жених плыл на одном корабле, а невеста на другом. Эскадру невесты разметал шторм. Из четырех кораблей недосчитались трех, но корабль с невестой уцелел и причалил к Кипру, где засел некий Исаак Комнин, каким-то боком относившийся к Комнинам. Этот Комнин имел дерзость захватить в плен невесту Львиного сердца, за что сам был схвачен, закован в цепи и отправлен куда надо, с конфискацией имущества. Решив не затягивать с женитьбой, Ричард справил свадьбу на Кипре, и больше Беренгария его не видела. Беренгария Наваррская — единственная королева Англии, не бывавшая в Англии. А сестра ее Бланка Наваррская вышла за графа Шампани Тибо III из династии Тибальдинов и родила Тибо IV Шампанского, унаследовавшего Наварру под именем: Теобальдо I Великий. Второе прозвище Теобальдо I — Трубадур. Этот Трубадур — потомок того Трубадура, потому как он правнук Элеоноры Аквитанской, внучки Гильома IX Трубадура Аквитанского, отца поэзии. Начиная с Тибальдинов, в Наварре царствовали французские династии, в основном Капетинги.

NB-265: эстафетный ряд восьми королей Наварры в восьми эпохах *Кольца Возрождения: 1319-1583:* Иоанна II — Карл II Злой — Карл III Благородный — Бланка I — Хуан II Великий — Екатерина Фуаская — Генрих II — Иоанна III:

1328-49-87-1425-41-79 # 83-1517-55-72:
Эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха:
1319-52-85-1418-51-84-1517-50-83.

В ряду два микроцикловых сдвига (*1440-51* и *1572-83*), но логически очевидна формула: **восемь правителей − восемь эпох**.

Ряд королей Наварры замкнул вне *Кольца Возрождения* Генрих III Наваррский (1572-1610), он же король Франции Генрих IV Великий (1589-1610) в *Эпохе Генриха Великого: 1583-1616*.

Одна Жанна Наваррская (Иоанна I) родила Проклятых королей, другая Жанна Наваррская (Иоанна III) родила Генриха Великого. Между Проклятыми королями и Генрихом Великим лежит *Кольцо Возрождения (1319-1583)*, которое во Франции есть кольцо Валуа: 1328-1589.

Фрагмент 10. ЗВЕНО РЕФОРМАЦИИ

Расклад *Звена Реформации* на периоды и эпохи (см. табл. 1):

(1517-50 + 1550-83) + (1583-1616 + 1616-49) = 1517-1649:
Звено Реформации = Конкистадорский период + Период первых революций.
Конкистадорский период = Лютеранская эпоха + Эпоха Контрреформации.
Период первых революций = Эпоха Генриха Великого + Эпоха Тридцатилетней войны.

Силуэт 1. ЛЮТЕРАНСКАЯ ЭПОХА: 1517-50

NB-266: главные исторические лица в Европе в *Лютеранской эпохе: 1517-50:*

Мартин Лютер: от выступления до смерти: 1517-46.
Император Первого Рейха и король Испании Карл V Габсбург: 1519-56.
Король Франции Франциск I Валуа: 1515-47.
Король Англии Генрих VIII Тюдор: 1509-47.

NB-267: веховое обрамление *Лютеранской эпохи:*
Веха на стартовой альфа-границе *Лютеранской эпохи (1517)* — выступление Лютера: 1517.
Вехи у финишной альфа-границы *Лютеранской эпохи (1550)* — открытие контрреформационного Тридентского собора (1545), Шмалькаденская война, 1-я религиозная война в Европе (1546-47), Аугсбургский религиозный мир (1555).

Заслуживает внимания то обстоятельство, что в 1-й фазе *(1517-**34**) Лютеранской эпохи* веховая событийность Реформации довольно рельефно отражает структуру эпохи касательно структурного деления альфа-эпохи на микрокварталы-8,25 и полумикрокварталы-4,125.
NB-268: прорисованная вехами Реформации цепь полумикрокварталов 1-й фазы *Лютеранской α-эпохи: 1517-21-25-30-34:* выступление Лютера (1517) → Вормсский эдикт (1521) → Крестьянская война в Германии (1525) → Аугсбургское исповедание (1530) → Мюнстерская коммуна и Акт о супрематии в Англии (1534).

Силуэт 2. 1-Й ПОЛУМИКРОКВАРТАЛ ЛЮТЕРАНСКОЙ α-ЭПОХИ: 1517-21

От выступления Лютера до Вормсского эдикта: 1517-21:
Через четыре года после того, как Мартин Лютер выразил антипапский протест в виде 95-ти тезисов об индульгенциях (1517) и пошла волна несогласия во князьях Германии с политической линией Святого престола, собрался Вормсский рейхстаг (1521) под председательством католического императора Первого Рейха Карла V Габсбурга и осудил Лютера, подобно тому как Констанцский собор осудил Гуса, но Лютера не надумали просто взять и сжечь, как Гуса. Рейхстаг, не сжигая, объявил Лютера еретиком и запретил распространение лютеранства в империи. Карл V подытожил Вормсский рейхстаг Вормсским эдиктом, поставившим Лютера и лютеранство вне закона. Фридрих Саксонский спрятал Лютера, и тот занялся переводом Библии на немецкий, по примеру Виклифа.

NB-269: Фридрих III Мудрый (1486-1525) — эпохальный курфюрст Саксонии из эрнестинской ветви Веттинов в *Колумбовой эпохе (1484-1517).*

Фридрих Мудрый основал в Виттенберге университет, ставший рассадником Реформации. Там преподавали Лютер и «учитель Германии» Меланхтон. Брат Фридриха Мудрого Иоганн Твердый входил в число шести шпейерских протестантов, а сын Иоганна Твердого Иоганн-Фридрих Великодушный был среди лидеров антипапского Шмалькаденского союза.

Силуэт 3. 2-Й ПОЛУМИКРОКВАРТАЛ ЛЮТЕРАНСКОЙ α-ЭПОХИ: 1521-25

От Вормсского эдикта до Крестьянской войны в Германии: 1521-25:
Во 2-м полумикроквартале *Лютеранской α-эпохи* Реформация приняла революционно мятежный характер в верхах и низах, суля верхам секуляризацию, низам — волю. «Я-то гусь, а за мной придет лебедь», — сказал Гус и взошел на костер в год Азенкура: 1415. Лебедь пришел спустя квазивек *(1418-1517)* и не в одном экземпляре. Синхронно с проповедью Лютера в Виттенберге раздалась проповедь Цвингли в Цюрихе и откуда ни возьмись явились на волне времени и в атмосфере эпохи Цвиккауские пророки, провозвестники радикальной Реформации. Главный из них — Мюнцер. В 1521 Мюнцер прибыл в Виттенберг, колыбель Реформации. Лютер изгнал Мюнцера,

обозвав сатаной. Мюнцер обозвал Лютера виттенбергским папой и пошел в другие места громить попов как врагов евангелия и проповедовать религиозный коммунизм, поднимая народ именем Христа против замков, монастырей и всякого господства, дабы воцарилось социальное равенство и религиозное братство. «Почтенные, мудрые, благосклонные господа, друзья и любезные соседи!» — так начинается мюнцерский манифест-1525, известный как «Статейное письмо». Господам предлагалось отказаться от господства и полюбовно вступить в народное братство, а иначе им — народный бойкот: ни еды, ни питья, ни дров. Если это не революция, то что-то вроде. Историки называют это Крестьянской войной в Германии, разгоревшейся вовсю летом 1525, а в целом датируемой: 1524-26, от первых выступлений до полного подавления.

Социальный взрыв в Германии на старте Реформации вписывается в пульсарную цепь революционных потрясений в Европе, имевших мировое историческое значение и наблюдаемых как структурное клише с интервалом ударной волны, прорисовывающим ряд 132-летних звеньев: *1517 (Лютеранский стык) → 1649 (Вестфальский стык) → 1789 (Стык французской революции) → 1913 (Сараевский стык)*: **революционное начало Реформации в Германии (1525) → английская революция (1640) → французская революция (1789) → русская революция (1917)**.

Силуэт 4. 3-Й ПОЛУМИКРОКВАРТАЛ ЛЮТЕРАНСКОЙ α-ЭПОХИ: 1525-30

От Крестьянской войны до Аугсбургского вероисповедания: 1525-30:

В 1526 собрался 1-й Шпейерский рейхстаг, обсудил религиозный вопрос и приостановил действие Вормсского эдикта, пресекавшего лютеранство в империи, а в 1529 собрался 2-й Шпейерский рейхстаг и возобновил действие Вормсского эдикта, а также аннулировал право имперских князей самостийно определять религию своих подданных. Против диктата папистского большинства выразили протест 14 вольных городов империи и шесть имперских князей. От «Шпейерской протестации»-1529 происходит термин протестантизм.

В 1530 на Аугсбургском рейхстаге Меланхтон, идеолог Реформации, представил лютеранскую доктрину, сочиненную им самим, одобренную Лютером и известную как Аугсбургское исповедание: лютеранство оформилось как конфессия.

Силуэт 5. 4-Й ПОЛУМИКРОКВАРТАЛ ЛЮТЕРАНСКОЙ α-ЭПОХИ: 1530-34

От Аугсбургского исповедания до Мюнстерской коммуны и Акта о супрематии: 1530-1534:

В 1531 религиозный раскол Германии в верхах увенчался созданием Шмальканденского союза протестантских князей, а в 1534-35, по центру *Лютеранской эпохи (1534)*, крайние анабаптисты довели Реформацию до крайности в низах в виде Мюнстерской коммуны во главе с портным Иоганном Лейденским, назвавшимся царем нового Израиля. Царю Израиля не возбраняется гарем, в согласии с анабаптистской идеей радикального толка об общности жен, и портной завел себе гарем. Мюнстерский очаг религиозного коммунизма держался 14 месяцев без метастазов.

В 1534, по центру *Лютеранской эпохи (1534)*, король Англии Генрих VIII Тюдор, гарема не державший, но женившийся чаще обычного и снесший, говорят, сто тысяч голов за время своего эпохального царствования в духе еще не очень просвещенного абсолютизма, поссорился с папой, с чего-то запретившим самодержцу обновить жену. Генрих VIII Тюдор назначил самого себя главой английской церкви и велел парламенту подтвердить это Актом о супрематии: 1534. Нежданно-негаданно стан протестантизма прирос Англией, хотя Генрих VIII не был протестантом, а просто рассердился на папу. В начале *Лютеранской эпохи* Генрих VIII Тюдор печатно полемизировал с Лютером и удостоился звания «защитника веры» от папы Льва X Медичи, а Лютер обозвал короля Англии «свиньей, болваном и лжецом».

Силуэт 6. КОПЕРНИКОВСКИЙ СТЫК: 1550

Когда Коперник писал книгу «О вращении небесных тел», изданную в 1543, земные сферы вращались вокруг Карла V Габсбурга, говорившего, что над его империей никогда не заходит солнце. В *Лютеранской эпохе* самый могущественный монарх Европы Карл V Габсбург был сильно занят Итальянскими войнами, не считая турок. В конце эпохи, заключив мир в Крепи с Франциском I Валуа (1544), император взялся за кардинальное решение религиозного вопроса в Германии и разгромил Шмальканденский союз в Шмальканденской войне: 1546-47. Это 1-я религиозная война в Европе и 1-я пиррова победа католиков над протестантами. Протестантские князья Германии не думали возвращаться в лоно папства и восстановили статус кво антэ бэллум, зафик-

сированное Аугсбургским религиозным миром по формуле: «Чья страна, того и вера»: 1555. Поднявшаяся волна Контрреформации ушла в другие места, а Германия замирилась на две эпохи: параперiод: *1550-1616*.

Силуэт 7. ЭПОХА ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ: 1616-49

Историки делят Тридцатилетнюю войну на четыре этапа: чешский, датский, шведский, франко-шведский.

NB-270: чешский, датский и шведский этапы (1618-35) Тридцатилетней войны составили 1-ю фазу, а франко-шведский (1635-48) — 2-ю фазу *Эпохи Тридцатилетней войны: 1616-**33**-49*; разграничительная веха — Пражский мир: 1635.

В 1617 королем Чехии сделался имперский принц Фердинанд Габсбург, фанатичный папист, ставший вскоре императором и говоривший: «Лучше пустыня, чем страна еретиков». Император Фердинанд II Габсбург мечтал сделать Контрреформацию в Священной Римской империи и решил начать с Чехии, входившей в состав Австрийской империи Габсбургов с 1526 после Мохача в течение квазивека: *1517-1616*. А был исторический момент, когда, наоборот, Австрия входила в состав Чехии.

NB-271: три короля Чехии из **трех поколений** Пржемысловичей по прямой в **трех эпохах** века XIII: *1187-1286*:

Пржемысл-Отакар I — Вацлав I — Пржемысл-Отакар II:
1192-1230-53-78:
Эпоха + эпоха + эпоха:
1187-1220-53-86.

Ряд типично деформирован в точке 1230 микроцикловым сдвигом: *1220-31*.

Пржемысл-Отакар II создал целую империю внутри Священной Римской империи и пристегнул к Чехии Австрию, выиграв войну за наследство вымерших Бабенбергов, владевших Австрией по ту сторону *Палеологовского стыка: 1253*.

NB-272: Ричард Корнуольский Плантагенет и Рудольф I Габсбург (1257-72-91) — эпохальная пара королей Германии после Штауфенов в фазах *Эпохи Карла Анжуйского: 1253-**70**-86*.

Рудольф I Габсбург — 1-й Габсбург на троне Германии. Габсбурги были еще не в состоянии удержать корону Германии в своем династическом хозяйстве, но Рудольф I как нельзя лучше использовал свои королевские полномочия в династических целях. Рудольф I Габсбург положил конец чешскому великодержавию и положил начало великодержавию Габсбургов на базе Австрии, отобрав Австрию у Пржемысловичей в битве за Австрию у Сухих Крут, в которой погиб Пржемысл-Отакар II: 1278. История государства Габсбургов делится на до и после веховой битвы с чехами за Австрию. Прошло десять эпох: *1286-1616*. Габсбурги были на вершине могущества, а чехи были в составе империи Габсбургов и восстали против Габсбургов на почве Реформации.

Чехи проделали 2-ю пражскую дефенестрацию, то есть выбрасывание из окна, в буквальном смысле: 1618. 1-й пражской дефенестрацией начались Гуситские войны на *Азенкурском стыке (1418)* два квазивека тому назад: 1419. Тогда вылетели из окон ратуши бургомистр и горсовет на мостовую, а на сей раз были выброшены имперские наместники из окон Пражского кремля с мягкой посадкой в кучу навоза. Дефенестрация была равносильна объявлению войны Габсбургам.

Восставшая Чехия провозгласила королем Богемским курфюрста Пфальца Фридриха V Виттельсбаха, а тот не отказался. Две ветви Виттельсбахов, Баварская и Пфальцская, оказались в противоположных станах по религии. Пфальцские Виттельсбахи сразу ушли в протестантизм, а баварские Виттельсбахи превратили Баварию в цитадель католицизма и к тому же принялись жениться с австрийскими Габсбургами.

Список главных битв Тридцатилетней войны открыла битва на Белой Горе: 1620. Имперский фельдмаршал Бонавентура разгромил чехов при помощи баварцев, приведенных герцогом Баварии Максимилианом I Виттельсбахом. Чехия была задавлена к 1623. Фридрих V Пфальцский, возглавивший протестантов на 1-м этапе Тридцатилетней войны, лишился всего и эмигрировал.

В 1624 сложилась антигабсбургская коалиция. Тридцатилетнюю войну возобновил король протестантской Дании Кристиан IV. Последовал датский этап войны: 1625-29.

NB-273: Кристиан IV Ольденбург (1588-1648) — **биэпохальный король** Дании, посмотрите, как вписанный в *Период первых революций: 1583-1649*.

На датском этапе на сцену вышел Валленштейн и загнал Кристиана IV обратно в Данию. Протестанты были разгромлены вторично подчистую: 1629. Император Фер-

динанд II Габсбург был так доволен пирровой победой, что развернул обратный отъем секуляризованных церковных земель в протестантских княжествах.

NB-274: Густав II Адольф и Кристина (1611-32-54) — эпохальная пара королей Швеции в фазах *Эпохи Тридцатилетней войны: 1616-**33**-49*.

Пара замкнула эстафету Ваза в Швеции (1523-1654) длиной в *Звено Реформации: 1517-1649*.

Когда Валленштейн закончил бить Кристиана IV Ольденбурга, король Швеции Густав-Адольф Ваза по прозвищу Лев севера, заложивший основы шведского великодержавия, закончил войну с Польшей и начал 3-й этап Тридцатилетней войны: шведский: 1630-35: это бимикровек-4,125 *(1631-35)*, связывающий бета-фазы эпохи вокруг эпохального рубежа: *1633*.

NB-275: в 1632, **строго по центру эпохи, впритык к эпохальному рубежу** *(1633)*, произошла крупнейшая битва Тридцатилетней войны при Лютцене под началом двух славнейших героев Тридцатилетней войны: Валленштейна и Густава-Адольфа. Победили шведы ценой гибели своего короля-героя. Валленштейну суждено было пасть не на поле брани, а от интриг: 1634. После лютценской кульминации внутренняя религиозная война в Германии между протестантскими князьями Германии и их собственным императором завершилась Пражским миром: 1635: *Рубеж Пражского мира*, или *Лютценский рубеж: 1633*.

Пражский мир зафиксировал статус кво антэ бэллум, зафиксированное еще 2,5 эпохи тому назад Аугсбургским миром по формуле: «Чья страна, того и вера»: 1555.

Пражский мир не входил в планы кардинала Ришелье.

NB-276: Ришелье — эпохальный первый министр Франции (1624-42) в *Эпохе Тридцатилетней войны (1616-49)*, а точнее, в ядре эпохи: *1624-41*: **минимальное по размеру эпохальное правление**.

Ришелье организовал франко-шведский этап Тридцатилетней войны. Теперь протестантские князья Германии держали союз со своим императором против шведов и французов. Война шла на истощение и заглохла, истощив. В Германии истощение выражалось в уменьшении населения, говорят, на четверть: на пять миллионов немцев. Немки восполняли убыль немцев 100 лет. Пролитая кровь вдохновила дипломатическую мысль на создание, с высочайшего позволения, 1-й системы МО, Вестфальской (1648), и так всю дорогу: без моря крови и горы черепов в картину Верещагина нет того соизволения и того вдохновения.

Силуэт 8. СИНУСОИДА КОНТРРЕФОРМАЦИИ

Определения структурной синусоиды

1. Волнообразный процесс, вписанный в структуру времени с одинаковым волновым интервалом, определяется как ***правильная структурная синусоида***.

2. Правильная синусоида из трех волн реализуется по ***формуле трех волн***: **повышательная волна + понижательная волна + повышательная волна**.

3. Волнообразные исторические явления, противоречащие ходу истории по признаку необратимости хода истории, определяются как ***откатные волны***.

4. Противоположная волна, наблюдаемая после откатной волны или между откатными волнами, есть ***обратная откатная волна***; откатная волна — это, что называется, шаг в прошлое, а обратная откатная волна — шаг в будущее.

5. Правильная синусоида из двух откатных волн и одной обратной откатной волны меж ними есть ***откатная синусоида***; пример — синусоида Контрреформации.

6. Правильная синусоида размером в век или квазивек с волновым интервалом в эпоху называется ***вековой синусоидой***; примеры — вековая синусоида Столетней войны в составе *α-Паразвена Столетней войны* и вековая синусоида Контрреформации в составе *Звена Реформации*.

7. Квант времени, несущий событийную завязку правильной синусоиды, предваряя синусоиду, и равный волновому интервалу синусоиды, определяется как ***стартовая платформа синусоиды***; пример — *Лютеранская эпоха*, вводящая в *Звено Реформации* и несущая событийную завязку откатной синусоиды Контрреформации.

Расклад *Звена Реформации* по формуле вводной эпохи: *1517-50 + 1550-1649:*

Лютеранская эпоха + Квазивек контрреформационной синусоиды = Звено Реформации.

NB-277: в *Квазивеке контрреформационной синусоиды (1550-1649)*, от начала Контрреформации до Вестфальского мира (1545-1648), ***Контрреформация описала вековую откатную синусоиду с волновым интервалом в эпоху: 1-я повышательная волна + понижательная волна + 2-я повышательная волна: 1-й откат + обратный откат + 2-й откат:*** *Эпоха Контрреформации + Эпоха Генриха Великого + Эпоха Тридцатилетней войны: 1550-83-1616-1649*.

NB-278: разграничительные вехи эпохальных волн контрреформационной синусоиды: 1-я религиозная война в Европе (1546) → крах Непобедимой армады (1588) → начало Тридцатилетней войны (1618) → Вестфальский мир (1648).

По определению откатной волны, ***Контрреформация есть откат по отношению к Реформации как к необратимой исторической перемене***, коль скоро в *Лютеранской эпохе* произошел необратимый раскол Европы на католические и протестантские страны.

1-я повышательная волна Контрреформации ударила на входе в *Эпоху Контрреформации* и плотно заполнила оную, стартуя открытием Тридентского собора (1545), выработавшего программу борьбы с Реформацией, и Шмальканденской войной: 1546-47. Главным застрельщиком Контрреформации сделался полувековой король Испании Филипп II Габсбург (1556-98) по прозвищу Благоразумный от друзей и по прозвищу Кровавый от врагов, интеллигентный инквизитор, при ком насчитывают сто тысяч жертв испанской инквизиции.

1-я повышательная волна Контрреформации отхлынула у *Нидерландского ультрарубежа (1583)* в момент краха Непобедимой армады (1588) и с воцарением во Франции Генриха IV Великого (1589), затушившего гугенотский кризис.

Эпоха Генриха Великого (1583-1616) — эпоха религиозного замирения в Европе: обратный откат: понижательная волна синусоиды Контрреформации.

2-я повышательная волна Контрреформации приняла вид Тридцатилетней войны (1618-48) и слилась с ней в *Эпохе Тридцатилетней войны: 1616-49*.

Фрагмент 11. ПЯТЬ ДИНАСТИЙ РЕЙХА

Силуэт 1. ВИТТЕЛЬСБАХИ

NB-279: Оттон IV и Оттон V Рыжий Виттельсбахи (1122-56-80) — пара эпохальных пфальцграфов Баварии в *Эпохе императрицы Матильды* и *Эпохе Фридриха Барбароссы: 1121-54-87*.

В племенных герцогствах Германии, существовавших по ту сторону *Константинопольского рубежа (1187)*, императоры Первого Рейха назначали пфальцграфов, управлявших императорскими дворцами и выполнявших другие функции. Титул пфальцграфа исчез вместе с должностью, но сохранился в качестве родового титула у пфальцских Виттельсбахов, сидевших в Курпфальце, то есть в курфюршестве Пфальц, называвшемся Рейнским Пфальцем до «Золотой буллы»-1356. Когда Виттельсбахи были пфальцграфами Баварии, Баварией владели Вельфы, исторические соперники Штауфенов. В 1180 Фридрих I Барбаросса низверг герцога Баварии и Саксонии Генриха Льва Вельфа и отдал Баварское герцогство в наследственное владение Оттону Рыжему, спасшему жизнь Барбароссе в итальянском походе.

NB-280: после Оттона I Рыжего до коллапса Баварского королевства 21 поколение сформировало общую эстафету Виттельсбахов (1183-1918) длиной в 22 эпохи в вилке *Константинопольского рубежа* и *Сараевского стыка: 1187-1913*: 11 периодов: 5,5 звена.

NB-281: ряд эпохальных пфальцграфов Рейнских и, кроме первых двоих, герцогов Баварии в пяти эпохах: *1154-1319*: Конрад Штауфен — Генрих Вельф — Оттон II Светлейший Виттельсбах — Людвиг II Строгий Виттельсбах — Рудольф I Виттельсбах:

1156-95-1213 # 27-53-94-1317:
Эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха:
1154-87-1220-53-86-1319.

Конрад Штауфен — это брат Фридриха Барбароссы, а Генрих Вельф — это сын Генриха Льва, низвергнутого Барбароссой. Герцог Баварии Оттон II Светлейший Виттельсбах женился на Агнесе Вельф, дочери Генриха Вельфа, и заполучил Рейнский Пфальц: 1227.

От Рудольфа I, пятого в оном ряду, пошли пфальцские Виттельсбахи, а от младшего брата его пошли баварские Виттельсбахи, а младший брат — это Людвиг IV Виттельсбах (1314-47), эпохальный император Первого Рейха в *Эпохе Филиппа Счастливого: 1319-52*.

NB-282: от Людвига IV **14 поколений** сформировали Баварскую ветвь Виттельсба-

хов (1314-1777) длиной в **14 эпох**: 7 периодов: *1319-1781*.

NB-283: сыновья Оттона II Светлейшего раскололи Баварию, и наступило время раздробленной Баварии: 1253-1503: **бизвено**: *1253-1517*, с полуэпохальным отступом: ***1501**-17*.

Элементы альфа-разверстки Виттельсбахов в раздробленной Баварии:

NB-284: Людвиг II Строгий и Рудольф I (1253-94-1317) — пара эпохальных герцогов Верхней Баварии в эпохах *Авиньонского периода: 1253-86-1319*.

NB-285: Генрих XIII и Оттон III (1253-90-1312) — пара эпохальных герцогов Нижней Баварии в эпохах *Авиньонского периода: 1253-86-1319.*

Прим.: нумерация баварских Генрихов шла от Генриха XII Льва Вельфа, низвергнутого Барбароссой.

NB-286: Альбрехт I и Вильгельм II Виттельсбахи (1353-1404-17) — биэпохальная пара герцогов Баварско-Штраубингских, графов Геннегау и графов Голландии в парапериоде: очень точно прорисованная фигура №5-a: полувек плюс пол-эпохи: *1352-**1402**-18*.

NB-287: Стефан III Великолепный и Людвиг VII Бородатый (1392-1413-47) — пара эпохальных герцогов Баварско-Ингольштадтских в эпохах *Ланкастерского периода: 1385-1418-51*.

NB-288: вековая пара герцогов Баварии-Ландсхут в *Золотом веке Бургундии: 1385-1484*: биэпохальный Генрих XVI Богатый (1393-1450) + эпохальный Людвиг IX Богатый (1450-79): *Ланкастерский период (1385-1451) + Эпоха Войны Роз (1451-84)*.

Людвиг IX Богатый оправдал наследственное прозвище ландсхутских Виттельсбахов, закатив пир, прогремевший на всю Европу и вошедший в историю под названием Ландсхутской свадьбы: 1475. Женился принц Георг Баварско-Ландсхутский на польской принцессе Ядвиге Ягеллонке, дочери Казимира IV Ягеллона.

NB-289: Казимир IV (1447-92) — эпохальный король Польши в *Эпохе Войны Роз: 1451-84*.

Генрих V Ланкастер, ходивший жениться через Азенкур, привел с собой под Азенкур меньше гостей, чем насчитал летописец на Ландсхутской свадьбе. В день свадьбы 10 тысяч гостей съели, сколько Бавария съедала за год, в том числе: 323 вола, 285 свиней, 1133 овцы, 1537 ягнят, 490 телят, 11 с половиной тысяч гусей, 40 тысяч курей и много другой еды в центнерах и тоннах. И стала Ландсхутская свадьба национальным праздником Баварии, правда, не сразу: с 1903.

NB-290: *Звено Реформации (1517-1649)* содержит в себе единое Баварское герцогство и правильный ряд герцогов Баварии: (Вильгельм IV — Альбрехт V Великодушный) — (Вильгельм V Благочестивый — Максимилиан I):

(1508-50-79) + (1579-97-1651):
(Эпоха + эпоха) + (пол-эпохи + полувек): фигура №2+№5-b:
*(1517-50-83) + (1583-**1600**-49)*.

NB-291: *Вестфальское звено (1649-1781)* содержит в себе Баварское курфюршество, а в четырех эпохах звена — четыре курфюрста Баварии: Фердинанд-Мария — Максимилиан II — Карл-Альбрехт — Максимилиан III:

1651-79-1726-45-77:
Эпоха + эпоха + эпоха + эпоха:
1649-82-1715-48-81.

Ряд типично деформирован в точке 1726 микроцикловым сдвигом: *1715-26*.

NB-292: идеальный ряд четырех эпохальных курфюрстов-архиепископов Кельна из баварских Виттельсбахов в четырех эпохах *α-Паразвена зенита Бурбонов: 1583-1715*: Эрнст — Фердинанд — Максимилиан-Генрих — Иосиф-Клеменс:

1583-1612-50-88-1723:
Эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха:
1583-1616-49-82-1715.

Что касается эстафеты пфальцских Виттельсбахов, она примечательна вот чем:

NB-293: десять эпохальных курфюрстов Пфальца в десяти эпохах в вилке *Стыка падения Византии* и *Стыка французской революции*: *1451-1781*:

Фридрих I Победоносный — Филипп — Людвиг V — Фридрих III Благочестивый — Фридрих IV — Максимилиан I Баварский — Карл I — Иоганн-Вильгельм — Карл III Филипп — Карл IV Теодор:

1449-76-1508-44 # 59-76 # 83-1610 # 23-48-80 # 90-1716-42-77:
Эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха:
1451-84-1517-50-83-1616-49-82-1715-48-81.

Все десять курфюрстов отвечают определению эпохального правления, ибо: **все четыре разрыва в ряду укладываются в зоны трансмиссии эпох вокруг эпохальных стыков**.

Максимилиан I Баварский затесался в ряд, ибо владел Баварией и Курпфальцем в *Эпохе Тридцатилетней войны*, после того как Фердинанд II Габсбург низверг Фридриха V Пфальцского (1610-23: 2-й разрыв в ряду) за то, что тот возглавил чехов в начале Тридцатилетней войны.

NB-294: по пресечении баварских Виттельсбахов (1777), Карл IV Теодор был правителем всех земель Виттельсбахов (1777-99) в 1-й фазе *(1781-**98**) Эпохи французской революции*.

Волею Наполеона государство Виттельсбахов стало Баварским королевством: 1806.

NB-295: Баварское королевство (1806-1918) стояло три эпохи в *Венском квазивеке* в вилке *Стыка Венского конгресса* и *Сараевского стыка: 1814-1913*: **вековая система**.

NB-296: правильный короткий ряд королей Баварии в *Викторианском периоде: 1847-1913*: (Максимилиан II — Людвиг II Сказочный король) — Оттон I:

(1848-64-86) + 1886-1913:
(Пол-эпохи + пол-эпохи) + эпоха:
*(1847-**64**-80) + 1880-1913*.

Если вы следили за числами Виттельсбахов по таблице 1, то вы умосозерцали образцовый пример тому, каким образом **структура времени отражается в исторических лицах**.

Силуэт 2. ЛЮКСЕМБУРГИ

NB-297: пять эпохальных графов Люксембурга из пяти поколений люксембургских Вигерихидов, 1-й династии Люксембурга, в пентаэпохе: *956-1121*:

Зигфрид — Генрих I — Генрих II — Конрад I — Вильгельм I:

963-998-1026-47 # 59-86 # 96-1130:
Эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха:
956-989-1022-55-88-1121.

Через пол-эпохи династия, пошедшая от Зигфрида, сына Вигериха, пресеклась, и Люксембург заполучил племянник Вильгельма I Генрих IV (1136-89), полувековой граф Люксембурга, вписавшийся строго в полувек: ***1137**-87*. Ему наследовала дочь Эрмезинда, чей сын Генрих по прозвищу Белокурый — родоначальник императорской династии Люксембургов.

NB-298: эстафета Люксембургов в Люксембурге в пентаэпохе: *1187-1352*: Эрмезинда Люксембургская — Генрих V Белокурый — Генрих VII — Иоанн Слепой:

1196-1247-81 # 88-1313-46:
Период + эпоха + эпоха + эпоха:
1187-1253-86-1319-52.

Граф Люксембурга Иоанн Слепой женился на Елизавете Чешской и взял в приданое Чешское королевство, где пресеклись Пржемысловичи. Иоанн Слепой — легендарная личность. Под конец жизни он ослеп и погиб слепым в битве с англичанами при Креси: 1346. Король-герой приказал привязать себя в седле и поскакал в последнюю атаку. Елизавета Пржемыслович родила императора Карла IV Люксембурга и королеву Франции Бонну Люксембургскую, жену Иоанна II Доброго, а та родила Карла V Мудрого и родоначальников двух ветвей Валуа: Бургундской и Анжуйской.

NB-299: три эпохальных короля Чехии из Люксембургов в трех эпохах квазивека: *1319-1418*: Иоанн Слепой — император Первого Рейха Карл IV — Вацлав IV:

1310-46-78-1419:
Эпоха Филиппа Счастливого + Эпоха Карла Мудрого + Эпоха Великого раскола:
1319-52-85-1418.

NB-300: королевскую эстафету Люксембургов замкнул Сигизмунд I Люксембург, полувековой король Венгрии (1387-1437) в полувеке *(1385-**1435**)* и полуэпохальный император Первого Рейха (1410-37), а заодно король Чехии (1419-37) в 1-й фазе *(1418-**35**) Эпохи святой Жанны*.

Сигизмунд I Люксембург созвал Констанцский собор (1414-18), приговоривший Яна Гуса к сожжению в год Азенкура (1415) и положивший конец Великому западному расколу.

NB-301: Великий западный раскол (1378-1417), он же Папский раскол, занял *Эпоху Великого раскола (1385-1418)* и последовал за Авиньонским пленом пап, закончившим-

ся в 1377, когда французский папа Григорий XI перебрался из Авиньона в Рим. После Григория XI кардиналы выбрали итальянского папу Урбана VI: 1378-89. Тот повел себя несколько тиранически, кардиналы объявили папу антихристом и выбрали антипапу Климента VII: 1378-94. Случилась большая смута в Риме. Антипапа Климент бежал в Авиньон. Святой престол раскололся на римский и авиньонский, и раскололся христианский мир: одни государства признавали римского папу, другие — авиньонского антипапу. После Климента VII в Авиньоне засел эпохальный антипапа Бенедикт XIII (1494-1423), до конца упиравшийся, хотя все отвернулись от него, когда Констанцский собор низложил параллельных пап и поставил нового: 1417: финальная веха Великого западного раскола.

NB-302: Йост и Елизавета Люксембурги (1388-1411-43) — пара эпохальных герцогов Люксембурга в эпохах *Ланкастерского периода: 1385-1418-51*.

Это последние Люксембурги в Люксембурге. Елизавета Люксембургская продала Люксембург бургундским Валуа (1443), а спустя эпоху Люксембург перешел к Габсбургам вместе со всеми Бургундскими Нидерландами: 1477.

Силуэт 3. ОЛЬДЕНБУРГИ

В 1448, впритык к *Стыку падения Византии (1451)*, в Дании воцарились Ольденбурги и царствуют поныне 17 эпох: *1451-2012*: 16 эпох *Европейского α-цикла* + *Эпоха НТР-2*.

NB-303: правильный ряд королей Дании длиной в полтора звена: *1451-1649*: (Кристиан I — Ганс) — (Фредерик I — Кристиан III) — (Фредерик II — Кристиан IV):

(1448-81-1513) # (1523-33-59) + (1559-88-1648):
(Эпоха + эпоха) + (пол-эпохи + пол-эпохи) + (эпоха + период):
*(1451-84-1517) + (1517-**34**-50) + (1550-83-1649)*.

NB-304: далее — редко встречающаяся и слегка деформированная фигура в квазивеке: *1649-1748*: Фредерик III — Кристиан V — Фредерик IV — Кристиан VI:

1648-70-99-1730-46:
Пол-эпохи + параэпоха + параэпоха + пол-эпохи:
*1649-**66-99-1732**-48*.

Фигура деформирована в точке 1670: превышен на один год нормативный трехлетний отступ от эпохального рубежа: *1666*.

NB-305: далее — правильный ряд королей Дании в гептаэпохе: *1748-1979*:
(Фредерик V — Кристиан VII) — Фредерик VI — (Фредерик VII — Кристиан IX Глюксбург) — (Кристиан X Глюксбург — Фредерик IX Глюксбург):

(1746-66-1808) + 1808-39 # (1848-63-1906) # (1912-47-72):
(Пол-эпохи + полувек) + эпоха + (пол-эпохи + полувек) + (эпоха + эпоха):
*(1748-**65**-1814) + 1814-47 + (1847-**64**-1913) + (1913-46-79)*.

Кристиан IX Глюксбург — 1-й представитель Глюксбургской ветви Ольдербургов на троне Дании, воцарившейся по пресечении старшей ветви: 1863. Дочери Кристиана IX Александра и Дагмара — матери короля Великобритании Георга V Виндзора и императора России Николая II Готторп-Романова, похожих, как близнецы, подмени на троне — никто не заметит. А сын Кристиана IX Георг I Глюксбург (1863-1913) — полувековой король Греции, идеально вписавшийся в полувек: ***1864**-1913*. Георг I женился на Ольге Романовой, внучке императора России Николая I. Рожденный Ольгой Романовой греческий принц Андрей Глюксбург — это отец Филиппа Глюксбурга, мужа королевы Великобритании Елизаветы II Виндзор. Принц Уэльский Чарльз Виндзор, сын Филиппа и Елизаветы II, — это не совсем Виндзор, это, правду сказать, Глюксбург, как и сыновья принца Чарльза принцы Уильям и Гарри, рожденные принцессой Дианой.

Длина правильного ряда эстафеты Ольденбургов в *Европейском α-цикле (1451-1979)*: 6 эпох + 1 период + 2 полувека + 1 параэпоха + 5 эпохальных фаз = **14,5 эпохи из 16-ти эпох эстафеты: 91%**.

Погрешности ряда: три разрыва размером в 10, 9 и 6 лет на *Лютеранском стыке (1517)*, у *Весеннего ультрарубежа (1847)* и на *Сараевском стыке (1913)*, плюс указанная погрешность в точке 1670, из-за которой длина правильного ряда уменьшилась на 1,5 эпохи.

NB-306: Адольф Готторпский (1544-86), от кого пошли все Готторпы и Готторп-Романовы тоже, — эпохальный герцог Готторпский в *Эпохе Контрреформации: 1550-83*.

Адольф Готторпский — внук Кристиана I, 1-го короля Дании из Ольденбургов. Адольф воспитывался в Гессене при дворе ландграфа Филиппа I Гессенского Вели-

кодушного, застрельщика Реформации, и женился на дочери Филиппа Кристине Гессенской, которая, стало быть, праматерь Готторпов, а впрочем, можете считать праматерью Готторпов ту женщину, которая родила праотца Готторпов, а это София Померанская из славянской династии Грифичей, дочь Богуслава X Великого (1478-1523), эпохального герцога Померании в *Колумбовой эпохе: 1484-1517*.

NB-307: Карл-Петер-Ульрих и Пауль (1739-62-73) — эпохальная пара герцогов Готторпских в фазах *Эпохи Фридриха Великого: 1748-**65**-81*.

Это императоры России Петр III (1762) и Павел (1796-1801).

Отцом Петра III был Карл-Фридрих Готторпский, муж Анны Петровны, сестры императрицы Елизаветы Петровны, дочери Петра Великого. У Карла-Фридриха была двоюродная сестра Иоганна-Елизавета Готторпская: это мать императрицы России Екатерины II Великой, жены Петра III. А еще у Карла-Фридриха, отца Петра III, был двоюродный брат Адольф-Фридрих Готторпский, а это посаженный Елизаветой король Швеции (1751-71) в *Эпохе Фридриха Великого: 1748-81*.

NB-308: эстафета Готторпов замкнулась на Руси правильным коротким рядом императоров России в *Викторианском периоде: 1847-1913*:

Александр II Освободитель — (Александр III Миротворец — Николай II):

1855-81 + (1881-94-1917):
Эпоха + (пол-эпохи + пол-эпохи):
*1847-80 + (1880-**97**-1913)*.

Силуэт 4. ВЕТТИНЫ

NB-309: великолепный, с точки зрения точной теории времени, ряд маргграфов Мейсена длиной в бизвено: *1121-1385*:

Конрад Великий — Оттон Богатый — Дитрих Угнетенный — Генрих III Светлейший — Фридрих I Укушенный — Фридрих II Мрачный — Фридрих III Строгий, Веттины:

1124-56-90 # 95-1221-88 # 91-1323-49-81:
Эпоха + эпоха + эпоха + параэпоха + эпоха + эпоха + эпоха:
1121-54-87-1220-86-1319-52-85.

В 1422 пресеклась курфюрстская ветвь Асканиев на *Азенкурском стыке (1418)*, и Веттины заполучили курфюршество Саксонское за помощь короне Рейха в войне с гуситами, а через две эпохи санксонское государство Веттинов распалось надвое, что историки называют Лейпцигским разделом.

NB-310: три вехи в эстафете Веттинов с шагом в параэпоху: *1418-84-1550*: во-первых, аншлюс маркграфства Мейсен и курфюршества Саксония (1423) на *Азенкурском стыке (1418)*, во-вторых, лейпцигский раздел Саксонии (1485) на *Колумбовом стыке (1484)*, в-третьих, лишение эрнестинцев титула курфюрстов в пользу альбертинцев (1547) на *Коперниковском стыке (1550)*.

Лейпцигский раздел проделали братья Эрнст и Альберт Веттины: Эрнст взял себе курфюршество Саксонское, наследство Асканиев, а Альберт взял родовую вотчину Веттинов: Мейсен под названием герцогства Саксонского со столицей в Дрездене. От Эрнста пошла старшая Эрнестинская ветвь, а от Альберта — младшая Альбертинская ветвь Веттинов. В Шмальканденской войне герцог Саксонии альбертинец Мориц Саксонский переметнулся на сторону Карла V Габсбурга, который в долгу не остался и, низвергнув эрнестинского курфюрста Саксонии, отдал титул курфюрста Саксонии альбертинцу Морицу Саксонскому: 1547. С тех пор в Саксонии тон задавали курфюрсты альбертинцы, зато на закате монархической Европы эрнестинцы из Саксен-Кобург-Готской ветви заняли четыре трона: это Бельгия, Португалия, Болгария, Англия.

NB-311: ряд эпохальных курфюрстов Саксонии из альбертинской ветви Веттинов в квазизвене: *1550-1682*: Август — Кристиан II — Иоганн-Георг I — Иоганн-Георг II:

1553-86 # 91-1611-56-80:
Эпоха + эпоха + эпоха + эпоха:
1550-83-1616-49-82.

А далее, с воцарением альбертинцев в Польше, вырисовался уникальный и нетипичный ряд в полном объеме *Периода Просвещения*:

NB-312: три короля Польши в 33-летних параэпохах, составляющих 99-летний ультрапериод: Август II Сильный Веттин — Август III Веттин — Станислав II Август Понятовский:

1697-1733-63-95:
Параэпоха + параэпоха + параэпоха = ультрапериод:
1699-1732-65-98.

NB-313: Эрнст Благочестивый (1640-75) — эпохальный герцог Саксен-Готы в *Эпохе реставрации Стюартов: 1649-82*.

От четверых сыновей Эрнста Благочестивого пошли четыре ветви эрнестинцев, главная из которых — Саксен-Кобург-Заальфельдская, она же Саксен-Кобург-Готская с 1826.

NB-314: Эрнст I Саксен-Кобург-Готский (1806-44) — эпохальный герцог Саксен-Кобург-Заальфельда и с 1826 Саксен-Кобург-Готы в *Эпохе Меттерниха: 1814-47*.

Сын Эрнста I Саксен-Кобург-Готского Альберт женился на своей кузине королеве Великобритании Виктории (1840), и в результате Саксен-Кобург-Готская династия сменила ганноверских Вельфов на троне Великобритании (1901), переименовавшись в Виндзоров во время 1-й мировой войны из политкорректности. Брат Эрнста I Саксен-Кобург-Готского Леопольд воцарился в Бельгии: 1831. Племянник Эрнста I Саксен-Кобург-Готского Фердинанд женился на королеве Португалии Марии II, последней из брагансских Капетингов на троне Португалии, и в результате Веттины-эрнестинцы воцарились в Португалии под именем Кобург-Брагансской династии: 1851. Племянник Фердинанда Фердинанд вокняжился в Болгарии: 1887.

На подступах к *Сараевскому стыку (1913)* процветали девять правящих ветвей Веттинов: в имперских герцогствах Саксен-Кобург-Гота, Саксен-Альтенбург, Саксен-Мейнинген, в великом герцогстве Саксен-Веймар-Эйзенах, в королевствах Саксония, Великобритания, Португалия, Бельгия и в Болгарском царстве. Перешагивая *Сараевский стык*, шесть ветвей из девяти пали и остались без корон. Спустя эпоху на *Стыке НТР (1946)* пало 3-е Болгарское царство (1946) и пресеклась мужская линия Веттинов в Великобритании (1952).

NB-315: от маркграфа Мейсена Конрада Великого до пресечения Веттинов по мужской линии на престоле Великобритании в лице Георга VI Виндзора (1124-1952) **25 поколений Веттинов составили эстафету длиной в 25 эпох по всем ветвям** в вилке *Стыка Вормсского конкордата* и *Стыка НТР: 1121-1946*.

NB-316: Елизавета II Виндзор, последняя из Веттинов на престоле Великобритании, — биэпохальная королева Великобритании с 1952 в параперииоде: *1946-2012*, с довеском микроцикла: *2012-23*.

И вот еще где Веттины поныне носят корону:
NB-317: Бодуэн и Альберт II Веттины (1951-93-2013) — биэпохальная пара королей Бельгии в параперииоде: фигура №5-а: полувек + пол-эпохи: *1946-**96**-2012*.

Силуэт 5. ГОГЕНЦОЛЛЕРНЫ

NB-318: после Бурхарда I, пращура Гогенцоллернов, до коллапса Второго Рейха (1061-1918) **26 поколений Гогенцоллернов составили эстафету по всем ветвям длиной в 26 эпох** в вилке *Папского ультрарубежа* и *Сараевского стыка: 1055-1913*.

В юго-западной Швабии на вершине горы Гогенцоллерн был замок Цоллерн, а в нем сидел граф Бурхард I фон Цоллерн, 1-й исторический представитель Гогенцоллернов. Неизвестно, как долго Бурхард I сидел в замке Цоллерн, но известен год смерти праотца Гогенцоллернов: 1061. Это, стало быть, точка отсчета эстафеты Гогенцоллернов: *Папский ультрарубеж: 1055*.

Когда основатель династии известен, но находится за рамками эстафетного ряда, он определяется как нулевое поколение в династической эстафете.

NB-319: Фридрих I Гогенцоллерн (1061-1125) — биэпохальный граф фон Цоллерн в *Григорианском периоде (1055-1121)*: это 1-й элемент эстафетного ряда Гогенцоллернов.

NB-320: Вильгельм II Гогенцоллерн (1888-1918) — эпохальный император Второго Рейха, замкнувший эстафету Гогенцоллернов как правящей династии в *Эпохе Второго Рейха (1880-1913)*: это **26-е поколение в 26-й эпохе** эстафеты Гогенцоллернов, считая от Фридриха I Гогенцоллерна, то есть считая после Бурхарда I фон Цоллерна.

NB-321: Луи-Фердинанд (1951-94) и Георг-Вильгельм (с 1994) — главы дома Гогенцоллернов по главной Бранденбург-Прусской ветви в параперииоде: фигура №5-а: полувек + пол-эпохи: *1946-**96**-2012*: это 28-е и 29-е после Бурхарда I поколения в параперииоде, эпохи которого — 28-я и 29-я эпохи эстафеты Гогенцоллернов после Бурхарда I.

NB-322: по ту сторону *Стыка дефенестрации (1616)* история Гогенцоллернов разбита на четыре кванта времени пятью вехами:

Старт эстафеты (1061) → приобретение Нюрнберга (1191) → приобретение Бранденбурга (1415) → приобретение Пруссии (1525) → аншлюс Пруссии и Бранденбурга (1618):

α-паразвено + гептаэпоха + квазивек + квазивек:

4 эпохи + 7 эпох + 3 эпохи + 3 эпохи:

1055 (Папский ультрарубеж) → 1187 (Константинопольский рубеж) → 1418 (Азенкурский стык) → 1517 (Лютеранский стык) → 1616 (Стык дефенестрации):

В бургграфстве Нюрнберг, приобретенном свадебным путем, пошла старшая Франконская ветвь Гогенцоллернов, ведшая в Берлин: 1415. Гогенцоллерны сидели в стольном граде Бранденбурга, то есть в Берлине, полтысячелетия: пять квазивеков: 15 эпох в вилке *Азенкурского стыка* и *Сараевского стыка: 1418-1913*.

Бранденбург — старинная вотчина Асканиев, прибранная к рукам Альбрехтом Медведем, главным представителем Асканиев, если не считать Екатерины II Великой. До Альбрехта Медведя в Бранденбурге сидел славянский князь по имени Прибислав-Генрих, а Медведь сидел в Ангальте, родовой вотчине Асканиев в Саксонии.

NB-323: Прибислав-Генрих (1127-50) — эпохальный князь славянского племени гевелов в *Эпохе императрицы Матильды: 1121-54*.

Альбрехт Медведь подружился с Прибиславом-Генрихом, который был бездетен и завещал Бранденбург Медведю. По смерти Прибислава-Генриха Альбрехт Медведь занял Бранденбург, но славяне выгнали немца, и тот вернулся в Бранденбург с боем: 1157: дата основания маркграфства Бранденбург: *Плантагенетский стык: 1154*.

NB-324: первые маркграфы Бранденбурга в параэпериоде: *1154-1220*:

(Альбрехт I Медведь — Оттон I) — (Оттон II Щедрый — Альбрехт II):

(1157-70-84) + (1184-1204-20):

(Пол-эпохи + пол-эпохи) + (пол-эпохи + пол-эпохи):

*(1154-**71**-87) + (1187-**1204**-20)*.

Весьма строгая и интересная разверстка по эпохальным фазам.

От Оттона I Бранденбургского пошла Бранденбургская ветвь Асканиев, крепившая государство Бранденбург в духе Альбрехта Медведя. Оттон I Бранденбургский основал монастырь со всемирно известным именем: Ленин. И стал Ленин усыпальницей Асканиев, а потом и Гогенцоллернов на какое-то время. «Молись и работай!» — девиз ленинских монахов. История сохранила «ленинское пророчество»: один ленинский монах будто бы предрек падение Гогенцоллернов и возрождение Ленина (монастыря, а не человека). Пророчество оказалось фальшивкой. В годы 2-й мировой Ленинский монастырь облюбовал Адольф Эйхман, завотдела гестапо по Холокосту, и разместил в Ленине своих работников.

По пресечении бранденбургских Асканиев (1320) впритык к *Дантову ультрарубежу (1319)* Бранденбург пошел по рукам и спустя квазивек *(1319-1418)* оказался у Гогенцоллернов в год Азенкура: 1415. Спустя еще квазивек *(1418-1517)* Гогенцоллерны прибрали Пруссию в русле дранг нах остен, а дранг нах остен начинался при активном участии того же Альбрехта Медведя.

NB-325: Бернард Клервоский — эпохальный аббат Клерво (1117-53) и одно из главных исторических лиц в *Эпохе императрицы Матильды: 1121-54*.

Бернард Клервоский обладал авторитетом больше папы и выступил после падения Эдессы идейным вдохновителем 2-го крестового похода в Святую землю (1147-49) и синхронного Вендского крестового похода против северо-западных славян, которых немцы называли вендами. Крестоносцы двинулись крестить вендов двумя колоннами, возглавленными Альбрехтом Медведем Асканием и Генрихом Львом Вельфом. Вендский поход не оправдал ожиданий, но танк дранг нах остен завелся и планомерно попер по карте в сторону Прибалтики: 1147: *Плантагенетский стык: 1154.*

С шагом в параэпериод *(1154-1220)*, окольцовывающий *Константинопольский рубеж (1187)*, папа римский объявил крестовый поход против пруссов: 1217: *Стык Великой хартии вольностей: 1220*. С тех пор ударным кулаком дранг нах остен был Тевтонский орден, возникший эпохой ранее во время 3-го крестового похода в 1190 у *Константинопольского рубежа: 1187*. Тевтоны завоевали Пруссию за параэпериод в вилке *Стыка Великой хартии вольностей* и *Стыка Сицилийской вечери: 1220-86*. В Пруссии возникло церковное государство Тевтонского ордена и прирастало Прибалтикой.

Тевтонскую экспансию сдерживали Польша и Литва и остановили в Грюнвальдской битве: 1410: *Азенкурский стык: 1418*. Спустя эпоху после Грюнвальда, то есть на *Стыке падения Византии (1451)*, в Пруссии вспыхнуло антитевтонское восстание, вызвавшее Тринадцатилетнюю войну между Тевтонским орденом и Польшей: 1454-66: 1-я фаза *(1451-**68**) Эпохи Войны Роз*. Ягеллоны победили тевтонов, сделали Тевтонский

орден вассалом Польши и включили кусок Пруссии в состав Польши под именем Королевской Пруссии. Когда дело дошло до разделов Польши, как раз этот кусок первым делом оттяпал Фридрих II Прусский по прозвищу Старый Фриц, а по другому прозвищу — Великий.

Теперь взгляните на эту парочку:

NB-326: 1-й и 2-й герцоги Пруссии, отдельная Прусская ветвь брандербургских Гогенцоллернов в двух лицах: Альбрехт Бранденбургский + Альбрехт-Фридрих: 1525-68-1618: образцовая фигура №3: полувек + полувек в квазивеке: *1517-**67**-1616*.

В 1519, впритык к *Лютеранскому стыку (1517)*, великий магистр Тевтонского ордена Альбрехт Бранденбургский Гогенцоллерн (1511-25), рожденный Софией Ягеллонкой, дочерью Казимира IV Ягеллона, взбунтовался против своего дядюшки Сигизмунда I Ягеллона. Бунтовать было бесполезно против владык Восточной Европы: Ягеллонов. Великий магистр спросил совета у Лютера. Лютер посоветовал Альбрехту Бранденбургскому покончить с церковным государством тевтонов как с анахронизмом и переделать орденскую Пруссию в светское герцогство, естественно, протестантское. Великий магистр сделал по слову Лютера и договорился с польским дядей по-родственному о том, что он, магистр, устраняет старинного врага Польши, лишив Тевтонский орден Пруссии, а Польша отдает детевтонизированную Пруссию в наследственное владение прусским Гогенцоллернам как вассалам Польши и союзникам. Договор предусматривал, что при пресечении династии, основанной в Пруссии Альбрехтом Бранденбургским, Пруссия отходит Польше. Спустя квазивек *(1517-1616)* династия пресеклась во 2-м поколении (1618), но бранденбургские Гогенцоллерны, сидевшие в Берлине, сумели увести Пруссию из-под носа королей Польши.

2-й герцог Пруссии Альбрехт-Фридрих, сын Альбрехта Бранденбургского, страдал душевной болезнью и был женат на Марии-Элеоноре Клевской, а это сестра последнего из клевских Ламарков герцога Юлих-Клеве-Берга Иоганна-Вильгельма, в связи с чем взгляните на этот роскошный, с точки зрения точной теории времени, ряд:

NB-327: трехвековой ряд графов и герцогов Клеве и Юлих-Клеве-Берга: *1319-1616*:

Дитрих VIII — (Иоанн — Адольф I) — Адольф II — (Иоганн I — Иоганн II - Иоганн III Миролюбивый — Вильгельм I Богатый — Иоганн-Вильгельм):

1310-47 + (1347-68-94) + 1394-1448 + (1448-81-1521-39-92-1609):

Эпоха + (пол-эпохи + пол-эпохи) + период + (эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха):
*1319-52 + (1352-**69**-85) + 1385-1451 + (1451-84-1517-50-83-1616)*.

В ряду одна помарка в точке 1539 — микроцикловой сдвиг: *1539-50*.

У Иоганна-Вильгельма, замкнувшего эстафету клевских Ламарков, были две сестры: Мария-Элеонора и Анна. Мария-Элеонора Клевская вышла за герцога Пруссии Альбрехта-Фридриха Гогенцоллерна и родила Анну Прусскую, обладавшую политической ценностью, превышавшей ценность среднестатистических принцесс, что вполне выяснилось, когда Бисмарк создал Второй Рейх на базе гогенцоллернской Пруссии. Бранденбургские Гогенцоллерны, естественно, организовали внутридинастический брак: Анну Прусскую выдали за Иоганна III Бранденбургского. В год смерти 2-го герцога Пруссии Альбрехта-Фридриха произошел и оказался необратимым династический аншлюс Бранденбурга и Пруссии: 1618: *Стык дефенестрации: 1616*.

Анна Прусская стала праматерью бранденбург-прусских Гогенцоллернов, первым делом родив наследника, а следом Анна Прусская родила дочь Марию-Элеонору, отданную за короля-героя Густава-Адольфа Ваза и родившую только дочь Кристину, а королева Швеции Кристина, покровительница Декарта, никого не родила, и Ваза пресеклись на троне Швеции (1654), а через пол-эпохи и на троне Польши, где после Ягеллонов правила периодическая ветвь Ваза: 1587-1668: 2,5 α-эпохи: *1583-**1666**: α-Период первых революций (1583-1649)* + эпо-фаза *(1649-**66**)*:

NB-328: Сигизмунд III Ваза + Владислав IV Ваза (1587-1632-48) — короли Польши в *α-Периоде первых революций: 1583-1649*: образцовая фигура №5-а: полувек + пол-эпохи: *1583-**1633**-49*; а в добавочную эпо-фазу *(1649-**66**)* точненько вписался Ян II Казимир, последний Ваза: 1648-68.

Стало быть, герцогство Пруссия появилось в 1525 на *Лютеранском стыке (1517)* и управлялось Прусской ветвью Гогенцоллернов (1525-1618) в квазивеке *(1517-1616)*, после чего произошел аншлюс Пруссии и Бранденбурга в 1618 на *Стыке дефенестрации: 1616*.

NB-329: от возникновения Прусского герцогства до коллапса Второго Рейха (1525-1918) Прусское государство Гогенцоллернов существовало в *Европейском гамма-цикле* в вилке *Лютеранского стыка* и *Сараевского стыка: 1517-1913*; причем **Прусское герцогство и Прусское королевство (1525-1701-1918) распределены по половинам гам-**

ма-цикла: *1517-1715-1913*, с полуэпохальным отступом от *Просветительского рубежа: **1699**-1715*.

Смотрите, далее, сюда и одновременно в таблицу 1:

NB-330: идеальнейший и образцово-показательный без единой помарки **трехвековой ряд** курфюрстов Бранденбург-Пруссии, королей Пруссии с 1701 и императоров Германии с 1871 в вилке *Стыка дефенестрации* и *Сараевского стыка: 1616-1913*:

(Георг-Вильгельм, рожденный Анной Прусской, — Фридрих-Вильгельм Великий курфюрст — Фридрих I — Фридрих-Вильгельм I — Фридрих II Великий) — (Фридрих-Вильгельм II — Фридрих-Вильгельм III) — (Фридрих-Вильгельм IV — Вильгельм I) — Вильгельм II:

(1619-40-88-1713-40-86) + (1786-97-1840) + (1840-61-88) + 1888-1918:
(Эпоха + эпоха + эпоха + эпоха + эпоха) + (пол-эпохи + полувек) + (пол-эпохи + пол-эпохи) + эпоха:
(1616-49-82-1715-48-81) + (1781-98-1847) + (1847-64-80) + 1880-1913.

Поясним, далее, почему в таблице 1 первая эпоха *Периода Просвещения* называется *Эпохой Прагматической санкции: 1715-48*. Это эпоха императора Австрии и Первого Рейха Карла VI Габсбурга (1711-40), который не имел сына и объявил наследницей дочь Марию-Терезию, для чего потребовалось издать новый закон престолонаследия, известный как Прагматическая санкция: 1713. Прагматическая санкция увидела свет на старте *Эпохи Прагматической санкции* и придала эпохе специфический политический тонус в ракурсе предсказуемой и ожидаемой Войны за австрийское наследство, разразившейся в развязке эпохи, потому как Карл VI Габсбург, назначив наследницу в начале эпохи, умер в конце эпохи.

В год смерти Карла VI Габсбурга (1740) в Пруссии воцарился Фридрих II Великий Гогенцоллерн (1740-86), эпохальный король Пруссии в *Эпохе Фридриха Великого (1748-81)*, а в Австрии взошла на престол Мария-Терезия Габсбург (1740-80) и была правящей императрицей всю эпоху, а имелись, разумеется, и другие претенденты на венский трон. Естественнейшим образом, ничего естественней и быть не может, вспыхнула Война за австрийское наследство в исторической развязке *Эпохи Прагматсанкции* и в исторической завязке *Эпохи Фридриха Великого*.

NB-331: Война за австрийское наследство (1740-48) заняла ровно микроквартал-8,25, финальный в *α-Эпохе Прагматсанкции* и начальный в *Ультраэпохе Фридриха Великого: 1740-48*: 1-я половина эпохального кольца *(1740-56)*, связывающего эпохи вокруг эпохального стыка: *1748*.

Последняя из Габсбургов не посрамила имя династии, оказавшись в роли львицы, отгоняющей хищников, кинувшихся оспаривать Прагматическую санкцию и отрывать куски от империи незаходящего солнца. Всех перешустрил Фридрих II Прусский, оттяпав Силезию, а в остальном зря головы летели, Ахенский мир резюмировал статус кво антэ бэллум: 1748. Фридрих II Прусский, однако, отхватил слишком жирный кусок, одним махом расширив территорию своего королевства на треть и увеличив население вдвое до пяти с половиной миллионов подданных. В наставшем мире зрела Семилетняя война. Это крупнейшая война в Европе в *Вестфальском звене*: полтора миллиона черепов в картину Верещагина «Апофеоз войны».

NB-332: Семилетняя война (1756-63) заверстана в микроквартал *(1756-65)* и отделена микрокварталом *(1748-56)* от Войны за австрийское наследство (1740-48), заверстанной в микроквартал *(1740-48)*: это есть **структурная синусоида**, отвечающая формуле трех волн: повышательная волна + понижательная волна + повышательная волна: Война за Австрийское наследство + пауза + Семилетняя война: (1740-48)↔(56-63): военный микроквартал + мирный микроквартал + военный микроквартал: *(1740-48)↔(56-65)*.

Старинные враги Франция и Австрия, имея в виду Бурбонов и Габсбургов, объединились в антипрусском союзе, к которому примкнула Россия. Фридрих II Прусский оказался один против «трех баб», по эпитету этого же Фридриха, не любившего женщин. «Три бабы», прижавшие одного джентльмена так, что тот уже не чаял выкрутиться, а по другому эпитету, «три валькирии», — это, во-первых, императрица Австрии Мария-Терезия Габсбург, последняя из Габсбургов, во-вторых, императрица России Елизавета Романова, дочь Петра Великого, последняя из Романовых, и, в-третьих, мадам Помпадур, фаворитка Людовика XV Возлюбленного, который по любвеобильности, отраженной в списке фавориток французских королей, уступал только Генриху IV Великому, но тот успевал еще и править королевством, а при Людовике XV Францией «правили юбки», как заметил Фридрих Великий, не пояснив, чем правление юбок отличается от правления штанов.

Не дожидаясь, когда «три валькирии» примутся ставить выскочку на место, тот напал на Саксонию и продолжил взламывать Вестфальскую систему, чтоб вставить Пруссию в концерт. Из-за такой дерзости Семилетняя война прозвана «войной разгневанных женщин». Петербургская валькирия поклялась воевать до стирания Пруссии с карты Европы, даже если ей придется продать полгардероба. Такую жертву принесет не каждая. Елизавета Петровна рассердилась, видимо, не настолько, чтобы снять с себя все, как леди Годива, но в гардеробе дочери Петра Великого было 15 тысяч платьев, и она могла бы просто закидать Фридриха платьями.

По словам Фридриха Великого, его спасло «чудо Бранденбургского дома», даже два. Первое случилось после разгрома Фридриха при Кунерсдорфе: 1759. «Все потеряно, спасайте двор и архивы. Гибели отечества не переживу. Прощайте навсегда», — сообщал Фридрих в Берлин, потеряв армию в генеральном сражении, что для короля равносильно потере страны, а для королевы — страны и гардероба. Фридрих тоже рисковал гардеробом и потерял шляпу на поле брани, но голова осталась на плечах. Шляпа Фридриха была отправлена в Петербург и попала в музей. Голова врага искони являлась главным трофеем, а у индейцев скальп, но европейские гуманисты и просветители не зря шумели против варварства, шум Просвещения проник во дворцы и просветил абсолютизм. Было позволительно отослать шляпу Фридриха в Петербург без головы. Именно головы пруссака требовала от своих полководцев Елизавета, но голову можно было оставить валяться там, где снесли, а не таскать по дворцам и по улицам, как раньше. Но шляпу отослали, а голову-то не снесли. Почему-то не добили Фридриха, оставив без армии и шляпы. Прошляпили Фридриха. Вот в чем заключалось 1-е чудо Бранденбургского дома. А 2-м чудом Бранденбургского дома была естественная смерть Елизаветы в критический для Гогенцоллернов момент: 1762. В Петербурге воцарился Петр III Готторпский, почитатель Фридриха, и расшаркался миром без аннексий и контрибуций.

В списке чудес Бранденбургского дома, сосчитанных историками, значится еще и 3-е, только его не было. В апреле 1945 умер Рузвельт, в связи с чем Адольф Гитлер вспомнил о Фридрихе Великом и подумал, что смерть Рузвельта, подобно смерти Елизаветы, означает распад вражеской коалиции, в чем состояло бы 3-е чудо Бранденбургского дома, по мысли Гитлера. Но этот господин не из этого дома. Третий Рейх не гогенцоллернский. Вот и не было 3-го чуда.

NB-333: расклад *Концертного звена* по формуле вводной эпохи в точке Венского конгресса (1814-15), издавшего Венскую систему МО: ***Концертное звено = Эпоха французской революции + Венский квазивек: 1781-1814 + 1814-1913.***

В 1806 Наполеон I Бонапарт расформировал Первый Рейх, насчитывавший в своем составе около 350 мелких государств, размножавшихся посредством ветвления династий, и пять крупных: Австрия, Пруссия, Саксония, Бавария, Вюртемберг. Вместо Рейха Наполеон учредил Рейнский союз, охвативший Германию, кроме Пруссии и Австрии, и существовавший до падения Наполеона (1814), вписавшись в 4-й микроквартал *(1806-14) α-Эпохи французской революции*. В состав Рейнского союза вошли 4 королевства, 5 великих герцогств, 13 герцогств, 17 княжеств. Из полусотни вольных городов Наполеон оставил таковыми пять. Курфюршества и церковные княжества упразднил. Рейнский союз положил собой начало переходу от Первого Рейха ко Второму Рейху, а переход занял параперiод в вилке *Стыка Венского конгресса* и *Бисмарковского стыка: 1814-80*.

NB-334: Венский конгресс породил Германский союз (1814-66), существовавший до австро-прусской войны полувек: *1814-**64***.

К моменту пришествия Бисмарка Германский союз насчитывал 35 суверенных государств, включая Австрийскую империю и пять королевств: Пруссия, Саксония, Бавария, Ганновер, Вюртемберг. В состав Германского союза входили четыре города-республики: Франкфурт, Гамбург, Бремен, Любек. Во Франкфурте заседал федеральный бундестаг под председательством Австрии.

Бисмарк пришел через полувек после Наполеона *(1814-**64**)*, через пол-эпохи после Меттерниха *(1847-**64**)* и за полувек до 1-й мировой *(**1864**-1913)* по центру *Венского квазивека: **1864***.

Национальная мысль Германии крутилась вокруг двух вариантов объединения Германии: великогерманского под эгидой Австрии и малогерманского под эгидой Пруссии. Меттерних не ломал голову над этим, предпочитая консервировать Венскую систему наглухо. Пришел Бисмарк и посредством трех блицкригов решил вопрос «железом и кровью», по его собственному выражению, занимающему коронное место в списке крылатых изречений железного канцлера.

1-й блицкриг Бисмарка называется 2-й датско-прусской войной (1864) и проделан Бисмарком совместно с Австрией. Цель — отторжение Шлезвиг-Гольштейна от Дании. Шлезвиг отошел к Пруссии, а Гольштейн — к Австрии. Через два года Франц-Иосиф Габсбург-Лотарингский отдал Гольштейн Пруссии, по настоятельной просьбе Бисмарка. А пол-эпохи тому назад *(1847-**64**)*, впритык к *Весеннему ультрарубежу (1847)*, была 1-я датско-прусская война: 1848-50. Правящие верхи Шлезвиг-Гольштейна захотели отложиться от Дании и вступить в Германский союз. Тогда венский концерт не дал в обиду копенгагенских Ольденбургов.

2-й блицкриг Бисмарка — австро-прусская война: 1866. Цель — нейтрализовать Австрию как потенциальное ядро объединения Германии по великогерманскому варианту. Австрия была разбита и выбита из состава Германского союза, который преобразовался в Северогерманский союз под эгидой Пруссии, по малогерманскому варианту.

3-й блицкриг Бисмарка — франко-прусская война: 1870-71. Цель — преобразовать Северогерманский союз во Второй Рейх, для чего, по раскладу в венском концерте, требовалось свалить Наполеона III Бонапарта, императора 2-й империи Франции (1852-70), который из-за Бисмарка не досидел три года на троне до своей смерти (1873) и потому криво вписался в *Бонапартистскую эпоху (1847-80)*, имея в виду вычтенный микроцикл: *1869-80*.

NB-335: Карл I Гогенцоллерн (1881-1914) — безупречно, с точки зрения точной теории времени, эпохальный король Румынии из Зигмарингенской ветви Гогенцоллернов в *Эпохе Второго Рейха: 1880-1913*; это **26-е поколение в 26-й эпохе** общей эстафеты Гогенцоллернов после Бурхарда I.

У короля Румынии Карла I был брат Леопольд, 4-й в этом ряду:

NB-336: идеальный эстафетный ряд князей Гогенцоллерн-Зигмарингенов, титулярных с 1849, в гептаэпохе: *1781-2012*: (Антон-Алоиз — Карл III) — (Карл-Антон — Леопольд) — (Вильгельм — Фридрих — Фридрих-Вильгельм):

(1785-1831-48) + (1848-85-1905) + (1905-27-65-2010):
(Полувек + пол-эпохи) + (эпоха + эпоха) + (пол-эпохи + параэпоха + полувек):
*(1781-**1831**-47) + (1847-80-1913) + (1913-**30-63**-2012)*.

Это семь поколений Гогенцоллернов, **с 23-го по 29-е** после Бурхарда I, по ветви Зигмарингенов в семи эпохах, **с 23-й по 29-ю** в составе общей эстафеты Гогенцоллернов.

Леопольд Гогенцоллерн-Зигмаринген, брат румынского короля, заявился кандидатом на престол Испании, когда испанцы в первый раз из двух последовали примеру французов и свергли Бурбонов в лице Изабеллы II Бурбон: 1868. Наполеон III Бонапарт имел свои виды на замещение открывшейся вакансии и оскорбился гогенцоллернской заявкой. Наполеон III потребовал от короля Пруссии Вильгельма I Гогенцоллерна унять родственника. Вильгельм I не искал войны и удовлетворил требование. Наполеон III не удовлетворился и затребовал какое-то еще письменное заверение. Тут Бисмарк и тиснул знаменитую Эмсскую депешу в немецкой прессе в виде газетного сообщения: «Его величество отказался принять французского посла и велел передать, что более не имеет ничего сообщить ему». Представьте себе, это казус белли. Этой газетной строчки оказалось достаточно для развязывания войны: 1870. Строчку Бисмарк придумал и тиснул, зная, как отреагирует Наполеон III, племянник Наполеона I Бонапарта.

NB-337: по итогам 3-го блицкрига возник Второй Рейх (1871-1918) и вписан в *Эпоху Второго Рейха (1880-1913)* с типичным для эпохальных систем микроквартальным отступом-8,25 *(1872-80)*, округляемым до 9 лет в исторических датировках с учетом годичной погрешности дат.

Второй Рейх — централизованная монархия, в отличие от Первого Рейха, децентрализованной монархии. Состав Второго Рейха: во-первых, четыре королевства: Пруссия (Гогенцоллерны), Бавария (Виттельсбахи), Саксония (Веттины-альбертинцы), Вюртемберг (Вюртемберги); во-вторых, шесть великих герцогств: Баден (Церингены), Гессен (Гессенская династия), Мекленбург-Шверин (Никлотинги), Мекленбург-Стрелиц (Никлотинги), Ольденбург (Готторпы), Саксен-Веймар-Эйзенах (Веттины); в-третьих, шесть герцогств: Ангальт (Аскании), Брауншвейг (Вельфы), Саксен-Альтенбург (Веттины), Саксен-Кобург-Гота (Веттины), Саксен-Мейнинген (Веттины), Саксен-Лауэнбург (без династии); в-четвертых, семь княжеств: Вальдек (Вальдеки), Липпе (Липпе), Шаумбург-Липпе (Липпе), Рёйсс младшей линии (Рёйссы), Рёйсс старшей линии (Рёйссы), Шварцбург-Зондерсхаузен (Шварцбурги), Шварцбург-Рудольштадт (Шварцбурги); в-пятых, имперская земля Эльзас-Лотарингия и три вольных города: Гамбург, Любек, Бремен.

На подверстку к силуэту — дюжина идеальных рядов эпохальных правлений без разрывов длиной от века и больше, приуроченная к этому списку имперских династий и их владений, исключая ряды, приведенные выше:

NB-338: ряд эпохальных графов Вюртемберга в квазизвене: *1286-1418*:

Эберхард I Светлый — Ульрих III — Эберхард II Сварливый — Эберхард III Кроткий:
1279-1325-44-92-1417 (даты правлений):
1286-1319-52-85-1418 (альфа-эпохи).

NB-339: вековой ряд эпохальных герцогов Вюртемберг-Нойштадта в квазивеке: *1649-1748*:

Фридрих — Фридрих-Август — Карл-Рудольф:
1649-82-1716-42:
1649-82-1715-48.

NB-340: вековой ряд эпохальных герцогов Церинген в квазивеке: *1121-1220*:

Конрад I — Бертольд IV — Бертольд V, Церингены:
1122-52-86-1218:
1121-54-87-1220.

NB-341: вековой ряд эпохальных герцогов Тека в веке XIII: *1187-1286*:

Адальберт II — Конрад I — Людвиг I, Церингены:
1195-1219-49-83:
1187-1220-53-86.

NB-342: вековой ряд эпохальных князей Ангальт-Бернбурга в квазивеке: *1253-1352*:

Бернхард I — Бернхард II — Бернхард III, Аскании:
1252-86-1318-48.
1253-86-1319-52.

NB-343: вековой ряд эпохальных графов Липпе-Альвердиссена в веке XVII: *1682-1781*:

Филипп-Эрнст I — Фридрих-Эрнст — Филипп-Эрнст II:
1681-1723-49-77:
1682-1715-48-81.

NB-344: ряд эпохальных графов Липпе-Бистерфельда в *Концертном звене: 1781-1913*:

Карл — Эрнст I — Юлиус — Эрнст II:
1781-1810-40-84-1904:
1781-1814-47-80-1913.

NB-345: ряд эпохальных бургграфов Мейсена в квазизвене: *1418-1550*:

Генрих I — Генрих II — Генрих III — Генрих IV, Рёйссы-Плауэны:
1426-46-82-1519-54:
1418-51-84-1517-50.

NB-346: ряд эпохальных графов и князей Рёйсс-Эберсдорфа в пентаэпохе: *1681-1847*:

Генрих X — Генрих XXIX — Генрих XXIV — Генрих LI — Генрих LXXII:
1678-1711-47-79-1822-48:
1682-1715-48-81-1814-47.

NB-347: вековой ряд эпохальных графов Рёйсс-Лобенштейна в квазивеке: *1715-1814*:

Генрих XV — Генрих II — Генрих XXXV:
1710-39-82-1805:
1715-48-81-1814.

NB-348: вековой ряд графов и князей Рёйсс-Шлейца в квазивеке: *1748-1847*:

Генрих XII — Генрих XLII — Генрих LXII:
1744-84-1818-54:
1748-81-1814-47.

NB-349: ряд эпохальных графов Рёйсс-Кёстрица в квазизвене: *1748-1880*:

Генрих VI — Генрих XLIII — Генрих XLIV — Генрих XLIX:
1748-83-1814-56-78.
1748-81-1814-47-80.

Прим.: Рёйссы звались только Генрихами с результатом в виде причудливой нумерации.

Продолжение следует

Таблица 1

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕК

ЕГИПЕТСКАЯ ЭРА

ЕГИПТО-ШУМЕРСКАЯ ФАЗА — 1981 до н.э. — *ЕГИПТО-ХЕТТСКАЯ ФАЗА*

2773 до н.э. **ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИЙ ЦИКЛ** 2245 **СРЕДНЕЕГИПЕТСКИЙ ЦИКЛ** 1717 **НОВОЕГИПЕТСКИЙ ЦИКЛ** 1189

КВАРТАЛ III-V ДИНАСТИИ 2377 — КВАРТАЛ VI-XI ДИНАСТИИ — СТАРОВАВИЛОНСКИЙ КВАРТАЛ 1585 — КВАРТАЛ XVIII-XIX ДИНАСТИЙ

2839 2806 2773 2740 2707 2674 2641 2608 2575 2542 2509 2476 2443 2410 2377 2344 2311 2278 2245 2212 2179 2146 2113 2080 2047 2014 1981 1948 1915 1882 1849 1816 1783 1750 1717 1684 1651 1618 1585 1552 1519 1486 1453 1420 1387 1354 1321 1288 1255 1222 1189 1156

АНТИЧНАЯ ЭРА

ФАЗА АНТИЧНЫХ НАЧАЛ — 397 до н.э. — *ФАЗА АНТИЧНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ*

ГОМЕРОВСКИЙ КВАРТАЛ 793 — ПОЛИСНЫЙ КВАРТАЛ — ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ КВАРТАЛ 1 до н.э. — ИМПЕРАТОРСКИЙ КВАРТАЛ

Век XII до н.э. 1090 Век XI — Век X 892 Век IX — Век VIII 694 Век VII — Век VI 496 Век V — Век IV 298 Век III — Век II 100 Век I до н.э. — Век I н.э. 98 Век II — Век III 296 Век IV — Век V

1189 БИБЛЕЙСКИЙ ЦИКЛ 661 **ЭЛЛИНСКИЙ ЦИКЛ** 133 **РИМСКИЙ ЦИКЛ** 395

ФАЗА СУДЕЙ 925 *ФАЗА ЦАРСТВ* — *МЛАДОЭЛЛИНСКАЯ ФАЗА* — *ПАНЭЛЛИНСКАЯ ФАЗА* — *ПАНЛАТИНСКАЯ ФАЗА* 131 *ФАЗА СУМЕРЕК БОГОВ*

РАМСЕССКОЕ КОЛЬЦО 1057 — ТЕМНОЕ КОЛЬЦО — АРХАИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО — КОЛЬЦО КЛАССИЧЕСКОЙ ЭЛЛАДЫ 265 — КОЛЬЦО ИМПЕРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 1 до н.э. — КОЛЬЦО ПРИНЦИПАТА — КОЛЬЦО ДОМИНАТА

1255 1123 991 859 727 595 463 331 199 67 65 197 329 461

НАРОДОМОРСКИЙ БЛОК — КОЛОНИЗАТОРСКИЙ БЛОК — ЗВЕНО ПЕРВЫХ ДЕМОКРАТИЙ — АФИНСКОЕ ЗВЕНО — ЗВЕНО ЗЕНИТА ЭЛЛИНИЗМА — РИМСКИЙ БЛОК — ЮЛИАНСКОЕ ЗВЕНО — АНТОНИНСКОЕ ЗВЕНО — СОЛДАТСКОЕ ЗВЕНО — НОВОРИМСКИЙ БЛОК

Период Давида и Соломона — Первый античный период — Лелантский период — Коринфский период — Вавилонский период — Персидский период — Делосский период — Философский период — Период диадохов — Пунический период — Катоновский период — Популярский период — Цезарианский период — Евангельский период — Первый период римского зенита — Второй период римского зенита — Период военной монархии — Первый период домината — Крестный период — Период римского распада

1222 ТРОЯНСКИЙ СТЫК 1156 — 1090 УЛЬТРАГРЕБЕЖ ПАДЕНИЯ НОВОГО ЦАРСТВА 1024 — 958 Эпоха Давида / Эпоха Соломона / *СОЛОМОНОВ РУБЕЖ* / 892 Эпоха Ашшурназирапала — 826 Эпоха Салманасара — Эпоха Семирамиды / ОЛИМПИЙСКИЙ УЛЬТРАГРЕБЕЖ — 760 Эпоха первых Олимпиад / Эпоха Ромула — 694 Эпоха Саргона / Эпоха Тахарки / САИССКИЙ СТЫК — 628 Эпоха Кинеила — 562 Эпоха Периандра / Эпоха Навуходоносора / Эпоха Кира Великого / РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЛЬТРАГРЕБЕЖ — 496 Эпоха Дария Великого / Саламинская эпоха — 430 Эпоха Перикла / Эпоха Пелопоннесской войны — 364 *СОКРАТИЧЕСКИЙ РУБЕЖ* / Спартанская эпоха — 298 Филипп Македонского / Александрийская эпоха — 232 Пиррова эпоха / ПУНИЧЕСКИЙ УЛЬТРАГРЕБЕЖ — 166 Эпоха 2-й Пунической войны / Эпоха Македонских войн — 100 Эпоха аннексии Эллады / ГРАКХАНСКИЙ СТЫК — Граккханская эпоха / Сулланская эпоха — 34 Триумвиратов / Эпоха Августа — 1 УЛЬТРАГРЕБЕЖ / ХРИСТИАНСКИЙ — 32 Эпоха Христа — Апостольская эпоха — 98 Флавиев / Эпоха Траяна и Адриана — *ТРАЯНСКИЙ РУБЕЖ* / Эпоха Антонина Пия — 164 Эпоха Марка Аврелия — Эпоха Северов — 230 Эпоха угрожений / ВАРВАРСКИЙ УЛЬТРАГРЕБЕЖ — Иллирийская эпоха / Эпоха Константина Великого — 296 — 362 Эпоха Новых Флавиев / Эпоха крещения Рима / ФЕОДОСИЙСКИЙ СТЫК — 428 Эпоха Гонория — Аттилова эпоха

ХРИСТИАНСКАЯ ЭРА

ВИЗАНТИЙСКАЯ ФАЗА — 1187 — *ЕВРОПЕЙСКАЯ ФАЗА*

395 ВАРВАРСКИЙ КВАРТАЛ 791 — ПЕРВЫЙ ФЕОДАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ — ВТОРОЙ ФЕОДАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ 1583 — КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ КВАРТАЛ 1979

ПОЛУКВАРТАЛ АНТИЧНОГО КОЛЛАПСА 593 — ЛАНГОБАРДСКИЙ ПОЛУКВАРТАЛ — ПОЛУКВАРТАЛ РОЖДЕНИЯ ЕВРОПЫ 989 — КОММУНАЛЬНЫЙ ПОЛУКВАРТАЛ — ПОЛУКВАРТАЛ ДУЧЕНТО И ТРЕЧЕНТО — ПОЛУКВАРТАЛ КВАТРОЧЕНТО И ЧИНКВЕЧЕНТО 1385 — БАРОЧНЫЙ ПОЛУКВАРТАЛ 1781 — ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПОЛУКВАРТАЛ

Век V 494 Век VI — Век VII 692 Век VIII — Век IX 890 Век X — Век XI 1088 Век XII — Век XIII 1286 Век XIV — Век XV 1484 Век XVI — Век XVII 1682 Век XVIII — Век XIX 1880 Век XX — Век XXI

395 РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЦИКЛ 923 **ВТОРОЙ СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЦИКЛ** 1451 **ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦИКЛ** 1979

ФАЗА ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ 659 *АРАБСКАЯ ФАЗА* — *РОМАНСКАЯ ФАЗА* — *ГОТИЧЕСКАЯ ФАЗА* — *РЕНЕССАНСНО-БАРОЧНАЯ ФАЗА* 1715 *НАУЧНАЯ ФАЗА*

КОЛЬЦО ДОМИНАТА 527 — ФРАНКСКОЕ КОЛЬЦО 791 — КОЛЬЦО ВИКИНГОВ 1055 — КОЛЬЦО КЛАССИЧЕСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 1319 — КОЛЬЦО ВОЗРОЖДЕНИЯ 1583 — БУРБОНСКОЕ КОЛЬЦО 1847 — ГРАЖДАНСКОЕ КОЛЬЦО

329 461 593 725 857 989 1121 1253 1385 1517 1649 1781 1913 2045

НОВОРИМСКИЙ БЛОК — АРТУРНИАНСКОЕ ЗВЕНО — ИСЛАМСКОЕ ЗВЕНО — КАРОЛИНГСКОЕ ЗВЕНО — МЛАДОЕВРОПЕЙСКИЙ БЛОК — САЛИЧЕСКОЕ ЗВЕНО — ЗВЕНО ШТАУФЕНОВ 1253 — МОНГОЛЬСКОЕ ЗВЕНО 1385 — ЕВРОПЕЙСКИЙ БЛОК — ЗВЕНО РЕФОРМАЦИИ 1649 — ВЕСТФАЛЬСКОЕ ЗВЕНО 1781 — КОНЦЕРТНОЕ ЗВЕНО 1913 — БЛОК НТР

ГОТСКОЕ ПАРАЗВЕНО — МЕРОВИНГСКОЕ ПАРАЗВЕНО — ПИППИНИДСКОЕ ПАРАЗВЕНО — ПАРАЗВЕНО ИМПЕРАТОРОВ ЗАПАДА — КЛЮНИЙСКОЕ ПАРАЗВЕНО — ПАРАЗВЕНО ПАПОЦЕЗАРИЗМА — ПАРАЗВЕНО ГВЕЛЬФОВ И ГИБЕЛЛИНОВ — ПАРАЗВЕНО СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ — ПАРАЗВЕНО ГУМАНИЗМА — ПАРАЗВЕНО ЗЕНИТА БУРБОНОВ — ПАРАЗВЕНО ЗАКАТА БУРБОНОВ — ПАРАЗВЕНО ИМПЕРИАЛИЗМА

Крестный период — Период римского распада — Период Львов — Юстинианский период — Аравийский период — Период ленивых королей — 1-й иконоборческий период — Период Каролингской империи — Период каролингского распада — Оттоновский период — Период первых Капетингов — Григорианский период — Иерусалимский период — Латино-Никейский период — Гвельфский период — Авиньонский период — Ланкастерский период — Флорентийский период — Конкистадорский период — Период первых революций — Период Короля-солнце — Период Просвещения — Период Промперевота — Викторианский период — Советский период — Период НТР-2 и НТР-3

Эпоха Новых Флавиев 362 — Эпоха крещения Рима / ФЕОДОСИЙСКИЙ СТЫК 428 — Аттилова эпоха — Эпоха Рицимера 494 — Эпоха Гонория / Эпоха Теодориха Великого / ЮСТИНИАНСКИЙ УЛЬТРАГРЕБЕЖ 560 — Эпоха Юстиниана — Баянова эпоха — Эпоха Мухаммеда 626 — Эпоха правоверных халифов / *ДАМАССКИЙ РУБЕЖ* — Эпоха борьбы майордомов 692 — Эпоха Пипина / Гериставльского — Эпоха некоронованных королей 758 — 1-я эпоха Карла Великого / КАРОЛИНГСКИЙ УЛЬТРАГРЕБЕЖ — 2-я эпоха Карла Великого / Верденская эпоха 824 — Эпоха Кирилла и Мефодия 890 — Эпоха Карла Простоватого / ОТТОНОВСКИЙ СТЫК — Эпоха Гуго Великого 956 — Эпоха Гуго Капета — Эпоха Роберта 1022 — Набожного / Эпоха первых Салиев — ПАПСКИЙ УЛЬТРАГРЕБЕЖ — Эпоха Гильдебранда 1088 — Эпоха первых крестоносцев — Эпоха императрицы 1154 — Матильды / Эпоха Фридриха Барбароссы / *КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ РУБЕЖ* — Эпоха Филиппа Августа 1220 — Эпоха Фридриха II / Штауфена — Эпоха Карла Анжуйского 1286 — Эпоха Филиппа Красивого / АВИНЬОНСКИЙ УЛЬТРАГРЕБЕЖ — 1352 Эпоха Филиппа Счастливого / Эпоха — Карла Мудрого / Эпоха Великого раскола 1418 — Эпоха святой Жанны / ГУТЕНБЕРГСКИЙ СТЫК — 1484 Эпоха Войны Роз — Колумбова эпоха — Лютеранская 1550 — эпоха / Эпоха Контрреформации — ЛЮТЕРАНСКИЙ УЛЬТРАГРЕБЕЖ — 1616 Эпоха Генриха Великого / Эпоха Тридцатилетней войны — 1682 Эпоха реставрации Стюартов — Эпоха Петра Великого / *ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ РУБЕЖ* — Эпоха Прагматсанкции / Эпоха Фридриха Великого — 1748 — 1814 Эпоха Меттерниха / ВЕНСКИЙ УЛЬТРАГРЕБЕЖ — Бонапартистская эпоха / Эпоха Второго Рейха — 1880 — Эпоха мировых войн — 1946 Эпоха Холодной войны / ГАГАРИНСКИЙ СТЫК — 2012 Эпоха НТР-2 / Эпоха НТР-3

346 379 412 445 478 511 544 577 610 643 676 709 742 775 808 841 874 907 940 973 1006 1039 1072 1105 1138 1171 1204 1237 1270 1303 1336 1369 1402 1435 1468 1501 1534 1567 1600 1633 1666 1699 1732 1765 1798 1831 1864 1897 1930 1963 1996 2029